

Александр Солженицын

Красное колесо. Узел III Март Семнадцатого – 1

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ

1

В замкнутой тишине Царского Села Николай провёл шестьдесят шесть дней подле Аликс, своим присутствием смягчая ей безмерную горе потери. (К счастью, зимнее затишье на фронте позволяло такую отлучку из Ставки).

От тревожной, мятущейся, убитой горем Аликс передалось и Николаю ощущение наступившей полосы бед и несчастий, которых сразу не изживёшь.

И ещё одна беда – что смерть несчастного легла чертой размолвки между ним и Аликс. Они и всегда по-разному видели Григория, его суть, значение, степень его мудрости, но щадя чувство и веру Аликс, Николай никогда не настаивал на своём. А теперь – не могла Аликс отпустить мужу, что он не предал убийц суду.

Когда 17 декабря в Ставке во время военного совета с главнокомандующими о плане кампании Семнадцатого года Государю подали телеграмму об исчезновении и возможной смерти Распутина – он, грешным образом, внутренне даже скорей облегчился: столько накопилось вокруг злобы, уже устал он слушать эту череду предупреждений, разоблачений, сплетен, – и вдруг объект общественной ненависти сам собой фаталистически исчезал, без того, чтобы Государю надо было предпринять какое-либо усилие или мучительный разговор с Аликс. Всё отпадало – само собой.

Простодушно же он настроился! Не представлял он, что почти тотчас ему придётся покинуть и тот военный совет, столь долго устроившийся, и Ставку – и мчаться к Аликс на целых два месяца – и заслужить град упреков: что это – он своим равнодушием к судьбе избавителя-старца довёл до самой возможности такого убийства, а затем – и не желает наказывать убийц.

Да он и сам через полдня уже стыдился, что мог испытать облегчение от смерти человека.

И действительно: убийство было как убийство, долгая травля и злые языки перешли в яд и пушечные выстрелы, – и не было никаких смягчающих обстоятельств, почему бы не судить. Но то, что жало укола выдвинулось из самой близости, из великокняжеской среды и даже от Дмитрия, мягкого, нежного, возвращённого почти как сын, любимого и балуемого (берёт его при Ставке, не посылал в полк), – обессиливало Государя. Чем невыразимей и родственней была обида – тем бессильней он был ответить.

Кто из монархов так попадал? Лишь отдалённый, немой, незримый православный народ был ему опорой. А все сферы ближние – образованные и безбожные – были враждебны, и даже среди государственных людей и слуг правительства проявлялось так мало рачительных о деле и честных.

И разительна была враждебность внутри самой династии: все ненавидели Аликс. Николаша с сестрами-черногорками – уже давно. Но – и Мама была против неё всегда. Но – и Елизавета, родная сестра Аликс. И уж конечно лютеранка тётя Михен не прощала Аликс ревностного православия, а по болезни наследника так и готовилась, чтобы престол захватили её сыновья, или Кирилл или Борис. И затем проявившаяся этой осенью и зимой вереница разоблачителей из великих князей и княгинь, с редкой наглостью наставляющих императорскую чету, как им быть, – и даже Сандро, тесный друг юности когда-то. Сандро договорился до того, что само правительство приближает революцию, а нужно

правительство, угодное Думе. Что будто все классы враждебны политике трона, и народ верит клеветам, а царская чета не имеет права увлекать и своих родственников в пропасть. Вторил ему и его брат Георгий: если не будет создано правительство, ответственное перед Думой, мы все погибли. О себе и думают великие князья. Когда им плохо, они уезжают в Биарриц, в Канны. Император лишён такой возможности.

Теперь стыдно было перед Россией, что руки государевых родственников обгажены кровью мужика. Но и так душило круговое династическое осуждение, что в груди не изыскивалось твёрдости – ответить судебным ударом. И Мама просила – не возбуждать следствия. Николай не мог найти в себе безжалостной воли – преследовать их сурово по закону. Да при сложившихся сплетнях всякое нормальное судебное действие могло быть истолковано как личная месть. И всего лишь, что Николай решился сделать: определил ссылку Юсупову в его имение, Дмитрию – в Персию, а Пуришкевичу – даже ничего и не осталось, уехал со своим санитарным поездом на фронт. И даже эта мягкая мера была встречена бунтом династии, враждебным коллективным письмом всей великокняжеской большой семьи, а Сандро приехал и прямо кричал на Государя, чтобы дело об убийстве прекратить.

Они – совсем забылись. Они не считали уже себя подвластными ни государственному, ни Божьему суду!

А тут – дышала гневом Аликс, что Николай преступно мягок к убийцам и этой слабостью погубит и царство и семью.

И легла и протянулась на все эти два месяца в Царском – небывалая прежде, длительная тягость между ним и Аликс, не уходящая обида. Уж Николай старался в чём только можно уступить, угодить. Разрешил все особые хлопоты с телом убитого, охрану, захоронение тут в Царском, на аниной земле. И ото всех прячась, будто затравленные изгои в этой стране, а не цари её, – хоронили Распутина ночью, при факелах, и сам Николай с Протопоповым, с Воейковым нёс гроб. И всё равно – не смягчалась Аликс до конца, так и осталось её сердце с тяжестью. (Одинокими прогулками она ездила теперь тосковать и молиться на могиле. А злые люди подсмотрели и в первые же дни осквернили могилу. И пришлось поставить там постоянную стражу – пока восставится на том месте и закроется часовня).

Так страстны и настойчивы были от Аликс упрёки в слабости, царской неумелости, – потряслось доверие Николая к самому себе. (А его-то и никогда не было прочного от юности, во всём он считал себя неудачником. И даже поездки по войскам, которые так любил, – убедился он: приносят тем войскам боевую неудачу). И даже маленький Алексей, ещё совсем не мешавшийся во взрослые дела, воскликнул в горе: «Неужели, папа, ты их не накажешь? Ведь убийцу Столыпина повесили!» И в самом деле: почему уж он был так слаб? Почему не мог он набраться воли и решимости – отца своего? Своего прадеда?

После убийства Григория тем более не мог Государь ни в чём идти на уступки своим противникам и обществу: подумали бы, что вот – освободился из-под влияния. Или: вот, боится тоже быть убитым.

Под упрёками жены и в собственном образумлении Николай в эти тяжкие зимние месяцы решился на крутые шаги. Да, вот теперь он будет твёрд и настоит на исполнении своей воли! Снял министра юстиции Макарова, которого давно не любила Аликс (и равнодушно-нерасторопного при убийстве Распутина), и председателя министров Трепова, против которого она с самого начала очень возражала, что он – жёсткий и чужой. И назначил премьером – милейшего старого князя Голицына, так хорошо помогавшего Аликс по делам военнопленных. И не дал в обиду Протопопова. Затем, под Новый год, встряхнул Государственный Совет, сменил часть назначаемых членов на более надёжных, а в председатели им – Щегловитова. (Даже в этом гнездилище умудрённых почётных сановников Государь потерял большинство и не мог влиять: не только выборные члены, но и назначаемые всё разорительней играли либеральную игру и здесь). Вообще намерился он наконец перейти к решительному правлению, пойти наперекор общественному мнению, во

что бы это ни обошлось. Даже нарочно выбирать в министры лиц, которых так называемое общественное мнение ненавидит, – и показать, что Россия отлично примет эти назначения.

Самое было и время на что-то решаться. В декабре неистовствовали съезды за съездами – земский, городской, даже дворянский, соревнуясь, чьё поношение правительства и царской власти громче. И прежний любимый государев министр Николай Маклаков, чьи доклады всегда были для Государя радостью, а работа с ним воодушевительной, а уволил он его под давлением Николаши, – теперь написал всеподданнейше, что эти съезды и всё улюлюканье печати надо правильно понимать, что это начался прямой штурм власти. И Маклаков же представил записку от верных людей, как спасти государство, а Щегловитов – другую такую же. Не дремали верные, что ж поддался душою Государь?

А тут ещё со многих сторон, и от дяди Павла, поступали сведения, что повсюду в столице и даже в гвардии открыто говорят о подготовке государственного переворота. И в январе, в начале февраля зрела у Государя мысль – нанести опережающий удар: вернуть на места своих лучших твёрдых министров и распустить Думу теперь же, и не собирать её до конца 1917 года, когда будет выбираться новая Пятая. И уже поручил он Маклакову – составить грозный манифест о роспуске Думы. И уже Маклаков составил и подал.

Но тут же, как всегда, обессиливающие сомнения одолели Государя: а нужно ли обострять? А нужно ли рисковать взрывом? А не лучше ли – мирно, как оно само течёт, не обращая особого внимания на забияк?

О перевороте? Так это же всё болтовня, во время войны никакой русский не пойдёт на переворот, ни даже Государственная Дума, в глубине-то все любят Россию. И Армия – беспредельно верна своему Государю. Истинной опасности нет – и зачем же вызывать новый раскол и обиды? Среди имён заговорщиков Департамент полиции подавал таких крупных, как Гучков, Львов, Челноков. Государь начертал: общественных деятелей, да ещё во время войны, трогать нельзя.

Никогда ещё вокруг царской семьи не чувствовалось такое ноющее одиночество, как после этого злосчастного убийства. Преданные родственниками и оклеветанные обществом, они сохраняли только нескольких близких министров – но и их тоже, тем более, ненавидело общество. И верные тесные друзья, как флигель-адъютант Саблин, тоже оставались наперечёт. С ними и проводили святки, зимние вечера и воскресенья на малолюдных обедах, чаях, то приглашали во дворец маленький оркестр, а то кинематограф. Да ещё оставались неповторимо-разнообразные прогулки в окрестностях Царского, даже новинка: на снеговых моторах. А по вечерам Николай много читал семье вслух, решал с детьми головоломки. Да с февраля стали дети прибалывать.

Аликс же эти два месяца почти сплошь пролежала, сама как покойница. Она почти ничего не усвоила, не знала, кроме смерти Григория, – и этой своей верностью горю каждый день как бы ещё и ещё упрекала Николая.

Семейная атмосфера была любимая атмосфера Николая, и так, нетревожимо замкнутый, он мог бы прожить и год, и два. Не пропустил ни одной литургии, говел, причащался. Однако, по соседству теперь со столицей, не мог он в эти девять недель уклониться от дел государственного управления. В одну из этих недель открылась в Петрограде конференция союзников, у Николая не было желания появляться в её суеде, и от России старшим там действовал генерал Гурко, зато изрядно надоедал Государю долгою и резкостью своих докладов. (Но пришлось принять в Царском делегатов конференции, – и так сжался Николай, так мучился – чтоб ещё они не стали ему давать советов по внутренней политике). Ещё каждый будний день Государь принимал у себя двух-трёх-четырёх министров или видных деятелей, с большим удовольствием – симпатичных ему.

Но оттого ли, что нота погрёбальности не утихала в их доме все эти недели, уж слишком затянулись головные боли и рыдания по убитому, где-то есть их и предел для всякого мужчины, – наконец стало потягивать Николая к немудрёной непринуждённой жизни в Ставке, к тому ж и без министерских докладов. На днях приезжал в Царское из Гатчины Михаил (жена его, дочь присяжного поверенного, дважды уже разведенная, не

допускалась и не признавалась) и говорил, что в армии растёт недовольство: отчего Государь так долго отсутствует из Ставки. Где-то появился даже и слух, что на Верховное Главнокомандование снова вступит Николаша.

Да неужели? Вздор какой, но опасный вздор. Действительно, пора ехать. (Тут ещё так неудачно получилось, что и прошлое его пребывание в Ставке было коротким: тезоименитство своё он проводил с семьёю в Царском, вернулся в Ставку лишь 7 декабря, а 17-го уже был вызван смертью Распутина, и вот до сих пор).

Но – совсем не легко было отпроситься у Аликс. Ей невместимо было понять, как он может её покинуть в таком горе и когда могут последовать новые покушения. Согласились, что он поедет всего на неделю и даже меньше – чтобы к несчастливой для Романовых первомартовской годовщине, дню убийства деда, вернуться в Царское и быть снова вместе. И наследника в этот раз она не отпустила с отцом, что-то он кашлял.

А Николай утешался тем, что оставляет государыню под защитой Протопопова. Протопопов заверил, что все дела устроены, и в столице ничто не грозит, и Государь спокойно может ехать.

Когда уже решён был отъезд – вдруг спала и эта тяжесть упрёка, разделявшая их два месяца. Аликс протеплела, прояснела, живо вникала в его вопросы, напоминала, чтоб он не забыл, кого в армии надо наградить, а кого заменить, – и особенно недоверчиво и неприязненно относилась она к возврату Алексеева в Ставку после долгой болезни: зачем? не надо бы. Он – гучковский человек, не надёжный. Наградить бы его – и пусть почётно отдыхает.

Но Николай любил своего работающего, незаносчивого старика и не находил сил отставить его. Да этого бы никак и не выговорить, неудобно. Связан с Гучковым? Так и Гурко, на той же должности, сейчас в Петрограде, по донесению Протопопова, встречался с Гучковым. И был связан с Думой. (И вот, десять дней назад, на докладе в Царском, налетел вихрем, голос как иерихонская труба: «Государь, вы губите и семью и себя! что вы себе готовите? чернь церемониться не станет, отставьте Протопопова!», – такого бешеного не бывало при Николае рядом, он уж раскаивался, что согласился взять его).

Вчера после полудня Николай ехал на станцию – как всегда под звон Фёдоровского собора, они оба с Аликс вдохновлялись колокольным звоном. По пути заехали к Знаменью приложиться.

Как раз прояснилось – и яркое морозное радостное солнце обещало добрый исход всему.

А в купе Николая ждала приятная неожиданность (впрочем, и обычный меж ними приём): конверт от Аликс, положенный на столик при дорожных принадлежностях. Жадно стал читать, по-английски:

«Мой драгоценный! С тоской и глубокой тревогой я отпустила тебя одного без нашего милого нежного Бэби. Бог послал тебе воистину страшно тяжёлый крест. Что я могу сделать? Только молиться и молиться. Наш дорогой Друг в ином мире тоже молится за тебя – так Он ещё ближе к нам.

Кажется, дела поправляются. Только, дорогой, будь твёрд, покажи властную руку, вот что надо русским. Ты никогда не упускал случая показать любовь и доброту, – дай им теперь почувствовать порой твой кулак. Они сами просят об этом, сколь многие недавно говорили мне: «нам нужен кнут!». Это странно, но такова славянская натура: величайшая твёрдость, жестокость даже, и – горячая любовь. Они должны научиться бояться тебя – любви одной мало. Надо играть поводами: ослабить их, подтянуть...»

Кнут? – это ужасно. Этого нельзя представить, ни выговорить. Ни замахнуться. Если **этой** ценой быть царём – то не надо и совсем.

Но быть твёрдым – да. Но показать властную руку – да, это необходимо, наконец.

«Надеюсь, ты очень скоро сможешь вернуться. Я знаю слишком хорошо, как «ревущие толпы» ведут себя, когда ты близко. Как раз теперь ты *гораздо* нужнее здесь, чем там. Так что вернись домой дней через десять. Твоя жена – твой оплот – неизменно на страже в тылу.

Ах, одиночество грядущих ночей – нет с тобой Солнышка и нет Солнечного Луча!»

Ах, дорогая! Сокровище моё!...

И как отлегло от сердца, что снова нет тучек меж нами. Как это подкрепляет душевно.

Как всегда в пути по железной дороге Николай с удовольствием читал, отдыхая и освежаясь, в этот раз по-французски – о галльской войне Юлия Цезаря, хотелось чего-нибудь вчуже от современной жизни.

Снаружи холодно было, да как-то не хотелось и двигаться, за всю дорогу не вышел из вагона нигде.

Николай замечал не раз: наше спокойствие или беспокойство зависят не от дальних, хотя бы и крупных событий, а от того, что происходит непосредственно с нами рядом. Если нет напряжённости в окружении, в ближайших часах и днях, то вот на душе и становится светло. После петербургских государственных забот и без противных официальных бумаг очень славно было лежать в милом поездном подрагивании, читать и не иметь необходимости кого-то видеть, с кем-то разговаривать.

А уже поздно вечером перечитал любимый прелестный английский рассказ о Голубом Мальчике. И, как всегда, выступили слезы.

ДОКУМЕНТЫ – 1

Ея Величеству. Телеграмма.

Ставка, 23 февраля

Прибыл благополучно. Ясно, холодно, ветрено. Кашляю редко. Чувствую себя опять твёрдым, но очень одиноким. Мысленно всегда вместе. Тоскую ужасно.

Ники

Его Величеству

(по-английски)

Царское Село, 23 февраля

Ну, вот – у Ольги и Алексея корь. Бэби кашляет сильно, и глаза болят. Они лежат в темноте. Мы едим в красной комнате. Представляю себе твоё ужасное одиночество без милого Бэби. Ему и Ольге грустно, что они не могут писать тебе, им нельзя утомлять глаза...Ах, любовь моя, как печально без тебя – как одиноко, как я жажду твоей любви, твоих поцелуев, бесценное сокровище моё, думаю о тебе без конца. Надевай же крестик иногда, если будут предстоять трудные решения, – он поможет тебе.

...Осыпаю тебя поцелуями. Навсегда

Твоя

2

-

экран

-

В петербургском обокраденном небе, клочках и дорожках его между нависами безрадостных фабричных крыш – пробилось солнце. Солнечный будет день!

Гул голосов.

= И даже тёплый. Платки с женских голов приоткинута, руки без варежек, никто не жмётся, не горбится, свободно крутятся в хвосту, человек сорок, у мелочной лавки с одной дверкой, одним оконцем.

Гудят свободно, язык не примерзает, но и разве ж это человеческое занятие, этак выстроиться столбьяно, лицом в затылок, в затылок.

А из дверки вытаскивается, кто уже купил. А несут и один, и другой – по две-по три буханки ржаного хлеба, большие, круглые, умешанные, упеченные, с мучным подсыпом по донцу, – ах, много уносят!

Много уносят – так мало остаётся! И не втиснешься туда, так глазами через плечи, иль со стороны через окно:

– Белого много, бабы, да кому он к ляду. А ржаной – кончается! Не, не достанется нам.

– Бают, ржаную муку совсем запретили, выпекать боле не будут. Будет хлеба по фунту на рыло.

– Куда ж мука?

– Да царица немцам гонит, им жрать нечего.

Загудели пуще бабы, злые голоса:

– А може у него под прилавком? Дружкам отложил?

– Они – усе миродёры, от малых до больших!

Старик рассудительный, с пустым мешком под мышкой:

– Да и лошадей кормить не стало. Овса в Питер не пропускают. А лошади, ежели ее на хлебе держат, так двадцать фунтов в день, меньше никак.

А из дверки – баба. И руками развела на пороге: нету, мол.

Сразу трое туда полезли очередных, да не вопрёшься.

Закричала остроголосая:

– Так что мы? зря стояли?

Платок сбился, а руки свободные. Глаза ищут: чего бы? чем бы?

= Льда кусок, отколотый, глыбкой на краю мостовой.

Примёрз? Да нет, берётся.

Схватила и, по-бабьи через голову меча, руками обеими – швырь!!

= И стекольце только – брызг!

Звон.

на кусочки!

= Заревел приказчик как бугай, изнутри, через осколки, а по нему откуда-то-сь – второю глыбкой! Попало, не попало – а всё закрутилось! суета! Суются в двери туда, сколько влезти не может.

Общий рёв и стук.

А из битого окна – кидают, чего попало, прямо на улицу, нам ничего не нужно: булки белые!

свечи!

головки сырныя красныя!

рыбу копчёную!

синьку! щётки! мыло бельевое!...

И – наземь это всё, на убитый снег, под ноги.

* * *

Возбуждённый гул.

= Валят рабочие размашистой гурьбой по бурому рабочему проспекту.

К гурьбе ещё гурьба из переулка. Много баб, те посердитей.

Валит толпа уже в сотен несколько, сама не зная, ничего не решено, мимо одноэтажного заводского цеха.

Оттуда посматривают, через стёкла, через форточки.

Им тогда:

– *Эй, снарядный! Бросай работу! Присоединяйся.*

Хлеба!!

Остановились вдоль, уговаривают:

– *Бросай, снарядный! Пока хвосты – какая работа? Хле-ба!*

Чего-то снарядный не хочет, даже от окон отходит.

– *Ах вы, суки несознательные! Да у вас своя лавка, что ль?*

– *Значит, что ж, каждый сабе?*

– *Да ты ему – по стеклам! по стеклам!*

Звон. Разбили.

На ступеньки вышел плотный старый мастер, без шапки:

– *Что фулиганите? У каждого своя голова. Себе в сусек, что ль, снаряды складываем?*

А в него – ледяным куском:

– *Своя голова?*

Схватился мастер за голову.

Гогот.

= А у снарядного-то и караул постаивает пехотный.

Дюжина, с унтером.

Не шевельнётся, хоть и бей друг друга, нам-то что? Мы снаряды охраняем.

= Гурьба рабочих подростков.

Побежали! как в наступление!

И в широких раскрытых заводских воротах – что с этой оравой поделаешь? – сторожа обежали, закрутили его, полицейского – обежали – и-и-и! по заводскому двору!

и-и-и! во все двери, по всем цехам!

Голоса из детского хора:

– *Бросай работу!... Выходи на улицу!... Все на улицу!... Хле-ба!... Хлеба!... Хле-ба!...*

= Сторож схватился ворота заводить, высокие сильные полотнища ворот вместе свести, а уже и здоровых рабочих полсотни бежит снаружи – да с размаху! – скрежет, и одно полотнище сорвалось с петли, зачертило углом, перекособочилось, теперь все вали, кто хошь.

Полицейский – руки наложил на одного, а его самого – палкой, палкой! Шапку сбили, отстал.

= Разгорается солнышко. Переливается по снежинкам в сугробах.

Валит толпа – буянить, не скрываясь.

Гул голосов.

* * *

= Большой проспект Петербургской стороны.

Пятиэтажные дома как слитые, неуступные, подобранные по ранжиру. Стрельная прямизна.

Дома все – не простые, но с балконами, выступами, украшенными плоскостями. И – ни единого дерева нигде. Каменное ущелье.

А внизу – булочная Филиппова, роскошная. В трёх окнах – зеркальные двойные стёкла, за ними – пирожные, торты, крендели, ситники.

Молодой мещанин ломком размахнулся, – от него отбежали, глаза защитили, – а вот **так** не хочешь?

Брыз! – стекло зеркальное.

И – ко второму.

Брыз! – второе.

И – повалила толпа в магазин.

= А внутри – всё лакированное, да обставленное, не как в простых лавках.

Чёрный хлеб! – тут утеснён. А буханки воздушные!

А крендели! А белизна! А сладкого!...

А вот так – не хочешь? – палкой по стеклянному прилавку!

А вот так не хочешь? – палкой по вашим тортам!

Отшарахнулась чистая публика, обомлелая.

И продавцы – не нашлись, раззинулись.

Бей по белому! бей по сладостям! Мы не жрём – и вы не жрите!

Не доводите, дьяволы!!...

* * *

Позванивая,

= от Финляндского вокзала по переулку, через суету возбуждённого народа на мостовой, пробирается трамвай.

Группка рабочих стоит, забиячный вид. Чертыхнулись:

– **Ну куда прёшь, не видишь?**

Вожатый трамвая стоит на передней площадке за стеклом, как идол, и длинной ручкой крутит в своём ящике.

Догадка! Один рабочий вскочил к нему туда, на переднюю площадку – не понимаешь по-русски? Отпихнул его, сорвал с его ящика эту ручку – как длинный рычаг накладной, и с подножки народу показывая, над головой тряс длинную вагонную ручку! – соскочил весело.

Видели! Поняли! Понравилось!

Остановился трамвай, нет ему хода без той ручки.

Глядит тремя окнами передними, и вагоновожатый посередке, лбом в стекло.

= Хохочет вся толпа!

* * *

= На Литейном мосту, перегораживая собою, и на набережной рядом стоят наряды полиции. Нет, толпу они не пропустят.

А толпы – и нет. А просто: мастеровые, от смены свободные, в город идут, по делу или быстро гуляя, быстро гуляя, группами по пять, по несколько человек, на ходу разговаривая.

Косится полиция. А и нельзя ж людям ходить запретить.

Косятся и на полицию из-под чёрных фуражек, треухов.

Косятся, ничего не говорят. Вид у них мрачный.

= А по тот край моста – за углами остаиваются, густеют, соединяются.

И вот уже по проспекту – едва не толпой.

А впереди – мальчишки, с весёлым приплясом, да как барабанят, и орут:

– *Дай-те! хле-ба! Дай-те-хле-ба!*

= На зимнем небе – весенний весёлый свет. Растянутые облачка.

* * *

= А на Невском – какое же гулянье, в легкоморозный солнечный денёк! Да какие же санки лихие проскакивают. С колокольчиками!

Сколько публики на тротуарах, и самая чистая: дамы с покупками, с прислугой, офицеры с денщиками.

Господа разные. Оживлённые разговоры, смех.

Даже что-то слишком густо на тротуарах. На мостовой – всё прилично, никто не мешает извозчикам, трамваям, а на тротуарах – стиснулись, как не гуляют, а в демонстрацию прут.

А-а, да тут и мещане, и мастеровые, и простые бабы, и всякая шерсть, втесались в барскую толпу, это среди рабочего-то дня, на Невском!

Но и чистая публика ими не брезгует, а так вместе и к плывут, как слитное единое тело. И придумали такую забаву, сияют лица курсисток, студентов: толпа ничего не нарушает, слитно плывёт по тротуару, лица довольные и озорные, а голоса заунывные, будто хоронят, как подземный стон:

– *Хле-е-еба... Хле-е-еба...*

Переняли у баб-работниц, переобразили в стон, и все теперь вместе, всё шире, кто ржаного и в рот не берёт, а стонут могильно:

– *Хле-е-еба... Хле-е-еба...*

А глазами хихикают. Да открыто смеются, дразнят.

Петербургские жители всегда сумрачные – и тем страннее овладевшая весёлость.

А мальчишки, сбежав на край мостовой, там шагают- барабанят, балуются:

– *Дай!-те!-хле!-ба! Дай!-те!-хле!-ба!*

= Там-сям наряды полиции вдоль Невского.

Обеспокоенные городовые.

Где и конные.

А – ничего не поделаешь, не придерёшься. Это как будто и не нарушение. Глупое положение у полиции.

* * *

А по Невскому, по сияющей в солнце стреле Невского, в веренице уходящих трамвайных столбов – этих трамваев, трамваев что-то слишком густо, там какая-то помеха, не проедешь: цепочкой стоят один за другим. Публика из окон выглядывает, как дура, не знает, что дальше будет.

Передняя площадка одна пустая.

Другая пустая, и переднее стекло выбито.

А по мостовой идут пятеро молодцов, мастеровые или мещане, с пятью трамвайными ручками, длинными!

и размахались ими, как оружием, под общий хохот. С тротуаров чистая публика – смеётся!

Помощник пристава, это видя, деловито, быстро пробирается меж толпы – уверенно идёт, как власть, по сторонам не очень и смотрит, ничего дурного не ждёт, а если ждёт, так отважен, – протянулся ключ отобрать у одного – а сзади его по темени – другим ключом!

да дважды!

Крутанулся пристав, и свалился без сознания, вниз, туда, под ноги. Нету.

= Хохочет, хохочет чистая невская публика!

И курсистки.

* * *

= Ребристый купол Казанского собора.

Знаменитый сквер его между дугами античных аркад забит публикой, всё с тем же весёлым вызовом лиц и заунывным стоном:

– *Хле-е-еба... Хле-е-еба...*

Понравилась игра. Барские меховые шапки, котелки, модные дамские шляпки, простые платки и чёрные картузы:

– *Хле-е-еба... Хле-е-еба...*

= А по бокам собора стоят наряды драгун, на добрых крупных конях.

И офицер их, спешенный, поговорив с высоким полицейским чином, вскакивает в седло, даёт команду не очень громко, толпе не слышно, – и драгуны по полудюжине разъезжаются крупным шагом, и так по полудюжине, в одном месте, в другом, наезжают на тротуары! прямо на публику!

конскими головами и грудями, взнесенными как скалы!

а сами ещё выше! – но не сердятся, не кричат, и никаких команд, – а сидят там, в небе, и наезжают на нас!

= Деваться некуда, разбегается публика всех состояний, шарахается волной – прочь от сквера, в соседние проезды, в парадные, в подворотни. Кто в снежную кучу врюхнулся.

Свист из толпы.

И – гордо кони выступают по пустым местам.

Но как съедут – на эти же места, и на тротуары – снова толпа.

Правила игры! Никто ни на кого не сердится. Смеются.

= А подле Екатерининского канала, по ту сторону Казанского моста – полусотня казаков-донцов, молодцов – с пиками.

Высоко! Стройно! Страшно! Лихие, грозные казаки с коней косо посматривают.

К офицеру подъехал в автомобиле большой чин:

– ***Я – петербургский градоначальник генерал-майор Балк. Приказываю вам: немедленно карьером – рассеять эту толпу – но не применяя оружия! Откройте путь колёсному и санному движению.***

= Офицер – совсем молоденький, неопытный.

Смущённо на градоначальника.

Смущённо на свой отряд. И вяло, так вяло, не то что карьером – удивительно, что вообще-то подтянулись, с места стронулись шагом, а пики ровно кверху, шагом, кони скользят копытами по накатанной мостовой, через широкий мост и по Невскому.

Градоначальник из автомобиля вылез – и рядом пошёл.

Идёт рядом – и не выдерживает, сам командует:

– ***Ка-рьер!***

Да разве казаки чужую команду примут, да ещё от пешего?

Ну, перевёл офицерик свою лошадь на трусцу.

Ну, и казаки, так и быть.

Но чем ближе к толпе – тем медленнее...

Тем медленнее... Не этак пугают... Пики – все кверху, не берут наперевес.

И, не доходя, совсем запнулись. И радостный тысячный рёв!

заревела толпа от восторга:

– *Ура казакам! Ура казакам!*

А казакам это внове, что им от городских – да "ура".

А казакам это в честь.

Засияли.

И – мимо двух Конюшенных дальше проехали.

= Но и толпа ничего не придумала: митинг – не начинается, ни одного вожака нет, – вдруг грозный цокот лица испуганные – в одну сторону:

= с Казанской улицы, огибая по большой дуге собор и стоящие трамваи, громче цокот! разезд конной полиции, человек с десятков – но галопом!

но галопом!! рассыпаясь веером, а шашек не обнажая – га-лопом!!!

= Страх перекошенный! и, не дожидаясь!

кинулась толпа, рассыпались во все стороны, – как сдунуло! Чистый Невский перед думой.

= И шашек не обнажали.

3

(Хлебная петля)

В ноябре 1916 сквозь великие сотрясательные думские речи, сквозь частокол спешных запросов, протестов, столкновений и перевыборов Государственная Дума всё никак не добиралась до продовольственного вопроса, да и слишком частное значение имел этот вопрос перед общею политикой. В конце ноября назначен был какой-то ещё новый временный министр земледелия Риттих. Он попросил слова и почтительно извинился перед Думою, что ещё не успел вникнуть в дело и не может доложить о мерах. Его поругали, как всякого представителя правительства, но даже лениво, ибо сами ничего не ждали от собственной думской дискуссии, если она будет слишком конкретной. Да, продовольственный вопрос был важен, но не в конкретном, а в *общем* смысле, – и главное пламя политики уметнулось из Таврического дворца, скованного думской процедурой. Главное пламя политики, перебегая по обществу, взрывало то там, то здесь, даже больше в Москве. Там на начало декабря было назначено три съезда, и все три по продовольствию: собственно Продовольственный съезд и съезды земского Союза и Союза городов (не говоря о многих других одновременных общественных совещаниях; как шутили тогда: если немец превосходит нас техникой, то мы победим его совещаниями).

О продовольствии говорилось с дрожью голоса, – и правительство не смело запретить Продовольственного съезда, хотя и ему и собирающимся было понятно, что не в продовольствии дело, продовольствование России и без нас всегда как-то происходило, и как-нибудь произойдёт, – а в том дело, чтобы, собравшись, обсудить прежде всего *текущий момент* и как-нибудь порезче выразиться о правительстве, *раскачивая* обстановку. (Предыдущая революция показала, что её можно достичь только непрерывным раскачиванием). Тоже всё это зная, правительство в этот раз набралось храбрости запретить два остальных съезда прежде их начала. Толпились на тротуаре Большой Дмитровки городские головы, земские деятели, именитые купцы, съехавшиеся со всей России, а полиция не пускала их в здание. Пока князь Львов составлял с полицией протокол о недопущении, земские уполномоченные перешушукались, утекли в другое помещение, на Маросейку, и там «приступили к занятиям», то есть опять-таки не к скучной продовольственной части, но к общим суждениям о *политическом моменте*. В подготовленной произнесенной речи князя Львова было:

На самом краю пропасти, когда может быть осталось несколько мгновений для

спасения, нам остаётся воззвать только *к самому народу*. Оставьте попытки наладить совместную работу с нынешней властью!... Отвернитесь от призраков! – *власти нет, правительство не руководит страной!*

И похоже было, что – так. (Как выразился Щегловитов, «паралитики власти что-то слабо боролись с эпилептиками революции»). Всё более вырастающий в первого человека России князь Львов, бурно приветствуемый, нагнал заседание своих земцев на Маросейке, и принятая там резолюция была ещё резче его речи. Съезды Союзов, избегая разгона, собрались на частных квартирах – и полиция не сразу решилась нарушить неприкосновенность жилища. Когда же пришла, резолюции уже были приняты или голосовались тут же, при полиции:

... Режим, губящий и позорящий Россию... Безответственные преступники, гонимые суеверным страхом, готовят ей поражение, позор и рабство!... Этой бессовестной и преступной власти, дезорганизовавшей страну и обессилившей армию, народ не может доверить ни продолжения войны, ни заключения мира.

И правда, что ж оставалось власти? Либо тут же уйти (а пожалуй, уже так было запущено и допущено, что хоть и уйти), либо всё-таки эти съезды запретить?

А ещё собрался в декабре и съезд промышленных деятелей, и тоже обсуждать продовольственный вопрос. И на хвосте тех программных пылающих резолюций нашлось два слова для начинаний Риттиха:

новые меры правительства только довершают расстройство.

Ибо это правительство никогда не найдёт выхода ни в чём.

А скромный малоизвестный Риттих возмерился и взялся вникнуть в подробности и выход найти. С первых же дней вступления в должность он установил: что хлеба заготовлена одна двенадцатая того, что нужно: сто миллионов пудов вместо миллиарда двухсот; что все партии и вся печать уже отговорили, что хотели, о твёрдых ценах, и забыли о них, – но твёрдые цены нависли над хлебным рынком, заперли его, и торговый аппарат бессилён извлечь хлеб из амбаров; позднеосенний съезд сельских хозяев, где было много председателей земств, кооперативов и крестьян, настаивал на повышении хлебных цен – так, чтобы эти цены оплатили стоимость производства, труда и ещё провоз от амбара до станции, который по ценам деятелей Прогрессивного блока предполагался нетрудоёмким и даже несуществующим, оплачивался так и быть за 20 вёрст доставки, хотя везли и 90, да по бездорожью.

Повышать цены эту зимой было уже упущено: деревня только ждала бы ещё более высоких. Гужевой же транспорт от амбара до станции Риттих сразу, с 1 декабря, взял на себя смелость оплатить («франко-амбар», то есть цена считается у амбара, а доставка сверх), – за что был тогда же гневно разруган в Государственной Думе: «Вы ломаете твёрдые цены!» Эта мера Риттиха заметно увеличила приток хлеба, но не настолько, чтобы, с прочным запасом, накормить русскую армию и русский тыл до осени 1917. Твёрдые цены оставались ниже рыночных, и когда по установившейся зимней дороге зерно высывалось из деревни в город, оно тут же поворачивало назад в деревню и исчезало там. Частная торговля разыскивала там его, но – по высоким ценам. И призрак *хлебной повинности* или хлебной развёрстки заколыхался перед свежим министром земледелия. И у него достало решительности сделать этот шаг, уже не им одним прозреваемый в русском воздухе.

Риттих вовсе не намеревался отбирать хлеб силою, это было бы по русским традициям святотатственно и для русского правительства позором: как же можно – не купить хлеб, а отобрать у того, кто его вырастил? Хлебная повинность – ужасная мера принуждения, не вмещаемая в русские умы. Нет, идея Риттиха сводилась

к тому, чтобы доставку хлеба перевести из области простой торговой сделки в область исполнения гражданского долга, обязательного для каждого держателя хлеба. Объяснить населению, что исполнение этой развёрстки является для него таким же долгом, как и те жертвы, которые оно столь безропотно несёт для войны.

В развёрстку вошли: потребности армии пуд в пуд, и рабочих оборонных заводов с их семьями (как уже и снабжали на многих заводах). Крупные же центры и непроизводящие губернии не были включены как потребители, ибо трудно было сообщить 18 миллионам крестьянских хозяйств как гражданский долг – снабдить столицы и Север. По срочности и по горячности Риттих взялся сам, на первых же неделях своей деятельности, в декабре, сделать развёрстку по губерниям – на основании только что прошедшей земской переписи хлебного наличия и объёма ежегодного вывоза из губернии. И полученные так цифры

были понижены, чтобы развёрстка не оказалась по каким-либо причинам затруднительной для исполнения.

Полученную цифру губернские земства должны были разверстать между уездами, уезды – между волостями, а волостные и сельские сходы – между дворами. И что ж? раскладка пошла весьма успешно,

первоначально чувствовался, скажу прямо, патриотический порыв. Эта развёрстка была увеличена многими губернскими и уездными земствами на 10% и даже более. (С просьбой о такой надбавке я обратился к ним – чтоб избытком накормить центры и Север). Но сейчас же вслед в дело были внесены сомнения и критическое отношение к развёрстке. Сперва – равномерно ли сделана развёрстка? Эти подозрения были скоро оставлены. Тогда всё вниманье обращено, что развёрстка тяжело исполнима, что слишком много требуется от каждой губернии. Конечно, она тяжела, требуется очень много, но ведь, господа, и война тяжела.

Представителю ненавистного презренного правительства надо выражаться перед разгневанной общественностью мягко, оглядливо:

Всё же я думаю, господа, что те методы, которыми доказывалась непосильность развёрстки, являются едва ли правильными. Вслед за первым порывом земств проводить эту развёрстку всё внимание гипнотизировалось: достаточно ли после развёрстки будет обеспечено население? Это уже охладило порыв, который был к развёрстке, свело его с великой цели на расчёты мер и весов, сколько каждому оставить в запас, сколько можно уделить на нашу армию.

А у всех земских чрезвычайная чувствительность к местным интересам, они патриоты своего околотка. А вдруг будет неурожай, новые наборы, рук не хватит, хлеба не хватит, будьте осторожны, не везите лишнего...

А теперешний крестьянин – крестьянка, ей легко внушить: хлеба не везти, чтоб не помирали её дети.

И все губернии составили нормы потребления на 5-7 пудов выше, чем считались обычными в мирное время. Но при 150 миллионах человек это 900 миллионов пудов, то есть удержан весь внутренний оборот хлебной торговли. Губернии, всегда вывозившие десятки миллионов пудов, как Таврическая, оказались будто не могущими дать ничего, а в такую богатую, как Екатеринославская, ещё, оказывается, надо ввезти 14 миллионов пудов.

Сомнение было посеяно и так задержало развёрстку, что не в две декабрьские недели, как рвался Риттих, но лишь в феврале 1917 она дошла до волостей... И некоторые волости выполнили её, другие даже превысили, а кто и отказался. Риттих, однако, *не разрешил применять реквизиций* :

Относительно нашего производителя уже слишком много принято понудительных решительных мер,

но -

сбирать сход ещё раз, быть может его настроение изменится, указать, что это нужно Родине, обороне...

И на повторных сходах развёрстка часто принималась. Или обещали доверстать, после того как выйдут озими. Первый результат развёрстки был тот, что крестьяне принялись усиленно молотить свой хлеб, до того покинутый в зародах. Поступление

хлеба очень увеличилось уже в декабре и январе:

за декабрь – 200% среднего месячного осеннего поступления,
за январь – 260%. И каждую неделю всё выше.

Пережили гипноз и земства: требуется – дать, а сами потеснимся и проживём. Хлебная проблема безусловно сдвинулась и начинала решаться. Риттих надеялся, что к августу 1917

великая цель развёрстки будет достигнута.

(Грозил голодом не ближние месяцы, замысел был – кормить лето).

Тем временем подошло 14-е февраля и долгожданное открытие прерванных заседаний Государственной Думы. Русское общество с нетерпением ожидало взрыва, особенно от первого дня. Тем более готовились совершить такой взрыв лидер Прогрессивного блока Милюков и левый лидер Керенский: их уже заранее исторические речи должны были создать этот заранее исторический день Государственной Думы. С жаждою собралась публика на хорах Таврического дворца: какой оглушительный разгром ожидал правительство в ближайшие часы! И сам Председатель Родзянко предсмаковал не хуже других – но по деревянному уставу Думы не мог отказать министру, неожиданно попросившему слово. (Почти со времён Столыпина отвыкли, чтобы министры сами просили слово, – уж они рады помолчать в ложе, когда их не слишком сильно бьют).

Это был министр земледелия Александр Александрович Риттих, за три месяца почему-то ещё не сменённый, только что воротившийся из поездки по 26 хлебным губерниям (уже и доложивший Государю о своих намерениях). Он вышел на трибуну с тоном примирения – совершенно, конечно, не в рост пылающим политическим задачам Думы, и более чем на час сорвал её накал, да просто погубил исторический день и широкие принципиальные политические прения своею скучной продовольственной конкретностью, – всем процитированным выше.

Несколько лет правительство ушмыгивало из своей думской ложи, министры избегали выходить объясняться с Думою – и это было плохо, и поносилось заслуженно. Но вот министр выходил с подробными объяснениями, терпеливо присутствовал на целодневных прениях, готовно поднимался давать новые и новые объяснения, – и тем более не угодил!

Александр Риттих, выпадавший из традиции последних русских правительств – отсутствующих, безличных, параличных, сам из того же образованного слоя, который десятилетиями либеральствовал и критиковал, Риттих, весь сосредоточенный на деле, всегда готовый отчитываться и аргументировать, словно нарочно был послан судьбою на последнюю неделю русской Государственной Думы, чтобы показать, чего стоила она и чего хотела. Всё время её критика была в то, что в правительстве нет знающих деятельных министров, – и вот появился знающий, деятельный, и на самом ответственном деле, – и тем более надо было его отвергнуть!

Как ни смягчал он своим предупредительным, даже почтительным отношением к Думе:

Я подчёркиваю, что я решил на эти меры не сам, а по одобрению и согласию, которые представляются весьма авторитетными: основания развёрстки были указаны Государственной Думой (шум слева), они повторены Особым Совещанием, –

так тем обиднее, что он взял *нашу* мысль, но проводит её не теми руками! что он «искусно подставляет себя под знамя общенационального дела». Риттих уже тем был нуден, что отсюда, с думской трибуны, рассказывал всем известное: как после тёплой сиротской зимы 1915-16 необыкновенно сурова зима 1916-17, с конца января почти три недели непрерывных мятелей и заносов, остановивших всякое железнодорожное движение и хлебный подвоз. И уж тем был особенно ядовит, что осмеливался не всю вину брать на обречённое бездарное правительство, которое одно только и мешало русскому счастью:

Но нет уверенности, что поступательное движение хлебных поставок сохранится. И не весенняя распутица страшна, она наступит не во всех местностях сразу, – опасно неуклонно отрицательное отношение к действиям министерства земледелия со стороны *известного течения нашей общественной мысли*, такого крупного, что имеет способы внедрить свой взгляд в самую толщу населения. Все меры представляются этой критикой как принятые правительством, не пользующимся доверием, и стало быть неправильные и обречённые на неуспех. Зачем же держать флаг недоверия к правительству во что бы то ни стало, не вникая в сущность, не дав себе труда проверить последствия? (Шум слева. Голоса справа: «Дайте слушать, что это такое!») Хотят, чтобы в самой толще нашей деревни знали: не делайте этого, не везите хлеба, потому, что к этому вас призывает правительство. (Шингарёв: «Неправда!» Справа: «Браво!» Воронков: «Много смелости!») Меня упрекнули в смелости. А я – боюсь этой политики больше, чем всех распутиц, я боюсь, что она погубит дело. (Справа рукоплескания). Крестьянский хлеб вы путём расчёта не получите: крестьянин сейчас не нуждается в деньгах. Вот если бы общественность внушала крестьянству, что этого требует война и родина, то хлеб пошёл бы вдвое и вчетверо быстрее. Где случайно не оказалось противодействующих сил, там мы видим результаты изумительные.

В некоторых губерниях хлеб так повалил, что поволостной развёрстки даже не делали, например в Самарской: до 1 декабря едва закупили 4 тысячи пудов, а за декабрь привезли 19 миллионов.

Но там не проник этот яд: что это делается правительством, а потому не слушайте. Если бы мы все могли бы объединиться на почве простой искренности, не считаясь, кто к чему принадлежит, а только – желает ли своей родине добра...

А что предлагают критики? Реальных непосредственных мер не предлагают, а только – новые обсуждения, съезды. Недавно осенью был этот гигантский съезд, и только подрезал и предрешил всю участь продовольственной кампании, теперь приходится отчаянными усилиями поправлять. Я со страхом смотрю на эту политику разъединения потребителей от производителей. Все земства признают меры правительства правильными, даже единственно возможными, и на всё ставится штемпель недоверия: это придумано правительством и может повести только к краху. Если, не дай Бог, этот крах случится, то, господа, *придётся разобраться, где его причина*. Неужели около этого громадного дела, которое имеет такое страшное значение для России, мы будем продолжать вести политическую борьбу? Я с волнением буду ждать ответа от Государственной Думы. (Рукоплескания справа и в правой части центра).

(Этим и опасно было его ненужное выступление, что он отрывал от Блока его правую часть, которая шла не обязательно только принципиально против. Он срывал тактику Блока – слитное психологическое давление на власть).

И – ждал, сидел в министерской ложе, у подножья ораторов и лицом к депутатам.

Но Прогрессивный блок уж разумеется не стал обсуждать пустяковое заявление Риттиха, соотношением 2:1 Дума отодвинула это. А решили заслушать и обсуждать общее заявление Прогрессивного блока. И хотя оно по видимости касалось опять того же продовольствия, транспорта и топлива, но – в *общем* ракурсе, в том смысле, что ни один из этих вопросов нельзя решать как таковой, но прежде

необходимо, чтобы люди, управляющие страной, были признанными вождями нации и встречали бы поддержку законодательных учреждений... Власть, которой бы каждый гражданин мог радостно повиноваться.

А пока это не так, без коренного переустройства исполнительной власти, нельзя даже обсуждать ни продовольствия, ни транспорта, ни топлива. И пусть эта ничтожная так называемая власть ответит:

Что будет предпринято для устранения вышеизложенного нетерпимого положения вещей?

И так – снова могло политься торжественное течение думских заседаний, и выдающийся умник России и лидер её либералов и центра получал возможность произнести свою общеполитическую возгласительную речь, – очень высокого и широкого значения, разумеется не о хлебе. Милюков:

Отношения между правительством и Государственной Думой – единственный вопрос текущего момента.

Но не обошёл и Риттиха, чьи рассуждения

показали нам наглядно неспособность этих людей захватить вопрос во всей его широте и во всей его глубине. Самоуверенность, самодовольство, свобода обращения с фактами, неуважение к аудитории. Ни в одном намёке его речи не чувствуется понимания, что вопрос о продовольствии это не только...

не только... не только... о жевательных движениях зубов. Вопрос о продовольствии это – и почему преследовали попытки Земсоюза и Горсоюза самим, без правительства, решать народно-хозяйственные проблемы? И зачем закрыли Вольно-экономическое общество марксистов?...

А Милюков способен действовать и самыми строгими научными методами. Да вот, пожалуйста, – диаграмма, в его руках диаграмма, и показывается всей Думе. Объяснений подробных он не даёт (без большой науки депутатам в это не вникнуть), но все могут видеть взлёт:

Вот кривая, которая высоко поднимается вверх после установления твёрдых цен. А вот когда она начинает падать, – когда появляется Риттих.

И отсюда все видят, что

твёрдые цены – вызвали хлеб на рынок!

То есть: пока выгодно было продавать – не продавали, а как стало невыгодно – тут-то все и повезли. Водопады падают сверху. И – не было «патриотического порыва», а раз Риттих предоставил такую выгоду, оплатил гуж до станции, то стало и выгодно сам хлеб продать ниже стоимости. Наконец, разоблачил Милюков и цифры Риттиха, что в декабре-январе по сравнению с осенью заготовка хлеба возросла до 260%: так никто не считает, надо сравнивать с теми же месяцами предыдущего года -

и тогда заготовка упала в полтора раза и больше. Господину Риттиху верить не надо: он извратил идею, вырвавши её из связи, в которой она находилась. А её нельзя решить без решительного изменения внутренней политики.

А Керенский, в своей тоже исторической речи, почти и не связывался с Риттихом:

этот господин, которого здесь в Думе многие называют «гениальным», этот первый ученик Столыпина свою школу прошёл на разрушении сельскохозяйственной общины

(тепло любимой издали и трудовиками и кадетами), весь его «патриотический порыв» – это классовый сговор помещиков. И получалось в обычном сумбуре Керенского, что свободная торговля так же плоха как и развёрстка, нетвёрдые цены как и твёрдые, экономический анархизм как и государственное насилие.

Тут ещё, при неполном зале, депутаты всё время сыпали в буфет, и нигде, кроме буфета, продовольственного вопроса не вспоминали, дискуссия шла общеполитическая, самая принципиальная.

Риттих, как терпеливый ученик, смиренно высидел весь день, так и не услышав больше о продовольствии ни от кого из думского большинства, а только из меньшинства – от правого профессора Левашова:

Огромные запасы важнейших продуктов искусственно изъяты из употребления и преднамеренно скрыты в складах городских ломбардов, банков, акционерных товариществ и компаний – в ожидании более высоких цен.

И называет много городов и примеров – скрытые запасы спичек, мыла, риса в кавказских городах, мануфактуры в Старом Осколе, муки и сахара в Тургайской

области, на 2 миллиона кож в Нижнем Новгороде, искусственный нефтяной голод от каспийских нефтедобывателей, – это только всё уже раскрытое, но тысячекратно же не раскрыто? Одни воют, а другие?

Однако, в чём только власть не понося, – либеральные думцы никогда не обвиняют её в потворстве промышленным компаниям и банкам.

Да им же надо голосовать теперь свой запрос:

Что будет предпринято для устранения нетерпимого положения?...

И надо же обсудить незаконность изменений в составе Государственного Совета!

И надо же запросить о незаконных действиях относительно профсоюзов и рабочих организаций...

А 16 февраля, хоть день и будний, – Дума не заседает.

А 17 февраля – надо вести прения по запросам. И вот старательный этот Риттих, аккуратно являсь снова к началу, просто уже раздражая думское большинство, пристраивается теперь как бы к ответу на запрос (поскольку там и о продовольствии упоминалось) – и нельзя не дать ему слова, – и вот он опять на трибуне и опять о своём. Он отзывается и на крохи, что за два дня были брошены по его вопросу.

Я никак не мог понять, какая это кривая, о которой говорит член Государственной Думы Милюков.

(Почтительно, а тот его – просто «Риттих», и без «господина»).

С нашим статистическим отделением я просмотрел и понял, вернее – догадался. Оказывается, господа, это хлеб *заподряженный*, но не находящийся у нас. Действительно, когда свободная торговля была совершенно изгнана с рынка, был заключён ряд сделок о поставке хлеба. Эти сделки имели бумажное значение, поступление плачевное, а заподряд – к весенней навигации. Говорить о поступлении хлеба, когда есть лишь бумага о хлебе, такими диаграммами занимать внимание Государственной Думы я не считаю возможным. (Справа: «Совершенно правильно!» Центр и левая не поддерживают). Разумеется, я докладывал относительно того хлеба, который не в предположении, но реально получен в наши амбары, в приёмные пункты близ железных дорог, в склады близ мельниц, в сушилки.

И вот тогда получается: в результате убеждения и вопреки твёрдым ценам – 260%. Но если и так посчитать, как хочет г. Милюков, сравнивать месяцы не с осенью, а с прошлогодними теми же, то всё равно получится рост: в декабре – 196%, в январе – 148%.

Он не говорит – Милюков глуп или нечестен.

Я не позволю себе объяснять это теми мотивами, которыми член Государственной Думы Милюков объясняет *мои* слова и цифры. Я объясняю это простой ошибкой: кто-нибудь из секретарей... Что же касается заявления члена Государственной Думы Милюкова, что твёрдые цены *вызвали* хлеб на рынок...

то на земских собраниях только бы посмеялись. Риттих ссылается и на члена революционной 1-й Думы Жилкина, в те же самые месяцы, что и министр, объехавшего ряд губерний, он в газете напечатал: да, от твёрдых цен хлеб исчез, а с декабря появился, как расколдовало.

Прогрессивный блок молчит. Если истина не на нашей стороне – пропадай и истина.

Вообще говорить, что твёрдые цены вызвали хлеб на рынок, это я понимаю в виде остроумного парадокса. (Милюков: «И это говорит министр!», слева: «И это министр говорит, поразительно!»)

В Самарской губернии после возвания о нуждах армии вдруг обильно повезли хлеб безо всякой развёрстки – и что ж? *Общественность* кинулась предупреждать крестьян: «Не верьте, а то будете голодать».

Я считаю это очень близким к саботажу – ту *работу*, быть может даже и общественности, не знаю, как её назвать, разрушительную для интересов России.

К чему приведут крестьянские запасы, когда землю осквернит нога нашего противника? Быть может, сейчас решающий момент, и надо выбросить всё до последнего пуда, чтоб обеспечить успех. (Рукоплескания только справа. Милюков: «Надо иначе относиться к общественности») Что же, участь войны зависит только от снарядов, а не от хлеба? Можно ли хотя бы на минуту откладывать решение? Нужно единодушное обращение к России, к крестьянству – всё отдать ради войны и победы!

А что предлагает общественность и её Союзы? Не оплачивать гужевую перевозку, остановить развёрстку, вести учёт, учёт, и конечно побольше совещаний и, конечно, комитеты, составленные не из крестьян.

При таких комитетах вы ни одного пуда зерна не получите... Ещё внесли этот термин *аграрий*, покрывающий три четверти населения России. Я отлично помню обвинения, что спекуляция проникла в крестьянские классы,

и от этого спекулянта надо защитить городских потребителей. Непомерной защитой потребителя,

прямыми указаниями, что производителя надо сократить, – а его 18 миллионов хозяйств, – произвели этот страшный раскол, достигли, что главный производитель, крестьянин, вернулся со своими возами с базаров и перестал молотить хлеб, этот «аграрий» ничего не стал везти на рынок, и если мы прожили с августа по ноябрь, то исключительно благодаря хлебу помещиков, которые продолжали везти.

Очень это неприятное для Блока соединение, что в «аграрии» попали и крестьяне, не разделишь.

Тут были выпады лично против меня – первый ученик Столыпина, умоляю не поднимать меня так высоко. Я говорю: выход в том, чтобы вся общественность присоединилась бы к общему внушению крестьянам: везите всё до последнего! – и с волнением жду ответа, а меня упрекают в оптимизме. Но я безропотно снесу и буду счастлив, если всё обернётся против меня, а не против дела. Я понимаю, что нужно открыть известный клапан, надо найти виновного вне самих критиков, надо рушить систему, чтобы найти виновного. Так пусть нападают на меня, а деревенской России не мешают вывозить хлеба! (Рукоплещут только правые и правая часть центра).

Простая человеческая интонация, которую редко услышишь с думской трибуны, разве только от бесхитростных неумелых крестьян. Среди думцев не принято виниться, но – всегда оправдываться, но со страстностью и едкостью – прерывать, уничтожать других.

Что бы, правда, сейчас забыть партийные догмы, лидерское самодовольство, расчёты и счёты с врагами, очнуться: ведь Россия может погибнуть! И объединиться всем и единой грудью воззвать к деревенской России: спасайте, братья, нас грешных! мы тут передрались и напутали... Воздух недоверия можно сменить на воздух доверия – и в далёких волостях и рядом в столице, – так что булочных громить не начнут. И обойдётся.

Однако и Царское Село с гордо закинутой женскою головой не может уступить ни извилинки улыбки. И думские лидеры, затянутые инерцией вечных прений, возгласов с мест и голосований, возбуждениями, суждениями, разоблачениями и запросами, в этом тёмном закрытом зале, бывшем зимнем саду, не имеющем ни единого окна в Божий мир, а только мутно-стеклянный потолок, через который мерцающе проходят дневные отсветы, а в перерывах заседаний – ещё через восемь дверей, открытых тоже не прямо к свету, но в коридоры, – думские лидеры уже не могут остановиться, оглянуться, очнуться, переродиться.

Рука власти разобралась в своём конце верёвки – тёплая рука Риттиха ослабила её. Но отдалённая равнодушная рука Думы по-прежнему уверенно тянет свой конец. И – стягивается хлебная петля на питающем горле России.

Конечно, потянула достаточно и рука власти. Следующие ораторы напоминают, как затягивал её и министр внутренних дел Протопопов, задерживая поставки уже

осенью, в решающие недели, своим проектом отобрать продовольствие у министерства земледелия и вернуть свободные цены. Левый Дзюбинский уверяет, что есть ошибки в развёрстке по губерниям (даже, по думской страстности: во всех губерниях ошибки!) -

Неумелость развёрстки в том, что она произведена именно без совещаний с общественными организациями.

И, конечно, есть злоупотребления в том, как развёрстка доводится до крестьян.

Только при строго демократической общественности, когда всё население будет участвовать в комиссиях на строго пропорциональном представительстве...

(А на это нужны годы).

Думаю, что исчезновение с рынка хлеба – только случайное совпадение с опубликованием твёрдых цен. *Post hoc*, а не *propter hoc*.

(Уж где «шок», тут не перехокаешь... Просто сам по себе хлеб почему-то исчез).

Риттих нарушил твёрдые цены. Производителю подарено несколько десятков копеек на каждый пуд.

(Ты бы, мать твою за ногу, протащил груженую телегу девяносто вёрст по российской грязи – я б тебе сам подарил!)

Выпускают против Риттиха учёнейшего экономиста либерального лагеря Посникова, и он в просторной лекции долго, учёно разъясняет Государственной Думе и порочному министру: надо больше и больше обращать внимания на техническую сторону развёрстки.

Развёрстка продуктов – дело крайне деликатное!

(это нам скоро покажут продотряды)

она может явиться крайне опасной для спокойствия страны, её можно вести, только если на её стороне общественное мнение. А главное: как определить точные цифры, как рассчитать, сколько хлеба оставить для прокормления? Посников высмеивает вынужденно-поспешные, даже суматошные риттиховские сроки. И возвышенно объясняет нам, почему нельзя оплачивать крестьянского подвоза к станции: это не соответствует теории ренты и теории рыночных цен.

А ещё один многословный дотошный законник Прогрессивного блока Годнев (через несколько дней – министр Временного правительства), добираясь всё глубже к сути вещей, открывает нам такой корень зла: хотя Дума произвела закон, что скот можно убивать только 4 раза в неделю, – вопреки тому Риттих самовольно разрешил в предРождественскую неделю ежедневный убой скота.

Вот и всё, что либеральные ораторы находят сказать против Риттиха. Левое крыло ошеломлено таким министром: со столыпинских времён с ними не разговаривали так убедительно и настойчиво. Неважно, прав или неправ Риттих по существу, но он – царский министр, и поэтому он обязан быть глуп, туп, бессловесен и пуглив, – а Риттих нарушил весь кодекс. И ораторы не стесняются говорить о нём, как если б не дали себе труда его слушать, тот же Дзюбинский беззазорно извращает только что говорившего, только что из зала ушедшего министра: Риттих де обвинил крестьянство в непатриотичности. (Он как раз наоборот, изумлялся его патриотичности). Но в этом зале слева направо можно нести всё, что угодно, большинство глоток за оратора. Правый вскрикивает с места: «Передержка! Что он врёт?!», – но уже нет их сил протестовать и обсуждать. Так и закрепляется ложь в стенограмме навеки.

А левый оратор взнёсся на трибуну даже не для того, чтобы путаться в продовольственных подробностях, но поведать нам:

Никогда общественная атмосфера не была так насыщена жаждой обновления внутренней политической жизни, никогда не были *нервы так взвинчены*, и в то же время страна окутана такою мглой. Острота речей и страстность, с которой они выслушиваются...

освобождает от обязанности говорить по делу. А вот: почему не шлют на фронт

полицию? Разве крестьянам – нужна полиция?... И как смеет министр земледелия призывать крестьян к патриотизму, если само правительство не *уходит*, как от него два года требует общество, – где же тогда патриотизм самого правительства?

Да вот и решение продовольственного вопроса: пока у нас этот режим – у нас ни в чём не может быть справедливости. Из-за режима крестьяне и хлеба не везут.

Истинный виновник – самодержавный строй. Правительство, которое не желает уйти, – будет свергнуто по воле и желанию народа!

Савич. Он – земец-октябрист. Состоя в Блоке, он должен быть согласен с левыми о немедленной смене правительства и о многом другом. Но находит мужество возразить своим соблочникам, что по продовольственному вопросу

общественное мнение заблудилось. Очень мало лиц, которые разбираются беспристрастно и со знанием дела. И вопрос затуманен классовою рознью. Для блага государства надо найти среднюю линию.

Всё то, что происходило нынешней осенью, имеет глубокие и давние корни в психологии нашей страны и общества: издавна и правительство, и города, и наша интеллигенция привыкли смотреть на деревню, как Рим смотрел на свои провинции, как метрополия на колонии. Деревня – резервуар солдат и податей. Деревня должна дать возможно больше возможно дешёвых продуктов и потребить по возможно большой цене городские товары. И правительство, и города хронически обездоливали деревню. Мы привыкли думать, что раз мы много вывозим за границу, раз мы имеем в городах дешёвые сельскохозяйственные продукты и дрова, то всего этого у нас избыток. Но это было заблуждение, а теперь оно стало колоссальной ошибкой. Никогда у нас чрезмерных запасов не было. Чтобы заплатить подати, которые из неё выколачивались, купить водку, к которой она привыкла, приобрести товары второго сорта по большим ценам, деревня вынуждена была отчуждать не от избытка, а от голодания. (Слева рукоплескания: «Верно!») И создалось мнение, что с нашей деревней церемониться нечего, она всё выдержит и даст. И война отозвалась на деревне неизмеримо тяжелее, чем на городе. Из деревни выкачаны все зрелые мужские руки.

(Левые начали с аплодисментов, не предусматривая, куда Савич повернёт. Стихли теперь).

Процент призванных там гораздо выше, чем в городе; в промышленность лили капиталы, промышленности давали освобождение от повинностей, – деревне не давали. От первых же затруднений с хлебом начались по отношению к сельскому хозяйству такие репрессии, которых промышленность никогда не испытывала: реквизиции по ценам, подчас ниже себестоимости. («Верно!», неизвестно с какой стороны). И вот, сперва перестали торговать. Но ужас пошёл дальше: перестают сеять. И у городов и у правительства мысли не было, что деревня может когда-нибудь оказаться не в состоянии дать.

А осенью 1916 сельское хозяйство было добито психологически: началась большая травля против «аграриев», сведение политических счётов.

«Биржевые ведомости» предлагали: *взять с аграриев контрибуцию*, понизив хлебную цену на полтинник. Ошиблись только в том, что крупное производство не может не выбрасывать хлеба на рынок, оно остановится тогда, а крестьянство – может без рынка и обойтись.

Полемика о ценах восстановила деревню против города. Много испорчено. Деревня замкнулась. Она не имеет возможности ничего приобретать за деньги, и она от этих денег попросту отказалась. Будь цены немного повыше – и развёрстка прошла бы неизмеримо легче. *Правительство виновно в том, что слишком прислушивалось к тому гвалту*, который был осенью по поводу цен.

Но сейчас уже нельзя обойтись без развёрстки, потому что в обмен на продукты мы не в состоянии дать деревне товары, в которых она нуждается. Львиная доля того, что в стране имеется, идёт в города. Вы все получаете по карточке 3 фунта сахара в

месяц, а деревня и фунта не имеет. И так во всём. Пусть Риттих сделал развёрстку не совсем так, как ему рекомендовали, но развёрстка есть хлебный налог, а сбор налогов нельзя основывать на одном патриотизме, нужна и власть. Теперь развёрстку надо выполнить силой власти.

(Стук сапогов и прикладов... Неизбежность идёт на Россию... Что бы далее ни случилось – от этого вопроса России уже не уйти. Вся история хлебной повинности тем и поучительна, что когда подходит необходимость, её готовы проводить деятели самых противоположных направлений. Только не всем дана властность и жестокость осуществить её). Впрочем,

это не должны быть военные реквизиции, то будет грабёж, но какие-то принудительные меры придётся... И – застраховать деревню от низких твёрдых цен в будущем. Дайте столько, чтоб сельское хозяйство могло не погибнуть. (Рукоплескания в центре и в левой части правых. Кадетам и левым не нравится). Иначе скоро нельзя будет пахать, сеять, собирать. Если нам нечем будет работать, то и не требуйте, чтоб мы что-нибудь сделали. Низкие цены на хлеб ещё и тем опасны, что гонят сельского хозяина трудиться в город, где он получит громадный заработок. А посевы – бросит.

Шульгин: Рабочие, приказчики, врачи, адвокаты, журналисты – они все могут без боязни отстаивать свои экономические интересы и оставаться патриотичны, но «аграрии» – ни в коем случае. И напрасно объединённое дворянство кровью своего сердца пишет резолюции; напрасно гвардия укладывает свой офицерский состав в бесконечных атаках, – они *аграрии*, и этим всё сказано. Аграриям что нужно? Полтинник на пуд, больше ничего.

В твёрдых ценах виновны мы все, потому что среди нас были люди, которые отлично понимали, куда мы идём. Но, *аграрии*, они не смели возражать, они должны были отойти и дать совершиться этой пробе. Они и свой собственный хлеб отдали по этим низким ценам. А вот крестьянство оказалось менее уступчивым. Я готов его за это осуждать, потому что я ведь не принадлежу к демократическим партиям, я вовсе не думаю, что *vox populi – vox Dei*. Но переупрямить ли миллионы людей, из которых добрая половина к тому же хохлов? Я думаю, наступило время отказаться от идолопоклонства перед твёрдыми ценами (голоса: «Правильно!») и одобрить действия министра земледелия.

Выступает полтавец и предлагает: для производящих губерний (для своей!) указать норму потребления и понизить качество пшеничной и ржаной муки – более простой помол.

Аграрий предлагает жертву... Но сидят Милюков, Керенский, Чхеидзе – они, наверно, и не понимают, что это – жертва. Да они – знают ли, что такое *помол*?

Выступает правый, Новицкий. – Дело совсем не в прокормлении Петрограда и Москвы, о чём больше всего заботятся, это – мелочь по сравнению с общегосударственной задачей.

Продовольственное дело в корне было поставлено неправильно, в корне ведено преступно, это была величайшая ошибка партии кадетов: на совещание, определявшее твёрдые цены для земледелия, для России, состоящей на 91% из крестьян, послать делегатами Громана и Воронкова, у которых земля только на ботинках.

(Да ведь у всей кадетской партии так, кого же слать?)

А правительство не должно было так легко соглашаться на эти цены. Создать твёрдые цены на хлеб, обрабатываемый детьми на нетвёрдых ногах!... Стомиллионное крестьянское население послало своих мужчин в первые ряды армии. Солдатка, обливаясь потом, варит, кормит детей и в это же время обрабатывает десятину. Три-четыре дня идёт на то, что доброму косарю на один день, а жнейкой в три часа. А в это самое время Громан и Воронков подают протест, жалкое создание маленьких городских людей, не знающих земли, не знающих великой России, – протест, что цены на хлеб назначены слишком высокие.

А Дзюбинский не знает *дела*, я б ему и курицу не поручил выкормить. Не знают дела и думские уполномоченные по хлебу, уйти бы им.

Какое гнусное оскорбление! – и это передовым представителям общественности! это лучшим выразителям народных интересов! Да лидеру кадетов и за себя надо оправдываться, нельзя же, чтоб ловили на каких-то диаграммках-цифрах. Щёки не горят, но – надо. Выступает с личным объяснением Милюков. О диаграммке – ну, решительно ничего не придумать. Но с цифрами всё-таки можно попробовать извернуться: да, он говорил по сравнению с предыдущим годом, но это не значит в абсолютных цифрах и это не значит в процентах к прошлому, а в процентах к годовому поступлению, в процентах, так сказать, к будущему. Может быть, Риттих и добыл больше, чем в предыдущие месяцы, может быть больше, чем в такие же месяцы прошлого года, – но почему это не ещё-ещё-ещё больше? Вот как надо было понимать, и Риттих вводит Думу в заблуждение, а лидер кадетов безусловно прав.

А больше – сказать о продовольственном вопросе ему нечего.

Но теперь, разбереженные до нутра, полезли на трибуну *аграрии*:

Городилов (Вятская губ.): Как крестьянин живу в деревне. Твёрдые низкие цены на хлеб погубили страну, убили всё земледельческое хозяйство. Деревня сеять хлеба больше не будет, кроме как для своего пропитания. Кто же, господа, виновник? Закон о понижении твёрдых цен издала сама Государственная Дума по настоянию Прогрессивного блока с участием Милюкова, Шидловского и Шульгина. Нас, крестьян, в Совещание не допустили, а сами кадеты жизни деревни совершенно не знают.

Вы, господа, обвиняете министров, а посмотрите, кто поднимает восстание в стране? Это Прогрессивный блок. (Справа голоса: «Браво!») Вы, господа, опять закрепили нас, крестьян, и заставили крестьянских жён и солдаток сеять поля и отдавать хлеб по самым низким ценам в убыток. За наш счёт хотят жить люди других классов. Все, кто сколько может с крестьянина взять – берёт. Поэтому деревня ничего не стала продавать городу. Слава Богу, нужды не имеем теперь, благодаря казённой монополии, которая прекращена.

(Водку не продают).

Разве могут быть твёрдые цены только на хлеб? А – на железо, гвозди, ситец? За них берут, кто сколько хочет, для купцов и фабрикантов твёрдых цен нет, они только для одного несчастного крестьянина. Вы, господа кадеты и прогрессивный блок, с целью понизили цены на хлеб, а обвиняете во всём правительство. Из своей среды шлёте и уполномоченных для продовольствия по всей стране. Ужели у нас нет людей избрать на местах, которые бы правили этим делом?

(Молдавский помещик): Хотел бы я видеть, как может центральное ведомство заставить многомиллионное крестьянство собрать хлеб, если крестьянство убеждено, что хлеб от него берут недобросовестно, не по той цене, по которой этот хлеб крестьянину стоит.

(Пензенский): Когда вините во всём правительство – на себя обернитесь сначала: вы сидели в Особом Совещании по продовольствию, ничего не понимая, и только помеху оказали. Войдя в Совещание, нельзя быть партийным. Мол, аграрии – такой класс, который надо давить, губить. А у вас мудрости нет, но претензий очень много. Те, кто в деревне живут, такого не понимают. Стыд один! Твёрдые цены – главнейшая причина нашей продовольственной разрухи.

На местных совещаниях, вырабатывавших цены, было по пять городских обывателей на одного земца, и они слышать не хотели, что цена не может быть ниже себестоимости. По твёрдым ценам – хлеб *пошёл* на рынки?

Я удивляюсь, как могут приводить такие соображения люди, хоть сколько-нибудь знающие условия сельского хозяйства. Или эти люди близоруки или отстаивают самолюбие.

Возвысилась стоимость производства хлеба – и бросились охотно продавать его по низким ценам? Если хлеб и шёл на рынок, то по горькой нужде – расплатиться с долгами летнего времени.

Какой же это патриотизм – губить страну, делать разлад в продовольствии? Никакого патриотизма у этих господ нет вовсе. Люди из партии народной свободы лишены чувства народной свободы. Что делать – мы и все знаем, а вот укажите – как? Может быть потому они и не указывают, что если б указали – получилось бы вроде несчастных хлебных цен. Сколько я ни присматривался к господам с левой стороны – у них очень много критики, очень много шума, но никакого творчества не бывает.

И Риттиху возражает: ещё и сейчас не поздно повысить твёрдые цены – и по ним оплачивать развёрстку. Во всяком случае, эти цены будут ниже спекулятивных. А хлеб, оставшийся сверх развёрстки, – пусть продают по открытым вольным ценам, какие сложатся.

(Этот план в феврале 1917 излагает аграрий, зубр, помещик. И потому это – реакционный замысел, не приемлемый для вольнолюбивой публики. Но перечтём его глазами 20-х годов – и мы узнаем НЭП, приветствуемый как благословенная свобода).

(Русский националист из Киева): Не может русский гражданин всё время оставаться в состоянии высокого подъёма, когда детям хлеба нет. А мы уже больше года слышим, что самый важный вопрос – это борьба с правительством.

За что ни возьмись, хотя бы *хвосты* разогнать – нужна борьба с правительством. А вот, мол, будет правительство доверия – и сразу появится хлеб. Но кто проповедует правительство доверия? Те же самые группы, которые в 3-й и 4-й Думах не предвидели немецкой опасности, тормозили военные кредиты.

Фракция русских националистов давно предлагала отказаться от твёрдых цен. Не в том даже дело, что они установлены несвоевременно или неправильно определена себестоимость:

Твёрдые цены вообще не имеют никакого основания, хотя бы потому, что в течении года растут цены на остальные предметы. Если кругом всё нетвёрдо – как вы заставите быть твёрдыми цены на хлеб?

Разумные требования производителей понимаются как злые козни аграриев. А Блок предлагает непрактичные меры, не отвечающие здравому смыслу. Сейчас у нас продукты есть, мы лишь не умеем их доставить. Но может оказаться, что и продуктов самих не будет скоро.

(Курский помещик) – А в Курской губернии хлеб доставили, но лежит на станциях, а он весь – сырмомолотный, со снежком и льдом. При ненастной весне, при дожде – всё сгниёт. То собирали сухари на армию – и отдали крысам. То требовали скот на станции – и там он гиб от голода. Топлива нет – а в Петрограде нисколько не сокращается освещение, вечерняя торговля, театры, кинематографы. А сколько в Петрограде праздного лишнего населения, – зачем оно здесь? Разгрузить бы столицу.

(Эта мысль кажется наглой: нам, столичным, самим судить, не курскому помещику указывать. Петроград переполнен, да, но толпы беженцев – это всё армия свободы).

(Депутат Воронежской губернии) – Мы достигли момента, когда уже нечего говорить о политике. И в Воронежской: станции забиты хлебом, а вагонов нет (а где хлеба нет – там вагоны есть). Государственная Россия мало знала хозяйственность, были уверены, что проживём без экономии, – а сельская Россия этой хозяйственностью жива. Когда поезда заносит снегом – женщины, подростки и старики безропотно идут с лопатами отрывать их. В Саратовской губернии триста быков умерло от голода, потому что не дали сена, стерегли его «для армии», будто быки не для армии. Берегите деревню!

– Де-ревню?? – изумляется Керенский.

Помогать деревне, забывая о городе? Но ведь мы-то живём для городской культуры, ведь без города деревня не может ничего совершить! город – артерия государственного творчества!

Так доказано, что твёрдые цены – плохо? Скобелев (с-д) и так повернёт:

Если правительство спокойно шло на твёрдые цены, то лишь для того, чтоб продемонстрировать на спине страны их несостоятельность.

(Вот и урок, как уступить).

Тарасов (вятский крестьянин, трудовик). – Что получили по твёрдым ценам мы, крестьяне? Керосин, железо, товары, ситец, сахар? Ничего.

В каком кругу живут те мародёры, которые так обирают крестьян? Ввиду послабления власти мародёры взяли всё народное богатство в свои раздутые карманы. Для нетрудящихся масс в городах и столицах я бы не обещал вам хлеба по твёрдым ценам. Но у нас его взяли – и накормят мародёров тоже. И тех, кто в театрах и кинематографах веселится перед народным плачем. У них раздаются разные там песни, танцы. Вот почему жаль давать хлеб по твёрдым ценам кому-нибудь, кроме армии.

Макогон (екатеринославский крестьянин): Кого вы видите в деревне? Одних старух с детьми в летнее время, да много домов пошло на развал. Кого вы увидите в поле? Седовласого старика 60 лет, кому время только на покой, со внуками и женщинами. И от этого старика вы хотите, чтоб он прокормил не только армию, но и всю Россию?

А в городах? Все дома заняты, молодые люди и средних лет, толпа праздных, заведующие и командующие, хоть отбавляй. И сколько получили все отсрочки от воинской повинности?

Крестьянские дети сложили кости в боях – а эти? Крестьяне в последнее время поняли, что наших всех забрали – а кому-то дали отсрочки. И какую ж они цену заплатят тому старику за кусок хлеба – твёрдую или повышенную? Они получили цену жизни, остались на месте и спаслись.

Кто пострадал – крестьянин или помещик, различать не надо. Заплатите вы всем – и получите хлеб. Разве мыслимо отдавать, когда за пуд ячменя вы не купите полфунта гвоздей? Крестьянин боится будущего и страшного голода. Если и дальше твёрдые цены – пойдут посевы на сенокосы.

Один министр твёрдо сказал, – а мы ему опять препятствия? У нас голос маленький, мы не можем сказать, нам мало верят. Но правду вы должны понимать, и если всё в дальнейшем не будет усмотрено – то может выйти плохим отражением.

Конечно, в думских стенограммах пропорция изложения другая: каждый такой серый – на двух страницах, а кадетские профессора – на десяти и пятнадцати. Конечно, всех этих серых учёные думцы слушают брезгливо, все доводы мужичьи – как серая вода. То ли дело – свой Милюков, свой Посников, теория ренты. Это так говорится – Государственная Дума, молодой русский парламент, а на самом деле 80% думского времени проговаривает всего 20 человек, – и этих 20 случайных политиков, очевидно, и надо понимать как истинный голос России.

И счастье, что среди тех двадцати есть Андрей Иванович Шингарёв – никак не случайный, но сердце сочащее, но закланец нашей истории.

Однако же, если ты в двадцати – то тебе надо живо поворачиваться и отвечать часто. А если ты в кадетской партии – то не перестать же быть кадетом, но строгать лишь по той косой, как надо твоей партии, и защищать своего лидера, и свою повсегдашнюю правоту. Не забывать сверхзадачу своей партии и своего Блока: в конце концов важен не хлеб сам по себе, – важно свалить царское правительство. И если замычали с трибуны, что надо б отменить твёрдые цены, – откликнуть с места:

Сами не знаете, что это вызовет! С огнём играет!

А если лидер не сумел оправдаться в проклятых цифрах, так помочь же ему – надо

выходить на трибуну: да, хотя поступление хлеба при Риттихе увеличилось, но можно считать, что оно уменьшилось – по сравнению с потребностью, сколько нам стало надо. Чтобы свести к нулю весь успех министра: он

не сообщил самого интересного – что предпринимается для будущего сельскохозяйственного сезона? Где забота министра о расширении посевной площади, доставке семян, машин?

(Ах, Андрей Иванович, этот бы сезон пережить, этот месяц, эту неделю, даже сегодня до первого перерыва заседаний, как придут вести с улиц... Для критики поля неограничены: а говорил бы министр о будущем сезоне – можно бы разносить его, что не говорит о сегодняшней нужде).

Министр не сохранил спокойствия, необходимого для государственного руководителя. Не такого выступления мы ожидали. Политика мешала ему делать священное дело продовольствия. Неосторожно, господин министр. Винил в неудаче твёрдые цены, Громана, Воронкова, печать... Да, конечно, прошлые ошибки были, и трудно представить, чтобы в огромном государственном деле не ошибались люди, им управляющие,

(но тогда чего же не может Блок простить правительству?)

или не ошибались бы критики со стороны. Ну, были назначены низкие твёрдые цены. Я не буду возвращаться к этому моменту. Возможно, что отдельные исчисления были неточны.

(И этот истинный сострадатель русского мужика, 14 лет назад ещё не член к-д, написал «Вымирающую деревню», где подсчитывал сотые доли копейки крестьянского бюджета!)

Но несравненно более серьёзная ошибка, что не было государственной власти, которая проводила бы продовольственное дело планомерно...Передали продовольствие какому-то Вейсу. Да кто такой Вейс? (Голоса: «Дурак! Немец!»)

Там, где Шингарёва ведёт партийный долг, он мельчится, а может быть и кривит. Изо всех сил защищает все виды общественных комитетов, особенно Земгор, приводит комичные заслуги каких-то льготно-научных сборников земских старателей, льготно-освобождённых от воинской службы. Не замечает, как противоречит себе:

Что это за недоумение, будто где-то можно обойтись без политики? Господа, ведь ваше собрание – политическое, вы – не продовольственный комитет. Политика – это существо государственной жизни. Если вы устранили политику – что же у вас останется? Величайшее заблуждение, что с каким-нибудь государственным вопросом можно и нужно не связать политику.

И тут же изломно возвращает правительству укор:

Не вводите вашей безумной политики в продовольственное дело! У нас диктатура безумия, которая разрушает государство в минуту величайшей опасности.

Но и в партийные минуты нет в его речах высокомерия и злобности, как у других лидеров оппозиции. Он выговаривает все эти партийно-обязательные фразы – а слышится его грудной голос, придыхательно взволнованный русскою бедой. Он указывает и подлинно слабые места у Риттиха: торопливость в переоценке российских возможностей, поспешливость убедиться в торжестве патриотического порыва – там, где, может, развёрстка была слишком легка, а вот Тамбовская никогда не вывозила больше 17 миллионов пудов, а на неё наложили 23, – и придётся сдавать с десятины по 30 пудов, а в Воронежской по 40...

Он сам в эти цифры вслушивается, всматривается, хмурится (их запомнить не худо б и нам, скоро придётся сравнивать), – он ощущает эти неоглядные просторы, застрявшие жизненные массы амбарного зерна, и тёмное (и разумное) мужицкое недоверие к городским обманщикам. И вдруг, как очнясь, свободную голову выбив из партийной узды, он объявляет опешившей Думе:

Министр прав, когда говорит: помогите и вы! Да, господа, хлеб надо повезти.

Если отдавали своих детей, последних сыновей, то надо отдать и хлеб, это священный долг перед родиной.

А беспокойный, невиданно деятельный, неутолчимый в спорах министр земледелия – снова на трибуне! Но Дума не желает больше слушать его, и вся левая часть дико шумит, требуя перерыва.

Родзянко: Покорнейше прошу занять места. (Шум. Голоса слева: «Перерыв!» «Перерыв!» «Это неуважение к Государственной Думе!»)

Родзянко еле успокаивает. Первые слова речи Риттих произносит несколько раз: Господа, с величайшим... (Слева шум: «Перерыв!») Господа, я буду очень краток. Я с величайшим... (Слева шум). Я с величайшим удовлетворением, скажу прямо (слева шум: «Постановление Думы!»), с величайшим удовлетворением, прямо с радостью выслушал ту часть речи члена Думы Шингарёва, где он так искренне говорил о призыве к народу, о гражданском долге. Министерство земледелия готово дать все объяснения в сельскохозяйственной комиссии Думы – как не допустить сокращения посевных площадей. Но, господа, я с величайшим смущением выслушал всё остальное из продолжительных речей членов Думы Милюкова и Шингарёва. Ведь вот второй оратор выходит из той партии, и что же нам приходится слышать? Член Думы Милюков обвиняет министра земледелия то – в преступном оптимизме, то уже – в пессимизме, не помню – преступном ли. О чём они со мной спорят, всё время доказывая, что я виноват? Тут и предмета спора нет: я чувствую себя неизмеримо более виноватым, чем они стараются доказать какими-то цифрами. Да, господа, днём и ночью меня гнетёт мысль, что я не сделал даже тысячной доли того, что должен был в эту страшную историческую минуту. (Справа рукоплескания). К несчастью я простой смертный, а в это время Россия должна была бы выдвинуть людей титанической силы. Я виноват, что такой силы у меня нет.

Беспристрастно: ну, отчего бы таким тоном не говорить и лидерам оппозиции? Тогда б и столкнуться не мудрено. Но титаны оппозиции кричат:

Аджемов: Уходите!

Милюков: Земля не клином сошлась!

Риттих: Да можем ли мы размениваться сейчас на чисто личную политику? Ведь это прямо ужасно. Господа, я мечтаю, что сюда выйдет не оратор, а просто человек, до самозабвения любящий Россию... Мне кажется, и быть может все это чувствуют, мы переживаем торжественную историческую минуту. *Может быть последний раз рука судьбы подняла те весы, на которых взвешивается будущее России .*

Но у нас-то суббота и воскресенье, заседаний нет. То – умер член Думы – некролог, траур, панихида, три дня деловых заседаний нет. Только 23 февраля в полдень, когда на Петербургской стороне началось то самое, да никто в мире ещё этого не понимает, – опять открывается рядовое заседание Думы с обсуждением надоевшего хлебного вопроса.

Уже громят петроградские булочные, толпа останавливает трамваи, теснит полицейские посты. Кем-то принесенные смутные слухи доходят до думцев в перерывах.

Но в беззаконном электрическом зале с ранней ночью под стеклянной шатровой крышей всё выступают знатоки и эксперты либерального лагеря, уже и 24 февраля после полудня, – снова Посников, Родичев, Годнев, и, конечно же, каждый день Чхеидзе, и каждый день Керенский, и, наотмашь выплюхиваясь из этого надоевшего бесплодного вопроса, взмывом рук и возгласов, – не верить этому Риттиху!

Родичев: И да будет с ним покончено с сегодняшнего дня!

Чхеидзе: Господа! Как можно продовольственный вопрос в смысле чёрного хлеба поставить на рельсы?... Единственный исход – борьба, которая нас привела бы к упразднению этого правительства! Единственное, что остаётся в наших силах – дать улице здоровое русло!

Так заканчивался двухсотлетний отечественный процесс, по которому всю Россию начал выражать город, насильственно построенный петровскою палкой и итальянскими архитекторами на северных болотах, НА БОЛОТЕ, ГДЕ ХЛЕБА НЕ МОЛОТЯТ, А БЕЛЕЕ НАШЕГО ЕДЯТ, а сам этот город выражался уже и не мыслителями с полок сумрачной Публичной библиотеки, уже и не быстрословыми депутатами Государственной Думы, но – уличными забияками, бьющими магазинные стёкла оттого, что к этому болоту не успели подвезти взаваль хлеба.

4

Названо было Саше – набережная Карповки 32, а спросить не самого Гиммера, но его жену госпожу Флаксерман. Это оказалось на углу улочки Милосердия, нелепое название, наверное какое-нибудь благотворительное учреждение на ней, и прямо против черно-серого уродливого храма, глыб нарощенного камня, черносотенного гнезда Иоанна Кронштадтского, – в скудном освещении на убогой набережной Карповки он виделся чёрной горой.

От одного запаха ладана, который может донестись из церкви, Сашу всегда тошнило. Вот уж психоз эта вера, так психоз. Пока есть Бог – не может быть свободы.

Саша шёл к Гиммеру весь напряжённый, собранный и с жадным интересом. За годы военных болтаний по всяким дырам он так отвык от подлинной социалистической атмосферы! Эти три месяца, как он счастливо перевёлся в Питер, он использовал для обдумывания, поисков и рекомендаций, чтобы наконец повидаться с каким-нибудь заметным теоретиком социализма. Не всё это время он и искал, первый месяц просто наслаждался тем, что дома, что опять в Петербурге, и вступил в трудное состязание за Еленьку, почти упущенную. Но после первого отдыха стала нарастать интеллектуальная пустота, нехватка серьёзного разговора и серьёзного революционного дела. Простительно было обывательски закисать по захолустным армейским частям, как его до сих пор кидала судьба, – но уж в Питере-то?!

Однако и обезлюдел Питер за время войны, люди революционных настроений куда-то все рассеялись, истратились или припрятались, переличились, это не было то свободно кипящее общество, как раньше. Социалистические кружки в столице если и сохранялись ещё каким-то пунктиром, то настолько несоединены или увяли, что даже некуда пойти, не с кем потолковать. Направлений угадывалось много, а заметных личностей не было. И среди них сам Саша избрал Гиммера как недюжинного и к нему пробивался. Гиммер, подписываясь «Суханов», был важнейший автор в горьковской «Летописи» – почти, может быть, единственном петербургском журнале, который стоило читать. И хватка Гиммера, как ни приглушённая цензурой, была остро-политическая, а направление – нескрываемо циммервальдское.

Квартира оказалась в первом этаже. Открыл Саше не сам Гиммер и не жена его, но приятный подвижный молодой человек, в солдатской пехотной форме, а явно студент, и уже от этого сразу тут дохнуло своим. (Потом оказалось – брат жены, тоже как Саша попавший в армейщину, но ему и университета не дали кончить, теперь в Нижнем тянет лямку).

Тут вышел и Гиммер.

В первую минуту, от наружности его, Саша был разочарован. Гиммер не только не походил на вождя, но даже и на орла теории. Ростом он был значительно ниже Саши, не только худой, но даже тщедушный. Гладкобритое лицо его было жёлто-серого цвета, с бескровными губами и неприятно безбровое. Однако со всем тем оно было и выразительно-энергично, – энергией не той, какую придаёт крепкое тело, а внутренним горением, воспалённостью взгляда. Тем горением, которое даёт нам только революционная мысль, никакая другая! – с узнаванием своего определил Саша, ещё только представляясь:

– Ленартович.

И ручка была маленькая и вялая, как из ваты.

– А я ожидал вас в военной форме, – сказал Гиммер.

– Я подумал – может быть для конспирации, в глаза не бросаться, так лучше? Да и вообще для свободы. Пользуюсь каждым случаем формы не надевать.

– А где состоите?

– Сейчас – в Управлении по ремонту кавалерии.

– Кавалерист? – поднял Гиммер те места, где должны быть брови. (Тому удивился, что кавалерия – самая непропагандируемая?)

– Да нет, – засмеялся Саша, – я даже не знаю, как к лошади подойти.

– И держат? – усмехнулся Гиммер.

– Там и другие такие ж есть знатоки, как и я. Там только надо бумажки писать и переключивать. Да я и недавно, вот с ноября.

Квартира состояла из нескольких совсем маленьких комнат, соединённых все друг с другом. Они прошли маленькую столовую с незанавешенным окном в чёрный двор, где наискось стекла проходила внешняя железная лестница, и вошли в маленький кабинет с двумя зашторенными окнами, а на стене – небольшими портретами Маркса и Лассаля, и никаких больше глупостей не развешано, как это любят в городских квартирах. Эта прямизна и строгость очень обрадовали Сашу, здесь жили – духом.

– И какое ж настроение у офицеров в Управлении? – спрашивал Гиммер, ещё даже не посадив, с большой живостью.

Легко отвечал и Саша:

– Животов на службу родине не кладут. Очень большой штат. Старшие сходятся к двенадцати часам, чтобы вместе позавтракать, поболтать, с двух часов начинают уже уходить. Да все понимают, что кавалерия в этой войне куда меньше нужна, чем приходится её кормить.

– Нет, а – собственно настроение?

– Очень вольные разговоры. Вдруг один принесёт карикатуру из иностранной газеты: Вильгельм, расставив руки, меряет длину артиллерийского снаряда – а наш царственный идиот, став на колени и так же расставив руки, меряет у Распутина. Все офицеры смотрят – и смеются. Так что я могу держать себя довольно открыто. Но самые смелые из них, конечно – только до буржуазной конституции. И то – на языке.

Сели.

– Да, некоторая осторожность не лишняя, вы правы, – сказал Гиммер. – Я и на собственной квартире живу как бы полулегально.

– Почему ж застряли на «полу»? – улыбнулся Саша.

– Да потому что в мае Четырнадцатого меня приговорили высылке из Петербурга. А я не захотел, не поехал. Тогда надо бы квартиру сменить – так лень, привык. И я стараюсь просто не слишком дразнить швейцара, хожу обычно с чёрного хода и чтобы не слишком поздно приходиться. Да впрочем он знает, глаза закрывает.

– И никаких особых неприятностей?

– Нет. Даже на службе так и состою под своим именем.

Разговор легко пошёл, и Саша осмелился спросить:

– А где служите?

– В зануднейшем месте, – не кичился Гиммер и перед новичком. – В министерстве сельского хозяйства есть такой департамент земельных улучшений. – А в нём – Управление по орошению Голодной Степи. Так вот – там. Удобно, что совсем рядом, тут, в конце Каменноостровского, на Аптекарском острове. И ещё удобно, что можно в служебное время много заниматься литературной работой. Там, знаете, всякие оросители, разбрызгиватели, водосбросы, я в них понимаю примерно столько же, сколько вы в конском деле, – но устроили хорошие люди, как всегда устраивают. И держат.

– Да, меня тоже. Нелегко было попасть.

Нет, первое неприятное впечатление прошло, и Гиммер начинал Саше нравиться, даже

очень.

Всматривался быстрыми, тёмными жадными глазами:

– Ленартович – это фамилия истинная?

– Да.

– А псевдоним, кличка – есть?

– Псевдоним – нет, я собственно литературной работой ещё пока не... А кличка была, да. «Ясный».

(Давно была, мало пользовался. Какая у него там подпольная работа? И не было ничего).

– Ясный. Хорошо, – оценивал Гиммер. – Может пригодиться.

Они сели через небольшой квадратный столик. За всё время их разговора никто не вошёл, не пытался что-нибудь предлагать, никакого намёка на угощение или питьё, – и эта нежеманность тоже понравилась Саше: чай с печеньем он мог выпить и дома, не для того добивался сюда. Была ли там где жена, да и в этой комнате не видно ухаживающей руки, которая выбирает расположение, или поправляет. Хорошо. По-деловому – и сразу в разговор.

Саша весь собрался, понимая, как важно не показаться еще глупеньким или неосведомлённым. Но это ему и не грозило, он себя знал.

Гиммер не стал спрашивать ни о подпольной работе, ни о партийных связях: первого могло и не быть по молодости, второго, видимо, не было, раз вынырнул из неизвестности. Но стал спрашивать, сперва быстро перебирая, потом подробнее, – **что читал**, каких авторов, какие книги, на каких языках, за какими журналами следит. Из девятнадцатого века почти не спрашивал, а ближе к сегодняшнему дню. Обрадовался, что Саша владеет немецким, и спрашивал по современным немецким социал-демократическим авторам. Здесь он был очень подробен и о каждом журнальном органе судил категорично.

Очень живой, незаурядный ум. И – несётся в речи, стремителен, логичен, вот она, сила!

Больше всего интересовало Гиммера, циммервальдист ли Саша, – и Саше не надо было притворяться: он и был циммервальдист, ещё от начала войны, ещё прежде чем это название появилось, хотя самой-то *литературы* в военное время и достать не мог. Вот – читает «Летопись».

– Да, – с гордостью согласился Гиммер, – мы совершаем просто чудо: в условиях полицейского государства и во время войны легально выпускаем антиоборонческий журнал, единственный интернационалистский орган. Конечно, имя Горького очень помогает.

Горького Саша искренне любил: не ушёл в литературные изыскания, а всё размешивает гнусную гущу жизни, и сердцем с рабочим классом.

– И ни одной минуты, с 14-го года, заметьте, не был патриотом!

Выдержать экзамен Саше оказалось легче, чем он думал, и только одну из приготовленных глубоких мыслей успел блеснуть в теоретической части. А дальше уже касались реального состояния революционных кругов в России – но это и было то самое важное, что привело его сюда: сблизиться с этими зажатými скрытыми кругами! Где-то текло основное подземное русло, где-то пылало горнило – и Саша не мог больше жить в тоскливой оторванности. Конечно, за время войны всё это сильно придавлено, искажено?

Гиммер сухо, едко усмехнулся:

– Состояние наших социал-демократических организаций – ужасное. И не от разгрома, а от внутренней слабости. Я бы сказал: горючего материала в массах – больше, чем среди наших социал-демократов.

Но, действительно, у него – самые обширные знакомства во всех революционных кругах столицы. Благодаря его особому положению межпартийного литератора, не включённого ни в одну группку, он с полным основанием сносится со всеми. Его работы популярны и ценятся. Не организационно, но лично он связан со всеми социалистическими кругами Петербурга. А как редактор «Летописи» он имеет самые интенсивные связи с эмиграцией всех направлений. Так что ни одна попытка межпартийного блокирования

(неудачная) не обходилась без его участия.

Знал он себе цену!

Замечательно, замечательно! Саша попал как раз куда ему нужно. Под рукой Гиммера он и сам ознакомится и поймёт, выберет себе наиболее подходящее направление.

– Но вы понимаете, – говорил Гиммер, у него была исключительно уверенная манера. – Социалистический, если можно так выразиться, генералитет весь находится в эмиграции, а отчасти в ссылке. Здесь сейчас в лучшем случае – социалистическое офицерство. Я имею в виду, – пошутил, – не офицеров-социалистов, как вы, это совсем единицы, а – средний командный состав среди социалистов. Так вот, он – очень средний. Это – второстепенные рутинёры. Политической высоты обзора у них нет. Теоретический уровень – почти никакой, пытаться глубоко осознать события – этого совсем нет. Даже лучшие утепляются – кто в думской игре, кто – в крохоборчестве по распределению продовольствия. Я уж не говорю о сотрудничестве с плутократией, как Гвоздев и его группа. Поэтому все как бы слепы, бредут абсолютно наощупь. «Долой самодержавие!» – это, конечно, понятно всем, но это ещё не политическая программа. Некоторые готовы даже поддерживать цензовую Думу, что уже никак не допустимо для пролетарской борьбы. Ни одна партия у нас, в общем, не готовится к социалистическому перевороту, не готова ни к каким действиям. Все мечтают, раздумывают, предчувствуют... А надо же что-то готовить. Это жаль, что вы – не в полку, легче было бы заваривать.

Полковую лямку тянуть – спасибо, уже побывал. Но социалистический генерал прав: в самом деле, что можно сделать для революции в управлении по ремонту кавалерии? Однако ответил уверенно:

– Я думаю, что я смогу быть полезным. Я – не в полку. Но для революции, – голос его дрогнул в несомненности чувства, – я готов в любой полк и под любой огонь.

Это и в самом деле было так. Саша Ленартович и в самом деле тяготился своей вынужденной томительной дремотой эти два с половиной военных года. Но он верил, что **это** будет! Как иначе?

– Да неужели же страна может простить все свои страдания, боли, оскорбления, издевательства от самодержавия? Страшно допустить такое предположение.

– Да, – хладнокровно приговорил серо-жёлтый безбровый вождь. – Это – неизбежно, и придётся вырезать поражённые ткани. Но вот при нынешних волнениях будьте осторожны: самодержавие обрушится с карой на всех подозрительных, чтоб навести террор. Эти волнения могут плохо кончиться. И если какие-нибудь записи компрометирующие, бумаги, – не держите у себя. Или спрячьте у других, или сожгите.

... К чему себя готовит человек и каким вырастает потом. Николай Гиммер был очень слаб от рождения, отставал от сверстников, созерцательный, с несчастным детством в разбитой семье, отец – опустившийся алкоголик. А мать, нищая дворянка, акушерка, зарабатывала ещё и перепиской рукописей Толстого. И к 17 годам Гиммер был захвачен толстовскими идеями, вегетарианец, и полагал принципиально отказаться от университета. От Толстого же набрался критики политического режима и экономического строя. Развиваясь дальше и всё влево, он попал за нелегальщину в Таганку, был освобождён оттуда в Пятом году толпой и ощутил себя революционером, затем и законченным марксистом.

5

Эта минувшая зима была наполнена архидраматической борьбой и могла бы завершиться пролетарской революцией в Швейцарии, а через неё и во всей Европе, – если бы не подлая измена шайки вождей, измаравших, оплевавших, заблудивших всю швейцарскую партию, а прежде и гаже всех – из-за негодяя, интригана, политической проститутки Гримма. И старой развалины Грёйлиха. И других грязных мерзавцев.

Поверхностному филистерскому взгляду, а таков взгляд большинства людей и даже революционеров, свойственно не замечать крохотных трещин в колоссальных горных

массивах и не понимать, что через такую трещинку при умении можно развалить весь массив. Напуганному обывателю, наблюдающему всеевропейскую войну миллионных армий и миллионы снарядных разрывов, невозможно поверить, что остановить этот железный ураган (изменить его направление) доступно самой малой кучке, но предельно решительных лиц. Для того необходимо, правда, событие огромное – всеевропейская же революция. Но для европейской революции может достаточно оказаться революция в маленькой нейтральной, но трёхязычной, но в сердце Европы, Швейцарии. А для того надо овладеть швейцарской социал-демократической партией. А если ею нельзя овладеть, то её нужно расколоть и выделить боеспособную часть. А для того, чтобы расколоть такую партию, как швейцарская, – не поверят оппортунисты и книжные теоретики! – нужно всего человек пять решительных членов этой партии, да человека три иностранца, способных дать местным товарищам программу, готовить им тексты и тезисы выступлений, писать для них брошюры.

Итак, чтобы перевернуть Европу, достаточно меньше десятка умелых неуклонных социалистов! Кегель-клуб.

В Кегель-клубе обдуманное осенью, вокруг Кегель-клуба и завязалось начало этой работы. После неудачи на ноябрьском съезде швейцарской партии, сперва как бы лишь для психологического реванша *молодых*, Ленин составил им реальные практические тезисы – об их задачах в их борьбе. Углубление многих месяцев, даже чтение ничтожных швейцарских газет, – всё пригодилось тут. Потом вокруг тезисов стал собирать разъяснительные заседания с молодыми левыми. Пустили тезисы течь по всей Швейцарии. Замысел был: хотя бы одна самая крохотная местная партийная организация *приняла* бы их – и тогда законно можно было бы требовать, чтобы социалистические газеты их опубликовали, – и так тезисы потекли бы в обсуждение ещё шире. Искали, как напечатать тезисы листовками, как распространить их несколько тысяч (все – говоруны, безрукие, кто хандрит, кто притворяется, – никто не может толком распространить).

Начать вообще самостоятельное издание листовок? Но главная опора, вождь молодёжи, Мюнценберг ворчал, что *литературы* и без того хватает. (Как будто *такая* литература бывала у них когда!) Слабы швейцарские левые, дьявольски слабы.

И нетерпеливый взгляд революционера заметил другую желанную трещину, она обещала больше и быстрее: приближался новый съезд швейцарской партии, назначенный на конец января и специально посвящённый (верхушку вынудили обещать) *отношению к войне*. Замечательная это была возможность, чтобы растрепать, расколотить всё оппортунистическое руководство и на глазах швейцарских масс расстрелять его неотклонимыми жизненными вопросами: допустимо ли довести Швейцарию до войны? допустимо ли потомкам Вильгельма Телля умирать за международные банки? допустимо ли... и т. д., и т. д., тут можно много наработать. Такой съезд был ещё потому особенно опасен для оппортунистов, что в сентябре будущего 17-го года предстояли выборы в парламент, и как бы теперь ни постановили они – за отечество или против, – партия на выборах неизбежно расколется или даже перестанет существовать – а то и нужно нам!

Оппортунисты смекнули и стали маневрировать: нельзя ли вообще отложить опрометчиво обещанный съезд, нельзя ли *вообще никак* не решать военного вопроса, пока, мол, Швейцария ещё не воюет, или уж решать военный вопрос, когда кончатся все войны?

И они ещё не знали, как будет нанесен им удар, как будет поставлено: не просто «за отечество» или «против милитаризма», но – с беспощадной решительностью: невозможно бороться против войны *иначе* как через социалистическую революцию! Голосовать, по сути, уже не по поводу войны, а: за или против немедленной экспроприации банков и промышленности! В Кегель-клубе деятельно готовилась резолюция для съезда – Платтен написал, слабо, Ленин пересоставил от имени Платтена. (Работа нелёгкая, но благодарная. Надо было всеми интернациональными силами помочь швейцарским левым). Надо было заострять по всем направлениям: немедленно демобилизовать швейцарскую армию! защита Швейцарии – лицемерная фраза! именно *швейцарская* политика мира – преступна! Успех

мог быть колоссален: такая резолюция швейцарского съезда вызвала бы самую восторженную поддержку рабочего класса всех цивилизованных стран!

Но – оппортунисты зашевелились. Конфиденциально узналось, что верхушка готовит *отложить* съезд, каковы наглецы! В таких случаях – предупреждающий удар! отнять инициативу! И поручили Вронскому на собрании цюрихской организации выставить резолюцию – «против тайной закулисной агитации за отодвигание съезда! признаки впадения в социал-шовинизм, осудить!». А была возможность подправить подсчёт голосования – и сделали так, что резолюция принята! Хор-роший удар по центристам! – они ведь боятся прослыть шовинистами.

Но так обнаглела их шайка, что и этого не испугались: через день же собрали президиум партии и сбросили маску. (На президиуме были и Платтен, и Нобс, и Мюнценберг, так что всё известно достоверно). Старый Грёйлих полез порочить всю цюрихскую партийную организацию: в ней, мол, много дезертиров, мы за них поручались перед властями, и можно бы ожидать, что именно в вопросе защиты родины они будут... А другой кричал: если партия будет так мараться, мы, сент-галленцы, выйдем из неё! эти товарищи невысокого мнения о швейцарских рабочих (и даже с намёком, что иностранцы мутят)... Ещё один закатился до шовинистической истерики: идите вы с вашими формулами международных конгрессов! Обсуждение военного вопроса во время войны – безумие! в такие минуты всякий народ, мол, соединяется в общности судьбы. (Со своими капиталистами...) Как же демобилизовать армию, если она защищает наши границы? Да, если Швейцарии возникнет опасность, то рабочий класс пойдёт её защищать! (Слушайте, слушайте!) Но бесстыднее всех вёл себя Гримм. Председатель Циммервальда, Кинтала – и такой подлец в политике: что ж, война начнётся – а нам поднимать восстание?... Делал гнусные намёки против иностранцев и молодых. И, соединясь с шовинистами, 7 против 5, с ничтожным перевесом именно его, гриммовского, центристского голоса – отложили съезд на *неопределённое время* (считай – до конца войны)... Неслыханно позорное решение! Полная измена Гримма.

Ах, мошенник, скотина, предатель, бешенство берёт! Так тем более теперь развернуть в партии войну как никогда! Оставалось одно: сбить Гримма с ног! Всё упиралось в Гримма – и важно было сейчас же ошельмовать его, разоблачить, сорвать маску.

Как в драке ищет рука, какой предмет подсобнее схватить и ударить, так и мозг политического бойца выхватывает молниевидные извилины возможных ходов. Первая мысль была: Нэн! Необычно, что Нэн, не очень-то левый, голосовал за нас. Значит: выгоднее всего опрокидывать Гримма через Нэна! А как? Написать в газету Нэна открытое письмо, публично назвать Гримма мерзавцем и что невозможно дальше оставаться с ним в одной циммервальдской организации!... Нет, не так, пусть **все** пишут открытые письма в газету Нэна, все, кого только найдём, – и под этой лавиной открытых писем и резолюций протеста похоронить Гримма навсегда! Каждая минута дорога, повсюду собирать левых – и направлять против Гримма!

Драматический момент. В Шо-де-Фоне присоединился верный Абрамович. В Женеве колебались Бриллиант и Гильбо.

А в Цюрихе вечер за вечером собирались левые и молодые, вырабатывали методы нападения. И стало понятно: открытых писем – мало. Надо совершить *политическое убийство* – чтобы Гримм уже не встал никогда.

И вот какая форма. Не теряя часа, подхватились вместе с Крупской, Зиновьевым, Радеком, Леви, все силы, какие были в тот момент, – и за много кварталов пошли к Мюнценбергу на квартиру. И тут, когда все решительные собрались, – Вилли позвонил по телефону и вызвал к себе Платтена, не объясняя ему, в чём дело, а – срочно! Надо было взять его в западню, неожиданно. Платтен последнее время явно боялся – и Гримма, и раскола, не хотел учиться интернациональному опыту, проявлял себя слишком швейцарцем, ограниченным швейцарцем, как впрочем и Нобс. (Если вспомнить – откуда взялись они? В Циммервальде они просто *записались* в «левые»...) Так вот, надо было взять Платтена

врасплох, за горло.

Он вошёл – и когда увидел не одного Мюнценберга, как ожидал, а шестерых, плотно сжатых в комнатушке, трое впритыку на кровати, и все мрачные, – на большелобом открытом его лице, не приспособленном играть, выразилась растерянность, тревога. Хоть одного бы он искал себе в союзники или ободрительного! – но не было ни одного. Затолкнули, посадили его в угол – дальше от двери и за комодом, в тупик, а вшестером – ещё надвинулись, кто на стульях, ещё нагнулись, кто на кровати. И Мюнценберг (так по ролям) – звонким дерзким голосом объявил: **мы**, вот все мы, наша группа, решили немедленно и окончательно рвать с Гриммом и опозорить его на весь свет! Платтену – выбор: или с нами, или с Гриммом. Платтен заёрзал – а подвинуться некуда, заволновался, переглядывал лица, искал, кто помягче, но и Надя смотрела как застывшая ведьма. Платтен лоб вытирал, мял подбородок свой бесхарактерный, просил отсрочки, подумать, – он говорил, а все шестеро не шевелились, хмуро молчали и смотрели на него, как на врага (это забавник Радек все придумал), – и это было самое страшное. Платтен растерялся, подавался, он предлагал: не надо же так сразу! послать Гримму предупреждение, предостережение... Нет!!! Всё – решено!!! И остаётся Платтену только выбор: или – с нами, в честном интернациональном союзе, или – со своим швейцарским предателем, и опозорим обоих вместе! И отвечать – сейчас же!

Двумя руками схватился Платтен за голову. Посидел.

Сдался.

Брошюру на опозорение поручили Радеку писать. И он – в ту же ночь, в одну ночь, искуривая трубку свою, без всякого труда мог написать, лентяй. Но – не написал. И ещё много часов пришлось Ленину ходить с ним по Цюриху, уговаривать и поджучивать, чтоб написал, да похлеще, как он один умеет. Всё-таки, журналист – несравненный!

Следующий шаг – напали на Гримма в заседании Интернациональной Социалистической Комиссии. Сам Ленин не пошёл, чтоб не выставляться, а Зиновьев, Радек, Мюнценберг и Леви напали, что деятельность Гримма в Швейцарии – преступление, бесчестие, педерастия! – а потому он должен быть исключён из циммервальдского руководства! (Свергнуть с престола). Тут же напали на Гримма и в мюнценберговском молодёжном Интернационале. Тут же возникла идея добиваться внутрипартийного референдума – устроить съезд теперь же, в марте! А мотивировка референдума была (пришлось самому написать) лучшее во всей кампании: что отсрочка съезда есть **поражение социализма!**

Что поднялось! Какая буча и пыль! Ч-чудесно!!! Вожди партии заревели от негодования, кинулись в опровержения! – кто ж может выстоять в социализме против смелого резкого принципиального обвинения слева?! Один обвиняющий голос может свалить тысячу оппортунистов!

Чудесно! Это – удалось! Это – и нужно было!

Ещё на кантональном партсъезде удалось собрать за резолюцию левых одну шестую часть голосов – это было крупной победой!

Но и – высшей точкой кампании. Стала она спадать.

Гримм бешено напал на референдум – и испугал наших молодых.

Лисье-осторожный Нобс публично отмежевался от референдума.

А Платтен – а Платтен смолчал, раскисляй... Вот так и строй на нём борьбу. Нет, он безнадёжен. Он не хочет учиться, как организовать революционную партию.

И даже брошюру Радека – отказались печатать: «Напечатаем – выгонят из партии!» Ну и **левые** ! Ну и вояки!...

А Гримм, почувствовав нашу слабость, собрал архичастное совещание и пригласил левых. Мюнценберг и Вронский конечно не пошли. А Нобс и Платтен поплелись... к хозяину.

Нет, они на три четверти уже свалились к социал-патриотизму. Нет, левые в Швейцарии – архидрянь, бесхарактерные люди.

Запутывать, замазывать разногласия вместо того, чтобы их заострять, – какая ж это подлость!

А тут совершилась возмутительная история с Бронским. На общегородском собрании выбирали правление, несколько избранных отказались, поэтому список спустился ниже – и счастливо захватил Вронского, Вронский вдруг попал! Так обнаглевшие правые заявили, что с Бронским дружной работы не будит, они отказываются. А Нобс был председателем – и согласился выборы аннулировать!

И Платтен – скушал эту оплеуху...

Ленин сидел на собрании – молча, но вне себя! И уже на минуту не заснул в ту ночь.

Вообще от этих ежедневных собраний – нервы швах, головные боли, сна нет.

Да вся швейцарская партия – насквозь оппортунисты, благотворительное учреждение для мещан. Или чиновники, или будущие чиновники, или горстка, запуганная чиновниками.

Разбежались левые от нашей помощи – и в Цюрихе, и в Берне. У одного Абрамовича хороши дела, но он далеко. А Гильбо и Бриллиант колеблются.

И вожди молодых, даже острый резкий непреклонный Мюнценберг, – потянулись на компромисс. Мюнценберг! – и тот отклонил брошюру Радека! (И уехал Радек в Давос, подлечиться, тоже замучился).

Было бы смешно, если бы не так гнусно. Видимо, в Цюрихе – конец возни с левыми...

Но – не надо жалеть, хоть и проигрыш. Знал всегда, как гнилы европейские социалистические партии. Теперь и на практике сам испытал.

Не надо жалеть. Что было сделано – не пропадёт совсем бесследно. После нас, преемники наши – а создадут левую партию в Швейцарии!

23 февраля назначено было собрание левых – и даже не состоялось: просто не пришли, никому не нужно. Собирался Ленин доклад делать – сходил впустую, вернулся в бешенстве. В бешенстве на всю ночь.

Он завидовал – Инессе, Зиновьеву, как они там где-то ездили, выступали с рефератами: там видишь перед собой не социалистических мещан, а – свежих людей, рабочих, толпу, и влияешь сразу на массу.

Тут много было и других расстройств. С Радеком – вперемежку дружба и ссоры (он невыносим, когда в академизм лезет), а Инесса и Зиновьев восприняли их разлад тяжело. То ссора с Усиевичем. (А с Бухариным и не вылезали из ссоры, хорошо хоть не вынесли на публичность). То Шкловский растратил партийную кассу. То Инесса вздумала «пересматривать» вопрос о защите отечества – и сколько же лишних убеждений пришлось потратить.

В письмах. Так и не приехала в Цюрих ни разу.

Скоро год...

6

Правильно говорят: тюрьма да сума дадут ума. В чём хочешь дадут. Прежде-то Козьма по пустякам попадал, сразу и выпускали. А теперь предъявили 102-ю статью Уголовного уложения: преступная организация, направленная на свержение...

Как и вся Рабочая группа, арестован был Козьма Гвоздев 27 января – но пристигло это его при воспалении лёгких, и дали ему три недели дома отлёживаться, только вот пять дней, как в тюрьму забрали. А ребята уже здесь и месяц.

Дома-то лежать куда полегше – и притекают новости, и газеты читай, и можно письмо отослать-получить, и знал Козьма, как весь рабочий Питер перебудоражен арестом их Группы, и Гучков хлопотал грозно. Поднялся шум в их заступу, и не было туги, что вот теперь им сидеть долго, никакого тяжкого наказания не должно бы лечь: ни на кого же не опускалось, всё в стране плыло как пьяное, и вон даже убийц не арестовывали, – хотя нашего-то брата всегда легче сажают, а возвышенных – не-е... Но с ареста Группы был Козьма как в спине переломан, как палками избит весь: дело делал неправильное? или

неправильно? Значит, не совладал все концы стянуть, не укрепил, как надо. Да как его было от начала делать? Большевики кричали: стачколомы! предатели! А большие газеты писали: «они – настоящие патриоты», – и так заляпывали перед большевиками. Но самим заявить: нет, мы не патриоты! мы революционеры! – перед большевиками всё равно не оправдаешься, а перед правительством будешь изменник, тут вас и разгонят.

Так ведь – и патриоты.

То и обидно, такое положение: ни в какую сторону не оправдаться, хоть вовсе дела не делай.

За эти месяцы почтил Козьму двумя письмами сам Церетели из ссылки. И ведь скажи: в Сибири сколько лет, а понимает дело лучше многих питерских. Да, Ираклий Георгиевич, написал ему Козьма, вот так и я ищу-добиваюсь: кроме нужд рабочего класса есть же и нужды самой промышленности, не останавливать её нашей борьбой. И есть нужды воюющей страны и армии. И всё это надо суметь зараз пролить через одно русло. И в Европе как-то же умеют, а почему не мы? Да военное поражение России и отзовется раньше всего на ком? – на нас же, рабочих. Классово борись-борись, но не так же, чтоб войну пропереть.

А что ж – пушки хлопайте, чем хотите? А наших кройте в окопах – не жаль?...

Но приехал в декабре французский министр труда, и хоть в груди темнилось, в голове темнилось, а выговаривал Козьма за быстроспешными советчиками: «Ознакомить через вас пролетариат и демократию Франции и весь цивилизованный мир, как русское правительство собственными руками разрушает оборону и стремится погубить свою страну. При удобном случае оно не задумается совершить и ещё одно клятвопреступление, предать своих союзников». Объявились в декабре германские мирные предложения, и совали секретари речь: «добиться контроля пролетариата над действиями дипломатий!». И другие члены группы, два десятка, поддаваясь чужому уму, выступая там и сям – чего только не наболтали. Ещё удивляться, что правительство столько времени терпело. С декабря уже так и зажалась группа: не большевики ворвутся громить, так полиция, и отправят всех в Сибирь. 3 января из Военного Округа пришло Гучкову письмо: «Рабочая Группа – противоправительственное сообщество, обсуждающее низвержение правительства и заключение мира. Поэтому на каждом заседании Группы должен присутствовать специально назначенный чиновник». Всего-то! во время такой войны имеет правительство такое право, а помеха будет только листовкам. Так Борис Осипыч Богданов, главный теперь секретарь Группы, напёр: «Не допустить такого издевательства над свободой!» На следующие дни являлся чиновник – отменяли заседание, собирались втихомолку. Тут подходила сессия Думы – и заседал Богданов: демократия должна вмешаться в затянувшееся единоборство между цензовым обществом и самодержавием! самое время ударить! И так объяснял обоесторонне: если и дальше терпеливо сдерживаться – это значит пропустить роковой момент небывалого престижа царской власти; а если вызвать рабочий Петроград на улицу, но в неудачный момент – этот призыв может стать роковым для Рабочей группы. Но и жертвы только тогда преступление, когда они излишни для революционного дела. Предпочтительней всего – петиционное движение, но с революционными лозунгами.

И всё это теперь проводилось не в заседаниях Группы между членами её, сокрыто, и сокрыто же слались агитаторы по заводам готовить выступление к созыву Думы. А тут – задержали нескольких членов московской группы (и Пумпянский попался там), обыскали непримиримую самарскую, – и Богданов заметался: момент борьбы пришёл, нельзя упустить! И принёс – «Письмо к рабочим всех фабрик и заводов Петрограда». Де – собирайте собрания, читайте и обсуждайте. Пользуясь военным временем, правительство закрепощает рабочий класс. Ликвидировать войну должен сам народ, а не самодержавие. Насущнейшая задача момента – учреждение временного правительства! Демократии нельзя больше ждать и молчать! Теперь мы выросли, и пойдём не там и не так, как 12 лет назад к Зимнему Дворцу, – мы пойдём с властными требованиями, и пусть не будет среди нас ни одного изменника, который скрылся бы домой от общего дела!

Страсть не хотел Козьма такое пускать – но и удержать не мог. Да каково бы Рабочей

группе смолчать, если даже бунтующие бары поносили самодержавие хуже нельзя. И никого их не трогали!

Против сердца, из последних, выпустил воззвание.

И ещё две недели после того не арестовывали Рабочую группу.

Бунтующих бар – не трогали, а рабочую скотинку – всё ж схватили.

Кому что дозволено.

А Ацетилен-Газ – сбежал, не попался.

И кто только не донимал Рабочую группу в предательстве. А вот все они свободные остались, а Рабочую группу посадили.

Тюрьма да сума дадут ума.

Обидно, что Сашка Шляпников, небось, торжество правит: вот, мол, лакеи, – служили вы, служили, за свою службу и в тюрьму угодили. А я всё время наперекор – и на воле.

Только Александр Иванович Гучков и защищал их: по арестному следу тотчас собирал видных думцев, печатал заявление, что это – тяжёлый удар по национальной обороне, погашает в массах веру в плодотворность общей работы и только усилит брожение в рабочей среде. Да Коновалов выступал в самой Думе, что Рабочая группа была патриотичной, служила обороне и умиротворению политических страстей; что Рабочая группа была оплотом против других опасных течений в рабочей массе, а правительство бессмысленно разрушило её; совсем же не вмешиваться в политику рабочие никак не могли, когда все другие вмешиваются, а правительство – так прямо ведёт страну к гибели.

Козьма и его однодельцы в Крестах уверены были, что Протопопов уже сам напугался, их арестовавши, что правительство не выдержит, долго им сидеть не придётся.

Гнело Козьму не то, что из тюрьмы не выпустят, – а то, как ему на воле жилось под травлей. И как он с делом не управился.

Нет в жизни простоты и прямого пути, а всё закручено и у всех головы закрученные. И меж ними вот – равновесь.

И гучковский комитет – тоже вода тёмная. За отечество они вроде и стояли, а денег своих тоже нигде не упускали, даже и сильно прирачивали. За отечество – да, но и власть в том отечестве они хотели сами захватить, это верно.

Уже из-под домашнего ареста, сносаясь, передал Козьма и убедил: не надо к открытию Думы общей забастовки. А – все к станкам. Дольше бастуем – свои же силы ослабляем. Наши же интересы зовут нас к станкам.

Как мог, так вёл Козьма. Настрелился. Всё что-то упускал, не так делал, прошибался, и все были недовольны. А посадили – заботы с плеч. Отдохнуть теперь на тюремных нарах.

Да не отдыhalось, скребло. Не манило и освобождение: опять идти в контору на Литейный, и опять всё та же затурмучка.

Пока в тюрьму принимали – прикоснулся Козьма и уголовников. И опрокинулось всё, как ни царя нет, ни Думы, ни социал-демократов, – а вот упрут сейчас твои любимые сапоги с лакированными голенищами, на пол не ставь, да смотри и с ног не снимут ли. Четвёртый десяток жил Козьма в исполегающем слое, ниже которого будто и не бывает. А вот, узнавалось, и пониже вас люди есть: тёмные, буйные, от которых и самое скромное имущество береги, да опасайся, чтоб они тебя самого революционно не скovyрнули. На воле такие люди порознь живут, на село, на слободу – один-два, конокрад или вор известный, жулик, мазила, порою в шайки стягиваются, но шайками вместе их никто не видит, а в тюрьме они вот собраны. Поглядишь: а вот ежели эти когда плечами двинут соединённо – так что будет?

А приняли Гвоздева в больничную камеру, и тут нашёл он двух своих – Комарова с Обуховского и Кузьмина с Трубочного. Жалко не с Богдановым. Пока по одиночкам их не рассовали – заняли три койки рядом, – и уж вот толковали вдоволь.

В каменном мешке – а думка вольна.

Перетолковали все рабочегруппские дела – и ни хрена не вывели: как же им правильно было?

А из давнего вспомнили такую называемую «махаевщину». Откуда она взялась? – никто не знал, а среди социал-демократов никак её не звали иначе как «махаевщина» и запрещали знать. Оттого ли «махаевщина», что рукой махнуть? Говорилось по той махаевщине, что интеллигенция – это паразитский класс, который живёт за счёт рабочих, а хочет господствовать надо всем обществом. Для того интеллигенты пока льстят рабочим, что они – самая прогрессивная часть человечества, а между тем внушают идеи, которых рабочие не в силёнках ни проверить, ни оценить. Такой обман есть и социализм: всё это подстроено, чтобы белоручкам захватить власть. По махаевщине же выходило: не надо рабочему классу брать власть, пока он не имеет образования, – обманут его, а надо вести борьбу только экономическую.

А ещё жив, невесть где, Ушаков – наш, рабочий. Заклевали его. Он тоже говорил: зачем нам царя свергать? Трудящийся не может быть у власти, потому что необразован. А захватят власть господ интеллигенты. Так лучше пусть царь призовет выборных от народа и будет с ними советоваться. Вроде и верно, а?...

А ведь был же и Зубатов, вспоминали теперь с ребятами. Зубатова тоже проклинали социал-демократы: и чтоб его не вспоминать иначе, как чёртом. А он, с крупных полицейских постов, то же самое говорил рабочим: зачем вам конституция? зачем вам политические свободы? – всё это нужно только вашему врагу, буржуазии, чтоб усилиться самой, и против власти, и против вас же. А вам нужен 8-часовой рабочий день и повышение зарплаток, – так этого вам самодержавие ещё лучше добьётся от фабрикантов, вы ему – верные сыновья, правительство вас и поддержит, а буржуазия – она-то и бунтует против государства.

А может и верно?

И одно время, в их троих ещё неразумную молодость, говорят, зубатовцы брали в Москве полный верх, и социал-демократов забили.

А вот, почему-то не вышло.

Надёжа рабочего – только свой брат рабочий, верно.

Ежели переворот, то без образованных – никак не обойтись ведь. Как же без них страну управлять? Ведь на какое ремесло кого нанесло. Государство вести – обык особенный.

А доверься образованным – они сразу и запутывают.

Закружилась, запуталась и Рабочая группа – и всё рабочее дело – и даже матушка Русь – и нет концов.

Уж поздно было, а сон в башку не входил, отоспались тут.

Раскинулся Козьма на койке, руками-ногами на все четыре угла, волоса его вольные вперепут, с верхней губы чуть усишки покалывают, не брил их этот месяц домашнего ареста, – и смотрел, смотрел в свод потолка. Беловато-серый, ровный, а где отколуп, где пятно – на каждое смотришь как на что-то важное, койкой плывёшь под ним, как под небом.

И повёл вполголоса:

Ах, во том ли стружке, во снаряженном...

А свои ребята рядом подвзяли:

Удалых гребцов сорок два сидят.

Как это с песнями? Совсем о другом, а о твоём тоже:

*Как один-то из них, добрый молодец,
Приздумался, пригорюнился.*

Ещё и от другой стены стали вытягивать – наше-то, общее, все знают:

*Эх, вы братцы мои, вы товарищи!
Сослужите вы мне службу верную...*

А просить-то – изо всего целого мира только и осталось, только и выдохнуть:

*Киньте-бросьте меня в Волгу-матушку,
Утопите вы в ней грусть-тоску мою...*

Так попели немного, всё протяжные, всё грустные, – на сердце помаслилось, утишело. И так, волос не распутавши, в подружку-подушку – унеси меня на ночь, да подальше!

7

(К вечеру 23 февраля)

Для петроградского полицейского начальства события этого дня – и возникновение, и ход их и окончание – остались необъяснимой случайностью. Ни единый сигнал осведомителя не предупредил о них, да видно и из партийных вожakov никто вчера вечером заранее ничего не задумывал.

Разве только вот что: революционеры всегда придираются к какому-нибудь дню . 9 января у них не вышло, в день открытия Думы не вышло, а сегодня какой-то у них «международный женский».

Немногие забастовки начались сегодня утром на Выборгской и Петербургской сторонах, когда там не достало в лавках чёрного хлеба. Почему вдруг не достало? В пекарни отпускалось ровно столько же ржаной муки, сколько и в предыдущие дни, из расчёта полтора фунта на жителя, а на рабочих по два. Правда, никто не проверял пекарей, даже и мысли о таком контроле не возникало. (А между тем многие из них стали не выпекать хлеб, но продавать муку в уезд, где она была вдвое дороже). Недостать могло по единственной причине: возникшему неудержимому слуху, что мука перестанет доставляться в Петроград, что скоро в городе будут ограничения в хлебе, то ли меньше его будет, то ли выдавать по карточкам, – этот слух мог возникнуть как отзвук думских прений и проекта городской думы вводить карточки. Этот слух мог быть развеян настойчивым правительственным объяснением, либо уж введением карточек, устойчивого распределения, – но ничего подобного не сделано, и слух загорелся: надо запастись, сушить сухари! А так как в руки отпускали сколько угодно, то покупали вдвое и втрое, – и кому-то хлеба не хватало.

А те рабочие, которые с утра забастовали, – по известной изученной тактике, чтоб самим было легче, – шли на соседние заводы, силой выгонять других. Само собою были закрыты администрацией ещё вчера крупный Путиловский завод и его верфь – из-за того, что уже несколько недель на этом военном заводе упорно нарушался порядок работ – с какими-то дикими требованиями, как будто по чьему наущению: сразу добавить половину заработной платы. Но за весь этот день закрытие Путиловского не успело с Нарвской стороны ни распространиться, ни – повлиять на столицу, и как раз Нарвский район оставался спокоен. На Франко-Русском заводе на Пряжке собрался трёхтысячный митинг, высказывались и бастовать, и против, были голоса против войны, но говорили и за, все бранились о недостатке чёрного хлеба, а разошлись спокойно, не забастовав. Не были затронуты волнениями ни Охта, ни Пороховые, ни Московская и Невская стороны. Забастовки распространялись там, где они начались, – на севере столицы, а пока оттуда не был закрыт переход мостами – перенесены в Литейную и Рождественскую части. Так набралось за день забастовщиков больше 80 тысяч. Иные заводы были сшиблены с работы только к вечеру, как

Воздухоплавательный рабочими с Вулкана, другие, как Трубочный, и за весь день сбить не могли. В Арсенал (Литейная часть) посторонние рабочие не пускали пришедшую ночную смену, а те норовили прорваться к себе на работу. Но коснулась полиция первых разогнать – ночная смена сама ушла.

Не любили полицию, все до последнего переняли кличку «фараоны».

А быстрее забастовок в этот день распространилась по столице новая шутка: отнимать трамвайные ручки. Всем понравилось, огненно-весело распространилось по городу, полтора десятком вагонов закупили все линии, а сотня трамваев сама уехала в парки. (Вечером в Лесном рабочие опрокинули один прицепной вагон, но как озорство, – и стояли рядом, не мешая полиции поднимать его).

Другая мода пошла – бить стёкла в лавках и разорять, а то и грабить. Начали с булочных и с мелочных лавок, но когда толпа валила по Суворовскому или по Большому Петроградской стороны и подростки впереди били уже кряду все магазинные стёкла – как было толпе удержаться? – стали грабить и овощные, и зеленные, сгребали и выручку из кассовых ящиков. Вечером на Смольном проспекте ограбили уже и ювелирный.

И везде до прибытия полиции толпа разбегалась. Толпа нигде не хотела биться, без труда разгонялась полицией повсюду, но, рассеянная в одних местах, упорно и тотчас собиралась в других. Правда, за день случились и нападения на полицейских и на заводских мастеров, несколько их отправлены в больницу, кто без сознания или с вывихом челюсти, или с переломом руки. А кроме сторонников порядка – увечий не понёс никто. При всех разгонах, – а на Большой Дворянской разгоняли толпу в четыре тысячи, на Литейном, на Невском по тысяче не раз, – не был повреждён ни один демонстрант. Нигде не было применено оружие, и за весь день в городе не раздалось ни выстрела. Не был высунут за весь день и ни один красный флаг, ни лозунг, толпа не была никем никак подготовлена, и не замечалось у неё руководителей, – даже у Казанского собора, самого чувствительного места столицы, самого излюбленного революционерами, откуда всегда всё в Петербурге начиналось.

К вечеру стал восстанавливаться порядок и на Петербургской стороне и на Выборгской, снова беспрепятственно пошли по всему городу трамваи, возобновилась и обычная вечерняя жизнь Невского, хотя рабочие необычно присутствовали здесь, гуляли среди барственной и состоятельной публики, тем пугая её. Патрули городских под руководством приставов «сортировали» публику, изгоняя пришельцев с чёрных окраин, с молодёжью это опять приняло характер игры, довольно беззлобной.

Так в этот день обе стороны начали, как нехотя, самонавязанный как бы спектакль.

В ходе дня градоначальник Балк просил для полиции армейской помощи – и получал наряды из полков 9-го кавалерийского из Красного Села и 1-го Донского, только что прибывшего в Петроград и пополненного новичками. Донцы лениво вели себя, но кое-где всё же помогали.

И поскольку днём привлекались к действиям отчасти и войска, то поздно вечером в градоначальстве совещание возглавил командующий Округом генерал Хабалов. Командующий же петроградской гвардией (а главным образом гвардия – по одному названию – в Петрограде и стояла) генерал Чебыкин незадолго перед тем уехал в отпуск – и командиром гвардейских частей и, значит, начальником охраны столицы стал полковник Павленко, недавно с фронта, ещё не долеченный после тяжёлой контузии, больной и совершенно не знакомый даже с расположением петроградских улиц.

Департамент же полиции, ни начальник петроградского Охранного отделения генерал Глобачёв не имели сведений объяснить происшедшее сегодня и не могли указать на мотивы выступления. Они не исключали стечения случайностей, среди них – и наступившую хорошую погоду. Уже много месяцев Охранное отделение

предупреждало о нарастании революционной ситуации вообще. Но именно в эти последние дни – ничего не предвидело. И – по какому же поводу возникло?

Голод? Никакого голода в столице не было. Купить можно было решительно всё без карточек, а по карточкам – сахар. Благополучно было с маслом, рыбой солёной и свежей, битой птицей. Да полиция уже две недели не касалась продовольствования Петрограда, оно было передано отдельному специальному действительному статскому советнику Вейсу, может из-за передачи и вышла какая задержка с выдачей муки пекарям. Этого Вейса никто не ведал, не видел, не чувствовал, – но Государь знал же, кого назначать. Вероятно, следовало теперь объявить населению, что муки достаточно.

А все остальные признаки были благоприятные, начальник Охранного отделения склонялся предположить, что завтра волнений вообще никаких не будет.

И на совещании в градоначальстве никто не предложил и не принял никаких решительных мер.

Несмотря на ранения нескольких полицейских и заводских мастеров – не предложено было кого-либо арестовывать или разыскивать.

Лишь приказано было войскам на завтра быть готовыми занять отдельные районы города.

Градоначальник обо всём писал рапорт министру Протопопову, который, впрочем, и своими глазами всё сегодняшнее мог видеть.

А надо ли было командующему Хабалову докладывать в Ставку Верховного? Да как будто ничего такого не произошло, о чём должен был докладывать боевой генерал.

Была уверенность, что порядок завтра будет водворён. И участники совещания разошлись спокойно после полуночи, с Гороховой разъехались по спящему мирному полутёмному городу.

А заседания совета министров в этот день вообще не было: они обычно собирались по пятницам.

8

Если из-под ватного одеяла чуть высунуть нос и открыть глаза – увидишь грубо белёную стенку дощатого домика при огоньке ночника, недавно таком перепуганном, но всё ж не задумом, а постепенно укачавшемся, усмирившемся, а с ним и все тени очертились определённо по стенам. И – полно и глубоко под морозными звёздами молчание Мустамяк, самого далёкого глухого петербургского дачного места.

Эта старая тахта, одни пружины провалены, другие выпирают, так и не подсохла хорошо, ещё не прогрелась от осеннего насырения, от вымораживания за всю зиму, хотя они топили уже больше суток и дров не жалели. В этот раз переночевали в Петрограде только одну ночь, а вчера поздно добрались сюда. Но ни в первый петроградский вечер, ни в дороге, ни в сиденьи тут у огня, ни сегодняшним медленным просторным днём – Георг не открыл главного, от чего решительно менялась вся обстановка.

Ещё они ходили гулять под лёгким снежком и в гости обедать на другую дачу, в знакомую профессорскую семью, и Ольга как бы рассеянно выдавала их отношения, обмолвывая «ты», или ладонью на его руку, остерегая от лишней рюмки, – так что её любимые старички предположить не могли, что Ольга Орестовна была с ними двумя знакома лучше, чем со своим спутником. «Sic itur ad astra!» (так идут к звёздам – лат.) – повторял Воротынцеву старичок своё первое суждение о первой книге Андозерской.

Женщина выдающихся качеств, как Ольга Андозерская, имеет свои особые трудности в построении интимной сферы. На научные работы и успехи укатили лучшие её годы, и за это время разобраны были в мужья возможные спутники, достойные её. А ещё стесняло – само профессорство: не спутник для женщины тот, кто ниже её. Как говорится, замужество есть шапка на голову женщины, шапка для боярыни. Ольга любила, и вслух повторяла Марину Мнишек:

Чтоб об руку с тобой могла я смело
Пуститься в жизнь – не с детской слепотой,
Не как раба желаний лёгких мужа.

Покрыть голову не той короной – это на всю жизнь, и погибла жизнь, уж лучше непокрытой.

И Ольга Орестовна сумела так утвердить себя в глазах всех, что не доводилось ей встретить сожалительного взгляда, а приняли все, что такой незаурядной даме и не нужен обычный удел. В этой наблещенной и льстящей броне она и ходила посегодня – но втайне знала, что внутри неё вот посквозило неуверенностью, неполнотой. И даже вдыхая волнующий запах старых книжных корешков (а раскроешь книгу – удар запаха! потом он слабеет, но всё ещё уловим) – в самые счастливые часы работы, стало проступать ей, как не было прежде, что ведь она – одна, одна. Столь несомненно превосходная – но и никем не доискиваемая?...

В октябре ей вздумалось привлечь этого случайного полковника, и даже усилия не понадобилось, так радостно и послушно он пошёл, – даже грозило оказаться и скучным. Но он удивил и занял соединением мужества и безопытности, – резвый, необструганный. Как деревенский парень смыслённый, за пахотой не ходивший в сельскую школу, без внятия, что оно такое, грамота, для кого Г – только коса, а С – серп, не буквы, а подучить его – уже б и гимназию кончал. Но он занял те шесть дней её так самоуверенно, как будто всю жизнь она и ждала только его. Расспрашивал о чём угодно – о Германии, Франции, о теориях, о сегодняшнем университете, – только обминул спросить о самой женской жизни её, как бы вообще не предполагая этой стороны, – всё из той же неграмотности?

Ольду тоже затянуло тогда, но хотя допытывала она Георга о жене, скорее из привычки со всех сторон обглядывать всякое встреченное лицо, событие, – а представить себя открыто связанной с офицером оставалось невозможно. Но вот он уехал, писал хотя редко, но пылко, а эти зимние месяцы всё больше мрачнело, гневилось, пошатывалось вокруг, и свой собственный озноб начинал бить явственней, – и Ольде вдруг так просто уяснилось: вот именно он бы и был ей муж! Из своей профессорско-интеллигентской среды всякий будет измерен: а как он соотносится с профессором Андозерской? – и если мельче, значит, вышла по безвыходности. А боевой полковник? никому и в голову не придёт прикладывать эту мерку, все примут как её чудачество: выйти за офицера! Если на маленькую голову её, начинённую мыслями, не находилось точёной короны – пусть будет просто шапка, но с которой струилось бы мужество на зябкие плечи.

И она звала его – приехать сейчас в Петербург. И ожидая последние недели и встретив позавчера у себя на Песочной, окончательно решила, что с Георгом она соединяется, что минуло время забав и время переборов, и в её тридцать семь лет нельзя жаловаться, что союз плох. Конечно, нужно ждать конца войны. Но при его нетёсаной увальности ещё сколько потребуется разъяснений, советов и поддержки, пока он пройдёт не такой-то простой путь разъединения с нынешней женой, это тоже могут быть бои, к которым он совсем не готов, конечно.

Но чего она никак не ждала, какой нелепости никто б и предположить не мог, – он объявил ей только сегодня вечером. Опять долго сидели на чурбаках перед распахнутой печной топкой как перед камином, всё клали, всё клали дрова и не сводили глаз с огня, в благодатном пышенье его. Рядом с Георгом Ольга весело уничтожалась в малости своего роста, малости рук, малости ног, а он по-разному умещал её, складывал, изгибал, всю забирал, играл с её волосами, то распушивал вокруг головы, то стягивал над затылком и окунался лицом как в пену. И вдруг – рассказал...

Изумительная своеродная тупость! Не потому так поздно рассказал, что хотел бы скрыть (хотя, видно, побаивался), а искренне считал, что это второстепенно и почти не относится к их блаженству в этом далёком доме у пляшущего огня. Рассказал, что ещё тогда,

в октябре, воротясь к жене, тут же немедленно и открыл ей...

Как? То есть – **как** ? Сам? Без повода? К чему? Зачем? Хотел ли он (сладко у сердца, котёнок в незнакомых руках) уже тогда, в неделю готовый, начать расставание с женой? Он объявил ей своё **решение** ? Нет... Так тогда – зачем же?

Обрушилась крыша, выбило стекло, морозный воздух тёк на них через пролом, уже не действовали больше законы огня, – а он так-таки ничего не понимал, для него ничего не изменилось, всё так же тянул её к себе на колени.

Но из котёнка отяжелев в утюг клиновидный, Ольда осела, отсела, требовала объяснений. Тут столько нужно было понять: что он имел в виду, когда объявлял жене? (Трудней всего было добиться). И как вела себя жена? И как потом он? И опять она?... Оказалась тут долгая история, Ольда сжигалась, а Георг не мог точно всё рассказать, потому что в голове у него перепуталось, что за чем шло и кто точно как говорил, он не думал, что это когда-нибудь понадобится. А почему он ни в одном письме ни разу...? Да всё потому же. И – долго описывать, вот рассказать проворнее. Но от этого открыва тогда в октябре и до его сдачи...

– Какой сдачи?

... как изменилось его соотношение и с женой и с Ольдой, он понимает?

Нет, честно: не понимал, ничего не изменилось.

Не изменилось, если он никогда серьёзно об Ольде не думал.

А в этом письме жены, тогда в Ставку...? Да я уже сказал. Нет, ты вспомни точно! Стало неуместно при печном огне. Давай снова зажжём лампу. И опять – за стол. О, как томительно. Так тогда и поужинаем второй раз? Да хоть и поужинаем. И снова вопросы и снова ответы. Что же именно ты написал ей из Могилёва? Ну, вот этого, убей, никогда не помню, написал и тут же отвалилось, я своих писем не перечитываю. О, как скучно! Собирались часов в восемь лечь, смотри – второй час ночи. Ну что об этом, прошлом, – опять и опять?

Спать, спать, он влёт её и согривал, сам искренне не изменяясь, и верить не хотя, не замечая, что Ольда могла измениться вот тут уже, у печки. И быстро заснул, глубоко, покойно, так что и верчение ольдиной бессонницы нисколько не будило его. Он заснул счастливым бревном, оставив ей все задачи и все решения.

И вот ночные часы, уже вынырывающие к утру, Ольда раскладывала аналитично, по элементам, и достраивала полноту картины при недостающих клетках. Прижимаясь к этому горячему, дурному, всё более ей необходимому бревну, она восполнялась от него теплом и во сне его решала его будущее, даже бесповоротнее, чем сутки назад. Раз уж так, то не откладывать было того, что прежде допускало постепенный ход.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА

9

– Ты спростодушничал неимоверно. Со стороны даже нельзя поверить, ты же не мальчик. Ты естественно уезжал на фронт – и хорошо. Зачем же ты завёл с ней разговор?

Не отвечал, не шевелился почти.

– Чтобы понять себя? Но это ты и должен был сделать сам. Ты не дал проясниться, укрепнуть собственному чувству. На это немало времени надо, но оно у тебя как раз было. А ты сам оттолкнул его.

Да, Георг теперь понимал вполне. Он раскаивался.

– Такие грузы нельзя перекладывать в сердце ничьё другое. А ты всё вручил ей, как она решит. Ты нашу с тобой судьбу вручил ей.

Ну, не очень-то. Он только...

– Как же нет? Смотри сам... И почему ты мог подумать, что она будет решать в твою пользу или тем более в нашу с тобой? Редкая женщина не будет удерживать мужа во что бы то ни стало. Женщина не может возвыситься и рассуждать беспристрастно.

Ничем-ничем нельзя ему отгородиться от беседы. А вылезать из-под одеяла в похолодавшую комнату незачем, и за окном пасмурно.

– Эти несколько месяцев проверять себя, советоваться, – должны были мы с тобой. А когда уже стало бы ясно нам – тогда бы объявили ей.

Ну, может быть это тоже не совсем честно...

– Дорогой мой, мы – нуждались в таком периоде. У нас с тобой сближение произошло слишком стремительно. Я не считаю, что... Но и не так же быстро! Мы себя обокрали, чего-то у нас теперь нет, и нужно время, чтобы это восполнить.

Шерстью подбородка молча водил по худенькому предплечью.

– А она, конечно, сразу поставила тебе ультиматум.

Ультиматум? Никакого.

– Да вот то письмо! Самый настоящий ультиматум: немедленно выбирай! одну из нас не увидишь!

– Да какой же это ультиматум, Ольженька? Это просто – раненый крик.

– Да никакой не раненый крик, дурачок. Это самый настоящий ультиматум. Вызов и борьба. Насилие над твоим несозревшим чувством, – вот тут его и давить, когда ты открылся по простодушию. Она – в выигрышном положении: у нас с тобой только розовое начало...

Нет, алое! – это не словами...

– ...ещё никакого прошлого, – а у вас там десять лет, сотни уютных привычек, общих воспоминаний, знакомых, вырваться кажется невозможным: всё крушить? ломать? всем объяснять?

– Но знаешь, если и получилось у неё так, то не из расчёта... Не из расчёта принудить и вернуть, а – выход из горя, хотя бы путём жертвы... Она готова уступить...

– Где ты видишь жертву? Она жертвует тем, чего у неё уже не было. Только подтверди, что я – первая и несравненная! Она рискует, не рискуя. Достаточно зная тебя, как ты её – не знаешь.

– Но ты – тем более не...

– Нет, я – знаю! Даже вот по этим её приёмам. Она «отпустила» тебя – и этим сразу победила! И угрожала самоубийством. Бессовестный приём. И ты – сдался!

Очень омрачился.

– Хотя это касалось и моей судьбы тоже. Ведь ты сдавался – за нас обоих.

– Судьбы! Вот начнётся весеннее наступление – может убьют, и не то что судьбы, и не то что меня, а и вообще никакого Воротынцева на свете не останется.

Стихла:

– Жалеешь, что – нету?

– Раньше не жалел, а вот стал.

– Не жалей. Для смерти – может быть. А для жизни... Я – никогда и не хотела. Ребёнок превращает мать – единственно в охранительницу, и это сковывает всё творческое, останавливает развитие личности.

Но – не уклоняться:

– Ты нарушил не счастье её, а беспечный покой. Я ведь – не на её место пришла. Она тебя потеряла за годы, когда вы ещё оба этого не знали. А теперь – ринулась скорее подчинить тебя вновь.

С сожалением поглядывала на этого воина, такой растяпа против женского тканья. Искала понеобидней:

– Ты был – глинокоп. Тебе ничего не попадалось кроме глины. Прости меня, ты просто ребёнок. – Поцеловала, приласкалась. – Но так жить нельзя. Ты погибнешь.

Чуть приласкала неосторожно, – а он совсем, оказывается, и не ребёнок. И – разорвана

вся лекция, рассыпались доводы как из прорванной корзины, она ещё пыталась держать связь речи, убеждение сейчас важнее всех забав, – но нет, не слышал уже всё равно.

И опять лежали, куда спешить. Подниматься – так сразу дрова готовить, кончились. А не поднимаясь – вот тут, у плеча, и на ухо, как ангел или бесёнок, тихим методическим наговором, ещё сколько ему можно неуклонно вложить.

Он слушал, слушал, и:

– Всё-таки это ужасно. Меня удручает. Неужели между мужчинами и женщинами – как на вечной войне? Так жестоко, расчётливо, сложно? А я думал – только тут и отдыхают.

Не убедила.

Бои-то ему и предстояли, а он никак не готов.

– Как обмывают порез – не в горячей воде, не в тёплой, а в холодной, – вот так надо и тебе с Алиной объясняться. Твоя ошибка, что ты распустил всё в теплоте и сам в том раскис. А в *таких* делах нельзя быть добреньким: это и есть море тёплой воды, в нём всё безнадежно размокает.

– Да, но... Ты как-то неправильно думаешь, что я её – не люблю? Ты пойми, я её – люблю, Алину!

Вот этого – она как раз не принимала. Этого наверняка не было. Если б он любил Алину (это – не ему) – он не пошёл бы в руки так готовно, за несколько взглядов, сразу. Но и надо же цель поставить. Как идти. Он этого не умеет... а самое было бы безболезненное:

– Послушай, не надо рубить жестоко, не пойми меня так. Но... было бы легче, если бы у неё появился утешитель. Ты не думаешь? Это возможно?...

Настолько не понял – не поддержал, не расспросил, как не заметил.

Не глинокоп, но – глина сам и которая плохо лепится. Надо бы здесь остаться подольше. Нужны – ночь и день, ночь и день, ночь и день, чтоб его пропитать собою и этим соком выместить всё, чтоб не мог бы он жить без Ольды во всём себе. Это – входит. И в такого – особенно входит. И Ольга – умела входить.

Да уж полдня прошло! Проголодались как! И дрова заготовить. Вскочили. Одевались. На остатках, околках кипятили чай, грели котлеты. Бодро побежали с санками, бревно подвезти.

Воздух был снежный, от выпавшего ночью. Нерушимая карельская хвоя ещё держала на ветках снежный напад. На скользянках Ольга прокатывалась с разгону, по-девчачьи, держась за его локоть, сдвигая ботиками снег с темнеющего льда, а Георг подбегал рядом.

Всё в мире казалось весело, исправимо.

Привязали бревно, притащили, пилили на козлах двуручной звенящей пилой. И Георг всему в ней удивлялся: да как ты бойко бегаешь... да как ты тянешь, пусти, я сам. И пилишь неплохо, это просто редкость.

– Я же в таком глухом уезде росла, почти деревня!

Уже и пар от них валил. Ну-ка, как сердечко, дай попробую. Да у тебя оно под самой кожей, вот тут, выпрыгивает.

И меняясь в голосе и в руке:

– Хватит пилить, пойдём! Я сам dokonчу, а пойдём!...

10

* * *

С утра по петроградским улицам было расклеено объявление:

«За последние дни отпуск муки в пекарни для выпечки хлеба в Петрограде производится в том же количестве, как и прежде. Недостатка хлеба в продаже не должно быть. Если же в некоторых лавках хлеба иным не хватило, то потому, что многие, опасаясь

недостатка хлеба, покупали его в запас на сухари. Ржаная мука имеется в Петрограде в достаточном количестве. Подвоз этой муки идёт непрерывно.

Командующий войсками Петроградского Военного Округа
ген.-лейт. Хабалов».

От уговариванья – не верилось. Слухам всегда больше верится, чем властям.

И откуда этот Хабалов взялся, с фамилией раззявленной, похабной, хабалить – значит нахальничать. И зачем бы это обывательским хлебом распоряжаться – командующему войсками Округа?...

* * *

Градоначальник (начальник городской полиции) генерал-майор Балк, назначенный недавно, из Варшавы, а Петроград ещё зная мало, сегодня с раннего утра объезжал главные места сосредоточения полицейских нарядов. Выходил из автомобиля и обращался к строю со словами уверенности, что чины полиции поработают даже сверх сил – для спокойного положения на фронте. И звучали ответы и выражал вид полицейских, что – понимают.

Но в бравости своей были уже отемнены. Все они знали, что им запрещено применять оружие, а против них – можно. Они знали своих вчерашних раненых и избитых в нескольких местах столицы. Им стоять на постах уединённых – мишенями для гаек и камней, когда войска усмеваются сторонне, а толпа видит, что власти нет.

В закрытом дворе городской думы – в самом центре города, а населению не видно, был стянут большой отряд городских и жандармов. Балк объявил им: распоряжением министра внутренних дел тяжело раненные вчера два чина полиции получают по 500 рублей пособия. (А им жалованья-то в месяц было 42 рубля, многие рабочие больше них получали).

* * *

На Обводном канале поутру к Невской Бумагопрядильне подвалила толпа тысячи полторы и стала камнями в окна швырять, во все этажи:

– Эй, бросай работать, **отсталые** !

Высовываются к стёклам с опаской, под камень бы не угодить. Кто плечами жмёт, кто показывает: «нет, идите своей дорогой!». А кто: «да, мол! сейчас мы их тут, сейчас!».

Когда человек работает – трудно отрывается. Но уж оторвётся – тоже назад не дозовёшься.

* * *

С раннего утра, едва собрались рабочие на заводе Щетинина, на комендантском аэродроме, – митинг. Оратор Пётр Тиханов призывал:

– Товарищи! Моё мнение такое: мы должны все как один приступить к насильственному обоюдному делу, и только таким путём мы добудем для себя насущного хлеба. Товарищи, запомните ещё: что долой правительство, долой монархию и долой войну! Вооружайтесь кто чем может, болтами, гайками, камнями, выходите из завода, крушите лавочки с руки!

И все рабочие вышли, ворвались и во двор соседнего завода Слесаренко, выгнали всех оттуда. Тиханов дальше:

– А теперь, товарищи, взойдём на железную дорогу и сделаем передышку.

Взошли на полотно, остановили пассажирский поезд. Отдохнули. А потом:

– Пошли всей кучей к Государственной Думе, на трамвай никто не садитесь, а вдоль трамвайной линии начинайте действовать по лавочкам!

При разгроме лавочек лиховали новобранцы, задержанные при заводе на учёте: им всё равно на фронт скоро, нечего терять!

* * *

Собралась на завод «Айваз» утренняя смена, три с половиной тысячи, – ей кричат: всем на сходку! И не свои, но пришлые ораторы держали речи, и не о хлебе (хлеб айвазовцам выдавало начальство), а что с этим правительством больше жить невозможно, всем бросать работу и идти в центр города. И поддержат их все заводы.

* * *

На всей Выборгской стороне завод Эриксона – самый обеспеченный и самый мятежный. Кому по хлебным лавкам, а эриксоновцам – на Невский! Бастовать – так не по домам сидеть, а пусть буржуи трясутся.

Только Сампсоньевский проспект после завода – узкий, и две с половиной тысячи эриксоновцев колонной своей – весь закупили. А впереди, ещё много не доходя до Литейного моста, – на конях казаки, выстроенные ещё с последних фонарей, при первом брезге утра.

Жутко. С шашками кинутся если сейчас – порубят, деваться некуда, не защититься и не бежать.

Однако уже – и сошлись, спёрлись в узости.

А фланговый казак тихо: «Нажимайте посильней, мы вас пропустим».

Но офицер скомандовал казакам: ехать рассыпным строем на толпу. И первый – врезался, пробивая путь конём.

А казаки – подмигивают рабочим. И – стягиваются гуськом, в коридор за офицером. И – тихо, по одному, не давя, и шашек не вытаскивая.

И рабочие, от радости невиданной:

– Ура-а-а казакам!!!

Всем заводам дорога чистая к мосту.

* * *

Толпа простого народа с Выборгской и Полюстрова густо подвалила к Литейному мосту. А дальше путь – крепко загорожен: полиция пешая и конная, и больше двух казачьих сотен, и рота запасного Московского батальона.

Стояли и глазели. Мирно.

Тут подъехавший полицейский генерал вышел из автомобиля, расставил ноги против толпы с предмостного подъёма и громко спросил всех сразу, оглядывая:

– Почему не работаете, стоите без дела?

В толпе все вместе сильны, а ответить – надо отделиться, сразу ты ничто. Толпа любит разговаривать вся вместе. Но всё ж из передних, посмелей, решились:

– Муку, ваше превосходительство, населению почему-то не раздают...

– А гонят спекулянтам.

– Народ, видишь, голодает, а спекулянты-те наживаются.

– Грят, велено пекарням ржаного боле не выпекать.

Генерал:

– Неправда!

– Ну как неправда, люди говорят.

– Всё неправда! А вот хотите, – свежо пришло ему, – вот вы четверо, поедemте со мной сейчас в градоначальство, и я вам в продовольственном отделе покажу все книги и накладные прибывающей муки. Поедemте, не бойтесь! Один хоть прямо сейчас со мной в автомобиле, а остальные приходите следом, тут ходу двадцать минут. А? Кто сядет?

Запосмеивались. Заподтлкивали друг друга. Да всё в нарошку, никто б не пошёл: как это? – от толпяной силы оторваться – и туда отдаться в руки им, в *учреждение* ? Дураков нет!

Не шли. Балк сел в автомобиль, но не завернул на мост назад, а попросил пропустить его – дальше, на Выборгскую!

Толпа расступилась, немало кто и поклонился проезжающему генералу.

Балк сделал небольшой круг по Выборгской – до Сампсоньевского моста. Если не очень вглядываться – как по улицам ходят да что там внутри заводов, – так будто всё и в порядке.

По Большой Дворянской (вчера тут четыре тысячи было разогнано конными городовыми) – на Троицкий мост. Тоже и на Петербургской стороне спокойно. Можно думать, сбудется предсказание начальника Охранного отделения, что всё обойдётся мирно. С этим поехал на совещание к Хабалову, на его квартиру у Литейного же моста, на Французской набережной. Хабалову не надо и телефонных донесений ждать, и сапог натягивать, – из окна всё видно.

* * *

А донесения в градоначальство просто не успели. А на Петербургскую сторону Балк углубился мало.

Именно здесь вчера первые начали бить лавки, хлебные и мелочные, – обошлось, понравилось. И сегодня именно здесь продолжали. С утра разграбили мясную лавку Уткина на Съезжинской, – хотя не о мясе шёл спор, а как-то само пошло: камнями – в стёкла, там одна баба вперёд, за ней и все, и – кур, гусей, свиные окорока, бараньи ноги, куски говядины, рыбины и масло плитами безо всяких денег захватывали и уносили. (В тот же день пошла полиция с обысками по соседним домам. У кого и нашли, а кто подальше жил – тю-тю, всех не обыщешь).

И чайный магазин заодно разграбили: чай-то, он в руках лёгкий, а дорогой, чаю полгода не покупать – экономично. (Захватили городовые двух баб и одного подростка, увели).

А откуда-сь-то поутру уже и толпа стянулась из малых улиц тыщи три – просто люди-жители и ученики разные, в формах своих и без форм, и студенты – вывалили с Большого проспекта на Каменноостровский, всю мостовую забили – и наддали к Троицкому мосту. Пробовали петь, но недружно получалось, не все знали, что ли.

Казачий разъезд нагнал на толпу – разбежались.

Разбежались легко и кажется без обиды: вы – гонять, а мы – бежать. Привычно.

* * *

Стоят солдатики перед Литейным мостом.

Стоят не слишком бравые, иные ремнями как кули увязаны, еле туда в шинель упиханы, но форма единая, винтовки единые к ноге, – и оттого как бы строги. Стоят, молчат – и оттого строги.

А – **что** будут делать, ежели...?

Это – девкам лучше всего узнать. Мужчинам штатским к военному строю подходить не положено, неприлично: а ты, мол, почему не в нашем строю? Да и опасно: какой-нибудь там пароль пропустишь – хлоп тебя на месте!

А девкам – льготно. По две, по три под ручку собрались – и подкатили к самому строю, зирками постреливая, посмеиваясь или семячки полускивая:

– Чего эт вы, мужики, сюда притопали? Немец – не здесь, ошиблись.

Ежели что штрафно или смешно – так это на вас ложится, не на нас: войскам на улицах делать нечего всурьёз, а мы – бабы, у себя на Выборгской, вот, семячки лускаем.

Солдату из строя – не очень отозваться, дисциплина. Только улыбнётся какой украдкой. Девки-то – кому не понравятся? Ещё молоды, фабричной сидкой не замотаны, губы свежие, щёки румяные.

Да к строю самому вплоть не подойдёшь – впереди прапорщик похаживает. Хмурый очень. А сам-то молоденок, тоненек.

– Ваше благородие, что это вы больно хмурый какой? Или невеста изменила? Так другую найдём.

Засмеялся:

– А какая на замену?

– Да хоть я, – облизнула губы. Разговор совсем вблизи, девки слышат, солдаты нет, полиция нет. И, ещё зырнув по сторонам: – Слушай, неужель в народ пришли стрелять, а?

Аж залился:

– Да нет конечно! Да позор такой. Ничего не бойтесь, мы не тронем!

Стоят и казаки конные поперечной цепью. Смирны, рабочие с ними заговаривают, те отвечают. Тогда из толпы стали прямо подныривать под казачьих лошадей, и так пробираться дальше. Казаки не мешали, посмеивались. Тут подъехала конная полиция и загоняла пронирынувших назад.

* * *

А меж тем солнышко пробилось и заиграло не по-питерски. Морозец спал, только что не тает. С крыш капель посочилась.

По Большому проспекту Васильевского без трамваев далеко видны хлебные хвосты – по одну сторону и по другую. Стоят смирно, стёкол не бьют, а слух тревожный:

– Завтра-послезавтра хлеба вовсе продавать не будут. Теперь в городе – заведущий продуктами новый, немец, и желает два дни подсчитывать, выпекать ли дале хлеб.

А то неделю целую передавали: взрослым будет по фунту, мальчикам по полфунта, – отчего и хвосты сбились.

А посередине, по трамвайным рельсам, близится шествие. Ещё передей бежит детвора – в шапках с растопыренными ушами, в пальтишках, домашних кофтах, у них-то и главное веселье. Скучный один красный флаг, да и тот подлинный. Не много и голосов, но все молодые, искрича поют, вызывательно. Девушки в пуховых косынках идут длинными изгибистыми рядами, все сцепясь под локти. Рабочие парни, в пиджаках на вате, смотрят сурово. Улица расступается перед ними – и хлебные хвосты загибаются, и прохожие к стенам домов.

– Пошли с нами, чего стоите? На Невский, за хлебом!

Нет, обыватели не решаются, шествие не увеличивается. Так – ещё вырывистой голоса:

– Вставай, подымайся...!

Погода тёплая, солнышко светит.

Поперёк улицы стоит цепочка неуклюжих бородачей-солдат. Офицер в полушубке показывает им пропустить шествие.

* * *

Кому время пришло – это подросткам. Озорство – и дозволено, надо ж! Что к чему – это взростным знать, а нам! – с палками по Лиговке бегут и в мелочных лавках стёкла бей! бей! бей!

В шести разбили – дальше пробежали. И не поймаешь.

* * *

А собралось нас, чёрного народу, видимо-невидимо. Всю Пироговскую набережную устали, и на Полюстровскую крыло и на Сампсоньевскую. Со всех заводов поуходила Выборгская сторона, изо всех улук выперла к набережным – тысяч сорок нас, право. А – чего дальше?

Так-то стоять час-по-часу и в хвосте можно, так там хоть с буханкой тёплой выйдешь, а тут чего? А всё ж таки: в хвосте стоять надсадно, как пригнули тебя, упинайся кому-сь в затылок. А здесь вольней, сами себе хозяева, – вот, пришли и стоим!

Горит Нева, вся в солнце, в снежных искрах. И перегораживает и манит.

Мы – и не Питер вовсе, мы – так, слобода приписанная, для работы на их, на бар. Вроде и не на их – а всё на их. Вона-ка их чистый город – башни, башенки, дворцы да парки, так и отстроились особно, а наш люд – пиханули за Большую Невку. И никогда справедливости не будет: они повсегда будут чистенькие, а мы – корявые.

Не только мост перегородили, а у сходов с набережной к реке тоже стоят наряды полицейские.

И чего стоим, спроси? Ещё раз посмотреть на их город издали? Вроде город же единый, и трамваи единые ходят, и для того мостами соединено, а вот – спрашивай правду! Нету нам ходу! Вечор на этом самом мосту, на Литейном, каждый трамвай в город посередке моста останавливали, значит вхаживали околоточные с городовыми и шли по вагону проверяли ездовых, на глаз. Да только глаз у них мётаный, как свинчатка бьёт. По рылу, по одежке, а то и руки покажи, документа не нужно: выходи! За что? Выходи и всё. За что такое, в чём я повинен? Выходи проворней, меньше разговаривай. А то – и за плечики, за локотки. А остальные, свои, кто к образованным потесней, – те себе поехали дальше, зазвонил трамвай.

Заразы эти и трамваи, жисть бы их и не видать. Это ж придумали: чтоб ногами совсем не ходить, от дома до дома и то на колёсах.

И ничего там, в городе, заманного нету для нас, ржаником нашим и не торгуют, а ихними нежностями не напитаешься, все тамнии забавушки, кафетушки – ногою пни, и одежка ихняя несуразная – дорогая, а вся в дырах, не греет. А вот – перегородили! Перегородили как не людям, и играет сердце обидою: на Невский! Айда на Невский!

А ежели через Неву прямо? Лёд ещё крепок, не весенний. Снег небось по колено, не хожено?

Как вот на бабу, бывает, загорится, как будто ни кой другой не бывало: никни, и всё! Хотим – на Невский!

* * *

В полдень зазвонили сразу все пять телефонов в градоначальстве: прямо через Неву! по льду! гуськом! пошли вереницы людей непрерывные!... Ниже Литейного моста!... И выше Литейного моста! На Воскресенскую набережную, в нескольких местах!... И к городской водокачке!

Во многих сразу местах! по глубокому снегу торят тропки! по-шли!!

А что полиции делать? Оружия сказано – не применять. На гранитных набережных

левого берега стоят полицейские наряды у ступенек – но если беспорядки надо прекратить без толчка, без ушиба, без ссадины, – чем же они эту массу остановят?

Остаётся – пропускать?

Вот достигли левого берега, прут по ступенькам вверх. Где фараоны, в обхватку рук, силятся будто задержать, а где – как дремлют, не видят.

А что? – идут ребята, не озоруют, а не написано правила такого, что нельзя через реку пешком идти.

* * *

А на всех главных улицах центра публика – поплотнела, еле на тротуарах умещается, расширенное гулянье. Опять же и – солнечный, легкоморозный весёлый денёк. Чистую публику ещё больше тянет – что-нибудь да выкинуть, назло властям. Ждут рабочих на зачин.

* * *

По Знаменской улице, по глубокому разъезженному снегу, одноконный извозчик-старичок в санках вёз седока к Николаевскому вокзалу. И увидели, как по Невскому бегут толпы людей и что-то кричат. Извозчик перепугался, встал с козел и погонял концами возжей (в Петрограде извозчикам кнуты запрещены), повернул в переулок к Лиговке:

– Да чо ж они делают! Чичас война, а они бунтуют, кричат. Чичас их залпом ударят – могут и нас побить!

* * *

В парикмахерской у Аничкова моста. Стригут, бреют, вежеталят, как всегда. Деловых людей не больше, не меньше, чем обычно.

– Да-а, в воздухе пахнет демонстрацией, господа!

– Странно, что полиция не принимает никаких мер.

– Ох, подозрительно мне это бездействие. Что-то мрачное затевают власти. Удивительно: дают демонстрантам свободно по улицам ходить, будто заманивают.

* * *

По Каменноостровскому в сторону центра повалила новая семитысячная толпа – быстро они собрались, да ведь почти все не на работе, учреждения тоже закрывались. Из окон лазаретов помахивали раненые. Перед толпою кричали, плясали, забиячничали мальчишки и девчёнки.

Пристав велел прекратить шествие. Не послушали.

Тогда, отступая со своим нарядом, он приказал конно-полицейской страже по соседству – выехать на проспект и рассеять толпу.

Зацокали лошади, выехали кривым крылом конные городовые. Смешанная публика – и мастеровые, и мещане, и почище, и гимназисты, и студенты, быстро очистила мостовую, пошла по панелям. Оттого сгустилась – и из этой большой густоты, уже при конце проспекта, против Малой Посадской – грохнули из револьвера в полицейский наряд! **Первый** выстрел этих дней!

Но – не попал, ни в полицейского, ни в кого. И – затолкался быстро в толпе, не

обнаружили. Да толпа и не выдаст.

Сгущена толпа на тротуарах – как в ожидании высочайшего проезда. Только через дорогу вольно переходят, валом.

И теперь – по ту сторону, уже на Малой Посадской – из того же револьвера, или согласовано у них, – **выстрел !** Второй!

И закричала женщина, случайная. Упала. Ранена в голову. А в городского опять не попал!

Послали за каретой скорой помощи.

А голубчика – опять не поймали: густо стоит публика, и не выдаёт, не показывает.

Реалист у края панели закричал, что – вот именно этот городской застрелил женщину.

Тут же подошёл полицеймейстер, при всех проверил у городского патроны в револьвере. Ещё было время проверять правду. Все на месте. И в канале ствола нет порохового нагара.

Реалиста Титаренко задержали.

Та женщина в больнице умерла.

* * *

Сколько по льду ушло охотников, а нас перед Литейным мостом – как и не убыло. И подполняются, и подполняются.

И даже оно само так получается, без умысла, задние подпирают, а мы исплотна – вперёд да вперёд, под самые головы лошадиные. Так вот, по вершку, а лезет толпа на лошадей. Лошади отфыркиваются, головами мотают, отпячиваются, – у лошадей-то сознание есть.

А конные чуть отступят – так и пешая полиция отходит, само собой.

Так по вершку, по вершку, незаметно, из вершков – сажени, вот уже и у моста.

Полиция окрихнет – так ведь никто ж вперёд и не идёт. А напирают сзади просто. Не бранимся и мы в ответ, разве кто огрызнётся. Бабы – про хлеб добавят. Ежели на полицейских вот так бы близко часто смотреть вплоть – тоже ведь люди. Также подумать – и они на службе, и у них семьи и дети.

– А ваши бабы за хлебом стоят в хвостах?

– А где ж им брать?

– А что ж мы их не видим?

– А что ж им, нашу форму натягивать?

А уже мы почти и на мост ступаем. Тут поперёк ещё драгуны, кони в два ряда.

Вот теперь ежели рвануть – будут рубить? нет? Как бы с лиц драгунских вычитать? – не скажут же при полиции вслух.

Да ведь эвона сколько мы протоптались – что ж нам теперь, это всё пропятиться?

И как-то само возникает, ни жожаков же не было, ни сговора, только переглянулись чуть и заорали:

– Ура-а-а-а!

А сами ни с места. Сильней, и сзади тоже:

– Ура-а-а-а-а!

Да вдруг – как толкнули поршнем по мосту, это ж могут, толпа, с ног сбивает. И все:

– Ура-а-а-а-а-а!

Полицию ту прорвали и не заметили, а на драгун: ну-ка?...

Не бьют! не бьют! шашек не шелохнут, а кони пятятся.

– Ура-а-а-а-а! – пронесли через конницу! И – по мосту! И – по мосту бегом!

И – четь моста! И – полмоста!

А там – всего ничего, дюжина городских – а шашки вон!

И у полковника – лицо зверячье. И у других не мягше: будут рубить! Будут рубить,

сколь поспеют, а сами лечь готовы, да!

И остановилась тысяча перед дюжиной. Всё ж таки первым без головы остаться...

Но кто позадей, значит догадался, поднял и кинул – скелетного острого льда кусок – в городского! Тот схватился, кровью залитый, шибко залитый, и шашку выронил.

А как кровь пролилась – побежали через них. И кто-то по пути из снежной кучи выдернул – лопата! Она ещё страшней, если размахнуться!

Не рубят! Пробежали.

– Ура-а-а-а!

На Невский теперь! (А зачем – сами не знаем).

А задних там оттеснили, они вопят:

– Кровопийцы, хлеба!

– Опричники!

– Фараоновы рожи!

А нам дорога пока свободная, ноги лёгкие:

– На Невский!

* * *

Не так понимать, что жизнь города прекратилась. Всё себе шло.

В редакции газеты «Речь» готовились к годовщинному банкету, будет сам Милюков и все вожди ка-дэ.

Из Луги приехал ротмистр Воронович (скоро мы о нём узнаем), сидел в Гвардейском экономическом обществе – никаких беспорядков не заметил, и никто ему не обмолвился.

Да и многие в городе ничего не заметили. Генерал Верцинский на извозчике по городу ездил, ничего не видел, только слышал с Невского шуму. Вечером поехал в театр, как многие.

Да сам премьер-министр князь Голицын испытал сюрприз, что не мог проехать обычной прямой дорогой от себя с Моховой – и в Мариинский дворец, на заседание правительства. Пришлось крюку дать.

На совете министров в этот день были разные рутинные дела, городских волнений не обсуждали: и Протопопов на заседание не явился, а беспорядки эти сегодня от полиции переданы властям военным, с них и спрос.

11

Брякнула звонком, ворвалась Вероника с Фанечкой Шейнис:

– Ой, тётеньки, на минутку! Литературу зря брали, сейчас не до неё, положить, с ней и влипнуть можно, как Костя!

У Вероники – быстрота движений и решений, с прошлой осени, новая.

– Какой Костя?

– Мотин приятель, Левантовский, из Неврологического. Речь кричал к рабочим, полиция схватила, а в кармане сложенный лозунг на бязи: «Да здравствует социалистическая респуб...»

– Ты что, тоже будешь речь к рабочим говорить? – тётя Агнесса с одобрением.

– Не знаю, как придётся! – смеялась Вероника.

И толстенькая добродушная Фанечка:

– Как придётся. А почему б и нет?

– Вероня, Фанечка, подождите, поешьте немного! – хлопотала тётя Адалия.

– Ой некогда!

– Ну вот паштета. И холодца. – Уже тарелки ставила.

Девушки присели как были, в шубёнках и в шапочках, на края стульев.

А тётя Агнесса, сильно волнуясь, третью спичку ломая перед ними, в досаде:

– Вот, задержала ты меня! Разве можно в такие часы дома сидеть! Мы всё пропустим! Что видели, девочки? Где, расскажите?

Паштет пошёл, однако. И с непробитыми ртами:

– Сперва у Сименса-Гальске, на 6-й линии. Кричали им, свистели. Сперва не шли, а потом хлынули – ну, тысяч пять...

– ...Да больше! Семь тысяч! – выкатили из ворот...

– ...И – к Среднему! А конные городовые – ну, куда, их мало! А тут же близко – казаков человек десять, и полиция позвала их на помощь...

– А они!!! При всей толпе, ни слова не отвечая! – молча простояли! толпу пропустили! – и за толпой поехали, опять молча!!

– Сзади! За толпой! Как будто ни в чём не бывало! Сияли девочки.

– Да скоро и в переулочек свернули.

Самим стыдно!

– Это поразительно! Казакам – и то стыдно!!

– А один казак пику обронил – так ему из толпы подали, по-дружески!

– Да-а-а! – дрожащую папиросу тянула, тянула тётя Агнесса и расхаживала по столовой.

А тётя Адалия на стул опустилась и сидела с зачарованной улыбкой.

– А потом толпа разделилась. Мы пошли с той, которая к Гавани. Тут стали ломать заводские ворота снаружи, чтоб и этих снять, подковный завод.

– Нет, ещё раньше вот тут, на 18-й линии, лавку громили – и на улицу хлеб выбрасывали, прямо на мостовую!

– Дожили мы, Даля, дожили! – Агнесса ходила и всеми суставами выхрустывала. – **Казак** переменялись!!! Ну, тогда им конец!

– Трамвайщики из депо с утра не хотели выезжать: обеспечьте сперва хлебом!

– Да им езда! Один вагон толпа уже стала толкать, опрокинуть. А солдаты за плечи оттаскивают, вагон спасти, потеха!!

– Гимназисты – марсельезу поют, народ учат!

– Вообще – настроение у всех, тётеньки! Идите и вы скорей, ещё что-нибудь увидите! А мы – побежали. Если Мотя позвонит, скажите не учимся! Да он и сам, конечно!... А Саша не звонил?

– Надо вызвать стрельбу! Добиться стрельбы! – напутствовала тётя Агнесса. – А так – всё пропадёт даром, поволнуются и кончится.

Фанечка уже утаскивала Вероню. Захлопнулась за ними дверь.

– А Сашу – не могут заставить давить? – сильно тревожилась тётя Адалия. – Учреждение не должны бы?

– Ну, Сашу ты не знаешь? Уж он никогда!

– А если заставят всех военных?

Агнесса закурила новую, но тут же стала гасить:

– Нет, пошли! А то я одна пойду. Ты подумай: может быть именно этого дня и ждали, именно его мечтали на календаре увидеть – все, отдавшие...

Прислушались у форточки. Как будто издали – рабочая марсельеза, голосами молодыми.

– Эх, – махнула рукой Агнесса и пошла одеваться, – и марсельезу не так поют, разучились с Девятьсот Пятого.

24-го, в пятницу, вызвали один взвод учебной команды Волынского запасного батальона в караул на Знаменскую площадь. Командовать послали штабс-капитана Цурикова, весёлого лихого офицера, после ранения доздоравливающего в запасном, не

знающего тут ни солдат, ни даже всех унтеров. А в помощь ему назначили фельдфебеля 2-й роты той же учебной команды старшего унтер-офицера Тимофея Кирпичникова – поджарого, с хмуроватым неразвитым лицом, короткой шеей, уши плоские прижаты. Давний волынец, ещё с мирных лет, унтер того типа, который службу знает отлично, – может, ничего другого, но уж её-то знает.

Из своих казарм пошли во всю длину Лиговки и в последнем доме её перед площадью спустились в просторную дворницкую, в подвал, где китайская прачечная. Там – скамьи были, можно было и сидеть, винтовки составив пирамидками. И курить, не все сразу. А снаружи – двух часовых.

Штабс-капитан не остался тут, ушёл в Большую Северную гостиницу, посидеть за столиком.

Жизнь солдатская, что-нибудь всё равно заставят: не ученье, так вот сидеть тут, в шинелях перепоясанных, друг ко дружке изтесна. Хочешь – молчи, хочешь – старое переговаривай, уже все про тебя знают, и ты про всех. Не солдатам, но дружкам-унтерам рассказывал не раз и Тимофей про свою сиротскую жизнь, разорённую семью, отца-шорника, мачеху, – и как только в армии нашёл он свой дом, да повезло ему попасть в гвардию, в Варшаву.

Это значит, для того их посадили, чтобы снаружи не видно было солдат, будто никого нету. Стесняются перед народом. А часовые у подворотни – мало ли что.

Но не так долго посидели, с часок. Прибежал Цуриков, ещё с лестницы кричит:

– Кирпичников!

– Туг, ваше высокбродь!

– Командуй «в ружьё»!

– А что такое? – Тимофей себе цену знает, не так уж сразу перед всяким офицером, не на каждую команду выстилается. Он и сам в школу прапорщиков метил, добивался. Не послали.

– Идут!

– Кто идёт?

– Да чёрт их знает, выводы!

Ну, скомандовал «в ружьё», разобрали винтовки, потопали по лестнице.

А снаружи – солнце, мороз лёгкий.

На убитом, уезженном снегу развернулись фронтом против Невского, поперёк него.

Видели: по Невскому, по мостовой, надвигается толпа. И – два флага над ней красных.

А обстановка нисколько ж не боевая: теснится публика прямо на солдатские ряды, сзади и сбоку, и подговаривает, да не отчаянно, а весело так, подбивисто: «Солдатики, не стреляйте! Смотрите, не стреляйте!»

Кирпичников, оглядясь, офицер не вблизи, тихо:

– Да не бойтесь, не будем.

И что в самом деле за задача такая: среди города, среди народа стоять – и в народ же стрелять? Солдатское ли это дело?

А попробуй – команды не выполнить?

А толпа с флагами – валит, ближе. И почерней одета и почище, и из простых и из образованных. И кричат:

– Не стреляйте в народ, солдаты!

Но и сами не верят, как играют.

Штабс-капитан стоит не слишком струной, не строго смотрит. И никакой команды не подаёт.

Кирпичников подошёл к нему, тихо:

– Ваше высокбродь, они ведь идут – хлеба просят. Пройдут – и разойдутся, ничего.

Штабс-капитан посмотрел, плечами пожал. Он – в вольном полёте, тут ненадолго задержался, что ему служба здесь.

Да Тимофею и самому тут надоело, но задержали его в батальоне как хорошего

обучающего.

А передние в толпе замялись. Смотрят на офицера, не идут дальше, на площадь.

Штабс-капитан улыбнулся, отмахнул ладонью лихо: проходи, мол, проходи!

Толпа разделилась – и стала огибать оба фланга солдатского строя. Сперва робко, потом смелей.

Потом кричать стали:

– Молодцы, солдаты! Спасибо!

А дальше громче:

– Ура-а-а!

А там, дальше, на площади, – вот тебе, стали собираться к царскому памятнику на коне. Нисколько не расходятся.

Худо дело. За это нас не поглядят.

И там – заговорили крикуны с мраморного стояла.

О чём – сюда плохо слышно.

А то бы и послушать.

Из его роты ефрейтор Орлов, питерский рабочий, важивал его тайком на одну квартиру на Невской стороне. Простая квартира, рабочая, в посёлке Михаила Архангела. И из других запасных батальонов там приходило солдат пяток. И два студента всё-всё разъясняли им, какие были цари, все кровь народную лили и за счёт народа пировали. И – такие же все дворяне, и такие же – петербургские все правители. А теперь, вкупе с иными генералами, торгуют кровушкой русского солдата. И измену – передают немцам. И Распутин к этому приложен, а царица с ним валяется. И вот куда мы идём. И вся эта война нашему народу совсем не нужна.

Чего и правда, чего и наболтали. А сердце аж захолонывает.

Придумал штабс-капитан, махнул: уводи!

Верно. Нам теперь хуже тут стоять.

Ушли пока в дворницкую.

13

-

экран

-

Меж четырьмя бронзовыми конями Аничкова моста мчатся живые два! – красавцы-кони! – извозчика-лихача – мчат легковые санки, в них ездоки – солидный господин, уверенный и с улыбкой, и дама рядом, с меховым воротником, в широкой шляпе с перьями.

Но на самом скате с моста – кони поёжились, замялись, заплясали на месте, извозчик откинулся – изумлённо или в страхе, – = молодой мастеровой в поддёвке, шапке набекрень – стал на пути, не побоялся, руку поднял – и так остановил коней. Одного за узду – и обходит, показывает взмахом: слезай, мол, слезай!

Извозчик – надулся, лопнет, а господин – господин монокль откинул, улыбается, недоразумение просто:

– *Товарищ! Зачем же так? Я тоже –*

за свободу! Я – корреспондент «Биржевых Ве...»

= Но не для того парень под скок становился:

– *Биржевой? Накатался! Сле-зай!*

= За локоть сдёрнули с саней господина.

Господин – своё загалдел, дама – закудахтала, но слезают, извозчик – своё, = ну! взамен вспрыгнули с двух сторон приятели:

– **Гони!**

Извозчик оцетинился:

– **А кто мне заплатит?**

– **А вон, видишь?** –

показывают:

= На Фонтанку легковых извозчиков пяток свернули, уже без седоков. И ждут, денег не спрашивают.

= Парень в санках в рост, обеими руками размахнулся вольно – да на плечи извозчику, хлоп!

– **Е-дем!**

По-ка-тили!

Покатили ребята, не спрашивай, почём, – да вдоль по Невскому!

Вдоль по Невскому если глянуть вдаль = что-то люда много на мостовой и трамваев слишком густо.

= Ещё какой-то если трамвай идёт, не стал – перед ним мальчишки на рельсы, лет по 15, он тормозит, прыгают к нему на переднюю площадку и ручку из рук вырывают!

И – поди не послушайся. Ещё ж его и ругают!

Вагоновожатый пожилой усмехается горьковато, к стенке откинулся. Это ж – работа его, и обидно: ключ отдавать соплякам.

= Уже унесли, побежали! Ключом трясут и кричат!

= Пассажиры в трамвае – по-разному.

А в общем что ж? – выходить, да пешком.

* * *

На Казанском мосту, как проглядывается Спас-на-Крови вдоль канала смешанная толпа рабочих, баб, по одежке видно, что с окраины, и подростков.

– **Дай-те хле-ба!**

– **Ха-тим есть!**

И не все, но голоса отдельные стягивают, тянутся вместе стянуть:

Вставай, подымайся, рабочий народ!

Иди на борьбу с капита-а-а-лом!

И – вырвался вверх красный флаг! Подняли там в середине.

И крик молодой надрывный звонкий, одинокий:

– **Долой! полицию! Долой! правительство!**

А – хода им нет: тут же – конница, кончилась песня, драгуны наезжают конными грудями на рабочих – и теснят их вбок – туда, вдоль канала.

Негрубо, без шашек – туда, к Спасу-на-Крови.

И флага не стало – упал, убрали.

Гул неразборчивый. Крики злые.

Утихающий ропот. И только мальчишеские сдруженные весёлые голоса:

– **Дай-те-хле-ба! дай-те-хле-ба!**

= А на тротуарах – публика почище, хорошо одетая.

Смотрят зеваками сочувственными, но радости – как будто и поуменьшилось.

* * *

Церковь Знамения.

Памятник Александру III, на красном граните.

Император-богатырь, вросший конём навеки в параллелепипедный постамент.

Тяжесть, несдвигаемость.

И – пятнадцать конных городских, отлитых молодцов, живые памятники, с шашками наголо, не усмешечками, как казаки, – цокают навстречу. А – шутить не будут.

А – не будут!?

Из глубины от нас – сви-и-ист! ви-и-изг!

А тут, через площадь от Лиговки – ломовые сани тащатся, воз дров.

Сви-и-ист! Ви-и-изг!

И чья-то рука протянулась – хватать полено!

да и – метнула в конного.

Со всей его гордостью, твёрдостью – а поленом в харю! Не хотел?

Метко наши ребята бросают – чуть не свалило его, схватился за лицо, кому не больно?

-

И лошадь завертелась.

А – пуще свист на всю толпу! и – орут!

и десяток бросился к тем поленьям – разбирать да швырять, из-за воза как из-за баррикады.

Двое конных было сюда – а тут нас и не возьмёшь.

Полено! – полено! – полено! – полетели как снаряды!

И помельче летят – то ли камни, то ли лёд.

А – визгу!

Перепугались лошади. Закружились – прочь уносят.

В коне их сила – в коне их и слабость.

А одни ускакали – другим конным тоже не оставаться – завернули – и прочь, туда, к Гончарной.

= Один только коняка не шелохнулся – Александров. Конь-то – из былины.

И – Сам.

= Площадь – свободна, и всю запрудил толпа с Невского.

И что ж теперь? – Митинг!

И где ж? Да на постаменте ж Александровом, другого возвышенья и нет.

Взбираются, кто как горазд.

Крепко ты нас держал – а вот мы вырвались!

И кричат – кто что придумает, люди-то все случайные, говорунов ни одного:

– *Долой фараонов!*

Ура-а-а-а!

– **Долой опричников!**

Толпа-то на площадь вся вывалилась, а в устье Невского, замыкая его – полусотня казаков.

Чуть избоку на конях, снисходительно. Щеголи.

Так получилось – они тоже вроде на нашем митинге.

С нами!!

– *Братьям казакам – спасибо! Ура-а-а!*

– *Ура-а-а-а!*

Ухмыляются казачки, довольны.

А ура – гремит.

И что ж им, чего-то делать надо?

А – раскланиваться придумали.

Раскланиваются на стороны.

Как артисты.

Кто и – шапку снимет, поведёт низко чубатой головой.

С нами! Казаки – с нами!

14

Одно горе всегда выталкивает другое. Корь как тёмный огонь охватывала одного ребёнка за другим – и подняла мать, совсем было сломавшуюся сердечную машину, и утвердила её на ногах, и отодвинулось всё раздирающее, гнетущее, не дававшее ей подняться уже третий месяц.

Началось со старшей, Ольги, всё лицо покрылось красной сыпью, сильно, – на 22-м году уже не детская болезнь, опасно очень. Потом – у Алексея, не так сыпь на лице, как во рту, и глаза заболели. Охватила корь сразу кольцом, от старшей до младшего, и уже ясно стало, что из этого кольца вряд ли вырваться остальным, подозрительно кашляли и те. Разделила детей, но поздно: сегодня было 38 с сильной головной болью уже и у Татьяны – главной сиделицы, умелицы, неутомимой помощницы матери во всех практических делах. Слава Богу, ещё держались две младшеньких. Александра Фёдоровна попала как в круговой бой, со всех сторон враг (да она так и привыкла за последний год...), а помощь малая и не решающая. Затемнив шторами комнаты заболевших и в своём привычном платьи сестры милосердия, она переходила от одного к другому возвратившейся твёрдостью шага.

И в первый день та же корь перекинулась на взрослую Аню Вырубову, которая и вовсе должна была перенести тяжело. Со страшного 17 декабря взяли её из её одинокого домика и держали у себя в Александровском дворце, опасаясь, чтоб и её не убили так же, как Григория Ефимовича, угрозы приходили ей давно, а она и вовсе была беззащитна, на костылях. Теперь она разболевалась при своих двух непрерывных сиделках, в другом крыле дворца, куда, через протяжения апартаментов, государыне и дойти было нелегко, её отвозили туда в кресле, и она просиживала там час утром и час вечером. У Ани разыгрался ужасный кашель, жгущая внутренняя сыпь, но главное – она не могла дышать, боялась задохнуться, сидела в постели, – она ещё кроме всего была мнительная, легко поддавалась панике. Умоляла: в первом же письме к Государю просить его чистых молитв за себя, она очень верила в чистоту его молитвы, и пусть заедет поклониться Могилёвской Божьей Матери. (Той монастырской иконе Аня очень верила, бриллиантовую брошь отвозила к ней).

Сами по себе сиделочки обязанности не только не были трудны государыне, – она считала себя прирождённой сестрой милосердия ещё и до госпитальной практики этой войны. Бывало, она посещала и чужих больных неафишированно, и сама выхаживала своих, Анастасию – от дифтерита, Алексея – во всех его болезнях. Но теперь сама она была так подорвана и разбита, на пороге сорока пяти лет называла себя руиной.

Слава Богу, сейчас Алексей болел не в тяжёлой форме, для него всякая болезнь – насколько страшней. Но – что теперь будет с ним вообще, после смерти Друга? Убили – Единственного, кто мог спасти наследника. Теперь можно было только мучительно ждать неотвратимого несчастья. Григорий когда-то предсказывал, что через 6 недель после его смерти жизнь наследника будет в большой опасности и вся страна окажется накануне гибели. Правда, вот истекло уже 9 недель, но страх не исчез.

И как раз этой чёрной осенью Друг стал предсказывать лучшее: что выходим из всего дурного, что осилим врагов. Впрочем, когда в последнее свидание в домике Ани Государь попросил при прощании: «Григорий, благослови нас всех», – Друг внезапно ответил: «Сегодня – ты благослови меня».

Предзнавал?

И государыня, как предчувствовала, в декабре виделась с ним едва ли не через день, – она искала поддержки в той смертной травле, которою была окружена. Сгустилась вокруг столичная ненависть и злословие – и с самыми близкими встречалась царская семья под покровом ночи и тайно.

В самый день убийства государыня послала Аню отвезти Григорию икону, привезенную из Новгорода. Воротясь, та рассказала, что поздно вечером Друг едет знакомиться в дом Юсуповых с Ириной. Государыня удивилась: какая-то ошибка, Ирина в Крыму. А – не придавала значения, не предупредила. Как постигает нас затмение! Утром 17-го позвонила дочь Григория, жившая при отце: как уехал поздно вечером с Юсуповым, так и не вернулся. И тут ещё не придавала значения. Через два часа позвонили из министерства внутренних дел: постовой полицейский показывает, что пьяный Пуришкевич, выбежав из дома Юсупова, объявил, что Распутин убит. Потом военный мотор без огней отъехал от дома. Но и тут, уже поняв, что случилось дурное, государыня не могла поверить в смерть Божьего человека! Затем стали звонить сами убийцы (но ещё она не знала, что убийцы!): Дмитрий, прося принять к чаю в 5 часов. Отказала ему. Затем – Юсупов, прося позволения приехать с объяснением, звал к телефону Аню. Не позволила ей подходить, а объяснения пусть пришлёт письменно. Вечером принесли бесстыдное трусливое письмо Юсупова, где клялся великокняжеский лжец, что Григорий в тот вечер у него не был: была вечеринка, перепились, а Дмитрий Павлович убил собаку. Лишь через два дня у проруби близ Крестовского острова нашли галошу Григория, затем водолазы нашли и тело: руки-ноги его были спутаны верёвкой, пальцы правой руки сложены как для креста, огнестрельные раны, рваная рана от шпоры – били шпорой, – но и ещё был жив, когда бросали связанного в воду: лёгкие ещё действовали, вскрытие нашло их полными водой.

А гнилая столица ликовала, все поздравляли друг друга: «злого духа не стало!», «зверь раздавлен!».

Разве это не было – убийство?? Разве это был не такой же случай террора, за которые революционеров заслуженно казнили? Убивали великих князей – и революционеров казнили, а убили мужика великие князья, вместе с крикливым извращённым Пуришкевичем, – и все хвалили, и никто не ожидал наказания! Но хуже: и растерявшийся ослабленный Государь не решался коснуться убийц! Как же можно простить злодейское хладнокровно задуманное убийство – и не наказать никого? Даже не арестовать, даже не судить, – простить? Но тогда в государстве не остаётся никакой справедливости и никакой защиты для остальных! Ведь лютые замыслы могут ползти и дальше, ненависти хватает. То-то Николай Михайлович в ноябре предупреждал в Ставке: **начнутся покушения** ! Так это был – общий замысел великих князей?

За все годы – как-то не страшилась покушений царская семья. Да после убийства Столыпина и не было покушений. Казалось, это ушло навсегда.

Как же можно позволять, чтобы нас попирали ногами?

Не было пределов всепрощению и слабости Государя! Постоянно оглядчивый только на мир и лад, Государь ни от каких событий не накоплял в себе грозы.

А династия не только не почувствовала себя обвинённой, но – обвинительницей! Великокняжеская семья в полный голос требовала, чтоб Государь не смел наказывать убийц, – как будто в убийстве и преступления нет. И между собою звонили, захлёбывались по телефонам, и писали по почте, – и зловредная Марья Павловна-старшая, и бывшая сестра Елизавета, и княгиня Юсупова, мать убийцы (государыне доставили её перехваченное письмо к государевой сестре Ксенье: жаль, что не довели дела до конца и не убрали **всех, кого следует**; теперь остаётся её запереть!).

С династией, с большой семьёю монарха, как и с великосветскою средой, от самого начала и до конца не найден был тон. Не состоялось сближение даже с императрицей-матерью – а тем более, что мамаша прислушивалась ко всем столичным сплетням. Програничились и другие многие обиды. Марья Павловна просила руки царской дочери для своего прожоги, кутилы Бориса, – государыня в ужасе отклонила такой брак, спасая свою девочку, – и нажила себе нового смертельного врага. Две черногорки, Милица и Стана, с которыми так были дружны когда-то (со Станой вместе волновались за стеной, когда подписывался Манифест 17 октября), и даже особенно – на сокровенной почве мистики, и вокруг мсьё Филиппа и потом Григория Ефимовича, – сестры-черногорки давно

уже были лютыми врагинями, замышляющими, как посадить на трон своего Николашу. Но – и ни с кем во всей огромной великокняжеской семье не осталось ни сердечных связей, ни даже дружественности, – разве только с дядей Павлом, хотя он был обижен наказаниями. А вот любили Дмитрия как своего сына – и как он отплатил! У всех были свои счёты, свои причины обид, и даже монахиня Елизавета, родная сестра Александры, давно стала непримиримым врагом и не желала даже выслушать никаких объяснений о Григории. Великокняжеская клевета сама ринулась на соединение с клеветой великосветской, приёмная дочь великого князя Павла Марианна Дерфельден распространяла слух, что государыня спаивает Государя спиртными напитками, другие – что тибетскими зельями, – и какая же беззащитность у царской четы против этого злословия! Где, как, в какой форме, кому надо было опровергать, что Государь пьёт лишь за обедом обычную мужскую рюмочку?

Этой печальной зимой в Александровском дворце разрешили себе лёгкое отвлечение – позвали на три концерта, в крыле у Ани, маленький румынский оркестр, – и уже злословила вся столица, что во дворце – оргии.

И – спешили бросить свои обвинения! После визита Николая Михайловича в Ставку – приезжала в Царское всегда надутая и обиженная Виктория, теперь жена Кирилла, а прежде жена брата Эрнста, и по праву родства дерзко учила Александру Фёдоровну, что надо и чего не надо делать. Взбалмошный Сандро, муж Ксеньи, добивался у государыни аудиенции, когда она пластом лежала в постели этой зимой, умученная всем пережитым, – и Государь не в силах был отказать, только ту защиту выставил, что молча присутствовал при его обличительном, оскорбительном, отвратительном лживом монологе.

«Господи, что я сделала? Что я им сделала?» – рыдала или замирала Александра после этих встреч, упавши лицом в руки. Против сплочённости династии она была бессильна.

Вся эта зима была временем писем и разоблачений. Уже какая-то из княгинь Васильчиковых, даже не взяв приличествующей высочайшему обращению бумаги, вырывала неровно листки из случайного блокнота и небрежным торопливым почерком гнала: «вы не понимаете Россию, вы иностранка, уйдите от нас!»

– Идёт охота на твою жену, как ты не понимаешь! – восклицала государыня мужу.

Простивши всем оскорбителям, всем наглым поучителям, даже не снимая мундиров с придворных чинов, даже Родзянке простив распространение записи своей беседы с Государем, только и сделал он в защиту: эту Васильчикову и болезненно-болтливую Николая Михайловича, перешедшего меру в великокняжеских сплетнях, выслал в их имения.

А в защиту супруги ото всех остальных наладчиков – нечем было ему разразиться.

Всей великокняжеской семье всего-то царского неудовольствия могли они выразить: не послать им в это Рождество подарков.

Государь – не был защитой супруги.

Защиты у неё не было. Только – Бог и молитва.

Она особенно любила и утешалась 36-м псалмом: Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены. Покорись Господу и надейся на Него. Перестань гневаться и оставь ярость: делающие зло – истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю.

А само собою эти месяцы не останавливалась в нападениях вся думская клика, и все Союзы, и бушевали в Москве незаконные съезды их, понося власть. Государыня бы с чистой совестью передо всей Россией отправила бы в Сибирь – Львова, Гучкова, Милюкова, ехидного Поливанова, и это было бы только спасением России! Как можно терпеть внутреннюю измену, когда идёт война? Но Государь не только ничего не предпринимал против них, но искал, как уступить им: не посоветовавшись с женою, удалил старого Штюмерера, и несколько раз порывался пожертвовать даже преданным Протопоповым, и взял в премьеры вероломного Трепова, флиртующего с Родзянкой, и давал ему руководить собой (а его надо было повесить!). И ещё сколько сердечных уговоров стоило убедить Государя изгнать последних враждебных министров, и взять честного князя Голицына, и джентльмена Беляева наконец военным министром.

Будучи тут, в Царском, Государь сам вёл все дела и приёмы. Отъехав теперь на несколько дней в Ставку (отпустить его – снова было терзанием и страхом его новых ошибок), он оставил запись и назначение приёмов, хотя и второстепенных. Государыня могла и не выполнять за мужа этого распорядка, да ещё при болезни детей, но долгом чести считала вытянуть назначенное.

И так сегодня, сменив лёгкое платье сестры милосердия на тяжёлое шерстяное (какое попало, государыня не очень их выбирала, а во время войны не сшила ни одной новой вещи), – вышла в зал и через немоготу, с головою занятой, старалась быть достаточно внимательной, принимая целую череду докучливых иностранцев – бельгийца, датчанина, испанца, перса, сиама, двух японцев, это полтора часа, потом ещё кой-кого неотложных, – а потом и помощника дворцового коменданта генерала Гротена.

Дело в том, что, хотя государыне никто ничего не доложил, она вчера за вечерним чаем узнала от близких друзей-гостей, флигель-адъютанта Саблина и от Лили, жены флигель-адъютанта Дена, о том, что в Петрограде были беспорядки, громили булочные. Но такие вещи государыня хотела бы узнавать и через своих официальных лиц! Она вызвала Гротена и поручила ему выяснить у Протопопова – что там? Протопопов успокоил по телефону, что ничего серьёзного. Сегодня же с утра, говорят, беспорядки продолжались даже хуже, и вызывали казаков, – Гротен ездил к Протопопову и привёз успокоение: беспорядки уже спадают, всё это передано в военные руки, генералу Хабалову, завтра всё будет спокойно.

Ещё не раз за день отвлекали государыню и к телефону, день был такой раздёрганный, и захотелось ей умиротвориться, заглянуть в свою любимую церковь Знаменья.

Хотела взять с собой двух младших дочерей – Марию и Анастасию, но в горлах у них доктора обнаружили подозрительные признаки. Ах, так и будет!... Поехала без них.

Морозец был всего 4 градуса, бледное солнце, а воздух показался совершенно дивным, изумительным – каким только может быть чистый морозно-снежный воздух в самый канун весны.

В дневной полутьме и тишине церкви опустилась на колени. Поставила свечки за всю семью, и молилась за всех. Пусть пламя свечей подымет её молитвы к небу! А особенно – за слабого духом Государя. Чтобы в нынешнем своём тяжёлом одиночестве в Ставке, без тепла от жены и от сына, но перед чередой неотклонимых государственных дел – был бы сам он неуклонен, нешаток, достоин той твёрдости, которой жаждет страна.

Делающие зло истребятся. И потомство нечестивых истребится. Потомство же праведника в благословение будет.

15

Ликоня была для Саши Ленартовича какое-то заклятье, искус. Её недоуменно-загадочные поводливые глаза так и играли перед ним все эти годы, хотя за всю войну он приезжал только два раза коротко. Когда же ему приходилось видеть её – то всякое свиданье она ударяла в сердце как первый раз! и всякий раз новая! В этом маленьком лице скрывались неизмеренность очарования, всякий час поворачиваясь чем-то новым.

Саша понимал, что Ликоня, – все звали её так, а он для себя и для неё Еленькой, Ёлочкой, – никак не подходит к направлению его жизни и к размаху ожидаемой борьбы. Он хорошо представлял истинный идеал русской женщины:

Не для пошлых и низких страстей
Ты таила на сердце богатства свои.
Ты нужна для страдающих братьев-людей,
Для великого общего дела любви.

Женщина должна быть – помощница, соратница, и сама по себе энергичная

деятельница на общее благо.

По всем сашиним воззрениям, женщина не смела играть такую роль в жизни революционера, какую уже взяла Еленька, – или уж во всяком случае должна была тогда быть и сама революционеркой. Она же – отдалась самой изломанной буржуазной моде, неприятному модернистскому стилю, – так что даже покладистая Вероня не могла с ней далее дружить, разошлись совсем, – а не мог Саша выбросить её из мыслей ни на день, презирал свою слабость – и не мог. И всякую свободную минуту – прожигаяще вспоминал её. И даже мог уразуметь, что она нескрывается подражает загадочной Комиссаржевской, что всё это может быть только поза, – а тянуло к ней одурчиво.

Если бы не война, не армия, и он все эти годы был бы в Петербурге – может быть он сумел бы подчинить её своему духу, своей воле, направить как надо, и даже воспитать для себя, и всю завоевать. Но из армии, а она в Петербурге, среди всего этого яда, – ничего он поделывать не мог. Она и нисколько не была им занята, и нисколько не пыталась привлечь, на письма отвечала ему изредка, коротко, малосмысленно, а он так же бессмысленно эти письма хранил и даже (стыдно) целовал, испытывая нежность к самим листикам.

Подчинить своей воле! – куда там. Она даже с матерью своей не считалась, жила не по её понятиям, а своим (а отец её умер давно). А за военные годы, как можно догадаться, она с кем-то и сходилась, и так же легко разошлась, – а Саша как затравленный дурак любовался издали её фотографией, ни в чём, никогда он не вёл себя так несамостоятельно, так ничтожно!...

Что ж, у каждого должны быть пороки. В других отношениях Саша был чрезвычайно удавшийся индивидуум – так где-то должны были его настичь недостатки. Пусть уж лучше – такой и в таком виде, самому даже отчасти приятно: красивый порок. Странный цветок на революционере.

Но и обременительный же. Сколько он требовал лишних усилий и лишнего времени. Сам перевод из Орла в Петербург этой осенью потребовал столько хлопот и не всегда принципиальных приёмов, обращаться и понравиться влиятельным лицам, хотя и вполне прогрессивным, но не хотелось бы к ним обращаться. Он и в Орле уже состоял в офицерско-канцелярской должности и, не будь Еленьки, его б и не тянуло сюда, мог бы и там устойчиво дослужить до конца войны, устроен неплохо, и был там весёлый земгородский кружок с самыми лучшими общественными устремлениями. Но уж тогда б он и вовсе упустил Ёлочку.

Но хотя и приехав – нисколько не добыл. Чтобы здесь потягаться за неё – он должен был не только отказать себе в разумном досуге, в чтении полезных важных книг, но не свою играть роль, но попадать в странные компании и даже унижительные для себя обстоятельства.

А Ликоня – именно такая: переливчатая? переменчивая? – её нельзя выпускать из рук, надо быть всё время рядом и заниматься пристально ею.

Сегодня как раз и был один из самых безвыходных случаев: в Александринке среди бела дня, в будни, когда весь трудящийся народ на работе, – там собирался весь театральный, и это бы ладно, но и весь притеатральный мир, какой-то сбор ночных призраков днём, – присутствовать на генеральной репетиции какого-то, будто бы небывало особенного, четыре года готовимого спектакля режиссёра Мейерхольда по лермонтовскому «Маскараду», – так можно было понять, что Мейерхольд сделал там больше и важнее Лермонтова. Нечего было и думать отговорить Еленьку, чтоб она не шла, – она не могла пропустить такого праздника искусства! Но и невозможно было попасть туда вместе с ней – потому что билеты на такое торжество разумеется не продавались, а льготно распространялись среди заведомых членов того призрачного мира, и кто не доказал своего первейшего понимания тонкостей сцены и не мог вести диалога на восхитительных ахах – тому, уж конечно, билета достаться не могло.

Да кроме того, как все дневные деловые люди, Ленартович был всё-таки на службе. Хотя, конечно бы, отпросился.

Вот в такие минуты он и чувствовал остро, что Еленьки ему не удержать. Что она как

привидение ускользает, если и замкнуть кольцо рук, – и своей покачливой нетвёрдой походкой движется в мире этих призраков, куда ему никогда не будет доступа. А мир-то – совсем не призрачный, но даже слишком реальный, где красивой женщины не минуют все глаза и все руки. И там премножество всяких липких неотвязных хлюстов.

Да и вся эта обстановка утончённых духовных красот, томных стихов, страдающей музыки, мягких тонов, мягкой мебели, полумрака, – уводит она к отвлечённым мечтам, забываешь о суровой действительности. По-настоящему, Саша ясно понимал, что всё его влечение к Еленьке – губительно, что она ему не подруга, что для сохранности своих убеждений и своего революционного пути он конечно должен от неё отказаться – сам, первый.

А – не только не мог отказаться, но вот на службе не мог усидеть сегодня, представляя её там в чужой скользкой обстановке. Ревновал. Мутило. И бессмысленно, но и безотказно, потянуло его хоть прийти туда к разъезду, встретить её в вестибюле, с кем она выйдет? И – попытаться отобрать её у сопровождающих, хоть тут. (И какой ты сразу позорно лишний и неумелый становишься...) А, может быть, выйдет одна?

Окончание спектакля могло быть часов около четырёх пополудни, ещё засветло. А может быть на полчаса раньше? Не пропустить бы. Саша придумал предлог, под каким уйти, но и в три пополудни показалось ему поздно – он постарался улизнуть ещё раньше.

А между тем на улицах продолжались вчерашние волнения. Был солнечный весёлый нехолодный день, никак не препятствующий демонстрациям, – и все тротуары были затолплены студенческой молодёжью (мало кто учился, молодцы), отчасти рабочими да и просто обывателями.

На этих взволнованных улицах Саша почувствовал себя двойственно: он сиял навстречу этому высыпавшему студенчеству, он был – частица их родная, но по шинели они могли принять его только за подавителя, которому завтра велят – и он будет их разгонять и расстреливать.

Такое недоразумение можно было бы выяснить, только в каждом отдельном месте вступая в разговор и выражая толпе своё сочувствие. А время до театра ещё и было, да как радостно влиться в такую толпу, вообразить себя снова студентом.

Тротуар был весь полон молодёжи. Студенты и курсистки весело громко то скандировали:

– Дай-те-нам-хле-ба!

То запевали на протяжный разинский мотив:

– Почему-у нет хле-э-э-эба?

И хохотали.

И так хотелось Саше позабавиться вместе с ними, да мундир не позволял. Но он стоял в их тесноте и со смыслом улыбался им. Весёлые глаза курсисток уже поняли его и приветливо светили.

А по мостовой шагом проезжала сотня молодых донцов – тоже весёлых почему-то, с улыбками и даже переговорами к тротуару.

Молодёжь стала кричать:

– Молодцы донцы! Ура, донцы! Наши защитники!

И казаки довольно кивали.

Саша не понял, спросил соседей. Объяснили ему, что сегодня в разных местах города казаки показали, что они не поддерживают полицию, а сочувствуют толпе.

Вот как? Вот так новость, небывалый поворот!

Ах, сколько ещё силы молодой, какие ещё возможности! Если на третьем году войны демонстрации проводят с озорством, как бы в шутку, играя в волнения, а не волнуясь.

Да не в такую и шутку. Заворачивая через площадь, проскакал на вороном коне раненый конный полицейский – в чёрной шинели, в чёрной шапке-драгунке с чёрным султаном, а с лицом окровавленным. Он с трудом держался на лошади.

А донцы вослед ему, издеваясь, закричали:

– А что, фараон, получил по морде? Теперь держись за гриву, а то закопаешь редьку!
Да-а-а-а... Потрясающий поворот! Саша шёл дальше под большим впечатлением, даже забывая свою цель.

Вот так, когда-нибудь, при его жизни, и даже ещё в молодости, – вдруг?...

Революция! Волшебное слово! Как его нам напевают в детстве! Дивное мелькание красных знамён с косыми древками сквозь дымы ружейных залпов! Баррикады! – и гавроши на баррикадах! Взятие Бастилии! Пламенный Конвент! Бегство и казнь короля! Высшее самопожертвование и высшее благородство! Фигуры героев, застывающие в изваяния! Слова, застывающие в веках!

Какое земное чувство может сравниться с чувством революционера? Это светлое упоение, распирающее грудь, выносящее выше земли! Для какого более высокого дела мы можем быть рождены? Какой более счастливый час может пересечь жизнь поколения? Унылы и темны те жизни, которые не пересеклись с революцией. Революция – больше, чем счастье, ярче, чем ежедневное солнце, – это взрыв красного зарева, взрыв звезды!

И Саша вполне мог быть Гаврошем в Пятом году, ему уже было пятнадцать, – но баррикады состоялись в одной Москве, а гавроши не ездят из столицы в столицу. А вся остальная революция протекла как-то незримо, без этих знамён, прорывающих ружейные дымы, – больше в рассказах и впечатлениях интеллигенции, да в коротких перестрелках экспроприации или выстрелах смелых террористов. Революция Пятого потому и потерпела поражение, что не была полнозвучная, полноцветная.

А тогда – какая ж надежда была у Саши дожить до следующей? Настоящие большие революции так часто не сходят на землю. Предстояло ему бесцветно проволочить свою жизнь в безысходной российской мерзости? И первым, самым мучительным её видом была армейская служба. Не четыре года в армии – четыре года тупящего кошмара доживал Саша, затянувшуюся болезнь. Он носил мундир как какие-нибудь пыточные вериги при железном воротнике. Как насильственной заразой вводили в него эти военные команды, военные знания – а он старался не запоминать, не знать, внутренне отталкиваться, и особенно от строя, от ведения огня. К счастью, удалось ему перекинуться на разные тыловые околичности и так сохранить себя для будущего (а что за будущее, если без революции?).

Но! – бессмертная диалектика! Как ни презирал Саша военную форму, а уже стал поневоле к ней и привыкать. И к военным жестам. И даже к отданию чести. И даже заметил, что у него это неплохо получается. (И даже Ликоне нравится). И если форма сшита по фигуре (а он в Орле сшил хорошо), то она делает мужественным, этого не оспоришь.

И что в самом деле интеллигенция, всегда презирающая спортивные и военные упражнения, а физического труда лишённая, – что ж интеллигенция отдаёт эту мужественность и эту действенность – всю врагам, офицерам, полиции, государству? Интеллигент даже не может себя защитить от физических оскорблений. А для того чтобы вступить со всеми в бой – надо и мускулы иметь, и военную организацию. Вместо мягкой распушенности, домашнего халата, эканий и меканий – да быть гладко выбритым, подтянутым, в ремнях, с твёрдой стремительной походкой, – чем не хорошо? Только помогает завоеванию мира. (Ликоне нравится, да, но не настолько, чтоб этим и увлечь).

16

В Петербурге особенно заметен этот размах: от поздней осени, когда и дней почти нет, – и до расцвета лета, когда нет почти и ночей. Здесь особенно заметен к весне быстрый прирост света – и каждый год Фёдор Дмитриевич зорко за ним следит и радостно отмечает его явления, записывает приметы. Весна – это значит скоро ехать на Дон. Хотя главная жизнь Фёдора как будто плывёт в Петербурге – а нет, душа-то всё время на Дону, и рвётся туда!

Так и сегодня, ещё совсем зимний день – но солнечный, но с крыш к полудню – звучная, даже гулкая, дружная капель, и этот первый уверенный стук весны, эти

множественные вкрадчивые ступы её ударяют в сердце. А уж яркость и глубина света – ещё днями раньше наглажены приметчивым глазом.

И рад, что весна, что разомнётся скоро за плугом в поле, с лопатой в саду, – и ещё спешней того успевать до весны продвигать роман! В станице – работы, работы, не попишешь. А в эту весну – уговорились, приедет в станицу Зинаида. Знакомиться с сестрами. И с донской жизнью. Увидеть хозяйство. Что будет? Что будет? И сладко, и страшно. И – тем больше пока успеть написать и отделать дорогих, душевных страниц.

Сколько видено и пережито казаков, и сам же казак, – а один вот выдвинулся, видится всё время, – черночубый, высокий, малодоброжелательный, – как он подъезжает к водопою и встречается с женой соседа. А казачка та – соединённая из нескольких станичных баб, которых Феде самому досталось повалать в шалашах, у плетней, под подводами, или только поласкать глазами. (Одна-то из них – больше всех других, только она неграмотна и никогда этого романа не прочтёт).

Фёдор Дмитриевич Ковынёв продолжал квартировать у своего земляка в Горном институте и работать институтским библиотекарем, – так был ему и кров, и постоянный приличный заработок, какого литературная работа принести не может. Но счастливые и главные часы его были – когда ему доставалось писать. А счастливые телефоны – все литературные: самой редакции в Басковом переулке, и сотрудников её по разным местам города. И из своего дальнего угла на Васильевском острове, откуда не всегда он мог выехать в любимую редакцию, такая поездка забирала много времени, – он любил иногда и позвонить по телефону, узнать новости.

Да теперь ходить по Петрограду – только расстраиваться: все стали какие-то жёлчные, нервные, – и приказчики в магазинах, и чиновники в учреждениях, и извозчик курит под самым носом седока, и даже ломовые – бьют перегруженных лошадей и ещё сами садятся на воз. А солдаты в караульной амуниции толкаются в Гостином Дворе, в Пассаже, – дико смотреть: что они, с поста ушли или из караульного помещения? А ещё, городские власти любезно разрешили солдатам бесплатную езду в трамваях – как уважение к защитникам отечества. И теперь если солдату надо один квартал пройти – он ждёт трамвая. Шляющиеся их толпы завоевали весь трамвай, и уже стали недовольны, что частная публика тоже хочет ехать. С кондукторами не считаются, забивают вагоны, обвисают гроздьями с площадок.

Вчера Фёдор Дмитриевич не выходил из института, хотя слышал, что кое-где громили булочные, трепали мелочные лавки. Сегодня как раз по телефону узнал, что по Невскому полиция не пускает – и, как всегда в таких случаях, сразу замялось сердце в радостной надежде: а может что-нибудь *начнётся* ? Всё общество, всё окружение, все петербургские друзья Фёдора Дмитриевича постоянно жили этой надеждой: да начнётся же когда-нибудь?!

Будний день. И с работы не так удобно отлучиться, но что-то и не сиделось. А пройтись коротко по Васильевскому!

Пошёл, сама погода наружу тянет. Пошёл, лицом своим не нежным, а ловя первый солнечный пригрев, и шапкой и плечами охотно подбирая капли с крыш.

Прошёлся – но только и повидал жиденькую молодёжную демонстрацию на Большом проспекте, никем не разогнанную, не задержанную. Да один остановленный трамвай.

Вернулся опять на службу. Но слухи доходили весь день и будоражили. И как закрыл в конце дня библиотеку – так отправился Фёдор Дмитриевич в центр, своими глазами посмотреть. Получится из *этого* что, не получится, – а свой глаз всё сметит, сохранит. Да в записную книжку.

Но сколько ни шёл до Казанской площади – ничего так особенного не увидел. А Казанский сквер весь был запружен народом, но и тут ничего собственно не происходило: не стреляли, не били, не хлестали нагайками, не давили лошадьми. Иногда конные казаки, но проездом бережным, чуть перегоняли волны народа через цветники к колоннаде – и снова всё устанавливалось.

Видеть верховых казаков на петербургских улицах всегда было для Феде мучение и раздвоение. Мучение, что их прислали сюда палачествовать, стыд, как будто это он сам,

клеймо это он на себе носил. (Не могут себе полицию завести, какую им надо, всё валят на казачье имя!) Но и всё равно радость и гордость от одного лишь казачьего вида и от фыркания славных коней, взращённых и справленных на Дону.

Однако сегодня казаки как-то ласково вели себя, и не бранили их из толпы, и Феде это так и помаслило по сердцу. Кое-где, огораживая, стояли серые солдатские ряды с малиновыми погонами, толпа вплотную теснилась к ним, иногда местами вскрикивала чему-то «ура» – но не было ничьих никаких действий. Всё было – добродушно, где с любопытством, где с лёгким переругиванием.

Ничего серьёзного произойти не могло. И Федя сам проникся этим мирным добродушным настроением, ничего уже не ждал, и записывал в свою неизменную записную книжечку только – типы, одежды и выражения. Солнечный день ненахмуренно переходил в красный закат, однако набирая и холодка. Красный как предвещающий радость? А может кровь? Поверх городских громад ложился алый свет на пятые этажи Невского, на стеклянный купол Зингера. И как всякий закат в стынувшее таянье был почему-то печален.

И сперва это мирное народное добродушие, а затем эта печаль – перебрали, перебрали к себе федино сердце. И на мирном расходе толпы он тоже отправился домой, уже размышляя только о своём внутреннем.

Неужели он был на неотвратимом пороге женитьбы? Какой такой «пятый десяток» он всегда всем тыкал? Вот – и нет пятидесяти! Самая пора, вполне сок, для мужчины. И вообразить себя, вольного, окольцованным – невозможно. А и сладко: уже соединиться, слиться безраздельно и навсегда. И лестно взять молодую, и сколько страсти ещё впереди.

Но и страх отчаянный: погубить женитьбой не столько даже жизнь, сколько писательство. Щедро награждены мы жизнью, но и скупое: каждый возраст один, никогда потом не нагоняем, и каждый выбор в жизненном разветвлении почти неисправим. И упустить можно целый мир, а выиграть – никогда мир целый. До сих пор спасительно осторожно Федя всегда решал – нет и нет. Но с Зинаидой пошло так пробуравливая, взнимая, перепластывая, – так и врезалась она в его жизнь.

И он – в её. Что ж он наделал? Ведь сына погубил ей он – что поленился к ней в деревню, вызвал в Тамбов. И в Тамбове он её не поддержал. Он что-то, кажется, совсем не то делал. И ещё вослед чуть не добил её своей глупой ложью. Так – несло их и врезало друг в друга. Видно, судьба.

Зимой приезжала Зинуша в Петербург – и какая ласковая, приёмчивая, как всегда мечтается подруга, без ошеломительных взрывов. Не в Тамбове осенью – вот здесь она его припала до конца. Уж так съединились с нею слитно, подладно, такой – готовень он был и предаться.

А Петьку – Зинаида охотно и примет.

Но, как всякий человек в новой обстановке, совсем же не предвидела она, сколько чужести и враждебности встретит она в станице – как русская. Совсем нелегко будет понравиться сестрам, и всем вокруг, и войти женой в казачью судьбу. Может и очень удалиться, а может и не стать.

Она-то хотела повенчаться ещё перед Доном, чтобы туда приехать уже супругами, – но Федя-то знал, что никак нельзя. Это – нельзя.

С этой новой разбережей брёл Федя, не замечая вполне уже обычного Невского, вышел к Дворцовому мосту. Подстывающий закат поднимался по шпилью Петропавловки всё выше, всё уже, – с острия уже стекая в небо.

Как ни живи, как ни решай, а какое-то чувство занывное, что в любви нельзя решить правильно – никогда.

И одно только верное правильное – тетрабочка с первыми главами донского романа. И идти скорей, садиться за них опять – и млет над каждой строкой.

У начала Съезжинской улицы, близ Кронверкского, лежал опрокинутый одиночный моторный трамвай. Когда его валили, здесь, должно быть, много было народу, а сейчас уже и мальчишки на нём своё отсидели, отпрыгали, убежали в другие места. И прохожие почти не останавливались около него, мало задерживались, будто вид трамвая, поваленного среди улицы, был обыкновенным. Может, перед тем они видели необычное или ждали такое, куда спешили.

Но один высокий прохожий в инженерной фуражке и тёмном суконном пальтишке с полевой кожаной сумкой через плечо, как носят офицеры, – остановился, руки в карманы, суконный воротник без меха поднят на шее. И так стоял, стоял у поверженного.

Трамвай был грязно-зелёного натурального цвета, каким бывает кожа иных больших животных, – и как такой большой рабочий буйвол он лежал, издыхая или уже издохнув, на грязном снегу. Стекланный лоб его был в трещинах: перед тем, как забить животное и свалить, его перелобанили. Побит и помят был бок, на который его повалили, дребезги стекла там резали его. Далеко за спину и неестественно вывихнутый лежал хобот с привязанной верёвкой. Четыре мёртвых чугунных круглых лапы торчали вдоль земли – и видно было, как повредился рельс, когда выворачивали лапы. А ещё – брюхо несчастного животного, никому никогда не видимое, с его потайными нависами, зашлёпанными уличной грязью, теперь было выставлено на посмеяние.

И хозяева не шли за раненым. Все покинули его.

И как же его – теперь проще всего поднять?

Ободовский наклонялся к телу его, и через верхние стёкла просматривал, что с нижним боком, и обходил вокруг, заглянул в тамбур вагоновожатого, и пощупал приводную дугу. Уже к сумеркам было, когда он побрёл дальше.

Ему немного оставалось, тут на Съезжинской они и жили, чуть не доходя круглого заворота на Большой проспект.

Привычным тёплым мягким объятием и поцелуем в губы встретила его Нуся. И с мгновенной переимчивостью, развитой у них, переняла от мужа мрак – и на это невольно сразу поправились её подготовленные возбуждённые рассказы.

Нуся сегодня далеко не ходила, а многое видела тут, поблизости. Слушала удручённое описание упавшего – а она как раз и знала, как этот трамвай останавливали: он шёл под охраной, на передней площадке пристав и требовал от вагоновожатого не заминаться, ехать дальше. Но из толпы двумя кусками льда пристава ранили в ухо, вагоновожатый соскочил на другую сторону, потом ссаживали всех пассажиров.

Пётр Акимыч обедал, как всегда не замечая еды. Он двигал всюю кожей головы, и уши двигались нервно.

Толпа! Странное особое существо, и человеческое и нечеловеческое, вся на ногах и с головами, но где каждая личность освобождена от обычной ответственности, а силой умножена на число толпящихся, однако и обезволена ими же.

Чего больше всего и было за день тут, в округе, – это били стёкла: в хлебопекарне на Лахтинской, в хлебной лавке Ерофеева по Гесслеровскому, в мясной лавке Уткина, в мелочной Колчина, во фруктовых магазинах, – со зла. А при каждой толпе есть кто-то, подростки или взрослые, кто и в выручку руки запускал. А ещё малые группы, без толпы, разграбили на Большой Спасской мясную лавку и чайный магазин.

Такие ж случаи и на Охте, Петру Акимовичу рассказывали, – били стёкла, а выручку уносили. А в центре – нет.

Эта выручка, унесенная во многих, значит, местах по Петрограду, делала события непоправимыми, как делает их и стрельба: чтобы не искали виновных – надо завтра опять бить и грабить дальше.

А что было в центре! – это он видел сам. Никогда не думал, что до этого придётся дожить: стоять у Казанского собора, у заветного центра всех революционных студентов уже тридцать лет, – и видеть, как открыто поют, никто не мешает, – «Вставай, подымайся!», выбросили красный флаг – и сердце само невольно, по старому такту, подпрыгивает.

Человеческий челночок – из двух пар глаз, мужчина и женщина, они всегда вместе, они во всём согласны – и струною взгляда и струною чувств невидимо подправляют друг друга, как держать им, когда хлестнёт с разных сторон. Двуполюсная магнитная стрелка устанавливается сквозь эти бурные силы.

И ключ рассказа, ключ отношения ко всему, что видели за день, – поворачивается.

И во многих местах казаки – ничем не препятствуют! Через Николаевский мост пропустили целую толпу подростков и женщин. Нейтральность казаков – это самое поразительное во всём, такого ещё не было никогда!

Охватывало восторженное предчувствие.

Гребёж магазинов, конечно, мерзость, но такое всегда при массовом движении.

– А разве в Иркутске в Пятом это было, Петя?

– В Пятом не было, так в Шестом было везде.

Настроение двоилось.

Этот упавший, бессмысленно изгаженный трамвай, чудесное творение рук.

После ареста Рабочей группы Ободовский так негодовал – собственными кулаками дробил бы министерство внутренних дел, само здание их бесчувственное! Ослы тупоумные, они неспособны развиваться, не понимают, что такое был и мог быть для них Гвоздев! Не понимать оттенки – признак ослов!

Но вот поднялось – кажется, нам на выручку, самое наше?

И опять сейчас закишат все эти социал-демократы, слово-то какое безобразное, – и те, которые нахрапом, и те, которые заумно змеятся между десятью поправками и оговорками?

– И что ж, нам идти в баррикадники, Петя?

Нет, не иркутское настроение.

Одновременно – страх, что рухнет всё, налаженное с Пятнадцатого года, – всё военное снабжение, вся арттехническая подготовка, – что же будет с нашим наступлением весной?

Эти волнения на оборонных заводах на некоторых, на Путиловском, даже подозрительны, как бы чувствуется скрытая рука?

Нет, подозрительно второй день бездействие власти: ни одного выстрела, ни одного ареста. Как будто подготовленный уличный спектакль: неужели – грандиозная провокация? и будет невообразимая расправа? Неужели власть бездействует умышленно, чтобы вызвать волнения ещё большие – и потом утопить их в крови?

На сто лет? Ещё на сто лет!! Несчастливая наша страна!

А может быть наоборот: колеблются? пойдут на уступки? Уберут идиота Протопопова? Согласятся на ответственное министерство?

Неужели, наконец, весь этот ужас может ослабиться? Или даже – рушиться?

Несдвигаемое, нерушимое – и вдруг рушится?...

И наступит светлое равноправное общество, где тупые чинуши на жирных окладах и в бляхах нагрудных звёзд не будут загораживать все пути? Ни у кого не будет равнодушия к общественному благу?

Сердце выпрыгивает: о, победы, революция!

И опадает: во время такой войны! до чего же нехстати! Безумие...

– Стоял я, Нуся, около Казанского, в этом пении под флагами, – и, поверишь, не только не был рад, но готов был, как поп примиряющий, с распостёртыми руками уговаривать толпу: братья! не надо! потерпите ещё немного! Ведь какое время! Ведь только немцам на радость! Подождите ещё весеннего нашего наступления! Вот скоро всё кончится – и тогда...

Что Алину оставить никак нельзя – это Воротынцеву было совершенно ясно. Да он ведь и не собирался! – его самого поразило тот счастливый перехват дыхания, когда Алина написала, что – освобождает... Нет! – он отвечает за неё, и будет её беречь, и обязан вернуть ей равновесие, которое так неразумно нарушил (как мог рассказать?? – сам не понимал). Она

слабенькая, вот как её сокрушило, что и за месяцы не придёт в себя: слала и слала ему упречные письма, то бессильные, то яростные, – а он не давал себе раздражиться, отвечал уговорчиво, как ребёнку, писал часто (к штабной писанине ещё одна добавилась), – и только когда придумала, что приедет к нему в штаб армии, – вот тут отказал твёрдо, это было б уже невыносимо.

Все эти упрёки он заслужил, да, вполне, – но, пожалуй, они становились такими бичующими, что уже сам себя в этом злодее не узнавал. И хотя ведь он сам же всё рассказал, и её не оставил, – она снова и снова требовала больше, и как неперемного условия: чтоб он вернул ей уверенность, что она для него – лучшая и несравненная. Но, по совести, вот тут ему стало трудно солгать. И писала ему, будто он в летние лагеря отлучился, не как в Действующую армию, где давно он мог погибнуть, где уже перенатянут был его счастливый жребий. И так она гневалась, и так ужасалась, что ещё станет другим известно, – выступило ему: а ей бы, кажется, легче потерять его убитым, чем ушедшим к другой.

А весеннее наступление всё ближе, и все офицеры спешат съездить в отпуски зимой, пока живы, предложили и Воротынцеву. В штабе Девятой только три месяца – он и не думал об отпуске. Но в первую же минуту откинуло: к Алине? прямо под эту грызню? Ни за что. А если... А что, если? Теперь ведь не от полка. Пока, правда, жив... Что ж, никогда больше к Ольде не припасть? Невозможно!! А она всё время его звала, звала, то пришлёт рисованное – какие-то зверьки, таинственная девочка с зелёными глазами, какие-то ребусы, приезжай, отгадаем вместе, – и сладил он себе дюжину дней, три дня туда, три дня назад, и минуя Москву помчался прямо в Петроград – и даже Вере тут не объявился, не смущать её, пусть не знает.

И во всю дорогу он не усумнялся в своей поездке и только думал: шесть дней – да это один вздох, не хватит. А от минуты как достиг ольдиного дома – восстало всё как новое, и ещё сильней, жарчей, – будто они оба помолодели, поозорнели. Опять всего изнутри как пересвежили: грудь – другая, дыханье другое, глаза другие, весь – счастливый.

Как будто для этих встреч, для этой воронки вкружливой он и жил всегда.

А вот так, так легко-весело, как на ребусы смотрел, – не оказалось. В этот раз что-то и понуживало. Тут тоже был свой обряд, обряд говоренья-слушанья. Особенно всю поездную дорогу до Мустамяк, пока они обречены были к одному говоренью. Знать-то Ольда множество чего знала, но уж очень учительно, отчего сразу становилось из интересного скучновато. Как будто в обводе её опыта уже и заключалась вся главная жизнь.

Об объяснениях тогда осенью с Алиной, что он открылся и что из этого потянулось, – Георгий избегал Ольде в письмах: на письме не передать, да и в рассказе передашь ли, тут столько сложного, неназовимого. Тогда обошлось благополучно, в Петроград Алина не поехала, можно не вспоминать. Да и неприятно, как всякий просчёт. Но теперь при встрече скрыть – тоже как бы нечестно. Томило. И здесь, не сразу, рассказал.

И вот – не предвидеть было: как Ольда взволновалась, как стала подробно и перекрестно выпрашивать и сколько ещё о том говорила, заснуть было нельзя. А с утра, чуть глаза размежили, – снова и снова. Вот эти разговоры на сутки уже стали ему и тяжелы. Это опять было учительно, даже нудно, – и здесь тоже упрёки! Из того, что он делал промахи, Ольда вывела, что теперь она будет направлять его по своим оценкам, внушать план, как поступать. И такой иногда тон, что если вот сейчас она не скажет Георгию суровой правды, то и никто ему не скажет. Она думала за него как уже за своего мужа, так уверенно говорила, что – мужем своим признала его, будто они уже и под венцом побывали. Почти так подразумевалось и в гостях у соседа-профессора, и Георгий подумал: нет. Да если был бы он сейчас и свободен, – вот так прямо? Нет. Слишком ли много в ней настойчивого, даже властного?...

А между тем весь её внушаемый план к тому и сводился, чтобы он боролся за *неё*. И Георгию стало перед ней же неловко, чтобы ей возразить. А она так понимала его молчание, что он впитывает, и развивала дальше.

Впрочем, если это – голосом певучим, уговорчивым, у тебя при плече журчит, – так

хоть и пусть. В уговоры не так-то можно и вслушиваться, что пропустить, не отозваться. Эти доуки соскальзывали, а девочка с зелёными глазами была вот она. Да не с такими уж зелёными, как раскрашивала карандашами, всего-то с призеленью. Тут всё двоилось. Рядом с собою он ощущал Ольженьку как сокровище, он и всегда наверно будет ждать её зова и томиться без неё. Но к Алине оставался долг и вечно ноющее чувство, к Ольде не было такого.

Сама ж говорила, что время – бесценный помощник, и сама ж вот торопила, что теперь уже откладывать нельзя. **Что** – откладывать?...

А тут ещё стала Ольда учить жутковато, как доброта губит в личном, как порезы надо лечить холодом, и как бы надо Алине утешителя...

Георгий не показывал вида, всё опасаясь обидеть, а сердце в нём – заныло.

Он не заметил точно, когда именно и отчего, от какого именно толчка. Да может он и проснулся уже с необъяснимо-занылым сердцем.

Как появляется этот первый наслой душевного стеснения – мы не всегда замечаем, отчего. Когда вчера гуляли по безлюдным Мустамякам с забытыми на зиму домиками и ходили к профессору – уже что-то тяжелило или потягивало куда-то вон.

И днём бегали за бревном и пилили весело, – а что-то сжимало и сжимало, неуклонно.

За таким стесненьем если не уследишь – то легко ошибиться: это сжатие сходно бывает и от предчувствия беды в будущем и от раскаяния в уже совершённом. Эти два мрака очень сходны.

Отольдиных уговоров? Как будто нет. Хотя и они вложились. Но было что-то и обхватней.

Когда же он пошёл колоть дрова и уже стоял в одном кителе распаренный, в облоге разваленных плах с желтоватым щепенистым телом, – вдруг обняло такой тоской, так схватило! – уворовало прочь сердце, почернели снега, и вдруг показалось невыносимым ещё дальше оставаться в этой хвойной снежной дачной тишине.

Он внушал себе, что это – дико, он ехал две тысячи вёрст за этим жарким уединением, а другое всё – всегда его. Но – не внушалось. Внутри потемнело, обвалилось, – и ничто не утешало.

Ощутись это слабей – он сробел бы, постеснялся сказать Ольде и остался бы через силу.

Несколько часов назад была радость – и вдруг безо всякой причины обвалилось.

Пошёл с охапкой наколотых дров, кинул под печь и сказал:

– Ольженька, что-то мне стало сердце тянуть, не по себе. Что-то у меня предчувствие, что ли, какое-то дурное.

И ушёл, не дожидаясь ответа. Принёс вторую охапку, грохнул на первую, тогда:

– Давай – раньше уедем, а?

– Нет! нет! – оживилась она. – Так тихо! так хорошо! в кои веки мы вместе!

Но видела его лицо. Подошла, притянулась, снизу вверх смотрела:

– Я тебя успокою.

Георгий – голосом уставшим, как перебитым:

– Вот не знаю... вот не знаю... Вдруг стало мутно.

Но и её лицо стало теперь несчастным, темнота погналась по маленькому лбу, на глаза.

А ведь бывает – что и успокаивается, внезапно, как началось.

Они собирались уезжать отсюда в воскресенье днём. А сейчас была пятница, впрочем, уже и за полдень.

Ольда нешуточно отемнилась, даже и обидой. Строго поджала губы.

Да и стыдно мужчине – гнать куда-то по предчувствию или сомнению. (О сомнении – он не дал Ольде и догадаться). Ладно, остаёмся, а там посмотрим.

Не так уж долго и до ранних северных сумерок. Раскалили печку и сидели на чурках перед открытой топкой, всё в огонь. И Георгий устыдился, что вдруг стало ему в тягость оставаться тут. Какая женщина прежде одарила его одной десятой этой радости, как Ольда!

Она опять пыталась много говорить, теперь и о другом, но он её утишил, чтобы молчала, и долго нежно держал на коленях, прижатой бочком к своей груди, даже именно к сердцу. Почему-то если вот так прижать и держать, то тревога тает. В домике темно, свет один – от горящих дров, как в пещере, двадцать тысяч лет назад: мы укрыты от опасностей, есть у нас пища, есть огонь, и если мне, сильному, так легчает от твоего прижатия, то насколько же тебе! От врагов, от мороза, от голода, от смерти только и нужны – теплота и лад между нами. А слов не надо. Да мы ещё, может, и говорить не умеем.

Уж какие сладостные у них бывали вечера – но благодарней этого не было.

И – нежная, нежная тихая ночь, всё время в обнимку.

19

Так и знал, так и знал Михаил Владимирович, что народное негодование неминуемо прорвётся! Даже французская делегация говорила недавно: «Вы заслуживаете лучшего правительства, чем есть!» И вот – правительственная политика начала давать свои роковые плоды! Она вызвала недоверие всех мыслящих русских кругов к своему государственному аппарату! Строй государства с каждым днём отставал от самосознания общества! По вине этого правительства и создалось роковое разъединение власти и народа! Своей манерой повелевать оно и сеяло первые семена будущей революции! Уже с 1914 года Председатель Государственной Думы да и другие пророчили, что правительство не справится, наделает массу ошибок! И действительно: противоречивые, лишённые единого плана и мысли распоряжения правительства неуклонно увеличивали общую дезорганизацию всех сторон жизни. Все распоряжения высшей власти как бы направлялись к особой цели: ещё более запутать положение страны. Можно было не обинуясь утверждать, что правительством руководит распутинский кружок, а сам он служит интересам Германии!

Да и чего можно ждать от этих ничтожных людей, кто случайно появляется у власти и не умеет проявить ни одного высокого порыва? Они не могут добровольно отрешиться от власти, ибо им не хватает любви к народу. Той самозабвенной любви к народу, которою кровоточат все сердца народных представителей – и вдесятеро от них огромное тревожное сердце Михаила Владимировича!

А привело себя к крушению правительство потому, что сопротивлялось общественной самодеятельности, усилиям всего общества помочь общей беде – безо всякой же задней мысли, с одной целью поддержать правительство в трудную минуту! Тревога России об обороне была так естественна и необходима! – но единение страны вселяло в правительство страх, – и все старания Государственной Думы успокоить, а не возбуждать население оказались бесплодны. Чьей-то невидимой рукой упорно вносилось в народ раздражение и недоверие!

А зловещим олицетворением этой преступной политики стал гнусный Протопопов – перебежчик и двурушник! И всей Государственной Думе, и всему Прогрессивному блоку было оскорбительно, что этот видный успешливый их член оказался такой низкий изменник, падко кинулся в лагерь правительства, но Михаилу Владимировичу Родзянко оскорбление было двойное, ещё и личное: что этот ничтожный человек годами замещал его в председательствовании Думой, что Родзянко прежде сам предлагал его в министры, правда, промышленности-торговли. Но каково ж было его изумление, когда Протопопов, воротясь главой думской делегации из заграничной поездки, – пришёл с отчётом не к Михаилу Владимировичу, но был вызван к Государю помимо него! – и так начались их таинственные и позорные переговоры со Штюмером о министерстве внутренних дел. Возмущению Михаила Владимировича не было границ.

И вот – народное негодование прорывалось! Вчера были в Петрограде волнения, которых Михаил Владимирович не мог оставить без внимания: рабочие покидали заводы и большими толпами шли в центр города – правда, с неизвестной целью: не к Государственной Думе. Сегодня, справедливо (да и с чувством возмездия) ожидая продолжения волнений и

желая разгадать это народное движение, – Родзянко, покинув думские прения полыхать часть дня без себя, самолично поехал туда, откуда движения начинались: на Васильевский остров и Выборгскую сторону. И ему самому довелось наблюдать величайшее волнение рабочих женского пола, по-видимому – из-за неравномерности продажи хлеба. И снова толпы шли к центру с неизвестной целью.

А чем избывал всегда Михаил Владимирович – это инициативой и энергией. Кто-кто, но не он мог бы быть безучастным зрителем развала государственности! Ещё не успел его автомобиль воротиться с заречной стороны, а его проницанию уже представилась и вся картина: преступное и беспомощное правительство пожинало плоды своей тёмной политики! Прорвалось именно то, о чём всегда предсказывали лучшие люди общественности!

Глубоко глядя, дело было, конечно, не в хлебе – но в народной обиде на то, как обижало правительство его народных избранников. Дело было не в хлебных перебоях, а в политическом недоверии населения к власти. Почему бы вдруг стало не хватать хлеба? Потому что население не везёт зерновых продуктов на рынок. А почему оно не везёт зерновых продуктов на рынок? Потому что не доверяет этому правительству и опасается неумелых распоряжений властей.

Потому что меры, которыми разрушается снабжение России продовольствием, – не просто неумение или непонимание, но чьё-то намеренное расстройство тыла, чтоб затруднить продолжение святой борьбы.

Итак, дело-то, конечно, не в хлебе, и ситуация требует радикального лечения. Но даже и в узком хлебном вопросе можно было оказать народу решительную помощь, вместе с тем принципиально потеснив правительство, а заодно нанеся и сильнейшее поражение Протопопову: ведь Протопопов всё время боролся за захват продовольственного дела от министерства земледелия в министерство внутренних дел, – так вот теперь от всяких вообще государственных чиновников, ото всех этих Вейсов да передать хлебное дело Петрограда – петроградской городской думе! Это значит одновременно: и передать в верные руки общественности, которые заботливо, горячо схватятся за дело, – и ещё раз показать всей столице и всей стране неумелость, бездарность и обречённость правительства.

А когда что закипало в объёмной груди Родзянко (склонять свою фамилию по падежам он не одобрял и не разрешал) – то этому ревущему пламени мало кто мог противостоять. Так и сейчас: деятельный думский вождь прежде всего бросился на квартиру к Риттиху. Тот был простужен и с сильным насморком сидел дома. Давя его всею своей крупнофигурностью и значением такого домашнего визита, Второй Человек государства легко получил согласие министра земледелия: занятый всем необъятным движением хлеба из далёких углов страны, он легко уступал внутривоенное распределение, а скрытой здесь общественной мины не увидел.

Теперь надо было так двигаться в недрах правительства, чтоб обойти стороной изменника и подлеца Протопопова, пока он не узнал и не догадался. И уговорил Родзянко Риттиха – просто жаром своим оплавил, что только быстрое действие здесь может спасти Россию: ехать немедленно к военному министру, а через того воздействовать на премьера князя Голицына.

И хотя путь этот был необъясним с точки зрения закономерной, но в вулканическом родзянковском дыхании всё пробилось – и часа через два в роскошном своём думском кабинете он получил телефонный звонок, что сегодня же вечером в Мариинском дворце состоится совещание по предложенному им плану.

Именно: председатель Государственной Думы, несколько думцев, председатель Государственного Совета Щегловитов, городской голова и несколько членов правительства. (Протопопова они и сами не любили и не позвали). Собраться – не для стенограммы, но для делового сговора.

И вечером в синебархатном зале состоялось это экстренное совещание. Неутомимый трёхжильный Риттих докладывал всё то же, что и в Думе, но без протестов оппозиции. Что запасов ржаной муки в Петрограде – более полумиллиона пудов (не считая военных складов,

где значительно больше), значит, больше 700 тысяч пудов хлеба. Даже при раздутом до двух с половиной миллионов населения Петрограда – это, на потребляющих ржаной, по фунту в день на человека, если не будет никакого подвоза. Что опасения, проявляемые населением, не имеют основания, а вытекают лишь из тревожных слухов. Что острый мятежный перебой железных дорог – уже позади, завтра же прибудет 100 вагонов с подгородней станции Любань, и будут рассасываться заторы узловых станций, в марте должно приходиться не меньше 35-40 вагонов каждый день, а каждый вагон – это тысячи пудов муки. Что проблема скорей в лошадях, которых в Петрограде до 60 тысяч, и большая доля хлеба скармливается им. И что у правительства нет возражений передать хлебное дело городскому самоуправлению. Зато мяса – 180 тысяч пудов, и столько же у армейских уполномоченных, а из Сибири надвигается 1000 вагонов мороженого мяса, сколько не могут даже принять холодильники Москвы и Петрограда.

Родзянко это выслушал и настаивал, что продовольственное дело должно быть немедленно передано городскому самоуправлению.

Так и правительство согласно.

И холодно взвешенный, твёрдый, сообразительный Щегловитов тоже мгновенно поддержал своих обычных противников.

И оказалось – никого против!

Правда, придётся менять некоторые статьи законов: расширить права городских самоуправлений. Но правительство взялось сегодня же ночью составить проект таких изменений и завтра же заявить его в Думе. Родзянко дыханием благородной груди заверил, что Дума примет законопроект в самом спешном порядке. Щегловитов обещал, что не задержит и Государственный Совет.

И в тёплом единении решили единогласно (как ничто нигде уже давно): пока назначить общественных представителей для надзора за выпечкой хлеба. А как только городская управа сумеет – так и заберёт всё заведывание себе. А во второй половине марта начнут действовать и хлебные карточки.

Правда, сколько-то дней, недели две, понадобится на процедуру, знал Родзянко свои думские затяжки и своих говорунов о постороннем, – но всё равно, одержанная им сегодня победа была колоссальна! Наконец-то хлебное дело перейдёт в честные и расторопные руки общественности!

И он везде успел сегодня: и Думой продолжал руководить – и спас столицу от голода!

20

Вчера на могилёвском вокзале Государя встретил обычный состав штабных офицеров во главе уже с Алексеевым: он вернулся до истечения отпуска, а Гурко уехал в свою гвардейскую армию. Не виделись почти четыре месяца, и приятно было Государю снова усмотреть немудрящее несановное котовое лицо своего неизменного начальника штаба. Тепло обнялись. Но следы нездоровья ещё очень были на нём видны, держался силой воли. Государь пожурил его, что так спешил из Крыма – мог бы и ещё полечиться две-три недели. Но Алексеев выразил, что хочет участвовать сам во всей подготовке весеннего наступления.

Он только-только вернулся, ещё не успел и вникнуть в дела. В Управлении поговорили с ним полчаса – не на служебные темы, а так просто. И остался Николай на долгий вечер – один, в отвычном одиночестве.

Правда, отрыв от Аликс никогда не был полным: каждые несколько часов что-нибудь между ними да проскакивало. Так и вчера вечером примчались две телеграммы: одна от Алексея, что он чувствует себя хорошо и жалеет, что не с отцом, не поехал в Ставку, и другая от Аликс – что Алексей и Ольга заболели корью. И Николай тотчас же ответил телеграммой.

Так и случилось, не миновало: подозрительный этот кашель, этот кадетик, игравший с Алексеем десять дней назад. А уж если началось, так наверно теперь и все схватят, и уж

лучше скорей все заодно, только бы без осложнений. И хорошо, что не взял Алексея сюда, – каково было бы заболеть ему здесь! Но и как же беспокойно будет теперь для Аликс! Хотя бы ей сократить – под предлогом кори – государственный приём.

А стал разбирать вещи и приводить в порядок комнату, и смежную спальню, – сиротливо стало около походной кровати Бэби, где разложены были его маленькие вещи, фотографии, безделушки. Как согривал его сердце сын, какая надежда – и вечная тревога – росла в нём!

За обедом увидел всех союзных военных представителей, по которым соскучился за два месяца. Объявил им о кори детей – все огорчились очень. И старик генерал Иванов бородатый был за обедом – такой милый, такой чудесный рассказчик.

С вечерними часами – одиночество вросло в душу. Было в нём и возвышающее, очень успокаивающее – такая тут стояла тишина, никакого человеческого шума не донесётся, слышно, если в ветре пошевельнётся железная обивка подоконника. Но и – тем острее не хватало присутствия Аликс, и мирного при ней получасового пасьянса каждый вечер. Эта тишина – она и угнетает. Надо будет найти работу. И надо будет по вечерам возобновить игру в домино.

Уже больше суток он не видел своей Sunny – и тянуло писать ей письмо. Вчера же перед сном и начал писать. А сегодня приложил для Алексея новую радость – вручённый представителем орден от короля и королевы бельгийской, то-то порадуется новому кресту.

А тем временем слышней проступали и прорабатывались в Николае последние наставления Аликс, ещё повторенные и в том её письме, которое он нашёл у себя в вагоне: будь твёрдым! будь повелителем! пришло время быть твёрдым.

Да, она права – и с большим душевным усилием Николай готовился стать непременно и только твёрдым. Да он уже – и чувствовал себя твёрдым. Да, чувствовал. В этот раз он приехал в Ставку совершенно твёрдым.

Но тут – не надо и перебрать. Быть повелителем – не значит ежеминутно огрызаться на людей направо и налево. Очень часто совершенно достаточно бывает спокойного резкого замечания, чтобы тому или другому указать на его место. А ещё чаще – нужна только ясная твёрдая доброта и справедливость, – и люди проникаются, понимают, думают наилучше. С этим сознанием, с этим размышлением – как научиться быть по-новому, по-монаршему твёрдым – окончил вчера письмо, и вчерашний вечер, – и с этим же сознанием проснулся и начинал новый день.

А день наступил – ни признака весны: пасмурный, ветреный, потом повалил густой снег. Всё охлаживало душу.

Пришла ещё одна телеграмма от Аликс, о здоровья детей: кажется, начиналась корь у Татьяны и Ани Вырубовой.

Ставочный – строго распорядный, малословный, тихий день. Несмотря на дурную погоду стала душа Николая расправляться. Жизнь здесь была – род отдыха: не было приёма министров, не было этих запутанных напряжённых проблем, претензий, конфликтов с Думой. Сходил к Алексею послушать доклад – о неподвижности фронтов, о мелких случаях, переформированиях, генеральских назначениях, а все решения были заранее подготовлены. Потом – приятный часовой завтрак со свитой. Хотели ехать в обычную прогулку на моторах за город – но уж очень густо валил снег, не поехали.

Из-за этой снежной бури опоздал и дневной петроградский поезд, с ним – и ожидаемое письмо Аликс, – а уже очень хотелось письма.

Но пришла ещё телеграмма: заболевают Таня и Аня.

Ответил телеграммой: не переутомись, бегая от одного больного к другому, мой кашель меньше, нежнейшие поцелуи всем.

Кое-как дотянул до вечернего чая – а уже принесли и письмо от Солнышка. С жадностью читал – и все подробности болезни, в каких комнатах расположились, где завтракают, где обедают. Алексей и Ольга грустят, что болят глаза и нельзя писать отцу, а Татьяна (единственная в мать – и волей, и дисциплиной, и тёмными волосами), ещё вчера не

отдавшись болезни, прилагала письмецо от себя.

Страдала Аликс, как Ники ужасно одиноко без милого Бэби – и как самой ей одиноко без мужа.

И особо напоминала: если будут предстоять трудные решения – надевать тот вручённый ею крестик, уже помогший в сентябре Пятнадцатого года.

Как всегда, в восемь вечера – обед, с союзными военными представителями и избранными людьми свиты.

После обеда дал Аликс ещё одну телеграмму – благодарил за письмо, всем больным горячий привет, спи хорошо.

А отослав телеграмму – почувствовал ещё незаполненность и сел писать ответное письмо.

Ещё раз благодарил за дорогое письмо. Сейчас беседовал с доктором Фёдоровым, он расспрашивал, как развивается болезнь. Он находит, что для детей, а особенно для Алексея, абсолютно необходима перемена климата после того, как они выздоровеют, после Пасхи. Оказывается, у него – тоже сын, и тоже болел корью, и потом год кашлял – из-за того, что не смогли сразу вывезти. На вопрос, куда же лучше всего детей послать, – назвал Крым! Ну, так думал и сам Николай! Великолепный совет! – и какой это отдых будет и для тебя, душка! Да ведь комнаты в Царском после болезней придётся дезинфицировать, а вряд ли ты захочешь переезжать в Петергоф – да ведь насколько лучше Крым! и как давно не были, всю войну.

Рисовалось Николаю это новое счастливое устройство семьи с весны – и он тепло расплывался над письмом. Сколько вставало радостных ливадийских подробностей, всего не напишешь. Но мы спокойно обдумаем всё это, когда я вернусь.

Надеюсь, что я вернусь скоро – как только направлю все дела здесь, и мой долг будет исполнен.

Сердце страдает от разлуки. Я ненавижу разлуку с тобой, особенно в такое время.

Ну, дорогая моя, уже поздно. Спи спокойно, Бог да благословит твой сон!

21

(К вечеру 24 февраля)

План охраны столицы составлялся ещё в 1905 году. Но тогда в Петербурге стояла вся полная гвардия, её не брали на японскую войну, десятки тысяч отборных, потому и негодились. А теперь вся гвардия ушла на фронт, а в Петербург, по поливановской идее стягивать запасных в крупные города, натянули гарнизон в 160 тысяч, и большая часть под видом гвардии, – но это были еле набранные никудышные войска, и расчёт был только на полицию, конную стражу, жандармов, всех-то – немного за тысячу. Принять ещё надёжных боевых войск отказался Хабалов в прошлом месяце: нет казарм, везде набито запасными. Но ещё в ноябре министр внутренних дел Протопопов хвастливо показывал Государю цветно-раскрашенный план Петрограда, разделённый на 16 районов, к каждому прикрепляется своя войсковая часть и полиция. А кто кому будет подчиняться? У Протопопова было много забот, и он придумал: в случае чего серьёзного – военным. (Полицию, специально приспособленную к охране города, подчиняли проходным незнающим военным).

Когда сегодня в половине первого пополудни градоначальник Балк доложил генералу Хабалову по телефону, что полиция не в состоянии остановить скоплений и движений на главных улицах, Хабалов покряхтел и решил нехотя: хорошо, войска вступают в третье положение. Передайте своим подведомственным чинам, что они теперь подчинены начальникам военных районов.

И обещал, для лёгкости совместного управления, сам, со штабными, переехать в градоначальство сегодня. Балк позвонил Протопопову, тот ничего не добавил. А военный министр Беляев посоветовал Хабалову: если будут переходить Неву по льду –

стрелять так, чтобы пули ложились впереди них. Нельзя, Государь непременно выразил: обойтись без оружия.

Итак, в градоначальстве, на Гороховой-2, создан штаб командующего, кабинет Балка наполнился военными. Полицейские чиновники прекратили приём посетителей, но по телефонам всё звонили состоятельные граждане за успокоением. Вокруг градоначальства не было простора и помещений для войск. В маленький каменный двор был введен жандармский дивизион, подходившие же войска располагались на узкой Гороховой и на Адмиралтейском бульваре.

Что же делать с толпами? Хорошо поняв свою безнаказанность, они, в одном месте рассеянные конными отрядами, без применения оружия, тут же сгущались в другом – и такие перегоны продолжались несколько часов кряду, по всей длине Невского от Николаевского вокзала до Мойки.

На Гороховую стекались полицейские донесения. Были толпы по тысяче, по три тысячи, сегодня первый день появлялись кой-где и красные флаги. Были ранены городовые на Литейном проспекте, на Знаменской площади, на Петербургской стороне, и некоторые тяжело, за эти два дня ранениями и ушибами пострадало 28 полицейских, но ни полиция, ни войска не произвели ни единого выстрела, никого не ранили холодным оружием, никого не ушибли при разгонах. У Калинкина моста, как и в других местах, толпа пыталась опрокинуть вагоны трамвая, но тут городовые помешали и за то были осыпаны железными гайками, из метавших подростков задержан 17-летний Розенберг. На вечер полиция хотела ставить в вагоны трамвая охрану, но трамвайные не захотели так работать и отвели пустые вагоны в парк. Движение трамваев вовсе прекратилось.

Второй день сплошные волнения раскатывались по всей столице, из 300 тысяч рабочих сегодня бастовало до 200 тысяч, но вот к вечеру всё стало утихать, и когда поздно собрались в градоначальстве все полицеймейстеры и все начальники военных районов – то положение вновь, как и вчера, не казалось серьёзным. Ведь толпы – разошлись, успокоились, как будто ничего в городе и не происходит? Может быть сегодня толпа была несколько сердитее, чем вчера, но в общем всё равно благодушна, стихийна, случайного обывательского состава, не видно никаких агитаторов, вожakov, никакой организации.

Может быть, всё и обойдётся само собой? Хотелось бы так верить – и мирно настроенному Хабалову, не готовому ни к каким сражениям, и выздоравливающему от тяжёлого ранения полковнику Павленко, и приехавшим уже на второе сегодня совещание начальникам Охранного отделения и Жандармского управления. Сегодня утром на квартире Хабалова их всех заверили уполномоченный Вейс и городской голова, что мука отпускается в ежедневной норме, не снижалось, и хлеб выпекается, никаких причин к мятежу не видно. Происходили беспорядки и раньше десятки раз, и всегда кончались.

А если всё же завтра опять? Не было указания применять оружие, значит продолжать и завтра ту же бескровную тактику рассеивания. Вот только – проявили нерешительность в разгоне донские казаки? – так вызвать из новгородской губернии гвардейский кавалерийский полк. (О казачьих полках в Петрограде был зимой спор: Ставка требовала их на фронт, Двор хотел иметь их в столице). «А почему казаки не разгоняют нагайками?» – удивился Хабалов. Из старших казачьих офицеров ему ответили, что нагаек – нет у них, это боевой полк с фронта. – «Так выдать им по полтиннику, пусть себе изготовит каждый».

Кто-то спросил: а как настроение в войсках? Даже неуместный вопрос: войска есть войска, какое у них может быть «настроение»? Охранный генерал Глобачёв ввернул, что рад бы знать настроение в войсках, но ещё до войны генерал Джунковский провёл высочайше одобренный циркуляр о том, что Охранным отделениям запрещается иметь внутреннюю агентуру в войсках. И с тех пор никакими

усилиями этого не удалось изменить, и Охранное отделение не может знать вредные элементы, которые там безусловно есть.

А вообще по данным агентуры левые *верхи* застигнуты врасплох благоприятностью для них обстановки. Сегодня у них решено: если завтра опять соберутся толпы, то – настойчиво агитировать, а при сочувствии – расширить беспорядки до вооружённого выступления.

М-может быть так. Может быть не так.

А если наступающей ночью попытаться арестовать зачинщиков, по их домам?

Но – есть ли такие зачинщики? Оставалось неясно. Налететь на ночные квартиры вихрем и арестовывать без разбору каждого сорокового? Такого не может позволить себе законная власть. Во всяком случае Охранное отделение произведёт несколько обысков. В рабочей среде, разумеется, выше нельзя посметь.

Балк попросил: поскольку многие полицейские вчера и сегодня пострадали в одиночку – больше их по одному не ставить, посты удвоить. Хабалов разрешил.

А – что ещё?...

Вот, они все сидели вместе, Верховной властью назначенные военные и полицейские руководители столицы, кроме их руководящих министров Протопопова и Беляева, остававшихся эти дни более, чем спокойными. Сидящие здесь – что бы могли угадать, предложить более решительное или действенное? Что вообще можно предпринять против прущей народной толпы? Более решительное оставалось только – рубить шашками, стрелять. Но одна память 9 января 1905 года подавительно висела над ними всеми, одни газетные либеральные полосы заставляли губернаторов бледнеть и оправдываться в своих мерах. А ещё тем более теперь, в разгар войны, – как же пролить кровь своего народа? И своя рука не подымалась, и Беляев предупредил: трупы на Невском произвели бы на наших союзников ужасное впечатление!

Объяснить чернолюдию? Так везде и развешан приказ командующего. А когда Балк позвал рабочую делегацию от Литейного моста ехать с ним, смотреть приходные хлебные книги – ведь не поехали. Хотя пущенный злой слух работает: а вдруг перестанут хлеб выпекать? кто прячет муку за высокими стенами?...

Петровские шрамы, та разлиновка, которою так гордился наш голландский император, навсегда вросли и ввелись между русскими сословиями.

Вместо диспозиции войск на завтра – догадаться бросить войска этой самой ночью на работу? – нарядами в военные пекарни, из военных запасов напечь хлеба вдвое, втрое, да войсками же и развезить добавочный хлеб по булочным, чтобы видел народ: вот, не разгонять вас идём, а кормить, и хлеба завались!

Кто это смеет так догадаться? И это – ведение действительного статского советника Вейса.

А что беспрекословно обязаны были эти власти – письменно доложить своему начальству о полных событиях минувшего дня.

Однако ежедневные рапорты столичного градоначальника не могли нарушить образца, установленного ещё Николаем I: сперва – движение больных по госпиталям, потом – несчастные случаи с воинскими чинами, лишь под конец кратко о событиях в столице – которые вообще не должны были иметь место. Эти рапорты писал особый умелый чиновник, хорошо знавший форму и очень красивым почерком. Большие события не вмещались в тот рапорт – да большие, кажется, и не произошли?

Да министр внутренних дел и сам пребывал в Петрограде, и сам был осведомлен о волнениях, и без этого рапорта. Но считал бы уроном для своего положения серьёзно докладывать императору о столь ничтожных событиях, как эта беготня по улицам. Ведь он всегда уверял Государя, что справиться с бунтарями ему не стоит ничего. О чём же теперь суетиться писать?

А по военной линии генерал Хабалов и сегодня, как вчера, решительно не находил, о чём бы ему докладывать в Ставку Верховного: его войска не сделали ни

одного выстрела, не имели ни одного ушиба, не произвели ни одного серьёзного манёвра.

Так и 24 февраля никакого доклада о столичных событиях Государю подано не было.

Очень близко к истине будет сказать, что в этот обманчиво-тихий вечер 24 февраля столичные власти уже и проиграли февральскую революцию.

22

Полфевраля большевики звали рабочих на Невский – те не шли. И вдруг вот – сами поперли, не званые. Нет, стихия народа – как море, не предскажешь, не управишь.

Звали на Невский и к Казанскому – нарочно, отвлекая от меньшевицкого призыва идти к Думе в день её открытия, как звала Рабочая группа, ещё до своего ареста. И опять непредвиденно: сам арест гвоздевской группы рабочие перенесли спокойно, не поднялись. А к Думе 14 февраля бесприменно хотели идти. Эту меньшевицкую затею надо было во что бы то ни стало сорвать: хоть никуда не идти, только бы не к Думе! И большевики двинули в массы такую типовую резолюцию: не поддерживать Думу, а прекращать войну и низвергать царское правительство; «правительство доверия» – буржуазный лозунг, только ослабит революционное движение пролетариата; Государственная Дума помогает войне, она бессильна принести народу облегчение, и меньшевики зовут к Таврическому предательски.

Меньшевики и эсеры, легалисты и оборонцы всех мастей зашевелились, зашипели: вы отталкиваете прогрессивные элементы буржуазии! нет, 14-го – все к Думе, с поддержкой!

Ай, позор! А мы больше всего боимся – несбыточных мещанских надежд. Нет, не пустим рабочее движение в объятия либералов! Никто не идите к Думе, а все – на Невский!

А межрайонцы откололись, они сейчас никакого выступления не хотели: рабочий класс не готов к революции, и армия не поддержит. Вообще они фракционщики, не хотят действовать слитно. Да у них и деньги, видно, большие, платят стачечным комитетам, Путиловским едва не овладели, держатся независимо. Да собрали к себе лучшую пишущую молодёжь, выпускают листовки чаще других: «хлеба!», «равные права евреям!» и «долой войну! долой войну!». Но «долой войну» – ещё плохо понимают рабочие массы, и большевики с этим лозунгом поосторожней.

Да у большевиков ещё и провалилась типография в Новой Деревне, и даже к 9 января листовки не смогли выпустить. Всё устной передачей: на Невский, с красными знамёнами.

А ещё ж есть меньшевики-интернационалисты, у тех ещё своя позиция, раскололся волос начетверо, полный разброд социал-демократии.

Но полфевраля проторолись БЦК и ПК с ними со всеми – и таки сорвали: 14-го к Думе рабочие не пошли!

Шляпников сам проверял ревниво: надел буржуазное пальто, шляпу, взял под ручку, как барышню, курсистку, и долго бродил с ней по Шпалерной, выжидая, не будет ли массового движения. Нет, не было, разве человек пятьсот, – а то стояли любопытными кучками только прислуга барских домов, дворники да прохожие. А Невский – всё-таки кишел конной и пешей полицией, – и учащаяся молодёжь собиралась большими группами и пела песни. *Наших* – боялись больше!

А почему рабочие и на Невский не пошли – сама большевицкая головка виновата, перемудрили: чтобы верней от меньшевиков отделиться, решили и день сменить, вместо 14-го – 10-го, в годовщину суда над депутатами. Но никто не вспомнил, не сообразил: ведь это – последние дни масленицы, даже все военные заводы 9-го и 10-го законно не работают, все рабочие по домам блины едят, – кого же вытянешь на демонстрацию? Спихватились, перенесли стачку на 13-е, – но уже не все знали, оповестить не удалось.

Ладно, не состоялось «на Невский», но не состоялось и «к Думе», – всё равно победа большевиков.

И вдруг вчера – всё **само** ! Здорово! Застигнутые БЦК и ПК собирались, где могли, и

совещались, Шляпников – со своими недотёпами, Молотовым и Залуцким, а там и с ядром сормовичей, и все – до раззёва ртов: никто рабочих не звал, с чего они вдруг?

Но уличные демонстрации всегда хороши. Чем бы они ни кончились – они всегда ведут к обострению борьбы. При уличной демонстрации – всегда что-нибудь случится. Солдаты эти дни держались очень пассивно, вяло оттесняли публику, вяло заграждали путь, вступали в разговоры и даже некоторые ругали полицию. Хорошо! От всякого стояния против демонстраций войска разлагаются, слушают демонстрантов и что-то усваивают. Хотя всё ещё у толпы не хватает злости. Как повернуть её решительно от желудка к политическим требованиям?

Но и власти оба эти дня вели себя что-то очень уж вяло – поразиться, как нерешительно. Ни одного выстрела – и даже ни одного ареста. Пошёл даже слух среди товарищей, что это – правительственная провокация: мол, нарочно запускают движение, дают разростись, чтобы потом потопить в крови.

Но Шляпников этому не поверил сразу. В действиях властей, и особенно в сегодняшнем уговорительном хабаловском объявлении, он почувствовал – истинную слабость власти, очень похожую на ту внезапную слабость 31 октября, когда он безо всяких сил переборол их! Они – просто не уверены в себе, они – не знают, что делать. А между тем, никак не сопротивляясь движению, они и проигрывают.

Но и – что было делать нам? Как овладеть движением и как обойти остальных социал-демократов? Какие бросить стержневые лозунги? В производстве у нас – одна плохонькая листовка про озверелую буржуазную шайку, и та от руки, и та может быть с политическими ошибками? А момент, может быть, самый решительный, ещё важнее, чем был в октябре, – как не ошибиться? Минует эта пора – и оборотному взгляду будет всё понятно. Но – как быть сейчас?

Ах, нет у Саньки Шляпникова ленинской головы! И – эх, нет рядом Сашеньки, распроумницы!

Ясно, что: не дать остыть! Чтоб забастовка не кончилась за два-три дня! Доводить борьбу до предела, до схваток с полицией (где не получаются – подтолкнуть!), до уличных битв, пусть до кровавой бани! Если и пойдёт в отлив – всё равно эта баня не забудется и не простится, и даже поражение – есть победа!

Но движение, возникшее так неожиданно и сразу во всех местах, – невозможно поправить! Нет влияния, людей, даже связных по районам. У нас, как и везде, любят болтать, петушки наускаивают, вроде Васьки Каюрова, а публика пустая, революционеров настоящих нет. И теперь вместо того, чтобы стать при массах на улице вождями, – все надежды положили только на стихию, а сами собирались по квартирам на Выборгской и толковали до одури: какую тактику выбрать, которой, может, никто и выполнять не будет. Да наверно надо, чтоб нас вся Россия поддержала? Да наверно надо бы всеобщую всероссийскую стачку поднимать? Да кого посылать, когда с одним Питером не справимся? С армией связаться? За полгода не связались – в день не свяжешься.

Тьфу! Хорохорились против оборонцев, а у самих сил – совсем нет.

И оставалось Шляпникову: брести по столице, да смотреть самому, что делается, – улица и есть важней комнатных размышлений. Днём через мосты не пускали, к вечеру схлынывало, всё открывалось, – Шляпников и вчера и сегодня ходил вечерами на Невский толкаться и наблюдать.

Вчера – была непринуждённость, обстановка обычная, всё открыто, все гуляют, и даже полиция выпроваживала с Невского рабочую молодёжь как бы в виде игры.

А сегодня, во-первых, не было гуляющих солдат и даже офицеров – очевидно перешли на казарменное положение. Иногда разъезжали взводы казаков. Потом: трамваи, извозчики, автомобили быстро заметно редчали, прежде обычных сроков. Но пешеходы на Невском не так редели, и Шляпников видел тут много рабочих, совсем в неурочное время, а полиции не было – гнать их с чистой столичной улицы. И в таком окружении франтоватая фланирующая публика, хотя никто прямо, кажется, не мешал ей, – не чувствовала себя свободной для

развлечений, и тоже исчезала. И раньше времени закрывались кондитерские, кафе, рестораны, гасли роскошные витрины, всегда торговавшие до глубокой ночи.

Утренние хабаловские объявления кое-где уже были полусодраны.

Дух буржуазного Невского был сломлен – и вот безо всякого боя, в темноте, его забирала тёмная толпа. Собирались в кучки.

Вдруг на углу Невского и Литейного, где перестали пересекаться трамваи, несколько кучек содвинулось с разных сторон – и стала толпа! И на чём-то сразу же нашлось подняться первому оратору. Шляпников не узнал его, но видно был опытный – закричал уверенно, сильно и сразу к делу, не с копеечными лозунгами меньшевиков, а наверно межрайонец:

– ...Глухая ночь правительственной реакции!... Обман обороны отечества!... Дёшево обошлась им победа в Девятьсот Пятом! Но прибавилось у нас опыта за двенадцать лет! Долой кучку бандитов, затеявших войну! Распутное правительство...

Бойко нёс. И слушали – без возражений. Открывалось Шляпникову, что уже можно лозунги ставить смелей и смелей. Опять опережали межрайонцы.

– ...Отомстим насильнику на троне, царю-последышу! Погибель царским прихвостням, народоубийцам!...

И тут услышали все, хотя мягко ступали копыта по снегу: по Невскому от Знаменской прямо на них ехали казаки!

Оратор замолчал. И провалился. Все зашевелились, обернулись – в тишине ещё слышней был ход подков.

Но странно ехали казаки: рассыпным строем, поодиночке, и не только оружия не вынимая, а даже рук не держа на рукоятях шашек, и не выхватывая нагаек, – тихим шагом, как будто задумавшись, куда им дальше.

Как может ехать всадник в сказке.

Толпа стала раздвигаться к тротуарам, но не разбегалась, и даже посреди улицы остались многие. Уже и не боялись. За эти дни появилась и на казаков надежда.

Казаки молча, тем же медленным шагом, так же поодиночке, бережно въехали между людьми, разве крупом кого толкнув, – и так проехали через разреженную толпу, а на просторе снова сблизилась – и дальше, не задержась, не оглядываясь.

И из толпы, и с тротуаров – зааплодировали, закричали:

– Bravo, казаки! Bravo, казаки!

И толпа – опять смыкалась, и тот же оратор вылез и продолжал: что надо вовлекать армию в революционную борьбу. Потом расходились, уже без понуждения, и кричали:

– Завтра – опять на Невском!... Приходите завтра на Невский!

Шляпников ни во что не вмешивался. Теперь он крупно зашагал по темноватому пустеющему проспекту. Ему до Павловых было больше пяти вёрст.

Только бы не угас пыл у рабочих: ещё день – ещё день – ещё день, раскачивать, а на работу не возвращаться.

Прямо бы – на крыльях радости нестись, вот сейчас товарищам расскажет, там у Павловых соберутся на всю ночь.

Но почему-то радости полной, настоящей – Александр Гаврилович не ощущал, заметил. Кажется – этого только и ждал, для этого жил! – а вот...

Или – начинал уставать? Столько уже месяцев – то под слезкой, то переодеваясь, с фальшивым паспортом. Ездил опять в Москву и на Волгу – везде слабо, нигде ничего не готовится, и никакой всероссийской забастовки сейчас не раздуть, он знал. А в Питере – тайные встречи на адвокатских квартирах – с Чхеидзе, с Керенским, и те закатывали истерику, что большевики – сектанты, и Шляпников 14 февраля погубил подготовленное торжество демократии, помог царскому правительству.

Может, и правда где что не так сделал. Спросить некого.

Или – просто устал от подпольщины?

И вот в сегодняшние дни забрала его почему-то не радость, а, как Сашенька выражается: меланхолия.

ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ФЕВРАЛЯ

СУББОТА

23

А проснулся Георгий – ныло опять в груди, разнимало тоской хуже вчерашнего.

Испарилась куда-то вся радость, вчера ещё спасённая у огня. Хотелось – уезжать. Но вчера уже обиделась – как ей теперь повторить? Ольда не привыкла, чтоб ею вертели. Но и оставаться ещё до завтрашнего полудня казалось пусто, невысказано.

Да проснулся, как назло, рано.

Вскоре и она.

Встретились глазами – а уже не всё на лад. Что-то сдержанное пролегло в глазах, разделяя.

Но и молчанье чуть-чуть продлилось – будет размолвка. А говорить – опять она будет об Алине?

И толчком:

– А поедem в город?

И она неожиданно: ладно, едем.

И печки уже не разжигали. А наружу вышли – так даже теплей, чем в дачке.

Тропка такая, что под руку неудобно. Отдельно.

Вот, Распутин убит, так что? Пока он был жив, редко кто не мечтал: хоть бы его убрали! И сперва – ликование было, особенно в образованном обществе, все поздравляли друг друга, даже – приёмы, банкеты.

– У нас штабные офицеры – тоже, искали шампанского выпить.

Да, произошло убийство, как бы единодушно желанное всем обществом. Впрочем, разве это – первое убийство, которому общество аплодировало? Но совсем оно не к добру. Прошли недели – и стало хуже, чем с Распутиным: теперь не на кого больше валить. И это пятно: убили великие князья. И никто не наказан – тоже пятно.

– Это да. Обхожу роты, в одной новой дивизии, беседую. Встаёт старый солдат: «А пущай бы нам ваше высокоблагородие высказали, почему это сродственники Государя императора, кто забили Распутина, на свободе позастались и суда на них нет?»

Да ведь законы даже не приспособлены к такой дикости: арестовывать великих князей как убийц. И можно себе представить, как защита злоупотребляла бы, и поносила трон.

Удивительно, как Распутин долго держался – в тоне, в роли. И что-то же советовал. И советы принимались.

– И с каким уровнем? Как он мог дорасти до государственных советов?

– Значит, какая же природная трезвость ума. И умение ответить не впросак. И очевидно религиозный экстаз – умел же он, ничтожный пришлый мужик, так убеждать епископов, что они возвышали его. Тут уж на женщин не свалишь. Только банкиры играли им.

– Но какой бы ни был у него здравый смысл – унижает каждого из нас, подданных, что государственные вопросы могут решаться на таком уровне. И каждый думает: что ж это за монархия?

– Конечно, это всё – ужасное несчастье. Может сердце отказать в терпении...

Пришли на станцию раньше времени. Всего несколько человек на платформе, утоптаный снег кочковатый. Всё ещё света северного мало. И мрачные ели густо у станции.

– А всё же – ты с осени изменилась. Ты уже не так это всё поддерживаешь.

– Нет, ты ошибаешься. Поддерживать трон – в этом я не изменилась. Даже: сейчас ещё нужней, чем тогда, сплочение твёрдых верных людей. Ведь сколько же умных и твёрдых, но все рассеяны, друг друга не знают – и бессильны.

Сумочка не мешала за кистью, она сплела пальцы в перчатках, – и было бессильное умоление в этом жесте, но была уже и сила.

– Да не нужна им наша помощь. Никто из них её не спрашивает. И – некому предложить, и – нет путей, доступа нет на сто вёрст. Ты же не можешь придумать – **как** .

Брови Ольды и лоб дрогнули вместе:

– Так что ж – не спасти страну?

– Страну – спасти. Но укреплять трон помимо воли трона – абсолютно невозможно. Как помогать тому, у кого нет воли? Как только соединяешь себя с троном – вот ты и скован всей там налегшей, прилипшей рухлядью.

– Нет, ты не монархист, – печалилась она. – Ты и осенью так же говорил. А время было взяться – тогда, на поддержку.

Гудел поездок, подходя. Доболтал вагончики, остановил. Вошли. Дачный вагон слабо нагрет печкой от середины, и там вблизи сидят.

– Холодно тебе будет?

– Нет, ничего.

Поколебался. И:

– Тогда... я тебе не всё сказал.

– А как?

Всего – и теперь не выразишь. И – долго.

– Да разные мысли бродили. Но не точные. Оказалось всё очень-очень сложно. И не в думских кругах найти союзников.

– Да уж не Думе в рот смотреть. Тот же Распутин для Думы был – просто находка. Не такие уж могучие «тёмные силы», как раздувалось. Молва всегда нагораживает избыточное, это закон молвы. А нечистота прилипает и на всех уровнях. Выступить против Распутина стало в обществе очень выгодно. Каждый, кто заявит, что он – жертва Распутина, сразу становится фаворитом общества, обеспечена повсюду горячая поддержка.

Нравилась ему эта сдержанная ровная страсть её, как она всегда говорила об общественном. Чуть-чуть запрокидывая голову.

И затолпились в Петрограде слухи, да какие. Что убийством Распутина начинается новая эпоха террора. Даже будто: стреляли в Протопопова, уже! Уже хотели отравить генерала Алексеева! Задумано убить императрицу и Вырубову! Не где-нибудь, а среди знати спорят: убьют ли только императрицу или Государя тоже. Уже называли и полки, в которых готовится заговор. Потом – что заговор великих князей, и будет государственный переворот, а то: перед Пасхой будет революция. О заговорах среди гвардии – из десяти мест.

– И ты думаешь – есть доля правды?

– Думаю: всё болтовня. Но ходит. То будто: на союзнической конференции в январе постановили: взять русское правительство под опеку и посадить англичан и французов в русский генеральный штаб.

Воротынцева передёрнуло.

Немощные карельские деревья за окном. Заснеженная долина речушки.

Слухи – напирают, измучивают, не бывает дня без их горечи пустой. То: к февралю подпишут сепаратный мир. То: ожидается железнодорожная и всеобщая забастовка. То: вот, через полчаса перестанут давать ток и остановятся трамваи. Но – **кто** говорит! В придворном мундире, камергер, вдруг называет, правда, в небольшом обществе, Зимний дворец – вороньим гнездом! Вообще, среди придворных – очень много предателей, они больше всего и сплетен пускают, подлаживаются к обществу. О царской семье – любые мерзости, будто у них оргии...

– И всё это – свободно вслух?

– Совершенно! Сейчас говорят – всё, что хотят.

Все те же скудные хвойные стволы в снегах – и вдруг оскалится гранитный валун.

Как будто и легче стало в движении. Наверное, в этом всё дело – требовалось движение.

А нет. Та вчерашняя посасывающая пустота – всё же осталась в нём.

Неловкость между ними как будто разрядилась. Он снова любовался её поводимой головкой, и выражением строгой рассудительности, которое очень шло к ней. Но странно звучал их разговор – как знакомые встретились в вагоне. Куда делась их обоюдная слитная радость?

А – что было перед самым убийством? Эти *съезды* разгорячённых тыловых героев, безо всякого намерения обсуждать что-нибудь полезное, а только как-нибудь проголосовать уже готовую ядовитую резолюцию – и распустить её по всей России тучами прокламаций. И даже если не проголосуют – всё равно распустить: например, что правительство умышленно ведёт Россию к поражению, чтобы с помощью Германии ликвидировать Манифест 17 октября! Всеобщая жажда успеть прослыть либеральными охватила и дворянство, на дворянских съездах тоже злобствование: «постыдный режим», это считается нормальным определением российского государства. И нет сильного весомого голоса, который бы прогремел: да остановитесь вы! нельзя же так лгать!

Голубая фуражка начальника станции. Вошли молочницы с вёдрами.

До сих пор не замечали, не слышали людей. А тут открылись их уши. И в вагоне, уже изрядно наполненном, они различили разговоры о каких-то питерских волнениях: о разбитых магазинах, остановленных трамваях.

Воротынцев насторожился, но Ольда отмахнулась:

– И такое бывает, в феврале уже было, и на Петербургской стороне.

Но затем они разборчиво услышали, что сегодня – трамваи вообще нигде не ходят.

Вот так так, значит и конка от Ланской к Строганову мосту тоже наверное не ходит? Тогда нельзя сходить на Ланской, как думали, – а ехать до Финляндского.

Какой-то мещанин позади них рассказывал, что вчера вечером подле вокзала сунулся в переулок – а там: в полной темноте, без огней, без звука стоит спешенный казачий отряд, затаился, пики составлены, только лошади тихо фырчат. Затаились – и ждут.

Вот как? Значит, дело серьёзное. И вот когда Георгий выбрал себя: зачем они поспешили? Как хорошо там было вдвоём! Какая это в жизни редкость, и что за характер проклятый – всё отбрасывать и всё вперёд куда-то?

Виновато погладил запястье Ольды, за перчаткой.

Она печально улыбнулась.

24

* * *

С утра на петроградские линии вышло мало трамваев – и вскоре все ушли или остановились без ручек.

Утренние газеты вышли не все. В типографию «Нового времени» ворвалась толпа рабочих, разбила несколько стёкол, сняла типографов. Но газета вышла.

На Петербургской стороне человек 800 подошло к государственной типографии, чтобы сорвать рабочих, – но были рассеяны пешими и конными городовыми.

* * *

День рассвёл с восемью градусами мороза, безветренный, с лёгким снежком.

Улицы все были хорошо убраны, дворники работали усердно, как всегда.

Сенная площадь изобиловала продуктами всех видов, дешёвыми колбасами.

На уличных стенах появилось новое объявление генерала Хабалова: если работы на заводах не возобновятся со вторника 28 февраля (воскресенье и понедельник давались для

осадки) – будут досрочно призваны новобранцы ближайших трёх призывов. О демонстрациях и уличных беспорядках, избиениях полиции – ничего не поминалось.

А вчерашнее хабаловское объявление уже было и содрано во многих местах.

* * *

От завода к заводу бродили активисты, заставляли всех бросать работу, кто ещё не бросил вчера. На Невскую ниточную мануфактуру ворвались чужие, останавливали машины, их задержал надзор. Забастовали даже мастерские арсенала Петра Великого, хотя эти рабочие числились военнообязанными. И пошли снимать Металлический завод.

Близ девяти часов утра рабочие Обуховского завода на Невской стороне, прекратив работу, тысяч пятнадцать, вышли на улицу – и с пением революционных песен и одним красным флагом двинулись в сторону города, по пути снимая с работы карточную фабрику, фарфоровый завод. На проспекте Михаила Архангела толпа была встречена рядами конной полиции и рассеяна – уговорами, а там нагайками и ударами шашек плашмя. У 18-летнего обуховца Масальского отобран тот красный флаг. На нём оказалось: «Долой самодержавие! Да здравствует демократическая республика!»

* * *

А полиция, подчинённая теперь воинским частям, телефонно докладывала им дислокацию, какие заводы забастовали, где какой беспорядок. Многие офицеры и названий тех не знали.

* * *

На Каменноостровском проспекте в булочной швейцарца Крузи приказчики заявили, что булок больше нет. Но публика обнаружила булки, уложенные на телегу с заднего хода. Очередь разбила три больших стекла. Пристав распорядился – и эти триста булок были тут же проданы.

* * *

По Косой линии Васильевского острова шёл городской с двумя подручными дворниками. Толпа рабочих решила, что он ведёт арестованных, – накинулись, отняли шашку, ею же покрестили до крови, зубы выбили.

* * *

У казачьей казармы перебинтованный казак (вчера сбросила лошадь) просил прохожих передать рабочим: вы не затрагивайте казаков – и мы вас не тронем.

* * *

На Выборгской стороне среди бастующего многолюдья – кой-где митинги. Вот поднялся оратор – по одежде рабочий, но по языку с привычкой выступать:

– Довольно нас эксплуатировали! Долой их всех! – жандармов! полицию! фабрикантов! правительство! Война для нас гибель, а для буржуазии выгода! Довольно лили нашу кровь!

После него поднялась на тумбу нервная девица из аптеки, с пискливым голосом. Сначала её высмеивали, а потом всё больше слушали: заворачивала круто туда же – «долой! долой! долой!».

* * *

Часть толпы пришла *снимать* Трубочный завод артиллерийского ведомства на Васильевском острове. Многие его мастерские не желали бастовать. У ворот стояла рота запасников лейб-гвардии Финляндского батальона. Из толпы насмеялись над её командиром подпоручиком Йоссом, а один слесарь угрожал кулаком к носу. Подпоручик выхватил револьвер и уложил его на месте. И толпа сразу разбежалась. Но задержали реалиста 6-го класса Эмилия Бема, у которого отняли заряженный револьвер казённого образца.

Труп убитого слесаря отправили в военный госпиталь под конвоем семи казаков, но те по пути без сопротивления отдали труп толпе.

* * *

Воинские караулы стояли близ многих правительственных зданий, у почты, телеграфа. Также – и на Фонтанке у дома, где живёт Протопопов.

Городовые, чаще по двое, стояли в центре на всех обычных уличных постах.

Воинскими частями охранялись мосты, речные переходы с окраин в центр. И ещё кой-где перегораживали, но как? – разомкнутыми цепями на шаг солдат от солдата, и ничему не мешали: районы не замыкались же вкруговую, публика обходила их, насачивалась с двух сторон, ругалась, кричала – в конце концов всех и пропускали. И сами солдаты об офицере думали: и глупый же приказ. А толпа только уверялась: везде прорываться!

* * *

Гнал санный извозчик с двумя офицерами по Троицкой площади – и на пересечении с Кронверкским, на завороте, угодил полозом в жёлоб трамвайного рельса. Дёрнуло, завизжало железом – застрял.

Соскочил извозчик, вышли и полковник с капитаном.

А от дальней чёрной толпы рабочих к ним двинулись, даже и побежали – полудюжина, опережая остальных.

Что это?

Да и поперёк площади шли туда-сюда разные, тоже чёрные, – и тоже стали стягиваться.

А полиции – нигде не видно.

А уж слышаны рассказы, как ссаживают господ с извозчиков, – и на знакомой площади своего русского города, среди соотечественников офицеры замялись – в отчуждённости. И капитан положил руку на эфес – хотя разве выдернет?

Но бежали чёрные, как на игру, весело:

– Что, господа офицеры? Или площадь узка?

– Что ж ты, дурак, зевло распахнул?

Дружно схватились, вытолкнули.

И на чай не взяли.

* * *

К генералу Хабалову в градоначальство пришла депутация петроградских пекарей: после вчерашнего объявления генерала о достаточности муки все обрушиваются на них: почему не пекут? значит – прячут и воруют? Хабалов обещал им вернуть из армии полторы тысячи мобилизованных пекарских рабочих. (Кто остался – многие пьянствуют, работать не заставишь).

* * *

Между тем на Невском толпы набирались и бродили частью рабочие с окраин, а много своих, из центральных районов, – студенты, особенно много из Психо-неврологического, курсистки, подростки, и много праздной городской публики. И уж, конечно, все городские подонки за эти три дня притянулись. За вчера и позавчера у толпы создалось чувство полной безопасности, она привыкла к патрулям и что они не трогают.

Всё же пристав Спасской части задержал до полудня человек шестьдесят, заводя их в замкнутый каменный двор на Невском против Гостиного Двора. Тут по Невскому от Знаменской площади повалила большая толпа. Пристав послал в Гостиный Двор за условленной помощью к командиру пехотного караула – и тщетно ожидал с четырьмя полицейскими, увещевая наседающую разъярённую толпу. Военская помощь не пришла. Тогда он сам прорвался в Гостиный Двор и просил помощи от стоявшей там сотни 4-го Донского полка. Сотник ответил, что имеет задачу лишь охранять Гостиный Двор. Другой казачий офицер согласился помочь, но опоздал: толпа уже смяла полицейских, освободила арестованных, а надзирателя Тройникова повалили на землю и били поленом по голове, пока не потерял сознания.

* * *

На подходах к Литейному мосту с Выборгской стороны и сегодня стягивалось много тысяч рабочих. Навстречу выехал по Нижегородской улице старик-полицмейстер полковник Шалфеев с полусотней казаков и десятком полицейских конных стражников. Поставив из них заслон у Симбирской улицы, Шалфеев один выехал вперёд к толпе и уговаривал её разойтись. Толпа в ответ хлынула на него, стащила с лошади, била лежащего кто сапогами, кто палкой, кто железным крюком для перевода рельсовых стрелок. Раздробили переносицу, иссекли седую голову, сломали руку.

А казаки – не тронулись на помощь. (Толпа на это и рассчитывала).

Бросились выручать конные городовые, произошла свалка. Здоровый детина замахнулся большим ломом на вахмистра, тот сбил нападавшего рукояткой револьвера. Из толпы бросали в конных полицейских льдом, камнями, затем стали стрелять. Тогда ответили выстрелами и полицейские.

После первых выстрелов казаки (4-й сотни 1-го Донского полка) повернули и уехали прочь полурысцей, оставляя полицейских и лежащего при смерти на мостовой Шалфеева.

Тут подбыли от моста другие городовые, конные и пешие, и оттеснили толпу.

* * *

Петроградская интеллигенция жаждала событий, но всё ещё не верила ни во что крупное. Карташёв на квартире у Гиппиус сказал: «всё – балет, ничего больше».

* * *

После 11 часов утра с окраин Петрограда уже не поступало донесений: повсюду начался разгром полицейских участков. Чины полиции скрывались или были преследуемы и убиты.

25

Вышли на перрон – приятный лёгкий морозец, и срывается лёгкий снежок. На вокзале – всё обычно. Но вышли на пасмурную площадь – трамваи действительно не ходят, и не ползёт через площадь обычная медленная вереница гружёных ломовых, и редко проскакивают занятые извозчики. С Симбирской улицы выходило свободное какое-то шествие с красным флагом – а полиции не видно было нигде ни человека.

Поразился Воротынцев.

Ожидающих извозчиков не сразу и найдёшь, обошли здание. И просят невероятно, впятеро дороже. Сели в санки. Ольда подрагивала, хотя не холодно. Георг поправил полость на её коленях и держал обе руки в одной своей.

Поехали через Сампсониевский мост. Нет полиции на перекрестках. Почти нет и военных. И не столько идущих уверенно прохожих, сколько бродящих никуда. Или стоящих группами, рабочие. Улицы были людны – а казались безлюдны, оттого что не было обычного колёсного и санного движения. Какой-то пасмурный праздник. На Посадской улице все лавки – заперты, окна закрыты щитами.

А город и без того-то был не сияющим, как минувшей осенью, но запущенным, даже и грязноватым.

На Каменноостровском – торговали, роскошные магазины – без хвостов, а попроще – с хвостами. Никто ничего не громил, да вот и городовые попадались, постами по двое. Нет, в одной булочной разбиты были стёкла, торговли нет. Теперь встречались и извозчики, иногда автомобиль. А что-то висело больное в воздухе.

Извозчик по пути тоже рассказал им: одни фабрики бастуют, другие полуроботают. А то – озоруют: видят, господа на извозчике едут, останавливают и ссаживают.

Мол, и вас бы не ссадили. Глупое, действительно, было бы положение – с дамой и против толпы, и – что делать?

Проехал наряд конных городовых. С тротуаров дерзко кричали им, не боясь. Они не оглядывались.

А вот и Песочная набережная у заснеженной Невки – и чистый упругий снег под полозьями, здесь – никакого разорения. Тут хоть забудься и дальше.

Но не проходило в груди дурное грызение, которое выгнало Георгия с дачи.

Поднимались изогнутой лесенкой в их ротонде.

– Всё это мне начинает не нравиться, – качала Ольда головой.

Сбросили верхнее – и сразу обнялись, как будто давно не обнимались. Постояли, молча покачиваясь.

– А узнаю-ка через телефон, что где делается, – сказала Ольда.

И стала звонить из коридора в одно, другое, третье место.

А Воротынцев переходил, курил, садился. В этой квартире такой был для него приёмыстый, обнимающий уют – а сейчас почему-то сердце не на месте.

И глупо, что вернулись с дачи.

А может быть ещё глупей – вообще, что приехал в Петроград. Не зря ли он вообще ездил?...

В спальне появился на стене увеличенный портрет Георгия с фотографии, которую он ей прислал с фронта.

Этим Ольда признала его, приняла, ввела в свой дом.

А – кем?

Было и гордо от этого. И – смущение.

Пришла Ольда. Узнала: рабочих через мосты в центр не пускают, они тянутся там и сям по льду через Неву. В разных местах избивают полицейских. У Казанского собора с утра – маленькие группы студентов, их разгоняют. А сейчас по Невскому от Московского вокзала прошла большая возбуждённая толпа к Гостиному Двору. Отряд драгун помешал полиции разгонять толпу, толпа кричала драгунам «ура».

Ничего себе.

Всё то же ощущение, как всегда: наверху нет твёрдости.

Какая-то серая пустота. Невозможно бы сейчас – лечь, даже просто бездействовать, впустую разговаривать.

– А знаешь, позвоню я Верочке. Что ж теперь скрывать?

– Конечно.

Пошёл в коридор, повертел ручку, попросил барышню дать телефон Публичной библиотеки, второй этаж, выдача, он его не помнил.

Соединили. А там и Верочку позвали довольно быстро.

Вера только охнула в трубку – но меньше, чем он ожидал.

– Ой, как хорошо, что ты отозвался!

Странно.

– Я – в Петербурге.

– Знаю! Уже третий день знаю.

– Откуда???

– От Алины. Телеграммы. И даже телефон.

Так и обвалилось. Холодно-горячим.

– От Алины??? Почему? Откуда?...

– Она зачем-то телеграфировала тебе в Ромон – и ей ответили, что ты в Петрограде.

Так и обвалилось. Ещё валилось, валилось, даже нельзя охватить. Неисчислимо. Вот оно было предчувствие, не обмануло.

– А – ты что?...

– Я отвечала: ничего не знаю. Так и есть. Хотя, честно сказать, сразу поверила. Но я так боялась, что ты не объявишься мне.

Пытался сообразить своё нужное быстрое действие – и не мог. Обвал! Снизил голос, чтоб Ольде не донеслось:

– А – что она?...

Что с ней сейчас? Боже, что с ней?

– Мне – не верит. Обвиняет – меня. Проклинает тебя. Говорит... Ну, да приезжай, Егорик.

– Нет, что говорит?

Молчанье.

– Что говорит? Скажи скорей! Едет сюда?

– Не знаю. Нет, возможно... Вообще не знаю. – И по телефону можно было различить в веренькином голосе страдание. – Да приезжай скорей.

– А что? Плохо?

– Да... вообще...

– А что именно?

– Ну, там... Приезжай.

Обваливалось дальше и дальше, рухалось до конца.

Всё, что строено эту зиму, – всё обрушилось. И опять весь кошмар снова?... И даже удвоенный?

Трубку держал, а в потерянности замолчал. Как одурел, ничего не мог придумать. А Верочка:

– Что на улицах делается...

И до чего ж не повезло. Как же не подумал, что она может телеграфировать, никого в штабе не предупредил.

– Около Гостиного – тут большая свалка, в окна видим. Смяли полицию, бьют. С красными флагами ходят по Невскому.

Да, ещё это же. Но это всё – полуслышал. А главное – не мог сообразить, что нужно делать.

– Но ты приедешь к нам сегодня? Няня волнуется!

Сразу всё в голове поворачивалось, целый мир. Теперь невозможно возвращаться прямо в Румынию, не избежать ехать в Москву. Сплести, что была срочная командировка. Но тогда побыстрее и ехать. Но не поверит! – если б сам не открылся в октябре, идиот.

– А что там около Московского вокзала?

– Там-то бурней всего эти дни. Тебе билет? Я сама пойду брать, а то ты вяжешься.

Вот влип, так влип, ещё эти уличные волнения, действительно вяжешься, нелепо.

– Егорик! Ну, ты можешь ехать к нам? И я тогда иду домой. Только Невский минуй, не пересекай. Как-нибудь от Фонтанки слева приезжай. Ты... – через паузу, – на Песочной?...

Наконец всё довернулось и решилось. И ломящее предчувствие – мрачно заменилось ясным действием.

– Да. Еду. Через час буду.

Но ещё докручивал ручкой резко отбой – а уже понял: с **ЭТИМ** он не может выйти к Ольде. Он – всё равно не может ей передать, насколько и почему это ужасно. А если открыть – она начнёт снова воспитывать и учить его, как твёрже себя вести с Алиной, а это невыносимо, потому что она не понимает. И если открыть – сейчас невозможно будет уехать, а нужно остаться и разговаривать, разговаривать... Невозможно.

Стыдно лгать любовнице, но петроградские события давали ему единственную возможность вывернуться. (А что он такое от Веры услышал? – он едва сейчас вспоминал).

Ольда с испугом встретила его лицо.

– Да... – бормотал он, – очень серьёзно...

– А – что?

– Около Гостиного – полицию избивают. А около Московского вокзала что-то ещё хуже.

Да он конечно бы ей всё сказал! Если б она не отпугнула его вчерашними упорными внушениями. Была какая-то запретность – с ней это всё обсуждать.

– Как разыгралось! – не сводила Ольда с него глаз, и он побоялся, что угадает. – Что ты думаешь? Он молчал.

– Ну, не Девятьсот же Пятый, – уговаривала она себя и его. – Уже бывало. И в октябре, в тот самый день, когда мы познакомились, помнишь?

Да, правда, тогда было похожее. Так недавно. Тогда ещё не было у него этих маленьких плеч. Прошлые часы он совсем к ней остывал. А сейчас, как расставаться, – стала опять мила, желанна. Счастье моё неожиданное! Спасибо тебе за всё. Но – очернело во мне, стеснилось, и ты не можешь утешить. А вслух:

– Надо мне поехать кого-нибудь в штабах повидать, понять. На что ж рассчитывают? Как же можно так запускать? Вот тебе и... Самодержавие без воли – это, знаешь...

Делать-то надо же что-то. Сами же говорим.

Да, верно. Так.

– Но ты же к вечеру вернёшься? – то влекла вперёд, а вот уже удерживала.

Положение, и попрощаться открыто нельзя.

– Если не разыграется. Если там не понадобится.

– Но тогда – хоть завтра! – ещё же завтрашний день наш!

Он вздохнул.

– Ну, ты по крайней мере скажешь мне в телефон – что и как?

– Да, конечно!

Поедим?

Нет, уже не сидится, всё колыхается, корёжится.

– Но ещё же мы не расстаёмся? – сильнее встревожилась Ольга.

– Да кто его знает, – недоумевал он с отсутствующим лицом. – Чемоданчик на всякий случай возьму.

– А ты – не к ней поедешь? – вдруг догадалась и впилась ему в китель.

– Ну, с чего ты взяла? – почти искренно изумился он. Вот повернулось: скрывал жену как любовницу.

– Это – нельзя! – внушала Ольга большими глазами. – Я буду ревновать! Теперь ты – мой!

– Да ну что ты?... Да откуда?...

Вот – и миг прощанья. Она подняла, положила ладони ему на плечи и с сияющими глазами выговаривала:

– Для меня твоё появление – как второе рождение моё. Я столько ждала!... Я уже теряла надежду, что дождусь... Я шла как через пустыню... Я всю эту зиму вспоминала твой последний взгляд тогда, у моста. И верила, что мы будем вместе. Я верю и сейчас! Я – люблю тебя! Люблю!

Он снял с погонов её ладони и целовал.

Он был плох с ней последние часы. И ещё хуже был бы сейчас, если б она требовала остаться. Но вот она легко освобождала его – и вспыхнуло перед ним, какая ж она драгоценность! И как он самозабвенно любит её! И пожалел, что даже – мало она ему говорила. И ещё недохватно он её целовал!

У неё трогательно неловко искривилась верхняя губа:

– Мужчины почему-то придают большое значение годам женщины. А для женщины...

Ну, разве я для тебя стара?

– Я такой молодой, как ты, – не касался...

26, часть 1

(Дума кончается)

Много толстых томов стенограмм четырёх Государственных Дум, кто только одолеет их, дают несравнимое впечатление ото всей реки общественных настроений России за одиннадцать её последних лет. И если б даже не иметь больше ни единой книжки мемуаров, свидетельств, фотографий, – по одним этим стенограммам так неоспорно восстанавливается и вся смена забот и настояний, сшибка страстей и мнений, и даже – характеры, и даже голоса самых частых ораторов, десятков двух. Начав читать эти томы ещё с полным неведением, с полным доверием, никакого мнения не имея и не предожидая, – от заседания к заседанию вдруг испытываешь тоскливую пустоту от резкой, оскорбительной, никогда не связанной с *делом* и никогда не предлагающей осуществимого дела говорильни левых. Можно представить, что в западных парламентах и самая крайняя оппозиция всё-таки чувствует на себе тяготение государственного и национального долга: участвовать в чём-то же и конструктивном, искать какие-то пути государственного устройства даже и при неприятном для себя правительстве. Но российские социал-демократы, трудовики, да многие кадеты, совершенно свободны от сознания, что государство есть организм с повседневным сложным существованием, и как ни меняй политическую систему, а день ото дня живущему в государстве народу всё же требуется естественно существовать. Все они, и чем левее – тем едче, посвящают себя только поношению этого государства и этого правительства. Все они, выходя на думскую трибуну, обращаются не столько к этой Думе, не столько рассчитывают склонить её к какому-то деловому решению, сколько срывают аплодисменты *передовой*, либеральной,

радикальной и социалистической общественности – и ничего не жаждут, кроме её одобрения.

Чхеидзе: Я говорю не для вас, а для тех, кто меня послал.

Обсуждается продовольственный вопрос – социал-демократ (Бурьянов) по этому поводу рассказывает о Кинтале и Циммервальде. Другой:

продовольственный кризис не может быть разрешён потому, что власть – дворянско-землевладельческая.

При чём там урожаи или неурожаи, доставка, мельницы, хлебные цены! Как будто двести последних лет Россия и не клала на зуб ни краюхи: дворянская власть – и кризис неразрешим, пустите кадетов, социал-демократов – и Россия будет сыта. (Через несколько дней кадет Некрасов застонет, что нет сил разгрузить приходящее – ещё при царе разнаряженное – в большом количестве в Петроград продовольствие: мятели кончились).

По каждому частному осязаемому вопросу – эти холостые провороты, без зацепленья с истинной жизнью, лишь накал обвинений:

Чхенкели: Правительство у нас было и остаётся врагом народа, это для всех ясно. Должно быть покончено с политической системой, приведшей страну на край гибели. Час настал!

(И до чего ж несвободная эта Россия! – вот так не дают ни слова вымолвить).

Скобелев: Вся страна ненавидит эту власть и презирает это правительство.

Чхеидзе: Правительство виселиц, правительство военно-полевых судов, правительство белого террора, архиреакционное по своему составу... Всякое сотрудничество с этим правительством есть предательство народных интересов. Россия народа и Россия этого правительства – *две вещи* несовместимые, у них нет общих ни радостей, ни печалей, ни поражений, ни побед. Нам надлежит идти путём, которым пошли предки наших милых симпатичных друзей-французов. Буржуазия в XVIII веке не словесами занималась. (Скобелев: «Сметала троны!»)

Что стесняться им, если вся Дума уже вставала за неприкосновенность парламентских речей – и останавливала даже государственный бюджет, все финансы империи, пока думским с-д не дозволит наговориться всласть.

Скобелев: То, что мы видим, это Содом и Гоморра, гниение и разложение. Это – ваша Россия, Россия дворянского крепостнического благополучия, Россия бюрократического своеволия, предстала как обнажённая порочная женщина...

И это глаголанье в раскалённой пустоте, до визжанья, до свинголосо, надменно обращается и к сотоварищам по Думе, и особенно к кадетам, всегда недостаточно революционным:

Чхеидзе: Вы не можете, господа, не считаться с *указаниями улицы*. Вы не можете не принять во внимание указание улицы, что ликвидация всемирной бойни должна произойти в интересах демократии.

Чхенкели: Вы решительно не способны к положительной работе в пользу народа... Докажите, что и вы можете что-то хорошее сделать для народа.

Чем малочисленнее горстка социал-демократов в Думе, тем с большим чванством и высокомерием они глумятся над остальной Думой, то корят Прогрессивный блок, то свысока поощряют, а постояннее всего выпячивают собственное предвидение и многознание, сыпят мишуру социальных откровений. Чем малочисленнее они, тем длительней и щедрей переводят не-своё, думское, время, и далеко отклоняясь в оглушительно-холостые провороты, уверенно знают, что как левых их не посмеют прервать.

Суханов: Это правительство ведёт политику изменников и дураков.

Родзянко: Прошу вас быть осторожнее.

Суханов: Это слова депутата Милюкова.

Родзянко: Покорнейше прошу не повторять такие неудачные слова.

Родичев (с места): Почему неудачные? (Шум, смех).

Или

Чхеидзе: Я очень просил бы не делать мне замечаний с места, занимаемого товарищем председателем, это злоупотребление своим положением. (Слева рукоплескания. «Правильно!»)

Волков (к-д): Эти господа (указывая на места правительства) должны сесть в тюрьмы, ибо они настоящие преступники, мешающие нам обратить все силы на борьбу с внешним врагом. (Аплодисменты. Председатель не прерывает).

(социалист): Старый режим опоздал с возможными уступками. Теперь только перешагнув через труп старого режима, возможен путь к хлебу.

Родзянко с готовностью замечает:

Ваша метафора несколько неосторожна, но я не сомневаюсь, что прямой смысл не мог быть у вас.

Тот даже не даёт себе труда оправдаться и, спустя немного, повторяет ту же «метафору», вполне беспрепятственно.

Как бы считает себя обязанным седлать Думу по часу едва ли не через день уморительно-нудный Чхеидзе, с его дребезжащим произношением, с его непрочищенным языком:

– при том положении, которое находится в стране;

– Блок стал в положение священника, который заготовленную проповедь оставил в старых штанах;

– все эти красивые слова не стоят выеденного яйца, и им могут верить только дети или идиоты; –

зато с непокидающим самомнением, не способным на себя оглянуться:

– куда Россия придёт – *ни* я не могу предсказать, ни вы;

– на этот счёт *меня* особенно жизнь не беспокоит;

и так уже привыкли думцы к его неотвратимым речам, как к стихийной слякоти, как к дождям осенним, что не способны проняться, когда и верное замечание забредёт в его речь:

Хотите турок освободить от их столицы Константинополя? или когда, в декабре 1916, Чхеидзе изумляется, почему вся Дума, уж так с порога, решительно и едино, даже и обсудить не хочет германских мирных предложений?

Когда сменили Штюрмера и на трибуну вышел новый премьер Трепов, ещё никак себя не показавший, социал-демократы не давали ему даже выступить с декларацией, – а кричали, буйнили, потом каждый по пять минут дерзил и хулиганил с трибуны, и все выведены вон на 8 заседаний. (Родзянко возмечался лишать каждого на 15, но струсил левого ветра).

Очень заметно: когда социалисты выведены, только и начинается в Думе спокойное деловое обсуждение.

С социал-демократами постоянно соревнуясь, ни на тон, ни на выкрик от них не отстать ни в резкости, ни в поношении правительства, ни в презрении к думскому большинству, ни на раз не выступить реже Чхеидзе, ни на пять минут не говорить меньше, мелькает руками, в беге речи обгоняет колченогий смысл, с общими местами гимназического багажа, проклиная и предсказывает – адвокат, вошедший в моду перед самою войной, настойчивый ходатай сосланных думских большевиков – Керенский. Войдя возглавителем к серым трудовикам, особенно хорошо чувствуя крестьянство:

Крестьянство проснулось и поняло, что третьиюньская система привела к гибели государства,

он постоянно ощущает себя и выразителем всей России, всех трудящихся, любимчиком русского общества за стенами Думы и первоблестящим оратором в ней:

наше мнение, ничтожной кучки здесь, учитывается европейским общественным

мнением.

(Отмеченная В. Маклаковым

ничем не оправданная, необыкновенная популярность революции в России
нашла в Керенском своего восторженного глаголя:

Вы, господа, до сих пор под словом «революция» понимаете какие-то действия,
разрушающие государство, когда вся мировая история говорит, что революция была
средством *спасения* государства!

И, цитируя англичанина:

Человеческий род гораздо меньше страдал от духа мятежа, чем от бесконечного
терпения народов.

Если Родзянко осмеливается лишить его слова, Керенский совершает *шесть*
ответных прорывов, всё не уходя с трибуны:

Я хочу... Я хотел только... Я хочу указать, господа... Что в настоящий момент...
Я решительно протестую... Что не дают возможности...

Нет оскорбления обиднее для Керенского, чем – не вывести его из зала, когда
выводят с-д, или приписать ему в газетах,

будто он разделяет убеждения о некоторых *законных* методах борьбы с властью.

О, какая пощёчина! *законных*? Нет и нет! Самый вскидчивый адвокат России,
он, конечно, за вне-законные методы!

Вы хотите бороться «только законными средствами»? (Миллюков: «Это – Дума»).

О, как же он презирает этих умеренных либералов!

Я хочу спросить вас, господа члены Государственной Думы: *что ж, наконец,*
поняли ли вы, что исторической задачей русского народа в настоящий момент
является уничтожение средневекового режима немедленно, во что бы то ни стало,
героическими личными жертвами?... Вы – коробочки государственности, не имеющие
государственного смысла! Вы, господа, только взмахом контрреволюционной волны
1906 года выброшены на мировую арену, и кроме нищеты государственности, кроме
убожества государственного мышления, вы перед миром явить ничего не можете.

Иногда в пируэтках своего красноречия Керенский задерживается и над теми
местами, где заложена истина, и метко разит кадетов:

Если у вас нет воли к действиям, тогда не нужно говорить слишком
ответственных и тяжких по последствиям слов. Вы считаете, что ваше дело исполнено,
когда вы сказали эти слова отсюда. Но ведь есть же, господа, наивные массы, которые
эти слова воспринимают серьёзно, которые хотят оказать большинству
Государственной Думы поддержку! А когда эта поддержка готова вылиться в
грандиозных движениях масс, вы первые вашим "благоразумным" словом
уничтожаете энтузиазм!

Не есть ли это способ остаться в своих тёплых креслах? Вы не хотите разорвать со
старой властью до конца. Для вас вовсе не так дороги интересы, в святости которых вы
клянётесь! Вас объединяет с властью идея империалистического захвата!

Посмотрите на эти зарницы, которые начинают полосовать небосклон Российской
Империи... Будьте осторожны с народной душой, не бросайте в неё упреков в измене, в
руководительстве иностранными агентами, она (народная душа) хочет быть
гражданином, она хочет сказать: я так хочу!...

– уже в изнеможении, все нервы растратя, с трибуны едва не свисая.

Мы цитируем Керенского непропорционально мало, обходя кубические
километры пустословия, отбирая лишь то, что прилегает к повествованию, оттого
представляя его концентрированней, чем он был, и даже прозорливцем (как он всегда
приписывал себе ретроспективно). А это совсем не из частых было его минут:

Я признаю, что и мы, представители демократии, не всегда были на высоте
понимания наших исторических задач.

И, вдруг теснимый предчувствием (впрочем, уже 15 февраля):

Я не хочу вступать в споры и в партийную борьбу. Я хочу, чтоб эти наши дни прошли бы при полном сознании величайших страданий и величайшей ответственности, которая скоро падёт на всех нас без различия наших политических убеждений. В этот последний момент, перед великими событиями... последний раз спросим себя: можем ли мы спасти народное достояние прошлого, которое попало в наши руки? Страна уже находится в хаосе, мы переживаем небывалую в исторические времена нашей родины смуту, перед которой 1613 год кажется детскими сказками...

Впрочем тут же, едва перевздохнув, – снова и снова о пяти большевицких депутатах, сосланных в Сибирь (за пораженчество, и даже отречься от того телеграммою не захотевших, как просил министр внутренних дел), – и развалилось минутное замирение в думском зале, и с правых скамей кричат

– а я бы вас безошибочно бросил!

то есть в Сибирь же.

Однако крайне левым не откажешь в последовательности большей, чем у кадетов, кто сами не попевали за своими крылатыми речами и плохо понимали, куда ж они, собственно, тянули.

Кадеты были изумлены неожиданной победой своей атаки 1 ноября 1916, когда внезапно им удалась главная цель – свержение Штюмера в несколько дней. Прецедентов тому ещё не бывало в нашей парламентской жизни. Прогрессивный блок показал, что он – сила, с которой весьма считается императорская власть.

Но тем более такая победа и обязывала: атаковать дальше, свергать дальше (в первую очередь аппетит разгорался на ненавистного Протопопова), свергать и сшибать каждого до тех пор, пока в правительство позовут их, избранников народа.

Да преемник Штюмера А. Ф. Трепов, перед тем министр путей сообщения (несамолюбиво ждавший и два часа, пока думская комиссия решала, стоит ли выслушать его доклад об окончании Мурманской железной дороги, еле-еле Шингарёв и Родзянко уломали думцев выслушать), – и сам принял премьерство с решением сблизить правительство с Думой и свою программу уклонить в сторону, требуемую Блоком. Но безнадежно испорченных отношений с Думой он не сумел исправить за 6 недель своего премьерства, не сумел сломить Протопопова, да и всё равно не угодил бы Думе, ибо требовалось от него менять не государственных людей на государственных, но непременно на руководителей Блока, да беря их не рядовыми министрами, а уйдя и сам. (Он и был прогнан, но потому, что не угодил Двору).

А между тем бушевание вырвалось за стены Думы. Шли съезды за съездами и выносили страшнейшие резолюции. Декабрьский съезд Союза городов постановил:

Дума должна довести до конца борьбу с постыдным режимом!

И председатели губернских земских управ согласились:

Историческая власть стоит у бездны. Правительство ведёт Россию по пути гибели... Время не терпит, истекли все отсрочки, данные нам историей...

Но и – всего уничтожительнее для власти! – извечная опора трона,

съезд объединённых дворянских обществ, искони преданных своим самодержцам, с великой скорбью усматривает, что в переживаемый Россией грозный исторический час монархическое начало, эта вековая основа государства, претерпевает колебание в своих устоях. Безответственные тёмные силы подчиняют своему влиянию верхи власти и посягают даже на управление церковное... Церковь не слышит свободного слова своих епископов и видит их угнетёнными... Необходимо создать правительство, русское по мысли и чувству...

(Уж не из думцев ли предполагали они его собрать?)

Читающая Россия обращалась к газетам – там по совету Маркова 2-го не было больше белых полос, но не было и рассказа о случившемся. Однако уже была привычка и техника самооповещения – от руки, на пишущих машинках и на ротаторах (и ротаторы не были под охраной спецотделов), – и всю осень и зиму текли по России,

достигая даже глухой провинции, подлинные и вымышленные думские речи, записи встречи думцев с Протопоповым, и вот теперь резолюции всех декабрьских съездов, которые назвал Милюков

высшей точкой достигнутого нами успеха. На наших глазах общественная борьба выступает из рамок строгой законности и возрождаются *явочные формы* 1905 года, то есть опять наступает если не революция, то приятная имитация её, а значит у Прогрессивного блока и у крайне левых снова общие задачи и единый враг.

(Мечта и постоянная тяга кадетов – заслужить доверие социал-демократии).

Но эта высшая точка успеха была всё-таки вне Думы – а что-то же надо было делать в Думе, собираясь весь ноябрь, полдекабря, полфевраля? Прогрессивный блок должен был не устать произносить:

Новиков 2-й: Страна находится во власти безумцев, изменников и ренегатов.

Аджемов: Первым делом будущего правительства будет – *посадить на скамью подсудимых* предательски действующее нынешнее правительство. Предел перейдён, и остаётся стране самой себя спасать. В решительную минуту Дума будет с народом, а народ пощады не даст!

Шидловский: Правительство очутилось в положении травмированного зверя, и настолько ослабело, что если бы вдруг у Блока появилось бы искреннее желание из-за тяжёлых обстоятельств времени пойти на компромисс, то даже не знаем, с кем мы должны были бы пойти на компромисс, нет лиц, нет людей.

Милюков: В этот момент, когда мы стоим на мировом распутье и решаем судьбу многих поколений... Страна боится остаться хоть на минуту с правительством без Думы, и потому так тревожно просит нас не расходиться...

Это верно: в кофейнях, в театральных антрактах, в 1-м и 2-м классах поездов более всего обсуждают последние речи депутатов, ими живут. Однако, хотя свершилось то, чего мы хотели и к чему стремились: страна признала нас своими вождями,

испытывали кадеты заминку, и даже растерянность внутреннюю: что же правильно делать? как использовать Думу и своё лидерство в ней?

Естественно было: по каждому возникающему вопросу противоборствовать правительству. Самая большая победа тут была одержана, когда дружно потопили министерство народного здоровья – уже созданное министерство, уже назначенного министра, начавшего деятельность, но без согласия Думы, – и за это отменили его со всеми его антиэпидемическими и санитарными мероприятиями – назло правительству! Ещё сорвали проект ввести обязательную трудовую повинность, хотя бы в прифронтовой полосе:

Принудительный труд? Полицейские меры? Позор! Долой! или бездействующих беженцев обязать к работе:

Для беженцев вводят крепостное право!?

Уж тем более бурно протестовали и сорвали проект милитаризации оборонных заводов – то есть лишить рабочих права бастовать, увольняться (зато и кормить на заводе): уж это тем более крепостное право и солдатчина для пролетариата! Эта мера – для удушения революционного движения!

Хуже получилось с германскими мирными предложениями. После энергичного осеннего наступления на Балканах, заняв Бухарест, взяв румынскую нефть, пол-Румынии, и только что объявив независимость Польши, в конце ноября, в свой лучший момент, Германия предложила союзникам немедленные мирные переговоры. Эффектен был шаг и прекрасно составлена нота (для свободного развития всех народов, в случае отказа – вина на союзниках), ликовала левая часть рейхстага и берлинские жители. И нейтральные Соединённые Штаты поддержали германское

предложение. Оживлённые толки о мире захватили все столицы Европы. Стрелка войны дрогнула. Простые, даже прогрессивные, люди по слабости хотели мира, облегчения, и вот стали надеяться на переговоры. Прогрессивный блок был, разумеется, против мира, за войну до победы в единении с нашими славными союзниками. Но хотя в то время и длилась думская сессия, Блок не спроворился отозваться немедленно, да и был как раз момент острой борьбы против правительства, – а изменнические круги правительства и династии, только и мечтавшие о сепаратном мире, как это достоверно знал Миллюков, – отозвались ранее всех, даже союзников. Ещё в Лондоне и Париже выискивали искусные отказы, как 12 декабря был оглашён приказ русского императора по армии:

...Враг ещё не изгнан из захваченных областей. Обладание Царьградом и проливами ещё не обеспечено. Заключить ныне мир значило бы не использовать плодов несказанных трудов ваших, геройские войска и флот.

Ловко! Царь перехватил инициативу – и Думе, вместо того чтоб уничтожительно атаковать правительство, пришлось поплестись в хвосте: разумеется, никаких переговоров, Германия – виновница мировой борьбы.

Миллюков: Во имя скорейшего наступления новой эры мы не хотим мира вничью, мы не хотим мира без победы, с новой мировой войной в перспективе. Преждевременный мир был бы только коротким перемирием.

Родзянко: С согласия союзников принципы владения проливами и Царьградом... Народная совесть не простила бы себе минутной слабости.

И пришлось опять выслушивать слева:

Керенский: Три года провозглашая с этой кафедры «победу во что бы то ни стало» – с какими результатами идёте вы на последний суд истории?... Я категорически заявляю, что мы, демократическая Россия, совершенно не согласны и протестуем против того содержания и тона, который был принят в вашем ответе на ноту Вильсона. (Справа: «Ты – помощник Вильгельма!») Пусть и русская власть сформулирует не фантастические требования, а минимальные. Я утверждаю, что провозглашение безграничных завоевательных тенденций не встречало и не может встретить поддержки в народе. (Шингарёв: «Неверно!»)

Неверно! Кадетское сердце знает: народ хочет умирать и побеждать!

Возникали и другие деликатные положения, где Прогрессивный блок не мог проявить разоблачительного гнева: всякий раз, когда выплывал вопрос о промышленном капитале и банках. Звучал в Думе одинокий голос священника Околовича:

Есть вампир, который овладел Россией. Своими отвратительными губами он высасывает кровь из народно-хозяйственного организма, крепко держит голову, мешает работать мысли. Это – банки: Азово-Донской, Петроградский международный, Петроградский учётно-ссудный, Сибирский торговый... Банки финансируют не войну, а дороговизну. Они стали собственниками многих заводов. Они задерживают сахарные отправления в Петроград. Они закупают продукцию и не направляют её в места спроса и голода. Идёт азартная биржевая игра вокруг овса. Банки поставили коммерческие интересы выше родины. Всё хозяйство страны – под надзором, а банки – не под надзором.

Но Дума, не слыша, миновала такой голос. Банки – сила, замахиваться на них нельзя. Надзор за банками предлагал Шингарёв весной 1916, Прогрессивный блок отклонил. При недостатках подвоза, перебоях топлива, банки стали извлекать свои капиталы из торгово-промышленных предприятий, оптовики сокращали свою деятельность, – оттого закрывались многие лавки, исчезали предметы первой необходимости, – но для публики оставалось виновато правительство, и лучше нельзя было придумать.

Между широкими валов крупных вопросов выныривали во множестве и

некрупные, иногда не желанные и, мелькнув своей спинкой, тонули. То члена Думы поляка Лэмпицкого, публично выступавшего против России на территории, оккупированной немцами, долго не решались исключить как изменника (это противоречило бы левому и польскому ветру), обсуждали полный день и наконец исключили... за непосещение думских занятий. (А депутатов-большевиков, лишённых всех прав состояния и сосланных, вообще никогда не исключали). То своим чередом подползали из многолетних думских залежей: законопроект о всеобщем школьном обучении. Законопроект о волостном земстве, давний-предавний вопрос русского развития, затянутый, замедленный, как всё важное на Руси: исполнилось 55 лет тщетным попыткам определить и создать волостное земство, 11 лет – усилиям провести его через законодательные палаты, – и вот в третью военную бесхлебную зиму, за три месяца до революции, в декабре 1916, волостное земство вдвигается в думские прения.

Проект создать всеобщую волость родился даже прежде 1861, ещё когда только обсуждали крестьянскую реформу: крестьянство, только что вышедшее из крепости, привыкшее беспрекословно повиноваться любой власти, не отстоит себя от государственной бюрократии; да и обособление помещиков углубит их рознь с крестьянством; хорошо бы объединить их во всеобщее земство, чтоб они вместе осознали и отстаивали интересы земли. И государство перестанет быть для крестьянина пригнетением.

Но не было сделано так. Своему утоплению в крестьянстве сопротивлялись многие помещики (те, кто не шли в уездное земство). Не сочувствовала проекту и радикальная интеллигенция 70-х-80-х годов: узкие волостные интересы отвлекут от широких горизонтов, местное самоуправление только свяжет общее развитие демократии (безбрежное сладкое море политики). И теперь

Стемпковский (воронежский помещик): Мы – не граждане, объединённые одною мыслью, но – хозяин и работник, но – начальник и подчинённый. У нас не было места, где мы могли бы сойтись и поговорить о будущих нуждах, где бы наши интересы сливались воедино. Мы сталкивались всегда при обстановке, не располагавшей восстановить единство и добрый мир. И даже расходов волости не берём на себя, сколько раз признавая, что так несправедливо.

И сверх земских сборов собираются с крестьян мирские средства, а могли бы доплачивать помещики.

С давних пор томится уездное земство: так близки к населению – и так удалены. Как сблизиться? Вечный спор: начинать ли сразу с развития гражданского сознания скудоимущих и неграмотных? или – сперва грамотность, потом – улучшение экономического быта, тогда у них появится досуг, тогда и реформы?

Разразился голод 1891, и яснее зинула эта пропасть: не было волостного земства, которое знало бы, кого кормить, кому ссуду давать. Да даже и несведущие благотворители не допускались к голодающему населению помимо земского начальника.

А между тем немногие крестьянские гласные в уездном земстве хорошо оправдали себя: они ярко понимали своё положение, права, интересы, высказывали отчётливые мысли о нуждах и задачах.

Ещё во 2-ю Думу Столыпин внёс проект волостного земства, равного для всех сословий. Через 10 лет вынужден был признать даже

Керенский: Отдаю дань его памяти. Он смело, честно и открыто отказался от курьезной системы в земстве, сказал, что это – факел вражды, который вносится в местную земскую жизнь.

Но в Думах проект загряз надолго.

В крестьянской и христианской России четырём Государственным Думами образованного класса ни один крестьянский закон или христианский вопрос никогда

не казался ни спешным, ни важным. И если какие из них они всё-таки иногда проводили, то только если это означало явное торжество над правительством. Так они 8 лет квасили в комиссиях вопрос о крестьянском равноправии – и не дали. Законопроект же о волостном земстве в мае 1911 Дума передала в Государственный Совет. Там – извращали статьи, увеличивали административные полицейские функции земства, потом – отклонили проект целиком. В августе 1915 4-я Дума выхватила снова проект 3-й, внесла его, но это было перед её роспуском, да и внесено скорей всего напоказ. Проект снова выплыл в марте 1916, в думской комиссии, со спешкою и очень несовершенный. Однако: время ли затевать волостное земство, когда идёт война?

Шингарёв, горячо: да, да! И хотя бы общих надежд не оправдало, но для войны-то оно и понадобится! Во время войны все опасности и опасней. Вот придумываем разные местные комитеты по продовольствию – а было бы у нас волостное земство? – через него и учёт запасов, и закупка хлеба, и распределение товаров, и использование беженцев, военнопленных... Сколько лет ещё протянется война? – никто не знает, не поздно строить волостное земство и теперь. Оно предохранит нас от анархии.

Правые. Это – и не успеется до конца войны. И сейчас нет людей на местах. Первый состав гласных будет случаен, и от этого криво пойдёт всё направление деятельности. Да вообще, даже в уезде с трудом собирают полезных земских деятелей, где же набраться в волостное земство? При неразвитости нынешнего крестьянства преобладание его в земстве будет номинальным, а неограниченно будет господствовать третий элемент (служащие земского аппарата). И попадёт земское хозяйство в руки лиц, ничем с землёю не связанных. Если не бюрократия, так поработит деревню город. Слишком поспешно устраняются земские начальники, а среди них много развитых и в курсе дела. Проект предусматривает защиту интересов города, казны, администрации и полиции – но не духовенства; церковь не будет представлена в этом земстве никак. Да нынешняя волость и слишком мала, чтобы создать жизненный, финансово возможный организм, возникнет больше новых налогов, чем пользы. Если образованный читатель в сем месте пожалуется, что не этого он ждал от главы и, наконец, ему скучно читать о волостном земстве, да и вообще всё об этой Думе, – откроем, что и Думе самой скучны эти прения, а может быть и сама себе она уже скучна. Обсуждается волостное земство, – а по залу свободно ходят, громко разговаривают, больше половины уходят в фойе и в буфет, в зале присутствует порой лишь 150 человек из 440, то и дело нет на месте записавшихся ораторов, и даже Шингарёв оказывается в отсутствии.

Шестидесяти лет оказалось мало проекту – он поспешен, сыр, непродуман, его толкает насильственно центр, и критикуют с обоих флангов и просто все, кто взял труд подумать: как же можно проводить такую основательную объемлющую реформу, даже не спрося крестьянского мнения на сходах? На передовых позициях равняет смерть офицера и солдата – как же можно вводить курии в волостное земство? Опирается не на доверие соседей, а на превосходство имущества?

Керенский. У постели умирающего не говорят о житейских делах. Нечего есть в городах, неизвестно, будем ли живы, – а нам предлагают проект волостного земства...

То, что летом 1915 было спорным, теперь становится смешным. Нужно – найти рычаг, чтобы повернуть весь строй государственной жизни! Надо вскрывать гангрену и выпускать гной!

Вдруг – обостряется спор до ярости и, как часто бывает, пока не привыкнешь, сперва непонятно, с чего это?

Городилов (крестьянин): Как это проводить выборы в волостное земство, когда всё население на войне? Оскорбление просто. Волостное земство понадобилось господам прогрессистам, чтобы по окончании войны насадить своих людей, которые наполнят деревню чуть не самым последним элементом. А вот в нынешние волостные правления, чисто-крестьянские, посторонним элементам нет доступа.

Так-то нам безопасней. Поправка трудовиков:

Правом быть избранным в волостные земские гласные пользуются лица... без различия веры, национальности и местожительства.

Шингарёв: Как мог быть подписан циркуляр: «на волостные сходы посторонних лиц не допускать». Кто же – посторонние в Российской империи? *кого* нельзя пускать?

И наконец прорывается пламенем – подразумеваемое, спорящим ясное, клокочущее и жгучее: да – беженцев! и – евреев, что ж вы их нам – равноправными членами земства? деревней нашей управлять? а на земле они работать – будут?

И таким же неугасимым огнём такие же горячие языки взлизывают на трибуну:

А иначе будет нарушено правосознание общечеловеческое и народное! Угнетая еврея, вы даёте козырь Германии: где же борется Россия за права народностей?

Керенский: Вы откровенно, как на конюшне, показываете свою настоящую сущность? Перед всем миром показываете, что Россия продолжает национальную травлю? Вот вы и есть настоящие пораженцы, подрываете дело союзников.

(«Пораженцы» – ещё не стало похвалой или гордым самозаявлением, в Думе это – брань, и Керенский силится отшвырнуть направо этот укор, постоянно виснувший над левыми).

В Думу поступает 750 законопроектов в год. Их масштаб:

- об увеличении окладов квартирных денег присяжным счётчикам казначейств;
- об установлении должности уездных фельдшеров при вторых уездных врачах;
- об учреждении областного рыболовного съезда в Области Войска Донского...

К декабрю 1916 накопилось 1200 таких нерассмотренных законов, из них 1100 утонуло в думских многолюдных, неработоспособных комиссиях. Дума называла эти законы вермишелью, и обычно всю долготу своей сессии не занималась ею, предпочитая декларативные речи против правительства. Вермишель выбрасывалась на кафедру в последние дни, когда уже все разъезжаются.

Маклаков: За границей законы короче наших, пишутся просто, ибо нет такой централизации, а доверяют местам. Лишь создаются нужные учреждения и указываются им цели и пути, директивы от парламента. Там дорожат вниманием парламента, призывают его лишь к важным началам закона, остальное делает правительство. И мы тоже могли бы так – если могли бы верить правительству. Или хотя бы контролировать его. Мы же берём на себя груз, который может нас задавить.

В этой Думе (как, впрочем, и во всех парламентах) – чем правее, тем позорнее перед обществом, тем связанней в доводах. Что б ни говорили правые, – нет им ни веры, ни поддержки, ни даже простого уважения. Их легко подавляют голосованием, или замечаниями председателя, или просто – криками с мест, ибо левых глоток много больше: «присяжные защитники правительства!». Им почти не дают говорить, прерывают, нелегко продляют время выступления, а чаще обрезают прения, чтоб не дать им выступить вовсе, в пулемётном порядке проводят резолюции против них.

Мы, русские националисты... (Слева: «Прусские!» Смех).

...Ораторам не из Блока нельзя говорить с этой кафедры, вы их постоянно прерываете...

Думское большинство постоянно пренебрегает своим правым меньшинством. Молодому русскому парламенту доступна идея голосования и совсем чужда и странна идея согласования, на которой строилось древнерусское соборное понимание.

И это всё – не главное, отчего трудно в Думе правым. Им тяжело оттого, что они верны династии, которая потеряла верность сама себе, когда самодержец как бы околдован внутренним бессилием, им тяжело оттого, что они должны подпирать столп, который сам заколебался. Но – какой же путь показать, когда шатаются колонны принципов и качается свод династии? Самодержавие – без самодержца!... Правые – рассеяны, растеряны, обессилены. Если уж и верные люди не нужны Государю?... Если сама Верховная власть забыла о правых и покинула их?... Сдаться? Безропотно

уступить власть кадетам? Так ведь не удержат, всё дальше и дальше будут передавать её налево. Переубеждать?

Левашов: Большинство ораторов, пренебрегая насущнейшими нуждами страны, посвящает свои речи озлобленным нападкам на власть, сведению партийных счётов. Очень может быть, что левые группы стремятся узурпировать власть в пользу своих повелителей, враждебных всему русскому.

А ещё: каждый шестой депутат Думы – крестьянин. (Побоялось правительство дать всеобщее равное право деревне, само себя лишило правого большинства в Думе – уж эти бы серые «аграрии» не допустили бы хлебной петли осенью 1916). Крестьяне – смиренно сидят, боясь развязных насмешек, выступают редко и кратко, стеснённо, то с доверчивой умиленностью:

Третий год кровавой войны мы всё отдаём, братьев и сыновей. Помогите вам, Господи, разбить дерзких и кровавых врагов... А гвоздь повышен 20-30 рублей за пуд...,

то с корявостью речи:

Злоупотребляют нашему целому войску... Какое внушение идёт для народа..., вызывая только улыбки своими неукатанными, несостроенными речами. Они годами не могут привыкнуть к дерзким порядкам этих образованных господ в Думе – к облаиванию и обрёвыванию, какие неприличны были бы на сельских сходах. Или тому, что в ладоши хлопают не по согласию с речью, а – если *свой* говорит. А коль и верно, да не свой – так чаще молчат. Депутатам-крестьянам надо несколько лет отереться тут, чтобы приобвыкнуть, что это и есть Государственная Дума. В 1912 депутат Снежков предложил дисциплинарный товарищеский совет – благотворно влиять на думские нравы. Но его поддержали только депутаты-крестьяне, а из господ – Маклаков и с ним двое-трое. Так и не собрались.

И как же эту Думу вести благообразно и успешно? Задача Родзянки, беспокойнейшего из председателей. Вот уж он не бездействует! Как бы ни были тучи сгущены, всякую новую сессию и подсессию открыть достойно:

Исполнены решимости не дать врагу поработить Святую Русь! -

и бурные приветствия союзным дипломатам. Распускают ли Думу (3 сентября 1915) – склонить её всё же кричать

– Ура-а-а-а!

Государю императору. Ожидают ли перерыва (декабрь 1916) -

Приглашаю Государственную Думу стоя выслушать Высочайший ответ на принесённое Государю императору поздравление к тезоименитству. Ура-а-а-а!

Положение России – очень сложное, только и обозримое с председательского места. Иногда – пойти на секретное заседание бюро Блока, иногда – не отказаться и вместе с правыми поехать на обед к Штюмеру. То – скрыть от Думы неприятные бумаги, то – вступить лично и непосредственно с Францией в переговоры об аэропланах, обойдя и все министерства и Верховное Главнокомандование. Но напряжённее всего и болезненнее всего – добиваться аудиенций у Государя, всякий раз трепеща получить или отказ, или холодный приём, или испытать унижение: быть вычеркнутым царицей из списка приглашённых к высочайшему завтраку, или в правительственном поезде получить самое неудобное отделение. А попав на приём к Государю, выдержать единственно верное поведение между воплощённым достоинством Государственной Думы, душевной преданностью своему монарху – и отеческим вразумлением, как тому надо поступать.

Вся царская фамилия с трепетом ожидала моего доклада. При своей независимости всё же обласканный приятным придворным званием шталмейстера, радоваться Анне 1-й степени – не Председателю, нет,

в воздаяние особых трудов и заслуг в должности почётного попечителя Новомосковской гимназии,

и тут же понимать, как это роняет его в глазах Думы («продался за орден», и это после разгона её), ну да ведь и любим же ею неизменно! – и всё же решиться пригласить Государя в Думу на молебен, и убедить приехать, и всё хорошо. И вдруг осенью 1916 разносится слух – для самого неожиданно, неведомо откуда поднявшийся, но сладко и властно охватывающий слух: премьером и министром иностранных дел будет РОДЗЯНКО!!! Ещё никем официально не предложено, ещё не спущено это милостивое слово свысока, – а ведь уже надо обдумать условия, достойные великого человека: императрицу – в Ливадию, пост принимается не менее, как на три года, министры – по собственному выбору, Поливанов вместо генерала Алексеева, а великих князей – снять с военных должностей. Увы, этого ультиматума никогда не услышит Россия: слух так и остался слухом.

И снова вносить себя по дубовым ступенькам на высшую кафедру Думы, и запорожским басом лениво отводить:

Председатель сам знает, не вступайте в пререкания...;

в опасные дни, избегая скандала, окружать себя думскими приставами (они многие с головами стриженными и крупными физиономиями под своего Председателя), а в трагический день, когда грубиян Марков 2-й, размахивая руками и грозя кулаком, подымет на Председателя, видимо драться, – оказаться без реальной обороны кроме графа Бобринского, схватившегося за графин, вся другая помощь опоздает.

Прискорбный этот эпизод произошёл после того, правда, как полнобрю думское большинство поносило и всё правительство вместе и отдельно по министрам, а Родзянко возражал, может, и слишком бережно (но не ссориться ж ему с большинством!):

Покорнейше прошу господ членов Думы несколько менее часто перебивать оратора...

Чхенкели: Один выход – революция!

Родзянко: Призываю вас к порядку за подобное выражение, но дал договорить, а Маркова 2-го, за ответ «не кричите!», – удалил с кафедры. И этот необузданный депутат подошёл к Родзянке и объявил ему громко вслух:

– Болван! Мерзавец!

Родзянко: Член Государственной Думы Марков 2-й позволил себе такое оскорбление вашему Председателю, которого в анналах Государственной Думы ещё не имеется. (Шум. Голоса: «Какое?») Но я не могу... (Шум). Но ввиду этого обстоятельства я попрошу моего Товарища предложить ту меру возмездия...

В. Бобринский: За невероятно тяжёлое оскорбление Председателя Государственной Думы (Голоса: «Какое?»)... я не повторю этого выражения...

Марков исключается на 15 заседаний – предел, даваемый уставом. Но, по уставу же, виновному дозволяется объяснение поступка, и Марков 2-й успевает объявить:

С этой кафедры осмелились оскорблять высоких лиц безнаказанно. Я в лице вашего председателя, пристрастного и непорядочного, оскорбил вас!

Всё же этот эпизод окончился к вящей славе Родзянки: и аплодисменты Прогрессивного блока, и сочувственные телеграммы от земских и дворянских собраний, городских дум, выборы почётным членом совета профессоров Петроградского университета и орден Почётного Легиона от президента Франции!

Руководство Думою сложней симфонического дирижёрства, тут надо много предвидеть, менять тоны, приёмы, виды голосований – по запискам, с проходом в двое дверей, подъёмом рук или без подсчёта, дозировку выступлений, продление или непродление, умелое откладывание запроса или острое введение его (любым левым запросом на добрые сутки прерывается равномерное законодательное обсуждение).

Тем более важно не ошибиться при открытии напряжённо-ожидаемой сессии после вынужденного перерыва, как 14 февраля. Тем обиднее, что выступлением Риттиха отодвинута центральная речь Милюкова, – и он произносит её на другой день

при неполном зале, даже без кворума депутатов, увы, уже без торжественного стечения публики.

Милюков: Несколько вялый тон прений и не особенно внимательное отношение слушателей...

Мы, законодательные учреждения, разорвали с правительством. Там (указывая на ложу правительства) нет никого, кроме вот этих бледных теней. (Рукоплескания. Аджемов: «Там всякая дрянь!») Министры не относятся к числу знающих людей... Страна далеко опередила своё правительство... Зрелище, глубоко оскорбительное для великого народа... Будет ли с пути народа сброшено это позорное и досадное препятствие?... Господа, в патриотической тревоге, которою полны ваши собственные сердца, не в молчании, не в примирении я вижу наше спасенье. Вы, которые знаете больше, чем я могу сказать с этой кафедры, вы знаете, что тревога эта основательна. И если в самом деле укрепится в стране мысль, что с *этим* правительством Россия победить не может, то она победит *вопреки* своему правительству, но победит!

(Крупнейшим знатоком внешней политики это было сказано 15 февраля. Уже Соединённые Штаты явно входили в войну, и победа союзников рисовалась едва ли не автоматической. Почему же могло казаться так Милюкову да и всем почти? Гипноз желанного. Конечно, отплывя по реке истории, узнав берега и промерив дно, легко критиковать. Теперь-то, за всё расплатясь, мы знаем, что обстояло как раз обратное тому, как сказал Милюков: с этим правительством Россия уже неизбежно победила бы, вопреки же ему она проиграла войну).

Но, чтобы гром не разразился в той форме, которой мы не желаем, мы должны предупредить удар.

Это – очень милюковское: когда в спину жмут – благоразумно опинаться.

Из глубин России несутся надежды к нам. Это мы должны, не довольствуясь речами, совершить какое-то необычное и особенное действие... «Все речи уже произнесены, действуйте смело!» – говорят нам со всех сторон. Эти надежды нас глубоко трогают, но и несколько смущают. Ведь наше слово уже есть наше дело. Но, рисуя самые мрачные картины настоящего, мы имеем возможность не делать из них того безотрадного вывода, который напрашивается и против которого я вас настойчиво предостерегаю.

Это – требует мужества, когда слева социал-демократы жёлчно поливают:

Как, господа, можно назвать вашу тактику? Вы продолжаете твердить, что готовы бороться лишь *законными средствами* с властью, которая ведёт страну к гибели! Это – хуже, чем всякое поражение!... Вы же говорите, что эта власть изменяет стране?

О, этот левый ветер, как он больно режет лицо! И ведь правда, ответить нечего. Заслоняются, тупятся, переминаются кадеты:

Очень прискорбно, когда между нами и нашими товарищами слева появляются разногласия, к радости тёмных сил.

Внутренняя слабость кадетов в том, что, беспощадные в критике, они не могут дать увлекательной программы: чаще – не имеют её, иные пункты скупятся высказать, чтобы правительство не перехватило себе. Ну, разве что

Милюков: Освободите этот народ от лишних стражников и полиции. Пожелание народа: возьмите полицию на фронт! Почему эти упитанные остаются неприкосновенными?

А то – лишь одно, лишь одно повторяют они, и в этом главная их программа:

Родичев: Когда там (указывает на ложу правительства) будут сидеть люди, заслужившие народную веру, люди, самые имена которых говорили бы стране: *жди и веруй*, ибо эти люди сделают своё дело или погибнут...

Лишь бы власть ушла, мы заступим – и всё пойдёт. А может быть – и придумать ничего было невозможно, тупиковое положение. Вот – прогрессисты, давшие Блоку

название, сидящие правой кадетов, а думающие даже левой:

Ефремов: В ноябре страна вознесла престиж Думы на недостигаемую высоту, – но прошло три месяца, и начинает терять веру в её могущество. Страна накалена недовольством, а близорукая упорная власть как будто нарочно наталкивает её на страшный вывод о невозможности парламентскими средствами борьбы...

И что другое, правда, предложишь, кроме правительства доверия:

Такое правительство может совершить чудеса: его вдохновляет народная душа, с ним будет творить и работать весь народ.

(Скоро, на Временном правительстве, мы это и проверим).

Опережая лидеров Блока, на завоевание новой популярности ринулся

Керенский: *Кто же те*, кто приводит сюда эти тени (указывая на места правительства).

И дальше – о *тех*, выше правительства. Он и осенью уже так заводил, а теперь-то! Он верно сообразил, что поношение правительства – уже не ораторское достижение, пришла пора поносить трон. И верно сообразил, что в Думе уже всё можно. И верно сообразил, что Родзянко не посмеет выдать его. (Премьер князь Голицын запросит стенограмму – Родзянко ответит, что ничего предосудительного там не было). Все опасные места – а их насчитается 6 за часовую речь – будут изъяты. А уже такое умеренно мягкое место:

С нарушителями закона

(то есть с правительством)

есть только один путь – физического их устранения! (Слева рукоплескания, «Верно!») –

даже и в стенограмме не сокращено. И упиваясь достигнутым уровнем смелости и ожидаемым восторгом страны, парламентарий объявляет, что до сих пор лишь подразумевалось, а теперь пусть растекается в гектографических листках:

Я, господа, свободно могу говорить, потому что вы знаете: я по политическим своим личным убеждениям разделяю мнение партии, которая

(теперь можно признаться: не трудовик – а тайный эсер!)

на своём знамени ставила открыто возможность террора... к партии, которая признавала необходимость тираноубийств.

Председательствующий Некрасов (Родзянко перед такими опасными речами всегда куда-то исчезает):

Член Государственной Думы Керенский. Изложением своей программы не дайте основание утверждать, что в Государственной Думе могут раздаваться приглашения к чему-либо подобному.

Но если крикнут с места увлечённому Керенскому:

– Говорите от себя!

Председательствующий на его защите:

– Прошу не перебивать оратора.

И после такой зажигательной речи кто ж будет слушать унылые уговоры правого? -

Левашов: Кучка бессердечных честолюбцев старается использовать затруднительное положение родины, чтоб незаконно захватить власть над ней, не дать правительству сосредоточиться на сокрушении могучего неприятеля... Песни еврейской печати, истерические выкрики думских ораторов, что теперешнее правительство не может вести Россию к победе...

Ведь ещё подбавит независимый казак

Караулов: Если вы имеете дело с собеседниками, которым хоть кол на голове теши, то самое лучшее с ними не говорить. Поэтому я не буду делать никаких обращений к правительству.

И ещё социал-демократ

Скобелев: Не только к правительству и не только к *центральной фигуре*, которая дёргает этих марионеток. (Председательствующий не мешает). Много накопилось, что может предъявить рабочий класс к теперешней власти. Или эта власть с её приспешниками будет сметена – или Россия погибнет. (Рукоплескания слева. Председательствующий не возражает).

Когда партии, парламентские фракции, газеты и ораторы привыкают, что общество и студенчество аплодируют им, жадно следят за ними, – они, того не замечая, втягиваются в соревновательную игру: каждый следующий оратор и журналист, каждое следующее заявление и резолюция рассчитаны вызвать удивление, восторг и поддержку – сильнее, а хотя б не слабее, чем предыдущие, – такова инерция этой игры. А чтоб этого достичь – мало просто таланта говорения, писания, быстрой сообразительности: этого постоянного подъёма и нагрева общественной поддержки можно достичь, только если пользоваться подбодряющим рядом фактов и пренебрегать удручающим рядом их. Рост голоса и рост успеха невозможны, если эти ряды честно и взвешенно сопоставлять. Так эта общественно-парламентско-газетная игра (мы наблюдаем её накануне русской революции, но усталым зрением часто видим на сегодняшнем Западе) становится увлечённым обманым шествием, карнавалом перед тем как опрокинуться, глаз и нога перестают различать, где ещё твёрдая земля, где – уже зеркальное призрачное отражение.

В последнюю неделю русской Государственной Думы это соревнование достигает отчаянной надрывности. Ни одно обсуждение – ни о волостном земстве, ни о транспорте, топливе, ни о продовольствии – не доводится до конца, но прерывается каким-нибудь истерическим спешным запросом, а тот сшибается и заталкивается новыми и новыми запросами и вопросами, также не доводимыми ни до какого решения, один запрос острее другого, повестка дня разладилась, ораторы, сбивая единое течение, выступают каждый, о чём их жжёт.

Крупный текстильщик, не знающий этих твёрдых цен на свой ситец, революционнейший деятель Прогрессивного блока Коновалов, с золотым пенсне на длинном шнурке, выступает с запросом о незаконных административных действиях против профсоюзов и аресте Рабочей группы, с длиннейшей речью:

Безответственность власти... Презреннейшее политиканство власти... Умственное убожество носителей своеволия... Протопопов как жалкий трус... Все пришли к убеждению, сами камни заговорили, что больше так жить и управлять нельзя...

Но главное – он обещал с трибуны возгласить:

Представитель рабочих Фёдоров-Девяткин высказал следующие мысли...

И подолгу читает, что высказывал Фёдоров-Девяткин. На том час и больше.

Тут место выскочить и Чхеидзе, на то его неприкосновенное право, слушайте, хоть очами повылазьте. Самое время напомнить о сосланных в 1907 социал-демократических депутатах 2-й Думы – и почему Дума не хлопочет о них?

Вокруг старого режима осталась лишь кучка холопов. Такая власть, как наша, только и может держаться провокацией, у неё других корней в жизни нет. Мы неоднократно предлагали вам поставить вопрос о провокационной деятельности правительства, ещё при Столыпине. Не наступает ли, господа, момент, когда внешняя война благодаря этой власти будет превращена, господа, именно в *гражданскую* войну? И я предлагаю вам, господа, иметь в виду эти перспективы!

(И за что уж Ленин так беспощадно поносил этого милого Чхеидзе?)

А тут опять подоспевает неутомимый быстроголосый Керенский с вёрткою головой:

Думское большинство всегда неохотно защищает трудящихся, ибо классово едино с правительством. Мой товарищ Чхеидзе говорил вам: смотрите! война внешняя превратится в войну гражданскую. И если вы – со страной, то вы должны перейти от

слов к делу сейчас!

А ещё же – запрос об устранении от заседаний прогрессивных членов Государственного Совета.

А ещё же – запрос о закрытии Путиловского завода – и, конечно, опять

Керенский: Я слишком волнуюсь в настоящий момент, чтобы говорить о темах, которых следовало бы коснуться. Но ведь это уже – состояние, когда почти нельзя управлять.

И – вот им, прогрессивному большинству:

Вы не боретесь за то, чтобы власть безумная не губила государства.

Надо спешить отвечать, спасая кадетскую честь.

Шингарёв: Очень много горькой правды... Безумная власть... Мы должны потребовать, чтоб она, наконец, или сумела справиться с делом или убиралась бы вон из государства! (Бурные продолжительные рукоплескания слева и в центре).

А что до путиловской забастовки, ну

мастера побили там, вывезли что ли его на тачке, я не знаю.

Шульгин: Какие рабочие, за что и почему уволены на Путиловском – никто из нас понятия не имеет. При таких условиях вмешиваться в жизнь завода, руководимого военными властями...

Родзянко суетливо и сбивчиво проголосовывает предложение Керенского принять обратно всех уволенных рабочих.

Чем далее отмалчивается правительство, тем смелее депутаты. Правительство честят в тех словах, как будто его уже и нет в России. В успешной новой роли любимца общества не устаёт выламываться и Пуришкевич, в последние месяцы совершивший сенсационный перескок из крайне правых едва ли не в кадеты и безнаказанный за убийство. Трибуна не остаётся пустой, и ораторы переполнены нарастающим избытком чувств и слов. Уже торжествует с трибуны Скобелев, что на петроградских улицах – волнения и отбирают трамвайные рукоятки.

Керенский: Мы требуем, чтобы вы, власть, подчинились требованиям страны и ушли с ваших мест!

24 февраля переполняется Дума новым срочным запросом: какие меры предпринимает правительство для урегулирования продовольственного положения в Петрограде? Как пропустить такой прекрасный повод для раздирающих речей? То шёл – продовольственный вопрос вообще в России, почти академический, его можно было и покинуть. Теперь – жизненный: тут, у нас, в Петрограде!

Шингарёв. Несмотря на пожелание Государственной Думы, в Петрограде продовольствием занимается градоначальник Балк, его уполномоченный Вейс. Петроградская городская дума ещё с ноября требовала себе права внеочередной закупки и перевозки хлеба (ведь им нужнее всех!) – и не получила. В феврале постановила – карточную систему, фунт на человека (от этих-то слухов и начались все петроградские хлебные волнения) – а уполномоченный не соглашается. Но если он заявляет, что хлеба в Петрограде на 20 дней – то где же этот хлеб? (В лавках хлеба хватает до 5 вечера, а вечером приходится ездить в другие районы).

Подан запрос – пусть начинается исправление? (Да знают лидеры кадетов, что через 2 часа на совещании Родзянки с правительством всё решится полюбовно, в самом благоприятном смысле). О нет, теперь-то и повод осветить политические аспекты и разжечь страсти!

Родичев: Роковое развитие событий, наступило наконец

(тут есть и радость! желанная музыка!)

то, против чего мы два с половиной года предостерегаем. Власть, которая в минуту народного бедствия не хочет собирать Государственную Думу, – ведёт народ к гибели. Негодность и преступность избранного пути... Они сами пришли к сознанию, как к ним относится русский народ, и несмотря на это остаются на своих местах. Мы

переживаем тот двенадцатый час, после которого нет спасения! Правительство, в котором министра не отличишь от мошенника, – и все они назначены влиянием, которое мы не можем не назвать изменническим. (Слева рукоплескания: «Верно!») И вот, господа, настала последняя минута, когда эта власть измены может прекратиться. Это им – казнь, достойная дел, которые они совершили. Именем голодного народа мы требуем власти, достойной судеб великого народа! – призвать людей, которым вся Россия может верить!

А теперь как же обойтись без Чхеидзе? Сколько ни выступай – ведь хочется ещё рассчитаться, ещё поклевать.

Чхеидзе: Игнорирование улицы – это свойство правительства и многих из вас. Но как быстро ни стоял вопрос, всё-таки надо в корень посмотреть. Основная причина – мировая катастрофа, пора задуматься об этом серьезно. Правительство? Да, в первую очередь оно виновато. Но, господа, не виноваты ли и те, кто долго шли в единении с ним? Я вас спрашиваю, отвечайте беспристрастно, – с тем правительством, которое было изменническим, и вы это знали. Это правительство никакого внешнего врага не признаёт, никаких народных благ не преследует, оно защищает свою собственную шкуру!

И – длинно об этом, десятикратно подробно, с размазыванием, с обильным напоминанием, что он сам и его фракция всегда были правы, всегда это знали и предсказывали.

Какое ж разрешение продовольственного вопроса? Упразднение этого правительства и этой системы!

(Самый обыкновенный лозунг для Думы, к нему уже привыкли).

Наша фракция заявляет Государственной Думе, – сейчас у меня под руками этого заявления нет, – помимо коренного изменения политического строя чтобы дали массе возможность организовать...

А наготове, рвётся, со вчерашнего дня не выступал

Керенский: Вчера мы говорили с этой трибуны, и никто в России не узнал. Даже заголовок о Путиловском заводе вычеркнут. (Справа: «А в Германии знают, Керенский скажет»). Все призывы бессмысленны. Кроме слов, что мы здесь говорим, не настало ли время превратить их в действие? Я не раз формулировал и говорил о причине всех причин несчастий, которые мы переживаем. Но, господа,

отдать ему справедливость, он способен опоминаться быстрее с-д и даже к-д, когда мы уже вступили в период развала, катастрофы и анархии, когда разум страны гаснет, её захватывают стихии голода и ненависти, тогда я не могу повторить с этой кафедры то, что сказал депутат Родичев: настал двенадцатый час, сегодня или никогда. *Остерегайтесь слов*, если вы сами не хотите превратить их в дело. Слишком ярка перед нами картина гибели государства. Будьте осторожны, не трогайте этой массы, настроения которой вы не понимаете. Как мы были правы, когда говорили... – и много о том, как были правы, когда говорили.

Только в народе спасение, и к нему мы сами должны пойти с покаянием (как, впрочем, это известно ещё с XIX века). Вдруг появляется на кафедре священник Крылов. Под свежим впечатлением, что видел сейчас на улицах. Громадная масса залила всю Знаменскую площадь, весь Невский и все прилегающие улицы, и – совершенно неожиданно: проходящие полки и казаков провожают криками «ура!». (Караулов на месте заволновался). Один из конных полицейских ударил было женщину нагайкой, но казаки тотчас вступились и прогнали полицию. (Слева – продолжительные рукоплескания, «Браво!» Караулов: «Ура!»)

Да в этом душном закрытом зале просидишь, ничего не увидишь!

Будучи остановлен этой картиной народного воодушевления и патриотизма, я решил перед вами сказать своё честное пастырское слово,

что хлеб в стране есть, изобилие других продуктов, и надо только столкнуться.

Аплодируют левые. Выступает от правых: что всякому русскому человеку больно, когда законодательные учреждения только тем занимаются, что мечут вонючей жидкостью в русское императорское правительство, вместо того чтоб созидать законодательство.

25 февраля на утреннем заседании на последний запрос отвечает всё тот же обязательный, услужливый, быстрый

Риттих. Подход продовольственных грузов к Петрограду очень упал с конца января: движение поездов было на три недели задержано мятелями и тяжёлым угольным кризисом. Тогда-то Риттих и снизил норму Петрограда до 40 вагонов муки. В этой норме и держались более трёх недель. И ржаного хлеба хватало, даже некоторые хлебопекарни заявляли, что – избыток, не разбирают. Отсутствия муки не было, пекарням всё выдавалось по норме. Видимая нехватка началась лишь три дня назад и особенно на Выборгской стороне. По поручению Риттиха уполномоченный объехал тамошние булочные и пекарни и выяснил, что во всех есть запас: от нескольких дней до нескольких недель.

Но произошло нечто необычайное: вдруг появились громадные хвосты и требование именно на чёрный хлеб. И все указывали, что лицо, купившее хлеб в одной лавке, сейчас же переходило и становилось в хвост у другой. Утверждают в один голос, что явилось в населении какое-то беспокойство об отсутствии муки в Петрограде, и на этой почве разыгралась прямо паника: все старались запастись хлебом, чтобы делать из него сухари. Нечто подобное было две недели назад, но довольно скоро прошло, и потом население большими коробами продавало эти сухари.

Теперь же – обычной выпечки стало не хватать, и часть булочных и часть желающих купить ещё – стали оставаться без хлеба. Хотя общепетроградский запас остаётся больше, чем на две недели.

Уже назначены специальные маршрутные поезда в Петроград для пополнения нехватки. Уже вышло 19 поездов, есть поезда по 40 и 50 вагонов, но даже считая по 25 – это идёт двухнедельное количество. Однако, раз у населения нет уверенности, что мука не утекает, надо, чтоб оно ясно знало положение вещей. И теперь правительство согласно

немедленно передать распределение этих продуктов в руки петроградского городского общественного управления. (Шингарёв: «Это надо было раньше!») Такое предположение было ещё два с половиной месяца назад, когда я вступил в должность. Но оно не вкладывалось ни в рамки городского положения, ни в рамки... Теперь, не дожидаясь нового закона, как только петроградская управа организуется хотя бы несколько, чтобы принять это дело, оно немедленно, в тот же день, будет ей передано! Если она может принять сегодня – сегодня же это будет сделано! (Не только ни одного хлопка, но слева: «И кто виноват?»)

Отчитывается кадет Некрасов, который участвовал вчера в чрезвычайном совещании с советом министров. Весьма уверенно и примирительно:

Переживаемый острый кризис – преходящий, в ближайшие дни будет преодолён. Население может быть спокойным за обеспечение продуктами на ближайшее время.

Это так проверено: когда смотришь, как грузчики носят мешки, кажется – да и я бы легко! Но когда начинаешь хоть угол такого мешка перенимать своим плечом, – о, как мозжит он и плющит! Вот – первый уголок государственной тяжести, который дают перенять Прогрессивному блоку. И Некрасов уже оговаривается:

Мы знаем, что в руках общественных самоуправлений не будет многих из тех возможностей, которые были у правительственных органов. Но только тогда мы можем предъявить населению требования терпеть все лишения, когда оно само имеет в руках контроль и наблюдение.

Шингарёв: Вы присутствуете при событиях, подтверждающих старую поговорку – пока гром не грянет... Пока министр никак не мог «уложить в рамки»... Ещё в

ноябре городская дума настаивала на таком праве. 13 февраля городской голова обращался к председателю совета министров, тот сказал, что подумает, – и думал, пока на улицах начались волнения... Однако город может взяться за это дело, если ему будет обеспечен подвоз хлеба. Как может он иначе взять ответственность перед населением Петрограда? Надо заранее оговориться.

(Уже подавливает мешочек).

Быть может, у них теперь одна надежда: мы до этого довели – а спихнём городу? (Слева: «Пусть все подадут в отставку!»)

Ещё выдвигают проворные думцы законодательное предположение (со шпильками, что во всём виновато правительство) – обсудить и принять за три дня. Ну, кажется, схватились за дела и хоть на сегодня закончилось словомолотьё? Как бы не так! А -

Чхеидзе: Посмотрим, что из этого выйдет, то, что сейчас предлагается. На Кавказе продовольственный вопрос стоит острее, чем где бы то ни было. (?) Мы со своей стороны может быть найдём нужным предложить некоторые меры.

Но пока – не находит. А вот что: три дня – слишком долго, надо успеть в два, к понедельнику.

Ну – и Керенский же! Хоть несколько слов, хотя бы присоединиться: скорей! скорей за работу!

Несколько заявлений: прекратить общее заседание, чтобы продовольственная комиссия немедленно начала работу!

Как – а по мотивам голосования? прекращать ли работу заседания – нужны мотивы голосования. Опять-таки

Керенский: Министр земледелия ничего нового нам не сказал.

И потому не надо прений! (Они и не предполагались). А формула перехода (вот к тому, чтобы скорей начать продовольственную работу):

Выслушав объяснения министра земледелия и считая их совершенно неудовлетворительными, Государственная Дума признаёт, что дальнейшее пребывание у власти настоящего совета министров совершенно нетерпимо... Создать правительство, подчинённое контролю всего народа! И – немедленная свобода слова, собраний, организаций, личности...

Обскакал-таки дружка Чхеидзе! Какой же ловкий манёвр! Но – не упущено, наверстать! По мотивам голосования (о прекращении этого заседания) -

Чхеидзе: Я совершенно не желаю возражать против той формулы, которую огласил мой товарищ Керенский. Но я не могу согласиться, что мы ещё раз имели удовольствие выслушать представителя правительства... И поэтому мы не можем отказать себе в некотором, так сказать, праве ещё раз высказаться по тому, что объяснил нам господин министр. Поэтому я предлагаю не откладывать заседания, продолжить обсуждение этого вопроса, выслушать с трибуны ещё раз...

(ещё раз и ещё раз Керенского и Чхеидзе)

и ещё раз зафиксировать в памяти населения то, что нужно сказать. *Потом хватит времени*, я думаю, и для разработки законопроекта о передаче продовольствия общественным комитетам.

Десять минут назад он сам же говорил, что даже до вторника ждать невтерпёж, чтобы к понедельнику сделали всё! – и вот уже – давайте прения хоть на неделю!

Страшно не то, что на трибуну Думы во всякое время может вырваться любой демагог и лопотать любую чушь. Страшно то, что ни выкрика возмущения, ни ропота ниоткуда в думском зале – так ушиблены все и робеют перед левой стороной. Страшно то, что таким ничтожным лопотаньем кончаются 11 лет четырёх Государственных Дум.

В 12 ч. 50 м. Родзянко закрывает заседание.

Это всё – почти сплошь выписано мною из думских стенограмм последних недель русской монархии. Это всё до такой степени лежит на поверхности, что одному удивляюсь: почему никто не показал прежде меня?

Эта Дума никогда более не соберётся.

И я сегодня, прочтя её стенограммы с ноября 1916 насквозь, а ранее многие, многие, так ощущаю: и не жаль.

27

А сегодня от учебной команды волынцев уже не взвод пошёл на Знаменскую площадь, а вся 2-я рота – так, значит, Кирпичникову тем более выпало идти. Вот попадает, уж как бы хотел не пойти.

Сказали: сегодня там будем до двенадцати ночи, горячее пришлют туда. Не допускать народ стекаться на площадь.

Опять сидела рота в подвале дворницкой, а нарядами по очереди патрулировала.

Выезжали, проезжали и казаки взводами, и во всей боевой амуниции. Вид их, и копытный стук на улицах был грозный. И не только у толпы, но и у покладистых солдатских патрулей сердце ребром становилось против этих казачьих проездов. Хотя они и нагаек не вытаскивали, а смирно проезжали вхолостую.

А полиции – в этой толпяной густоте не видно было вдоль Невского, и только стояли коротким строем у вокзала. Мало их.

Вернулся Кирпичников в подвал какой-то притомлённый. Ото всей долгой службы, что ли. На войне – за жизнь берегись, в мирное время – парадными изматывали, а тут вот что придумали – народ гонять.

И опять прибежал в подвал вестовой штабс-капитана – вызывать роту строиться. И тут же прибежали и прапорщики – Воронцов-Вельяминов и Ткачура, по одному на каждую полуроту. За те два года, что не был Кирпичников в Волынском полку (по мобилизации в пехотный полк попал, потом ранен, потом лечился), – тут многих прежних офицеров повыбило, мало кого и встретишь. Эти – новые.

Вылезли наружу. А вид у гвардейцев – шинели не пригнаны, кто и в ботинках, где уж там стойка-выправка.

Построились, но теперь сбоку наискосок, так что толпе с Невского путь к Александрову памятнику оставался открыт. Они и повалили туда с красным флагом. У памятника остановились.

И сперва шапки сняли и пели все «вечную память».

А потом стали выходить оруны, сюда плохо слышно.

Не выдержал один пожилой солдат, ретивый, и из заднего ряда крикнул своему офицеру:

– Ваше благородие! Оратель – речь кую-то говорит!

Кирпичников одёрнул его:

– Замолчи, серенький.

Понимал бы ты, знал бы ты всё...

Прапорщик Вельяминов пошёл просить у капитана разрешения разогнать толпу.

Штабс-капитан Машкин 2-й ничего не ответил. Не приказал.

Кирпичников подумал: а ведь по-хорошему обо всём бы можно с людьми договориться. И Вельяминову:

– Разрешите, ваше благородие, я один схожу к ним.

– Да тебя убьют.

– Да никогда во веки.

Не пустил прапорщик. Пошёл опять сам к штабс-капитану – просить разрешения разогнать.

Ах, беда, опять к худому. Опять: как солдатам быть? Вернулся Вельяминов, и первому взводу:

– На-пле-чо! За мной, шагом марш!

И пошёл, сам отмахивая, отстукивая. А они за ним, вяловато. Он тогда звонко:

– Крепче ногу!

Солдаты ворчат:

– Тут не кузня, ногу держать.

Кирпичников остался с другим взводом. Отсюда не слышно, а видно хорошо: там, у памятника, подняли красную тряпку и растопырили над головами, а на ней: «Долой войну!».

Ошалели, что ли? Как это, долой войну? А немец куда?

Шагов через двадцать скомандовал Вельяминов взводу: «на руку!». Повернул фронтом – и пошли цепью, с винтовками наперевес – прямо на красный флаг.

Подступы памятника – из красного гранита, его от снега очищают. И чёрные людишки на нём.

Вельяминов кинулся вперёд, оторвался от строя – поскользнулся – и упал ничком.

И в него тотчас кинули палкой, в спину угодили.

А «долой войну» меж тем свернули, спрятали.

Толпа тоже робела.

Прапорщик бодро вскочил, подошёл, сорвал красный флаг с древка – и вернулся к солдатскому строю.

Спросил своих солдат – кто его ударил? Отвечали, что не заметили.

Повернул взвод, опять «на плечо» – и вернулся сюда, к роте.

Едва построились – из толпы пришла кучка, просила у штабс-капитана вернуть флаг.

Штабс-капитан вежливо просил их, что надо разойтись.

Вельяминов и Ткачура окрикнули их:

– Вы – разойдитесь, а то стрелять будем!

Подошёл один, в студенческой форме, без руки. И целой рукой тычет Вельяминову в значок на шинели:

– Вместе на одной скамье сидели, а теперь ты в меня стрелять? Ну, стреляй!

Грудь подставил.

Вельяминов ему:

– Армейская служба – есть служба. Без этого – нет страны.

Это правильно.

Откуда-то прискакали казаки на лохматых сибирках. Покрутились, копытами поцокали. Посмеивались. Наезжали на толпу, а мягко.

Толпа переливалась с места на место. «Мельница».

Офицеры ушли сидеть в гостиницу, а Кирпичников с солдатами всё стоял.

Когда толпа слишком наседала, окружала – сами солдаты взмаливались взойти в их тяжёлое солдатское положение, податься дальше.

Тоже служба – не своё дело делать. Люди хлеба хотят, и поговорить хотят, – чего им перегораживать?

Прибежал вестовой: идти пока в дворницкую.

28

За эту мрачную зиму приблизилась ещё одна милая молодая женщина – Лили Ден, жена флигель-адъютанта, моряка, назначенного командовать выкупленным у японцев крейсером «Варяг». Именно вчера она проводила мужа, они ушли в Англию, может быть на полгода, менять машины, – и приезжала вечером посидеть. Огорчённая, тревожная (сколько одних германских мин по дороге!), – держалась молодцом. И от сходных чувств, при уехавших мужьях, возникало с ней проникновенное понимание.

К полуночи присылала звать Аня, и государыня ездил к ней в кресле через всю

пустоту дворца, часа полтора успокаивала её, та лежала в жару, в задыханьи, в испуге, совсем плоха.

А дети пока переносили корь сравнительно не тяжело, по утрам температура спадала, к вечеру набиралась. Лежали все в тёмных комнатах, и мать попеременно ходила от одной к другому, сменяла сиделок. Осложнения – пока не проступили. А младшие девочки держались, хоть и на грани, Анастасия – с очень подозрительным горлом.

А за утренним окном шёл лёгкий приятный снежок, и при лёгком морозце. Мягко и беспечно падал на нетронутые снежные массивы царскосельского парка. Так могла бы быть легка и беспечна жизнь!

Кому-то другому...

Утром же подали государыне письмо от Протопопова. Он объяснял городские волнения этих дней (кажется, не прекратившиеся и сегодня?): это – вызывающее, просто хулиганское движение мальчишек и девчёнок, которые бегают и кричат, что у них нет хлеба, – просто для того, чтобы создать возбуждение. И – бастует часть рабочих, а по злостному обыкновению не пускают работать и других. Социалисты хотят пропагандой помешать правильному снабжению города. Если погода была бы холодна, то все бы сидели по домам. Но возбуждение спадёт и пройдёт, объяснял Протопопов, лишь бы хорошо вела себя Дума.

Да и никогда не бывает покоя, если Дума собрана. Все вместе в Петрограде – они всегда ядовитый элемент. А рассеянных по стране их никто не уважает.

И ещё вчера вечером доверенный близкий друг, флигель-адъютант Саблин, повидав Протопопова за обедом, передавал по телефону его успокоения: всё будет хорошо.

Вот послал Бог министра! – не чужая равнодушная рука, как большинство из них всегда, но преданный всей душой, но не дремлющий на страже царских интересов. И вместе с тем – умный, смелый, энергичный, пронизательный, с большим пониманием людей и обстановки. И вместе с тем – милый, обаятельный, сердечно-сочувственный человек, которому можно душевно пожаловаться, – за четверть века ещё не бывало министра, с которым было бы так просто разговаривать, – такой нечванный, простой, сразу принят в тесное окружение царской семьи, настолько не гнался за государственным церемониалом, что можно было для скорости сноситься через Аню и пересылать важные бумаги. За четверть века ещё не бывало министра, которого приятно было бы принимать в домашнем кругу как своего, не стесняясь перед ним в самых откровенных высказываниях. (И даже может быть – тонко-понимающая мистическая душа, сродственная таинственным свершениям). Поверить нельзя, что этот человек почти 10 лет вращался в Государственной Думе: её отравленная атмосфера злобы не задушила его. Он так непосредствен, откровенен, прям, чист, как только может быть в России, как бывает у юродивых Божьих душ, ничуть не загрязнён петербургским бездушием, – и так безоглядно, с первой встречи, полюбил Государя. Долго искали, трудно искали, перебрали многих, – министр внутренних дел важней любого другого министра и даже министра-председателя! – и наконец нашли. И высмотрел его и предложил – конечно, наш зоркий незабвенный Друг. И Протопопов всегда понимал Его сердце. А теперь остался защитником как бы вместо Него, возмездительной тенью.

Любопытно было наблюдать пристрастный мгновенный поворот Думы к Протопопову: то держали его у себя в лидерах, то, за верность Государю, прокляли и насмеялись. Но общество так уже ослеплено, что не видит и этой думской несуразности.

Протопопов распорядился деятельно. Направлять полицейские дела взял себе в помощь Курлова, безжалостно задвинутого когда-то после столыпинского дела. Недавно арестовал гнездо революционеров – «рабочую группу» при злоумышленнике Гучкове. Когда убили Друга и заревело от радости всё гнусное общество, а министр юстиции Макаров не спешил приступить к расследованию, – Протопопов проявил чудеса поиска, и его полиция быстро нашла тело, в далёком рукаве Невки, подо льдом. И сумел тактично незаметно провезти покойного через больницу и в Царское Село. И успел задержать бегство Юсупова из Петрограда – и тот понёс бы кару, если б имел Государь мудрость и твёрдость наказать. И

пользуясь своим аппаратом перлюстрации, приносил государыне эти коварные злобные письма великих княгинь, где горько извела Александра Фёдоровна бездну человеческого предательства. (И вот почему, ещё раз и ещё раз: министр внутренних дел должен быть абсолютно приближенный свой человек, – какой-нибудь князь Щербатов разве принёс бы?)

Да, всё обойдётся, если Дума будет вести себя прилично. Корень бунта и подстрекательства – в ней, а не в уличных шествиях. Ах, не убедить миролюбивого Государя, что нельзя прощать мятежные и даже антидинастические думские речи. Там что-то ужасное говорится, что Родзянко и не включает в стенограмму, чего и нельзя получить прочесть, а небось по стране пускают на ротаторах. Военное время! Такого не потерпели бы в Англии – а у нас всё прощается.

И два месяца рядом прожив, не могла перелить государыня в мужа свою горячекровную волю. Он всё уклонялся совершить мужскую государственную работу. Не наказал ни одного думского оратора, ни одного крикуна на мятежных съездах Союзов. У него не хватало решимости отделаться от неискреннего непреданного Алексеева: достаточно было только продлить ему отпуск подольше, а Государю показалось неловко. И Алексей вернулся. И других чужих насажали в Ставку – Лукомского, Клембовского, а милого Пустовойтенку убрали, – и Государь мирился. И даже пристрастную комиссию Батюшина, которая без надобности будоражила евреев и всё общество, безжалостно вцепляясь то в Рубинштейна, то в сахарозаводчиков, то в бедного Манасевича, он не решался разогнать. (Александра и в сегодняшнем письме просила Ники уволить наконец Батюшина).

Писала письмо Ники, но приходилось оторваться, потому что и на сегодня были ещё Государем назначены опять приёмы, и твёрдо, деятельно она должна была заменить супруга. Снова приходилось влезть в официальное платье и идти принимать, опять-таки иностранцев: одного китайца, одного грека, а аргентинец явился с женой, а португалец – с двумя дочерьми. Так бесконечно чужие они были сами и их претензии в эти тяжёлые дни.

Но состоялся и живой интересный приём – новоназначенного крымского губернатора Бойсмана. Подходящий будет начальник для Крыма, у него и о Петрограде оказались трезвые соображения. Во-первых: что здесь надо иметь настоящий боевой кавалерийский полк, а не расхлябанных, распущенных запасных, ещё и состоящих более чем наполовину из местного петербургского и чухонского люда. (И действительно! Сколько об этом ни говорилось, сколько раз ни решали вызвать в Петроград боевой гвардейский полк или улан – всё почему-то необъяснимо не осуществлялось, не помещалось).

Во-вторых: все эти хлебные волнения – чистое недоразумение, потому что в городе муки достаточно, а просто всё не устроено, и даже булочные бастуют. И почему не вводят хлебные карточки? Ведь ввели же на сахар – и всё хорошо. И можно мобилизовать военные пекарни на помощь? Совсем не надо никакой стрельбы, надо только поддерживать порядок, не пускать через мосты – и всё быстро успокоится. А бастующим рабочим, чтоб они очнулись, прямо сказать, чтоб они не устраивали стачек, иначе их будут посылать на фронт или строго наказывать, ведь время военное!

Все мысли очень понравились государыне своею ясностью и простотой. Кажется, и проблемы никакой не было, и задумываться не о чем, – понять нельзя, отчего должностные лица не делают самых простых шагов.

Мысль о военных пекарнях особенно понравилась государыне – и она просила крымского губернатора тотчас же ехать к Протопопову и от её имени поговорить с министром, чтоб он поговорил с Хабаловым и осуществил бы это всё поскорей.

Императрица очень всегда вдохновлялась, если приём не оставался в пределах пустой любезности, доклад – в пределах специфически женской деятельности, но от частной проблемы поднимался до государственного значения. Со своей настойчивой волей она тотчас шла к важным решениям для укрепления и возвышения России – и затем либо внушала их Государю в письмах, либо сама искала кратчайшие пути исполнения здесь.

По своему прониканию и решительности государыня способна была стать главой и направительницей всех верных и правых. Ещё 22 года назад, едва только приехав в Россию,

она обнаружила, что окружающие Государя неискренни, не любят ни его, ни страну, пользуются его неопытностью, никто не исполняет обязанностей добросовестно, а каждый думает о своей выгоде. Люди вокруг, вблизи – очень низки. С этим горьким видением она и жила многие годы, рожая одного ребёнка за другим, трепеща над наследником, не вмешиваясь ни во что. Лишь с ходом нынешней ужасной войны она не могла более держаться в стороне.

Но что она и собственных придворных (очень скучных) и собственных приближённых не всех понимала – не могла бы поверить! Сегодня такой урок проявил для неё граф Апраксин, начальник её канцелярии. Этот граф Апраксин был исполнительный чиновник по делам её поездов-складов, санитарных поездов, просто складов, госпиталей, эвакуации, по всем этим делам она слала его во многие места, потом он подробно и обильно докладывал. К своей должности он был хорош, но представить бы не могла его государыня на какой-нибудь мысли выше.

Прошлую ночь Апраксин ночевал у семьи в Петрограде. Сегодня, сделав очередной доклад, он выразил смелость просить Ея Величество разрешить высказать своё мнение по вопросам, прямо его не касательным.

Государыня подняла усталые брови. Разрешила.

И граф с серьёзно-торжественной и комично-важной миной стал докладывать ей, что в Петрограде – очень сгущённое, грозное настроение, враждебное трону.

Она и всегда это знала: злоязычный Петроград – гнилая часть света, питающаяся миазмами. Идиотская публика, не понимающая даже четверти того, что она читает. И сами газеты, чёрт бы их побрал, всегда всем недовольны.

Но граф не сбился. Набравшись этого всего петроградского, он взялся теперь изъяснять, что в возникших беспорядках виновны сами министры и даже особенно Протопопов, который крайне раздражает всё общество. Что необходимо пожертвовать некоторыми лицами, чтобы тень не пала на...

Ещё только этого непрошенного указчика, по соседству, не хватало государыне после всех великокняжеских и великосветских! Ещё только из этих, до сих пор робких, уст не хватало ей выслушать всё те же светские и думские клеветы – и может быть ещё на покойного Друга?

Но, вспылчивая, она сдержалась. Это был маленький старательный человек, отравившийся от общества его слепым безумием, – что на нём вымещать? Она ответила ему со сдержанным негодованием:

– Граф! Что бы ни происходило и ни болталось в пустом Петрограде – это не может иметь влияния на необъятную Россию и на наш исторический трон. Я на нём – уже 22 года, и я знаю Россию. И изъездила её много. И знаю, что народ – любит нашу семью. И совсем недавно в Новгороде народ показал это так единодушно, с таким порывом... Пусть видят и Дума и общество!

Поездка в Новгород в декабре ещё стояла в ней не воспоминанием, но живым вдохновительным ощущением. Всего один день – но в народную глубину, чистоту, бесхитрость! Огромные народные толпы, влекомые любовью, приливами бросались к её автомобилю при остановках, целовали руки, плакали, крестились, – какое открытое ликование на тысячах простонародных лиц! И всё это – под слитный звон новгородских древних колоколов, всё вокруг говорит о прошлом, и переживаешь старинные времена. Шпалеры войск, восторженные гимназисты в Кремле, молебен в Софийском соборе, самаявленная Богоматерь в часовне, Юрьев и Десятинный монастыри, навещание старицы, навещание раненых, – переезжала и переходила, окружённая плотным народным восторгом, столько любви и тепла везде, чистота и единство чувств, ощущение Бога, народа и древности. В расширенном сердце государыни стояло ликование от этой взаимной верности: её – православному народу, и православного народа – ей.

И разве в одном Новгороде? А под Могилёвом, когда они ездили на автомобильные прогулки, – садилась на траву с наследником, и когда крестьяне узнавали, с кем говорят, –

они опускались на колени, целовали руки и платье государыни. А когда перед войною плавали с Государем по Волге? – население выходило по колени в воду и кричало им привет и любовь. Да даже вот, в войну, студенты в Харькове! – встретили её с портретом и факелами, выпрягли лошадей и сами повезли карету.

И – какие же жалкие потуги петроградских затуманенных мозгов могли этому противостать? Только свет и общество Петербурга и Москвы были против царской четы. А народ – единой душой с ними.

– Ваше Величество, – потупленно сказал бледный граф Апраксин. – Осмелюсь высказать... Про вашу новгородскую поездку в столице говорят, что Протопопов подстроил и подкупил население, чтобы вас так встречали...

Новгород? – подкуплен??! Какая столичная низость!

В государыне взлетел гнев, она резко поднялась, отталкивая стул, – и он упал со стуком.

– Нет, граф! Знайте свои границы! Подкуп – от истинных лиц и чувств – я ещё умею различить!

29

* * *

Чем отличался сегодняшний день – не было весёлого настроения, как бы игры, двух предыдущих. Больше не было напевания «хлеба! хлеба!», да и лавки громить остыли. Народ вполне уверился в дружелюбии войск и особенно казаков. (Подходили женщины вплотную к их лошадям, поправляли уздечки). Третий день среди демонстрантов не было потерь – и полицию тоже народ перестал бояться, напротив – сам на неё лез, и с нарастающей злобой.

А полицию – уверенность покинула. Никто не был за них, ни даже само начальство, и потерянными точками в тысячных толпах они должны были что-то сдерживать.

Стала чувствоваться власть улицы.

* * *

Сквозь все окраинные кордоны в центр города проникли уже большие толпы, и главные действия разыгрывались тут. Здесь – и своих густилось, особенно по Невскому. На тротуарах, лицами к уличным шествиям, уставились служащие, обыватели, ни сочувствуют, ни порицают. Кричат им с мостовой:

– Что там стоите? Долой с панели! Буржуи, долой с панели!

* * *

В толпе увеличилось молодёжи – интеллигентной и полу-. Разрозненно, по одному, но во многих местах, стали появляться красные флаги. И когда ораторы поднимались, то кричали не о хлебе, а: избивать полицию! низвергнуть преступное правительство, передавшееся на сторону немцев!

* * *

На Знаменской площади длился теперь уже непрерывный митинг: менялась толпа, менялись ораторы, а митинг продолжался. И всё – вокруг памятника Александру Третьему.

Несоответственной и придумать нельзя, чем эта прочная, несдвигаемая и безучастная фигура императора, на богатырском замершем коне с упёрто-опущенной головой. Вокруг – высокие металлические фонарные столбы. И близко сзади – пятиглавая церквушка.

Ораторов и не слышно от гула и от «ура». Вся площадь полна, и у вокзала, и по обеим сторонам Лиговки – казаки и конные городовые. То полицейский чин, обнажив шашку, кричит: «Разойдись! Разгоню!» Толпа не верит, не движется. Пристав махнёт шашкой казакам: «Разгонять!» Те, с хмурыми лицами, наезжают не всерьёз – толпа перетекает, съехали – и на старом месте. А то и конные городовые с саблями наголо поскачут на толпу – та мечется, зажата, – а никого не ударили.

Никто не знает, что с толпой делать.

* * *

И Невский запружен народом, море голов, красные флаги.

Попали на Невский военные грузовики и проехать не могут. Медленно ползут вслед красным флагам, как бы пристроившись.

* * *

Поперёк Садовой и вокруг Гостиного Двора – плотные строи вооружённых солдат. А толпу, как всегда сзади, так и выпирает на солдат, грудями прямо на выставленные, наклонённые штыки.

Сзади поют революционные песни. А передние курсистки солдатам:

– Товарищи! Отнимите ваши штыки, присоединяйтесь к нам!

Напирает толпа. Солдаты переглянулись – и стали приподнимать штыки, так что они уже не колют.

– Ура-а-а! – ещё поднапёрла толпа, и всё смешалось.

* * *

Тех солдат убрали. А поперёк Невского около городской думы стала учебная команда.

Толпа и сюда напирает. Офицер отгоняет криками. Рабочие – тесней к солдатам, заговаривают, начинают и за штыки цепляться. Кто-то стряхнул их со штыка:

– Уйди, мать твою...

Фланговый солдат шёпотом: «Вы – офицера уберите».

Человек десять из толпы плотно окружают офицера. Он машет хлыстиком ласково:

– Не беспокойтесь. Значит: стрелять не будут.

* * *

Большая толпа стянулась у Казанского собора и Екатерининского канала. Среди приличной публики есть и очень возбуждённые дамы, тоже спорят в кучках, в летучих митингах.

Казак на лету вырвал красный флаг, проскакал с ним два десятка сажень, оторвал от древка. Знаменосец побежал за казак, упрашивал вернуть. Казак, незаметно для начальства, сбросил – и флаг уже подхвачен и в кармане.

Из толпы стали бросать в городовых пустыми бутылками. Потом дали по городовым с полдюжины револьверных выстрелов – одного ранили в живот, другого в голову, тех

ушибли бутылками.

Полицейский офицер ответил двумя выстрелами. Раненых городских увели.

* * *

На углу Невского и Михайловской толпа остановила извозчика с ехавшим городовым. А на коленях у него был ребёнок, подкинутый, – вёз его в воспитательный дом. Револьвер отняли, а самого отпустили – вези.

* * *

Туг же, в кофейной «Пекарь», дежурил полицейский надзиратель. Увидели его – и стали бросать в кофейню бутылки, камни, разбили три оконных стекла. Добрались внутрь до полицейского, отняли и поломали шашку. Кафе спустило железные шторы.

* * *

Против Троицкой улицы на Невском, разгоняя толпу, свалился на полном карьере уланский корнет. Помощник пристава вывел его из толпы, отправил на автомобиле. Не задержали.

* * *

К Казанскому мосту нашла новая толпа – тысяч пять, с красным флагом и песнями. Разлилась по площади у собора. «Долой самодержавие!» – «Долой фараонов!» И – «Долой войну!»

Простых баб почти нет в толпе, а много курсисток. Рабочие и студенты менялись фуражками – братались. Пошловатый мастеровой повёл под ручку курсистку в шубке. Она поглядывала смущённо счастливо.

* * *

Часть толпы подступала по Казанской улице ко двору, где городовые караулили человек 25 арестованных.

Тут подъехал взвод казаков 4-го Донского полка с офицером. Толпа замялась.

А казаки обругали городских:

– Эх вы, за деньги служите!

Двоих ударили ножнами, а кого и шашкой по спине. Под рёв толпы выпустили арестованных.

* * *

На углу Невского и Пушкинской несколько человек из толпы бросились на помощника пристава со спины, ударили, отобрали шашку, браунинг – и под общие возгласы угроз оттащили по Пушкинской, вкинули в подъезд.

* * *

На Знаменской площади казаки всё же держали свободным проезд к вокзалу. Но как только извозчик ссаживал, брал седока – так и гнали его прочь. Затесался в толпу автомобиль Московского полка – прокололи ему шины, стал.

А ещё прошла стороной, своей дорогой, воинская часть на погрузку. Шли солдаты в полной амуниции, хмурые, не обращая никакого внимания на всю агитацию и крики.

* * *

К четырём часам пополудни и позже в разных местах Невского – у Пушкинской, у Владимирского, у Аничкова моста – толпа обезоруживала городских и избивала их тяжело.

* * *

Молодой человек в студенческой фуражке вытащил из-под пальто предмет, стукнул о свой сапог – и бросил под конных городских, в середину. Оглушительный треск – и лошади взорваны, седоки навзничь.

* * *

А на Знаменской площади под конём тяжелостопным Александра Третьего – всё тёк митинг, ораторы разливались с красно-гранитного постамента. И рядом держался большой красный флаг.

С Гончарной въехал пристав, ротмистр Крылов, с пятёркой полицейских и отрядом донских казаков. На коне сидел он как хороший кавалерист. Обнажил, высоко взнёс шашку – и поехал в толпу.

И остальные за ним: полицейские – с выхваченными шашками, казаки – не вынимая, лениво.

Толпа расступилась, качнулась – из неё началось бегство в обтёк памятника: «ру-убят!».

Но – не рубили. Крылов поехал вперёд один, как добывая кончиком шашки высоко вверху своё заветное.

И никто не мешал ему доехать до самого флага.

Вырвал флаг – а флагоносца погнал перед собою, назад к вокзалу.

Мимо полицейских. Мимо казаков.

И вдруг – ударом шашки в голову сзади был свален с коня на землю, роняя и флаг.

Конные городские бросились на защиту, но были оттеснены казаками же.

И толпа заревела ликующе, махала шапками, платками:

– Ура-а казакам! Казак полицейского убил!

Пристава добивали, кто чем мог – дворницкой лопатой, каблуками.

А его шашку передали одному из ораторов. И тот поднимал высоко:

– Вот оружие палача!

Казачья сотня сидела на конях, принимая благодарные крики.

Потом у вокзальных ворот качали казака. Того, кто зарубил? не того?

* * *

Молодым человеком Крылов служил в гвардейском полку. Влюбился в девушку из обедневшей семьи. А мать его – богатая и с высокими связями, жениться не разрешила. Он представил невесту командиру полка, получил разрешение. Представил офицерам-однополчанам – она была очаровательна, хорошо воспитана, офицеры её приняли. И Крылов женился. Тогда мать явилась к командиру полка: если не заставите его подать в отставку – буду жаловаться на вас военному министру и выше. Командир вызвал Крылова, тот сам решил, что ничего больше не остаётся, как уходить из полка. Начал искать службы по другим ведомствам – но мать везде побывала и закрыла ему все пути.

И удалось ему поступить – только в полицию...

* * *

Лежал, убитый. Глаза закрыты. Из виска, из носа, по шее кровь.
Все подходили, смотрели.

* * *

Либералы и черносотенцы, министры и Государственная Дума, дворянство и земство – все слились в одну озверелую шайку, загребают золото, пируют на народных костях. Объясняйте всем, что спасение – только в победе социал-демократов.

Бюро ЦК РСДРП

* * *

30

Так хорошо, что страшно.

Оглушённая.

Не хочется, чтобы время шло: оно непременно принесёт хуже. И это взлетенное состояние начнёт слабнуть – и уйдёт.

Просто сидеть и наслаждаться, ни о чём не думая.

Ни о чём.

Так много мыслей – и все хорошие.

Многое невозможно, но Ликоня и не хочет невозможного.

Увидела в Екатерининском сквере и подкосилась. Поняла: если сейчас не скажет, то никогда уже больше. И всегда будет страдать, что не решилась.

И как-то ноги донесли. И как-то проговорило горло:

– Я хотела вам сказать... Я счастлива, что я с вами познакомилась. А теперь, я слышала, вы уедете... Так вот я...

Он – очень приветливо отнёсся. Но обычные внешние слова.

Пошли рядом. У неё рука плясала, и он сочувственно встречно сжал её.

А там аллея короткая, вот уже и конец, и расставаться.

Он сказал, что это прекрасно, что она сказала, что раскаиваться в этом не надо, он её благодарит.

За что же *благодарит* ? – удивило.

И: что она ему тоже сразу очень понравилась.

Но если б это было так – почему ж там он ни разу не взглянул особенно и ничего особенного не сказал?

Хотя он там, между актами, скорей посмеивался, со стороны. Себе на уме. Здесь таких нет. Высокий! В облитых сапогах. Бородка белокурая. (Бело-курится?...) Такой прямой! И с волжской свежотой. В театральном толкании – как светлый орёл. Прилетел с ветряного простора.

– Но вы не навсегда уезжаете? – спросила.

Нет. Сейчас – только дней на пять уедет. Потом сразу ещё приедет. Да вообще он в Питере бывает от поры до поры.

Поцеловал ей руку.

Всё длилось, может быть, две минуты. А теперь – часов мало, пока это разворачивается как надо.

Всего так много, это нельзя сравнить ни с чем, это переполняет!

Всегда хотелось Ликоне говорить другим не всё (себе оставить). А сейчас бы ему – всё!

И могла. И хотела: всё.

И даже мучиться от ещё не досказанного. Кого благодарить?...

31

В положении нынешнего министра внутренних дел были свои очаровательные лёгкости и свои невыносимые трудности.

Главная лёгкость была – сердечная близость Протопопова к царской чете. Как нас согревает эта ласковость высших! И как бодро себя чувствуешь, когда уверен в дружелюбном к тебе расположении с самых верхов! И какая это была эмоциональная вспышка: летом прошлого года, при первом приёме у Государя, оказаться им очарованным! – после неприязненного и злого, что говорилось о монархе в думских кругах, – и одновременно видеть, что и тобою очарованы. Вероятно, тактически было правильнее скрыть своё восхищение, но честность и открытость натуры не позволили, и Протопопов всюду говорил, что он Государем очарован, чем и нажил себе непримиримых врагов. Но как было не восхититься всем сердцем, близко узнав эту оклеветанную августейшую семью, не только без хитростей, козней, злобы и разврата, как приписывали враги, но живущую в такой душевной простоте – в любви и молитве! И какой обворожительный установился обычай: после доклада Государю каждый раз иметь счастье зайти к государыне и просто-просто с нею поговорить, не обязательно о службе, о чём угодно, о физиократах. Между их душами установилось то высшее отношение, которое перешагивает в неземное и мистическое. С распушенностью и ненавистью болтало об императрице всё общество – и знали, как она умна, развита, и по-заграничному твёрдая женщина, английская складка.

А главная трудность министра была – травля от общества, от прежних его думских друзей. Теперь все думские отзывы и упоминанья о нём были насмешливы, презрительны, ненавистливы и третировали его не только ниже уровня государственного деятеля, но ниже уровня человека. Наверно, ни на одного министра, ни в одной стране не вылили столько грязи, сколько на него. Вместить, переварить всю эту брань, найти на неё ответы – было невозможно, а только – перестать чувствовать. (Но он не мог перестать!) И ненавидели его не за деятельность и не за бездеятельность, но за самое его появление на этом посту с верностью Государю, за то, что называлось изменой и перебежкой, поскольку Дума считала себя в состоянии войны с властью, а он, заместитель председателя Думы! – согласился принять из царских рук министерский пост. И не гнушались никакой клеветой! Хотя о своих встречах с немцами в Стокгольме Протопопов тогда же подробно отчитывался коллегам по Думе, и они его не обвиняли, – как только он был назначен министром, пустили клевету, что угодил Двору своей связью с немцами. Всё было забыто! – что сам же Родзянко хлопотал для Протопопова о министерском месте, что английский король и английская пресса давали о Протопопове восторженный отзыв, когда он ездил туда с парламентской делегацией, что хвалил его Сазонов, что Кривошеин тоже рекомендовал его в правительство, – всё забыто, и осталась только ненависть! Теперь никакой мелочи не могли ему забыть, всем пеняли: что

ещё в 3-й Думе, в 1912 году, он был докладчик об удлинении службы для полуинтеллигентных прапорщиков запаса, провёл этот закон, и получил от Сухомлинова в подарок золотой портсигар с бриллиантами, и по простодушию хвастался им, – так сегодня насмехались.

Но уж если они травили его так безжалостно, то было чем ответить и ему! Они его знали – но знал же и он их слабости! Травили его, плевали в него, атукали – но и он же им задаст! Ну подождите, ожесточили на свою голову. Как когда-то вместе с ними он легкомысленно возмущался действиями трона – так сейчас душило его возмущение от того, что вытворяет Земгор. Бессовестно, нагло вытесняют нормальную государственную власть из всей государственной жизни. Работают на одни казённые средства, разбрасывая их без жалости, – и тут же врут, создают у всех впечатление, что – на деньги, собранные обществом. И когда Протопопов решил опубликовать, чьи там деньги, – бесстыдные либеральные газеты ни одна не опубликовала, им это невыгодно, мерзавцы! Да Земский союз ещё с японской войны не представил отчёта в восьмистах тысячах рублей, – значит, потратили по частным надобностям и только. Правительство трусит, утверждает все их безумно-роскошные бюджеты, по всем позициям превосходящие сметы министерств, – а они ещё имеют наглость каждый раз просить по несколько миллионов «запасного» капитала, сверх бюджета!

Так и с продовольствием: Протопопов знал, почему его надо было забирать к губернаторам. Под видом продовольствования тоже происходит обман и развал государственной власти: министерство земледелия отдаётся в полную власть земств, а земства – уже не прежние простодушные отдельные земства, но соединены в Земсоюз и делают только политику. Уж Протопопов 10 лет в их котле варился, ему ли не знать, как там делается: только бы назло власти! только бы вырвать себе! Во время войны кто распределяет продовольствие – тот и решает настроение страны. Губернаторы обескуражены, они лишены прав в своих губерниях, уполномоченные по продовольствию и по топливу распоряжаются без них. Местные продовольственные комитеты составлены из оппозиционных элементов, – и достаточно им объявить забастовку весовщиков и амбарных служащих – и остановлен весь хлеб, для всей страны! А если бы всю заготовку хлеба вернуть губернаторам, то и земствам пришлось бы честно служить вместо оппозиционных речей.

Побывав на обеих воюющих сторонах, Протопопов особенно хорошо всё понимал! – но травлей обречён был на бессилие, – и этот бой за продовольствие он не решился дать.

Зато он пугал думцев слухами: что распустит их, что пойдут депутаты на фронт не с санитарными поездами, как они красуются, а в солдатской скатке. Или: что сам без них проведёт отнятие помещичьих земель, – вот напугалась Дума больше всего: без них?? (Да в 1905 году, когда рабочие захватили его суконную фабрику, но его же и выбрали директором, – он уже тогда устраивал митинги и издавал брошюры, что надо принудительно отчуждать помещичьи земли).

Да сила правительства по сравнению с оппозицией безмерна, это понял Протопопов, став у власти. Но просто смелость почему-то у всех потеряна.

Счастливые проекты роились в голове. У него действительно мелькало – прославиться и победить на том, чтобы разделить помещичью землю. А другой раз мелькало: дать полное еврейское равноправие, и тоже обойти на этом Думу! (И уже дал по Москве начальный циркуляр). И на волнах общественной благодарности проводить свою сильную политику! Сблизиться с евреями ему очень было бы нужно: это давало бы ему опору на капиталы и промышленные круги. (И Рубинштейна он спешил освободить для того, чтоб не отбросить банковский мир в оппозицию). Он сам был – фабрикант, и он понимал силу финансово-промышленных кругов. (Исконно-то он был потомственный дворянин из духовенства и блестящий офицер Конногвардейского полка, только без всяких средств, давал уроки английского и французского языков. Но после того как дядюшку его Селиверстова, шефа жандармов, убили революционеры – Александр Дмитрич оказался наследником румянцевской фабрики, стоимостью больше миллиона рублей, хотя устарели

машины и производительность слабая. Потом уже стал разоряться на ней, свою красивую подпись ставил на векселях, на векселях, искал компаньонов или отдать под администрацию, а самому уйти в политику).

Ужасно ему хотелось сделать что-нибудь великое и для всех хорошее! Он-то знал, что не случайно назначен на этот пост, милостивой государевой волей внезапно взлетев уже не в министры торговли-промышленности, как он грезил, но в министры внутренних дел! – не вхолостую, но призван спасти Россию! Однако решительно ни с какого конца нельзя было приступить. Всё в нём трепетало, кружилось от гордости, от счастья и от боязни. Он сшил жандармский мундир – но носить его смел только дома. Ему очень требовалось ещё звание генерал-майора, и он через посредство просил у Алексеева, – но тот не присвоил, противный.

Однако даже и промышленно-банковские круги подвели. С опорой на них Протопопов широко размахнулся: выпускать собственную газету, которая защищала бы и разъясняла действия правительства, такая очень была необходима. (Ведь остальных газет лучше бы не раскрывать: в каждой из них лились на Протопопова помой). Эту газету – «Русская воля» («воля» не в смысле всеобщей распущенности, но повелительность к действию), соглашался возглавить самый модный писатель Леонид Андреев, и обещали сотрудничество другие крупные писатели, а банковские круги отпускали деньги не скупясь. И что же? Эта самая «Русская воля» с первого номера вышла из повиновения и язвительно нападала на Протопопова же! И так блистательный замысел не состоялся!

Остановить же газетную брань своею властью министра внутренних дел он не мог, так как у его министерства давно не было никакой власти над печатью, ни даже цензуры: в обеих столицах действовала только военная цензура, которая в поношении министров ничего опасного не видела. И если Протопопов хотел всё же повлиять – он должен был просить командующего ближайшим фронтом генерала Рузского, а тот требовал от Протопопова каждый раз письменную просьбу. (Флиртуя с общественностью, Рузский имел цель такими бумажками собрать на министра общественно-обвинительный материал).

Поносили Протопопова левые – но поносили и правые, с которыми он не был близок по своей прошлой деятельности – и которых он осуждал за недостаточную решительность против крамолы. И Пуришкевич, впрочем как бы перескочивший влево, яростно поносил его в Думе, – и Протопопов пытался ответить грозно, но Трепов запретил ему отвечать, министры боялись столкновения! Тогда Протопопов просил слова как член Думы – но тут Родзянко не дал ему.

И когда же его успели так возненавидеть? Всего лишь пять месяцев, с сентября, как был он назначен, и то сперва не министром, а лишь управляющим министерством, но травили так ненавистливо, что напуганные министры убедили его ехать в Ставку и просить увольнения. И Александр Дмитрич съездил – но лишь укрепился у Государя. Однако не стало возможности работать с Треповым, – тогда Протопопов «заболел», и «проболел» до снятия Трепова в декабре, до убийства Распутина, – но и больного травили как если б он сидел на посту. И только с Рождества он стал полновластным министром.

Они сами, они все – травили, бередили, не щадили его нежную душу! Они – сами ожесточили его! «Вы губите Россию!» – бросали ему. Отвечал жертвенно: «Тогда и я погибну под её развалинами!» Теперь – он стал как лев на защиту трона!

Он – хотел нанести смертельный удар! И понимал, что главная революция сидит в военно-промышленных комитетах и в Земгоре. Но не решался тронуть таких высоких людей как Гучков, и таких пронзительных как Керенский. (Хотя были агентурные донесения Охранного отделения, что на частной квартире он своим трудовикам прямо говорил о перевороте). И решился в конце января – арестовать рабочую группу. Хотя бы – накинуть узду на морду революции.

Но бороться с революцией, но владеть министерством внутренних дел – всё же надо владеть полицейским делом. У Протопопова – не было таких знаний (он всё путал этих большевиков, меньшевиков, интернационалистов, никогда не мог запомнить). Нужен был сильный советчик и помощник. Кстати, такой и наличествовал: Павел Григорьевич Курлов,

величайший знаток полиции, несчастно пострадавший на столыпинском деле, потерявший высокую пенсию, теперь в горьком отстранении. Через тибетского врача Бадмаева, у которого оба лечились, они и сговорились этой осенью. Курлов обещал помощь, поддержку и обучение. Курлов и надоумил: железной рукой распустить Думу, но одновременно произвести популярные меры для евреев и крестьян. И Государь согласился на Курлова: хорошо, я два года на него сердился за Столыпина, потом перестал. Сговорились с Курловым так, что Протопопов возьмёт его к себе в товарищи, и вернёт прежний пост командира корпуса жандармов, а потом и на департамент полиции.

Но – не пришлось. Сразу прорвался слух: «опять Курлов!». И хотя кадеты никогда не сожалели о Столыпине, теперь они ужаснулись, зашипели, – и опасаясь горших думских атак на себя, ещё этого плеска не добавляя на раскалённую сковороду, Протопопов не решился опубликовать назначение. Курлов только посостоял месяца два «в распоряжении министра», подписывал часть бумаг за него, – и вынужденно отступил в тень, правда уже на выхлопотанную пенсию в 10 тысяч. И остался Протопопов без верного друга и замечательного специалиста.

Но и – сильно облегчалось положение министра внутренних дел тем, что в Петрограде, как и во всех местностях, отнесенных к театру военных действий, его министерская власть была нулевая, никакая: всем распоряжалась, но и за всё отвечала военная власть, – раньше главнокомандующий Рузский, сейчас – командующий Округом Хабалов. Таким образом, все нынешние уличные беспорядки вовсе не касались Протопопова, ему не надо было и голову ломать. Блеснёт счастливая мысль – посоветовать Хабалову: дать объявление, что хлеба в городе хватает.

Министерство внутренних дел – как вести. Можно так вести, что кружится голова, белеет в глазах, берёт полное отчаяние, хочется рухнуть, особенно если все бумаги и донесения читать: этого и за годы не охватить, не понять, не вытянуть. А бывает – после ласкового приёма у Государя, после подбодрения у государыни, или после визита в царскосельский лазарет к притягательной сестре милосердия Воскобойниковой, и от счастливого взлёта настроения, от веры в себя, или от приятного обеда в дружеской компании...

Вчера так обедали у шталмейстера Бурдукова, наследника всеизвестного князя Мещерского, влиятельного советника двух императоров. Два года со смерти музейно сохранялись письменный стол князя с фотографиями и предметами обихода. Обстановка была очаровательная. Съехалась полдюжина влиятельных лиц без жён, разработанный долгий обед, тонкие вина (но Александр Дмитриевич никогда не пил много), играл небольшой оркестр лейб-гвардии Преображенского полка, – как всё это красиво вибрирует в душе! Николай Маклаков, Саблин беспокоились о происходящих волнениях, – Протопопов с рассыпчатым смехом ободрял их, что если разыграется серьёзно – он сумеет всё прекратить мгновенно: все эти затмения общественных настроений не закроют светлых просторов российского государства. И уже там овладела Александром Дмитриевичем эта реющая, летящая лёгкость – так что мгновенно воспарился он выше всех оскорблений, недоразумений, затруднений и напоился счастливым сознанием своего всемогущества, удачи и победы. И в такие минуты всегда видится, что на самом деле трудность управлять министерством – лишь кажущаяся, что на самом деле как ни ступни, как ни направь, – или будет хорошо, или само как-нибудь сделается.

Этот взлёт и полное счастье так и сохранились от вчерашней сочувственной компании (когда знаешь, как ты обаятелен и убедителен!). В этом крыльном состоянии он проплавал и ночь с приятнейшими снами и мог рассчитывать держаться на высоте целый день сегодня.

Утром, минуя стражу близ своего министерского дома на Фонтанке (со вчерашнего дня дом охранялся), Александр Дмитриевич захотел: подбодрить начальника караула, подпоручика Павловского полка.

– Как вас звать, голубчик? – спросил милостиво и услышал фамилию Гримм. Вот как? Оказался сын известного члена Государственного Совета, увы тоже из Прогрессивного

блока. Вот как! Отцы подрывают власть оппозиционерством, а сыновья охраняют её штыками, знак поколений! Поговорил с ним немного – молодой человек проявился очень вдумчивым, свободным от злорадства желать успеха каким-нибудь насильственным переменам. О положении в городе судил тревожно. Министр внутренних дел весело успокоил его:

– Если надо было революцию вытравить на улицу и раздавить, так вот генерал Хабалов это и делает. Вы когда сменяетесь? Приглашаю вас у меня отобедать.

В утренние часы он разговаривал с одним, с другим чиновником, смотрел ту папку или эту, – весёлая лёгкость не покидала его, и он шутил, миловал (он и по натуре всегда был снисходителен к людским недостаткам), прощал промахи, был очарователен, и знал это. (А промахов было много: даже переписка министра так и не была хорошо разобрана за его смятенные министерские месяцы).

Тут осчастливила его телефонным звонком государыня из Царского, – этот особый телефонный аппарат в Царское стоял тут в его кабинете всегда, и не бездействовал, даже часами они говорили. Государыня желала узнать подробней об этих неприятных уличных беспорядках.

Собственно, слишком подробно он не знал и сам, имел сведения от градоначальника отрывистые, больше вчерашние, не освежал их ещё сегодня, но так как всей душой он желал государыне только приятного, а она желала бы успокоиться, то он бодрым беззаботным голосом и послал ей по проводам отменное успокоение. (По-английски, как было принято между ними).

Да не придётся ли протелеграфировать что-нибудь и в Ставку? Ведь слух дойдёт, раздуют, забеспокоятся и там. Согласился, надо.

Вскоре за тем протелефонировал и градоначальник: что на Знаменской площади пристав убит казаком. Ай, как нехорошо, и почему же казаком?

Вообще – бедная полиция, вот ещё одна из проблем, которых Протопопов не успел решить. Глядя на императорскую Россию со стороны, да даже с думских скамей десять лет подряд, никогда бы не подумал, не поверил, что полиция – совершенно нищая, полицейские получают немного больше чернорабочих. Оттого и почти везде некомплект, и полиция ничего не осилит без армии, и полицейское дело передаётся неумелой армии. (Там был план, совместный с армией, по которому любые волнения должны быть закончены в 4 дня, значит, сегодня-завтра). А сельские стражники вообще разбросаны поодиночке по лику Империи, теряют всякий военный вид, и полицейские власти не имеют даже права сводить их в уездные отряды.

Надо каким-нибудь приказом вдохновить конную жандармскую стражу.

Шёл служебный день, приходилось, как всегда, принимать многих лиц и просителей. Тут подошёл и час дружеского приёма, назначенного жандармскому генералу Спиридовичу, который вчера вечером тоже был на обеде у шталмейстера, но не успели поговорить. Спиридовича, ныне ялтинского градоначальника, сам же Протопопов и вызвал с неделю назад телеграммой, согласно велению Государя. По всему видно, что замысел Государя был – назначить Спиридовича петроградским градоначальником вместо Балка. За него ещё с осени очень просил и Курлов. Спиридович приехал, но Государь тем временем выехал в Ставку – и отложил приём, и не объявил решения прямо. Итак, Спиридович ждал в Петрограде возврата Государя, а Протопопов должен был его принять как вызывавший прямой начальник. Он не уполномочен был ничего ему официально объявить, но мог восполнить повышенной приветливостью, которая так естественно ему давалась, да ещё и при симпатии, которую мы всегда испытываем ко всем восходящим, чья власть прирастает не без нашего участия.

– Александр Иванович! Милейший мой! – сверхустаново, двумя протянутыми руками приветствовал он высокого молодцеватого замкнутого напряжённого чуть рыжеватого генерала с мягко-напряжённой походкой. – Посмотрите, я как доброжелательный сфинкс на вашем пути. Я принимал вас в первый день моего прихода в министерство – и вы поехали в

Ялту. И вот – принимаю опять, чтобы вы поднялись ещё куда-то, – но я сам не знаю куда. Поверьте, не знаю, ха-ха-ха!

Не проговорился, как и вчера за обедом.

И усаживал дорогого гостя.

– Но я искренне рад, что на вашей блистательной карьере не отозвалось это несчастное киевское событие... Которое так отравило жизнь моего горемычного друга Павла Григорьевича. Ведь он и ваш друг. На вас не отозвалось, вы прекрасно вышли. А он... И вот, уже возвращался в прежнее влияние – но увы, увы, должен был покинуть нас...

32

Этот столыпинский эпизод пятилетней давности, как прилипшая кожа убитого дракона, – кажется, никогда уже не мог быть начисто отодран от генерала Спиридовича.

Ничем нельзя было его уколоть так неприятно, как припомнив «несчастную киевскую историю», хотя б и самым доброжелательным образом. Сколько раз его задевали даже сочувственным расспросом, на который если отвечать, то пришлось бы снова и снова терпеть объяснение, что это не входило в его компетенцию, что он по часам и минутам так занят был на охране государевой особы, что не мог заниматься ловлей террористов, и так далее. Но и когда ему не напоминали, то, кажется, он ловил в иных глазах подразумеваемую упречную память о событии. И что особенно возмущало Спиридовича: даже те, кто должны были только радоваться смерти Столыпина, – и те выражали фальшивое сожаление или повышенную преданность законности.

И к самому Столыпину, за то что он стал постоянным предметом укора, Спиридович стал испытывать раздражение вида ненависти.

Да, пострадал, выбит из карьеры был один бедный Кулябко. На Веригине – не отразилось, вот в войну он стал гражданским распорядителем Архангельска, окна в Европу. И служба самого Спиридовича – высокая задача охраны государевой особы, – никак не пострадала, да. А Курлов, увы, перенёс многое. Высочайше прощённый после киевской истории, он снова выплывал в крупные начальники в Риге – и снова трагически попал под следствие о злоупотреблениях. И с осени снова выплывал в товарищи министра внутренних дел и шефа корпуса жандармов – и снова сорвался, в этот раз от слабости Протопопова.

Но именно сейчас, перед своим министром, да так фантастически близким царственной чете, таким сияющим уверенным сановником, да во всей зависимости своей карьеры, Спиридович не мог принять выражения холодности или недоумения, но подхватил сожаление о Курлове.

Спиридович, столько лет обращаясь в высшей среде, владел безошибочным умением состраивать единство с собеседником – будь то великий князь, важный чиновник или влиятельная дама. Искусство его было – всякому понравиться.

И вчера за обедом у шталмейстера, и сейчас, на приёме, Спиридович всем вниманием наблюдал, втягивал и старался понять этого почти легендарного своего министра. Профессиональным взглядом Спиридович отлично видел, что Протопопов никак не подходит к своему посту, даже на уровне анекдота. Как давний офицер полицейской службы, как исконный жандарм и даже теоретик охранного дела, изучавший повадки и принципы революционных партий (и написавший о том две книги), Спиридович знал, что министерство внутренних дел – это специальность, и ещё какая! Он понимал, что Протопопов никак не подготовлен к этой службе и даже за несколько месяцев не мог бы овладеть течением дел. Ясно, что Протопопов мог бы держаться только Курловым, а вот – предал его. На поверхности металась его перекидчивость, слабость воли. И Спиридович имел сведения через знакомых в министерстве, что новый министр так безалаберен, прямые подчинённые не могут попасть к нему на приём неделями, а бумаги застревают месяцами. И читал, как на все корки разделявала Протопопова пресса, и знал все сплетни о нём, что его обвиняют в психической ненормальности, и что он спиритическими сеансами якобы

вызывает дух Распутина, спросить у него государственных советов. И эти последние дни в Петрограде слышал от собеседников насмешки, что Протопопов – хвостун, болтун, пустозвон, блефист, достойное порождение Государственных Дум. Но – такова прихоть высочайших назначений, и кто смеет спорить с нею! Но – за Протопоповым стояло несомненное доверие царственной четы, а удачливость всегда покоряет, – как не присоединиться к победителю? Это и будет теперь его начальник, и надо наилучше угодить ему (и угадать его слабости). Эти несколько дней в Петрограде Спиридович наслушался и мрачных разговоров, предчувствий, предсказаний о заговорах, переворотах (называли даже полки, офицеров, великих князей), ожидаемых новых убийствах высокопоставленных лиц, даже люди в придворных мундирах развязно болтали обо всём этом, да ещё же третий день бурлили в столице уличные волнения, – а вот именно министр внутренних дел просто сиял и ликовал от удачливого их состояния! У этого жизнерадостного блондина среднего роста, с выхоленными вскрученными усами, а всё лицо сбрито начисто, с удивительно красивыми глазами – карими с поволокой, живыми, но с оттенком грусти, было столько шарма, и так красиво он говорил, настолько не было ни тени озабоченности, такая неомрачённая живость и схватчивость (нет, никак не глуп! нет, никак не докажешь ненормальности), такая сосредоточенность на своём собеседнике и такая пугающая, необычная в чиновных кругах откровенность, – нет, этот человек прочно держался! нет, он что-то верное знал, в чём-то был надёжно уверен! – отпадали все сплетни и приходилось преклонить голову перед его ослепительным служебным успехом. Удача – не судима!

Это всё имело для генерала Спиридовича не психологический интерес, а самый жизненный: в эти дни решалась его карьера и как бы не ошибиться сейчас. Десять лет он был начальником дворцовой охраны, и в глазах всех созрел для административного продвижения. Но как ни возвышенна была его почётная служба и как ни на виду у царственной четы – она же и закрывала всякое продвижение, чем больше ему были благодарны и ценили. И уже два года он пытался найти выход выше. Плут Хвостов-племянник предлагал ему Астраханское губернаторство, – подумалось: глухо, тупик; предлагал одесское градоначальство, – подумалось: мелко, не возвышение. Спиридович и мечтал о градоначальстве, но петербургском, – но именно на это место рвались десятки кандидатов. Дворцовый комендант Воейков всегда выдвигал Спиридовича и обнадёживал. Однако Спиридовича подвело именно особое государево расположение: прошлой осенью вдруг освободилось градоначальство Ялты, в которое входил весь южный берег Крыма, все места царского пребывания и великокняжеских поместий, и царской охоты за Яйлой. И Государь доверил Спиридовичу своё любимое место жизни, сказал: никого другого туда не назначу! И, осчастливленный, Спиридович никак же не мог отказаться: Государь, провожая и даря фотографию со своей подписью (каких, впрочем, несколько было развешано в этом кабинете, и императрицы тоже), завидовал, что не может бросить Ставку и уехать туда же сам. Но именно потому, что царственная чета не жила там теперь, Ялта оказывалась служебным тупиком. (Впрочем, успел представиться там десятку великих князей). И минувшие месяцы Спиридович писал кое-какие письма, и ему писались кое-какие, обнадёживающие относительно петроградского градоначальства. Так что вызов сейчас не был ему неожидан, он так и понял, что его назначат в Петроград взамен Балка. И тут, обласканный Воейковым, он получил фактическое подтверждение, что так и будет, лишь вот Государь отлучился в Ставку. И сейчас, хотя Протопопов делал вид, что не знает назначения, – всё это была милая прозрачная игра. Протопопов, правда, подкупал обращением. (У него и думская кличка была – «Сахарный»).

Однако же, эти дни походя по Петрограду и услышав крики толп на улицах, Спиридович ощутил, что никого эти события не касались бы так близко, как его самого, если б он уже был назначен. Пожалуй, и хорошо, что Государь не успел его назначить: пусть это всё пройдёт без него, не хочется брать столицу в таком взбудораженном виде (хотя можно и прославиться успокоением).

Но уличные волнения разыгрывались, думские речи раскалялись, а в петербургских

гостиных был всё тот же кошмарный мрачный воздух, – и вдруг вся лестница ценностей, как она представлялась Спиридовичу все годы и последние месяцы в Ялте, стала колебаться. Разумно рассчитанное восхождение могло привести не к успеху и чести, но – к шаткой, трудно защищаемой позиции. Конечно, Спиридович был – звезда охраны, а не бестолковый Балк, и сиди он сегодня на Гороховой 2, – он не был бы так беспомощен, и может быть эти волнения уже бы кончились. А если нет?... Он готов был бороться испытанными средствами, но что если при нынешнем общественном отвращении средства уже отказывали? Не благоразумней ли было бы сообразить это заранее, пока ещё Государь не вернулся объявить решение, сообразить вот сейчас, пользуясь приёмом у министра внутренних дел, – и тогда избрать для себя другую линию? Начать какое-то боковое перемещение? Или в Ялту назад? Если дело тут вдруг проигрывается, то зачем заниматься дон-кихотством и лезть с пикою в первый ряд? А если нисколько не проигрывается – то как бы это сейчас верно почувствовать?

И Спиридович выказывал всю свою тоже обворожительную любезность – и впивался разгадать министра внутренних дел.

А живой, улыбчивый, рассыпчатый и перескальзывающий Протопопов был ещё более обворожителен, и произносил монологи, и закидывал голову и закатывал глаза.

Нет, он знал нечто верное!

Пользуясь исключительной приветливостью приёма, Спиридович, в нарушение иерархического этикета, осторожно высказал о смутном настроении общества и, вот, по поводу уличных волнений.

Но как личному давнему другу Протопопов положил ему руку на плечо и с искренней простотой, поблескивая глазами:

– Дорогой мой! Милый мой генерал! А когда наше общество, а когда наш петербургский свет был настроен не смутно? Когда бывал доволен? Разве ему можно угодить? Можно бы утешиться, что народ не разделяет настроений интеллигенции, и конечно не разделяет! Но – кто народ? Крестьянство – совершенно инертно, закрыто в себе. Рабочие – захвачены не нашей пропагандой. **Правых** – как людей, как влияния, не существует, это миф, название пустое, никто их не организует. Духовенство – на нищих деньгах, унижено и подавлено. Скажите мне, где те слои в России, на которые власть опирается или могла бы опереться? Не на банки же!

А веки его вблизи были припухлы, больноваты. И веял тонкий аромат духов.

– Есть только одна опора: обаяние царского имени! Народу в общем безразличны всякие партии и программы, но не безразлично, что есть у него Царь. И вот это – наша надежда. И можно надеяться, что это **всё пройдёт** – как много уже раз проходило!

И вдруг – в ажитации, полужестазе, с ослепительными глазами:

– Конечно, если понадобится – зальём Петроград кровью! Для спасения Государя – пожертвуем нашей жизнью.

Но и потух так же быстро.

Нет, он конечно знал больше, чем высказывал, он нащупывал где-то твёрдое. Если тут же мог на целый час охотно, с полным вниманием и даже одушевлением уйти в ялтинские дела, как их привёз на обзор и запросы Спиридович.

Восхищался открытием дома для раненых офицеров. Вникал в вопросы благоустройства южного берега Крыма, в ходатайства Алушты, Алупки, Гурзуфа, отсутствие военной гауптвахты в Ялте, разрешение от адмирала Колчака на освещение улиц и экипажей, раньше запрещённое из боязни немецкого обстрела. Рассмотрел план большого преобразования самой Ялты и щедро разрешил Спиридовичу не скупиться в расходах по представительству и приёмам.

Наконец рассматривали карту проектируемой прирезки земли от ялтинского градоначальства к дворцовому ведомству – для расширения царской охоты в предгорьях Крыма.

Накануне Гиммер много звонил по телефонам, уговаривая заметных товарищей от каждой социалистической группировки собраться бы в субботу в 3 часа на квартире Соколова на Сергиевской. Обещали быть Керенский и Чхеидзе, а хотел Гиммер дозваться и самых неугворимых – Шляпникова от большевиков и Кротовского от межрайонцев, и на этом совещании думал он развернуть свой дерзкий теоретический план, или не план, так хоть постановку вопроса.

Между другими позвонил и Пешехонову. А этот не только согласился, но незвано привёл с собой ещё двух своих народных социалистов, тем самым сдвигая спектр совещания сильно вправо. А так как никто больше не шёл, и думцы задерживались, то получилась сплошная манная каша: о чём можно говорить с эн-эсами? – безнадёжно смотрел в простоватое мужицкое лицо Пешехонова. В таком собрании даже теоретическое выяснение не представляет интереса. От эсеров же пришёл один недалёкий Зензинов. А думцы всё не шли, всё были заняты.

Николай Дмитриевич Соколов был самых жарких революционных убеждений, но, как и Гиммер, тоже не помещался ни в какую партию, содействуя всем им. А так как он был известный в столице адвокат, то полиция никогда не смела нарушить черты его барской богато обставленной квартиры, – и была она вторым после Горького прибежищем, где открыто сходились представители социалистов обсудить позиции и попкироваться (объединяться никогда не удавалось). Даже была она – первым прибежищем, ибо Горький был почти открытый большевик, и к нему не все бы пошли, например Керенский и Чхеидзе, потому что опасались бы нарваться там на оскорбление.

Сам Соколов, невысокий, лысолобый, но с густой, строго прямоугольной чёрной ассирийской бородой, мог уже никого не приглашать, не занимать, пришедшие и сами друг друга занимали: что интереснее для русского революционера, чем поспорить? Итак, пока остальные не сходились, оставили народников в гостиной самих с собой, а Соколова Гиммер повёл к его же кабинет. Может быть и хорошо, что большевики и межрайонцы не пришли, – свою новую сенсационную теорию, которую он намеревался им излагать, он пока проверит на Соколове.

Собственно, срочности не было никакой, но эти городские волнения, третий день подряд, нисколько не новые, уже бывали такие сто раз, напоминали однако, что когда-нибудь вот так и настоящие долгожданные события застанут их всех врасплох.

У Гиммера была любимая позиция горячо, длинно и настойчиво говорить, переклонясь вперёд, как бы всверливаясь и собеседника. В таких случаях Соколов отклонялся назад, подбирал нижнюю губу над бородой, как бы жевал её, и мог долго слушать, – а он не многих имел терпение слушать, но Гиммера уважал за проницательность (да набирался от него ума).

А вот что последнее время беспокоило Гиммера: мы обращаем всё внимание на агитацию, на лозунги, на форсирование движения, – но кто из нас занимается теоретическими проблемами? (Один он и занимался. В Питере, во всяком случае). Мы бросаем – «долой самодержавие!», «долой войну!», и думаем, что всё остальное как-нибудь придёт. А – как придёт? Мы никак не обсуждаем проблему власти, а она и есть самая главная. Если вдруг совершится переворот, хотя бы типа дворцового, и самодержавие действительно падёт или зашатается, – кто подхватит власть? Нет сомнения, что только буржуазия. Власть, конечно, и должна стать буржуазной, иначе всякая революция погибнет. Потому что демократическая Россия распылена, пролетариат способен создавать боевые дружины, но не государственную власть. Захват власти социалистическими руками был бы – неминуемый провал революции. А главное: и зачем, когда вся цензовая Россия тоже сплотилась на борьбу с царизмом?

Но пока идёт война – тут дополнительная и главная трудность: социалистическая власть не имела бы никакого морального права продолжать войну, она должна была бы немедленно её окончить, – а это значило бы кроме всех трудностей государственной власти

взять на себя ещё новые непосильные задачи: демобилизацию, массовую безработицу и перестройку промышленности на мирный лад. Это непосильно и непомерно, социалистическая власть тут же бы и рухнула. Поэтому и тут тактически правильно возложить войну и задачи внешней политики на буржуазию, а пока между тем вести как бы борьбу за ликвидацию войны.

Уж Николай Дмитрич знает, что перед ним сидит самый непримиримый враг патриотизма и войны. Но даже и он, вот, своим ртом, выговаривает: мы увлеклись! в какой-то мере надо ослабить борьбу против войны, во всяком случае не так её выкрикивать! Это – очень дерзкая мысль, и вот её-то хотелось проверить на товарищах. Секрет в том, что цензовые круги никак не могут принять лозунг «долой войну!», – они и против царизма борются как бы для более успешного ведения войны. Относительно войны лагерь Милюкова-Гучкова не примет никакого компромисса. Если переворот произойдёт как движение против войны – он погибнет от внутренних раздоров. А вопрос власти не стоит так: отдать ли власть буржуазии? Но: *согласится ли* буржуазия принять власть? Если откажется, то это катастрофа, даже одним своим нейтралитетом она погубит революционное движение, отдав его стихии и анархии. (Вон, уже волнения приняли характер грабежей). Всякое «долой войну» цензовые выдадут на разгром реакции. И вот он, Гиммер-Суханов, последовательный циммервальдист, интернационалист и пораженец, – он сегодня пришёл к выводу и осмеливается заявить вслух: чтобы погнать буржуазию смелее брать власть, чтобы заставить её взять власть – мы, социалисты, должны приглушить лозунг «долой войну!», а может быть даже временно – и снять его!

А? Это – дьявольски смелое решение, это – фантастический пируэт! – но Гиммер лёгок на пируэты, малой фигурой, но мощной мыслью. И собирается теперь выдвинуть на общесоциалистическое обсуждение. Это – очень смело, но это вместе с тем и – так, никак иначе! Внешне это выглядит как измена основным принципам? – на самом деле это блистательный тактический шаг!

А лысый озадаченный Соколов, к радости Гиммера, с какого-то момента стал ему немножечко подкидывать – сперва глазами, потом и целой головой. Это очень вдохновило Гиммера продолжить и развить свой монолог. Наконец, кивал ему такой же антиоборонец, такой же интернационалист-циммервальдист, что – да? Да. Они увлеклись с отрицанием войны, и грозит им не только потеря единого фронта с буржуазией, но даже и раскол в собственных рядах. Потому что и эн-эсы, вон та пешехоновская компания в гостинной, – они тоже на этом лозунге отколются. А у нас – засилие оборонческого меньшевизма, это сейчас поможет. Да, для спасения единства – антивоенный лозунг надо было бы притормозить. Если бы... если бы не большевики.

Соколов и сам лучший друг большевиков, вот что. А его адвокатский помощник Козловский, в этой же квартире и живущий, только что сейчас не привязался в кабинет, – так и вовсе отъявленный большевик. Но одобрение Соколова не так много и стоит, потому что, увы, увы, не так-то и умён.

Ах, эти большевики! Прямолинейные, негибкие до дурости, неспособные вдумываться глубоко, а только сдирать с поверхности популярные лозунги. Таков и Ленин в Швейцарии (любимый и жуткий противник-союзник!), таков и Шляпников здесь. И с ними-то – придётся побиться. И нет никакой уверенности, что...

Но успокоил Соколов, что из уст такого известного ненавистника патриотизма, как Гиммер, подобная теория не зазвучит злобно контрреволюционно. Уже хорошо.

Эти дни течёт стихийное народное движение, а между революционными центрами – с кем и о чём можно договориться? Разброд и растерянность. Про себя глотали слюнки, что создать бы Совет рабочих депутатов, как в Пятом году, но... но...

Тут из гостинной раздался характерный звонко-надорванный голос Керенского – и оба поспешили туда.

Чхеидзе не пришёл. А Керенский пришёл только как рыцарь слова, потому что обещал, – но совершенно некогда: после думского заседания вот был сеньорен-конвент, а через час

надо...

Керенский всегда так выбегивался в движениях, так выговаривался в речах и разговорах – что по контрасту на короткое время любил и умел принимать в креслах опущенно-расслабленные положения: кисти свешивались с подлокотников, узко-длинная голова с коротким бобриком повисала назад, замирала, отказывал язык и даже, вот, глаза закрывались. В такие миги Керенский отдыхал для новых взрывов и прыжков, но вопреки видимости – всё хорошо слышал, что говорилось, и важного не пропускал.

А говорилось – тут ещё прибыли свежие – что всё-таки разлив волнений необычайно велик в этот раз: на центральных площадях – почти сплошной митинг, на Знаменской площади левые ораторы говорят непрерывно и беспрепятственно. Все винят самодержавие как источник всех бедствий и продовольственной разрухи. Казаки никого не давят, а один даже, говорят, наскочил на пристава и отрубил ему голову. Но самое замечательное, что сочувствует обыватель центральных кварталов, – это создаёт благоприятную обстановку в буржуазной части города. Создаётся такое общее настроение, что всё штатское население – заедино и против военно-полицейских властей, замечательно! А в действиях властей, напротив: никакой решительности, ни – планомерности. Их бездействие воодушевляет. Весь Петроград, во всех конторах и редакциях, не занимается, а только все говорят о событиях. Движение разливается – свободно! И... и... И – что же?

И что же? – никто не знал. Насколько же этим всем можно руководить?

На Керенского всё сказанное не произвело заметного впечатления, он так и прокаменел, ни разу не вздрогнув, не воскликнув. И этим охладил многих здесь. Да кому ж, как не ему, было и видней? самый яркий демократ в Думе! Да ведь все здесь и хотели не столько ему рассказывать общеизвестное, сколько от него услышать, чего не знает никто. Вот, он пришёл с сеньорен-конвента, то есть с совещания одних лидеров думских фракций, куда допущено всего десять человек. А перед тем сидел несколько часов на думском заседании, и наверно же выступал, ещё тоже никто не знает. А самое-то интересное – это кулуарные думские разговоры, кто у кого что подслушал, – этого уж совсем никто не знает, а там дуют ветры истории, и в этом весь интерес!

Гиммер ли не знал Керенского (и восхищался им, порой завидовал его активной роли). Сколько раз он на его квартире скрывался, ночевал в его кабинете, с длинными разговорами за полночь, когда оставался Керенский непрочным барином в ярком сартском халате, или в холодноватой квартире покашливал в фуфаячке как гимназист. Сколько между ними было язвительных пикировок, никогда согласия, и всё вновь возобновляемые диспуты. Достаточно привык Гиммер и к патетическим взрывам Керенского, но и достаточно знал его упадочную хилость, когда тот спотыкался и еле волок принятую на себя роль громозвонного разоблачителя режима. И даже большую роль предсказывал Гиммер ему на будущее: что при его популярности, левости, радикальности и неистощимом ораторском темпераменте – ему не миновать стать центральной фигурой будущей русской революции, если их поколение до неё доживёт; предсказывал, не всегда и веря сам, – а Керенский только похихатывал, отрицая (но сам определённо задетый). Даже знал Гиммер подробности нелегального участия Керенского в эсеровских подпольных делах, как он бестрепетно злоупотреблял своим депутатским положением и был уже запутан полицейскими уликами, а последние месяцы через одного провокатора впутан в историю настолько вязкую, что ему грозила, как он хвастался, по истечении депутатских полномочий будущей осенью, если не виселица, то каторга, – и благоразумней было думать не о переизбрании, а скорей – эмигрировать вовремя; и даже может быть последняя смелая речь его против трона, с думской трибуны десять дней назад, нигде не напечатанная, была сумасшедшей попыткой славно погибнуть в этом капкане. Привык Гиммер, знал, – но в каждую минуту не мог ожидать, с какой силой, каким движением этот бурнопламенный политический импрессионист вдруг перейдёт от задумчивости к извержению мыслей и слов.

Так и сейчас, прокаменев, прокаменев эти рассказы о якобы невероятном разливе движения, Керенский как будто вселился вновь в своё узкое юношеское тело из какого-то

невидимого полёта, посмотрел на собравшихся с огромным значением, и сказал:

– Прогрессивный блок, господа, левее непоправимо! Хотя буржуазная депутатская масса – в панике и растерянности. Она не пытается стать на гребне событий, но пытается их избежать. И это открывает небывалые возможности перед демократией!

И быстрый взгляд его зажёгся, удлинённое лицо осветилось, и голова легко поворачивалась на шее тонкой и слишком даже длинной, но и охваченной высоким крахмальным воротничком, как только что был он в Думе, – и он стал говорить, без разгону, сразу возбуждённо, захваченно, – о тех ослепительных комбинациях, которые сейчас могут составиться из сотрясённого думского калейдоскопа, и видно было, как он любил эту думскую жизнь, и каким виртуозом был в ней.

И в этом чистом воодушевлении, каскадном потоке речи, Гиммер уловил новое подтверждение своему плану: вот-вот! так может быть Дума и в самом деле не потеряна для целей пролетариата? От провидений Керенского слушателей всегда брала дрожь. Почти пулемётная речь этого молоджавого депутата – сносила и сбивала.

И Гиммер – сробел, не нашёл в себе сил выступить сейчас здесь со своим теоретическим открытием, хотя Керенский как революционный оборонец мог как раз и оценить мысль. А мог – и сбить её совсем.

Задавали вопросы о Думе, говорили о Думе, строили предположения о разных положительных возможностях, – вдруг Керенский выскочил из кресла по диагонали, как бы вдогонку за промелькнувшей молью, – и уже не задержась для дальнейших обсуждений, а только бросив на ходу, что спешит в кипящую Думу, но через час они могут зайти к нему на Тверскую за новостями, – ушёл, почти убежал к своим обязанностям и возможностям.

Через час Гиммер с Зензиновым шли к Керенскому домой. Такая была вытягивающая возбуждённая обстановка, что только и оставалось весь день до конца и до глубокой ночи – слоняться, переходить с острова на остров, дальше обязательно к Горькому на Кронверкский, и только узнавать новенькое, узнавать новенькое.

Керенский жил позади Таврического сада, и надо было им теперь идти по Сергиевской до Потёмкинской, потом либо взять налево по Шпалерной, либо направо по Кировой, – всё придумские кварталы. И странно: может быть под куполом Думы и клокотало, как говорил, самим собою изображал Керенский, – но клокотание это вот не передавалось ни на единый квартал: не было сейчас во всём Петрограде более тихих мирных кварталов, чем близ Думы, таврические.

Нет, не была Государственная Дума никаким центром движения, ни надеждой его, и что-то не рвался сюда ни единый человек. Побоявшись рабочей демонстрации 14 февраля – вот, они сами себя подрезали и скоро будут жалеть.

34

Утром пришёл в пустую библиотеку, где томился Фёдор Дмитрич, один профессор. И уверял, что видел сейчас на Невском настоящую казачью атаку. Федя скрыл усмешку: что может профессор понимать в казачьей атаке. «Рубили?» Рубили или нет – профессор не видел, потому что быстро свернул в боковую улицу. Но – шашки сверкали, сам видел.

Федино сердце упало. И потому упало, что, значит, *ничего не будет*, всё безнадёжно. А больше упало – за казаков. Он чувствовал себя в Петербурге чуть не главным ответственным за всех казаков, ведь именно его будут попрекать порядочные люди за каждый казачий проступок. Вчера у Казанского ему так показалось, что казаки трезвятся и не будут больше охранными псами. А значит – опять?...

Замутило, затянуло, и, освобождаясь в библиотеке, не сел он к своей любимой тетрадке (да завтра воскресенье, весь день свой) – а опять поплёлся на Невский, да не поплёлся, а надал ходой.

На Николаевском мосту стояла преграда – из военных и полиции, но как-то никого не

задерживала, лишь бы шли порознь. Мост над снежной Невой со вмёрзшими судами был полон по тротуарам как добрая улица.

Стало пасмурно, малый морозец, и еле-еле сыпался мелкий снежок.

После моста Федя вскоре ждал смуты, следов боевых столкновений. Но ничего подобного не было, и ни по какому признаку не догадаться, что в городе где-то беспорядки. Прошёл Английской набережной, пересек Сенатскую площадь, мимо львов военного министерства пошёл на улицу Гоголя. Люди шли с обычной озабоченностью по своим делам, кто с покупками, свёртками, кульками, портфелями, нотами.

Только по Адмиралтейскому проспекту под мальчишечий рассыпной крик проехали разомкнутой стеной казаки, но никого не трогая. До Исаакия и назад.

У банка Вавельберга стояло несколько лакированных автомобилей, ожидая своих богатых седоков. Тут, зазевавшись на переходе улицы Гоголя, Фёдор Дмитрич едва не попал под извозчика: тот нанёсся за спиной совсем внезапно и слишком поздно крикнул резко:

– Брг-ись!

Федя выскочил из-под самой лошади, замывшейся на ходу, крикнул бранное кучеру, тот ему, едва охватил глазами двух молодых дам, отъединённо беседующих в быстрых санках, и в то же мгновение услышал за спиной ещё громче и резче:

– Брг-ись!

И опять шархнул, но это был не извозчик, а озорной рабочий парень в финской шапке, и крикнул он не Феде, а тому кучеру, в ответ и в предупреждение. И ещё успел напугать дам: две головки дружно обернулись через середину, опоминаясь о какой-то уличной жизни, – а парень высунул им язык.

Фёдор Дмитрич отошёл в первое же стенное углубление и всё это записал.

Невский вовсе был свободен сегодня от трамвайных вагонов, вчера замерших, возвышенных над окружающим, – весь просторен в длину и казался шире обычного, да что-то и толп не видно, а говорили, не загорожен и армейскими строями, – а неслись извозчики, собственные рысаки, фырчали автомобили, густо шла тротуарами обычная публика проспекта, сейчас без примеси ватных пиджаков рабочих парней, шли чиновники, нарядные дамы, офицеры, гимназисты, рассыльные, бабы-мещанки в полушубках, приказчики из магазинов, – и все магазины торговали бойко, да ведь суббота вечер, и ни одно стекло не разбито, и кой-где городовые стоят, но только то необычно, что по двое.

Увы, будняя жизнь опять беспросветно заливала неколеблемую столицу.

А может – и к лучшему так, чтоб не разрывали сердце казаки.

Вдаль, в лёгкую дымку снежка, уходили бездействующие трамвайные столбы.

На расширении у Казанского собора всё же надеялся Фёдор Дмитрич увидеть вчерашнее море голов. Нет. Была ещё толпа – но не такал необъятная. И ничего не делала. И как будто расходилась. В истоптанном снежном сквере чернели порознь, всяк себе, Барклай-де-Толли, и Кутузов, и дуги ребристой колоннады вводили в собор.

Ну, а если уж у Казанского всего-то – то и нигде.

Вчерашнее не повторилось, как не повторилась и вчерашняя удивительно светлая вечерняя заря.

Правда, два раза проехали верховые отряды, в ту и в другую сторону, сперва казачья полусотня, потом конная стража. Они проезжали зачем-то во всю ширину Невского от дома до дома, вплоть к тротуарам, то ли силу давая почувствовать, – но и никак не угрожая. Но публика, не пугаясь, сдвигалась, а извозчики и автомобили задерживались накоротко, – и снова всё двигалось.

Дальше не пошёл. Сильно усталый, отчасти и в досаде, вернулся Фёдор Дмитрич к сумеркам домой.

И тут вскоре один приятель из их редакции, заметный среди народных социалистов, позвонил ему на квартиру возбуждённо.

– Ну? Вы знаете, Фёдор Дмитрич? На Невском...

– Что на Невском? – с невесёлой насмешкой отвечал Федя. – Да я только что его

прошёл весь, до Аничкова моста. Ничего там нет.

– Говорят, на Знаменской, у вокзала... Стреляли. И казаки ваши – зарубили пристава! Ну, и соврут! Ну, и придумают! Казаки – пристава?...

– Вот до Знаменской не дошёл. Так именно там?

– Очевидцы рассказывают...

– Этих очевидцев, знаете, слишком много развелось. Как старожилов. Никому не верьте.

И – молчали в телефон. Именно потому-то и не надо было верить, что так хотелось!

– Со вчерашним днём никак не сравнить, схлынуло, – уверял Фёдор Дмитрич. – Значит, сил наших не хватает. А они сильны. Знаете, у Чехова есть такой рассказ – «Рано»? Пришли нетерпеливые охотники на вечернюю зарю, постояли-постояли, – нет, не летят, **рано** ...

И сколько же жизней человеческих надо? Сколько сил душевных, чтоб дотерпеть, дожидаться?... Да будет ли вообще когда-нибудь, хоть при внуках наших?

Печально молчали в телефон.

35

Колыхает подводной загадкой измена так же, как и любовь. Есть причина у любви – есть и у измены?

Тогда, в октябре, Вера сама видела, как эта измена рождалась. Ото взгляда ко взгляду изумлялся и завлекался брат. В один вечер огненно забрало его. У Шингарёвых она смотрела на неравные пересветы двух лбов, и гордость за брата, что Андозерская его оценила, заслонялась страхом: эта женщина просто брала его, открыто тянула, а он принимал её взгляды вопросительно-готовно. А потом он исчез на пять дней, почти до отъезда. Вернувшись, ничего не объяснял. Понималось – не называлось, Вера не могла переступить первая. Потом – сумасшедшая телеграмма из Москвы, что может нагрязнеть Алина, – то есть уже узнала?

Нравственное право вести или не вести себя так стояло и перед Верой. Если приложить встречные усилия, она уже притянула бы Михаила Дмитриевича к себе. Но такого права она не смела себе присвоить. Хотя и чувством и разумом знала, что это было бы для обоих них единственное счастье, – она не смела вмешаться и подогнать то, как оно само течёт невидимо и непредвидимо нами. Её вера разрешала только: ждать, как Бог пошлёт, и надеяться. Как няня говорит: наша доля – Божья воля.

Георгий прожил сорок лет и женат десять, а как будто никогда не придавал значения женитьбе больше, чем общепринятой жизненной обыкновенности. А Вере виделась в браке тайна большая, чем просто любовное схождение двух: в браке – иное качество жизни, удвоение личности, и полнота, не достижимая никакими другими путями, – завершённая полнота, насколько она вообще может быть завершена для человека.

Этого удвоения, нового наполнения – она не видела в Георгии.

Четыре последних месяца Вера ничего не знала о брате, он написал-то один разик. Андозерскую встречала изредка в библиотеке, здоровались, но ни по шелоху нельзя было ни о чём угадать. И вдруг вот – всё прорвалось от Алины, телеграммами, упрёками, и сразу Веру бичевали как союзницу и укрывщицу измены. И на словах отрицая, она душевно приняла эту роль, уже обвинённая, так и ладно. (Всё хотел их с Алиной сдруживать – и вот поссорил).

Душевно приняла, душевно же не принимая: невозможно и самым близким уступать, где вообще уступать невозможно. Если признать всеобщую правоту измены, то кончится всякая вообще жизнь. Если не радостное бремя любви, то долг надо нести, иначе всё смешается и порушится.

Но здесь были: любимый брат и очень не любимая Алина. В Алине так многое не нравилось Вере – больше всего отталкивала её напряжённая нервная гордость, за этой гордостью не чувствовала Вера, чтоб Алина любила Георгия, а скорее всегда себя, а чтоб он

прилюдно выражал к ней любовь. Так многое не нравилось – легче было пересчитать, что нравилось.

Неединое и запутанное чувство возникло у Веры.

По телефону она не решилась передать брату угрозу Алины, в которую сама не поверила, – угрозу самоубийства. Но когда он приехал на Караванную – уже очень смущённый, и даже потерянный – не могла дальше скрывать.

И Георгий – сразу посерел. Он опустил на стул, даже не скрывая, какая повела его, подёргала мука. Вся энергичная уверенность и весёлость покинули его, твёрдые губы потеряли определённую форму, кожа лба ссунулась на глаза.

– Я ведь тогда жить не смогу, Веренька! – сказал открыто.

И одно его было желание – скорей, мгновенно перенестись к Алине, откладывать – только невыносимей. Уж скорей туда! Скорей билет!

Но не только не соглашалась Вера отпустить его самого на вокзал, – он объехал Невский стороной, а что на Знаменской творится, он не представляет! там сегодня казак зарубил полицейского! – в таком потерянном проигранном состоянии, да ведь и не решено ничего, – так мгновенно она и вообще не хотела отпускать его к Алине. Он должен был очнуться, побыть тут, у них с няней, укрепиться.

И она взялась тотчас идти сама, перекомпостировать ему билет с Виндавского на Николаевский вокзал. А чтоб он помылся, поел, пожил пока часы дома. Няня уже вступала властно в свои заботы: ещё пока воду не пререкли, а то не будет?

Не уверенная, что работает городская станция на Большой Конюшенной, Вера пошла прямо на Николаевский вокзал. Шла совсем погружённая, захваченная этим новым душевным переплетением, куда её втягивало. Как помочь брату? Он совсем потерял, он не знает как быть, но, кажется, не только жалеет Алину – он её боится. Так явно и по телефону и сейчас: ужасно не то, что это всё произошло, происходит, – а ужасно, что Алина узнала, и теперь весь кошмар объяснений снова.

Переходила по Невскому Литейный – ничего особенного не заметила, только густое оживлённое, не стеснённое трамваями движение во все стороны и наискосок по перекрестку. На нём высился разъезд конной полицейской стражи, два всадника, ни во что не вмешиваясь. А прошла ещё шагов тридцать – сзади раздался оглушающий взрыв, такого в жизни не слышала! – сердце остановилось, не успела испугаться – второй! Все люди кинулись в разные стороны, Вера тоже – как шла, но упёрлась в людскую стену: все остановились и оглядывались, боролся страх с любопытством. И кто повыше или позорчей, объявил: бросили две бомбы под лошадей, лошади ранены и один жандарм.

Да что ж это, Господи? Скорей проталкивалась Вера вперёд и уходила к вокзалу.

Шла своими глазами посмотреть, что там делается, можно ли брату?

Очень было густо в конце Невского. И вся Знаменская площадь невиданно залита народом – возбуждённым, бездельным, чего-то ожидающим, – благо не беспокоили их ни в какую сторону трамвай, ни со Старо-Невского, ни по Лиговке. У памятника стояли с красными флагами, руками размахивали, не слышно. И полиции в этом толпяном море не было видно, и на конях не возвышались, ни казаки.

И внутри вокзала толпилось народа больше, чем могло бы уехать или встречать. Может быть грелись.

А у кассы – не много людей. Стала в очередь.

Почему он так ослабел? Почему он так потерял опору? В самом себе. И в любви? Кто любит – тот всегда силён.

Заносы на Николаевской дороге прекратились, поезда возвращались в расписание. На сегодняшний поздний вечер – были билеты, правда, не слишком хорошие. Но Вера решила не брать.

Затруднений с Виндавской дорогой не оказалось, перекомпостировали на Москву на завтра, на 11 утра. Ну, вот так хорошо.

На площади стояло и переливалось всё то же самое. Страшновато было возвращаться

опять по Невскому, но иначе много крутить. Да все валили. Вера пошла теперь по другой стороне, не там, где был взрыв.

Осенью уезжал такой стремительно-счастливый, всё в нём пело. А сейчас узнать нельзя.

Трое полицейских стояло против Николаевской улицы. Их не трогали.

И на углу Владимирского тоже трое. Но к ним подтеснялась толпа, и на вериных же глазах – бросились. Один городской вытянул вверх руку, выстрелил из револьвера, другой выхватил шашку, она мелькнула высоко над головами, всем видно, – но тут раздался новый выстрел, и шашка рухнула. И была толчея, толчея, несколько криков, – и можно было идти дальше. И Вера быстро пошла по тротуару, не оглядываясь. Говорили, что полицейских разоружили, и только.

Странно: разоружают городских, как будто так и должно быть, и жизнь продолжается, как ни в чём не бывало. Густо и возбуждённо текла по тротуарам публика. Много мешанок и рабочих баб, каких на Невском не бывает. Иногда насмехались над богато одетыми, кричали им ругань.

После Аничкова моста Вера ушла с Невского. На Итальянской и на Караванной было всё обычно.

И не вся б эта беда – то какая радость видеть Егора дома! (И как бы отклонить его, чтоб он сегодня вечером не поехал к *ней* опять?) Была на нём старая домашняя куртка, которая держалась годами специально для приезда брата, – и вот он был в ней сейчас вместо кителя, при военных брюках, но и в чувыках, такой одомашненный.

Взяла на себя Вера преувеличить и задержку поездов от заносов, ничего подходящего на вечер, а завтра утром – хорошее место и уверенно. Взяла преувеличить и грозность на площади, рассказала и случаи на Невском. Брат был поражён, он такого не видел, когда ехал по городу. Да впрочем, всё сегодняшнее, откуда ни собери, состояло в том, что полиция нигде не стреляет, публика легко разоружает полицию, а войска не вмешиваются.

Всё это было как будто и очень серьёзно, а вместе с тем жизнь текла вроде обычная.

Няня стояла в дверях и ахала. А у нас рядом, в Михайловском манеже, стоят конные городовые вместе с казаками, так говорят: мы казаков больше боимся, чем бунтарей.

Брат на каждую новость вскидывался, хмурился, удивлялся: если б не от сестры, да не от няни, так поверить было нельзя. (Вскидывался-то он да, но охмур у него был уже круговой, серый, нельзя узнать, и глаза не блестели). Самое непонятное, почему власти не принимают совсем никаких мер. Так понимал Егор, что правительство – запуталось.

Он был просто болен – такой весь вид, и домашняя куртка на нём – будто надел по болезни. Господи, хоть бы уж сегодня вечером побыл дома!

Теперь бы само открывалось брату и сестре разговаривать прямо? Не о том, разумеется, как это случилось, как он полюбил! (да полюбил ли? вот что! – она и этой новой любви на лице его не видела), а: что же теперь делать? Сам по себе Петроград ещё не был бы полным доказательством для Алины. (Егор рассказал теперь сестре, что в октябре сам, по глупости, открыл Алине. А Вере – понравилось, это было прямодушно, это – был её брат!) Но то, что он никак не сообщил ей о поездке – ни при выезде, ни с дороги. А теперь...

– Ведь это очень серьёзно у неё, – повторял он над письмами Алины, перечитавши десять раз. – Ведь я её знаю, она решительная!...

Ну – не так. Ну, не настолько. Ранена? уязвлена? но не в таком же отчаянии? – уговаривала сестра.

– И разве мне её теперь пере... убедить... пере...

Угнётся брат. Угнулся.

Он ехал к Алине – обречённо.

Как его укрепить?

Как? Его сама поддержала бы любовь – или там, впереди, к жене, или отсюда, из-за спины, – ураганная? сверкающая? Но Вера вглядывалась, вслушивалась – и с тоской, и почти страхом не видела укрепляющих знаков ни той, ни другой. А – потерянность, и даже пустота.

Что же это? Как это может быть?

Что ж, ему этот дар вовсе не дан?

Видно, ему и самому показалось святотатственно ехать сейчас назад к Андозерской. Мрак на душе. Сказал, что ночует здесь и до поезда никуда не поедет.

Вере – и радость. После того как брат позвонил Андозерской – позвонила и Вера своей сослуживице и отдала ей билет на премьеру «Маскарада» сегодня в Александринке. Так задолго покупала его, так долго ждали все этого дня, – но брат, и вдруг дома!

Не сказала ему ничего о спектакле.

Егор потерял свой обычный темп и порыв, много сидел, задумавшись, а ходил по комнатам совсем медленно. Улыбался смущенно:

– Вот видишь, как получается, Веренька...

Он уже весь был под нарастающей властью Алины. Уже готовился только к ней.

Самое правильное было бы сейчас – посидеть вечер да разобрать вместе все осколки, все ниточки.

Когда думал, что Вера не смотрит, – ссунутое лицо.

Он совсем не был готов.

– А из Москвы прямо в армию?

Ободрился:

– Да, сразу в армию.

Ему только бы Москву как-нибудь проскочить.

Кормила их няня постным обедом: рыбным заливным, грибным супом, пирожками с капустой. С Верой она всегда вместе ела, а тут, как ни заставляли сесть за тарелку, – поспешала вскочить и услужить. Услужить не как господам, а – как маленьким, ещё не умелым ложку держать, из кружки пить.

Егор уж отвык от её лица, но Вера хорошо видела складку горя – сегодняшнего, за него.

А тоже и няня сама не заговаривала. Только и не продагивалась в улыбку.

Что-то сказал Егор о посте, что на фронте не блюдут, разве Страстную. Няня, губы пережимая, посмотрела на него стоя, сверху:

– И ведь не говел, небось?

– Нет, нянечка, – с сожалением Егор, даже искренне.

– А тебе -то – больше всех надо! – вlepила няня, не спуская строгого взгляда.

Егор сам себе неожиданно, лицо помягчело:

– А пожалуй ты и права, нянечка. Поговеть бы.

– Да не пожалуй, а впрямь! – спохватилась няня. – Ноне суббота, идём-ка ко всенощной в Симеоновскую. И исповедуешься. А завтра до поезда к обедне успеешь. И причастишься.

Отодвинула форточку – слышно: звонят. Великопостно.

Но когда это вдруг открылось совсем легко и совсем сразу – Егор замялся. Видно, уже большая у него была отвычка. А скорей – не хотелось ему исповедоваться – вот сейчас, по горячему делу.

Замыкал, замыкал, что – пожалуй не успеет. Что, пожалуй, другой раз.

Прикинули – и правда, может завтра до поезда не успеть: по этим волнениям пути не будет, и извозчика не найдёшь, и не проедешь.

– Ну, дома помолимся! – не сразу уступила няня.

В кругу, где обращалась Вера, где служила она, – в церковь ходить или посты соблюдать было не принято, смешно, и даже говорить серьёзно о вере. И там – она хранила это как сокровенное, другим не открытое.

Но Егор – не готов был душой, она видела. И защитила его перед няней, что он никак не успеет.

Подошла няня к сидящему со спины, он так приходился ей по грудь, положила руку ему на темя, и певуче:

– Егорка-Егорка. Голова ты моя бедовая. Горько тебе будет. А делать нечего. Пожди,

пожди. – Другой рукой, углом фартука, глаза обтёрла. – И что у вас, сам дель, детей нет? Другая б жизнь была.

Сказала – как толкнула. Егор глаза распялил:

– Правда, нянечка, нет. Кончились Воротынцевы.

– И эту, – рукой на Веру махнула, – замуж не выгоню. Хоть бы уж для меня-то подбросили.

Егор хорошо, светло и прямо посмотрел на Веру. Как будто они об этом всегда и говорили легко.

Вера покраснелась, а взгляда не опустила. Открыла им няня эту простоту.

Слишком добросовестно собирала справки для читателей? Засиделась в уголке за полками?

А когда и встретишь – так женат. Или связан.

Да как же хорошо втроём, всем вместе! Хоть один-то вечерок!

Оттаял Егор:

– Хорошо мне у вас. Никуда не пойду.

Не пошла и няня ко всенощной. Редкость.

Уже стемнело. Няня зажгла в своей комнате лампадки, позвала Егора, подтолкнула:

– Тебе лишние разговоры сейчас – только крушба. А подит-ка там у меня посиди, не при нас. Да и помолишься. Всякому благу Промысленник и Податель, избави мя от дьявольского поспешения!

36

А сегодня стояла в Могилёве ветреная серенькая погода, хорошо, что не мять. Эти снежные бури последних дней на юго-западных дорогах сильно прервали армейское снабжение. (И оттуда доносят, что продуктов осталось на три-четыре дня по армейской привычке, конечно пригрозняют положение, чтобы не остаться пустыми).

Утром пришла телеграмма от Аликс: у трёх заболевших температура высока, но признаков осложнений пока нет. Ане – особенно плохо, просила помолиться за неё в монастыре. В Петрограде – беспорядки с хлебом, но спадают, и скоро всё кончится.

Сходил на обычный доклад к Алексею. После столького перерыва он продолжался полтора часа, озирали положение всех фронтов и снабжение.

Ни в каком таком докладе за всем не уследишь. Как-то, в лазарете государыни, обходил Государь раненых, и офицер-грузинец рассказал ему о кровавой атаке у Бзуры в январе Пятнадцатого (ещё при Николаше) – сколько, сколько положили за деревню Большой Камион – взяли, вослед сами и отошли. Грустно. Не удержался, и вслух: «А для чего это нужно было?» Никогда об этом эпизоде и не слышал.

Погода позволяла обычную загородную прогулку на моторах. Выехал раньше, заехал в Братский монастырь (за высокой стеной он был близко на городской улице), приложился к чудотворной Могилёвской иконе Божьей Матери, помолился отдельно за бедную калечку Аню Вырубову, и за всех своих, и за всю нашу страну.

Съездили по шоссе на Оршу.

После чая пришла, сегодня не задержалась, петербургская почта – драгоценное письмо от Аликс, вчерашнее и длинное. И ещё – от Марии. Успел жадно пробежать их, но надо было идти в собор ко всенощной.

Пошёл в кубанской казачьей форме.

Хорошо пели, и служил батюшка хорошо.

Воротясь, послал Аликс благодарственную телеграмму за письмо. И теперь сел перечитывать его несколько раз, с наслаждением и вникая. Много дорогих подробностей.

Она – неумоимо носилась между больными и даже продолжала деловой приём. Сколько же в ней сил, несмотря на все нездоровья, и сколько воли – собрать эти силы! Солнышко!

И в новом письме она снова повторяла свои уговоры последних дней: что все жаждут и даже умоляют Государя проявить твёрдость.

Все эти одинокие дни в нём и так уже прорабатывалось. Твёрдость – да, без неё нельзя монарху, и надо воспитывать её в себе. Но – не гнев, но не месть: и твёрдость должна быть – доброй, ясной, христианской, только тогда она принесёт и добрые плоды.

Тут же Аликс напоминала о бунтовской речи некоего депутата Керенского, произнесенной в Думе дней десять назад. Говорят – он там призывал едва ли не к свержению монархии. Депутат – и открытый мятежник, это уж совсем парадокс, правда. Но уже немало обойдено Верховной Властью дерзких думских речей этой осени – хоть и Милюкова, хоть и Пуришкевича, или мятежных речей на съездах Земского и Городского союзов, – и что же? Ничего, всё спокойно обошлось. Поговорить, даже позлобиться – людям надо давать, в это уходит их лишняя энергия, после этого они работают лучше.

Ещё просила Аликс – то о должности для генерала Безобразова (но после больших потерь в гвардии неудобно было пока его ставить), да не забыть очередной крест Саблину (это непременно), и поддержать адъютанта Кутайсова в конфликте с одним из великих князей. И ещё напоминала: непременно написать английскому королю о поведении посла Бьюкенена.

Это – верно она напоминала. Бьюкенен давно перешагнул все дипломатические приличия и правила. Он открыто сблизился со всеми врагами трона, дружески принимал Милюкова, обвинившего императрицу в измене союзному делу, у него в посольстве думские вожди и даже великие князья заседали, злословили, обсуждая интриги против Их Величеств, если не заговоры.

А на последнем приёме, под Новый год, Бьюкенен перешёл все границы, выразившись, что Государь должен заслужить доверие своего народа. С изумлением посмотрел Государь в холодное лощёное лицо посла с рыбьими глазами. И ответил, что – не следует ли обществу заслужить доверие монарха прежде? Даже сесть ему не предложил, оба простояли весь приём.

И с того дня Бьюкенен не переменялся, интригует даже пуще прежнего.

Неизбежно писать Георгу, да. Чтоб он воспретил, наконец, своему послу вмешиваться во внутреннюю жизнь России. Ибо это ослабляет русские усилия в войне и, таким образом, не идёт на пользу и самой Англии. Георг поймёт, исправит.

Просить большего – отозвать посла, Николай считал слишком резко, это будет Георгу досадно и даже оскорбительно. Но и о меньшем Николай всё откладывал написать. Потому что он любил своего двоюродного брата Джорджи и не хотел доставлять ему неприятных минут.

Да, ещё же писала Аликс о беспорядках с булочными в Петрограде, разбили вдребезги Филиппова. Всюду плохо с подвозом хлеба, да, мятели. Но теперь они прекратились – и всё скоро наладится.

И в это самое вечернее время, пока Николай сидел над письмом Аликс, намереваясь отвечать, – принесли от неё телеграмму: что в Петрограде «совсем нехорошо».

Вот тебе раз... Не знал бы что и думать, но тут же принёс Воейков телеграфное донесение Протопопова: просто – распространились по Петрограду слухи, что отпуск хлеба в день на человека будет ограничен по фунту – и это вызвало усиленную закупку хлеба, рабочие забастовки и довольно большие уличные беспорядки, шествия с красными флагами, задержки трамваев, пострадало несколько полицейских чинов, ранен один полицмейстер, убит один пристав.

Довольно серьёзно, – нахмурился Государь. Но тут же прочёл дальше: что зато, напротив, буйствующие толпы местами приветствуют войска, а ныне принимаются военным начальством энергичные меры. В Москве же – спокойно.

Молодец, Александр Дмитрич. Умница. (А то стало казаться поздней осенью, что у Протопопова – какое-то перескакивающее внимание, несосредоточенность, видимо последствие болезни. Но, слава Богу, преодолел. Чудесный человек!)

И от военного министра Беляева была телеграмма, что меры приняты, ничего серьёзного нет, к завтра всё будет прекращено.

Аликс могла просто слишком принять тревогу к сердцу, да при больных-то детях. Государственные дела надо воспринимать с холодком, а она слишком всегда горячится.

Но – всё никак не удавалось Николаю сесть за письмо к жене. Какой-то урожай телеграмм: пришла ещё и от князя Голицына, и странная: что он просит либо расширить его полномочия – либо назначить вместо него другое лицо.

Бедненький князь Голицын, не по нему эта должность. Куда ж ещё шире ему полномочия, чем председатель совета министров – и с подписанным готовым указом о перерыве в занятиях Думы, только проставить дату?

Но – где найдёшь для России достойного премьер-министра? Нету их.

Телеграфно успокоил Голицына, подтвердил его полномочия...

Что ж такого? – забастовки, беспорядки, но идущие к концу? Бывало и раньше.

37

Даже смерти хотелось. Именно смерти: чтоб ничто другое не пришло на смену этому.

Ушла в себя – значит, ушла в его тепло. Он – речной, ветряной, а от него идёт тепло, – даже не то, которое передавалось руке. Всё от него – тёплое.

И теперь жила этим теплом, не тратя его.

Почти всегда можно скрыть плохое настроение. Но такое чудесное – скрыть невозможно. Кто видит, каждый спрашивает: что с тобой?

Ни – читать, и ничего делать. Просто сидеть и наслаждаться таким чудом.

Все мешают. И поклонник-революционер. Отойдите, оставьте меня.

А могло – ничего не быть. Он мог не оказаться там в ту минуту. Или не решилась бы подойти. (Это в ней не своё проявилось – подойти).

Знает Ликоня, что глупо вела себя в сквере. Но он – так добро встретил.

А может быть потом – раскаялся?

Почему он сказал – «не раскаивайтесь»?... Боже, да поверил ли он, что у неё никогда *такого* не было? Что он подумал о ней?...

... Но вот чего не ждала – что он вмешается в этот день снова! Рассыльный принёс от него – записку!

Что-нибудь плохое??... Со страхом горячим разрывала конверт.

Нет, хорошее...

Что он не всё сказал ей в сквере, и непременно хочет видеть сразу, как вернётся.

А тогда – рано! Хорошее – рано! (И так уже вся – смятая...) Слишком много для одного дня! Нужно время! Она нуждается во времени – разобрать в душе полученное, зачем ещё и записку сразу?

А теперь хочется вобрать и записку. Нет, он не подумал о ней плохо, нет...

Задохнуться можно!...

Разбавить...

Уж нынешней ночью не будет сна совсем, это видно. А, так и надо! Не по частичкам, не по дозам, а – сразу! Так и хочу: сразу!!! Пусть задохнусь!

Пылают щёки на ветру -
Он выбран! он – Король!

От наслаения чувств, от скорости их – всё вихрится внутри, до кружения. Исхаживаться по комнате! Швырять себя на кушетку! Искручиваться.

И только стрелки часов накаминных прозреваются всё на новом месте, каждый раз – на час, на полтора дальше. Ночью смогла стихи читать.

...Мне счастья не надо, – ему
Отдай моё счастье, Бог!

Так!

38

Карточки на хлеб! – в девятом часу вечера, в городской думе на Невском, с её взнесенной конструкцией-каланчой, изломанными лесенными всходами, взбрасывающими наверх, в Александровском зале, где бывали и пышные приёмы иностранных гостей, открылось совещание гласных думы совместно с санитарными попечительствами и попечительствами о бедных.

Но такое возбуждение кипело в грудях ото всего происходящего в городе, и такая была потребность где-то говорить и слушать, что сюда, в этот безопасный зал, куда не могут наезжать конные, собралось со всего Петрограда немалое число и просто *сознательных*. Очень ждали самого Родзянку, но он никак не мог. А прибыл и занял место в президиуме постоянный болетель о народном продовольствовании депутат Государственной Думы Шингарёв.

Городскому голове консерватору Лелянову, собравшему совещание, вопрос не казался сложным: что хлебные карточки надо вводить – уже согласились все: и правительство, и Дума, и общество, и так было сделано в других воюющих странах. Предстояло обсудить, кем и как будут готовиться материалы, кто будет ведать составлением списков и раздачей карточек.

Но первый же оратор, известный либеральный сенатор Иванов, со страстью изменил постановку вопроса: настоящее собрание не может и не должно биться в таких узких рамках – техническое введение карточной системы. Уж раз собравшись, мы, конечно, должны обсудить положение общее. Что ж так поздно додумалось правительство передавать продовольственное дело в руки города? А теперь мы должны обсуждать шире!

И тон был задан! И радостно отозвались ему сердца со всех концов зала! Именно и хотелось того всем: поговорить и послушать – *вообще*! А карточки сделать немудрено, с ними и попечительства справятся.

И поддерживая этот порыв как бы с верхов, своими вензельными эполетами, гласный генерал-адъютант Дурново – призвал не верить обещаниям правительства, также и в отношении хлеба. Сейчас привозят муки на Петроград – 35 вагонов в день. А правительство пусть-ка обеспечит по 50 – а иначе мы должны сообщить населению.

Аплодировали. Радовались. Уж если генерал-адъютанты так говорят – значит, сгнил режим, сгнил!

Тщетно пытался гласный Маркозов перенаправить собрание: не надо зажигательных речей, а давайте лучше займёмся делом.

То есть что же – вот этой самой техникой составления списков и выдачи карточек? Он просто смеялся над собранием!?

А когда осмелился сказать, что в продовольственном кризисе виновато не одно правительство, но также и общество – это просто оттолкнуло от него собравшихся, его уже и не слушали дальше.

Но опасность собранию увязнуть в малых делах – была. Выступил с нудным докладом председатель городской продовольственной комиссии. Он перечислял вагоны, отдельно ржаной, отдельно пшеничной муки, и пересчитывал вагоны на пуды, и ещё вникал в пропускную способность пекарен, – и получалось, что город полностью обеспечен мукою на две недели, даже если не поступит ни одного вагона больше, а они даже при мятелях поступают в размере трёх четвертей от нормы.

Ах, разве о том нужно было говорить! В этих скучных выкладках терялось главное: тупая неспособность власти справиться даже с хлебной проблемой! Неужели в этот зал

собирались из мятежного города, иные пешком с Выборгской или Московской стороны, чтобы послушать сии выкладки? Не так важен сам хлеб или не хлеб, как свидетельство бессилия власти.

Тут вскинулся на трибуну пламенный адвокат Маргулиес – и языками огня стало лизать лица в зале. Он именно в общем виде говорил – о неспособности, о тупости, о полицейских ограничениях – не допускают избрания рабочего класса в районные комитеты по распределению продуктов... Так рабочие выберут свой Центральный Комитет! Он мог бы, видно, и вдесятеро ещё назвать и пересказать правительственных злоупотреблений – но взмахами рук своих, но всплесками голоса уже передал залу всё необходимое – и поджог его радостно-безвозвратно!

Следующий гласный потребовал захватывать комитеты явочным порядком, не считаясь с тем, что думают в сферах.

Явочный порядок – ударом набата прозвучал в зале: явочный порядок был самой сутью славной революции 1905 года: каждый человек и каждая общественная организация делала то, что считала нужным, не спрашивая правительства. Именно такой порядок и должен быть в России! Именно так пришла пора поступать и теперь! Блики пожарных огней радостно перебежали по лепному потолку и стенам.

И вышел говорить Шингарёв. Всегда любимый оратор общественности, с его удивительной искренностью и тем набуханием чувства, где, уже близко, за одной переломной гранью могут хлынуть и слёзы, слёзы сочувствия к страдающим и слезы назревшего самоосвобождения, своим голосом неповторимо сердечным коснулся он всех сердец. Он не говорил «явочный порядок», но отстаивал именно его: право рабочих и общества – самим решать, а властям бы – не вмешиваться! Да, город может сам взяться за распределение хлеба – но если правительство обеспечит подвоз, пусть дадут гарантии! А то нет ли здесь ловушки: они довели до развала, а город возьмётся распределять, а хлеба нет – и будет виновата городская дума?

Бурными долгими аплодисментами провожали народного любимца.

А тут вышел ещё один гласный, Шнитников, совсем не левый, и перекинул собрание прямо к делу: нынешнее правительство как абсолютно неспособное должно вообще **уйти !!!** А вместо него пусть возникнет коалиционный кабинет!

В разламывающих аплодисментах объявили перерыв: уже непосильно было только слушать, но хотелось ходить в кулуарах и делиться друг с другом.

В перерыве ещё разогрелись, ещё тысячу раз высказали это и ещё это, и ещё следующее, – и уже после перерыва трибуна бы не выдержала скучного благоразумия, ни серых подсчётов, – теперь каждый оратор говорил, о чём хотел, и председатель уже никого не останавливал. Заседание потекло вполне революционно.

Выскочил Каган, кажется даже не гласный, – и сенсационно сообщил о расстреле: вот тут, рядом с самой думой, около часовни Гостиного Двора! – стреляли в толпу, убили и ранили! – и о каком же хлебе можно говорить теперь тут, рядом, в думе? Надо что-то сделать, что-то обязательно сделать, и не позже этой ночи!

– Но что же сделать? – отчаянно крикнули из зала.

– Я не знаю, что сделать! – задыхался Каган на трибуне.

Раздался чей-то смех, но был оборван, как неприличие. Зал негодовал. Какая-то дама крикнула:

– Надо, чтоб не стреляли в народ!

Да, да! Гул одобрения. Запретить им стрелять в народ!

Тут вышел новый оратор и предложил почтить память невинно погибших вставанием.

Зал поднялся. И грозно выросло короткое молчание.

И так собрание переступило ещё одну ступень чувств.

И снова говорил оратор от кооперативов: разве движение – только за хлеб? Разве рабочим нужен только хлеб, а не участие в управлении? И даже не унизимся просить каких-то гарантий от правительства, как предлагал депутат Шингарёв. Мы не верим

правительству больше ни в чём! Мы – сами всё возьмём! Изберём продовольственные комитеты от всего населения – и всё возьмём сами!

Тут выступил гласный Бернацкий, профессор. Он вот как высказал: может быть, голод и утолят, правительство как-нибудь извернётся и утолит голод, – но всё равно! не дадим начавшемуся движению остановиться! революционное движение не должно остановиться!! – но валом докатиться до конца!!

Ах, замечательно! Эта мысль овладела собранием: не в голоде дело! – но пусть докатится всё до конца!!!

И в эту разгорячённую минуту – кто же? о, кто же? чья лёгкая стройная фигура вдруг промелькнула по залу – над залом, – уже узнаваемая, уже трепетно приветствуемая, и вот захлещенная бурей аплодисментов?! Сам Александр Керенский, оратор среди ораторов, излюбленный трибун, бесстрашный революционер, чуть прикрытый легальностью, посетил нас! – вступил на трибуну! – и вот уже говорил вне очереди.

Говорил страстно, что – была, была, была возможность уладить продовольственный вопрос – но тупое правительство, как всегда, не вняло голосу общественности, – и вот упущен, упущено, упущено. А теперь, когда совсем уже безвыходно, правительство хочет увильнуть от ответственности и всё свалить на городские самоуправления. Это кажется уступкой, но это – дар данайцев, и общество не должно на этом попасться! Город должен поставить твёрдые условия, чтобы правительство уж тогда вовсе не вмешивалось бы в продовольственное дело. И даже – совсем ни во что! уж тогда совсем бы устранилось! Населению должна быть дана полная свобода собирать собрания о хлебе. Свобода собраний! слова! и печати! А вот, какой-нибудь час назад некоторые рабочие кооператоры собрались в Рабочей группе Военно-промышленного комитета – а полиция окружила помещение – и некоторых арестовали! Вот наша свобода! Наши товарищи шли сюда, чтоб объяснить городской думе – и вот наша свобода!

Поднялся шум, какого ещё не было. Пока, значит, мы здесь заседаем о свободе – а где-то арестовывают?! Какое же возможно содействие в продовольственном деле, какая мирная работа, когда...

В бурных возгласах было решено, чтобы Шингарёв и городской голова немедленно спросили и требовали от правительства!

И они двое тотчас пошли звонить по телефону.

А тут появился ещё один член Государственной Думы – Скобелев, его сперва и не заметили в блеске Керенского. А у этого была смазливенькая наружность, звонкий приятный голос, но глуповатое лицо, – зато известный социал-демократ. Он объяснял собранию, что продовольственный вопрос нельзя решать отдельно, он слишком тесно связан с политическим, а политический – ещё трудней. И надо использовать теперешнюю растерянность правительства! Что правительство нашло свой путь борьбы с продовольственным кризисом – расстреливать едоков, но мы, здесь присутствующие, должны заклеить такой предательский способ – и должны **потребовать возмездия !!!** Правительство, обagrившее руки народной кровью, должно **уйти !**

Тут выступил рабочий лессерновского завода Самодуров, большевик из больничной кассы: что современный государственный аппарат невозможно никак, ничем исправить – а только **уничтожить до основания !** Только тогда наступит в России успокоение, когда нынешняя правительственная система будет **вырвана с корнем !**

Аплодировали.

Снова вылез со скучной ползучей речью гласный Маркозов: не выходить с требованиями на улицу, не повторять печальных событий Пятого года, в условиях войны это было бы предательство родины...

Ах, мы же ещё и предатели?... Нет, **именно на улицу** – отвечал Самодуров, – вываливать всем на улицу, а не ждать, пока дома арестуют.

И верно! И мы именно **хотим** повторения атмосферы Пятого года! мы **хотим** дышать тем грозovým воздухом!

Возвратился Шингарёв. Он разговаривал с министром-председателем Голицыным. Тот сказал, что об аресте рабочих ничего не знает и будет...

Ах, уже виляют?! Ах, уже дрогнули?? Так стройнее наши ряды! так яростней напор на правительство! – чтоб оно опрокинулось!!! Не надо нам их подачек, мы сами всё возьмём!

Снова возвысился узкий Керенский – и строго призвал собрание **ещё раз** почтить вставанием память погибших сегодня рабочих.

И собрание поднялось – ещё раз.

Пронёсся гул, что сейчас внесут сюда и трупы.

39

Сегодня, в субботний вечер, в Мариинском театре Саша Зилоти вместе с Жоржем Энеско давал концерт. И, конечно, Марья Ильинична пошла.

И, конечно, Александр Иванович остался дома – и отдыхал, и наслаждался этими часами, что её нет. Он, разумеется, не имел желаний, чтобы уличные беспорядки задержали её на обратной дороге, но и нисколько не беспокоился от такой возможности.

А вот завтра, напротив, она будет дома – а он уедет куда-нибудь, только бы не сидеть с ней воскресный вечер, ощущать, как она дуется. Уедет к Коковцову разговаривать хоть о финансах, или к другому отставному государственному мужу, они любят поговорить, и всегда есть чему у них поучиться. Уедет хоть к молодым Вяземским, брату или сестре.

Даже самому страшно становится, что не просто тоскливо с ней, но отвращенье наплывает на неё смотреть. Потом проходит.

Были годы, и недавние, – они здесь, в петербургской квартире не пересекались вообще: в думские сессии он жил тут один, дети с гувернанткой, родители менялись по согласованию, удивляя детей: гнали-гнали к папе, а папа уехал два часа назад и маме оставил где-то ключ. Или только что проводили маму, а папа вернулся, эх ты, папа, как же ты опоздал?

А последние месяцы, после смерти Лёвы, вопреки не-прощенью, как могла она не уберечь мальчика, деревянное не материнское сердце, – вопреки этому, напротив, при оставшихся двух младших стали жить вместе.

Как бы – вместе.

Потому ли, что постарели. Что силы уже отказывают перебархтывать все несчастья. Что уже не осталось сил для отдельных резких движений.

Но когда Марья Ильинична была тут, в квартире, хоть за тремя стенами, – каким-то косым каменным углом вступало Гучкову в грудь, присутствовало постоянно. Даже если не ожидалось, что она войдёт в кабинет и что-нибудь скажет, взмутит. И вот любил он, когда её не было дома.

Что такое дурная женитьба! Это горе – совершенно неотклонимое, неустранимое. Как бы ни текла вся остальная жизнь, хотя бы блистательно (но не текла...), – дурной уклад семейной жизни вложен в нас как испорченное лёгкое или печень, их невозможно сменить, от их болезни невозможно забыться.

И постоянное долготелнее неисправимое сожаление: зачем женился? Зачем вообще женился?

Всё это вместе живёт в мужской душе: иметь свободу движений, не дать опутать рук и ног, и – дать опутать их, о, если бы их увязить! Увы, это не **вместе**, венчан богами тот муж, кому это послано вместе.

А – как начинается? Как эти царапины первые наносятся на кожу? Ты их и не замечаешь, как ветки бы раздвигал, позже смотришь: когда это поцарапался?

На пороге твоих тридцати лет. Поздняя тёплая Пасха. Знаменское под Избердеем, тамбовское имение весёлой, многолюдной, гостеприимной семьи Зилоти. С девятнадцатилетнюю Машей ехали на шарабане, въехали в лесок – а пошёл дождь. Александр остановил лошадь, развернул свой тяжеловатый непромокаемый плащ – на Машу. Нет. Нет?

То есть да, но – чтоб и он тоже. И решительным движением приняла на себя – но лишь половину плаща. Одно вот это движение больше иных слов, разговоров, переглядыв – приняла на себя его покров, поделила с ним, плечо к плечу.

И запало в душу? Может быть и нет. Может быть, это она потом внушила – что это движение решило всё. Забыл.

А какой весёлый дом! Дворянская семья, но сильно смещённая в искусство. Сама и Знаменка особенная, с приворотной башней, с особенной этой Иаковской церковью. Два своих исключительных пианиста в гостиной запросто: Саша Зилоти и двоюродный брат Серёжа Рахманинов. А старший брат, Серёжа Зилоти, морской офицер, на липецких водах влюбился и уже на правах невесты привёз в родительский дом – Веру. Эта Вера бредит о театре, простительно юной девушке. Этой Веры фамилию – Комиссаржевская, ещё в России не знает никто. Их женитьба с Серёжей не состоит, но сколько веселья, влюблённости и шума среди этой молодёжи!

Ещё год, ещё два, – а ты, при молодости, уже член московской городской управы. И вдруг – букет. Ему – от неё. От той девушки, с которой он на шарабане... Игра, кто в этом возрасте не играет? Ответить галантным письмом. Куртуазности, легко доступные тому, кто читал французские романы (да если ещё и с французской кровью сам). Не дремлет и Маша: вам что-то не нравится во мне! скажите – что именно?... Ах, коварная Вера Фёдоровна! Я думал, она передаст вам только то, что вам приятно, она же, видимо, передала вам всё. Теперь вы ставите меня в тупик. Но ещё вопрос, выиграете ли вы, когда мне в вас будет нравиться всё. Ещё письмо на письмо, и вот уже выпытывает Маша: *только имя* ? Только – имя той, которая нравится вам! – Отвечать не прямо (да если имени такого определённого и нет?), а как-нибудь, этак: вот, вы пишете, что сильно меняетесь, тогда и это *имя* может измениться...

Но всё это – туманится, блекнет, отодвигается. Чаще видится Вера Фёдоровна, передающая машины письма. Они дружны где-то там, куда Александр не ездит больше, но дружит Вера и с Варей Зилоти, а Варя теперь замужем за Костей Гучковым – и к ним на московскую квартиру из Вышнего Волочка приехавшая третьим классом бескостюмная безденежная безызвестная Вера блестяще проходит первую театральную пробу на инженеру.

И сегодня законно, и как будто вне ревности, висят в его кабинете несколько фотографий Веры – она одна, и с Машей в обнимку, и с Машей на штабеле брёвен у старого провинциального забора, – Маша со взором ищущим, а Вера – отрешённым.

Для чего-то же так рано, через нескольких Зилоти, скрестились их пути с Верой Комиссаржевской? Но где бывают наши глаза, чем отвлекается наша воля, чем затрудняется наша речь в какие-то короткие часы или дни, – и оброненное вытягивается, вытягивается потом на годы? Грудь борца и завоевателя не тотчас ощущает, что отпущено ей вдохнуть аромат разбора высшего. Да и острый взгляд хрупкой женщины что-то видит вдали более важное, мимо плеч завоевателя. И – годы. У тебя – второпланная женская чередка, у неё – крушение любви и кручинная болезнь. В те самые годы, когда на арену политики тяжело ступно вышел крепчающий Гучков, – на сцену театра, поздно для женщины, вышла воздушным шагом Комиссаржевская. Так совпадало: почти ровесники; он создал свою партию – она свой театр; он бесстрашно шёл против газетного воя – и она; он был деловой человек – однако чудом каким так точна в делах артистка? Он произносил свои лучшие речи – она играла свои лучшие роли. Только ему как мужчине ещё предстояло много возраста, зрелости и силы, а она в сомнениях шла к надлому. И была у неё смелость – оборвать, когда путь её театра показался неверен. (Тогда ещё не ведал Гучков, что скоро и ему к своей партии октябристов понадобится эта смелость).

Был Гучков не просто поклонником, собирающим её программки, фотографии, посылающим по-купцовски неохватные букеты, но барьером ложи замыкающим свой восторг – от этих слёз, слишком искренних для игры, когда душа урывает вверх из тела невесомого, а ещё слишком весомого для себя; от этого голоса ворожебного, уводящего за самое сердце. Он – и живые руки её нередко брал в свои, и её глаза – слишком синие,

слишком провидческие, видел так близко, как только можно сдвинуться двум головам. Но велеть – «иди за мной!» – никогда не мог. Не смел.

Потому что она не могла пойти за. Как редкий из мужчин знала она свой жребий: до конца изойти собственный путь.

Александр Гучков, всю жизнь занятый движениями материальных масс – партийных сторонников, армейских колонн, госпиталей, станков, капиталов, – удостоился сокоснуться ненадолго – с этим ангелом напряжённым, никогда не весёлым, вот забредшим к нам, а вот и уходящим.

Нет, не ангелом никаким, она – женщина была и ещё как терзалась самым плотским, но то, что простым женщинам доставляет цельную радость, её приводило в угнетенность и в новый толчок – очиститься и взлететь. Она – женщина была, но в ролях играла не женщин, а души их. Своим волнующим голосом, своим утлым станом – выводила их, выпевала, – необычно сложных, с такою внутренней тоской, на вечную нам загадку.

Она прошла через жизнь Александра Гучкова как будто простой собеседницей, шутницей, посредницей (то букет, то записка от Маши, поручения, что купить в Берлине для машины мамы), телеграфные поцелуи ему, как и, равно, Гучкову-отцу, – но только потом, после смерти её понялось: она прошла неотмирной тенью, как чтоб навсегда оставить ему одинокость, показать другую ступень бытия, не того тщетного, каким занимался он, другую ступень обладания – ни того, что забывается воином через час, но цветком засохшим, а пахучим бессмертно, носится под кольчугой – или под костями грудными? – столько лет и столько битв, сколько ему осталось до последней.

Прошла – и растаяла. Уже решив поворот своего дела – бросить театр, на этом непосильном изломе ушла из жизни, запихнутая псевдонимным плащом подвернувшейся чёрной оспы. Умерла так далеко от Петербурга, как только достала, – в Ташкенте. Умерла в те самые недели, когда его борьба требовала все силы собрать: когда он стал председателем своей Третьей Думы.

И в чём-то же был смысл, рок (или насмешка), что именно Вера постоянно передавала что-то от Маши, напоминала о Маше, склоняла к Маше: в Маше вы найдёте человека, который вам больше всех нужен. Кто бы мог жить с таким шалым, как вы? Она – всё сделает для вашего счастья. Маша – исключительная натура!... Там шарaban-не шарaban, разделённый покров плаща, но это зерно забытое никакого роста бы не дало, когда б не постоянное внушение Веры: Маша – избранная натура, приглядитесь!

Вера как будто восполняла, чего сама на земле подарить не могла навечно: своего изменившего мужа женила на той подруге, с которой изменил. А другую подругу подарила Гучкову вместо себя. И, поживив их, ещё семь лет улыбались, шутила, сносила шутки, звала в Италию, приезжала в Знаменку...

Так забылся Гучков – зазвонил телефон, застав его перед фотографиями Веры у стены.

Так забылся – что за дни в Петрограде, и что за мерзкое правительство у нас, и что же с ним делать, – но даже коротких минут забывчивости грустной не отпускается бойцу.

Зазвонил телефон. И сообщали, что в помещение Рабочей группы на Литейный пришла полиция. Арестовала собравшихся там рабочих кооператоров – и ещё двух членов Рабочей группы, до сих пор уцелевших с январского ареста!

И – слетела с Гучкова вся мерлехлюндия и рассредоточенность, взвился, как на ногу наступили! О, тупоумие бесконечное! О, как же *они* надоели, проклятые, как же он их ненавидит, когда мы от них избавимся!? В январе развалили, переставили Рабочую группу – и хоть расшибись о каменную стену. В феврале запретили в Москве даже съезд Военно-промышленных комитетов – душат всякую живую деятельность! – всё боятся за себя. Сами ни на что не способны – и другим не дают делать дело. Перевёл съезд в Петроград – запретили и тут: по данным департамента полиции съезд начнёт с выражения недоверия правительству. (Так и намеревались, разведка у них верна). Жаловался Родзянке. Родзянко добился открытия съезда. Но местный участок не знал и пришёл закрывать. Опять Родзянке. Тот – бешено телефонирует градоначальнику: «Поеду сам и за шиворот выброшу

пристава!» Открыли наконец. Так теперь дотянулись опять в Рабочую группу.

А что такое? К чему придрались? Чем занимались?

Да кооператоры обсуждали, не избрать ли Совет рабочих депутатов.

Нет, нельзя спускать!

Дёрнулся – звонить градоначальнику. Сам не подходит, оттуда мекали, что на собрании присутствовали посторонние рабочие разных заводов... А хоть бы и разных?

И позвонил – тому же Родзянке. И тот тоже заревел по-медвежьему у телефона.

И ясно стало, что надо сейчас, вот, в ночь прямо ехать в градоначальство и буянить.

Нет, поехать прямо домой к председателю совета министров!

Этого нельзя было уступить. Именно потому, что уличные волнения в городе не удались, уже остывали, – надо было вытягивать линию Военно-промышленных комитетов и Рабочей группы во что бы то ни стало! Это был удачно найденный рычаг, которым Гучков сотрясал власть. Это была ему – замена Четвёртой Думы, куда его не выбрали, и твёрдая ступень в Пятую, будущей осенью. Пятая Дума будет его последняя верная попытка, уже в 55 лет, какое-то место в России занять и ещё поворачивать её спасительно.

Иначе – зря он бился все двадцать лет. Хуже нет этой муки бессилия: жить в стране и не мочь повлиять на жизнь её – никак.

Называется, посидел один вечер дома, помечтал...

40

Охта была весь день от города отрезана: стояли отряды войск на мосту Петра Великого, на набережной Невы и между Охтой и Выборгской стороной, никуда не выпускала охтенцев. Через реку по льду тоже не многие пошли: невский лёд против Охты выдался ненадёжен, да и весенний, против Смольного уже кой-где и вода его покрывала, чуть и не по колено. Так и не знали весь день: что же такое творится в других районах и по ту сторону Невы? Кто пробирался – рассказывал, что там большие толпы ходят по улицам, везде войска, а заводы ни один не работают.

Но Охта – и сама как отдельный город, только не столичный. Толпились охтенцы по своим захолустным улицам, собирались где большими кругами, где малыми, спорили, а то и речуны выступали, у кого язык хорошо ворочается.

Полицейские патрули проходили иногда, но разогнать такие толпища было им не под силу. Иногда проезжал казачий разъезд и страшно сек нагайками воздух – но только для острастки, никого не трогали.

Где узнавали охтенцы в своей толпе переодетых полицейских доглядчиков – отмолотили.

Был слух, однако, что дело добром не кончится. Что если только начнётся общий бунт – власти взорвут Пороховые, и взлетят на воздух вся Охта и пол-Питера.

Не все разошлись и к вечеру. Ещё долго шумел, бродил народ на улицах. Стали в разных местах разводить и костры, где наломавши досок от казённых заборов.

На набережной подле больницы Елизаветинской общины стояло с дюжину казаков в конном строю и посматривали на один такой костёр.

А от костра – на них. То подсмехались вслух над ними, то свистели им. Потому что – нутро бередают, зачем стоят, что за надсмотрщики? Громко об них:

– Продажные герои!

– Кудрявые лыцари!

Ино дети да подростки подбегали к ним ближе, кидали снежками. Тем – и хочется детей стегануть, да взрослые близко.

Ладно, как будто их нету. Вылез на кучу твёрдого снега один мастеровой пожилой, да и пьяненький, и голосом, как плача, рассказывает про Пятый год:

– И сам министр Витте на коленях елозил перед нашим Носарём, во как было! А – всё у нас отобрали. А всё – из-за этих длиннокудых псов! – И рукой туда, на казаков. – Кааб не

ихние нагайки, так до сих пор бы... Сволочи они, вот что!

И – туда на них зазявился. И – все туда на них.

И вдруг казаки – всё слышали! – тихо двинулись. Шагом. Сюда!

Замерла толпа. И бежать стыдно – и устоять как? Боязно.

И чем бы решилось, но парень один смекнул, схватил варежкой головешку из костра – и кинул прям в них! Да метко: один казак еле увернулся, стряхнул.

Чего-то грозное крикнули.

– Я те дам, холуй царский! – крикнул кто-то отчаянно, как резали его. – Бей их, ребята!

И поддержали:

– Бей!

– Бей их!

И зашевелилась толпа – кто за головешкой, кто за ледяшкой, кто досчину остро обломанную метнул. Заревели! засвистели!

И казаки – попятились на конях. И – на поперечную улицу.

Попятились шагом – но вослед им досочки, ледяшки.

И – вскачь укинулись казаки.

– Хе-ге-ге-ей! – завеселилась, заулюлюкала толпа. – Удрали, сволочи?!

А на небе – сполохи сильные играют. Синё, красно.

41

* * *

Перед темной у Гостиного Двора демонстранты запели революционные песни и выкинули флаги «долой войну!». Офицер учебной команды 9-го кавалерийского полка, пришедшей на отдых в проулок у Гостиного, предупредил прекратить. В ответ из толпы раздалось несколько револьверных выстрелов, метили в офицера, а ранили одного драгуна в голову. Взвод спешился и открыл ответный огонь по толпе, убил троих и ранил десятерых. Толпа рассеялась.

Эти трупы и вносили потом в городскую думу.

* * *

Генерал Перцов, помощник генерала Хабалова, жил в казённой квартире при Главном Штабе. На субботу 25 февраля он задолго назначил на 40 кувертов торжественный обед, какими славился. Днём стал по телефону напоминать приглашённым, чтоб не опоздали. Сестра возразила: «Серёжа, какой обед, сейчас революция». Генерал рассердился: «Паникёры вы, трусы! Кучка хулиганов на улице скандалит, а вам уже революция!»

Но – никто не приехал. И у пышного стола, засыпанного цветами, генерал горевал о паникёрстве. И пропал бы роскошный обед, если б не прибежал к нему племянник из Кредитной канцелярии: там его все сослуживцы не могут разойтись по городу из-за волнений, сидят голодные. «Тащи их всех сюда!» – махнул рукой генерал Перцов. (А через два дня был уже и арестован).

* * *

Только этим вечером, третьего дня городских волнений, были посланы в Ставку первые сообщения о них: от министров внутренних дел, военного и генерала Хабалова. Из всех трёх донесений понималось, что хотя и возникли некоторые беспорядки, они успешно и

почти бескровно подавляются.

* * *

А между тем день был проигран властью во всех отношениях: было явлено толпе, что полиция изолирована от войск, а войска подавлять не будут.

* * *

Уже немало полицейских участков на окраинах было разгромлено и не имело связи с центром.

Пристава полковника Шелькина, 40 лет служившего в одном из Выборгских участков, рабочие – знали его хорошо – переодели в штатское, кожаную куртку, перевязали голову платком как раненому – и увезли перепрятать, пока полицию громят.

Пристав дальнего Пороховского участка скрылся от толпы в подъезд, там купил у швейцара лохмотья (швейцар потребовал 300 рублей) и в таком виде ночью, когда всё успокоилось, пошёл к семье на Невский.

* * *

К 10 часам вечера с Невского ушли все манифестанты до последнего, и центральные улицы стали мирно-пустынны, только кое-где военно-полицейские посты. Да разъезды конной стражи, драгун, казаков.

Все демонстранты разошлись по домам и покойно спали, не опасаясь налётов, обысков, арестов.

Так идёт революция.

А днями – погода не холодная, гуляй, манифестируй.

* * *

Брат Государя, великий князь Михаил Александрович, приехал со своей супругой Натальей Брасовой на автомобиле из Гатчины в Михайловский театр на французский спектакль. Но заметив скопления народа на Невском и узнав о сегодняшнем убийстве пристава, под тяжёлым впечатлением отказался от театра. Просидел вечер на квартире своего секретаря Джонсона, писал письма. После спектакля подъехал к театру за женой – и уехали в Гатчину.

* * *

Увеселительные места – театры, кинематографы и лучшие рестораны, были и сегодня вечером полны, как всегда. В императорском Александринском театре показывали премьеру лермонтовского «Маскарада» в необычайно роскошной даже для императорских театров постановке, её готовили несколько лет, и дорого. В конце спектакля по особому замыслу режиссёра Мейерхольда вместо обычного занавеса опускался тюлевый чёрный прозрачный с белым венком – а за ним молча проходил скелет в треуголке. Успех был грандиозный, бенефициант Юрьев в ударе, ему много аплодировали, потом чествовали при открытом занавесе – и поднесены были ему от Государя золотой портсигар с бриллиантовым орлом, и

от вдовствующей императрицы бриллиантовый орёл.

Однако разъезд публики произошёл мгновенно: через четверть часа после окончания не было ни одного извозчика, ни автомобиля, площадь перед театром пуста.

И город вымер.

* * *

Поздно вечером в градоначальстве выслушивались рапорты и обсуждался минувший день. Командир 1-го Донского полка Троилин решительно отрицал, что казак мог убить пристава. Полицейские чины настаивали, что именно так. Генерал Хабалов, недовольный поведением казаков в эти дни, решил во всяком случае на завтра оставить их в казармах, а на смену он ждал кавалерийские части из Красного Села и Новгорода. Да с лошадьми, целый день не поенными, кавалерия выматывалась на разгоне толп, ничего не давала.

Но – что же делать? По выслушании докладов начальников военных районов все высказались за энергичное применение оружия.

Решиться на оружие? И самовольно, без приказа сверху?...

Хабалов нехотя дал согласие: если толпа большая, агрессивная и с флагами – после троекратного сигнала открывать огонь. И распорядился составлять новое воззвание к населению в решительной форме.

Приехал в градоначальство и Протопопов. Всех поразило его истерически-приподнятое настроение, глаза его сияли. Произнёс напыщенную речь благодарности верным защитникам, велел объявить свою благодарность в приказе по градоначальству, молитвенно вспомнить погибших и выдать пособия раненым.

– Молитесь и надейтесь на победу!

* * *

Охранное отделение докладывало на совещании, что бунтарство по-видимому будет продолжаться и завтра, но у руководителей и до сих пор нет согласованного плана.

Не было его и у Департамента полиции. Арестовывать? – кого? в каких размерах? не будет ли хуже? До арестов устрашительно-массовых ни у кого и мысль не доходила. Известных пять членов Петербургского комитета большевиков взяли всех потому, что они все собрались на одной квартире. Скольких-то взяли в помещении рабочей группы на Литейном. Ещё немного случайных, тут близко в центре. Всё-таки – не бездействие.

* * *

Шляпников не пошёл на квартиру к адвокату Соколову, где думали встречаться с Керенским и Чхеидзе. Вечером на Сердобольской, на квартире Павлова, собралось несколько человек большевицкой верхушки, отдельной от ПК. Вывели, что дела идут хорошо, стачка почти всеобщая. Но надо проникать агитаторам в казармы, а на улицах устраивать братание рабочих с солдатами. Теперь нужна хоть самая небольшая воинская часть, которая перешла бы на сторону рабочих. Очень надеялись на Самокатный батальон, расположенный в Лесном.

Завтра конечно – опять на Невский!

* * *

Вечером по Невскому солдаты тянули телефонный провод. Разжигали костры, перегреться.

* * *

Пустынны были улицы, и мало кто видел: в этот вечер пылало редкое сильное северное сияние. По небу, за облаками, метались языки света, ярко синие, лиловые, красные.

42

Наконец в городе всё глубоко успокоилось. А в эту квартиру на Моховой, казённую квартиру председателя совета министров в хорошем старом доме, и днём-то не шумно доносилось. А сейчас и тяжёлые оконные шторы были задёрнуты, до конца замыкая комнатное пространство. И внутри был отчётливо слышен каждый звук отдельно – негромкие переговоры министров, и все двенадцать звонко-втягивающих ударов полночи в коробке стоячих пристенных часов.

Где только не заседал этот совет министров (не вовсе этот, не слишком этот, потому что состав его менялся, менялся, менялся), – и в Зимнем дворце, и в Мариинском, и в Елагином, и в Ставке, и в Петергофе под председательством самого Государя, когда в мундирах со всеми орденами, когда в чёрных сюртуках, когда в ослепительно белых кителях. Но даже и давнишние здесь министры – трёхлетний Барк, двухлетний Шаховской (а самый давний Григорович болел, не присутствовал), – никогда не заседали на этой квартире, ни при Горемыкине, ни при Штюмере, ни при Трепове. Это правительство своею кожей не помнило тех лет, когда министров рвали на бомбах, – и не было обстоятельств, чтобы встречаться им так поздно и так тайно. Не хотелось ли князю Голицыну два раза ехать по городу – он назначил заседание не в Мариинском, а тут, у себя, когда всё успокоится. И автомобили министров были закачены с улицы во двор, чтобы снаружи не привлекать внимания.

Никто не мог бы подумать или укорить, что они прятались: они могли другого времени не найти за тревожный день из-за городских волнений. А теперь, передвинувшись в ночь, они как бы переехали в другой, спокойный город. Но сами-то понимали, что – прячутся. В этой квартире предусмотрены были комнаты для торжественных приёмов и раутов, а вот комнаты для делового заседания не было. Собирались в большой гостиной и рассаживались где придётся – за овально-фигурным лакированным столиком, за малым круглым в стороне, просто в креслах, стульях, стоящих отдельно, и на золочёном диване с тёмно-зелёной бархатной обивкой. Горела верхняя люстра, но не слишком ярко, не так, чтобы много писать, – да как будто не предполагалось протокола этого ночного заседания, не было секретаря, и сами министры не выражали склонности записывать. Если б не будничные их одежды, можно было представить, что они приехали к министру-председателю с визитом, но по случаю не радостному.

Не сразу собрались, неровно. Пока разговаривали частно, негромко, по двое, по трое, больше и не о делах. Подлинно объединённым правительством они никогда и не были: каждый министр мог вести политику своего ведомства довольно независимо, сам докладывая Государю и от него получая указания, а дела политики внешней и военной министрами вовсе не заслушивались, и даже председатель мало знал о них. А сейчас ещё – министры были много раз перетрясены, обновлены, пятеро было двухмесячных, включая и самого председателя, трое – всего лишь с ноября, они ещё и не все перезнакомились как следует, и каждый день ожидали новых перестановок и увольнений, всё это не придавало уверенности.

Среди собравшихся выделялся отнюдь не министр-председатель, а прокурор Святейшего Синода Раев – мужчина крупный, в расцвете лет и сил, безотносительно к своему духовному поприщу весь налитый здоровьем, весёлостью и плотоядием. И в

масляном взоре его и в усах дуговых, кавалерски вскинутых, выражалось это радостное поглощение жизни. Да он и держался здесь едва ли не всех свободнее – шутка ли, на посту уже состоял полгода, ветеран.

А самые-то ветераны, Барк и Шаховской, от этих частых смен тем более чувствовали себя здесь засидевшимися, чужими, они были последние из тех восьми министров, кто дерзнул подписать коллективный ультиматум Государю (тогда такая волна была дерзкая), пятеро давно были уволены, один умер, – а их вот и не отпускали. Уже по дважды и по трижды они просили у Государя отставки, не ожидая, пока их прогонят, – а он всё не давал им увольнения. Впрочем, Барк до последних тревожных месяцев и сам держался умело. Слишком долгий путь он шёл к министру финансов – ещё Столыпину обещал русификацию кредита, а попавши в министры стал невольно расширять космополитичность его, и сам вёл крупный банк и тесен был с Манусом и Рубинштейном, и не давал провести государственный надзор над банками, нравился Горемыкину, не дерзил Распутину, избегал острых диспутов в совете министров, устоял против атаки Хвостова-племянника, угождал англичанам и считался незаменимым у Государя. Но зачем это всё теперь, когда остро ощущал он, что всё здание шатается?

А ещё в эти дни Барк – упитанный здоровяк, с толстыми, далеко разведенными и тоже вскрученными усами, был в нервных нарывах, сидел больной и безучастный.

Шаховской тоже прошёл к министерству торговли-промышленности свой немалый путь, в другом роде – от мичмана гвардейского экипажа, камер-юнкера в 26 лет, и камергера потом, и гофмейстера, очень угодил Государю устройством путешествий, был близок и великому князю Александру Михайловичу, и нравился императрице вдовствующей, и охотно делал доклады императрице царствующей, и первый привёз ей мерзкое письмо Гучкова к Алексееву, и принимал у себя в доме Распутина, и всё это не потому, что не имел талантов, – он имел их, был деловит, одушевлялся делом, умел работать, присмотрчив, быстро вникал, уверенно решал, и подвижен (худощав, сам водил автомобиль), – а даже и при талантах все эти подкладки были необходимы, но к чему теперь всё? Удержавшись после «министерской забастовки» Пятнадцатого года – до какого позорного кабинета он дослужился? Последние месяцы, чтоб ускорить отставку, – он даже говорил императрице неприятное против Штюмера, против Протопопова, – нет, не отпускали! Защемился тут.

Печально-полусонный, вчуже поглядывая, сидел на диване Покровский – любимец общества, знаток экономики, но с контролёрства вот назначен с ноября на министерство иностранных дел, как всех теперь назначали неуместно. За эти три месяца он уже четырежды просил у Государя отставку (больше всего – из-за позорной невыносимости соседствовать с Протопоповым) – и не получал. Что ж, служить – так служить: всего лишь в минувший вторник, перед отъездом Государя в Ставку, он подал всеподданнейшую записку о необходимости нам овладеть проливами – собственными силами, до конца войны, не позже октября 1917. Если Государь утвердит – то многое надо изменить в наших усилиях.

А лысый старичок Кульчицкий, с января министр просвещения, как будто нарочно взятый из грибоедовских персонажей очаковских времён, – сидел в углу с выражением недоуменным, как будто он недослышивал или недвиживал, не приёмист к мыслям извне.

Никто в комнате не курил.

Всего в правительстве состояло роковое число тринадцать. Четырнадцатого, министерства народного здравия, Дума никак не давала создать. Только неявкой того или другого министра, как сегодня Григоровича, обещало сохраниться приличное число двенадцать. Впрочем, никак не ехал Протопопов, его и ждали.

Впрочем, на сегодняшнее заседание ещё были вызваны командующий военным округом Хабалов и градоначальник Балк. Они прибыли раньше и уже сидели, как раз по обе стороны от стоячих часов.

По обе стороны часовой башенки сидели как будто сторожами далеко укрупненных стрелок утекающего ночного времени.

Протопопов как раз и опаздывал, всех задерживая! Но в такие грозные дни министр

внутренних дел мог быть и занят несравненно с ними, остальными?

Протопопов – не ехал, а ещё бы лучше совсем не доехал, сломил бы где-нибудь голову. Без него – даже этот пёстрый кабинет, кажется, мог бы существовать, мог бы прийти к согласию. Но не с ним!

Наконец появился – в великолепно сшитом костюме, сером, в цвет к седеющим тёмно-русым волосам, с великолепными, тонко подкрученными, на дамский вкус, усами на гладком бритом лице, и так на ходу чуть поводя присогнутыми локтями, как если б он ими слегка-слегка отряхивался. Очень хорошо он был бы сложен, если б не сутуловат.

Итак, они могли начать? – князь Голицын сидел у стены в кресле с высокой спинкой, ею подравнивая слабую спину. Да вот начать с неприятного объяснения: что там за аресты произошли сегодня вечером, и опять в этой злополучной «рабочей группе», вот звонил из городской думы Шингарёв? Александр Дмитрич, неужели нельзя не предпринимать самовольных шагов, посоветоваться сперва? В такой важный острый момент – как можно допустить такую неосторожность?

Протопопов был похож на только что разгримированного артиста с ещё не угасшим острым взором от сложной психологической роли, с задержавшимися оттуда и движениями, слишком эффектными для здешнего серого сборища. Ещё он весь витал на тех высотах, а тут его спрашивали...?

Нет, он решительно ничего не знает об этом случае.

Но как это может быть? Как будто специально для агитации – на ту же болячку... Вот и Керенский уже схватился, и Гучков. В нынешней раскалённой обстановке разве можем мы допускать?...

Нет, нет, дорогие мои, министр внутренних дел ничего не знает. (У Протопопова была такая привычка: говорить «дорогой мой» даже по первому знакомству, а уж после десятка фраз – с несомненностью. Из него изливал избыток доброжелательства, и даже так сладко-льстива была его манера разговаривать, что его и называли «Сахаром Медовичем»).

Но тогда нам объяснит господин градоначальник?

Нет, генерал Балк тоже не знает.

А генерал Хабалов? Тем более.

Ах, вот упустили: нужно вызвать сюда ещё начальника Департамента полиции.

Пожалуйста. Чуть отряхиваясь локтями, Протопопов сходил к телефону и вызвал.

Вообще, жаловался Голицын, в городской думе этим вечером произошёл ужасный революционный митинг. Собрались для организации хлебных карточек, а перешли к требованию сместить правительство!

Кое-кто об этом уже слышал, а Протопопов – нет, не слышал.

Князь Голицын как новичок в правительстве ещё не совсем привык, но впрочем как всякий русский образованный горожанин должен был бы и привыкнуть: любое собрание в крупном русском городе для того и собирается, чтобы потребовать отставки ненавистного мерзкого правительства, а пока перейти к действию безо всякого правительства.

И будь ты хоть не без ума и способностей, но вступив в эту проклинаемую кучку – каково тебе в этом правительстве быть?

Князь Голицын в 66 лет ещё был бы и не стар, да уж очень донимала его подагра, отчего ноги порой приходилось просто волочить, подхрамывал. И с зубами был не полный порядок, слегка присюсюкивал. А ещё – он вовсе, вовсе был лишён инстинкта власти, – и вот пребывал в состоянии безысходной озабоченности от момента своего внезапного назначения под Новый год, – назначения, которого он никогда не домогался, не ждал, и даже просто умолял Государя, чтобы чаша сия миновала его, и чернил себя перед Государем как только мог, и объяснял, что устарел от своих давних губернаторств, не способен, 14 лет его работа была не государственная, а судебная, сенаторская, назначение будет неудачно, – всё тщетно: рекомендовала его императрица! И сразу после Нового года князь снова был высочайше принят, и отважился нарисовать Государю мрачную картину состояния умов, особенно в Москве и Петрограде, и что даже жизнь царственной четы в опасности, в гвардейских полках

открыто говорят о провозглашении другого царя! Но к изумлению Голицына Государь ответил невозмутимо: «Мы – в руке Божьей, и да будет воля Его». И тогда с новой силой князь взмолился об отставке – и снова отказ.

И вот, едва начав, – доправился до нынешних тревожных дней, и резолюции о ненавистном мерзком правительстве сыпались на его среброволосую голову.

И что это за расстрел рабочих около часовни Гостиного Двора? – как раз же рядом с городской думой и как раз же перед началом её заседания! нарочно не подгонишь! Как же генерал Хабалов объяснит: трое суток мы воздерживаемся от стрельбы, в этом наша тактика, – и именно в такой момент и в таком месте стреляем?

Хабалов, низко на мягком стуле у башенки часов, как незаконно присевший часовой, теперь тяжело поднял грузное тело. Это был генерал солдатского типа, туповатый на вид.

Мы и воздерживались. Но если войска при оружии, то и нельзя отвечать за каждый ствол. Из толпы стреляли раньше.

Но мы, настаивал князь, только на том и держимся, что не стреляем.

Протопопов с лёгкой морщью лба и перебирая пальцами свой оголённый раздвоенный подбородок, беглым замечанием, как полупропущенная реплика, возразил, что как раз наоборот: беспорядки должны подавляться только силой. И как раз в данный момент опасения абсолютно неосновательны: в беспорядках участвует не рабочее сословие, а небольшие кучки, все вместе не больше 10 тысяч человек, и они раздроблены по районам, и нет вожаков.

Так может быть министр осветит события подробней?

Увы, оживляющийся тон Протопопова сразу и опал. Он этими событиями непосредственно не занят. Вот здесь командующий округом, вот градоначальник.

Голицын старался ровно держать больное тело и говорил строго вежливо, но уже и он был измучен этим Протопоповым, как язвой, – за что этой мукой наградил их всех Государь? Его предшественник Трепов был уволен на том, что не мог выгнать Протопопова. И сам Голицын на высочайшей аудиенции девять дней назад от имени всех министров и уже не первый раз просил Государя освободить их от такого коллеги – и тщетно.

Тогда попросим его превосходительство командующего округом?

И опять поднялся тяжёлый Хабалов. Особенно после легколётной полурассеянной протопоповской манеры Хабалов выказывался тяжелодумом. Как медленно выползали его слова, сколько времени отнимали! – да это мычанье было скорей, и без ясной связи. Вот он говорил – а всё не складывалось: так что же именно происходит, и насколько успешно для правительства? И какие меры он предполагает дальше? И чьим капризом он высунулся из всеобщего незнания, из захолустного уральского края – да на столичный военный округ, на вершинный пост Петрограда? Никто его тут близко не знал, никто не мог вспомнить за ним ни одного боя.

В общем, Хабалов предполагал, что беспорядки прекратит. Количество пехоты – достаточно, а кавалерию он ещё усилит, вызовет добавочный полк. Да сейчас он ещё не может доложить всех подробностей, так как до полуночи ещё не получил донесений от начальников всех войсковых частей.

И правда, сколько раз другие волнения кончались – отчего бы и этим не кончиться?...

Да пристало бы тут спросить высшего военного мнения – военного министра Беляева? Но генерал Беляев как пришёл, своей нетвёрдой походкой, – сидел в уголке дивана беззвучный, насупленный, узенький, впалогрудый, редковолосый, а глазками так углублёнными в глазницы – настоящая «мёртвая голова», как звали его в армии. И не высматривал из глазных впадин, а так и пребывал темно углублён в себя, – даже вызывала сомнение его подлинность: он – человек или маленькая кукла?

Он не только не просил слова, но он всем отстранённым видом показывал, чтоб его не смели спрашивать и не смели к нему притрагиваться. Если морского министра нет, – то зачем тут он, военный, сидит – неизвестно. Лишний человек, зачем-то втянутый в их глупую политику, его дело – снабжать воюющую армию. (Он и был назначен с Нового года

министром за то, что говорил по-английски и по-французски и имел опыт поездок за границу по военному снабжению – а то уже падал он в своём служебном положении до того, чтобы принимать дивизию на Румынском фронте). Если министр внутренних дел ничего не может сказать, то почему должен знать военный?

Тогда – попросили доклад от градоначальника Балка. Этот был – специалист полицейского дела, но, увы, лишь недавно назначенный из Варшавы, а в Петрограде тоже чужой. Всё же он описал главные события этих трёх дней – с профессиональной резкой точностью полицейских донесений, прочитывая с бумаги и точные места, и точные часы-минуты.

И вдруг – этих событий выгрудилось сразу так много, и таких жестоких, – они переваливали через представления министров, хоть и проезжавших по улицам в эти дни, но не попадавших в главную сутолочу.

Так что ж это делается, позвольте, господа? – вполне серьёзно некоторые задумались лишь впервые.

Кульчицкий тревожно выставил одно ухо – и, как будто, всё слышал.

Министр юстиции сенатор Добровольский не скрыл не то что кислую, но отчаянную гримасу. Светский человек и бонвиван, однако замученный трёхлетней болезнью жены (и полтора года она без сознания), запутанный в денежных долгах и векселях, он так добивался министерского поста, так рассчитывал поправить свои дела, – и только назначен в декабре-и вот попал теперь, зачем и добивался?

Ах, какие незаконно вторгшиеся события, отвлекающие от главных дел. В голове энергичного маленького Шаховского – снабжение железом, расценки по нефти, закупка в Америке новых рудничных машин, – а тут?...

А уж лысый Кригер-Войновский, всю жизнь страстный инженер – по тяге, по движению, по эксплуатации подвижного состава, никогда не знал ни свободных вечеров, ни воскресений, то на Балтийских дорогах, то на Юго-Западных, то управляющий Владикавказской, преобразившей Ростов-на-Дону, и оставаться б ему там – но по военному времени вручили ему весь железнодорожный транспорт страны, а потом и товарищем министра, а Трепов вдруг уволен, и вот пришлось принять с декабря управление министерством путей, от сильных морозов полопались трубы в тысяче двухстах локомотивах – а тут какие-то городские волнения, что такое, зачем?

Да и всё правительство собралось вовсе не для того, чтоб этими досадными петроградскими волнениями заниматься, это только потому речь зашла, что звонил Шингарёв. У правительства своя извечная проблема – война с Государственной Думой, а не случайные городские беспорядки.

У градоначальника прозвучала и жалоба на армию: что полиция одна сопротивляется, несёт потери, многие же армейские части вовсе бездействуют.

Хабалов молчал, будто к нему не относится.

Вопросы к градоначальнику?

Никто не задал.

Какие же меры предполагает генерал Хабалов для водворения порядка?

Генерал отвечал без уверенности. Даже и пресекая оружием. Сейчас печатаются и до рассвета будут расклеены по городу объявления в большом количестве, что скопища будут рассеиваться оружием.

А – правильно ли это будет? – прошло по министрам сжатие.

Покровский, едва за пятьдесят, обычно вяловатый, с приспущенными веками, обвисшими усами, в речи и обращении всегда мягкий, – тут твёрже обычного выразил, что подавлять оружием ни в коем случае нельзя, подавление не поможет. А надо – идти на крупные уступки.

Но это уже был разговор внутренний. Князь Голицын отпустил Хабалова и Балка.

И, уже никем не охраняемые, часовые стрелки закатывались далеко за час ночи.

Министры негодовали, что военное командование ничего не знает и не умеет.

То – не прения были, мнения не подсчитывались, а так, скольжение мыслей рядом и вокруг. Покровского поддерживает общество, к нему надо прислушаться. Но министры имели слишком мало власти, далёкий Государь не уполномочил свой кабинет на такие действия – «крупные уступки». Да, конечно, какие-то реформы нужны – но разве Государя переубедишь?

Кульчицкий поворачивал ухо на каждого говорящего, а сам ничего не выражал. У Раева был вид самый удовлетворённый, у Добровольского самый кислый, но они не вмешивались. У Барка нарывы, Беляев, может быть, просто нарисован на канцелярской промокательной бумаге, глаза за большим пенсне, а усы приклеены? Протопопов отдыхал, красиво закинув голову. Государственный контролёр Феодосьев, самый тут молодой, моложе сорока, долголицый, лысый, умный, пристально следил и хотел говорить, но его ещё не пригласили высказаться. Тревожными фразами обменивались Риттих, Шаховской, Кригер – все деловые. Но и они знали каждый только своё ведомство и не ведали, что делать против неугомонной толпы.

Если развешивать такое объявление – так это что ж, начало осадного положения?

Осадное положение имело бы то преимущество, что тогда по закону прекратились бы всякие собрания, – а значит и занятия невыносимой Государственной Думы? Или нет?

Распространяется ли на Думу? Это спорный вопрос.

Да вот какая теплилась надежда у князя Голицына: завтра – воскресенье, в воскресенье забастовка не имеет смысла, её нет, и на улице не повалят, каждому своё время будет жаль, – и так всё утихнет? Так и кончится, дай Бог?

В этом правительстве, столько раз за войну сменявшемся, сменявшемся, сменявшемся – до потери уверенности, до потери значения каждого, и где половина, включая председателя, только и думала, как бы отделаться от своей должности, – на что ж и могла быть надежда? – на умеренность, на соглашение, на течение времени. В этих двенадцати грудях оставался ли хоть кубик настоящей борьбы?

Оставался. В министре земледелия Риттихе, по молодости втором. Из младших сотрудников Столыпина, он и с Думой состязался бесстрашно, как было забыто со столыпинских времён, – и сейчас, не теряя холёного вида, отличных манер, с пенсне на привскинутой голове, говорил твёрдо, волнуясь.

Что жестоким уличным беспорядкам и массовому калечению полиции может быть противопоставлена только сила и ничто другое, как это и делается во всякой иной стране, хотя бы и Франции, в подобных обстоятельствах. Если в войска уже стреляют из толпы – то что же остаётся войскам? Беспорядки потому и приняли такой затяжной характер, что власти хотели избежать кровопролития. Но ужас перед пролитием крови обманчив: если упустить время, прольются несравненно большие потоки, даже моря крови. Только решимость не останавливаться перед немногими жертвами может остановить это расхлябанье.

Очень непреклонно и неприкрыто это сказал. Все стихли.

И тогда Покровский, кривя губы, несильным голосом, но с призывком насмешки отозвался:

– Вздор. Вот это и есть губительный путь, 9 января. Только – крупные уступки. И безотлагательно.

Надо было на что-то решаться? О, как не хотелось! Да смеют ли они без Государя? А он – в Ставке.

О, скорей бы возвращался Государь!

Тут доложили о прибытии вызванного начальника Департамента полиции. Пригласили его для объяснения.

Какие бывали раньше легендарные главы полиции! – всем существом в струне полицейской службы, воодушевлённые вровень с революционерами и полагавшие собственную жизнь на защиту политического строя. Вошедший действительный статский советник Васильев был – нет, совсем не из них. Показался он неуверенным, даже жалким – и только один Протопопов озарился ласковой к нему улыбкой. Имя «Васильев» никогда не

гремело, и тут не помнили, как он выдвинулся и почему. (А нравился он жизнелюбивому Курлову тем, что за службой не забывал себя, любил выпить, играл в карты. При Курлове он хорошо поднимался, потом застыл, а сейчас при коротком возврате Курлова в министерство, под его рукой, стал директором департамента).

Место щекотливое, но Васильев старался не замазаться в реакционность, а слишком мрачные предсказания петроградского охранного отделения последние месяцы освобождал от пессимизма, чтобы не огорчать начальство. Так и сейчас в эту тихую ночную комнату Васильев вступил не овеянный, не обуренный событиями этих дней, но с подсчётом своих донесений. Вот и разъясняемый случай с сегодняшним вечерним арестом оказался совсем и не серьёзным, это только раскричались: совсем не Военно-промышленный комитет и не его рабочая группа (уже прежде посаженная), а – в её помещении постороннее публичное собрание. И арестованы такие, кто уже и раньше привлекались к следствию за участие в незаконных сообществах.

Ну, как хорошо. От этого разъяснения и всем полегчало.

Всё-таки надо быть чрезвычайно осторожным в каждом мелком шаге. Всё может вызвать...

Смотрели на этого Васильева. И видно, что – не настоящий. А не ущипнёшь, доводы сходятся у него. Отпустили.

А Васильев, кланяясь, напомнил почтительным взглядом Протопопову: сегодня ждёт министра к воскресному обеду, ведь вон уже воскресенье, стрелки – за два часа завалились.

И никто не мог удержать их хода.

Ах, какая отдохновительная тишина в отшумевшей ночной столице! И что бы ей задержаться на наступающее воскресенье! И потом после воскресенья?...

Да главный-то вопрос был – не улица, сама, а конечно – Государственная Дума. Она-то и была возбуждающий центр волнений, она и поддерживала духом своим беспорядки. Но она же могла стать и ключом к успокоению, если с ним освоиться? Завтра, в воскресенье, не будет и Думы, как хорошо. Но в понедельник там ожидаются резкие речи – и как их остановить?

Покровский, мало шевелясь на своём диване, меланхолично отозвался, что с Думой надо ладить, с Думой надо уметь работать, а без Думы жить нельзя.

Как ни уныло это было произнесено, но очень убедительно. Да эти запуганные измученные министры только и искали, как бы поладить с Думой. Восклидания думских ораторов – это были ужалы от тучи ос, министры не знали, как отмахиваться.

Как же однако с нею можно поладить, возражал уверенно Риттих, если вот по хлебному вопросу после всех речей совершенно ясно, что Дума ничего существенного не может возразить против мероприятий министра земледелия, а одобрить голосованием тоже не может, потому что никто в Думе не имеет морального права соглашаться с правительством.

А у князя Голицына тут дома, в столе, лежал уже подписанный Государем указ о перерыве думских занятий – и он уполномочен был проставить число и опубликовать. Но – что верно? Прервать Думу? А не лучше ли сговориться? Худой мир всегда лучше доброй ссоры. И тогда просить членов Думы своим престижем облагоразить толпу? – вот и самый лучший выход из волнений.

Вот это и был главный вопрос сегодняшнего заседания. Голицын поставил его в равновесной форме.

Покровский, от спинки дивана, устало и как об известном: но для этого кабинету придётся принять все требования Думы. И может быть – уйти самому.

Всему кабинету? Или некоторым из нас? Никто не был назван, но все поняли намёк на Протопопова. Кого же больше ненавидела Дума, чем своего изменника-перебежчика? Из-за кого же и всем им тут доставалось на орехи, если не из-за Протопопова? (Недавние министры не ощущали, что и раньше так было: только вот этого уступить, Щегловитова, Николая Маклакова или Горемыкина, и сразу отношения улучшатся?) Никто тут Протопопова не любил, никто за него не держался, он был камень, топивший их всех. Но тут

– он вполне очнулся. И предупредил, со значительным мановением руки: смена кабинета – это лозунг, за которым скрываются другие требования революции, совершенно неприемлемые.

А делегата Кригер-Войновский, ничем не враждебный Думе, напротив: если этот состав правительства не угоден Думе – так и разумнее всего ему уйти в отставку.

И опять Покровский, без энергии, но это так ясно:

– Да, господа, это единственный выход! Немедленно всем нам отправиться к Государю-императору и молить его величество заменить нас всех другими людьми. Мы – не снискали доверия страны и, оставаясь на своих постах, ничего не достигнем.

И самовдохновлённому Протопопову всё более приходилось спуститься в это заседание с высоты, где он витал. С ласковым изумлением он оглядел этих приземлённых людей, своих коллег. (Одного Барка он здесь боялся, по старой памяти: когда тот был директором банка в Симбирске, много лет от него зависела вся судьба векселей Протопопова, да он ещё и щедро ставил поручительства на векселях чужих, за это в дворянстве любят). Никогда он не баловал заседания кабинета длинными выступлениями, справедливо понимая, что не здесь, а в других, частных и высших, аудиенциях решаются все дела. Но поскольку тут действительно начинали доверяться собственному заблуждению – может быть, впору было им и объяснить? И стараясь быть очаровательным и для них – он стал изъяснять описательно.

Господа, геометрически это можно представить себе так: разноцветные секторы – красный, оранжевый, жёлтый, синий, чёрный... Но секторы не разделены навечно, они дышат, то расширяются, то сужаются, и имеют способность втягиваться друг в друга и поглощать один другой.

Он – видел эти переливы, и увлёкся, и с интересом отдался блеснувшему вдохновению, как если бы был в обществе дамском.

Министры подозрительно переглядывались.

Подобна этим секторам и наша политическая жизнь, разнообразие партий и правительственных течений, та же живая непринуждённая игра. Но что происходит в последнее время? О, это очень важно! За последнее время сектор революционного течения втекает в сектор оппозиционного, и так жёлто-оранжевые цвета подменяются красными. И вот для государственной власти оказывается невозможным иметь равномерные отношения с оппозицией, потому что оппозиция перестаёт стремиться к устойчивой равномерности, но единственно к захвату власти. А если так – то мы не можем уступать!

Министры переглядывались: напугали их эти секторы. О Протопопове и раньше было известно, что у него мысли скачут. А сейчас – во всём его повышенно подвижном лице, остро-перебросливых глазах, а улыбке при этом растерянной, – была же явная сумасшедшинка? Весьма опасная для министра внутренних дел.

А Протопопов не понимал, как они не понимают такого ясного?

Раз оппозиционное течение переменялось в самом своём составе, втянуло в себя анархо-революционные струи, мы и должны поступать с ним как с анархо-революционным, то есть – бороться с ним решительно! Как же можно складывать и отдавать портфели, когда в столице бунтует чернь? Дума – слишком взвинчивает настроение страны, нам с ней не дотянуть до конца войны. Дума – и направляет рабочие волнения. Если она пойдёт так и дальше – она поставит под уклон саму монархию. Надо перестать забегать и заискивать перед Думой! Она стала средоточием революции – и её надо вовсе распустить. Не на короткий срок прервать, но – распустить, закрыть совсем, до осени, – а осенью полномочия её кончаются, будем выбирать Пятую.

Распустить Думу – совсем? Министры отшатнулись от такого ужаса.

– Ничего особенного! – победоносно декламировал Протопопов. – Япония одиннадцать раз распускала парламент, почему мы не можем?...

Но, к облегчению, вопрос не стоял так срочно именно сегодня. В воскресенье Дума не заседает, прерывать её или не прерывать можно только с понедельника.

А нельзя ли было бы об этом самом – и договориться с Думой по-хорошему? Чтобы не было этих возбудительных речей, которые жалят и воспаляют публику. Не попробовать ли завтра, пользуясь воскресеньем, войти в сношения с лидерами фракций и личным обменом мнений выяснить возможный компромисс? Позондировать настроения благоразумных членов Думы.

Вот, Покровский наиболее вхож в думские круги. И для равновесия ему – Риттих, противоположная точка. И как-нибудь договориться, чтоб выйти из положения. Тихо, мирно.

А Голицын попробует завтра поговорить с самим Родзянкой.

В эту тихую ночь, и уже к трём часам, таким усталым, как им хотелось – тихо, мирно.

Они не знали, что в этот самый вечер городская дума постановила: «С этим правительством, обагрившим руки народной кровью...»

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

43

* * *

В четвёртом часу ночи в полицейский участок Московской части явился в нетрезвом виде поручик 88 Петровского полка Забелло и потребовал от дежурного полицейского принять устное заявление. И стал ругать всех чинов полиции грабителями, бунтовщиками, мародёрами, и сожалел, что мало их пострадало при стычках. Вот если бы послали усмирять толпу его – он бы прежде всего перестрелял всех чинов полиции.

* * *

В градоначальство явился пороховский пристав, который вчера покупал себе лохмотья у швейцара, – и доложил, что пороховский участок больше не существует. И подсчитать убитых и раненых полицейских – некому.

* * *

Утром 26 февраля на стенах Петрограда появилось ещё новое объявление:
«Последние дни в Петрограде произошли беспорядки, сопровождавшиеся насилиями и посягательствами на жизнь воинских и полицейских чинов.

Воспреещаю всякие скопления на улицах.

Предваряю население Петрограда, что мною подтверждено войскам употреблять в дело оружие, не останавливаясь ни перед чем для наведения порядка в столице.

Командующий Петроградским Военным округом
ген.-лейт. Хабалов».

Но как это объявление было уже третье подряд, а и первые два не выполнены, то и это не звучало. Если до сих пор не стреляли – то уж, видно, не будут стрелять.

Да и прочли объявление поздно: воскресенье, не торопились подыматься, не торопились на улицу выходить. Мимо приказов шли, почти не читая.

* * *

Сегодня в Петрограде не вышла ни одна крупная газета.

* * *

Фабричные районы замерли: не гудели, не дымили заводы, не дребезжал трамвай. Только громыхали ещё поезда пригородных железных дорог. На четвёртый день забастовки утянуло из воздуха всю муть. Небывало чистое небо.

* * *

Сегодня с утра в рабочих районах полиция уже не появлялась, даже и конная.

* * *

Василеостровские большевики и объединенцы собрали собрание из 28 лиц на 14-й линии у товарища Грисманова. Всем раздавали заготовленные воззвания к солдатам. И приняли резолюцию: 1) Продолжать демонстративные наступления, доводя до крайних пределов. 2) Насильственно заставлять сегодня предпринимателей кинематографов и содержателей биллиардных закрыть их, чтобы оторвать рабочих от праздничных развлечений, а заставить их быть на улицах. 3) Собирать оружие для боевых дружин. 4) Разоружать городских неожиданными нападениями.

* * *

Среди рабочих слух, что в Москве и в Нижнем Новгороде то же самое творится, что и в Петрограде, наша берёт!

* * *

Вчера был первый день без трамваев, сегодня – первый день без извозчиков: напуганные угрозами, они не выехали нигде.

* * *

В городской образованной публике такой слух: все эти волнения правительство допускает нарочно, чтоб изобразить революцию и иметь право на сепаратный мир. И будто многие демонстранты – не рабочие, а переодетые дворники. И будто одного ударил городской, а тот: «Полтинник в день плотите и ещё драться будете?»

* * *

Только в самом центре ещё стоят сдвоенные посты городских. Их всегда привыкли видеть уверенными, строгими, так странно – растерянными.

Зато войск сегодня было выведено больше, чем те дни. Все невские мосты и протоптанные переходы по Неве охранялись цепями патрулей.

Но малыми группами, как бы семейными, рабочих пропускали.

А где валили уже и большими группами, запрещёнными, топтали и новые дорожки через Неву.

И солдаты отворачивались, чтоб не видеть.

К самим патрулям теснились рабочие, работницы и уговаривали их.

* * *

Все эти цепи и патрули тоже были как вымученные: будто ждали насилия над собой. Будто даже хотели, чтоб их прорвали, разоружили.

44

С утра Шингарёв позвонил в несколько мест Петрограда своим знакомым, кто мог бы видеть новые уличные события. Все отвечали, что ничего не происходит, спокойное воскресное утро.

А вчера в городской думе так бурлило, не поверить бы, что разойдутся, успокоятся, опустеет. Андрей Иваныч и спал тревожно, ему и мерещились толпы, сборища, состояние невозвратно упускаемого чего-то. Никак не разумно было бы желать новых волнений – а из внутреннего задора почему-то желалось! Совсем странно было, что вот – спокойное утро, нигде ничего. И можно было заняться какой-то работой? А у него и неотложное лежало, были материалы военно-морской комиссии, послезавтра заседание. А сегодня днём в 3 часа – заседание бюро Блока. Но сейчас, с утра, можно позаниматься.

Хлеба в доме не было, вчера за свежим девочки не стояли, а тот уже подъели. А высших сортов Шингарёвы принципиально не покупали. Андрей Иваныч выпил кофе с сыром, поговорил немного с девочками, радуясь их цветению и беззаботности, обещал, что этим летом поедут в Грачёвку вместе. И пошёл в кабинет.

Не так сразу голова и переключалась: инерция вчерашнего бурного вечера и вся эта продовольственная перебудоражка, да и после собственных выступлений в Думе Андрей Иваныч не быстро отходил. В последние месяцы втрепало его ещё и в продовольствие, но, вот они, лежали глубинные дела, от которых воистину зависела судьба России: как продолжено в последние недели, после союзнической конференции, снабжение армии к весеннему наступлению? Уже второй год занимаясь военным бюджетом, этим цифрам Шингарёв мог только изумляться, год назад и присниться не могло ничто подобное: за всю войну до конца 1916 мы произвели 34 миллиона выстрелов, а сейчас наготовлено было 72 миллиона. Через месяц русская армия начнёт наступать – и поразит врага такой лавиной огня, какой никогда на Восточном фронте не бывало, а только под Верденом.

И, собственно, это одно перевешивало и решало всё. И несомненность близкой русской победы. И, значит, зря вся их горячка думских боёв: власть – останется на своём месте, самое большее – сшибут одного-двух министров. Который раз из полной, кажется, безвыходности они выскальзывали.

Работы тут было довольно – по соотношению казённых и частных заказов, по срокам и долям оплаты. Но мысль Андрея Ивановича с трудом сосредотачивалась на деталях, а по разгону этих дней всё текло в каком-то общем виде. В общем виде – и в общей какой-то неясности, недоверии или тревоге. Цифры были самые ободряющие для русской победы, а настроение всё равно смутное. Смысл отчёта был самый неуклонный, – но какое-то заползающее чувство повело тревожным холодком и мешало терпеливой работе.

Тут раздался не звонок в дверь, но почему-то стук – троекратный, а как будто клювом птицы. Как будто в дверь, но он не повторялся и даже не был похож на то, как обычно стучат. Фроня не отозвалась, да ей было и дальше. Может – и не было стука? Андрей Иванов всё же пошёл проверить.

А за дверью таки стоял – не птица, а в пальто, и в мягкой шапке пирожком – высокий, но теряющий рост на сутулости, никак не старый человек, но и не молодой, с прекрасными напряжёнными глазами, по которым на светлой лестнице сразу и узнавался – Струве!

– Пётр Бернгардович! А я думал – послышалось. Вы почему же не позвонили?

Впустую было его и спрашивать: не видел он звонка. Он мог и полной аудитории не заметить: прийти на лекцию, подняться к кафедре, достать из портфеля книгу и стать её про себя читать.

Со своим удивлением навстречу:

– Андрей Иванов, вы дома сидите? Как это?

– А что же? – ёкнуло у Шингарёва.

– К Василию Витальичу я зашёл – его нет, – милым оскрипшим голосом то ли жаловался, то ли хвалил. – Хорошо вспомнил, что вы в этом же доме.

– Да что же случилось? Да зайдите, Пётр Бернгардович, раздевайтесь.

– Где там раздеваться, – с беспокойством ответил Струве, поводя головой, поводя. – Надо идти. – И оставался на лестнице. Была в его руках одна простая ходовая палка с крученой головкой, больше ничего. Где пуговица недостёгнута, где горбилось пальто, рыжеватая и с проседью редкая бородка не подстрижена, но смешного ничего, а передавалась едва ль не жуть.

– Куда ж идти?

– Не знаю, – тревожно отвечал Струве и покручивал в пальцах головку палки.

– Да что же случилось?

От сутулости и приклонённости головы у Струве манера смотреть получалась как бы исподлобья и оттого пронизывающая, да ещё через пенсне. Нутряно-тревожным голосом отозвался:

– Андрей Иванов, неужели вы не чувствуете? Да как же можно в квартире сейчас усидеть? Я, например, не мог... Я даже среди ночи проснулся... Да ведь где-то что-то... А?

Он повёл головой вкруговую, с недоверчивостью – как будто вынюхивал гарь, не горит ли их дом тут.

И в Шингарёве сразу соединилась эта тревога гостя с его собственным неуложенным чувством. Вдруг отдалось ему, что не могло не быть событий, никак не могло, верно! – только о них ещё не известно. И все, кто его по телефону успокаивали, – ошибались. А сердце говорило правильно. И на окраине в четырёх стенах всё просидишь и пропустишь.

Сразу объяло его – и теперь уже, он чувствовал, если и не пойдёт со Струве, то всё равно дома не усидит, покоя не будет. Конечно, рано – 10 часов, а бюро Блока в 3, но там, в думской комнате, была у него и другая работа. И в такие дни правильной всего находиться в Думе, конечно.

– А вы на чём приехали, Пётр Бернгардович?

– На чём же! Извозчиков тоже не стало. На одиннадцатом номере, вот с палкой.

Это из Сосновки, от Политехнического! Был Струве на год моложе Шингарёва, но от сутулости, от некрепости, от пренебрежения телом вызывал к себе ощущение едва ли не как к старику. Тело его было – временное, неудобное помещение для духа, и перемещалось не по своим потребностям, а как духу было надо. И даже часто очень подвижно.

Нет, теперь окончательно не усидеть! Тревога так и побежала по коже. Сказал Фроне. Оделся и сам. Пошли.

Ловил себя на том, что хотелось поддерживать Струве на спуске с лестницы, на шагах через пороги. А ведь ничего, и без лифта поднялся.

Стоял ясный морозный день, градусов на восемь Реомюра. На улицах было совершенно спокойно, и даже пустей обычного. И даже казалось, после вчерашнего гула, что люди

разговаривают вполголоса.

Правда, легче, когда ноги движутся: столько накопилось за эти дни, на месте трудно сидеть.

С Большой Монетной свернули на Каменноостровский – и нигде не видели следов волнений или погромов, не попадались им и разбитые магазинные витрины. Тем более Каменноостровский без трамваев и извозчиков казался пуст. Без трамвайного грохота и звонков – казалось бы спокойнее нервам?

Нет.

– Обойдётся, – успокаивался Шингарёв. (Или, наоборот, разочаровывался? Какое-то раздвоенное чувство.) И с чего им обоим показалось? Город был мирен, как никогда, всё кончилось. – И хорошо, потому что с этими беспорядками до чего докатилось бы... Не обойдётся только с нашим правительством. Терпеть его – невозможно.

– Зато посмотрите, как терпят они, – рыжеватыми бровями над пенсне увеличивал Струве ищущий охват своих глаз. – Просто ангелы терпения. Не стреляют, а? Ведь никакая бы немецкая, английская полиция не выдержала? – Шёл и приспотькивался о бугорки утоптанного снега. – Андрей Иванович, никакое рассмотрение не плодотворно, пока не исследуешь точку зрения противника. Станем на их точку зрения: а что им делать?

Шингарёв кому только не пересочувствовал за жизнь! Но не хватало ему ещё забот – ломать голову: что делать им!

– Уходить! – безжалостно знал. – Если мы мало терпели их, то сколько можно ещё? Камни треснут!

Ноги Струве не ступали уверенно, это не были здоровые ноги, перетомившиеся от сидения.

– Уходить?? – неловко пошатнулся он и подкрепил пенсне. – Но это не нормальное человеческое движение. А скажите: что мы им оставляем делать последние, ну, пятнадцать?

Дней, понял Шингарёв, Струве не всегда кончал фразы.

– Да почему ещё в этой хлебной катавасии я должен за них...

– Лет! – неожиданно dokonчил Струве.

– Что лет?

– Пятнадцать. Скажите... Если будет политическое сотрясение, мы... не...?

– Что?

– Обеднеем?

– Да в чём же?

– А... а... – потянул. – Духовный организм, возникающий из толпы... это загадка для мистиков. А – что мы там черпнём в недрах народного духа?

Шингарёв покосился с удивлением. Это и был человек удивительный, давно известно, ни на кого не похожий. В бурном русле русской политики он всю жизнь брёл, как и все брели, понуждаемый мощным течением, – но, не как все, ещё совершал непрерывное боковое перемещение: губернаторский сын, начал у самого левого берега – с анонимного «открытого письма Николаю II» в ответ на его «бессмысленные мечтания». Потом – автор первого манифеста РСДРП и создатель социал-демократической партии у нас. Тут же вскоре вслед что-то заговорил о Боге, первый среди марксистов. Передвинулся чуть правей, но – в крайние радикалы: главный редактор незабываемого «Освобождения», беспощадный грозный эмигрант герценовского размаха, «штутгартский рыцарь». Однако уже с первых дней свободы Пятого года – затаённый первый «веховец» ещё не задуманных «Вех», и уже с этих пор его жизнь была – вереница вызовов общественному мнению. В кадеты он вступил с большими колебаниями, после милюковских уговоров. И дальше, слева направо, он перешёл, перебрёл весь кадетский поток, перебыл и членом ЦК кадетов и депутатом гневной Второй Думы (где Шингарёв, разумеется, не подымался из кресла выслушивать тронную речь, а Струве всех поразил, поднявшись). И сбивался всё правей, сердя Милюкова, наконец в позапрошлом году и вовсе вышел из партии. С думской трибуны он оказался негоден, слишком комнатен, невнятен, да вообще не давалась ему практическая политика, не было у

него политической хватки. Но отчётливое у него было перо, и повея «Русскую мысль», он уверенно продолжал всё то же движение: из оппозиции – и вправо, в государственника, патриота. И когда в первое военное лето понадобилось от имени Верховного Главнокомандующего писать воззвание к полякам наполеоновским языком – то совсем неожиданно для этого пригодился Струве. И вот сегодня на Монетную он пришёл сперва к Шульгину, а не к Шингарёву. Уже сильно прибывало его к правому берегу. А вместе с тем – как будто никуда и не уходил, оставался свой вполне.

– Да что же, Пётр Бернгардыч, мы можем там черпнуть, кроме самой здоровой, родниковой основы? На этом – вся наша вера, вся наша деятельность, двадцать – тридцать – сорок лет...

Да что доказывать, обоим ясно.

Но Струве – не было ясно. Он – запнулся в ходьбе, остановился, не сразу нашёлся в речи. Голова его приклонялась, а взор был снизу вверх:

– А – удержимся ли мы в чувстве меры?... Свободное избрание путей – о-о-о... На строгую свободу духа способны очень немногие.

– Ну-у! ну-у! Что уж вы в такую высь заоблачную!

Струве укрепил пенсне на носу и смотрел, высвечивая взглядом, что не вталкивалось в речь:

– А если мы не достигнем **этой** свободы – то не освободят нас и самые свободные политические формы. Возможность свободы – ещё не есть свобода.

– Да о том ли речь! – отмахивался Шингарёв. – Нам бы – посадить толковых министров. Улучшить веденье войны, чтоб её не проиграть. Снабжение фронта и городов. Элементарные исправления внутренней политики. Ведь что эти чучела делают! Сколько они напутали!

– Это самое лёгкое – искать ошибки у противника, а не у себя. Но если именно я... э... сидя за границей, в Четвёртом году, доказывал Трубецкому моральную неправомерность понятия «крамола»? А потом, воротясь в Россию, в разгар, как было не увидеть, что это... э... реальное понятие?

Струве волновался, как не мог бы волноваться перед Шингарёвым. В его горле фразы как будто уплотнялись и спорили, какой раньше проскочить. Он для того и останавливался, чтобы легче говорить. И свободной от палки рукой делал странные движения, как будто искал, на что б и второй руке опереться.

– Да, правители проспали. Но и мы гипнотизировали себя всё одной блистающей точкой. Мы с такой страстью... столько лет против правительства, будто главные интересы России в этой борьбе. Или как будто вообще можно жить без правительства. Если мы умней – так первые должны были опомниться: с какой осторожностью надо решать задачу освобождения... Не политическое землетрясение, но нормальная эволюция. А мы только вели войну против власти, одну войну! Мы всё настаивали, что государство не стоит без свободы – но и свобода же не стоит без государства! Это порок нашего сознания: в собственной стране жить постоянно на мятежном положении.

– Ну, Пётр Бернгардович, понимал бы я раскаяние, если бы это мы им шею свернули. А то – они нам скручивают, аж хрястят. А царь? Даже не имея выдающегося ума, мог бы он с самого начала править нами иначе. Ведь ему не пришлось переступить на трон через убитого отца и при этом услышать ультиматум народовольцев. Царь умер внезапно, страна была действительно в скорби. Самодержавия никто не оспаривал, общество было – спокойным, и всего только просило: чтобы за земствами было признано... Чтобы до престола доходило мнение не только ведомств. И никто б не попрекнул молодого царя в слабости, если б он пошёл тогда навстречу обществу. Возобнови он линию 60-х годов – и подмораживание Александра Третьего было бы даже оправдано: самодержавие доказало бы, что оно сильно и сделает всё само. А молоденький Николай... заминку отца объявил как курс на вечные времена.

Струве всё же поддавался идти. Он шарил глазами, то ли видя тротуар под ногами, то

ли нет, и проверял его палкой, и в отчаянии искал, искал рукой соскочившее на привязке, отболтнувшееся пенсне и снова его насаживал. Мысль выжигала его раньше, чем он успевал произнести, и в самом процессе говорения он её нагонял, и уплотнял фразы, насаживая следующую на неоконченную.

– Он – мог иначе, но и мы?... А какие были наши вот, Союза Освобождения, инструкции? Я сам их печатал. Не пропускать ни одного удобного случая обострить конфликт между обществом и самодержавием... Как пошло от выстрела Засулич: правонарушение прощательно, если направлено против врага. Для торжества в одном коротком бою мы не боялись оставить любую тяжесть следующему поколению. Как мы злорадствовали убийствам министров. Мы же наперебой... с революционерами. Даже в Париже... совещание с террористами. Мы поддерживали всякий террор, вы только вдумайтесь! И грозно обругивали тех, кто осмеливался террор осудить. От правительства мы всегда требовали только безусловной капитуляции, ничего другого! И сегодня то же самое. Разве мы когда стремились к какому сговору, реформам? Наш лозунг всегда был один: уходите прочь!

– А *он* ?? – Лично в себе Шингарёв не набирал ненависти к царю, но когда говорил обобщённо: – Он раздул вопрос о самодержавии так, что ничего больше не осталось под небесами. Это – его советчики объявили, что лояльное земство – враг самодержавия. Неужели никогда ни одного вершка нельзя было уступить либералам?

– Как так? – запнулся, заикнулся Струве, и палкой нащупывал твёрдость. – А Святополка кто же оттолкнул? И моё же «Освобождение» поносило его. Да больше всего на свете мы ненавидели именно компромисс! Мы же и посылали инструкции на все банкеты: принимать непременно резкие резолюции. А с земствами как наш Союз играл? Просто использовали их название и вывеску.

Странно это было слышать от недавнего кадета, но ещё странней была манера Струве спорить: он как будто отсутствовал, и не Шингарёву всё это говорил, а только расpirался мыслями изнутри. Как будто отсутствовал, а первый заметил, и закрутил головой даже испуганно: они – как в комнате разговаривали, настолько не было никого вокруг, не гремели, не скрипели снегом, не ехали, не обходили их на тротуаре, не видели их, не слышали, – и оттого вдруг пронзило, как будто весь Каменноостровский их слушает, и даже весь город.

– Устал народ, – с сожалением объяснил Шингарёв. – Отдыхают.

Струве кивнул. И дальше понёс пригорбленные плечи, как нагруженные:

– Разве мы когда-нибудь серьёзно относились к нашей исторической власти? Да все учреждения прошлого всегда были для нас только обузой и никак не частью возможного будущего. Зато любая революция была нам предпочтительней существующего. Под революцией мы всегда понимали нечто прекрасное и оздоравливающее. А революция... всегда неестественна.

Свободной рукой схватился за своё отогнутое длинное ухо. Потоптался как пританцовал. И брёл дальше:

– Высшей целью считалось – сохранить репутацию в левых кругах. Наша постоянная ошибка была: не отмежеваться резко от левых, от всех *эсов* .

Наконец, Шингарёв уже серьёзно заволновался. Много можно было этому чудаку простить, но не столько. Повёл его за рукав дальше:

– Мы и начали эту войну с доверия правительству. Но вот сложилось – удивительно, позорно: что правительство само себе не желает победы! Что народ должен выиграть войну – помимо правительства!

– Нет! Нет! Нет! – живо предупреждал Струве дыханием прерывистым, недостающим на плавность. И несносно опять остановился, чтобы удобнее углубиться в собеседника. Так наклонял голову, что лучи глаз его прорезались уже через брови: – Не может быть, Андрей Иванович, чтобы вы думали так. Это вас партия заставляет! Вот она, трудность свободы: надо быть выше партийности! Ну неужели вы серьёзно верите в измену на верхах или даже в придворных кругах? Ведь это – партийная клевета, ничем не доказано!

Нет, так грубо не думал Шингарёв, не измена. Но – равнодушие. Но какая-то закоснелая бездарность, которая умеет даже победы обращать в поражения:

– И вот всё обернулось на сто восемьдесят градусов: мы, пораженцы японской войны, теперь единственные верные патриоты.

Они как раз дошли до барельефа «Стерегающего». И вышло напоминание: вы-то были пораженцы, а мы, двое последних на мёртвом миноносце, затопили себя, чтобы не сдаться.

Струве опять остановился, упнулся палкой:

– Мне ли вы об этом говорите! Я перехватывал побольше вашего! Когда пришло известие о Цусиме – я дрожал от радости, и именно в этом считал себя патриотом. Я очнулся только когда в Париже японский агент стал совать мне деньги...

Далеко раздвинулся проспект, они выходили на площадь перед крепостью. Нельзя было не заметить какой-то особенной чистоты в воздухе, небывалой синевы неба. Могло ли так показаться обоим? Или уж особенно сверкало солнце?

При такой просторности и особенной тишине на улицах, и так особенно чисто в небе, и такое особенное солнце, – стоял над петровской столицей как будто праздник. Как будто ожидаемый давно.

– Мы и сегодня всё полагаем, что управлять государством легко.

– Ну, и не так уж трудно! – бодро возразил Шингарёв. – Думская работа, тоже нас кое-чему научила.

– Вы так полагаете?

– Мы готовы.

– Ну, завидую вашей уверенности.

Справа сверкала в солнце петропавловская колокольня – до взнесенного ангела. Мирно, налито глыбностью, дремали толстые башни и куртины крепости, когда-то грозной, а вот уже давно не сидели там узники, и уже не будут: всё-таки льётся смягчение нравов и к нам.

Блистательно и покойно. Даже слишком.

А сердце почему-то подавливало.

– А что ж нам остаётся? Если императорская власть изменяет своему долгу быть вождём империи? Можно ли хуже развалить, чем он уже сделал?

Струве опал из подъёма, будто и не спорил. Кротко:

– Все мы Россию любим – да зряче ли? Мы своей любовью не приносим ли ей больше вреда?

– Пётр Бернгардович! – положил ему Шингарёв широкую кисть на несильное плечо, и голос его стал срывчатым. – Сказать, что мы Россию любим, – это банальность, и неловко даже повторять. Но я вот – ничего кроме России не люблю. И не вынес бы узнать, что служил ей – не так. Что любил её – не так, не правильно. Я лично – ни к какой власти не рвусь, я хочу только, чтобы было хорошо России. Но если наши глаза видят лучше, а их глаза отказали, а по дурности нрава они не хотят ни советоваться, ни осмотреться, ни прислушаться? Как же нам с ними сотрудничать? Они это сами исключили.

Устал ли Струве говорить? окунулся в мысли? – ничего не возразил.

Поперёк входа на Троицкий мост стояла редкая цепочка солдат, но пропускали свободно всех.

Люди всё-таки шли. И рабочие, одетые по-праздничному, кто и в котелках.

Шингарёв и Струве пошли по плавно-медленному взёму моста, по правому тротуару, у бетонного парапета, вот уже за черту петропавловских бастионов и набережной линии. Налево посмотреть было ярко, невозможно. А направо. Белела Нева под снегом. На нём, потемней, сохранялись пересекающие поперечные тропки, проделанные вчера многими пешеходами. Выше Дворцового моста, недостроенного, с деревянными будками, нарушавшими стиль, чернело вмёрзшее на зиму судно. А пройдя дальше – видно было и несколько таких, за Биржевым, у Пенькового Буяна.

За первым тройчатым фонарём потянулась узорная решётка перил, убранная мелкими иголками изморози.

И самый Троицкий мост, в двух рядах гроздевых фонарей, – без трамваев, без извозчиков, почти и без пешеходов, – невероятный, замороженный, праздничный стоял в этом морозном солнце.

Невозможно было не остановиться, не посмотреть направо, к солнцу спиной.

По левому берегу, без обычной колёсной суеты, и без вальяжных экипажей, тянулись пустынно-праздничные гранитоберегие набережные перед столпищем дворцов – от серого Мраморного до многолепного бурого Зимнего. А справа, поперёк Невы подпоясанная простыми затягами Дворцового и Биржевого мостов, – мощно, царственно стояла Биржа, как античный храм, на своём возвышенном гранитном стилобате – с преднесенными ростральными колоннами, как дивными подсвечниками, и с уходящей двумя набережными василеостровской симметрией. А ещё правей, в вечных каменных жёлтых складках, молкла Петропавловская крепость, ни движения не было на ней.

– В нашей свободе, – медленно говорил Струве, шурясь, – мы должны услышать и плач Ярославны, всю Киевскую Русь. И московские думы. И новгородскую волю. И ополченцев Пожарского. И Азовское сиденье. И свободных архангельских крестьян. Народ – живёт сразу: и в настоящем, и в прошлом, и в будущем. И перед своим великим прошлым – мы обязаны. А иначе... Иначе это не свобода будет, а нашествие гуннов на русскую культуру.

Всё, всё видимое было беззвучно глубоко погружено в какой-то неназначенный, неизвестный праздник, когда свыше и очищено небо, и все земные движения запрещены, замерли в затянувшемся утре долгого льготного дня. И щедро было подарено этому празднику торжественное солнце.

Как будто весь замороженный город обдумывал свои десятилетия.

Суетливым петербуржанам, всегда мчащимся в своей занятости, как было не застояться сейчас? Тревожными глазами глядеть и не насладиться?

Однако – нигде ничего не происходило. И – куда они так рано пошли, зачем?

Нигде ничего не происходило – и жаль. И – жаль было Шингарёву: опять победила власть, и опять потащит Россию по старой колее.

И в беспокойную голову Петра Струве, растесняя кипящее там прошлое и кипящее будущее – тоже вдвинулась эта архитектурная несомненность настоящего, заставляя молчать и преклониться.

И – сладко было смотреть, но глазам обеспокоенным не всласть. Праздник был до того торжественный, что сердце пощемливалось опасением. Всё было – даже уж слишком мирно, неправдоподобно.

Прошли за середину моста. Уже открылось им и Марсово поле, весело залитое боковым солнцем. И высвечивался без резких контуров заслепленный Инженерный замок.

– Что бы ни случилось, – взмахнул щедрой кистью Шингарёв, – наш народ найдёт правильный путь, в это я верю. И этот правильный путь будет демократическим развитием. Понадобятся десятилетия культурной работы – мы приложим их, как уже и делали. Надо – верить. Сомненьям – нельзя дать собой овладеть. Мой старший брат всё мучился над вопросами жизни – и в двадцать пять лет отравился цианистым калием.

Вышли к Троицкой площади, к Марсу-Суворову.

А до бюро Блока – ещё много времени.

И что так спохватились? и куда пошли?

– Мороз не велик, а стоять не велит, – сказал Шингарёв, – А знаете что? – зайдёмте-ка к Винаверу. Он – тут на Захарьевской, не так далеко. Если есть какие новости, мы там узнаем. У него хорошие друзья в левых кругах. Если действительно что намечается – он должен знать.

Юриспруденцию он избрал отчасти потому, что еврею в России эта карьера была менее затруднена, отчасти к тому вели его многие качества: владение ораторским искусством, до афоризмов, умение говорить увлечённо, аргументировать богато, сильный юридический диагноз, аналитический ум, чутьё к настроению зала и суда. Он не занимался криминальными, ни политическими делами, избрал цивилистику – область, наиболее свободную от государственных интересов, имел хорошую практику, стал очень известен, – и сам искренно любил судебную систему Александра II. Легко прославиться на защите уголовной – тут реакция прессы, публики, а знаменитость цивилиста достигается трудно: его могут оценить только судьи да коллеги. Первые же работы его похвалил сам Пассовер. Как еврея Винавера долго не пускали в звание присяжного поверенного, всё держали в «помощниках», – но и он умел отыгаться на Сенате: так выступить там, что сенаторы немели. И вёл их инициативно: то в защиту их же традиции против новшеств, то в защиту нововведений против традиции, – однако всегда к тому решению, которое Винавер считал нужным. А ещё и – много юридических разборов вышло из-под его пера.

Но перо-то – перо влекло его и дальше! Он заметил, что среди юристов отличался удачностью письменного способа выражения. Он осознал, что истинное его призвание – не юрист, а литератор. Юриспруденцией был насыщен ум его, но не чувства, – чувства влекли его в литературу. И он стал издавать также и очерки лиц, встречаемых на жизненном пути, затем – и крупнейших событий, в которых привелось ему участвовать. Эти книги самому ему доставили высокое наслаждение.

Однако сердце далеко не насыщалось и этой деятельностью. Не меньше душевных сил и энергии ему удалось за десятилетия отдать еврейскому движению. Ещё в начале 90-х годов он вошёл в кружок петербургской молодой еврейской интеллигенции, собиравшей сопротивление надвигающимся тёмным силам. Винавер преобразовал «Общество для распространения просвещения между евреями России», возглавил его историко-этнографическую комиссию – духовный центр, где вырабатывалось национальное самосознание и обреталась бодрящая вера в неиссякаемые силы еврейства. Прикосновение к еврейской старине было для этой молодёжи как для Антея прикосновение к матери-земле. Начав свою деятельность хмурыми и вялыми – они вышли из неё крепкими и ясными. К тому же Винавер стал редактировать журнал «Восход» – и на рубеже века уже оказался в центре борьбы с еврейским бесправием и погромной агитацией. В Петербурге они создали «Бюро защиты» евреев: «Мы должны сохранять активное настроение. Мы только начинаем проявлять свою политическую силу. Мы, наконец, нашли арену для действия! Мы организуем борцов». Линия Винавера была: ни в коем случае не усваивать пунктов от отдельных политических партий, русское еврейство должно быть сплочённым. «Теперь – единственный момент, когда в наших руках быть может решение нашей судьбы!» Главным орудием защиты они наметили прессу – в России и заграничную: повсюду опровергать клеветнические наветы, активно привлекать общественное мнение на Западе, а к нему русское правительство всегда прислушивается. После кишинёвского погрома 1903 года этот род их деятельности усилился, а с 1906 был создан в Париже и специальный орган печати о положении русских евреев. Но и как адвокат выступал Винавер. В Вильне организовал защиту Блондеса, обвинённого в убийстве прислуги с ритуальной целью, – и выиграл процесс. А по гомельскому погрому впервые выступил в уголовном процессе истцом от имени евреев – что вызвало сенсацию среди евреев России. Там же он произвёл и демонстрацию: объявил ведение суда пристрастным – и увёл с процесса всех адвокатов, защищавших евреев. Это выступление в Гомеле в октябре 1904 создало ему такую популярность в еврейских массах, что он стал практически их всероссийским вождём, в марте 1905 в Вильне председательствовал на съезде всех еврейских партий и групп и возглавил «Союз полноправия еврейского народа». В 1905 разные еврейские союзы возникали во множестве, и во все Винавер входил, и почти во

все – как председатель. Он не входил в «Союз Освобождения», не вёл общеполитической борьбы до Пятого года, придерживался чисто еврейской. Но тут у него произошёл раскол с сионистами, большинство ушло туда, а демократ Винавер возглавил лишь антисионистов. Роль еврейского вождя миновала его. Тут он вступил в кадетскую партию и быстро выдвинулся в ней.

В ноябре 1905 он в составе делегации евреев посетил Витте с требованием уравнивания в правах. Витте отвечал: чтобы он мог поднять этот вопрос – евреи должны усвоить себе совсем иное поведение, нежели которому следовали до сих пор, а именно отказаться от участия в общей политической расправе: «Не ваше дело учить нас революции, предоставьте это всё русским по крови, заботьтесь о себе». И некоторые члены делегации согласились, но Винавер пылко ответил, что как раз теперь-то и наступил момент, когда Россия добудет все свободы и полное равноправие для всех подданных, – и потому евреи должны всеми силами поддерживать русских в их войне с властью.

И никогда с тех пор он не склонился к разделению еврейских интересов и общереволюционных. Он только настаивал всегда, в кадетской партии, затем и в Думе, чтобы вопрос о равенстве евреев был выделен из общего вопроса о равенстве национальностей как наиболее острый:

Мы не видим для себя иного спасения, как только спасение всей России от той кучки, которая ею владеет. Нас очень мало, но у нас огромная сила – сила отчаяния, и у нас есть один союзник – это исполненный человечности весь русский народ.

И бросал Горемыкину с трибуны:

Доколе не уберёте тех насильников, которые не только попускали, но и содействовали и подталкивали на путь погромов, до тех пор не будет умиротворения в стране! Своим молчанием на крик отчаяния, вырвавшийся из груди 6-миллионного народа, вы доказали, что желаете идти дальше старыми путями. Мы сливаем свои голоса со всеми, кто говорит вам: уходите! Мы пойдём только с тем правительством, которое будет соответствовать воле народа.

И напоминал в думской комиссии:

Мы, евреи, народ исключительного долготерпения, мы слишком долго терпели.

И надо сказать: еврейская проблема во всю ширину, со всей категоричностью, с высшим сочувствием – изо всех Дум была встречена именно в Первой.

Распространённое мнение о Винавере было, что он – холодный разум, отличный умственный аппарат, мастер отточенной формы, логической аргументации, умеет находить среднюю примирительную формулу для спорящих, умеет затушёвывать слабые стороны своих суждений и выдвигать сильные. А на самом деле он всё более кипел общественной страстью, он ощутил себя призванным политическим вождём. Эта новая яркая страсть, политическая борьба, отбивала вкус к прежним занятиям – юриспруденции и литературе. Винавер стал председателем учредительного съезда кадетов в Москве, тотчас же вошёл в их ЦК и уже оставался в нём до конца. Он не был единоличным лидером кадетов, но входил в фактическую правящую четвёрку, ещё и нежной дружбой связанный с Петрункевичем и Кокошкиным, а в Петербурге все главные решения принимали вдвоём – Винавер с Милюковым.

Для выборов в Первую Государственную Думу повсеместно создавались еврейские избирательные комиссии, и Винавер сперва выставлялся от евреев Вильны – затем, однако, получил более почётное выдвижение от Петербурга, по кадетскому списку, – и в самой Думе правил кадетской фракцией в триумvirате с Петрункевичем и Набоковым.

Первой Государственной Думе, в её незабываемые 72 дня, Винавер отдал всю свою энергию, запас умственных сил, поэзию души – и уж, конечно, перо: они с Кокошкиным считались лучшими стилистами кадетской фракции, вдвоём составляли во взлётные дни дерзкий ответный адрес на тронную речь, а в горький день –

Выборгское воззвание, блеск молнии. В эти дни раскрылись высшие силы их душ, преданность великим идеям, самозабвение, пламя восторга. (Тогда казалось: они только готовятся жить. Потом оказалось: вот это и была сама их жизнь, зенит их жизни, вся их жизнь – эти счастливые вдохновенные 72 дня.) Почти музыкально вёл Думу, возвышался над ней величественный седовласый Муромцев, и эпически восседал на первой скамье большинства Петрункевич, – эти два народных избранника, выразителя истинной России.

Первая Дума совершила своё державное блистательное шествие, вдохновенный полёт эпохи, в короткое время одолела все трудности новизны, и уже чертила контуры нового государственного строя, обновляла всё государственное здание – когда нанесен был Думе жестокий коварный разгон, – и вся постройка рухнула.

В жестокий день разгона Винавер ехал на извозчике к Петрункевичу, оглядывался на лица людей, ища гнева, даже на мёртвых петербургских камнях ища отражения совершившегося несчастья, – нет! И это – заключительный аккорд великой эпопеи? Таков был отзыв и благодарность глухой страны... Народ – не поддержал своей Думы. В этом была катастрофа – и откровение. Кричать хотелось от боли и ужаса.

Через три года Винавер издал книгу – «История Выборгского возвания». Чем большим мог он почтить его? Он объяснял, почему оно было психологически неизбежно и не могло не прозвучать. Он стал певцом этого умершего колокола.

Даже и некоторые подписавшие стали потом отрекаться. Даже и бывшие друзья Первой Думы – смеялись...

А верные – как пушкинские лицеисты, каждый год потом, в одну и ту же годовщину созыва Первой Думы, 27 апреля, собирались на товарищеские обеды – и с благоговейным чувством вспоминали и переживали прежние веянья и прежние увлеченья. Если были между кем разногласия – забывали их, как на могиле дорогого покойника. Дух народной любимицы, вся поэзия пережитого снова соединяли её членов.

Шли годы – но когда бы Винавер ни вспомнил свою Первую Думу – его морщины разглаживались, и глаза принимали мечтательное выражение. Сколько было потом Дум – ни одна не шла ни в какое сравнение с Той.

После Выборга он потерял право избираться, был вышвырнут из политики снова в юридиктику, лишь остался вторым человеком в кадетском ЦК. И, разумеется, не оставлял защиты евреев: участвовал во множестве еврейских изданий, культурных организаций, при деле Бейлиса – активно снабжал материалы мировое общественное мнение. Он твёрдо перестоял несколько лет депрессивной атмосферы. А в эту войну насылались на евреев и наветы в шпионстве, начались массовые высылки – Винавер снова был во главе борьбы за равноправие, но не теряя связи с общей освободительной борьбой.

Он как будто продолжал – и с блеском – все виды доступной деятельности, – не мог же он оставить их в 45-летнем возрасте. Но огонь сердца и свет глаз постоянно были под пеплом – и все минувшие 10 лет он как бы каждый день снова и снова хоронил и оплакивал свою незабвенную Первую Думу. И оттого тон жизни получался – как будто и не состоявшейся.

Зато эти последние дни – как раскалённая пирамидальная игла, прорывая серое прозябание, выдвигалась в небо. Максим Моисеевич и Розалия Георгиевна жили в светлых предчувствиях, не находя себе места. О – если бы это прорвалось до конца! – нельзя же дальше жить в такой нуде и беспросветности! О – если б это не кончилось «беспорядками»!

Закрылись редакции, духовная жизнь столицы замерла, но сведения притекали по телефону и от очевидцев (и прислуга приносила хозяевам вести с улицы). Эти дни собирались у Гессенов. Сведения грозно нарастали! И вдруг оборвались сегодня с утра, всё

затихло, как кончилось.

Неужели кончилось? Неужели??

Винавер от знающих добивался по телефону намёками или через посыльных: не *предполагается* ? – но – что-то же предпринимается?

Не могло, не должно было так просто утихнуть, он верил! Сейчас Максим Моисеевич читал в кабинете, вошла Роза и с удивлением:

– Ты знаешь, пришли – Шингарёв и Струве.

Винавер поднял брови:

– И Струве? Они предупреждали?

– Нет.

– Бесцеремонно.

При нынешнем падении кадетской думской фракции, когда не стало в ней имён и умов, игрою времени Шингарёв стал вторым лицом во фракции и даже едва ли, так сказать, не гремел на всю Россию. (А Винавера, с Шестого года, – забывали, забывали...) На самом деле был он не только другого идейного поколения, чем основатели кадетской партии, но и – недоученный провинциал, так и не прикоснувшийся к истинной петербургской культуре. Серьёзно вести с ним разговор на равных Винавер бы никогда не стал, они и не дружили никак, ну, встречались на заседаниях ЦК, на совещаниях. А Струве, – Струве был исконный давний освобожденец, и яркий деятель, и тонкий человек – но тем более непростительно, что изменник: покинуть левый лагерь и сознательно перейти к консерваторам – этого нельзя простить! это отвратительно! И со Струве – Винавер уж совсем ничего общего не имел, и неприятно встречаться.

И – зачем они вдруг пришли? Как всякий серьёзно занятый человек, Винавер этого не любил.

Но, может быть, принесли новости?

Он вышел к ним в гостиную умеренно любезен, но и давая почувствовать холодноватость, как он умел. Впрочем, они и сами были стеснены, чувствовали встречу, едва присели. Шингарёв сразу оговорился:

– Простите, Максим Моисеевич, простите, мы только на минутку. Всё-таки, положение необычное, и это была моя идея, осведомиться у вас: что вы знаете о скрытой стороне событий: что-нибудь **будет** ? Намечается, **там** ?

Ну вот, они даже ничего и не принесли.

Действительно, Винавер отличался и в кадетской партии и во всём политическом движении, что у него никогда не было врагов слева – ну разве малые столкновения, когда те по горячности навязывали чересчур неосуществимое. Напротив, слева – у него всегда были союзники, и он обычно знал больше других.

И присутуленный неряшливый потерянный Струве и простак Шингарёв – хотели теперь занять знания?

А Винавер не только мог знать, но обязан был знать, но и добивался узнать тайный план революционеров.

Однако – не было его.

Тайна знания была у него, но само знание состояло, увы, в **нет** .

Но ещё глубже этого знания была у него сердечная вера, что: должно быть! Что слишком долго мы страдали под этим режимом, и подходят же концы терпению!

Но – и не ославиться неудачливым оракулом. Посетители могли получить фактический ответ:

– Увы, господа. Я узнавал. Ничего не будет. В **кругах** – ничего не предполагается, не задумано.

Лица обоих перед ним не то чтобы вытянулись в прямом разочаровании, но – в тени.

Винавер тоже вздохнул. Уж ему-то досталось этих разочарований в жизни. Лицо его было желтовато, или от комнатного недосвета. Лоб, далеко залысый на всё темя. Поседевшая круглая борода. Пронизывал умными глазами. И сказал ослабясь:

– Ничего не будет, господа, займёмся своими делами. Проиграли мы – в Шестом году, и видно надолго.

46

Вадим Андрусов был по матери внуком Шлимана, раскопщика Трои, и, от него ли сохраняя неуёмный ищущий нрав, всё никак не мог определиться в жизни: перед войною кончив гимназию, дважды поступал в Академию Художеств и дважды проваливался. Поступил на историко-филологический факультет – остался недоволен, перешёл на юридический. Тем временем уже во всю шла война, и надо было как-то избежать мобилизации. Брат Вадима, эсер, ощутил себя также и толстовцем, заявил толстовские убеждения – и стал санитаром. А Вадим не додержался: уже в 16-м году был мобилизован со второго курса и отправлен в Красное Село на ускоренные 5-месячные курсы прапорщиков. Но и всё не кончался 16-й год, а курсы кончились – и неизбежно было получать следующее назначение. Казалось, с таким хилым военным образованием, ещё вполне штатский, да сын разночинца, Андрусов мог получить назначение только в захудалую пехоту куда-нибудь за две тысячи вёрст, – нет, его назначили в Императорскую гвардию, куда прежде добивались из самых богатых и знатных семей, в знаменитый Павловский полк, в запасной батальон его, стоящий в самой столице! – не за какие-нибудь успехи молодого человека, а потому что совсем не было офицеров. Правда, он считался не на полной службе в полку, а лишь прикомандированным: не мог остаться в Павловском после войны и не имел права носить его формы мирного времени – красной ленты по груди и белых обшивок по рукавам. Но шинель была гвардейская, без внешних пуговиц, и по-гвардейски приходилось подписывать листы пожертвований и по-гвардейски же проходить экзамен хорошего поведения, то есть отлично пить водку, чем знаменит Павловский полк. Как быстро и круто может меняться судьба человека – и вот уже начинаешь вживаться в новое положение, какое оно ни странное. Да ночевать-то отпускали домой, на Васильевский остров.

И назначили Андрусова в учебную команду, то есть в отборную часть внутри полка, где готовятся унтер-офицеры. Было там два таких прапорщика и два подпоручика, не намного умелей, а над всеми ними – штабс-капитан Чистяков, офицер настоящий, глаза как пистолеты. На Марсовом поле, прямо перед своими казармами, проходили они строевую и штыковую подготовку, раз возили их за город на газовые учения, а до стрельб ещё не дошло.

Ещё как-то в феврале раза два посылали их учебную команду гулять по городу с духовым оркестром: музыкой и строевой выправкой подбодрять население. А с началом городских волнений посылали в караульное помещение в Гостиный Двор.

Там и был Андрусов в воскресенье днём, когда телефон сообщил ему, что от Знаменской площади движется по Невскому громадная толпа и надо её задержать. Андрусов вывел свою команду и по новой инструкции, на случай необходимости стрельбы, не расставил, а положил, лежком рассыпал своих солдат поперёк Невского, против середины Гостиного. А все лавки его по воскресному дню были закрыты, торгового движения не было, и людей вообще не много. Сам Андрусов расхаживал впереди, перед штыками, а сзади сбоку был трубач.

На небе по-зимнему светились ложные солнца, ещё четыре вокруг одного – и бело-серебряные пояса тянулись к ним от главного.

Толпа стала хорошо видна, как поднялась на Аничков мост. Беспрепятственно и густо стекала с него, заливала Невский. Андрусов велел трубачу дать первый сигнал рожком.

Но толпа – шла, надвигалась, – и вот уже равнялась с Елисейским магазином. Тут Андрусов кивнул трубачу, дали второй сигнал.

Но толпа и тут не вняла или не понимала, или далеко ещё было – весь квартал до Садовой, Садовая, половина квартала Гостиного, – и вдруг раздались выстрелы! без третьего сигнала солдаты сзади Андрусова стали стрелять?

Для того и положили, чтобы стрелять (лёжа не выстрелишь в воздух), для того и

трубач, чтоб дать третий сигнал – но не было третьего! Начали стрелять позади прапорщика – смотри, самому ноги пробьют.

Андрусов отскочил назад через стрелявших – и шашкою в ножнах стал бить по задницам лежащих солдат, чтобы перестали стрелять.

Но уже стрельба сделала своё дело. Толпа рассыпалась – одни отхлынули к Александринке, прячась за выступ Публичной библиотеки, другие – в Екатерининскую улицу, мимо Елисеева, третьи – назад, кто жался в подъезды и к воротам домов – середина проспекта очистилась, стала пустынной белой полосой, а на снежной мостовой – убитые и раненые.

И один солдат павловец лежал, как лёг: с какого-то этажа или с крыши его пулей пришило после второго сигнала. И наверное от того выстрела – возбуждённые солдаты и стали стрелять.

Со стороны Адмиралтейства подкатывали автомобильные санитарные кареты – и забирали раненых. Потом и убитых.

Через четверть часа на пролётке прикатил из полка штабс-капитан Чистяков со своей постоянно перевязанной от ранения рукой. Через всё самообладание скрыть он не мог, что изумлён и расстроен.

Движенья по Невскому больше не допустили.

Солдатские наряды ходили к рассеянной толпе и уговаривали расходиться.

Но от толпы перенялось, и шёпотом, шушуканьем и даже вслух потекло: Павловский полк покрыв себя позором!

47

Все эти дни Всеволод Кривошеин, под видом того, что в университет, уходил с утра из дому и сколько угодно толкался по улицам, и бегал от шашек, и ложился на снег, и в ворота прижимался, – наиспытался и насмотрелся всего, очень интересно, редкие переживания, и почему-то так и тянет на опасность. Верней, понимаешь, что опасность, и надо бы, конечно, бояться, – а страха внутри как-то нет. Только вчера, когда досталось ему бежать в толпе со Знаменской площади под крики «рубят! рубят!» – не сами эти шашки, которых взнесенных он так и не видел, а общая безудержная паника толпы, друг от друга передаваемая рёвом, тиском, сжатием, толканием, – вполне захватила и Всеволода. Но и то был не настоящий страх смерти, вот вдруг перестать жить, а мелькало, что смерть – какая-то бессмысленная, ненужная: непонятно, за что он умирал, убегая в этой толпе. (Но ещё они бежали, как со стороны площади, им в спины, донёсся рёв торжества и ликования – и всё остановилось и стало возвращаться на площадь – и передавали друг другу, что казак убил полицейского конного офицера, а остальная полиция разбежалась. Толпа долго радовалась, и ничего больше не происходило.)

Однако сегодня так просто уйти из дому было нельзя: воскресенье, никакого университета нет. К тому ж вернулся домой и отец – с Западного фронта, где он служил теперь уполномоченным Красного Креста, – чтобы присутствовать в понедельник на сессии Государственного Совета, чьим членом он состоял после отставки с министра земледелия, обычный удел всех, кому позолачивали отставку. Он ехал, ничего не зная о происходящем в Петербурге, – и тем более омрачился по приезде. Сразу вся обстановка в доме сгустилась сильно озабоченная – и младшим мальчикам неприлично стало выказывать оживление или самовольничать.

Из пяти сыновей Кривошеиных двое старших уже были офицерами на фронте. Средний Игорь тоже теперь прапорщик, готовился на фронт. И Всеволод, по-домашнему Гика, хотя студент, всё оставался в младших – с самым младшим, 12-летним, у кого ещё и гувернантка была.

Квартира Кривошеиных, хотя и наёмная, в доходном доме, была сама как замкнутый дом, 15 комнат и ещё подсобные, по двум сторонам коридора, настолько длинного, что

мальчики по нему катались на велосипеде. Парадные комнаты, выходящие зеркальными окнами на Сергиевскую, ходили даже и на музей – были обставлены старинной богатой мебелью, увешаны мраморными барельефами, множеством старинных картин, не самых знаменитых мастеров, но достаточно ценных, отец много их скупал. Семья жила здесь уже 30 лет. Хотя потом 8 лет подряд отец был министром и мог бы жить на казённой квартире на Мариинской площади, но предпочитал свою: так он избавлялся от необходимости давать официальные обеды и рауты.

Гика сидел за утренним кофе со взрослыми и томился. Он тщетно изобретал предлог, зачем бы ему нужно в город. Но отец сидел до такой степени расстроенный и тёмный, и мать и тётка были строги, как если бы в доме случилось несчастье, – и неловко было что-нибудь сболтнуть.

– Довели, – говорил отец. И ещё потом после большой паузы: – Довели. – И ещё с долгим промежутком: – Кто? Кого набрали? – И ещё потом: – Отгородились от мира, ничего не представляют.

В этом году ему исполнилось шестьдесят, и появилось в нём стариковское.

Послал Гику за газетами – но только до угла Воскресенского, до киоска, и чтоб сразу назад.

Тут, до Воскресенского, было неинтересно, совершенно мирно, обычно. Но и газет таких, настоящих, которые бы отец стал читать, не оказалось ни одной, не вышли, а только черносотенные – «Земщина», «Свет», нечего и брать. Купил «Правительственный Вестник» – там назначения, перемещения, распоряжения, они всегда интересуют отца, – но безо всякого следа происходящих событий, безмятежный.

Отец сидел в углу прямоугольного большого дивана в кабинете, как бы ссутуленный в угол, опёрся локтем о валик. И всегда рыхловатый, а тут как бы беспомощный, белолицый, с повисшими, неподстриженными усами, – вот тут впервые понял Гика, насколько же серьёзное творится. Жалко стало отца. Но не было привычки приласкаться.

А отец был поражён, что нет газет, он ждал кипы, заказал полдюжины. Раскрыл «Вестник» сразу – и осматривал хмуро. И опять ворчал:

– Ничего не предпринимают... Три дня не утихает – власти не смотрят... Идём к анархии.

Потом Гика томился у себя в комнате, с окном во двор. Открывал форточку, никаких грозных звуков, ни стрельбы, тихо. Коридорный телефон (у них было два в квартире) звонил часто, и мама, и тётка, и сам Гика, и мадмуазель тоже звонили друзьям, узнавали что где, – но нигде ничего не происходило.

Убедясь в этом, отец после такого же тяжёлого, подавленного дневного завтрака отпустил Гику погулять – но только в центре и не больше двух часов. А младшему – никуда.

После яркого утра с боковыми солнцами свет по небу стал радужный, рассыпанный, как будто расплывался в облачка.

Едва Гика вырвался – сразу пошёл, конечно, к Литейному, а по нему на Невский. Как и вчера, не было трамваев, но не было нигде и ни одного полицейского, ни солдат, – а только висел на домах ещё новый приказ генерала Хабалова, угрожавший оружием. Кое-где висел со вчерашним рядом, кое-где все три, а то полузаклеены один другим или полусорваны.

Так и шло подряд жирно: Хабалов – Хабалов – Хабалов, и ощущалось обидно, что у русского правительства к русскому народу в такие дни – нет другого голоса, нет другой подписи.

Невский заполняла обычная для воскресного дня гуляющая публика, густые реки пешеходов по обоим тротуарам – нарядные дамы, офицеры, студенты, чиновники гражданские, чиновники военные, женщины с детьми и колясками, раненые солдаты, приказчики, прислуга, – но и мастеровые с окраин, явно они, их тут не бывало раньше. Однако все удерживались на тротуарах, и середина проспекта была пуста.

Вдруг – показалась толпа со Знаменской площади – тысяча больше двух, кого там только не было, много студентов, курсисток, интеллигентов в котелках, но более всего –

рабочих в простых шапках, работниц в платках, но одетых почище обычного, не будничная чернота, – и к ним ещё доливалось с тротуаров. А в передних рядах несли, высоко держа, два красных знамени: «Долой самодержавие!» и «Долой войну!».

Шествие шло – никто ему не препятствовал, не перегораживал дорогу. Шло медленно, заливая всю мостовую, нигде не встречая пикетов. Оно нагоняло Гика около Аничкова моста, когда он перед ходом его перешёл на ту сторону Невского, к Екатерининскому скверу. И ещё подумал, вслед отцу: до чего ж мы дожили! вот такая толпа идет – во время войны – с такими знамёнами – по Невскому – и никто не мешает. Что это значит?

Как нарочно: промелькнула такая мысль – и вдруг услышал он неизвестно откуда резкие удары, как толчки или как рвали бы большую ткань, – Гика никогда такого близко не слышал, не догадался бы, если бы толпа не стала раскидываться по сторонам, бежать и кричать, что – стреляют. И как давеча на Знаменской, Гика вместе со всеми побежал, не успевши нисколько испугаться. Только уже в беге, видя как испуганы другие, стал и он перенимать испуг или какое-то смутное состояние.

Побежать ему пришлось за укрытие Публичной библиотеки. Здесь стрельба слышна была глуше, и, видимо, пули достать не могли, толпа стояла плотно.

Все хотели знать, что произошло, – но не идти же назад, а отсюда за спинами никому ничего не видно.

Однако постепенно стало по толпе передаваться, что стреляли от Гостиного Двора, остались на Невском убитые и раненые.

Серьёзно.

Толпа постепенно рассасывалась – в обход Александринского театра.

Сошлось их тут близко две синих студенческих фуражки: стоял рядом и громко возмущался высокий студент. Он бранил военную власть, бранил самодержавие, потом сказал соседу:

– Коллега, эти негодяи вас напугали. Стреляют по толпе, какая низость, палачи! Уже ничего не стыдятся. Вам, может быть, далеко до дому? Где вы живёте?

Гика назвал.

– Далеко, – сказал тот: – Невского сейчас не перейти.

А между тем толпа быстро рассасывалась, опасаясь чего дальнейшего, как бы и сюда не завернули с выстрелами. Хотя они прекратились.

– Меня зовут Яков, а вас? Пойдёмте пока ко мне на квартиру, я живу тут близко. Там и переждём. Да хоть и ночевать оставайтесь.

– Ну, что вы, ночевать! Мне – надо домой, меня ждут.

Но тронут был этим приглашением, этой вседружественной теплотой студенческой корпорации: как бы ни худо попал – нигде ты не один, а тысячи у тебя друзей.

Пошли через Чернышёв мост. В невыразительном сером переулке невыразительный серый петербургский дом, мрачная лестница с невеселящей клетчатой плиткой на площадках, тёмный коридор, из него двери, большая комната с серым светом внутреннего двора-колодца, удивительно неуютная, до неопрятности, хотя ничего грязного не было, в беспорядке заполненная мебелью, вещами, а посередине – стол, но не обеденный, а с бумагами, книгами, и над ним свисала не горевшая сейчас лампа под бордовым абажуром. И стоял запах накуренного.

Там уже были студент и курсистка. Яков объявил:

– Всеволод. Шимон. Фрида. Вот привёл товарища, а то его чуть не пристрелили на Невском.

Встретили любезно. Но приход постороннего студента утонул в обсуждении происшедшего. Все негодовали, достойных слов не находили бранить царских опричников, хотя были и подавлены.

– Осмелились-таки!

– Я думал – не решатся.

– А Николай Второй, – желчно сказала Фрида, она сидела у окна нога за ногу, –

конечно, удрал в Ставку. Всегда, конечно, он подальше от ответственности.

– Но куда он от неё не уйдёт! – блеснул Шимон. – Войска не могли стрелять сами. Был дан приказ, и приказ этот, через царского холуя – его личный. И ему это запомнится.

– Но чего стоит наша жалкая толпа! – сжигалась Фрида у окна, колена с колена не снимая. – Стоило дать несколько выстрелов, чтобы все разбежались.

– Да, но завтра может начаться снова! – пообещал Яков.

– Не-ет, не-ет! – замахала руками Фрида с каким-то даже злостным удовольствием против самой себя. – Всё-о! Движение – подавлено! Завтра – уже никто не выйдет на улицу.

Тут пришли ещё два студента и с ними курсистка. И обсуждение пошло во много голосов сразу: подавлено или не подавлено?

Склонялись больше, что – подавлено. И не надо было начинать, а помнить, что народ неспособен к настоящей революции. Теперь изо всей ситуации самодержавие выйдет только более окрепшим.

Гика почти не говорил, сидел в неловкости: весь тон высказываний был непривычен ему, резал слух и сердце. И он уже понял, что они догадались, что он – *белоподкладочник*, хотя ни в чём внешнем это не выражалось. Да и взаправду он ощутил себя белоподкладочником: было ему тут чужо, неприятно. Эта комната, эта обстановка так разительно отличалась от их домашней – даже не на улицу захотелось, тоже суматошную, а к себе, в покойное «дома». А самое неловкое было бы, если бы сейчас спросили его фамилию: соврать он не мог, да не унизился бы лгать, но и произнести здесь фамилию хоть и либерального, но царского министра, да ещё столыпинского сподвижника, – было невозможно. (А два часа уже прошло, что там отец? Не говорить, что попал под стрельбу). Гика досиживал как-нибудь ещё, до приличия, и вскоре бы уйти (Может быть ещё и потому Яков его сюда привёл, что за еврея? Гику и самого старшего брата частенько принимали).

Непрерывно курили, дым уже повисал.

Скорей домой, и отдышаться, вернуться в привычное.

Вошли ещё двое – и с порога объявили, что на Невском ранили Юльку Копельмана, и сейчас увезли в автомобиле.

Это – разорвалось! Все вскочили, загудели. Это был случай уже живой, он задевал больше, чем общие сожаления. Ещё – живой ли? Ещё останется ли жить? Настроение стало грозней и злей, но и унылей.

Как меняются события! – вчера и сегодня казалось, что жалкий позорный режим проваливается в тартарары, совсем ослаб и беспомощен. А вот – в нескольких местах постреляют, и он может надолго снова укрепиться – и ещё долго будет длиться его зловонное существование!

– До каких пор ему гулять на свободе? – говорили о царе.

Кто-то стал рассказывать о некоем Грише:

– Знаете, такой маменькин сынок, сионист? Говорит мне: «нас, евреев, здешняя революция не касается, это пусть русские занимаются». Вот мерзавец, или скажете нет?

Загудели против этого Гриши и против сионистов: это настоящие предатели общего дела, только ищут как уклониться от революционной борьбы.

Тут вошёл молодой прапорщик – красивый, стройный, с гордой осанкой, не по-офицерски безусый, гладко выбрит.

Все его, видимо, знали, шумно закричали:

– Саша, что же это делается?

– Ленартович, вы же офицер! На вас падает пятно! Что ж вы теперь – вместо казаков?!

Роста выше среднего, ещё и держась подтянуто, он стоял на пустом придверном пространстве один, всем видный во весь рост, ещё сняв фуражку и открыв густой пышноватый русый зачёс назад.

Он не сразу ответил, и за это время все замолчали. В тишине сказал торжественно и вызывая веру:

– Можете быть спокойны. Этого дня мы им так же не простим. Как и Девятое января.

Легко жить уцепистым ловкачам: они всегда сухие выскочат. Таков, знать, был и подпрапорщик Лукин, фельдфебель 1-й роты учебной команды. Вчера уже поздно вечером, полночь, когда воротились со Знаменской площади в казармы, был приказ, что наутро волынцы опять пойдут, но уже 1-я рота, и с пулемётами.

С пулемётами!...

Полегчало Кирпичникову, что теперь-то не он. А по особице спросил Лукина:

– Неуж ваши будут стрелять? Я предлагаю: давайте лучше не стрелять.

Лукин поглядел тоуро:

– Да нас завтра же и повесят.

Так и не договорились.

А рано утром, глядь, Лукин ушёл в лазарет, будто зашибся. И там остался.

Пришёл начальник учебной команды штабс-капитан Лашкевич. Кирпичников доложил ему, что Лукин в лазарете.

Лашкевич – вот уж барин, кровь чужая, тело белое. Носит золотые очки, а через них так и язвит глазами. Ответил как укусил:

– Не время болеть!

Будто – это сам Кирпичников уклонялся.

И метнул: Кирпичникову быть сегодня фельдфебелем 1-й роты, а свою 2-ю передать пока другому.

То есть третий день так переменялось, что Тимофею всё идти, и идти, и идти? Да заклятье, ну просто взвоешь! Ну сил уже нет, отпустите!

Но – не Лашкевичу говорить. Он из тех, кто к солдатскому сердцу не прислушив. Цуриков – другое дело, ко времени любит солдат и строгость, но за ласковое слово душу отдаст.

Нечего делать, вскоре и пошли – с боевыми патронами в подсумках и поката пулемёты. И при роте пошёл сам Лашкевич, за все дни первый раз. Сошла рота опять в тот же подвал, но Лашкевич не пошёл сидеть в гостиницу, а выходил смотрел и сюда же возвращался. И Кирпичникова держал при себе. А велел посылать дозоры по площади, разгонять толпу.

Но разгонять пока что, полдня, было некого. И стал Тимофей полагаться: может, ничего и не будет, обойдётся.

А на небе света – больше солнца, полосами и пятнами.

Нет, часам к двум стала публика стекаться, поднапирать: по другим улицам никак гулять не хотят, а вот тут, у памятника, им сладко.

И начали гудеть, попевать, покрикивать.

Близ к вокзалу полиция их не пускала. Казаков – вовсе не было сегодня. А дозоры волынцев – разгоняли плохо. И Лашкевич на площади бранил ефрейторов, что тряпки, а не солдаты.

А ефрейтор Иван Ильин перетоптался, ответил ему:

– Не солдатское это и дело, разгонять.

Лашкевич аж как ужаленный дёрнулся – и приказал сейчас же снять с ефрейтора лычки.

Как это? – заслуживал лычки годами – а тут в один миг и снять? Волей Лашкевича?

Ох, не привыкли от народа правду слышать.

И кому же лычки срывать – опять же Кирпичникову?

Ну, хорошо – Ильин не дался срывать. Сам снял.

У Тимофея такое чувство, будто с него самого содрали.

Чужая рота, Кирпичников не знал этого Ильина. Но отводя его в дворницкую, на лестничке в подвал пожал ему руку:

– Молодец!

А самому – тяга, нудь: теперь Кирпичникову и поручил Лашкевич наблюдать за дозорами.

Ну, голова служивая, всё на тебя!

Пошёл сам между дозорами по площади. И вежливо, и без надежды просил публику разойтись.

– А ты что? – вылупливались рабочие. – Мы тебе не мешаем. Мы же тебя не просим уйти.

И ничего не скажешь.

А ещё велел Лашкевич передать всем дозорам, чтобы по звуку рожка бежали к Северной гостинице. Кирпичников, толкаясь по площади, передавал унтерам и ефрейторам, кого видел. А какому из них, ещё смерясь (не своя же рота), добавлял:

– Только не очень торопитесь.

За это – не повесят. Кто и донесёт – ещё не докажешь.

Опасался Тимофей этого хужего момента, когда созовут по рожку и прикажут стрелять из пулемётов – вот тогда что делать?

Лашкевич сказал: сам пойдёт с Кирпичниковым и с одним дозором и покажет, как разгонять.

Пошли. Первого же попавшегося штабс-капитан поддал кулаком и ногой – тот, правда, сразу убежал. И другие вблизи стали растекаться.

А барышня стоит гордо – мол, её не тронешь.

– Уходите скорее прочь! – скомандовал Лашкевич.

Стоит, не шевельнётся:

– Торопиться мне некуда. А вы будьте повежливей.

Вот – что с такой делать? А их – все тут такие.

Но штабс-капитан длинной рукой схватил и её за шиворот и начал истрёпывать. После этого она сразу ушла. А он застил, что Кирпичников – в стороне, мнётся:

– Вы что, не хотите присутствовать? Такой добрый? А как же иначе порядок навести?

Стоит другая барышня. Лашкевич ей:

– Уходите с площади сейчас!

Стоит.

Тогда рядовому Березенскому:

– А ну-ка, прикладом её подправь!

Березенский подступил, замялся:

– Барышня, будьте добры, уходите скорей. А то мне...

Кирпичников отстал, в толпе перешёл к другому дозору:

– Ну что, ребята? Настаёт гроза, цельная беда. Что будем делать?

Те:

– Да... Верно, беда... Так и так погибать.

Никто ничего да знает, никто ничего не решается. И подкрепил их Тимофей:

– Прикажут стрелять – не стрелять нельзя. А бейте вверх.

Перешёл к третьему дозору:

– Мало нас учили-били. Думайте больше.

Понял и Лашкевич, что дозорами не разгонишь. Приказал выводить роту из подвала, строить от Северной гостиницы и к памятнику. Горнисту – сигнал.

Вывели. И перед строем разъяснил, золотоочкастый:

– Здесь перед вами – те негодяи, кто бунтует на немецкие деньги, когда идёт война. Пойдёте на них – с винтовками наперевес. Нужно – и бить прикладами, нужно – и колоть. А понадобится – будет команда и стрелять!

Назначал команды по разным местам площади.

Прапорщику Воронцову-Вельяминову приказал пойти с отделением стать против Гончарной и там рассеивать. И Кирпичникова – с ними.

Вельяминов выстроил свою дюжину поперёк Гончарной – а та вся запружена людьми,

напёрли с Невской стороны. Скомандовал сигнальщику играть сигналы.

Один.

Два.

Три.

А люди, видно, не понимают, к чему такое рожок, или делают вид – но не расходятся.

А военная машина – неотклонная, раз рожок – значит стрелять. Скомандовал прапорщик:

– Прямо по толпе! – шеренгою!... – предупреждаю – раз! два! три!...

Не расходятся.

– ...Четыре!... До семи. Пять!... Шесть!...

Не расходятся.

– Пли!

И – залп!

И с верхних этажей посыпалась извёстка. Толпа шарахнулась, раздалась – но не видно, чтоб единого ранило, не то что убило.

Значит, все били вверх. Молодцы.

А в толпе стали подсмеиваться. И прапорщик рассердился:

– Лучше цельтесь! В ноги! Шеренгою – раз! два! три! – пли!!

Опять залп. Опять колебнулась толпа, разбежалась.

А – ни убитых, ни раненых.

Прапорщик:

– Да вы стрелять не умеете! Зачем волнуетесь? Стреляйте спокойно.

Приказал ефрейтору:

– А ну, стреляй вон в того!

Ефрейтор дал три выстрела, третьим сшиб фонарь. А тот – скрылся во двор.

Тогда Вельяминов уже так рассердился – сам схватил у ефрейтора винтовку и стал стрелять. По тем, кто к парадному жался, к воротам, – на середине улицы уже людей не осталось.

И ранил барышню. Та села на тумбу и плачет, держится выше колена.

А на Вельяминова – вот тебе, ниоткуда – накатил генерал! Важный, с белыми толстыми усами:

– Прапорщик! Что же вы смотрите! Женщина ранена, надо оказать помощь!

Кто генерал, откуда, – а что прапорщику делать? Своим пальтом генеральским заслонил, прекратил всякую пальбу. Пошёл к барышне, расспросил, вызвал отсюда двоих солдат, вызвал свой автомобиль – посадили её, увезли. И генерала.

А толпа опять стала собираться, наседать и смеяться.

Вельяминов сказал:

– Питают доверие к докторам. Знают, что их вылечат.

Сел на тумбу и стал из винтовки целиться. И отделению скомандовал – залп! (Кирпичников – без винтовки, и ни при чём).

Дали залп!

Толпа – опять вся разбежалась по подворотням.

Но на снегу остались тела. Кто и шевелится.

Угодили всё-таки...

Вот и дошугулись. Вот и война. На городской улице.

Больше толпа не собиралась, не напирала.

А Тимофею мутно. Ох, мутно!

Приехала скорая помощь и забирала раненых. Им помогали, и оттуда на солдат кричали. Но сюда не пёрли.

А солдаты стояли поперёк Гончарной, ружья к ноге. Никто больше не напирал. Но в

подворотнях толпились, затаились.

Кирпичников всё был позади, теперь подошёл к офицеру:

– Ваше благородие, вы озябли. Пойдите в гостиницу погрейтесь. А я за вас тут побуду и докажу.

И Вельяминов тряхнулся, самому легче:

– Правда, побудь.

И пошёл быстро. А Кирпичников послал за ним солдата – проследить, войдёт ли в гостиницу. Как воротился солдат и доложил – Тимофей махнул публике:

– Идите кому куда нужно, поскорей.

А солдатам:

– Мало нас секли. Думайте больше, куда стреляете.

Прошли, ушли, разрядилось. Гончарная чистая. Трупы тоже увезли.

Вернулся Вельяминов:

– Ну, как тут? Стрелял?

Показал Кирпичников:

– Вон, всех разогнал.

49

Сердце подымалось и падало: уж как раскачалось! такого ещё не было! И неужель опять не выбьем? опять отхлынет, отольёт?

В воскресенье утром, когда Шляпников снова пересекал город пешком, – стояло так спокойно, как ничего и не было.

От воскресенья? Или устали?...

Теперь, когда вовсе не стало ни трамваев, ни конок, – так тем более только ноги остались. На воскресенье ночевал у сестры за Невской заставой, теперь ему утром надо было переть через весь город на Сердобольскую, оттуда днём – в центр, а на ночь опять на Сердобольскую. С утра послал племянника по явкам – поискать курсистку, из тех, что при БЦК, какая б могла сегодня же вечером ехать в Москву, осведомлять тамошнее большевицкое бюро. И назначил ей свидание, перед московским поездом, на Песках.

На Выборгскую утром перейти ничего не стоило, да в ту сторону и всегда пропускают.

По тысячезнакомому Сампсоньевскому проспекту шагал мимо корпусов, домов, заборов, мимо казарм Московского полка, потом Самокатного батальона. Везде было смирно, а заводы пустые молчали.

У Павловых огорошили: на Сампсоньевском арестовали весь Петроградский Комитет, 5 человек, когда они сошлись. Видно, что по доносу. (Надо раскрыть!) ПК всегда был обставлен провокаторами.

Вот тебе – и не нужна конспирация! Вот тебе и бездействие власти. Хватают.

Был бы – разгром, если бы ПК составлял что-нибудь порядочное. А так – пятая нога.

Тут собрались сормовские – Павлов, Каюров, Чугурин. Совещались, как быть. Решили просто: пока все полномочия ПК передать выборгскому райкому. (А другого райкома у большевиков и не было, тут и всё).

Завёлся спор об оружии. Сормовичи, особенно Каюров-забияка, точили зубы – вооружаться! Схватить от полиции, сколько удастся, ещё где-нибудь. Шляпников отвечал: много не соберёте, стрелять не умеете, а по горячности примените нетактично – всё испортите. Если употребить оружие против солдат – то только раздражить их, они ответят оружием. Сормовичи настаивали: но как же нам стать вооружённой силой? надо создавать рабочие дружины и вооружать их постепенно! Шляпников: нет-нет-нет, кустарщина, это – не оружие. Один наш верный путь – дружба с казармами. Надо – агитировать армию, пусть солдатская кислая шерсть пропитывается революционностью. И вот когда армия сама присоединится – тогда... Эх, жаль, нет у нас в запасных полках партийных организаций. Ни к чему мы не готовы.

Вполне может быть, что на этом и вся забастовка кончилась. Сегодня, в воскресенье, отгуляют, успокоятся – а завтра потянутся на работу. А армия – так и не шевельнулась.

Ничего больше не решили. И пошагал Шляпников в центр, посмотреть, где что, может, делается.

На голове у него была приличная мягкая шапка пирожком, виден галстук на шее, вид мелкобуржуазный, даже и попытки не могло быть задержать его на мосту.

Да никого не задерживали: толпа не напирала, а для приличных одиночек проход свободный.

И вот так жалко, ничем – всё кончилось?

Но нет, в центре – толпы были. И солдатские цепи. И митинги около них, разлагающие сознание солдат.

И около Казанского собора – море разливанное.

И на Знаменской площади.

И наконец у Гостиного Шляпников попал под обстрел: вдоль проспекта стреляли! – все ложились, и Шляпников лёг с радостным сердцем.

Стреляют! Это хорошо. Значит, так не пройдёт. При всех случаях запомнится.

И на Владимирской постреляли. И на Знаменской – серьёзно, десятка два наверно ранили, есть и убитые.

Запомнится!

Засновали кареты скорой помощи. Появились – кто-то догадался – гимназисты с широкими повязками Красного Креста на рукавах пальто. И курсистки настаивали: ехать вместе с ранеными и ухаживать за ними. На правах общественной помощи-контроля, как теперь везде. И полиция робела, допускала курсисток.

Нет, снова на улицах умякло. И стрельба кончилась. Кончилась. Сгустились солдатские и полицейские оцепления.

Снесли и это.

Шляпников пошёл на одну из Рождественских улиц, где назначил явку курьеру-курсистке. Пришла такая, «товарищ Соня». Дал ей денег на дорогу. А само поручение – расплылось, само поручение было почти никакое, что же было посоветовать московским товарищам? Призывать их теперь к выступлению – было бы провокацией. Очевидно и самим тут придётся кончать. Все оборонцы уже так и хотят, ПК и вчера, перед арестом, постановлял прекратить демонстрации, Залуцкий отговорил их.

Чего дальше можно было ждать от движения? И как его направлять? Вот, постреляло правительство – а ответить нам нечем.

Плохо мы организованы. В который раз пролетариат не готов ни к какому бою. Зря эти дни метались, толкались, толкались...

50

– Да **спасать** его надо! Спешить – спасать! От самого себя, от доверчивости! От этой женщины, безусловно насквозь испорченной, если она способна затягивать женатого человека! Ах, зачем вы меня задержали! Если бы я сразу поехала – я бы застигла их вместе! Он меня ещё не знает!

– Алина Владимировна, вы сделали бы хуже.

– И осенью вы меня отговорили, а как я рвалась! И что результат? Вы видите...

– Такая встреча, если б она имела скандальный конец – могла бы вызвать огласку.

– А-а, это им двоим страшней, я ни на какой службе! Моё самолюбие – и так уже растерзано! **Он** смел мне изменить, вы подумайте! Посмел предпочесть мне – другую! После десяти лет восхищения, преклонения! Поставить её со мной на одну доску! Меня – жжёт, я не могу на месте, без действия! А вы думаете – сестра не в курсе? Эта святоша конечно соучастница, если не сводница.

– И, наконец, как точно мы ни сопоставили – а вдруг ошибка? А вдруг это, всё-таки, не

Андозерская?

– Ну, тогда принесла бы ей извинения, значит – претензии не к ней. Ах, не хватило у меня выдержки тогда осенью, вывести у него самого, уже близко было, я сорвалась. Нетерпение меня срывает. Я б уже тогда поехала, всё ей вылепила! А так – что ж, они и решать там будут без меня?

Тогда – постепенно дознались, кто такая, какая: маленькая, изящная, талантливая, реакционная, – и уже, уже много было увлечений. Так тем более – безумец, тем более его надо спасать! Но Сусанна Иосифовна в первую минуту удержала, а потом, как и всякий яркий порыв у Алины – круто оборвался, и почувствовала себя мертвецом. И душевного подъёма хватило только – написать ему письмо в Могилёв, это Сусанна одобрила. И забоялась, скисла – как он в ответ? Уже хотела порвать письмо – но отослала, и – новый порыв, чередование! – чувство выздоравливающей: от того, что сама первая разрывает, – легче. Послала письмо – и бросилась в парикмахерскую, менять причёску! И замыслы – о прожигании жизни! И в тот же вечер пошла в театр. Пылать так пылать! И уже в голове кружилась перестановка в квартире, и зрели планы безумств – как иронически-горько отметить близкую годовщину их свадьбы, кого пригласить! Но тут пришла ответная жалобная телеграмма Жоржа. И насколько же легче стало узнать, что и он разбит.

– Но, Сусанна Иосифовна! Но чего ж это всё стоило, если они теперь опять вместе?!

– Что ж я могу, милая Алина Владимировна?... Я могу только плакать вместе с вами...

Сусанна уже второй раз подавала ей валерьянки сегодня и двадцать раз за эти дни – умеряла жгучую готовность Алины вот отсюда прямо бежать и мчаться в Петроград, – а вот опять порыв опал, как проколотый, Алина утонула в диване и обвисла руками, и теперь Сусанна распорядилась принести, наоборот, крепкого кофе.

Бессильно утопленная в мягком, Алина вялым голосом жаловалась:

– С этих осенних страшных переживаний веду дневник. И записываю – спала ли, и сколько часов. И видно теперь, сколько пережито этих провалов, когда просыпаешься с сосущей болью, живой мертвец, потерял всякий интерес ко всему в жизни. Потом, среди дня, медленно светлеет.

Несчастливая женщина, не придумано было её страдание. Ей надо было преподать совсем другую линию женского поведения, но она упрямо не способна была усваивать, а только подбрыкивала по своему наторённому:

– Какой же я была жалкой! Восемь лет я прилаживала себя к его роду жизни, к его занятиям, и эта жертва меня саму и загубила. Я должна была ехать учиться в консерваторию. Как я рано сложила крылья! Мне нужен был простор для развития, а не быть тенью другого. Но у меня в центре жизни была любовь, я привыкла слышать: ты моя необыкновенная, ты моя единственная, ты моя звёздочка! – и верить этому. Я всё пригибалась для него, только в войну стала полноценно жить и дышать – и сразу такой удар?! Ах, дура, почему я не первая изменила ему? Он поймёт, что во мне упустил, но будет поздно! Сусанна Иосифовна, ведь все мы – личности, и я – незаурядный человек, а я так была подавлена! Вот теперь, без него, я только и почувствую себя раскрепощённой. Не хочу деревянеть, хочу играть и петь! А почему я должна сдерживать себя ради изменника? Вы знаете, последнее время у меня находят новое что-то в лице, говорят – глаза...

Она сама не слышала, что говорила.

Сусанна Иосифовна уцепилась за её же выражение:

– Вы правильно говорите: раскрепоститься. Вы попробуйте так и смотреть на всё. Прежде всего вы должны стать независимы от поворотов этой истории. И когда вам больно – научитесь притворяться, что вам не больно. Достоин молчать.

Чего Алина ни разу за эти месяцы видимо не предположила: что это может быть и разгром всей её жизни, а только – что смели кого-то с нею сравнить. И – как ей это высказать? Не отвага её вела – вела слепота. Нисколько не настаивая, вполне теоретически:

– Алина Владимировна... вы знаете, бывает такая мужская черта: с какого-то момента часть внимания переносится на других женщин. Вообще всяких встречаемых женщин. Вы...

не допускаете, что ещё раньше всех этих происшествий... ослабло его чувство к вам?

Алина вскинула голову:

– Нисколько! Он по-прежнему меня боготворит! Вы ещё далеко не все письма читали, я могу вам показать! Он безумно меня любит, и он всё равно раскается, но я хочу, чтоб его раскаянье было глубже!

– Вы помните, я и осенью предупреждала вас... А вы настаивали, что женщины – вне круга его внимания.

– Но это – и было так! – сверкнула Алина и выразительно настаивала бровями. – Я совершенно не понимаю, как это переломилось! Что его может оправдать – это только незнание и непонимание женской души.

Она хорохорилась вот так, но уже потерянный был взгляд, и потерян порыв, и кофе не помог. Пригорбилась, вздохнула:

– Да, конечно, теперь он уведен от меня, захвачен... Втянут новым миром, который кажется ему ярким.

Сусанна с зябнувшим движением плеч, плечи её как бы раньше всего передавали всякое чувство:

– И, значит, тем более потребуются длительное время, чтоб этот мир стал погасать и распался. Потребуется методические усилия, ваше правильное поведение... Более всего: он никогда не должен видеть вас плачущей и страдающей. У него от вас всегда должно быть ощущение лёгкости! Не упрекайте, не доказывайте, а молчите, как бы не было ничего. Всегда, при любых обстоятельствах – ощущение лёгкости! И ещё: будьте всегда для него причисаны. И всегда – новы, всегда загадка, – вы понимаете? – с надеждой смотрела Сусанна.

Но лицо Алины приняло беззащитное, если не плачущее выражение:

– Это – красивый совет, заманчивый со стороны! А как ему следовать, если всё валится из рук? Если чувствуешь себя казнимой?... Если душат слезы...

Сусанна, ровно сидя на твёрдом стуле, строго покачивала головой:

– Вам не только нельзя было ехать за ним сейчас, но вы и в Москве не должны его дожидаться, если он вдруг придет. В таком состоянии вы не годитесь для встречи.

– Это правда! – потерянно-обрадованно схватила Алина. – Я уеду. Я даже боюсь с ним встречи сейчас. А теперь он не посмеет миновать Москвы.

– Вот-вот. Очень хорошо. А пока следующий раз увидите – многое прояснится, установится.

– Но я уеду – и оставлю ему решительное письмо! Что если он немедленно с ней не рвёт, то чтоб я никогда больше не видела ни его самого, ни его вещей в нашей...

– Вот этого не делайте! – живо забеспокоилась Сусанна. – Не повторяйте ходов. Он может взорваться, и эффект будет прямо противоположный.

– Теперь я уверена, что нет! – прихлопнула Алина по твёрдому валику. – Если он не взорвался на то письмо осенью, то и сейчас. Или потеряю безвозвратно, или завоюю навсегда! Ва-банк! – Её глаза сжигались действительно с картежным азартом.

– Нет! Нет! Нет! – беспокоилась Сусанна. – Вы сделаете только хуже. И кроме того: ничего не узнаете для себя, никаких выводов...

Алина обеими руками взялась за виски и покружила локтями:

– Но как же я о нём узнаю?

И осветилась, и умолиительно сложила ладони:

– Сусанна Иосифовна, дорогая! Если он придет и меня не застанет, и никакого письма – он непременно кинется к вам спрашивать. Так вы – родненькая? – не возьмётесь ли с ним поговорить? Прощупайте его, поймите, узнайте?! А? Сделайте мне такое одолжение?!

И вот так мы затягиваемся в лишние дела, в чужие истории. Совсем ни к чему было Сусанне это посредничество – но и как отказать близкому горю?

– О, спасибо, спасибо вам, милая Сусанна Иосифовна! Это – так, наверно, полезно: посторонний человек, спокойное увещание. О, повидайтесь! Но, – косая морщина

прорезала снова погордевший лоб Алины, – пожалуйста, снисхождения мне не просите!
Выпрашивать милости я у него не хочу!

– Ну вот именно, ну вот именно! – обрадовалась Сусанна. Украдкой взглянула на часы.

51

Сколько уже раз, который уже раз в 11-й комнате Таврического дворца заседало бюро Прогрессивного блока! И заседания запомнились как бы всегда при электричестве: или по вечерам, или даже если днём, то по недостатке петербургского света зажигали настольные лампы под тёмно-зелёными абажурами, и отбрасывались светлые круги на зелёный бархат, раскрытые блокноты, карандаши, автоматические ручки и пиджачные рукава.

Заседали и сегодня, несмотря на воскресенье. Но сегодня, в ярко солнечный день, доставало сюда и света. Хотя и в нём ощущалась печальная недолговечность, падающая на озабоченные лица.

Во главе заседания как всегда сидел престолицый Шидловский, председатель бюро Блока. И говорил долго, путанно, как всегда, когда речь его не написана вперёд, смысл был не всюду уловим, а течение утомляло. А сбоку от него сидел истинный председатель и вождь Блока – Милюков. При невозможности держать речь постоянно самому, он избыток своей умственной энергии направлял на карандашную запись тезисов всех выступлений, хотя и сам не видел в том значительного смысла.

В этой комнате сколько раз за полтора года, то полудюжиной, то полтора десятком, только свои или из Государственного Совета тоже, или ещё с приглашёнными от Земгора, собирались они тут, сдвигались, горячились, даже вскакивали на небольшом пространстве, или, напротив, млели, дремали, только отсиживали регулярные заседания. Говорилось тут всегда откровенно: держали хорошо тайну дубовые двери, замазаны двойные рамы окон, в комнате нет ни тайных шкафов, ни занавесок. И все перипетии, переломы, взлёты и падения Блока отмечал терпеливый милюковский карандаш.

И только один Милюков, как он был уверен, понимал всю высокую сложность рисунка.

А сегодня они находились ещё на новом переломе, в сложнейшем контуре – и Милюков даже не тщился развернуть эту сложность своим посредственным собеседникам.

После его штормовой речи 1 ноября, после яростного всплеска союзных съездов 10 декабря – январь и февраль протянулись как бы в сером прозябании. Вся констелляция оказалась такова, что Дума и Земгор впали в пассивность, несмотря на всю свою активность. Ноябрьский могучий удар растратился, не дав окончательного победного результата. Но если мы не будем действовать – народные массы перестанут идти за нами.

А вот прошло двенадцать дней новой думской сессии – и как будто опять легко одерживалась победа над правительством? – но опять не выявлялась полностью. Как угодно бичевали, полосовали, поносили, плевали, применяли уже запредельно возможные резкости, с тем разгоном, какой свирепеет от безответности, – оставалось только, как верно сказал Маклаков, бить правительство кулаками. А в ответ – растерянное молчание, кроме единственного Риттиха, правительство как всегда пряталось, – пряталось, однако же вот не уходило! И даже не сшибли премьера, чего так легко добились в ноябре. Как будто победа, а выхватить её до конца не хватало средств и путей. А следующей осенью будут пере выборы Думы, и Блок рискует самым ходом времени потерять свою опорную 4-ю Думу – там ещё кого и как выберут, придут новые люди и начнётся состязание с царём уже в других условиях. Да ещё если он укрепится победой в войне.

Да, жалкое правительство, – но как занять его место без сотрясения? Как вытеснить правительство, не поколебав парламентского строя, не допустив до революции? Выгодный вопрос – тяжёлое положение с продовольствием, но может исправиться ещё до весенней распутицы. Ни на фронте, ни во внешней политике не происходит сейчас никаких крупных событий, на которых можно было бы эффективно продвинуться. Распутин? – и того не стало. Безвыходность победного состояния: вереница моральных побед над правительством

грозила кончиться пшиком. Нависал кошмар завтрашнего пустого заседания Думы, с неизбежным новым запросом или криком – а громче уже не получалось.

Правда, стрельба на Невском вчера вечером и вчерашние убитые давали новую неотразимую платформу для атаки. Вчера, по горячему следу, городская дума постановила: «Это правительство, обагрившее руки в крови народной...», – и можно развить, и завтра в Думе принять от Прогрессивного блока: «... это правительство не смеет более являться в Государственную Думу, и с этим правительством Дума порывает отныне навсегда!» Трусливые убийцы, они решились на боевые патроны! Должна была Дума грозно ответить!

Однако. Однако в борьбе с правительством требуется чувство меры, и – именно при таких волнениях! – нельзя доклонить до анархии. Поколениями штурмовали эту стену режима, били её таранами, – а вдруг как будто не стало стены? Осторожно! Дума – нервный центр страны. Мы – управляем народным движением и отвечаем за него, а оно справедливо направлено против Протопопова и царицы.

Вот Гучков, Гучков пустомеля! Как надеялись на его обещанный заговор! Как он живописно таинственно молчал на совещаниях – значит близко?... Но всё никак не совершал переворота.

И выход начинал видеться сейчас – в конфиденциальных переговорах с правительством. Догрызть министрам голову до конца – конфиденциально: что они – никуда не годятся, что дело их проиграно, и пусть уходят тихо, все сразу – а Блок займёт их места. И если для этого понадобится Думе тоже прерваться на неделю-две, то – можно. (Даже ещё и лучше, говорить совсем не о чем).

И такие именно важнейшие переговоры велись именно сегодня днём, сейчас, между двумя министрами и двумя думцами. Однако те переговоры вёл не Милюков, а Маклаков. А Милюков сидел заманеврированный на ненужном пустом заседании. Досадно, он и ревновал к Маклакову, да и был мастер дипломатии, он сумел бы лучше вымотать министров.

А тут ещё, ко всей никчемности заседания, язвительный Шульгин задел большое место. С особым умением неприятно вставить жало, он, через продолговатый стол по диагонали от Милюкова, с улыбкой под вздёрнутыми усиками выговорил почти нежно:

– Господа, мы очень незапасливо дерёмся. В критике – просто нет равных нам, мы – короли критики! И правительство почти пало и лежит в пыли. Ну вот, считайте, что победа уже одержана, что завтра Государь будет до конца убеждён и призовет, наконец, *людей доверия*. Мы второй год единодушным хором настаиваем на *лицах, которым верит вся страна*. А скажите, есть такой список, чтобы завтра подать его Государю?

И острым взглядом посматривал на Милюкова, ибо кто же был здесь более достоин уколов, и чья кожа была лучше всех защищена толстотою, если не Милюкова?

Да, конечно, этот список давно должен был быть составлен. Но столько было недоговоренностей, сцеплений и расцеплений сил, комбинаций, игра влияний, лаборатория настроений, а иногда сплетен и скандалов, что назвать кабинет – значило бы разрушить многое и кого-то прежде времени оттолкнуть. Осторожнее пока не называть. Да, признаться, настоящих специалистов в министры никто и не знал. Только общее интеллектуальное и политическое превосходство Милюкова обеспечивали ему несомненно портфель иностранных дел.

А Шульгин всё ввинчивал своё:

– И разве в «великой хартии Блока» – действительно деловые вопросы? Разве с первого дня нам придётся заниматься малороссийской печатью и еврейским равноправием? Нам придётся, господа, вести получше саму войну, и поставить тыл для войны – а умеем ли мы? Ведь правительство – это и знание аппарата и приёмов управления, – так разве мы например с вами готовы?

Между первой его тирадой и второй было, кажется, противоречие: в первой предполагалось, что они не знают, кто будут эти лица, а во второй – что это будут почти они. Да зная всех ораторов и всех деятелей – трудно было вообразить, где б это со стороны набралось новое правительство, а не главным образом из думской головки.

Да конечно – так и будет. Но даже ещё и премьер-министр не ясен. Последнее время называли земского князя Львова. (А по сути – твёрже всего тоже было бы Милюкову).

И Милюков ответил Шульгину, но не на тот вопрос. Ответил, что программа Блока как нельзя более практическая: добиться власти, облечённой народным доверием. А как только она утвердится – то каждую отрасль и поведут наилучшие люди. Достойные министры – залог хорошего управления, это и на Западе так. Но, конечно, нас искусственно устранили от государственной деятельности, оттого у нас мала и практика.

Посмотрел на Шингарёва за поддержкой. Шингарёв был, увы, слишком простодушен. Он полностью всегда поддерживал Милюкова, но нельзя было его ввести ни в какой пружинный тайный ход. Так и сейчас, полагая, что он подкрепляет своего лидера, он ответил, мягкие руки впереплёт на столе:

– Василий Витальевич, но мы не раз этого вопроса касались, однако побереглись переступить. Это неудобно, нетактично. Что скажут о нас?

Шульгин сделал сальто-мортале карандашом между пальцев:

– Андрей Иванович, вот это и есть политика по-русски: все плохие, а чуть к делу – неудобно имена называть. Так никогда дела и не будет.

Тут черноусый, чернобровый, голочерепый Владимир Львов, согнувшись в стуле (сведенные руки между коленями не до пола ли свисали?), из глубоких своих глазниц сверкнул пророчески и извещил:

– Правильно! Пришёл час – называть имена. Это – наше право! И мы не можем никому доверить.

Довольно безумный чёрный блеск глаз его и некоторые иногда обороты речи заставляли опасаться, не свихнут ли этот Владимир Львов, как и злосчастный Протопопов, за кем ведь тоже порой замечали, но не поостереглись. А ведь как-то уже приспособляли этого Львова к церковным делам: после университета он вольнослушателем ходил в Духовную Академию, приучил Думу и Блок, что он специалист по церкви, да и взор у него был как бы фанатика.

Бюро Блока молчало. Кто вздохнул, кто пошелестел бумагой.

День за окнами угасал. Стволы деревьев Таврического сада стояли среди осевших, уплотнившихся сугробов.

Молчали восьмеро в комнате – и снаружи ни один звук не достигал, ни одно движение. Столько уже было переговорено за полтора года, столько! – и всё по одному месту. Уже и говорить не хотелось.

А Маклаков не возвращался.

52

Не дождавшись Маклакова, устроили перерыв. Кое-кто вышел в Екатерининский зал.

Больше всего любил Шульгин во дворце этот необыкновенный по форме зал, когда-то открывшийся балом по взятии Измаила, и особенно как сейчас, когда в семь высоченных венецианских окон западного полукруга попадали последние лучи заката. Это было долгое озеро паркета, во сто шагов длины, до второго такого же восточного оконного полукруга, и во всю длину его с каждой стороны шло по восемнадцать пар коринфских колонн, и даже внутри колонных пар можно было свободно идти по трое. Паркет, натёртый в субботу, переблескивал и отражал в себе белые колонны, а можно было смутно уловить и люстры – семь огромных трёхъярусных люстр с плоского потолка, ободы с двуглавыми орлами и белыми многосвечниками вкруговую. Был ослепителен этот зал в балах, был оживлён и живописен как думские кулуары, когда из зала заседаний вытекало пятьсот депутатов в парадных сюртуках, рясах и крестьянской одежде, а по лесенкам сходила с хор публика и особенно дамы, дамы. Но больше всего поражал этот зал вот в такой пустынности, в незаседательные дни, когда можно в одиночестве задумчиво-медленно пересекать это невероятное сверхдомовое пространство, обдумывать что-либо или просто помечтать –

мечталось тут особенно просторно, и Шульгин имел такую склонность. В пустынности да ещё в закат этот зал ликующе тоскливо соединял душу с какой-то высшей стройной красотой.

Но сейчас увидел Шульгин, как из Купольного зала в Екатерининский почти одновременно вошёл и Маклаков. Выражения его лица, доволен или недоволен, нельзя было различить издали, – но и издали создавала его уверенная ловкая фигура, всегда в прекрасно сшитом, но не слишком новом костюме, впечатление законченности. И Шульгин, оторвавшись от спутников, пошёл быстро ему навстречу. Он и всегда Маклакова любил – за остроумие, за афоризмы, за находчивость быстрого ума, за весёлый блеск глаз, за глубину, тонкость и гибкость юридической аргументации в его речах, сделавших его златоустом, сиреною Думы.

Василий Маклаков был самой яркой фигурой кадетской партии – а не лидер её. И даже вообще, принципиально – не лидер. Он утверждал такую ересь, что партийная программа вообще не нужна, нельзя требовать единомыслия во всех пунктах, а лишь бы совпадало общее направление. И никогда он не произнёс даже единой речи по поручению фракции, а лишь когда хотел, располагал сам. (Он речи выбирал такие, где мог бы проявить наибольший блеск, иметь наибольший успех). О, разумеется, соединять в оркестр двадцать разных мнений и все их удерживать в русле Блока – Маклаков никогда бы не стал и не мог. Никогда не входил он и в бюро Блока. Так он как будто и не был соперником Милюкову? Нет, был. Таких пронзительных суждений, аналитических речей и свежих мыслей – никогда не исходило от Милюкова. Во всех идеях опережал всегда Маклаков: и что пора заняться интенсивной борьбой с властью, создать в Думе искусственно сплочённое большинство (сама идея Блока) – или что пора проявить терпимость и начать сотрудничать с правительством, как думал он едва ли не единственный последние месяцы, – оттого что он вообще считал законом жизни постепенность и эволюцию. Маклаков опасался даже самого начатка революции, а остальная кадетская головка нет: она считала, что направители всего общественного мнения могут использовать начало революции против власти, а потом остановить. Баловень судьбы и публики, всё в жизни легко получавший, удачливый охотник на уток и на женщин, всегда уверенный в удаче, Маклаков, отчасти от этих успехов, отчасти от юридической беспристрастности, когда поднимаешься выше спорящих сторон, всегда первый призывал прислушаться к тому, что справедливо в доводах противников, и так изо всей кадетской фракции был самым приемлемым для правительства, если вести переговоры. Потому именно его и октябриста Савича послали сегодня на переговоры с Покровским и Риттихом, в министерство иностранных дел, на Певческий мост.

Отношения Милюкова с Маклаковым по разности взглядов, приёмов, образа действий, вызывали постоянную личную противонапряжённость. Каждый из них не мог заменить другого, но и примириться с другим не мог.

И – как же сегодня? что? – спешил узнать Шульгин. И образовалась их группа при встрече – ещё маленький граф Капнист и подошёл вразвалку непритязательный Шингарёв. (Они с Маклаковым были когда-то однокурсниками по естественному факультету Московского университета – но Маклаков бросил курс естественных наук ради политических, а затем и ещё шагнул в сторону – экстерном за юридический). А Милюков – стоял издали, у колонны. Но получилось так, что здесь уже была группа, и Маклаков мог и уже начал сообщать новости, – и пришлось Милюкову через нехотю, не торопясь, как бы унижаясь, идти к ним сюда же.

Что у Милюкова был взгляд твёрдо убеждённого кота в очках – это и многие так знали. Но Шульгин особо считал, что у Милюкова наружность учёного прусского генерала, только одетого почему-то в штатское. Кому Шульгин выражал это сходство – смеялись, так оказывалось похоже. И голову твёрдо держал, и взгляд был твёрдый, лоб широкий, невысокий, со всеми признаками твёрдости, да ещё от усвоенной доктрины; и гладкая седоватая причёска, жёсткие усы, золотые очки.

А Маклаков был – живая художественная переливчатость, лишь на каждый данный миг

принявшая адекватную форму, молодые тёмные волосы обливали голову, малые свисающие усы лишь для вящей выразительности губ, а всё лицо брито и всем чертам – привольность изменений. Уже ведя за спиной вереницу знаменитых адвокатских и политических речей, умница и удачник, он не вёл за собой партию и оттого ли был моложе своих 47 лет, в обаянии быстрой улыбки вспыхивали молодые белые зубы, и негромким, но явственным чистым голосом, слегка грассируя, сообщал:

– Ну что ж, господа, министры в полной растерянности. Практически мы их добились. Больше половины их вполне согласны на отставку. Но это, конечно, не значит, что отставку или пересоставление правительства разрешит царь.

– Не вы их ещё хорошо добавочно припугнули? – спросил Милюков.

Сосредоточенные умные глаза Маклакова не оставляли сомнения, что всё было взвешено и высказано.

– Да, они рвутся Думу распустить. Но я им... Я их предупредил: именно разогнанная Дума и станет всесильной. Заговорит вся Россия: за что распустили? И вы сами с извинениями будете через несколько недель упрашивать нас вернуться.

– Но – на несколько дней можно, вы сказали? – требовательно проверял Милюков. Всё равно лучше него никто не мог провести переговоров.

– Да, конечно, – легко, но и внимательно смотрел делегат не Блока, но свободной мысли. – Дня на три распускайте, я сказал, мы тоже отдохнём. Распускайте, но только при отставке всего кабинета. И за эти дни чтобы новый премьер собрал новый кабинет, и при открытии привёл его в Думу.

Милюков не возражил, он всегда медленно обдумывал. Но кажется так Маклаков и был уполномочен? Однако, не всё:

– Но я сказал им: только в премьеры упаси вас Бог брать общественного деятеля.

Милюков нахмурился, стал неприступен и даже покраснел:

– Да почему же?

Маклаков незатруднительно объяснял всем:

– Что мы понимаем в управлении? Техники не знаем, учиться некогда. **Облечённые доверием** – это очень хорошо, но что мы умеем, кроме речей?

– А к... кто же? – поперхнулся Милюков. Рано называть лица, но что общественные деятели – это единственно возможно! С лёгкой улыбкой Маклаков самовольно снял все их усилия?

А тот с приветливым наклоном, скользяще, быстро:

– Ну конечно – бюрократы. Хорошие умные просвещённые бюрократы. Пусть возвращают Кривошеина, Сазонова, Самарина. А в премьеры я посоветовал им – только генерала! Конечно, не Алексеева – звёзд не хватает. А – Рузского: и умён, интеллигентен, и с общественной амбицией. Он – политично составит кабинет, явится в Думу как представитель военного командования – и Дума ему ни в чём не откажет. Гарантирую шумные аплодисменты.

Но тут иной генерал, в ином виде и смысле, был возмущён, глаза налились:

– Василий Алексеевич, это непростительно! Вы превзошли свои полномочия! Вы не были...

Наискосок зала, из глубины, сюда шли. Маклаков поспешил дообъясниться:

– Павел Николаевич, но это – реальный и лучший выход сейчас. И то ещё – если кабинет подаст в отставку и если высочайше примут. Задача политика – строить из того материала, который имеется. Не в том дело, чтоб непременно прийти к власти нам, – а в том, чтоб и в сотрясении сохранить государственную стабильность. Власть и не входит в число либеральных ценностей.

Это – шёл Керенский, быстро, узкой фигурой вперёд внаклон. А за ним попевал нетёса Скобелев.

Группа у колонн замолкла: социалисты – чужие.

Но Керенский кокетливо избочь посмотрел на группу и, на проходке, возгласил:

– А-а-а, Блок!... Что же вы, Блок, почему же вы не берёте власти?

И – шёл. И Скобелев за ним, как адъютант.

Милюков, Маклаков побрезговали отвечать, а Шульгин, всегда расположенный к насмешке, отозвался:

– Боимся не справиться с министерством внутренних дел.

– Ну! ну! – охотливо клекотнул Керенский. И одной рукой приветливо помахал, выворачивая кистью: – Немножко свобод... Немножко собраний, союзов и прочего... Торопитесь, торопитесь, господа!

И сам торопился, легко спешил в Купольный.

А Скобелев остановился, хотел что-то значительное добавить. Попробовал раз, попробовал два – но заиканье не дало ему выговорить.

Они прошли – и Милюков ещё решительнее осудил:

– Нет, это непростительно! Вы не имели так предлагать.

Маклаков поднял писанные брови. Опустил:

– Павел Николаевич! *Quieta non movere!* (Не трогать того, что покоится – лат.).

53

Чем была замечательна квартира Горького на Кронверкском – проходной революционный штаб! постоянно действующий, в вечном приходе людей и новостей – и неприкосновенный для полиции, на эту квартиру они посягнуть не решились бы! – и к тому же всегда кормили (не то чтоб обслуживали, а было что взять поесть, кто там часто бывал). Приходили люди и совсем не знакомые – ни хозяину, ни постоянным посетителям, – но кто-нибудь их привёл, и что-нибудь они тоже рассказывали. Сам Горький очень любил этот поток людей, рассказы и новости, и то и дело бросал своё писанье, выходил из кабинета и толкся тут со всеми, сидел и сам вызывал людей на рассказывание историй. Правда, к нему и глуповатых много приходило, совсем уже темнота или пьянчуги, но и революционеров много бывало, особенно большевиков.

Гиммер как правая рука Горького по «Летописи», да просто фактический редактор и основной работник, бывал почти каждый день и совсем как свой. Так и вчера он весь остаток дня и вечер провёл здесь. Так и сегодня, поздно встав по воскресному дню, сообразил, что лучше не будет места, как пойти к Горькому. Когда новости сами к Горькому не приходили, то он лазил за ними в телефон, – садился и начинал обзванивать разных знакомых ему людей – не самых главных деятелей, но всё ж из буржуазного, адвокатского, интеллигентского, литературного мира и даже периферии бюрократического.

Но сегодня за несколько полуденных часов, сидя у Горького, ничего узнать не удалось. И тогда Гиммер, другой сотрудник «Летописи» Базаров (в честь тургеневского) и ещё – отправились небольшой компанией собрать личные наблюдения. Надо бы идти, конечно, на Невский, все события там, но уже перед Троицким мостом толпа запрудила площадь. Правда, и в ней гудели плотные группы вокруг людей, уже вернувшихся с той стороны. Все рассказывали – со своих глаз или чужих слов – одно: что сегодня в городе стреляют, боевыми патронами, и есть жертвы, – одни говорили человек тридцать, другие – несколько тысяч, весь Невский устлан.

Если так, то становилось и опасно туда идти, может быть лучше узнать как-нибудь иначе. Ещё здесь постоять.

На стене Петропавловской крепости близ пушек переживали солдаты. Ожидались ли военные действия? Хотя выстрелы оттуда разметали бы толпу, но сейчас она наблюдала с любопытством.

Троицкий мост перегораживали запасные гренадеры. Хотя тут был и офицер, но шла оживлённая беседа толпы с солдатами. Лепили им откровенно – и о правительстве, и о Распутине, и о царе, и о войне, – одни солдаты молчали, другие посмеивались, никто не защищал. Нет, с этими солдатами вряд ли начальство могло бы действовать по подавлению,

нельзя представить, чтоб например этот отряд взял ружья на прицел.

Не пропускали всех сразу, толпу, а поодиночке на ту сторону пройти было можно. Но вернее будет вернуться к Горькому и всё узнавать по телефону. Что-то интересное заваривалось!

А Горький – так и просидел все эти часы у телефона. Он уже знал о расстрелах и знал, что общественные круги потрясены, но вместе с тем и растеряны, ибо никто не придумал, как надо на это ответить. Но видно не поднимались их обывательские головы выше «самых решительных представлений».

Тут повис на телефоне и Гиммер, стал звонить своим левым деятелям. В квартире Керенского самого, конечно, не оказалось, убежал в Думу, но сидел там Соколов вместе с Ольгой Львовной и ждали каких-нибудь сведений, однако до сих пор ничего. На вечер было предположение собраться и обсудить, да вероятно у Керенского же. Все согласны были, что левые должны использовать этот момент, но никто не знал – за что взяться.

Кому Гиммер не мог позвонить – это Шляпникову, не было такого телефона, они жили там, по берлогам Выборгской, без телефонов.

Так и протекало время в расспросах, бесплодных умозаключениях и спорах, которые уже становились и нудными.

Нервы изнемогали.

Но много времени спасительно заполнял телефон: за телефоном как-то не замечаешь часов.

54

Воскресенье – и не чувствовалось ни в чём воскресенье, всё – от одного больного к другому. И в церковь к обедне не пошла, потому что уже с утра устала – и больше нужна была здесь, больным.

Тяжелее всех переносила – Аня Вырубова, при её характере паническом и сосредоточенном всегда только на себе. Каждую минуту около неё дежурила не одна, а сразу две сестры, и утром приходило четыре детских доктора, и потом попеременно то Боткин, то Деревянко, а минувшую ночь близ неё провёл ещё один доктор, которого она особенно любит, – вполне занимала Аня собою целое крыло дворца. И требовала, чтобы младшие незаболевшие дети приходили к ней трижды в день, а государыня – дважды, и утром, и вечером, – и государыня покорно исполняла желания этой своей вычурной, утомительной, и навсегда уже доверенной подруги. К счастью, сыпь её вышла наружу, стала покрывать лицо и грудь, это более лёгкая стадия.

Мари и Анастасия гордились, что они не больны, то сидели у постелей, то телефонировали друзьям, сообщали новости и узнавали их. В общем, они очень помогали матери, но боялась она, что свалятся и эти две. У всех больных был сильный кашель, сильная сыпь, Бэби покрыт ею как леопард – у него, к опасению, ухудшилось, и температура была под сорок.

От гвардейского экипажа трогательно прислали Ольге, Татьяне и Ане по горшку ландышей – и в их занавешенных тёмных комнатах теперь тянуло тонким запахом.

А вообще в эти дни затруднилось получение цветов – и уже не стояли в каждой комнате разные, свои, как всегда.

Что там в городе? Днём пришла милая записка от Протопопова, написанная им в 4 часа утра, после ночного заседания министров. Предприняты аресты революционеров, самых главных вожakov. А городской голова не справился в городской думе с дерзкими речами – и он, и ораторы будут привлечены к ответственности. Вообще принимаются энергичные строгие меры, и в понедельник будет уже всё совершенно спокойно.

Ну, слава Богу. От разных передающих стало известно, что вчера днём убит бедный полицейский офицер. Но вообще волнения нисколько не походят на Девятьсот Пятый: все – обожают Государя и озабочены только недостатком хлеба.

Идиоты, не могут наладить хлеб.

Такое солнышко светило сегодня – такое солнышко чистое, радостное, всё должно закончиться хорошо!

Звало наружу.

Александра разрешила себе сегодня не вести никакого государственного приёма, хоть один день отдохнуть от этого. Пришло письмо от Ники, прижала его к губам. (И Алексею – пришёл бельгийский крест). Боже, как ему должно быть ужасно его одиночество в Ставке!

И здесь из-за аниной болезни не с кем поговорить по душе, а так хотелось!

А вот – и время выдалось, наилучший час: съездить помолиться на могиле Друга.

Взяла с собою Мари, самую здоровую, поехала в автомобиле. Сперва, как обычно, к Знаменью: всю войну каждое своё дело, поездку в госпиталь она начинала со Знаменья – прикладывалась к главным образам и ставила свечи, чаще всего – перед святым Николаем за императора, перед Пречистой Девой. Каждый раз молилась, чтобы Святая Дева благословила дело её рук.

Молитва – давно уже стала высшим утешением государыни. Оставить свои печали в руках Вседержителя Бога.

С этим ехала она сейчас и на могилу убитого Друга, на край леса, на анину землю. Ободрительно светило солнышко, хотя и отусклилось.

С тех пор как в прошлом месяце над могилой надругались – пришлось поставить здесь пост, постоянного дневального.

От этого, правда, терялась та глубина, незатруднённость общения с умершим, какая бывает в одиноком посещении. Но уже вокруг могилы стали воздвигать и сруб часовенки – и сегодня он достиг той высоты, что зайдя внутрь – ты оставалась видна дневальному и шофёру только выше плеч. А Мари – и совсем не видна.

Квадрат сруба – создал уединение. Сверху было – Божье небо, солнце, а с боков – не видели. Ощущение храма.

Мари стояла строго, молча, понимая.

Александра опустилась перед холмиком могилы – на колени, прямо на снег, на подвёрнутые края своего пальто.

Вот, она рядом была, ощущала Божьего человека, беседовала с духом Его и одновременно с Богом.

Убили Его – убили её собственную душу, началось беззащитное голое существование. Всегда так успокаивало знать, что Его молитвы, иногда в бессонные ночи, следуют за царской семьёй. Звучали в ушах его поучения: не ума спрашивайся, а сердца. Пусть будет благодать ума. Радость у престола. Светильник во мраке светит. Бог тебя прославит, царица, за ласкоту и подвиг твой.

О, мы ещё мало обращали внимания на Его поученья и советы. О, Боже, нам всем ещё отдастся, что Его нет с нами. С того дня всё и рушится. Он так и предсказывал. Теперь все катастрофы возможны. За Его убийство – пострадает вся Россия.

Но он – и жил, и умер, чтобы спасти всех нас.

А теперь будет заступником-молителем на том свете.

Вот, в январе, приснился ей вещий сон: разверстые небеса, а в них – Григорий, с воздетыми руками, благословляет Россию.

Как же они, ничтожества, ненавидели Его! Добились своего...

От этого святого места теперь разливалось спокойствие и мир.

Для души созерцательной и мистически-чуткой, какой обладала Александра, не было непроницаемой преграды между миром тем и этим – но туда и сюда переходили воздействия наших поступков, мыслей – и небесных волей. Божий человек – убит, но и не умер, и вот сейчас она была настолько немешаемо рядом с ним, как и раньше, во времена бесед, когда его сильные серые глаза источали ей спасительный свет.

Она – всецело чувствовала Его здесь, рядом, и сквозь снежный покров, земляную насыпь и гроб – как бы отчётливо видела иконку Божьей Матери, привезенную из

Новгорода, из её славной декабрьской поездки, и при похоронах положенную Ему на грудь, под бороду.

Спасительного чуда для трона и для России ждала государыня – от самого народа, от праведных его молитвенников. Она несломимо верила в русский народ, в его здравый смысл, любовь и преданность Государю. (Никак она не больше – а меньше! – немка, чем Екатерина, признанная в этой стране – великой). И посланный Богом прозорливый Друг был явным выражением этой всеправославной связи и всенародной помощи.

Александра всегда искала через веру – таинственности, знамений и чудес. Она – ждала их! Она – верила в них!

Но – свойством ли природы своей, или касаясь непреодолимой истинной сути вещей – она больше склонялась к предчувствиям дурным и к меланхолии. Ехали ли летом Четырнадцатого года на яхте в финские шхеры – что-то печально наговаривало в ней: а может быть это последний раз так счастливо едем вместе? Покидали Ливадию весной того же года – всё грустно пело: а может быть мы никогда-никогда уже сюда не вернёмся? Узнала вечером 19 июля о начале войны – и рыдала, рыдала, предвидя неминуемые бедствия. Так умела плакать она и от неясных предчувствий будущего – и от дальних ноющих воспоминаний. Почему-то чаще ей открывалась в жизни – трагическая сторона.

Она знала, что уныние и отчаяние – грех. Что мы обязаны непреклонно и светло верить в добрую волю Божию. Но – что было ей поделывать с такой прирождённой склонностью сердца?

Вот и сейчас в Новгороде: зашла к старице Марье Михайловне в крошечную келью, где та лежала на железной кровати, и железные вериги рядом. Ей 107 лет – а без очков шьёт бельё для солдат и арестантов. Никогда не моется – и никакого запаха. Курчавые седые волосы, миловидное лицо с молодыми сияющими глазами. И – что ж она провидела в вошедшей? Протянула высохшие руки: «Вот идёт мученица царица Александра!!» Благословила. «А ты, красавица, тяжёлого креста не страшись!» И через несколько дней опочила, как будто этого визита только и ждала.

Почему – мученица? Кажется, жизнь властной царицы наиболее от этого далека?

Значит, видела что-то.

Всё – ко злу и к падению.

С содроганием, вся выходя из земной больной своей груди, царица молилась на коленях, чтобы беда миновала детей, её, императора, Россию.

Прямо на могильном холмике из пушистого снега торчал отщепок от бревна, как строили сруб.

Взяла его с собой домой как частицу святыни.

55

Для генерала Хабалова город Петербург не был совсем новым: в прошлом веке он служил тут 14 лет кряду на разных штабных должностях. А потом, 14 лет этого века, – в других городах, всё по военно-учебным заведениям, на воспитании юношества. А там смотришь и жизнь проходит, в 55 лет назначен был военным губернатором Уральской области и наказным атаманом Уральского казачества – как раз перед войною. А там и всего-то было девять полков, и все ушли на войну, и Хабалов мог покойно служить в глубоко-верноподданной области. Но, увы, летом прошлого года был переведен командующим перегруженного, многозаботного Петроградского военного округа, правда, не самостоятельного, а подчинённого Северному фронту – так что главные заботы с этим говорливым городом, и его военной цензурой, и его шатущими рабочими ложились на генерала Рузского.

Но вот неделю назад, роковым образом, а верней по подсказке Протопопова, Его Императорское Величество пожелал сделать Петроградский округ отдельным – так что вся тяжесть легла на плечи Хабалова. (Правда, должность равновелика командующему армией, и

жалованья больше).

А тут сразу всё и началось. Ко дню открытия Думы 14 февраля какое-то назначалось большое революционное шествие – и пришлось Хабалову издать воззвание, что Петроград на военном положении, и всякое сопротивление законной власти будет немедленно прекращено силой оружия. (Он так писал, но сам не знал, а как ему сверху скажут, а сверху велели: ни в коем случае, ни одной пули).

То шествие, к счастью, раздробилось и не произошло. Но обстановка в Петрограде была сильно беспокойная. А по железным дорогам за двухнедельными заносами да ударили сорокаградусные морозы, а безлюдная деревня не успевала разгрести пути – и сократился подвоз муки в Петроград, и от слуха возникли ожесточённые хвосты за чёрным хлебом. (Дело серьёзное, и жена генерала изрядно запаслась мукою, крупю и маслом).

На случай волнений был разработанный план, как распределять войска по районам, но всё это знал генерал Чебыкин, он знал и весь офицерский состав, – а в эти дни возьми да уежь на отдых в Кисловодск. (И главный экземпляр плана без него найти не могли). А заменивший его полковник Павленко состоял после тяжёлого ранения, Петрограда не знал, и никого тут. Да все командиры запасных батальонов были так или иначе больные, потому что здоровых офицеров не отдавали фронтовые гвардейские части. И ещё начальник корпуса жандармов генерал граф Татищев – тоже отлучился, как раз накануне, в тот же день, когда и Государь уехал из Царского Села в Ставку. И как раз тут всё началось! И уже не обратишься за указаниями в Северный фронт к Рузскому. И до Государя не дотянешься. Да и что его зря беспокоить?

И вот – третий день сидел Хабалов даже не у себя в штабе, а в градоначальстве, куда лучше сходились все линии связи, пока полиция не была разгромлена. Тут в нескольких смежных комнатах с распахнутыми дверьми все они и сидели – Хабалов со своим начальником штаба Тяжельниковым, контуженный полковник Павленко, командование войск гвардии и полицейское начальство. Генерал-майор Тяжельников, в прошлом командир Несвижского Гренадерского полка, был тяжёлым ранением выведен из строя навсегда. Но не принята была его отставка, а назначен сюда, в штаб округа, с ещё не зажившей раной, – собственным распоряжением Государя. Павленко настолько был контужен, что сильно растягивал слова, рядом в комнате не всегда можно было его понять, а когда по телефону говорил – то что там на другом конце? А к полиции ещё текла и текла череда каких-то совсем посторонних людей, горожан, приходивших со своими страхами или вздорными просьбами, и толчеей своей только мешавших всем.

Хабалов так себя ощущал, будто попал он в котёл, где и варило его какой день, и он сам мало что мог сделать. Всё, что происходило, – доносились голоса, выставлялись лица, испрашивались решения, – всё через гул этого чужого котла.

Воспитывая юнкеров, Хабалов отлично знал уставы и всю жизнь действовал по ним. Но такого положения, как сейчас, – и представить не мог, никогда не попадал: уставы – как будто перестали действовать. Войска у него были – и как будто не было, а всюду свободно бродили неуправляемые толпы, которые и сами не знали, чего хотели, – потому что и хлеба, кажется, не хотели. И позавчера, вчера ещё занятый, как устроить лучшую выпечку хлеба, генерал сегодня и о хлебе перестал хлопотать, руки опустились. Хабалов попал в состояние, что его несло, толкало, поворачивало, и всё под этот гул, и только та его поддерживала надежда, что когда-нибудь да кончится же день, а на ночь, слава Богу, успокаивается – и тогда можно поехать домой поспать, заложив телефон подушками. А пока нужно было сидеть тут и делать вид, что управляешь событиями. И до того уже распускались, что лезли с непрошеными советами какие-то приходящие офицеры: капитан из Гатчины, у него автоброневая команда, 8 броневиков, мол, с надёжными офицерами и солдатами, даже только пройдя по улицам, она сильно воздействует на толпу.

– Потрудитесь, капитан, не мешать властям исполнять свой долг. Не ваше дело предлагать советы. Отправляйтесь к вашей части!

И ещё время от времени требовал Хабалова к телефону военный министр, кукольный

генерал Беляев, и всё спрашивал сообщений, что делается в городе, – хотя ничего же сам предпринимать не мог, а всё равно Хабалов. Да и сведения, притекавшие в градоначальство, не все были доступны проверке, а некоторые и просто фальшивы.

А то позвонил Хабалову сам Родзянко – а почему? по какой субординации надо было ему отвечать? – «Ваше превосходительство, зачем стреляете? Зачем эта кровь?» – «Господин Председатель, я не менее вашего скорблю, что приходится прибегать к такой мере, но заставляет сила вещей». – «Какая такая сила вещей?» – «Раз идёт нападение на войска, то они не могут быть мишенью, но тоже должны действовать оружием». – «Да где же нападение на войска?!» – Перечислил ему. – «Помилуйте, ваше превосходительство, да петарды сами городовые бросают!» – «Да какой же им смысл бросать?»

Городской бой! Где это слыхано? Как его вести? Хабалов во всяком случае не ведал.

Вчера Хабалов долго поверить не мог, что казак – убил пристава. Если так – то как же? то что же делать?

Вчера вечером волнения приняли уже такой размер, что Хабалов должен был телеграфно обстоятельно доложить генералу Алексееву в Ставку. А воскресенье с утра так обнадёжливо началось, и Хабалов доложил, что в городе спокойно. Но с полудня всё равно пробрались, набралось с окраин, и все – на Невский, с северной и восточной стороны. В боковых улицах начались столкновения, пока только с конной полицией. Но в войска летели куски льда, камни, бутылки – и не всё же войскам терпеть? В нескольких местах на Невском, от Гостиного Двора до Суворовского, стреляли, сперва в воздух, кой-где холостыми – но от этого толпа не рассеивалась, а только насмехалась, уже привыкнув к безнаказанности. Тогда стреляли и прямо в скопища. Но и рассеянные, оставив на мостовой убитых и раненых, они не разбежались далеко, а прятались в ближних дворах и переулках и опять начинали собираться. Что делать?

После очистки Знаменской площади собирались в переулках при Старо-Невском и оттуда из-за углов стреляли в воинские наряды. На углу Итальянской и Садовой нашли труп прапорщика Павловского полка с обнажённой шашкой. Но всё ж обходилось без крупных нападений толпы на войска, и была надежда, что пыл толпы охлаждается, а вот скоро и смеркнется. Уже и Невский очищался, забирали власть вооружённые патрули да разъезжала конница, можно было ждать благополучного окончания дня. Всё же первая стрельба подействовала на толпу подавляюще.

Как вдруг по телефону доложили о событии невероятном: что 4-я рота лейб-гвардии Павловского запасного батальона из здания придворно-конюшенного ведомства, где расквартирована, выбежала на улицу без офицеров, стреляя вверх, с какими-то криками, затолпилась на Конюшенной площади – и оттуда продвигаться по каналу – к храму Спаса-на-Крови.

Телефонные звонки последовали за звонками – с докладами и запросами, что делать. Отсюда надоумливали естественно: уговорить – напомнить о присяге – вызвать командира Павловского батальона.

А оттуда доложили: взбунтовавшаяся рота поимела столкновение со взводом конно-полицейской стражи, залегла и обстреляла его.

Это новое сообщение показалось Хабалову вовсе недостоверным: с какой бы стати солдаты стреляли в конно-полицейскую стражу? В том гуле-гуде, который не прекращался, любую могли соврать.

Доносили: рота требует отвести в казармы весь Павловский батальон и прекратить стрельбу по городу!

Такого не может быть!

Доносили: прибыл полковник Экстен. Но пока он уговаривал бунтовщиков – сзади него собралась толпа и оттуда студент револьверным выстрелом тяжело ранил полковника в шею.

Ничего себе!

Тем не менее оказалось, что рота успокоена уговорами полкового священника – и дала отвести себя в казармы.

Слава Богу.

Теперь казармы – заперты, и офицеры находятся при своих солдатах. Понемногу согласились сдать и винтовки. Винтовок там было далеко не на всех, может быть – одна на десятерых, но и из тех двадцать одна исчезла! Исчезли из казармы, значит ушли в городскую толпу. А может быть с ними и сами солдаты? Ещё не посчитали.

В таком необычном случае – что делать командующему? Доложил по телефону военному министру Беляеву. Тот потребовал сию же минуту полевой суд – и расстрелять зачинщиков.

Как это? С какого конца братья?

Для следствия и суда рота оказалась слишком велика: кажется, их там около 800 человек. Звонили прокурору окружного суда: возможен ли полевой суд без предварительного дознания? Оказалось: невозможен. Но 800 человек и в неделю не допросишь.

Тут выяснилось, что их – не восемьсот, а вся тысяча пятьсот, таковы раздутые запасные роты, больше нормального батальона. Но тогда не то что дознание, а не оказалось в Петропавловской крепости и помещения такого, чтобы принять полторы тысячи.

Звонил ещё раз военному министру, о безвыходном положении.

Постановлено было посадить в крепость хотя бы зачинщиков.

56

(Бунт павловцев)

Сохранён для нас каждый поворот мысли Родзянки, Милюкова или Керенского (хотя б и оформленный позже, в эмиграции), донесен до нас каждый их шаг. А мысли, действия и самые имена полутора тысяч солдат 4-й «походной» роты запасного Павловского батальона – никем не записаны, не оправданы, не изъяснены, – и только вступили в нашу историю окаменевшей вспышкой, своим коротким конечным результатом. Никто не оставил записок или рассказов, обычная немота простых людей. А из образованных никто не догадался затем расспросить их посвежу да записать. (Наш Александр Блок сушил своё перо на записи допросов в Чрезвычайной Следственной Комиссии, ожидали там сенсации). Сохранилось только короткое групповое письмо павловцев в газету. В ожоге тех дней ничто не было утверждено документально, но если б и было – то ещё прошло ли бы сквозь четыре года вымирания Петрограда и полувек пренебрежения Февралём?

Итак, подошла страница описать бунт Павловского батальона – но черпать не достанет без догадки.

Рота эта называлась «походной», потому что составлялась из тех, кто ближе к походу, – из более уже обученных и из выздоравливающих после фронтового ранения, стало быть солдат, уже испытавших войну и ожидавших новой отправки туда же. Эту роту все минувшие дни не выводили на уличное охранение, она ничего сама не видела, лишь понаслышке. Но по спешке набора в гвардейские запасные батальоны сюда попадали теперь и свежемобилизованные питерские рабочие, а они сохраняли живую связь с городом, и с кем-то кто-то виделся, и в иные казармы приносили листовки и прокламации. Известно, что казармы содержались распушенно, в них и раньше проникали посторонние, звали поддержать братьев-рабочих. А в эту полосу городских волнений – в казармы могли проникать агитаторы и ночами, рассказывать и взывать.

Есть свидетельство, что в воскресенье после полудня группа рабочих подвалила к дневальным у ворот 4-й роты, да прямо с Невского, наверно, и прибежали, – и рассказывали, что только что павловцы стреляли вдоль проспекта. И ясно, что упрекали *этих за тех* : как же они терпят, что их полк стреляет в народ? (Сами эти агитаторы не были честолюбивы или не слишком развитые, ибо никто из них не

напечатался в ближайших за тем газетах, жаждавших любых рассказов или сплетен о Феврале, – так мы не знаем подробностей). Ну, и висело, конечно, известное: «А вы тут на трёхэтажных нарах клопов кормите!»

А в 4-й роте были и кто уже посражался под знамёнами Павловского полка – и хоть не все, но некоторые проняты честью полка. Как же так: «ваш полк стреляет в народ!». От образованных – и к нам обрывки смутные: «не туда вас ведут!».

Да солдатское ли дело – стрелять по толпе? (А что ваша полиция делает?)

И вот – рванулась 4-я походная рота, стала выбегать на улицу! Сперва, конечно, пять-десять человек, а потом и несколько сот – а там, гляди, и все полторы тысячи: кто – всё ж в казармах удержался, а кто во двор, а кто и за ворота. Сперва, может, без винтовок, но быстро смекнули, что надо винтовки брать, а их всего сотня на полторы тысячи, да и то, наверное, ружья разных марок. Выбегали, не понимая, что именно надо делать, а – остановить! чтоб не стреляли наши павловцы в народ! чтоб вернули в казармы все павловские роты! И чтоб вообще не стреляли!

А вывалили – и куда бежать-то непонятно. Значит, сгрудились, остановились, кто кричит, кто винтовкой трясёт, кто закуривает, кто нос утирает.

А носы – носы ещё были в один фасон, не прежние подборные павловцы, а всё ж низкорослые да курносые, под Павла I, их поболее.

Ещё не было пяти часов пополудни, запеленившееся солнце ещё не вовсе ушло с неба, хотя стояло низко. До конца светлого времени оставалось часа полтора.

Вывалили, из бывших придворных конюшен с полукруглою колоннадой – на Конюшенную площадь, одно из укромных и неповторимых мест Петербурга: тот уголок у Мойки между круглым рынком с барельефами бычьих голов и кубической маленькой церковкой, где лежал мёртвый Пушкин и должен был быть здесь отпет, но стекалась толпа – и ночью увезли его в Святогорский монастырь. Тот закрытый уголок, откуда один извив трамвая или сотня шагов мимо подвального «Привала комедиантов» Серебряного века (бывшей «Бродячей собаки») – выводит на неохватный простор Марсова поля, а с Конюшенной – кажется хода ни в какую сторону нет, всё замкнуто.

Но уже знали, сообразили – и повалили, без строя, как попадя, не солдаты, а толпа – прямою дорогою к Невскому, а это узкий берег Екатерининского канала, между решёткою набережной и домами, там бы построиться по четыре, так вот и всю ширину заняли. Не повернуться, не обойти.

И до Невского было им всего триста сажений, но пробежать-прошагать пришлось только двести: остановились не где-нибудь, а как раз у храма Спаса-на-Крови, через канал от рокового места, где разорвало бомбою Александра Второго.

Бессвязный, шумный, дикий их поток с криками, матом, размахиванием, никакого строя – привлёк внимание наряда конной полиции, охранявшего подступы к Невскому по каналу.

Полиция, всеми ненавидимая, никем не поддерживаемая, в пешей части своей уже разгромленная в предыдущие дни, ещё на конях держалась в этот день и во многих местах держала толпы. Как всех предыдущих дней подробности сохранены нам не историками – революционными, либеральными или консервативными, но лишь в донесениях полиции с завидной обстоятельностью и точностью, – так и возникшее столкновение с павловцами было бы известно нам подробней, если бы полиция просуществовала ещё один день.

Конная полицейская стража, десяток верховых, – и преградила путь павловскому потоку, да и павловцы кому-то же и шли доказать – вот, полиции! Винтовки сами и начали стрелять, да почти все в воздух – видно и у тех, и у других руки не брали стрелять по живому.

А место выпало – самое непроходное, где два стрелка могут задержать хоть полк. Так – ни павловцам к Невскому было не пробиться, ни конной полиции сшибить их

назад на Конюшенную. Да наверно была толчея и паника, ведь несколько сот безоружных. Наверно, продирались через своих назад, и через мостик пёрли спрятаться за храм, уже многие думали, как отсюда бы спастись, а не править правду.

Потерь у павловцев – не донесли, знать, не было. А у полиции – один городской убит, один ранен, да два коня. На таком-то сходном расстоянии это была не перестрелка, а как сердитый перекрик, ещё угулченный теснотой улицы.

А скоро у павловцев и патроны кончились, не во много их было больше, чем винтовок. И стали они подаваться, подаваться назад – от Спаса-на-Крови да опять к Конюшенной площади.

За всем тем прошёл, может быть, почти и час. У павловцев были только эти двести саженой узины вдоль канала, да бессилие, да бестолочь, да уже сожаление: зачем ввязались? зачем выбежали из казарм? А где-то, неслышимые, звонили телефоны, где-то кого-то вызывали, направляли, уже двигались оцеплять Конюшенную площадь по роте преображенцев и кексгольмцев, каждая с пулемётом, и примчался в санях сам командир Павловского запасного батальона полковник Экстен.

А между тем на суматоху – с Малой Конюшенной улицы, с Итальянской, с Инженерной тоже подбывал народ, самый разношерстный и никем не оцепляемый, так что мог он поднапирать на зрелище.

А между тем уже и смеркалось.

И когда полковник Экстен, не имея возвышения, стал громко и сильно говорить к своим бунтарям, не так усовещивать наверное, как разносить, – близко сзади из гражданской толпы раздался револьверный выстрел – полковнику прямо в шею сзади, на том его речь и кончилась.

По всем этим дням замечаем мы, как там и здесь студент, или даже гимназист, юнец с идеями, делает из толпы зачинный выстрел (револьверы, у кого нужно, есть) – и всегда удачно усиливает тем столкновение.

Раненого полковника отвозили. В толпу не отвечали выстрелами, а стрелявшего не найти. Сумерки сгущались. Других желающих увещевать солдат – не находилось. Но по обязанности вызван был и должен был говорить батальонный священник.

Его – и имени мы не знаем. Ни – прежнего служения, ни последующего. Ни – из речи той ни единого слова и довода. Но кто не задумывался над постоянно-горькой этой двойственностью полкового священника? – проповедовать Слово Божие и миролюбие тем, кто несёт меч, и в пользу того, чтоб этот меч лучше разил? А сейчас, хотя звал он свою паству воистину не стрелять, а смириться, – так ведь не для того ли, чтобы другие стреляли безвозбранно?

Может быть, священник кололся этими противоречиями, едва выговаривал. А скорее – все готовые фразы и все нужные тексты сразу подворачивались, и так пронесло его гладко. На много убедил он павловцев или нет, – но после его речи уже в темноте оцепленные стали втягиваться понемногу в казарму.

Одна была свобода у павловцев после события – разбежаться вгорячах, пока не окружили. Да страшно бежать солдату, особенно не здешнему, из казармы – а куда? Где солдату приют, где его ждут и накормят? А говорят?

Всё же двадцать один человек с винтовками скрылись – так знали куда? Вокруг остальных замкнулось кольцо из таких же запасных гвардейских – и стой не стой на площади, а одна дорога – назад в казарму.

Уже не в казарму, а как бы в тюрьму. Винтовки – сдавали.

Кончилась вспышка, и день кончился, казарма стала заперта – и остались павловцы сами по себе, на медленное передумье.

Говорят, с ними вошли и офицеры. Но офицеров в их роте вообще было несоответственно мало: раненых фронтовиков – почти никого. А этих прапорщиков сопливых, нигде ещё не бывших, да и сюда присланных лишь недавно, никто и не слушал.

В окружённых казармах остались павловцы одни, захваченные и подавляемые тоской: что же теперь с нами будет? Не мальчики, понимали, что произошёл военный бунт да в военное время – так, значит, и смерть?

Так и потянуло слухом, как холодом близ пола: что велено их всех, полторы тысячи, расстрелять в 24 часа.

Не до сна.

Были зачинщики, а были – просто скотинка серая, ни сном, ни духом. И в бессонной ночи с нар на нары перекидывался ропот: «Из-за вас...»

В этих событиях порывных люди сами себя не узнают – ни когда бегут с криками, ни когда опохмеляются.

А тут ночью наехало много начальства, чужие офицеры, серебряные да золотые погоны, сколько вместе не видели отроду.

А душа-то – опадает, как гирей оборванная.

И – строили в несколько шеренг перед нарами, и перестраивали, и разделяли, таскали на допрос в канцелярию отдельно, и грозили, и требовали: назвать зачинщиков!

Их только что и называли, друг перед другом, в лицо. Да самые-то рьяные ушли, и с винтовками. Да кто-то и сам не понимал, чего он кричал и бежал, в другой раз ни за что не побежит.

Кто укажет нам страсти потяжче, чем эта вынуда круговая, из-под-стопудово-каменная: рот раскрыть и голосом не своим назвать товарища, чтобы он погиб, а не ты? Кто эти хриплые голоса если слышал – забудет?...

Поздно ночью 19 выданных зачинщиков отвели в Петропавловскую крепость.

57

За телефоном не замечаешь часов. Да ещё менялись с Горьким. И другие тоже лезли звонить. Уже и стемнело давно, уже и вечер.

Позвонил Горький, между прочим, Шаляпину и узнал странную новость: Шаляпину только что перед тем звонил Леонид Андреев, а этот квартировал на Марсовом поле, рядом с павловскими казармами. Так вот он лично видел из окна, как пехотная часть с Марсова поля наступала на павловские казармы.

Если ему не померещилось, то что ж это такое могло быть? Борьба между войсками? Уже совсем невероятно!

Гиммер лихорадочно усилил телефонную деятельность. Звонил ещё, звонили ещё – и стали получать подтверждения, что – да, что-то случилось около Павловского полка, и тоже была стрельба на Екатерининском канале.

Наконец повезло: застал дома самого Керенского – только что прибежал из Думы. И Керенский захлёбно-торжественно, содрогновенным голосом объявил в телефон: что **Павловский полк весь восстал**, вышел на улицу и обстреливал своих пассивных, кто остался в казармах!

Это было потрясающе! Это превосходило всякие ожидания! Если это было так, то карта царизма бита! Огромное событие!

Гиммер ушёл от телефона и пытался уединиться (в квартире Горького это было невозможно, разве что в уборной и то не надолго) – обдумать, что ж из этого следовало. В Петрограде не было сейчас сильных умов революции (Керенский поверхностен, Чхеидзе расслаблен, Соколов – глуповат, Нахамкис – осторожен слишком, Шляпников – неразвит, остальные ещё того бледней) – один Гиммер и должен был для всех наметить путь, что делать, какие мероприятия необходимы? Но вот – он нервничал, и сам не мог сообразить.

Ясно одно, что для крупных политических решений, о которых он всё время думал, подошло время!

Может быть и мог бы сообразить, если б ему дали покой размышлять, но его опять тянули к телефону и к разговорам – а тем временем явился товарищ, подлинный свидетель с Екатерининского канала, и всё рассказал не так: один маленький отряд павловцев, куда-то зачем-то посланный, был обстрелян конной полицией, видимо по ошибке, но стал ей отвечать, – а потом сдался и дал загнать себя в казармы.

И всё радужное возбуждение опало. Это – не был великий случай, не была брешь в твердыне царизма.

Но и не было теперь необходимости принимать важное решение.

Стал Гиммер снова дозваниваться до Керенского. Телефон его был изнурительно занят, уже барышня устала и отказывать, там разговаривали просто непрерывно. И был уже девятый час, когда Гиммера соединили.

Керенского голос узнать было нельзя – такой потушенный. Да, ввели в заблуждение: всего одна рота – и та сразу покорилась.

И проговорил в телефон пророчески:

– Много прольётся крови. Жестоко подавят.

Ещё добавил усталым голосом, не соблюдая конспирации, что у него тут сейчас собираются, не придёт ли Гиммер?

А – что? намекнул Гиммер. (Центр действия?)

Нет, так, скорей – обмен мнений за чашкой чая.

Подумал: по дороге столько полицейских препятствий, стоит ли, того ради?

Так мнения – что ж? Правительство, получается, сегодня победило?

Да, увы, выходит, что так.

Значит, все эти дни метались зря?

Казалось так.

58

В воскресенье Государь, как всегда, отправился на литургию – в старую семинарскую церковь Святой Троицы, на круче Днепра, епископ отдал её Ставке, и называли её «штабной». Тут было недалеко, и Государь охотно пошёл пешком – он любил ходить в церковь пешком, так верней, да не было всегда на то свободы. Пошёл с двумя конвойцами и сам в форме конвоя. В штабной церкви было для него устроено на левом клиросе отдельное место, полузакрытое от храма колонной и большими иконами: легче молиться нестеснённо, когда сотни глаз тебя не изучают. Незамеченному – хорошо.

Обычная шла служба, и стоял молился вполне как обычно. Внимательно следовал за словами всего произносимого и поёмого, изученного с детства, – а местами сосредоточивался и на крылья молитв налагал просьбы. Да первая-то просьба к Господу, самая обширная и самая постоянная была – за наши храбрые войска и за дарование им заслуженной победы. Вся жизнь государства и самого Государя сошлась теперь в это: ничего нельзя было в стране устроить, ни даже жить – не выйдя победно из этой войны. И утром и вечером, каждый день возносил эту молитву Николай – и когда молился, то всегда посещала его уверенность, что так оно и исполнится. И – за саму страну, за Россию, за славное и вечное будущее её.

Сегодня – был день рождения отца, мудрого и могучего Государя. Всегда этот день помнил Николай – и всегда обращался к отцу за поддержкой. Не досталось ему вести такой ужасной войны – но он-то вышел бы из неё с громовой победой. Как перенять у него силы?

А ещё молился Николай – как выражались они с Аликс – за свою семью большую и малую: малая – это сами они с детьми, а большая – не династия уже, нет, это родство как бы отсохло, а те несколько десятков людей, близких к ним и верных, кто служили, помогали, сочувствовали.

Стоял и молился как обычно, и всё было как обычно, никакой бы сегодняшней особой тревоги, волнения – а вдруг, откуда ни возмись, острой болью вступило в середину его

груди, таким сжатием необъяснимым, сжатием и вместе проколом снизу вверх. То ли острая боль, то ли острый страх. Не только вздохнуть или остояться – но, кажется, остановилось само сердце – такое ощущение возникло, что сердце перестало биться, и всё в теле остановилось. Николай схватился за перильце позади себя, чтобы не упасть. Он – позвал бы кого-нибудь, но ещё для этого надо было два шага ступить и высунуться. А ещё – недостойно было, сразу звать помощь, ни от чего видимого.

И так схватило, и страшно держало. Но в эти минуты к счастью вспомнил, что уже было так однажды в жизни, и отлегло за десяток минут: это когда он узнал о катастрофе самсоновской армии, оказался тогда сердечный припадок. Пройдёт. Да и после сдачи Львова пошалило сердце.

Пройдёт. Должно вот-вот пройти. Однако не проходило, – и он потерял ощущение времени, он не знал, сколько это длилось. Вцепился в перильца, а сердце совсем не слышалось, а от боли нельзя было шелохнуться, и выступил обильный холодный пот, – и вдруг вошло в него сознание, что вот так и умирают, что вот это – может быть предсмертно.

И в этом ощущении он нашёл силы оторваться от перильца, и перешагнуть в сторону, к образу Пречистой Девы – и опуститься на колени перед ним, и лбом почти упасть на коврик: взмолиться о помощи – а если умереть, то вот так.

И вдруг – вдруг всё прошло, с той же внезапностью, как и постигло! И сердце вот уже отчётливо работало! Только остаточная слабость отдавалась по всему телу, так что легче было ещё постоять на коленях, чем подняться. И Николай отёр рукою лоб от пота.

Оказывается, он весь припадок не слышал ни слова службы и пения – а теперь услышал, и по разрыву определил, что припадок был не две минуты – а с четверть часа. Уже пели Херувимскую.

Так никто и не заметил случая с ним.

И хорошо.

Отстоялся на коленях – поднялся.

Но долго ещё сохранялась в теле – усталость. И возвращался Николай из собора уже на автомобиле. И с мыслью – как бы прожить воскресенье тихо, покойно.

Вообще-то Николай был – совсем здоровый и даже молодой человек, он не только чувствовал себя хорошо, но даже с годами лучше, так находили врачи.

Миновало – и уже не хотелось говорить доктору Фёдорову, как-то и стыдно возбуждать беспокойство. Если будет ещё раз – ну, тогда.

По краткости пребывания Государя в Ставке доклад Алексева, тоже молившегося на литургии, предполагался и в воскресенье, и должен был состояться после церкви. Государь не отменил, пошёл выслушать.

Да вот уже, за три доклада, они как будто и обсудили всё главное, что делается с армией. Всё текло нормально, только вот перебивалось провиантское снабжение на Юго-Западном. Все армейские дела, по сути, были уже и направлены. Послезавтра, пожалуй, можно и возвращаться к своему Солнышку в Царское Село, ей очень тревожно и одиноко.

Ещё подал Алексеев телеграмму Хабалова. Да, в Петрограде же... Ну, что там? От Хабалова это была первая телеграмма. Он сообщал – ещё только за 23 и 24 февраля, что бастующих рабочих около 200 тысяч, – это много, правда бастовщики снимают работающих насильственно. Останавливали трамваи, били стёкла в трамваях и лавках, прорывались и к Невскому – но были разогнаны, причём войска не употребляли оружия. (Это – верно, так Государь и распорядился, ещё не хватает повторить ужас того страшного 9-го января). И 25 февраля так же разгоняли с Невского. Серьёзно ранен один полицеймейстер и при рассеянии толпы убит пристав. Перечислялось 11 эскадронов кавалерии, более чем достаточно.

Тут заметил Государь пометку, что телеграмма доставлена в Ставку вчера в 6 часов вечера. Отчего ж уж так за весь долгий вечер, да уже скоро и сутки – Алексеев её не доложил? Хотел спросить, но взглянул на трудолюбивое и даже измученное лицо Алексева, кажется даже очки несущее с трудом, так было ему нехорошо, – и не решился огорчать старика. Он ещё не вышел из болезни, вероятно, вечером трудно было подняться идти. Да

значит и не придавал значения. Да тут, и правда, нет ничего особенного.

Перед завтраком получил и читал целительное нежное письмо от любимой Аликс, вчерашнее. Боже, как она тоскует несказанно! Но и сколько успокоения, радости и твёрдости всегда вливается от её писем. Она тоже писала об этих волнениях – но тоже так понять, что ерунда, возбуждение мальчишек и девчонок. А вот очень верные мысли: почему не наказывают забастовщиков за стачки в военное время? И почему до сих пор не введут карточной системы на хлеб? Этого Николай и сам не понимал и не мог добиться. Просто было какое-то заклятье с этим продовольственным вопросом, не давался он в руки никому.

Слишком много препятствий почему-то всегда встречается от высказанной воли до исполнения.

Всё верно она писала, надо постепенно так всё и устроить.

И Хабалову Протопопов должен был дать, и конечно даёт, ясные определённые инструкции. Только бы не потерял голову старый Голицын – ему всё непривычку.

Ещё сколько ей, бедняжке, ухода за больными детьми, это при её здравьи. И сколько хлопот с капризной трудной Аней, не знающей ничего кроме своих болей и интересов, ни даже ценности времени и обязанностей императорской четы. Но и никак нельзя покинуть её, угрожаемую после гибели Григория.

Забывался и оживал Николай над дорогими письмами. (Ещё и от Настеньки, младшей, была писулька).

Очень в этот раз не хватало в Ставке Алексея, его шалостей и болтовни. Какое же он утешение и развлечение!

Но уже пора была идти на завтрак. По воскресеньям завтрак был всегда многолюден, тут и всё наличные иностранцы. Надо было много говорить, слушать, но всегда о постороннем пустяковом, отлагая всякие серьёзные мысли. Впрочем, этим ритуалом Государь хорошо владел, приучился за четверть века.

После завтрака первым делом сел – и написал Аликс письмо в ответ.

А погода стояла солнечная, морозная. Решил ехать на прогулку. Подали моторы – поехали на Бобруйское шоссе, остановились у часовни памяти 1812 года. Погулял там. Ясная, бодрящая погода. Уже и не оставалось в теле никаких следов сегодняшнего сердечного сжатия. Нет, врачу пока не говорить.

Вернулись в Ставку – уже и чай пора пить.

Потом принял одного сенатора.

Надумал, что долго для Аликс – до завтра ждать его сегодняшнего ответа. Решил тотчас послать ей телеграмму с благодарностью за письмо. Как уже соскучился! Как хотелось к ним назад!

Отправил – а тут, одну за другой, принесли две телеграммы от Аликс. Одна была – вполне семейная и сдержанная (Аликс всегда очень стеснялась, что многие военные люди читают их телеграммы), другая – позже – открыто-тревожна: «Очень беспокоюсь относительно города».

Именно зная сдержанность её в телеграммах – можно было понять, насколько ж это **очень** .

Однако почему не было никаких официальных телеграмм? Алексеев – ничего не нёс, и неудобно было к нему идти с телеграммой жены.

Были в Ставке сейчас великие князья – но все стали чужие, не хотелось с ними разговаривать.

Стемнело. Обедали – всё тем же размеренным, отвлечённым распорядком.

Однако что-то расходилась в груди тревога. Не стала бы Аликс зря.

После обеда послал ей ещё телеграмму: поблагодарил за её телеграммы и твёрдо обещал, что послезавтра выедет в Царское.

Сели играть в домино.

Уже к концу игры пришёл дворцовый комендант Воейков – тоже в руках с чем-то – а по лицу было видно, что хотел бы Государю доложить. Николай встал, вышел с ним к себе в

кабинет.

Телеграмма была от военного министра Беляева: что некоторые воинские части отказываются употреблять оружие против толпы (но кто им велел применять оружие?) и даже переходят на сторону бунтующих рабочих. (Это уже позор! – может ли это быть?) Впрочем, заверял Беляев, что всё будет умирено.

А Воейков волновался. И доложил Государю настроение всей свиты (ни за обедом, ни прямым докладом, разумеется, никто не смел выразить): что положение в Петрограде очень тревожное.

Николай и сам уже не знал, что думать. Но владея собой, ничего не пообещал, вернулся доигрывать в домино.

Однако всё более разыгрывалось в нём, что в Петрограде тревожно.

Обращаться к Протопопову было излишне, этот умница знает, сообразит всё и сам. Голицыну – уже вчера телеграфировал, да и не очень надеялся Николай вселить в него мужество. Но прямо по военной линии, командующему генералу Хабалову (а знал он его совсем мельком) – надо было придать твёрдости.

И написал, и дал на отправку телеграмму:

«Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжёлое время войны с Германией и Австрией. Николай».

59

Эти дни Михаил Владимирович не уклонялся предпринимать всё человечески возможное для того, чтоб умерить народные волнения и остановить кровопролитие. Даже в часы напряжённого руководства думскими занятиями он не утомлялся участвовать в событиях по телефону, понимая ответственность, что при таком далёком отсутствии царя сам он из Второго Человека России превращается фактически в Первого. Он телефонировал этому тупице Хабалову, предупреждал, что будет обвинять полицию. И звонил градоначальнику, что сам сейчас поедет душу вытрясет из того полицейского пристава, произведшего аресты. И звонил военному министру: почему толпы не разгоняются водой из пожарных брандспойтов? (Тот и сам не знал, ему понравилось, позвонил Хабалову, но ответ был: существует запрет на вызов пожарников, потому что окачивание водой только возбуждает толпу).

А сегодня днём Родзянко встречался с изнеможённым князем Голицыным, как бы сказать – для переговоров, хотя какие между ними могли быть переговоры! Вся страна разделилась на две неравные части: одна – народ, армия, общество, Дума и во главе их полный могучих сил Родзянко; другая – перессоренные между собой министры и во главе их последние недели этот дряхлый князь. Не переговоры, а Родзянко настаивал, чтобы правительство в полном составе поскорей подавало бы в отставку. А Голицын отвечал, что и рад бы подать, только и мечтает о покое, но боится неблагоприятности как бы позорного бегства: слуга царя не может покидать пост в минуту опасности. В закоснелости монархической службы, если не прислушиваться к бурному народному дыханию, – это выглядело так, да. Но если нельзя вмиг спасти Россию в один день объявленным общественным министерством, то по крайней мере пусть же освободит Голицын свой кабинет от этого мерзавца прощельги Протопопова! Ведь вся Россия вздохнёт свободно! Ах, ах, сокрушался Голицын, он и сам бы рад освободиться от Протопопова, но ведь тот поставлен и держится *не им* .

Так-то так. Однако поглядывая на любезного князя, не мог же Родзянко не вспоминать те три хранимые у него, в минуту откровенности показанные варианты указы: о полном роспуске Думы и назначении новых выборов будущей осенью; о роспуске её до окончания войны; или перерыве на неопределённое время. Никакой силы не было у правительства, ничто! – однако в любой день этот расслабленный старик мог добиться роспуска Думы – и историческое злодеяние свершилось бы! Эту встречную угрозу Родзянко тоже должен был

учитывать для осторожности своих грузных поворотов.

Всякую угрозу Государственной Думе воспринимал Родзянко с острейшей тревогой, да острее, чем если бы грозились убить его самого! Опасностью роспуска Думы он как сам был душим за горло. Ведь Дума – единственный источник правды в России, единственный светоч для её растревоженных умов. Депутаты Думы – единственные выразители воли народа. Если распустят эту Думу – кто же поддержит бодрость и мужество в стране, а особенно при военных неудачах? Дума – это единственный сдерживающий центр. В случае роспуска Думы – в стране воцарится глубокий мрак, вся страна будет бесконтрольно отдана в руки Протопопова, царицы, распутинского кружка и немецких шпионов! (Жена Михаила Владимировича с декабря считала, что и царь преступен). Дело несомненно покатится к сепаратному миру и позору России.

А для себя самого – Михаил Владимирович не видел тогда другого исхода, как арест и высылка.

Эти мрачные предвидения носились уже несколько месяцев, после ноябрьского конфликта с властью, когда удалось прогнать Штюрмера. Они ещё накалились в декабре после громогласных общественных съездов. А в январе Родзянко приглашал к себе нескольких предводителей дворянства и прямо просил их: в случае его предвидимого ареста (ссылки в Сибирь или даже повешения) стать вместо него на страже интересов Родины: если Думу можно святотатственно разогнать, то уж дворянство нельзя ни разогнать, ни упразднить.

Эти предвидения уже месяцами носились, и Львов, Челноков, Коновалов звали Председателя приехать на их земгоровский съезд в Москве и там гласно всё выразить. И понимал Родзянко, что такой шаг мог бы изменить ход истории. Но не поехал. Достаточно того, что осенью он написал Государю предупредительное письмо об опасности вмешательства царицы в управление Россией – и письмо ходило по рукам. Теперь он, по своему укладу и значению, видел способ спасти отечество прямее: всеподданнейшим докладом у Государя, который непременно должен иметь место перед открытием думской сессии. Хотя Родзянко и есть Дума, но всё же он – и сам Родзянко, и как таковой находится в особом личном отношении к императору. Можно сказать, что доклады Родзянко царю были эпохами в истории России. Кто, если не Родзянко, объяснил в Пятнадцатом году, что в этой войне понадобится много снарядов? Кто, если не Родзянко, настоял на Особых Совещаниях по обороне? Кто, если не Родзянко, отговорил Государя от создания диктатуры тыла? Кто, как не Родзянко, уговорил Государя снять Николая Маклакова с министра внутренних дел? Кто, как не Родзянко, в обстоятельном январском письменном докладе открыл глаза царю на ход всей войны, добросовестно изложил всё, что узнал от гениального дружелюбного Брусилова: и почему не Брусилов виноват в остановке наступления 1916 года; и какой у него плохой начальник штаба, но он может, впрочем, обойтись и без начальника штаба; и как на Румынском фронте дела обстоят ещё гораздо хуже, чем у Брусилова; и хотя не назвал нигде прямо Алексева, но сам материал указывал, что во всех ошибках виноват Алексеев. Да никогда прежде Родзянко не чувствовал себя таким знатоком в военных вопросах, как в этом докладе. И перечислил многих бездарных генералов – Зайончковского, Цурикова, Сирелиуса, Кознакова и других, не раз отставленных за провал дела и снова назначенных по неоглядчивой монаршей милости.

И как же обидно бывало, когда царь отвечал неблагоприятно – то неконфиденциальным письмом, отпечатанным даже на машинке, то – сухим приёмом, как две недели назад, последний раз.

Этот февральский доклад Родзянко готовил с тёмной решимостью, как бы идя на медведя. Наконец, всё должно было быть высказано отчётливо, до конца, чтобы царь устрасился, и раз навсегда отшатнулся бы разгонять Думу, но – всячески укреплял бы общественные силы. Это должен был стать самый великий поворотный доклад из всех докладов Председателя. И если Государь не станет читать и не даст прочесть полностью вслух, то лучшие фразы и главные мысли успеть ему выразить наизусть.

Что победа в войне уже невозможна без немедленного коренного изменения всей системы управления – это убеждение всей мыслящей России. Россия – объята тревогой, и тревога эта естественна и даже необходима. Она выражена – в резолюциях. Все успехи в снабжении армии обеспечены общественной самодеятельностью, а правительство ревниво недоброжелательно относится к патриотической работе. Единение страны вселяет в правительство страх, и вся Россия оказывается под подозрением. С горечью добавить, что наша общественная тревога передалась уже и союзникам. Много в стране испорчено настолько непоправимо, что теперь даже если к делу управления были бы привлечены гении, то и они уже не смогут много исправить. Но тем не менее настоятельна и смена лиц, и смена системы управления. В новых лиц население будет верить! Государю невозможно узнать правду от нынешних министров, а только от Председателя. И вот она: необходимо не только сохранить Думу, но продлить её полномочия более 5 лет, так чтоб захватить и мирные переговоры после войны. Если Думу тронут – то страна сама может восстать на защиту своих законных прав.

Скрывать от царя истину – преступно. И почему бы эти честные прямые слова могли бы не понравиться Государю, если б он способен был слышать правду?! Но Государь был замкнут и раздражён, не принимал родзянковской правды. Он то начинал папиросу, то бросал. Тщетно напоминал ему Родзянко о своих прежних добрых советах – Государь отвечал, что раскаивается в принятии их. И тогда Председатель, обуянный уже гневом, сказал:

– Ваше Величество! То, что вы делаете – раздражает население. Всякий проходимец всеми командует. Вас повели по самому опасному пути. Вокруг вас не осталось ни одного надёжного и честного человека. И вы, Государь, пожнёте то, что вы посеяли.

Тем отчаяннее Председатель всё это высказывал, что открытия Думы уже никак нельзя было остановить.

Ещё и сегодня грудь его ходуном ходила, когда он вспоминал тот приём.

А сегодня – снова готовился коварный удар по Думе.

Задыхаясь под высокими потолками своей квартиры, задыхаясь в её комнатах-полузалах, Михаил Владимирович, не одеваясь и с непокрытой полулысой головой, как был, вышел своей бычьей фигурищей на просторный балкон над Фурштаттской улицей, прямо против сербского посольства.

Тоже символ: он жил-сторожил клятву союзной верности.

Если Дума вмещала в себя чаянья народа, то тем более вмещал их в себя Председатель. Он так и ощущал: свою грудь – собранной грудью всей России, свою громоздкую фигуру – её могучим корпусом, свой колокольный бас – её голосом. (А как его чествовали во Львове! – нисколько не меньше, чем царя. Даже и больше!)

Редкое сочетание, когда вся народная воля отчётливо собирается в одном человеке.

А сам он всегда подчинялся толчкам своего огромного сердца.

Сейчас толкало его, что при таких событиях надо совершить что-то очень большое. Энергично спасти Россию.

Как фигура уникальная, он должен был и действовать, ни с кем не согласуя, уникально.

Такое действие в его положении было одно: Второе лицо в государстве, он должен был обратиться к Первому.

Хотя Государь и не хочет слышать.

Обратиться – с грозным предупреждением.

С уразумлением, может быть последним.

Накатить ему в Ставку – громовую телеграмму! Оглушить, даже, может быть, несколько преувеличивая, но чтоб вывести из косности Верховного Главнокомандующего... (Уж сам бы на себя посмотрел! Зачем принимал на себя ещё это губительное Верховное Главнокомандование!)

Но разве он – внимет? Даже и могучему голосу? В который раз колотиться в нечувствительное сознание монарха?

Кого бы, кого бы ещё позвать на помощь, присоединить?...

И блеснула у Председателя светлая догадка: не царю посылать телеграмму! не царю, он безнадежен! А послать – несколькими Главнокомандующим фронтами. Во-первых, Брусилову, с которым замечательное взаимное понимание, он энергично поддержит. Затем Рузскому – он всегда хорош к Думе. Ну и, по команде, придётся Алексееву, хотя он человек неприятный. И хватит, Эверту не надо. Телеграфировать – им, и взывать, чтобы они присоединились и *они* умоляли царя!

Гениально! Тогда телеграмма не останется частным шагом, но – распространится по обществу, но явится – на суд, на позор и во свидетельство!

И что тогда ответит царь перед лицом всех?? Не укроется!

Родзянко уже осенью предлагал Милюкову коллективный доклад царю. Чёрствый Милюков отклонил как неконституционный шаг.

Да думцев царь и не слушает. В Петрограде таких голосов нет.

Но – прислушается к Главнокомандующим!

Какой план!

Фразы накатывались громыхающими колесницами! Родзянко потопал с балкона в кабинет – и перьевидной четырёхгранной полуаршинной красной ручкой набрасывал верхковые буквы, не помещаемые ни в какой телеграфный бланк.

В Петрограде – паника от полного недоверия к власти, не способной вывести страну. Голодная толпа вступает на путь анархии стихийной и неуправляемой. Транспорт, продовольствие, топливо? – да что говорить... Развиваются события, которых сдержать будет невозможно, ценою пролития крови... Жизнь страны в самую тяжёлую минуту... России грозит военное поражение и унижение...

(А если ещё будет распущена Дума – так просто армия **откажется сражаться**. Так говорил Брусилов).

... И единственный выход – это призвать *лицо, которому может верить вся страна...* За которым пойдёт вся Россия, воодушевившись верою... В этот небывалый по ужасным последствиям и страшный час – нет иного выхода на светлый путь... Промедление – смерти подобно!...

(А такое Лицо, такое Лицо... Ну, должны догадаться сами).

И Председатель Думы просит его высокопревосходительство ходатайствовать перед Его Величеством...

Грандиозно задумано!

Потом подумал – послал и Эверту.

60

Ваське Каюрову по линии революции всю жизнь доставались одни ответственные должности. Сенигилеевский деревенский паренёк, сын сельского ткача и присучальщицы, задавленный патриархальным религиозным бытом, он мальчишкой собирался едва не в схимники. Начитался потом вперемешку Еруслана Лазаревича и Рокамболя, но ещё и плотником судостроительной верфи в 20 лет пугался как чертей этих страшных «социалистов», какие ни в Бога не верят, ни царя не признают. Только уже подрастая да женившись, по за 24 своих годка, стал он к этим социалистам притрагиваться на сормовском заводе, – а смотришь и получил свою первую ответственную должность: кассир социал-демократической сормовской организации. (Там и познакомился с писателем Горьким и на его квартире сам получал от певца Шаляпина 100 рублей в свою кассу, только имени не указывать). А тогда ж и поучаствовал он в выпуске листовок, после чего пришлось уйти с завода, и в том же Сормове мог он работать только в рабочем обществе потребителей, где и каждый пятый был партийный работник, – и тут Каюров стал ещё более ответственным: книжный и железо-скобяной отделы кооператива распространяли нелегальную литературу, взрывчатые вещества и оружие. Сам Василий лично хранил 265

револьверов, а ещё выменивал у эсеров динамит за листовки, отпечатанные для них в кооперативной типографии. Но после сормовской свободной республики осенью Пятого года и декабрьских там боёв пришлось Васе Каюрову оттудова смываться, а ехать в свою родную деревню Тереньгу, где тоже он без дела не сидел, но со временем создал нелегальный социал-демократический кружок – и взяли его в тюрьму, и жестоко не отпустили даже помочь семье убрать урожай – а сослали под гласный надзор в Самарскую губернию. Потом уже не мог он работать в Сормове, а только в Нижнем, перед войной переехал в Питер – модельщиком на Новый Лесснер, потом и на Эриксона – и тут опять не миновала его ответственная должность руководителя страхового Движения. Перед самой войной, когда буянили на Выборгской, складывал Каюров баррикаду у себя в Языковом переулке, а в войну на Эриксоне непримиримо боролся с гвоздёмскими ликвидаторами, даже и табуреткой. Так постепенно выдвинулся он в Выборгский большевицкий райком, и даже последние недели секретаря его.

А прошлой ночью арестовали весь ПК, кроме Шутко, и нонче утром назначил Шляпников весь их выборгский райком в полном составе быть и Петербургским комитетом.

Поднялся сенгилеевский, сормовский парень до высоты, какая ему и не грезилась: всем Петербургом управлять!

Ну, разорваться! Куда кидаться? А тут воскресенье: кто по домам рассыпан, кто по городу, не то что рабочих не собрать поговорить, а даже и своих райкомовцев. Кинулся и Васька гонять по Невскому, по Лиговке.

Стреляют царские сатрапы, не дрогает ихняя рука! А тут ещё какой-то дурий броневик проехал по улицам, своим стуком и железным грохотом буквально панику навёл среди рабочих, хотя и не стрелял. И в этом громыхании броневика исчезали яркие краски пока видимо несбыточных мечтаний. Рабочие волнения явно ликвидировались.

Заходил Каюров в казармы к казакам – на улицах они сочувственно себя вели. Но в переговорах ничего не обещали. Да рядовой казак – как за всех пообещается?

Так и день прошёл. Вечером решили собрать райком. Но после провала ПК ни одна квартира члена не безопасна, могут захватить? Решили пойти на огороды, уже в темноте.

Там и отаптывались на снегу. Обсуждали, и так больше склонялись, что забастовку надо кончать.

Да хоть бы и не решили, так сами рабочие наверно завтра кончат.

В это время доглядел Каюров, что кто-то толкается среди них в солдатской шинели. Переполошил всех: это кто такой среди нас? зачем? Всё слышал, что мы тут говорили! Да это, мол, дружок. Да как можно непроверенных товарищей пускать на подобные заседания, когда обсуждаются вопросы чрезвычайно важные!

Оказалось, этот товарищ – из броневоего дивизиона.

– Так почему ж вы нам не помогаете? Это ваш был броневик, ездил сегодня?

Ихний.

– А мы-то перепугались! Зачем же вы выезжаете на улицу, ободряете полицию и вносите замешательство в рабочие ряды?!

Да вот, если своих убедит, так ещё и помогут.

– Так – убедите! А пока – покиньте, товарищ, наше заседание!

Ушёл в темноту. Ещё и без него побузовали, а решить – ничего не решили. Мороз крепчает, ноги мёрзнут, у кого не в валенках.

Да зря мы на огороды погнались, своей тени боимся.

– Ладно, – объявил Каюров, – завтра утром пораньше, прямо с семи часов ко мне на квартиру собираться. Там и решим – кого чего.

В разговорах неслужебных, какие бывали у него нечасто, всегда коротких и только с лицами, близко окружающими, генерал Алексеев говорил о себе: «Я –

кухаркин сын, я человек простой, из низов, и знаю жизнь низов, а генеральские верхи для меня чужие». А уж тем более – слои династические и высшего света.

И это было говоримо искренно и во многом правильно, хотя не так уж прямо он был кухаркин сын, лишь потомок крепостного, а сын бедного пехотного штабс-капитана, участника севастопольской обороны. И училище он кончил пониженное, юнкерское. И службу начал под турецкую кампанию прапорщиком, и 9 лет не дослуживался даже до ротного. Но без знатностей, без связей, без заступ, он поднимался своим редкостным трудолюбием и упорством, всего в жизни достиг одними своими трудами. В Академию поступают после трёх лет армейского стажа, Алексеев поступил после одиннадцати. Но после Академии, при кропотливости и аккуратности вниканья в каждое дело, вскоре стал и в самой Академии профессором истории русского военного искусства. Однако и ему и другим проявилось, что нет, не его призванье преподавать, да началась японская война, и Алексеев ушёл на неё уже генерал-квартирмейстером армии, то есть вторым начальником штаба, там он уже возвысился через успех на штабных должностях, прямо для него и созданных, да и был уже генерал-майор. Затем, генерал-квартирмейстером же, служил он и в Управлении Генерального штаба и в Киевском военном округе, у Сухомлинова, затем у Иванова, и тут на манёврах 1911 года очень понравился Государю своим обстоятельным разбором операции. Это запало Государю (да такие-то скромные, работающие, неназойливые ему всегда и нравились) – и сказалось в войну. С началом её Алексеев оторван был от 13-го корпуса, шедшего в Восточную Пруссию (и совсем бы иначе могла бы пройти та злонесчастная операция, если бы там был Алексеев, а не Клюев), – и стал начальником штаба Юго-Западного фронта при Иванове. Всё такой же исступлённо-аккуратный, со вниманием к каждому вопросу, хоть крупному, хоть мелкому, но среди генералов на редкость независтливый и даже кажется мало честолюбивый, он разработал ту галицийскую операцию 1914 года, которую Рузский и Иванов только портили, но получили всю славу они, Рузский – и генерал-адъютантство, а скромный Алексеев – лишь крестик Георгия 4 степени, как получают младшие офицеры. Но хотя понёс невольную обиду, а не травился ею. Он и не умел напоминать о своих заслугах. А доверие и милость Государя не оставляли его, и с начала 1915 года он перенял от заболевшего (или уклонившегося?) Рузского главнокомандование Северо-Западным фронтом (ещё не разделёнными тогда двумя фронтами – Северным и Западным), 37 армейских корпусов – три четверти всей воюющей русской армии, и это в год, когда предстояло отступить из варшавского мешка, четыре месяца отступать по всему фронту без снарядов и с недостаткою даже винтовок, принять на свои незаметные плечи бремя, которого русская армия ещё не знала. Многие горячие офицеры обвиняли Алексеева в «мании отхода», что он «сохраняет живую силу, но топит дух», и сам он, удручённый, счёл себя достойным лишь увольнения или снижения: тактика непрерывного ускользания из множества окружений, которую он ставил себе в заслугу, вдруг и самому ему, по результатам, представилась тактикой капитуляций. В августе 1915 он просил у Николая Николаевича увольнения: «несчастливая у меня рука». Но, напротив, в те дни увольнение нависло над самим Николаем Николаевичем, а Государь, принимая Верховное Главнокомандование, назначил своего любимца начальником штаба Верховного, – и недоброжелатели Алексеева говорили: «сдал все крепости немцам и получил повышение». В те самые августовские дни прозначилась ещё худшая угроза, только она не была подхвачена газетами, не понята публикой, так почти и не узналась: 8 немецких кавалерийских дивизий вступили в разрыв нашего фронта между Двинском и Вильной и грозили пройти к Орше и к самой могилёвской Ставке. И в эту свою первую в Ставке – и лучшую – операцию Алексеев беззвучно остановил немецкую кавалерию перед Глубоким и Молодечно – не имея резервов, на ходу создавая новую армию Смирнова, целые корпуса перебрасывая кружным путём через Оршу на Двину.

При таком Верховном как Государь, не ведшем реально ни одной операции, ни одного организационного дела, Алексеев стал по сути не начальником штаба, а бесконтрольным Верховным Главнокомандующим всех сил России. Но и так поднявшись, он нисколько не перемешался – ни в образе своей работы, ни в ровном спокойном обращении с подчинёнными, ни в равнодушии к высокопоставленной публике, не стал думать о себе иначе, чем раньше, голова его не вскружилась нисколько. Как и прежде, в любом низшем штабе, он готов был бы вообще не подниматься от стола, ни даже для завтрака и обеда, так и умереть с цветными карандашами над картой или с пером над бумагой. Он знал только один интерес: детальное проникновение в каждый вопрос и точное содержательное решение его. И он настолько был предан работе, что не мог разрешить какой-либо части её пролиться мимо своей головы. Никто не мог ему помочь, никто не мог облегчить его труда, да он тогда и не чувствовал бы себя самостоятельным. Он и не умел выбирать помощников. Он избегал и всяких совещаний, даже и с главнокомандующими: от совещаний затуманивается мысль, колеблется воля, и решения принимаются какие-то средние. И он даже почти не просматривал планов, которые подавало ему оперативное отделение: он должен был составить и решить всё сам, охватить всё до мелочи самолично и даже лучше – собственной рукой исписать все приказы, собственным бисерным чётким ровным почерком.

При нём по штату не мог не состоять его ближайший помощник генерал-квартирмейстер, и Государь хотел назначить хорошего строевого начальника, популярного в армии, Щербачёва или Абрама Драгомирова. Но Алексеев настоял на Пустовойтенке, которого притащил с собою с Северо-Западного. Это был совсем не самостоятельный генерал (он продвинулся от женитьбы на дочери крупного артиллерийского генерала), ничего не умеющий, на уровне старшего писаря, и никакой не боевой, – но то-то было и хорошо: другой бы спорил с Алексеевым, а спорить ему некогда. И уговорил Государя: больших командиров нельзя брать с фронта, а обойдёмся и этим. При Пустовойтенке зато Алексеев не пропускал мимо себя никакой работы, а какие телеграммы приличней было подписать Пустовойтенке – Алексеев сам ему составлял и подносил подписать. (Принести, поднести какую-нибудь справку подчинённому он никогда не считал унижением).

Но чем серьёзнее относился Алексеев к каждому, даже мельчайшему вопросу, тем больше он увязал во всех них. И иногда охватывало Алексеева безнадежное прозрение, что одному – никак не управиться.

А возжи военного руководства ещё как иногда непредусмотрительно распозлались. Например, наступление 1916 года было твёрдо решено производить Эверту, а Брусилову – лишь побочную демонстрацию. Однако Брусилов имел против австрийцев лёгкий успех – а Эверт тупо начал и вскоре вовсе отказался наступать. И надо было Алексееву одному, не с Государем же, мгновенно решать: или вообще отказаться от наступления этого года – или перебрасывать по узким железным дорогам громоздкие силы от Эверта к Брусилову, терять время, быть опереженным немцами, – и ни одно, ни другое решение не были удовлетворительны.

И вот для таких случаев и чтоб ослабить свою нечеловеческую нагрузку, Алексеев возил за собой своего друга, однополчанина Борисова – для скрытой проверки с ним своих стратегических замыслов, он считал того стратегом гениальным. В молодости Борисов был чуть не настоящим революционером, но потом утянулся в военную службу, стал генерал-майором, однако подвергся увольнению за статьи в газетах, за разглашение, побывал даже и в психиатрической больнице. И вот его содержал Алексеев при Ставке без всякой официальной должности. Борисов жил тут же, в соседней комнате генерал-квартирмейстерской части, рядом с Алексеевым. Оттого ли, что не обязан никому показываться по службе, никуда не выходил, он и не следил за своей наружностью, был небрит, засален, неряшлив – и только подавал Алексееву

стратегические идеи во вдохновенные минуты.

Последнее время стал Алексеев осознавать свою ошибку и с Пустовойтенкой, но не смел его упрекнуть, а тем более удалить из Ставки – он не умел быть жестоким, не умел избавляться от преданных людей. (Это самоуправно сделал во время его болезни налетевший сюда крутой Гурко).

А Государь во время ежедневного заслушивания докладов постоянно во всём был согласен с начальником штаба (иногда, может быть, рассеян, иногда не вполне вникнув) и если вмешивался, то только по иным личным назначениям. (Государь часто прощал провинившихся генералов и склонен был назначать их вновь на равные должности и даже на прежние посты, не задумываясь, как же теперь к ним отнесутся подчинённые).

Государь был привязан к терпеливому ровному характеру своего *косого друга*, к его тихой душе – такой же, как у него самого. Он – просто полюбил Алексеева. Такие симпатии бывали у Государя глубже, чем расположение к мировоззрению или политической линии министра. И он уважал военный опыт и знания этого генерала, и особое душевное доверие вызывал в нём Алексеев своей неподдельной религиозностью: он не только усердно молился, и долго стоял на коленях и отбивал поклоны на своём незаметном месте у колонны в штабной церкви, как (знал Государь) и в кабинете, не только крестился перед каждой едой и после, но молитва и вера были его постоянной настоятельной потребностью.

Также и Алексеев был приворожен мягкостью, сердечностью и простотою Государя, особенно удивительными на троне и особенно ощутимыми при ежедневном тесном общении. К тому же не мог он быть не благодарен ему за доверие и за своё невиданное возвышение. И не мог не сочувствовать Государю, близко видя нелёгкое его положение и против штурмующего общества и с великими князьями. Самому-то Алексееву вид и разговоры всех этих сиятельных и титулованных были тошнотворны, и он не только не тянулся находиться среди них, сидеть за императорскими обедами, как был постоянно приглашён, – но то большая была бы для него тягость, неделовая потеря времени и отвлечение (и отвращение) – и он раз навсегда отпросился у Государя обедать в штабной офицерской столовой.

Однако привязанность Алексеева к Государю должна была пройти и большие испытания. Минувшим летом императрица, приехавши в Ставку, взяла генерала под руку и водя по саду уговаривала его открыть Распутину доступ в штаб. Со смущением (обычным у неё, когда надо объясняться по-русски, но генерал не знал ни одного языка), она убеждала Алексеева, что он несправедлив к «старцу», что это – святой и чудный человек и посещением Ставки принёс бы большое счастье войскам. Алексеев, однако, не поддался и прямодушно ответил:

– Как только он появится в Ставке, я, Ваше Величество, тотчас буду вынужден уйти с занимаемой должности.

Государыня выдернула руку и удалилась, не попрощавшись.

Алексееву показалось, что с этого момента Государь к нему несколько охладел. (Хотя он и сам, ещё в начале их пребывания в Ставке, стеснительно попросил Алексеева о том же, получил отказ, но не обиделся. И даже – Алексеев брал на себя смелость уговаривать Государя устранить Распутина подальше, а тот терпеливо отвечал, что это – личное частное дело, никакого поста Распутин не занимает). Но не мог Алексеев довести себя до посмешища визитом Распутин в Ставку.

Такое наступило в России время, что ни один образованный человек не мог заниматься просто своим делом, но ещё и непременно врезывалась в него политика. И если он ею, по отвращению, не интересуется, то, поднявшись в начальники штаба Верховного, станет для неё весьма интересен. Да и кто куда мог уйти от общественных представлений, если, едва выучась грамоте, а уж тем более в гимназиях, всякий русский подданный первое что узнаёт: что наше правительство никуда не годится.

Общество, образованный класс всегда действовали именно доводами и невозможно было возражать их логике, их свободный вольный умный язык убеждал, нельзя было найти разумного ответа, почему например Распутин или другие несуразные лица и куклы могут толпиться подле трона? Да если даже все громкие гордые великие князья постоянно испытывали на себе властно поворачивающий общественный ветер, то безродному бессановному тихому генералу как остаться нечувствительным к этому ветру?

Да с общественными воззрениями, только более резкими, была прежде всего жена Алексеева, которая не выносила и самого Государя, говорила, о нём с дрожью презрения как о лисьем хвосте, палаче, пробивателе лбов, отверженце природы, душевном калеке, духовном карлике, истукане, только и посланном для завершения всех гнусностей романовской династии, и что он – Николай Последний. (С таким названием была в Европе издана и книжка, богато иллюстрированная). Так думали во всех либеральных кругах, да так же думал и Борисов, бывший революционер, и Пустовойтенко, пригревший в Ставке на цензурном отделе и при секретных документах – поручика Лемке, вовсе эсера. В неслужебных разговорах от своих этих генералов наслушивался Алексейев всяких политических крайностей, которых не разделял сердцем.

Но жена настолько не владела собой в отношении к царю, что супруги из благоразумия установили, чтоб ей никогда не приезжать в Ставку, когда Государь здесь, дабы не встретиться ни на минуту и не исказиться лицом. А Государь удивлялся, почему так совпадает, что жена начальника штаба приезжает всегда без него, а раз и спросил шутливо: может, она избегает встретиться? Алексейев ответил, что просто в отсутствие Государя он свободней. Но после того вызвал её раз и при государевом пребывании.

Хотя эти убеждения, женины и сотрудников, не завладевали Алексеевым, но не оставались без последствий. Они как бы давили на него сбоку и смещали. По ним он дважды мягко отказывался от предложенного ему звания генерал-адъютанта, чтобы не причислиться к «придворной клике», и не носил ордена Белого Орла, а Государю нравились его отказы, он приписывал их скромности, вряд ли когда задумываясь, что у генерала Алексеева могут быть свои отдельные политические симпатии. Но прошлой Пасхой Государь прямо принёс генерал-адъютантские погоны и аксельбанты в подарок – уже нельзя было не принять, хотя смущённо лепетал Алексейев: «не подхожу я, не подхожу...».

Однако весь этот сбой не мешал безупречной военной службе Алексеева. Военные соображения он ставил выше всякой политики, да «внутреннюю политику» вообще не любил, не понимал, зачем такая и нужна. Но сложность современной войны обступала со всех сторон, и Алексееву приходилось подолгу заседать с приезжающими в Ставку министрами или деятелями тыла, обсуждать финансы, промышленность, транспорт, снабжение, продовольствие, коннозаводство. И хотя в этих изучениях он всё больше склонялся (и убеждал Государя) к необходимости единой диктатуры тыла, а значит ограничения Земгорсоюза, – его отношения с Земгором, как и со всеми либеральными деятелями и думцами, оставались наилучшими. (Всё же рекомендовал он мягко князю Львову уменьшить число евреев в Земгоре до приличной доли).

Назначение генерала Алексеева начальником штаба Верховного было в России той редкостью, что на нём сошлись и выбор императорской власти и симпатии общества. Государь считал его верным слугой монархии, думцы – тайным республиканцем. И по происхождению, и по окружению общество угадывало в нём своего, и постоянно его хвалило, и он радовался такому двустороннему доверию. И в особенности своего обоюдного положения Алексейев начинал даже видеть возможность примирить царя и общество. И он решился давать Государю советы по гражданскому управлению: то – запретить в газетах белые места, дразнящие всех, то – отставить

Штюрмера, так невыносимого для общества. Скромно воздействовать, чтобы Государь перестал слушать дурных советчиков.

Но не этого от него хотели, больше. Гучков ли, Коновалов или князь Львов, кто б с той стороны ни беседовал с Алексеевым, казалось им, встречали в этом тихом генерале полное согласие, что в российской жизни многое загубляется правительством или тёмными сипами. И стали поступать с генералом довольно бесцеремонно, или даже непорядочно. Стали намекать о каких-то планах: то ли арестовать и сослать царицу, то ли вынудить из Государя министерство общественного доверия. Такие действия будто должен был совершить кто-то в тылу, в Петрограде, а Алексеев в нужную минуту чтобы занял позицию, помогающую плану. Алексеев даже немел от этих развязных предположений, и всегда возражал, что никакой переворот не допустим во время войны, он создаст смертельную угрозу фронту.

Гучков использовал имя Алексеева просто как адрес для своего обличительного письма, которое и пустил по рукам, вовсе не Алексееву и предназначая. Это письмо едва не погубило добрых отношений генерала с Государем, сильно надломило их. Алексеев испытал и унижение и опасность до того, что он почувствовал себя накануне отрешения от поста. А пост был дорог ему не сам по себе, но ради той работы, которую открывал, ради того решающего удара в марте 1917 по Австрии, до полного её развала, которому уже столько послужено от первых дней Алексеева в Ставке. История с этим гучковским письмом так потрясла Алексеева, что вспыхнула его застарелая болезнь почек – и до того, что в ноябре он готовился умереть: уже причастился – и охлаждающая тень Отхода уже отодвинула все эти мелкие беспокойства, и отлучила от войны, которую он вёл так пристально. И со спокойным чувством отдавался Алексеев Господнему отзыву: что он всю жизнь трудился для России, а своего не искал.

Но после причастия стал оживать. А Государь милостиво отпустил его в Крым, полечиться месяца два-три, ещё успевалось до великого наступления.

Однако развязность общественных деятелей оказалась такова, что они добивались видеть Алексеева и в Севастополе, где он провёл месяц между жизнью и смертью, потом стал поправляться. Там посетил генерала князь Львов и заводил разговор о перемене внутренних порядков, о настроении фронта в случае переворота. А Алексеев был и болезнью изнурён, и утеснён душой от этих неприличных домоганий, – уж научило его гучковское письмо, чем могут кончиться такие легкомысленные разговоры.

В Севастополе Алексеев стал получать для работы материалы, как готовится главная операция. А к 20 февраля приехал в Ставку сам, ещё с температурой, полубольной, чтоб не упустить последний месяц подготовки. Это наступление становилось – делом всей его жизни. Ничего сравнимого по значению он никогда не готовил. Для успеха этого наступления он погасил, не дал помощи брать Босфор, как просили моряки. Для успеха же этого главного наступления, где понадобится каждая часть, а особенно гвардейская, Алексеев много месяцев противился и просьбам Государя (тот часто не имел воли настоять, а только просил) послать в петроградский гарнизон крепкие гвардейские части.

И вот, недолеченный, он воротился в Могилёв пять дней назад, и успел встретить Государя, тоже два месяца не бывшего в Ставке. Гучковское ли тогда осенью письмо или эта долгая разлука сказала: прежние устойчиво-доверчивые отношения с Государем если и восстанавливались, то ощупью.

Алексеев сразу ввергся в полную работу, прорабатывал результаты петроградской конференции союзников, и ещё читал всю переписку за время своего отсутствия, – и снова одолела его слабость, поднялась температура, и врачи потребовали несколько часов в день лежать.

Именно в это время начались волнения в Петрограде, которым однако не было основания придать серьёзное значение. Сами петроградские власти и правительство два дня даже не сообщали о них вовсе, первое сообщение было от Хабалова вчера вечером и

указывало на эпизодичность волнений. Второе – сегодня днём, не тревожнее, хотя в одном месте взводу пришлось открыть огонь.

Укрепление петроградского гарнизона не произошло и в месяцы отсутствия Алексева – и не ему же теперь было торопиться, не с этого начинать. Да почему надо было вообразить Петроград более опасным местом, чем любая точка передовых позиций? И почему бы наштаверх должен бы заботиться о внутренних делах больше, чем о военных?

Уже поздно вечером сегодня, в половине одиннадцатого, пришла вдруг захлёбная телеграмма от Родзянки с грозными выражениями. Но Родзянко и всегда выражался чрезмерно, с подавляющей самоуверенностью, что только он один всё знает. Да ещё эта прозрачно-хитрая попытка воспользоваться петроградскими волнениями, чтобы выдвинуть себя в председатели совета министров.

Государь не любил поздних вечерних беспокойств, да и Алексеев не видел причины выпереживаться. Он испытывал озноб и рад был лечь. Будет завтра в половине одиннадцатого рядовой доклад Государю – тогда и доложится родзянковская телеграмма.

62

* * *

Весь день, кто с телефонами, много телефонировали. Узнавали и передавали новости. Все советовали друг другу запастись водой, и наполняли ванны. В телефоне косвенно слышались, скрещивались и другие напряжённые, поспешные разговоры. Барышни отвечали невнятно, забывали взятый номер, переспрашивали нервными голосами. Приходилось ждать соединения и по 10 минут.

А многие спешили сегодня посетить друг друга: ждали осадного положения, а тогда долго не повидаться.

* * *

А кто – и мирно пил на Невском кофе. Днём состоялось неторопливое заседание членов «Общества славянской взаимности».

Таврический и Летний сады были закрыты.

* * *

Одни говорили: солдат передевают в полицейские шинели, чтобы казалось больше полиции. Другие говорили: полицейских передевают в солдатские шинели, потому что им стыдно своих мундиров.

* * *

К вечерне гудел колокол Исаакья, и закатное солнце попадало лучами через взнесенные окна. А народу внутри немного: женщины, пожилые мужчины, набожные солдаты.

Поперек улицы Гоголя – шестеро конных полицейских.

* * *

В образованном слое побеждала мрачность: вот и стреляют, началась расправа. Вот и убитых – сорок? четыреста? многие сотни?

Интеллигенция уверена была, что теперь много крови прольётся. Настроение мрачное.

* * *

Известный адвокат Карабчевский с женой и гостем поехали в автомобиле в Мариинку. Но хотя был самый балетоманский абонемент и танцевала выдающаяся балерина – в театре было пустовато. Да ведь у кого нет своего экипажа, автомобиля – так надо пешком, и ночью назад. (Никак не думал Карабчевский, что и сам последний раз едет, завтра его автомобиль отберут и угонят).

После спектакля намеревались ехать, как всегда, ужинать у Кюба – не поехали. Неуютно на улицах.

Пикеты. Костры.

* * *

Поздно вечером, уже после театров, на Фонтанке ярко светился дом князя Леона Радзивилла, перед ним дожидался длинный ряд экипажей, автомобилей (и великого князя Бориса тоже). Был в разгаре бал, даваемый княгиней.

* * *

Вечером на квартире у Керенского, за Таврическим садом, состоялось заседание «информационного бюро социалистических партий». Просто – несколько ведущих социалистов пришли потолковать, как у них велось периодически. Но кто и, ожидаемый, не пришёл. От большевиков – один, второстепенный.

Сам Керенский весь день, кроме короткого часа с восстанием павловцев, был настроен мрачно: был уверен, что волнения жестоко подавят, и полностью распустият Думу. А тогда он лишится депутатской неприкосновенности – и его тотчас арестуют за последнюю дерзкую речь.

Но даже и Кротовский-Юрнев от межрайонцев, самых отчаянных, категорически заявил, что никакой революции нет и не будет, движение сходит на нет, и нужно готовиться к долгому периоду реакции.

Все шансы на революцию рушились. Помощи ждать неоткуда.

* * *

На Литейном проспекте при красноватом свете костра перед строем расхаживал офицер. Из группы штатских с тротуара крикнули: «долой офицера!» – и убежали. Солдаты не двинулись.

* * *

Шляпников по безлюдным улицам, через цепь на Литейном мосту, угнал опять к себе на Выборгскую, на квартиру Павловых.

Говорят, рабочие на Выборгской толкуют: хватит нам ходить на убой на Невский. Марья Георгиевна слышала от соседки, будто в каком-то полку сегодня что-то было, какой-то бунт.

Но – никто больше не слышал. И Шляпников, вот, в городе был, не слышал...

* * *

Ночью с башни Адмиралтейства бил по вымершему Невскому синеватый луч прожектора.

63

День рождения Ликони был 29 февраля, несчастливый Касьянов день, в четыре года раз. Но когда выросла – стала в этом находить необычайность. Появлялась мода на дни рожденья вместо именин – а её дня не уловишь, всегда какой-нибудь рядом. Вот собрались друзья в воскресенье, малочисленное обычного, из-за городских волнений.

Граммфон пел о любви, танцевали.

И Ликоня танцевала, но меньше других, и была как не с ними. Ей этот праздник был как и не праздник, и не в этом праздник, а самое счастливое она держала в глубине. И двое смотрели на неё требовательно, и Саша пытался отвести и внушать что-то о стрельбе, о моменте. А она так двигалась осторожно, чтоб не сломать и не отпахнуть внутреннего.

И вдруг очнувшись: а может **ничего не было** ? И, тайком скользнув к себе в комнату, смотрела записку.

Было! Всё – так. И – вот эту руку он поцеловал. Как налил её душу горячим восторгом – и теперь он еле подстывал, как тёплый воск. Всё внутри заполнял.

И – рада Ликоня, что она может чувствовать так! (Она уже боялась, что не может).

И опять двигаться среди гостей, улыбаясь.

И представлять его улыбку – какая у него победная, щедрая, тёплая.

Но он – и другим всем так улыбается?

Он наверное не любит и стихов.

Но любит театр.

Меняли пластинки. Отзывалась, пропустив вопрос.

Тогда, в компании, он кому-то говорил, ярко, свободно, она не всё слышала. И впервые такое чувство: не хочется, чтоб он всем говорил, а – только бы ей.

Так нужно было к нему! Сейчас, будь он в городе, бросила бы их всех, именинных, – побежала бы к нему в гостиницу в туфельках по снегу, придерживая платье, чтоб не путаться, – мимо этих патрулей с кострами, расставленных.

И – стала бы у двери его: впусти!

64

И сегодня поздно вечером снова было назначено экстраординарное заседание совета министров, и снова не в Мариинском дворце, а в квартире князя Голицына на Моховой. И снова Александр Дмитриевич Протопопов туда опоздал, засидевшись на приятном обеде у Васильева, начальника Департамента полиции. Приехал, вошёл туда в лиловатом костюме, в десертном разгорячении, – в квартире князя Голицына показалось ему ещё темней, чем вчера, ещё напуганней, глуше, да и людей меньше: не было никого вызванных, и министры не все.

Протопопов вошёл к ним в легкопобедном состоянии: уличные волнения явно кончались, стрельба отрезвила толпу, ещё прежде сумерок наступила в столице тишина, войсковые наряды полностью владели пустынными улицами. Да Васильев ещё доложил, что

за сегодняшний день арестованы, кроме пятерых самых главных ночью, ещё 141 зачинщик-революционер. Кто именно такие – Протопопов не переспрашивал, он в революционерах разбирался слабо, но факт тот, что арестованы, может быть и не 141, но результаты налицо – очевидно, всё кончилось.

И он был очень удивлён, застав среди министров совсем другое, растерянное состояние. Тут уже до него Покровский и Ритгих докладывали о своих переговорах с думцами и ответе Маклакова, что распустить Думу вовсе не может быть и речи, произойдёт общественный взрыв, допустимо прервать на несколько дней, но чтобы правительство немедленно ушло в отставку, и целиком всё, и чтоб новые министры были «приемлемы для страны», а новый премьер популярен – и лучше всего генерал Рузский.

Вот как?? – роспуск Думы уже не зависел от Верховной императорской власти, а напротив – Дума диктовала распуститься самому правительству? И министры – так устали, и так равнодушны, и так сами хотят уйти в отставку некоторые, что кажется и готовы к роспуску? Голицын – не имел решительности ни на что. Маленький Беляев сидел совсем неподвижно, молча, как отсутствующий или неживой. Покровский – склонял к отставке. (Сам он, конечно, рассчитывал, что попадёт и в новое правительство). Шаховской, правда, вспомнил, что в Пятнадцатом году в августе тоже казалось страшно распустить Думу, а обошлось спокойно.

И Протопопов, с изумлением вскинувшись на одного, другого, третьего, пришёл в нервное состояние – и начал к ним взволнованную речь. Неужели они не понимают, что Дума-то и будоражит улицу, и пока её не разогнать – ничто не стихнет. Но даже если бы состоялось соглашение с Думой – это не решает улицу, там нужна правительственная твёрдость, и вот она проявлена, и результат налицо. Да например только сегодня Департамент полиции арестовал... ну, больше сотни революционных вожаков, и это дало эффект. Да и потом: как может правительство самораспуститься? – такого нет готового бланка, чтоб его подписать и разойтись. Значит, составлять коллективную просьбу к Государю, как в августе Пятнадцатого? – так мы только разгневаем Его Величество окончательно! Да понимал Протопопов, что они готовы пожертвовать только им одним. Но знал же и он за своей спиной царственную волю! Там – верили ему, и вся сила его была оттуда...

А князь Голицын, имея готовый, с государевой подписью указ о перерыве думских занятий, всё не решался вставить туда завтрашнее число. И значит, завтра с утра в Думе опять польются поносные речи?

Пока министры разноречили – князя вызвали. Воротясь минут через пятнадцать, он сообщил, что приезжали трое решительных и даже возмущённых правых из Государственного Совета: Николай Маклаков, Ширинский-Шихматов и Александр Трепов, недавний председатель этого самого кабинета. И они настаивали, что Дума превзошла все пределы, спасение – только в её немедленном роспуске.

И обсуждение склонилось. Проголосовали, некоторые удивляясь собственной смелости: в ночной тишине поджигали бикфордов шнур? Голицын, прихрамывая, сходил в другую комнату, принёс лист заказа – и тут же при всех подписал.

Протопопов не мог скрыть ликования: вот этого последнего удара ещё только и не хватало для победы!

Возник ещё вопрос: а не объявить ли в Петрограде осадное положение? Этим запрещались бы не только всякие уличные сборища, но и выход из домов в определённые часы.

Но все предыдущие дни волнений такая мера казалась бы слишком крутой. А сегодня – может быть она уже и не нужна, успокоение достигнуто? А она бы – многих озлобила.

Да осадное положение требует и авторитетного сильного военачальника. А с тупым неуклюжим Хабаловым можно только набраться новых бед.

Тогда уж походатайствовать перед Государем о смене Хабалова? Да здесь же был военный министр (ни слова не произносивший). Просить его пока – что?... Поговорить с

Хабаловым, внушить.

Ещё пообсуждали продовольственное положение – и всё обсуждение угасло. Да и света в гостиной будто не доставало, чтобы видеть ярко и ясно. И решили разъезжаться. Князю Голицыну предстояло теперь ещё о перерыве Думы телеграфно доложить Государю и сегодня же протелефонировать Родзянке. Протопопов, любя свою свободную походку, свою лёгкость никому не подчинённого человека, – здесь, в столице, сейчас никому не подчинённого, зато вся столица находилась именно в его власти, – вышел из парадной двери и на пустынной улице, при военном патруле, дежурившем у дома Голицына, перешёл в ожидающий его автомобиль.

Сейчас он был свободен ехать домой, но подумал, что уместно было бы близ полуночи посетить подчинённое ему градоначальство: и всегда подчинённым полезно, когда к ним нагрянывают высшие власти, а сейчас даже и похвалить их есть основание, и как раз сейчас они там все собрались.

И он велел ехать на Гороховую, в пути не наскучивая наслаждаться автомобильным удобством, откидом спины на кожаные подушки, и мчаться. Велел ехать мимо Михайловского дворца, затем на Большую Конюшенную, чтобы миновать всегда неприятную городскую думу.

На иных перекрестках стояли ночные караулы, кое-где с малыми кострами от изрядного ночного мороза. Разъезжали конные наряды казаков. На башне Адмиралтейства повесили прожектор – и он призрачно светил вдоль Невского. Проспект, всегда в это время кишачий толпою, был пуст. Иногда проходили другие автомобили, проезжали закрытые частные кареты, а было – пустынно. И на Адмиралтейском тоже.

С сознанием своей особенности и центральности, Протопопов со вскинутой головой вошёл в градоначальство и затем в военно-полицейское совещание. Все поднялись, приветствуя его, Хабалов тяжело, а Протопопов с лёгкостью велел им сидеть, продолжать, и сел рядом с градоначальником Балком (Протопопов сюда и назначил его из Варшавы по просьбе врача Бадмаева). Здесь было десятка три военных и полицейских чинов, очень яркий резкий свет на всю комнату.

И чёткий военный разговор. Только что кончились доклады начальников районов. Они носили успокоительный характер: подобных беспорядков много видели за последние годы, всегда с ними справлялись, а без жертв с обеих сторон обойтись и не может. Правда, некоторые воинские части очень устали. Так, капитан Машкин 1-й, заменяющий командира Волынского батальона, жаловался, что волынцы ежедневно на постах с рассвета и до позднего вечера, весь день без горячей пищи, возвращаются в казармы голодными.

– Но, – возразил градоначальник, – волынцами сегодня все любовались.

Машкин улыбнулся, но с горечью:

– Да, правда, действовали отлично. Но страшно измучились. А ведь приходится – каждый день. Вот, завтра в шесть утра надо их опять поднимать, это нелегко.

Он и сам, и многие тут, выглядели устало.

Да, кстати, надо распорядиться починить трансформатор на Знаменской площади: толпа камнями вывела его из строя, и теперь вся площадь в полной тьме.

Протопопов показал, что будет говорить, и выразил удовлетворение как действиями войск, так и согласованностью их с полицией. Ему казалось, что он собирается много им сказать, но как-то не нашлось. Пожелал им дальнейших успехов.

Прервали совещание, отдельно поговорил с Хабаловым. Он был вял, мрачно подавлен, особенно свежей депешей от Государя: прямо ему! первое обращение прямо к нему! И Государь категорически требовал – завтра же прекратить в столице все беспорядки.

Завтра же! А если они опять начнутся? Что генерал может сделать? Если б у него были здесь его уральские казаки! Теперь он ждёт ещё добавочной кавалерии и казаков, но они не прибыли.

Что Протопопов мог ему предложить? Своего полицейского генерала Никольского в качестве начальника штаба? Хабалов не захотел, начальник штаба у него был.

Кто-то рядом всё высказывал мысль призвать на охрану города бронированные автомобили. Хабалов мрачно отказывался:

– Но я не знаю, кто там будет сидеть внутри. Может быть такие же революционеры. Настроение технических команд ненадёжно.

– А где они? – спросил Протопопов.

– На Путиловском заводе.

– Тогда скомандуйте разобрать моторы, чтоб революционеры не захватили броневики.

Пожелав успеха, Протопопов уехал домой. Он испытывал облегчение, что Государь наложил всю тяготу разгона не на него, а на Хабалова, да это было и справедливо: сила – у военных властей.

Однако он подумал, что Государь будет рад его собственному сообщению о делах. И решил тотчас же ночью составить телеграмму в Ставку, дворцовому коменданту, а тот передаст Его Величеству. В общем, итоги дня были положительны: большую часть дня спокойно. Часов до скольких? Ну, скажем, до четырёх. (Протопопов не помнил точно). Потом образовывались значительные скопища. После того, как стрельба холостыми вызвала только насмешки толпы – пришлось прибегнуть к боевым. И вот, уже скажем к началу пятого, Невский был очищен. Но затем 4-я рота Павловского батальона самовольно вышла расправиться со своей учебной командой... Нет, об этом не надо, Государю будет больно узнать. А вот: сегодня арестован 141 партийный деятель, среди них 15 самых руководящих, – это будет в заслугу министру.

Что за ночи! – всё совещания, вчера писал письмо императрице, вчера составлял телеграмму Государю. И сегодня. И почётно бремя министерское, но и не легко.

Из градоначальства расходились и все военные. Хабалов так устал, что зевал открыто, уехал спать домой к Литейному мосту и не велел будить себя ни в коем случае.

Оставшиеся в штабе на ночь заспорили, как всё-таки понять: есть у восставших руководящий центр или всё хаотично?

По сведениям Охранного отделения рабочие, вечером расходясь, говорили преобращенцам: «Чёрт вас дери, мы за вас стараемся, а вы в нас стреляете? Да пропади вы прахом! Завтра утром поспим, а после обеда станем на работу».

Да и штабным пора была спать. Остался при телефонах дежурный.

... И в третьем часу ночи он решился разбудить градоначальника: вызывал начальник Охранного отделения генерал Глобачёв. Поступили очень тревожные сведения: во 2-м флотском экипаже намереваются завтра утром перебить всех офицеров, как только они придут на занятия в казармы.

Градоначальник кинулся звонить Хабалову – тщетно: никто не подошёл. Значит, так устроился спать, чтобы звонки не доходили.

Погнали своего пристава: предупредить командира экипажа.

65

Лейб-гвардии Московский полк, знаменитый своею доблестью под Бородиным, где устоял в штыковом карре против конницы Мюрата, был назван отсюда Московским. С давнего времени он квартировал в Петербурге в казармах на Выборгской стороне. И там теперь его запасной батальон оказывался в самой гуще рабочих волнений, в самом опасном месте.

А разбух запасной батальон от притекающих и притекающих необученных пополнений – уже и до 6000 человек, стал крупней, чем снабжаемый им боевой полк. Так его роты немислимо оказались по полторы тысячи человек – и уже дробились и дробились на реально управляемые «литерные» роты, человек по двести. В таком объёме уже и полковые казармы не вмещали всех, строили трёхэтажные нары, держали в спёртости, а новобранцы размещались ещё и в разных частных зданиях по всей Выборгской стороне, теряя связь с

батальоном. Роты были по полторы тысячи человек, – но винтовок на роту было всего по 150 – и их забирали те, кто шёл в караулы и наряды. И даже в учебной команде винтовки имели только старший и средний классы. Не было и пулемётов. Учить оставалось нечем, хоть делай деревянные болванки ружей, да и негде учить в городе на мостовых: ни окапываться, ни стрелять, только шагать. И так непомерные роты без смысла и толку сидели, по зимнему времени, в закрытых помещениях без всякого дела, но на казённом пайке, скучая и озлобляясь. Выводили их только на учения, а уж без строя тем более не выпускали: на столичных улицах новички то и дело нарушают правила, а потом нагоняй командиру роты. Среди четырёх рот особенно трудной была 3-я: там была доля выздоравливающих солдат, и надеясь на их влияние, туда переводили всех штрафованных и скверного поведения молодых солдат из трёх остальных рот, и туда же назначались поступающие фабричные рабочие, даже с этой же Выборгской стороны, лишённые отсрочки за проступки и преступления. И выздоравливающие потонули там – да они и отчислялись снова на фронт. И так рота, вместо того чтобы перерабатывать скверноту в солдат, сама расслабилась и разложилась – и теперь ей уже не давали ни одной винтовки и не посылали ни в какие наряды, а держали в замкнутом котле. Правда, в ней было сколько-то обученных унтеров – но их всех приходилось ежедневно забирать в отряды и караулы, расставляемые на фабриках и в учреждениях от начала волнений. И так ненадёжная, даже опасная 3-я рота оставалась с одним фельдфебелем.

Одно время успокоению рабочих кварталов помогали воскресные прогулки с оркестром: музыкантская команда и небольшой строй при ней несколько часов без объяснения ходили по Выборгской стороне и завлекали часть населения своими маршами, к ним охотно присоединялись. Но последние дни уже не такое было настроение, чтобы посылать оркестр, а только охрану в важные места. Особенно важным был Литейный мост – для пресечения сообщений с центром города туда выставлялась большая застава; и удобные медицинские клиники близ него – и туда тоже помещались заставы. И во главе каждого такого отряда ставились не молодые прапорщики, но сами командиры рот, которые вот сегодня и отсутствовали целый день, и вернулись в батальон поздно. Ещё и в самих казармах держали две дежурных литерных роты на случай вызова. Последние дни и всякие занятия в батальоне прекратились.

Сегодня вечером командир батальона полковник Михайличенко был вызван в штаб гвардии, воротился лишь в 11 часов – и собрал начальствующих офицеров. Командир 3-й роты капитан Якубович не мог прийти, ибо не смог надеть сапога: сегодня днём близ Литейного моста его ногу повредила лошадь полицейского офицера, и он вынужден был прекратить командование и слечь. Но и среди явившихся командир 2-й роты капитан Нелидов был с палочкой: после ранения в поясные позвонки у него была атрофирована нога от бедра, он с трудом ходил. А капитан Дуброва-3-й, начальник учебной команды, после сильной контузии под Тарнавкой был нервный инвалид. (Тарнавка был ещё один знаменитый бой лейб-гвардии Московского, и тоже 26 августа, как и Бородино, только в 1914).

Командиры сошлись в комнате офицерского собрания, и Михайличенко объявил им, что узнал сам: во-первых, события в Павловском полку. Это было – угнетающе. Ещё вчера невозможно. Сейчас, когда уже произошло, – очень казалось возможно, даже при нынешнем состоянии батальонов – и неизбежно. А тут у них, у московцев, ещё в центре рабочих кварталов, – тем более могло произойти. Во-вторых: на завтра ожидаются крупные толпы – и боевые подразделения должны быть с четырёх часов утра готовы к вызову на подавление.

Приказ есть приказ. Но все собравшиеся офицеры понимали, что по раскинутой Выборгской стороне, набитой десятками тысяч мятежных рабочих, выполнять его почти нечем. Совсем неопытные прапорщики или никуда не годные из запаса, или молодые, только что кончившие ускоренные курсы, с которыми самими ещё надо было заниматься и заниматься. Мало обученных унтеров. Жалкая доля винтовок. Мятежный опасный сброд в 3-й роте – и не обученные, не умеющие держать оружия, и даже не присягавшие молодые

солдаты в остальных, – хуже, чем их бы не было вообще. Да ещё с осени в роты и даже в офицерское собрание приходили по почте анонимные революционные прокламации, их уничтожали, но часть доходила и до солдат.

План действий мог быть всё тот же: опять выслать вооружённые отряды и караулы по тем же местам (и в том же составе, нельзя сменить на отдых, некем), снова держать вооружённые две малых роты в казармах – а остальных солдат не то что посылать на подавление, но самих оборонять как угрожаемую массу.

И офицеров-то не хватало старших. Ещё, правда, жили в квартирах при офицерском собрании два брата Некрасовых, коренные полковые: капитан Некрасов-1-й – но с деревянной ногой взамен утраченной, и штабс-капитан Некрасов-2-й, приехавший из действующего полка в короткий отпуск.

Готовность – ранняя, скорей надо было расходиться спать.

Но едва ушли и легли, полковник Михайличенко снова вызвал их всех после часа ночи. Собрались, уже изнеможённые.

А вот что. Из штаба гвардии передали, что получена телеграмма Государя: приказано все беспорядки прекратить завтра же. И штаб гвардии надеется, что Московский полк честно выполнит свой долг.

66

Даже уже надоело Гучкову: куда бы он ни приходил – его или прямо спрашивали, когда же будет переворот, или косвенно намекали, или не смели, но косились допытливо, как на человека, знающего необыкновенную тайну. Он и сам прежде не мешал слухам просачиваться, говорил, даже и при женщинах, все жадно впитывали. Тем свободней выражался, чем раеплывчатей рисовался путь осуществления. А вот – изговорился, надо быть посдержанней. Всем – так хотелось государственного переворота, и даже хотя бы только этого острого ощущения – «переворот!», – уж очень всё уныло заклинилось.

Так и сегодня просидел Гучков вечер у Коковцова – и тот, конечно, не смел ни о чём спросить прямо, но так уже намекал, доводил, доглядывался.

Вообще заметил Гучков за отставными государственными мужами такую черту: большую решительность, и даже беспощадность суждений, какой они никогда не проявляли, будучи на своих постах. Это было теперь и у Коковцова, обычно всегда такого дисциплинированного и с узким воображением. И ещё больше Гучков наблюдал это у покойного Витте, жёлчного, ненавидчивого до смерти, такого потерянного в разгар Пятого года и такого пронизательного задним умом. Но может быть эта черта была даже неизбежна для деятелей? Гучков учился на опыте стариков, он оттачивал на них свои государственные способности. Ему было очень интересно и с Коковцовым сегодня, и он возвращался домой на автомобиле по утишенным пустынным улицам, кой-где с солдатскими патрульными кострами, поздно.

Он и за собой уже замечал не раз эту странную обречённость наших самых ясных планов: что они или крушатся или дают результаты, обратные задуманному. Как это получается, почему?

Заговор? Всё не составлялся, всё откладывался, всё никак до него не дотянуться. Ничто не успело, никакие даты не назначены. При заданной простоте это оказалось ускользающее предприятие, со многими вероятностями, уклонениями. А вот в Петрограде тысячные толпы, а вот на Невском стреляют, а вот взбунтовалась рота павловцев. Бездна показывает своё зевло: как она близка и как может всё поглотить.

Заговор – был нужен как никогда, срочен как никогда. А всё – не вязалось.

Многое зависело теперь от ожидаемого приезда генерала Крымова на днях, не позже середины марта. Без его генеральской руки не мог Гучков справиться.

Вернулся домой – так политически настроен, так не хотелось сейчас разговаривать с Машей, и даже видеть её.

Остановил шофёра, не доезжая по Сергиевской до Воскресенского, до своего углового дома. Дошёл пешком. Тихо поднялся по малой лестнице в бельэтаж, тихо отпер и запер дверь.

Тишина. И пошёл сразу к себе в кабинет.

Зажёг свет – и белый бюст Столыпина увидел первый перед собой.

Посмотрел на его каменные веки.

Вот **этот** – всё делал вовремя и на месте. Не брюзжал бы потом с опозданием.

Так хотел и Гучков. Он и поставил себе бюст для неизменного подбодрения. Он хотел бы быть ещё одним Столыпиным. И после свершений готов был даже и кончить так, как он.

Лёг, потушил свет, но спать совсем не мог.

А через стенку ощущал Машу, даже угрозу входа её – и так не хотелось. И так мешала она мыслям, сбивала, даже из-за стены.

Чем ни займись, куда ни рвись, – а женитьба давит глыбой.

Как это получилось? Зачем? Как не видел?...

От того шарабана и разделённого плаща под весенним дождём – десять лет и знакомства-то не было, только через Веру перекидка полушутливых фраз да уверений опасной посредницы, что почему-то Маша Зилоти как раз и есть та женщина, которая всё сделает для его счастья.

А когда встретились через десять лет, Маша поразила его открытым порывом: что она все эти десять лет – его любила! только им жила! ждала! без надежды!...

Такое прямое признание стучит в твоё сердце. Это поразительно, правда: с девятнадцати лет до двадцати девяти любить и ждать без надежды! Такую любовь – преступно растоптать. Если столько лет тебя ждали, то и у тебя возникает как бы долг. А тут – и Гучкову-отцу она, оказывается, понравилась. И всем родным, и все одобряют. (Не сразу поймёшь: всем хочется, чтоб разорвал Александр Гучков давнее с женщиной старше себя). И тебе уже скоро сорок, беспутный, и надо же когда-то уgomониться. Даже приятно. Так подумать о себе: уgomониться. Объявить и почувствовать себя наконец пожилым.

...А вы – тоже любили меня!!! Любили ещё тогда! – но потеряли...

И правда, удивиться: десять лет любила и ждала! Действительно – избранная натура. Она всё сделает для моего счастья.

По-настоящему сомневаться и тревожиться надо не о своей судьбе, но – за неё: каково придётся – ей? Ведь ты – неугомонный, шалый, жить с тобой, должно быть, не сахар.

Верно, тут же и сошлось: весной 1903 года предженитьбленные радостные заботы перекрылись зовущей тревогой воина: в Македонии – восстание против турок, как же не поехать помочь? Давно ль из Трансвааля, давно ли сгладилась хромота? – а грудь гудит: в Македонию!

И вот она первая припутанность, первая не-себе-йность. Раньше отцу – ничего вперёд, а уже с дороги: мол, иначе не мог, когда там совершается народное дело, вернусь – заглажу вину перед тобой. А теперь: надо уговорить, получить разрешение от невесты, объяснить, как же так: после десятилетнего ожидания за что ж ей ещё эта разлука? В самые радостные предсвадебные месяцы – почему, какая Македония, разрушая весь ритуал, разрушая всю праздничность невесты, – а он о ней подумал?!

Ах, голова твоя бедовая, ты не приучился думать ещё и о *ней* ... Да македонская льётся же кровь!... Впервые треснула твоя воля, не знаешь, как быть... Да ведь пустая малая оттяжка – май, июнь, июль, Марья Ильинична, голубушка, не осуждайте меня, вы знаете – я шалый, я не прошу себе, если эту кампанию пропущу, я – жить не смогу, если не поеду!

Отпросился у надутых губок до сентября. С каждой станции – открытку, из Адрианополя – золотую монету с профилем Александра Македонского и фразу, хоть высекай на камне: «Если б не вы – я стал бы им. Александр». (Это – ещё молодость, когда тебе имя своё нравится, да ещё в совпадении таком. А вот когда стошнит тебя жизнью как следует, то не в шутку бросишься на телеграф: только не назовите племянника Александром!

это имя приносит несчастье окружающим и себе...)

А между тем за невестиним упиранием проваландался, почти опоздал на дело. Только и память поездки, что на пароходе сговорил себе шафером Сергея Трубецкого, в ту же Грецию везшего студентов на античность, кто за чем.

Всё к тому, вот и шафер. И срок назначен, неотклонимый.

И ведь был же поставлен предупреждающим знаком крест: младший брат Константин женат на её сестре Варваре, и теперь по церковному закону запрещено жениться ещё кому-нибудь из братьев Гучковых ещё на какой-нибудь сестре Зилоти.

Но все эти запреты давно обсмеяны в образованном кругу, отошли. (Много позже: а прав был дед, только у старообрядцев и остались крепкие семьи. У всей интеллигенции и семьи какие-то раздёрганные, и дети невесть куда).

Впрочем, женатой жизни не везло начаться. Свадебное путешествие на Иматру в октябре – холодные дожди, просидели безрадостно в гостиницах. И тою же зимой, не успели своим домом устроиться, – японская война. Машенька, как же я могу не поехать?...

Да, конечно... Ты так привык... Но у тебя есть и новые обязанности – мужа. Ты иногда и на мою точку зрения должен становиться. А мне? – снова в Знаменку, под родительский кров? Оскорбительно, как будто я не замужем, ничего не изменилось.

У тебя – будет сын, Лёвушка!...

О, я не жалею, не подумай!

Шли самые главные годы России – Девятьсот Четвёртый, Пятый, Шестой, Седьмой, – и ощущение, что для этих-то самых лет родился и стодился Гучков. Но прежней свободы движений и решений больше нет, а всё: как Маша? где Маша? Всегда, и опять недовольна, как умягчить? В бумажнике возил с собой её фотографическую карточку. В раскидных палатках, в вагонных купе, в гостиничных номерах десятки раз выставлял её перед собою, срастался с привычкою, что женат.

И естественная мысль: будет легче, если взять её в сомышленицы, попробовать объяснять ей свои шаги как равной, русская жена часто бывает такой. Вот: почему так горько презрение общества к японской войне. Вот: русский несуматошный путь совещательной Думы, Земского Собора, – и как бы убедить в этом Государя. Вот: подробные впечатления от приёма царственною четой. Несдержанная обозлённость Первой Думы – это не наше. Знаю, ты будешь на меня сердиться за моё возможное решение войти в столыпинский кабинет, но я берусь переубедить тебя. Если стрясётся надо мной беда министерства, постараюсь предварительно съездить к тебе в Знаменку...

Саша, отчего ж это беда – министерство? Я вполне одобряю! Я готова разделить с тобою все петербургские тяготы, возникающие из того! Я готова сплотить твой круг, твоих единомышленников!

Поняла? Поняла, разделила! О, счастье какое! Вот так терпеливо и вырабатывается семейная жизнь.

Но в министерство не пошёл. Но выступил в поддержку столыпинской обороны от террора. И всё прокадетское общество накинулось, клевало и травило. Затмились горизонты.

Печально-вытянуто: вот как? А я-то мечтала стать дамою света.

Милая Маша, я так тронут твоим сочувствием в моих делах. Но «дама света» не вмещается в мои представления о жене и матери. Что выше и слаще жребия верной домашней подруги?

Удивительное рассуждение – домашняя подруга! Я для тебя потеряла целый мир искусства! Я думала найти в тебе другой ослепительный мир, а ты запер меня в Знаменке рожать и выращивать... Ты уже не нуждаешься восхищаться мною...

А разве...? А когда он уж так обещал – восхищаться? Он говорил – делить жизненный путь. Какой придётся. (А в движении – легче бы и без неё...)

Из девушки в жену – как быстро преображается понимание и растут права. Бьёшься объяснять ей тонкости и трудности общественных решений, почему нельзя было пойти выгодным путём, а необходимо подставить себя под удары, – чаешь какие-то косые ответы,

косые по внезапности, по несоответствию, как наотмашь наискось брошенную тарелку.

И когда хочет душа побеседовать – садись писать другому. А то и – другой...

А она – мятётся в сельской жизни, страдает без говоренья и встреч. Дама света...?

Ах, поспешил!... Со стороны поверить нельзя: ведь не юнец, ведь кажется давно неуязвим. И к сорока годам так много сделав уже, – отчего, казалось, не позволить себе роскошь семьи?

Но в год и в два обуглилась подвенечная белизна. И ты видишь себя связанным и несчастным.

И – куда ж испарилась десятилетняя девичья ожидательная любовь?

И... – была ли она?

Вообще – разучились понимать друг друга. У неё – то и дело всплески бурного негодования. Уже боишься спросить о ней самой что-либо: уверен, что каждый твой вопрос будет встречен враждебно. Ничего не хочется и о себе: не сомневаешься, что для неё это потеряло интерес.

С первыми шажками Лёвы и Веры (любимица, в честь Веры другой) уже спотыкается и союз родителей. И какая же радость, когда прорвётся от Маши весёлое лёгкое письмо, – ах, милая, как бы сохранить тебя такой весёлой на всю жизнь! Я, если хочешь, готов во многом каяться.

А в ответ опять косой передёрг, новая разбитая тарелка.

Страдание! страдание, которого и мир не знал! – да уж чем так? Голубка, вставай-ка с правой ноги! Я весь – в пробоинах, полученных в боях, утекают силы, а от тебя поддержки нет.

Прикрикнешь – слышит лучше, как-то образумливается. Но не дай Бог в усталую минуту призвать её к простой взаимной жалости – этот слабый голос менее всего дойдёт до неё. Уговорить её мягко – совсем невозможно.

Она порывиста в причудах и называет это – своею «интуицией». То слишком громка, то бестактна, безответственна, многоречива, нетерпелива, извергающийся вулкан. В гостиной уже собираются гости, в столовой уже накрыт стол к обеду, – Маша громким шёпотом закатывает мужу сцену ревности. Тогда Гучков безумно-спокойно, глядя ей в глаза, начинает тянуть убранную скатерть. Предметы падают, Маша очнулась, горничная бежит собрать и подтереть.

В таком зрелом возрасте жениться – и так непрозорливо? Куда деваются наши глаза в минуты выбора? – такого несомненного, когда решаешь, такого смутного потом! Как он попался? Как он на всю жизнь приковал себя к чужой женщине? Когда все способности различения, суждения, решения ты отдаёшь общественной борьбе, войне, странствиям, всю страсть утянул туда, ты становишься слеп к тому, что от тебя в аршине, уродливо беспомощен против сферы иной. И чем безошибочней ты привык решать и действовать в большом – тем слепей ты ошибаешься в этом малом, а этого малого, этой третьестепенной, побочной, совсем не общественной ошибки, достаточно, чтобы в короткое время ослабить тебя, спутать, съесть силы твои и утопить.

Как он смотрел в её лицо и не замечал раньше: какая бесчувственная безлюбная жестокость находит на него? своё твёрдое неупускаемое выражение.

А если посмотреть фотографии юности – так оно уже было и там: странный примороженный оскал улыбки, обнажённые верхние зубы неживо всегда. А не замечал, пригляделся.

И вот разлуки по делам растягиваются в разлуки по отталкиванию. Жена – в Знаменке, Гучков – на запущенной петербургской квартире, с дурным поваром или по ресторанам. Или: дети с гувернанткой тут же, а Маша в Москве. Встречи – ещё хуже писем: взаимные вины, попреки, накатывается и ложь. (Его ложь, жена от мужа на пядень – муж от жены на сажень, впрочем и наоборот...) Няня, не одобряющая Марьи Ильиничны и чтящая Александра Иваныча «одним на миллион», скоро внушит маленькой Вере, что у папы – «двести незаконнорожденных детей». Едва встретятся под одной крышей – и вся его

накопленная бодрость, весь разгон действия – смягают, тускнеют. И сразу же: как поскорей разъехаться? сколько ещё надо дней? Сходилась ли когда в браке менее сходная пара?... Разъехались, а письма – ещё хуже встреч: самому чужому дальнему человеку не так мучительно писать, как неудавшемуся близкому. Деньги, вещи, одежда, уговоры, как разминуться, даже формального «целую» нет в конце, и остаются: только дети. Только о них и вопросы. С возрастом – отдельные листочки к ним и от них. В твоё отсутствие дети ласковой, больше жмутся ко мне. Скажи девочке, что постоянно вспоминаю о ней. (Именно для Верочки собирается папин архив, чтобы когда-нибудь она познакомилась с отцом). То – спор о гувернантках, можно ли иностранок? Нужны языки, да, но постоянное русское влияние считает Гучков ещё важнее. И зачем эта традиционная музыка каждому ребёнку? То – неграмотная няня пишет отчёт о детях, хотя Марья Ильинична рядом с ней. То – самому достаётся возить детей по Невскому, смотреть убранство в романовские торжества. И сносно, когда заняты дети своим: половину собачки Джима Лёва продаёт Вере в рассрочку, до её 14 лет, и торгуются долго. А подняли глаза: отчего же папа и мама всегда порознь и не бывает полного счастья?

Но есть такая черта семейных разладов: их нелинейность, непрямота, особенно тяжкая для мужчин. Нелинейны – женщины, они и вносят эту петлявость, эту попятность, эти возвраты и проблески ложной надежды. Уже, кажется, было перерублено, несколькими жилками только и держалось, а вдруг – составлено, а вдруг – срастается, неужели так может быть? Начинаешь верить. Появляются: нежно обнимаю! люблю! И сами поцелуи. И – ожидается третий ребёнок. (И если проницательные дамы со стороны наблюдали, что у вас развал, – так вот и ничего подобного!) Но ещё до рождения Вани ясно: всё – ошибка, всё – прах, надо расходиться.

Не разводиться – это невозможно из-за детей и по особому гучковскому положению: как уверяет Маша, к ним пристальна вся Россия, и развода ему не простят. Но – разойтись незаметно, но охранительно кончить эту взаимную истерзанность, когда места живого не осталось в душе.

Как безжалостно ты разрушил всю мою жизнь! И что дал взамен? Я надеялась действовать рядом с тобой – ты отшвырнул меня на край существования!! Ты не сумел, не захотел раздуть уголёк своего чувства, чтоб осветить мою исстрадавшуюся душу... Ещё в первые годы мои страдания были светлы и ободряющи – но сейчас?...

А – когда они были ободряющие? А почему тогда не сказала, что ободряющие? Но так же косо метала?

Смертью Веры Комиссаржевской отметилась полоса потерь. Её ли парение ещё поддерживало, как-то осмысливало их супружество с Машей? – а без неё уже вовсе стало немого. К концу того, 1910-го, Гучков обсоветывал с Машей только одно: как безболезненнее для всех и для детей? А она просила – *не пинать* прошлое и докончить портрет у Кавос, это моя последняя просьба! (И уже было и ещё сколько будет: я никогда ничего у тебя больше не попрошу, а это – моя последняя...)

Но как-то так умела Маша изворачиваться и меняться, что и при самом решённом неоспоримом конце это оказывался снова не конец. Когда он проступил не обходимой возможностью, но уже несомненным разубом – тут впервые что-то перетряхнулось в Маше, чего не мог добиться Гучков уговорами шести лет их разлада. Как будто впервые стала она слышать и смотреть на себя.

...Я сознаю, что твоя нелюбовь заслужена мною. Я не сваливаю разгром нашей жизни только на твою ложь. Первые дни нашего разлада – дело моих рук. Хотя много смягчающего тут нахожу для себя.

А она думала бы жить в разладе – и рассчитывать на его верность?... Как будто просила прощения, но вот незамечаемым выкрутом выходила снова на стрелу поправок, и оказывался виноват – он. А уж сказано было раньше так много, что сейчас и забыто, чем оправдываться. Так много надо сказать, что и – нечего, и госпожа диалога – Маша опять. Да и немогота перекопляться снова и снова, когда разлука неизбежна.

Неизбежна, но почему-то не совершается. На нескольких последних жилках необъяснимо держится и не отваливается. И даже почему-то уговорились небывало: Девятьсот Двенадцатый встречать вместе, дома.

Однако ж в последние часы 31 декабря, как вырывая шею из затылка, он рванул и ушёл.

Виня себя, конечно. Но и – не мог не уйти. Прости мне боль, какую я тебе причинил. Причинял. От избытка собственных страданий я стал малочувствителен к страданиям других. Дети – вот всё, что у нас остаётся.

Казалось в ту новогоднюю ночь – полный разрыв. Навсегда.

Но – из-под пальцев, из-под руки, необъяснимо откуда вяжутся, вяжутся новые петли. Свойства семейных проблем – бесконечные новые и новые переключивания в мыслях. А может быть – я не таков был с ней, не хватало терпения, надо было больше доверия, больше увлечь своим делом?

И на открытие стольпинского памятника в Киеве он позвал её с собой: «Ты ведь тоже его любила».

(Или – так же, как меня?..)

На кого не откладывает отпечатка спутница жизни? Может быть, при другой жене, смягчающей, предупреждающей, Гучков не был бы так уничтожительно нетерпим и к императрице? В борьбе с Алисой он иногда переступал границы, которые против женщины всё равно нельзя.

Тянулась полоса потерь, полоса неудач, ещё перепутанная болезнями. Двенадцатый принёс Гучкову недоверие России, провал на выборах в Четвёртую Думу. Тринадцатый – неудавшийся бунт октябристов, не стронувший Россию никуда. Четырнадцатый – несчастную войну. И из первых её испытаний: лодзинский мешок и добровольное решение – остаться с ранеными, отстаивать их, если им суждено в плен.

Душе, постоянно отданной борьбе крупномасштабной, освободительно опять увидеть контраст этих масштабов: в каком же ничтожестве мог я барахтаться? что там могло травить меня так?

А испытавши вновь это восхождение, пожалеть свою несчастную спутницу, что ей никогда не подняться сюда, что ей никогда не изведать, как мелки её обиды, как жалки её претензии. Пожалеть и – простить её, в широкой мужской форме – то есть, *просить* прощения. Когда так сотрясается мир – разве между гигантских воронок уцелевает луночка супружеских слез?... И под гул орудий в предместьях окружаемой Лодзи, с последним может быть гонцом в Россию – последнее может быть в жизни письмо... Моя хорошая... прости... я причинял тебе всю нашу жизнь... Не перестаю думать о наших детях... Душевно любящий тебя...

А окружение – не состоялось. Гучков воротился – и даже в обычную петербургскую и даже, увы, в семейную жизнь. Впрочем, что-то же сохранилось? что-то понято из тех лодзинских записок? (Что он – виноват?...) По законам нелинейности, через пороги всех окончательных разрывов, они снова выглядят благоприличной семьёй. Встречаются знакомые в Москве ли, на водах, расспрашивают одного о другом, получают ответы. Приписывает знакомый генерал: «Целую ручки Марье Ильиничне»... Из разъездов: Маша, забыл бумаги, забыл ботинки, пришли... Война, много событий, много движения, и без удушья проходит Девятьсот Пятнадцатый. (Только вдруг бросается Маша, из ревности, по его краснокрестным госпиталям, вносит неразбериху, ставит Гучкова в неловкое положение).

И – сколько б ещё тянулось так? Но болезни, методично обступавшие много лет, – то пухли ноги, то болели руки, то сердце, то печень, – вдруг сошлись, сомкнулись воедино, и торжественная смерть нависла над Александром Гучковым в начале Шестнадцатого года.

Кажется, так похоже на лодзинский мешок. Перед вечным расставанием естественно снова помириться, просить прощения.

Нет! Другой какой-то закон. Зачем ко всем испытаниям жизни ещё послано было мне испытание злостью женой? Бессердечная, честолюбивая женщина – за что ты послана мне вечным крестом и заклятьем? Зачем ты въелась в жизнь мою – и поедает? Покинь меня

хоть умереть спокойно. Не подходи, не хочю тебя видеть!

Как бы не так! По слабости, по беспечности, по отвлечённости на большее – не разорвал обручальные кольца вовремя, и теперь они ложились кандалною цепью на впалую жёлтую грудь. Мария Ильинична – как будто обрадовалась его смертельной болезни, как на добычу кинулась на ухаживание за ним. «Кошмар в лихорадке» назвал её Бурденко. Смерч суеты! – уже не только к докторам, но – к врагам, к Бадмаеву, чуть не к Распутину за помощью. Надменное лицо: одна она знает, как спасти горячо любимого мужа.

Лежать приговорённому к смерти под вихрем раздражающих забот и беспомощно поражаться: как же мог опуститься до этого, воин? Уже подносят причастие, через несколько дней тебя уже не будет, а **она** – будет ещё полвека выступать на земле твоей подругой, твоей памятью, твоей истолковательницей.

Это была, как будто, не его жизнь, а карикатура на его жизнь: совсем не та, какую он должен был бы вести. Но вот почему-то вывернулась так. Вывернулась – от женитьбы.

Как же мог не порвать за столько усилий? Так ты сам это выбрал.

А глубже всего засело в ней – кривое истолкование прошлого: связь фактов не та, что была, а та, что доступна её узкому уму и представляется ей удобной, – хоть спорь, хоть бесись, хоть кол на голове, но никогда не признает, как было на самом деле, от первых тех десяти лет как будто любовного ожидания.

Но – не умер. Но – поднялся. И советами докторов направлялся в Крым. И, конечно, она?! Бесколебно отрезал: нет, голубушка, в такое бессилие не залягу больше. Ты – остаёшься в Петербурге, ищи любой предлог, ломай публичную комедию как хочешь... Но ведь я – умереть за тебя готова!... Не надо, живи... Но – дамы, которые всё просверлят?! но – общество, вынюхивающее нашу семейную жизнь?! Как же ты можешь, при твоём благородстве, так всенародно меня унижать? так спокойно отвесить мне пощёчину?!...

Состояние дамой – для неё функция организма. Чтобы быть дамой – она готова изъесть его.

Сколько раз уступал, сколько раз был не твёрд, – но только не теперь!

Ничего, придумала: болезнь мальчиков, операция у Верочки. Но ведь это всё возможно и на юге? Все будут недоумевать, обвинять меня, что я не еду с тобой... Моя попытка увеличится тем, что десять раз на день я должна буду отвечать, почему не поехала?

Уехал. Скорей – одному, и начать выздоравливать. Только после выгрызливой женитьбы можно понять, какое это счастье: быть совсем одному.

Но как в тот решительный-нерешительный разрыв пять лет назад, так и теперь: проняло её всё же. Ощутила, что разъединение не отменится, разве только перевернётся вся Россия и вся Земля.

И из Петербурга в Крым на Пасху: начало моей жизни – моей любви к тебе – тоже было на Пасху. И вот – кончается любовь, не получив и не дав **ничего** ... Сколько раз я уже с тобой прощалась, а все уголки души полны тобою, и вырвать каждый – боль до крика. А теперь дошло до главного нерва, последняя операция. И захотелось понять: почему же любовь моя оказалась бесплодна?... Мечтаю: чтобы ты хоть на одно мгновение, перед самой смертью... Христос с тобой, желаю тебе найти, чего я не сумела тебе дать...

Нет, это – того забирает за сердце, кто читает такое не пятнадцатый раз и кто не научился видеть холодной злости её лица. Размягчиться – нельзя, размягчиться – в ничтожество впасть опять.

Твоё пасхальное письмо посылаю тебе обратно. Оно жгёт мне руки. Будешь мстить мне – не делай орудьями мести детей.

... И в моём состоянии – ты ещё смеешь **чего-то** требовать от меня?! Давать мне советы о детях?! Ты когда-нибудь себя для них переломил? Ты – сам себя их лишил!

Так писал он – и так писала она, не предполагая внезапно-ужасного смысла этих слов: что через несколько месяцев сбудется по этим словам – и они потеряют Лёвочку, от менингита. Если уж занятая собой – так собой: упустила его. Отпустила – десятилетнего стать на коне в рост и разбиться.

Можно выиграть целую Россию – а женитьбу проиграть.

67

Уже за час ночи, по пустому городу только казаки поезживали, прибрели волынцы к воротам своей учебной команды в Виленском переулке. Кирпичников остановил, повернул строй фронтом, доложил капитану Лашкевичу.

Лашкевич сшагнул с тротуара к строю:

– Плохо вы действовали, никакой самостоятельности. А на войне понадобится и стрельба, и самодеятельность. Ну всё-таки спасибо. Разводите повзводно в казарму.

Взводные повели, да и рота не своя, Кирпичников остался при Лашкевиче. Тот ещё его побранил: что целый день прятался, уклонялся, не так действовал.

Другой офицер бывает как свой. А этот – чужой, гадюка, барин. И никакого твоего промаха не простит.

Завтра-то – неужели Тимофею опять идти?... Да, завтра очередь 2-й роты.

Подшли оба прапорщика и спросили, идти ли им отбирать у солдат патроны. Но уже поздно было, и Лашкевич сказал:

– Ладно, взводные сами отберут.

Особенно поблагодарил Вельяминова за его стрельбу. Прапорщики попрощались и ушли в разные стороны, по домам. А Лашкевич пошёл с Кирпичниковым в канцелярию. За очками своими золотыми и он устал, лицо впалое. А стал бумагу читать и вытянулся, как на «смирно». И доверил Кирпичникову:

– Государь приказал – завтра же все беспорядки прекратить.

И рассчитал:

– Завтра пойдёт команда от вашей роты в восемь часов. Будить – в шесть. Я приду – в семь. А сейчас первой роте скорей поесть и ложиться спать.

Кирпичников:

– Люди сегодня не обедали, не ужинали, чаю не пили.

А Лашкевич своё:

– Ничего, не такое теперь время, чтоб чаи распивать.

Тимофей с надеждой:

– Так я тогда при первой роте буду?

– Нет, при второй, – распорядился Лашкевич. И ушёл.

Ну вот, так и знал. Кряду четвёртый день Тимофею на собачью службу. Никому же так не выпадает.

Ротные казармы – порознь. В 1-й ели обед вместе с ужином. Укладывались. Пошёл Тимофей к себе во 2-ю.

Там уже спят, на двухэтажных нарах. Лампа у дежурного, ещё на другом краю две малых. Лампадка перед ротной иконой. Нижние нары все тёмные.

Сел Тимофей на свою отдельную койку в углу, на кроватный столбик обопрясь. Повис.

Дежурный поднёс уже разогретое, в котелке.

Стал есть, не чувствуя, не думая.

Об еде не разумея.

Всё-таки надеялся он кряду четвёртый день не идти, и тяга сама с него спадёт. А вот – не спала.

Дружок, Миша Марков, взводный, наискось, на близкой наре:

– Тимоша, ну как?

Позвал его к себе. Тот шинелью обернулся, перешёл босой, сел рядом на койку.

– Да-а, – мол.

Молчали.

– Что ж это делается?... Генералы нам изменяют. А царица – с Гришкой. Вон, Орлов

приносил – читал ты. Кому война нужна? – не нам.

– Да-а, – мол.

– А наши штыки – народу в брюхо?... Не на дело нас водят. Сегодня и убитые были, и ранетые... Я, Миша, людям на улицах в глаза смотреть не могу. Как же это?... Что ж мы делаем?... И офицеры наши?... И вы, вот, отдохнули, а мне завтра опять... Я, знаешь... Я – не могу больше. А?

Понурился Марков.

– Чем так мучиться, – сказал Тимофей, – лучше бы и из казармы сразу не выходить... А ты бы – согласен не пойти?

Ох-ох-ох, по обломистым ступенькам да в гору. Марков – дыханьем одним:

– А чего будет?

– Да уж чего б не было. Прижали.

Ох, трудно. Ох, трудно человеку под топор себя волочить.

Глубоко зевнул Тимофей. Выдохнул.

– А в бою умереть достанется – не одно дело? Чего наша жизнь стоит? И мы б на фронте легли, сто раз, как многие. А нас сюда качнуло – по людям стрелять. Все во всех? Ну что за жизнь?

Миша – совестливый. Он и человека, и всякую скотину жалеет, по-деревенски. Дыханьем одним:

– Что ж, согласен.

И – сказано слово. Переступлено. Теперь – чего ж? Теперь надо что-то делать.

Сказал ему Тимофей: разбудить, позвать сюда, к койке, остальных трёх взводных. А дежурному по роте велел: никого в помещение не впускать. А когда придёт дежурный офицер (он ночами обходит) – доложить в пору.

Сошлись впятером, шинелки на кальсоны. Сели. И сказал Тимофей, четырём пробуженным один бодрый:

– Ну что, ребята? Отцы наши, матери, сестры, братья, невесты – просят хлеба, а мы в них стреляем? Сегодня кровь пролилась. А завтра и от нас прольётся? А царю – дела нет, велит подавить завтра. А царица немцам военные секреты передаёт. Я предлагаю: завтра нам – **не идти**. А? – Обсмотрел их по лицам. – Я лично хочу – не идти.

Не сказал – «решил», потому что и сам ещё не решил. Вот – как они сейчас? Без них нельзя.

Помолчали.

Поперевздохали.

Попереглянулись. Ой, жутко первый раз осмелеть!

Миша Марков сказал – он не пойдёт. Поддерживает фельдфебеля.

Так и начало склоняться. Тогда и Козлов сказал: не пойдёт.

Тогда – и Канонников. И – Бродников:

– Ладно, мы от тебя не отстанем. Делай, как знаешь.

Поднялся с койки Тимофей и всех перецеловал.

– Ладно, ребята! На фронт поедем – так и там убьют, а ум смертям не бывать. Один другого не выдаём, живыми в руки не даёмся. Смерть – только вначале страшна.

Приглушённо кликнул дежурного. Сейчас велел с нар выдёргивать всех отделённых, пусть не одеваются. Только тихо.

Хоть и спали, а быстро явились, кто портянками обернулся, кто босой.

В полукруг, кто на корточки присел, кто стоя. И сказал им Тимофей негромко, но всем тут внятно:

– Вы, ребята, наши помощники. Мы, взводные командиры, решили завтра не идти стрелять.

Когда уже полутора десятку говорил, то не мечта тягучая, а сам поверил, что дело будет. Говорил – как о деле решённом.

А ефрейтор Орлов, питерский (ему отдельно уже успел Тимофей объяснить), сразу

крепко:

– Ни за что не идём! Правильно.

А другим и сказать не досталось. Дело решённое.

– Хорошо, тогда смотрите на меня. Что я буду делать – то и вы. Будете исполнять мою фельдфебельскую команду, и только её. А я теперь – и в первой роте фельдфебель. Так что...

И решили: не в шесть часов подыматься, а в пять. Собрать людей повзводно и объяснить: мы принимали присягу бить врага, защищать родину от Вильгельма – но не наших родных бить. Конечно, люди наши – никакие солдаты, а сброд, разгильдяи, но всё же. Окажутся согласны – то одевать их при караульной амуниции. А патроны будем добывать.

И разошлись взводные и отделённые – спать.

Не спать, конечно...

А Кирпичников позвал каптенармуса, младшего унтера. И велел ему завтра пораньше идти к батальонному инструктору и брать как можно больше патронов, якобы по приказу штабс-капитана Лашкевича.

А в той роте патроны остались не отобраны, хорошо.

Но! – всполошился Кирпичников: а вдруг теперь разгласится? Один только человек сходи к дежурному офицеру в канцелярию – и всё рухнуло. Рано объявил?

И распорядился ротному дежурному: ни одного человека ни под каким поводом никуда не выпускать.

Теперь с Марковым на койке обсуждали так: если к нашей команде никто не присоединится, то против каждого окна станет по одному отделению, стрелять из окна. Один пулемёт поставим через окно против оружейной мастерской. А один – на лестнице, чтоб со двора не пускать. И – никто нас не возьмёт, ни пехота, ни кавалерия, разве что артиллерия.

Тут прибежал дежурный:

– Фельдфебель! Тебя к телефону требуют!

Недоброе что? Узнали?...

Пошёл Кирпичников, Марков тоже вослед. Приложил и Марков ухо к трубке с наружной стороны и слушает. Голос Лашкевича:

– Кирпичников! Люди – все спят?

Ишь, неймётся ему. Чует.

– Так точно, все, ваше высокоблагородие.

– В команде спокойно?

– Спокойно.

– Сделай подсчёт, сколько расстреляно патронов. А утром пошли каптенармуса к инструктору, взять боевых на 27-е. Как раз это нам и надо, вот и распоряжение.

– И будить завтра не в шесть, а в семь. Строиться без десяти восемь. С оружием. Ожидать меня.

Отпустил.

На часок полегчил. Тогда и мы свою побудку на час позже, в шесть.

А уже – и четвёртый час ночи. Пока ложиться.

Марков от своей винтовки штык отомкнул, и положил заряженную к себе под одеяло.

Поцеловал её.

– Вот, моя верная жена.

А иной жены и у Тимофея нет. Рота, батальон – весь его дом. Это правда, холодный металл у оружия, а сердце посасывает.

– Зачем кладёшь?

– Да если что раньше начнётся.

– А дежурный офицер войдёт? Будет винтовки считать? Не надо.

– Не! Так хочу.

Полежали. Не спится.

Строиться-то, сказал, прямо с оружием.

Лампадка загасла перед иконой.

Ладно, воздух чистей будет.

И чуть вроде слышны по казарме шёпоты, полуголосье.

Не тогда страшно, когда решались. Не тогда, когда отделённых собирали. А вот когда: всё сделано, всё отрезано, и остались два часа последних. И ты сам, один с собой, ничего никому не кликнешь – а по ту сторону утра для тебя уже, может, и петля болтается.

Страшная минута – как уже смерть сейчас.

Миша близко, через проход. И ему:

– Если к нам завтра другие части не присоединятся – ведь нас повесят.

– Да-а...

– А всё ж лучше по-солдатски умереть, чем невинных бить?

– Да-а...

– И при всех царях, бают, так было. Об народе не заботились.

Э-э-эх, трудно начинать! Начинать-то, начинать всего трудней.

А кому-то надо.

– Молчан-собака, да и та вавкнет.

Облегчает, что молодые, семьи у обоих нет. Зато в молодых годах и жизнь жалчей.

– Ладно, Миша. Пусть люди потом вспоминают – учебную команду Волынского полка.

ДВА ГОРЯ ВМЕСТЕ, ТРЕТЬЕ ПОПОЛАМ

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

68

Но и когда решалось перед засыпом, всё мерилось легче, чем при побудке. Как ни отважились на отчаянное, а ещё ведь оставалось свалить голову в приёмистую подушку, хоть два часа – а соснуть. Всё ещё было – как за горой утишено.

Во сне наплывало: зыбились места свои родные под Саранском, где русское вперемеску с мордвой, – как на Богоявление почнут в запряжках ездить, кто кого перехвастан. Отец без шорной работы не сидел.

А вот как закричал дневальный подъём – да резко, как резаный, как и положено, да зажёт всё электричество – так и сам Тимофей выбарахтывался из-под камня наваленного, ой Тимоша, Тимоша, и что ты затеял, зачем?

Ну, казалось, не подняться, не отряхнуться. Коли бы один был, не перед товарищами, так верно б отрёкся, крикнул бы: отставить, ложись спать!

А солдаты – и вовсе не ведали. Солдат не знает времени, когда его будят, а только тело чувствует: ох, что-то рано, ох, сна недодали.

Но слова сказанного не вернёшь. С Мишей Марковым зараз спустили ноги на пол, друг против друга, – посмотрелись и видно въявь, что тоже-ть и с ним, тоже-ть и он отказаться готов, если б не Тимофей.

А сказать первому – никому нельзя.

Да не бы взводные. Да не отделённые. Сами уже широко разлили. И что сбрендил на ночь, то покатило уже теперь само, от них не завися.

Да что ж мы наделали? Что ж теперь с нами будет?

Одна отрада – голову под умывальник, да водой холодной пробраться, пробраться, да на холку себе побольше. Протрезвляет.

Из-под умывальника высунулся – уже другой человек. Как надо – так надо, верно.

И всех гнать – а ну, умываться! Не киснуть, всем под воду!

А между тем сообразил, что с подъёмом прошибся: зачем же поднял в 6 часов? Думал – надо время, готовиться. А чего ж готовиться? Одеться, собраться – десять минут, а патронов раньше полседьмого не добыть, и кухня раньше не накормит. Лучшая готовка к делу – сон. Просчитался, дурак, и за себя, и за всех, обидно.

После умывки да застилки ждали солдаты, бродили – а ничего и не поделаешь: строиться не время, и слово говорить рано. А значит – можно садиться, можно и одетыми прилечь.

Всё вялей, вялей ходили. Ложились.

Кто лежал теперь, как попада. Кто, может, спал опять.

Да кто может ничего не знает – тот так и свалится. А кому уже отделённый шепнул – много ли заснёшь? Своя-то голова одна и кожа своя одна, ещё не прорубленная, не продырявленная, – кому не жалко?

Теперь смекнул Кирпичников, какие две опасности. Первая: вдруг почему-нибудь да не дадут патронов? – вот не дадут и всё, приказ такой. Ещё просто не дадут – так и не выведут, нам ещё легче, совесть чиста, прогоняем день по казарме. А если не дадут потому, что прознали? – тогда что? Придут и голыми руками возьмут, пропали ни за что.

Но откуда могли бы прознать? В том и вторая опасность: не ушмыгнул ли кто, хоть и ночью? Протряс дежурного – нет, никто. Взводным, отделённым – проверить своих, все ли на месте.

Все.

А за патронами с каптенармусом послали надёжных.

Не выпускать никого и дальше.

И такая тяга – дадут патроны? не дадут? Бродили, лежали, передрёмывали – а Кирпичников волновался.

Ждали-ждали-ждали, переглядывались с Марковым, смотрели на ходики стенные – ох, не идут?...

Но в 7 часов, по коридору топя – пришли, нагруженные свинцовыми ящичками.

Ах, вы, грузила наши, не свинцовые, раззолоченные! С вами-то мы люди, с патронами и солдат – человек! Так-то ещё можно постоять!

Разбирали на взводы, на отделения – набивали поясные патронные подсумки.

И в карманы шинелей клали, избыток.

Теперь на кухню за завтраком, с четырьмя носчиками, пойдёт Орлов, самый верный. Присмотрит.

69

И приснился Козьме Гвоздеву на тюремной койке под утро – сон.

Увидел: на большом белом камне сидит в посконном, хорошо выстиранном, свежем – седой дед в лаптях. И онучи, и обора каждая – чиста, бела.

По всему – простой деревенский дед. Только больно долги, назад за голову, его седые волосы, и особая светлизна от них, вот уж промыты, волосик от волосика, и развеваются.

И – плачет дед. Да так горяче, так сокрушно – старуху ли схоронил? избу ли ему сожгли? всё гнездо перебили? Плачет, Козьму не оглянет, плачет – и слёзы катятся, отдельные видно, по щеке сморщенной или на седой бороде задержась.

И жалко стало Козьме деда. Приступил к нему:

– Да что уж ты, дед, так плачешь? Да так уж – не убивайся.

Дед голову приклонно держал и в ладонях. А тут – поднял глаза – и от этих глаз Козьма аж продрог, аж заледело в нём: что дед-то – не простой, дед – святой.

И что плачет он – не по себе, а – его, Козьму, жалеет.

– Да за меня ты – что? – силится Козьма утешать и дале. – За меня не плачь, меня скоро выпустят.

Но – мудрость в очах старика повернулась – и ещё обледел Козьма, понял: нет, не скоро. Ай, нескоро-нескоро-нескоро. Долже человеческой жизни.

Так ни слова и не вымолвил дед столетний. Обронил голову – да как рыдал, как рыдал!

И тогда ещё ледяней запало Козьме: да может он – и не по мне? По мне одному никак столько слёз быть не может.

А – по ком же?...

Такого и сердце не вмещает.

Проснулся – всё нутро схвачено холодом, тоской.

70

После завтрака Кирпичников велел строить 2-ю роту при боевом снаряжении в длинном коридоре второго этажа. Пулемёты стали на левом фланге.

Вышел перед строй – ещё ни разу ничем не награждённый, хотя один раз раненный, с ушами плоскими, прилепленными, крупноносый, губастый, лба мало, а сильно открытые глаза. Стараясь держаться поважней, а недоуменно. И голосом, привыкшим к отрубистой команде, а не к речи, чуть помлевая и растягивая:

– Ну что, братцы, скажем?... Эти дни сами были-видели, и прикладами тыкали, и спусковые крючки тоже нажимали... Спросим: не довольно ли нам людскую кровушку лить? Притом, что наверху непристойное деется... Не довольно ли нам этим трутням поклоняться, которы с нас жилы тянут? А не правей ли нам – супротив народа не идти?... Я уверен, другие части окажут нам всяку поддержку.

Вот в этом-то он не был уверен, но и нельзя же звать людей на обречённость.

В ответ никто связно не выразил, но погудели. Вроде, с одобрением.

– Так вот: надеетесь ли вы на меня? И будете ли мою команду исполнять?

Отозвались, что надеются.

– Так вот. Всем входящим младшим офицерам отвечать как положено: здоровья желаем, ваше высокородие! И виду не подавать. А Лашкевичу на приветствие – не отвечать, а всем кричать сразу только: «ура!».

Ещё он сам не понимал точно, как это будет дальше, но уж если «ура» крикнут – то и всем обрезано. Этим – спаяются, в один шаг перейдут.

И стояли в строю. Колотились сердца. Стояли на худший из боёв.

Без десяти минут восемь пришел прапорщик. Кирпичников скомандовал как ни в чём, даже с избытком лихости:

– Смир-рна! Равнение на середину!

Козырнул прапорщик фельдфебелю, козырнул строю:

– Здорово, ребята!

И рявкнули как положено, ну не слишком ладно:

– Здоровия желаем, ваш скродь!

– Вольно!

– Вольно, оправиться.

Но уже само несёт, не сдержат. Кирпичников подходит на рожон с боковой походочкой, отчасти чтоб и своим напомнить:

– Ну как, ваше скородие, геройски действовали молодцы-волынцы вчерашний день?

– Да, – говорит.

– А сегодня – ещё лучше будем действовать. Вот посмотрите, как сегодня молодецки. –
А у самого голос дрожит.

А люди все – тихо стоят, замерев. Все-то понимают, кроме прапорщика.

Пождали.

Немного за восемь, подбегает дневальный, что на подходе – штабс-капитан Лашкевич.

Все солдаты повернулись на Кирпичникова. А он только прищурился сильнее да руку слегка приподнял, чтобы все видели: он за всех думает.

Но Лашкевич сперва не сюда, прошёл в канцелярию. Продлил всем жизнь.

Через пять минут прямо сюда. Очки золотые, за приметчивый, кусливый. Прапорщик скомандовал:

– Смир-рна! Равнение – на середину!

Доложил. Лашкевич принял рапорт. Все с оружием – так так он и приказал. Поздоровался со строем.

И вдруг весь строй заедино, кто и отставши, грохнул:

– Ура-а-а-а!!!

Капитан даже назад спину выгнул. Насторожился – на строй, на Кирпичникова. И, не ждая, – улыбнулся, мягко выстилая:

– Что это за форма такая, Кирпичников?

Так ли, этак ли лучше сложить ответ, но не успел Кирпичников, как из строя крикнул питерский ефрейтор Орлов:

– Довольно крови!

Капитан – сразу всунул правую руку в карман. Значит, там револьвер. И стал ходить-ходить перед строем, похаживать, поглядывать в лица. Искал, наверно, кто крикнул. Не нашёл. И ни у кого другого, а у Маркова спросил вкрадчиво:

– Объясни, что такое значит «ура»?

Так и пришлось объяснить первому Маркову. Один шаг между ними. Заполнял Марков голову и как в пропасть, уж тогда без «вашего высокоблагородия», чего там:

– А так, что – стрелять больше не будем! Не желаем понапрасну лить братскую кровь!

А-а! Лашкевич так и вонзился, нашёл! Чуть ещё наклоняясь к Маркову:

– Что-что??

После сказанного – что остаётся солдату? Говорить уже нечего, очкастый переговорит. И – **на руку** винтовку! От левой ноги, как стояла на каменном полу – взял в две руки, штыком вперёд надклоняя.

Ну, не прямо в грудь, а, мол, поостерегись.

Лашкевич и поостерегся. Опять выровнялся, спину выгнул. Ещё против Маркова постоял – начал ходить. И глазами доглядчивыми, острыми – по лицам, по лицам.

А тут ещё два прапорщика подошли, Вельяминов и Ткачура. Видят – начальник учебной команды что-то расхаживает не в духе. Первый прапорщик им шёпотом сообщает.

А Лашкевич, теперь неизблизки, весь строй охватывая, голосом звонким, но не угрозно, а отчаянно:

– Солдаты-гвардейцы! Его величество Государь император прислал телеграмму войскам столицы. Он просит войска прекратить волнения, которые расстраивают нашу воюющую армию!

За царя, значит, ухватился.

Тишина.

Строй стоит как окованный. Строй, однако, привычка.

И Марков винтовку опускает, опустил. Взял к ноге, как у всех.

Тут Вельяминов:

– Господин капитан, разрешите выйти, мне дурно стало.

Лашкевич, головы не поворачивая, весь взор на строй, ледяно ему:

– Выйдите.

Тот ушёл быстро.

Ушёл? Так он – другим частям передаст??

Кажется: если б Лашкевич на дверь голову только повернул – вот бы уже и рассыпались гурьбами. Но он – струнно стоял, весь на строй. Ещё в воздухе висло – от Государя императора.

И строй стоял.

И Кирпичников, в своей отдельности, но тем же строем скованный, не смел порушить. Стоял, не находился.

Вдруг чей-то приклад в задней шеренге ударил о каменную плиту. И басом:

– Уходи от нас. Не хотим тебя видеть!

И, подражая, другой приклад, в другом месте – бух!

Нашли, как! Ещё, ещё: прикладами о каменные плиты! Небывалый, неслыханный, грозный гул по коридору! А в нём отдаётся!

Лашкевич плечами поёжился. Чутка ещё не хватало. И тут завопил ему Кирпичников:

– Уходи вон!!

И Лашкевич вдруг – быстро повернулся. И быстро пошёл. На лестницу вниз. Там по лестнице.

И прапорщики исчезли.

Победа?! Вот это и было тяжкое самое – как первый раз переступить? как со своим командиром обратиться? И вот – ушёл, прогнали?

Ушли – так теперь покличут на нас атаку.

Кинулся Кирпичников к окну, отсюда двор виден.

И раму заклеенную рванул, распахнул: куда пойдёт?

Вот тут – и повалили из строя. И то не все, остались и на местах.

И второе окно рванули.

И видели: штабс-капитан Лашкевич, сойдя с крыльца, быстро шёл через двор – к воротам, на улицу. Значит – вон? Значит – к штабу батальона?

Не Кирпичников, Орлов крикнул:

– Бей!

Такого – не задумывали, но так получилось.

И поднялось с пяток винтовок, Орлов тоже, бахнули открытые окна.

И – свалился штабс-капитан перед воротами, на утолченный снег. И не дрыгался.

Намертво.

О-го-о-о... Это что ж теперь будет?...

Кто обмерши. А кто по коридору:

– Ура-а-а-а!

А какое «ура»? – только теперь-то всё и начиналось. Только теперь-то и отрезало: не тогда, когда Лашкевич побежал вон – а когда упал. Теперь – ни у кого здесь уже нет повортки.

Теперь – мы взбунтованы, бесповоротно! И – что будет?

Перекрикивал Кирпичников, руками махал: на места! строй! в строй!

Собрались, стали в строй.

А – что теперь? Ночью думали: занять оборону по лестнице и по окнам. Но это – в ловушке себя запереть. Это думали, когда переступить боялись. А когда уже переступлено...?

Наружу! Звать другие роты! Чем больше созовём – тем меньше ляжет на нас. Теперь – всё отрезано, теперь только и выход – звать других!

Завопил Кирпичников команду:

– Рота напра-во!! Шагом-марш!

И – потопали, посыпали по лестнице. Во двор!

Во дворе уже не стало строя: рассыпались кто куда, разбрелись как пьяные, очумелые.

Стреляли в воздух без толку.

А кто кричал «ура».

Горнисты заиграли тревогу.

Кирпичников послал Маркова и Орлова в другую роту учебной команды – звать присоединяться.

71

Поезд пришёл в Москву очень рано утром, и ещё пустым ранним трамваем Георгий добирался домой на Остоженку.

Тихо, ослабно сердцу было вечером в субботу у своих. Вчера утром и на улицах в Петрограде уже всё успокоилось. Но то мрачное сердечное сжатие, схватившее в Мустамяках, – оно так и не отпустило. Что оно было?

А в Петрограде всё заслонило ужасом, что своими же руками развалил он хрупкое подлечение Алины. И что теперь снова начнётся? И с каким новым размахом!

Совсем ни на час не наступает привычная бодрая светлость. А – какая-то муть неразборная в душе. И всё время – мешает.

И чем ближе домой – тем угнетённой и мрачней. А когда уже поднимался по лестнице в сером утреннем свете – сердце сжало и ударило. Так и не разыскав или потеряв, что же именно он первое выразит? сделает? скажет? – повернул дважды ушко дверного звонка.

Алина, вероятно, ещё в постели. Ждал её возникающих шагов. Не слышал. Не шла.

Могла этим и демонстрировать.

Ещё раз позвонил.

Не шла.

Ещё раз. Никак не могла не проснуться. Но не шла.

Ещё раз. Или уж выдержку какую надо иметь. Или... её нет??

Подумал – и захолодел, обвалилось внутри. Боже – неужели? Боже! неужели она...?

Позвонил! Позвонил! Позвонил!

Молчание.

Боже, неужели там она у себя на постели – лежит мёртвая? Вдруг представилось так ясно, неотвратимо: что иначе и быть не может! Да, да, именно так! И сколько случаев таких бывают – запираются. Да она ведь так и угрожала.

Уже видел её мёртвой, на постели навзничь – и эта внезапность косым передрогом прошла по нему. Вдруг – вся углая наша жизнь перед этим рубежом.

Уже не звонил. Отдышивался, соображал. Протёр лоб. А может – её просто нет? Простая мысль: живо пойти к церковной привратнице, спросить.

Старушка уже на ногах. Ничему не удивилась. Да, вот, оставила вам ключи. Уехала, да. Не знаю, куда.

Фу-у-у-у-уф, отлегло. Жива.

Полегчало даже втрое: и что ничего не случилось, и что дома её сейчас нет, не будет бурной сцены, и не надо усиливаться ничего говорить, объяснять.

Но и тут же, ещё не дойдя до своего этажа: а может обманула привратницу? Другими ключами заперлась изнутри – и...?

Поспешил последний пролёт.

Вступил – как вор в пустую чужую квартиру? или как родственник во склеп? Было это в нём самом внутри – или веяло в воздухе могильностью?

Не раздеваясь – сразу скорей вперёд!

В столовую. Пуста.

К тому месту, где прошлый раз выставлялась её записка. Стояла та же рамка, с фотографией – Алина в широкополой шляпе, с гордо поднятой головой, красивая, счастливая. Но записки никакой не было.

А лежали тут – большие портновские ножницы, растворенные до предела.

Посмотрел записку на буфете, по другим местам, – не видно.

И – быстрее в спальню!

Нет! Постель ровненько застелена. Не помята. О, как облегчилось! Именно навзничь представлял.

И вся спальня – в порядке. Не как осенью, не бегство. Невольно глазами по полу: нет ли скомканных бумажек, как тогда? Нету. Смотрел, искал ещё – на комод, на туалетном столике.

И увидел: к середине туалетного зеркала прислонённые, подпёртые пудреницей – **стояли** ножницы для ногтей. Так же – с раскинутыми до предела полотенками – кажется, до боли самим себе, и даже концы их искривились. Нет, это они, искривлённые, были жалами направлены на смотрящего – уколом!

Теперь и на комод, на кружевной дорожке увидел ещё ножницы – и так же распахнутые до предела!

Это уже не могло быть случайностью? На туалете слишком нарочито стояли.

Скорее дальше, в свой кабинет. Письменный стол Георгия чист, пустынен, как всегда в его отлучку, постоянные предметы – просторным полуovalом. И только в центре стола, посередине пустого пространства – большие ножницы его для обрезки карт – распластанные, с раскинутыми до предела остриями.

Нет, это не случайность. Но что это значить могло?

Первая мысль толкалась сама, не найденная, вбежавшая: всё-таки – предупреждение о самоубийстве. Кончу с собой!

Почему такая мысль? Ничего, кроме острых концов, скорее глаза выкалывающих, тут не было от самоубийства. А – пришла.

Обходил – всё. И повсюду находил ещё и ещё, и в кухне на столе, и в передней на подзеркальнике – до восьми ножниц, все ножницы, какие в доме были! – и все одинаково: с отчаяния раскинутыми остриями!

Какой-то грозный намёк, если и не о смерти.

Уже Георгий не облегчён был, что Алины нет дома, а находил этот оборот хуже. Что-то с ней... Что-то она... Уж лучше была бы здесь. Уж лучше выплескивала бы ему в лицо.

А может быть: как знак их расхождения? Вот, как эти полотенки, раньше сходявшиеся, теперь разбросаны до предела – так, мол, теперь и мы разошлись, сколько достать в разные стороны, и обручальные кольца наши разбросаны – и кончено?

И на миг махнуло как тёплым хвостиком.

Бродил бессмысленно, беспомощно по комнатам, так и не сняв шинели и шашки.

Одни, другие ножницы свёл.

Потом – опять развёл. Пусть как она оставила.

Нет, жутче: это скорее было похоже, что она тронулась умом. До такого, да ещё стоймя приставлять, не додумаешься в здравомыслии.

Алина – помутилась в уме?

Боже, как сердце сжато! Как безысходно. Как – сделать ничего нельзя.

И так разрывающе её жаль! И это – он её довёл.

Нужно – догонять её, образумливать, успокаивать. Но – куда? Но где?

Хоть что-нибудь было бы от неё! Самое дурное, но – письмо!

Нич-чего.

Только тут сообразил: а Сусанна же есть! Да не у неё ли Алина?

Не заперев двери, побежал по лестнице к телефону.

Но одумался: ещё нет восьми утра, невозможно тревожить так рано. По крайней мере – с половины девятого.

Вернулся. Разделся.

Ходил потерянный.

Квартира – как пустыня. И такой мрак.

Неужели тронулась разумом?

Как всё ноет и болит внутри. О, лучше б она была здесь!

Ничего не мог – себя, для себя, найти, найтись.

В половине девятого тоже подумал, что ещё рано.

С бесчетверти.

А когда пошёл телефонировать без четверти – ответили: Сусанна Иосифовна ушла, будет дома часам к четырём.

Упустил!

И теперь целый день – безвестности, непонимания, тоски...

72

Да, Воронцов-Вельяминов ещё недавно был студентом университета – но ещё недавней он кончил сокращённые курсы при Пажеском корпусе и получил офицерское звание. Да, он прекрасно слышал зов общества – но он же был и офицер воюющей России. Сердце его эти дни разрывалось – но и нельзя ж допускать бунт в столице, да во время войны! Между собой молодые офицеры бранили чучело Хабалова: тряпка, допустил в городе хаос. Но вот и тронуло армию: вчера – павловцы, сегодня, сейчас, в коридоре – стояли они с Лашкевичем перед бунтарским строем. И Вельяминов догадался – и благовидно отпросясь – и через две ступеньки на третью – и по снежным кочкам бегом – ворвался в батальонную канцелярию – и мимо всех уставов требовал видеть полковника Висковского – бунт в батальоне!!! Учебная команда отказывается подчиниться!

Ну – так ли? Ну, может ли быть? Ну, пока доложили.

И совсем-совсем не сразу вышел рыхлый белотелый полковник Висковский, из тех, кто и долгую службу пройдя, как-то минует испытания железом, а лишь удобно возвышается в чинах. Прежде – в прелестной Варшаве, теперь в Петрограде.

Ну, так ли? Эти нетерпеливые молодые люди не знают, что первые офицерские качества – осмотрительность и хладнокровие. Как это может быть, чтобы солдаты гвардейского полка – и отказались подчиниться? Это – событие невозможное.

Но это – так! Но минуты текли! Но капитан Лашкевич там стоял пружинно перед строем – и тем более ничего придумать не мог! Помощь, помощь нужна скорей, туда!

А полковник погрузился в размышление: какая же служебная неприятность.

И прапорщик осмелился ещё что-то выпыхнуть, не слыша своих слов. И полковник всё-таки подвинулся.

К телефону. Просил соединить с градоначальством.

Что за чушь? Под рукою целый батальон, зачем градоначальство?!

– Это полковник Висковский, командир лейб-гвардии Волынского запасного...

(Это же всё протолкнуть надо!)

– ...Могу ли я попросить генерала Хабалова?

А тот, оказывается, ещё не приезжал с квартиры. А что случилось?

И как ответить? И можно ли так верить прапорщику?

– А тут... вот... – тянул полковник, – я должен направить учебную команду в наряд по улицам, а она...

Тут послышались близкие выстрелы, пачкой. Вбежал прапорщик Колоколов – и сорванно, дико:

– Господин полковник! Капитан Лашкевич убит! Команда взбунтовалась!

И полковник – оцепенел. Теперь – несомненно что-то случилось. Но как это повторить в телефон начальству? Ах, какое расстройство.

И оттуда, из штаба Округа, ему не находились, что сказать. Ведь генерала Хабалова ещё нет. А такие события в воинских частях не предусмотрены.

Тут вбегали ещё офицеры, молодые прапорщики, потом и постарше... Взбунтованная рота выходит во двор!... Во дворе – сумятица, беспорядочное движение! Стреляют, трубят!... Все с оружием, но никуда не выходят, не строятся. Сами явно озадачены, плана нет... Проходящих офицеров не трогают... Труп капитана Лашкевича лежит...

И все стояли перед полковником, не ослабляя ног.

А он пребывал в размышлении. Впрочем, и остальные офицеры были в этом запасном батальоне как чужие: или только назначенные, несколько дней-недель, или только долечивались и тяготились, как бы уехать скорее в действующий полк. Не здесь были их места, не было у них привычных верных унтеров, и солдаты не известны по фамилиям – как не своя часть.

А полковник Висковский цепенел. Никого не послал к взбунтовавшимся, уговорить их. И никого не послал за поддержкой.

Он – коснел. Увидел капитана Машкина 1-го и позвал его в кабинет, совещаться.

Офицеры нервно разговаривали, и при писарях, расхаживали, курили. Лихой Цуриков сам бы кинулся во двор – но нельзя без приказа. Штабс-капитан Машкин 2-й уклонялся осуждать солдат: вот довели Россию, довели и солдат. Ткачура сжимал кулаки: у него на глазах всё произошло, и самого могли подбить.

А из кабинета не выходили. И тут офицеры – начали возмущаться дерзко. Некоторые прапорщики и всего-то на военной службе были по шесть месяцев, но и те понимали, что...

Тут вбежал прапорщик Люба – но в каком виде! – уже переодетый в штатское. А иначе, мол, рискованно было пройти. Ловкач! Быстро! Так это что – и нам предстоит? Чудовищно!

Но не успели его ни упрекнуть, ни расспросить – вернулся полковник.

Теперь голоса уже и не умолкали. Требовали приказаний! А полковник с опущенными руками сам у них спросил:

– Штаб Округа не командует. Что же нам делать?

Но ведь это было так ясно! Загудели энергичные гневные голоса:

– Вызвать пулемётную команду!

– Другими ротами оцепить двор!

– Но можем ли мы стрелять в своих солдат?...

– Вызвать артиллерию из Михайловского училища!

– Но, господа, – слабо возражал потерянный полковник, не обижаясь на тон советов, – Но быть может солдаты и сами одумаются и выдадут виновных?

– Да с чего ж одумаются? – закричали на него.

И он ушёл в кабинет.

Адъютант звонил в штаб войск гвардии и не мог добиться толку.

Офицеры ходили-курили, как прикованные теперь к канцелярии. Перекидывались коротко. К ним сюда пока не врывались – но что может произойти? И как же можно – не давить военного восстания?

А *там* – лежал Лашкевич, лицом в снег.

Ближе к половине десятого вбежал унтер:

– Учебная команда выходит на улицу с оружием!

Доложили полковнику.

Теперь ещё меньше знал он, что делать. И уже не надеялся на штаб Округа. Вышел к офицерам:

– Господа, надо признать, что события вышли из нашего управления. Мы ничем помочь не можем. Я рекомендую всем вам – разойтись по домам.

И сам – тут же пошёл садиться в автомобиль.

Вот это так! – остались обескураженные офицеры.

73

Квартира министра внутренних дел на Фонтанке близ Пантелеймоновского моста состояла из двух половин: по одну сторону зеркально-ковровой лестницы – официальная: приёмный зал с мраморными колоннами, бильярдная, кабинет и рядом с ним запасная спальня, где Протопопов сегодня и спал. По другую сторону лестницы – приватная, она соединялась с официальной и своим ходом.

Все эти месяцы, министром, Александр Дмитриевич как-то наладился поздно

ложиться, не раньше трёх-четырёх ночи, – затягивался приём, а там обед у кого-нибудь, ещё визиты, ужин, а ночами сочинял проекты, – так что министерский день начинался уже, ну, в час дня. И сегодня б ещё спать, а что-то проснулся в девять.

Не все годы своей жизни Александр Дмитриевич наслаждался семейностью, неравномерно. Уже было у них с Ольгой Павловной две дочери, когда убили дядюшку Селиверстова и досталась в наследство суконная фабрика в симбирской губернии, – Протопопов надолго расстался с семьёй, поехав в Париж под предлогом изучать заграничную постановку суконной промышленности. Но управляющий за два года спустил полстоимости фабрики – и пришлось самому селиться в имении при фабрике, и строить, и реформировать. Там жили по-помещичьи, задавали пиры в саду в Ольгин день, чуть не выдали старшую дочь за предполагаемого министра – но тот министром не стал, и брак расстроился. А вот – негаданно министром стал Александр Дмитрич! (И только то неловко, что брат жены, сенатор Носович, становился обвинителем Сухомлинова, вот так всё перемешано). Ольга Павловна стала ездить по Петрограду с визитами как жена министра, покуривая из золотого портсигара и закусывая конфетками, Александр же Дмитриевич в министерском положении тем более получил ценимую им свободу.

Так вот лежать на бочку, шурясь на потолочную лепку, и перебирать. Перебирать – как возвысился, как управляет, что ещё будет делать.

Впрочем, будущее было ему отчасти и открыто проницательным предсказателем астрологом Перреном.

Это так началось: в позапрошлом году Перрен был в Петрограде, жил в Гранд-отеле. Александр Дмитрич узнал о нём через газеты, а он всегда интересовался всем миром психических явлений. Поехали погадать у него о женихе дочери – но Перрен обратил внимание на самого Протопопова и сразу предсказал ему великое будущее. Очень метко сказал: «Вы сами себя создали. И всегда следуйте своему импульсу, он верен!» И действительно, вскоре за тем Александра Дмитриевича избрали товарищем председателя Государственной Думы, а через год стал и министром, – поразительно предсказал! Минувшим летом Перрен снова приезжал в Россию, но почему-то легло на него подозрение, что он – немецкий шпион, и был выслан без права возврата. Так и не удалось больше повидаться. Но когда назначили министром, Перрен прислал письмо: «Под вашим управлением возникнет сильная новая счастливая Россия. Путь ваш не всегда будет усыпан розами, но вы преодолеете все препятствия!» Неужели же?! А что не усыпан розами, так с этим надо смириться. И ещё писал: «Ваши элементы – честность, сила и стремление к движению вперёд, вы – человек большого упорства и большой силы убеждения». Ах, как верно! Очень-очень интересовался Александр Дмитрич всеми этими предсказаниями! Послал ему телеграмму в Стокгольм: приезжайте, я получу для вас визу! И тот обещал приехать к началу февраля. Но не удалось: генеральный штаб помешал визе. В ответ Перрен ещё предсказал: «Я боюсь, что вы подвергнетесь болезни после ноября 1916. Но всякий раз, когда вам грозит опасность, – я испытываю нервность и буду действовать на расстоянии телепатическими пассами, от чего вы будете испытывать сонливость». (Вот может быть и сейчас). И предсказал ближайшие опасные для Протопопова дни: 5, 8, 14, 15, 16, 18 и 24, лучше в эти дни не выходить из дому и принимать только близких. И как раз 14 февраля при открытии Думы ожидалось массовое шествие, Протопопов думал: ну, вот! что-то случится! Но прошло вполне благополучно. И последнее 24-е тоже. (Да после ареста рабочей группы движение надолго обезглавлено). И когда благополучно прошло 24-е – Протопопов дал Перрену в Швецию телеграмму благодарственную, и сожалительную, что встретятся теперь только после войны.

Бывают, конечно, и самозванные предсказатели. Риттих три недели назад сказал Протопопову при совещании министров: «Ваш рок смотрит вам в глаза, чего опасались римляне. Берегитесь его!» Даже пробежало по спине неприятное. Но Риттих – не провидец.

Рок! Рок над собой всегда чувствовал Александр Дмитриевич. И – как он опасно долго болел: миелит, невралгия, размягчение черепной кости, – всё лечился тибетскими травами,

затем двухлетний гипнотический курс у психиатра Бехтерева. Но всё ещё не достиг устойчивости настроения, так и остались его уделом то провальные безвольные мрачные упадки, то эвфорическое взлётное состояние, когда не принимаешь огорчений к сердцу. И – каких неожиданных людей встречал в неожиданные моменты, и как это внезапно круто поворачивало его судьбу. И как роково играл в карты, ещё ротмистром. И роково разбогател от наследства. И роково, затяжчиво любил женщин и покорял назначенную.

Да в яростном столкновении Думы и Верховной власти – кто б ещё мог так удивительно возвыситься, и так балансировать на проволоке, под ропот гнева внизу, – и достичь такого могущества? Никто никогда не достигал, не соединял такого. Как некий Алкивиад. Да, Александр Протопопов действительно был роковой личностью, с роковой судьбой! И можно было поверить, что под его управлением возникнет небывалая Россия! Научиться писать «революцию» без буквы «р», сохранить монархическую власть чисто эволюционным способом! Революционная правая политика – вот как бы он определил.

Увы, за пять министерских месяцев он неоправданно мало сделал – да из-за этой дикой обстановки, дикой общественной травли, всё время в каком-то растопыренном положении, и должен отказываться от несомненных шагов. Но зато – как он ясно и умно всё видел, сколько открытых простых возможностей! Тут, наверху, просто – залежи неиспользованных возможностей, только вытаскивай из груд и применяй.

Ах, власть! Власть – это не то, что ораторство в Думе.

Но – и как выламывает власть. Как выламывает мягкий ласковый характер Александра Дмитриевича. Чего стоит этот баланс на проволоке! В ноябре: вдруг узнаёт Александр Дмитрич, что Григорович вызван тайно в Ставку получить пост премьера. А Григорович – конечно выгонит! Протопопов кидается к государыне – и та успеваает остановить по телефону в последний момент! Тогда понадеялись на расположение Трепова. Но и Трепов стал гнать Протопопова – в декабре выставили и Трепова.

Вот – новогодний приём в Зимнем дворце. Кто мог ждать? В самых добрых ласковых чувствах прилавировал Протопопов через толпу гостей к широким плечам Родзянки: «Здравствуйте, Михаил Владимирович!» И ещё не успел произнести новогоднего поздравления, как тот зарычал, затрясся как грузовик: «Не подходите ко мне! Ни за что, никогда, ни при каких условиях!» Но Протопопов не обиделся, он обнял Родзянку за широченную талию: «Дорогой мой, во всём можно сговориться». А тот всё трясся и рычал, привлекая окружающих: «Не прикасайтесь ко мне! Отойдите, вы мне противны!» Только и осталось Александру Дмитриевичу пошутить упавшим голосом: «Если так, то я вас вызываю...» Но тот и шутки не понял: «Пожалуйста, только чтоб ваши секунданты были не из жандармов!»

И эти два месяца избегал Протопопов всякой встречи с ним.

Но теперь – замечательно: сегодня – Думу распустили, теперь можно будет и жить и управлять.

Когда в Царском Селе верят тебе и благосклонны – это одно лечит. Только там и согреешься душой. Только и можно что-нибудь сделать, если касаешься царской семьи. В эти месяцы травли тем более тянулся к узкому царскому окружению. Говорил Государю: «Ваше Величество, увы, я не могу быть вам полезен, я заплёван!» Но сказал Государь: «Продолжайте, я вам верю!» Радостно оправдывать это высокое доверие. И ещё более твёрдое – на женской половине дворца.

Как прекрасна жизнь, когда ты любишь, когда тебя любят, как прекрасна была бы жизнь без политических страстей и злób!

В дверь неприятно сильно постучали. Александр Дмитрич вздрогнул и натянул одеяло.

Кто это там?

Камердинер. Срочно вызывает к телефону градоначальник, просил и будить.

Ах? Что ж это?... Да, там же у них... беспорядки. А ведь в пятый день должны кончиться.

Так нехотя, так через силу – встал, надел мохнатый халат, завязал пояс с кистями.

Перешёл в кабинет, мягко ступая туфлями, отороченными мехом. Пока лежал – будто не было рано, а вот вызвали – почувствовал, что рано.

И сразу в трубку – дневной разогнанный голос Балка. Что в лучшем батальоне – лейб-гвардии Волынском, взбунтовалась учебная команда и убила образцового офицера!

Ах, как похолодело внутри! Ещё не осознал как следует, – ну, местный эпизод, – но тон! но тон?

– Но – один локальный случай?

– Пока не знаю! Мы сегодня ночью ожидали восстания во 2-м флотском экипаже, было донесение Охранного отделения о тайном собрании матросов.

– Так это... дело Хабалова... Или Григоровича.

– Мы до Хабалова всю ночь не могли дозвониться! А Григорович болен. Мы сами посылали в экипаж...

Ах, как сразу много, напористо, неприятно! Как инстинктивно не хотелось принять рано утром всё это в свою незащищённую жизнь, ещё с постельным теплом, ещё не доспав...

А Балк – спрашивал указаний! решений! его звонок был – вопрос!

А – что мог министр внутренних дел? А при чём тут он? Всё это передано военным властям...

Не знал, что сказать.

А градоначальник ждал.

Да! вспомнилось – и как же это некстати:

– А мы только что послали высочайший указ о роспуске Государственной Думы, – зачем-то пожаловался подчинённому. И почему-то спросил: – Что вы скажете?

– О, если б это было сделано раньше! – вскрикнул градоначальник. – А теперь это может только повредить!

Сжалось сердце. Ах, как нехорошо. Ах, как нехорошо, правда!

– Н-н-ну, посмотрим, голубчик... Н-ну, что Бог даст... Н-ну, может быть, к вечеру успокоится.

74

Сообразить не мог и Кирпичников: что делать дальше?

Ясно, надо прихватывать и другие части: полез по горло, лезь и по уши. Чем больше прихватим – тем меньше накажут.

Да ещё если б Лашкевича не убили. Вот уж...

Но шли полчаса, и другие полчаса – а куда ж выходить одной учебной командой? Кучка.

Марков воротился: подготовительная учебная команда выходить не хочет.

Ну, пан или пропал! кинулся Кирпичников сам.

Вбежал в их помещение:

– Ура-а-а! – А у самого кошки на сердце.

Никто «ура» не поддерживает. Не видят, чему радоваться.

– Выходи, братцы! За свободу!

Не идут. Оружия не разбирают. На нарах сидят угрюмо.

И почувствовал; Тимофей опадь сил, как свои бы руки-ноги не шли. Первый-то шаг оказался лёгок – а вот второй? Ну, перевешают всех.

Тогда подозвал он к себе в кучку унтеров и уже голосом умеренным (в голосе тоже силы не стало) уговаривал одних этих, – помогли бы поднять подготовительную. Пусть унтеры прикажут или убедят, – как же вы можете своих не поддержать?

Мнутя унтеры, поди им докажи. Переступить повиновение, выходить с винтовками на улицу? У нас – уже всё оторвано, а им в казармах конечно целей.

– Да братцы же! – надрылся Кирпичников. – Сегодня посылают нас людей убивать, а завтра вас пошлют! Вы б видели: как после залпа толпа схлынула – а на снегу

убитые-раненые корчатся. Вы б видели!

Трогаются, да нехотя. Один, другой унтер своим: вроде б одеваться, выходить. А – нехотя.

Вдруг – во дворе новый шум и стрельба! Ринулся Кирпичников во двор – а там кипит! а в воздух палят! И к нему – Орлов, ряжка, глаза навылуп:

– Вышла вся 4-я рота!

– Да как же уговорили? – Кирпичников в ухо ему кричит. – А я подготовительную не могу.

– А – по-рабочему! – кричит Орлов. – Кулаком по шее! Поймут!

И – в подготовительную.

В каменном дворе, средь каменных улиц эта пальба – растрескивает, уши вырывает. А весело:

– Ура-а-а-а! Ура-а-а-а!

А кто-то – на каменный забор вскарабкался, а за забором – литовцы и преображенцы, ихний двор. И туда им с забора кричат: руками и шапками машут. Да сами должны стрельбу понять.

Верно! Терять ни минуты больше нельзя. Тут, во дворе – запрут и пулемётами покосят. И патронов у нас столько нет. Надо – и преображенцев поднимать, тут их часть, и литовцев бы, – а прежде бы свои волынские основные роты, 1-ю, 2-ю, 3-ю, они в других казармах.

Ещё удивительно: больше часа прошло, а не спроворились, не перегородили нас. Если выйдем со двора – спасены.

И стал кричать:

– На-плечо-о! На-пле-чо-о!

Голос командный, да не густ. Да тут и густого не услышат, все сами орут, каждый себе. Стал руками махать – перестаньте! Стал винтовку брать и подзывать:

– На плечо-о!

Тут – и подготовительная высыпала!

И стал сбиваться строй небывалый – не по отделениям, не по взводам, даже не по ротам, только что в колонну по четыре, а где и по пять. Закричал Кирпичников:

– За свободу!! Шагом-арш!

И – колыхнула, и – пошла колонна, как дикая, как пьяная, не в ногу. Не считая, кто во дворе остался, кто назад по казармам пошмыгал.

И побежал Кирпичников, обгоняя, к голове. Ротные колонны вести – фельдфебелю не в новость, да только всегда тишина и послушание, всегда по тротуарчику офицер идёт, и маршрут фельдфебелю указан, а тут – распахнись! Или весь город твой, или на виселицу!

Скомандовал по Виленскому переулку к Фонтанной – снимать свои волынские 1-ю, 2-ю, 3-ю роты. Если эдакой колонной подойдём – неуж не дрогнут? С каждой сотней присоединённой нам легче и легче – а если весь батальон подыдем?

Оглянулся – только взводные унтеры кой-где при колонне рядом. А – ни одного ж офицера нигде, как вымело! А-а-а, нас бояться! Боятся нашей солдатской рати! Им-то – ещё страшней!

А переулок – короткий, быстро шагом его берём, а до Фонтанной – ещё короче. Одна стена переулка – вся казарменная, по другой – домишков несколько, жителей мало, пуст переулок, не видят нашего шага волынского, сбитого, растрёпанного, и не до равнения.

Вдруг – бегут навстречу двое молодых, он и она, – и к передним, и к Кирпичникову, а руками позадь себя показывают:

– Там на вас пулемёты приготовлены!

Где именно, уже на Знаменской? сколько пулемётов? – и Кирпичников не спросил, и они не добавили, а с каждым шагом до пулемётов ближе, и думать некогда, да странно б, если б не приготовили, – и, ладонь приложивши сбоку ко рту, закричал Тимофей:

– Пра-а-авое плечо – вперёд!

Передние – услышали. Послушались. Затоптались левые, доходили правые,

смотрят-дивятся: куда ж поворачивать?

– Па переулку – наза-ад!

Диковатая команда, кажись не время строй разминать. Но подчинились, пошли и так. Впрочем, на много команд их послушанья не хватит. (Пожалел: есть же свои пулемёты где-то, отчего не выдвинул? И отчего вперёд по переулку не послал разведку, проверить? Не сообразил, сразу «правое плечо!»). Да переулок узкий, деться некуда, два офицера с двумя пулемётами всех бы нас перещёлкали).

И куда ж идти? Опять мимо своего двора, и тут вполне могли бы пулемёты выставить. Нет, не бьют.

– Дальше! – рукой махнул передним, – дальше!

А соображать быстро надо, вот и перекресток. Правильно идём! – к преображенцам, к литовцам, а там дальше сапёры. Вся наша надежда – или подыдем их, или погибнем.

– Пра-авое плечо вперё-од!

Налево, по Парадной.

А пока вот что, поздним умом, отрядил: запретить патронную повозку, гнать на Госпитальную, нельзя ли захватить наш волынский цейхауз – и везти нам патроны!

Сам – выбежал, и перед передними, задом пятясь:

– Братцы! Если преображенцев сейчас не подыдем – это нам конец!! Преображенцев – любой ценой поднять!!

И – заворачивать к ним во двор. Идёт колонна ошестиненная, винтовки на руку, штыки в небо – в воротах не остановишь!

И не останавливают, не заперты.

А во дворе – горнисты заиграли тревогу. И рожки.

И ударили в полковой колокол литовцы.

В атаку на нас? Нет, это себя подбодряют: попрятались. От нас – попрятались соседи. Позагоняли их с ученья по казармам.

Обширный двор Преображенский – пуст.

И – растеклись волынцы внутрь, уже толпой.

А все двери – позаперты. А окна – насторожены, кто-то там выглядывает.

Стоят волынцы в чужом дворе – и перебить их сверху не трудно.

Но молчат этажи.

И эти преображенцы нам сейчас – или братья родные или хуже немцев, и чтоб себя спасти – придётся по ним бить.

А тут – Литовского цейхауз рядом, надо брать.

А пока, у кого глотка здорова, упражняйся:

– Э-э-эй, преображенцы!

Марков:

– Айда-те с нами!

– С нами – за свободу!

– С нами – а то стрелять будем!

Молчат. Двери позаперты. Биться? врываться?

Всё дело зависло на Преображенских карнизах.

Заорал Орлов:

– Что ж вы, лети-перелети, своих товарищей павловцев арестовали? Где же ваша гвардейская совесть?

– С нами – за свободу!

– Ура-а-а?

Молчат.

Команды не ждя, кто как сообразит – саданули им в воздух и под крышу выстрелов несколько.

– Эй! стой! по окнам не бей! – оттуда окликнули.

И из одного верхнего окна Преображенский унтер – мордатый, русобородый, показал:

погоды, мол, не бей, сейчас двери откроем!

75

Ваня Редченков был нраву совсем тихого, а росту дюже удалого: три аршина без вершка. И когда в феврале стали их, 98-го года рождения, брать в армию, то у спас-клепиковского воинского начальника зачислили Ваню в гвардию, и не отправили сразу, как армейских, а отпустили побыть ещё дома две недели.

Иван обрадовался отсрочке – две недели меж родных стен никак не лишние, ещё и на девичьи посиделки два раза сбродить. Но отец Ивана, бывший взводный унтер гвардии Конного полка, осадил: «Ох, сынок, не радуйся, эти две недели ещё из тебя вымотают. В гвардии дисциплина железная, ещё не раз ты по уху получишь от унтера».

В Рязань привезли их, отобранных, в собор, и принимали они присягу. Иван со своего ростища да ещё всю руку поднял и два пальца из неё выставил, всей душой обещая и клянясь, а Митька Пятилазов из их же волости возьми и подруби Ивану руку ребром ладони: – «Ты чаво?» – «Ничаво. Не слишком вылянывайся. Половину – себе побереги, на всяк случай».

Везли их через Москву, стоял их эшелон в Замоскворечьи на запасном пути, и оттуда они видели Кремль. А за Тверью опять стояли – и минули их два быстрых одинаких поезда с красивыми синими вагонами. И смикитили все до последней тетери: «Царь поехал! Войска водить!»

И тут же вскоре привезли их в самый Петроград. И от вокзала повели их, полторы тысячи молодцов-богатырей, по главной людной улице. Они поразявили рты на такое чудное построище, а люди с боков – на них, и не мене дивились: «Боже, да где ж такие росли? Да сколько ж у нас ещё народу!»

И сразу повели их в огромный каменный сарай – «манеж», где манежат. И стали по полкам разбивать – какой-то чин сиятельный, мало что генерал, говорили: великий князь. Построили их вразрядку, а он ходил вдоль, и по каждого лицу определял полк. Да быстро намётанный, только глянет – и уже на груди мелом пишет номер. А позади генерала-князя идёт ещё офицер, из гвардейцев гвардеец, долже трёх аршин гораздо, через генералово плечико номер видит и сразу орёт: «Семёновский!» Иль: «Вольнский!»

Потом растолковали Ивану, тут свой разбор, в одном полку все должны быть обликом схожи: в егеря идут – чёрные, в Петербургский полк – рыжие, в Павловский полк берут курносых, а в Преображенский – прямоносых. Так и Иван Редченков попал в Преображенский.

На второй день их повели в баню и обмундировали. После домашней тёплой шапки и тёплой шубёнки было несносно на морозном ветерку плаца в шинелишке и фуражке. Потёр в строю коченеющее ухо – унтер смазал по уху, и вспомнил Ваня отца насчёт железной гвардейской дисциплины. А ещё замешкивался он на команды или в строю по четыре попадал пятым.

Однако уже на третий день – железной дисциплины вдруг как не стало. Сидели на словесном занятии, а взводные и отделённые были угрюмы и всё перешёптывались. И донеслось до новобранцев, что на Невском – кровь.

Потом ночью всех унтеров вызывали куда-то.

А в понедельник утром только стали на занятия во двор выгонять – раздались близкие выстрелы. И стали – назад, в казармы загонять. И – все двери запирать. Шинели снять, разуться, сидеть на нарах, к окнам не подходить, а у окон – дежурные офицеры и старшие унтеры.

И такая молва: **«уже у нас во дворе!»** .

Батюшки, да мысленное ли дело? – немцы в Сам-Петербург прорвались?? Да что ж мы без дела сидим?

А во дворе – крики, вроде по-русски.

И рожок по-русски заиграл.

И тут налетел фельдфебель и заорал зычно, да как на виноватых, будто сами они придумали тут сидеть:

– Одевайсь! Выходи! В казарме никто не оставайсь! Быстро!

Но не успели они обуться-одеться – вбежали в казарму несколько чужих солдат в бескозырках, волынцы значит, – и из винтовок стали грохать тут же в потолок, оглушили до дурной головы:

– Выходи все! Выходи – все дочиста! В казарме чтоб ни один не остался!

И гнали, кто попадался. Даже и по спине прикладом.

Нечего делать, сгулчили сапогами по лестницам.

А во дворе солдат – толпища! Наших и не наших.

И стреляют в воздух.

И кто вздрючен до тряски. А больше – стоят, головы опустив: ой, беда неминучая.

76

Да и никто из боевых генералов не приучен был справляться с народными беспорядками, и не мог бы. А досталось – Хабалову. Вчера от государевой телеграммы так глубоко расстроился он, поехал ночевать домой, и открутил у телефона звонковые куполки, чтоб его не могли разбудить: уставшее немолодое тело под 60 требовало отдыха от стольких беспокойств.

И – поспал, хотя и не довольно. Всё ж рано утром прикрутил звонки – сразу забился об них молоточек: в 4-ю роту Павловского батальона за ночь вернулось ещё 16 бунтовщиков, посажены на гауптвахту. Ах вот как? Этого так не оставлять. По своей обстоятельности решил Хабалов – поехать и сам этих бунтовщиков допросить: как могло случиться? кто подущал?

Поехал. Допрашивал. И взводных унтеров допрашивал, и отделённых. Да тут некому разобраться, а если взяться... Но нашёл Хабалова и там телефонный вызов: докладывал командир Волынского батальона, что учебная команда отказалась выходить на несение службы, начальник её то ли убит, то ли застрелился перед фронтом.

Ещё новое! Не нашёлся Хабалов как распорядиться, кроме несомненного:

– Постарайтесь, чтоб это не разгорелось дальше. Верните команду в казармы и постарайтесь обезоружить. Пусть сидят дома, никуда не идут.

В автомобиле покатыл он в градоначальство.

Там что первое узнал: окончательно заболел, от напряжения ли этих дней, полковник Павленко, припадок грудной жабы, не вышел на службу. Ну вот, только начал привыкать.

А кем заменять? вместо себя предлагает командира лейб-гвардии Московского, полковника Михайличенко. Ну, ладно.

О волынцах тем временем уже было известно в градоначальстве, что не только они не сдали захваченного оружия, но вышли на улицу, и к ним присоединилась рота преображенцев и часть Литовского батальона, и ещё фабричные, и всё это движется куда-то.

И кто ж должен был всё это усмирять? По районам были распределены, но не справлялись ни войска, ни полиция, да этот же самый Волынский батальон и должен был наводить там порядок – а кто же теперь? Весь тот район от Литейного проспекта до Суворовского и к Неве, где сплошные казармы, военные учреждения, госпитали и склады, как раз считался войсковой твердыней, не вызывал опасений, туда и рабочие манифестации не ходили.

А общие резервы у Хабалова были совсем не велики, и не в один час он мог их собрать. Спасибо начальнику штаба Тяжельникову, догадался рано утром вызвать две пулемётные команды, и одна из них уже прибыла.

Рассматривали план Петрограда, разбитый на участки, – неухватливый этот кусок, где не знаешь, как действовать: из артиллерии бить нельзя, да и пушек нет, из пулемётов тоже не

очень. А надо бы вызвать по батарее из Павловска и Петергофа?

Но – не избежать стрелять. Государь велит – сегодня же подавить.

Да если прут на войска «долой войну!», «долой царя!», то как же и не стрелять?

Тут ворвался к нему с докладом командир броневой роты: что на Путиловском заводе (где и работы теперь нет) находятся в починке его броневые автомобили, и можно было бы один-два быстро собрать из разных и вывести на улицы, а ему приказывают – хуже разобрать.

Тяжело хмурился Хабалов: опять эти броневые автомобили, уже надоели. Какая-то модность, не вмещаются они в известную старую тактику, что-то не порядочное. И отвязался ещё от этого капитана тем, что послал его к генералу Секретеву, в другое здание, в штаб округа, – а тот генерал как раз и заведует броневым автомобилем.

Собирать войска против мятежа – это была одна трудная задача. А вторая – кого же назначить во главе? Печально признаться, но на 160 тысяч петроградского гарнизона не вспоминался ни один боевой и здоровый старший офицер. Все на фронте.

Тут к счастью доложили: кто-то разговаривал с Преображенским полком, так там у них, на Миллионной улице, сейчас – боевой полковник Кутепов, герой гвардейских боёв на Стоходе, помощник командира Преображенского полка, приехавший с фронта в отпуск.

И сообразили Хабалов с Тяжельниковым: а ну-ка послать за ним автомобиль командующего, это 10 минут. А ну-ка сюда его!

Замечательный выход: среди всех калек находился настоящий храбрый популярный офицер. А отказаться он не может: все отпускные подчиняются командующему Округа.

Приобнадёжились. А то ведь – чёрт-те что, а то ведь – что делать? – вот так по всему Петрограду и пробегут мятежники, хоть и сюда, в градоначальство, – а кто их остановит?

Подсчитывали, назначали, выбирали – отряд для Кутепова. Ожидалась с вокзала одна ораниенбаумская пулемётная рота. Да была рота кексгольмцев. Был один свободный эскадрон драгун из Красного Села. Теперь обдумывали, из каких полков можно взять ещё?

Все-то полки и батальоны были рыхлые, с ненадёжными ротами, без достаточного числа винтовок, не умеющие стрелять.

Ах, не готовились к такой неприятности!

77

У преображенцев провозились волынцы чуть не час: кого по шее, кого в спину толкали, а интендантского полковника – патронов не давал, подняли в несколько штыков, так и прокололи. Другие офицеры исчезали, как не было их. Разбили патронный склад, разбирали патроны, ещё винтовки, 4 пулемёта. Много помог унтер 4-й Преображенской роты Фёдор Круглов, тот мордатый, неистовый. Освободили гауптвахту. «Все на улицу! Бей, кто не с нами!»

И чем больше волынцы успевали – тем больше их вздымало, несло, уже море по колено. Дальше! дальше! ещё! А преображенцы многие с первых минут сникли – что будет теперь? – не выгнать их из казарм никаким кулаком. Рота Круглова шла вся, у него под пястью, а всего преображенцев вытянули мало.

Высыпали и литовцы (одного офицера своего заколов) – но не все, куда там! Часть волынцев, разъярясь, побежала назад, на Виленский, выгонять свои остальные роты, растяп бородатых.

А голова восставших – дальше! Высыпали на Парадную – и дальше! дальше! – против Таврического Сада завернули на широкую Кирочную.

Это был уже не строй, а свирепая солдатская толпа, которой терять уже нечего, теперь командовали во много глоток, но не подчинялись едино. Да и не слышно команд: в цейхаузе литовцев набрали много холостых патронов – и ими теперь лупили в воздух, не переставая, на ходу. И эти выстрелы сильно подбодряли. И – заединство: мы! Отвечать, так всем! Бей, кто не с нами!

По Кирочной бежали к Литейному. Присоединялись разные штатские, и много подростков. Скакали мальчишки со всех сторон.

Всё ж Кирпичников поставил один пулемёт в хвосте колонны, против сада, назад. Но никто оттуда не нападал.

А по дороге – казармы гвардейских сапёров.

Из их окон – несколько выстрелов.

Ах, так??? И мы – по зданию! Да мы сейчас из пулемётов!

Во двор к ним! И – поставили пулемёты! И – предупредительную строчку!

Да уже и выбегали сапёры навстречу.

И мы – туда к ним.

Сапёрный поручик руку поднял: «Не стреляйте в своих братьев!» Кто? в кого? – и застрелили его наповал.

И – полковника сапёрного убили.

И тогда сапёры стали сильно присоединяться.

А у них – оркестр! Вот это нам и надо-ть! Выходи с трубами!

И – пошёл оркестр впереди восставшей толпы! И – запели трубы!

И музыка – ещё больше дала настроения, чем пальба! Прохожие снимали шапки, котелки – из окон махали платками, фартуками – и разноголосо все кричали «ура!».

Шли – сами не знали, куда, зачем. Как текло – по Кирочной. Гнездо своих батальонов минули – а дальше что? кто?

Попалось помещение жандармского дивизиона, там было жандармов человек пятьдесят, свободных от наряда. Они как будто тоже присоединились (но потом растеклись по сторонам). У них тоже на стенах висели музыкантские трубы, но не нашлось, кому дуть.

Погромили их помещение.

Одни громят, другие дальше идут! Потом – те остановились, эти нагоняют. А кому делать нечего – кричат, кричат слитно. Разберёшь иногда:

– Не хотим чечевицы!

Что-нибудь надо кричать. Это стали чечевицей вместо гречки кормить.

Пока докатили до Знаменской – а оттуда новая музыка! – да играют эту запрещённую какую-то. Кто такие?

Да наши ж, волынцы! Наши ж, волынцы, те роты, другие! Раскачали-таки их.

И рывкнул Круглов, только рядом слышали:

– Ну, ребята, теперь пошла работа!

78

Был бы Владимир Станкевич приват-доцентом уголовного права и публицистом лево-лево-либерального направления, если б не война. Его всегда порывало в общественное кипенье. После разгона 1-й Думы он собрал митинг – и получил те же три месяца в Крестах, как и все выборжане. А при 3-й Думе безвозмездно служил секретарём трудовой фракции, этих сереньких растерявшихся депутатов. А начиная с 4-й тем более сдружился с Керенским. И вместе с Гиммером перед войной выпускал журнальчик. Ведущая идея Станкевича была: зачем раздоры и недоверие между либералами, радикалами и социалистами? Довольно нам объединиться – и будущее России наше! И он хотел бы сделать из себя соединяющий мост. Как всегда нам кажется, именно наше направление и есть самое верное.

Но грянула война – и Станкевич вдруг не узнал сам себя. Вопреки своему воспитанию, направлению и окружению, он не отшатнулся от этой войны как чужой, царской, империалистической – но увидел её как мировую катастрофу, в которой поставлен вопрос существования России, и мирные народы должны устоять против всеподготовленной Германии. Но победа России укрепит реакцию – возражали ему приятели. Пусть она укрепит того, кто больше поработает для спасения родины, – отвечал он. Зато поражение – будет смертью России. Да не обязательно победа, пусть война закончится вничью – и это надолго

отучит всех от повторения. Но даже ради такого исхода «сочувствовать» войне мало – надо самому воевать.

И покинул он своё приват-доцентство и, высмеиваемый Керенским, пошёл, наряду с юнцами, добровольцем в Павловское училище, и покорно учился ходить в строю, что никак ему не давалось, и терпеливо складывал на ночь обмундирование на табуретке ровно во столько вершков ширины, длины и высоты, как полагалось. А по окончании училища отказался от канцелярско-судебной должности, как его назначали тут же, в Петербурге, хлопотал, перепросился на сапёрную работу (ещё ничего не зная в сапёрном деле), на фронт, – и за два года стал таким деловым и практическим военным инженером, что опыт полевой фортификации в нём уже избывал, он стал читать лекции в офицерских школах, составил книжку о пулемётных закрытиях и доклад об инженерной активности обороны, пошедший в Ставку и разосланный в штабы фронтов. (Его идея была: позиция фронта не должна быть ни минуту неподвижной, но неустанно давить на фронт противника). Старые сапёрные начальники негодовали на его беспокойный характер, друзья дразнили «приват-доцентом полевой фортификации и геометрии» – и он любил, когда так дразнили, гордясь своим новым инженерным больше прежнего юридического.

Сейчас он обучал – в гвардейском сапёрном батальоне в Петрограде. Как все сапёры – самые занятые люди в армии, так и он был в эти февральские дни настолько занят своей работой, что вовсе пропустил три дня городских волнений, даже не знал о них, и только вечером в воскресенье его прежние партийные друзья по телефону рассказали ему о событиях и стрельбе на улицах. И тут – Станкевич очнулся от инженерии. И ощутил прежние революционные крылья. И в минувшую ночь сложился у него план: попытаться склонить офицеров сапёрного батальона на сторону Государственной Думы – и так перевести весь батальон.

Но утром в понедельник ещё не успел отправиться в казармы – позвонили ему от Керенского, что Дума распущена, Протопопов объявлен диктатором, а в Волынском батальоне восстание и, перебив офицеров, они двинулись на казармы сапёрного батальона. А надо бы – увлечь их идти к Таврическому, на поддержку Думы!

Станкевич обамуничился и поспешил в батальон. Но когда свернул с Литейного на Кирочную, то вдоль Кирочной ему хорошо стало видно, как против сапёрных казарм уже кипела беспорядочная толпа солдат. А потом стала медленно перекачиваться сюда, к Литейному, а над головами их колыхались два тёмных флага. Опоздал!

И вдруг – его покинула вся уверенность: и офицерская, нажитая за войну, и прежняя лево-демократическая. Вот, прямо видя эту гневную массу, надвигающуюся сюда, он не почувствовал той ступеньки, с которой они послушались бы его – или как солдаты своего офицера или как народ своего вожака. Всё, на чём прошла его жизнь, вдруг не оказалось никакой ступенькой, ничем, и он был перед стихией – никто, только мишень.

Так он прошёл немного шагов навстречу и остановился.

А тут подбежал со стороны толпы сапёрный унтер, узнал его и запыхавшись крикнул:

– Ваше благородие! Не ходите, убьют! Командир батальона – убит! Поручик Устругов убит! И ещё... у ворот лежат! А кто жив остался – разбежались!

Вот так так!... А если б и он сегодня там дежурил?...

Вулканное дыхание стихии! Вымело и выжгло, что этих офицеров, вот уже мёртвых, он только что собирался склонять в пользу Государственной Думы, и этих солдат, теперь надвигающихся, вести туда. Шла – толпа, ни к чему не прислушная, никем не судимая, ни за что не ответственная, не знающая никаких своих глашатаев и радетелей, – и Станкевичу, всегда считавшему себя заедино с народом, – вот, нельзя было на них понадеяться.

А надо было быстро куда-нибудь спастись, вот что.

Тут, в начале Кирочной, помещалась инженерная школа прапорщиков – и он зашёл туда. В нервном ожидании стал звонить Керенскому в Думу – но к его телефону никто не подходил.

А тем временем толпа, с воем и редкой стрельбой, придвинулась – и именно в школу

прапорщиков хлынула часть её. Один выстрел дали в коридоре. И кричали, чтоб юнкера сейчас же всё бросали и выходили на улицу!

Юнкера – не хотели идти. Станкевич, бледный, был тут чужой, ни за что не ответственный, мог войти в класс и перестоять за дверью. Но начальник школы, представительный генерал, должен был выйти к солдатской гурьбе. И стал вежливо ей доказывать, что положение школы особенное: если прекратить подготовку офицеров, то некому будет строить укрепления.

Обезумелые солдаты не стали дослушивать, а: кончать занятия! и выходить на улицу!

Генерал, беспомощно пожимая полными плечами, объявил своим тихо:

– Что ж, можете идти, господа.

– Да куда же нам идти, ваше превосходительство?

– Куда хотите, не знаю.

Прихожие солдаты, кто были без винтовок, разобрали винтовки из пирамиды тут – и валили на улицу, и дальше.

Станкевич испытал такое унижение – что прятался, что не вмешался, – теперь поспешил нагнать толпу на улице. Влиться к ним сбоку было не то ощущение, что стоять и встретить поток.

Он увидел в толпе много и сапёров, и возвысил голос – с обращением, зазвучавшим самому невыносимо фальшиво:

– Братцы! Давайте пойдём в Государственную Думу! Она – вот тут, близко! Она на стороне народа!

«Пойдём» – как будто он был с ними всё время и вместе с ними громил школу прапорщиков?

Это была – правильная, его коренная идея, соединять народ с либералами, – но почему так жалко, неестественно прозвучало?

Услышали его не многие, смотрели подозрительно: куда ещё заманивает их офицеришка?

Оглянулись другие, приступили:

– А ну, отдай оружие!

И – что было делать? Что??!

Не так он представлял себе братание с народом на заре свободы, но получалось так.

Отдал шашку. Отдал пистолет.

Тут вылез из толпы страшный, злой солдат, схватил безоружного поручика за грудки, стал трясти и замахиваться, что сейчас убьёт. Он с бранью поминал какого-то другого офицера-обидчика, которого надо бы убить, но убьёт вместо того – этого.

И – убьёт. Станкевич и не выбивался, его охватила смертная апатия. Вот так и кончилась в 27 лет вся его блестящая жизнь.

Но подбился другой сапёр и стал того озверелого оттягивать:

– Не трог! не трог! Это – наш офицер, хороший, мы знаем его!

79

Ещё Кутепов спал – сестра (он остановился у сестёр, на Васильевском острове) сказала через дверь, что его спрашивают по телефону из Преображенского собрания. В первую минуту так не хотелось вставать – попросил сестру и поговорить. Вернулась – объявила: поручик Макшеев просит спешно приехать на Миллионную.

Причины не назвал. Так лучше б сам поговорил. Но что-то слишком серьёзное и, наверно, связанное с городскими волнениями. Поручик Макшеев, батальонный адъютант, был как раз из тех скрученных мозгов, которые хотят ответственного министерства и больше прав Думе, Кутепов испытывал к нему брезгливость после его высказываний за офицерским завтраком в собрании позавчера. Сами офицеры читают какие-то печатные обращения каких-то фракций Думы. Какие ж реформы, когда в полицию камнями бросают?

Но хотя больше половины офицеров новички, не настоящие преображенцы, – всякий преображенец, приезжая с фронта, конечно прежде всего идёт в собрание – походить между родных стен, поговорить, пообедать.

Вот тебе и отпуск, оделся с военной быстротой. Но как же поехать быстро? – извозчиков нет, и трамваев нет. Сестра пошла уговорить извозчика, живущего в их дворе. Для соседки согласился съездить.

И погнал шибко – не так седоку угодить, как скорее назад и не остановили бы.

Перенеслись Дворцовым мостом – стояло солдатское растянутое ограждение, никому не мешающее. Обошли бурый Зимний и напрямик погнали к Миллионной. Хотя большая часть казарм Преображенского полка была теперь на Кировской, но офицерское собрание по давней традиции оставалось на Миллионной, при старых казармах. В пасмурном утре площадь вокруг Александровского столпа была пуста.

В собрании Кутепов увидел многих встревоженных офицеров – в том числе и тех, кто должны быть в батальонных казармах на Кировской. Узнал, что там взбунтовавшиеся волынцы ворвались в казармы нестроевой Преображенской роты и заставили её к себе присоединиться. Полковник, заведующий полковой швальней, хотел выгнать их со двора, но был ими заколот.

Кутепова и позвали за поддержкой. Но – где же командир запасного батальона князь Аргутинский-Долгоруков? Вызван к командующему. Но остальные господа офицеры, с Кировской, – почему здесь? Не подчинялись они Кутепову прямо, но по его положению в полку не могли уклониться от его указания: тотчас отправиться к своим подразделениям.

Столько и успел Кутепов охватить – как пришёл за ним автомобиль из градоначальства, – командующий Округом велел немедленно приехать к нему.

И опять – по пасмурной площади, мимо Александровского столпа, мимо Главного Штаба, пересекли корень Невского, чуть изморозна решётка сквера, вот и градоначальство. Жандармский ротмистр ждал Кутепова на Гороховой у дверей и вёл вверх к генералу Хабалову.

В большой комнате было несколько генералов и полицейских штаб-офицеров (но не Аргутинский между ними) – и охватывая сразу сумму их лиц, воздух в комнате, ранее чем отдельные лица, увидел Кутепов, что они растеряны, расстроены, беспомощны. А у самого грузного генерала Хабалова так и откровенно дрожала во время разговора челюсть.

И как всегда при таком соотношении Кутепов почувствовал себя ещё твёрже и ответственной.

Хабалов объявил ему в довольно нелепых словах, что назначает его начальником карательного отряда. Карательным? – никогда Кутепов не командовал, не предполагал. И каким сразу карательным, когда надо просто поставить на места?

А Хабалов уже распорядился над разложенной картой города:

– Приказываю вам оцепить весь район от Литейного моста до Николаевского вокзала. И всё, что будет в этом районе, – загнать к Неве и там привести в порядок!

Если отвлечься от привычной сетки улиц, их узости между тяжёлыми зданиями и наполненности зданий – да, это был единый широкий полуостров в Неву, три версты на три. Но если вспомнить наполненность города, да ещё уплотнённого войной, –

– Оцепить такой район – мне надо не меньше бригады.

Хабалов раздражился или не хотел дать своих резервов, предназначая их для другого, сказал: даёт, что под руками. От здания градоначальства взять всего одну роту Кексгольмского батальона с одним пулемётом. Затем двигаться по Невскому проспекту и постепенно подбирать расставленные там другие подразделения. А встретится на Невском пулемётная рота – взять её половину, 12 пулемётов. А ещё одна рота Егерского батальона будет двигаться прямо к Литейному проспекту.

Удивился Кутепов, но спорить не стал – что есть, то есть. Только спросил:

– А эта пулемётная рота – будет стрелять?

Хабалов такие сведения имел, что – хорошая часть, и всё будет делать.

Что ж, нечего и время терять, Кутепов встал и пошёл. Кексгольмцы на Гороховой сразу ему понравились, подтянутая рота, опытный глаз не ошибается. Хорошо, пошли.

Странное ощущение – идти на боевую операцию по мирному городу, никогда не ходил. Действовать оружием – самое ясное из всех действий на земле – но в Петербурге? мало русской кровушки полито на фронте? Впрочем, где-то там это всё происходило (отдалённые выстрелы слышны) – на Невском ничегошеньки, никаких признаков, идут себе люди по своим делам, только меньше обычного, и нет езды по мостовой.

Небо было переклонное: то ли прояснеет, то ли сгустится. Но не разрывало серых облаков нигде.

Сидел бы у себя на передовых позициях, зачем за отпуском погнался? Особенно нелепое состояние, когда выступаешь не в своей роли, не на своём месте, какая-то обида и можно сделать неверное движение.

А нельзя ошибиться.

Из Гостиного Двора взял роту своих преображенцев, она сидела там как бы в засаде. Из Пассажа – другую роту, преображенцев же. С каждой здоровался перед строем, у офицеров спрашивал, в каком состоянии рота. Хвалили.

А он и сам знал: нынешний запасной батальон – позор преображенцев, такой, что на фронте устроили ещё один запасной батальон, и все приходящие пополнения переучивали, придавая им воинский вид и дух.

А тут ещё вот: вчера не получили ужина, и сегодня тоже ни куска в рот.

Об этом – Аргутинский мог бы подумать. На передовых доставляют еду и отрезанной части, и под пулемётным обстрелом.

Бедные солдаты! Приказал офицерам: на первой же остановке купить ситного хлеба и колбасы для солдат. (Тоже особенность городских действий).

Сам Кутепов шёл не по тротуару, а посреди Невского, впереди своего войска, не стыдясь его малочисленности. (Пехоты с ним шло полтысячи, да ещё у Литейного проспекта должны были добавиться).

С высоты своего роста он уже давно видел, что навстречу им по мостовой тянется какая-то перегруженная часть. Оказалось – это и есть та самая пулемётная рота, встретили её около елисеевского магазина. (Тут побежали за колбасой и хлебом). Опять неуклюже! при них не было двуколок для пулемётов, для лент, всё это люди несли на себе и шатались (как на фронте перемещаются только в соединительных ходах и когда в атаку бегут). Радуюсь остановке, опустили всё на укатанный снег.

Кутепов поздоровался с пулемётчиками – ответило три-четыре голоса (по нехоти? по усталости?). Отделяя себе полуроту, спросил Кутепов их штабс-капитана, готовы ли они открыть огонь по первому приказанию. Штабс-капитан, смутясь, ответил, что нет у них в кобухах ни воды, ни глицерина. (Очевидно, вылили по тяжести). Оставалось и им приказать – на первой же остановке добыть воды, купить глицерина в аптеке, изготовиться к бою.

Перевалили Фонтанку, дошли до Литейного. И всё ещё не происходило тут ничего особенного, только с дальней части Литейного слышался глухой шум, и постреливали. На углу Литейного даже стоял городской. Кутепов стал у него спрашивать, не проходила ли рота Егерского полка. Не видел.

Плохо. Даже обещанного малого отряда не составлялось, и люди голодные, и пулемёты не готовы.

Вдруг с неожиданной стороны, чуть ли не с Владимирского, подкатил на извозчичьих санях князь Аргутинский-Долгоруков. Где он всё это время был – загадка, но сейчас соскочил даже прежде места и бежал, заплетаясь в длинной николаевской шинели.

Кутепов пошёл к нему по перекрестку навстречу.

Они были на «ты». Аргутинский, волнуясь, спешил ему сказать, что бунтовщики громят Окружной суд – и теперь идут к Зимнему дворцу – и поэтому генерал Хабалов приказывает Кутепову немедленно возвращаться, оборонять Зимний дворец и градоначальство.

Но – нисколько не передалось Кутепову сбивчивое волнение полковника Аргутинского, и целый может быть переполох в штабе Округа. Офицер, достаточно бывший на фронте, достаточно и привыкает к суматохам начальства и приказы его перетирает зубами с сомнением.

– Что? – спросил он холодно. – Неужели у вас во всём Петрограде только и имеется, что мой так называемый отряд?

(Он сказал это с иронией, никак не могши предположить, что так на самом деле и есть).

Понять ли, что первое распоряжение Хабалова сбрасывать бунтовщиков в Неву – теперь отменялось?

Да, да! И Аргутинский от себя повторял:

– И я тебя прошу поспешить к Зимнему дворцу!

Но Кутепов стоял несдвигаем, левой рукой придерживая золотой эфес шашки.

– Нет. Идти по Невскому назад – нецелесообразно. И плохо отзовётся на солдатах. Передай Хабалову, что я пройду по Литейному, сверну по Пантелеймоновской, выйду к Марсову полю – и где-нибудь эту же толпу встречу и рассею.

Какая б ни была толпа, неорганизованная конечно, – просто глупость не наступать на неё, а отступать и становиться в оборону.

Аргутинский умчался в сани. А Кутепов, так и не дождавшись роты егерей, поставил в голову отличную роту кексгольмцев, за ней – неретивых пулемётчиков, затем две преображенских роты. Эскадрон драгун ему обещали – тоже не подошёл. Понять невозможно, где же силы целого Военного округа?

И он двинулся по ущелью Литейного, опять впереди колонны.

Он пересекал квартал за кварталом – и не было подозрительных толп, солдат без строя, выстрелов или нападений. Впрочем, всякая толпа видела бы его колонну раньше издали и должна была пятиться.

Он избежал соблазна свернуть по Симеоновскому мосту, так уйти от бунта и сократить свой возврат к Зимнему дворцу.

80

По воскресеньям, как знал Фёдор Дмитрич, забастовки теряют смысл и на демонстрации люди не ходят. А поэтому он твёрдо решил в этот день тоже никуда не ходить, никого не вызывать по телефону, а сидеть писать. Однако сказался сбой этих дней, отвлечение мыслей, и работа не катилась смазанным колесом, а перекатывалась бревном неошкуренным да через пни. Подтвердилось про зарубленного казаками пристава. Это потрясающе!

Но продержался воскресенье, ничего не узнавал, а в понедельник налегало уже много обязанностей, да с утра и в редакцию думал он съездить. Не съездить теперь, трамваи опять не шли, – пешком. Посещение редакции всегда было делом приятным: особая эта атмосфера схода единомышленников, перебирание литературных новостей и своих возможностей.

После вчерашнего ярко-солнечного дня понедельник родился зимне-туманный, облачный, хотя кажется разгуливался.

Той же дорогой шёл Фёдор Дмитрич – мимо Сената, мимо Исаакия, – ходили патрули, разъезжали конные, напряжение держалось пятый день – но никаких столкновений не было. Впрочем, для столкновений и час был ранний. На Невском никакого праздного народа, а все по своим делам, в спехе, открылись учреждения, открывались магазины. В морозный туман уходили бездействующие трамвайные столбы, вся стрела проспекта – и невидимо чем кончалась.

В одном-двух местах заметал Фёдор Дмитрич малые кучки, что-то осматривавшие, он тоже присоединился – смотрели выщербины от пуль в фонарных столбах, в стенах, – вчера на Невском была стрельба, и теперь мальчишка с корзинкой на голове рассказывал взрослым, кто где вчера прятался. Была стрельба! – но никто точно не брался рассказать,

отчего и как она возникала.

Что-то всё-таки **шло**, но удивительно не даваясь глазу, уныривая за повседневным.

Да даже и сейчас. Слева, с Литейной стороны – как лучину ломают. Да, это – дальние выстрелы.

А сзади по Невскому – нарастал ровный густой чёткий звук: то показалась и шла рота солдат. Чётко отшагивали, даже щеголевато, учебный шаг и крепкие сапоги. А впереди статный чернобородый полковник средних лет, с настойчивым выражением.

За ротой на двух лошадках везли выюки с патронными ящиками. А солдаты несли на себе пулемёты.

Нет, что-то всё-таки **шло**.

Просто – ранний час, а что-то серьёзное готовилось.

Фёдор Дмитрич дальше пошёл по Литейному. Вдали различил густеющую толпу. Загораживала весь проспект, что-то необычное. Сгустилась около Бассейной. Дошёл до неё.

Но разгадки никакой не нашёл, ничего не происходило. Стояла цепь рослых солдат-гвардейцев поперёк Литейного, пропуская однако прохожих, – а толпа лупилась на солдат. Все подворотни были заперты (говорят, какой-то кавалерийский офицер проезжал – и велел дворникам запирается).

За эти дни возник новый вид общения: между незнакомыми людьми на улице открытость и расположенность, никого не затрудняло спросить и ответить. И вот уже сообщала бобровая шапка:

– Четыре полка взбунтовались!

В Феде как ухнуло и взорвалось, да не устоять на ногах, такое услышав:

– Где-е-е?

Не поверил, быть не может.

– Да, да, пошли на Баскову артиллеристов снимать.

Все заглядывали через солдат, что-то понимая. Или эти солдаты, вот поперёк Литейного, и взбунтовались? Офицера не было около них. Но слишком спокойно стояли, не как бунтари.

А на Басковой, как раз подле редакции, артиллеристы, да.

Тут раздалось несколько ружейных выстрелов, гулких по узкому Литейному, а как пули летят – не понять. Толпа шевельнулась, качнулась, кто-то успокаивал:

– Да вверх! Не в людей.

Четыре полка?! И вот они – выстрелы, уж верные, сам свидетель. Так – **началось**? Долгожданное – желанное – только в мечтах рисовавшееся – **оно**?

Бах! бах! бах!

Восторг поднимал – не бежать в редакцию, а лететь! И страх колотился: сумеют ли?

Но не успел убраться с Литейного, как сзади, от Невского, по гулкому каменному ущелью страшно затрещали десятки выстрелов – страшно, а никто не падал, нет, все падали и скрывались, но из предосторожности. Толпы не стало – а впадины подворотен до запертых везде ворот забились вплотную. Побежал и Федя, куда приткнуться. Он нисколько не испугался, он не успел испугаться, только умом понимал, что глупо и обидно именно теперь быть убитым от невидимо летящего свинцового куска смерти.

Изящный господин в пальто с котиковым шалевым воротником распластался ничком на грязном снегу и спрятал голову за чугунную тумбу. Федя успел подумать, что это смешно, стыдно. Но сам никуда не успевал шмыгнуть и притулиться: парадные – тоже заперты. Все ниши, все неровности в стенах были улеплены.

Рвалось – бах! бах! бах! – не успевал спрятаться, ни добежать до Бассейной. Вдруг различило ухо между выстрелами другой звук, слитный, непрерывный – духовой музыки! – спереди.

Глянул: далеко впереди поднимался сильный дым, что-то подожгли. А где-то от собора

выходила на Литейный с оркестром голова воинской колонны – и заворачивала туда дальше по Литейному. И оркестр – не перестал играть смелый, громкий марш! И этот марш, много слышанный, а по названию не известный, передался невоенному человеку Ковынёву той же солдатской гордостью, на какую и был рассчитан сочинителем: не падать, не бежать, не прятаться – а шагать вперёд! Федя остановился и смотрел восхищённо вдаль. Кажется, никогда он не слышал музыки прекрасней! Что за гордый подымающий зов! Звуки серебряные труб и гул барабана.

Кто-то сказал:

– Волынский полк!

Федя пошёл туда, в их сторону. Всё новые и новые серые цепи выходили и разворачивались по проспекту.

А откуда-то по ним – или выше их – дали залп.

И Федя не выдержал, сметил выступ стены, прижался. И выглядывал. И тут же подбежал невысокий сухой генерал, тяжело дыша, и тут же прижался, с ним рядом.

Лопались, лопались выстрелы – а волынцы шли под музыку, не падали ни один.

Музыка удалялась по Литейному, туда, к дыму. И выстрелы иногда.

У соседа-генерала было благородное тонкое стариковское лицо, седые усы. Федя не удержался и сказал ему:

– Вот, ваше превосходительство... видите...

И сам себя поймал на злорадно-торжествующей нотке: видите, до чего довели... Уловил ли генерал, но Феде тут же стало стыдно за свой тон.

А генерал дрожащими руками вынул папиросу из портсигара – обмял, постучал, не закурил.

И Феде стало жаль его. Он был – из них, а что он мог сделать там, среди них? Он знал присягу, долг, получал команды, отдавал команды... Разве он управлял кораблём? У него было меньше свободы, чем у мальчишки-революционера.

Федя пошёл дальше, чем было ему нужно. Музыка уже еле доносилась, та первая колонна ушла вдаль, а за ней со стороны собора выходил уже не строй, а с заминкою – кучки солдат, кажется уже Литовского полка.

Федя сам свернул к Преображенскому собору, с пушечными украшениями его ограды, и видел теперь близко этих солдат: совсем они шли не героически, а – потерянно, неуверенно. Унтер-офицер нервно подгонял их.

Теперь тут открылся источник стрельбы: одни литовцы, покинувшие казармы, стреляли в верхние окна своих же казарм, чтобы те, оставшиеся, выходили тоже. Какой-то молодой человек в модном пальто и студенческой фуражке, невысокий, толстенький, стоял среди солдат на Басковой улице и размахивал шашкой без ножен. Но никуда солдаты не увлекались им, а теснились к стенам и за углы, не попасть под выстрелы.

Один молодой солдат лежал на тротуаре у стены, раненый, – но никто не помогал ему. Подъезды всех домов и тут были заперты.

В конце Басковой появились стрелки – стройно, в ногу, при офицерах, – и беспорядочная толпа литовцев отхлынула от своих казарм на Артиллерийскую улицу, стала прятаться там.

81

Утром вызванный в штаб гвардии вместо заболевшего полковника Павленко командир Московского запасного батальона полковник Михайличенко, уезжая, должен был кого-то оставить вместо себя в батальоне. Но следующий старший после него капитан Якубович лежал с отдавленной ногой. Другие старшие начальствующие офицеры разошлись с караулами, ещё до рассвета. И он поручил батальон начальнику хозяйственной части капитану Яковлеву.

А уехавши в центр города, Михайличенко оказался и отрезан от Московского

батальона, сносился по телефону. Из батальона ему доложили, что на Выборгской собираются толпы, а казачьи наряды не только их не разгоняют, но братаются с ними. И Михайличенке осталось лишь подтвердить в батальон задачу: сохранить самих себя и своё расположение, а на остальное не обращать внимания.

Вооружённой оставалась лишь учебная команда, и то частично. Только что и защищать казармы. Они были расположены между Большим Сампсоньевским и Лесным проспектами, воротами туда и туда. Яковлев выставил к тем и другим воротам по одной подготовленной вооружённой команде – поручика Петровского и поручика Веригу.

В последующий час Михайличенко продолжал сообщать по телефону, что в городе восстали гвардейские части, повстанцы уже владеют положением, и теперь всё зависит от Выборгской стороны, куда направились толпы мятежников.

Он ещё успел распорядиться послать последнюю в наличии вооружённую литерную роту – занять Военно-медицинскую Академию, – и на этом телефон прервался.

Капитану Яковлеву ничего не оставалось как взять эту последнюю свободную роту – и маршировать самому с ней к Военно-медицинской Академии.

А вместо себя командовать батальоном он оставил нервно больного капитана Дуброву.

Больного-то больного, но изрядный он был и ругатель, боялась его вся учебная команда и даже младшие офицеры: когда утром к строю на плац открывалась дверь – и прежде грозного капитана всегда зловеще выходил его белый шпиц.

82

Как в карточной игре, когда между конами ещё и пьют, и вот уже руки сами неровно кладут деньги на ставку, сбивают их, цепляют, а рукавами опрокидывают стаканы, – так в ошалении, нетрезвости, безоглядности катилось куда-то всё затеянное, где нельзя было уже ни остановиться, ни охорониться, – а если всё остановится, так наверняка петля. Так и пусть катится, хоть с опрокидом!

Кирпичников уже не запоминал и сметить не мог, кто к ним присоединился, кто нет: ни одной цельной роты или команды с ними не было, даже из тех, кто поначалу пошёл, – утекали прочь или зрителями на тротуары. Изо всякой открываемой казармы выгонялось трудно: робкие, дальние, сельские, иногородние – коснели, боялись, идти не хотели, не понимали, зачем им идти, сопротивлялись. Но из каждой же и вырывались – лихие, вольные или здешние питерские, только что переодетые в солдатское, вырывались на свои улицы как на свободу – и их-то были винтовки, они и захватывали.

И – всякий строй был давно потерян, хотя где-то ещё держалась музыка, поддающая настроения, шагала строем одна музыка и к ней желающие. Потом и музыка замолкала, пропадала.

Необычное это и было: солдаты, а не под командой, но оравой, ватагой, и каждый куда хочет, и слушает кого хочет, хоть только самого себя. Говорили – где-то болтался, присоединился какой-то прапорщик – да Кирпичников его не видел, да никто б сейчас и слушать не стал его, хоть и генерала. Если Кирпичникова слушала, то самая ближняя кучка, только кто того же хотел. Так и бегали – не толпами, а кучками, и кто кучке что предложил – не запоминалось, а бралось. Только преображенского унтера Круглова с русой бородкой на широкой челюсти Кирпичников успел выделить и запомнить: прям озверел от воли, будто как в тюрьме протомился в армии – и только этой сегодняшней воли и ждал. Штыком размахивал, орал и командовал, почти не прерываясь. И с ним тоже была своя здоровая кучка.

Так и бегали они, не понимая, куда нужно, – уже не волынцы, не литовцы, не преображенцы, не сапёры, – а сотни перемешанных разных солдат, хуже чем пьяных, и только то соображающих верно, что если им остановиться – то и конец, казнят. Так нечего терять – только вперёд!

Так и бегали, и мало кто молчал, а все что-нибудь кричали на бегу.

Каждый уличный перекресток делил их, и снова делил, и снова делил, нельзя было направиться всем вместе, а кого куда тянула воля и хотение, – но и на следующем потом перекрестке, но и на следующем кто-то опять притекал, из утеранных или новых. А переулков тут много было, а улицы часто проложены одна за другой: Фурштадтская, Сергиевская, Захарьевская, Шпалерная, и каждая втягивала в себя кую-нибудь струю, и каждая потом приведёт на главный Литейный проспект.

Только вперёд! – и ещё присоединять! – и чем больше нас будет, тем меньше ответа. Только вперёд! – к старому нет возврата!

На Кирочной разгромили школу прапорщиков. Генерал тут был обходительный, его не кололи. А прапорщиков – на улицу!

На тротуарах тоже толпилось изрядно публики, ещё из домов выбегали, и руки поднимали, кричали. А что именно кто кричал – никто не понимал, и даже не слушал. Уши как заложённые, голова гудит, грудь распирает, ноги-руки как не свои – вовсе хмельное чувство.

Всё забирая, забирая новыми кварталами, кучка Кирпичникова побежала – а! – к тюрьме? На окнах – решётки. Значит – тюрьма, а это – как раз что нам надо: уж **этим** -то свободы хоц-ца! Уж **эти** -то все будут за нас!

Мол, Дом Предварительного. Ну, кто схвачен недавно.

Двери, железом кованые, закрыты на добротные засовы – как же их открыть? Прикладами? Как спички наши приклады только расщепим. Ломов? Где искать? У дворников отымать? Можно! (Побежали). Да дворов на Шпалерной почти нет, всё казённые стены. Как же открыть нам? Как же открыть?

Что в Питере плохо – всё каменное, ничего с угла не подожжёшь.

Матом, воем, криком, стуком! в звонок бесперечь звоня, чтоб оглохли! А что? – их там кучка, их там дежурит пяток надзирателей да два револьвера? Им против нас куда страшней, небось поглядывают в окна на нашу мощу. Мы вольны – хоть колотить их целый день, хоть схлынуть в минуту – а им куда деться, в тюрьме! Это трудно кому выдюжить, если в зверь дубасят.

Звонить! Стучать! Вон, швырнули льда кусок, раскололи им стекло. Криком:

– Хо-го-го-го-го-ой! Ат-крывай, твою мать! Народ пришел – ат-крывай! Аتكривай, а то всех перебьём!

А кто-то и так догадался, из сапёров:

– Открывай, а то динамитом взорвём!

А что? Винтовки есть у нас, пулемёты есть, отчего б динамиту быть не могло?

В тюрьме – перепуг. Кричит охрана через дверь: а их-то отпустят с миром?

Откроете – отпустим!

И – распахнули кованые двери!

И – ворвались наши туда, стуча прикладами, ещё пуще оря! Бегом – по этажам, по коридорам, всех освобождать! Всех подчистую, кто б ни был! Каждый узник – нам подмога!

Кто – влился в тюрьму, а кто и дальше, кучки делятся.

А между тем и небо становится посветлей. Веселей нашему делу!

Дальше, за перекрестком Литейного, – Орудийный завод и патронный склад – за высоким кирпичным забором и такими же коваными воротами. Одни открыли – чего ж других не открыть?

– Хо-го-го-го-го-ой!... Ат-крывай, а то динамитом взорвём! Ат-крывай, такую твою, такую твою...!

Небось, там охрана, полиция. Но и своих же рабочих там полно!

Постучали, побили, поорали – распахнулись и эти двери! И – внутрь! Полицейские – убегают. А навстречу – военный генерал, руки взмахнув – не пустить.

В три, в четыре штыка с разгону – прокололи генерала, вскинули, терять нам нечего!

Неч-ча теря-ать! Семь бед – один ответ!

Кто – на склад патронный: громить, вооружаться, раздавать. Нам теперь оружие

надобно, ой, надобно, одна надежда!

А в других головах вертится – дальше-то куда?

Валить прям на Невский? Нет, силёнок мало, там у них – главная оборона.

А тут – кругловская кучка, набегая по Литейному. На Круглове шапка на бок ссажена, челюсть ещё раздалась, лицо горит, перекошено – ещё! дальше!!

Тут – и Орлова кучка.

Сомкнулись: да брать Литейный мост! Пробиваться на Выборгскую сторону! Там – своих полно, там только и укрепимся!

И сколько отсюда видно – мост свободен, перед ним – ни войск, ни полиции.

А дальше – горбится, не видно, что за горбом.

А тут, рядом – толпа кипит, рабочие с Орудийного, незабастовщики упрямые, а их вытуривают. На проходной переступают теперь через генерала, всем урок и показ, остальное начальство разбежалось.

Только туда, на Выборгскую, пулемёты нам с собой тащить тяжко.

А тут – грузовик по Сергиевской, за патронами ли пришёл?

И кто-то первый догадался, крикнул:

– Да он нам и нужен!

Грузовик? Верно! Вот он нам пулемёты и повезёт!

Шофёр – возражать не смеет.

А откуда-то набегало молодёжь – и лезут красными лентами грузовик обтянуть, и флажок красный утвердить на кабине.

Вот мы и со знаменем. Ну, ну!

А кому – на воротник красный лоскут прикалывают, а кто и на штык наколет. Значит, у нас – различие новое. Весело! (И – ещё отрывней).

А Кирпичников своих кликнул – Орлова, Маркова, Вахова, – и пошли, пошли на мост. Набегом.

Уже и на мосту – а на проспекте сзади стреляют в воздух, не уймёшь.

Туда им, шалоумым, передать им: что делают?

– Что делают? Перестаньте стрелять! Мы все из-за вас погинем!

Там, за мостом, если стоит охрана – подумают, это мы по ним бьём. Лупанут и по нам.

Побежали, побежали по мосту, присогнувшись, в любую минуту упасть на торённый снег, если что.

Бежать, бежать! Победили, победили – а здесь, на мосту, остановиться – и всё кончено. Если не двигаться и новой подсобы не подбуждать – всё кончено, петля!

Вдруг – уткнётся кто в мостовую. Думал пуля? Подымайся, нету!

И – ходом, и – набегом, вот уже и за серединой моста.

И увидели: там, за горбом, солдаты цепью стоят. И пулемёты у них. И ещё – казаки сбоку.

Ну, пропали, тут нас и покосят беззащитно.

И руки вскидывая, Кирпичников, Орлов кричат туда, на заставу:

– Не стреляй! Мы – свои, не стреляй!

Кучка замялась. Нет, теперь уж – бежать. Наше спасенье – только вперёд! (А там подкатит и наш грузовик с пулемётами).

А казаки – расширились, перестроились в короткую лаву, и наезжают медленно.

Эти – шутя порубят.

Хотя ж – не трогали все дни.

– Братья казаки! Мы – за вас! Не трожьте нас!

Медленно наезжают.

Но шашек не вынимают. И не рысят в атаку.

Ещё в утренней темноте по пути из казарм два караула от Московского батальона шли со своими командирами рот долго вместе по Лесному проспекту и по Нижегородской, и капитаны Маркевич и Нелидов имели время поговорить.

По раннему вставанию, по невыспанности, по темноте казалось мерзлее, чем было, а Нелидову и отстать от строя стыдно, и шагать со своей полутянутой ногой тяжело.

В утренней памяти первый встал вчерашний мятеж в Павловском батальоне. Всё время поворот: отчего ж и не у нас? Легла неуверенность и подозрительность к строю солдат, наполовину совсем неизвестных.

Безрадостно.

Несчастные ранения занесли их от прямых, открытых честных боёв в эту сумрачную уличную затиснутость.

А – каковы казаки? 1-й Донской полк был сейчас во всём Петрограде единственная строевая часть – с кадровым, обученным и неизраненным составом. А – как они себя вели? В субботу Нелидову досталось производить дознание об избиении насмерть полицеймейстера Шалфеева у Литейного моста. Сразу открылось, что избиение произошло беспрепятственно благодаря полному попустительству присутствовавшего и наблюдавшего казачьего наряда. Когда же Нелидов поехал в казачье расположение в Михайловский манеж, то они хмуро уклонялись представить свидетелей или отвечать на вопросы.

На углу Нижегородской и Симбирской расстались: Нелидов завёл свою команду в клинику Турнера, уговорясь с Маркевичем, что выходит на подмогу при стрельбе с моста.

Ещё небольшие команды отделились на Финляндский вокзал и к тюрьме Кресты.

А капитан Маркевич вывел свою заставу к мосту.

Его главная задача и вчера и позавчера была: не выпускать толпу по Литейному мосту с Выборгской в центр. Рано с утра ещё никто не шёл, надобности в оцеплении не было. Когда вполне рассвело и с Выборгской возникло движение, стали подтягиваться рабочие, – он поставил оцепление против Выборгской. Но после вчерашнего события в Павловском батальоне и большого беспокойства также в центре, следовало быть готовым охранять мост и против центра. Не было сил охранять мост по ту сторону или растягиваться по мосту – он расположил своих стрелков и пулемёты с этой стороны, чтобы встретить прорыв, если он произойдёт.

Сменными группами отпускал людей греться в ближний подвал.

Тут на удивленье Маркевича подъехал казачий наряд в четверть сотни, вчера их не было. Вообще-то наряд должен был подчиняться пехотному начальнику, но не очень Маркевич теперь рассчитывал на казачье послушание. Да и загоразивать ли было ими мост, если уже известно, что казаки пропустят толпу между собой и под брюхами лошадей.

С Литейной стороны стала доноситься явная стрельба.

И всё гуще.

И близилась.

А если хлынет сюда? Тогда открыть огонь из обоих пулемётов.

Главная цепь Маркевича стояла, охраняла от выборгской толпы, а толпа тоже слышала стрельбу – и возбужденье её росло, они могли пытаться прорвать.

А что за солдаты были у Маркевича? Почти ни одного настоящего.

На предмостной горбатой площади рядом с невским обширным простором и под безрадостными петербургскими облаками с подклубом тумана – чувствовал капитан Маркевич себя и свою заставу беспомощно-ничтожными, куда слабей, чем со взводом в нескольких звеньях окопа. Не нашлось никого больше подкрепить их у этого ключевого моста, на этом разгульном просторе.

Через Неву нарастал и слитный гул, как бы многих голосов.

А мост оставался пуст.

Встретить возможное оттуда движение всё же был смысл послать казаков по мосту. Зачем же они, вот им и задача. Хотя бы – увещать предварительно, не открывать же сразу огонь по ещё не разгляженной толпе, издали.

И указал подхорунжему – выдвинуться развёрнутым строем, и если будут бежать сюда – остановить и оттеснить назад.

Подхорунжий вяло отдал команду, казаки медлили и слишком долго занимали положение.

А с той стороны, из-за накатной округлости моста, в морозном пару, показались бегущие сюда – но не чёрная рабочая толпа, а серые солдаты.

Отступающие от толпы?

Что-то кричали и усиленно махали с ясными знаками – не стрелять.

Но различались на них, на штыках – красные тряпки.

– Вперёд, казаки! Оттеснить! – крикнул Маркевич подхорунжему.

Но – не молнией кинулись казаки, как умели они, а перебирали шагом, нехотя, – и даже не успели взойти на мост, а что только успели – загородили пулемётам всю видимость, закрыли поле обстрела.

А по мосту – набегали!

А пулемёты стрелять не могли.

Да будут ли? Нетвёрдые лица.

Да открывать ли огонь без предупреждения?

И рожка не было, предупредить о стрельбе.

Маркевич скомандовал стрелкам на изготовку.

Взяли – но не уверенно. Совсем не уверенно.

А сзади – враждебно загудела сдерживаемая толпа.

А тем временем гурьба по мосту добежала до казаков, сравнялась! Но казаки не только не остановили её – ни шашками, ни нагайками, ни конями, ни слитным движением, – нет, по новой своей привычке они раздались по сторонам, обтекая, – и открыли её, набегавшую, в сорока шагах от пулемётов.

Вот она?

Поздно?

Маркевич махнул и скомандовал пулемётам стрелять!

Но они не ударили.

А бегущие были уже – в двух десятках шагов!

Набегали, кричали – дикий солдатский разброд – но без попытки стрелять, и не в штыки.

Пулемётчики так и не ударили.

Стрелки опустили ружья.

84

В понедельник с утра и не было назначено общее заседание Государственной Думы. Законопроект о передаче продовольствования городским властям ещё не был готов, чтоб его утверждать. Обсуждать дальше доклад Риттиха с таким же успехом можно было и во вторник. Окунаться в нескончаемо невылазное волостное земство – никому не хотелось, да чувствовалось, что не время. И, как всегда, пропущен был мимо ушей призыв Чхеидзе в пятницу продолжать общую-преобщую дискуссию о правительстве и моменте. И всего-то были назначены с 11 часов заседания некоторых комиссий.

Итак депутаты, ещё не знающие об ударе, нанесенном в эту ночь, собирались не все и по петербургской привычке не рано. И только те поспешили, кто с утра уже прослышал о военном бунте. Некоторым, жившим поблизости, как Милюков или Керенский, ничего не стоило добраться до Таврического пешком. За другими посылали автомобили, вызывая. Так приехали с Петербургской стороны Шингарёв и Шульгин, а Шидловского привезли под флагом Красного Креста, иначе б ему и не прорваться.

В это петербургское туманно-морозное скромное утречко как-то и не предвиделось и не хотелось никаких событий. На пороге сваливалась унижительная новость, узнавалась от

одного к другому: что думцы уже не существовали в совокупности. Как ни грубили они властям последние две недели, а перед тем все осенние месяцы, – всё-таки не ждали такой решительности от потерянного, запуганного правительства!

Когда распускали 1-ю или 2-ю Думы, то вешались замки на двери, ставилась предохранительная стража, и депутатам негде было собираться и сговариваться, кроме частных квартир. В этот же раз уже тою смелостью было довольно правительство, что рискнуло послать указ Родзянке, и не помышляло закрывать сам дворец. Да ведь не был это и роспуск Думы, а лишь перерыв на месяц-полтора, до «не позднее апреля». На местах стояли дежурные думские приставы с бляхами через шею, на местах швейцары – и так же с улыбками и поспешностью, как всегда, бросались раздевать депутатов. В купольном зале электрический свет держали умеренный, в Екатерининском – никакой, и зал долго сохранялся темноватым через тягучее петербургское просветление, и сумрачно переблискивал паркет, слегка отражая белые колонны.

Депутаты бродили в растерянности. Так уверенно шествовали они к разгрому негодного правительства – и вдруг оступились. Они нуждались в наставлении от своих лидеров. Но их Председатель сидел, никому не видимый, за дубовой громадой своей председательской двери, и никто не знал, что он там решал. И лидеры Блока были обескуражены и уклонялись от руководства, ускользали в свою комнату заседать, и оттуда выходили только за новостями. А депутаты прохаживались по залам, встречались, расходились, снова стягивались недоуменными и негодующими кучками.

А следующие приходящие подкрепляли слухи: да, восстала какая-то рота! Говорят, убили офицера! Нет, двух офицеров. Восстал целый батальон! Два батальона! И всё – поблизости от Думы, в Литейной части! Говорят, целая толпа восставших солдат повалила к Литейному проспекту. Убивают городских!

Чем больший размах событий доносился извне, тем больше все думцы ощущали тишину и растерянность своего дворца, такого бывало грозного, шумного, неумолимого – до последнего дня.

Кроме единственного только вот этого последнего дня.

Какие, однако, упорные волнения, и всё не кончаются.

Нет, это даже в высшей степени странно, что их и не пытаются подавлять!

Тут что-то искусственное.

Ах, да не инсценировка ли это?

Да что вы, господа, да это же ясно: сперва нарочно спрятали хлеб, чтобы вызвать крупный голодный бунт, а потом этим бунтом оправдаться, почему они вынуждены были заключить сепаратный мир! И вот сейчас они нам его и навяжут. И для того они нас распускают, чтобы развязать себе руки: Дума – сдерживающая, патриотическая сила. И не успеем мы снова собраться, как уже будет подписан сепаратный мир!

В темновато-встревоженных залах и переходах Думы становилось жутко. За спиной всего Прогрессивного блока, за спиной либеральной Думы тёмные силы крались на чёрное предательство великого дела Тройственного Соглашения и собственной родины. А думцы ничем не могли помешать, они оказывались, вот, совсем не готовы, совсем бессильны, только и могли стоять кучками да обсуждать, как обыватели.

И даже самые левые, Чхеидзе, Скобелев, были в настроении, что всё пропало и спасти может только чудо.

«Член Государственной Думы» – очень звонкое и почётное звание, у себя в губернии да даже и в столичной прессе. Но в своём отведенном дворце и в массе пятисот человек член Государственной Думы – песчинка: мало значит его отдельный вид и голос, а соединиться с другими он не может без думских лидеров. А лидеров – в эти роковые, смутные, бессознательные минуты вот и не было. И зналось, за какими они дверями – но не смели их потревожить, члены Думы очень не равны по значению.

А члены бюро Блока в 11-й комнате сидели в разброде и непомыслии. Да ведь всего вчера после полудня они заседали в этом же составе, в этих же креслах, над этим же

зелёно-бархатным столом, и тоже им виделась мучительно-бессмысленной обстановка, – но какой, оказывается, то был мирный, неценный день, вчера! – а сегодня... Да ведь это же государственный переворот? И с каким пренебрежением: государев указ, когда хорошо известно, что Государь в Ставке и со вчера ничего подписать не мог. Открытое издевательство!

И чем ответить?

И вдвойне угнетало несчастное совпадение роспуска Думы с непрекращёнными волнениями в Петрограде. Именно сейчас, когда так требовался спускной думский клапан, – его и закупили. Ах, не было бы хуже!

Но уже и раньше, теоретически рассуждая о возможном роспуске Думы, лидеры Блока условились не предпринимать никаких демонстраций: потому что на самом деле нет никакой реальной силы оказать сопротивление, вся их сила – говорение с трибуны, пока она есть.

Теперь же, когда по улицам бегали взбунтовавшиеся солдаты и убивали городских, – теперь примирительное решение должно было соблюдаться сугубо. Дума очень взрывчатые слова бросала эти месяцы и недели, – но именно же для того, чтобы не взорвалось на улицах. А сейчас, когда уже начало рваться, – от Думы ни искорка не смела пролететь, дополнительная.

Так вот печально, безвыходно, бескрыло: приходилось перетерпеть.

Сидели понуро, бездеятельно, и язвительный Шульгин вдруг высказал:

– А по-моему, господа, наш с вами Блок закончил существование.

Тут черноусый угольноглазый неуравновешенный Владимир Львов, о котором никогда никто и сам он не знал за две минуты, что брякнет – за крайне правых или за крайне левых, выдвинул зловещим голосом:

– А давайте – не расходиться! Заседать как Конвент!

Но на него зашикали, посмотрели, как на известного сумасшедшего. И особенно презрительно – Милюков.

Милюков сегодня остро столкнулся с событиями ещё утром, у себя дома. Он жил на дальнем краю Бассейной, и надо ж было, чтобы так долго ожидаемое народное движение родилось не где-нибудь в стране – но наискось от его окон, в казармах Волынского. С большой осмотрительностью, боковыми улицами, чтоб ни с кем не столкнуться, прокрался он в Думу. А её тут – распустили! Милюкову, с его политическим опытом, явнее всех была беспомощность положения Блока и непроверенность ситуации. Эту ситуацию надо было логически исследовать как в продольном направлении, так и в поперечном, и найти новые опоры. Во всякой новой обстановке всегда в Милюкове прежде всего перевешивала осторожность. Труднее всего ориентироваться в настоящем времени.

Лидеры фракций всё не имели силы духа выйти к своим депутатам.

И во всём дворце только может быть единственный Керенский не впал в душевную потерянность в эти часы, – а потому что им овладело мужество отчаяния. После его последних безумно-смелых речей в Думе – против него, он предполагал, тайно готовилось следственное дело. Но – начались уличные волнения! Но – эти волнения могли его вызволить ото всего! Хотя, по революционным сведениям, никто ничего серьёзного на эти дни не замышлял, – а вдруг??!

И о роспуске Думы и о восстании запасных он узнал из телефонных звонков ещё у себя на квартире утром, – и ещё с квартиры звонил, кому только мог: чтобы повлиять, чтоб войска бунтовали и дальше – и чтоб они шли к Государственной Думе!

А теперь по Таврическому дворцу он метался, с осиною талией, на пружинистых ногах, в приливе отчаянных сил. Быть может, великий момент? Из хлебных погромов да военный мятеж – это может стать грозным событием! Но эти восставшие солдаты без офицеров, без цели и плана, нуждались в вожде, нуждались в указующей руке и пламенной речи! Такая речь – таких десять, двадцать, сто речей уже кипели в неистощимой, хотя и узкой, груди Керенского. Его рука уже сама вытягивалась в повелительный жест. Он содрогновенно чувствовал, что может стать вождём этих восставших солдат!

Но – не мог сам сделать первый шаг, не мог искать этих бунтующих солдат по улицам: там он не имел бы пьедестала, терял бы положение, стал бы ещё одним мятущимся обывателем, никто б его не слышал в шуме и не заметил в толчее.

Эти неразумные солдаты должны были сами догадаться – прийти сюда, к ступеням Думы. Но они никак не могли догадаться сами (запасные, наверно, не так хорошо и знают Думу?) – и, значит, кто-то другой должен был направить их сюда, крикнуть среди толпы – «к Думе! к Думе!». Ведь для толпы бывает достаточно возгласа одного.

И Керенский, прильнувши к телефону, звонил-звонил-звонил своим эсеровским и лево-адвокатским друзьям: просил идти туда, в толпу, или посылать кого-нибудь, кого попало, хоть из прислуги, и кричать: «к Думе! к Думе!».

Там – бушевали никем не возглавленные солдаты, здесь – слонялись тени нерешительных депутатов. Презируя костенение Прогрессивного блока, никогда ни в чём не дерзнувшего шагнуть, – Керенский прожигаящей искрой метался от телефона к окну, и к другому, и к третьему, откуда лучше видно, и к двери, и посылал кого-нибудь расторопного посмотреть в соседних кварталах: да идут ли уже? не идут ли? не приближаются?...

А иначе – будет страшный конец!

85

А уж сегодня был ли университет, не был, но после того как Гика вчера затесался в стрельбу на Невском – ему выхода из дому не было. Однако тут старший брат его Игорь, новоиспеченный прапорщик гвардейской артиллерии, на несколько дней приехавший в отпуск из Павловска, собрался в парикмахерскую – и под предлогом сходить только с ним Гика тоже выскочил на улицу.

На улице оказалось совсем тихо, малоллюдно, и идти им нужно было в сторону тихую – к Таврическому саду. Но приближаясь к Воскресенскому проспекту, где поручил отец опять посмотреть газет, – братья слышали справа спереди, пожалуй, не с Фурштадтской, а подальше с Кирочной, какой-то протяжный небывалый звук – большой силы и ближе к человеческому голосу, но никакой отдельный голос не мог бы звучать так сильно и долго, а – сто голосов? тысяча? – протяжный крик или вопль, то усиливаясь, то слабея, ни на миг не прерываясь. Так могла кричать только толпа и очень возбуждённая. Звук приближался – голоса были мужские, но кричали истошно-высоко.

И долго. И всё не прерывалось.

А иногда ударили и ружейные выстрелы.

Сердце Гики радостно взлетало: ему так хотелось событий! Ему так хотелось, чтобы произошло что-то резкое, яркое, пусть даже в ущерб для многих и для него самого, но что-нибудь особенное, ещё никем не пережитое, которое всех потрясёт!

Так братья замялись на углу Воскресенского, опять не найдя газет в киоске, и прислушиваясь недоуменно. В это время от Фурштадтской подошёл молодой пехотный унтер, очень добрый в лице. Он ловко отшаркнул, стал во фронт, отдал Игорю честь и сказал:

– Ваше благородие, не ходите в ту сторону. Там, на Кирочной – бунт, волынцы, преображенцы. Кого видят офицеров – убивают.

Игорь вытянулся, напрягся, как будто ему уже тут угрожали, дула наводили. Как будто ему сейчас нужно было вытягивать шашку.

А унтер всё так же стоял, ослабив из «смирно».

Прапорщик Кривошеин поблагодарил его, тихо.

И ещё постоял, с гордо закинутой головой, со лбом тёмным, согнанным, искажаясь от унижения, слушая этот растущий страшный вопль, пробитый выстрелами.

А Гика – дальше хотел, вперёд! Гике там-то и было интересно! (И его ж не будут убивать). Посмотреть такое, чего во всю жизнь не увидишь, невероятное!

Но брат остановил его пронзительным, переменившимся взглядом, которого до

военной службы не было в нём. И сказал стиснуто:

– Возвращаемся.

Гика оспаривал свою вольность, но очень развито было в их семье старшинство. А отец-то – и тем более его не выпустил.

А от разговоров того же и отца, и в университете от профессоров, и от сверстников это как-то едино, несомненно сложилось: мы находимся в том положении, из которого нужен **выход**.

Вернулись домой – пошли к отцу в кабинет, рассказали.

Пролысевший отец со свислыми, разрозненными усами, припухлыми воспалёнными глазами, видом не холёным, на выход, но домашним, и пиджак домашний, – только головой раскачался, ничего сыновьям не сказал.

Для наблюдения оставались окна парадной стороны – большой гостиной, столовой, через тюлевые занавеси. Гика с младшим братом стали дежурить у окна, подходили и взрослые. Квартира их была на 4-м этаже, а Сергиевская – узкая, но всё же мостовую видно.

Не прошло и получаса, как через форточку различился приближающийся тот же гул многих голосов. Пожилая горничная оттаскивала младших:

– Всеволод Алексаныч! Кирилл Алексаныч! Уйдите, не надо! Не попусти Бог – увидят в окне, выстрелят – убьют. Бунтовщики, от них всего можно ожидать!

А вот и повалила, в сторону Литейного, беспорядочная толпа. Были и штатские, но больше солдаты, однако не только без офицеров, без строя, как странно было видеть солдат, но особенно странно, что все ружья в разном положении: кто на плечо, кто через плечо, кто наперевес, кто под мышкой, торчали штыки вверх, в бока и вниз, – два часа у них было свободы и так уже разошлись приёмы. Солдаты-то были свеженабранные, только переодетые в шинели.

Игорь стоял, кусая губы. От этого вида он страдал уже по-своему, по-офицерски.

В толпе громко, оживлённо, беспорядочно разговаривали: то ли – что уже пробежали, то ли – что им сейчас делать, друг друга окликали и советовали, – вдруг спереди кто-то крикнул сильно:

– Наза-ад! Наза-ад! -

вся солдатская толпа кинулась назад, едва не подкалывая друг друга штыками.

И – смело их к Воскресенскому, больше они не появлялись.

Эту сцену отец тоже простоял у окна в гостиной. И сказал размыслительно:

– Революцию – я вижу. Но не вижу контрреволюции.

Действительно: в столице, в налаженном строгом городе два часа буянили солдатские толпы – и никто не появлялся остановить, укротить их.

На улице затем пока ничего не случилось. Но горничная ввела в коридор гостя к отцу – маленького роста, в шубе с богатым воротником, и до круглости набитым портфелем. Сыновья узнали и поздоровались: это был нынешний министр земледелия Риттих, многие годы близкий сотрудник отца.

Горничная помогала ему снять шубу. Потом он снимал галоши, протирал пенсне, причёсывался перед коридорным зеркалом при лампочке: его тёмные волосы, аккуратнейше подстриженные, лежали густым крылом. За это время раскрылась дверь кабинета и вышел отец, протягивая руки одновременно и дружески и укоризненно:

– Алекса-ан Алексаныч! Где же ваше правительство? Что оно смотрит?

Риттих отвечал скромным и даже юным голосом:

– Правительство хочет собраться на Моховой. Но я не уверен, что это принесёт пользу.

– Почему на Моховой? И что же? – почти с негодованием спрашивал Кривошеин.

– Хотел бы я сам это знать! – всё так же юно-виновато ответил Риттих. – Последний звонок ко мне сейчас был – от 7-го класса Пажеского корпуса. Они хотели кинуться в Царское Село на защиту царя и спрашивали, какой полк остался верным, чтобы к нему примкнуть. Я объяснил им, что царя в Царском нет, и группой им не пробраться. А какой полк верен? – знает ли это военный министр? Я, Александр Васильич, нашёл

неблагодарным оставаться дома, и самые важные бумаги ещё с субботы забрал из министерства. Не разрешите вы мне перебыть у вас несколько часов и пока позвонить, узнать?

– Я очень вам рад, Алексан Саныч! Как никому бы.
Отец повёл гостя к себе.

86

Капитану Нелидову донесли его унтеры, что по ту сторону Литейного моста непрерывно стреляют.

Он вышел во двор клиники, послушал – да, так.

Ещё слушали. Стрельба не приближалась, но и никак не утихала. В Литейной части что-то большое творилось.

Однако тут близко, у капитана Маркевича, было тихо, и он не присылал связных.

Однако же и упорная стрельба по ту сторону моста была грозным признаком.

И Нелидов решил выйти со своей командой на подкрепление Маркевичу.

А команда его была – человек 60 одних унтеров и ефрейторов из 2-й роты, которую Нелидов принял временно, недавно, от капитана Степанова, по болезни уехавшего на Кавказ. В запасном батальоне во время долгой своей непоправки обязанность капитана Нелидова была – ежедневные занятия с недоученными прапорщиками, – пулемётами, ручными гранатами, тактикой, да даже и уставами, историей лейб-гвардии Московского полка и правилами офицерского такта. Командовать ротой, да в полторы тысячи человек, ему было непосильно в нынешнем состоянии, а вот досталось. Он почти никого и узнать не успел, даже и этих унтеров. Как раз, в очередь в полковой церкви, унтеры 2-й роты на этой неделе поста говели и были освобождены от нарядов. Но – некого было брать в караулы, умеющих хоть стрелять-то, – и пришлось снять этих унтеров с говения в караул.

Верней, и они, может быть, стрелки были неважные – все из запаса, не кадровые, но уж лучше своих необученных солдат. Только что лучше, а – воины никакие: они служили старательно, но чтоб удержаться на обучении новобранцев и не попасть на фронт самим.

Построил их Нелидов на Нижегородской улице и повёл, потесняя толпу, сам с палочкой впереди.

Но не успела команда дойти до конца Нижегородской, выйти на площадь к мосту, как Нелидов увидел: оттуда, чуть сверху, хлынули сюда нестройные солдаты разных полков с криками «ура» и тряся винтовками в воздухе, кто и над головой.

Этот бег был безумный – не атака, и не отступление, Нелидов не успел его сметить и понять – как увидел ещё сзади тех накатывающий грузовой автомобиль с красным флажком. И этот красный флажок не объяснил ему, а только спутал. На Нижегородской он и каждый день видывал грузовики с красным флажком: они из городка огнестрельных припасов везли патроны и снаряды, и в знак того был флажок. И Нелидов на полминуты принял, что это такой же служебный взрывоопасный автомобиль, – и не подал команды к стрельбе по нему – да ведь ничьей же стрельбы ниоткуда и не было, и Маркевич же не стрелял. Оставалось только понять: что за солдаты? зачем бегут?

Всего и потерял полминуты или минуту. А как понял, что красный флаг – от революции, оттуда и пулемёты выставлены, там и ещё тряпки красные, – призвал свою команду быстро вперёд, захватить автомобиль, не дать ему открыть огонь!

Но в этот самый миг он уже оказался окружён толпой солдат, отделён от своих унтеров, едва не сбит с ног, палку его вырвали, в грудь уткнули винтовкой без штыка, к голове приставили револьвер!

Всё! Как бесславно, бессмысленно, как глупо. Сразу – и конец. Привычной военной хваткой Нелидов сохранял волю к действию, – да сковал больной позвоночник, немая нога, весь схвачен, и два дула приставлены.

И ещё кто-то занёс над капитаном и шашку – в тесноте, где и ударить нельзя.

Но подбежавший сапёр перехватил руку с шашкой:

– Подождите, товарищи, может он с нами!

Почему – «с нами»? Оттого ли, что Нелидов не успел подать команды на стрельбу?

Но законы нечаянных спасений непредвидимы, и сколько их бывает. Ушла шашка – и оба дула оторвались. И уже капитана не убивали. Да даже и не спрашивали, с кем он. Все спешили дальше.

Со всех сторон он был захлывнут смешанной солдатской и рабочей толпой, не видно вперёд к Маркевичу. Грузовик проехал.

Оглянулся Нелидов – без палки он стронуться не мог и достать-поднять не мог, – да где ж его команда?

Один только унтер решительный был рядом, вот уже и палку подавал. А остальные?

Обидно жгуче: иметь больше взвода – и не оказать сопротивления. Да всю толпу можно было разогнать с кучкою солдат мирного времени.

А вот она, команда, – дала себя оттеснить, а теперь, увидя, что с их капитаном не расправляются, – подступали с виноватым видом.

С таким виноватым видом, что – не хотели они к восстанию примыкать, но не хотели же и против него действовать!

Теперь всё же числом своим, в 120 плечей, толпу отодвинули. Да та и своим была занята: кричали-ликовали, кричали:

– Товарищи! Кресты освободить!

– Товарищи! На Финляндский вокзал!

И туда отделялись струи.

Но всё было запружено, забито – оставалось с командой отступать в клинику. В этом им не мешали.

Как вошли все во двор – так припёрли ворота покрепче.

Унтеры были сильно облегчены тем, как дело кончилось, и повеселели.

А Нелидов с тоской думал: бабы, бабы! Где ж настоящие солдаты!

Пошёл к телефону, доложил в батальон, что произошло, мост прорван, свои предположения о Маркевиче, и что бунтовщики пошли на Кресты и Финляндский. А главные силы скорее всего будут атаковать московские казармы, грузовик с пулемётами покотил в ту сторону.

Построил команду во дворе, пытался подбодрить её, привести в порядок – но нет: выводить на улицу для действий – невозможно. Уж лучше б они оставались говеть...

87

Казармы Московского полка были в густом окружении заводов и рабочих кварталов. Будь они наполнены вооружёнными умелыми солдатами – они были бы замком всяких тут волнений. Но в нынешнем составе они оказались – осаждённая корзина с цыплятами.

Да ещё – 3-я рота, где столько же с этой же Выборгской стороны. Да ещё – когда случалось строю москвичей проходить по узкой улице в амуниции – женщины из лавочных хвостов с двух сторон кричали: «Да куда ж вас гонют, родимые? Да когда ж этому конец будет?» – и даже хватали прапорщика за рукав шинели.

Это окружение и это настроение рабочей стороны очень тут чувствовали солдаты.

К десяти часам утра караулы, разосланные в разные места Выборгской стороны, стали докладывать по телефону о больших толпах повсюду. Да и из московских казарм можно было видеть, как валят по Сампсоньевскому.

Позвонил капитан Нелидов: что Литейный мост прорван мятежниками.

Капитан Дуброва распорядился: команду поручика Вериги послать по Лесному проспекту в сторону Финляндского вокзала, а команде Петровского стоять за Сампсоньевскими воротами. Вериге был боевой офицер, а поручик Петровский только что из запаса, безо всякого боевого опыта и нерасторопный.

И именно к его команде по Сампсоньевскому подъехал грузовой автомобиль с двумя пулемётами, красным флагом, с десятком солдат и рабочих под водительством распушенного зверомордого Преображенского унтера.

Автомобиль с ходу подскочил к самым воротам батальона – и некоторые спрыгнули, раскрывать ворота.

Петровский скомандовал своим на изготовку, одни взяли – другие стали разбегаться за снеговые кучи и ложиться.

Петровский скомандовал стрелять – оставшиеся дали два залпа, видимо в воздух, никого не ранив.

Грузовой автомобиль стал задним ходом отъезжать к Сампсоньевской церкви. Туда же отбежали от ворот, и отхлынула рабочая толпа, валившая за автомобилем.

Но эти залпы наделали другой беды: ведь ясно было, кто слышал их, что стреляли здесь рядом – и значит Московский батальон, свои, – и значит в толпу?

Стали волноваться запертые по казармам запасные, особенно шаткая 3-я рота.

Успокоить её капитан Дуброва придумал послать полкового священника отца Захария, случайно оказавшегося в отпуску в Петрограде, и в казармах в этот день, – а что, правда, этому священнику лучше и делать, для чего их и держат? Поручил, чтоб любой ценой рота была успокоена.

Через четверть часа священник вернулся покрасневший, растерянный, сильно взволнованный, даже трясась. Он с трудом складывал, что в жизни таких каторжников не встречал, как 3-я рота, они настолько озверели, что никаким словом, ни Божьим, ни человеческим, их умерить нельзя, – и они несомненно скоро вырвутся из казармы бушевать.

Нервно-контуженный капитан Дуброва стал чувствовать, что и ему передаётся эта тряска священника, какой-то немотой охватывая руки, ноги, даже язык.

Он послал священника снова в ту же казарму, но священник отрёкся, что не пойдёт ни за что.

Но и сам Дуброва считал для себя неподходящим идти успокаивать лично, он мог разнервничаться и ударить, только будет хуже.

Осталось послать в 3-ю роту, как уже посланы были в другие, молодых прапорщиков, без дела болтающихся. Говорить: не известно, кто стрелял, это снаружи, только не наши (никак нельзя открывать, что наши, может всё взорваться).

Тут дежурный по батальону капитан Всеволод Некрасов, на одной деревянной ноге, доложил Дуброве раз за разом.

Сперва: что отдан мятежникам Финляндский вокзал.

Затем: что звонил поручик Петченко из Крестов, мятежники насаждают открыть тюрьму, солдаты отказываются в них стрелять, и он вынужден подчиниться, сдать тюрьму.

Становилось жутко: Выборгская сторона, и без того переполненная враждебными рабочими толпами, вот уже и всеми ключевыми местами переходила в руки прорвавшихся мятежников. Московские казармы становились беспомощно окружёнными.

Тут послышалась стрельба и с Лесного проспекта – и длительная, и с возобновлением. Это отстреливалась команда поручика Вериги.

Дуброва решил подкрепить его ещё последней и совсем необученной командой – прапорщика Шабунина. И к ней добавил вослед четырёх свободных молодых прапорщиков.

Они вышли за ворота на Лесной.

Стрельба продолжалась, и донесли, что поручик Вериги ранен в живот.

Дальше перед отрядом Кутепова по правой стороне Литейного проспекта тянулись казармы, на Литейный только окнами, а дверьми и двором на параллельную Баскову улицу. За концом казарм заворачивал маленький Артиллерийский переулочек – и на углу его Кутепов увидел группу офицеров Литовского батальона.

Над головами, на верхних этажах казарм, били стёкла (осколки летели), выбивали рамы – между тем офицеры эти ни во что не вмешивались. Поравнявшись с ними, Кутепов остановил свой передовой отряд. Из группы к нему подошёл полковник – и оказался он командиром всего Литовского запасного батальона, то есть из дюжины старших командиров в Петрограде сейчас. Он объяснил, что к их казармам пришла по Басковой улице смешанная толпа солдат – его же Литовского батальона, из других казарм, и Волынского, а во главе их какие-то штатские, они силой ворвались во двор и требовали ото всех солдат – к ним присоединиться.

– Но это же – ваши солдаты, полковник! – придавленно вскрикнул Кутепов, наклонясь к нему, слышно им двоим. – Какие ж вы меры принимаете?

Полковнику было стыдно, он не скрывал. Но:

– Я ничего не могу поделать. А что можно? Толпа. Солдаты – переходят, опоры нет. А нас – горсточка.

Всё так, можно представить – но простить нельзя: офицер не может бездействовать и не смеет бежать.

А впереди подымался чёрно-сизый столб дыма, примерно у Окружного суда, и, по слабой тяге, расплывался над Литейным. Там, впереди, слышна была пулемётная стрельба, и оттуда сюда по Литейному залетали отдельные пули.

Какой там Зимний дворец, разве можно было уйти отсюда: вот здесь-то и происходила вся суть сегодняшнего дня – отдать солдат или не отдать? Кутепов быстро искал решения, оно не замедлило. Одного своего подпоручика послал искать ближайший телефон и звонить в градоначальство: какова обстановка, и что отряд остаётся тут.

Роту кексгольмцев он разомкнул на три шага во взводной колонне и ещё подвинул её вперёд, заслоняясь ею по Литейному спереди, и приказал немедленно открывать огонь при нападении оттуда. Ещё вперёд послал разведку – в район Преображенского собора, Дома Армии и Флота и Кирочной улицы. Одну роту преображенцев с четырьмя пулемётами повернул направо чуть позади себя, закрыв Бассейную улицу и задний конец Басковой. Одним взводом с одним пулемётом запер выход с Артиллерийского переулка. (И вдруг обнаружил, что пулемёты не заряжены. Кутепов уже отучился сегодня вскипать или вскрикивать, всё походило на чёрт знает что, – но гневно посмотрел на командира пулемётной полуроты. Этот идиот или недотёпа повторял, что в кожухах так и нет воды и глицерина, что они не достали и стрелять не могут. Значит, все 12 пулемётов были только для показа. Ну что ж, спасибо и на том).

А по левой стороне Литейного – шли сплошные здания, ничем враждебным себя не проявляющие. Так Кутепов отгородился и создал маленькую висящую зону – но свою.

А всё это время много солдат-литовцев через выбитые окна первого этажа выскакивали на Литейный – чаще с винтовками и даже в караульной амуниции, – и собирались тут на тротуаре невраждебными кучками. Можно было понять, что сюда выскакивают не те, кто согласны идти с мятежниками, те валят на Баскову. Однако офицеры Литовского батальона по-прежнему стояли группкой вокруг своего полковника и никаких распоряжений этим дружественным солдатам не отдавали. Кутепов послал преображенского унтера привести к себе с десятков таких солдат. Они чётко, подтянуто явились с ним. Самый бойкий из них заявил, что в казармах такая суматоха, они не знают, что делать. Они не хотят нарушать дисциплину и хотели бы остаться на местах, но им не дают, выгоняют.

Да вот эти солдаты и были следующим резервом, можно было учетвериться и удесятериться, только не с такими офицерами! Кутепов распорядился, чтобы дворники противоположной стороны проспекта отперли два двора, – и велел командиру Литовского собирать этих всех солдат во дворы, приводить их в порядок и формировать.

Теперь предстояло потрудней: забирать солдат от мятежников. В это время один кексгольмский унтер доложил Кутепову, что и там, на Басковой, толпа выгнанных солдат стоит совершенно мирно и спокойно – и один унтер Волынского батальона просит кого-нибудь из господ офицеров прийти туда. Затем и посланный Преображенский унтер

вернулся с тем же: солдаты очень хотят построиться и вернуться в казармы, к обычной жизни, но боятся, что один раз выбежали и теперь их будут судить и расстреливать, – и просит волынский унтер кого-либо из офицеров прийти, успокоить, построить.

Попали мужики в чужом пиру!

Кутепов позвал литовского полковника и сказал ему:

– Ведь там больше всего – ваших солдат. Я удивляюсь, неужели вы боитесь своих солдат? Это ваш долг – пойти и выручить их.

Но полковник меланхолически качал головой. Он был напуган, и страх его не проходил.

Тот волынский унтер боялся прийти сюда, чтоб его тут не арестовали. Офицеры боялись пойти туда, чтоб их там не растерзали. Всё качалось как на весах.

– Хорошо, пойду я, – сказал Кутепов.

И оставив всех при своих командах, ещё раз оглянув кусок Литейного, где уже не мелькало ни единого штатского, ещё глянув вперёд на чёрный дымовой столб у Окружного суда – минуты не ждали – прогулочным военным шагом пошёл по Артиллерийскому переулку.

Уже тут толпилось немало солдат, Кутепов миновал их в одиночку, без вестового, без адъютанта, – а за углом Басковой было их множество, всё запружено. И тут сразу на углу к высокому полковнику подошёл отчётливый унтер-офицер Волынского. Неотнимчиво держа под козырёк, он доложил, что солдаты все хотят вернуться по своим казармам, но боятся, что их теперь всё равно уже будут расстреливать.

Огромные тысячные весы зависли – и маленькой гирьки хватало туда или сюда.

Но Кутепов знал за собой обладание разговаривать с целыми полками. И входя в толпу солдат, а головой возвышаясь над многими, он громко объявил:

– Всякий, кто сейчас построится и кого я приведу, – расстрелян не будет!

Передние десятки услышали, вспыхнули радостью их унылые лица, они кинулись – к этому уверенному полковнику! Но не мелькнуло сомнения, что враждебно, – они заглядывали в его чёрные глаза, вполне крупно открытые, яркие, они схватили его, как не смели бы хватать офицера, своего ли, чужого, – бережно, многими руками, – и подняли, подняли на вытянутых, и вперевод:

– Ваше высокоблагородие!... Ваше выскродь!... Повторите вашу милость!... Им всем – повторите!... Ещё разок!...

С поднятых солдатских рук Кутепов теперь над головами хорошо видел всю короткую Баскову улицу, упёртую в Бассейную – и всю забитую стоящими солдатами Литовского и Волынского батальонов, сколько-то солдат в артиллерийской форме, а ещё отличил несколько штатских. И сразу же истолковал их себе, конечно. И из своей взнесенности всею силой командного голоса объявил:

– Солдаты! Те лица, которые толкают вас сейчас на преступление перед царём и родиной, – делают это на пользу нашим врагам-немцам, с которыми мы воюем. Не будьте мерзавцами и предателями, а оставайтесь честными русскими солдатами!

И с разных сторон – голоса:

– Мы боимся – нас теперь расстреляют!... За то, что мы вышли!...

– Нет! – громогласно ответил Кутепов, – кого я сейчас приведу – не расстреляют!

А два-три голоса – из тех штатских? – подзудили тотчас:

– Товарищи! Он врёт! Вас расстреляют! Вам отступленья нет!

А Кутепов – своё, оглядывая налево и направо:

– Приказываю вам построиться! Я – полковник лейб-гвардии Преображенского полка Кутепов, только что приехал с фронта. Если я вас приведу – то никто из вас расстрелян не будет! Я этого не допущу! Унтер-офицеры! Стройте своих солдат!

И приказал нижним – спустить его на землю.

Зашевелилась вся Баскова улица, зашевелилась толпа, разбираясь, – но мудрено было в такой тесноте разобраться, это Кутепов и сам понимал, должен был сразу скомандовать, не

сообразил. Но теперь подходили унтеры, со всею выправкой и чётко руку к козырьку:

– Ваше высокоблагородие! Очень перепутались. У некоторых рот нет унтер-офицеров. Разрешите строиться по названию казарм.

А тот самый первый волынский унтер доложил, что их две роты помещаются не в этих казармах, а напротив, – и просил дозволения свои роты увести туда во двор. Кутепов разрешил.

А тут же рядом в десяти шагах, на углу Басковой и Артиллерийского, была шапочная мастерская – теперь оттуда выскочил десяток штатских и – намётанный взгляд Кутепова сразу отличил – писарей Главного штаба. У одного из писарей заметил револьвер на поясе, пришло писарское время воевать!

Можно было их задержать, вполне бы ему солдаты это сделали, – но Кутепов не хотел вносить замешательство в главное движение.

Первый унтер кричал: волынцы таких-то рот – за мной! – и вёл их в противоположный двор. Другие унтеры в разных местах командовали строиться по своим казармам, а были и возгласы:

– Вас расстреляют! Бей его!

Надо было всё-таки тех хватать...

И часть солдат не стала разбираться, а побежала в ещё незакрытую сторону Басковой – к Преображенскому собору. Другая, большая часть успешно расходилась по казармам.

Около себя Кутепов удержал человек двадцать литовцев, из тех, что его поднимали, и с ними пошёл по рассвобождённой Басковой в сторону Бассейной, где выход запирала его Преображенская рота.

Он велел поручику одним взводом с пулемётом закрыть теперь и Басков переулок, чтоб оттуда не подывали больше, и охранять от внешнего проникновения ворота, куда уже ушли две порядочных роты разумного унтера. И послал передать тому унтеру свою благодарность и временное назначение командовать обеими ротами.

Если не перетянул Кутепов тысячные весы, то, кажется, начал удерживать...

Тут пришлось вернуться быстро на Литейный: от Орудийного завода стали обстреливать выдвинутых вперёд кексгольмцев.

Кутепов приказал кексгольмской роте открыть ответный огонь, обстреливать Орудийный завод и начать движение вперёд, выйти к Кирочной улице и одною полуротой распространиться по ней, если там будет толпа – рассеять огнём. Другой полуроте идти к Орудийному и (петербургская память, там же казначейство!) проверить, укрепить караул в казначействе. (Не просто были камни за камнями, но жизнь столицы). А одной роте преображенцев параллельно идти по Басковой вперёд к Преображенскому собору и очищать прилегающие переулки.

Не так уже далеко был и Литейный мост, а дым от Окружного суда стлался всё гуще, наполнял верхи улиц, отчего вся картина становилась вполне фронтовой.

Но офицеры напоминали Кутепову, что их роты сегодня не получали горячего, а преображенцы даже и не ужинали вчера (забыл спросить Аргутинского: как же мог он не кормить рот в наряде!).

Дозвониться до градоначальства не удавалось никак. Тут случился Преображенский интендантский штабс-капитан – и Кутепов послал его срочно к Хабалову: потребовать немедленной доставки пищи солдатам. Просить прислать пулемёты боеспособные, а не такие.

И наконец, объяснить же происходящее: кто где, и что делается в остальном городе?

Когда известия на нас обрушиваются – в ту минуту мы не можем охватить их. Стоял Протопопов у телефона в утреннем халате, в ночных туфлях, – ну, в одной учебной роте убили одного офицера, – военный эпизод, и его касаться не может. Даже поколебался, не

лечь ли опять. Да нет, испорчено утро. И не вселилась сразу тревога, вяло шёл в ванную, набраться сил от горячей воды. Но ещё не наполнилась ванна, а он стоял рядом под шум крана, как – кольнуло его! Не сегодняшнее, вчерашнее. Вчера, в воскресенье, когда он обедал у Васильева, и тот уверял, что революция обезглавлена, арестован 141 революционер, – сам между прочим сказал, что собирается эту ночь дома не ночевать, опасаясь захвата революционерами из мести. Так это неожиданно проявилось, Протопопов изумился: что же, в городе – не мы хозяева? Чего бояться? – «А наши все дома им известны», – сказал Васильев.

Вчера Протопопов это забыл, но сейчас у ванны вдруг вспомнил, и так ему ясно открылась правильность мысли: наши все дома им известны! А уж дом-то министра внутренних дел, Фонтанка 16, кому не известен! Тут, у подъезда, бывало дежурили в пролётках террористы с бомбами, выслеживали министров – и удачно. И это – при полной силе власти, – а при теперешней неустойчивости?

И так заволновался, что уже не мог вступить в ванну и спокойно нежиться в ней. Так заволновался, что уже и удивлялся: вот, лежал в постели спокойно, вот спал все эти ночи беспорядков. Конечно, есть охрана, стоят преображенцы, но если подойдёт такая взбунтовавшая рота – ведь и схватят? А если взбунтовались волынцы – то почему и не преображенцам из караула?

Дрожно было представить своё тело, схваченное разъярённой толпой.

А уж **его** -то ненавидят! Уж его-то! Уж ему-то и нельзя оставаться дома!

Почувствовал Протопопов, что сегодня он и при благоприятных обстоятельствах ночевать дома не останется.

Так начал он день – не выспавшись, немывтый и натошак. Оделся и пошёл в кабинет. Не мог собраться с мыслями: что нужно делать? Никакие рядовые будничные дела не принимались. Вчера – павловцы, сегодня – волынцы? Вот уж чего никак нельзя было ожидать – военного неповиновения! Никаких таких сведений не поступало – да и откуда бы? Отменил Государь политическое осведомление в армии. Случайно кто-нибудь, чей-нибудь знакомый, попавший в армию, пришлёт письмо, вот и все сведения.

День начался – и обречён был министр внутренних дел не работать, не управлять, а – узнавать новости. И не от ответственных государственных лиц, но от дежурных секретарей, от офицеров для поручений, от курьеров, кто где сам только что был и видел или от других слышал. И потом самому звонить: в Департамент полиции, в Охранное отделение.

Везде были в ужасе, и никто этого не мог ожидать. На сторону восставших переходила одна воинская часть за другой, захватывалась одна улица за другой, вот уже и Арсенал, и разбирают оружие!

Да ведь был же какой-то план подавления, почему же военные не подавляют?

И совсем же рядом, по всей Литейной части, бродили восставшие солдаты! – и в любую минуту толпа могла прийти громить дом министра внутренних дел, это же естественная первая мысль для бунтовщиков!

Не то что ночевать – нельзя было и днём оставаться здесь долее ни часа, он должен был уходить, бежать – но куда?

Было очень заманчиво и надёжно – к Воскобойниковой, но неудобно именно потому, что – Царское Село, и государыня чего-то же ждёт от него. А – чего? а что он может?

Его долг перед царской семьёй и перед собой – вот что скрыть: главные бумаги. Черновики писем к Государю. К государыне. Письма Вырубовой к нему. От Воейкова. (Он уже собирал, он уже совал поспешно, как попало, в большую папку). Да, и вот эти фотографии, сделанные тогда для царской семьи: как ловят тело Распутина из реки и фотографии с мёртвого. Это был из высших моментов деятельности Протопопова! Но этого – не надо оставлять, это – компрометация.

А сохранить вот как. Он призвал своего доверенного, Павла Савельева, бывшего семёновца, потом жандарма, исключительно твёрдого и молчаливого человека. Когда сослали князя Андроникова за интриги в Рязань – а человек влиятельный, ещё может быть

полезным, надо смягчить его участь, тайно послать ему тысячу рублей, – через кого? Через Павла Савельева. Тайные поручения, с кем неудобно встретиться, да многие конфиденциальные дела, никогда не выдавал.

И Протопопов позвал его. Запер кабинет. Очень было тревожно. Передавал ему папку, объяснял: всё сохранить надёжно, у себя дома.

Посмотрел в его честное твёрдое лицо. Не выдаст.

Отпустил.

Отпер несгораемый шкаф. Там лежал военный шифр, пусть лежит, ещё кое-что, да, и 50 тысяч рублей простым свёртком в газетной бумаге. Эти деньги совсем недавно сунул ему граф Татищев за то, что Протопопов дал на сутки посмотреть тайные бумаги – обвинения против Хвостова-племянника. Эти 50 тысяч потом предназначила государыня на обеспечение семьи Распутина. Отдать Савельеву? Уже ушёл. Да не вводить людей в искушение, пусть остаются здесь.

Шкаф – запер, ключ положил в письменный стол, теперь запер и стол. А этот ключ – уже взять с собой.

И всё.

И всё? Ещё не завтракал. А и не хочется, глотка сухая, всё горит внутри, руки дрожат. Куда бы уйти скорей? Ведь каждую минуту могут ворваться. А при том клекотаньи несправедливой ненависти, которую он почему-то возбудил во всём обществе, – именно ему и опаснее всех попадать в руки мятежа!

Перешёл в квартиру. Жена усадила завтракать. Еле-еле глотал. Объяснил ей, что оставаться ему далее нельзя.

Но – куда уйти? И под каким предлогом покинуть министерство?

Тут вызвали к телефону. Взял трубку.

Градоначальник Балк. Говорил резко, как швырялся фразами. Сообщал, что бунт беспрепятственно быстро разрастается, захватил уже и Выборгскую сторону, мятежниками захвачен Финляндский вокзал. А Николаевский держится. Что против волнений держится единственный отряд полковника Кутепова, но поздно уже возлагать на него надежды. Что к вечеру может наступить в столице полная анархия.

Боже, какой ужас! Бездонно падало сердце Александра Дмитрича. Он не понимал, что он может ответить Балку, и зачем они его мучают и спрашивают, ведь вся власть передана военным.

– А-а... что нужно предпринять по-вашему? – осведомился он.

Вместо своих прямых дел градоначальник посунулся: что надо предупредить Государя о происходящем и надо послать надёжную конную полицию в Царское Село для охраны семьи.

Советы эти были бесцеремонны. И послать конную полицию – значит обнажить столицу, они просто хотели уклониться от боя. В Царском Селе – много войск, там охрана достаточная. А сообщать Государю о военных событиях – прямая обязанность властей военных. Да даже он уверен, что они уже вызвали себе войска на помощь. Так уверен, что сказал:

– К вечеру подойдут с фронта свежие войска. Продержитесь ли вы до вечера?

Градоначальник обещал.

– И да хранит вас Господь Бог, я рад, что вы спокойны!

И отделался от трубки.

Докладывать Государю? – было нечего в такой неясной обстановке, и немыслимо взваливать на себя первый груз этих мрачных известий, а может быть ещё и исправится. Не далее, как минувшей ночью он уже послал телеграмму Государю – и теперь надо было подождать хотя бы до вечера.

Почему он сказал, что свежие войска подойдут к вечеру? Он сам не знал. Просто –

этого быть не могло иначе! Он – хотел в это верить.

Но – куда же уходить? С каждым четвертьчасом улицы всё наполненней – и всё меньше шансов вообще куда-нибудь выбраться.

А Протопопова так ненавидят! Его – первого растерзают, не пощадят!

И опять звонок! Ах, не ушёл от трубки!

Князь Голицын. Сейчас собирает совет министров. Для безопасности – опять у себя дома, на Моховой.

А это замечательно! Вот и выход! И тут совсем близко, можно добраться задними улицами, без помех. Только поверх сюртука надеть – не форменное пальто.

И выйти из министерского дома не передним ходом – слишком всем заметно, может быть наблюдение от революционеров, – а задним. И дальше пешком.

Не предупреждая ни караулы, ни служащих. А автомобиль – пусть потом подгонят к дому князя.

Последняя мысль была, что может быть – государыне что-то написать, послать, протелеграфировать?

Но ничего утешительного он не мог ей сообщить. Да и сам не знал, не понимал ничего.

90

Ещё позавчера заказала государыня Лили Ден приехать к ней в Царское в понедельник. Сегодня утром, часов около 10, Лили была ещё в постели, когда услышала телефонный звонок. Не так быстро она к нему поднялась, и императрица спрашивала:

– Да вы, Лили, недавно только встали? А я хочу, чтобы вы приехали в Царское с поездом в десять сорок пять. Сегодня чудное утро, мы поедем кататься. Я встречу вас на вокзале. Вы побудете у нас и ещё успеете вернуться в Петроград с четырёхчасовым.

– О-о! – только успела отозваться Лили и кинулась одеваться. Надела немного колец, браслет, схватила перчатки, поцеловала Тити, оставляемого с няней, – и кинулась на улицу поймать извозчика.

Но не тут-то было! Лили совсем позабыла, что в городе в эти дни – беспорядки, и сейчас, сколько она ни высматривала, ни один извозчик нигде не мелькал, ни даже на Садовой. Да и трамваи же не шли, полные беспорядки!

Но как раз отъезжал живший рядом с Ден моряк, капитан Саблин, тоже флигель-адъютант, как её муж, и очень близкий друг царской семьи. Она помахала, помахала ему ручкой – он заметил и принял её в экипаж.

– Да вы не прямо ли в Царское Село? – спросила его.

– Нет, сегодня не собираюсь.

– Так пожалуйста, доведите меня поскорей до вокзала, государыня будет встречать на станции, невозможно опоздать!

Саблин велел кучеру гнать.

Улицы были как улицы, в проходящем народе ничего особенного.

– Какие новости, капитан?

– Да никаких особенных. Только странный этот недостаток хлеба. И вчера стреляли на Невском. И сегодня откуда-то слышится. Но я думаю, всё наладится скоро.

С очаровательной подкупающей улыбкой, весёлый, передавая успокоение и тысячу приветов Ея Величеству, Саблин проводил Лили на платформу – и уже к самому отходу поезда.

А в вагоне Лили увидела госпожу Танееву, супругу главного управляющего государевой канцелярии и матушку Ани Вырубовой, которую навестить в болезни она и ехала.

И кроме болезни дочери госпожа Танеева ничем не была обеспокоена, никаких петроградских новостей не знала.

Первое встревоженное лицо они увидели – близ мирной царскосельской станции в сверкающих сугробах, – лицо императрицы. И первые возбуждённые слова её были:

– Что в Петрограде? Я слышала – положение очень серьёзное?

Но решительно ничего серьёзного они не могли ей сообщить.

Коляска покатила. Утро было – великолепное, покорительное, небо – голубое, как в Италии, и снег повсюду лежал глубоким наслоем и сверкал радостно. Хотели ехать через парк, но там слишком много сугробов, поехали по улицам.

Пышноснегое Царское было мирно как всегда – и придворные иногда кареты с кучерами в красных ливреях добавляли праздничности.

Встретили капитана из Гвардейского экипажа, стоявшего последние недели в Царском Селе. Государыня велела остановить, подозвала капитана и спросила его об опасности. Капитан улыбался и заверил, что никакой опасности нет.

Ну, слава Богу, тут хватало и своих внутренних: с утра Алексею стало хуже, не упала температура, как должна утром, и на новых местах выступили пятна, видно лёгкой формой ему не отделаться. Приехали во дворец – государыня послала Лили навестить двух больных дочерей, а сама отправилась к наследнику. Прогулка их откладывалась, душевного настроения не было.

Между первым и вторым этажом существовал лифт, которым всегда поднималась государыня к детям, ей трудно было по лестнице. Но сегодня лифт испортился – и было в Петрограде что-то серьёзное или нет, а мастера не удавалось вызвать.

По характеру Александре Фёдоровне трудно было ограничиться заботами семейными, когда нависали государственные тревоги. Вчера послала она телеграмму Государю, по обычной телеграфной стеснительности, – сколько рук их передаёт, – выражаясь сдержанно, что очень озабочена положением в городе. Однако прошёл вечер – была единственная ласковая телеграмма, и не в ответ. Никакого отзыва на события, очевидно Государь знает достоверней. Склонялась государыня принять, что всё – пустяки, но вчера же вечером добился у неё приёма крупный правый журналист Бурдуков – и представил ей положение в Петрограде как катастрофическое. Он-то и напугал.

А Ставка – молчала, ничего не предпринимала. И ничего не докладывал Протопопов, – уж он бы, если что!...

Но недолго просидела государыня у сына – вызвали. Командир охраняющего дворец Сводного гвардейского полка генерал Ресин и помощник дворцового коменданта генерал Гротен с торжественно бледными лицами докладывали ей, что взбунтовались Волынский и Литовский батальоны, перебили своих офицеров и вышли из казарм.

Бунт в гвардии?? Поверить невозможно!!

Но генералы ждали от неё указаний.

Что же она могла им указать?

А уже сколько раз складывалось так, что она должна была решать без мужчины. Ах, так и было чувство, когда Ники уезжал, – что не надо ему уезжать, что без него тут пойдёт плохо!

Да если б она была не женщина, и в 45 лет переполненная болезнями, если б только одним своим духом, – она готова была на простое движение – сама вскочить на коня!

А Протопопов – молчал! А лишь по его заверениям, что всё будет в совершенном порядке, согласилась Александра Фёдоровна отпустить мужа в Ставку. Предполагалось, что Царское остаётся на заботы министра внутренних дел, да каждый день будут весточки или даже приезды (ещё ведь и нежное влечение Протопопова к одной сестре в лазарете Ани, как трогает эта неисполнимая любовь пожилых сердец). Но вот – четвёртый день бушевал Петроград – и где же была власть министра внутренних дел? И где же была подъёмная лёгкость его голоса, передаваемая даже по телефону? Сейчас – только и мог успеть телефон. И где же он был?

Не было звонка от Протопопова – она решила звонить ему сама. В такие густые события мог быть занят номер – но оказался свободен.

Свободен – но не отвечал.

Звонить, звонить! – требовала императрица от телефонисток, сидя сама у себя в

спальне под портретом Марии Антуанетты.

Трубку взял какой-то случайный служащий. Доложил, что министр то ли вышел, то ли выехал, неизвестно куда, никто не знает, не видел.

Ещё странней.

Или – поскакал в гущу? решительно сам давит мятеж?

Но – висела, наливалась тяжестью каждая минута, прежде чем упасть.

А Ставка – тоже молчала.

И только одно государыня могла сделать – не щадя сердца Ники, как ни больно ему будет это прочесть, отправить ему тотчас телеграмму (писала размашисто):

«Революция приняла ужасающие размеры. Знаю, что присоединились и другие части. Известия хуже, чем когда бы то ни было».

Это будет удар по сердцу мужа, но и откладывать дальше нельзя.

А ещё – что она могла предпринять?! Ухаживать за детьми да ждать обрывистых сведений из города.

Ах, эти гадкие твари думцы! – ведь это всё разбудили и всполошили они!

О, не выдерживало сердце! Минуты – текли часами. А – часы?...

А Ставка – молчала. Государь как будто не ведал ничего или уж слишком много знал.

Городские события настолько нарушили нормальную государственную жизнь, что не могла императрица позвать и принять какого-нибудь государственного деятеля, как это бывало в недавние месяцы, – ни расспросить, ни направить, ни указать. Не могла вызвать – а сами они не шли: никто не заявлялся, не приезжал, даже не звонил. И Саблин, из самых верных, – вот с Лили неужели не мог приехать? И питалась императрица случайными сведениями, от камердинера Волкова, от камеристок, едва ли не от дворцовой прислуги (не было ведь и газет!). Она оказалась вдруг не властительницей огромной страны, но ото всего отрезанной матерью больных детей.

И вдруг ей доложили, что просит о приёме флигель-адъютант Его Величества Адам Замойский.

Замойский? Но он же в Ставке. Откуда?

Граф Замойский... Государыня его никогда не любила. В начале войны добровольно поступил в армию рядовым – но конечно сразу подхвачен Николашей в Ставку, произведен в корнеты, потом ни за что – Владимир с мечами, с прошлого года и флигель-адъютант. И использует место, считала она, чтобы чаще напоминать о Польше.

Ну, зовите!

И вошёл знакомый ей Замойский, но – с незнакомым, не будничным, драматическим видом – и это сразу передавалось сердцу. Не обычен был его приход, и строгий вид его, сохраняющий гордость при низком поклоне почтительности, и суховатый тон в произнесении страстных слов:

– Ваше Императорское Величество! Оказавшись случайно в Петрограде и будучи свидетелем событий, я почёл за долг не возвращаться в Ставку, но явиться к Вам и предложить Вам свою шпагу.

И стоял, гордо-почтительно.

Ах, польский гонор! – ты несравним! Висела на боку его простая офицерская шашка – но верно, да, только шпагою она и могла быть названа в этот момент! У государыни выступили слезы.

– Благодарю вас, благодарю вас! – протянула она ему руку для поцелуя.

У неё была масса войск в охране, ничего не добавляла ей одна шашка и один револьвер, – но сколько же добавляла подкрепления духу! Пока оставалась такая верность – оставалась надежда.

(А она никогда ничем не выделяла этого флигель-адъютанта. Она даже препятствовала проезду его легкомысленной жены в Могилёв, чтоб сохранить строгие нравы Ставки. А

когда ожидался в Ставку Николаша – предлагала удалить ЗамоЙского на это время).

Но от ЗамоЙского же теперь узнала впервые столько потрясающих петроградских новостей и общую картину – что распахнуты все тюрьмы и все беглецы из острогов стали во главе мятежного движения, а Дума, конечно, присоединилась к нему. А главное: казаки! – незаменимая опора российского трона – изменили и оказались заодно с мятежниками!

После потери казаков уже не за что было держаться.

Тут ещё добавили – приехавший из Петрограда отец Ани Вырубовой, и какие сведения притекли по телефону к Бенкендорфу, к фрейлинам. По рассказам – уже полгорода было захвачено, если не весь.

И негибаемая императрица, никогда не поддававшаяся и не поддававшая мужа своего требованиям всей этой рвани и образованной черни, теперь впервые расплавилась как перед ликом вулкана. И в час дня она отправила загадочно молчащему Государю:

«Уступки необходимы. Стачки продолжаются. Много войск перешло на сторону революции».

Про казаков – она не могла вымолвить!

91

Прапорщик Георгий Шабунин любил заниматься с солдатами – как с детьми, которых бы он обучал, окончи университет в мирное время. Это и был самый неподдельный народ, которому Шабунин и мечтал служить, неся свет и знания. Но суждено ему было из университета не поехать к народу в глубь его тёмных сёл, а в несколько месяцев пройти школу прапорщиков, – и вот Народ сам пожаловал к нему сюда, в натолканные казармы на Выборгской стороне. Шабунин, и не будучи дежурным, часто ночевал в расположении батальона, в своей ротной канцелярии, оставался с солдатами на вечерние внеслужебные часы, писал им письма домой, подучивал их грамоте, беседовал – но отнюдь не в революционном духе. И с солдатами Шабунин себя хорошо, вольно чувствовал, а к офицерскому бытию что-то не мог привыкнуть, старшие офицеры ловили его на упущениях и цукали. И даже в последних днях он был опозорен командиром батальона перед всеми офицерами: тот вызвал их всех в библиотеку офицерского собрания при оружии, вызвал Шабунина вперёд и выговорил, что на днях в трамвае он не потрудился полноустаново отдать честь моряку, капитану 1 ранга, а лишь привстал со своего места и отдал честь полусогнувшись. Шабунин залился краской под выговором. Но там в трамвае как-то некрасиво и неловко было бы вскочить и отмахивать на полный взмах, да и шашка же мешала.

Все последние дни многочисленных отсылок в заставы и караулы занятия в батальоне почти прекратились, но Шабунин пытался заниматься с оставшимися. Так и сегодня со своей полуротой «В» учебной команды он начал учебные занятия по обращению с винтовкой, они чуть не впервые её держали, ещё не умели толком ни заряжать, ни прикладывать ложе к плечу.

И так сегодня он мало знал, что делается в городе или тут, вокруг московских казарм, – как вдруг все они услышали близкие частые ружейные выстрелы – а холостых патронов у них в батальоне не содержалось!

Но тревоги по батальону не было дано, выстрелы утихли, Шабунин продолжал заниматься.

Прошло полчаса или больше – раздались выстрелы с Лесного проспекта, и много, перестрелка.

И тут Шабунина вызвал начальник учебной команды капитан Дуброва. Его всегда грозное лицо было перекошено. Он объявил, что мятежники бушуют всюду по Выборгской стороне, – и прапорщику Шабунину со своей полуротой немедленно выйти отрядом заграждения на Лесной проспект за ворота – и никого постороннего на территорию казарм не пропускать.

Шабунин осмелился напомнить, что его полурота имеет сегодня лишь второе занятие с огнестрельным оружием, – но Дуброва приказал поспешить с исполнением.

Пока строил своих неумех – к нему подошло ещё двое молодых прапорщиков в его распоряжение, Кутуков и Яницкий.

А когда выходили на Лесной через ворота в деревянном заплоте – подъехали сани с тяжело раненым, в живот, без сознания, смертно-бледным поручиком Вериго.

Строй расступился, пропуская сани в ворота.

Ещё два прапорщика догнали отряд Шабунина с приказанием собрать и взять в управление отряд Вериго.

А где отряд или остаток его? где он рассеян? Одного прапорщика послал Шабунин собирать.

Противника тоже не видно было, Лесной почти пуст. А по ту сторону проспекта – пустыри, и тянулся забор, а за ним финляндская железная дорога.

Шабунин распорядился поставить две цепи поперёк Лесного, направо от ворот погуще, налево пореже.

И сам стоял при правой цепи.

И тут вдруг показался из-за угла и лёгкой быстрой походкой пошёл к цепи – студент-политехник, в студенческой фуражке и холодном пальто.

И такой он был родной, свой, привычный, до того лёгкая походка и взгляд, – Шабунин видел в нём своего, он ещё и не привык как следует, что сам-то в шинели и сам чужой.

И студент, озирая поперечный строй, который и не мешал одиночному проходу, – сразу выцелил Шабунина и шёл прямо на него.

Не знал Шабунин этого студента – но даже почти знал, до того он был знакомый, типичный, светлоглазый. И знакома была манера речи, как он спросил незатруднённо и громко, чтоб слышали и солдаты:

– Господа! Неужели будете в **народ** стрелять?!

Порывный, сшибательный вопрос! В народ-Страдалец, в Народ, перед которым мы извечно виноваты десятком образованных поколений, – в Народ, конечно, Шабунин стрелять не будет и не даст. Но этот общий, всем известный Народ – где он тут был сегодня на Лесном?

Да как раз в его безусой, неумелой, оробелой полуроте. Она и слушала: что ответит прапорщик?

Сердце Шабунина оставалось открытым и даже навстречу рвущимся этому студенту – но при солдатском строю и при других прапорщиках он не мог ответить ему в таких выражениях. И скрывая свою принадлежность к тому же ордену, удерживая взгляд и тон, как-то ж изменили его полгода военной службы, он постарался ответить сурово:

– Проходите своим путём, чтобы мне вас не задерживать.

Студент вскинулся, как не ожидал такого ответа, но больше наигрывая. И прошёл насквозь. Удалился.

Так и стояли на пустом Лесном. Лишь отдельные пешеходы, их пропускали.

Потом из-за поворота, с Тобольской, стали доноситься крики. Потом стал выезжать оттуда задним ходом, пятясь сюда, грузовой автомобиль-платформа с красным флагом на кабине, полный штатских и солдат, – а у края платформы стояли два пулемёта, и пулемётчики молча наводили их сюда, на полуроту. На штыках солдат тоже болтались красные обрезки, и красной же материи куски были прихвачены у кого к груди, у кого на рукав, в обмот. Так это было всё театрально, необычно – будто позабавить хотели полуроту и уж конечно не стрелять по ней, беззащитной.

А новобранцы, видно было, перепугались вусмерть, дрог пошёл по рядам.

Шабунин скомандовал цепи взять на изготовку.

Взяли.

Нет, только брали...

Нет, кто брал, кто не брал...

Никто не брал, а рассыпались из строя!
И стали убежать в малую калитку при воротах.
И всё это – мгновенно.
И по другую сторону от ворот цепь рассыпалась – и в ту же калитку.
А грузовик – пятился, наставляя пулемёты.
И с него спрыгнул крупномордый Преображенский унтер с красным флажком на штыке:

– Сдавайся, благородия!

И думать некогда, и открывать огонь невозможно, да некому: рассыпался строй.
Убегали, теснясь, давясь в калитку, крича.

И ещё застреляли откуда-то сбоку, кажется с насыпи железной дороги.

И оставалось четверым офицерам – только отступить к той же калитке.

И за последними втиснувшимися солдатами войти туда.

И запереть её на засов.

А полурота – как бесновалась, лишась рассудка. Не слушалась офицеров – но и не бежала, и даже теперь, через забор, кинулась защищаться: из соседнего штабеля хватили поленья и кидали их туда, через забор.

Солдаты стали неуправляемы. Снаружи толпа заорала, завывала – и солдаты отсюда тоже.

Но пулемёты снаружи не стреляли через деревянные ворота. (Может быть те и обращаться с пулемётами не умели?)

Оттуда – стали сильно ворота толкать и раскачивать, и со звериным воем.

От ворот на казарменный плац вёл узкий проход между манежем и цейхаузом – Фермопилы. И в нём осталось четверо прапорщиков.

Переглянувшись – достали револьверы.

И – протянули их к стрельбе, – отступая, отступая от ворот.

А ворота со скрежетом, треском – рухнули!

И оттуда – хлынула толпа чёрных пальто и серых шинелей, все в красных лоскутах.

Ворвались! Но увидели поднятые на них револьверы.

Тишина.

Молоденькие, да просто мальчики, все с учебных скамей недавно, шаг за шагом четверо прапорщиков отступали с выставленными наганями. Почему-то им, четверым новичкам, досталось защищать столетнюю твердыню лейб-гвардейского полка – и звончей того рёва, который опять поднялся в напирющей толпе, в их ушах дозвучивало:

– Господа! Неужели будете в народ стрелять?!

Но додумать им не пришлось. Из медленно наступающей толпы выскочил вперёд в чёрном треухе с искажённым лицом рабочий – и первый выстрелил из револьвера в них.

Промахнулся.

И тогда Шабунин вполне уверенно выстрелил в лоб его, скраденный шапкой.

И тот рухнул лицом в снег.

Миг молчанья опять, пресекая крик толпы.

И четвёрка офицеров отшагивала дальше, пятась.

Уже кончались Фермопилы между зданьями, и за спинами прапорщиков распахивался широкий плац. Но помощь оттуда не подступала к ним.

Да могли они помнить, что и нет её вообще.

На всей Выборгской мятежной стороне неоткуда было ждать им помощи. От гвардейских батальонов из центра? – но вот и Преображенский унтер был при пулемётах. Из Действующей армии? – но не сегодня. Птицами всё пронеслось в голове Шабунина вмиг. И вся несостоявшаяся жизнь его и радостная деятельность.

Почему-то они, четверо тонких, перехваченных свежими ремнями и даже со свистками в гнёздышках на наплечных ремнях, – должны были за всех и за вся удерживать эту толпу.

И когда выскочил второй рабочий с револьвером – Шабунин выстрелил прежде, и тот

упал в снег.

И толпа завывала снова – и вся заедино кинулась на них сразу.

И не по страху, который прийти бы не успел, но по простому разумному соображению они все четверо – кто стрельнув, кто не стрельнув – повернулись и легконогого побежали через плац, ещё придерживая такие помешные шашки.

Но в спину Шабунина кто-то толкнул как огромным бревном – и огненный всплеск из головы полыхнул на небо.

92

Явление полковника Кутепова очень подбодрило всех в градоначальстве: неоспоримо боевой готовный вид, которого даже и объяснить нельзя, из каких он чёточек складывается, а каждому здесь генералу было сразу видно, что этот полковник отличается ото всех них тут – отчётливостью решений, ясностью приказаний и сразу к делу. Не только не удивился, не заколебался, не отговаривался, – принял приказ, будто для того и приехал с фронта в Петроград. И через десять минут уже ушёл исполнять.

Настроение штаба очень окрепло, и ждали теперь конца волнений.

Но пришли известия, что мятежники уже валят через Марсово поле к Зимнему дворцу! И для отражения этой новой угрозы не было больше никакого отряда, как только вернуть отосланного Кутепова. Аргутинский-Долгоруков взялся нагнать его и повернуть.

Да уж куда б ни двигался – только бы двигался. Исчерпаны были все резервы и все возможности штаба Хабалова, нельзя же было до конца и свой штаб оголить без охраны. И оставалось им только по городской карте следить и предполагать, что где может дальше твориться.

А узнавать они могли только по телефонам. Так узнали, что захвачен Орудийный завод, при этом заколот генерал. Разгромлены и подожжены Дом предварительному заключению и Окружной суд. А брандмайор, приехавший туда с пожарной командой, звонил, что толпа не даёт ему тушить. Приказал Хабалов найти и послать туда второочередную команду, чтоб отгоняла мешающую толпу. (Но, кажется не нашли и не послали).

Как будто же состояло в Петрограде 14 гвардейских запасных батальонов – а резерв ниоткуда не натягивался. Одни батальоны отвечали, что совсем у них нет свободных рот или нет надёжных рот, некого послать. Лейб-гвардии Финляндский отвечал с Васильевского острова: две надёжных роты есть, но только ими мы сдерживаем остальной батальон, чтобы не взбунтовались. Никто не хотел рискнуть и послать. И Хабалов не рисковал взять на себя приказание.

Тут доложил инспектор классов Николаевского военного училища: его юнкера волнуются, хотят выйти с оружием в руках на улицу, чтобы навести порядок!

Хабалов перепугался: только этого ещё не хватало, вмешать юнкеров! – за них ответственности не оберёшься. И приказал полковнику: запереть ворота, двери, и ни под каким видом юнкеров не выпускать! И такое же распоряжение послал по всем училищам. Да уж он-то был по юнкерам специалист, он их образованием занимался.

Не было резервов, но и вот что: не было боеприпасов, даже десятка патронных ящиков. Никто не мог предполагать столкновения в городе, в центре нигде не осталось складов, кроме уже захваченных мятежниками, а остальные – на окраинах, и недоступны.

А от Кутепова не первый раз телефонировали, что надо озаботиться кормить солдат. Легко сказать! – а из каких запасов их кормить? И где же под рукой возьмёшь полевые кухни, что ли?

Хабалов понимал, что надо как-то действовать, – но не мог увидеть, угадать никакой возможной линии действия. А главное – никаких же резервов. И он опустил до безразличия, и костенел в нём. Как пойдёт. Может вынесет.

Единственное сообразил: ведь Государь ещё и вчерашних событий с Павловским батальоном может быть не знает. И тем более сегодняшних никаких. Так надо

телеграфировать хоть кратко – хотя и страшно взять на себя.

Составил телеграмму. И, удобно, добавил: что необходимо немедленно прислать надёжные части с фронта.

Никакого резерва войск не было – а все требовали прислать охрану. Требовала телефонная станция – на Морской улице, тут, у Гороховой. Это было самое важное из всего, послали туда взвод пехоты и 40 всадников. Требовал Литовский замок, арестантское отделение. Но в Петрограде состоял десяток тюрем – и разве есть сила их защитить? Потребовал охраны и князь Голицын, да не к Мариинскому дворцу, что понятно, но к собственной квартире на Моховой улице. Хабалов замялся: нет резервов. Да хотя бы человек двадцать, запереть квартал с двух сторон. Двадцать человек не помогут, только кровопролитие. Моховая – она там рядом с Литейным, в самом кипении.

Литейная часть была, видно, потеряна. А тут стали звонить из лейб-гвардии Московского, с Выборгской стороны – что мятежники прорвали Литейный мост, колоссальные толпы запруживают Сампсоньевский проспект, сопротивлявшиеся офицеры кто убит, кто ранен, роты ненадёжны и даже лучше удержат их в казармах.

Терялась и Выборгская часть?

Это было тем особенно плохо, что мятежники оставляли позади себя Охту и Пороховые, а если подожжётся, взорвётся один из пороховых заводов – от Петрограда ничего не останется. Задача возникала: как бы оттеснить мятежников от Пороховых к северу? Но опять же придумать ничего было нельзя, нигде нет готовых войск.

Градоначальник Балк уже докладывался утром по телефону Протопопову, но бесполезно, тот только спросил ответно: «И что по-вашему нужно делать?» И просил продержаться до вечера, а вечером подойдут свежие войска.

А Государь требовал – именно сегодня и прекратить все беспорядки.

Они тут, в градоначальстве, между собой, и должны были всё найти и спасти.

И для того к их услугам было три телефона, не перестававших работать.

И по одному – министр-председатель князь срочно вызывал генерала Хабалова к себе на Моховую.

Вот так-так... И штаб бросать – и ещё как доедешь?

Хабалов уехал.

А телефоны – телефоны продолжали надрываться, ведь это были всем известные телефоны градоначальства, а кто номера не знал – соединяли их барышни. Едва давали отбой одному разговору – звонили вновь. И все непременно требовали градоначальника.

Звонила графиня Витте, опасаясь за свой особняк.

Звонили неименитые обыватели, в тех же опасениях.

Звонила графиня Игнатьева: она молит Бога ниспослать градоначальнику сил.

Звонил бывший премьер-министр Трепов, ободряя. Он знает спокойствие Балка и уверен, что порядок будет восстановлен.

Звонил городской голова Лелянов, в очень хорошем настроении и чрезвычайно любезен. Он просит извинения, что отрывает градоначальника, но только что на заседании городской думы окончательно решено передать городу всё продовольствование, и он как председатель комиссии назначил её заседание на завтра в 4 часа пополудни. Завтра будут избраны представители городских районов, и продовольственный вопрос облечётся в более жизненную форму. Так вот, удобно ли для господина градоначальника это время завтра, присутствовать?

Звонил какой-то фронтовой офицер: толпу можно успешно рассеивать обыкновенными дымовыми бомбами. (Но не только не было у них с Хабаловым таких бомб, а вообще первый раз они слышали о таких).

Затем ворвались два офицера, требуя автомобиль для уборки раненых и убитых: неубранный вид производит дурное впечатление на публику. Собирались и другие неизвестные офицеры в приёмной. Настроение сгущалось. Истерически рыдал капитан Кексгольмского батальона.

Прорвалась француженка с прислугой, назойлива и несчастна: сегодня она нигде не может достать белого хлеба, а от чёрного хворает. Балк велел, и ей принесли на подносе французскую булку. Гостья пришла в восторг и ушла, расточая благодарности.

А от Кутепова сведения прервались.

Хабалов вернулся от министров ещё более угнетённый: своими глазами повидал, послышал на улицах.

Нет, надо всё же начать стягивать где-то новый резерв. И лучшее место для этого – Дворцовая площадь.

Стали снова телефонировать по батальонам – к семёновцам, к измайловцам, к стрелкам, егерям, гренадерам.

93

С утра приходили к Каюрову и говорили: сходятся рабочие к заводам! Но ещё между собой толкуют: становиться ли на работу или продолжать забастовку? В такую минуту листок нужен, а листка нет!

А среди них такого человека не было, чтобы мог сам листок написать. Может у Гаврилыча есть? Да и слишком просторно стало самим за ПК решать. Каюров ответственности не боялся, но и побаивался. За Шляпниковым первенства он не признавал, разве что иностранные языки, но и признавал.

И погнали Пашку Чугурина (за то, что у него ноги прыткие) – туда, на Сердобольскую: требуется срочно листок!

А сами сидели в Языковом переулке, в Новой Деревне, и обсуждали – выходить на работу или не выходить? Долго обсуждали. Хорошо, даже слёзно, говорил Шурканов, старый лысый, с Айваза. (Клепал на него Шляпников напраслину, что провокатор, а в райкоме его любили). Он говорил: во что бы то ни стало продолжать – и не останавливаясь!

Пригнал Чугурин от Шляпникова: листок пишут! Да кто ж пишет? Да прямо сам Гаврилыч, специальных никого близко. А велит: к работе ни в коем не приступать, а идти устраивать митинги близ казарм, так чтобы солдат заражать, чтоб они через забор наши речи слышали. А ещё – к ним в казармы посылать гонцов с записками. А о чём записки? Да о чём ни попадя: поддержите народ! долой офицеров! долой войну!

Да, пожалеешь, что у нас в казармах никакой партийной организации нет.

Но ежели к солдатам лепиться – а совсем без оружия? Если что серьёзное начинать – так оружие, а как мы с голыми...? Вот что, Пашка, катай опять к Шляпникову, скажи насчёт оружия последний раз, как запасть, иначе дело погибнет. И – листок приноси, давай!

Погнал Пашка.

Ну что ж, отрядили Хахарева устроить митинг около московских казарм со стороны Лесного, там и забор низкий и проломы в заборе есть.

А сами решили заседать непрерывно и ждать события.

На работу, говорили ребята, никто не становится.

А с той стороны Невы, выходили до ветру, как бы не постреливают. Далеко отсюда – а вроде постреливают.

Ох, наверно начался террор, расстреливают революционные силы, пируют.

Тут опять Пашка пригнал. Сказал Гаврилыч: никакого оружия, никаких боевых дружин, ну будет у нас двадцать револьверов, так что? Солдаты нас с земли снесут, мы не сила. А – склонять солдат, чтоб они с оружием переходили, вот выход.

Конечно, откуда ему оружия достать? Вот и выход.

А листок уже написан, вот бумажка, сейчас его в типографиях откатают – и чтоб на собраниях читать.

Почитали. А здорово клепать научился, неужели сам, говоришь? «...Царская власть привела Россию на край гибели. Народ обворован. Нечего есть, не на что жить. Черносотенная власть занята ограблением народа. На требования рабочих отвечают свинцом.

Палачи-солдаты, пьяная совесть...»

Скажи, аж в горле першит!

«Продолжать всеобщую стачку!»

Правильно!

Вернулся Хахарев с митинга от забора москвичей – говорили, говорили, что-то не помогает, не шевелятся солдаты, в казармах заперты.

А за Невой – сильней стреляют. И ближе.

Чего делать?

Ждём листка.

Ждали-ждали, между тем и завтракали, расходились кто куда, – а заседание считалось как бы продолжается.

Вдруг воротился Шведчиков, весь как озарённый:

– Ребята! Да в городе – солдатское восстание! Да уже Литейный мост перешли и Кресты освободили! Уже арестанты везде ходят!

Ну, радость! Ну, подскочили! Ну, запрыгали! Шурканов – всех целовать, Каюрова чуть не задушил.

А мы – сидим? А ну – разбежаться!

И кинулся Каюров сам к московским казармам. А там-то уже стрельба! А там уже – поддержка к нам привалила!

Да мало того: солдаты-москвичи поодиночке, кто без винтовок, кто и с ними, пробирались по одному через проломы или поверх забора – сюда, на Лесной. А дальше – боязно им самим и неловко, как это они часть бросили? Отаптываются, не знают, куда себя девать.

А Каюров – от роду решительный, вот уж никогда не занимал. Хоть ростом не выдатной, а голос пронзительный. Как закричал им:

– Что стоите, товарищи солдаты? Стройся!

Стали поталкиваться, строиться как-то неразборчиво. И посмеются над Каюровым: откуда мол строиться? да куда лицом? да во сколько шеренг?

А Каюров дальше не знал этих команд, ни одной.

94

В ночь на 27-е Государя не тревожили новыми сведениями из Петрограда, так что он покойно спал, как обычно.

Первая тревога была – утром доложенная дворцовым комендантом Воейковым вчерашняя вечерняя телеграмма Протопопова. Верней, и она была не такой уж тревожной: сообщала, что почти весь прошлый день порядок в Петрограде не нарушался. Только к концу дня пришлось рассеивать скопища, сперва холостыми патронами, но толпа бросала в войска камни, куски льда – и пришлось прибегнуть к боевым патронам, так что оказались и убитые. И все толпы были рассеяны, хотя отдельные участники беспорядков обстреливали воинские разезды из-за углов. Войска действовали ревностно. Лишь 4-я рота Павловского полка совершила самостоятельный выход. (Непонятное выражение: какой выход? куда? зачем? Самостоятельное выдвижение без приказа свыше? Невоенный термин). Но большой успех у Охранного отделения: арестовано свыше 140 партийных деятелей. (Даже грандиозно, тогда всё и подавлено?) Контроль над хлебом и мукой установлен. С понедельника ожидается возврат части рабочих на заводы.

А в Москве – так и вообще всё время спокойно.

Нет, ничего серьёзного.

Протопопов – счастливая находка. Какой деятельный, неутомимый, находчивый, сколько идей выдвинул за свои немногие министерские месяцы. Правда, по связанности общего положения мало что мог осуществить. И как его любит Аликс! Да просто не бывало ещё такого удачного министра. Большое облегчение, что он сейчас там, на этом посту, – он

не упустит сделать всё, что нужно, и душевно поддержит Аликс.

Его телеграмма – скорее успокоительная. Только что это за самостоятельный выход павловцев? Не совершили ли они чего-нибудь недостойного? – и как тогда Павловский полк отмоет свой позор?

И камня толпы в войска?... Представить нельзя.

После раннего завтрака собирался Государь идти выслушивать доклад Алексеева – тут поднёс ему штабной офицер две телеграммы.

Одна была – от князя Голицына, поданная сегодня в 2 часа ночи. Что с сего числа, как и даны были ему полномочия, занятия Думы и Государственного Совета прерваны до апреля месяца.

Вот и хорошо. Во время беспорядков Думе лучше не действовать. Она-то всю обстановку и раскаляет. Удивительное сборище! – не просто врагов трона, но врагов Российского государства: во время войны шатают, взрывают, не считаются ни с чем.

А вторая телеграмма – совсем странная, чуть не пьяная. Подписал её какой-то полковник Павленко, которого Государь и при его обширной военной памяти даже не помнил, – а оказался он почему-то сейчас временно исправляющим должность начальника гвардейских запасных частей в Петрограде. (А где же генерал Чебыкин? Ах, да, он кажется в отпуску). А вся телеграмма была: что ранены из толпы командир Павловского запасного батальона и прапорщик его. И – всё. И – никаких сведений об остальной гвардии, если Павленко действительно ею заведовал, ни – обо всей петроградской обстановке, ни – о чём другом.

Странно. Только ёкнуло, что – опять павловцы. Не было ли это в связи с тем выходом роты?...

В половине одиннадцатого, как всегда, Государь проследовал в здание штаба на очередной доклад генерала Алексеева о боевых действиях войск.

Несколько опасливо он посмотрел на привычное грубовато-фельдфебельское лицо Алексеева, ожидая, не имеет ли тот чего тревожного о Петрограде. Но не сказал, нет, слава Богу.

Спросил о его здоровья. Хотя Алексей и ответил положительно, но по лицу и по плечам видно было, что – неважно, держался зябко.

А общий военный обзор прошёл гладко, не содержал ничего нового.

Тем отчётливей увидел Государь, что Алексей после болезни уже нагнал пропущенное, и значит дальнейшее присутствие Верховного в Ставке уже не так обязательно, можно пока возвращаться к одинокой бедняжке Аликс.

В конце же доклада Алексей протянул во-первых телеграмму от Хабалова на своё имя и извинился, что не доложил её прежде: она была – вчерашняя дневная, но пришла уже после вчерашнего доклада. По случаю воскресенья не хотелось беспокоить Его Величество, да и к вечеру вчера нездоровилось, пришлось прилечь.

О, конечно, сразу же и простил, не упрекнул его Государь: можно понять, когда человек и не молод, и болен.

Телеграмма была подана почти сутки назад: вчера в час дня. А всё содержание её относилось ещё к позавчерашнему дню, ко второй половине субботы. Что всяческие толпы неоднократно разгонялись полицией и воинскими чинами. У Гостиного Двора выкинули красные флаги с надписями «долой войну», и из толпы стреляли в драгун из револьверов. Пришлось открыть огонь по толпе, убито трое, ранено десять человек, – и толпа рассеялась мгновенно. Затем ещё: подорвали конного жандарма гранатой. Но вечер субботы прошёл относительно спокойно. Бастовало же – 240 тысяч рабочих.

Государь потирал, разглаживал усы большим и средним пальцем. Не упрекнул Алексева за задержку и прочтя, не имел духу. Но и всё-таки – бастующих слишком много. И все эти случаи, постепенно открываясь, как-то накапливались. Впрочем, покрывались спокойствием других телеграмм, Протопопова. Впрочем, всё это было уже – давнее, позавчера, – и с тех пор ничего худшего не случилось.

Да и кончалась телеграмма Хабалова, что с утра 26-го в городе всё спокойно.

Но нездоровый Алексеев хмурей обычного шурил щёлки своих глаз и подал ещё. Тут вот что придумал Родзянко: вчера вечером послал Алексееву, а выясняется, что также – и главнокомандующим фронтами, втягивая в обсуждения и их, какую-то взбудораженную, даже паническую телеграмму:

...Что волнения в Петрограде принимают угрожающие размеры. Что правительство в полном параличе и не способно восстановить порядок. Что России грозит позор, война не может быть выиграна, если (как всегда у него и у всей Думы) не поручить правительство лицу, которому может верить вся страна. (Читай: самому Родзянке.)

О, этот всполошливый, наседливый, самоуверенный толстяк! Как он надоел Государю своими всегдашними бесцеремонными поучениями, правильно когда-то пошутил про него: если его пригласить на высочайшие крестины, так он сам влезет в купель. Почему нужно слушать его сбивчивые, суматошные советы, а не внимать телеграммам поставленных властей? И за все прошлые месяцы, сколько ни слышал Государь Родзянку, всегда положение было «тяжёлое и острое, как никогда».

Но тут был новый неожиданный ход, что телеграмма Родзянки предназначалась не прямо Государю, и не одному Алексееву, а сразу – всем главнокомандующим фронтами – «в ваших руках, ваше высокопревосходительство, судьба славы и победы России», – и чтобы все высокопревосходительства теперь спасли Россию тем, что поддержали бы глубокое убеждение Родзянки перед Его Величеством. Станный и дерзкий обход. Почему – не прямо? Почему – через генералов?

Николай в раздражении теребил ус.

От него не укрылось смущение прихмуроватого Алексеева. Уже не косясь на развешанные в маленькой комнате карты фронтов, тот неловко усмехался пиковатыми усами. Неловко – за себя, как невольного адресата (всегда почему-то адресата для общественных лиц, вспоминался заклятый Гучков), – а ещё неловче, кажется, – за Брусилова. Брусилов, получивший эту телеграмму, – этой же ночью, в час ночи, даже не ложась спать, даже не отложив обдумать до утра, – тут же рикошетом пересылал родзянковскую телеграмму в Ставку, да не просто, чтобы доложить Государю, – но с решительным добавлением, что по долгу и по присяге не видит иного выхода, как тот, что предлагает Родзянко! (А что можно видеть или не видеть с Юго-Западного фронта? И как может так себя вести военный человек?)

Государь закурил из пенкового своего коленчатого мундштучка. И как могли быть из одного и того же города, в один и тот же час столь разные известия? Правительство уверенно управляет, даже не просит помощи, – а Барабан уверяет, что оно в параличе?

Да если бы было что-нибудь по-настоящему тревожное – предупредила бы его Аликс в каких-нибудь час-два. Но сегодня – не было от неё телеграмм.

Государь всё более удивлялся смущённому уклончивому виду Алексеева, не возразившему ни против Родзянки, ни против Брусилова. Так и он – присоединяется к ним?

Стоять против шумных общественных горланов – Государь привык. Но необычное и опасное было ощущение – что его собственные генералы за его спиной тоже завлечены теми, как бы ударяют в спину своему Верховному.

О, что они понимали в этом вопросе – Верховная Власть России, её вековая легитимность, её неделимость и разделение, над чем Государь трудно мучился уже два десятка лет? И – как легко все брались советовать!

Нет, смущённый Алексеев не смел советовать, он только подал все бумаги по должности, честный старик.

Доклад был исчерпан, Государь ушёл.

В 12 часов с половиною имел место, как всегда, регулярный высочайший завтрак с военными представителями союзников и чинами Ставки – и, разумеется, ни слова никем не было обронено о петроградских событиях, поскольку о том не заговаривал Государь.

Из главных достоинств монарха считал Николай: никогда не разговаривать ни о чём

серьёзном в неположенное время, в неположенных обстоятельствах и не с теми лицами, кто компетентен и призван того касаться. Самообладание и бесстрастность он понимал как лучшую часть этикета монарха, который несёт своё божественное бремя и всю ответственность всех конечных решений.

И если перешёптывалась свита, может быть и более знавшая что-то о Петрограде, то никто не смел возвысить голос или высказать Государю прямо. Были пожалуй и взволнованные, если не испуганные лица.

Так же неуклонно дальше должна была следовать царская прогулка на моторах за город – стояла отличная солнечная погода без ветра. Подали два автомобиля, уже выходила к ним близкая свита, – тут Государю, в шинели, застёгнутому, принесли из штаба и подали новую телеграмму.

Эта была – от Хабалова, и совершенно свежая, час назад поданная. Прошлая от него была на имя Алексеева, а эта – прямо Его Императорскому Величеству. Государь развернул её – стоя, у лестницы, и читал, а на него смотрели. И оттого что смотрели – не только лицо его было невозмутимым, но он как-то не вполне внимательно читал, хотелось скорее положить её в карман и ехать.

Вот когда всё объяснилось: доносил Хабалов о той самой роте павловцев: она объявила ротному командиру, что не будет стрелять в толпу. Рота обезоружена и арестована. (Позор какой для павловцев!) И, очевидно, в этом инциденте и ранен командир Павловского батальона, о чём было от Павленки.

Но не кончалась на этом телеграмма Хабалова. Сегодня учебная команда волынцев также отказалась выйти против бунтующих, вследствие чего начальник её застрелился, команда же, увлекая роту запасных, направилась в расположение Литовского и Преображенского батальонов, где к ним ещё присоединялись другие запасные.

Уже много он строчек прочёл. Длинна показалась недлинная телеграмма, оттого что содержание её уже вышло за пределы всякого ожидаемого. Не подготовленный к тому и уже в наклоне двигаться дальше, спускаться с лестницы, Государь дочитывал бегло, не полностью вникая в смысл. Да там и шло заверение: что генерал Хабалов принимает все доступные меры для подавления бунта, но полагает необходимым прислать надёжные части с фронта.

Может надо было задержаться, перечесть? Вообще – вернуться, пойти поговорить с Алексеевым? Но всё это досадно происходило на глазах приготовленных к прогулке – и такой возврат, отмена прогулки выглядели бы слишком чрезвычайно.

Государь вложил телеграмму во внутренний карман шинели и спускался к автомобилям.

Выехали по оршанскому шоссе. Погода дивная, весело слепило солнце, но не настолько, чтобы таял снег. Обилие света и высота солнца были уже весенние. Николай оглядывался и радовался, и пересиливал какое-то поднимавшееся недоумение сердца.

Уже когда доехали и там гуляли – захотелось ему вынуть телеграмму и ещё раз перечитать, не всё он в ней уловил. Но опять-таки это выглядело бы чрезвычайно, напугало бы свиту.

Ничего, даст Бог, всё кончится хорошо.

Разговоры на прогулке текли будничные, обычные.

На виду у всех Государь был загадочно спокоен, будто не знал ничего тревожного, либо, напротив, уже всё решил и принял все достаточные меры.

95

И – всё по этим комнатам. Медленно кружа. Ходя. Садясь.

И кабинет свой не радовал, не мог себе в нём найти Георгий ни малейшего занятия. Заставить себя.

Всё по этим комнатам, уже больше её, чем его. А вот – и не её. И, как бы, уже не

общим. То-то склепным воздухом пахнуло с порога, как заходил.

А может – прячется у Сусанны опять? Или помчалась в Петербург?

Конечно, было бы свободнее всего: придраться, что вот она сбежала, и уезжай. Бросить всё в минуту – и ехать к себе. Не встретились – ну и хорошо, ну и ехать, и считать себя вольным.

И именно так бы надо.

Но он уже знал: облегчение будет только первые короткие часы. А потом наляжет угнетение. И – жалость к ней, гложущая жалость.

От этого не уедешь, это будет когтить, это застит весь мир, всё равно кинешься назад с дороги.

Не то что уехать, а он даже на эти часы неспособен был выйти на улицу – отвлечься, просвежиться, протрезвиться.

Или ждал, что она – вот войдёт, вернётся?

Вспомнил, как они виделись последний раз – вот здесь, в средней комнате, тогда вечером после Смысловских, – и как она смотрела ему в лицо. Зачем смотрела?

Он стал как бы – весь болен.

Висели платья Алины кряду в гардеробе, два-три десятка, были и полуветхие, по скудости жизни офицерской жены, и сохранившие в своих полосках, уголках, воротничках, поясах – историю их восьми лет, разные случаи – смешные, досадные, трогательные.

Стоял, смотрел на них – с печалью.

Представить, как Алина плачет, вот здесь, в этой комнате, и трясётся лицом в своих тонких руках – непереносимо! Почему-то ничьи другие слезы, ничьи за всю жизнь слезы, ни даже мамины, ни верины, так не хватало спазмами косыми за горло, как – её.

Вот Ольда бы разрыдалась – совсем не то. Да она и не расплачется.

Вот какое было ощущение: как будто, сбежавшись с Ольдой, схватившись с ней в объятья, – не заметили и наступили – то ли на детскую ножку, то ли на кролика, – и оно там дёргается под подошвами, кричит, – а мы не слышим, захлебнулись.

Да уже что-то и от Ольды не подхватывало сердце в воздух как восходящим током жаровни.

Нет, Ольды не удержать.

Может быть и была такая тропка для души: ни с той, ни с другой. Отойти и разобраться. Может быть и была, но не замечена вовремя: где на неё был сворот?

Вот эта раненость её – больше всего и ранит.

Вот эти ножницы её, расхваченные, распахнутые, как горло в крике.

Примириться бы – и снять с души этот груз. Забыть бы всё происшедшее, будто его и не было. Примириться – и чтоб опять легко.

Но – никуда не уходило ощущение чугунного несчастья.

Разлома жизни.

Которой не надо было разламывать.

Было бы легче гораздо, намного, если б Алина была – вот тут, сама. И – кричала бы на него, и упрекала, и позорила, – и он бы в пятнадцать минут объяснился, излечился, пристегнул шашку и – помчался бы на фронт.

Но именно потому, что её нет здесь, она так незащищена, только распахнутые немые зевы ножниц, а ты такой палач, – вспоминается о ней только хорошее, только самое хорошее, ничего дурного. Именно потому, что её нет, – всё здесь так терзает – за неё, без голоса, укоризненным видом своим.

Вот этот фарфоровый качкий рожок для чернил, сейчас сухой. Или эта шкатулка мелкой резьбы. Все вещи тем и укоряют, что хозяйка проникло любит их, они её частицы. И сколько трогательно-беспомощных следов её начатых и незавершённых подрывов: учебники и тетради французского языка (покинуты); вязанье (брошено); шитьё (неокончено); любительские фотографии – перетемнённые, пересветлённые, умеренные, долей вклеенные в альбом, больше – грудой, неразобранные; бадмингтон (оставленный; уговаривала Георгия

когда-то играть, ему не понравилось). Алина всё что-то новое пробовала, испытывала, отдавалась фантазиям, хотела, как она говорила, взлететь – и именно потому, что всегда неудачно, и ты это сознаёшь, а она нет, – так и перехватывает теперь горло наперекос.

Такая острая тоска – это всегда удел оставшихся на том самом месте, обычно женский удел: вот, только что, близкий был здесь, вот ушёл – и так полыхнёт по сердцу горечью.

Её ли жалко? Чего-то неназовимого жалко? – невозможно понять самому.

И не отвлечёшься мыслями никак. А часы тянутся, и надо ждать теперь Сусанны. Нечем заняться, ничего не сообразить, голова чугунная.

Полез поискать выпить – серебряная рюмочка с ласточкой, её подарок именинный. Пошёл на кухню поискать закусить – её шутейные цветные варежки, которыми она с огня берёт. Её письменные «меню завтраков», «меню обедов», – хотела систему разработать, конечно опустила... Её нагромождённая тара – коробочки, баночки, упаковки, новые оттесняют старые, а те тоже не выбрасываются, задвигаются глубже.

Тоска – даже, может быть, не по ушедшему человеку. Это – слишком урывающая тоска, какая-то даже... – отчего? куда?... Какое-то ли предвидение – всеобщих наших разлук?...

При разорённой душе ничто не может ни насытить, ни обрадовать. Пустота и есть пустота.

В дверь позвонили. Вздрогнул: она?? Нет, она бы сама отперла.

Открыл – почтальон. Протянул конверт – и дальше.

Рука Алины!

А штамп – поезд «Воронеж-Москва», вчера. Опущено в почтовый вагон.

Вскрыл – какой неузнаваемо-дрожащий почерк, изломан чуть не в каждой букве! – ещё больше испугался! Но тут же понял: писала на ходу поезда. Куда ж она?...

«...Ты дважды, ты трижды недостоин моей любви. Ты не видел, с кем ты жил. У тебя пелена на глазах была. Я могла украсить любое общество! Но мои лучшие возможности остались нераскрыты. Мои мечты, стремления – растоптаны навечно! И не кем иным, как тобой!»

Прервался. Сел за обеденный стол. Письмо – положил. И руки – вытянул по зеленоватой шитой скатерти. И смотрел застыло.

И наверно долго так просидел.

Наверно в Борисоглебск, к матери.

Вспомнил, взял опять читать:

«...Изо всех, кто делал мне в жизни плохо, – ты самый жестокий, так и знай! Получила ли я от тебя вознаграждение за годы, когда я во всём тебе подчинилась?! Восемь лет я была заперта тобой на замок. Но теперь кончилось моё рабство!»

И опять прервался. И опять вытянул, вытянул руки во всю длину, перед собой на незаставленной скатерти.

Как всё ушатнулось от него. Как о чужом о ком-то.

Никогда ни одного письма её он не читал вот так.

Но и – никогда он не чувствовал в себе такой пустоты. Та-кой пустынности бесконечной!

«За это время я имела горький досуг тончайше продумать и тебя и себя. Теперь я вижу: в тебе – душевная порча. Окупись в свою совесть! – посмотри, какая она грязная! Только я – твоя совесть и твоё спасение!»

Да ведь такое самое она и писала ему всю зиму. Странно, что за весь день сегодня тут он не вспомнил ни одного из этих упрёков. А вот они – опять.

И – опять?

И – навсегда теперь?...

Непроломный тупик.

Если бы сейчас Ольда была в Москве – ринулся бы к ней?

Ох, нет.

Что-то и с Ольдой – не так...

Пу-стыня. Пу-стыня.

Ещё что-то не дочитано?

«...Если ты хочешь, чтобы я отказалась от жизни, – скажи прямо. Для всех – я просто исчезну. И только ты один будешь знать, где меня похоронят. И прощу тебя – навещай меня хоть один раз в 10 лет...»

Ну-у-у-у... Как будто уже не к нему.

Удивлялся всегда: как это люди напиваются, зачем? Неужели нельзя овладеть собой?

А сейчас – напиться бы до бесчувствия, одно здоровье.

Сидел.

Сидел.

А почему он всегда был уверен, что Алина любит его?

Курил.

Ходил.

Вот за своим письменным столом сидел.

Среди приглядевшихся постоянных предметов такой знакомый: стеклянная, чуть усеченная пирамидка, на задней грани наклеены два швейцарских луговых вида, один над другим, а через толщу пирамидки увеличиваются.

Чем чаще видишь – тем меньше замечаешь. А ведь это – мамин предметик, от мамы остался.

Мало что от мамы у него осталось.

И даже фотография её не стоит нигде. Тут лежит, в ящике.

Целая жизнь была – московское детство. А вот искать-поискать – никого сейчас и не найдёшь.

Не найдёшь.

Курил.

Вспомнил.

Достал конверт, почтовую бумагу.

«Калисе Петровне Коронатовой. Большой Кадашевский переулок.

Милостивая государыня Калиса Петровна!

Я проездом на фронт в Москве. Не знаю Ваших нынешних обстоятельств. Но если они благоприятны – не мог ли бы я посетить Вас сегодня вечером?

Искренно Вас уважающий

Георгий Воротынцев».

А в магазине Чичкина, рядом, всегда есть посыльный.

БИВШИЕСЬ С КОЗОЙ – НЕ УДОЙ

Самому Михаилу Владимировичу Родзянко казалось: ни у кого в России не было такого трагического положения и никто так трагически не охватывал суть событий, как он. История поставила его если не на четвертование, то на разрыв сполошенными быками. (Бычьи морды представлялись – как рельефы на Круглом рынке у Мойки).

Видя за собой не только право чувствовать и рассуждать за всю страну, но и решать и быть за всю страну, Родзянко имел мужество никак не покоряться и не льстить царю, но

открыто говорить ему на докладах горькое, указывать, каких ненавидимых лиц следует убрать, и к каким настроениям общества надо прислушаться. Ему самому было тяжело, что он, твёрдый монархист, должен был осуждать действия монарха и бороться с его распоряжениями, – но для пользы Родины! Также и обществу и левому крылу Думы, как ни благоволя им, Родзянко имел мужество не покоряться, но отделять себя тем, что он верен присяге, ничуть не отходит от монархического принципа и никогда не вступит в заговор против царя.

И за то – царь не терпел его советов и перестал их слушать! И за то – кадетское крыло перестало ему доверять, и, ещё год назад верный кандидат в премьеры общественного министерства, Родзянко был милюковским упорным манёвром подменён на ласково-ничтожного князя Львова. (Подменён, но не сломлен! И внутренне продолжал считать себя неизбежным будущим премьер-министром! – просто смешно сопоставлять его грозную фигуру и этого земского угодника-уладчика). И за то (ему передавали) – Горемыкин называл его сумасшедшим, Кривошеин добавлял – и в опасной стадии, правые – махровым болваном.

Но с высоты председательского места Родзянко лучше всех видел Россию. Он видел, как царь, не исполняя его советов, губил Россию и всё дело. И видел, как кадеты, ожесточась в борьбе, готовы были сгубить не только императрицу и Штюрмера, но всё русское государство. Вот сейчас – что наделал царь перерывом думских занятий? Он перерубил всякую возможность мирно уладить конфликт. Но чего хотело левое крыло? Не подчиниться царскому указу и не расходиться?! Но это – был бы ещё худший бунт! На это Председатель тоже не мог согласиться.

А что делалось на улицах? На улицах Петрограда солдаты убивали офицеров!

Быки – разрывали, растягивали. И надо было стянуть их за упрямые выи!

Что было делать? Что было делать? Вчера, едва отправив громовую телеграмму, Родзянко был обожжён звонком Голицына, что с утра Дума распускается на перерыв! И что он мог делать среди ночи? Только топтаться по комнатам.

Утро принесло некоторую удачу: умница Брусилов тотчас отозвался телеграммой, иносказательно подтверждая, что – получил и передал поддержку ходатайства. («Свой долг перед Родиной и царём исполню»). Вероятно, то же сделал и Рузский, хотя ещё не отозвался.

Но – Алексеев?? – молчал. Значит, царь – не отзывался Председателю ни словом.

А между тем его ночная телеграмма оказалась пророческой! – развивается неуправляемая анархия, которую сдержать будет невозможно! И что он проницательно предсказывал престолу ночью – вот, с утра уже и прорвало. Да где! – в гвардии! И в день, когда началась гражданская война, – царь выдернул последний оплот порядка – Государственную Думу!

Один Председатель видел во всей полноте, насколько это был безумный шаг. И опять-таки: один Председатель мог попытаться исправить.

Вот что: надо давать новую телеграмму! На этот раз – прямо царю!

Да, только такая телеграмма может всё спасти и исправить. Если Государь одумается.

Так одинокое сидение Председателя в кабинете разрешилось снова, делом – телеграммой! Он опять размашисто писал на нескольких бланках, по две фразы на каждом, продолжение следует.

...Повелите, Государь, в отмену Вашего высочайшего указа, вновь созвать законодательные палаты... Повелите, Государь, призвать новое правительство на началах, доложенных мною Вам во вчерашней телеграмме... Возвестите безотлагательно эти меры высочайшим манифестом... Государь, не медлите! Если движение перебросится в армию – восторжествует немец, и неминуемо крушение России, а с нею и династии...

Надо теперь сразу совместить: и подавление бунта, и создание ответственного правительства.

Да наконец... Да, он должен так прямо и написать:

От имени всей России прошу Ваше Величество об исполнении изложенного. Час,

решающий судьбу Вашу и Родины, – настал! Завтра, может быть, будет уже поздно!

Даже Родзянко – что ещё мог сделать? Как ещё громче крикнуть?...

Нет, можно было ещё громче. Кончить – просто потрясающе. Но и – не сходя с твердыни монархизма:

Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца.

Вот **такая** телеграмма – несомненно впишется в историю России!

Однако, всё-таки, и дерзкая фраза. Может вызвать гнев Государя и всё испортить.

И просто со слезами горючими, так жалко было этой лучшей фразы своего пера, Михаил Владимирович осторожноенько зачеркнул её.

А в черновике осталась.

Отослал в телеграфное отделение Таврического дворца. Прямо отсюда должны были отстукать через десять минут.

И вдруг сообразил: ещё мог! Ещё мог проявить одно важное усилие, доступное ему одному только!

Председатель не мог вызвать в столицу царя – но мог вызвать царского брата, фигуру рядом с царём. В такой безумный день это может пригодиться. А Родзянко имел большое влияние на Михаила Александровича: тот безусловно признавал за ним второе место в государстве. Они ещё были и связаны как оба бывшие кавалергарды. А супруга великого князя, столь влиятельная на мужа, всегда была за Государственную Думу.

И Родзянко стал дозваниваться – и дозвонился в Гатчину, где, в доме жены, великий князь Михаил проводил сейчас отпуск, вернее – переход с одной военной должности на другую. Дозвонился, и стал просить и настаивать перед обоими, потому что окончательно решала супруга: чтобы великий князь немедленно и тайно приехал бы в столицу, для встречи с Председателем Думы. (Тем уверенней он звонил, что в январе Михаил сам являлся к Председателю – «поговорить о положении страны, посоветоваться», и ясно было, что его подсылала доискливая супруга, при общей критической шаткости). Сегодня Михаил не очень хотел, мялся. Но Наталью Сергеевну удалось убедить. Хорошо, едет.

Хорошо.

Так! Один Председатель сделал всё возможное и всё невозможное. Теперь – не собрать ли руководителей фракций, совет старейшин? Распорядился.

Стали собираться, каждый при входе в кабинет удваиваясь из-за зеркальной стены – а Родзянко был для всех удвоен своим мощным заплечьем.

А рядовая думская масса всё так же ходила, жужжала по дворцу, только изредка видя своих поспешно мелькающих лидеров, но не получая от них указаний. И рядовые думские социал-демократы так же толкались между всеми, не находясь, что делать. Думцы расспрашивали новоприходящих, расспрашивали и передавали другим, кто что где слышал и принёс. Все уже знали о разграбе Арсенала, о взятии Крестов, об убийстве офицеров – и только Таврический дворец, хотя и рядом с событиями, оставался в каком-то царстве дрёмы, куда не прорывались действия, а лишь доносились отдалённые выстрелы.

А в кабинете Родзянки собрался как бы не совет старейшин, но опять бюро Прогрессивного блока? – только с добавлением Чхеидзе и Керенского. Потому что лидеры правых фракций тотчас по оглашении указа о роспуске – ушли и не появлялись.

Итак, уже прозаседавшее впустую бюро Блока – должно было всё же что-то придумать? Вся душа противилась подчиниться бесцеремонному царскому указу. А не подчиниться – значило самим начать революцию? Но и перерыв Думы – это же тоже революция?

Сидели как над развалинами: всё сметено, вся долгая осада и потом атака, устроенная Блоком. На улицах стреляли, убивали, носили красные флаги – и в такой момент не стало ни Думы, ни Блока!

Вторая главная тут фигура, Миллюков, не мог скрыть неуверенности, в обстановке слишком неожиданной не знал, как угадать. Он так боялся ошибиться, что лучше бы пока не действовать никак.

Ну, хорошо: они вынуждены были согласиться не функционировать как Дума. Но хотя бы всё-таки условиться: не разъезжаться по всей России? Остаться всем в Петрограде, в возможности для встреч и соединений?

Кроме вьющегося в кресле Керенского и благообразно сияющего Чхеидзе (дожил до великого праздника, и ему удивительно, что не радуются остальные) – все старейшины были растеряны. Но и надо же было что-то делать с думской массой, там гуляющей и ждущей. Нельзя было и никакого решения принять окончательно, не собравши их всех. Но и – собирать их всех, войти в зал всем по звонку, как всегда, – было бы открытое неповиновение государевой воле, уже бунт!

Керенский так и предлагал: звонок, и всем в зал!

Но Родзянко – знал государственные законы, у него не вырвешь.

Но тогда – совсем безвыходно!

А в Екатерининском зале – думцы всё ходили, ходили, возбуждённые, и с новыми вестями, куда ещё по городу распространился военный мятеж.

А сюда – не катилось! А здесь, вокруг Таврического, всё так же было угнетающе спокойно, только выстрелы издалика, и всё дальше.

Потрясённый Шингарёв держался двумя руками за голову и изумлялся своим нутряным голосом:

– Да что ж это делается?... Такие вещи... Такие вещи во время войны могут устраивать только немцы!... Кто ж их подстрекнул?... Кто ими руководит?... И что же смотрит правительство?!

Много месяцев, ругая правительство, они только злорадствовали, что оно ни с чем не справляется, и желали ему ещё хуже не справляться, совсем обанкротиться. Но сегодня, когда начался бунт, хаос, разграб оружия, освобождение уголовников, – лидеры Блока, да каждый думец, уже как простые граждане страны могли бы ожидать от этого правительства ну хоть какой-нибудь минимальной твёрдости, ну хоть какой-нибудь попытки навести порядок? Но удивительное это правительство как раз вот в этот день, как раз вот в эту страшную минуту и не подавало ни малейших признаков жизни!

Было так, как с детьми, которые толкали-толкали бы шкаф, считая его незыблемым, – а он бы вдруг опрокинулся, да со всей посудой.

А они ведь позаврадошнему – никогда не переворачивали! Они только в мечтах носили и в кликах призывали, чтобы само перевернулось, – а они не переворачивали.

Вдруг прибежали, перепугали, что на Думу движется 30-тысячная толпа!

Толпа – да ещё 30-тысячная??! Жутко такое чудище и представить. И – зачем бы шли они на Думу, если не громить её?

Тут прибежали новые свидетели и объявили, сами только что слышали: в мятежной толпе разное кричат, но кричат и так: **покончить с Думой!** В Думе, мол, цензовые элементы – так перебить их теперь же!

Цензовые... Мурашки по спинам. Да, кроме крестьян, хоть и правых, да ещё рабочих нескольких, они, остальные тут, хоть и левые, – были почти все ведь цензовые, то есть состоятельные, то есть, конечно, с личным достатком.

Очень становилось неудобно в угрозно-затихшей Думе.

И только носился-вился Керенский: когда же придут? когда же? Под грозным дыханием народного бунта вся Государственная Дума обратилась в толпу неумелых, чуть не в овечьё стадо, – и только у Керенского обострились все окончания нервов, утысячерились способности различать: не бояться этой толпы – но жаждать! Грядёт в ней новая слава Таврического дворца!

Он жадно вдыхал этот воздух восстания! Пришёл его лучший и высший час!

Утренние его усилия помогли: там криками какой-то клочок толпы вразумили и повернули к Думе. Но как ни метался он между окнами – не увидел сам подхода, и посыльные его опоздали донести – и примчались в Екатерининский зал смертельно испуганные думские приставы: что толпа – пришла!!! она – уже в сквере, уже перед

крыльцом, и нет сил удерживать её, сейчас ворвётся во дворец!

Доложили, конечно, Родзянке, – но Родзянко вдруг сконфузился: он привык выходить перед Думой – и перед Россией сразу, и даже перед всем миром, – но он не был готов выйти перед этой смутной лихой толпой. И что он мог им сказать в защиту и оправдание Думы? Что он послал телеграммы царю и главнокомандующим? – вот только. Он пребывал озадачен.

Но – те несколько левых лидеров, таких дерзких, крикливых, обременительных для Председателя, да всем помешных весь думский путь – теперь-то и пригодились! теперь-то и рванулись навстречу толпе, перебегая Круглый зал: невесомый бегун Керенский, и лысый селезень Чхеидзе, от которого и прыти такой нельзя было ожидать, и как будто вялый нехваткий Скобелев, – они бежали наперегонки, а догоняя их, а не имея права отстать ни в коем случае, уронить и честь и ветвь Прогрессивного блока, – его председатель бюро, неслышный негововорливый серенький Шидловский. Хоть и цензовый.

Керенский всех опередил и первый лётom прорвался вперёд, а те трое поспедали ровнеь и через все двери продавливались трое одновременно.

Сколько же пришло? О, хотелось бы больше! О, хотелось бы видеть всю Шпалерную залитой до уже невидимости! А пришло – может быть только сотни две-три, не та желанная толпа-гидра, какая рисуется в революционном воображении, – но всё-таки толпа! Нестройная, безо всяких вожаков и единой воли, а – кто выдвинется и крикнет, – но это и есть толпа! С винтовками и без винтовок, солдаты разных полков, видно и непривычному глазу, и вооружённые штатские, уж там рабочие или мещане, этого не различишь, а держать винтовки не умеют, ещё знают ли, как стрелять, а у кого-нибудь, смотри, выстрелит и сама, – и ни одного красного флага, как на самой последней демонстрации, – но какие решительные лица! застывшие движения! А может быть и не решительные и не застывшие, а от первой тревоги сейчас же и убегут? А может быть наоборот – властно ворвутся в Думу и будут распоряжаться?

Всё это в один миг охватывая, уже потом заметив ещё и какого-то гимназиста, двух как будто горничных, двух-трёх мальчишек, – Керенский, не успевая подумать, едва лишь обеими ногами выбрался на крыльцо, ещё трое других проламывались в дверь, – уже воскликнул, со взлетевшей рукой:

– Товарищи революционные рабочие и солдаты! От имени Государственной Думы...

Он был досадная помеха в этой Думе, *enfant terrible*, непредусмотренное исключение, но сейчас чувствовал, как вся оробевшая Дума вливалась в него через спину – и он, лидер кучки трудовиков, становился вся Дума!

– ...разрешите приветствовать ваш неуправляемый революционный порыв против сгнившего старого строя. Мы – с вами! Мы благодарим вас, что вы пришли именно сюда! Нет такой силы, которая могла бы противостоять могучему трудовому народу, когда он поднимется в своём гневе!... Народные представители, собравшиеся в этом здании, всегда горячо сочувствовали...

О, как легко оказалось говорить, совсем не прерывали, и всем до последнего ряда слышно неподдельно революционный голос оратора, а фразы сами – подаются, подаются, может быть повторение привычных, может быть сочетание сказанных, а может быть невиданно-новые, ещё никогда не звучавшие ни в одной революции на Земле! Керенский то разглядывал лица – посередине, слева и справа, то смотрел поперёк голов – дальше, к тем тысячам, которые ещё придут, – он выпалил всему взволнованному народу первый революционный заряд (речь не должна быть слишком длинной) – и вдруг гениально догадался. Он знал случайно волынские бескозырки и видел их несколько тут, в первом ряду, и вдруг воскликнул прямо к ним, голосом награждающего полководца:

– Товарищи волынцы! Государственная Дума благодарит вас за преданность идеалам! Она принимает ваше предложение служить свободе и защищать её от тёмных царских полчищ! Вот вас четверых, товарищи, – назначаю первым почётным революционным караулом – у дверей в Государственную Думу! На вас выпадает великая честь! Становитесь

на пост!

Никогда он не готовился к военным командам и не знал, как распорядиться, и голоса такого не тренировал – но почувствовал, что и голос и военачальство в нём возникнут сами, – за час и за два революционного мчащегося времени Керенский переродился, перерождался!

И застигнутые волынцы, впрочем и не знавшие, куда им дальше, теперь рады, что пристроились к делу, – повиновались, поправили бескозырки, расправили шинели под поясами – и стали часовыми все четверо в ряд, не предвидя, кто же будет их сменять.

А другие закричали «ура».

Теперь выдвинулся говорить – Чхеидзе. Он растроган был, что не только дожид до революции, которую предрекал в каждой речи, по бюджетному или транспортному вопросу, но со ступенек этой же самой буржуазной Думы – произносил свободную речь к поднимаемому народу! Эти фразы столько раз перебивали у него на языке, что теперь повторялись безо всякого напряжения, он лил их, надтреснувшим голосом, вскрикивал «ура» – и в несколько охотных голосов ему откликались.

А Скобелев сильно остерегался: это тут сейчас, в минутной горячности, кажется: ура! поставили первый революционный караул! – но какая была защита от царских войск этот сброд, наполовину не умеющий винтовку держать, на другую никогда не воевавший, какая была победа свободы, когда сто послушных дивизий могли нагрянуть завтра на Петроград? Однако верность социал-демократии заставляла рисковать. И – заговорил. И полилось, оказывается, свободно, без смазки.

А потом четвёртый оратор был бы уже совсем лишний, и отстранили, затолкнули назад Шидловского, говорить ему от Прогрессивного блока не дали.

А какой-то, вроде развитого рабочего, из первого ряда ответил:

– Вы, товарищи, – наши истинные вожди. А таких, как Милюков, нам и даром не нужно.

97

Утренний солдатский бунт смешал весь предполагаемый ход событий. Теперь: распущена Дума или не распущена – переставало быть самым главным вопросом, как казалось вчера. Теперь вообще становилась неясной очерёдность правильных мероприятий, что делать правительству и даже – где ему делать, ибо само передвижение министров по столице переставало быть безопасным и даже – осуществимым.

Утром военный министр позвонил премьер-министру – и оба они, по двум концам линии, долго гадали: следует ли принять какие меры или никаких? Естественно как будто именно от правительства ждалось решение, но поскольку столица находилась в полосе военного положения, то гражданские власти ни за что не отвечали, а и военный министр не отвечал, ибо вся полнота ответственности была передана генералу Хабалову.

Так трудно было до чего-либо додуматься в двустороннем телефонном разговоре – решили, что надо бы собраться и посоветаться. Но князь Голицын не хотел бы сам перемещаться по улицам, и поэтому назначил местом сбора министров опять-таки свою квартиру на Моховой. Верных два часа ушло у него затем на созванивание со всеми министрами и такие же сложные выяснительные разговоры. Наконец, часам к одиннадцати стали министры собираться.

Первым приехал генерал Беляев. На его шуплой фигурке казалась избыточно тяжёлой генеральская шинель, на его маленькой голове – избыточно крупной прикрывающая её военная фуражка. Китель с аксельбантами, вензелями и орденами был на нём как на мальчике. Но всё восполнялось трагической серьёзностью его изглазничного тёмного взгляда за крупным пенсне. Министр всё видел, всё понимал, не нуждался в объяснениях.

А он-то и нужен был больше всех! – но и с ним не удавалось ничего решить. А приезд министра торговли-промышленности, просвещения или прокурора Синода тем более ничего

не решал.

Министры съезжались плохо. Ещё и ещё сзывали по телефону своих коллег, без них не начиная заседать.

В небе стало дымно, и прислуга объяснила, что это подожгли Окружной суд – совсем же недалеко, три-четыре квартала, полверсты! Отчётливо слышалась ружейная стрельба. Прислуга объяснила, что это стреляют на Литейном и на улицах за ним, и там бегают толпами солдаты.

Так становилось исключительно опасно находиться именно здесь, на Моховой! Сбор министров и квартира самого премьер-министра подвергались угрозе налёта этих банд. Теперь князь Голицын очень пожалел, что не назначил собираться в Мариинском дворце на тихом краю, но уже все были оповещены. Теперь он стал звонить этому бестолковому Хабалову, требуя охраны к своему дому, – а Хабалов отвечал, что у него нет резервов. Но чего же стоил такой командующий Военным округом, который не мог охранить даже квартиру премьер-министра?

Через возбуждённые переполненные улицы с трудом добирались министры, кто на колёсах, кто и пешком. Наконец, уже после полудня собралось министров шесть-семь, но всё таких, кто не могли отвечать за происходящее. А несомненно виновный Протопопов всё не являлся.

Собрались, но не совещались, а чувствовали себя очень нервно. Пили чай или кофе, присаживались, вставали, собирались по двое-по трое, кто курил, высматривали в окно, – на Моховой ещё было мирно, – и прислушивались к новостям, приносимым прислужгой. Звонили в свои министерства, узнавая, работают ли там, – и как будто все работали.

Министр иностранных дел Покровский, чересчур простоватый в походке и в наружности, никак не дипломат, своей притрусочной походкой бродил между министрами и, наставляя опущенные усы на одного и другого, спрашивал, как же с отставкой кабинета? Ведь вчера на переговорах с Маклаковым они обещали при роспуске Думы распуститься и сами. Сегодня утром у него был французский посол Палеолог и настаивал, что союзники ждут ответственного министерства. А сегодня пополудни ожидает их вдвоём с Бьюкененом – и они будут настаивать на том же. И что отвечать?...

Что отвечать? Да и князю Голицыну был телефон от Родзянки – но так вот ничего и не ответил.

А Риттиха не было. И не было Григоровича, морского министра, он всё так же лежал в постели у себя на квартире в Адмиралтействе. (Григоровича тоже Дума любила, как и Покровского).

Меньше всех говорил и двигался Беляев – сидел в углу, очень потемневший.

Наконец, вошёл Протопопов – с измятым, усталым лицом отыгравшего артиста, с видом, что заранее предвидит упрёки, но хотел бы не слышать их.

Однако, ему пришлось услышать. Все министры, кто только сюда собрались, теперь гневно обрушились на Протопопова: что это он виноват более всех! что он ввёл кабинет министров в заблуждение своими успокоительными заверениями, и вот – невозможно исправить! Долго не давали ему даже в оправдание высказаться. Разрядили на нём всё министерское бессилие, всю досаду, какую испытывали.

Правда, и не было в Протопопове обычного наскока бодрости. Провалилась между плеч его гордая, хоть и лысоватая голова, и смотрел он большими невесёлыми глазами. Он оправдывался, но как достоверно виноватый, ни разу не сказал «дорогие мои». Что начальник департамента полиции как раз вчера заверял его, что как раз вчера арестованы все главари всех революционных партий. Поэтому, революция обезглавлена, и происходящее не может считаться революцией. Откуда это взялось – непостижимо, никак этого не должно было быть! А волнения в войсках? – за это он не отвечает, это – военный министр.

Но все опять кричали на Протопопова, он сгорбился, ещё больше провалилась актёрская голова между плечами, и замолчал.

Пришлось оправдываться и Беляеву. Он стал похож на перепуганного зайца, которому

и бежать некуда. Кто ж мог предвидеть стихийное движение войск? Это невозможно предусмотреть. Теперь – помощь может прийти только извне Петрограда.

А между тем охрана к дому премьера всё не приходила. Рядом, на Литейном, всё больше разгуливалось, слышны были выстрелы и сюда. Не только открывать заседание, но и оставаться здесь становилось опасно.

Они были – имперское правительство. И они же были – малая кучка растерянных людей, не имеющая никаких связей управления.

Щемяще затискивало их: что происходит? И почему они здесь, в полутёмной частной квартире? Как будто какая-то конспирация.

Пустой вызов. Нескладная, ненужная встреча.

Князь Голицын, не давая себе горбиться и хромать, авантно расхаживал по комнатам. Он всё более решался перенести заседание в Мариинский дворец.

Тут приехал вызванный Хабалов.

Диктатор производил впечатление удручающее, весь в тенях, кожа лица складками. Большая генералова челюсть подрагивала при разговоре, крупные руки тоже, и голос был неуверен. Он не брался объяснить, почему это всё началось, как происходило, в каких районах что, – и чего можно было ожидать в продолжение дня. Но его не очень и спрашивали, а князь Голицын только отчитывал.

Вскоре же Хабалов и уехал, обещая прислать тотчас охрану.

Но тут принесли слух, что по Пантелеймоновской движется толпа.

И единодушно решили: сейчас разойтись, по одному, а после 3-х часов собраться в Мариинском дворце.

Очевидно, что перемещаться министрам было безопаснее поодиночке.

Видя, как плохо с Хабаловым, князь Голицын просил Беляева самого поехать в градоначальство, посмотреть своими глазами и разобраться.

Темноглазый, скорбный, съезженный, маленький Беляев, хотя и сделанный из папье-маше, смотрел исключительно выразительно и ответственно.

98

В воскресенье так уже всё замирало, что в понедельник утром на Бестужевские курсы слушательницы собрались: да надо же всем повидаться, новостями обменяться, да что-то решать!

Первая двухчасовая лекция прошла почти спокойно – но к концу её стали распахиваться двери аудиторий, и из коридоров выкрикиваться огневые новости. Курсистки стали выбегать, захлопали двери, и лекции скомкались.

Вероня с Фанечкой ощутили вину, что опаздывают, сегодня не принимают участия. Решили: бросать занятия, бежать, будоражить! Получили по большой буханке хлеба (городская Дума с субботы наладила продавать хлеб курсисткам в здании курсов), занесли к фаниным старикам, бросили, занесли к тётушкам, бросили, чтоб им в хвосте не стоять, – и понесли по Васильевскому.

Однако, хотя с той стороны Невы доносилась даже несомненная стрельба, – тут, на Васильевском, сегодня ничего революционного не происходило: шли себе прохожие – а толпы не собирались, никто ничего не громил и даже песен не пел.

Позор! Васильевский остров, который начинал бить булочные и демонстрировать из первых, – теперь как в спячку впал, не густился. И где же были все эти тысячи забастованных рабочих? У тех же булочных стояли те же хвосты, но уже с извечной российской покорностью.

Прохожих? – не станешь останавливать агитировать. Попробовали девушки заводить речи у хлебных хвостов – тот же людской материал. А забастованные рабочие сидят по домам? – и не из квартир же их ходить вытягивать.

Вернуться на курсы? собраться курсисткам своей отдельной демонстрацией и выйти?

Не догадались сразу, а теперь все сознательные уже разбежались, а если кто остался дослушивать лекции – так и будут до конца.

Дразнить полицию? Но и полиция уже не стояла больше нигде одиночными постами, а либо крупными нарядами, либо сидела засадами по своим участкам.

Конечно, можно было выбрать себе лёгкий жребий: под видом мирных барышень перейти мост, отправиться в центр, а там уже влиться в общее кипение. (Саша в своём Управлении конского ремонта – там от центра событий недалеко и, уж конечно, времени не теряет, счастливец!) Но их долг был – действовать тут, где они есть, на Васильевском острове.

И решение оставалось только – призывать войска! – Финляндский полк, там и сям стоявший по острову отрядами.

И Вероня с Фанечкой бросились бегать от одной солдатской цепи к другой, где ограждение, где оцепление у завода, – и бесстрашно, пользуясь преимуществом пола, подходили вплотную к цепям, игнорировали старших офицеров, а обращались прямо к солдатам или к молоденьким прапорщикам – и объясняли, что они служат угнетению, и призывали переходить на сторону народа – а прапорщиков ещё отдельно стыдили. И ни один офицер их не отогнал, никто не толкнул, а прапорщики и краснели. Но солдатская пассивность разочаровала безгранично: ничего не отвечали, как не слышали, не видели, а некоторые хмурились, даже и бранились, даже и не совсем прилично.

На эту бесплодную агитацию много времени ушло, цепь от цепи далеко отстояла, Васильевский остров большой, и всё пешком, девушки избегались, встречали и других таких неудачниц – и у всех зря.

Так и проходил день – и без результата.

А из центра – всё ясней стрельба! И уже – дымом потянуло! Дым от пожара, это – да!

Забежали к фаниным старикам перекусить, а тут – и телефонные новости, Раиса Исаковна от телефона не отходила: да в городе настоящая **революция** ! – это слово можно уже и произнести!

И решили девушки, что раз сырое не поджигается – хватит с них, они свой долг выполнили – и могут отправиться в город и влиться.

На Дворцовом мосту их уже знали как агитаторш, могли не пропустить. Пошли через Николаевский.

99

Штабс-капитан Сергей Некрасов, лейб-гвардии Московского полка, георгиевский кавалер за бой под Тарнавкой, сейчас служил адъютантом запасного батальона. Ещё и до сегодняшнего утра он считал, что все эти волнения – требования хлеба, а как достаточно выпекут – так и успокоится. И даже у телефона с утра, получая тревожные сообщения из центра, он всё не мог поверить, какое серьёзное происходит. И ещё стрельбу на Сампсоньевском и Лесном он понимал как отпугивание, образумление.

А старших офицеров никого в батальоне не осталось. Капитан Дуброва нехотя принял командование батальоном. В офицерском собрании – два брата Некрасовых да несколько прапорщиков, ни в какой наряд не посланных по своей неопытности. А ещё стягивались в собрание – солдаты, уже человек тридцать, поодиночке притекшие в казармы из разгромленных и рассеянных караулов из разных мест, пришедшие сюда по своей верности, – это были и лучшие солдаты, старослужащие.

Врач и фельдшер перевязывали первых раненых.

Но когда Сергей Некрасов увидел из окна офицерского собрания через плац, как четверо офицеров с револьверами отстреливаются от толпы, а потом побежали – и рухнул Шабунин, – в минуту он понял, что это большой настоящий бунт.

И с фронтальной быстротой в голове его пронеслись сцепленные мысли: надо стрелять из окон и отбить полковой плац! – позвать всех, кто тут способен! – но стрелять из самого

собрания нельзя: однополчане ему потом не простят вызванного встречного разорения. Зато можно стрелять из их адъютантской квартиры, над собранием наверху.

Он бы не успел это устроить – если бы толпа не замялась, не застоялась от первого убийства офицера.

Некрасов позвал – и человек двадцать офицеров и солдат бросились за ним, – в оббег, в другой подъезд и на лестницу на второй этаж. Их оказалось даже больше, чем нужно: из адъютантской квартиры выходило на плац только пять окон, и из каждого окна не стрелять больше чем троим. При избытке людей одноногий капитан Всеволод Некрасов стал на охрану квартирному входу, со стороны Сампсоньевского.

Штыками пробили нижние стёкла окон и с колена стали стрелять по толпе.

Отсюда открывалось густое столпление у Лесных ворот и до цейхауза. Там толпа убила часового и грабила оружейный склад. При внезапной дружной стрельбе некрасовской команды – толпа стала отваливать, частью назад, в ворота на Лесной проспект, частью – вбок, за штабели дров и за цейхауз.

Так ворвавшихся остановили.

Но и стреляющих обнаружили, открыли огонь оттуда, у мятежников уже было много винтовок – и через несколько минут здесь были выбиты все стёкла, защитников осыпало осколками и пылью штукатурки от задней стены, тоже кирпичной, о которую плющились пули.

Одного тут ранило. Позже – и другого.

Через несколько минут вдруг увидели, как из левых казарм, из 3-й роты, выбежала толпа своих безоружных солдат – и кинулась через плац наискосок на соединение с толпой внешней. Бурная ненадёжная 3-я рота взорвалась от видимого им боя.

Остановить их! – не то конец Московского полка!

Огонь по своим солдатам...

Потеряв несколько упавших, те смялись, повернули и побежали к себе в казармы назад.

В сумрачно-морозном дне виделась там, за штабелями, за укрытиями, внешняя толпа – чёрные фигуры и сколько-то солдат, бродили (иногда видны были их головы над штабелями, но по ним не стреляли), совещались ли, готовились.

Потом выбежали в атаку.

Но под дружной стрельбой некрасовской команды отхлынули.

Так повторялось несколько раз – и всякий раз их отбивали.

За передышки полковые санитары подбирали с плаца раненых, унесли и Шабунина.

И он и Вериго были ранены смертельно. И умирали в лазарете.

Так – ворвавшихся как будто остановили, не пускали на плац. И позади железные ворота на Сампсоньевский прикрывались остатком верных солдат.

Но оставались не перекрытые огнём чёрные ходы – и наружная толпа могла постепенно перетекать в ближние казармы, а солдаты 3-й роты – перетекать вовне к рабочим.

Несколько раз с большими перерывами восставшие возобновляли сильный огонь сюда, по окнам, их чёртова уйма, а некрасовской команды всего пятнадцать. Обороняться становилось всё трудней.

Впрочем, и опять утихало.

Растянутая во времени защита становилась безнадёжна. Но пока были силы и патроны – надо держаться.

Достиг откуда-то слух, что толпа мятежников уходит, но обещает вернуться с орудием, чтобы выбить картечью.

Впрочем, толпа не ушла, а густела за укрытиями.

Потом пришёл брат Всеволод и сказал, что в батальон вернулся капитан Яковлев и приказал всякий огонь прекратить.

Передавали и сцену: при возврате Яковлева капитан Дуброва сдал ему батальон – а сам почти парализовался, упал на стул, лишился управления руками и ногами, его поддерживали и унесли в соседнюю с казармами детскую больницу. То – была его контузия под Тарнавкой.

Приказа прекратить огонь Сергей Некрасов не мог принять от хозяйственного капитана Яковлева! Он воспитан был биться и в безнадежности – до смерти. В бою под Тарнавкой их Московский полк, взяв у немцев сорок два орудия (шли цепями четыре версты под артиллерийским огнём по открытой местности), окопался кольцевым окопом и двое суток держал добычу против наступающего корпуса, пока не пришла выручка.

Штабс-капитан Некрасов не принимал, как можно бросить оборону, пока ещё есть силы держать её. Не кончили боя – и признать поражение?

Он хотел бы сам понять, что творится в городе. Но узнать неоткуда: как сказали ему, полковой телефон, с утра непрерывно звонивший, теперь был выключен или перерезан.

Тут Некрасов сообразил, что есть ещё один телефон – у бывшего командира полка генерала Михельсона, в том же здании, с другой лестницы. В своей разорённой, обезображенной, затоптанной и замороженной квартире он оставил наблюдателей, остальных послал греться в собрание, а сами с братом пошли к генералу.

Генералу тоже в двух местах пробило стекла, теперь заткнутые тряпками, и сам с женой он оделся и подготовился на случай эвакуации. Да, его телефон действовал, и он всё время звонил знакомым военным в разные места города. Везде в Петрограде – ещё хуже, чем здесь: нигде не образовалось ни одного очага сопротивления, к которому бы присоединиться. В центре – вообще никто никак не сопротивлялся мятежу.

Никто? и никак? Невозможно было понять!

Старый генерал советовал двум братьям-капитанам – и тут огонь прекратить. Не надо обострять отношений с солдатами.

Это ужасно! Завтра, послезавтра придут войска с фронта. Они легко подавят этот петроградский бунт. Но – что скажет батальон Московского полка? Как он смочит это пятно?

А сохранённое братьями собрание – простиралось из комнаты в комнату в своём достоинстве, монументальности и даже роскоши: огонь, перенесенный на второй этаж и вбок, ничего не причинил здесь. Всё было цело! – хрустальные люстры, двухсветный зал с колоннами, портреты Государей, портреты всех бывших командиров Московского полка на стенах биллиардной, библиотека, полковой музей, все окна, шторы, ковры, столовая, полковое серебро, мебель.

Только при стрельбе сбежала прислуга – и офицеров не кормили.

И необычно сидели на офицерской территории несколько десятков верных, застенчивых солдат.

Сдаваться было невыносимо, в этой кирпичной крепости!

Но и помощи ждать неоткуда.

И не отбить собрания дольше темноты.

Впрочем, пока стрельбы не было, и никто больше не наступал.

Война тоже была не настоящая.

Пузатый тучный капитан Яковлев, с лицом красным как мак, собрал всех наличных офицеров в библиотеке. Стояли.

Яковлев объявил:

– Господа, сопротивление бесполезно. Стрелять в собственных солдат невозможно. Все запасные гвардейские батальоны в городе взбунтовались. Город в руках бунтовщиков. Не тронут мятежом только лейб-гвардии Гренадерский. Пока путь на Петербургскую сторону открыт – кто желает, уходите к ним, вы свободны. И у кого семьи здесь во флигеле – скорей вводите туда, пока путь свободен.

Некоторые офицеры стояли со слезами. После бунта – разжалование? военный суд? Позор, позор, позор...

Только слово «революция» – не пришло в голову ещё никому.

толпой – тут и закричали во много глоток: «Айда Кресты выручать!», «Кресты!»

Кресты? Слышал Кирпичников и прежде: тюрьма знаменитая, там политические сидят. Ну что ж, тюрьму освобождать уже понравилось, туда так туда.

А хоть бы он пошёл, не пошёл, не согласился, – от него уже ничто не зависело: толпа уже катила, неизвестно чьей головой и волей. Слушали – кого услышат или кого захотят. А часть толпы пошла иначе. И Кирпичников уже не только не был предводитель, но его признавали лишь немногие волынцы, кто поблизости толкался, да кто из литовцев, из преобразенцев заметили его ещё во дворе.

Эту вторую тюрьму взяли легче лёгкого, уже теперь научились: и драться не надо, и дверей пробивать не надо, – покричали угрозно, пообещали взорвать, постреляли в воздух, у каждого патронами все карманы набиты, а кроме винтовок у кого ещё и браунинги, штучки офицерские, игра из них стрелять.

Кроме тюремной охраны в Крестах оказался и малый наряд москвичей, но биться не стали, а просто поменялись местами: наши вошли – они ушли.

Надзиратели протягивали связки ключей, только б их не трогали. Да они – виноваты, что ли? подневольны, как и наш брат, все на службе. А ну, расходясь по этажам, раскрывай все двери!

Надо эту радость арестантскую видеть, когда дверь распахнут безожидажно и – выходи, мол, на волю! совсем! сразу! Одни немеют, другие ахают, третьи кидаются скорей вещички схватить да выбежать, пока не раздумали приглашать. А четвертые, бритые, каторжные, что ль, – танец пляшут да матюгаются, заслушаешься, и мата такого не слышал никогда.

Кто в тюремных халатах да туфлях, кто в своём, с пустыми руками иль с узелками, – потянулись, побежали на улицу на мороз.

Но и наше время не терпит: нам надо 'ть наосвободить побольше, побольше, чтоб уже назад запихнуть не могли. В том и спасение первоподнявшихся: освободить как можно боле народу!

А тут – ещё, мол, тюрьмы! Вот – Женская близко! Вот – Военная! Побежали ребята и туда.

Нет, подумал Кирпичников, тюрьмами – не окрепнешь. И не по заводам же бегать, они и без нас свободные. А вырывать надо своего брата солдата, Московский батальон. Да ведь так: и сбились – чего на эту тюрьму отвихнулись, только крюку задали. А сила – солдаты, туда нам и гнать! А куда Круглов делся с грузовиком и пулемётами?

А своих – всё меньше. Маркова когда потерял – не заметил. И Орлова. Ещё Вахов оставался под рукой – в службе парень туповатый, но и верный.

А на улицах – многие толпы, мастеровые, обыватели, и солдат разных врассыпную, ни одной команды строем, и наши ватагой, уже никого и не построишь, даже досадно унтерскому кадровому сердцу.

Спрашивали про москвичей – говорят, нет ещё, держатся запершись.

А идти-то хотят не все: куда мы пойдёмся? да мы уже четыре дня в караулы ходим, ноги не тянут. А тут ещё – мимо проехал воз, в ящиках хлеб, так многие за тем возом побежали.

Другие многие – к Литейному мосту свернули: назад, в казармы, хватит!

Да тем, что назад уйдёшь, – себя не сбережешь. Прошёл слух такой, что там, на Литейном проспекте, уже наших давят. Ох, пощемывает: добром ли кончится? Что это мы начали непосильное? Ох, пропадём ни за что!

Всё ж осталось с полсотни – идти на москвичей. Ну, двинули по Сампсоньевскому. Куча – совсем случайная, уже никого Кирпичников не знает, только свой Вахов рядом, да ещё человека три из учебной команды, а то и волынцы – да незнакомые.

Даже обидно: с утра Кирпичников был неоспоренный вожак, он бы не начал – никто бы не начал, первый-то шаг – неподсильно переступить. А теперь вот эту ватагу Кирпичников ли вёл, или сама она шла, – не разобрать.

Вольных, рабочих порядочно было на Сампсоньевском, и иные уже с винтовками –

тоже запаслись! – а солдат не видно. Значит, московцы ещё взаперти. Звали этих рабочих с собой, – кто шёл, кто не шёл.

Сил совсем не стало хватать.

Все победы сегодня были достигнуты без боя, единственная серьёзная охрана за Литейным мостом не успела открыть огня. Так и сейчас шли, надеялись, что стрелять не будут, – а тут послышалась сильная стрельба. И шагов за четыреста до полковых ворот, где узкий проспект расширяется, – все люди остановились, и солдаты, и штатские со своей жидковатой песней – остановились, и дальше идти не хотели.

И даже многие запянулись, назад пошли.

Стрельба была сильная, из разных мест, – но так определил Кирпичников, что – по другую сторону большого кирпичного здания, а сюда пули не летели. То здание за железным забором и загораживало полковой двор.

И Кирпичников звал солдатскую братву:

– Пошли! Пошли, не робей! Сейчас их с тыла и брать!

И какой-то молоденький закричал:

– Кому свобода дорога, вперёд!

Но пошли вперёд человек двадцать, остальные не подвигались.

Пошли – но жались к стенам, к заборам, то падали за снеговые сгрёбы. Солдатики-то всё нестреляные.

– Не сюда стреляют! – Кирпичников им. – Скорей к воротам!

Не верят. А пальба – сильная, над головой.

Разбежались, попрятались. Пустой проспект.

Нашёл и себя Кирпичников на снегу у забора. И – никого не видно близко.

Стал возвращаться к тому месту, где отстали, – а и там почти никого. И Вахова не стало.

И место – какого Кирпичников никогда не знал, даже и на Питер не похоже. Вот занесло.

Не взять ворот Московского, некем.

Дюже стреляют. Кто? в кого?

И куда всё рассеялось?

И понял Кирпичников так, что всё пропало.

А что там, в волынских казармах?

Побрёл назад вдоль забора – один.

101

Самокатный запасной батальон, казармы которого стояли на самом краю Сампсоньевского проспекта, уже почти в Лесном, не был похож на остальные запасные батальоны Петрограда: это не был отстойник преждевременно выхваченных в армию, а затем в бездействии томимых неподготовленных, необученных невозрастных солдат, но – солдат повышенной развитости и боевого возраста, и боевых же здоровых офицеров. Батальон был как бы не единственной в столице воинской частью с фронтовым духом. Он готовил и отправлял на фронт самокатные роты – с пулемётами на мотоциклах и обозом из грузовых машин. Такие роты были в новинку и назначались для совместных действий с конницей в предстоящем большом весеннем наступлении. Занятия шли бодро и плотно, по 10-12 часов в день, не пропуская и воскресений, так многому надо было обучить охочих заинтересованных солдат. Пристально занятый своим делом, батальон мало замечал, что происходит в столице, да и в стране.

Хотя в середине февраля и был объявлен офицерам батальона приказ командующего Округом о том, какой район должен обеспечивать охраной их батальон в случае крупных волнений в Петрограде, – офицеры, большей частью уже много воевавшие, вызванные с фронта, отнеслись к приказу и недоверчиво и брезгливо: уж полицейских обязанностей не

хотели бы они исполнять и не должны.

И что делалось в городе в позднефевральские дни, тоже на батальоне не отразилось: городских караулов он не выставлял, в Лесном всё было спокойно, занятия не прерывались ни на день, а что заводские толпы отсюда уходят в город шуметь – так тут только тише было.

Однако в пасмурный понедельник 27-го с утра слышалась из города, версты за 4-5, разрозненная частая стрельба. Затем она становилась ближе, перешла на эту сторону Невы, ещё ближе – очевидно уже около московских казарм. Но и это не показалось настолько серьёзным, чтобы бросить занятия и готовиться бы к бою – неизвестно с кем и зачем.

Вдруг послышалось дикое пение, и по Сампсоньевскому с юга стала приближаться большая беспорядочная возбуждённая толпа – из штатских, солдат вне строя, матросов вне строя, с красными флагами.

Дежурный офицер поручик Нагурский понадеялся, что толпа пройдёт мимо, – но как бы не так, прилила сюда, к забору и к вахте. Из оконца были видны многие дерзкие, грубые, разгорячённые лица. Нагурскому оставалось только выйти навстречу. Он взял с собой фельдфебеля и с ним вышел. А сзади из любопытства и на поддержку выступил вольноопределяющийся из студентов Елчин.

В толпе не было старшего, никто не говорил отдельно, а кричали в несколько голосов – резко, непочтительно, не прося, а требуя, чтобы солдаты-самокатчики были немедленно выпущены наружу, на праздник свободы.

Поручик Нагурский всю войну воевал, и поднимал роту в атаку и вёл её на смерть, и привык, что три звёздочки на его погонах обеспечивают повиновение солдатской массы. Сейчас он остро ощутил совсем новое соотношение: его звёздочки не обеспечивали никакого превосходства, он не мог ничего приказать этой толпе, ни даже велеть ей построиться, принять внешне-порядочный вид, солдатам подтянуть заправку, взять винтовки единообразно. В полминуты он низвергся из того, чем привык быть, и ощутил дурацкую неуверенность, не находя даже тона, как с этой толпой разговаривать. Почему-то он не приказал им убраться, не смел заявлять таких наглостей – а тоном оправдания объяснил, что не может выпустить солдат из казарм без разрешения командира батальона. (И тут же сообразил, какой негодный ответ, ну потребуют, чтоб выпустил командир батальона! Как-то сразу отказала находчивость).

И так он стоял, в шаге от переднего края толпы, да нет, полуокружённый уже ею, и пытался найти более внятные лица среди возбуждённых, и более достойные, однако и вразумительные слова для них. И вдруг Елчин крикнул ему тревожно:

– Ваше благородие! У вас оружие отрезали!

Нагурский глянул вниз, не веря глазам ощупал – висели только кончики ремешков, но отрезан был кортик и отрезан кобур с револьвером! Нагурский чуть не взревел – от обиды, от стыда, как будто его неприлично раздели перед толпой, от досады, что он не успел сам заметить, – он замотал головой, ища в руках у соседних – ни у кого не было! Чисто-воровской манерой унесли, украли!

И ещё дальше низвергнутый, на следующую глубину, ещё менее достойно, он стал просить, умолять – неизвестно кого – отдать ему оружие! его честь! без этого он... К кому обращаться и как обращаться? – не господа и не братцы... Он стал касаться шинельной и черно-бушлатной груди одного, другого перед собой, угадывая обидчика или сочувственника, – и вдруг закричал от сильного, болезненного удара в висок, острого в голову! – и пошатнулся.

Это кто-то из ближних рабочих, через спины других, швырнул ему в голову крупную гайку, сбил фуражку, в кровь разбил висок и самого пошатнул. И тут же на его голову обрушились кулаки со всех сторон.

Вольноопределяющийся Елчин, не соразмеря, не соображая, – кинулся его спасти, ни с каким оружием – руками, скорее вытащить из месива раненого поручика! – но ничего не успел, как прокололо его со спины, и он потерял сознание.

Это в спину ему вогнали тот самый кортик, отнятый у поручика. И он – рухнул ничком,

под ноги.

И теперь фельдфебель, напротив, отступая, стал стрелять во всех соседних, кто был близ Нагурского и Елчина. И увидел, что попадает.

А между тем на его выстрелы уже выбегали другие солдаты, тоже стреляя, в воздух. Толпа быстро отступала, оставив раненых на снегу.

Из ворот вышла дежурная рота с винтовками наперевес и погнала толпу дальше. Нагурского и Елчина внесли в ворота. Оба были ещё живы.

102

Не мог генерал Хабалов охватить только двух вещей: что же ему делать с городом Петроградом? И что с самим собой?

С самим собой, возвратясь разруганным от Голицына, пожалуй вот как: над раскрашенной картой города подпереть голову двумя руками и рассматривать её без перерыва. Такое сосредоточенное занятие хотя и не выводило его из тупика, но всё-таки помогало в чём-то медленно разобраться.

На этой отличной карте, где указаны были и все мелкие улицы города, и особо – каждая полицейская часть, и расположение каждого запасного батальона, все 16 районов войсковой охраны были закрашены разными цветными карандашами – и теперь-то было отчётливо понятно, что военный бунт потому и мог произойти именно в 8-м районе, что его должен был охранять именно Волынский батальон, который и взбунтовался.

Затем не могло быть предусмотрено, что войсковым частям придётся так подолгу оставаться в нарядах вдали от своих казарм, – и с разных мест поступали теперь жалобы, что войска не кормили со вчерашнего дня.

А с патронами совсем плохо: склады на Выборгской стороне – уже в руках мятежников. И к остальным не пробиться.

Стал Хабалов энергично доставать патроны, для этого энергично телефонировать. У своих гвардейских батальонов ни у кого лишнего запаса не оказалось. Позвонил в Кронштадт: прислать патронов, а лучше б и войско. Но отвечал комендант Кронштадта, что сам опасается за крепость и ничего прислать не может.

Тогда телефонировали на мирную Петербургскую сторону, в Павловское и Владимирское училища. Эти – имели запас патронов, но как послать их действующим батальонам? – ведь патроны по пути могут попасть в руки мятежников! Действительно. Отказались от этого замысла.

Ещё в каком-нибудь полку? В 181-м? Да, спугал, 181-го в Петрограде уже нет. Должно быть много в 1-м пехотном – так до Охты не добраться.

А снаряды? Со снарядами сложилась та же история, даже горше: подтянулись к штабу две артиллерийских батареи, но снарядов – только 8 штук. А снаряды – на той же Выборгской стороне, и даже дальше, на станции Кушелевка.

Да если рассудить, так снаряды – зачем они и нужны в городских волнениях? Где ж тут в городе стрелять?

Непонятно было, почему отряд Кутепова не потеснил мятежников к Неве, как было ему приказано. Неудача кутеповского отряда особенно угнула Хабалова.

Одно подавало надежду: что, кажется, соберётся какой-то резерв на Дворцовой площади. Обещались. Во-первых, две роты преображенцев. Да одна рота гвардейских стрелков. Да ещё одна рота кексгольмцев. Да оказалось теперь, ещё дозвонясь, измайловцы и егеря как будто тоже могут прислать. Да ещё ж в запасе – ораниенбаумская пулемётная полурота, хотя стрелять не готова. Да ещё ж и две батареи, как-никак, хоть без снарядов, но пугать.

А уж ненадёжный Павловский батальон и трогать не надо, пусть сидят в казармах.

Нет, силы приличные собирались у Хабалова. Лишь бы они не отказались подчиняться приказам. Не было уверенности, что будут подчиняться.

Силы собирались приличные – теперь оставалось обдумать, как их применить.

Правда, было и такое сообщение: что офицеры Измайловского батальона настроены войти в соглашение с Родзянкой. А что ж? Может быть это и неплохая мысль, и самый лучший бескровопролитный выход.

Тут приехал в градоначальство потемнелый маленький злой генерал Беляев. Хабалов и Тяжельников отдали ему по форме все доклады о происходящем, показали по карте. Беляев стал давать указания, но в такой общей форме, не называя ни районов, ни улиц, а – «усмирить, подавить, привести к порядку», что никак было не ухватить: так что же именно делать? и вот – с отрядом на Дворцовой площади?

Впрочем, военный министр тут же и объявил, что командовать всеми войсками в Петрограде назначает генерала Занкевича, то есть начальника Генерального штаба, старшего из генералов в распоряжении министра.

Объявил, и даже вызвал Занкевича сюда, в штаб, – и привёл Хабалова в окончательное расступление ума: в каком смысле назначался Занкевич командующим всеми войсками? В смысле командования гвардией, в замену заболевшему Павленке? Или в смысле общего командования войсками Округа? А Хабалов, что же, – остаётся на посту или смещён? Не было ясно сказано, а Хабалову не слишком удобно и спросить. Занкевич с Генеральным штабом – да, подчинялись военному министру, но Округ – не подчинялся ему, Хабалов был назначен самим Государем и отвечал перед Ставкой.

Да он так устал, перетяжелел от всего происходящего, что охотно бы сейчас и ушёл в отставку. Но – не сказано было покинуть пост, и не мог его отставить военный министр.

А что войска отдадут Занкевичу – так и легче.

Хабалов передал Беляеву эту благоразумную мысль, передавшуюся ему от измайловцев: а не следует ли войти в сношение с Председателем Государственной Думы?

Маленький, почти лысый Беляев смотрел через пенсне остро настроенно. Но ничего не выразил, никак не понять.

А пока генералы занимались между собой – оказывается, в градоначальство прибыл великий князь Кирилл Владимирович, и его принял Балк. Великий князь уселся в кресло за столом, выговорил градоначальнику, что тот ему систематически не докладывал, – и потребовал подробного отчёта о положении.

Все десять-пятнадцать великих князей всегда нависали как сверхштатные генералы самой неопределённо высокой должности.

Градоначальник доложил, как понимал: что дела вовсе худо, и он полагает, что к ночи вся столица будет в руках бунтовщиков.

Стройный Кирилл Владимирович, бритый, лишь с пушистыми усами, налитую шеей и лицом, и маленькими, требовательными глазами, допрашивал как имеющий власть.

А как же войска из окрестностей?

Да всего два эскадрона, и те бездействуют. А другие ещё не подошли.

А казаки?

Да не выводим, не надёжны.

Великий князь почти закрыл глаза. Закинул голову. И – почти протонал:

– Да-а-а... Все великие князья просили его дать конституцию – но он и слышать не хочет.

Узнал, что тут Беляев. Прошёл к нему. И посоветовал как спасение государства: немедленно сменить Протопопова.

И Хабалову выразил неудовольствие: почему не докладывает о военном положении?

Хабалов, как мог, промычал великому князю о происходящих действиях. (Если бы он сам мог понять их!)

Великий князь спросил, что ему делать с гвардейским экипажем.

Осмелился Хабалов: если Его Императорское Высочество уверены, что экипаж против мятежников действовать будет, – то пусть он присоединяется к резервам у Зимнего дворца. А если заявит, что против своих стрелять не будет, – то лучше пусть остаётся в казармах.

Великий князь поводил губами, похмурился. Нет, поручиться за весь экипаж – не поручится. А более надёжную учебную команду – пришлёт.

103

Хотя три левых оратора и объявили с крыльца от имени Думы ободрение восстанию – но совсем не такое настроение было внутри дворца. Да просто почти никто – ни центр, ни кадеты (крайне правых уже сдуло ветром), этого восстания не одобряли. Пока – миновало, 30-тысячная толпа не пришла громить. Но могла прийти в любую минуту.

А ещё был слух, что с Литейного проспекта на Кировую пробиваются правительственные войска. И эти тоже не поглядят Думу, обязанную разойтись, а не разошедшуюся, да ещё допустившую безответственные заявления с крыльца.

Несколько депутатов проявили большое нетерпение. Независимый наскочистый казак Караулов в духе гордой вольности громко требовал открыть формальное заседание Думы, не подчиняясь никакому роспуску. И то же предлагал, заматавшись от группы к группе, до сих пор мало замеченный, а теперь воспламенившийся нервный прогрессист Бубликов, с кипучим взором и острыми чёрными усами:

– Вы боитесь ответственности, господа? Но таким бескрайним послушанием вы безвозвратно теряете своё достоинство! Надо бросить вызов императорскому правительству!

Того хотели и крайние левые, обещавшиеся с крыльца от имени Думы. И Керенский, лунатически входя в какие-то новые чрезвычайные права, кинул дежурным приставам, что надо дать электрический звонок, собирающий депутатов в зал заседаний. Но приставы не послушались его.

А вот – появился в Екатерининском зале и Родзянко, возвышаясь над депутатами крупной головой. И зычно пригласил всех членов Думы – в Полуциркульный зал, на частное совещание.

То был, позади главного зала заседаний, в полукруглом выступе дворца в парк, – сравнительно малый зал, где проводились подсобные совещания, и где бы не поместилась вся Дума полностью, даже и для человек трёхсот присутствующих места было недостаточно, многим пришлось стоять.

Эту хорошую мысль подали Родзянке в последний момент его тягучих размышлений. Преступить высочайшую волю и незаконно собрать на заседание распущенную Думу – он не смел, он присягал, он был верноподданный. Но что мешало депутатам, пользуясь незапертостью помещений, собраться на частное совещание, совещание частных лиц, демонстративно минуя главный зал? (А вовсе не собраться никак было невозможно, все этого требовали и ждали).

И вот они втекали в Полуциркульный. Вот они сошлись, как потерпевшие крушение, лишённые своих постоянных мест, стеснённые, столпленные. Как просторно и твёрдо ощущали они себя годами – тут же, за стеною, в этом же здании, – а вот сами не могли узнать ни здания, ни себя. И они даже не имели сил и времени погневаться на правительство, но, застигнутые, прислушивались к какому-то новому как бы звуку, как бы шороху начавшегося великого обвала, чему-то, не объёмлемому даже ухом, слишком грозному для уха, растолкуемому лишь в груди.

Перемешалась всякая рассадка их по партиям, как и на самом деле вдруг перемешались взгляды их, такие устойчивые годами, и, каждый в себе не находя силы решения, переглядывались они друг с другом, ища поддержки.

Все правила думского наказа, по которому так бесперебойно функционировали четыре Думы одиннадцать лет, – вдруг отказали им при переходе в этот зал. И, частное совещание, не могли они возглавиться своим обычным президиумом, а за столом поместился теперь весь совет старейшин, чтобы не обидеть никакую фракцию, – хотя была ли хоть одна из них, знающая что делать?

Впрочем, похоже, что знал Керенский. Каким-то ли прирождённым чутьём – он вдруг

стал понимать смысл событий? – и властно начинал действовать. Вот он, было, пришёл, сел за стол президиума, струнно вытянутый, – как-то особенно замечалась узкая вытянутость его головы, – и вдруг вторым слухом услышал нечто, никому не слышимое, – и по этому зову с несомненностью встал и с несомненностью поспешно вышел, никому ничего не объясняя. И даже такая тень пролетела, что всё их заседание не так важно, как то, что он сделает там сейчас, выйдя.

А Родзянко, кажется сколько уже раз подымавший в Думе на возвышение всю тяжесть России, – вот когда подымал её в первый раз, вот когда ощутил в самом деле тяжко. Раньше вся тяжесть бывала – как сбалансировать между думским большинством и Верховной властью, достаточно угодить первому, не слишком рассердить вторую. Раньше вся тяжесть была – сдозировать выражения, а сегодня – в полной дремучести и неведении, в небывалой обстановке отсутствия и Думы и правительства, – Председателю прежде других надо было что-то разглядеть и сделать, а он не был способен.

Что он мог сказать своим думцам? То, что они знали и сами: что вот четырёхдневные волнения сегодня переросли в вооружённый бунт. Что положение исключительно серьёзно. Что правительство не подаёт ни малейших признаков действия, как бы его вовсе не было, хотя медлить с подавлением бунта недопустимо. Что лично он сделал всё человечески-возможное, послал телеграммы и Государю, и Главнокомандующим, и всё равно ответов от Его Величества нет. Теперь члены Думы должны обсудить положение и принять какие-то меры, – хотя при неизвестности соотношения сил Дума не имеет оснований высказываться определённо.

Не обнадёжил Председатель. Жались. Действительно, положение представлялось ребусом.

Неожиданно слово взял молодой Николай Некрасов. Неожиданно, потому что как правило в трудные перевесные минуты он не вылезал с выступлениями, его специальность была – бить и травить, когда уже идёт погоня. Так внутри кадетской партии он травил Милюкова, когда и всё левое крыло на него нападало. Чтоб освободиться от этого назойливого левого кадета, чуть не эсера, и связать его, Милюков и присоветовал его в Товарищи Председателя Думы. Но таким крайним Некрасов был только внутри кадетской фракции и ЦК, а на заседаниях Думы выступал скромно, лишь по деловым вопросам, и даже для правых сумел прослыть умеренным. Он умел притворяться добродушным, но выдавали его угрюмые синие глаза. (При воображении, эту угрюмость понимали как огонь революционера). И без широкого образования он был, и туповат, не любил его Милюков. И что он сейчас может сказать?

Встал решительно, упёрся кулаками в стол. А всего-то и предложил: что надо немедленно передать всю власть сильному генералу, которому доверяет Дума. Надо немедленно ехать в правительство, заставить его назначить такого генерала и передать ему диктаторские полномочия по подавлению бунта. И только то было слабое место в его предложении, как он понимал, что нет поблизости боевого генерала, которому бы доверяла Дума. Но полагал Некрасов, что с этой задачей справится Маниковский (интендант по артиллерийскому снабжению).

Однако не только не взбодрил Некрасов своих коллег, но ещё глубже окунул: потому ли, что высказал тупо-мрачно, без воодушевления, или потому, что левый, а вот просил генерала, – и до чего же, значит, все они внезапно погибали?

Тут вырвался выступить недреманный Караулов. В ноябре он предупреждал Думу о четвёртом пути, о революции. С зоркостью терских казачьих разъездов всегда улавливал он и не спускал всякое подозрительное шевеление вдали. И с резкостью, с которой, бывало, потчевал правительство, стал теперь угощать Некрасова и остальных оглушённых думцев: как же так? где же наши все смелые слова? Полный год мы честим правительство дураками, мерзавцами, даже изменниками, – а теперь Некрасов предлагает к этим самым дуракам ехать просить содействия? Они сами попрятались под кровати – а мы будем прятаться ещё за их спину? Нет! довольно болтать! Делать надо что-то самим! А если не сумеем – так и

достойны мы, чтобы гнать нас отсюда вон!

Но **что именно** делать – не придумал. Не сказал.

Обвал не обвал, – но пока это перестало давать себя знать сюда, свежие страшные вести не врывались в Полуциркульный зал с полукругом больших светлых окон в покойный заснеженный Таврический сад, – и думская привычная процедура начинала брать своё, затягивала. То никто не брался говорить, то – сразу несколько просили слова, от малых фракций.

Заговорил надолго медлительный октябрист Савич, тоже склонявшийся просить военной диктатуры. И рыхловатый прогрессист Ржевский, ни в коем случае не допускавший такого нравственного падения Думы, но должна она избрать из себя орган для прямых сношений с восставшей армией и восставшим народом. (Но если раньше того органа – да ворвётся улица сюда?) И, конечно, неотвязный Чхеидзе, – какой думский день когда-нибудь обходился без него? – и сегодня, как всегда, он поносил и клеймил Думу за её буржуазную трусость – может быть снисходительнее обычного, ибо уже постигало его счастье от событий.

А Керенского всё не было, он где-то метался, он что-то важное узнавал, исправлял или предотвращал, – и от фракции трудовиков выступил широколобый, без шеи, всегда беспощадный Дзюбинский. Он тоже резко стыдил буржуазную нерешительную Думу (уже все и забыли, что это совещание – частное): если она есть народное представительство, как всегда себя считала и называла, то её долг и действовать самой, когда уже стал действовать народ. Она конечно должна сама восстановить порядок – и создать какой-то комитет с неограниченными полномочиями.

Шингарёв подал реплику: ещё неизвестно, признает ли народ власть такого комитета.

Казалось бы – раньше всех должен бы выступить Милюков, от самой крупной фракции. Но он всё оттягивал, всё уступал место другим, и, кажется, готов был уступить и таким безвестным думцам, кого никогда не видели на трибуне, на кого никогда не хватало регламента. Он оттягивал – потому что ждал какого-то прояснения, большей определённости событий. Милюков не склонен был к аффектам и увлечениям, он был человек от *ratio*, для суждения он должен иметь ясные послышки, сгруппированные, проверенные факты, из которых он мог бы найти несомненную равнодействующую. (Для того он и записывал всегда, не сегодня, мнения всех выступающих). А пока происходила лишь неясная уличная мельтешня, неясна оставалась позиция всех видов власти, – самый веский, уважаемый, разумный человек тут, Милюков не мог указать Думе позитивного решения. Если смотреть глубоко в суть, то это могло быть и отчаянно плохо: упущенная из рук, нежеланная революция. Тут не место эффектным речам на публику и бомбам-хлопушкам, какими раньше он глушил власть. Это совещание было – как нашаривание слепыми руками, и полезно было хотя бы послушать других, чтобы легче суммировать. А вот – уже подходила неминуемая очередь говорить, и надо было соблюсти авторитетность вида и мнения, чтоб никто не заподозрил ни малейшей в нём растерянности.

Так вот: не согласен Павел Николаевич ни с Некрасовым, ни с Дзюбинским, и вообще ни с кем, говорившим до него, и может быть – ни с кем, говорящим после. Конечно, было бы совершенно неприлично просить правительство о военном диктаторе. Но также было бы неуместно и создавать для диктатуры свой думский комитет. Дума не может брать в собственные руки власть, ибо она, да помнят господа члены, есть учреждение законодательное, а стало быть не может нести функций распорядительных. И вот какими доводами из области государственного права это можно с несомненностью обосновать... Но ещё потому мы не можем брать власти и даже принимать вообще какие-либо определённые решения, что нам не известен ни точный размер беспорядков, ни соотношение сил местных войск, ни доля участия рабочих и общественных организаций в этих волнениях. И потому никак не наступил момент создания новой власти. А раздававшиеся в кулуарах горячие голоса войти в Белый зал и объявить себя Учредительным Собранием – и вовсе есть безответственный толчок к хаосу. А самое благоразумное – пока никаких решений не

принимать и подождать, подождать...

Тут – внезапно ворвался в зал Керенский, с видом драматическим и всё растущий в значении. Ворвался – и спешил говорить, – и, чего никогда не могло быть в этой Думе в нормальное время, – ему поспешно дали слово, в порядке ведения, отесняя и всеобщего лидера, который, однако, спокойно уступил. И Керенский вышел говорить, даже вздрагивая от избытка знания, ответственности и решимости, – в этих вздрагиваниях как бы сбрасывая слушателям свои палящие мысли:

– Господа! Я непрерывно получаю всё новые сведения! Медлить – нельзя ни минуты! Войска – волнуются! Всё новые полки выходят на улицу! Я – немедленно беру автомобиль и еду по полкам! Я остановлю их – одним убеждением! Но мне надо знать, что я уполномочен сказать им? Могу ли я сказать, что Государственная Дума безусловно с ними? Что она становится во главе происходящего движения?

Он вздрагивал с полузакрытыми глазами, едва не покачиваясь от собственных фраз, потом развернул веки и выбрасывал снопы огня. Сколько лет он вращался среди них – мелкий адвокат, заносливый пулемётный оратор, – и они не знали его, не понимали его полководческого, оказывается, таланта, его силы и даже властности. Теперь это вспучилось, прорезалось – и внушало изумление. И никто не возразил, почему именно он должен ехать к полкам.

Однако – и слишком много он хотел от этой Думы! Парламент – он хотел увлечь возглавить улицу, громящую толпу, освобождающую преступников?!

Совещание замялось. Не нашлось такой формы, в которой бы оно вдруг уполномочило Керенского прыгать в автомобиль и нестись по полкам.

А всё же оскорблённый пренебрежением Милюков – снова вступил и презрительно отклонил предложение Керенского: такая поездка никого не убедит, ничего не успокоит. А правильное – выждать, ещё собрать новых сведений и тогда уже принимать решения.

И прения, едва не вывернутые из колеи, кажется опять могли потечь нормальным ходом и надолго, и Милюков, кажется, должен был оканчивать речь, хотя Керенский уже физически не мог устоять, усидеть, онеподвигнуться. И нельзя представить, как бы он с собою справился, – если бы в этот момент не вбежал с криком, взъерошенный и с одним оторванным погоном начальник думской охраны. Вместо того чтоб охранять их всех – он сам просил о защите, что его убили! Он кричал, что творится невозможное у входных дверей, хотят ворваться, кого-то ранили, а его самого спрашивают, – с народом он или против?!

Почтенное собрание так и обожгло: хотят ворваться – прямо сюда? прямо на них? Так они ничем не защищены, ни даже депутатской неприкосновенностью?! **Хотят войти** – это была жутковатая форма.

Но – как выдернутый из этого болота деловым применением – Керенский порхнул и умчался, даже не оглядясь на председателя.

И уже все поверили, что их Керенский – умеет, их Керенский – уладит! Это немного успокаивало, но не снимало большой тревоги: что же им делать? что же решать? Как будто и времени не оставалось.

Сколько раз в этой Думе бывала драматическая обстановка, зачарованное молчание – и страстный голос с трибун исторгал их общую любовь к отчизне, ответственность за народ, их сердечную задетость. Но, кажется, первый раз их задело вот так!

Под гнётом идущей, громящей толпы прения приняли другой характер. Рациональное предложение Милюкова подождать – уже не имело успеха. Бурный кадет Аджемов бурно выступил против своего партийного лидера, что нельзя откладывать, что Дума – сама сила, и должна достойно действовать. А кто-то из центра возражал, что прежде надо узнать намерения толпы: идут ли они продолжать святое дело Государственной Думы или просто громят в пользу немцев? в первом случае это Народ, а во втором чернь. А кто-то сомневался, как это приспособить Думу осуществлять какую-либо власть? И как она может самовольно перенимать её от других властей?

Помрачённый, тревожный, совсем не парадный Родзянко совсем не громко просил, между ораторами, ускорить обсуждение. (Сам он не мог принять решение, и это заседание мешало ему думать).

И наконец – решили. Решили, если это можно назвать решением, решили без голосования, а просто общим сжатием к середине: сохранить единство без различия партий – для того чтобы противодействовать развалу. И из членов Думы создать-таки комитет, но этому комитету не предоставлять заранее никаких полномочий, а там смотреть по ходу событий. Но не будучи полной Думой, они не могли голосовать и выбирать, – а пусть такой комитет составит совет старейшин.

И во всяком случае – никому не разъезжаться из Петрограда! – вот это было ясное пожелание всех ко всем: чтоб оставшимся не оказаться в меньшинстве и всё это расхлёбывать.

На том совещание пока распалось, члены обещали друг другу не уходить и из Таврического. (Но кто-то незаметно уходил).

Совет старейшин гуськом потянулся совещаться в кабинет Родзянки.

А между тем снаружи Керенский (снова бесстрашно не одевшись на мороз) отлично справился с положением. Поставленные им волынцы уже не охраняли дворца, и самих их найти было нельзя, никакого караула не осталось, и во дворец начинали лезть какие-то рожи. Но тут же пробился к нему расторопный энергичный какой-то, представился преображенским унтером Кругловым и объявил, что с командой 4-й роты прибыл после взятия казарм Московского полка – и предлагает взять на себя все караулы Таврического.

До сих пор приходили сбродно – а это была первая организованная команда, – и унтер был, видно, из тех, который для революции не пожалеет родного отца, очень решительно и жестоко смотрели его глаза над крупными скулами. Таких людей надо не отдавать стихии, но ставить на службу, – это Керенский соображал мгновенно, – и тут же звонко назначил начальником всех таврических караулов.

Круглов тотчас поставил четверых на крыльце, а с другими пошёл занимать думский телеграф.

И тут в Керенского вонзилось, – он сам даже не мог понять: это он догадался? или переработался в нём слух, что где-то каких-то министров арестовали? – вонзилось, что пришёл момент арестовывать сильных врагов, которые могли бы помешать ходу взрывных событий. Во Французской делали так! Надо искать кого-то? – надоумить? послать?

Но не успел он додумать, найти, послать, – уже четверо рабочих с винтовками и четверо солдат вели к нему двоих безоружных напуганных юных прапорщиков. Оказалось: напротив Таврического, у главной водокачки городского водопровода, это их был караул, который потребовала снять прибывшая взбунтовавшаяся толпа. Но прапорщики не сняли и сопротивлялись отдаче своего оружия – и вот были приведены как преступники на казнь.

И с тою впивчивостью, перехватчивостью, с которою Керенский входил в свою революционную роль, всю жизнь для него готовленную, всю жизнь писанную для него, – он ещё выпрямился, ещё удлинился, протянул вниз с крыльца повелевающую руку и, даже откидываясь от красоты момента, объявил:

– Господа прапорщики! Я понимаю вас! Но ввиду переживаемых нами событий я приказываю вам: снять караул по требованию рабочих!

Особенность революционной минуты в том, что не надо стараться охватить все стороны вопроса, но – выхватить самую яркую! Не отдаваться сомнениям, что городской водопровод нуждается в охране даже сейчас, – но вырваться навстречу требованиям взволнованных рабочих. В революционную минуту выигрывает и возвышается тот, кто решает мгновенно и ярко!

В два голоса у плача пожаловались юные, что за снятие караула их расстреляют по закону.

И тут же рука повелевающая превратилась в руку милующую, и торжество приказа – в торжество прощения:

– Я, член Государственной Думы Керенский, лично прииму ответственность за это распоряжение. Своею собственной жизнью, – дрогнуло у кадыка, – я гарантирую вам неприкосновенность!

Прапорщики смякли – и уступили.

А Керенский тут же и забыл о них навсегда.

104

Преображенский полк был всеизвестно **первый** полк русской армии. Это был любимый полк Петра – и уже при петровских ушах звучал его марш. Этот полк возвёл на престол Елизавету. Из царствования в царствование он бывал на первом месте, надежда династии, и не случайно нынешний Государь наследником командовал батальоном именно Преображенского полка. И часть казарм полка и офицерское собрание были – рядом с Зимним дворцом, на Миллионной, – единственная такая близость изо всех полков. (И внутренний коридор соединял их казармы с дворцом).

И хотя сам полк был теперь далеко на Юго-Западном фронте, где понёс жестокие потери, – офицеры запасного батальона, собиравшиеся ныне в этом самом приближённом собрании, кто попал сюда после ранения, а многие – из петербургской публики, избежавшие прежних мобилизаций, а теперь по протекции, – тоже ощущали себя коренными преображенцами, с удовольствием принимая на свои плечи всю эту долгую славу.

Но два дня назад одной роте преображенцев досталось неприятное участие в событиях: стоять цепью у Полицейского моста, никого не пропуская к Дворцовой площади. Правда, и напор толпы сюда был невелик, она от Казанского собора всё время укатывала в другую сторону, – но удалось капитану Скрипицыну ни разу не применить даже угрозы оружием или физической силы, о чём он с гордостью потом рассказывал в собрании.

А вчера – это их, Преображенский наряд арестовывал возмущившихся павловцев, – и офицерам-преображенцам было стыдно теперь.

В собрании у них эти месяцы была атмосфера очень вольная, сошлись такие офицеры, ненавидели императрицу, сочувствовали Думе и реформам. Как многие в петербургской гвардии, они встречали с шампанским известие об убийстве Распутина. И сегодня вполне нестеснительно высказывали своё сочувствие народному движению: ведь народ просит хлеба, как же можно ему противостоять? И не хочется марать репутацию свою и Преображенскую, оказаться в одном ряду с подавителями! (Да кое-кто по-новому вспоминал и неподчинение их 1-го батальона в 1905, отказавшегося занимать дворцовые караулы, расформированного за то, невзирая что когда-то командиром именно этого батальона и числился нынешний Государь). Если полк – первый в России, то тем более надо быть на уровне гражданского сознания. А правительство – призраки.

27-го февраля все офицеры, свободные от нарядов, завтракали в собрании на Миллионной, и уже никто не уходил, ощущая необыкновенный размах событий. Командира батальона Аргутинского-Долгорукова не было, да его никто серьёзно и не воспринимал, а батальонный адъютант поручик Макшеев был в курсе всех сообщений и охотно делился. Ему самому пришлось сегодня и первому получить известия, что две их роты, одна нестроевая, в казармах на Кирочной взбунтовались, и самому же хлопотать-вызывать полковника Кутепова в распоряжение Хабалова на подавление. Макшеев выполнил это всё, но вопреки своей совести и убеждениям. А убеждения полковника Кутепова, не исконного гвардейца, уже были проявлены здесь же, в собрании, они были взглядами слепого слугаки.

Итак, создалось необычайное положение: где-то в центре бунта кипела одна часть преображенцев. Другая, вместе с Кутеповым, шла её подавлять. А большинство офицеров батальона сидели здесь, не имея других приказаний, были как бы нейтральны, – и даже те, потрясённые, кто пришли из казарм взбунтовавшихся рот, или ещё не были там и не могли теперь туда идти. Сидели в комнате позади бильярдной и под глуховатый стук шаров обсуждали с горячностью, что же делать? Нельзя же бездействовать. Жажда быть полезным

обществу не противоречила жажде продолжить славу своего полка. Были тут и капитаны – Приклонский, Скрипицын, были и совсем молодые, подпоручики Нелидов-лицеист, Рауш-фон-Траубенберг, Розеншильд, Ильяшевич, Гольтгоер.

Надо было понимать, и они понимали: то, что сегодня громыхало и стреляло на улицах, может быть не было грубый бунт, но неосознанная тяга к справедливости и свету, а лучи света шли из Государственной Думы. И как бы использовать этот толчок – и создать ответственное министерство из думцев? Удивлялись, почему военные власти просто не сговорятся с Родзянкой, – и весь ужасный конфликт сразу был бы прекращён. Надо было помочь неограниченной самодержавной власти перейти в конституционную. Но как это сделать?

И рисовалось: а ведь это – та же самая задача декабристов! Опять – декабристов. Она не выполнена и по сей день.

И как их предки декабристы – вывели солдатские команды на площадь и потребовали свободы, – вот так же бы сделать и им?

Но как это сделать?

И тут вдруг поручика Макшеева, самого горячего оратора среди них, вызвали к телефону и передали приказ из штаба Округа: все оставшиеся наличные силы преображенцев вывести на Дворцовую площадь в полном боевом снаряжении в состав резерва командования. А дальнейшие указания будут даны позже.

А дальнейшие указания им были и не нужны! Ах, какая удача! – их выводили на площадь приказом командования. Вот оно, то решение, и вот она, та возможность! Они выступали как будто по приказу, совершенно законно, – но офицеры-то знали, что они идут добывать свободу! Может быть сегодня наступает великий день России, и может быть сбудется или не сбудется мечта поколений, – на их глазах.

Наличные силы были – две роты. Раздавали патроны, набивали подсумки.

Выходили с перекомплектом офицеров, больше, чем их нужно было: многие хотели идти и участвовать.

И сразу же мысль: мало нас! Что это – две роты? Теперь надо бы собрать сюда все батальоны 1-й гвардейской дивизии – ещё семёновцев! измайловцев! егерей! И тогда такой отряд может даже не действовать – он одним своим стоянием может добиться требований Государственной Думы.

Но как же оповестить остальных?

А по Миллионной как раз проезжал частный автомобиль. Молодые офицеры остановили его. Оказалось – едет биржевой маклер. Тотчас его ссадили, автомобиль реквизируют. Сели трое и погнали, в те три батальона.

Хорошее начало!

С утра много часов стояла петербургская хмурица, даже с небольшим туманцем. А после полудня – ещё пасмурно, но солнце ясней просвечивало.

Знакомая огромная площадь между вычурным Зимним и широким охватом Главного Штаба была пуста и могла вместить всю петербургскую гвардию, теперь разогнанную по фронтам, или весь сегодняшний неученый недотяпистый петроградский гарнизон. Почти вся площадь была покрыта цельным снегом, лишь в некоторых направлениях прорезанным санными и автомобильными колеями, да чищена на кромке, по тротуарам.

Дружными солдатскими сапогами колонна преображенцев приминала снег по целине, правее Александровской колонны, ближе к Зимнему.

И стала: лицом к ангелу на столпе, спиною к Зимнему.

И тут заметили, что вослед им, с востока, как будто натягивало разреженным дымом от дальнего пожара. И всё доносился отдалённый необычный слитный шум, часто пробиваемый ружейной стрельбою.

Захватывающая музыка! В огромной столице где-то что-то уже делалось – и само готовое бездействие преображенцев на этой необъятной пустынной площади, перед многоглазым, но мёртвым Главным Штабом, становилось торжественным действием! Вот они

слушали, вот они смотрели, вот они готовились и решались! Как ощущался великий исторический момент России! Глубоко-исключительный момент и в жизни полка.

Этого настроения хватило надолго. Подали «вольно», офицеры прохаживались перед строем и позади него, говорили между собою. Сама торжественная площадь звала к манёвру, маршу, безумному поступку. Но надо было подождать и как-то разобраться в происходящем.

Настроение ещё усилилось видимой борьбой солнца с облаками. И шестёркой Победы, прямо над аркою той стороны, сюда лицом.

Полковник Аргутинский-Долгоруков в длинной кавалерийской шинели появлялся ненадолго, ничего не знал, снова умчался в санях. Несколько старших офицеров, почти едино-мысленных, были предоставлены сами себе. Но решение очевидно принадлежало начальнику учебной команды капитану Приклонскому и батальонному адъютанту поручику Макшееву. Они согласились, что надо ждать подкреплений, самих преображенцев слишком мало.

Солдатам так и не было ничего объяснено, не следовало это делать чересчур заблаговременно, чтоб их энтузиазм потом не остыл. Да и сложна, неловка была сама форма призыва к солдатам, она выходила за пределы военной команды, и такого навыка не было ни у кого.

Солдаты потаптывались, курили, между собою тоже о чём-то разговаривали, тоже как-то понимали своё стояние здесь и вот этот шум и дым слева, – а как?

Но и *перестоять* – тоже была опасность. Декабристы всё потеряли, перестояв чересчур долго.

Розеншильд напомнил офицерам, что в **тот** декабрьский день здесь, на Дворцовой, тоже стягивались войска, но – верные Николаю.

Так что в их стояньи, да ещё при хабаловском приказе, сквозила большая двусмысленность.

Но и Дворцовая площадь может стать Сенатской. Лишь бы собрать силы, стянуться.

Странно, что и Хабалов не присылал больше никаких распоряжений.

Две роты, стоящие в бездействии посредине пустой оснеженной площади, конечно привлекали внимание – и за их спиною, на тротуаре у Зимнего, начали собираться любопытные, среди них несколько полковников и старых генералов. Они претендовали подать совет. Генерал-инспектор запасных войск обращал внимание офицеров, что их батальон не может представлять собою истинный Преображенский полк, это дерзость.

Тут появился, на панели, и генерал-адъютант Безобразов, бывший командующий Гвардейским корпусом, смещённый летом прошлого года, – и гвардейцы-фронтовики говорили, что за дело, что бессмысленно погубил тысячи людей на Стоходе (а говорили и так, что его Брусилов гнал). Но сейчас, видя тут преображенцев и как бы без старшего командования, генерал Безобразов вздумал пройти перед их строем, здороваться и узнавать своих знакомых. Это было бестактное желание, делавшее их стояние смешным. Однако капитаны не могли отказать бывшему корпусному.

Какое-то время прошло ещё и на эту церемонию – отдачи «смирно», других команд, обхода и здорovanja. В поисках знакомых генерал-адъютант не преуспел, потому что солдат он никогда не запоминал, да и почти все тут были новые, запасники, ещё никогда не сражавшиеся ни под преображенскими знамёнами, ни под какими другими. А после обхода в беседе с офицерами генерал высказал, что надо бы им идти в атаку на Таврический дворец, голова гидры – там. Но по неловкому молчанию понял, что не попал в тон. И посоветовал привести кухню сюда и накормить людей горячим. И постепенно ретировался.

Не повеселели офицеры. Всё меньше они сами понимали, зачем стоят и зачем так долго.

Хотя солнце наконец прорвалось и победно заискрило нетронутым снегом площади, зазолотилась тут близко Адмиралтейская игла, а подальше насаdistый купол Исаакия, – всё это не выглядело как весна, и теплом не веяло, но забирал обычный морозец, короткого зимнего послеполуденья.

И забирал пальцы в сапогах. И руки, если всё время винтовку держать, хоть и в перчатке.

И солдаты потапывались, постукивали нога об ногу, и переключивали винтовку из руки в руку.

И капитан Скрипицын предложил сходить на разведку в хабаловский штаб, в градоначальство, ведь до него всего полплощади, да Невский пересечь.

Через полчаса он вернулся. Рассказал, что штаб удивительно беспорядочный и растерянный, начать с того, что с улицы кому угодно вход свободный, не проверяют. Что у полицейских генералов перепуганные лица, а Хабалов – кусок теста. Скрипицын сам с ним говорил, и, не высказывая офицерского замысла, предупредил, что настроение солдат таково: вряд ли будут они стрелять, даже наверное не будут. Да и вообще успокоить питерский народ можно только справедливыми уступками, а не пальбой. Хабалов мямлил и ничего решительного не мог возразить или приказать.

От стояния настроенье упало. Два раза, однако, поддержалось приходом на площадь небольших отрядов егерей, потом роты Петроградского полка. Но они тоже не имели никаких ясных распоряжений из хабаловского штаба, только прийти сюда. Пристроились к левому флангу преображенцев.

Солнце уже только могло спускаться.

Солдаты подмерзли. Да и офицеры.

Непонятно, что же нужно было делать этой кучке?

И с другой стороны, от мятежного гула, вот уже скоро два часа – ничто не накатило, не приблизилось, не объяснилось. Мятеж происходил в каких-то кварталах сам в себе замкнуто, отдаваясь наружу только гулом выстрелов и дымом пожара.

И чтобы понять – что же он: побеждает или проигрывает? что именно там кипит и творится? – офицеры по очереди бегали к себе в собрание и звонили знакомым в тот район, узнавали.

И вдруг! – с той стороны, от Марсова поля, с другого конца Миллионной – раздались звуки военного оркестра! Да, кажется. Да, именно. И вот даже можно было различить: это – павловский марш, снова и снова играемый.

Это шли – павловцы! Сюда!

Они шли с музыкой, значит, не враждебно. Ряды преображенцев сами подбодрились, подтянулись, и без команды. А тут – отдали и команды. Все по местам, в струнку!

Преображенцы не догадались взять на площадь свой оркестр, да не столько и было их, – с тем большей жадной надеждой разинулись они на приближающуюся музыку.

А павловцы, переходя Зимнюю канавку, обрывом сменили свой марш на марш Преображенский! – и так выходили на площадь, вытягивали длинный свой строй – да весь батальон военного времени, это несколько тысяч! – несколько тысяч курносых, круглолицых – и вытягивали, и выпячивали на площадь – и с приветственным маршем смешивались ура из двух строев! Всей долготой своей протянулись мимо преображенцев – и стали уже западнее их, правофланговые, заворачивая голову своей колонны к Главному Штабу.

Как бы прочерчивая начало декабристского карре.

105

И провинившаяся «походная» рота павловцев на Конюшенной площади и остальные роты при Марсовом поле – все, конечно, знали, что ночью 19 зачинщиков отвезли в крепость. По всем ротам так ощущали, что эти зачинщики взяты как бы от них, – и наказание ляжет на всех. Ещё и командир батальона, хотя не павловцем раненный, посторонним, – но умирал в госпитале, свою смертью отягчая судьбу походной роты.

Поворот настроения нескольких тысяч, доступный объяснению, если уже знать результат, и вовсе же непредвиденный, правда: эти несколько тысяч павловцев, не лучше и не доглядчивей содержимые, чем все остальные запасные в Петрограде, вчера к вечеру

причастные к первому немыслимому шагу военного бунта, – сегодня с утра, когда военный бунт вываливался на смежные улицы, кричал, стрелял и жёг, – не рванулись ему навстречу, не пытались растечься и разбежаться, не взорвались в каменных казармах – но смирно, угрюмо сидели, без лишних движений, необычно не выведенные на Марсово поле заниматься, – и только через простор его хорошо могли видеть в окна грозно и торжественно расплзающийся под облаками дымный гриб большого пожара.

Кажется: павловцам-то и продолжать бы? Кажется – в том наглядно лежало спасение всех обвинённых и выручка остальных от вины, – только прибиться к мятежу, и вины как не бывало? Кажется, им-то бы ярее всех и помогать бушу?

Нет, воскресный мятеж их остался без последствий. Не он совершил революцию.

О запасных солдатах, сбродном батальоне, не предположить, что вызрело у них понятие чести полка, – вероятно, только чувство совиновности, при извечной привычке подчинения, – продержало их в угнетённости полдня. Но офицеры, даже свеженабранные прапорщики, как Вадим Андрусов и друг его Костя Grimm, – по тревожному времени все ночевавшие в казармах, никто не был отпущен, – уже понимали, что на звонкое дерзкое имя павловцев лёг как бы траурный перечёрк, что с 26 февраля – и стрельбою в толпу, и восстанием – павловцы уже не те, что были второе столетие.

Заснули и проснулись в сквернейшем настроении.

Может быть, вот это ночевание офицеров в казарме, не так как у волынцев, определило угрюмую сдержанность павловцев в то утро.

А уж спал ли и во мраке каком провёл эту ночь капитан Чистяков, заменивший убитого командира? И так уже смозжилась на нём вся полковая тягота, а с утра начался за Фонтанкой в десятке кварталов отсюда – бунт, затронувший сразу три батальона, а потом больше. Очень быстро усвоил капитан, что командование Округом совершенно растеряно, глупеет от опасности и ничего не может ему указать. Решение он должен был найти сам. И не видел решения хуже, чем дуреть от казарменного сиденья, в ожидании, что случится.

Был капитан Чистяков – офицер отъявленный, весь вменённый в свою службу, ввёрнутый, вмазанный в уставы. Просто ли он стоял, сидел, ходил, – он, движеньем и недвиженьем, высказанным и невысказанным, прежде всего постоянно – служил. И солдаты очень это чувствовали, даже самые новички. Могли не любить его за пронзительный взгляд, за беспощадность, – но не могли не поддаться, не подчиниться этому оживлённому сгущению уставов и команд.

Эти месяцы капитан лечился, левая рука его была поднята постоянной перевязью, но даже такая инвалидность, кажется, не нарушала, а ещё отчётливей выражала его подвижность, стройность и службу.

Обезнадёжась в хабаловском штабе (где и не желали от павловцев большего, чем сидели бы в казармах, не шевелясь), Чистяков телефонировал и телефонировал знакомым офицерам в другие батальоны, советуясь, что делать. Он выбирал-то испытанных, **что** делать они все понимали одинаково – давить бунт, только не знали как, и не были уверены в своих солдатах из-за множества новобранцев – во многих батальонах уже было беспокойно.

И после солдатского обеда, собрав на совет своих офицеров, выслушав, каким они воспринимают солдатское настроение (никто не высказался слишком безнадежно), – капитан Чистяков приказал: весь батальон (кроме «походной» роты) в боевой амуниции строить на Марсовом поле, лицом к казармам.

По ротам раздались уверенные звонкие команды. И солдаты проштрафившегося батальона спешили с обмундированием, получали кто и винтовки и боевые патроны, толкались на лестницах, выходили. Удивляясь, осветляясь, радуясь.

Становились в четыре шеренги на привычных местах рота за ротой. А впереди – музыкантская команда. И небо светлело, вот и солнце.

Понимал батальон, что он не виновен более, что он прощён, и наказания не будет.

Разбирались, равнялись по последним командам, винтовки (у кого есть) – «к ноге», а все «смирно», – капитан Чистяков с подвязанною рукой в подхваченной по фигуре шинели,

победно расхаживал перед строем, не упуская ни мелочи дальнострельными глазами – ведь неучи ещё.

Все ждали речи, напутствия, а он только крикнул:

– Пав-лов-цы – мо-лод-цы! Царь Государь ждёт от нас выполнения долга! -
и скомандовал на всё поле: напра-во! и оркестру – марш!

И колонна с весёлой уверенностью повернула, грянул в трубы павловский марш, – и через марш растя до своего знаменитого полка, под тянущую, поднимающую музыку, удваивающую человека, в радости этих победных звуков – пошла! пошла, офицеры на своих местах, пошла! вдоль Марсова до угла Миллионной, а там -

– Правое плечо вперё-од!

и, заполняя Миллионную музыкой, шагом и своими тысячами – к Дворцовой площади!

Какая бы в городе ни была революция – но все дороги открыты полку, идущему под музыку.

106

Час назад очень мало касалось генерала Занкевича всё это происходящее в столице – и как бы ни кончилось оно. В могучих крылах Главного Штаба с парадно-высокими окнами на Дворцовую площадь шла ежедневная тихая бумажная перекладка, связанная единственно только с Армией, воюющей и тыловой, со снабжением, организацией и назначениями. Поглядывал Занкевич, что на площадь пришла и стоит часть Преображенского батальона, красные канты, но это его не касалось. Хотя Занкевич был и смел, и боевой, но не скучал и не томился на своей неслышной работе, потому что вела она его блистательной дорогой, и был он хороший служебный тактик, и весьма рано по своему возрасту вот стал три недели назад начальником Генерального штаба вместо Беляева.

Этим же Беляевым внезапно вызванный теперь в градоначальство, он уже по вызову почувствовал, что дело неладно. За пять минут, пересекая Невский, уже приготовился, что сейчас его тряхнёт. *Мёртвая Голова* из пустоты глазниц продиктовала ему новое назначение и указала, что у здешнего командования нет идеи, нет инициативы и почти все неопытны.

Всё так! Один вид растерянных тут лиц подтверждал, что – так. О Хабалове ясно было, что он – дурак и недотёпа. А за Балком была сестра Занкевича, так что – свой. Идея, допустим, сейчас родится – но где же войска? И где расположен неприятель?

Неприятель нигде не был расположен, двигался неизвестно где, пребывал в неизвестных количествах в северо-восточной части города, но и у Занкевича могли быть только те, кто сейчас соберутся, – а кто из полутора десятка батальонов не пожелает прийти, останется в казармах – то пусть и остаётся, так спокойней.

Так что? Преображенцы. По роте измайловцев и петроградцев. Пулемётная полурота. Две батареи без снарядов (в артиллерийских училищах тоже снарядов не оказалось, из Петергофа батарея отказалась грузиться). Да ещё, обещано, что-то пришлют из гвардейского экипажа? Редковато.

А между тем, приняв назначение, надо же действовать энергично, не кваситься, как этот Хабалов. Пока не назначен – служилый офицер может только в окно поглядывать, что там делается. Но назначенный – он должен всех поразить предприимчивостью и натиском.

И тут сообщили по телефону из Зимнего, что на площадь входит – с музыкой, со знаменем, с офицерами – весь Павловский батальон!

И сердце Занкевича стукнуло по-наполеоновски. А он-то – кто был, если не павловец? Он-то – коренной офицер Павловского полка, когда-то и не мечтавший подыматься выше. А совсем недавно на фронте он был – и командир Павловского полка! И в запасном батальоне бывшие раненые все его и знают, конечно!

Сердце стучало: знаменательное совпадение! – он назначен командовать, а павловцы сами пришли! От таких совпадений происходят великие дела! Час назад ни к чему не

готовый, десять минут назад в сомнениях, – вот, он уже бесповоротно решил уложить свои силы в этот день!

Он схватил пролётку, дежурившую у градоначальства, – и понёсся – не прямо на площадь, нет, но к себе домой, совсем недалеко – надеть полный павловский мундир, белые канты, зимнюю форму. Он терял на этом ещё десять минут – но то был эффект!

И на той же пролётке он вылетел рассчитанным курсом из-под арки Главного Штаба – и парадно-красивой дугою помчался к строю павловцев, к правому флангу их.

И – встал во весь рост в пролётке, руку под козырёк.

Там раздались торопливые команды, батальон принял «смирно», – и когда генерал поздоровался – ему ответили в три тысячи дружных глоток.

И остановясь перед своими павловцами, генерал Занкевич звонко прокричал короткую речь, слышимую и преображенцам. Что если бунт победит – от этого выиграют только немцы. Что их, героев гвардейцев, он зовёт послужить России, царю и доказать верность гвардейским традициям!

– Тут многие знают меня? Мы вместе кровь проливали на фронте!

– Так точно! – кричали павловцы. – Так точно! – восторженно. – Рады стараться! Постараемся! – самозабвенно из рядов.

Превосходно! Так по-наполеоновски: прямо и наступать на Литейную часть, на выручку Кутепову! Только ещё подождать подкреплений, гвардейского экипажа.

Триумфатором Занкевич проехал дальше. Сошёл, стал прохаживаться перед строем преображенцев. Подозвал к себе господ офицеров, спрашивал – «ну, как?».

И вдруг он воспринял не только тот восторг, вырванный из солдатских грудей, – но рассчитанную осторожность? или сомненье? или даже глухую неприязнь? преображенских офицеров.

Что такое, как? Расщупывал офицеров глазами, вопросами.

И услышал. Господа офицеры не надеются, что их солдаты пойдут против Государственной Думы. Как бы они не увеличили собою численности противной стороны. Да это было бы и противоестественно – идти против Государственной Думы. Соотношение сторон отнюдь не представляется так просто.

Молодые офицеры смотрели отчуждённо, а то даже и возмущённо. Никак они не походили на защитников правительства.

И Занкевич быстро стал охладевать и опадать. Он увлечённо поддался взлёту своего настроения – и просто не успел подумать, что неприятеля – никакого нет. За бегающими бунтарями – стоит Государственная Дума, общественное мнение. А с ними – генерал Занкевич и не думал бы и не хотел бороться, это – не путь возвышения генералу.

Талантливому человеку – надо и действовать осторожнее вдвое. Проявлять ли рвение или не проявлять – ещё надо приглядеться. Наступать – а на кого?...

107

Воротясь с прогулки и оставшись у себя один, Николай тотчас перечитал телеграмму Хабалова. Да, волынцы взбунтовались в составе более чем одной роты – и им удалось увлечь ещё какую-то одну роту, лишь неясно: Литовского или Преображенского батальона. Не так много, три роты запасных, – но какой несмыываемый позор для гвардии! Однако вот что: Хабалов просил прислать надёжные части с фронта – немедленно. «Немедленно» – это словцо как-то скользнуло мимо глаз, когда Государь читал телеграмму в первый раз, на лестнице.

Но три роты запасных – настолько ли дело серьёзно, чтобы снимать войска с фронта?

Государь замаялся. Собственно, он совсем не знал этого генерала Хабалова, не знал его качеств. Этот генерал был не фронтовой, он состоял последнее время губернатором Уральской области, и запомнилось, как приезжал приветствовать Государя во главе уральских казаков, а уральцев Николай очень любил, они приятно молвили, да ещё

привозили всегда в дар вкуснейшие икры и балыки. Так при этих огромных балыках ему только и помнился Хабалов. А затем как-то полуслучайно, по чьей-то рекомендации, он был переназначен на Петроградский военный округ, да округ был несамостоятелен, лишь вот недавно выделился из Северного фронта. Что сейчас надо было думать о его «немедленно» – такая ли острая нужда? или растерялся?

Всё стало бы ясно Николаю, если была бы свежая телеграмма от верной Аликс. Но – не было ничего, это успокаивало: Аликс всегда на страже и не пропустит опасного. Уже сколько раз всегда и обо всём она предупреждала его вовремя, её письма никогда не были женской болтовнёй, но со многими деловыми сведениями и энергичными советами.

Впрочем, последняя её вчерашняя телеграмма и была такова: «очень беспокоюсь насчёт города».

Однако, если б стало хуже, она прислала бы сегодня ещё.

Конечно, хотелось бы хоть строку успокаивающую от надёжи-Протопопова. Но не было. Впрочем, при его находчивости и проницательности это могло быть как раз свидетельством благополучия.

Что же: надо что-то предпринять или нет? Мучительный как всегда вопрос, – но при всей большой свите не было у Николая ни одного делового советчика, светлой головы. Всего истомительней сердцу и было, что в эти дни Николай не мог быть вместе с Аликс, а всё переживать и решать самому.

Только – начальник штаба. Но – служебный человек. Хотя и хорошая душа, и благочестивая, – а всё-таки не свой.

Да вот он и спешил в царский дом, трудолюбивый старательный Алексеев. И нёс свежие телеграммы.

Первую подал – от Беляева. Ага! Она была часом позже хабаловской и совсем короткая. Сообщал военный министр, что начавшиеся с утра в некоторых войсковых частях волнения твёрдо и энергично подавляются оставшимися верными своему долгу ротами и батальонами. Подавить бунт ещё не удалось, но твёрдо уверен в скором наступлении спокойствия. Принимаются беспощадные меры. Власти сохраняют полное спокойствие.

Тут было противоречие с Хабаловым: никаких войск на помощь не просилось, справятся сами и быстро. А Беляев занимал пост выше, обзор имел лучше, да и телеграмма часом позже. И если сопоставить, что в эти же часы Дума, главная подстрекательница, уже прервана в занятиях, – то скорей всего и можно было ожидать спокойствия.

Только что-то процарапало. Да, вот: «оставшиеся верными роты и батальоны». Странно выражено, если гарнизон почти весь в руках.

По характеру своему, по складу, по отношениям с Алексеевым, не мог Государь запросто сказать ему: «Михаил Васильич, что-то очень тревожно на душе и неясно. Что ж нам делать?»

Он только потрогал ворот, посмотрел на генерала открытыми глазами с молчаливым вопросом.

Но глаза Алексеева самим устройством век постоянно были прищурены, полузакрыты, нельзя было досмотреться до душевного состояния.

А ещё же – он держал вторую телеграмму и с неизменным, кисло-заятым выражением подавал теперь её.

Как, опять от злосчастного толстяка Родзянки? Но в этот раз без манёвра с главнокомандующими, прямо на имя Государя. А по времени – как раз между теми двумя, между хабаловской и беляевской, тоже сегодняшняя полуденная.

Но – что? но какую невообразящую он нёс?! Опять: что правительство – бессильно. (Но это и всегда они уже кричали, много лет). Что на войска – надежды нет. (Как будто он ими командовал и хорошо знал). Что началась и разгорается – гражданская война! В запасных батальонах убивают офицеров и идут, видимо, громить министерство внутренних дел и Государственную Думу!

И Думу? Картина была, однако, значительная.

А дальше – дальше не докладывал, не просил, а приказывал, сумасшедший Самовар, приказывал своему Государю: повелите немедленно то-то и то-то. Немедленно восстановить занятия Думы. Немедленно создать новое правительство – такое, как он настаивал во вчерашней телеграмме, – и безотлагательно возвестить эти решения манифестом, иначе движение перебросится в армию, и неминуемо крушение России и династии.

Эк, куда хватил! Когда с такими угрозами и требовали воззвания манифеста о сдаче власти – слишком болезненно это напомнило Николаю другую обстановку, другого Манифеста, – и данного тогда совершенно зря, по испугу.

Не только тоном своим, но этим требованием немедленного манифеста – отвергал Родзянко государево сердце от своей телеграммы.

А что ещё в конце? Толстяк, конечно, просил «от имени всей России» – и настал-де час, решающий судьбу и родины и самого императора, а завтра может оказаться уже поздно.

Что он, с ума сошёл? Откуда это бралось в его медвежьей голове, ни у кого больше? Рёв отчаяния и страха, как защемили бы лапу его. Крик – не по мере.

Своим напором, тоном он окончательно отвращал от себя. А ещё же подразумевалось, что в главу нового правительства он навязывает самого себя. И при этом дерзал угрожать, что решается личная судьба Государя!

Это закрывало путь какого-либо отзыва.

Ещё – и третья телеграмма, от Эверта. И больше половины – повторенье вчерашней родзянковской, – всё тот же обходный манёвр. А от самого Эверта: он – солдат, в политику не мешается, но не может не видеть крайнего расстройств транспорта и недовоза продовольствия. Надо принять военные меры для обеспечения железнодорожного движения.

Это он мог и просто по службе донести. Ни при чём тут Родзянко.

Посмотрел на Алексева. В его остробровом, остроусом прихмуренном лице знал он это не жалобное, не жалостливое выражение, а какую-то кислую, кособлатую, косоватую пробранность, задетость.

– Вы хотите мне что-то сказать, Михаил Васильич?

Вдруг почему-то в этот момент, никогда раньше не приходило в голову, показался ему Алексеев чеховским человеком в фуляре: в своём мундире, в фуражке, за усами, за очками скрывался осторожно, без надобности сам не высывался – и по спросу тоже с осторожностью, фразами лишь предположительными:

– Ваше Величество... Быть может, обстоятельства этого момента... Быть может, разумно было бы заступиться настоящим общественности? И общественность наилучшим образом нашла бы выход из всех кризисных положений? Сразу все бы успокоились...

И без помех продолжалась бы тут штабная работа.

Простяга Алексеев и отдалённо не понимал, какой величины вопроса касался! – и какой продолжительности. Он служил полтора года начальником штаба Верховного, но никогда костями своего черепа не ощущал на себе обручного давления и тяжести шапки Мономаха. На его плечах двумя дланями не тяготела традиция столетий – и он сам два десятка лет не измучивался вопросом: о смысле, пределах и долготе Самодержавия, об ответственности перед предками, перед потомками, перед народом. Что это мистический грех – передавать толпе вручённую от Бога власть. И – о неготовности народа ко всякой иной форме правления.

«Требования общественности!» Настроение крикливых, беспочвенных, безответственных интеллигентов, сошедшихся в кружок в Таврическом дворце или на московском съезде. Им казалось это так просто для царя: взять и ввести, чтобы министры отчитывались не перед ним, а перед Думой. А это была – переломка всего принципа.

Да разлаживать всякий привычный порядок – всегда опасно. Легкомысленное новшество может в недели развалить вековое здание. А перестраивать государственное управление – да в такую войну? Всё сразу расстроить. Подходит решающий год войны – и как же бессмысленно говорить о реформах.

Но всё это – как было высказывать Алексееву? И зачем? Он должен бы – из вида

Государя, из глаз его понять.

Промолчал.

Поняв молчание, Алексеев высказал буркотным своим голоском:

– Но дозволейте, Ваше Величество. Если не давать ответственное министерство, то тем более необходимо назначить диктатора тыла.

Ну да, это было его предложение прошлого лета: единого верховного министра – по вопросам топлива, транспорта, продовольствия, военных заводов, по всему хозяйству, как Верховного Главнокомандующего на фронте. Но отвергнув его в своё время – теперь ли было его принимать в таких необычных обстоятельствах? Тем более надо было подумать.

Промолчал.

Государь бы думал скорей: не послать ли на помощь сколько-то войск, как просил Хабалов? Но Алексеев не высказывал такой взволнованности и не предлагал сам. Да и, зная его: он, конечно, против такой меры – ослаблять фронт, снимать полки.

И неудобно было первому высказать, как будто бы испугался свыше меры. Алексеев – об ответственном министерстве, а Государь – о подавительных войсках?

Но и чувствовало сердце, что надо что-то предпринять.

Со стеснением перед щёлками глаз начальника штаба Государь вымолвил:

– Михаил Васильич... А может быть, всё-таки... подослать кого-нибудь? В Петроград. Конную часть какую-нибудь.

Готов был и отступить. Но Алексеев не слишком удивился. Морщил лоб.

– Можно. Например, из-под Новгорода, из Селищенских казарм, конную бригаду.

– Подумайте, Михаил Васильич, – сразу полегчало Николаю. – Распорядитесь. А сегодня вечером ещё посоветуемся, какие-нибудь известия добавятся.

Полегчало. Нельзя было ничего не сделать!

Алексеев ушёл, головой уёженный в плечи, нездоровится.

Пора была идти к вечернему чаю.

Тут и почту принесли с поезда, от Аликс письмо – вчерашнее, да большое! (В этот раз не надушенное, не до того).

Николай поцеловал его и стал читать.

108

К отряду Кутепова подкрепления всё-таки не переставали откуда-то прибывать. Подошла команда разведчиков, человек пятьдесят, и единственный там офицер доложил, что это – из Царского Села, из 1-го стрелкового Его Величества полка. Почему именно 50 разведчиков, а не боевая рота? – это не у кого было спросить. Ещё не дозвучал рапорт офицера, а взгляд Кутепова уже определил, что вид команды неважный. Тотчас и подтвердилось: полковник поздоровался с ней – она ответила весьма вяло, – а в ответе на приветствие, в том его и смысл, первой всего сказывается настроение солдат. И сразу же после ответа кто-то, скрываясь, выдал из строя: «Мы ещё сегодня не пообедали». Такую команду хоть и не брать. Кутепов велел офицеру узнать, кто это сказал, а команду отвести в ближайший двор и там упорядочить.

Не успел распорядиться с ними – подъехал эскадрон, оказывается – гвардейского кавалерийского полка. И ротмистр его, ещё не дождавшись приказа от полковника, тут же доложил, что лошади плохо кованы, люди не ели, устали от большого перехода и нуждаются в отдыхе. Всё это могло быть так, но не с первого слова и не перед строем должен был о том докладывать офицер. С презрением, громким голосом Кутепов ответил, что удивляется его словам и отрешает от командования, не в такой обстановке просят отдых. Командовать эскадроном тут же назначил поручика – и велел ему двигаться через Симеоновский мост к цирку Чинизелли, далее выяснить обстановку в районе Марсова поля и в случае необходимости действовать решительно.

Тут, на Литейном, тесно было для кавалерии, да и кавалерия не хороша. А висел

неотменённый приказ Хабалова двигаться к Дворцовой площади, вот и будет попытка такого движения. За четыре прошедших часа Хабалов не изменил и не повторил ни одного приказа, не подтвердил получения ни одного доклада – Кутепову приходилось действовать, как если бы никого в столице старше его не было.

Так что подкрепления не укрепили, войск продвигаться не было, заднюю роту преображенцев снимать с оцепления Кутепов не решился, чтоб не обнажить тыла. Передняя рота их и полурота кексгольмцев действовали справа на боковых улицах, и было донесение, что рассеивают военную толпу, бесчинствующую у казарм жандармского дивизиона. И всего лишь с полуротой кексгольмцев Кутепов продвинулся до Дома Армии и Флота.

Но тут усилился обстрел по ним. Не только от Орудийного завода, но очевидно и с колокольни Сергиевского всей артиллерии собора (дым от горящего Окружного суда, всё ближе и гуще, мешал хорошо видеть). Неопытные солдаты, не бывавшие под огнём, стали прятаться в воротных углублениях и бросились в сам Дом Армии. Продвижение прекратилось.

К счастью, тут же на Литейном, в доме графа Мусина-Пушкина, помещалось одно из отделений Красного Креста. Кутепов попросил их немедленно принимать раненых. К раненым кексгольмцам поднесли и двух раненых с площади Преображенского собора.

Нашли годный пулемёт, и Кутепов установил его так, чтоб обстреливать угол Сергиевской и Орудийный завод.

Послал распоряжение Преображенской роте справа действовать решительнее.

Бой вполне можно было вести и даже перерезать Литейный мост и теснить восставших в мешок, образуемый Невой, – только втрое и вчетверо бы сил, да снабжённых, да накормленных.

Тут подошла новая рота – 4-го стрелкового полка из Царского Села. И одновременно же пришло донесение о новой какой-то толпе, которая движется мимо Летнего сада к Пантелеймоновскому мосту. Удачно! пять минут назад вовсе нечем было защитить левый фланг – теперь эту новую роту Кутепов и послал туда, налево: на углу Пантелеймоновской и Моховой встретить толпу огнём.

Едва отправил – сообщили спереди, что на Сергиевской за углом собирается много автомобилей, видимо для атаки. Современный стиль войны! Важный момент! Кутепов ринулся вперёд, изготавливать кексгольмскую полуроту на разгон автомобилей. Едва расставил и объяснил – с Сергиевской вылетели с заворотом на Литейный один за другим несколько автомобилей, облепленных и снаружи рабочими с винтовками и красными лоскутами. Они погнали прямо сюда, беспорядочно стреляя на ходу, не успевая выбирать цели.

Приготовленная полурота – от стен, из подворотен – открыла огонь, и все автомобили в минуту были подбиты, остановились, а один ещё продолжал гнать по Литейному, теряя на мостовую падавших, потом с визжанием завернул, подстреленный, с разбитыми стёклами, видимо раненным шофёром, и скрылся в Сергиевскую обратно. Остальные, побросав автомобили и убитых, убежали туда же.

Хорошо отбили, кексгольмцы! Молодцы!

Задалась новая работа: куда-то убрать убитых. Уже известен был пустой каретный сарай в одном из домов, стаскивали туда. От убитых сильно пахло спиртом.

Эти автомобили надо было бы завести и приспособить.

Литейный проспект уже привык к высокой фигуре полковника, не взятого ни одною пулей.

Кутепов подумал: а неплохо! Несколько критических моментов он уже перешёл, удерживаясь, укрепляясь и даже продвигаясь. В отчаянные минуты приходили и подкрепления.

Вдруг слева, с Пантелеймоновской, показался бегом ротный последних царкосельских стрелков – бледный штабс-капитан с одним оборванным погоном.

Остановился и через тяжёлое дыхание доложил: он довёл свою роту до угла Моховой,

но там его солдаты смешались с толпой, из толпы оторвали его шашку, пытались избить, он бежал.

Вот тебе и подкрепление...

Да, у мятежников тут был большой перевес численности.

109

Бывают читатели, которых и землетрясение не оторвёт от книги, они удержатся за неё и в тот миг. Такие милые всем известные чудаки присутствовали и сегодня в Публичной библиотеке на своих известных местах. А в остальном были пусты сумрачные залы и вестибюли библиотеки, как если бы был праздник, пришедшие с утра – поспешно ушли, и только сами служащие оживляли тишину и пустоту залов: то смотрели в окна на Садовую и на Невский, то спешили к телефонам узнать новости дальние, то друг ко другу – поделиться ими.

Вера же сперва не вскакивала и не ходила смотреть, сидела у себя глубоко за полками, откуда окошко было обращено на Александринский театр и не давало большой пищи. Что бы ни случилось снаружи, а работа сама не делается, были заказы, были обещания. Но возбуждённые радостные сослуживицы подбегали к ней с новостями – увлекли и её. Новости, действительно, были сотрясательные, хотя неизвестно, какое продолжение получают. Восстания целых батальонов ещё же не происходили никогда! – это могло быть началом чего-то совсем небывалого. И Дума! – распущенная, отказалась расходиться! – и не где-нибудь в Выборге, а в самом Таврическом дворце. Это уже было как расположенное знамя революции над столицей. Все покинули последнюю работу и даже вовсе уходили со службы. Возбудилась очень и Вера. Неужели именно нам довелось быть современниками?... А впрочем, всё это может быть и смазано в час-два приходом карательных войск.

При открытой форточке всё слышней и ближе была стрельба. И приходили слухи о пожарах, об убийствах полицейских и – офицеров!

Ах, хотелось, чтоб эта заря пришла как-нибудь иначе – зачем же поджигать здания и – убивать? И что начнут с убийства армейских офицеров, воюющих за Россию, – никогда не воображалось такое, что за ужас?

Вера очень порадовалась, что отправила брата вчера. Он непременно во что-нибудь бы встрял и мог бы попасть в число этих несчастных.

Хотя ещё и непонятно, как бы ему вмешиваться. Бунтари-то – свои, кровные, если Шингарёв среди бунтарей – то как же?

Тут её позвали к телефону.

И только трубку взяла, как ни искажал телефон голоса – что-то сильное тёплое сразу приложилось к сердцу.

– Да, здравствуйте...

Сослуживицы стояли рядом, ожидая, что будет сообщение новостей. Но по первому же голосу Веры поняли, что – нет, и отошли.

Это звонил Дмитриев! Боже, как она обрадовалась! Телефон, протянувший голос через провода, сжавший его, убравший окраску, передавал некий другой голос, условно считаемый за истинный, – а всё же интонация вся оставалась, умедления, растяжки, паузы или быстро-громко – и Вера слушала их.

Он звонит – просто так, никакого дела нет. Узнавши о событиях, звонит потому, что беспокоится о ней. Она ведь не знает, что такое беспорядочная стрельба, и эти бессмысленные невидимые пульки, которой одной достаточно. Одним словом...

– Вера Михайловна, я звоню – попросить вас... чтобы вы сегодня не были на улицах.

Боже, почему он просит? какое право он имеет просить! (Не сказала).

– Но как же мне иначе перелететь домой, Михаил Дмитрич?

Ну, только домой – это совсем близко, пересечь Невский. Но сегодняшнее общее увлечение может утянуть в дальние прогулки, – так вот... не надо.

Вера растерялась, не нашлась ни пошутить, ни ответить серьёзно. Почти смолчала.

А он, пока ждал ответа, естественно молчал.

А она – неестественно.

Тогда он ещё: он просит прощения. Но он хочет, просто для своего спокойствия, чтобы Вера Михайловна ему пообещала, что никуда сегодня не пойдёт.

И Вера – ответила согласно, единственно как почувствовала:

– Хорошо.

И оттуда, пониженное:

– Спасибо.

Но так неловко сложился разговор, она теперь звонко:

– А что у вас? Откуда вы звоните?

И тут же мелькнуло, что вот это как раз и нельзя, что именно она его меньше могла спрашивать, чем он её, была такая целая заштрихованная неоговариваемая область.

Но нет, всё обошлось хорошо. Звонит он с Обуховского завода.

Разве не бастуют?

Да, конечно, все бастуют, разошлись, никого нет. Но два литейщика согласились с ним поработать. Тут маленькая отливка, пробная. И – как странно всё выглядит на пустом заводе, в пустой литейке.

Описал. С медленностью, как всегда он.

Слушала, слушала.

Когда положила трубку и шла – спросили, что нового?

А Вера – ничего не могла сказать. Они поговорили, так и не сказав друг другу никакой новости.

Но – как это ново было! Но как она была ему благодарна!

Через весь город протянул охранительную руку и сказал: будь дома.

И хотя он не был свободен так говорить, но Боже, как хорошо, что он так сказал, ведь он же не придумал, ведь значит он так думал.

И она согласилась покорно, радостно. Будет дома.

Она и всё равно пошла бы прямо домой – а всё-таки это совсем иначе. Она как будто получила запрет. Она как будто потеряла свободу движений.

Как хорошо.

Последние часы её работы косо скользило солнечное в проход между театром и библиотекой. И день показался потеплевшим, весенним.

А когда вышла на улицу – ого, морозец как есть.

И весь Екатерининский сквер был наполнен народом, а Невский – и по тротуарам и по мостовой – весь залит толпой, никем не управляемой, не останавливаемой, – ни полиции, ни войск, ни экипажей. Солдат много и большими кучками, но даже неприученный верин взгляд различал, что это – не обычные солдаты, они как-то свободно, не в строю держались, кто с винтовками, а больше без винтовок. И – масса гимназистов. И студенты – некоторые тоже уже с винтовками, а один – в косой опояске пулемётной ленты.

Издали где-то и стреляли, но здесь – никто, очень мирно, дружелюбно. Вера шла без помех: и только рассматривала лица, лица.

Было какое-то единое счастливое состояние – как будто облако счастья снизилось и всех их окутало, охмелило. Были лица растерянные, и любопытные (больше всего любопытных, так и рассматривали все друг друга, будто видели первый раз), были экстазно-счастливые. Но больше всего – простой обмен хорошим дружеским настроением, повсюду переключка голосов, оживлённый говор, – это всё незнакомые разговаривали друг с другом, так много не бывает знакомых.

В толпах верующих у церквей, после праздничных обеден, Вера такое встречала – но необычно было увидеть сходное братское чувство у сухой петербургской толпы, никогда и ничем не спаянной.

Все едино знали, что теперь-теперь-теперь будет так хорошо и светло жить!

Как началось это всё с утра – Ободовский в Военно-техническом комитете продолжал, конечно, сидеть и работать, – но стало его изнутри всего растрёпывать, растеребивать.

После того что вчера стреляли на Невском и, казалось, волнения подавлены, – он уже сам себя упрекал в своём двоении: как он мог в предыдущие дни колебаться, разделить сочувствием, подумать: войну-то важнее кончить, а уж потом... А потом-то ничего и не добьёшься! Кроме Нуси он ни с кем так не поделился, и никто не мог его упрекнуть, а как будто он своим усумнившимся чувством накликал поражение.

Но когда сегодня притекала весть за вестью, как расширяется по столице военный бунт, Ободовский очень быстро, своим опытом Пятого года, определил, когда другие ещё не смели и назвать: **революция** ! Она!

И вот уже – ни его никто не упрекал, ни он никого – Она разливалась, и её победа захватывала сердце: всё равно Она уже текла, и что ж упрекать и подсчитывать, на чём отразится? – только бы теперь не сорвалась! только бы дотекла! Это – момент, которого ждут столетия, это – момент, которого нельзя откладывать ни ради чего! – он потом опять два столетия не повторится.

Другое: как мы, напряжённо годами её ожидавши и веря, – всё равно не приготовились и не угадали, что она пришла? Все эти дни – ведь не угадали.

И ещё другое: почему – так легко? Стояла, стояла стена – и вдруг так легко, так почти без усилий свобода прошла через неё? Неужели эта мощь была такая слабая? Ну, да она покажет.

С Обуховского звонил Дмитриев: ему удалось сговорить двух рабочих и продолжать сегодня бронзовые отливки. Ну, молодец! Ободовский и сам сегодня продолжал, продолжал.

Но иногда откидывался на спинку стула и зажмуривался.

Или через форточку слушал выстрелы.

Или новость по телефону.

Или в окно смотрел на промелькнувшие красные клочки на одеждах.

Уже забирало его. Ещё работал – но уже забирало. И когда позвонила Нуся, что на Петербургской стороне ничего нет, – он рассказал ей, что чувствует, и предупредил: может быть, не придёт обедать, может и ночевать не придёт, пусть не беспокоится.

Нуся понимала: если это революция – то какой там сон!

Раза два Пётр Акимович выходил наружу, и на проспект. Там уже всё более забурливало этой людской перемесью всех званий, состояний и возрастов, поздравления от незнакомых, совсем как на Пасху, иногда слезы на глазах – набегали и у самого, – этим нарастающим, всех покрывающим братством. Какое дивное чувство, какая широта души, и что за чудо революция? – ещё вчера эти же самые люди друг ко другу ничего такого не испытывали? – откуда ж оно берётся и заливают сладко без берегов?

Можно бы толкаться так и часами, смотреть освобождённые лица и слушать освобождённые голоса, – но ничто при этом не продвигается, а фронт ведь воюет, а в окопах сидят... – и Ободовский возвращался к себе и продолжал с бумагами и с чертежами.

Ужасно, что это во время войны! Но чего не простишь революции за её ослепительность! Революция – как эпидемия, она не выбирает момента, не спрашивает нас.

А другой раз вышел – увидел большое военное шествие с оркестрами и с красными знамёнами, правда – нестройно в рядах, без офицеров и формы сбродные, – но беспрепятственно! такой поток солдат! – голова не вмещала.

Потом – уже не было шествий. Прорывались эффектные бестолковые автомобили – видно, что без цели поездки, тратящие только бензин. И – стреляли, стреляли из винтовок, всё в воздух, всё без толку, и чаще подростки, хватавшие откуда-то револьверов и с ними плясавшие вокруг толпы.

Безумные! Ведь завтра-послезавтра придётся оборонять Петроград против царских

войск, через две недели, может быть, против немцев, если им откроют фронт, – но сотни патронов вылетали в воздух зря.

А офицеров – обезоруживали. Ободовский губы закусывал, как если б это оскорбляли его самого. Он представлял, что офицеру – такого оскорбления пережить невозможно. А некоторые – отдавали шашки и улыбались?...

Он засел за телефон – звонить, искать помощников, сотрудников, сообщников: около Арсенала, около патронного склада Орудийного завода и где ещё разграбили или могли разграбить, – что можно ещё спасти? Есть ли возможность выставить караулы?

Но не заставал он на местах и гражданских чиновников, а уж где было найти и организовать стройную воинскую охрану.

Революция – не может без хаоса и разрушения, это её отличительная черта. Но спасая её же самоё – надо было хорошенько дать ей по святым рукам!

А сил – не было! Никто был Ободовский, и тем более не военачальник и вообще не военный, никто ему не подчинялся, можно было надеяться только кого-то случайно уговорить и обратить. Но почти никого не было на местах! – все дали себе льготу сбежать или отправиться на улицу зрителями.

Несколько часов Ободовский нервно просидел за телефоном, мало чего добившись, – а между тем с каждым получасом, он чувствовал это остро, – революция сползала-сползала-сползала, а из-за войны – и вся Россия вместе с ней!

Ужасно, ужасно, что это во время войны, – и поэтому надо с первой же минуты ставить загородки и даже заборы против Желанной, не давать разрушать, а только перестраивать в дело!

Никто был Ободовский ни при заходящем царе, ни при восходящей революции, – не министр, не начальник, не генерал, не выборный, – но он был человек действия, и, никого не спросив, мог и должен был сам найти себе место. Уже здесь, в военно-техническом комитете, сидеть ему дальше было неразумно – огненная война перекинулась на сам Петроград.

Где же мог быть центр, где станут собираться добровольно другие люди действия и можно что-то спасти, организовать, перенаправить стихию в разум?

Очевидно, при Государственной Думе, никакого другого места в голову не приходило, хотя из Таврического, кому он там дозванивался, второстепенным, никто ему толком ничего не ответил. Вот туда и нужно было идти сейчас, с рабочего дня на рабочую ночь.

Но тут он ещё раз позвонил в ГАУ – Главное Артиллерийское Управление, куда несколько раз за день звонил, – и оказалось, что уже и последние разошлись, и господа офицеры, и служащие, швейцар вот один остался и ничего поделывать не может: буяны ворвались и ящики тащат, топорами открыли ящик с буссолями, а тут и ковры и зеркала, а полиции нет.

Ах, мерзавцы! ах, мерзавцы! – рванул Ободовский пальто и шапку. Новые буссоли тащить? За буссоли он им сейчас покажет, сколько б их там ни было, хоть тысяча человек!

И журавлиными шагами, не замечая ничего на улицах, понёсся к ГАУ.

Кто и когда поджёт Окружной суд – свидетелей нет.

В самый разгар пожара толпа не пожелала допустить пожарную команду, та уехала. Стояли, глазели, одобряли. На пожаре ликовал Хрусталёв-Носарь, двумя часами раньше освобождённый из тюрьмы. Соседние гимназисты утаскивали папки, для забавы. Тащили «дела» с фотографиями осуждённых. Стоял молодой человек из судейских и, смелея, громко стыдил толпу, что горит нотариальный архив, и какая это беда, и для чего он нужен.

Мрачный мастеровой сплюнул и выматюгался:

– ...так и так тебя с твоим архивом. Дома и землю без архива разделим.

Заодно против суда разгромили редакцию «Русского знамени», в мелкие клочья на мостовую рвали их черносотенную газету, их брошюры.

Когда в суде уже выгорели окна и провалились потолки – допустили пожарников. Приехало сразу несколько частей, выдвинули несколько лестниц. Но поздно.

Теперь лезли мешать пожарникам пьяные, но уже публика их отымала, умирала.

* * *

По Суворовскому проспекту мчался из первых автомобиль, полный вооружённых солдат. Из боковых Рождественских улиц выбегали на него смотреть. В кузове, в переднем ряду молодой унтер, с красным лоскутом на штыке поднятой винтовки, кричал:

– Ура-а-а! Долой тира-ана! Долой всякое господи-инство!

– Молодцы волынцы! – кричали им с тротуара.

А старухи крестились в испуге.

* * *

Владимир Васильевич Перфильев, молодой адъютант сводного лейб-гвардии казачьего полка, крупный, преогромной силы, оказался в отпуску в Петрограде. 27-го шёл мимо чьей-то казармы – увидел на улице десятки бездельно бродящих, распущенных растерянных солдат. Стал сильно кричать на них – и всех загнал в казарму. Изругал часового, настрого приказал ему никого больше наружу без отпускной не выпускать.

И пошёл дальше. (Дома мать узнала, в ужас пришла, и самого не выпустила из дому неделю).

* * *

На углах Бассейной, Жуковской, Надеждинской стояли солдаты кучками, с вышедшей домашней прислугой, рассказывали и матерились.

По Кировой разъезжало верхом несколько штатских в котелках и фетровых шляпах, опоясанных саблями сверх пальто, – на лошадях, уведенных из казарм жандармского дивизиона.

Солдат, поставив винтовку прикладом наземь, пожелал прикурить у прохожего офицера. Тот остановился нехотя и нервно, левой рукой держит папиросу на прикур, правая в кармане. (Револьвер?)

Солдат прикуривает неторопливо.

* * *

Пассажиры с поездов не находят на вокзалах ни носильщиков, ни транспорта, где – опрокинутые извозчичьи дрожки. Кто ищет санки для клади, а кто достаёт рогожный куль, на него свои вещи и потянул по снегу.

Близ вокзалов все магазины закрыты, у витрин никого.

* * *

А на Садовой – обычный вид, магазины и лавки открыты, на Апраксином и Щукином рынках – толпы покупателей, приказчики заывают, разносчики с лотками перекрикивают друг друга, шутят, смеются.

* * *

Ещё и после полудня ходили люди в банк. А генерал Верцинский, в отпуску в Петрограде, до двух часов дня умудрился ни на Невском, ни на Гороховой не столкнуться ни с чем. Только издалека, из Литейной части, слышал перестреливание.

* * *

Конный городской несётся крупной рысью и размахивает шашкой в обе стороны попеременно. Народ невольно разбегается – и он проскакивает, в подхватисто перепоясанной шинели, в фуражке. Стреляли вослед – не попали.

* * *

Как начали грабить Арсенал – за день похитили 40 тысяч винтовок и разбили много ящиков револьверов.

* * *

По Суворовскому – снова грузовик с солдатами. Густой гудок непрерывно ревет – и толпа сбегается. Из кузова выбрасывают на ходу на сторону – винтовки, сабли. Молодёжь подбирает, потом ладит, как привесить. А подростки – беснуются от радости, первее всех хватают.

Мальчуган лет 12, опоясанный тяжёлой саблей, чертящей по земле, визжит: «ура-а-а!».

Стройно, строго идёт полурота во главе с прапорщиком. Но – ничего красного. В толпе:

– Это что ж, против народа?

– Да не.

– А пошто ж они не вопят?

* * *

У подворотен, у подъездов набираются любопытные – жильцы, чиновники, барышни, а то и офицеры с дамами. И опасно смотреть и интересно. То кучки двинутся вперёд, в толпу – лучше посмотреть. То – бегут назад, и офицеры под руку с дамами тоже.

Обыватели бродят по улицам с любопытством и жутью. У встречных узнают, что делается там-то, и можно ли пройти.

* * *

Литовский замок – женское исправительное арестантское отделение, кто-то добивался атаковать ещё в воскресенье вечером: кучки народа сходились в темноте, перебежали,

постреливали. Все дома вокруг перепугались и свет потушили.

Но только в понедельник после полудня появился бронированный автомобиль и отряд солдат. Поднялась пальба, летели стёкла, прошибли двери. Защитного караула не нашлось. Начальник тюрьмы, не отдававший ключей, был избит и уведен окровавленный.

Стали выпускать арестанток. Потащили всякое разное, что нашлось в складах.

Откуда-то снизу, как из подвала, стал подыматься рыжий дым. (И перешёл в трёхдневный пожар).

* * *

За этот день разгромили семь тюрем. Кроме Дома предварительного заключения (откуда освободили финансиста Рубинштейна, за ним сразу пришёл автомобиль), Крестов (откуда освободили Гвоздева и всю Рабочую группу) и Литовского замка – ещё Женскую тюрьму на Арсенальской набережной, Военную тюрьму на Нижегородской улице, Пересыльную тюрьму и Арестный дом близ Александро-Невской лавры.

На улицах арестанты и каторжники, в халатах, в тюремном, прогуливались весело, целовались друг с другом и с солдатами.

Всех до одного освобождали, не расспрашивая. Вместе с политическими вышли на свободу (много больше их) и все уголовные. И в тех же часах начались по городу грабежи, поджоги и убийства.

* * *

Через форточку запертого Михайловского училища юнкер Лыкошин, сын генерала, крикнул на Нижегородскую улицу:

– Товарищи! Мы – с вами тоже! Но нас отсюда не выпускают!

Тогда юнкер Юрий Собинов, сын артиста, закатил ему пощёчину.

* * *

Рабочие разоружили охрану Финляндского вокзала и захватили его. Порвали семафоры, и движение поездов прекратилось. Сестрорецкие оружейники тоже заняли станцию Белоостров.

* * *

Путиловские рабочие захватили оружейные магазины и с оружием разогнали последние полицейские наряды близ завода.

* * *

На улицах стали повсюду разоружать офицеров, мирно: шашку, револьвер отдай – и идите, ваше благородие.

В этом отъёме есть и самооборона: обезопасить себя, мятежных, от них.

Офицеры по людным улицам продолжают ходить, друг другу козыряя, – а шашек ни у кого и нет: или ножны пустые или ничего. (Спрятал, дома оставил?..)

* * *

Двое штатских, интеллигентных, в хороших пальто, идут, оживлённо разговаривая, – и каждый с обнажённой офицерской шашкой в руке. (Сами отобрали? Переняли у того, кто отобрал?)

* * *

По телефонам слухи: создано ответственное министерство с Родзянкой во главе, Протопопов назначен диктатором, генерал Алексеев – военным министром.

* * *

Винтовки так часто, много везде стреляют – будто сами собой.

Грузовые автомобили – всё чаще на улицах, и откуда берутся? – три года война идёт, никогда столь частых не видели. Они движутся среди толпы как большие оцетиненные животные. На солдатах – пулемётные ленты наискось через грудь, свисая с плечей, в опояску, на дулах винтовок в обвив. На лицах – радость, нетерпение и прорыв ненависти.

– Ура-а-а! – непрерывно кричат они толпе. И толпа приливает к ним навстречу с красными клочками, лоскутами:

– Ура-а-а!

* * *

Солдат верхом и с револьвером в руке подъехал к офицеру и целится ему в лицо.

* * *

В Пажеский корпус (на Садовой, в Воронцовском дворце) неделю назад набрали юных новичков, готовить ускоренно на офицеров. Не умеют ещё и винтовку держать. Днём стало известно о бунте – стали срочно учить их стрельбе. Одну команду рассыпали по снегу во дворе – против ворот.

Унтер-офицер Шестопалов, лучший пулемётчик, обучавший всех пажей, сказал, что стрелять в восставших не будет.

Но – и не напал на них никто.

* * *

На Невском разгромили охотничий магазин. Всё оружие растащили начисто.

* * *

Могучий броневик «Ахтырец», не только с пулемётами, но и с пушкой, грохотно катит по Невскому. На его стальном корпусе – красный флаг.

* * *

Через толпу на Знаменской площади хочет пройти военный автомобиль, правит офицер, даёт гудки. Но толпа не раздается.

– Стой, мотор! Проезду нет! Вылезай!

Студент подошёл и положил руку на руль:

– Мы конфискуем ваш мотор.

Офицер резко:

– Кто это – мы?

– Восставшие. Прошу не раздражать толпы и не вызывать нас насилие.

Капитан вышел, растерянный.

В автомобиль набилось молодёжи, и тот студент, – и они помчались, непрерывно наяривая сиреной.

Но капитану не дали отойти. Другой студент:

– Теперь вы должны отдать нам шашку.

Капитан потемнел багрово, вскинулся:

– Нет! Это лишит меня чести!

– Но нам необходимо оружие, – аргументирует студент.

Капитан смеривает его и ближних окружающих, наступивших:

– Тогда – убейте меня! Но шашки я не отдам.

Протискивается здоровый солдат и одной рукой упреждает молодёжь:

– Братцы. Ежели офицер отдаст вам шашку – он лишён офицерского звания. Одна шашка вам не пособит, а человек пропасть должен?

– А ты что за заступник?

– Я – сам противу начальства! А офицера в обиду не дам.

Отбил, отпустили.

(Далеко ли?)

* * *

На Суворовском какие-то солдаты подошли к офицеру и сорвали с него погоны.

Он отошёл несколько шагов в сторону – и застрелился.

* * *

В Преображенском дворе Иван Редченков со своим земляком Митькой Пятилазовым слонялись, выходили через ворота на Суворовский проспект – но там и вовсе гуляла воля, куда хочу туда стреляю.

Целый день никто их не кормил, повара разбежались да и полк растёкся, без команды, кто куда, а новобранцы идти боялись. А морозик за полчаса не брал, а за полдня очень разбирал. А в казарму идти, сказано, нельзя: будто ежели кого там бунтари захватят, то прикончат.

Тут один офицер Преображенский, уже с красной повязкой на рукаве, сжалился над ними двумя и отвёл их в подвал, где была сапожная мастерская, а сегодня тоже никто не работал. С улицы и сюда доникал грохот свободы.

Тут согрелись друзья, только в животе сильно занывало. Поговорили про свои родные мещерские места, делать нечего – хоть и рано, легли меж сапожных заготовок на полу, кожу под головы – и заснули.

* * *

Дежурный офицер Измайловского батальона у ворот ответил подошедшим взбунтованным солдатам, что в помещение батальона входить нельзя. Его – закололи тут же в два штыка, стряхнули на землю. (Потом раздели – и голым бросили в чулан).

* * *

Юнкера Инженерного училища, гоня занятия с утра и до ночи, почти и не заметили волнений всех этих дней. Стоит Инженерный замок на мысу, на разлинии Фонтанки и Мойки. Сегодня по ту сторону их обеих много ходили и бушевали с красными бантами и тряся винтовками, разгромили дом министра внутренних дел. Толпились. Пришёл слух, что на училище идёт сапёрный батальон – брать замок и присоединять юнкеров. Юнкерам раздали винтовки (да по два патрона к ним, не оказалось патронов или начальник выдать не хотел), выстроили по всем сторонам против окон.

Сапёры остановились не близко, и в атаку не пошли. У них для атаки не было ни порядка, ни командиров.

112

На Петербургской стороне весь этот день прошёл как лёгкий мирный праздник, всеобщий праздник в будний день. По телефонам через Неву известно было, что происходит, а по мостам не пускали. С Литейной стороны перекинулось на Выборгскую, а сюда ничто. За Невой и за Большой Невкой там всё решалось, стрелялось – а здесь только гуляли большие городские толпы, передавали слухи, а полиции нигде не было видно, и Гренадерский батальон – только у мостов.

Алексею Васильевичу Пешехонову, одному из лидеров партии народных социалистов (партия была теперь такая маленькая, что состояла сегодня почти из одних лидеров), надо было бы непременно писать статью для «Русских записок», с которой он сильно опаздывал, но и дома никак не сиделось, и он то и дело покидал свою статью, надевал шубу с меховым воротником, выходил и прохаживался в публике.

Настроение у людей было возбуждённое, делились сведениями и слухами, охотно заговаривали с незнакомыми от переполнения большою общемою радостью. И Пешехонов делил эту радость несказанно. Думал ли он дожить до такого счастливого дня! Все свои пятьдесят лет он только и делал, что шёл и шёл в народ – учителем, земским статистиком, потом и членом Крестьянского (но городского) союза, всё с лозунгом «хлеб, свет и свобода!». И вот – что-то начиналось, наконец? Проснулся народ?

Но вместе с тем его и огорчало, что публика – такова уж наша публика! – только и ограничивалась этим общим любопытством и радостью. А никто не делал никаких попыток прорваться через оцепленья на мостах, присоединиться к восставшим, либо начать решительные действия тут, на Петербургской стороне.

Наконец, в которую по счёту прогулку, уже на закате, увидел Пешехонов на той косою площади, где сходятся Архиерейская, Большая Монетная и Малая Вульфова улицы, – кучку народа человек во сто из рабочих парней, девиц и ребятишек, которая, кажется, возмерилась что-то совершить. А вот что: они подступали, подступали и хотели бы прорвать цепь grenадер, преграждающую путь к их казармам и дальше к Гренадерскому мосту на Выборгскую сторону.

Какой-то молодой рабочий вынул из-за пазухи кусок красной материи, нацепил её на палку и – поднял! и стал звать за тобой остальных, кричать и руками махать.

А молодёжь ещё переминалась и не решалась.

Алексей Васильич ни минуты не колебался: он ощутил волнение того священного момента, который так знаком старым свободолюбцам и который не так часто выпадает на нашу долю. Не сгибаясь под тяжестью шубы, твёрдо ступая в галошах (левую, спадающую, он к счастью распёр бумажкой в носке) – он перешагнул, перешагнул пустое пространство – и уверенно стал под красное знамя рядом с молодым рабочим.

Вид ли его – пожилой, почтенный, но и простоватый, подействовал, или достигнута была раскачка, – но половина кучки тронулась, и Пешехонов в первом ряду!

Однако кто-то и на месте остался. А кто-то – метнулся за угол, опасаясь, что вот тут-то и грянет стрельба.

А хоть бы и грянуло, не обидно погибнуть за народную свободу!

И Пешехонов, гордо запрокинув голову в бобриковой шапке, не отставал от флагоносца, так они и шли рядом, вдвоём.

Всего-то пройти надо было сажен сорок, и не стреляли, даже враждебных движений не было в цепи гренадер, – а кучка растаяла, чувствовалось спиной и косым зрением. Около знамени осталось несколько человек. О, проклятое наше российское рабство!

Пришлось возвращаться, и подбодрять и смелость вдуть в этих молодых людей, и пристыдить. Пешехонов произнёс им небольшую речь, указывая на их гражданский долг.

Гренадеры слышали, не мешали. Они «вольно» стояли, разговаривая в цепи, и с улыбками кивали друг другу на демонстрантов. И молодой офицер прохаживался мимо цепи, ничего не командовал.

И даже такую цепь эта молодость не решалась прорвать! О tempora, o mores! О, как же низко упал боевой дух поколения!

Уже не так знаменосец, как Пешехонов повёл этих молодых рабочих второй раз, и третий, и четвёртый, – и каждый раз отставали, пятились, сворачивали, не выдерживали. Уже все его тут узнали и звали «батей».

Наконец он предложил такой манёвр: несколько смелых, которые всё время доходили, пусть составят руками цепь позади робких и так поведут их и удержат от бегства.

Увы, и это не помогло: прорвали не впереди, а своих позади и разбежались. Не могли выдержать приближения к вооружённому строю!

Уже солдаты пожалели Пешехонова и при его близости шептали ему: «Да пусть идут!... Мы препятствовать не будем... У нас и ружья не заряжены!»

Но – тщетно... Уже и красный флаг куда-то убрали.

Всё это так надоело Пешехонову, так глубоко оскорбило его, что он, уже никого не дожидаясь, ни на кого не оглядываясь, пошёл просто один, через строй, даже отчасти и желая мучительной смерти, чтобы горько устыдить струсивших.

И что же? Гренадеры не шевельнулись, и Пешехонов беспрепятственно прошёл сквозь их цепь – и дальше, дальше, мимо старинных желтокаменных казарм с колоннами – и даже до самого Гренадерского моста – и никто его не задержал и не окликнул.

И вот он уже стоял перед самым мостом, а перед ним – новая цепь гренадеров, которая, может быть, тоже бы его пропустила.

Но – горько ему стало, он увидел во всём этом случае рельефный символ, в нескольких фигурах выражающий всю русскую историю.

И он повернул назад.

А близ казарм уже была часть его демонстрантов – по его стопам и они решились. И тут уговаривали гренадеров бросать казармы, идти на улицу.

Там был часовой у ворот, но он не препятствовал демонстрантам войти во двор. С любопытством и Пешехонов туда пошёл. Во дворе была масса солдат, и сновали офицеры при оружии – и никто не выражал враждебности к вошедшей кучке, хотя она опять развернула красное знамя.

Тогда Пешехонов набрался смелости, возвысил голос – и потребовал освободить всех узников полковой тюрьмы.

Офицер кивнул унтеру, тот повёл гостей в карцер – и освободил оттуда одного солдата

без пояса.

Но идти на улицы гренадеры отказались:

– Не. Командиром мы довольны, уж вы нас не содвигайте.

113

Но и создание этого комитета, уже одобренного частным совещанием, совсем не была лёгкая задача. Сам-то комитет составлялся нетрудно: те же почти старейшины фракций, сидящие тут. То есть, взять бюро Прогрессивного блока, направо вплоть до Шульгина, да добавить слева Чхеидзе и Керенского, да пожалуй этого крикуна Караулова, он покою не даст, – а возглавить, естественно, Михаилу Владимировичу. Получалась и цифра хорошая, 12 человек (нарочно подогнали, чтоб не 13).

Но и все старейшины и пуще всех Михаил Владимирович не понимали: для чего же этот комитет будет служить и, стало быть, как ему называться?

(Перервали, постучали думские социал-демократы: можно ли им в 13-ю комнату, бюджетной комиссии, пригласить освобождённых из тюрем партийных товарищей, позаседать с ними. Мысли как-то не отвлекались, – кому, зачем. Сказал Родзянко: ну что ж, заседайте).

Название сложили как по складам, подсказками всех: «Временный Комитет Государственной Думы для поддержания порядка в Петрограде и для сношения с учреждениями и лицами». Сколько мудрости и осторожности было вложено сюда! Временный! – и для поддержания порядка! – самая законопослушная задача. И всего только для сношения – отнюдь не для действий и не для управления. И учреждения – могли быть только законны, это не революционные партии.

Кажется, нельзя было назваться осмотрительней и лояльней.

И всё равно, смутным сердцем ощущал Михаил Владимирович, что уже и это было незаконно, что и на такой комитет Дума не имела права, – и это уже был акт революционный. Как неразумных детей хотел Председатель широким объятием удержать своих думцев от пропасти – а они его туда и тащили.

Но успокаивало, что осмотрительный Миллюков, так упирившийся на частном совещании, – вот соглашался на такой комитет, не видел в нём слишком дурного.

И потом же уговорились на частном совещании, что такому комитету думцы будут безоговорочно подчиняться, – и таким образом хотя бы в Думе в этот опасный час будет создана единая твёрдая воля. Для порядка – это важно.

Объявили оставшимся членам Думы, неуправляемо бродившим по залам. И вот – Комитет существовал.

А Родзянко ушёл в свой кабинет в одиночество, чтобы справиться с бурными мыслями, с новыми раздирающими новостями из города, одуматься и понять. Он пытался снова звонить князю Голицыну и домой, и в Мариинский дворец, – но без успеха, не нашёл его.

Родзянко чувствовал себя королём Лиром, когда всё вокруг терялось, гибло и ревела буря. Он чувствовал себя мощным кораблём, но что-то слабеющим от этих ударов.

Он ходил по кабинету и мысленно разговаривал с неразумным слабым Государем. Он повторял ему слова своих телеграмм и ещё более сильные внушения, убеждая, что не мог поступить иначе, – но что и Государю не остаётся иного, как уступить. Он хотел вообразить ответы Государя, но ответы никак не доносились отчётливо до ушей, они, как всегда, были уклончивы.

Ах, почему, почему Государь ему не ответил на две отчаянных телеграммы?

Вдруг – позвонил телефон. И раздался, даже в телефоне различаемый, мягкий, ласковый голос великого князя Михаила Александровича. Он осведомлял, что уже в городе.

Ах, какое облегчение! Да как же он добрался? Легко?

Довольно просто: из Гатчины поездом, а от Варшавского вокзала на своём прибывшем автомобиле, и проехал по улицам довольно свободно. И теперь на частной квартире ожидает

указаний Михаила Владимировича.

Он даже покорно разговаривал, милый великий князь! Он всегда очень прислушивается к Председателю – и это давало надежду сейчас! Государь был недостижимо далёк и глух, но единственный брат его – вот здесь, в мятежном городе, и может быть использован как великий рычаг.

Но - как ? План ещё был неясен и самому Председателю. И тем более нельзя разьяснять по телефону: на станции услышат барышни – разнесут. И даже встретиться нельзя им в Думе, потому что многие здесь тянули сами в пропасть, а задача Родзянко – спасти Россию! Надо встретиться, но не здесь, а лучше всего – в Мариинском дворце, в главной резиденции правительства, потому что этот план не может быть решён без правительства, там наконец разыскать и министров, если они не совсем ещё задремали и умерли.

И уговорились с великим князем: встретиться там около восьми часов вечера, это будет через два часа после темноты, к тому времени толпы обычно успокаиваются и расходятся, легче будет проехать.

И никому не сказал Родзянко о встрече, кроме заместителя своего Некрасова да секретаря Думы Дмитрюкова, которых предполагал взять с собой.

Но через полчаса ему принесли, что ходит по думским залам слух, будто великий князь Михаил Александрович сегодня в девять приедет в Таврический дворец и будет провозглашён императором. Тьфу!

А другой упорный слух уже час гулял по Думе: что близ Зимнего дворца стягиваются войска, верные правительству.

О-о-о, дело осложнилось. Конечно, правительство не бездействует. И вот они через несколько часов установят порядок в столице, – а Дума-то! Дума-то! – непозволительно перешла границы.

И – раскаялся. И усумнился во всём сделанном. И вчетверо встревожился Председатель.

А тут – стал снаружи доноситься большой шум, крики, проникающие даже в глубину толстостенного дворца. И прибежали думские приставы доложить, что снаружи подошла отчаянная вооружённая орда, и ни Керенский, ни Чхеидзе не могут её успокоить, а требуют они Председателя Государственной Думы! – иначе сметут сейчас все караулы и ворвутся.

Заколыхалась великанская родзянковская грудь. Это была опасность, но это был и долг – спасение Думы!

Не выйти было нельзя. Уже приближённые думцы подсказывали Родзянко, что всё выходит к толпе Керенский – надо его оттеснить, поставить на место. Народ должен видеть настоящего хозяина Государственной Думы!

Выйти – да. Но что говорить, выйдя? Нельзя произносить мятежных речей, льстить толпе мятежными обещаниями, – но и чем-то надо эту толпу насытить. Ведь это, очевидно, представители восставших частей.

Счастливо сообразя, Родзянко взял черновые бланки посланных телеграмм. Наросла обида: почему же Государь молчит на родзянковский честный призыв? Пожаловаться наконец самому народу, своей России? Прямо сказать о своём ужасном положении, они поймут! Пристав поспешно подал ему пальто, фамильярно-заботливо обмотал ему шею шарфом. Так и пошёл Председатель незастёгнутый, без шапки, с шаром темени едва не лысым, – шагом крупным, озабоченным.

И вышел на крыльцо, под внешние колонны, на этот рёв, прямо лицом к этой действительно орде, всей ошетиненной винтовками, да так, что штыки по неумелости торчали во все стороны, – тут было кроме солдат много вольных – и студентов, и мастеровых, и подростков, и черни, и даже двое в арестантских халатах. При выходе Родзянко они взревели ещё, и не очень почтительно, может быть даже угрожающе, – но это-то он мог перекрыть своим могучим голосом, лишь бы штыком ему не пропороли живота. Его и, ворвавшись, остальных думцев эта орда могла переколоть и перестрелять в

пять минут, а защищаться было некому и нечем: не было правительственных войск, не было жандармов. Положение было исключительно опасное.

И Родзянко правильно прибег к своему козырю: что Государственная Дума всегда стояла и продолжает стоять на страже народных интересов. И вот какие телеграммы он послал царю (хотел сказать почтительно «Государю», но в угоду толпе сам язык вывернулся «царю»). И стал читать. Громко вслух. Стал читать, не соразмерясь, не повторив про себя текста, – и вдруг эти фразы, написанные от сердца и вполне же допустимые в обращении к Государю, – тут прозвучали страшным набатом, таким революционным грохотом, как будто первым мятежником был не вот этот размётанный полубезумный матрос гвардейского экипажа, а сам Председатель Государственной Думы:

– Волнения принимают стихийный характер и угрожающие размеры... Полное недоверие к власти, не способной вывести страну из тяжёлого положения... Правительственная власть в полном параличе и бессильна восстановить порядок... России грозят унижение и позор... Промедление смерти подобно... Убивают офицеров... На войска гарнизона надежды нет... Гражданская война разгорается... Если движение перебросится в армию – крушение России и династии неминуемо...

Он в ужасе несколько раз хотел остановиться! Но его несло с горы как на санях, он почему-то не мог обежать даже единой фразы, будто должен был тогда раскрошиться, как обо встречный столб.

– От имени всей России... Час, решающий судьбу родины, настал... Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца.

И сам вздрогнул от силы прочтённого. (Эту последнюю фразу – он послал или не послал?)

Так он всё это ужасное, первый раз увиденное им самим, громко прочёл, кинул этим шинелям, бушлатам, курткам, халатам – рвать на клочки...

И – действительно насытил их. Они заревели, заревели уже без угрозы, уже дружелюбно – и штыки опали, и никто не целился пропороть ему живот.

Так Председатель отбил эту орду и спас Думу, и воротился внутрь дворца, спасённого от разгрома. (Впрочем, какие-то неизвестные плохо одетые субъекты, не имеющие отношения к Думе, по пути там и сям попадались ему. Стояли малыми кучками, пощёптывались, приглядывались).

И вдруг Родзянко почувствовал, что он – как бы какое предательство совершил. Что не надо было и брать с собой телеграмм на крыльцо, какая несчастная мысль! Не надо было их читать.

В стыде и подавленности он вернулся в свой кабинет. Он рассмотрел в большом зеркале – из окон всё меньше было света, день кончался – глыбу своего тревожного, рельефного и постаревшего лица. Стал расхаживать – то прямо на огромное зеркало, то поворачиваясь к нему крутой спиной. Расхаживал, чтоб успокоиться, но вспомнил этих субъектов в дворцовых переходах и опять встревожился, и вызвал старшего пристава (похожего на себя, тоже крупного, широколицего).

Тот доложил, что – да, какие-то социалистические деятели и ещё освобождённые сегодня толпой из тюрем, караул их пропустил, а у пристав нет сил выгнать – это может вызвать скандал.

Да-а... Да-а... Приходилось мириться... Сейчас скандалить нельзя.

Родзянко остался в кабинете – ходить и думать, поджидая дурных вестей.

Так и случилось, пристав прибежал с новыми: привели арестованного Щегловитова!

Как?? Кто это мог?? Председателя Государственного Совета? – другой такой же законодательной палаты, как Дума? – арестованным? Невероятно! Родзянко вскочил во гневе и побегал выручать.

В купольном зале Щегловитов был без шубы и без шапки, в простом домашнем сюртуке, с головой почти облысевшей и красной от холода – это он не разделся здесь, а так его привели по морозу? Дерзкий низкорослый студент с револьвером и саблей на боку

возглавлял конвой, а два дюжих солдата держали сзади винтовки наперевес, не шутя.

Вокруг невиданного зрелища стягивалась толпа – и публика, и откуда-то немало солдат, уже внутри!

Высокий Щегловитов, с редкими начёсами седых волосиков, а усами тёмными густыми, был смазан из своего обычного делового выражения, без выдающихся черт лица, тяжело дышал. И молчал, завидя и Родзянко.

– Ива-ан Григорьич! Что-о с вами? Что-о за недоразумение? – басисто зарокотал, развёл руки Родзянко, намереваясь легко отобрать арестованного (однако не подал на рукопожатие).

Но студент сделал предупредительный жест – не подходить. И солдаты не потеснились.

Тут сбоку раздался взносчивый петушиный голос Керенского, как закатился от торжественного значения:

– Иван Григорьевич Ще-гло-витов?!

Щегловитов смотрел напряжённо-растерянно и как бы не слыша крика. Большие усы его лишь пошевелились:

– Да.

Продержалась пауза лишь столько, сколько Керенскому набрать нового ликующего голоса:

– Именем революционного закона вы – арестованы! – чрезмерно звонко и очень подготовленно, без неожиданности, объявил он. – Вы будете иметь пребывание в Таврическом дворце!

Да что в самом деле? Да с каких пор, почему он здесь держался как первый? Родзянко вновь радушно развёл руки, одновременно подотталкивая Керенского:

– Иван Григорьич, пожалуйста ко мне в кабинет.

Но студент поднял нетерпеливую руку.

– Нет! Нет! – вскричал Керенский пронзительно. – Он здесь не ваш гость, и я отказываюсь его освободить!

Да почему – он? Он так говорил, будто он и арестовал, или был генеральным прокурором?

Генеральным прокурором – то есть министром юстиции – тут и был 9 лет, но – Щегловитов. А сейчас – таков же по статуту, как Родзянко! И – как преступника...?

Спеша не отдать жертву, Керенский возгласил:

– Вы – тот человек, который может нанести самый опасный удар в спину революции! И мы в такой момент не можем вас оставить на свободе!

Родзянко со слоновой высоты посмотрел на этого мозгляка, противоречащего ему тут, в Думе!

И вдруг – осел мешковато. Вдруг понял, что прежняя его тут власть – кончилась. Уже и приставы его думские тут были ничто.

Какой-то рослый унтер-преображенец с маленькими глазками, с русой бородой по раздтой челюсти, пристроился и уже толкал Щегловитова под бок – идти дальше, в Екатерининский, поняв, куда взмахнул лёгкой рукой Керенский.

И сам Керенский пламенной птицей кинулся перед ними вперёд.

Зашагали и два революционных студента, и солдаты с винтовками наперевес.

Со всех сторон испуганно смотрели на шествие. Члены Думы все знали Щегловитова.

Но его привыкли знать или ненавидеть как покрытого бронзой. А вот он шёл понуждённо, никому не кивая.

По одному пробравшись неузнанными через растревоженную столицу, министры снова собрались после трёх часов дня, уже в Мариинском дворце.

Здесь была рота солдат, скрытая в помещении близ швейцарской, да перед дворцом –

два полевых орудия, а на самой Мариинской – пока никаких мятежных передвижений.

Из малого зала совета министров на втором этаже открывался на площадь прекрасный вид – один из вечных видов Петербурга: за обширной просторной частью, скрывающей под собою Мойку, – удалённая изящная клодтовская фигура Николая Первого, в спину, а дальше – величественное замыкание Исаакиевским собором, на куполах которого на короткое время заиграло солнце. Сколько раз видели эту устойчивость – и привыкли, и не ценили так остро, как сегодня – когда она грозила пошатнуться. Собирались, бывало, министры и в плохих настроениях и казалось им, что плохо идут дела, а теперь: о, если б только как раньше, когда послушная столица мирно текла по тротуарам, в извозчиках, в трамваях, – а на перекрестках незыблемо стояли городовые!

Тот же был, с торжественными портретами и люстрой, тёмно-красный зал, тёмно-бордовый бархат кресел и такая же скатерть до полу на большом столе (сегодня этот красный цвет, хотя и приглушённый благородною темнотою, приобретал враждебно-победительный смысл). Тот же простор пройтись по залу, подойти к окнам, поговорить уединённо по двое, по трое. Здесь не было ощущения, что кабинет министров спрятался, как на квартире Голицына, и здесь они были как будто в привычной безопасности, сюда и собрались полнее, чем туда.

Однако – проредились их ряды. Кроме большого Григоровича – почему-то не было Риттиха, такого всегда неперемного, – и не предупредил, с утра не звонил, и дома его нет. И цветущего прокурора Синода не было.

Ответственное и нервное натяжение. Что-то они должны были решить – немедленно, сделать – немедленно, но абсолютно непонятно – что? Военное подавление мятежа ведалось без них, Беляевым, он и поехал в градоначальство давать указания. А остальные министры – что ж делать могли во время мятежа?

Сохранялась телефонная связь с Таврическим дворцом. А там сидел дежурный чиновник канцелярии совета министров и сообщал о событиях. Так что министры всё время знали, что делается в центре бури, и поверить нельзя было даже вообразительно.

Самовольное частное совещание членов Думы... Самозванный Комитет по установлению порядка...

А – что же правительство?

И – зачем они тут собрались? Может быть, надо было сидеть по своим министерствам?

Все были не в себе, но нервнее других, ломая пальцы, с лицом усталого проигравшегося игрока – всем коллегам тягостный и даже ненавистный Протопопов. Все так и ощущали, что из-за него-то и идут ко дну: ведь главная ненависть Думы бьёт по нему, и это он их топит. И это он не мог наладить порядка в столице. И теперь он потерял свой искусственный, победно-заносчивый вид, свою мину особого значения и знания, перестал казаться и притворяться, но открыто показывал, что изнемогает наконец.

Именно ему позвонил начальник Охранного отделения генерал Глобачёв с Петербургской стороны: ещё ничего не произошло, но как же быть с сотрудниками? с бесценными сверхсекретными архивами?

А – что мог ответить Протопопов? Никто из министров внутренних дел, его предшественников, не попадал так – ни каменный Плеве, ни железный Столыпин. Уничтожить? – может быть рано. Рисковать оставить? – может быть поздно. Ждать.

И Протопопову же звонил сюда градоначальник. И каждое спрашиваемое решение вытягивало из Протопопова последние нервы. Он – не знал. Пусть распоряжается генерал Хабалов... Пусть остаётся как есть...

И ему же подали записку, что дом министра внутренних дел разгромлен, возвращаться домой ему нельзя, жена же его спаслась у зрителя здания.

Всё обрушивалось сразу вместе!... Протопопов не удержал болезненного стога и обеими руками взялся за лысоватые темена. Взор его вращался.

На него обернулись – он охотно пожаловался вслух.

Два-три соболезнования промычали, – или это передавался общий страх за себя у

каждого: ведь и их министерства могут вот так каждую минуту.

Заседания – всё не начинали, всё не начинали, всё переходили друг мимо друга, обмениваясь короткими фразами. Для заседания нужно было не только дожидаться Беляева, но и уяснить же, о чём именно должно быть заседание. Слишком дряхлый министр просвещения сидел в кресле как застигнутый перепугом или даже с отнявшимися ногами. Государственный контролёр был слишком молод для советов. Седой министр юстиции – слишком правый по убеждениям. Покровский с опущенными потерянно усами и лысый беспокойный Кригер-Войновский по своей близости к думским кругам, пожалуй, были сейчас наиболее надёжными советчиками. Но мнение Покровского было известно: всем – в отставку. С кем же премьер-министр, сам потерянный и едва удерживая спину несогбенной, мог бы держать совет? Никогда ещё так въявь не открывался ему его кабинет столь пёстрым, несобранным, расчуждённым.

Ближайшие мнения были: что надо решиться известить Государя о проигрыше столицы. (Но разве она уже проиграна?) Признать, что большая часть войск перешла на сторону революционеров. Что генерал Хабалов никуда не годится, а нужен популярный генерал с диктаторскими правами. И что... и что... следовало бы получить право вступить в переговоры с Думой. То ли слишком сбитое этой же Думой с ног, то ли слишком преданное престолу (а куда он так отдалился, престол?!), правительство не ощущало за собой такого явного права: разговаривать со своим парламентом.

Министр финансов Барк – вот кто был сейчас главный решительный и прагматический советчик. Он говорил: не успеют обернуться никакие телеграммы, нечего ждать никаких ответов – надо всё решать сейчас здесь самим.

Но этот состав бессилён был решать!

Наконец вошёл маленький искусственный темноокий – нет, зловеще-тёмный – Беляев. Так хотелось верить в его силу, что он – генерал, но кукольность его была наглядна. Так хотелось услышать от него каких-нибудь, может быть, победных вестей, – но он их не произнёс. А отошёл с Голицыным в сторону и стал ему толковать полужёпотом.

Толковать, что единственный выход спасти правительство и всё положение – это отделаться от Протопопова, исключить его.

Да князь Голицын разве думал иначе? Но не было у правительства права исключать своего члена: министры назначались и отрешались только самолично Государем. И даже самовольно уйти в отставку никакой министр не мог.

Протопопов как почувствовал, что говорят о нём, да они и покашивались невольно. И впился в них красиво-страдальческими, совсем уже неуверенными глазами.

Ну что ж, стоило начать обсуждение общее. Сели за стол.

И князь Голицын голосом мерным и со всею сдержанностью великосветского обычая стал говорить о тяжёлом общем положении, в котором они почти бессильны. А для единственно возможного спасения правительства кто-то из членов должен принести себя в патриотическую жертву и добровольно уйти в отставку, не ожидая государева решения.

И всё не называл – **кто**, всё кружился в околичностях, но, кроме может быть полуглухого министра просвещения, с первого слова всем было до такой степени ясно, что все и смотрели откровенно на Протопопова – с отвращением к нему и с надеждой спастись самим. Его отставка – может быть спасёт их всех.

И Протопопов вспыхнул огнём, хотя вялая кожа его не была склонна к румянцу, и стал дико озираться в круговой осаде, которой не ждал. До сих пор, кажется, не говорили так, что дело в ком-то одном, только одном, но – в положении общем? в роковом разногласии с Думой?... И вдруг все, как сговорясь, смотрели на него изгоняющими взорами.

Да он сам их терпеть не мог! Да он сам их презирал! Но отступили в немоту и сумрак все покровительственные фигуры, – и вот Протопопов сидел незащищённый, бессильный среди своры ничтожных людишек, желавших спасти себя за его счёт.

И так сразу стало одиноко до воя, так стало жаль свою красивую жизнь, свою великую карьеру, не доведенную до зенита, – он как будто отыграл трагическую роль перед раёшной

публикой.

Но не облегчил министрам – и не подсказал свою фамилию.

Тогда слово перешло к чёрной совке Беляеву. Маленький, с оттопыренными ушами, он мрачно смотрел из глубины глазниц через заставку пенсне и произносил без голосовой силы. Он извиняется перед Александром Дмитриевичем за свою военную прямоту. Но он видел сегодня нескольких видных лиц (не назвал – где, кого, но этот приём всегда производит впечатление достоверности), и все они заявили: беспорядки происходят от общей ненависти к Протопопову. Если он уйдёт – всё успокоится. И нельзя медлить ни минуты. Нельзя дразнить толпу, она наэлектризована.

Протопопов горел – и задышался. Он даже не мог им ответить достойно. Он был более всего – оскорблён.

И тогда князь Голицын вежливо и торжественно обратился к Александру Дмитриевичу с *просьбой* от имени всего совета министров: принести себя в жертву, оставить пост, – и это вызовет успокоение раздражённой толпы.

И, тронутый этим тоном, Протопопов ответил, что он и сам давно бы ушёл, и сам просил об этом Государя – но тот никогда его не отпускал. А – как можно уйти без воли Государя?

А они – тоже не имели права исключить его.

Тут услужливые голоса напомнили, что есть такая статья – об экстраординарных решениях совета министров. Или если б, например, считалось, что он заболел... Отчего он не может объявить себя заболевшим?

Никто не смел его заставить! Он мог сопротивляться! Но нервное горение, державшее его эти дни, вдруг вышло всё. Протопопов сник, уронил голову – и его добивали уже таким.

Что он – должен заболеть. Что его обязанность – тотчас заболеть и этим спасти правительство России.

И – не было ничьих глаз, ничьей души в поддержку! Ни – Барк, ни – Шаховской. Да кто тут? – тут же не было высоких душ! А в одиночку Протопопов уже не мог устоять дальше. Он поднял голову в отчаянии, ему хотелось или захохотать или разрыдаться:

– Что ж, господа, извольте! Что ж, если это вам так нравится, я могу объявиться больным!

И – не ужаснулись его жертве, не содрогнулись от своего предательства, – но все облегчились явно. Для них – распутывались все проблемы.

И от этого Протопопову стало ещё обиднее, горько ждало горло.

– Ах, какие вы злые-нехорошие! – выговорил он свою постоянную шутку.

А князь Голицын сказал:

– Я очень благодарю вас, Александр Дмитрич, от имени совета министров, что вы приносите себя в жертву.

Протопопов еле сдерживался от хохота-плача. Он вскочил с закинутой головой, чтоб не видели глаз его, и, тяжело дыша, проговорил:

– Я даже могу для вас кончить самоубийством! Мне только и остаётся – застрелиться!

И вышел из зала.

Все вздохнули освобождение, и никто за ним не поспешил. Не поверили.

Правительство было спасено. Заседание продолжалось.

Но хотя Протопопов и открыл им выход – этот выход никак не открывался. Что же было, всё-таки, делать?

Даже объявить об отставке Протопопова – не было у них видимого способа.

Вернуть столицу они не могли без внешней помощи.

А этой помощи – могли ли они дожидаться?

Да и надо же было назначить заместника министру внутренних дел. Парадоксально всё же: в такую минуту остаться без министра внутренних дел!

Но ещё парадоксальней: никто не подготовил и никто не мог придумать никакой кандидатуры, даже самой временной. Голицын предложил энергичного генерала

Маниковского, интенданта, – на него замахали руками. Главного военного прокурора?... Секретаря Государственного Совета?

Стали телефонировать и предлагать – никто не соглашался.

Тем временем свой чиновник звонил из Таврического дворца с новостями. Что Керенский и Родзянко произносят поджигательные речи.

Покровский противительно откинулся в кресле:

– Не могу поверить, чтобы Родзянко, камергер, стал во главе революционной шайки. Что-то не так!

Но и всего-то могли они – сидеть в креслах и вести вялые, беспорядочные, бесцельные обсуждения. Под ними вымывало, уносило столицу, твёрдую почву, дворцовый пол – а они ничего не могли придумать. Отчаяние и бессилие.

Князю Голицыну доложили, что толпа подходит к его особняку на Моховой, кажется, с намерением громить.

Вот – и у него уже не было выхода! И у каждого могло не стать через минуту!

А – зря они не объявили осадного положения. Ещё вчера вечером было не поздно!

Объявить теперь? Осадное положение тем удобно, что снимает всякую ответственность с правительства, всё передаётся военным. Но – как объявить уже мятежному городу? Даже, неожиданная проблема: кто и где напечатает такой приказ? и дадут ли развесить его по городу?

Сообщения из Таврического прекратились, чиновника видимо удалили от телефона.

Но вошёл в смятении Стишинский, старый видный член Государственного Совета, и объявил им: председатель Государственного Совета Щегловитов – арестован с квартиры и увезен в Государственную Думу!

Это ударило их как громом. Человек высшего государственного поста – и арестован? Одна законодательная палата арестовывает другую?! Что ж это будет? Это – и их могут, значит, тоже?...

Ломали пальцы. Тут кто-то кого-то вызвал за дверь и от правых Государственного Совета конфиденциально предложили: дать команду лётчикам, стоящим в Царском Селе: лететь на Таврический дворец и забросать революционное гнездо бомбами.

Предположительно осмелились повторить за столом заседаний, но все отшатнулись. А ухастый маленький Беляев сказал, что как военный министр ни за что такой команды не допустит.

Но просили самого Беляева возглавить военный округ, сместить Хабалова, последняя надежда!

Нет, чем дальше, тем больше видели министры, что положение неспасаемо тут, изнутри.

Нужен – диктатор извне, с войсками.

Слать Государю телеграмму с просьбой о войсках.

Но позвольте, господа, напоминал Покровский, но Дума требовала нашей отставки взамен на её роспуск. Нечестно нарушать условия.

Да, правда... Да и разумней всего, да и легче всего им было бы уйти в отставку и ни о чём больше не заботиться.

Но они не могли все сразу заболеть, как Протопопов. Значит, они должны были просить Государя о коллективной отставке правительства.

Далёкого молчаливого недостижимого Государя.

Послать ему такую телеграмму.

Покровский и Барк уже составляли её готовно и поспешно.

Совет министров дерзает представить Вашему Величеству... с объявлением столицы на осадном положении, каковое уже сделано... Ходатайствует о поставлении военачальника с популярным именем... В настоящих условиях совет министров не может справиться с создавшимся положением и предлагает себя распустить, назначив председателем лицо, пользующееся доверием общества...

Князь Голицын убеждённо подписал.

115

Но и через Литейный мост воротясь – Кирпичников своих не собрал, все куда-то подевались. Всего-то народу кипело тьма, не то что утром, сейчас все смелые, – а вот своих не было. Утром, сколько ни было – он вёл, всю ораву, а сейчас были тысячи-тысячи, а его не только не слушали, уже не замечали, что за унтер такой идёт, щупленький.

Да ведь когда Арсенал на Симбирской разбили – одних браунингов набрали, наверно, несколько тысяч – и все у мальчишек, и все стреляют. И не отымешь, мальчишка – он хуже любого пропавшего солдата: на него и гавкнешь – не слушает. А к чему это – в воздух палить, когда надо свободу добывать?

То и дело на них орал.

Утром Кирпичников с друзьями думал: как бы только не отказались со склада первый ящик патронов отпустить, не начать же с голыми пальцами. А сейчас – все и вольные, кто только захотел, – с винтовкой, и патронами обгружен.

А от пожара на углу – огнищем пышет, и гарь, а повыше дым.

На Литейный проспект вывернулся какой-то отряд, хоть не стройный, не вовсе упорядивый, но всё ж отряд, и Кирпичникова фельдфебельское сердце обрадовалось: всё же строй понимают!

И – закричал он всей публике здесь, всем одиночным солдатам и всем вольным, кто с винтовкой, кто без, закричал привычную команду и даже надрывая голос:

– На – кра-у-у-ул!

И всё – зря. Взяло – может несколько человек, а больше никто не послушал. Так с утра народ распустился.

Что ж оставалось? Со своей новой небольшой кучкой примкнул Кирпичников к ихнему строю сзади. Пошли. Но впереди – стреляли, и строй разбежался быстро. За Фурштадтской дальше стояли кексгольмцы развёрнутым фронтом против свободных войск.

И свободные все забоялись, никто идти не хотел.

Кирпичников-то сделал сегодня больше всех, ему бы и не лезть. Но обида горела, что так всё пропадёт, один раз остановись – и всё ведь пропало.

И вернулся он собирать-убеждать вперемежку солдат и вольных, что всем идти плотной толпой и не стрелять, а руками, шапками махать и уговаривать – нипочём тогда в них стрелять не будут.

Кого убедил, а больше – толпа поднапирала, изо всех улиц стекалось, толпы столько напирало и по Кирочной – что двигалась она на эту цепочку как туча.

И так – махали бараньими шапками, фуражками, кричали им, уговаривали – и пододвигались.

И прапорщики велели стрелять – а кексгольмцы не стали.

И как толпа надвинулась – так этих прапорщиков из револьверов тут же и убили. А строй кексгольмцев – рассыпался.

И потекла толпа дальше по Литейному, без удержу.

А тут, сказали вольные, направо во дворе, за железными дверьми, полуроту завели, с ней подпрапорщик и два пулемёта.

Э-эй, грохай по железу! Ат-крывай!

Верно вольные сказали: там сидели. За шиворот тех людей вытаскивали, да по шеям костыляли, подпрапорщик всё же унтер, свой брат, не застрелили его. И два пулемёта взяли.

А ещё передали вольные, что за церковью стоит засада Семёновского полка, и там будто 8 пулемётов.

А ещё передали: тут, в чайной, засада – и ещё 2 пулемёта.

И растекались люди кто куда, не управишь: то ли засады брать, то ли тикать от них, то ли просто по улицам болтаться.

А Кирпичникова гвоздило: пока ещё не темно, надо на Марсово поле идти и павловцев присоединять.

И скричал себе кой-какую толпишку, уж их не построишь, – идут, и хорошо.

Пантелеймоновский мост перешли, но дальше вольные разубедили: на Марсовом, мол, большая засада, всех перестреляют.

И – опять кто куда рассыпаться. Часть повернула по Садовой к Невскому, и Кирпичников среди них: он ли их вёл, или они его, уже ничего не понять, никто никого не слушает.

А что-то же делать надо.

Уже темно стало – и исправно засветились по всем улицам столицы ряды фонарей, как будто не было никакой суматохи.

Только те не светили, какие пулями рассадили.

116

Туда, на Пантелеймоновскую, где толпа обескуражила царскосельских стрелков, полковник Кутепов быстрыми крупными шагами отправился сам, хотя и не придумал и придумать не мог, что ж он будет делать один против смешанной вооружённой толпы. Просто – никого он не мог снять ни из одной цепи, а ничего не предпринять тоже не мог, – и оставалось пойти самому.

И ещё раз ему повезло (собственно, весь день сегодня ему везенье, если по-военному прикинуть расположение сил и средств): на углу Пантелеймоновской подошло к нему ещё две роты подкреплений – лейб-гвардии Семёновского батальона с двумя молодыми прапорщиками, Соловьёвым и Эссеном 4-м, и лейб-гвардии Егерского, та самая рота, которую Кутепов напрасно дожидался с утра.

Егерям он велел идти к артиллерийским казармам и там ждать. А семёновцев поворачивал на Пантелеймоновскую, чтобы сам туда их вести, – как доложили ему, что на Литейном подстрелен прапорщик Кисловский, преображенец, который шёл к нему с донесением о действиях по ту сторону Преображенского собора.

Однако же и это не было быстрее, чем на войне, вполне фронтовой темп, Кутепов успевал и соображать, и без колебаний решать, хотя перевес неожиданностей склонялся к противнику. Он велел семёновским прапорщикам продвинуть роту по Пантелеймоновской, перегородить, а в случае появления враждебной толпы – открыть по ней огонь. Сам же услышал за спиной за два квартала, где была кексгольмская полурота, громкий крик:

– Не стреляй! не стреляй!

и, небрежа своим званьем и высоким ростом, побежал туда.

И ещё издали увидел на Литейном тоже высокоростного офицера, который это кричал, – а на груди у него, на шинели – крупный красный бант.

И кексгольмцы, действительно, не стреляли, как замороженные, – ведь офицер! А тот приближался.

Кутепов, подбегая, резко крикнул открыть огонь.

Тогда и офицер побежал, скорее достичь кексгольмской полосы – но, подстреленный, рухнул.

Держались расставленные, разосланные Кутеповым роты, держали с дюжину каменных кварталов – но уже не могли продвигаться. И со всех сторон доносили, что следующие кварталы насыщены полувооружёнными бесчинствующими толпами рабочих и разрозненных солдат. Огонь со всех сторон усилился.

А между тем день кончался. Проглянувшее после полудня солнце опять заволкло, да и должно б оно было уже уйти за стены Литейного каменного ущелья. Света всё убывало, день шёл к сумеркам и к концу.

Что же должен был Кутепов делать дальше? Ни одного связного с приказанием или разъяснением так за весь день не прислал к нему Хабалов, и посланные Кутеповым не

вернулись, и почему-то на телефонные звонки совсем не отвечало градоначальство. Кутепов и сам пошёл в дом Мусина-Пушкина телефонировать – и никак не мог дозвониться. С центральной телефонной станции ему заявили, что последний час градоначальство и вовсе никому не отвечает, не берут ни одной трубки.

Так что ж – градоначальство разгромлено?

Телефонистки не знали, хотя близко от них. А их самих на Морской улице охраняла и пехота и кавалерия до сих пор, и боёв не было тут никаких. А ещё что они знают вокруг? А ещё знают: на Дворцовой площади какие-то части строились, но потом уходили, некоторые и сейчас стоят. А за кого эти части? Телефонистки не понимали сами.

Послан был Кутепов – и забыт. И все роты его забыты.

И вот уже смеркалось. Но ещё освещались сумерки пожаром Окружного суда.

Не успел Кутепов кончить телефонных осведомлений, как в самом доме услышал большой шум. Он кинулся по лестнице вниз – в дверь вбегали, теснились напуганные семёновцы, потом внесли на руках одного за другим смертельно раненных прапорщиков Соловьёва и Эссена 4-го.

А затем теснились и преображенцы, все с винтовками – и дом быстро наполнялся вооружёнными солдатами, Кутепов не мог остановить их, как ни кричал, – и сам был в беспомощном положении, не мог выбиться в дверь против потока.

Вся оборона его на проспекте – рухнула.

Когда он вышел на Литейный – было уже темно.

Весь проспект был заполнен толпой, хлынувшей из поперечных улиц. Толпа бежала, кричала – и стреляла в фонари или метала в них чем, чтобы разбить.

Среди криков Кутепов слышал и свою фамилию, сопровождаемую площадной бранью. Но самого его не различили.

Его отряда – больше не существовало.

Он вошёл в дом Мусина-Пушкина, приказал запереть двери. И накормить поровну всех, кто тут есть, тем ситным хлебом и колбасой, что купили утром по пути в лавке.

117

В такой день, замкнутый в бездействии и бессилии, Кривошеин и нуждался в близком собеседнике. Такого не было в его семье, и сам никуда он сейчас не пошёл бы в эту бурю, – и никто не мог прийти лучше Риттиха. Давний, многолетний помощник в министерстве земледелия, до деталей помнящий всю эту долгую структурную терпеливую работу, всю традицию, по полуслову отзывчивый, как строилось, делалось, расширялось в «министерство Азиатской России», и как боролись с Коковцовым за финансы, и как в позапрошлом году Кривошеин уволился, так рано по замыслам работы, а Риттих, перебив при двух случайных министрах, наконец вот и сам принял пост. Для Кривошеина Риттих и был – он сам сегодня бы: не сломись его карьера так несчастно, это сегодня он, Кривошеин, должен был бы тянуться на заседание ничтожного бесправного правительства, или идти перекрыться у кого-то надёжного, а у самого бы теснились в памяти цифры вагонов, вагонов муки – прибывших, в пути и на погрузке на разных дальних станциях, и успокоительный итог, если цифры все осуществляются и дадут им разделиться на число едоков, и досада и отчаяние, что этой стрельбой, беготнёй и криками разделиться им не дадут.

Да, именно этим была занята и сейчас тщательно причёсанная, министерски представительная голова Риттиха, и Кривошеин приобнял его покровительственно за плечи:

– Как Риттих верный оставался...

У Риттиха ещё не остыли в горле отчаянные вскрики его вынужденного красноречия перед Думой, как он, всего лишь на той неделе, безнадежно призывал *их* : выйдет ли на кафедру кто-нибудь из них, не партийный оратор, но человек, до самозабвения любящий Россию?... (И не вышел). И в последней речи последние слова сложились у него – не пророчески ли: «Может быть, последний раз рука судьбы подняла те весы, на которых

взвешивается будущее России?»

Теперь прихватывал озноб, что может быть – пророчески?

Теперь – и особенно – казалось Кривошеину, что он всегда так и предсказывал: **это всё** крахнет! Что он всегда предчувствовал: самоизолированный от своей страны монарх не может не пасть. Даже он точно вспоминал одну чудесную пароходную прогулку – такой момент, из каких и состоит прелесть нашего бытия: в мае Четырнадцатого, перед самой войной, был ужин на Островах для узкого круга: великий князь Павел Александрович со своей очаровательной морганатической супругой, только что приехавшие из Парижа, граф Витте с женой, Щегловитов, – а после ужина в белую ночь поехали на пароходе с цыганским хором на прогулку по Финскому заливу. И так же ли внезапно, как сейчас Риттиху на трибуне, в грудь Кривошеина вступило пророчество, или очень был красивый момент жизни и красива княгиня, и тянуло что-то высказать, – он сказал ей на палубе: «Вы жили так спокойно в Париже, зачем вы приехали в Петербург? Надвигается война, и она не кончится благополучно, будет взрыв, быть может трагический для трона».

Впрочем, это всё впечатляюще для предсказаний, но сейчас нет оснований думать, что уже и произошёл взрыв, трагический для трона. Всё это петербургское волнение могло так же легко и замириться в день-два.

Но вот они сидели в кабинете час за часом, иногда смотрели в окно на шумливое необычное пробеганье вооружённых групп (и разве Кривошеин не предупреждал о нелепости массового набора лишних солдат?), а больше по телефону получали сведения из разных мест, – хорошо хоть телефоны служили безотказно: что там делается и какие меры принимаются, – и все известия были, что побеждает мятеж. И как будто по всей столице с первого часа не было и следа никакой государственной власти – будто власть оказалась призраком петербургского сумеречного света.

Но даже если это должно было случиться – то почему именно сегодня? от чего? ведь не было никакого события. И – на несколько часов опережая роспуск Думы, и Дума ни при чём.

Устойчивое тридцатилетнее жильё, полжизни здесь, в тяжёлых рамах развешанные крупные картины фламандских и ломбардских мастеров, и русские пейзажи, и старинная русская люстра (Кривошеин любил допетровскую утварь), округлённая мягкая мебель и послушные ковры под ногами, – неколебимый шестиэтажный дом с мраморной лестницей и лифтом, неколебимый быт, – Кривошеин любил всё хорошее в жизни и умел устраиваться, и умел сочетать петербургскую квартиру, дачу и поездки за границу, всему свой час. И не так уж близко – два с половиной каменных квартала до подождённого Окружного суда, невероятно, чтобы пожар достиг, хотя огненный присвет виделся в воздухе и сильно тянуло дымом, – но колебался дом вместе со всем, что заколебалось, и если могло рухнуть **Оно**, – то почему не этот дом?

И вот они, два государственных мужа, старший из них не раз предрекаемый в главу российского правительства, – были они здесь, на четвёртом этаже, два штатских беспомощных обывателя с телефоном – и не могли подействовать ни на что, но сами в любую минуту быть ввержены в этот огонь.

Риттих был уверен, что начнутся аресты министров.

Аресты? Ну, не так уж! Кривошеин не хотел этого допустить.

А пока, в промежутке между сведениями и стаканами чая – сидеть? расхаживать?

Риттих брался за свою голову, гладко уложенную до волоска:

– Мне – стыдно, Алексан Васильич. Мне стыдно, что я член такого правительства.

И не сегодня он это понял. Он тяготился коллегами ещё от своего назначения в ноябре. Он последние заседания кабинета еле высидивал. Все дни он был там лишний, слишком деятельный, и сейчас не раскаивался, что не искал их мёртвого безвольного спрятанного заседания.

Да разве уж такое ничтожное правительство? Да там трое министров ещё продолжали быть из тех, кто работали и при Кривошеине. Да вот и Риттих работающий министр.

А вот в чём ничтожное: неподготовленной пустотой на месте премьера. Затаённой

пустотой на месте военного министра. И истерическим кошмаром Протопопова. Да и министр иностранных дел не годится. И это всё – в сочетании, и в такие дни!

Протопопов – как будто отвёл всем глаза, пробрался к власти как бледная нежить. Да ведь и Кривошеин его когда-то рекомендовал в товарищи министра...

Да, малокровная власть. Нерешительная. И со связанными руками.

– Да-а-а, – вбирал Кривошеин седую голову в пальцы. – Вот до чего они довели, сопротивляясь каждому шагу, каждой реформе!

– Но, Алексан Васильич, и не с пеной же у рта добиваться реформ, как они.

Говорили о разных «них».

Очень прислушливый к суду общества, Кривошеин сколько мог привлекал к обсуждению министерских дел представителей земств и городских управлений (оплачивая их из бюджета), тем вдвигая министерство в общество.

А Риттих суда общества над собою не признавал. Довольно было ему напрячься с продовольственным снабжением, как распространили слух, что он – немец, германofil и искусственно создаёт продовольственные затруднения.

Если сейчас – пошатнётся, и общество потребует его к ответу, – Риттих не признаёт суда такого общества. Он не пойдёт на их суд.

Но к такой крайности и не шло. Волнения в Петрограде – это ничто, вся армия вне. Городские волнения не означают падения государственной власти. Риттих думал не так. Хуже. Их понимания дальше расходились.

Но нужно было ждать дальнейших известий. Длились, тянулись мучительные часы. А пока, между двумя новостями... Вспоминать опять Коковцова? Даже – русско-германский договор 1904 года, исключительно невыгодный для русского хозяйства. Небывалый случай, когда великая страна добровольно надевала на себя экономический аркан. Неудачи нынешней войны во многом тянутся оттуда. И – как Коковцов много лет задерживал развитие России, сберегая мёртвое золото.

И, конечно, Столыпина вспомнили. Чем дальше от него отодвигались годы – тем выше он выступал. Кривошеин внутренне считал себя более государственным человеком, по интеллекту, по охвату обстоятельств. Но такой силы духа, такой силы духа – да, занять бы!

Впрочем он заметил, что рассуждал сейчас много более государственно и отвлечённо, чем встревоженный Риттих. И, хотя не ждал такого худого, но понял и предложил:

– А что, верно, вы, Алексан Саныч, оставайтесь-ка у меня сегодня ночевать. Ко мне не явятся, а к вам домой, смотри, пожалуй...

И Риттих сразу согласился.

Смеркалось – и ярче отдавались в воздухе грозные отблески пожара. И дым тянуло над Сергиевской.

Как конец света.

Уговорил гостя – уже сейчас пойти и прилечь. Понадобятся ещё и силы и сон.

А сам – ходил и ходил по кабинету диагональю, промеченной по ковру. То стоял завороченный перед пожаренным окном. То опускался в угол дивана.

А не больше ли всех и виноват он сам? Почему он не брал премьерства, когда протягивал царь? Ведь он всё понимает и умеет лучше других – отчего же не брал? Вот и вывел бы Россию. Всё в колебаниях – брать, не брать – упустил приложить свои руки к ходу колеса. Сам себе расчистил дорогу – и не взял.

И – сожаление сжимает, что не направил сам.

И – облегчение, что сорвалось не при нём.

А сейчас, сколько можно охватить, наступала минута неповторимая. Царь – будет вынужден сейчас назначить сильного премьера, настоящего. И Дума – тоже нуждается в таком, но у неё – такого нет.

В этом январе у Кривошеина были тайные сношения с Василием Маклаковым и ещё кое-кем из Блока. И – ясно, что они согласны будут на Кривошеина. И газета Рябушинского вот недавно опять прорвалась: «мы бы согласились на Кривошеина!»

Да, Ритгих прав, аппетиты общественности бывают и невыносимы. И кадеты никогда не могли простить Кривошеину, что он на практике так легко и дельно показал вздорность кадетской земельной программы. И всё-таки! Вечное это противостояние – «мы» и «они». Надо когда-то прорвать эту пелену непонимания. И – соединить две стороны русской энергии.

Кажется – этому и пришёл момент.

И Кривошеин, вот, клялся себе, что сейчас, если предложат – уже не будет страшиться, а – возьмёт.

И бремя, и горе, и радость ответственности! – как говорил Столыпин.

После отставки жизнь как остановилась. Эти полтора бездеятельных года были окостенением. Но – есть ещё силы! Есть! И вот – он готов.

И, видит Бог, не для себя, хотя приятно иметь вес и влияние.

А – для России.

Соединить, наконец, «мы» и «они».

Дым и отсветы огня страшно отдавали по Сергиевской.

На письменном столе наклонно стоял портрет Государя, подаренный при увольнении Кривошеина, – в рамке из карельской берёзы, с серебряными украшениями от Фаберже.

Десять лет незабвенной благосклонности.

Но с того дня, как Кривошеин предложил отставку – и Государь не мог скрыть своей радости, – они не виделись больше. В прошлом году ожидался Государь в Минск, в штаб Западного фронта – и Кривошеин уехал из своего Красного Креста, чтоб избежать фальшивой встречи.

А – каково ему сейчас?

Государь, Государь! Зачем вы так отделились?... Зачем вы ушли в могилёвскую тишину?

118

Как только Гиммер пришёл утром на службу в своё туркестанское управление по мелиорации, чтоб оно засохло, так тут же и прилип к общему телефону, уже никому говорить не давая, да и кто мог узнать столько, сколько он! Он совершил круговую по десятку номеров и снова круговую, и снова, и его нетерпение переходило просто в бешенство, когда телефонистки вяло равнодушно отвечали «занято», «занято» – неужели у них самих кровь не горела!

Узнал, что Дума распущена – и не разошлась по роспуску. Да это одно уже составляло какой революционный шаг! А то, что Литейная часть, средоточие казарм и военных учреждений, бастион правительства, – оказалась первым революционным районом?!

Да не наступил ли тот решающий час, для которого работали поколения?...

Все служащие, побросав работу, обступили Гиммера в кабинете начальника (начальник был в отъезде) и жадно хватали головокружительные новости, которые он им бросал в перерыве между разговорами.

Но обзвонены были все, кто только можно, – и пребывать дальше за служебным столом казалось просто издевательством. И так, не начав никаких занятий, Гиммер пошёл бегать, смотреть революцию.

Однако на Петербургской стороне – и сцен-то никаких не было, только люди в избыточном количестве слонялись по тротуарам и присматривались. И Гиммером овладело томление духа от этого жалкого положения оторванного не-соучастника великих событий.

Вернее всего было бы прорываться через мосты. Но слишком явно слышалась стрельба – и в такую минуту озверелые солдаты не пощадят и на мосту. А переходить Неву по льду ещё опаснее – издали подстрелят на снегу, явную цель.

Да разве Гиммер предназначен был идти стрелять или просто драться? Его назначением, его вожделением было – отдать себя революции как силу литературную и как

мощного теоретика. Ведь люди, ведь ограниченный потрясённый обыватель, даже если и когда узнают сами события и весь ход, – они всё равно не сумеют их понять и истолковать.

Он думал: что, если сагитировать каких-нибудь солдат захватить типографию – и выпустить бюллетень для всей столицы? Но он не мог быть уверен, что удастся агитация солдат, ещё и самого возьмут на штыки.

Да и не знал он событий с фактической стороны, а они там, за Невой, всё происходили и происходили каждый час.

А вот что! – лучше всего опять отправиться к Горькому: уж у кого-у кого, а у него все новости сойдутся.

Так и есть: и Горький был дома, ещё несколько человек, сидели в столовой, ходили по комнатам, обсуждали, предполагали – и звонили, звонили, звонили за новостями.

Узнали про Временный Комитет Государственной Думы, про захват Выборгской стороны, – а так всё клочки, клочки, эпизоды, ничего цельного, кто там что из окон видел, в центре.

Так что ж, надо самим туда идти? Пойдёмте, Алексей Максимович? А что ж, и пойдёмте, он в усы, неразборчиво.

Но тут пришёл такой слух: пешком через мосты никого не пропускают, а только в автомобилях военного образца. Вот такой, значит, нам и нужен! Стали звонками требовать себе, для Максима Горького, автомобиль из ближней автомобильной роты. Но как раз автомобили и оказались все в разгоне. Обещали попозже.

Пребывали в удручающе томительном ожидании.

Из одного окна от Горького открывалась хорошая панорама, освещённая солнцем, часть Невы, также и Петропавловская крепость. Вот ещё Петропавловская крепость. Там собраны большие силы. Она очень угрожала – могла в любую минуту обрушиться огнём своих пушек на революционную толпу!

Кто-то принёс слух, что с Петропавловки уже обстреляли некоторые автомобили у Троицкого моста.

Вот так и езда на автомобиле.

От большого пожара на той стороне тянулись клубы дыма над Невой.

Автомобильная рота так и не дала автомобиля, до конца дня.

Да что же, в конце концов – остановим первый попавшийся?

Рискованное предприятие.

Тем временем пришёл Шляпников – пешком с Выборгской. Он побывал в разных местах Петербургской стороны, посещал товарищей, везде движение свободное. Хотел на Васильевский, но на Биржевом мосту солдаты не пропустили, долго препирался, пропускают только чиновников всех ведомств и рангов.

Что ж он сразу с Выборгской стороны да не пошёл по Литейному мосту туда, в пожар, зачем же такой круг?

А Шляпников ничего не знал, поразительно! – ни что мятеж перешёл на Выборгскую, ни что Дума распущена и не разошлась, ни что создан Временный Комитет, вот темнота! Ну посмеёшься над этими большевиками, тетерями.

Ну так что, пошли в Таврический, что ли?

Уже смеркалось.

Пошли, Гиммер со Шляпниковым.

А Алексей Максимыч не пошёл никуда, не пустили его друзья и семейные: ещё погубим нашу литературу!

За Николаевским мостом Вероню и Фаню сразу ожидала другая жизнь: за спиною они оставили дремлющий ненавистный царский город – тут вступили в город революции! Как она выглядит, революция, что это такое, революция, – ещё не было понятно, ещё же никогда

они и не видели! – ещё на стенах домов и заборов висели те же воззвания командующего Хабалова с призывами к порядку и угрозами – но только что объявление, а нигде не было его ошестиненных полчищ, не охранялись ни другой конец Николаевского моста, ни набережная, ни Благовещенская площадь, – нигде полицейской охраны, редкие их патрули, а в вольно-спящей публике с пестротой озабоченных и радостных лиц было пожалуй повышенное число солдат без строя и команды и много выздоравливающих из госпиталей, в возбуждённом говоре и помахивании повязками.

Но не было прямо ни митинга, ни красного флага – и девушки хотели свернуть скорее в центр, ближе к событиям. Однако перед собой, чуть поправее, увидели густые клубы дыма – и сказали им, что это горит Литовский замок, освобождают тюрьму. Ура! туда-то девушки и побежали – освободить женскую тюрьму!

Но прежде чем добежали, перед Поцелуевым мостом на Мойке встретили процессию уже освободившихся арестанток – вереницу человек в 20-30, все в арестантских халатах и в туфлях – и так шли по снежной улице, хотя и не крепкий мороз – Боже! их же надо где-то переодеть, накормить, согреть! – Вероня и Фаня кинулись к их веренице, возбуждённо и сбивчиво: ну как? ну что? чем помочь, женщины, товарищи?! Но арестантки или ещё не очнулись от освобождения или уже достаточно отвечали по дороге – даже голов к ним не поворачивали, брели безучастно, в затылок передним, никто ничего не ответил, а только одна послала их мужичьим матом.

Вероня и Фаня, как ударенные, замерли, сробели, пропустили всю вереницу. Вероятно, они были одеты слишком хорошо и тем оскорбили арестанток.

Теперь они застеснялись идти к тюрьме. А идти в центр их отговорили симпатичные прохожие с революционной радостью на лице: что там царствует власть, а надо лучше идти в рабочие и армейские районы. И девушки отправились за Фонтанку.

Ожидания не обманули их. Уже скоро начали слышаться выстрелы. Это несколько подростков пробежало мимо них, стреляя в воздух из чёрно-блестящих новеньких пистолетов, и тут же из карманов на ходу снова заряжая их, откуда-то уже научились!

Скоро увидели они и митинг: на твёрдую грудку снега взобрался студент, перепоясанный офицерской саблей, – и очень хорошо говорил о свободе, хотя партийное направление нельзя было определить, может быть наш, а может быть и эсер. Слушали его десятка два совсем случайных – раненых солдат, мещан, один чиновник. Девушки могли остаться и тоже говорить, и может быть поспорить со студентом, но теперь, когда они всё равно уже покинули свой остров и свой долг, – им хотелось больше видеть, вбирать в себя и двигаться!

И они дальше, дальше пошли.

Была сценка у дома: стоял какой-то бледный в штатском с белыми руками, прижатыми к груди, – против него – кучка с десяток людей, разных. И кто-то крикнул: «Да берём же его, товарищи!» А дама спросила: «Но вы поведёте его в Государственную Думу?» «Уж знаем, куда поведём!» – крикнули ей. А пока говорили – этот бледный кинулся в подворотню, во двор. И вся куча, с криками, за ним. И там раздался выстрел. А дама на тротуаре объяснила девушкам, что это переодетый молодой полицейский, живущий у них во дворе.

И девушки сжались: первую смерть – почти видели они.

А тут кричали:

– А-а-а, пришла-таки на вас расплата, фараоны, гамзеи!

Шли дальше. За Фонтанкой стало ещё живей. Был ещё митинг – с выпряженной ломовой телеги, и уже несколько ораторов. Но девушки не останавливались: то, что здесь говорилось, – они знали и сами, им хотелось – видеть и даже действовать.

А вот радость! – из мануфактурного магазина выносили свёртки кумача, уж ясно что не купленный, – и прямо с порожка бросали свёртки в публику, так что они над головами летели и разворачивались, а потом падали кому-то на плечи или на мостовую. И все бросались на кумач и раздирали его как если б он был дорожке хлеба. Кто уносил целыми кусками дальше раздавать, остальные драли тут же, кто-то и булавки вынес из галантереи.

Как же это-то девушки не догадались раньше? Теперь они себе большие крупные розетки сделали на грудь, на пальто. Кто делал бантики, кто ленты. А Фанечка ещё оторвала длинную широкую ленту и перевязала через плечо наискось, как царские сановники носят ордена, смеху!

А кто-то брал на флаги, а кто – делал красные кокарды на фуражки, а кто-то схватил лоскут и нацепил солдату на штык – и тому понравилось, так и понёс, громко все кричали.

С этого места, с раздачи красной материи, когда зацвели сами и все люди вокруг, и никто не преследовал красное и не рушился с нагайками, – как будто запело всё вокруг, радостно переменялось.

Заметили девушки, что они уже не вздрагивают от близких выстрелов, а даже весёлым толчком отдаётся каждый. Тем более, что никто и не падал раненный.

По Троицкой площади нервно, быстро шёл офицер, ни на кого не глядя. Ему пересекли путь два студента, два рабочих, все с красными бантами.

– Господин офицер! Сдайте оружие! – властно крикнул один студент.

Офицер вздрогнул, посмотрел по сторонам, никого на помощь не увидел, посмотрел перед собою на этих, полминуты колебался, боролся или решался – вынул шашку резким дёргом – и эфесом протянул студенту. Тот брал, а другие кричали:

– И револьвер! И револьвер!

Пошли через Измайловские роты. Девушки не знали, как отличаются измайловцы от других солдат, но какие-то солдаты группами свободно бродили по улицам, почти все с винтовками, никаким строем, ни командами, а кучками.

Проезжал солдат-кавалерист, с красным в гриве и на уздечке, а сопровождала его буйная куча подростков, кто за стремяна держался, кто рядом вприпрыжку.

Толпа на глазах становилась всё красней от приколотого красного, всё многочисленней и оживлённей.

Вдруг раздался непрерывный тревожный автомобильный гудок, как если бы сталкивались, он наезжал или хотел передать опасность. Все расшарахнулись со середины улицы – и он показался, легковой, открытый. Шофёр был в автомобильных очках и кожаной куртке, строгий, недоступный, в самом автомобиле сидело несколько солдат, штыки кверху, и тоже молчаливые, – но самое страшное, что на передних крыльях с обеих сторон полулежали, ногами на ступеньки, ещё по родному солдату, а ружья держали вперёд и всё время целились в кого-то, кто им помешает.

Всякая ужас, грозный автомобиль промчался, неизвестно куда, неизвестно зачем, но очень быстро.

От этого автомобиля – ещё что-то вспрыгнуло и изменилось в настроении, ещё красней, ярей и веселей. Фанечка сказала:

– Хочу стрелять!

Вероника изумилась:

– Да в кого?

– Ни в кого, просто стрелять! Стрелять в воздух – это и значит, что народ стрелять не будет, народ великодушен, не как царские сатрапы!

Тут раздался громкий шум и овации вдоль улицы. Ехал опять автомобиль, на этот раз грузовой, ехал не страшно, без гудка, медленно, ни в кого не целясь, – а через кабину вперёд у него вывешивался большой красный флаг, в кузове же стояли тесно человек двенадцать – солдаты с красными флажками на штыках, и студенты и рабочие с винтовками же, и одна сестра милосердия, – и все они сразу махали руками, красным и шапками, во все стороны кричали и призывали, но так как все сразу, то понять их было нельзя – и люди с тротуаров отвечали, кричали им тоже все сразу, ещё меньше можно было понять, ни слова, а – ликование! ликование!

И Вероня с Фанечкой, подбрасывая руки, тоже кричали им, махали, и потекли за многими другими по мостовой вслед медленному ходу грузовика, собирающего толпу.

И так они вытекли на площадь перед Технологическим институтом – а уж тут-то была

толпа! тут-то был огромный митинг, масса студенческих фуражек, и рабочие в обычных чёрных одежках, но сколько красного на всех! – и ещё десяток больших самодельных флагов над толпой, большие куски кумача, только что нарванные и насаженные на случайные палки. Боже, вот где был народный праздник! Вся толпа колыхалась как жидкая глыба – и туда вливался кипящим потоком Забалканский проспект.

Вероня трясла Фанечку за руки, чтоб им обоим поверить, что это – явь.

– Фаня! Неужели дожили? Фаня! Неужели это всё правда? И кровь не льётся! И так легко досталось? Да разве это можно теперь повернуть назад?

Разрывалась грудь от невместимото, неразделимого ликования, уже дальше и больше нельзя было быть счастливыми!

А по Забалканскому полз, окружённый вопящим народом, ещё один автомобиль – в этот раз большая грузовая платформа, грохоча цепями передач. А на платформе стояло человек двадцать пять, но эти ещё на третий лад, как замершие статуи, не приветствуя толпу, а показывая себя, как статуи: весь передний ряд, наклоняясь над спинами шоферов – с винтовками на изготовку. А дальше – кто с красным флагом, кто с поднятою высоко винтовкой без штыка, и потрясывая ею, кто со штыком без винтовки, кто с косынкой, красным платком, – и так медленно ехали, застывшие, приветствуемые со всех сторон толпой.

Вся площадь сливалась в долгий вопль торжества.

– Хочу на автомобиль! – крикнула Фаня на ухо.

Уже сумерки были. А пока девушки пробивались через площадь и пока струи толчеи вынесли их на Загородный проспект – уже и зажглись фонари. Но в движении девушек ничто не изменилось – куда-то, зачем-то их несло всё дальше и дальше.

Разбивши витрину аптеки и дверь, тащили оттуда бутылки. Наверно, спирт искали.

В переулке куча молодых била одного старика, сказали – что дворника.

Небось доносил, теперь получай.

У царскосельского вокзала встретился им растяпистый солдат, один шёл и очень уж нехотя нёс винтовку без штыка.

– Солдатик! Дайте мне винтовку! – вдруг выдумала Фаня.

Он посмотрел бельмовато:

– А стрелять умеешь?

– Научусь! – бодро выкрикнула Фанечка.

– Ну, на! – без колебаний протянул ей. Она схватила, хотела идти. – Погоди! – Расстегнул пояс, снял тяжёлый подсумок. – А стрелять чем будешь? На! – И ещё протянул ей, кожаный, такой тяжёлый неожиданно, еле в руках удержала.

Сунула в карман – перекошил ей всю шубку.

Но и винтовка оказалась такая тяжёлая, не знала Фанечка, как и нести. Стала просто тащить её за дуло, а прикладом она волочилась по бугоркам утоптанного тротуарного снега.

Всё меньше было понятно, куда они идут под нечастыми фонарями, темно – а всё интересней! Хотя они ничего сегодня не сделали – но чувствовали себя настоящими участниками великой Революции! И самое главное – ещё должно было свершиться, ещё было впереди! Они сознавали, что вот так и наступает, и наступила новая эра. И теперь все люди будут братья, все равны, и все счастливые.

А тут с Семёновского плаца выезжал грузовик, на нём несколько человек. На выезде приостановился – и оттуда крикнули:

– Товарищ Мария!

Вероника вздрогнула, давно так не звали, посмотрела и при фонаре узнала: Кеша Кокушкин, с Обуховского. А он-то скалился всеми зубами:

– Садись с нами! Товарищи, это партийный работник! Возьмём её!

А там – никто и не спорил, раз место было – отчего не взять, хоть и не партийного. Протянули руки – и вскинули наверх и Веронику, и Фанечку с винтовкой.

А там – и Дахин, оказывается, стоял, и были у него шальные, злые глаза.

И поехали!

И с этого момента началось для девушек ещё что-то новое, необычное, уже самой высшей ступени. Под их ногами всё дрожало, и урчал мотор. На ходу их кидало, то склоняло вперёд, то откидывало назад, то валило на бок, – и удержаться можно было только за борта или друг за друга – за незнакомых, случайных спутников, но вот уже соединённых, в общем зачарованном движении и в общем великом деле. И эти касания и эти сжатия рук передавали всю могучую силу поднявшейся массы. Тут было несколько рабочих, несколько солдат и опять же два студента – но и со студентами не было охоты, ни времени перемолвиться, искать знакомых, узнавать. Если в чём был смысл, то не в тихих словах, но в громких криках, какими не разразишься, если идёшь по тротуару, а отсюда, с грузовика, они рвутся сами, срывая с души весь избыток восторга. Как только дорога становилась ровней, ход равномерней, их не кидало – освобождались руки и вскидывались сами, и махали направо и налево. И так они поздравляли всех-всех-всех идущих по улице, а те снизу поздравляли их!

Куда они ехали – это мог знать один шофёр, но это было и неважно. Зачем – и вообще не было у них вопроса, сама езда и была *зачем*. Только быстрая колёсная езда, только она и могла сравняться с ходом событий и выразить весь восторг! всю победу! В кузове грузовика не разговаривали друг с другом, но едино дружно выражали общий восторг до охрипа, а если кто кому что и говорил – то тут же и пропадало.

Они сделали излом – а, это было на Владимирский, они вымчались на Невский чуть не давя разбегающихся людей, – а на Невском чуть не столкнулись с таким же грузовиком, идущим от Московского вокзала. Но не столкнулись – тот попридержал, а наш поехал быстрее – и в знак радости, что не столкнулись, и посылая друг другу революционные приветы – наши студенты оба выстрелили из револьверов в воздух – и выстрелами ответил тот грузовик.

И ехали уже по Литейному, и солдаты тоже стали палить из винтовок – в воздух или под верхние этажи высоких домов, – а Фанечка хватала их за плечи, сразу и держась и крича на ухо:

– Хочу! – стрелять! – научиться!

А винтовка её валялась под ногами.

Один студент протянул ей револьвер и показал: она зажмурилась, выпалила и завизжала! Но револьвер пришлось отдать.

Да только выстрелами и можно было передать наружу, кинуть улице свою необъятную радость – уже горла не хватало, Вероня петь затягивала -

Вперёд, без страха и сомненья,
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья... -

ничего не вышло, не подхватили, или слов не знали. А просто – кричали, кто что горазд.

На Литейном было много народу, солдаты бегали кучами, ехать пришлось помедленней. Тут проехали мимо большого выгорающего пожара, раскалённые обвалины и уцелевшие стены светились и пышели, так что и на середину улицы доставало жаром. Тут они впервые друг друга хорошо увидели как днём, своих товарищей по поездке, спутников по этой сверхсчастливой безумной езде, – и все друг на друге увидели неопишную радость освобождения – и взмыло ещё большей радостью. И промчавшись дальше как бы во тьму, между рядками фонарей – они ещё докрикивали друг другу что-то, и Дахин пожал руку Веронике и тоже кричал.

Дорогу они уже и не замечали, её знал шофёр. Куда-то свернули, а, по набережной, зачем-то остановились, а – перед Троицким мостом. Подбежали к ним какие-то трое дядей и стали доказывать, что они важные революционеры, их нужно отвезти в Таврический – смех один. Какие уж такие важные, когда всё победило? И что могло быть важней общего

торжества и вот этой их поездки? Все, в четырнадцать или в пятнадцать глоток сразу, они сверху объяснили революционерам – а тем временем шофёр опять затарахтел и поехал.

А пока стояли – один солдат научил Фанечку стрелять из винтовки. А ещё к ним залез один казак. И потом они пронеслись через Троицкий пустынный мост – а навстречу другой автомобиль, и фары бьют в фары, и можно столкнуться, а размясь благополучно – кричат и стреляют в воздух те и другие, – и понеслись по Петербургской стороне, никто не понимая, куда они теперь едут. Тут картина стала ещё фантастичней – то тьма, то набегающие фонари, то набегающие, то отбегающие косяки людей, то повороты автомобиля – повороты целого города, с его набережными, огнями, и пожарами, – не езда, а танец счастья, счёт которого отбивали в воздух револьверы и винтовки, а казак неистово крутил и вертел саблей над головой, чудом никого не проткнув и не отрубив никому головы.

120

Едва только начались сегодня на петроградских улицах уже самые серьёзные волнения – бьющиеся сердца стали стремиться найти то важное место, где смысл событий должен будет сосредоточиться и направиться. И чьи-то сердца может быть и ошиблись, и повлеклись в орущую, стреляющую, полубезумную толпу, а ведь ясно, что единственным управляющим центром событий могла стать только Дума.

И социал-демократы – Франкорусский, всесторонне инициативный человек, и Шехтер-Гриневич, интернационалист-инициативник, и даже левый инициативник, – независимо друг от друга, в разных частях города, это осознали – и добрались до Думы из первых, часам к двум дня, и порознь проникли внутрь, обойдя стражников разными предложениями, – а уже внутри счастливо встретились и спознались.

Опознали они радостно, что ход рассуждения их верен, и что надо делать что-то – тут. Но пока чувствовали себя здесь – робко, в этих пустых залах с наблещенными полами. Стали в Екатерининском зале позади колонн и тихо разговаривали. Очень легко их могли отсюда и вытурить.

Потом к ним присоединился бундовец Эрлих, с тем же ходом рассуждения. Уже стало веселей.

Потом – экономист Громан, не депутат, но видная фигура в думских кругах, узнал их, подошёл, поговорил. И они чувствовали себя всё более легально.

Затем, отделяясь от общего депутатского движения, стали подходить социал-демократические депутаты, обсудить новости и перспективы. Уже стали пришедшие и вовсе к месту.

И разрастался большой принципиальный разговор: что в том переполюсованном смутном состоянии, в которое попадает город, нельзя ожидать инициативы цензовой буржуазной Думы, да и доверить ей нельзя эту инициативу. Что раз, правда, уже началось что-то настоящее, то надо и действовать самим решительно, в духе славных традиций 1905 года. А одна из самых дерзких инициатив того времени, Троцкого и Парвуса, была – Совет рабочих депутатов. Ничто лучшее, более яркое и более уместное, сейчас и в голову не приходило. Замечательно было бы такой Совет рабочих депутатов сейчас и восстановить.

Правда, самих рабочих – где раздобыть? – они там бегали по улицам, но тем более обязанность социалистических интеллигентов была – представить здесь рабочие интересы. Да и как бы можно избирать депутатов от заводов, пока длится всеобщая забастовка, на заводах никого нет.

Нет, вот их собралась инициативная сознательная группа, вот им и объявить себя Советом рабочих депутатов. Хотя бы пока временным.

Надо дерзать, в этом пафос великих моментов!

И лучше всего объявить Совет не в каком-то случайном помещении, которого никто и знать не будет, а именно здесь же, в Думе, куда все будут приходить и интересоваться!

Эврика!

Инициативная группа подбодрялась, уже говорили громче, и не гостями стояли. А тут увидели – валит к ним пополнение: освобождённые из тюрьмы члены Рабочей группы Гвоздев, Богданов, Бройдо и внефракционный интернационалист Кац-Капелинский, тоже освобождённый из тюрьмы, куда посадили его позавчера вечером, с кооператорами.

Гвоздев, правда, был в ошеломлении, и простецкое лицо его выражало, что он не успевает схватить момента. А остальные – уже бодро поворачивались.

Так замечательно! – Рабочая группа! – вот с ними и будет безукоризненный Совет рабочих депутатов! А ещё почётно прибавить Чхеидзе и Скобелева, вот и всё.

Идея стремительно воплощалась.

Пошли к Чхеидзе просить благословения, и добыть им комнату в Таврическом дворце.

Обременённый Родзянко отмахнулся, разрешил им занять в правом крыле комнату бюджетной комиссии.

Да можно было свободно занимать, и не спрашивая: такая наступила в Таврическом неопределённость или растерянность, как-то сразу не стало хозяина, куда-то делись приставы и служители, а какие были на местах – те не вмешивались.

Да тут даже не одна комната оказалась, а две соединённых: 13-я – председателя комиссии, 12-я – самой комиссии, ничего, весьма просторная. С приятностью расселись вокруг большого дубового стола.

Стали рассуждать, с чего начинать. Бумага, чернила, карандаши, телефон – это всё у них теперь было, досталось вместе с комнатой. Но надо было придумать, как им отличаться от цензовиков. Ясно, что – красным революционным цветом.

Да вот что: добыть в хозяйственной части простой красной бязи, рвать её – и вязать себе повязки и банты.

Хор-рошо! Пошли за бязью.

Так, бумага есть, чернила есть – надо писать воззвание к народу?

Но прежде добавить бы сюда еще кого-нибудь, от самых главных заводов? Или просто подыскать подходящих рабочих депутатов: где-нибудь на улицах? Но не расходиться же им для этого из занятого помещения – да в полную неурядицу, суматоху и стрельбу? Личные проходы можно заменить во-первых телефоном, во-вторых вот этим самым Воззванием – и рассылать его со второстепенными лицами.

Итак: «Граждане! – (И зазвенела Французская революция!) – Заседающие в Государственной Думе представители рабочих...»

– И солдат!

Да что уж стесняться? «...и солдат...»

Солдатские массы надо спешить привлечь, да. Они продолжают держаться на улицах революционно – но это пока не проголодаются. А тогда из движущей силы революции могут обратиться в серьёзную для неё опасность. Если же они отправятся питаться к себе в казармы, то это будет распад революционного фронта, да и не попадут ли они там в ловушку? Но и Совет рабочих депутатов не имеет средств и организации, чтобы кормить восставших солдат. (Ещё самим-то успеть сбегать в буфет, он в конце коридора...) А вот что: составить ещё и второе воззвание к населению, чтоб население позаботилось кормить солдат, оказывающихся близ их домов. Отлично?

Для создания такой прокламации, массовой напечатки её, разброса по городу – молодой Совет выделил из себя Продовольственную комиссию, под председательством Франкорусского: если продовольствие вызвало народный взрыв, то чтоб оно его не погасило. Франкорусский пошёл искать ещё свободную комнату, и занял её уже без разрешения.

Тут, откуда ни возмись, ворвалась комичная фигура: расхлябанный седой мужчина в штатском пальто, свисает кашне, а свех наискосок, на ремне – офицерская шашка.

Не успели рассмеяться, как узнали – да он сам радостно вслух назывался:

– Я – Хрусталёв-Носарь, не узнаете?!

И бил себя в грудь.

И ясно было, зачем он пришёл: возглавить их Совет. Ведь он и был – до сих пор не

сменённый председатель разогнанного Совета рабочих депутатов Девятьсот Пятого года. И его явление означало, что он претендовал председательствовать тут.

Но это было уже слишком! – вовсе он тут не нужен, и с какой стати, и откуда он взялся? Да он разве не за границей? Да, он 10 лет провёл в Париже, в революционном отношении вёл себя сомнительно, – а полгода как вернулся, и печатался в «Новом Времени», сел по уголовному делу – а сегодня, значит, освободили, и вот явился.

Ну нет, ещё чего! Новые советчики просто игнорировали, просто не замечали и не приглашали Носаря к столу.

Но кто ещё появился, тоже удивив, – Нахамкис-Стеклов! Удивив, потому что последние военные годы он совсем отошёл от революционных интересов: оторвался ото всех связей с товарищами, служил в Союзе городов спокойно, под своим именем, жена его держала на Большой Конюшенной институт красоты, сам, как цензовый обыватель, расхаживал в лучших костюмах – и сейчас в таком, и в пальто модном, вот не ждали его здесь сейчас. Он был дороден, высок, крупноголов, широк в плечах, рыжебород, красив, держался гордо – ему в Таврический и прокрадываться было не надо, его конечно пропустили как члена Думы.

И вот – нашёл тут их. И не ворвался носарёвским шальным порывом – но вступил основательным хозяйским шагом, основательно оглядел присутствующих, и по углам, не затаился ли где кто, – прошагнул к дубовому овальному столу, сел – и сразу его место стало как бы председательским:

– Так, товарищи. И что же решаем делать? – Голос тоже у него был сильный, сочный, в подлад к его дородности.

Тем временем Капелинский мыслил остро-революционно: надо думать прежде всего о военных действиях! Надо собирать Штаб Революции, тут же, при Совете рабочих депутатов. А для этого надо найти хотя бы двух-трёх если не военных, если не офицеров, то хотя бы... И судорожно перебирали кандидатуры.

Ба! Да Масловский, он же Мстиславский! Известный даже и властям эсер, на время реакции устроился служить библиотекарем Академии Генерального штаба. Правда, не офицер, но по роду работы почти как офицер. Да вообще отлично мог бы догадаться и прийти сам, ведь Академия в трёх кварталах от Думы. Но не заявляется.

Сперва телефон долго не отвечал, но Капелинский всё крутил ручку. Наконец – там взяли. Он! И Капелинский, почти подпрыгивая перед настенным телефоном, и – туда, в трубку:

– Сергей Дмитрич! Ну, дождались?! Кажется, дождались? Скорей, скорей идите к нам! Таврический, комната 13! Или хотите – приплём за вами автомобиль? У нас уже и автомобили есть!...

ТЫ МНЕ ДАЙ ТОЛЬКО НА ВОЗ ЛАПКУ ПОЛОЖИТЬ,

А ВСЯ-ТО Я И САМА ВСКОЧУ

121

Ото всего, что творилось вчера и сегодня, Вадиму Андрусову собственная жизнь стала казаться каким-то головоломным спектаклем. До вчерашней стрельбы на Невском была

просто служба, к которой за последние месяцы он как-то всё-таки привык. Вчера эта несчастная стрельба всё сдвинула: весь вечер потом в батальоне и отлучавшись в город ему пришлось оправдываться, что павловцы не первые начали стрелять в воскресенье, что их вынудили лукавой пулей, – но кто полностью ему поверил, был только друг его Костя Гримм. (Так и Косте же надо было встречно поверить, что он в субботу обедал у сумасшедшего Протопопова – так-таки и сидел за столом!) Эта обоженная от неспособности оправдаться уже сдвинула в Андрусове все чувства.

Ночевал он в своей казарме, в учебной команде, на Царицынской улице, позади Марсова поля – и ещё неизвестно было, не взбунтуется ли ещё раз 4-я походная рота по соседству, в Конюшенных казармах, не придётся ли ночью или утром в понедельник против неё выходить.

Но и ночь и утро прошли спокойно, хотя утром слышалась пальба с Литейной стороны. А потом Андрусова вызвали – и приказали срочно: идти на гауптвахту и освободить узника барона Клода, да и всех, кто там сидит. Гауптвахта была по ту сторону Марсова поля, всё пересечь, близко к мятежным кварталам, потому наверно и освобождали. Барона Клода Андрусов немного знал со стороны и понаслышке, вид его был совсем не баронский и даже не гвардейский, мозглявый, чёрный, корявый, а известен был даже в Павловском полку выдающимся пьянством и сейчас сидел на гауптвахте за дебоширство.

Хотя уже близок был шум и стрельба, караул гауптвахты держался взаперти. Скомандовал Андрусов всё распахивать и выпускать. Открыли четыре карцера и всех выпустили. Солдаты, пришедшие с Андрусовым и которые тут раньше толпились несколько, – подхватили барона Клода на плечи, сами же смеясь, ибо всё понимали, а кто-то подкрикивал, что он жертва царского режима, – и так пронесли его шагов двадцать, потом ссадили.

Один эпизод за другим как будто рассвобождал в голове какие-то скрепы, стяга, запреты, и это освобождение с гауптвахты тоже, ошеломившее караульную команду, но и самого Андрусова. Ото всех сдвигов и беспокойств он как будто стал пьяноват, хотя ничего не пил, как-то ногами облегчённее шлось, и облегчённее мыслилось.

Потом несколько часов провели в казарме, почти обычных, только без учения, – а потом спектакль возобновился, когда Павловский батальон, без 4-й роты, вдруг был торжественно построен с оркестром – и под музыку пошёл на Дворцовую площадь. В музыке и была главная ирреальность, когда, кажется, всему городу было никак не до музыки.

И на Дворцовой площади было всё торжественно – сперва. Вылетал в санях генерал Занкевич, держал горячую речь, и это тоже было как продолжение спектакля. И такое было настроение, что сейчас куда-то и двинутся.

Стояли преображенцы, измайловцы, ещё какая-то рота.

Затем подошла в своём чёрном рота гвардейского экипажа.

Подошло немного егерей.

Подъехало две батареи.

Собралось войско большое, но с тех пор как уехал Занкевич – ни один офицер больше не подскакивал ни с каким приказанием. Собралось войско на снежной площади, в полукарре вокруг Александровской колонны – и вот, стояли на морозе за получасом получас. А солнце всё спускалось.

Офицеры-павловцы похаживали, спрашивали у соседей и друг другу передавали – что же к чему? И отвечалось совсем непонятно и вразной: будет ли действие и какое? И какое нужно?

И нападать – тоже на них никто не нападал. Ниоткуда не высовывался ни враг, ни друг, ни даже из тысячи окон Главного Штаба не смотрели на них, может быть только досужие лакеи из Зимнего дворца.

И вдруг – гвардейский экипаж, что-то узнав или решив и никому не сказавши, с матросским презрением к сухопутью – повернулся, вырвал свою чёрную колонну из карре – и ушёл через Невский, на запад, туда, в свою сторону.

И все ряды как-то замялись: холодно, не кормят, чего держат? Солдаты ворчали почти вслух.

Но не доводя до беды, пришёл приказ батальонного. Павловцы повернулись, изогнули левым плечом вперёд и, уже без музыки, пошли в раскрытые для них решётчатые главные ворота Зимнего дворца. Андрусов и это воспринял как продолжение необыкновенного спектакля.

По размаху дворца ворота казались совсем узкими, даже непонятно было, куда они вберут три тысячи павловцев. Но, не торопясь, входили, входили и все исчезали там.

И Андрусов, как несбывшееся дитя искусства, обрадовался, что сейчас их поведут какими-то дивными залами, всегда закрытыми для публики, и он увидит интерьеры, не доступные даже для профессоров Академии Художеств.

Интерьеров таких не открылось ему, однако. Уже и двор был домовый, а не дворцовый, и тем более – сводчатые толстостенные широкие коридоры, по которым дальше их повели (а как натоплено здесь хорошо!), – и даже простые солдаты умеряли шарканье сапог в уважение к значимости этих камней: и последний простачок понимал, что допущены они в жилище самого царя!

Но недолга была их заманчивая проходка по первому этажу: завернули их вниз по лестнице, хоть и мраморной, но уже простой домовой, и ширины её не хватало соблюдать строй, все смешались.

И опустились они в огромный подвал – тоже тёплый, но полутёмный, окошки малые кое-где наверху по бокам, а своды окутаны мрачноватыми тенями, и редкие тусклые электрические лампочки. Подвал этот был почти пустой, редко где скамьи, а так – более ничего (и ни винных бочек), только капители поддерживающих столпов.

Раздались, отдаваясь сдавленным эхом, призывы-команды по ротам, затем по взводам, шаркало множество сапог, гудели голоса, пристукивали винтовки, – а что дальше? Не стоять же было тут, хоть и «вольно», – значит садись, на чём стоишь. Впрочем, и камни здесь были не очень холодные, через шинель сидеть можно.

Сели. Необычная такая сиделка – в огромном темнеющем подвале три тысячи солдат, курить не приказано, говорить – и само громко не говорится, а только одно хорошо, что тепло, на этом и отошли. Говорили сдавленно.

В оконца снаружи уже никакого света не шло, а лампочки подвальные редко, и так – много чёрных теней по-за столбами и повдоль стен.

И Андрусова не покидало его сдвинутое полупьяное состояние, и он в шутку обдумывал, как бы ему дерзнуть да пойти бродить по дворцу, посмотреть архитектуру и лепку. Но вот и ему стало передаваться общее стеснение и угрюмость: от низких сводов, от толщины непробиваемых стен, от темноты закоулков, а больше всего – от самих пригнетённых солдат. Сперва, когда сюда пришли, всем казалось хорошо: тепло и сидеть можно. Но посидели полчасика, посидели ещё полчасика – и ничто не менялось, и еды не несли, и не представлялось, чтоб сюда, в эту подвальную тесноту, могли её принести. Надземные окошки стали совсем чёрные, снаружи тоже стемнело. И наверно в солдатских сердцах стал рождаться страх ловушки: что ж, и ночевать тут? Зачем же в эти казематы загнали их? – и держат без смысла и без приказа?

Да не на погибель ли? Да не в отместку ли за вчерашний бунт 4-й роты? Да может, тут их водою затопят? камнями задавят? пулемётами не выпустят? Теперь-то и ребячий ум мог сосмыслить: вчера за бунт – ничего, а сегодня с музыкой сюда – и в казематы загнали как глупеньких, значит – весь батальон сразу в темницу?

Где-то шепталось, передалось, погромчело – и вдруг объяло всех с несомненностью:

– Братцы! Завели нас!

– Братцы – на погибель!

– Поруют!

– Подушат!

И – кричал ли какой офицер поперёк (Андрусов не кричал) – уже его и не слышали.

Поднялся гомон и крик в тысячи глоток – и вскочила вся масса, стукнув прикладами, – и попёрла по памяти, откуда пришли, – душась и отталкивая, выскочить бы первыми. А голоса отчаянные надрывали:

– Завели-и-и-и!

– На убивство!

И началось – месиво выталкивания, его не то что удержать – а как бы самого не сплющили.

И теснились, и давились, и протискивались павловцы в толпяном страхе: ах, пошли Бог только в этот раз вырваться! Ещё разик в ненаглядные наши казармы вернуться – а уж там мы знаем, что делать!

122

Командир Самокатного батальона полковник Иван Николаевич Балкашин в момент нападения толпы не был в батальоне и прибыл позже, когда раненные уже были отвезены в госпиталь и там Елчину вынимали кортик из спины.

В батальоне было 10 рот: две уже сформированных, готовых к отправке на фронт, четыре боевых на формировании и четыре запасных. Они располагались тут по баракам (всё расположение, и бараки и забор, были деревянные, простреливаемые), и тут же было 6 пулемётов, а ещё 8 – на батальонном складе. Неудобство и уязвимость расположения была та, что оружейный склад, все гаражи батальона и канцелярия его находились отсюда больше чем за версту, в начале Сердобольской улицы у станции Ланская.

Балкашин стал обходить роты на занятиях. Уже все знали о нападении и кипели, и не было надобности много убеждать, что толпа действует как нельзя лучше на руку немцам. В каждой роте Балкашин просил, что надо поддержать порядок, и все в один голос кричали: «Поддержим! Поддержим!»

Да и его самого любили, он знал.

Тотчас он назначил две роты дежурными, приказал им выйти и стать поперёк Сампсоньевского проспекта, фронтом в противоположные стороны – но стараться удерживаться от открытия огня, а улаживать мирным порядком.

Каждые два часа он эти роты сменял.

Долгое время толпа больше не подступала. Балкашин имел время получить много патронов с Сердобольской улицы, вооружить всех и особенно пулемётную команду.

Правда, из высоких фабричных корпусов понедалеку хлопали иногда одиночные выстрелы, на которые трудно было отвечать, неизвестно куда.

Первые часы ещё была телефонная связь со штабом Округа, но оттуда Балкашину не могли решительно ничего приказать, ни посоветовать. Что делать верно – он должен был сам тут, по обстановке, понимать.

А понимал Балкашин, что его маленькая часть, заброшенная в самую глубь и даль рабочего района, да ещё находясь в деревянных бараках, при всём своём боевом духе не могла принять бой со здешними десятками тысяч, уже значительно вооружённых. Он мог только стараться продержаться дольше до подмоги, а для этого больше угрожать, чем стрелять.

К концу дня из штаба Округа никто не отвечал вовсе, когда и была связь с другими телефонами.

Потом прервалась – перерезали? – и всякая телефонная связь с городом. Самокатный батальон, ещё утром в столице своей родины, вдруг оказался окружённым десантом в неприятельской стране.

Перед темнотой огромные толпы двинулись на батальон с двух сторон Сампсоньевского. Они напирала на дежурные выставленные роты, кричали, агитировали, но не стреляли – и тем более не могли стрелять в толпу самокатчики. Им доставалось только отступать.

Тогда, чтоб не допустить толпу ворваться во двор, Балкашин выдвинул на оставшийся кусок проспекта ещё одну роту и стал стрелять залпами в воздух.

Толпа остановилась.

Но и держать так роты дальше и в темноте становилось бессмысленно. Он постепенно завёл всех во двор, оставил за воротами дежурный взвод, а во дворе против входа поставил пулемёты.

Теперь толпа свободно соединилась, разлилась и двигалась по Сампсоньевскому, а самокатчиков трогать остерегалась. Однако зубоскалили, кричали, агитировали убивать офицеров.

А попозже должна ж была толпа разойтись – и так надеялся Балкашин с батальоном перебыть ночь.

Готовил он двух разведчиков из учебной команды – выпустить их, когда станет поглуше и темней, – чтобы шли через взбаламученный город в штаб Округа и получили бы указание, что делать дальше.

Поодаль на проспекте толпа разводила костры и ставила, видно, заставы.

Но рано успокаивался Балкашин. Задами, через снежные пустыри, задворки и переулки, пришли писари с Сердобольской: нахлынула толпа туда (а он рассчитывал – не найдут, охранить – не имел двух сил), смела часовых, разгромила гаражи – и увела все грузовики и мотоциклеты! (Да ведь как ухитрились увести! ни один мотоцикл по Сампсоньевскому не прошёл, тут бы заметили, догадались). А денежного ящика там толпа не нашла и до оружейного склада не добрались.

Ничего не оставалось, как послать и туда около роты.

Вызвал поручика Вержбицкого и двух подпоручиков.

123

А в Москве ничего особенного не происходило. И московские газеты были самые обычные. И не вывешено никаких чрезвычайных агентских телеграмм. Но редакции газет, то одна, то другая, получали сногшибательные частные телефонные сообщения из Петрограда – и тотчас каждый такой телефон размножался по Москве двадцатью передачами к знакомым, а те звонили дальше или им звонили из других мест, а тем временем из Петрограда подоспевали ещё новые сообщения – и всё это закручивалось в живительно-будоражающий клубок. Даже если не верить половине этих телефонных известий, то и то было сверхдостаточно!

А Сусанна Иосифовна, утром посещая знакомых больных, потом среди дня в магазинах, – сперва долго ничего этого не знала, нигде в городе не было никаких признаков. Потом перехватила новостей у знакомых – взяла извозчика скорей домой, вернулась к четырём часам. Давида дома не оказалось, от горничной узнала, что он давно прекратил приём посетителей, и не поехал в банк, много сидел у телефона, а теперь уехал в адвокатский клуб, не обещав и к обеду вернуться точно. Звонил и сын из университета, что – новости! новости! – они со студентами обсуждают, и его тоже пока не ждать.

И радостное это ожидание великих событий, может быть падения извечных цепей? – опалило Сусанну! И она – тоже прильнула бы теперь к телефону, если бы горничная не доложила ей, что ещё утром звонил полковник Воротынцев – и будет звонить после четырёх.

Что делать? Обязательство было взято, кто же мог предвидеть, что так всё взвихрится? Надо было принимать полковника, и даже сразу сейчас, пока Давида нет, Давида этот визит будет раздражать. Так что и телефона надолго занимать неудобно, вот горе.

Сердечные законы не слушают общественных событий. Они – настойчивей. Вот-вот придёт – и надо сосредоточить чувства, окунуться в разлад этих супругов. Такой разговор – это сложный тактический бой, и за свою доверительницу Сусанна должна провести его наилучше.

Хотя её тяготила избыточная доверенность к ней Алины и вся эта возложенная миссия

– но сама Алина как незрячая, всё невпопад, и как не помочь ей в такую тяжёлую минуту?

А как – помочь? Все эти семейные посредничества – совершенно ведь бесцельны: ни один случай не похож на другой, и никакого безошибочного совета не может дать сторонний человек. Да на советах и не выкарабкаться, это всегда долго, сложно, в сердечных крушениях только сами тонущие могут себя спасти. Уж если не мудрость нужна, так хоть ясное видение, – Алина же и всегда повышенно сосредоточена на себе, а сейчас – только всё упорствует, что муж её боготворит, всё отсылает к его письмам. А в них-то и поражает, будто написаны не живой, своей женщине, а женщине вообще. Да не только. В ту встречу осенью Сусанна перехватила взгляды тревоги его или неловкости за реплики жены. Но есть и противоречие между видом его нелакированным, схваченным боями, видом решимости и быстрых глаз, – и расслабленным поведением во всей этой истории. Как будто не укреплен новой привязанностью.

Впрочем Сусанна знала за собой тонкие щупальцы чувств, опережающие то, что прямо высказывается, – она надеялась хорошо разглядеть собеседника.

Однако он всё не звонил и не звонил. И Сусанна Иосифовна с облегчением поняла, что и не позвонит.

И когда на руке её, на часах-браслетике (такие входили теперь в моду) показало без десяти пять – Сусанна прочно села за телефон, заглядывая, заглядывая новости, пусть противоречивые, и потом сообщая их близким знакомым.

При всех противоречиях – совершалась в Петрограде некая поэма! И уже назад, без следа и без рубца, не могла так просто схлынуть!

И – не заметила, сколько просидела – может быть час, может быть два. Сына всё не было, а Давид вернулся – дико-радостно возбуждённый – как ураган внёс с собою! Что творится! Что творится! Обедать? – ну давай наскоро.

Сусанна надавила грушу звонка кухарке.

– В Петрограде – революция, вот что! – отрубив ладонью Давид. – Государственная Дума – отказалась разойтись, это гениально! В Петрограде революция, Зусенька! – и обнял её, целовал.

И тут же покинул, что-то ища, она за ним в кабинет.

– В общем – до каких пор будем рабски ждать? История не делается помимо нас, а только нами! Допустимо ли бездействовать, когда другие совершают за нас? Неужели мы их не поддержим? Неужели мы не взорвём нашу глухую Москву?!

У них решено: сегодня вечером в городской думе собираются гласные, не все конечно, но прогрессивное крыло, – так вот с ними и другие прогрессивные деятели Москвы, с известными именами. И Давид – идёт! Конечно, раскатать на поддержку всю городскую думу – невозможно, слишком много болота, реакционный избирательный закон сказывается. Да и эти, кто соберутся, – мастера горячо поговорить и разойтись, это тоже ничто. А надо – как-то себя конституировать в виде зачатка новой власти, явочным порядком. Конечно страшно! В ещё ничуть не изменившейся Москве по одним только телефонным сообщениям из Петрограда – перешагнуть и объявить себя революционерами! Но к этому шло развитие десятилетий! Комитет? Очевидно. Но сейчас начнут трусливо предлагать: общественный комитет, временный комитет, какие-нибудь самоуничтожительные названия. А надо набраться смелости – и перейти рубикон невозвратно. И Корзнер решил произнести речь и полыхнуть предложением:

– Комитет Общественного Спасения!

Его глаза сверкали неукротимо. Приподнял руку в кулаке.

Мужество, мужество! – вот что любила Сусанна.

В 1-м и 2-м кадетских корпусах в эти дни была корь, а в морском корпусе Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича – не было, и на субботу-воскресенье

юных кадетов-гардемаринов отпускали, как обычно, в город. В воскресенье вечером, когда они вернулись из отпусков и уже спать легли, – прозвучал горн и созвал их на построение в зал. Им объявлено было, что Государь повелел прекратить городские волнения, и тут же стали назначать караулы для охраны от толпы их огромного здания на Васильевском острове между Невой и Большим проспектом. Караулы получали винтовки и настоящие патроны, которых большинство ещё не держало и в руках. Вахт, сменяемых по 4 часа, потребовалось так много, что ставили и малышей.

Однако ночью не случилось вообще ничего. И день понедельник долго проходил спокойно: на улицах вблизи не видно было никаких толп, и наряд Финляндского полка перегораживал Николаевский мост. Но после трёх часов дня кадетик Горидзе со своей вахты на набережной стороне с ужасом увидел, как целые черно-серые толпы вооружённых людей пошли сюда – сперва по льду, а потом и через мост. И из первых же зданий по набережной стоял Морской корпус.

Караулы кадетов вошли внутрь.

Пытались ворваться в ворота и в парадные двери. Кричали, что отсюда в них стреляли пулемёты. Снаружи раздались и выстрелы. Кое-кто из кадетиков ответил тем же. Толпа поняла, что здесь без боя не возьмёшь.

Тогда заявили, что хотят прислать парламентёров.

Для парламентёров отперли дверь – вошла куча солдат и матросов, ударили по голове прикладом вице-адмирала Карцева и схватили его. А в открытую дверь вваливалась и вваливалась толпа.

Учителя и ротные поспешили спасти младших мальчиков, винтовки покидали в холодные печи, ещё куда, – а самих рассадили по классам, будто идут занятия.

Чужие бегали по этажам, искали пулемёты. Раззявили рты на артиллерийские модели столетней давности. В картинной галерее штыками выкололи глаза всем императорам и всем адмиралам. Били, где что попадётся.

И полностью разграбили кухню.

Ушли.

Что ж, стало нечего есть и училище разграблено, и увезен в плен вице-адмирал. По всему видно, что не учиться завтра – и кадетов распустили по домам, без палашей, но в форме.

Горидзе и его приятель К* пробирались через Благовещенскую бушующую площадь, на погонах – вензеля наследника, и развевались ленты с бескозырок: «Его Императорское Высочество». Одна мещанка увидела – и изблизи плюнула мальчишке в лицо.

К* угёрся.

Не знала та женщина, а К* только втайне мечтал, что ещё придётся ему в этой стране стать – адмиралом.

125

У всякой Революции видимо есть такое загадочное свойство: она и придя – не в первую минуту открывает нам всем своё прекрасное лицо. Она может прийти в маске будничности – так что ходит уже по нашей обычной жизни, а мы не узнаём, что Она пришла.

Так было и все предыдущие дни: ну хлебные волнения, ну громят лавки, ну задирают полицейских. Хотя и весело, а только как счастливые эпизоды. Так и вчера, после стрельбы на Невском – хотя и спёрлось гневно в груди, хотелось бить в морду даже не какому-нибудь отдельному начальнику, а самому режиму, и даже вслух обещал не простить им этого, – а **как** «не простить»? Что надо делать? К вечеру казалось, что вот и опять всё впадает в обычный подлый порядок, вот и подавили.

И вчера вечером Саша, как ни в чём не бывало, пошёл к Ликоне на именины – а там обречён был, среди совсем чужих, быть лишним, и оттого как бы неуклюжим, неудачным, и совсем ненужным Ликоне. Унизительно себя чувствовал. Пытался Ликоне напомнить, какой

трагический день, – ей ничего не передалось. Попытался спросить – **как** же будет между ними? – она вдруг откровенно ответила: «Саша, я – плохая. Ты так и знай, что я – могу изменить».

Эта открытость – и была приобретение вечера. Эта открытость его поразила, ведь так никогда не говорят! Но это признанное скольжение к измене – не отвращение к ней возбудило у Саши, а ещё больше раззарило: совладать с нею! завладеть ею!

Чем невозможней...

А утром – с таким осадком унижения проснулся, – лучше б не ходил туда вчера!

И потащился, как обычно, в своё окостенелое Управление, высиживать нудные часы над бумажками.

И когда по телефону вдруг стали узнаваться первые новости – ещё и тут не в минуту и не в час Саша разглядел, что Революция наконец срывает маску со своего вдохновенного лица.

Но всё-таки он понял это – раньше других. И при обеденном перерыве, не убирая бумаг со стола, выскользнул из своего учреждения, чтоб сегодня в него уже не возвращаться. А может быть – и никогда.

И откуда вдруг – такая нежданная сила народа? И почему вдруг оказался так слаб враг?

И – что теперь делать на улице? Как это – **делают** революцию? Надо было что-то громить – лучше всего полицейские участки, как самые верные гнезда режима? Или кого-то присоединять, ещё не восставших? Саша угадывал, что революция – это прежде всего темп, сколько новых сторонников она успеет присоединить к себе за час.

Сердцем, порывом – он был готов, ничего не боясь. Но – шинель, погоны, шашка? опять отрывали его от сокровенного? В глазах всех он сейчас на улице – пёс режима. Что делать? Мчаться к себе на Васильевский и переодеться в штатское? Но мчаться пешком через все эти волнения невозможно, да и опасно, во что-нибудь и влипнешь по дороге всё равно. Опять не пускала его военная форма в настоящую жизнь? А нет – увлечь и её туда! Вот так, как он есть – прапорщиком и с шашкой, кидаться в революцию.

А бежало несколько возбуждённых парнишек и несли каждый по винтовке и револьверу. У одного винтовка уже по тротуару волочилась, хоть брось, – прапорщик его и облегчил, перенял. И почему-то поняли они, что он – не против, и за то дали ещё и револьвер, но без патронов.

А дальше он увидел дюжину солдат без унтера, бредущих как попало по мостовой, винтовки у всех по-разному, шинели раздёрганы (и карманы сгружены патронами, и ещё в руках по цинку), – и молодые парни, и постарше, и видно, что растерялись, куда и зачем. Чужого молодого офицера они пропустили глазами как ненужность – а он по вдохновению крикнул им! Крикнул – и первый раз не узнал ни манеры своей, на голоса, откуда сразу так сложилось легко и звонко, как будто он и вырос на командовании – да дело-то было родное:

– Ребята! Куда? Пошли штурмовать!

Он крикнул как имеющий право спрашивать и приказывать – и вдруг сразу поняли и подчинились, отозвались готовно. И первый раз за всю свою военную жизнь Ленартович почувствовал себя настоящим офицером и даже может быть прирождённым.

И весь день потом это личное чувство росло в нём рядом с общим ликующим ощущением Революции. Его изумляло теперь, как он четыре года не знал себя и не догадывался о себе. Даже усумневался прежде, не трус ли, – он забыть себе не мог, как перепугался насмерть, роя лицом картофельные борозды под Найденбургом. Он всюду всегда избегал и уклонялся опасности, в чём мог, да, а потом уловчил и убраться с фронта, но внутреннее чувство всегда говорило, что – нет, не трус, он внутренне знал, а просто – не погибать за чужие интересы, но сберечься от чужой войны к своей. И только сегодня среди свиста бессмысленных ненаправленных пуль и направленных, когда в окна и двери отбивались полицейские, Саша не забыл радостно перед собой, что вот же он несколько не боится! что он даже весел в этой опасности и ему даже не будет обидно пораниться или убиться в этот весёлый красивый день.

Солдаты быстро стали звать его «наш прапорщик» и слушались так охотно и отзывно, как не слушаются унылых принудительных команд. «С нами прапорщик!» – кричали другим солдатам или публике, и это вызывало крики восторга, и команда их прибывала. Если Саша ошибался в распоряжениях – старшие солдаты не замечали тех команд, сами догадывались, как сделать лучше, – а он всё более ощущал себя подвижным, сообразительным, смелым, усотерённым на свою команду.

Сперва, чтоб увлечь их верно, он позвал их куда было ближе, куда он знал – на полицейский участок: на Лиговке возле Чубарова переулка. Это, конечно, было не главное место в Петрограде, достойное атаки, но на это было легче собрать гнев людей. А впрочем, неглавных мест не было – в каждом совершалась великая работа Революции. За каменное здание пришлось вести бой, рассыпаться от оконных выстрелов, прижиматься к стенам, отбегать за угол и стрелять так много, – патронов хоть засыпья, – что изрешеченный дом загорелся от выстрелов. Потом брать штурмом лестницу и драться на ней. Потом торжество над фараонами, наказание их, их умоления, отвод куда-то, и кажется же – не поджигали бумаг, никто такой мысли не высказывал, – а бумаги загорелись, загорелись, передаваясь через двери, через занавески, из комнаты в комнату и выкуривая победителей. Но и выкуренный, Саша стоял на улице в дерзкой весёлости, любуясь пожаром.

Так он начал сегодня мстить за дядю Антона! и за повешенных народовольцев! Так во многих местах Петрограда сразу, друг другу неведомая, но друг друга подкрепляя, торжествовала Справедливость сразу за несколько поколений. Час всеобщего возмездия.

А какое упоение он видел рядом на солдатских лицах!

Какой-то привязчивый интеллигент в шубе и в меховой шапке уговаривал Сашу двинуться на семёновские казармы: что этот упорный вышколенный царский полк никак не хочет присоединяться к революции – и надо его снять, хоть и силой.

Это было недалеко, и взять на себя ораторство хоть перед батальоном Саша чувствовал себя вполне способным, и верил в силу своего убеждения. Но всё же сообразил, что отряд его на случай сопротивления слишком малочислен и несоединён.

И другие прохожие давали разные противоречивые советы, куда идти и что делать, – а Саша и любимые его отрядники, которых он не знал ни по лицам, ни по именам, а просто те, кто держались рядом, – стояли и любовались, как горит.

То был символ уничтожения старого и обновления, и гордость наполняла грудь и голову до состояния пьяной малочувствительности, когда тело не чует царапин, ушибов, не боится ран.

Присоединилось к ним несколько рабочих – в картузах, бушлатных куртках и с винтовками, взятыми на ремень. И они уговорили Сашу идти освободить Пересыльную тюрьму – тоже не так далеко, и они тут знали дорогу, хотя и необычную: перелезали через железнодорожные заборы, пересекали пути – и вышли прямо к тюрьме, даже две их там было рядом, но Арестный дом уже освобождали без них.

Биться не пришлось: тюремная охрана сразу сдалась, распахнула двери, ворота и пошла отпирать камеры. Но самый этот процесс освобождения, состоять освободителем и видеть радость, приплясывания и ругательства освобождаемых узников – доставляло несравненный подъём.

И братья меч вам отдадут.

Не ждал себе Саша такой почётной, радостной роли.

Задержались, потому что некоторые освобождённые мстили тюремному надзору, кого-то били и разнесли тюремные вещевой и провиантский склад. Впрочем, последнее было не без пользы и сашиной команде, все изрядно проголодались – и охотно поели.

А потом повалили переулками к Старо-Невскому – и ещё очень вовремя пришли к разгрому Александро-Невской полицейской части, здесь ещё не кончилось взятие и только начинался пожар. Соседние пожарники отказались присоединиться к революции, за что подожгли и их каланчу, – она очень эффектно горела, высоко и долго, ещё и в вечер, нельзя было дожидаться конца.

Так Саша побывал как будто на периферии событий, он не видел ничего центрального, но и он оказался для Революции существенный работник. А главное – сам в себе он испытывал такую окрылённость, такое поющее чувство, – может быть это был самый счастливый день его жизни!

С каждым часом и каждой новой победой всё больше убеждался он, что Революция несомненно берёт верх: да нигде не видели они сопротивления каких-нибудь войск и не слышали о таком.

Теперь, когда день кончался, уже темнота наступила, захотелось Саше попасть на какую-то более центральную революцию. И он решил пробираться к Думе, там кого-нибудь встретить, узнать лучше новости, чем они узнавали на улице от зевак и прохожих. Его команда может быть и переменялась и перемешалась, и растеклась вокруг пожара Александрово-Невской части, но всё же ещё оставалось человек двадцать, которые звали его «наш прапорщик», – и они пошли с ним. И после разных приключений и остановок с десятком из них дошёл до Думы – и оставил их дожидаться на случай новых действий, а сам как офицер сумел проникнуть внутрь.

126

Сегодняшний как будто тихий одинокий день был для Воротынцева потрясением. Он так неразрешимо растревожился, пришёл в такую растравленную непонятность, такую тревожную неоконченность – что и просто уехать из Москвы сейчас не мог.

После такого письма от Алины – уже и к Сусанне идти было незачем.

Подумал: вот мама с отцом так много лет жили в разладе – можно ли вообразить, чтобы мама написала такое письмо? Вот так – хлестала?

Наверно – никогда.

Наверно, мама бы сейчас поняла это его потрясение. Эту внезапную пустоту.

На маминых похоронах Калиса плакала в голос.

А давней, давней – двор на Плющихе, и синеглазая девочка, лет на пять младше, в тулупчике и пуховом платке, садилась на санки то к брату своему, то к нему, когда съезжали с ледяной горки. Её дразнили – она никогда не плакала, не обижалась.

Они были дети хозяина дома, где тогда квартировали Воротынцевы, и куда Георгий потом наезжал в молодости. Калиса росла, дородностью будто старше своих лет, добродушная, приветливая, – как освещала всякий раз улыбкой и просторечным московским говором, мама её любила. А лет девятнадцати её выдали замуж за пожилого купца в Кадаши, Георгий уже кончил училище, служил не в Москве.

Но было и очень неловкое воспоминание. За год до японской войны Воротынцев, тогда уже командуя ротой, приехал в отпуск, в конце ли февраля, то ли в марте, таяло. А Калиса как раз, по дальнему отъезду мужа, жила у родителей. И как-то вечером, встретив Георгия во дворе, позвала его на пирог с вязигой, только что испекла. Пошёл к ней, говорится пирог, а полный стол был постного, шёл пост, засиделся, и всё вдвоём, родители её в гостях. Как будто ничего общего не было между его офицерским миром и её купеческим, и разговаривать бы не о чем, но она без затруднения журчала, журчала, и он слушал благодушный её речитатив. Глядел на её беложавое лицо, мягко круглые плечи, она не толста была, но тельна, – и вдруг бесстыдное, безумное, забубённое пламя овладело им: вот – сейчас! и – даром, что замужняя! И – пошёл на неё, она испугалась, уже за плечи обхватил и внушал нетерпеливо, а она забилась, просила отпустить! – и тут незвано-нежданно вошла прихожая монашка. И всё порушилось.

Потом японская война, женился, жил в Петербурге, в Вятке, а в 14-м году перед самой войной встретил её в Москве, в трауре. Муж её, напившись, угорел от печи, вполне русская смерть, Калиса осталась в мужнем доме в Кадашах, бездетной вдовой, а всего за тридцать, и даже в пущем цветении. И опять война.

А сегодня, когда сидел, выжженный, и память шарила по родной Москве – вдруг

вспомнил Калису. С ней бы даже и говорить просто, а то ведь язык не повернуть в гортани.

Посыльный принёс от неё ответ круглым почерком, что – рада, дома, и ждёт его ужинать к семи.

В назначенный час он был. Особняк в глубине двора, при садике. Прислуга открыла – но и сама Калиса Петровна, в синем бархатном платье с кружевным воротником, встретила его на пролёте лестницы. А он поцеловал ей руку. Она застыдилась, но не умолкла говорить и вела его в столовую.

Тут стоял большой старинный буфет с зеркалом и с резными грушами и виноградом на боковых дверцах. Квадратный дубовый стол с восемью тяжёлыми дубовыми стульями вокруг. Над столом спускалась машина пудовой висячей керосиновой лампы из фигурного розового стекла, но по цепи приплетена и электрическая лампочка, она и горела. (На стенах ещё в запас – двусвечники, заправленные свежими свечами, электричеству тут не верили). Был и граммофон у стены, с огромною трубой, массивный. А ещё в стороне было особое кресло – с полого откинутой спинкой, наверху к голове оно имело кожаную подушку, покрытую ещё белой застилкой. И Калиса Петровна сразу заметила:

– А вы усталый-усталый какой, Георгий Михалыч! А садитесь-ка в это кресло пока, до стола. Отдохните.

И правда, угадала: он ведь ужасно устал. Ему именно отдохнуть надо было, первее всего.

В глухой тишине слышались даже мелкие звуки, поскрипывание его сапогов, привякивание шпор.

Сел. Откинулся. Расслабился.

Он был разбережен, как болен. То ли что-то неповоротливое, невмещающее наполняло его – то ли, напротив, вышло всё и ничего не осталось. Но – мешало жить и что-нибудь делать. Но как хорошо угадал: тут и говорить не надо. Калиса Петровна расспрашивала о войне – как и не расспрашивала, сама рассказывала: что где с кем случилось, на войне ли или тут в Замоскворечьи, рядом.

И не пытался скрыть своё удручение. Дал ему волю выразиться – в постаревшем лице, в плечах.

А Калиса, дохлопавывая у стола и ни о чём его не спрашивая, одними перепевами голоса уже как будто угощала.

И как будто не было ничего неестественного, что он пришёл отдыхать в чужой дом и, откинувшись, вот молчал.

Не курил, представляя, что она не любит этого запаха в комнатах. Да даже и перестало нутро требовать горячего дыма, лекарства нервности, вот что.

Если бы пришлось объяснять, зачем же он пришёл, – он не мог бы. Но к счастью – и не надо было. А успокоение, что пришёл в правильное место. Никуда не пойти – он тоже не мог.

Вот – никуда и не надо идти. Хорошо. А Калиса Петровна уже приглашала к столу. Она видела его сокрушённое состояние – но деликатно ничего не спросила, не коснулась. Приглашала к столу.

А на столе – заливная осетрина. Огурцы золотые со смородинным духом. Грибки маринованные разных сортов. Расстегай стерляжий розовый.

К ужину не идёт, а не хочет ли Георгий Михайлович и сметковой ухи? Есть, хороша.

И вот когда ощутил Воротынцев, какой он голодный, да весь день ничего не ел. А что, и ухи! Ну, и старки рюмку, мол вы из боёв. Ещё рюмку. Хозяйка пригубила тоже.

И всё он стал одно за другим есть, оживая. А Калиса – непринуждённо, но и не поспешно, журчала о московской жизни, не присиливая его к отзыву. Уж не знала, как ему и польготить.

По этой старомодной столовой, и по угощению, и по глухой здешней тишине, – не доносилось ни звука с городской улицы, – как не было этой трёхлетней войны, и всеобщего упадка, стоял нерушимый замоскворецкий быт, и будет стоять ещё тысячу лет.

Отдохнуть, да. Смотрел в её синие полносочные глаза, с приемлющей добротой. Освежел.

Да вот что. Этой чужой доброй женщине он почему-то вполне мог и рассказать, как ему сложилось тяжело.

Но смотрел больше, больше, на её полные плечи в синем бархате, на белую шею с монистом из гранёных прозрачных медовых камней, – и вдруг сказал, не отрывая глаз от глаз, через угол стола, как они сидели:

– Калиса Петровна, а вы знаете, зачем я пришёл?

Смотрела простодушно.

А он волнуясь, и вспоминая прежнее волнение:

– По пирог с вязигой.

– Ой, – всплеснула ладонями. – Нету сегодня, не догадалась.

А он смотрел, углубляясь в беззащитные мягкие глаза.

Она покраснела, отвела лицо:

– Ой, какой вы забывчивый...

Он встал, шагнул – и десятью пальцами взял её выше локтей, за оба мякотных предплечья. Пальцы вошли – и оторвать нельзя.

И сказал, сверху вниз, глухо:

– Калиса, голубушка. Я ведь у вас останусь сегодня.

Она опустила, опустила голову, открывая ему затылок и густой накрут золотисто-тёмных волос. И выдохнула:

– Ах, грех какой, Георгий Михалыч: ведь оба раза – на посту, на третьей неделе...

127

Этот Шляпников, хотя и писал иногда по несколько абзацев, но не был, конечно, никакой литератор. Уровень его был примитивный, из-за деревьев своей партийной техники он совершенно не видел леса революционной политики. Вот уж, наверное, приводил в отчаяние своих лидеров в Швейцарии.

Но приходится работать с тем людским материалом, какой есть. Так или иначе, но сейчас в России был единственный член большевицкого ЦК – Шляпников, и приходилось искать понимания с ним, особенно при таком горячем повороте дел.

Да Гиммер уже несколько раз искал случая хорошо объясниться с ним, но тот не приходил по приглашению – или избегал, просто знал за собой неспособность к теоретической беседе. Однако откладывать было, вот, невозможно, использовать надо эту случайную встречу. И чтобы добиться координации действий с большевиками, Гиммер всю дорогу до Таврического добросовестно разъяснял Шляпникову создающуюся конъюнктуру.

Впрочем, условия для разъяснений были неблагоприятны: они всю дорогу шли почти бегом, стараясь поскорей миновать опасные места. Сперва – мимо Петропавловки.

Толковал ему Гиммер: на первых порах власть и должна стать буржуазной, потому что без подготовки пролетариат не способен создать государственную власть. Для изолированной революционной демократии, да ещё в условиях войны, непосильна техника государственной работы.

Совсем стемнело, возможны всякие эксцессы. Шли и подбегали. Троицкий мост был свободен, всех пропускали, но довольно пустынен.

Опасность именно в том, чтобы буржуазия не отказалась от власти. Если она откажется – она одним своим нейтралитетом погубит революцию. Буржуазию надо именно заставить взять власть даже помимо её воли. Конечно, отдавая себе отчёт, что создание Временного Комитета Думы это вовсе не солидарность думско-буржуазных верховодов с атакующим народом, но попытка спасти династию и плутократическую диктатуру. Они хотели бы вести линию борьбы с революцией, но мы должны их втраивать во власть – и так заставить служить на мельницу революции.

Быстро пронеслись, и всё навстречу, автомобили – легковые и грузовые, во всех вооружённые люди с криками. Шляпников несколько раз кидался останавливать их, один раз остановил, догнал и что-то говорил.

– Что вы им говорили?

– Чтоб они ехали занять охранку.

– Ах, слушайте, это всё хорошо, но мы не можем так задерживаться. Нам, наоборот, надо бы подловить автомобиль да подъехать скорей в Таврический.

Бежали дальше, к концу моста.

Возложить на буржуазию и все задачи ведения войны – а зато нашу позицию это сделает значительно свободной. Вплоть даже до того, что как-то временно – ну, пригасить, что ли, антивоенные лозунги?...

Самое опасное место конъюнктуры – Шляпников промолчал. И то хорошо. Ну, правда, и бежали.

Повернули налево по набережной. То и дело раздавались близкие непонятные ружейные выстрелы: кто стрелял? зачем? куда? где пролетают пули? – ничего не разобрать. Так и вонзится, где не ждёшь.

Один революционный автомобиль почему-то остановился около английского посольства. Кинулись к нему, Гиммер отрекомендовался как известный социалистический литератор и просил подхватить их, подвезти к Таврическому дворцу. Но в ответ получил нечленораздельный, возбуждённый общий гвалт, эти люди были как сумасшедшие, они не понимали далее самих себя. И тут же автомобиль рванулся – и умчался.

Мимо Летнего сада добежали до Фонтанки и решили с набережной свернуть, чтоб миновать Литейный мост, так спокойнее пробраться.

Шляпников оказался, конечно, со всем подряд не согласен – да наверно на всякий случай, не могло быть у него собственного понимания, но по крайней мере составилось у Гиммера впечатление, что у большевиков нет решения разнуздывать стихию. Во всяком случае нет у них ни готовых лозунгов, ни готового плана.

Тем лучше, передовые внефракционные социалисты сумеют их опередить и направить ход событий.

Бежали мимо кирпичной стены Орудийного завода, прямо на пожар Окружного суда. В его пламенном свете на Сергиевской стояло несколько пушек, но все дулами в разные стороны и без прислуги, так что не получалось боевого впечатления. Стояли и снарядные ящики, к ним свален экипаж, две бочки, отломанная стенка какой-то будки, несколько досок, набросано мебели и хламу, – всё наподобие баррикады, но защитников у баррикады не было. А стоявшие там и сям на перекрестке группы солдат – никак к ней не относились.

Какой-то солдат один громко распоряжался, кричал на всех прохожих, чтобы шли вот так, а не иначе – но никто его не слушал.

Пожарники тщетно боролись с огнём. Толпились любопытные, но никто не помогал. Кое-где уже обрушились стены, держались арочные окна. Мостовая широко вокруг была в лужах от потаявшего снега.

Пересекли перекресток – и помчались дальше по Сергиевской. Непонятные выстрелы продолжались и здесь, но ни одна пуля не зацепила.

На углу Шпалерной и Потёмкинской стоял пулемёт на грузовике, наш. А дальше большое оживление, чем ближе к дворцу. На тротуарах и на мостовой толкалась смешанная толпа штатских и разрозненных солдат, много молодёжи, но пройти было свободно можно. Митингов среди толпы не было.

У самого дворца, перед сквером и в сквере, стояли, заводились, фырчали, останавливались и трогали автомобили всяких видов и типов, в одни впрыгивали вооружённые люди, с других спрыгивали, и почти в каждом были женщины. Всюду мелькали, торчали штыки винтовок. На один автомобиль грузились какие-то ящики, а с другого, наоборот, сгружались съестные припасы. Царил страшнейший беспорядок и крик, и почти все приказывали, и никто не повиновался. Вступить в разговор ни с одним

автомобилем было невозможно.

Ну ладно, хорошо хоть целыми добрались. Теперь внутрь? Не так просто – стоит караул, а пропуском распоряжается какой-то гражданский цербер.

Но оказался – знакомый левый журналист, узнал Гиммера – и впустил их.

128

Всегда считалось достаточным освещение и на Шпалерной и перед фасадом распластанного Таврического дворца с широко раскинутыми одноэтажными крыльями. Но не для таких событий, как сегодня! Фонари на Шпалерной казались редкими, улица не ярка, а сквер перед дворцом для такого столпления даже полутёмен, хотя горели фонари на колончатом крыльце и были освещены все окна. А над двухэтажной серединой дворцового тела светился как мреющая голова отдельно возвышенный среди темноты загадочно тусклый матовый купол. И впечатление было – притемнённости, скрытости, тайны: что здесь творится сокровенное. И хотелось туда проникнуть.

Ещё по контрасту напоминали о яркости необычные для города багровые зарева с разных направлений, хотя и заслонённые скученностью каменных кварталов. Близко, за Таврическим садом, горело на Тверской жандармское губернское управление. Недалеко же, но противоположно, Окружной суд. А между ними в третьей стороне и подальше – Александро-Невская часть.

А в сквере перед Таврическим всё сгушалось и накоплялось публики самой разношерстной. Много солдат, или группами, друг друга знающие, или разрозненные, – странный непристроенный сброд именно тех существ, которые никогда не пребывают без строя и команды. И первые уже матросы из экипажей. И всё больше молодёжи – студентов и курсисток, молодых рабочих и работниц, и даже гимназистов. (Уличных подростков не было, потому что у дворца не стрелялось). Всё подъезжали и спирались без дела автомобили, легковые и грузовые.

И многие напирали, стараясь проникнуть в главные двери, а наружный караул оттеснял и окрикивал. В этой толпе напирających штатских попадались и солидные мужчины, иногда в дорогих шубах, они устно доказывали проверяющим, почему им надо войти, а кто совал и документы.

И некоторое время строго проверяли, ходили осведомляться в комендантскую комнату, приносили разрешение на впуск. Потом толпа напирала сильней, отталкивала часовых – и вламывалась, кто успевал. Потом часовые брали верх, занимали прежние места, и снова начинался строгий контроль входа.

А внутри – и тепло, и в залах – уже света доподлинно на народный праздник. И так необъятны были внутренние помещения дворца, что и все эти волны прорвавшихся вместе с допущенными растекались, дробились, поглощались, и хотя во дворце становилось людно, а никак не толпiano. Но в два часа была утеряна вся чинность и парадность дворца, как могли оценить только члены Думы.

Почти они одни только и были без верхней одежды, сдав её ещё утром, как всегда, швейцарам. Так и ходили в сюртуках, сверкающих манишках, среди посторонних набравшихся – шубяных, пальтовых, шинельных, бушлатных, картузных, папашных. Да членов Думы уже и недосчитывалось многих, и оставшиеся тончали до затерянной примеси уже не привычных хозяев этого дворца, прекрасности и простора которого они не ценили прежде. И не показывались лидеры, чтобы властно распорядиться. И исчезали служители Думы и приставы. Во дворце не стало никакого хозяина.

А ворвавшиеся – чаще не знали, что делать дальше: бродили в сапогах (оставляя снег и грязь на паркете, так что и поскользнёшься) и рассматривали залы. Праздные солдаты собирались ещё робкими кучками, негромко толковали. Но потом смелели, глядя на снующих, торопящихся образованных господ и студентов, начинали и сами сновать-рыскать, в конце одного коридора обнаружили буфет – и стали там потчеваться, не спросясь и не

платя. Дознались новые солдаты – и буфет опустел вмиг, рестораторы не смели им препятствовать.

Екатерининский зал был с иную городскую площадь, и одни группы никак не мешали другим. Кто сновал по делу с важностью, кто изнывал от неопределённости, кто ждал чего-то терпеливо, нетерпеливо. А молодёжь собиралась своими кучками. Кто-то взлез на стул и начал малый митинг.

А в Купольном зале появился длинный стол, и за ним несколько человек сели, а другие стали к ним толпиться, наклоняться. Там выписывались какие-то пропуска и кому-то что-то разрешали, а кого-то куда-то посылали.

Через двери вестибюля всё чаще вводили арестованных – в полицейских мундирах, но больше штатском, разных возрастов и видов. Их сопровождали со штыками наперевес, с поднятыми револьверами, с обнажёнными саблями или кортиками – рабочие, солдаты, матросы, обыватели. Народ в вестибюле, залах и коридорах смотрел на этих арестованных с жадным любопытством: именно то и притягивало и вызывало злорадство, что не полиция схватила, а её схватили, или других каких-то злодеев, прежде недоступных! Глазели на них во все глаза.

Уже знали, куда таких вести – в комнату финансовой комиссии. Там под председательством лихого пронзительного Караулова заседали несколько членов Думы – Аджемов, Пападжанов, Мансырев. В присутствии приведшего конвоя они снимали с приведенных поспешный допрос – и тут же вынуждены были выносить и выносили мгновенное и окончательное распоряжение о судьбе арестованного: отпустить ли его или заключить под стражу. Куда отводить арестованных, уже тоже было избрано: комнаты на втором этаже близ хор. (В министерский павильон Керенский такой мелочи не принимал).

Приведшие всегда были с оружием – одни они с оружием тут, и горели огнём лихорадочной справедливости, и гордились, что это они догадались, схватили и привели. Из-под таких штыков и револьверов отпустить – было почти невозможно. Хотя схвачены были люди всего лишь за то, что этим вооружённым не понравился их вид, или за неугодно сказанное слово, или не пускали к себе в квартиру на обыск, – благоразумнее было пока арестовать, в расчёте отпустить завтра, а конвоиров благодарить и хвалить за то, что они трудятся для закрепления революции.

Ещё в начале этого вечера члены законодательной палаты были поражены произвольным арестом Щегловитова. Но прошло несколько часов – и вот уже думцы как будто примирились, освоились, и вот взяли на себя тоже суд и ряд, не имея на то никаких законных полномочий, попирая их вослед за Керенским. Он всех их увлёк на самозаконство.

Позже вечером с большим шумом вошёл в Купольный зал крупный конвой, приведший сразу человек тридцать – в форме жандармских офицеров, в полицейской форме и штатских. Командовал конвоем седой старик на костылях, натянувший форму поручика – вероятно старую свою, долголежалую. Посередине Купольного зала он громко возвестил, что просит доложить о себе – *руководителю революции депутату Керенскому* .

И хотя Керенского тут не было и близко – по такому вызову, откуда ни возьмись, он появился!

В Керенском быстро открывалась – да всегда в нём жила! – манера эффектно и благородно держаться перед революционной массой. Вот он подходил – не медленно (чтоб это не выглядело чванно) и не быстро (чтоб не угодливо). Он остановился перед стариком с горделивой выпрямленной осанкой – но и с большим вниманием, чуть приклоня голову.

Инвалид, сколько мог на костылях, пытался стать во фронт и приложить руку к козырьку. Отчётливо отрапортовал, давая неистовую пищу первым революционным газетам:

– Имею честь доложить, что мною схвачены, обезоружены и приведены тридцать *врагов народа* ! Головы их – отдаю в ваше распоряжение, господин депутат!

И Керенский ответил звонко, с пониманием и одобрением, как будто только и ждал этого рапорта и этого инвалида:

– Благодарю вас, поручик! И рассчитываю на вас и впредь.

Он – не спросил, кто такие, за что взяты, при каких обстоятельствах. И не отправил их в уже известную ему комиссию для допроса. Но выше всего блюдя свою осанку и неповторимость момента, тоном революционного омерзения негромко скомандовал, неизвестно кому, кто подхватит:

– Уведите их.

И удалился с важностью, не быстрой и не медленной.

Конвой перетаптывался. Поручик задумался: они как будто уже довели, что же теперь?

И тогда через конвой кто-то от натянувшейся толпы кинулся стукнуть врагов народа кулаками.

Другие – прикладами. В кровь.

Вступил избивать и конвой.

Враги не смели защищаться. Одни кричали о пощаде, кто упал под ударами.

Затем отвели их в арестные комнаты, на хоры.

129

А на Охте днём получилось затишье. На Большом проспекте Охты, где все дни народ густился, – теперь почти никого и не было. По льду тут напрямик не пойдёшь. Мост перегорожен. В городе стреляют, в городе кипит, вон и пожары взялись, а что там – никто не знает.

И кто к тому делу поерзливей – повалила братва большим крюком по Полюстровской набережной да на Выборгскую. А остался на Охте народ покойный и сидел больше по домам, коли уж забастовка.

Но и – городских на постах не было, ни патрулей. Они собрались по своим участкам – и сидели, и только из окон выглядывали, фараонские рожи.

И всё стреляли, стреляли в городе – а на Охте спокойно.

И день кончился.

А к вечеру подвалили молодые охтенцы назад, да кто Арсенал погромил – те и с винтовками.

И там, сям собирались: да что ж мы у себя-то фараонов не выведем? Ведь их везде покончали, к ним помощь уж никакая не приспеет.

Стоит на Охте 1-й пехотный полк – не восстаёт. Посылали к ним наших мальцов – отвечали: «На кой нам ляд?» Вот уж кислая шерсть.

Ещё посылали, солдатам сказать: уже весь питерский гарнизон поднялся, чего ждёте?

Наконец, кажись, и восстали, уж кажись почали и забор ломать – а по улицам всё нейдут, ни к нам на помощь.

Ну, не ждать! На полицейский участок повалили сами, гурьбой, фонари разбивая. (Как зазвенит да как потухнет – лихо на сердце!)

На углу Георгиевской и Большого подвалили к участку – а те окна раскрыли – да и пальнули.

Ат-вал!

Но никого не поранили. (Может, в воздух били).

Завалили подальше, в боковые улицы, стали ждать.

Стали ждать – 1-й полк пришлёт грузовик с солдатами.

Не шлёт.

А в городе всё – стреляют, стреляют. И зарева – ярко видны по темноте. От зарев – так и разбирает душу: эх, развернуться! да чем же мы хуже! Там, на Питерской стороне, ребята себе волю добудут – а мы так останемся?

Да что робеем, ребята? Да соберёмся! Да все сразу?

Именно сразу, а то ежели мы попрём, а с заугла не повалят?

Послать сказать: по свисту – и все разом!

Свист! – ят-те-дам! режет чище всякого выстрела! Свист – Соловья-Разбойника!

И – побежали со всех сторон! И – прихватили городских – не успели те ни выстрела сделать, а уж вот мы, к стенам прилипли, окна побили им – камнями, лёдом, и двери высаживаем, чем ни попадя.

И – внутрь толпой! А – чего толпа не сделает? Да у них-то сердце – давно в пятках, да куда им деться? Никуда не денетесь, ваши все далёко!

Не стреляли.

Схватывали их, одного по пятеро, тут же по морде били для начала, но – лишь для начала. А потом с руками извёрнутыми, выломанными – да вытаскивали их наружу, где простор для боя легче. Одни кричали, ругались, другие стонали, третьи просили.

Нет уж, у нас теперь не уприсишься! Нет уж, дорвались! Много вы над нами поцарствовали, а теперь мы над вами!

– Братики!... Ради Бога!... Дети остаются...

Бей, кромсай их в мясо, не слушай! Ишь ты, дети! Добивай, чем схватил – палками, прикладами, штыками, камнями, сапогами в ухо, головы в мостовую, кости ломай, топчи их да втаптывай, да поплясывай!

Ещё от кого последнее:

– Бра-атики...

А как нас хватали – тогда не братики были? Эй, кто своих добил, дохрипел – иди нам помогай, доплясывать!

А бумаги ихние – на улицу вышвыривай!

Да почто? – поджигай да вместе со стенами!

Эх, вот когда наша жизнь начнётся – только теперь!

Не хотим боле с полицией жить – хотим жить по полной слободе!

130

Итак, дом графа Мусина-Пушкина на Литейном был заперт на крепкие свои дубовые двери, а в нём – набившиеся семёновцы, преображенцы и кексгольмцы, кто успел вбежать, и раненые, кого успели подобрать и внести.

А кто остался снаружи – теперь на перелицовку перед толпой, под мятежников.

Если за день перебивало под командой Кутепова две тысячи, то вот раненых набралось человек шестьдесят.

Управляющий и врачи лазарета просили полковника хотя бы всех здоровых солдат вывести из дому.

Да, приходилось.

И собрать, построить их на прощанье было негде – такого помещения или даже коридора. Полковник собрал их на лестнице, сам стоя на средней площадке, у изгиба черно-лакированных перил, и говорил то вниз, то вверх, не видя их всех сразу.

Не так многих он успел запомнить в лицо, а уже кой-кого и запомнил. Были у него на фронте сотни преображенцев, с которыми он прошёл все поля смерти, а эти – случайные полусолдаты, ещё не готовые к войне, почему-то ни одного выздоравливающего знакомого, и сам он здесь случайно, и бой у них был суматошный, раздёрганный, почти и на бой не похожий, – но вдруг проняло Александра Павловича, что перед этим сегодняшним боем может быть не стоили все его предыдущие, и будет он его вспоминать всю жизнь. А – проиграл.

И звучно сказал набитой плечами лестнице:

– Солдаты! От имени Государя императора... и от имени России... я благодарю вас за вашу честность и стойкость сегодня. Я – всех наградил бы вас Георгиями... но не имею возможности даже представить... Враг делает лютое дело: наносит нам удар в спину в середине Великой войны. Я вынужден всех вас сейчас распустить. Пойдёте по улицам, вернётесь в казармы, не можете сопротивляться – хотя б не помогайте врагу!... Сейчас – все винтовки, все патроны отнесите, сложите на чердак. Потом сами разделитесь на небольшие

группы, со своими унтер-офицерами – и идите. И благослови вас Бог!

Тепло-неразборчиво замурчала лестница, как не отвечают никогда солдаты. Да ведь они ж и не настоящие солдаты были. Да ведь они ж и не в строю.

Всё остальное произошло без Кутепова – его позвали к прапорщику Эссену 4-му.

Молоденький, он умирал. И, вцепясь в руку полковника, просил удостоверить его родных и его полк, что в первом испытании он вёл себя достойно и не посрамил бессмертного Семёновского полка.

Кутепов встречно сжал его руку. Записал адрес. Погладил по потному бледному лбу.

А другие раненые все замерли, слушали. Они были все здесь давние, лежалые, некоторые по три месяца как с фронта.

Тогда Кутепов пошёл разыскивать, где положили прапорщика Соловьёва. Его уже отсоробовали. В нём не осталось живости, как в Эссене, он лежал на спине, вытянутый, неподвижный. Но полуоткрытые глаза ещё выражали сознание, а на губах улыбка – ещё до Кутепова и при нём, совсем лёгкая молодая улыбка. Только застывающая.

А снаружи кипела возмущённая толпа, кто ещё не рассеялся и помнил, что враги заходили в этот дом. И кричали угрозы полковнику, кулаки поднимали и винтовки.

Если б на доме не было большого полотнища Красного Креста, уже давно стреляли бы и в окна и в двери.

Чета хозяев, опасаясь за свой дом, но не высказывая этого, несколько раз предложила полковнику, уговаривала полковника переодеться в штатское и так уйти.

У Кутепова, если присмотреться, было своеобразное и постоянное выражение лица – как будто он хотел ослабиться, но остановил движение черт и ярких губ между чёрными жёсткими усами и бородой. И эта остановка черт и густые глаза выражали как бы печаль, укоризну – или удивление? или обречённость?

А ранен он был, считая с японской, уже пять раз.

Кутепов взял их обоих за руки, как умирающего Эссена:

– Господа, не склоняйте меня к недостойному маскараду. Я ещё никогда не стыдился русской военной формы. Как только будет возможность – я оставлю ваш дом.

Двух унтеров из ещё оставшихся он послал разведать снаружи всю обстановку и нет ли какого не стерегомго выхода.

Через полчаса один вернулся и доложил, что у всех возможных выходов стоят команды вооружённых рабочих и особо ждут именно полковника, все и фамилию уже знают – Кутепов.

Что ж, отпустил и этого унтера, остался вовсе один. В отведенной маленькой комнатке часто тушил свет и подолгу наблюдал, что делается на Литейном с его сквозным шумным движением, уже и автомобильным.

Поздно вечером пробрался в дом Преображенский ефрейтор, хорошо известный полковнику, и принёс от своего фельдфебеля узел с солдатским обмундированием. Уверял, что сейчас не сторожат так пристально и в солдатском можно выйти.

Александр Павлович поколебался: своё же, преображенское.

А потом: нет! всё равно маскарад противный.

Услал его.

Действия Балтийского флота в зимние месяцы были стеснены ледовыми пространствами, дредноуты и линейные корабли на зимней стоянке пришвартованы в Гельсингфорсской гавани, на мёртвом якорю, лишь миноносцы ходили далеко в море, охраняя подступы. Но из-за льда и противник не мог нагрянуть сюда. Так и на рейде в Гельсингфорсе шла только вахтенная служба на судах, обычный ровный распорядок, да с несколькими учебными часами в день, – наилучшее время для матросов. И для офицеров если когда и выпадает время беседовать, читать и думать – так вот теперь.

И капитаны 1-го ранга князь Михаил Черкасский, Иван Ренгартен и капитан 2-го ранга Фёдор Довконт на «Кречете», штабном судне командующего, этой зимой установили между собой регулярные собеседования на политические темы. Они были почти полные единомышленники, морские «младотурки». Они любили свой флот и себя в этом флоте как людей, могущих со властью направить его к славе, – умных, отзывчивых на события, с твёрдыми решениями, лёгкими движениями. Но выше всего они ставили – что надо для России. И если бы кто-то знал и верно сказал любому из них в любую минуту, что его смерть нужна для спасения России, – каждый из них был готов в ту же минуту и умереть.

Как светлая любимая боль это вырастает в душе от юности вместе с нами: Россия! Беспредельная страна, великий душевный народ – и слезами омытый, и ограбленный, и во тьме, в невежестве, и почти всегда в руках недостойных правителей. С молоком всосанный долг – отдать народу всё, в чём мы его лишили несправедливо. Сокровенный завещанный порыв: декабристы! Герцен! И вереница народных страдателей, просветителей и самоотверженных бунтарей. Сколько сделано для народной свободы! – и неужели всё зря? Святую освободительную традицию минувшего века каждый из них троих горячо любил, и был в долге и чувствовал себя в силе – продолжать!

А по службе они сошлись и возвысились в окружении командующего Балтийским флотом: Миша Черкасский был теперь флаг-капитан по оперативной части, Ваня Ренгартен – начальник разведки. И недавним назначением молодого вице-адмирала Непенина в должность командующего – значение их постов и обещание их возможностей ещё более возросло. Хотя Адриан – как звали они адмирала между собой – и не был так последовательно развит в традиции Освобождения, но кого из образованных русских людей она не осенила своими крылами? У Адриана же натура была – нетерпеливо-прямая и честная, он благородно отзывался на всё благородное. И так они трое с постоянной радостью знали, что и адмирал думает сходно с ними. И с тем большей смелостью и успехом открыто высказывали ему свои мнения, стараясь ещё тесней объединиться.

На своих тройственных тайных беседах, однако с протоколами, они обсуждали этой весной общие вопросы возможной программы Великой России. И, конечно, с подробностью вопрос о проливах, который вовсе не есть имперское стремление, но жизненная необходимость, – и для взятия нами проливов впервые за два-три века создалась благоприятная обстановка. Обсуждали и текущие вопросы, вроде Аландских островов и переговоров со Швецией. Но больше всего, конечно, нынешнее внутривосточное положение и как вывести Россию из него. Понималось это едино:

– Мерзавцы, что они делают с нашей родиной?

Вся эта нескончаемая распутищина-штюрмеровщина-протопоповщина, может быть государственная измена, сношения с неприятелем, – как вырвать родину из этого грязного месива? Из возможных решений напрашивался самый радикальный и верный путь – устранение Полковника (Николая II), а тем самым устранится и вся клика. Сидя на кораблях, они не могли бы участвовать в этом непосредственно, но могли подавать идеи, связываться, влиять своею позицией. Таково решение было – не их одних, однако всё не приходило ни к какому акту, где-то запутывалось в избытке сочувствующих и в недостатке реальных заговорщиков.

А вот последние дни и особенно сегодня хлынули события в Петрограде – растущие волнения, вызванные явной провокацией правительства. Весь этот бунт искусственно создал Протопопов – так на него и опрокинуть! Терпеть больше невозможно!

Для связи вызвали маскированной юзограммой своего доверенного старшего лейтенанта Костю Житкова, который побуждал их к действиям ещё раньше и настойчивей. А сами с 6 часов вечера заседали в каюте флаг-капитана. И Миша Черкасский изложил схему действий, как она у него построилась.

Об исторических событиях легко читать как о готовых. Но когда они происходят – совсем не легко выработать простейший план действий. Вот – события приняли грозный оборот, и момент даже уже пропускается. Ясно, что Дума да и все общественные деятели –

вялы, мягкотелы и не сумеют использовать возникшей обстановки. Необходимо дать им импульс извне, побудить занять активную роль. Никто из троих не может покинуть своего поста на корабле, но Костя Житков поедет к одному-двум общественным деятелям, убедит их устроить частное совещание и на нём ответственно доложит настроение авторитетных кругов флота. Этим деятелям не миновать избрать из себя видных лиц, послать успокоить фронтовых начальников, чтоб они не вмешивались: задача только, чтоб они не вмешивались, чтобы армия осталась нейтральной, – а зато вот обеспечена поддержка Балтийского флота, это ли не опора восставшей столице?! Внушить общественным деятелям действовать быстро: самовольно, явочным порядком восстановить Государственный Совет в том благоприятном составе, какой был до Нового года, пока Полковник не оконсервативил его. Восстановленный Государственный Совет собрать вместе с Государственной Думой, они составят Законодательный корпус, который и придаст законность перевороту: тут же, ничьего согласия не спрашивая, изберёт правительство, ответственное перед ним. И все происшедшее просто довести до сведения Полковника: что назначенное им правительство более не существует. Вся высшая камарилья должна быть при этом так же игнорирована и устранена от власти. И – вековая мечта сбылась! И Россия – на новом пути!

План был прекрасен! – если заручиться твёрдой поддержкой Непенина. Но зная его свободолюбивое нетерпимое отношение к камарилье и большое влияние на него Черкасского – очевидно так и будет. Да князь Черкасский – и сам вёл штаб флота.

А флагманы просто подчинятся приказам командующего. Других же офицеров, кто может оказать вред распространению идеи, постараться обезвредить, а кого можно – перевлечь на нашу сторону. И флот – весь наш!

Так они сидели в запертой каюте с двумя иллюминаторами, и хотя не видели ревущего Петрограда – а испытывали на себе тревожащее касание русской истории.

В другой форме, в других одеждах, в другой век – они бестрепетно повторяли неудавшийся подвиг декабристов.

132

И пошло, и пошло! Везде Каюров побывал. И к самокатчикам ходил, там солдаты цепью. Спросил солдат: «Что же вы стоите, товарищи? Почему не присоединяетесь?» Солдаты нехорошо улыбались, а офицеры грубо предлагали проходить дальше. «Да где ж пройти, когда вы проспект перегородили?»

И к московским казармам несколько раз бегал. Взяли их наконец, залила наша толпа весь двор – и много оружия к нам перешло, да многие солдаты охотно отдавали, а сами – на нары.

И Васька Каюров и Пашка Чугурин теперь имели по винтовке и по патронной ленте через плечо. С оружием ходишь, хотя стрелять не умеешь – а совсем другая сила в тебе, и ноги куда легче ходят.

Ещё ходили, штурмовали и подожгли два полицейских участка, городовиков уложили несколько, остальных избили, арестовали – и в их же кутузку.

День катился – как великий разлив неожиданной революции. Потом и солнышко нет-нет проглядывало. Ходили-бродили массы, поздравляли друг друга, кой-где несознательно лавки грабили: на радостях хотелось людям хорошо закусить, а особенно – спирту достать, но это надо поискать, измыслить, казённые винные лавки уже три года не в заведении.

Плясало общее ликование восставшей массы, и только редкие выстрелы ещё где-то засевавших защитников режима да непонятное упрямство самокатчиков портили настроение.

А тут принесли готовый шляпниковский листок: «продолжать всеобщую стачку!». Смехота!

А стал Вася Каюров так соображать, поскваживало у него в голове: что теперь ежели революция победит, то умных-проворных много найдётся, все ползет за властью. А нужно

нам, большевикам, пока другие партии не расчухались – всех и перепередить.

Но – что ж бы такое сделать? Как-то надо во весь голос, как в рупор, да крикнуть – всему рабочему классу, да всему солдатству. Не листок, нет, тут надобно, тут надобно...

Так это стало Каюрова распирать, что пошёл искать товарищей, советоваться.

Велика Выборгская сторона, но кто на ней освоен – тот как в большом дворе, всё знает и всех. Все разошлись-разбрелись, однако стал Каюров толпу прорезывать – и нашёл Хахарева, и нашёл Лебедева. А Шляпникова никто нигде не находил – куда подевался?

И пошли опять на квартиру совещаться.

– Надо нам, братцы, – придумывал Каюров. – В таких случаях царь – Манифест пишет. И нам надо катнуть – Манифест! От большевиков.

Объяснить, что именно мы теперь поведём их всех дальше. А то ведь у нас перехватят.

Так-то так, пожелать – дело ретивое, а вот поди-т-ка составь, напиши. Разве мы учены?

И модельная работа – хитрая, но, знал Каюров: писать – ещё хитрей.

– Эх, как умели в Сормове у нас, помню в Девятьсот Четвёртом: «Пусть расстреливают нас – и пусть новорожденный царевич купается в нашей крови!» Вот так бы нам, что-ни-ть...

– И Пётр Заломов умел! – вспоминали сормовские земляки.

Сел Хахарев карандашом выводить, а Каюров по комнате ходил – и так складывали.

Но всё приходило в голову прежнее: как подавляется рабочее сознание, как угнетают нас, да как обворовывают. Ну там – царская шайка, революционный пролетариат, восьмичасовой день, конечно. Конфискация монастырских земель.

Нет, поновей: красное знамя восстания! разрушим царство холопов!

Нет, до чего-то главного недоудвали.

– Ну, пошли к Митьке Павлову посоветуемся, он пограмотней. А может и Гаврилыч ещё там.

Пошли. Уже темнело.

Митька Павлов тоже был свой сормовский, и даже когда в Девятьсот Втором Пётр Заломов понёс «Долой самодержавие», – то чтоб людям было сподручней читать – Митька шёл рядом и край знамени оттягивал. Потом – на завод не брали, в обществе потребителей так же перебивался, как и Каюров, а на квартире у него готовили взрывчатую массу для бомб. Но после восстания сразу в Петербург уехал и тут уже принялся как свой давнишний, 10 лет, женился, и пошёл аэропланы строить. А его квартира на Сердобольской так стоит – среди пустырей и сараев, филёрам трудно следить. Тут – и явка, и квартира БЦК, и в шахматном столике тайно прячутся бумаги.

Пришли – а в сенях у него сохнет: «Долой самодержавие», «Да здравствует революция», – маляр по кумачу расписал.

А ещё на квартире сидел Скрябин-Молотов мясомордый, из БЦК. Так-таки целый день тут просидел, и только от проходящих узнавал, где что в городе делается. Каюров порассказал, тому не верилось.

Каюров свой Манифест Митьке Павлову дал читать.

Митька добавил:

– Вперёд! Возврата нет! Беспощадная борьба!

А Молотов, маменькин сынок:

– А что такое? что?

Бумагу себе забрал, почитал, руки потирает, как ожегшись:

– А не преждевременно ли, товарищ Каюров?

Обидно стало Каюрову:

– Да нет же! Да не преждевременно! А где Гаврилыч?

Шляпников – тут был полдня, ушёл.

– Не преждевременно! Так всё пропустим! Минуты горят!

А Молотов карандашик достал, ручки потирает – и вычёркивать, и вычёркивать.

Это сползло как-то незаметно, обернулось совсем неожиданно: с утра в распоряжении генерала Хабалова был весь город Петроград и все окрестности его, и вся губерния. Затем в течении дня не происходило никаких боёв, кроме неких действий полковника Кутепова на Литейном, о которых так и не прояснилось, и небольшой перестрелки в лейб-гвардии Московском батальоне. И вдруг к концу дня у Хабалова не стало ни губернии, ни окрестностей, ни города, а всего-то мог он ручаться за узкую полоску между Невой и Мойкой – Адмиралтейский остров, да ещё была в стороне, неизвестно что с ней делать, Петропавловская крепость.

Целый день сносились, сносились с разными воинскими частями, в разных частях города. Почти все батальоны оставались верны, только не решались выслать резервы и караулы, – и вся эта верность, и все эти батальоны незаметно как утекли между пальцами – и осталась, вот, полоска между Невой и Мойкой. А обо всём вне этой полосы – поступали только отрывочные сведения, и представить картину было очень трудно.

Да, ещё кроме тех всех частей в городе размещались военные училища: два пехотных, Павловское и Владимирское, одно кавалерийское, Николаевское, два артиллерийских, Михайловское и Константиновское, одно инженерное, да школа шофёров, да корпуса – Морской, Пажеский, два кадетских, – это составляло больше двух тысяч штыков, 200 сабель, 16 орудий и 8 бронемашин. И Хабалову несколько раз за день напоминали об училищах, побуждая вызвать их к действиям и уверяя, что юноши рвутся на подавление бунта. Но как-то ему не хотелось, нет. Ведь верных батальонов и без того было полно, и в плане охраны города – не стояло привлекать училища, ничего не упоминалось. И – как потом в обществе будут упрекать за вовлечение молодых людей в политику и междуусобицу!

И за весь день Хабалов не вызвал ни одного училища. Пусть учатся. И школы прапорщиков из окрестностей тоже не управился вызвать ни одной.

Подкрепления и так, сами, приходили время от времени. Около 5 часов пополудни, уже к закату солнца, вдруг прибыла из Павловска вызванная ещё утром гвардейская запасная батарея из 8 орудий, в полном порядке, с 52 боевыми снарядами. Командир её, полковник Потехин, хотя и ходил с костылём, но был весьма проворен и, видимо, его очень слушались.

Неплохо, это хорошая сила. Но – куда ж её в городе применять? Не бросать же снарядами по зданиям.

Да у Хабалова и другие резервы собирались при градоначальстве во второй половине дня: один эскадрон, жандармский дивизион, конная и пешая полиция. А ещё большие силы у него стягивались на Дворцовой площади. Силы были, да, – но тем трудней задача, куда их двигать. А генерал Занкевич, полетевший туда орлом, вернулся совсем мокро-опущенным, что на преображенцев надеяться нельзя. Вот тебе раз.

Тут – разные были точки зрения, и они постепенно вырабатывались между руководительными генералами. (Ещё очень мешало и двоение с Занкевичем: кто же теперь кому подчинялся? кто вёл войска? – непонятно). Тяжелыников предложил так: вовсе покинуть центр города, где нет снабжения войскам, а пробиться на окраину или даже прочь за город. А оттуда потом концентрически наступать. И во всяком случае: чем больше шатких войск увести из города, тем меньше горючего материала останется в нём самом.

Может быть и так. Но куда же пробиваться? На Выборгскую сторону, и дальше на Кушелевку за патронами и снарядами? Так там самая густота мятежников, будет большое кровопролитие, и не может своих патронов на то хватить. В Царское Село, чтобы соединиться с тамошним большим гарнизоном? И там удобно поджидать помощи от Действующей армии. Или укрепиться на Пулковских высотах? Но это значит – вовсе бросить город. А это не было предусмотрено планом охраны, не то поручено было Хабалову. И как же останется Петропавловская крепость?...

А можно – принять принцип прочной круговой обороны, и защищать Адмиралтейский остров.

Принять решение было крайне нелегко, слишком необычно и слишком ответственно. И

– головы уже помрачѐнные, тяжѐлые, мысли у всех едва переступали.

А между тем шли часы, кончался и серел день, в который приказал Государь покончить беспорядки. Но это не удалось.

Кончался день, и стали поступать неутешительные сведения с Дворцовой площади. Матросы гвардейского экипажа постояли – и ушли, взятые назад великим князем Кириллом. Преображенские роты ушли ужинать – и не вернулись. Павловский батальон, размещѐнный в подвалах Зимнего дворца, в панике вырвался оттуда и ушѐл в свои казармы. И пулемѐтная полурота куда-то подевалась. И кексгольмцы. И после этого какие были малые остатки – Занкевич благоразумно взял с площади вовсе, привѐл в градоначальство.

Но надо признать, что за эти часы и командование мятежников тоже не предприняло никаких действий против правительственных войск. А по данным разведки – и нигде у них не было скопления, кроме Таврического дворца. К вечеру с улиц толпы постепенно рассасывались.

Так что оставшимися силами можно было промаршировать прямо и к Таврическому дворцу.

Но это тем более не было предусмотрено планом охраны. Как это? – нанести удар по Государственной Думе? Но Государственная Дума не может рассматриваться как противник или как мятежник. Против Государственной Думы никакие войска в Петрограде ни по какому плану не предназначались.

А с другой стороны: если и был какой-то противостоящий центр, то как будто именно Таврический дворец?

Странно. Неясно.

И обсуждали, и обсуждали генералы план охраны города. Да собственно, могли ли они быть уверены, что Адмиралтейский остров ещѐ весь в их руках? В темноте и при слабой разведке за этим не уследишь. Заведомо им принадлежали лишь несколько зданий: само градоначальство, Адмиралтейство, Зимний дворец. Условно (они его не контролировали) – здание Главного Штаба. Ещѐ – телефонная станция на Морской 24. Ещѐ – казармы лейб-гвардии Конного полка. На одном краю зоны – Мариинский дворец, но на его охрану почти не было сил. И как же правильно построить оборону на ночь? Всего этого не охранить. И если держать целую роту на телефонной станции (к удобству жителей, чтобы телефон не прекращался), то невозможно иметь крепкую оборону ядра. А лучше всего – сосредоточиться в каком-нибудь одном здании и его оборонять.

Какое же избрать здание? Генерал Занкевич предложил Зимний дворец, как символ монархии. А генерал Хабалов, после размышлений, предпочѐл Адмиралтейство: оно стоит совсем отдельно, окружено площадями, облегчающими оборону, и от него же открывается три направления к четырѐм вокзалам – Невский, Гороховая и Вознесенский, которые можно простреливать имеющимися пушками. И близко к градоначальству, не теряем и его.

Уже было темно, когда постановили: переходить всем в Адмиралтейство.

Перевести войска было нетрудно – совсем близко, и нет помех.

Сперва перетянулась артиллерия, объезжая сквер.

Перешла напрямик пехота.

Затем – пешие и конные городовые, жандармы.

Отряд переходил в дрѐме и вялости, как и бездействовал целый день.

Трудней было градоначальнику Балку. Сперва он собрал всех своих чиновников, объявил, что занятия прекращаются, следует разойтись по домам. (Спрашивали, приходиться ли на занятия завтра? Только если стрельба на улицах не помешает безопасно перемещаться). С собою он брал лишь нескольких помощников. Градоначальство уже и переставало быть полицейским центром: хотя городские телефоны всё так же безотказно работали – с большинством полицейских участков связь уже прекратилась.

Уединиться было уже невозможно и, не стесняясь посторонних, Балк стал сжигать секретную переписку из ящиков.

Смотрителям здания велел: после ухода всех – запереть градоначальство. И обо всех

случаях телефоном доносить в Адмиралтейство.

Не оставалось времени и пообедать. Поехали так.

В городе далеко слышна была ружейная стрельба. Стояли зарева.

Автомобили с начальственными лицами должны были сделать крюк мимо Исаакиевского собора – и там, со стороны примерно Сената, стал работать пулемёт. Неизвестно откуда и в кого.

День – кончался. И не избежать Хабалову телеграфировать донесение в Ставку за этот день.

...Исполнить повеление Его Императорского Величества не мог... Большинство частей изменили своему долгу, отказываясь сражаться против мятежников. Другие даже обратили своё оружие против верных Его Величеству войск. К вечеру мятежники овладели большою частью столицы...

Практически это так. Не какие-нибудь мятежные части, но – наброд мятежников, повсюду. Весь город ими полон.

...Верными присяге остаются небольшие части, с коими буду продолжать борьбу...

134

В клинику Турнера никто не пытался врваться – и капитан Нелидов со своими злосчастными унтерами мог невозбранно пребывать там во дворе и в вестибюле, при запертой калитке.

Но стало ясно, что нет возможности прорваться с ними цельным отрядом в свои казармы, через бурлящие улицы, и с одной ногой.

А тем более закрыто было – вышагивать туда одному.

А батальонный телефон перестал отвечать.

Нелидов стал рассылать невооружённую разведку – по одному, по два. Из разведки представилась ему картина полного развала власти, вооружённые дикие толпы по всей Выборгской стороне и невозможность появиться офицеру.

И о самих казармах батальона узнал к вечеру, что они после перестрелки сдались и открыты толпе.

А тем временем фельдфебель поднёс капитану список всех присутствующих унтеров и ефрейторов.

Зачем?

А они все просят запомнить их и подтвердить, что ни один не перешёл к мятежникам.

А его – легко отдали на убой. Осмотрительные ж унтеры! Нет, лучше было оставить их говеть.

Не предстояло боя никак. И держаться ли за клинику, и зачем? И как их тут кормить? Надо было их всех отпустить в казармы.

Но в захваченные бунтовщиками казармы Нелидов не хотел отдавать оружия. И он велел унтерам все винтовки разобрать и спрятать тут, в клинике. После чего отпустил их всех.

А сам – остался сидеть в привратничкой. Совсем он не знал, потерял – что же делать? Хоть был бы он подвижен, здоров, – но ведь и перемещаться он мог – еле, шагом.

Семьи, дома – не было у него в Петрограде. Да он только по ранению и оказался здесь – он сросся с полком, его место было – на фронте, кажется ещё не остывшее место, где все ожидали его возврата.

Знакомые, где можно переночевать, были – но по ту сторону Невского. А он даже до батальона не имел возможности дойти.

Но не себя Нелидов обдумывал – он мог хоть тут, в привратничкой, лечь на голую лавку и спать, если не пригласит больничное начальство, а не похоже, они от заставы сторонились. А пытался Нелидов понять эту сумасшедшую неразбериху: столица взбунтовалась во время войны? Да что столица – казаки были за бунтовщиков? Что ж это за

невозможное происходит и чем кончится? Очевидно, не было другого выхода, как вызвать войска с фронта и давить. Но – сколько ж это прольётся крови? И какое пятно на Россию. И какой урон для фронта.

И сколько же крайностей и опасностей он прошёл за годы войны – и надо же влипнуть здесь! Досадно и ничтожно.

А ведь несколько их, боевых офицеров, подавали рапорт, чтоб им выдали броневые автомобили и научили обращаться, на всякий случай. Даже раненый офицер в броневом автомобиле – может стоять целой роты сброда.

Но рапорт заглох, но мысль не повязалась у начальства.

И сегодня так ясно было упущение!...

Вместо этого он учил солдат без винтовок, да должен был каждый день проштемпелевать цензурной ротной печатью по триста солдатских писем.

Удручённый Нелидов сидел у привратника – и вдруг вошёл рабочий – в чёрной куртке, в чёрной шапке. И одеждой и каким-то темноватым видом, который вырабатывается может быть на фабриках, – типичный рабочий, из тех самых, которые сегодня хватили Нелидова за руки и хотели убивать.

Нелидов подумал: ну, вот! Ну вот, он сейчас и выдаст.

Высокий, худой, хотя пожилой, но крепкий, – а на бритом лице при больших усах была строгая серьёзность. Похож на тех – и не похож.

Рабочий поздоровался с капитаном, поклонясь. Привратнику он оказался знакомый, то ли родственник. Сел, разговаривал с ним, а сам посматривал на капитана. И сказал:

– Да, ваше высокоблагородие, на улицу вам нельзя. А что это вы с палочкой? На фронте повредились?

Нелидов ответил.

– На улицу вам никак нельзя, – покачал тот. – Эти бандиты вас сейчас расстреляют. А пойдёте-ка у меня отдохнёте? Мы без улицы пройдем.

Его протабаченный голос и серьёзный тон вызвали доверие. Да ничего лучшего не оставалось. Пошли. Рабочий сдерживал шаг для больной ноги капитана.

Через заднюю дверь, тёмным двором, и ещё другим двором – и оказались перед домиком рабочего, с задней же стороны. Обыкновенный одноэтажный рабочий домик, в глубине ещё третьего двора, скудно освещённого.

А хозяйка была – широкая, сбитая баба с суровым лицом.

Предложили поесть – Нелидов не мог, еле стоял.

Отвели в маленькую узкую спальню с одной узкой железной кроватью, комодом, крохотной керосиновой лампочкой и одним заставленным окном.

Двор-то был как ловушка, но хозяева вызвали полное доверие, хотя и поговорить с ними Нелидов почти не успел.

Он заметил, что руки его трясутся, как от новой контузии, а весь он в огне, внутреннем огне, кажется заболел.

Но хозяевам не сказал. Разделся, лёг, как всегда перетаскивая руками атрофированную ногу.

Думал: так возбуждён, не уснёт. И заснул сразу.

135

После своего подвига против гренадеров Пешехонов вернулся домой. Здесь уже ждало его несколько знакомых, все с Петербургской стороны.

Сели, конечно, пить чай – какой же русский разговор без чая, тут вернулась и жена Пешехонова от визита к больным. В их обычной столовой за розовой скатертью под розоватым абажуром погрызали пти-фуры, клали в блюдечки клубничное и сливовое варенье – а сами были как заколдованные от светлого нежданного свечения радости. И нельзя было разрешить себе поверить – и нельзя же было пренебречь фактами, отрицать происшедший

сдвиг. У них здесь был только праздничный сдвиг настроения – но там, за Невой, настоящие бои, целые поднявшиеся полки, – и отчего ж было не решиться назвать это слово? Да, это была **Она**, долгожданная, измечтанная, – хотя бы и ещё раз её свергли в пропасть, обезглавили, повесили – но всё же Она пришла!?

Но и все твердыни ещё у врагов, и радоваться слишком рано.

Так они просидели может быть и часа два – как с улицы через законопаченные окна раздались сильные крики.

Усидеть было невозможно! Покинули недопитые чашки, торопливо небрежно одевались, дрожащие ноги вставляли в галоши, заламывая края, достукивали уже на лестнице – и сбегали, сбегали вниз.

Крики были с площади на Каменноостровском, где Архиерейская переходит в Большой проспект. Поспешили туда.

Маленькая площадь в круговой цепи фонарей была залита радостным народом, который и кричал, махал, – а посередине высились два открытых грузовых автомобиля, в них стояло по десятку людей, ощетиленных штыками и с красными флагами. Были и женщины среди них, но и они потрясали револьверами.

Пешехонов стал проталкиваться к одному грузовику поближе, близ белогородского дома с башенками. Галдёж стоял невообразимый, все из толпы кричали сразу, и с автомобиля тоже сразу, почти невозможно было понять. Постепенно всё же усвоил Пешехонов, что революционеры прорвались через Троицкий мост и хотят здесь «снимать» войска и громить полицию. И теперь они спрашивали, где же полицейские участки и где квартируют воинские части, как им ехать. Но оттого что спрашивали все у всех и отвечали сразу все – не могли выяснить уже четверть часа.

И так стало жаль Пешехонову эту наивную добродушную народную массу, без руководства: предел воображения их ненависти была простая наружная полиция, всего-навсего охраняющая простой порядок, который и всегда обязателен в любом цивилизованном государстве. А тут, на Петербургской стороне, раз уж они сюда прорвались, сидел ядовитый паук – Охранное отделение, и вот что надо было прежде всего даже не громить, а захватывать! – ценнейшие секретные документы, ключ к разоблачению осведомителей, и обезвредить силу паука! И Пешехонов, неловко цепляясь за борт грузовика, со страстью выкрикивал им, чуть шапка не слетела, – об Охранном отделении, и как это первостепенно важно, и как надо ехать на Мытнинскую набережную! И кто-то даже наклонялся, слушал его – но вряд ли в этой бестолковщине что-нибудь слышал и понял.

Да он сам бы поехал с ними, если бы знал, что он их направит. Он чувствовал, как смелое сердце растёт в его немолодой груди и пренебрегает невозможностями интеллигентского тела.

Нет, не мог он больше сидеть за чаем и обсуждать, как где-то что-то происходит! – он должен участвовать сам! Троицкий мост открыт – и нет оправданий бездействию!

Автомобили куда-то уехали. Ещё потолкавшись в народе, Пешехонов увидел своего гостя, попросил передать жене, что отправляется в Таврический дворец, – и пошёл по Каменноостровскому.

Таврический дворец был логически возможным центром движения. Если разгоралось пламя революции – то там.

Тут сошёлся ещё с одним знакомым, направлялся туда же. Пошли вместе.

По Каменноостровскому навстречу им время от времени мчались революционные грузовые автомобили, пронеслись дикими сказочными видениями, вспыхивая под фонарями, темнея на перегонах. Ах, как красива и грозна являлась Революция! в каком неожиданном лике!

Один автомобиль разбрасывал какие-то бумажки. Подняли такую и тут же, под фонарём, прочли. Это было гектографированное воззвание Временного Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов. Ого, куда пошло! уже есть Совет Рабочих Депутатов! а мы тут всё пропускаем! Листовка звала население кормить и приютить революционных

солдат, проведших весь день на улице в завоевании свободы.

Но как же с охранкой? Пока охранка не разгромлена – никакая победа не прочна, завтра же возобновит свою деятельность! она даже, может быть, сию минуту работает!

И Пешехонов со спутником уже у Троицкого моста свои ми слабыми криками, а больше знаками, крупным маханием рук – сумели всё-таки привлечь и остановить один автомобиль. И рядом никто не кричал, теперь они успели объяснить про охранку и как туда проехать, – но те были так возбуждены, как будто вскручены внутренними пружинами, они изнемогали от задержки, они неслись куда-то к намеченной, невидимой несуществующей цели – и рванули, рванули дальше. Троицкий мост был почти без прохожих, пуст, – а по ту сторону пугающе багровели три пожарных зарева – два слева и одно далеко справа.

На том берегу Невы они ожидали встретить революционное море, весь Петроград на улицах – но ничего подобного, так же пугающе и зловеще пустынно было на Французской набережной, всеми окнами темнели дворцы, только в обе стороны по разу промчались бешеные автомобили.

Свернули на Литейный – и вот где осветился им главный пожар, как они уже и знали: с утра зажжённое, ещё и сейчас пылало здание Судебных Установлений, Окружной суд, баженовская красота, творение несчастного архитектора, у которого всё или не строилось вовсе или не достраивалось, или ггло. Ещё светился накалённый остов, но уже всё внутреннее выгорело. А тут было чему выгорать: какие склады одних нотариальных актов, какие архивы гражданского судопроизводства, какая библиотека!

Пешехонов с раздумьем смотрел на эти развалины. Несколько раз следователь вызывал его сюда на допросы. И судили его тут, за «Крестьянский союз». Потом и сам он являлся по делам других. В пыльных залах и тёмных коридорах этого здания сколько провёл он – то в нервном возбуждении, то в нудном ожидании. Но вот – увидел раскалённые эти развалины, а удовольствия – никакого не ощутил.

Наоборот – тревогу. Суд – не должен гореть, без суда не стоит общество. А мы начинаем с поджога суда.

Подожгли его, наверно, первые же уголовники, получившие свободу: что ж им и делать, если не поджечь плохо охранённое здание суда?

Весь день прошёл как лёгкий светлый праздник – и только в ночи эти динамичные бешеные автомобили и эти пылающие развалины выдвинулись грозным напоминанием, что революция – не шутка.

Задержались они тут, простояли. Уже было часов девять, когда подошли к Таврическому дворцу.

Здесь, перед решёткой сквера и в сквере кипело, сновало много народа, больше всего солдат, но и гражданских вооружённых. И рычали заведенные зачем-то автомобили.

А внутрь – пропустили легко, хотя часовые стояли.

Пешехонов даже робел глянуть в полные глаза – сразу увидеть кипящий штаб революции.

136

В квартире Керенских как сегодня рано утром зазвонил телефон – так потом не умолкал: довольно было после разговора положить трубку, крутнуть отбой – как опять звонил.

Вчера вечером у них совещались – разошлись на том, что всё кончено, ничего не случится. А сегодня первый звонок был от Сомова, гимназического друга Саши по Ташкенту, потом тоже эсера, теперь тоже адвоката. Требовал Сомов разбудить Александра: среди солдат Волынского батальона – восстание, убили офицеров и шагают по улицам! Но пока Ольга Львовна пошла будить Сашу – телефон опять вернул её: звонил секретарь Родзянки, тот приглашал Керенского срочно в Думу, потому что получен приказ о её роспуске.

Двумя руками за щёки, бережно, – она всё считала мужа больным после прошлогодней операции, – Ольга Львовна будила Сашу, двумя оглушающими новостями с двух сторон. Он проснулся мгновенно и загорелся в минуту, и почти уже не мог завтракать, нетерпеливо блестел, уже сжигаемый мыслями, опережаемый своим порывом, уже не мог и отвечать на вопросы жены.

Последние недели висели тучи над ними – снятия депутатской неприкосновенности, ареста, следствия, – нуждались они в каком-то героическом внезапном выходе! И вот – он пришёл?

Для того и переселились они на Тверскую, рядом с Таврическим садом и первый этаж, чтобы Саше без труда доходить до Думы: операция у него была серьёзная, туберкулёз почек, и могло кончиться гораздо хуже. А уверял он теперь, что совсем здоров, – и правда опять был подвижен как прежде, опять юн и быстр: хотя на два года старше Ольги, он выглядел всегда моложе её, так порывист.

Почему-то остро сжалось сердце, когда она провожала его за порог. Охватила за шею, просила быть осторожным. Он засмеялся, высвободился, быстро ушёл. А она осталась с плохим предчувствием. (Дано нам сжаться в предчувствии, не дано нам его разгадать. Кажется: что-то случится с мужем? убьют? не вернётся?... А он – действительно никогда больше не вернётся в эту квартиру. Но – сам по себе. Вот и предчувствие...)

И всегда так, революционный порыв Саши был неудержим, Ольга лишь попевала вослед, а покойный свёкор считал во всём виноватой её, начиная со ссылки Александра под отцовский кров в Ташкент. В роду Керенских бывали монахи и священники, старый Керенский был предан монарху и Церкви и не мог понять, откуда бы в их роду вдруг зараза. (Да и Ольга была генеральская дочь).

А телефон! – телефон уже и за время завтрака несколько раз пронзительно дребезжал, и потом, и потом всё. Одни сообщали, другие спрашивали, весь Петроград иззванивался, исходил телефонами. А больше всех названивал Гиммер – он хорошо знал Ольгу Львовну, потому что иногда ночевал у них для конспирации, очень хорош был с Сашей, – и теперь, сидя у себя на глухой службе, надеялся из их квартиры, как одной из центрально-революционных в городе, узнавать всё самое первое.

Но самое первое мог знать только Саша, а он за весь день так домой и не позвонил. Однако другие звонки приносили известия и потрясающие, и Ольга Львовна передавала их Гиммеру и всем.

И в зареве этих известий постепенно растаяло её дурное предчувствие.

Наконец, и она уже не могла оставаться дома трепетать над телефоном, но сила происходящего вытягивала её наружу. И оставив двух сыновей на прислугу, Ольга Львовна отправилась в Думу сама! Там она больше узнает, увидит и, может, Сашу самого.

По Таврической улице мелькало много людей, но первое, кого она увидела: разбитную солдатскую колонну без офицера. Солдаты лихо отмахивали руками и шли в заворот на Шпалерную.

Побывав эти годы сестрой милосердия, Ольга Львовна имела простоту с солдатами – подбежала и спросила одного:

– Братец, что случилось? Куда вы?

Всё шумело, но солдат услышал, оскалил молодые зубы и прикрикнул ей:

– Мы теперь – свободны! И идём в Думу!

О, замечательно! И Ольга – туда! Рядом со строем их, не отставая, готовая за руки взяться с этим братцем – во всероссийской, всеобщей, вселенской любви и ликования! О, замечательно!

Вот они уже и к Думе подходили. Там дальше было сильно запружено – и на мостовой, и на тротуарах. Остановился и солдатский строй. Остановилась и Ольга.

Необъятная толпа, будто в каком-то церковном стоянии, вся лицом к фасаду Таврического дворца занимала и Шпалерную и сквер перед дворцом. Любопытствовали, гудели – и чего-то ждали радостно.

Впереди, то на выступах забора, то с грузовиков, то ещё на чём-то, возникали иногда ораторы. Их слышно было плохо или совсем не слышно сюда, назад, – но виделись взмахи их рук, и всем передавалось ликование.

Было не холодно, и солнце, и на ногах боты – и Ольга Львовна сама не заметила, как простояла тут час, и два, и три, и наверно больше. Да невозможно было уйти с этого вида пасхальной службы! Постепенно происходили переливы, перемещения толпы – и Ольга Львовна тоже стояла уже не в заднем ряду, но её втягивало и втягивало в гущу, затем уже и в сквер.

Перед вечером стали подъезжать то грузовики, то груженные фургоны, телеги – и толпа как-то отсачивалась, пропускала их внутрь. Они привозили, и с них разгружали – или тут же на снег, в сквере, или таскали внутрь через крыльцо – зачем-то боевую амуницию, патроны, бочки со сливочным маслом, мешки хлебных буханок, свёртки кожи, неизвестного содержимого ящики, – всё почему-то должно было быть загружено в Таврический дворец.

Между тем осмерклось, и стало темнеть, а ничего так и не происходило, давление смешанной солдатско-штатской толпы стало ослабевать: одни вовсе уходили, другие пачками врывались внутрь. Ольга Львовна была уже близка к крыльцу – и в одной из таких пачек тоже прорвалась. Хорошо, а то уж замерзала.

Но и внутри дворца был такой же ерлашный вид, как и снаружи: пореже, но такая же смешанная безалаберная толпа, не знающая, чем заняться, а у стен круглого Купольного зала было навалено и ещё наваливалось всё это привезенное – и если верно говорили, что часть ящиков с порохом, то довольно было одной брошенной в ту сторону папиросы, – а их бросали, – чтобы дворец взлетел со всей торжествующей массой ещё прежде, чем она узнала свободу.

Около взрывчатых веществ стоял часовой, но еле держал винтовку и чуть не падал. Ольга Львовна подошла к нему и узнала, что он поставлен уже много часов тому назад, но его забыли, никто не приходил сменить.

– Братец! – сказала Ольга Львовна. – Так давайте я за вас постою, а вы пойдите добейтесь, чтобы вас сменили.

Молод был солдат, но своё дело знал, только усмехнулся:

– Нет, сестрица, не имею права уйти без разрешения офицера.

Кругом проливался и вращался невообразимый хоровод, и сотни солдат с винтовками без дела, – но этот солдатик не мог уйти без разрешения офицера!

Ольга Львовна горячо взялась помочь ему – офицера она пошла искать сама. Это надолго её заняло, глаза её стали несправными и не разглядывали просто так, что творится, а искали дело. Много ей пришлось проталкиваться, много порасспрашивать – но какой-то офицер в конце концов согласился пойти и сменить, и нашёл сменного солдата.

А затем Ольга была награждена тем, что из одного вихря, быстро продвигающегося через толпу, выделился и Александр! – и она успела пересечь ему дорогу и стать перед ним, сияющая.

Разделить с ним нагрывшую великую народную радость – и в самой таврической гуще! Да просто посмотреть, как он переносит этот день.

Он был струнен, бледен, молод, очень спешил – и сильно нахмурился, вдруг увидав её.

Такое соседство унижало его в историческую минуту? Она вдруг сейчас это поняла и застеснялась.

– Зачем? – спросил он тихо.

– Просто порадоваться! – оправдывалась она. – Просто... дома не могу.

Пожал плечами:

– Ну, как хочешь. Прости, тороплюсь отчаянно.

И уже направлялся дальше.

– Ты когда же домой?

– О, нет! – отчуждённо улыбнулся он. – Мы все здесь теперь пленники. Нет, это исключено! Ни сегодня, ни завтра, не жди.

– А – как же?...

– Тут – на столах, на кушетках, – улыбка стиралась, уже уходил.

– Слушай! Звонили много!

Махнул рукой. Теперь – уже не имело значения, да, телефон устаревал в полчаса.

Ждала встретиться не так, но всё равно была рада. В такой день ни на кого, ни на что нельзя обижаться! Что была вся жизнь до сих пор – её, их обоих, всего их круга? – всё дыхание их было в Освободительном Движении.

И вот – оно взнеслось фонтаном!

О Екатерининском зале уже кто-то пустил словцо: Храм Народной Победы. В этом торжественном несравненном зале, где Потёмкин когда-то закатывал немислимые балы в честь императрицы, между двумя спаренными рядами коринфских колонн, под семью ослепительными люстрами, каждая из трёх светящихся кругов, – и сегодня как будто открылся бал, но уже не вальсировал петербургский высший свет, а – кружился хоровод демократии! Хоровод небывалых тут гостей, не снявших верхнего платья, ни шинелей, не отдавших винтовок, перемесь простонародной солдатни и разночинной интеллигенции, домучившейся, дожившей до самого великого из праздников, какого и этот зал не знал, от взятия Измаила. И сверху, на балюстрадной галерее толкались такие же странные гости, оттуда улыбались и помахивали.

Да как много мелькало знакомых лиц, вся петербургская интеллигенция! Ольга Львовна кое с кем здоровалась издали, не сближаясь, как бы перемещаясь в общем сложном танце тесноты.

И вынесло её снова к дверям в Купольный зал – и там у колонны увидела она только что вошедшего крупного старика в чёрном, с крупной благородной головой, – как он стоял с палкой, ровный, и смотрел на зал в изумлении. Увидела – и сразу узнала его, потому что лично хорошо знала, жена его сына была близкой подругой Ольги Львовны: Герман Лопатин!

Герман Лопатин! И вот кого притянуло сюда! Именно он – здесь! В такой день!

Да он – не больше ли всех заслужил этот праздник? Не больше ли всех он вложил в Движение? Личный друг Маркса и Энгельса! Член Совета 1-го Интернационала! Переводчик «Капитала». Автор отчаянной и неудачной попытки освободить из ссылки великого Чернышевского! И легендарный старший брат народовольцев. И 18 лет каторги! И почётный судья в споре Бурцева и Азефа.

Да кто же тут был сейчас почётнее его!

Ольга Львовна, выбиваясь из танцевального круженья, с радостью направилась к нему, нельзя было быть награждённою лучшей встречей сейчас: – Герман Александрович! Сразу узнал и он её, и тоже обрадовался. Впрочем, простая минутная радость не держалась, не могла сейчас удержаться на его великолепно-торжественном прибородом лице. Вполголовы выше толпы и зачарованно глядя на это кружение, так что даже выступил пот на его выкатистом лбу, без шапки, – он даже не просто стоял, но участвовал сейчас в мистическом обряде.

– Ны-не от-пу-щаеши... – сказал он проникновенно, медленно, густо, смотря даже не на Ольгу Львовну, а на кружение этих голов, из которых не всем, не всем дано было понять всё значение акта.

Оказалось: живя за городом и взбудораженный утренними известиями из города, он после полудня тронулся сюда пешком, потому что найти извозчика было невозможно, да он и хотел так, и обязан был так – пешком, не пропустить ни одного шага, ни одного взгляда. И прошёл пешком больше двадцати вёрст, это в 72 года!

Ровно стоял. И всё смотрел через малые на нём очки – на зал, на зал, на собеседницу редко. И говорил тихо, отчётливо, не наклоняясь к ней:

– Вот – день, которому я принёс в жертву всё, с ранней молодости.

Стоял, иногда закрывая глаза.

– Теперь я могу и умереть. Счастливей – я уже не буду. Ещё закрыл глаза. Открыл.

– Хотя нет. Теперь – хочется пожить ещё немного. Посмотреть, как скоро всё устроится. И Россия заживёт наконец. Счастливой, свободной жизнью.

Расцветёт наша Россия как цветок в прекрасном саду.

Они нашли потом, где сесть, уступили им кресло и стул. И сидели рядом молча.

Переполненные счастьем.

137

Перечитывал, вчитывался в письмо Аликс – и как сразу растеплилось, согрелось, породнело всё вокруг! Как сразу не одинок!

Большое письмо – и одну за другой каждую милую подробность прошедшего дня мог представить. И как нежна к его пришедшим двум письмам, и как одинока, не с кем поговорить. И всё время в уходе, Аня больна и капризничает, слава Богу две младших держатся и помогают. События в городе не так страшны, совсем не Девятьсот Пятый, вся беда от этой зевающей публики, хорошо одетых людей, курсисток и прочих, которые и подстрекают к волнениям. И – ещё о детях (готов перечитывать без конца): у кого какая температура, у кого как болит. Ездили на могилу нашего Друга – и вот тебе кусочек дерева с Его могилы, где я стояла на коленях. Солнце светило так ярко – и я ощущала спокойствие и мир на его дорогой могиле. Вера и упование! Так спокойно, что и ты был у дорогого образа Пречистой Девы. Но твоё одиночество должно быть ужасно – окружающая тебя тишина подавляет моего любимого! Навеки твоя старая Солнышко.

Кусочек щепы – уж вовсе лишний, поклонение Аликс Григорию просто культ, – но слава Богу душа её мирна, и мир обнимал Николая. Распечатывая письмо жены, он всегда мог ждать и строгости, и упрёков, и выговора – и растеснялась его душа, когда ничего этого не было.

Даром ответным сейчас же хотелось и поблагодарить. И – тотчас же, отчётливо, крупно на телеграфном бланке: сердечно благодарю за письмо! Выезжаю завтра днём в 2.30. (Теперь уже скоро свидимся, недолго ждать! Но чтоб ещё успокоить). Конная гвардия получила приказание немедленно выступить из Новгорода в Петроград. Бог даст, беспорядки в войсках скоро будут прекращены. Всегда с тобой...

Но телеграмма так мало выражает! А если тотчас отправить и письмо с вечерним поездом – оно почти на сутки опередит самого. Моё сокровище! Нежно благодарю тебя за твоё милое письмо. Как я счастлив при мысли, что через два дня мы увидимся! После вчерашних известий из Петрограда я видел здесь много испуганных лиц. К счастью, Алексеев спокоен. Он полагает, необходимо назначить очень энергичного человека, чтобы заставить всех министров работать. (Хотя и отвергнутая, мысль зависла в Николае). Беспорядки в войсках – удивляюсь, что делает Павел, он должен был бы держать гвардию в руках. Благослови тебя Бог, моё дорогое Солнышко, крепко целую тебя и детей...

Едва отправил – а вот и опять Алексеев. А вид-то больной, один сплошной сохмур, глаз совсем не видно, плечи поджаты, на щеках красные пятна.

– Ах, достаётся вам, Михал Васильич! Зря, наверно, вы приехали, ещё бы в Крыму пожили.

Хотя, конечно, ко времени, для подготовки весеннего наступления.

А пришёл Алексеев, опять держав руках голубые бланки телеграмм, две.

И обе – от военного министра. Совсем свежие, поданные 20 минут назад.

И, странно: между их подачей был перерыв всего в семь минут – за 7 минут происходило новое событие?

И Алексеев, на этот раз, поспешил с ними тотчас.

– Ну, сядьте, ради Бога!

В первой докладывал Беляев, в противоречие со своей сегодняшней дневной телеграммой, что военный мятеж погасить пока не удаётся, напротив – многие части присоединяются к мятежникам. Ещё начались пожары, и нет средств борьбы с ними. И, чего

не просил за семь часов до того: что необходимо спешное прибытие действительно надёжных частей – и притом в достаточном количестве, для одновременных действий в разных частях города.

Вот так-так. Николай кинул испытующий взгляд, на собранную хмурость севшего Алексеева.

Во второй, через 7 минут, Беляев сообщал, что правительство объявило Петроград на осадном положении, а Хабалов проявил растерянность.

Но Хабалов – и просил войск на семь часов раньше, когда Беляев успокаивал. Что же воистину творилось в Петрограде и с людскими мозгами?

И больше – не было телеграмм в руках Алексеева. Ах, как бы прояснила и помогла телеграмма от Протопопова! Но – ни слова от Протопопова.

Защемило-защемило сердце. Как тяжело – ничего не понимать, быть в отдалении, а семья – там рядом, может быть в угрозе?... И некому открыться в этой защемлённой тревоге, и нельзя посоветоваться с Аликс!

Но разговор с Алексеевым теперь был уже прост, нечего стесняться. Ясно, Михаил Васильевич, что надо посылать в Петроград войска. И срочно. И много. И немедленно.

Сжатый, серый, неподвижный Алексеев был вполне согласен.

Полков несколько? Пять, шесть?

Да, и с разных фронтов, чтобы не ослаблять никакого.

И конницу, и пехоту?

Да.

Так займитесь этим, Михаил Васильевич.

Алексеев поднялся.

По крайней мере главный вопрос был решён сразу и без колебаний. Стало сразу и легче.

Да, но вопрос: кого же поставить во главе посылаемых войск?

Кого бы? Ну уж, генералов ли не было в русской императорской армии! Генералов долгой, сплошной, блистательной службы, столько раз отблагодарённых на манёврах и смотрах, осыпанных орденами, потом и за бои! Но так сразу решительного, опытного, умелого – вот и не назовёшь. Надо признать, Суворова между ними всё-таки нет. Да разве на такое неблагородное дело, разгонять тыловую банду, – Суворова? даже стыдно и подумать. Как там ни серьёзно в Петрограде – но не настолько же. Да вот хоть Гурко вызвать, Гурко на близкой памяти, но и его жалко отрывать от гвардейской армии, да и пока приедет.

– А вот что! вот что! – вдруг осенило Государя. – Может быть, Николая Иудовича?

Действительно, ближе и быстрее назначить было некого.

Алексеев кисло морщился, от недоумения?

Вот мысль! Вот замечательная мысль! Государь был очень доволен своей находкой. Ведь Иванов сохранил ранг главнокомандующего фронтом, и генерал-адъютант, и крупный опытный полководец, и бесконечно предан. Георгий трёх степеней, золотое оружие с бриллиантами. И – свободен сейчас от должности. И – под рукой (в вагоне на могилёвском вокзале), просто ждущий «распоряжений» при Ставке, но никаких распоряжений он до сих пор, уже год, не получал. (Люди думали, что он так готовится чуть не на руководство всей Действующей армией, а Государь просто жалел его после отставки с Юго-Западного, куда деть старика? – вот и жил для почёта). Да позвольте, да он приглашён к моему обеду, сейчас будет здесь! Так я ему и объявлю. (Удовольствие первому объявить лестную весть). А вы уже затем введёте его в детали.

С Николаем Иудовичем было связано ещё одно воспоминание: это именно его фронтовая георгиевская дума наградила Государя крестом. И Государю было невыразимо приятно: он сам никогда бы не решился намекнуть, попросить, – а как же водителю русской армии и без георгиевского креста? Не то чтоб сию минуту он это вспомнил, нет, но

благодарная память всегда присутствовала в нём.

А – в качестве кого мы его назначим? – предусмотрительно осведомлялся Алексеев. – В какой должности?

Подумали. Если ему действовать в Петрограде – то не может существовать в Петрограде сразу две военных власти. Да и Хабалов осрамился. Значит: командующим... нет, даже, с сохранением ранга, Главнокомандующим Петроградским военным округом.

Но войска будут с разных фронтов, собирать их надо где-то под Петроградом, соображал Алексеев. А сам он с чем поедет? Какие-то хоть малые силы надо послать при нём отсюда.

Верно.

Соображал Алексеев, съёженный болезнью:

– Батальон георгиевских кавалеров?

Опять прекрасная мысль! Храбрецы на подбор, ни у кого не меньше двух крестов, и тоже – рядом. (Символически охраняют Ставку).

Алексеев, бережно переступая, пошёл распоряжаться, – как всегда свободный от обязанности быть на высочайшем обеде.

А уже – и время обеда. И выйдя к собравшимся, откуда начинали закусывать и пить по рюмке стоя, – увидел Государь и самого Иванова, простого, немудрёного, утопающего в лопатной бороде, – а что за молодец: с вереницей крестов, георгиевским оружием, в ремнях и при шашке – очень воинственен! И не стар: 65 лет – разве это для генерала старший?

Но неприлично было тут же, при всех, объявить ему о назначении. И невозможно было, нарушая распорядок, остановить обед, а Иванова увести к себе. Этикет есть этикет, и ближайшие полтора часа должны были быть отданы обеду.

Ставка считается постоянно «в походе», и потому из сервировки исключены все бьющиеся предметы, все тарелки, рюмки – серебряные, вызолоченные внутри, и подают лакеи в солдатской форме.

И только мог Государь – выделить Иванова своим вниманием, усадить его близ себя и навести расспросом – как Николай Иудович давил бунты в Девятьсот Пятом.

Чрезвычайно польщённый, сияющий генерал стал рассказывать, а рассказчик он был знатный! И все слушали с поглощающим вниманием, угадывая как бы намёк и надежду.

Широко, добротнo рассказывал Николай Иудович, как он давил бунты без единого выстрела, лишь умением обращаться с солдатами. Знаменитые случаи в Харбине, в Кронштадте. Николай Иудович был сторонник мягких действий – не расстрелы, не военно-полевые суды (он не утвердил ни одной казни), а – поставить на колени, образумить, применить розги.

От всего простонародного, простосолдатского, бородатого вида генерала Иванова исходило надёжное успокоение. Вся свита повеселела, и Государю тоже стало намного легче.

Генерал сиял от необычного общего внимания – а ещё не знал он, какое ждало его почётное назначение.

Даже хотелось Государю послать Иванова прямо сегодня же, до полуночи, не дожидаясь завтрашнего утра, – но так быстро было бы безжалостно требовать от старика. Да и – разная подготовка.

Тянуло позывною тоской и самого Государя: как ещё долго-долго он не поедет в Царское, только завтра днём. Уже так увядал он быть без Аликс и без детей!

Особенно первые минуты в Таврическом Гиммер был исключительно счастлив!

В Государственной Думе он прежде бывал только среди публики, на хорах. А теперь – тут все были уже не гости. И не раздеваясь, да и не работал гардероб, в шубе, шапке и галошах Гиммер пошёл через Купольный зал, через Екатерининский, – и с интересом

рассматривал необычную дико-пёструю публику на торжественном фоне десятков колонн.

Но вот что он понял уже через пять минут и совершенно замечательное: если не считать солдат и другого бессмысленно бродящего народа – тут было очень много интеллигенции, и все узнавали всех! Здесь все – друг друга уже знали, если не знакомы, то в лицо, каждый с каждым когда-либо где-либо уже встречался, хотя бы в каком-нибудь заседании. Да что ж удивляться! – не так-то, увы, велик социалистический радикально-интеллигентский Петербург, вот он и весь здесь, вот он и стёкся.

И Гиммер на каждом шагу встречал знакомых, а значит сразу включился во все сведения и слухи. Тут он ещё раз убедился, что и по телефонам вызывал: за все эти дни, кроме пятёрки большевицкого ПК да нескольких кооператоров в Рабочей группе, никто в Питере не был арестован – вот растерялись! Тут он и сразу узнал: что руководящий холоп царизма, бывший министр юстиции, при котором топили Бейлиса, уже сидит запертый в министерском павильоне с приставленными свирепыми часовыми! Это была замечательная подбодряющая новость! Затем: что Протопопов, наоборот, успел скрыться и не взят. Затем: разные случаи, где уже разгромили полицейские участки и убили немало полицейских. Затем: что Родзянко поехал в Мариинский дворец на переговоры с правительством, и думцы очень беспокоятся, благополучно ли он вернётся.

Да, но главное! но главное! – как бомба чернобородая налетел на Гиммера Соколов: уже создан Совет Рабочих Депутатов! и Соколов – член его! и Гиммер – сейчас тоже будет член!

И поволок его в коридор правого крыла.

Гиммер стремительно соображал. Вот как? – уже Совет рабочих депутатов? С одной стороны, это хорошо, и отчего же в нём не участвовать? А с другой стороны, это как бы претензия на власть? А – рано, рано, испугает буржуазию.

В комнате за большим столом уже сидела радикальная партийная публика, но ещё свободные стулья были, и для Гиммера. А над ними всеми сторожливо возвышалась крупная красивая голова Нахамкиса. Вот как? Перебирая возможных лидеров начавшегося движения, о Нахамкисе Гиммер как и позабыл: ну, потому что годы войны он очень себя оглядливо вёл, таился, сторонясь партийной публики, дискуссий и публикаций, тихо жил на даче на Карельском перешейке. И даже позорно клячил у царя сменить фамилию, пригласить. Уже думали – он совсем обуржуазился, – а вот?...

Ну что ж, он имеет право. Он – и член Совета Девятьсот Пятого года. И по фигуре, и по замашкам, и по характеру – он будет претендовать на лидерство, конечно. Ну что ж, разделим. Теоретической стези – ему всё равно не одолеть, тут Гиммер ни с кем не сравним.

Но посидел Гиммер немного членом Совета – и стал изводиться: скучно. (А Соколов ещё раньше убежал). Куда до теории – они все были заняты минутной практикой: как набрать депутатов, когда открыть, – и как кормить бродячих солдат, если их не накормить, они сметут и всех нас, надо разыскивать по городу продовольственные склады, обирать их и везти в Таврический, и тогда можно будет сплотить солдат. Вбегали и выбегали Франкорусский, Громан, куда-то слались грузовики.

И пожалуй, они правы, должен был согласиться Гиммер. Обстановка момента такова, что надо сосредоточиться, увы, не на большой политике, как тянуло его по нутру и по специальности. Начинать сразу действовать политически – это только спугнуть буржуазные цензовые круги и помочь неумеренным группам – большевикам, межрайонцам. Да! Нет! Совету надо пока сосредоточиться на технике революции, а ею владеет только революционная демократия, от буржуазии тут не дождёшься.

Но час истории – вот-вот стукнет. Вся демократия пусть занимается техникой, а Гиммер не мог искалечить сам себя. На свою долю он должен был оставить создание передаточного механизма от политики к технике. Сейчас – он хотел бы провести политическую разведку, ориентироваться в настроении буржуазных кругов. Сейчас дело не в Совете, а – в буржуазии. Если даже в умах думской левой, как Гиммер уже понял по первым сотычкам в зальной толпе, ещё и не вентилировался вопрос о взятии революционной власти

– то колыми паче должны быть не готовы ни к чему такому буржуазные круги?

Ушёл с Совета, вышел в Екатерининский зал – и вдруг увидел: идёт Милюков!

Не идёт – ходит!

Не ходит – расхаживает! Твёрдой походкой, и с твёрдой посадкой седой решительной головы. Ах, как верно! Казалось бы: отчего не сидеть в удобном кабинете, зачем толкаться в этом беспорядке? А – верно: в такие минуты вождь – должен показать себя: что он – существует, что он – думает за всех. Вот: ходит – и думает. В ожидании какого-то важного часа? события? Среди мелькания и баламутного движения старается выдержать прямую линию, как будто никого не замечая, никого не ища, никого не видя. Если к нему подходили, заговаривали – то он так явно неохотно отвечал, его оставляли. Он должен мыслить и ходить один.

И – какой умный, благородный, респектабельный вид. О, вот с кем Гиммер сейчас хотел бы поговорить! Со всеми его буржуазными ошибками – это единственный великий человек, изо всех цензовых. И они – равны теоретическими умами! Но Милюков этого не знает, они совсем не знакомы, и он не сочтёт подошедшего за личность, не станет разговаривать. Досадно всегда мешает и несолидный, щуплый вид.

И Гиммер – не подошёл. С большим сожалением. А пошёл на разведку – в левое крыло дворца, куда совсем не пёрла пришедшая публика, и где оставались властные думцы и их порядки. Но можно было свободно идти, приставы не дежурили.

И даже – прямо в кабинет уехавшего Родзянки. В просторном его кабинете с одной зеркальной стеной, отчего он удваивался, собрались кто хотел и беседовали в разных местах за столами и в креслах. Верхом на стуле, как на коне, сидел разудалый терец Караулов в черкеске и разговаривал с прогрессистом Ржевским. А уж с этим вежливым уступчивым господином Гиммер был слегка знаком – подсел, и стал задавать ему коварные вопросы. Караулов-то всегда за восстание и переворот, был готов и сейчас на всё решительное, но он в Думе выродок и нетипичен для буржуазных кругов. А Ржевский – ни мычал, ни телился, просто совсем не представлял, что теперь будет и надо дальше.

Свободно перешёл Гиммер в соседний кабинет, товарища председателя, Коновалова, очень известного дружбой с левыми. У Коновалова сидел лидер прогрессистов неуёмный Ефремов. Так! Не проверяя знакомства, прямо и строго спросил их: как и кто будет создавать революционную власть?

Чистенький прилизанный толстый мануфактур-советник, в золотом пенсне и ослепительно выбритый, Коновалов только моргнул, моргнул, не понимая, что-то протянул, вежливое однако. А Ефремов, с разлохмаченной бородой, в своё пенсне посмотрел остро-искоса – и только хрюкнул.

Не понимали даже, о чём речь. О, убожество! Да-а-а... Ушёл от них, сильно расстроенный. Значит, наивны были его мечтания заставить буржуазию взять власть? Но если демократии взять на одну себя эту тяжесть – то ведь придётся бороться с объединённым царистско-прогрессивным блоком...

А в Екатерининском всё так же толкались, бродили, маячили (Милюкова уже не было), и солдаты плевали на паркетный пол. Набегал знакомый меньшевик Броунштейн: он только что, по пути сюда, прошёл большую часть города и навидался. По городу – полная анархия, солдаты всё грабят и громят, – и это несомненно погромно-полицейская провокация черносотенных банд, этих солдат безусловно науськивает чёрная сотня – какой для неё случай разгуляться в отсутствие власти! Предводительствуют бандами вне сомнения переодетые городовые! И ещё стреляют с чердаков, чтобы провоцировать толпу на погромы. Броунштейн доказывал каждому, с кем разговаривал, что надо немедленно посылать во все районы группы вооружённых рабочих, давить анархию, пока не начался еврейский погром. Только рабочих, а на солдат полагаться нельзя, это разгульный элемент.

Но где их возмёшь, вооружённых сознательных рабочих?

Набегал и доктор Вячеслов, тоже меньшевик, левый интернационалист, известный в левых кругах врач, который не прекращал толковать о политике даже во время

выстукивания, выслушивания и впрыскивания дифтеритной сыворотки. Вот он тоже был здесь и, на коротких ножках суматошно бегая от одного к другому, от одного к другому знакомому, каждого переполошенно хватал за лацканы пальто или сюртука:

– Слушайте! На Петроград снаружи движутся свежие полки! Мы будем раздавлены! Организуется ли кем-нибудь какой-нибудь отпор? Что делает штаб обороны? Надо сейчас же открывать заседание об обороне революции!

И сказав одному, бежал дальше повторять следующим.

О, чёрт побери! – действительно не стукнул час теории, а нужна была – техника революции. Действительно, положение всей революции и всех их в Таврическом было весьма критическое. Пока они тут, по залам и коридорам, убеждали друг друга – а вся эта лаборатория революции плыла в пустоте, всеобщей анархии и зареве пожаров. Не то что батальона или роты, но даже взвода организованных солдат не было на её защите. Исчезновение офицеров объяснимо, поскольку их целый день разоружали, преследовали, даже убивали, – но вот оно становилось опасным для революции. Сейчас в Таврическом офицеров мелькало немало, но все – или приведены как арестованные, или сбежавшиеся беглецы, – и ни у кого никакой подчинённой команды. А революционные демократы – не обладали никакими военными знаниями. Даже успех восстания по городу – совсем не ясен, придуман, в чём и где уж такая победа? А правительственный паук даже тут, в Петрограде, может быть готовит смертоносный удар, может быть в Петропавловке: ведь сколько наведенных пушек и сколько солдат на стенах. Да может, через несколько часов они просто возьмут революцию голыми руками? А ещё же – миллионы Действующей армии все в руках царя. А тут – какой-то штаб обороны? Библиотекарь Масловский да с ним несколько невразумлённых? А заняты ли вокзалы против возможного прибытия царских войск? Никто этого не знал в Таврическом, да и кем бы они могли быть заняты, если ни одной организованной части? Взяты ли казначейство, телеграф? – никто даже не задумывался. Какие части гарнизона ещё совсем не перешли на сторону революции – и послан ли кто агитировать их? Никто не знал. Какие-то экспедиции снаряжались тут, перед Таврическим, но по расхлябанному, говорят, их виду трудно предполагать, чтоб они куда-нибудь доехали.

И Гиммер, теряя теоретическую высоту, сам стал метаться от одного к другому, как Броунштейн и Вячеслов. И вдруг – увидел необыкновенность: в Купольном зале стоял стройный подтянутый вооружённый молодой прапорщик с картинно смелым бритым лицом, открытым лбом, светящимися глазами и нескрываемой улыбкой радости. Это никак не был беглец, только что избежавший солдатской расправы, – нет, он просто радовался всему тут окружающему, впивал его и ждал уверенно.

И тут же – Гиммер узнал его, только не мог вспомнить фамилии: да, этот прапорщик представлялся ему на днях! Искал путей к революционной работе.

Узнал! Фамилию не вспомнил, но вспомнил кличку. И подошёл к прапорщику быстро:

– А, Ясный! Это вы?

Тот просиял – и ещё вытянулся, как перед строевым начальником. И заговорил, захлёбываясь от удовольствия, что целый день он действовал, что это так необыкновенно, он так рад служить революции, он и его команда...

Ах, и команда есть? Революционный офицер, да ещё и организованная команда! Это как раз и требовалось Храму Народной Победы! Не объясняя ему, как всё сложно и опасно, молодой энтузиазм в том не нуждался, – Гиммер сразу схватил его за рукав шинели – и потянул, и потянул – в штаб обороны, в левое крыло.

Они раздвинули перед дверью ожидающих, штатских и солдат, любопытных или посыльных, – и вошли внутрь. И Гиммер всё тянул, тянул прапорщика – прямо к Масловскому.

А тот – сидел в простом затрёпанном пиджаке, не в кителе даже, на бок склонённая голова, усталый, кислый, на десять лет старше своих сорока, вид его показывал, что отвратителен ему этот штаб обороны, и эта оборона, и он, вот, досидит и уйдёт, и ни во что он не верит, и какой зачем прапорщик?

И это был – глава штаба обороны! И это был испытанный эсер!

Правда, рядом с ним чернел мундир бодрого морского лейтенанта, и тот сразу принял прапорщика.

А Гиммеру – и хватит, Гиммер уже поработал на технику. Сказал, что знает этого прапорщика по революционной работе, ручается, – и ушёл. Предстояло к открытию заседания Совета рабочих депутатов обдумать для него общую политическую стратегию, может придётся её излагать.

В правом крыле дворца сгущалась теснота, толпились солдаты с винтовками и рабочие, все не раздевшись и не снимая шапок. Так это – не собранные ли, выбранные уже депутаты? Увы, нет. Аккуратный Эрлих толкался, спрашивал, есть ли мандаты, кто депутат? – его и не понимали. Всё же он кое-кого записывал в бумагу и втягивал в комнату Совета как депутата. И при этом на заводимого цепляли красный бант, если ещё не было.

У Гиммера тем более уже был мандат от Эрлиха: «представитель социалистической литературной группы».

Очень громко распорядился и много бегал Соколов.

Совет уже прихватил себе две комнаты. В просторной, 12-й, рассаживались: ведущая радикальная публика – за большим столом, а для солдат и рабочих положили вдоль стен на стулья какие-то доски, и вносили ещё табуреты и стулья. Да всего-то, вместе, не наскребли ещё и полусотни, неудобно было начинать Совет.

Солдаты больше сидели чинно и молчали. Стеснялись перед образованными. Другие, поразвязней, рассказывали соседям, как и что сегодня произошло.

А лица-то – какие тупые, неразвитые!...

Ужаснулся Гиммер: да кого ж тут назвали? да разве готовы они в серьёзное заседание? Да разве перед ними можно излагать теоретические проблемы?

А что они сами понесут, если им достанется выступать?...

139

Хоть и согласился Родзянко вынужденно на создание этого временного думского Комитета и председательствовать в нём, но грызло его, что это – неправильный путь, незаконный путь, и обходный, и никакое не решение вопроса. И он пока не придумал этому Комитету никаких действий, ни заседаний. А взял с собой законную думскую головку – одного своего заместителя, Некрасова, секретаря Думы Дмитрюкова, одного лидера фракции, как раз не вошедшего в Комитет, октябриста Савича, – и именно с ними поехал на свидание с великим князем.

Родзянко имел такие цели. Спасти монархию. И не дать взбунтоваться самой Думе. И – может быть самому взять правительственную власть, – но только прямым законным государственным путём. Он был потрясён арестом Щегловитова: пусть политический противник, но занимал совершенно такое же положение в верхней палате, как Родзянко в нижней, и его арест был как бы зеркальным отображением ареста самого Михаила Владимировича, если дела пойдут вот так же. На аресте Щегловитова ещё прочней уяснил Родзянко, что надо искать законного пути, иначе всё погубило. (А со Щегловитовым что ж сейчас делать? Освободить его – значит только подвергнуть самосуду толпы).

Если бы Государь был в Царском Селе – Родзянко поехал бы к Государю. Теперь же – он ехал к его брату, единственному тут сейчас, кто мог бы помочь, нося на себе обаяние царского имени.

На автомобиль Председателя кто-то уже насадил спереди красный флаг – и на глазах возбуждённой солдатской массы было бы теперь рискованно этот флаг содрать. Пришлось с невозмутимым или даже довольным видом так и поехать. И на оба воскрылья прилегли по солдату с винтовками, штык вперёд: хотя и холодно было там лежать и свалиться можно, но за эти места почти дрались, всем понравилось. Да охрана автомобиля и полезна, но с каким это грозным видом!

Район до Троицкого моста считался эти часы своим, тут бушевал мятеж, и автомобиль с красным флагом ехал свободно.

Со стороны если кто узнавал Председателя Думы, странно он выглядел, наверно: как вождь революции.

А – никак им не был, и запретил бы всем так думать!

У Троицкого кто-то из кучки на пути махнул рукой, задержал автомобиль. Спросили, кто. Пропустили.

А дальше по набережным было совсем пустынно, и никто не задерживал, поехали совсем свободно. Эта пустынность в ранний вечер была необычна. Странная революция: проезжай по городу, куда хочешь. Родзянко велел остановиться и снять красный флаг. Спрятали его на пол автомобиля.

Проскочили мимо Зимнего, мимо Адмиралтейства, завернули у Сенатской площади, так же пустынно, миновали Исаакий и выехали на Мариинскую площадь. Здесь народа было побольше, движение в разные стороны. У входа во дворец – две пушки и караул.

Приехавших пропустили без задержки. Самый крупный и тяжёлый из всех, Родзянко сильным нетерпеливым шагом поднимался, всех обогнав.

С завистью заметил, что порядок здесь соблюдался: никаких подозрительных посторонних лиц, никто не рвался с оружием, на местах все служители в ливреях. Только не было верхнего света, все переходы и залы мало освещены.

От ротонды предупреждённый служитель повёл приехавших на сторону Государственного Совета, потянул перед ними палисандровую дверь, инкрустированную бронзой и перламутром, – и тут с неприятностью сообразил Родзянко, что входил в кабинет председателя, значит – Щегловитова.

Опять как символ. Щегловитов сидел в министерском павильоне запертый, ключ в кармане у Керенского, а Родзянко тут незванно входил в его же кабинет, как бы действуя заодно с Керенским.

Но и раздумывать и менять было поздно: уже великий князь Михаил сидел тут, не чинясь, что пришёл первый, и ждал. И легко, не царственно поднялся навстречу. Он был строен, с узкой, низкой талией.

С ним был только его неизменный секретарь, англичанин Джонсон. Думцы перездоровались с великим князем. Расселись за отдельным шестисторонним столом с инкрустациями, окружённым шестью стульями.

Неотверделое лицо великого князя, как всегда, не имело своего напряжения, своей заданной мысли, но открыто недоуменно смотрело на собеседника.

А голова у него была вся обритая, как у солдата, лишь чуть подросло.

Родзянко знал своё постоянное влияние на великого князя и теперь со всей тяжестью своего авторитета, вида и голоса, очень строго стал ему внушать. (Но – как бы советуя только).

Вот каково было его рассуждение. Сперва – о положении дел в столице. Где что делается, что произошло за один сегодняшний день. Власть расшаталась – и её больше как бы нет реально, в Петрограде начинается самое страшное – народная анархия.

Тут, прослышав о приезде, вошли министр-председатель князь Голицын и военный министр Беляев. (Родзянко звал его генералом Пфулем). Не очень они были Родзянке нужны, и даже странное положение: как будто возглавители другой воюющей стороны, вот они мирно подсаживались к тому же столу. Голицыну нашлось шестое место, а маленький Беляев с оттопыренными ушами сел сбоку сзади него, ещё как бы уменьшившись. Нисколько не стесняясь присутствием этих теней, Родзянко продолжал.

В такую минуту на обязанности лиц ответственных и поставленных высоко – спасти положение. Спасенье ещё возможно сейчас, сию минуту, – и оно в руках одного великого князя!

Всё отражалось на впечатлительном, отзывчивом и нетвёрдом лице Михаила. Он как будто удивился – но вместе как будто и обрадовался: частный житель Гатчины, правда и

генерал-инспектор кавалерии, – вот уж он не ожидал, что может спасти Россию. Именно он?

И хотя трудно виделся в этих чертах властный спаситель России, – да, именно он! – с растущей надеждой, густо непререкаемо внушал Родзянко. Именно: из-за отсутствия Государя и трудности связи с ним – прерогативы невольно ложатся на Его Императорское Высочество. Он должен сейчас, немедленно, явочным порядком, не дожидаясь утверждения, принять диктатуру над Петроградом, понудить правительство немедленно уйти в отставку в полном составе, а от Государя потребовать по телеграфу дарования министерства, ответственного перед Думой. А уж Дума такое министерство сформирует мгновенно, в один час.

Родзянко гонко и настойчиво всё это выложил. Нисколько его не смущало присутствие здесь главы так называемого правительства: это правительство они, Дума, уже много раз гнали вслух и открыто, вот ещё один раз! Хуже этого бездеятельного Мариинского дворца нельзя было ничего придумать. Впрочем, Родзянко уже отведал и топкость, неустойчивость Таврического. И теперь между двух опасных болот нужно было найти одну твёрдую тропинку.

Оба министра настолько были ушиблены и потеряны, что и не пытались возражать в свою защиту. Однако резкое возражение услышал Родзянко позади себя: то был ещё к ним вошедший Крыжановский, ныне секретарь Государственного Совета, а годами виднейший государственный чиновник, когда-то и автор конституции 1906 года, и третьиюньского избирательного закона, и заместитель Столыпина по министерству внутренних дел. Он теперь наступил с упрёками Родзянке, что тот арестовал Щегловитова.

Родзянку проняло, очень обидело, он обернулся и честно стал объяснять, что – не он арестовал, он сделать ничего не мог, потому что сила у толпы и почему-то у Керенского. (Вспомнил «революционный закон» Керенского. Отсюда, из Мариинского, особенно было ясно: какой может быть «революционный закон» за два часа? до сих пор это называлось террором).

– А если так, – ещё возмущённой выговаривал всегда сдержанный Крыжановский, – если вы не хозяин даже у себя в Таврическом, то как вы берётесь быть хозяином в России?

Родзянко покраснел – и действительно не нашёлся возразить (про себя решив и челюсти стиснув, что сегодня же ночью он свой Таврический обуздает).

Крыжановский ещё продолжал, всё так же наступательно: что правительство уже пожертвовало Протопоповым. (Как?! Думцы ещё не знали!) Что правительство и само послало просьбу назначить диктатора Петрограда, но послало Государю, кто единственный только и может это решать. (Он – косвенно для великого князя это всё говорил). А Дума тем временем – виновница и глава революционного мятежа!

Так некстати он пришёл и так энергично повернул – сбил всё впечатление от родзянковского плана. И не сразу найдёшься ему возразить.

Да что теперь Протопопов! – махал Родзянко. Это поздно, нужно было раньше на месяц: бушует улица, и её уже не накормишь Протопоповым.

Тем временем набрался духу и запуганный князь Голицын и оправдывался перед Родзянкою, что он нисколько не держится за власть, что должности этой он не искал, взял её против воли, – и вот сегодня час назад послали Государю коллективную просьбу об отставке. И пока ответа нет – они сидят тут, во дворце, и рискуют арестом.

– Так уходите, в чём дело? – широкой рукой смахивал их Родзянко.

О нет, возражал Голицын: государев слуга не может уйти с поста самовольно, это бегство, это позор!

Действительно, тут были границы, которые забываются, когда знаешь, как топка стала почва и как бушует улица.

А если великому князю удастся восстановить единовластие и порядок – правительство будет только радо.

Но – не с *этим* правительством порядок был нужен Родзянке. Всё совещание пошло не так, как он хотел. А взятые им думцы, хоть и не брать бы их, молчали. Молчал и самый

левый кадет Некрасов в волковатой замкнутости, как он бывал.

А великий князь смущённо слушал раздоры, будто он был последний, кого это касалось, и не к нему было обращено главное увещание. Взгляд его был светлый, почти детский.

Родзянко однако не утомился – и снова доказывал, что он – не революционер, но планом своим именно спасает монархию. И нет другого выхода.

И Голицын стал уговаривать на помощь: да, пусть великий князь, хоть с превышением власти, но возьмёт на себя диктатуру – и тогда пусть сразу уволит правительство, оно согласно.

А великий князь чем дальше, тем больше, слушал их не с решимостью, но с грустью. И с грустью, и с мягкостью наконец возразил. Он – всегда поступает, как надо для блага родины. И – готов. И – всегда сочувствует Думе. Но... Что от него просят – это было бы похоже на...

Не выговорил – на что похоже. Не хотел никого обидеть.

Так он отодвинулся, печально улыбаясь, и испытывал явное облегчение.

Но Родзянко знал, какой же камень была бы эта неудача, какой же камень опять на его плечи! Своею нерешительностью этот нескладный великий князь всё губил! Упускались последние часы – и потом все будут жалеть! И для всей России будет поздно!

И – с новым напором уговаривал. Сейчас Его Высочеству есть ещё время собрать непоколебленные части гарнизона!

Ещё уговаривал – тщетно.

Ещё уговаривал – зря.

Ну хорошо, пусть так. Пусть Его Императорское Высочество не объявляет себя прямо диктатором. Но – **поговорить** со своим августейшим братом он может? Вот сейчас по прямому проводу? И всё это передать?

Может быть и говорить не так хотелось великому князю, но тут – из вежливости, из уважения – он согласился.

И преобразовалось это так, что начали тут же сообща составлять длинный текст того, что великий князь должен передать в Ставку от своего имени. Помогал и Голицын, и Беляев, и Крыжановский. Поговорить с Государем брату – это все одобрили.

Как **это всё** назвать? *Движение*. Оно приняло крупные размеры. И собственное мнение великого князя, что надо уволить весь совет министров, – и князь Голицын подтверждает это же самое. (А Родзянку при этом упоминать не надо, чтобы Государя не сердить лишней раз). И великий князь полагает единственно неизбежным, чтобы Государь остановил свой выбор на лице, которое *облечено доверием...*

Общества? Нет. Великий князь за такое не брался. Нет... Которое облечено доверием Его Императорского Величества – но одновременно пользуется и уважением в широких слоях... И на такое лицо возложить обязанности председателя совета министров. Совета, ответственного перед...?

У Родзянки не было сомнения: перед Думой! Иначе – никакого шага вперёд не будет сделано. Иначе – к чему весь этот разговор? При нынешнем положении на улицах...

Поддержали думцы. А те – молчали.

Эта тяжесть ложилась на плечи Михаила.

По его извинительному виду, при таких лихих разведенных белокурых усах, – нельзя было догадаться, как же он передаст.

Ну, хорошо хоть – согласился поговорить.

Положение, мол, чрезвычайно серьёзно, и не угодно ли будет Его Императорскому Величеству уполномочить своего брата безотлагательно объявить в столице о таком решении?

Великий князь не откладывал: встал, поблагодарил, всем ласково улыбнулся, всем подал руки. Он собирался теперь к прямому проводу со Ставкой в Главный Штаб. Но осмотрительный Беляев предупредил, что это может оказаться опасно, к Дворцовой площади

уже близки мятежники, уже насакивали. А можно поехать к нему на казённую квартиру, в довмин (дом военного министра), там стоит такой же дублирующий подсоединённый аппарат, да великий князь будет и чувствовать себя привольнее. Отлично, поехал с Беляевым.

Расходились и остальные.

Родзянко был сильно раздосадован такой слабостью великого князя, его неспособностью к государственным шагам. Но всё-таки не без последней надежды, что из этого разговора что-то и выйдет. И что Михаил назовёт же Государю его кандидатуру. (Если были бы наедине – он внушил бы это великому князю прямой). Родзянко просил Беляева непременно потом телефонировать в Думу, сообщить результат.

В ротонде думцы чуть постояли с министрами, собиравшимися на новое вечернее заседание. Министры все были в безнадежном обречённом состоянии и все ждали, что вот-вот ворвётся толпа. Они и в Мариинский дворец не все на автомобилях прибыли, а сходились и пешком, чтоб не обращать на себя внимания.

Между ними прошёл слух, что в Мариинский пришёл Гучков. И он – мог прийти, как член Государственного Совета. Но что-то покорило: это был как торжествующий налёт ненавистника. Говорили, и вид у него такой.

Родзянко уезжал, испытывая деятельное превосходство перед ничтожным бессильным правительством, всё запутавшим – и вот теперь подавшим в отставку. О, его правительство будет не такое! Оно властно повернёт Россию.

Они возвращались уже без охраны на крыльях, их грозные сопровождающие куда-то подевались. Их автомобиль теперь несколько раз останавливали мятежники или просто озорники. Но узнавая, что едет Председатель Государственной Думы, – громко приветствовали и пропускали.

А один раз они сами остановились, и шофёр снова прикрепил красный флаг впереди. Неудобно было воротиться без этого.

140

А ещё после всех передряг на Невском и на Знаменской площади памятной – остался Кирпичников опять один: опять ни единого знакомого лица – все разбились, перемешались, куда-то подевались.

А и вообще толпа редчала, загустило автомобилей, грузовиков, на них солдаты. Кричали тем автомобилям, глазели, махали.

Глядел на это всё Тимофей – и не верил: неужели это он один всё управил? Неуж вся эта чертопляска по всему городу с него единого началась? И вот опять он один.

Этим вольным можно глазеть и махать, у каждого какой-то дом, и впопоздн все разойдутся. А куда – солдату?

Солдату – в казарму, известно. Но куда – мятежному первому унтеру, зачинщику всей заворохи Тимофею Кирпичникову? А что, если в своей казарме как раз его ждут и схватят? Ночью, спящего – и схватят? Лучше б не туда идти. А больше некуда.

Взъерошил Тимофей целый Питер – а ни одного друга и заступника во всём Питере у него нет. Вот подкатит к военному суду, и ни у кого не спрячешься.

Так ли, сяк ли, раздумывая – а ноги сами его понесли к казармам. По Надеждинской.

Тут – волынцев увидел, троих, стоят. К ним. Курят, весёлые. На улице сласть солдату покурить, ведь до се запрещали. Нет, чужие, совсем незнакомые. Говорят – про раззор, про раззар.

Ни у кого и не спросишь, не посоветуешься.

Постоял с ними, дальше пошёл.

На углу Бассейной подумал – делать нечего, повернул к себе.

Сбоку так, подходя.

Фонтанная. Глушь уже, никто не ходит, где это всё многолюдство осталось? На

главных улицах. Ну, никого.

И сколько сегодня Кирпичников бесстрашно шёл против солдатских цепей, против стрельбы, насколько утром превозмог всю тягость страха – а вдруг вот тут стало сердце сжимать.

Да шутка ли? Первый бунтовщик – и вот он шёл в казарму один, без подмоги, без защиты, без проверки, – захватят и всё.

Вошёл в Виленский переулок – опять никого. И перед воротами часовых нет.

Вот попал! Сегодня утром здесь он вёл всю учебную команду строем – «умирать за свободу!». И разворачивал в узине переулка – и вот вернулся одиночкой, трусящим ареста.

Нет, не мог он своими ногами отнести голову в капкан.

Вот попал! Побрёл назад по Фонтанной, теперь по Бассейной в другую сторону, потом по Греческому, – и опять никого.

Ну, хоть на снегу ночуй!

А морозик – ничего, берёт.

Только на углу Греческого и Виленекого встретил своих из учебной команды.

– Ну что там у нас, ребята?

Только сейчас заметил: голоса совсем нет, охрип, всё выкричал.

– А ничего.

– В порядке?

– В порядке. А что?

– Ну, все дома? всё тихо?

Не стал им даже объяснять, что он тут раскладывал.

– Айдайте!

Двор. Где лежал Лашкевич, уже убрали.

Лестница, которую думал пулемётами защищать, только как-нибудь в казарме продержаться бы, большего не чаяли, большее казалось несдвигимо.

А только чуть пихнули, одной учебной командой, – и пошло. И – погрохотало.

В помещеньи команды – увидели его, закричали. Тут и Канонников, и Бродников. А, мол, фельдфебель! Думали, что уже убит.

Чаю поднесли горячего.

Сел Тимофей на свою койку – и с такой охоткой попил, с такой охоткой, сладкий.

Прочнулся: дежурных-то офицеров нет? Нет. Не, братцы, так не годится, так нас схватят. А ну-ка, дозоры высылаем по соседним улицам. А – только половине раздеться на ночь, а половине – спать в шинелях, в сапогах, с винтовками.

Заворчали, заворчали ребята: на кой они, дозоры? На кой это – на ночь не раздеваться?

141

Часть офицеров-москвичей, свободная от своих подразделений, – перед вечером ушла через Большую Невку в расположение гренадерских казарм.

Остальные ходили по офицерскому собранию, не находя себя.

Нападения больше не было – и стрельбы не было.

А по плацу уже свободно расхаживали и свои солдаты, и чужие, и штатские.

Капитан Яковлев снова собрал в библиотеке оставшихся офицеров – кроме братьев Некрасовых это были сплошь прапорщичики. И объявил, что бороться дальше надо не стрельбой, а словами. А для этого всем сейчас, на ночь, разойтись по ротам, в какие придётся, заменяя отсутствующих, – и там убедить солдат к порядку, и даже самим остаться там ночевать.

Даже Некрасовы удивились, а у прапорщичиков вытаращились глаза: только что стреляли в этих солдат – и по одному разойтись к ним в роты?

Но, пожалуй, Яковлев был прав: если не бежать из батальона прочь, то ничего другого и не остаётся. Странная особенность войны против своих...

В 4-ю роту пошёл её командир штабс-капитан фон-Ферген, весь день просидевший с караулом в клинике у Сампсоньевского моста. Он был для роты новый, всего месяц как с фронта, но рота уже знала и любила его.

Братья Некрасовы пошли бы в 3-ю роту, где больше всего было фронтовых солдат, – но как туда идти, если именно по ним стреляли днём? Пошли во 2-ю роту. Там тоже были кадровые унтер-офицеры, после ранений, кого Некрасовы хорошо знали. С капитанами и маленький Павел Грече, прапорщик, совсем ещё мальчик, недавно из кадетского корпуса.

Пошли, только револьверы оставили в собрании.

Вступили в ротную дверь – не раздалось воя, не произошло нападения, но дневальный громко скомандовал и отдал обычный рапорт, а штабс-капитан Некрасов отдал «вольно», хотя на «смирно» кажется и не стояли.

И как будто не было во дворе стрельбы – вот, стояли солдаты в русской военной форме, и даже любимого Московского полка, с русским языком, многие бородатые запасники, невооружённые новобранцы, только что от семей, – и ждали разъяснения и успокоения от отцов-офицеров. Во много рядов тесно сплотились кругом. Даже доверчиво.

Всеволод опирался на палку, маленький Грече таял, говорить было Сергею. И он теперь понял, что прав был Яковлев: никакой стрельбы сегодня вообще не было, это наваждение. А стоял их запасной полуобученный батальон в странной полувоенной обстановке.

И Сергей Некрасов, со своего роста хорошо всех видя, возвысил голос и чисто звонко предложил успокаиваться, укладываться, утро вечера мудреней. (И самому так хотелось этой покойной ночи для раздумья и опоминанья).

И с мужиков многих того было достаточно: они как бы прощёнными себя почувствовали за то, что поволновались сегодня, кто из казарм не выходя, а кто и побегал по плацу, – и теперь могли разоблокаваться на ночь.

Но так просто не кончилось. Солдаты многие и расходились по нарам – а унтеры, напротив, приступили тесней, объясниться. И с ними тоже часть солдат.

Они, мол, унтеры, попали хуже всех, между двух огней. С одной стороны – присяга, им ли не понимать? А с другой – как же в толпу стрелять? Там же и бабы, и мальчишки, и все русские. Господам офицерам никакого зла не желамши, всегда защитят их от толпы. Но **вольные** – приступают, наседают, требуют разоружить офицеров, а иначе пушки привезут и все казармы им разнесут.

Некрасов встретил глаза Тарамолова, с кем под Гарнавкой опирались плечом, и у обоих Георгии оттуда:

– Ну ты-то, Тарамолов, неужели веришь? Какие пушки, кто разнесёт?

В пушки Тарамолов не верил, улыбнулся, – но какая-то сильная неназываемая причина была у него, как и у всех, – причина, которая кончала их прежний быт полка, ведомого офицерами:

– Ваше высокоблагородие, всех не перевозьмёте, от всех не отстрелитесь. Конечно, **им** отдать оружие вам не мочно, и мы такого не вносим. И они хотят оружие забрать, чтобы может вас перебить, да. Но отдать оружию **нам**, с кем вы вместе под немецкой проволокой лежали, вам никак не зазорно. Вы нам отдайте, а уж мы вас, своих, защитим. Мы вольным скажем, что вот разоружили – и пусть котятся. А чего ещё придумать, ваше высокоблагородие?

Убеждённая его речью, уверенно и доброжелательно загудела унтерская кучка, подпёртая и солдатами. Эта доброжелательность уже была чудо – после сегодняшней стрельбы, разделившей их во врагов.

И эта доброжелательность сразила Сергея Некрасова. Чего б никогда он не сделал ни под какой угрозой, чего вообразить не мог в своей офицерской карьере – за несколько небывалых часов перепрокинулось и оказалось движением доверия и дружбы.

Переглянулись с братом Всеволодом. Убеждён был и он. Да ему-то – шашки не отдавать, только палка при нём.

Штабс-капитан Некрасов вытянулся. Прижмурился. Нахмурился.

Отстегнул шашку. Протянул Тарамолову.
И маленький Грече отстегнул – и отдал бережно.
И загудели, загудели мужики с одобрением.
И опять Некрасов почувствовал себя со своими солдатами – заодно, как и был всю службу.
Расходились солдаты спать. И офицерам теперь тоже следовало остаться ночевать здесь.
Но совсем не оказалось места – нары в два этажа и все набиты, ведь роты по полторы тысячи.
В ротной канцелярии? Тесно. На одного место, на писарской кровати.
Но они уже успокоили роту – и можно бы уйти.
Однако – зачем же тогда оружие отдали?
И уже назад не спросишь.
Как обворованные, с острым ощущением ошибки – вышли наружу.
Да, собственно, не их это и рота: Всеволод заведывал школой солдатских детей, а Сергей, как батальонный адъютант, лишь штабными писарями. Так что они и свободны.
Но – куда ж теперь? Стали на плацу.
В собственной адъютантской квартире – стёкла выбиты, гуляет мороз и разгром.
По тёмному плацу мелькали чужие одиночные фигуры, которым по распорядку и времени не быть бы.
Да ведь одни ворота свалены. И часовых нигде нет.
Вспомнили Некрасовы: в новом офицерском флигеле – пустая квартира штабс-капитана Степанова, командира 3-й роты, уехавшего лечиться на Кавказ.
Пойти к нему.
У швейцара собрания взяли ключ и велели говорить другим офицерам.

142

Если бы Государь прошлым летом послушался советов генерала Алексеева, то уже давно всем тылом руководил бы единый министр-диктатор, и не произошло бы ничего похожего нынешним недостаткам и уличным беспорядкам. Но все области тыловой жизни и отрасли руководства находились в разных несогласованных руках.

А если уж так, то, вероятно, лучше бы, чтоб этими руками были доверенные руки общества, нежели избранные в потайках Царского Села, – не возникало бы добавочного враждебного напряжения с обществом. Отчего уж и не дать всеми просимое и разумное министерство из общественных лиц, за какие такие таланты Государь предпочитал своих слишком случайных министров? (Дать – добровольно, не так, как предлагали заговорщики, приезжавшие зимой в Севастополь).

А теперь трубил Родзянко, подглашал расчётливый Брусилов, вот с опозданием в сутки присоединился к той же просьбе и осмотрительный двуличный Рузский, – однако время ли принимать столь серьёзное решение в этакой суматохе?

Теперь, по упущенному, надо было весь день ходить из штабного дома в дом Государя, носить сверхважные телеграммы растерявшихся генералов. Теперь вот во главе всех идущих войск назначался Иванов. Уж его ли не знал Алексеев, достаточно послужа под ним и в Киевском округе, и на Юго-Западном фронте: никакой полководец, никакой стратег, панически склонялся сдавать Киев, совсем не современный генерал, даже никудышный, только представительство – красиво молча гладит бороду и отечески разговаривает с солдатами. К нынешней роли он совсем не годится.

Но и знал Алексеев, что именно в выборе лиц, в личных назначениях Государь и бывал особенно настойчив. И в них приходилось Алексееву уступать. Если ему уж так понравилось... Почему начальник штаба должен был и тут исправлять выбор императора?

Да и действительно так сразу и не придумаешь никого, назначение неожиданное – и

масштабное.

А можно восполнить недостатки Иванова тем, что потребовать от фронтов назначать во главе посылаемых полков и бригад – подлинно боевых генералов.

Не хотелось, не хотелось снимать с фронта значительные силы перед самым наступлением. Ведь их потом так быстро не вернёшь. Любил Алексеев иметь все полки на своих местах.

Впрочем, и понимал, конечно, что сегодня – фронтовая обстановка позволяла снять сколько угодно войск.

Ещё ж и познабливало, и подмучивало грудь и голову. Перебарывая, Алексеев сидел за столом, подыскивал войска, где – из резерва, это лучше, где и, нехотя, снимая даже с боевой линии.

С трёх фронтов брать примерно по два пехотных и по два кавалерийских полка. С Северного оказывалось удобно и быстро послать твёрдую бригаду 1812 года – лейб-Бородинский и Тарутинский полки, стоящие в резерве. Через две ночи и один день, на рассвете 1 марта они могут быть уже в Петрограде. Почти сразу за ними поспевают, тоже с Северного, Татарский уланский и Уральский казачий полки. Сутками позже доберется с Западного фронта Севский и Орловский пехотные полки, один гусарский и один Донской казачий. Наконец, если будет неизбежно, – снять с Юго-Западного, из армии Гурко, гвардейские полки, хотя бы даже и сам Преображенский.

Проще было предоставить выбор полков самим главнокомандующим фронтами, но, по своей вьедчивой манере работать за подчинённых и всё самому знать до точки, Алексеев всё выбрал и назначил сам. Не мог он спокойно жить часа, не зная, какой же именно полк убудет.

В девятом часу вечера Алексеев аппаратно переговорил с начальниками штабов Северного и Западного фронтов. Хоть и мало сочувствуя всей затее, он однако отдал приказ недвусмысленный: войска отправить с возможной поспешностью, минута грозная, это вопрос нашего дальнейшего будущего. И послать генералов *прочных* .

Приняв решение, теперь уж нельзя было колебаться. Конечно, Ставка совсем не приспособлена к такой задаче – бороться с внутренними волнениями. Это не лучший исход гражданского кризиса, но тоже вполне возможный. Он обещает несомненный успех: в Петрограде нет войск, сравнимых по качеству с посылаемыми. Что такое восстание нескольких запасных необученных и почти невооружённых батальонов в изолированном углу страны, когда вся вооружённая Действующая армия остаётся верна? И вся Россия остаётся покойной? К тому же, на дни дезорганизации Петрограда Ставка, благодаря присутствию в ней Государя, может взять на себя не только военное управление фронтами, но и полное государственное управление страной.

После этого, уже в одиннадцатом часу, Алексеев телеграфировал в Петроград военному министру о назначении генерал-адъютанта Иванова, о высылке с ним войск на Петроград и просьбу сформировать для Иванова штаб.

Эта телеграмма едва только была передана по прямому проводу в дом военного министра на Мойке – как оттуда донесли, что великий князь Михаил Александрович просит генерала Алексеева подойти к прямому проводу.

Брат царя! Неожиданность.

Генерал Николай Иудович Иванов возвысился из самых нижних слоев, происхождение его не было прозрачно известно, так что одни родовитые недоброжелатели утверждали, будто он из беглых каторжников, не то каторжник был его отец, другие – что он из перекрещенных кантонистов, отчего и отчество у него осталось Иудович и фамилия придуманная Иванов. А когда уже достиг он высоких постов и журналы печатали его фотографии в усеве орденов, то подписывали: «дворянин Калужской губернии». Но обликом

своим выражал он подкупающую простонародность – на кочанной коротковолосой голове да лопатная чёрная с сединою борода и простовато выставляемый взгляд. И в самом распорядке дня своего: очень рано вставал и ходил по штабу корпуса, порта, округа или фронта, чем командовал, – как по крестьянскому двору, высматривая недостатки и поднимая на распеку. И та же простонародность в манере говорить, а ещё больше – умно молчать, поглаживая бороду. И известна была его отеческая попечительность к солдату. И Государю он никогда не высказывал никаких неприятных соображений, а был бесхитростен и душевен. А после Пятого года побывал главным начальником Кронштадта, и сблизился с морскими офицерами, – моряков же Государь особенно излюбил. И от турецкой войны, и от китайского подавления, и от японской, и особенно от этой войны – каких только не было у Николая Иудовича орденов, Георгий 2-й степени лишь у него и у Николая Николаевича. И так прочно сидел Иванов на командовании Юго-Западным фронтом, что поражён был своим внезапным отрешением с него год назад. (И ничем другим это нельзя было объяснить, как интригой и мстью неблагодарного Алексеева, которого он же, Иванов, и в люди вывел). Тяжко было ему проститься со своими войсками.

Но снять с такой высоты его сняли – а куда же было переставить? Никуда ниже уже нельзя, а равные посты – заняты, а выше посты – только Алексеев да сам Государь. Придумать заменительный пост было никак не возможно. Но тут выручило благожелательство Государя: генерал Иванов был поселён при Ставке в своём отдельном, удобном, хозяйственно устроенном вагоне (а женат он не был), так что распекать по утрам мог теперь разных встречных воинских чинов на станции Могилёв, а все обязанности его за минувший год были: являться к некоторым императорским обедам.

В нынешний приезд Государя в Ставку Николай Иудович уже побывал раз на таком обеде, а сегодня был приглашён вторично. И тщательно помывшись, собравшись, препоясав своё хотя и объёмное, но совсем ещё здоровое тело, он надел китель со всеми крестами и орденами, прицепил золотое оружие с бриллиантами и поехал в присланном ему автомобиле.

И принят был как никогда почётно, и посажен по левую руку Государя. И государевой милостью был приглашён к рассказам о прошлом, как он успешно давил волнения в 1905 году.

Тут генерал внутренне стал смекать что-то нехорошее, при вытяжке его долгой жизненной школы он всегда жил настороже. А тут ещё были какие-то дурные вести из Петрограда, генерал прежде того не придал им значения, а за обедом не поясняли. Но всё это на ходу соединив, Иудович в рассказах стал выставлять себя помягше, поотечественней, несручным к грозному моменту, – и надеялся, что всё и кончится этим обедом и этими рассказами.

Однако после обеда Государь позвал его к себе, закурил из своего коленчатого мундштука, пенковая часть для папиросы, золотой скрепляющий шарик, а янтарная часть в губы, – и, стряхивая над пепельницей в виде старинного русского ковшика, торжественно объявил генералу, что он назначается главнокомандующим Петроградским военным округом вместо Хабалова и должен немедленно туда отбыть, о чём получит инструкции у Алексеева.

Куда как лестно. И до чего неожиданно. И как же спокойно, оказывается, Николай Иудович жил до сего дня! Горько захватило дух генерала. Перед лицом Государя он должен был сохранять выражение прямоты и честной готовности послужить и пострадать, но внутри него всё опало: трудно было не понять, что им хотят откупиться, посылают его мало что в опасность, но в самую неловкую затруднительную и может быть позорную миссию.

И чем больше вдумывался, тем грозней понимал все опасности своего назначения – ещё пока попал к Алексееву, и разговаривал с ним, а тот ещё отрывался к прямому проводу, и ходил к Государю. Вот какое складывалось: если генерал-от-артиллерии Иванов успешно подавит волнения – он навсегда прославится карателем, и его убьют террористы, и уж во всяком случае клеймят общество, так что не будет жизни. Тем более укорительно будет его положение, что Государь вряд ли сохранится твёрдым, а вот-вот уступит ответственное министерство, – и от нового министерства Иванову тем более не будет жизни. Если же

волнения так велики, что подавить их уже нельзя, то положение генерала тем более опасно: ему не простят такого шага против Освободительного движения, а могут даже и повесить.

Со всех сторон рассуждая, его поездка была опасной и ненужной. Но, состоя на государственной службе и будучи доверенным лицом, он не смел выказать своё уныние или колебание. А что решил про себя за время алексеевских отлучек: во всяком случае замедлять поездку, сколько будет возможно. Опыт жизни говорил: во всех случаях, когда прижимают, самое верное – это затягивать.

И неприятно было получать задание от своего бывшего подчинённого.

Алексеев давал ему с собой георгиевский батальон. Ребята славные, но что ж это за войско, они привыкли состоять для парадности, да и мало их. Правда, обещал Алексеев придать к ним по пути ещё пулемётную команду. Изучили перечень придаваемых частей с Северного и Западного фронта и когда они смогут поступить – 1-го марта и 2-го. Да есть ли уверенность в тех частях? Алексеев уверял, что самые надёжные. Так что, восемь полков? Мало! Настаивал Иванов высылать и с Юго-Западного ещё три полка.

Но чем больше частей, тем трудней их собрать и тем, очевидно, позже надо выехать самому. (К счастью, никто ему пока точно не указывал, когда выехать). Кроме того, местом выгрузки частей правильно давать не Петроград, но расположить их по дальним окрестностям.

Так утро вечера мудреней? – завтра утром генерал Иванов ещё раз придёт?

Алексеева знобило. Он не возразил.

Ото всех неприятностей Николай Иудович поехал пока к себе на станцию, в свой уютный вагон. Уж давно пора и на боковую.

События в Петрограде протекают быстро, может завтра вся эта поездка уже и не понадобится.

144

Не успел Саша осмотреться в диковинной обстановке входного зала дворца, где связки ручных гранат лежали подле бочонков с селёдками, ящиков с яйцами, но этой необычности больше всего и радуясь, она-то и была верный признак революции! – как к нему направился маленький, сухой, безбровый, заострённый – Гиммер! – вот так удача! Пригодилось знакомство!

Узнал:

– А-а... Ясный! – оживлённо принял его. И повёл, и повёл его по коридору, довольно многолюдному – куда? – в штаб обороны!

Штаб Обороны? Ну, не мог Саша попасть центральной! Чего ещё может желать в революции сердце! Он вошёл в эту комнату с сияющими глазами, даже мурашки по спине – от сбывшейся невозможности!

Это была просторная комната под сверкающей люстрой, кабинет кого-то значительного, дубовый письменный стол, а на других столах и креслах бархат, – а в комнате всего несколько человек – один моряк, лейтенант, один пехотный прапорщик, четверо солдат с винтовками в шинелях и неснятых папахах, в таком тепле, – и один штатский в поношенном пиджаке, с кислым, тяжёлым лицом. (Сашу толкнуло предчувствие, что это – революционер, только что вышедший из подполья). И именно он оказался здесь старший. Гиммер указал ему Сашу, а после двух-трёх сашиных ответов и ушёл.

Масловский требовательно смотрел и спрашивал: из какой части и есть ли у него в повиновении солдаты. Разочаровался, что из учреждения, но обрадовался, что солдаты – есть, человек 15, и все тут. (Саша отвечал уверенно, но вспоминая случайность своей гурьбы, не мог бы поручиться, что через полчаса они ещё будут перед дворцом).

А ещё из принадлежностей штаба был у них план Петербурга, неаккуратно вырванный из справочника и разложенный на столе в ярком месте. Сидели как попало вокруг, и Масловский спрашивал того прапорщика, а потом солдат, а потом и Сашу, что они знают о

расположении воинских сил в городе.

И Саша, который бывал же в армейской обстановке, всё-таки видел, как офицеры работают по картам, как наносится боевое расположение, – вдруг испытал к этому штабу – жалость и гордость. Жалость, что революция должна начинаться с такой ничтожности: вырванный гражданский план, никаких цветных карандашей, планшетных досок, измерителей, штаб – на уровне солдат и прапорщиков, и ни один присутствующий не может толком сказать ни об одной неприятельской части, а о своих – всем известно, что рассыпались и их не существует, – а во главе их всех не полковник и даже не офицер, а – штатский. Но гордость: что они и с этим возьмутся начать – и ещё смотри победят! Что Революция – нарушает все правила, она – хулиганка, ей дозволено недозволенное, даже невежественное, – и всё равно она победит, такова инерция истории!

Тут вошли и выкликнули солдат на заседание Совета депутатов – они, оказывается, и пришли ни в какой не штаб обороны, их ткнули сюда временно для разговора, – а теперь пошли на Совет.

Только что удивлялся Саша, что набран штаб из солдат, – а вот уже и солдат не стало.

И осталось их четверо, а из оружия – три револьвера да две шашки, на лейтенанте Филипповском не было и кортика, зато оказался он давний эсер и даже из боевой организации, Сашу очень к нему повлекло. А прапорщик был какой-то совсем глупенький и даже не петроградский, он только сегодня с поезда, ехал из Вологды и попал во всю эту кашу, никого ничего здесь не знал, но готов был участвовать.

Оттого что их так мало теперь осталось, Масловский и Филипповский не отъединились от них, а обсуждали вслух тут же, что ж была за обстановка. Обстановка получалась такая: движением совершенно не затронут Васильевский остров, занятый Финляндским батальоном, – и не принято никаких мер к разложению его. Петербургская сторона только начинает осваиваться. На Выборгской стороне сопротивляется самокатный батальон. По всему остальному городу положение вполне неясное. Все казаки, и 9-й конный полк, и гвардейский экипаж, и семёновцы, – у себя в казармах, пока нейтральны, но могут выступить в любую минуту на любой стороне, да если выступят – то против нас, потому что за нас только те части, которые отказались повиноваться, рассыпались, – и, значит, больше не существуют. Все *наши* войска – не существуют. Петропавловская крепость занята правительственными войсками, её пушки наведены, но пока не стреляют. Ни об одном военном училище не известно ничего – и все они могут выступить против, вероятней ожидать так. Какие-то войска днём строились у Зимнего дворца – значит, они хабаловские, все кто в строю – уже не наши, у наших строя нет. Вообще силы Хабалова абсолютно неизвестны, они собраны где-то в центре города, намерения их неизвестны. Днём они пытались продвигаться по Литейному, но продвижение их задержали толпы, в толпы они стрелять не решались, и их заглохло. Но сейчас с темнотой толпы уже расходятся, улицы очищаются, – и у нас не остаётся никакой защиты, и противник очевидно перейдёт в решающее наступление. С нашими солдатами мы не защитимся, мы их просто не сумеем построить, да их, очевидно, от Таврического и отвести нельзя, они не пойдут. Уж тем более у нас нет ни конницы, ни действующей артиллерии, есть пушки для украшения, четыре пулемёта – не могут стрелять, без глицерина, – и нет никакой ни с кем связи кроме городского телефона. Телефонная станция на Морской хотя и в руках хабаловцев, и под самым их штабом, но, удивительно, отвечает на все вызовы Таврического! Вероятно потому они так делают, что подслушивают нас. Они могли бы выключить всю сеть – и мы вообще стали бы слепы и разъединены, – а у них-то для связи остаются военно-полицейские провода на отдельных столбах. Наконец, у кого все южные вокзалы, что на них делается – тоже неизвестно, в любую минуту там могут выгружаться царские войска, а мы не только бессильны препятствовать, но даже ничего не узнаем.

Положение было – вполне катастрофическое, по правилам обычных войн впору было – просто разбежаться, пока не захватили и не повесили их самих. Но Революция – хулиганка! Саша испытал! даже дикую радость, что всё так плохо, это – как музыка была зовущая, есть

какое-то особенное веселье – веселиться не от хорошего, а от плохого: перевеселиться катастрофу – и победить её! Он-то – полдня сегодня воевал, и побеждал, и знал уже воздух улиц, – этот воздух и был за них, хотя и не размечается на военных картах.

– Вы разрешите – ходить? – спросил он у старших, и стал нервно ходить, хотя и не курил, он в движении этом, по ковру, уже зашлёпанному солдатскими оттаявшими сапогами, предвидел что-то найти. Вот будет юмор, если он придумает сейчас спасение!

Тут вбежал другой подвижный штатский и привёл им ещё одного пехотного прапорщика, а заодно сообщил, что в сквер въехал броневик, находится в их распоряжении.

Вот! броневик! Дела поправлялись.

Но новый прапорщик – ничего им не помог, он не знал, где какие части. А вологодский и даже ни одной петроградской улицы не знал. Чёрта с такой помощи и с таких прапорщиков.

Филипповский курил над картой, а Масловский не курил, как и Ленартович, но тоже стал нервно ходить.

– Тебе, – сказал он Филипповскому, – поручим защиту Таврического. Надо как-то эти противоаэропланные пулемёты привести в порядок, да как-то расставить. А то – налетят!

Филипповский дымил, дымил над штатской картой.

– Надо будет собрать охотников из солдат перед дворцом – и пойти двумя командами на Николаевский и Царскосельский вокзал, если не занимать, то для разведки. Двое из вас пойдут, – говорил Масловский.

Что ж, это чудесная задача – занять целый большой столичный вокзал! Саша подтверждал, что готов идти, но... но... Он искал, вот уже близилась, крутилась в голове какая-то ещё более великая задача.

А Масловский – за это время как-то подтянулся. Насторожился. Остановился у мраморного камина. Будто прислушался. Одной рукой держался за полку, другою стал помогать своим рассуждениям:

– Вся сила – конечно, на стороне Хабалова. На нашей – одна революционная атмосфера. Но именно тут он и проигрывает! Потому что он – колода, и не знает опыта революций. Он концентрирует свои войска в самом центре города – это ошибка! Столица – всегда пылает революционной атмосферой, и здесь его войска рассыпятся! Опыт революций показывает, что правительственные войска побеждают тогда, когда вырываются из заразной зоны столицы – и потом обкладывают её или во всяком случае наступают извне.

Так удачно он это высказал, такая создалась красивая, умная минута: и всё теряется от промедления – и хочется поговорить! От этого напряжения постигла Сашу догадка, хотя кажется и связи тут не было. Он резко остановился посреди кабинета, повернулся к Масловскому и сказал звонко, гордо, сам отчётливо ощущая свой тон:

– Скажите, а где же находится так называемое правительство? Почему мы его нигде не чувствуем?

– В Мариинском дворце, – ответил Масловский. Ответил, а ничего у него не родилось! И Филипповский поднял глаза в дыму – ещё не охватил.

– Так дайте мне броневик, и ещё грузовик! – вскричал Саша радостным постижением, чтоб только никто раньше этого не высказал. – И я возьму свою команду и ещё наберу охотников – **и поеду арестую правительство!** Или – разгоню его к чертям!

Все смотрели на него с изумлением. Но и с растущим уважением.

– Но вокруг Мариинского вероятно крепкая защита.

– Если крепкая защита – постреляю, попугаю и уеду. Но я сегодня целый день на улицах и уже несколько зданий взял! Я убедился, что это очень легко! Что защитники старого строя сдаются в одну минуту!

Да ещё несомненное: нападение – лучший способ обороны! Раз у нас всё так плохо, незащитимо – так наступаем!!!

Ну что ж? Ну что ж. – Переглянулись, подумали. – Ну что ж! Если вы предлагаете

сами, если вы к этому готовы...

Саша – сейчас был готов ко всему! За сегодняшний день он понял сладость действия. И не боялся – нисколько. Да тот, кто смело действует, – совсем и не находится в самой большой опасности.

Правда, с броневиком он никогда в жизни дела не имел. Но он почти и ни с чем в армии дела не имел. Это всё – освоится.

Главное – дерзость, мгновенность, сейчас – и ехать, сейчас и схватить, пока они этого не ожидают. Арестовать правительство – и кто у них останется? Один Хабалов?

Мысль всё больше нравилась. Но, кажется, колебался Масловский, по силам ли прапорщику арестовать правительство?

Вдруг – раскрылась дверь, и никем не представляемый, сам вошёл блистательный, с отличной выправкой, звеня шпорами, отстукивая сапогами, и доложил:

– Ротмистр Сосновский, гусарского полка! Отдаю себя в распоряжение революции!

И перед кем? перед младшими, перед штатским – ещё задержался в отлично откинутой чести, поражая их.

Все вскочили. Все сразу почувствовали природного военного! Начинало, начинало переходить царское офицерство!

Знакомились, все за руку. И какой симпатичный! – пушистые белые усы, живые остроумные глаза, роскошные рулады голоса, весёлая манера говорить, – просто очаровал и подбодрил их всех.

И Масловский, не теряя времени, предложил ему возглавить экспедицию на Мариинский дворец.

И Саша даже ничуть не обиделся: такое подчинение – по праву, и даже насколько легче ему будет с оружием и с распоряжениями. Да вот уж от чего он был ну совершенно свободен, это от какого-нибудь тщеславия, я или не я, кто старший. Он испытывал никогда не знаемую радость – служить, полностью отдавшись, ничего для себя.

Для себя – хоть смерть. Нет красивее смерти, чем в революцию.

Быстро распределили: Сосновский с Ленартовичем берут броневик, грузовой автомобиль, набирают солдат – и едут штурмовать Мариинский дворец. А два прапорщика, если наберут себе охотников в команды, – едут на Николаевский и Царскосельский вокзалы, тоже в автомобилях, автомобили близ дворца стоят какие-то.

А ещё из кого-нибудь собрать бы разведку в сторону телефонной станции и штаба Хабалова?

Сосновский и Ленартович дружно крупно зашагали по коридору. Саша наслаждался этой ровностью их движений, наслаждался, что нравится всем, что он у дела, что – настоящий военный и именно потому причастен к событиям. А Сосновский – какую-то несдержанную шуточку отпустил по поводу курсистки, промелькнувшей мимо них, даже протянул руку к ней, задержать. (Вот уж, гусар, нашёл время).

Снаружи, в сквере, ещё сгустилось автомобилей и солдат, и разведено было несколько костров. Нашли они предназначенный броневик. Шофёр броневика сразу согласился ехать, а шофёр грузового требовал письменного распоряжения от депутата Керенского. Нашли другого, кто согласился без письменного.

Саша стал кричать «моя команда!», пошёл к тому месту, где их ославил, там были другие, но не свои. Тогда он стал ходить от костра к костру и выкрикивать просто добровольцев на операцию, разумеется не называя какую. Сразу не шли, спрашивали: пешком или на моторе? Узнав, что на моторе, – некоторые покидали костры и шли за ним. Один закричал: «только я на крыле!», и второй: «и я на крыле!», – значит, почётно лежать на неудобном крыле, высунув штык вперёд.

Перед посадкой Сосновский ещё раз и совсем уже не к месту сказал какую-то пошлость на женскую тему, так вольно, что Сашу покорило.

Но от этого недостойного повода вдруг толкнулась его мысль к Еленьке. И садясь рядом с шофёром, уже под заведенный рычащий мотор, с дюжиной солдат за спиной в

кузове и перед тем как рвануть с места, он подумал о ней с новым чувством: не в том унижительном уговаривании, как проходили их последние встречи, но с властным чувством права: он выбрал её – и будет она его! по его воле, а не по своей!

Нет, что-то замечательное есть в войне! Революционной, конечно.

145

По дороге в Таврический привязался Гиммер и неумолчно болтал. Страх не любил Шляпников этих заумных книжных теоретиков, которые напильника или резца держать не умеют, револьвера – брать не брали в руки никогда, но наговорят тебе семь ворохов о пролетариате и о том, как революцию делать. Ты – пересекал границу под Полярным Кругом, ты таскаешься каждую ночь по новым ночёвкам, измучен от бездомья, от бессонницы, – а они в своей чистой одежке, на чистой квартире, по своим паспортам, ходят в чистую контору – а теперь первые кинутся в прорыв, захватывать места.

А в эти несколько часов от предполудня до сумерок и произошёл великий Прорыв, которого и Шляпников-то всё не мог осознать, дотрясти себя до него, вот ещё на пути к Таврическому, озираясь, всё домекал: так – прорвало до конца? Всё, что загоразживало нам годы, – и прорвало?

Но тогда, смекай, менялось и положение партий, и положение лиц.

Соревнование между партиями было и прежде, постоянное, но всегда в пользу левых, интернациональных и боевых, так что состязаться по-серьёзному приходилось только с межрайонцами, то и дело выхватывающими лучшие острые лозунги, ну отчасти с инициативниками, – а все остальные меньшевики, оппортунисты, оборонцы, гвоздѣвцы всегда были в ауте, не говоря уже о трудовиках и об энэсах. (А эсеров вообще не было). Но вот, если произошёл Прорыв, то сейчас, жди, в часы и минуты будет решаться совсем новая расстановка сил, кто какие места захватит. Прежние подлинные заслуги теперь станут ничто, а надо – вот сейчас захватывать.

И Шляпников – как никогда отвечал за то, чтоб не растеряться. Перед теми своими отвечал, кто вернётся из Сибири, из-за границы. И перед Лениным особенно, Ленин не простит никакого промаха.

И хорошо, что он поспешил в Таврический в первые же вечерние часы. Тут уже хорохорилась и петушилась вся мелкобуржуазная и литературно-социалистическая публика. Из рабочих районов – никого, а эти, кого давно что-то не видели, так и летели, как мошकारа на огонь, носились из комнаты в комнату. И с большой значительностью расхаживали *выпущенные из тюрем*, хотя просидели кто три недели, как Рафес, кто две ночи – как Капелинский. Среди других как именинник болтался Хрусталёв-Носарь с шашкой на боку – и лез ко всем с объяснениями, что ему ещё сегодня утром грозило три года каторжных работ, и что он с Пятого года несменённый председатель Совета. И важно расхаживал крупнотельный Нахамкис, два военных года просидевший в обывательском футляре. Все уже носились с красными розетками, бантами – и хотели в 7 часов вечера поскорей открывать заседание Совета рабочих депутатов, и все интеллигенты требовали себе мандатов в Совет. Конечно, настоящих выборов на заводах и не могло пройти в сегодняшней суматохе, но хоть кого-то же дождаться рабочих, просто неприлично. Еле Шляпников их пристыдил, уговорил передвинуть открытие на 9 часов. (Про себя рассчитав, что пока, при здешнем составе, у большевиков никаких позиций не будет, и даже сам он не пройдёт в Исполнительный Комитет).

Отговорил – и кинулся к свободным телефонам: разыскивать и созывать своих. Но все они были на улицах, в событиях – а тут меньшевицкие прыщи стянулись расхватывать исторические роли.

Тем временем в большую комнату сносили стулья, табуреты и пѣрли любопытные со стороны, пришлось часового поставить на дверях. Кому выписали мандат, кому нет, – собралось всего до полусотни. Большевики не подоспевали, всего один-два. Удивительно,

что и пробойных межрайонцев не было, и их бешеного Кротовского. Зато был такой же бешеный Дмитриевский-Александрович, эсер.

Открывать собрание полезли сразу и Соколов, и Эрлих, и Панков. Соколов, с распахнутыми фалдами сюртука, конечно, чувствовал себя главным устройтеlem. Но и те перепере живали. Ораторствовали сразу несколько, начинали говорить каждый раньше, – и какой вопрос первый, а какой третий – долго не было решено.

Затем пришёл Чхеидзе, с видом весёлым, а сам расслабленный и не претендующий быть вождём, – маленький, сутулый, с большой пролысью, а бородой задёрганной до бесформенности. Но меньшевики засуетились как вокруг несравненного лидера и посадили его на председательское место. Рядом с ним сел другой думский лидер – молодой, толстощёкий, с выложенной причёской Скобелев, ещё ни на что силы не трачены, богатый сыночек, болтался, потом Дума, и подполья не знал, – да как все они тут почти, кто слетелся.

А перед самым открытием ворвался и тоже сел с ними рядом мальчиговатый Керенский, в костюме в обтяжку. Но и тут же соскучился, что здесь для него не аудитория. Поводил узкими плечами, быстрыми глазами, бросил фразу о торжестве революции – и деловито, быстро ушёл.

И Нахамкис на видном месте сидел, пальцами прочёсывал красивую рыжеватую бороду.

Довольно скоро и Чхеидзе ушёл. Ещё меньше стало порядка. Соколов захлёбывался, Скобелев растерялся, не имея понимания и плана. А кто-то высказал, что для продолжения славных традиций Пятого года хорошо бы восстановить председателем Хрусталёва-Носаря.

И сразу же полез выступать Носарь, уже без шашки. Но неряшливой сбивчивой речью не собрал себе сторонников.

Тут уже Шляпников не сдерживался, да чтоб и голос же большевиков прозвучал – выступил резко против. Что нельзя выбирать одного председателя, а сразу весь Исполнительный Комитет. И во всяком случае Носарь – этот ренегат социализма и антисемит, не может быть не только председателем Совета, но даже и среди почётных учредителей.

«Антисемитом» он сразу сбил Носаря, не стали ни слушать, ни обсуждать: антисемит – и зарезано.

Но не стали и избирать Исполнительного Комитета: слово схватил Франкорусский, от продовольственной комиссии. И успокаивал, что уже по первой проверке оказалось положение с хлебом совсем не катастрофическое, а надо только...

Но не кончили обсуждать и продовольственного вопроса – Гиммер тонким голоском и Броунштейн потребовали в первую очередь обсуждать охрану города.

Но тогда, кричали, более широкий вопрос: отпор царской реакции?!

Но Шляпников в эту гомозню больше не лез. Он, по-большевицки, обдумывал главное: как не упустить захватить побольше мест в Исполнительном Комитете? Пока что и численностью и ораторством оттесняли большевиков, мелкобуржуазная свора грозила захватить рабочий плацдарм.

А пока назначали литературную комиссию: писать воззвание к населению.

А тут какой-то солдат вылез рассказывать, как у них в батальоне сегодня всё произошло, что он видел сам, как было в казарме и на улице.

Тогда и другой за ним, еле остановили.

Тем временем собрание всё больше брал в руки Нахамкис – фигура крупная, сильный голос, а вид такой уверенный, будто он подполье на своих плечах пронёс, умеют же люди!

Наконец, уже поздно, дошло до выборов в Исполнительный Комитет. Уже тем было сразу проиграно дело, что, конечно, Чхеидзе был единодушно выбран председателем, а Керенский и Скобелев – заместителями, и тут бой давать было невозможно. Руководство уже уходило к оппортунистам! И в секретариат сразу натолкались – Соколов, Шехтер, а он за собой дураковатого Панкова, но тоже инициативника, – и Гвоздева, которого сегодня тут все

принимали с почётом. А когда стали выбирать рядовых членов ИК, то больше всех голосов набрали Нахамкис, Гиммер и Капелинский, – нефракционным и лишний шанс: за партийных голосуют только свои. Всё ж инициативники поддержали большевиков – и Шляпников с Залуцким тоже протолкнулись в ИК.

Но соотношение в ИК не обещало успеха. Шляпников сидел, и место под ним горело: что придумать? Он представлял, как его будет уничтожать Ленин – что был здесь в такую минуту и упустил руководство. Ленинская выучка всегда была: захватывать руководящие места.

А что Шляпников мог сделать? Как он мог заставить их тут всех себя слушаться? Он против этих говорунов робел.

А! вот что придумал, хорошо ли, плохо: в Исполнительном Комитете кроме членов избранных пусть ещё останутся места по назначению от партий, от каждой по три места.

Приняли. (Правильно рассчитал: все схватятся за лишние места).

Значит, от большевиков будет и ещё трое, всего пять.

Но и трое меньшевиков. Но и трое эсеров.

Только та выгода, что от групп, как межрайонцы, – не больше одного.

146

После того как была стрельба подле московских казарм – вдокон потерял Вахов последних своих волынцев и фельдфебеля своего Тимошу Кирпичникова, и уж такой стал сирота-сирота, и совсем потерял дорогу, даже не знал, где этот мост искать, по которому бежали надысь.

Шёл, как слепой, по взбудораженной улице – и все куда-то, то ль от радости, то ль такие ж потерянные. Шёл – и губы развесил. И чего б дальше делал, и куда бы брёл – но заметил Преображенского унтера с челюстью раздатой, а с малыми глазками, который тоже вёл с утра, – и к его команде Вахов пристал.

А команда его пришагала в это гомонное здание под куполом, и тут преображенцы стали в караул.

А Вахова не взяли. Да и что ему с чужими? И затосковал он крепко.

На'б к своим ворочаться – а где ж их по городу будешь искать? Да может они уже не в городе, а в казарме? А может никого в казарме нет, а там западня для бунтовщиков? Как туда идтить? Сильно боязно. Пока по городу гоняли, кричали, стреляли, с налёту брали здания – во всём была тысячная сила и заединство, и не страшно, а весело, как на лучшей гулянке, кружим как хотим. А где теперь та толпа? Да вольные погуляли – и по домам разошлись. А с солдата – голову.

Да ежели б от своих не отбился, так не страшно: со **всех** -то спросу быть не может. А вот – один.

А тут – хорошо: пребольшущий зал, как поле под крышей, и – народища! Сел Вахов у стенки на пол, винтовку положил, чтоб краем задницы её прижимать, не упёрли бы, солдат без ружья – тот же баран, а сам отслонился – да и стал подрёмывать. Брюхо грызёт, цельный день без еды – ну, зато тепло и в безопасности. Тут и переночевать, а утро вечера мудреней.

Не тут-то было. Рядом окликнули:

– Эй, волынец!

Прочнулся Вахов, обрадовался:

– Ну?

Думал – свои нашли, вот соединимся.

Нет, стоит солдат чужого полка и вольный с ним:

– Подымайсь! Будешь депутат от Волынского полка, никого от ваших нет. Пошли на совет депутатов!

На куда? Ещё во что встрянешь глубже? И место жалко у стенки, укромное, потом такого не захватишь, а посереде пола, на проходе. Думал бы Вахов укрыться, отказаться –

так командуют, наклонились над ним, куда от них сокроешься?

Пошли. Через коридор.

Там накололи ему на шинель большой кусок красной материи. Хотел Вахов не даться:

– На кой он мне? –

эт' ещё занозливей куды-то втягивали. Солдату на шинели – нешто положено красное? Дурак любит красно, солдат любит ясно.

Но видит Вахов – тут у всех нацеплено. Ну, ладно.

Сел у стеночки на скамью, винтовка стоймя меж колен. Слева, посмотрел, – вроде мастеровой. Справа, посмотрел, – вроде по торговой части. Ни с кем и не поговоришь.

А там, посередке, вокруг стола, сгрудились все образованные, ни одного меж них солдата, да и мастеровых не видать, – а все, знать, из одного места, и все друг со дружкой нанюханы. Ни разъяснения какого не заводят, да как бы уже третий день толкуют, и шибко друг друга понимают. А со стороны – мудрёно, много слов непонятных.

И чего Вахова позвали с хорошего плаца? Там бы и переночевал.

И все – лезут сразу говорить, перешибают, никому нельзя просторно, со стульев вскакивают и у стола друг друга отталкивают, суматоха. Никогда такого Вахов не видал.

И все до того радостны, ажник вот лопнут сейчас. И кого-то из себя куда-то определяют, руки поднимают, опускают. Да вам-то что, вы-то через присягу ружья не подымали, вы все разбежитесь по домам, вас как не было. А солдату голову класть.

И – дело затолковали: что вот войска придут – чем и как отбиваться? И уже не такие стали радостные, а у Вахова прям' засосало сердце: ведь придут, придут наказывать! ведь вот – и эти пожимают. Ведь без штрафа ничего не обходится, не бунтуй в военное время! И правда, шутка сказать: война идёт – а мы своих офицеров на смерть уложили? Да ошастенели, что ли?

Потом – лучше стали говорить: чтоб солдат кормить, вне частей. И здесь, в этом большом доме – тоже кормить.

Это б хорошо. Ка'б здесь кормили – можно пока в казарму и не соваться.

Тут ворвался от дверей какой-то солдат молодой и, между стульев пропихиваясь, – на серёд комнаты. Ворвался – как если б гнались за ним, вот уже подступали. И винтовку двумя руками над головой тряс – туда, к передним, главным:

– Братья и товарищи! Я принёс вам братский привет от всех нижних чинов в полном составе лейб-гвардии Семёновского полка! Мы все до единого постановили присоединиться к народу против проклятого самодержавия! И мы клянёмся служить до последней капли крови! Мы приветствуем совет депутатов и поддерживаем его своими верными штыками. И не потерпит больше петроградский гарнизон проклятого самодержавия!

Какой-то невразумный показался Вахову этот солдат, да ещё и паренёк совсем. Не понять: это что ж, он от самих семёновских казарм бежал? – так далече. Или только последний квартал? – так зачем? Потом: целый день нигде семёновских солдат не было, по казармам сидели, этот – первый появился, и сразу ото всех? Стрельба прошла – похвальба пошла. На лбу у него не написано, что ото всех, а чуди было б такого непутёвого юнца ото всего батальону слать.

А язык – свободно у него оборачивался, да по-ихнему, как вот тут говорят. Все кругом повеселели – и стали ему в ладошки хлопать.

А что ж? – начнётся над солдатами расправа – этих здешних заводил тоже ведь не поглядят. Так что, видать, за них держаться, может они какую выручку и придумают.

За семёновцем – сапёр полез. И стал рассказывать – это уж вправду, как они сегодня на командира батальона своего решились – и загубили его. И как поручика Устругова прикончили. И ещё кроме...

И хлопали ему.

И слова сапёра грузились на сердце Вахову. Вот это – правда была.

Потом и из Литовского батальона говорил. И тогда стали кричать:

– А ты, волынец?... Что ж ты, волынец, молчишь? Да вы же – первые начинали!

И попался Вахов как волк в закуток, со всех сторон на него повернулись и понукали.

И поднялся он через прогвозд, только на винтовку свою и опираясь. И посмотрел на лица чужие. Как им говорить?...

Это надо б сперва объяснить, что весь их Питер для человека – хуже леса дремучего, сузёма, и для крестьянского сердца ни в чём тут заманности, а – тоска. Что в этом лесу только и держишься – отделением, взводом, знаешь своего ефрейтора, своего унтера, свою койку, свою кухню. По этим военным правилам, как слепые по бечёвкам, они только и пробирались. И нипочём бы эти бечёвки не порубили, когда б не послали их на такое нелюдство вчера (вчера, а как за горами): стрелять по народу. А только думали они – не идти в наряд, и лестницу свою оборонять. Капитана Лашкевича – и сговору не было убивать, кто его убил, как? А как убили – так и сами себя отрубили, и весь свет уже тесен. А сейчас, к вечеру, и вобрать в голову нельзя: да неужто всё так и случилось? Как будто Вахов в одиночку погулял топором – и уже откинуть поздно, и забыть нельзя, в той крови, в том мясе все руки забрызганы – и страшно вернуться на то место, где Лашкевича уложили.

Но всего этого, понял он, выразить им нельзя. Топора погулявшего они не чувствовали, убитым офицерам только хлопали. И потянул он им, потянул:

– Так вот, братья-товарищи... Мы, конечно, волынцы первые... наша учебная команда... Мы, конечно, первые, а потом уже все за нами... – И осмелел, тут, среди них: – И если нужно будет, мы опять же постоим...

И за него dokonчили, крикнули:

– Против самодержавия!

Вот и сплёл Вахов, не намного хуже других, хотя и голоса не узнавая своего. И все, кто тут был, и все образованные, плескали и ему в ладошки и радовались.

Как будто топор тот, несказанный, они ему с греха снимали.

И – попустило маленько Вахова. Уже и в казарму он склонялся хоть и пойти бы.

Может, как-то и минуется, будто мы не мы, и я не я? Может, как-то и уляжется, и в груди тоже?

Такую-то тьму – не загонят в тюрьму?...

147

Расхаживать по Екатерининскому залу Милюков вышел в надежде, что он дополнительным наблюдением и чьими-то сообщениями пополнит свои исходные данные, которых у него не хватало для верного синтетического суждения. В такие часы всеобщего сдвига и поиска от него требовалась, хотя бы прелиминарно, линия общественной равнодействующей, а она всё никак не определялась. Для самого же процесса мысли тут, конечно, было мало пригодно: Екатерининским залом почти нельзя было ходить по прямой, как обычно они тут прогуливались, а надо было то и дело отклоняться или останавливаться, пропуская. Набиралась публика, невозможная для Таврического, оскорбительная: совершенно распущенные солдаты, без водительства, кто курил (и окурки бросал на пол), кто сидел на стульях с шёлковой обивкой, кто топтался в грязных сапогах, там и сям подтаивали лужи на великолепном паркете, солдаты таскали за собою винтовки, потом надоедало им, и они их составляли в козлы по несколько штук у колонн, преобразуя величественный зал в подобие бивуака. (Да хорош бивуак, если б они были готовы к отражению, – так ведь нет). А ещё в несколько часов повылезала и вся стягивалась в Таврический полулегальная публика, много лет уже присмирившая, – а теперь тут разживлялись. А депутаты, напротив, робели и исчезали – незаметно, потому что уйти от торжества революции выглядело неприлично. И крутились весьма подвижные девицы, тоже конечно из околореволюционных кругов. Уже и маленькие митинги со стульев возникали в разных концах зала. Да что! В Купольном носили и складывали у стены – мешки с мукой, просто как на складе. Опять-таки, для возможной (невозможной) обороны Таврического это было бы и неплохо, но что за вид, Боже мой!

Вот уже в комнате бюджетной комиссии эта полулегальная публика что-то из себя формировала, ошибка была сюда их впустить, да не было сил не пустить, – а как теперь выгнать? А жизнь основная, высшее содержание этих залов, двенадцать лет составлявшая и высшее проявление русской истории, – таяла, отступала. И отчасти твёрдой своею походкой хотел Милюков напомнить о ней и отстоять. Пока эти деятели в бюджетной комиссии проворно там поворачивались – депутаты Думы подходили к Милюкову с такой растерянностью или даже глупостью, что и действительно не на что было отвечать. Одна только была прекрасная затея – думских журналистов, они пришли с таким предложением: газеты в городе не выходят, население ничего не знает, необходимо срочное оповещение – и они берутся такую газету выпускать сегодня же с ночи, – так можно ли считать её органом Временного Комитета Государственной Думы?

Отличная мысль, и Милюков ответил, что да. Но сразу встало: в наступившем хаосе какая типография будет их набирать? Сумеют ли они убедить и понудить кого?

Милюков дал согласие – от Временного Комитета. Временный Комитет становился реальной силой? Ещё несколько часов назад Павел Николаевич упирался и против создания такого Комитета. Но эти протекшие часы дали своё. От середины дня к вечеру картина событий быстро менялась. Шло ускоренное движение общего спуска, даже и к разгону, перевал переижден. И в этом спуске-разгоне упираясь, упираясь, – однако надо было и подаваться вперёд. И не слишком в этом отстать. Если мы не перейдём к действию – массы перестанут нас слушать.

Ещё недавно это было только эффектной фразой. После Рождества возвращался Павел Николаевич со своей крымской дачи, и в московской компании его спросили нетерпеливо: «Да что же Дума не возьмёт власть?!» И он тогда отгородился так: «Приведите к нам два полка солдат, и мы возьмём».

Но вот – полки, кажется, и были?... Однако Дума...

Милюков ли не был главной фигурой Думы? Кто ж тогда была Дума, если не Милюков? И что была бы Дума без Милюкова? Но именно он сегодня и увидел дальше всех: это и хорошо, что Дума пока не заседает, – только сужала бы новые творческие пути. И тем более возражал он предложению объявить постоянную сессию Думы, сделать Думу государственной властью: это была неуклюжая крайность.

Сейчас требовалось нечто более поворотливое. Временный Комитет Думы? Сам же Милюков и притормозил его длинным названием «для сношения с лицами и учреждениями» – на случай прихода кары, чтоб не подпасть под криминал. Но вот прошло несколько часов и стало выясняться, что Комитет не только допустим, но даже очень кстати, но даже нужно его динамизировать. Он может стать регулятивом всех сложных обстоятельств.

Он может стать начатком новой власти.

Может быть уже и пришёл исторический момент – брать власть? Как это узнать? Где это прочесть достоверно?

Всё искусство политики, по сути, ведь и сводится: когда взять власть? как её взять? и как удержать?

Да, вели конституционную борьбу, но время то перешло. Да, сейчас Дума только бы сковывала реальное движение к министерству. Брать власть – перешагнув и через павшее правительство и через Думу?

Тут была ещё неловкость личного вопроса. По сути, истинным главой новой России достоин стать только Милюков. Ведь он не просто – глава ведущей партии и глава Блока, но действительно только он может по-настоящему охватить, взвесить, направить.

Однако стыдливая ужимка истории такова, что самый достойный кандидат не только не может сам себя назвать, объявить, властно пройти вперёд (это у американцев замечательно честно: открыто выдвигай сам себя!), – но вынужден какое-то время стоять на втором плане, пока станет естественно передвинуться. А на первое место всегда выдвигают какие-то нулевые личности, которые всех претендующих устраивают своей невыразительностью, отсутствием воли.

Так и председателем Думы выбирали когда-то Родзянку: все сходились, что он недалёк и будет управляем. А он обманул надежды: слишком напористый нрав обнаружился в нём. И от самого создания Прогрессивного блока трудился Милюков всем внедрить и внедрил, что только не Родзянку должен возглавить будущее желаемое мечтаемое общественное правительство, а вот... (все подсказывали) вот князь Георгий Львов прекрасная кандидатура (по тому же принципу невыразительности), всероссийская репутация.

Поменять кавалергарда на толстовца. (Который и от заговоров непрочь).

Родзянку – невыносим. И не радикален. Неизбежно было сдвинуть его с этого места, и Павел Николаевич не сожалел о совершённой операции.

А со Львовым – посмотрим. Сегодня уже вызвали его срочно из Москвы.

Сегодня обстановка сдвигалась в часах, и надо следить за нею зорко. Вот, пока Родзянку мотался в Мариинский дворец, а Милюков ходил тут, по длине Екатерининского зала, – уже как много менялось. Хотя на устах порхает слово «революция» – но это ещё не революция. И она нам никак не нужна. А выглядит так, что нельзя и медлить, надо ей помешать.

Да умеренная общественность всегда была против революционного переворота. Но если уже всё так быстро покатило вниз – то надо успеть и возглавить движение, взять его в руки. Реальная политика всегда требует зигзагов и даже крутых перемен. А Родзянку – этому как раз и сопротивляется. Тушею своей он занял председательское место, забил собой единственную дверь свободы, единственный выход – и сопротивляется.

Вот благополучно вернулся он из своей поездки, никто его нигде не задержал (а рекламировал, что едет в опасность), и засел опять своим необъятным задом в своём необъятном кресле. И съездил – ни для чего, вернулся ни с чем: великий князь Михаил в диктаторы не идёт.

Так значит – брать власть самим?

Нет! И на это Самовар не решался! И сам не брал – и другим не давал.

А загораживал он дорогу уже не как председатель Думы и ещё не как председатель Комитета, но по своей видности, но потому что даже главнокомандующие фронтов были с ним в каких-то контактах, если не в сговоре. Обойти Родзянку – невозможно.

Сидел Милюков сбок его большого стола и рассчитывал только на свои дипломатические кружева. Задача и аргументация оказывались очень сложны: надо было толкать Родзянку как главное действующее лицо на взятие власти Комитетом – и одновременно же отстранять его с главного места. Кажется – не совершимо!

В голове, в лице Родзянки было что-то крупно-собачье. Тяжёлая широкая кость головы (по челюсти равнялись скулы и виски). Мясистое лицо. Под тяжестью мясистых век – суженные глаза. И портили бы картину какие-нибудь волосы, всякие волосы были бы тут лишние – но и не было их: он был стрижен под машинку первый номер – да только вокруг макушки и было насяно.

Не заседание Комитета, а так, кто собрался, – себеумный Некрасов, рохля Коновалов, франтоватый болтун Шульгин и решительный и мрачный дурак Владимир Львов. Достойных союзников Милюкову – не было. Всё нужно было проплести самому.

– Но вы же сами, Михаил Владимирович, говорите: правительства больше нет, оно распалось. Подумайте, какой неповторимый момент для взятия власти! Буквально через два-три часа может быть иначе, совсем другой баланс.

На лице губошлёпа Коновалова было написано на всё согласие. (Какими бездарными руками у нас делается история! – ведь этот человек возглавлял самые прогрессивные «коноваловские» совещания!) Владимир Львов смотрел напряжённо-мрачно, будто вся тяжесть решения ложилась на него. А Некрасов, как всегда, отведя глаза, спрятав губы под хитрыми усами.

– Не может же, Михаил Владимирович, такая огромная страна – и быть без власти? Если власть уже всё равно сама упала – в такую грозную минуту кому ж её поднять, как не нам?

Родзянку на две руки опёр свою крупную голову, сам в ужасе от происходящего. Но:

– Я не бунтовщик, господа! Мятеж произошёл потому, что нас не послушали. Но я никакой революции не делал и не хочу делать! Против Верховной императорской власти я идти не могу!

Я! – как будто он один существует, не Дума, не Комитет.

Шульгин (со вскрученными усами и бабочкой на шее) мелодично:

– Михаил Владимирович! Но если упавшую власть не подберём мы, то подберут другие. Кто же вас зовёт идти против Верховной власти! Монархии – мы не касаемся. Вы берите – исполнительную, и как верноподданный. А всё обойдётся – Государь назначит новое правительство, и мы передадим власть, кому укажут.

Ну, как бы не так, – думал Милюков.

– А если – не обойдётся? – спрашивал ошеломлённый Родзянко, и кажется с усилием не давал челюсти опуститься.

– А если не обойдётся? Но чёрт возьми! – с лихостью выругался Шульгин, он любил острые ситуации. – Но что ж это за императорское правительство, если оно разбежалось без сопротивления? Им даже ещё не объявили уходить – а они уже ушли!

– Взять власть самим, – пыхал-шептал подавленный Родзянко, – это революционный акт! Я – не могу.

Опять – я! Заклинил собою единственную дверь к власти – и не решался.

И Милюков – не имел средств предпринять самостоятельного шага, а только через Родзянку. Оставалось перемалывать и перемалывать ему кости аргументами.

Весь Комитет должен был совместно толкать его в спину!

Уже закипало у всех раздражение против неподатливой этой туши. А он слабо оправдывался:

– Но ещё может быть Государь дал согласие Михаилу Александровичу на ответственное правительство? Может быть уже назначен и глава?

Но Беляев не звонил. Звонили ему в довмин – никто не отвечал. Потом подошёл унтер: военный министр отбыли в неизвестном направлении.

148

Что и где было правительство, что и где были министры – об этом императрица не могла судить весь день: как не было больше никакого правительства в Петрограде. Если Протопопова не дай Бог убили – то был же ещё честный Беляев, – что же он? За весь день ни одно официальное сообщение или обращение не достигло её дворца, а притекали всё случайные новости от случайных людей, и новости эти были ужасны: полиция исчезла, в городе пожары, грабежи, и почти весь город у мятежников, а верные сопротивляются лишь где-то в центре.

Только телефоны, на удивление, служили бесперебойно, и бесперебойно же, по расписанию, ходили местные дачные поезда.

В Царском Селе, слава Богу, сохранялась всё та же неподвижность.

В тёмных комнатах лежали больные дети.

Государыня переходила между ними, ломая пальцы.

Уже три отчаянных телеграммы в Ставку она дала за этот день, что она больше могла?

А Ставка – молчала...

Но не один же там был Государь, пусть Фредерикс, или держимый из-за Фредерикса его энергичный зять Воейков, дворцовый комендант, он-то должен был связаться – давно и первый.

И всего только вчера, в это же время, дочитывала Александра Фёдоровна наивные планы мужа о перевозке детей в Ливадию – и весили для неё практические соображения о трудностях переезда, даже когда дети выздоровеют.

О, на каких бы сильных крыльях она перенесла бы сейчас детей, вместе с постелями их, – в Ливадию!

Увы, как всегда предчувствия дурные имели власть над ней больше, чем добрые, так и сейчас говорило ей: никогда больше им не видеть солнечной сказочной Ливадии!...

Сколько лет Александра гордилась, что она – мужчина среди женщин, одетых в государственные брюки, – и как бы сильно и славно она управлялась, будь у неё прямая власть и здоровье! Но вот когда, в эти часы, ощутила она себя женщиной безо всяких сил и преимуществ, и как же нужен был ей какой-то сильный, уверенный, старший мужчина рядом, кто бы сказал, что делать. И не было никого...

Был – Павел! Тут же, в Царском Селе, в своём доме-дворце жил великий князь Павел Александрович, государев дядя и генерал-инспектор всей гвардии. О, как хотела бы она сейчас – совета, защиты и помощи Павла. Но после убийства Божьего человека Павлу, как отцу убийцы Дмитрия, она сама же запретила доступ к себе.

О, хоть бы он попросился сейчас! Хоть бы он обратился первый – она тотчас бы его позвала! Но он не обращался.

А почему не мчался из города милый верный смелый Саблин? – объяснить, подбодрить и выручить! Когда же он примчится?

А главный военный начальник под рукой – генерал Гротен – как назло новоназначен, ещё мало знаком с дворцовой службой.

Уже вечерело. Милая Лили, так скрасившая и облегчившая государыне этот день, должна была возвращаться домой к своему семилетнему ребёнку.

– Что вы думаете делать, Лили? – печально спросила государыня. – Не лучше ли вам вернуться к Тити сегодня вечером?

Изящная стройная Лили сказала, волнуясь:

– Разрешите мне остаться с вами, Ваше Величество.

Государыня обняла её и поцеловала:

– Но я не могу просить вас об этом.

– Но и я не могу оставить вас, Ваше Величество.

Ещё же у капризно-неумолимой больной Ани обязана была государыня просидеть два часа в день. Теперь – её могла заменить Лили, и у детей отчасти.

Уже темно было за окнами. Из Петрограда звонили, что он освещён пожарами, всюду революционные толпы, и власти уже никакой. С часу на час это могло перебраться в Царское.

А Ставка молчала.

И к чьей же помощи оставалось прибегнуть? В этом разъярённом разволнованном Петрограде – кто ж теперь мог быть оставшейся несомненною властью? Очевидно, один только отвратительный, развязный, враждебный и глупый толстяк Родзянко. Как она гневалась прежде на него! Но сейчас просить защиты императрица могла – только у этого неотёсанного грубияна.

В Павловске, в двух верстах, стояла гвардейская конно-артиллерийская бригада, а командовал ею – флигель-адъютант Государя Линевиц. Государыня протелефонировала ему и просила: съездить в Думу к Родзянке и спросить гарантий безопасности царской семье.

Уже не осталось у неё трёх четвертей прежней гордости. Опасность подливалась к стенам дворца.

Устала ходить, ничему не помогало это смятение – прилегли с Лили в розовом будуаре, где висели иконы и картины Благовещения. Переговаривались – что может быть и как пойдёт.

В девятом часу камеристка внесла телеграмму от Государя. О, наконец!

Но какой спокойный тон! Как будто не было всего этого вулкана. Ники благодарил за письмо. Сообщал, что выезжает в Царское завтра после двух часов дня. Что конная гвардия из Новгорода получила приказание немедленно выступить в Петроград. И уверение, что беспорядки в войсках скоро будут прекращены.

О, Боже! О, какое облегчение! Сколько тревог снялось с души! Наступил первый спокойный час за этот день.

Вспомнили, что не обедали, и решили попить чаю.

И в самом деле – чего боялись? Тихо стояло в Царском Селе. Безупречно нёс службу вокруг Александровского дворца Сводный гвардейский полк. А близко – размещался гвардейский экипаж, они не только наши войска – они подлинные друзья! Да и вообще стояли в Царском гвардейские стрелки, стена! – запасные батальоны отборных полков, один из которых носит звание императорской фамилии.

А теперь, вот, скоро придёт и конница.

Надо было бы отменить поездку Линевича к Родзянке, если он ещё не уехал?...

Но – не кончился день так спокойно.

В десять часов вечера генерала Гротена вызвал к телефону Беляев – объявился наконец! За весь сегодняшний ужасный день он ни разу не дал о себе знать – а теперь с чем же?

Беляев говорил даже не от себя, а передавал совет того же Родзянки: чтоб императрица немедленно увозила детей из Царского Села – а завтра, может быть, будет уже поздно: петроградские толпы достигнут туда и нападут.

Пришёл Бенкендорф, с нероняемым моноклем в глазу, узкодорожными бачками и усами, всегда уравновешенный, – и передал это всё государыне. (А волновался).

И – снова всё взвихрилось в безумной тревоге! Родзянко никак не был друг, но ещё до Линевича вот давал совет, и в его совете была какая-то несомненность: почему-то представилось, что именно так всё и произойдёт!

А – куда государыня могла двинуться с детьми, температурой по 39, раздирающим кашлем, больными глотками и ушами?

Только одно и было – телеграфировать в Могилёв (телефон туда, конечно, не работает), пока Государь там, и спрашивать указаний.

Указаний – о чём? Двигаться всё равно невозможно.

Государыня ломала пальцы.

149

Во всю бы жизнь никогда не прикасаться Михаилу Александровичу к государственным делам! Сколько есть достаточного для человека – военная служба, спорт, семья! Была когда-то несчастная полоса, после смерти брата Георгия считался он наследником престола. И тогда приучали его: членом Государственного Совета и даже, для государственной практики, отсиживал заседания в совете министров. И хоть никогда ничего там не высказал, никогда ничего сам не делал, – а стягивало его это под мундиром, лишало лёгкости.

Но однажды, в июле 1904, счастливой ночью в красносельском лагере принесли ему телеграмму. Он прочёл её в палатке при фонарике – и в бурной радости закричал адъютанту:

– Мордвинов! Вставай! Шампанского! Императрица родила мальчика! Я больше не наследник!

Так в 26 лет он освободился – и остался просто синим кирасиром, стоял в Гатчине, ездил на манёвры, отдавался верховой езде, теннису, конькам, посещал театры, имел свободу и погулять, и пошутить, и полюбить. Больше всего он любил спорт, во всех его видах, – и потому что он давал силу телу (в юности Михаил был слаб), и за азарт, и за риск. Мечта его была – управлять аэропланом, и он уже изучал машину, но ещё не знал до винтика. И кавалерийская ловкость была его гордостью. И никогда больше брат не путал его в государственные дела.

Но вот Михаил полюбил нешуточно, да женщину, разведенную дважды и с двумя детьми от последнего мужа Вульфберта. Великому князю жениться на такой женщине абсолютно исключалось, двойное нарушение: неравнородная – дочь присяжного поверенного, и разведёнка. Но и, влюбясь бесповоротно, Михаил тоже решил бесповоротно.

С тех пор возникло большое напряжение с братом Государем, не стало постоянной между ними лёгкости. Хотя Николай был на десять лет старше и с государственным опытом, и Михаил искренно почитал его за ум, за такт, – но была раньше межбратняя простота и

лёгкость – а после самовольной женитьбы исчезла. Такой вообще мягкий, Николай рассердился неумолимо, негодовала и Мама, – хотя больше бы имел прав рассердиться Михаил, что они отдали его под сенатскую опеку как недееспособного. А Михаил тогда только что получил командование кавалергардским полком! Пришлось оставить и полк, и армейскую службу вообще, да от обиды и саму Россию, и два года прожить в Англии и может быть больше бы гораздо, если б не началась война. Наташа не хотела всё равно возвращаться – из гордости, а поступал бы он в английскую армию. У Наташи острый ум, твёрдый характер, и Михаил припеваючи жил с нею в лад, но тут – она не понимала: как можно не быть частицей родной армии, когда она воюет, это как с вынутаю душой! Миша дал телеграмму Николаю, прося разрешения воротиться, был зачислен в свиту Его Величества, получил звание генерал-майора и командование туземной кавказской бригадой – из одних добровольцев (кавказцев не призывали), отчаянных храбрецов. Но Михаил и сам в атаках не наклонялся от пуль, и сам был ловок на коне, и добр к подчинённым, и «Дикая» дивизия полюбила его.

А Наташа была затем пожалована в графиню Брасову. Но всё-таки прежняя простота между братьями уже никогда не возвратилась. И Михаил особенно это чувствовал последнее время, когда, половина великих князей, как с ума сорвавшись, всё порывалась обличать Государя, пошли и на убийство Распутина, все они ждали от Михаила поддержки, а он не оказывал. А тут и общественные разные деятели искали через родственников повлиять на Государя – и среди них особенно Родзянко, которого Михаил почитал как выдающегося государственного мужа. Им всем единственный брат Государя представлялся очень влиятельной значительной фигурой, имеющей вход в государственные дела, – а Михаил ни входа не имел, ни охоты ни малейшей, он был насыщен жизнью частного человека и обсуждать государственные дела даже как посторонний никогда бы не хотел. Но вот навязывали. (И Наташа тоже интересовалась Государственной Думой и сочувствовала общественным настроениям). Разговаривая с этими деятелями и с Родзянкой, Михаил легко убеждался в их правоте и что конечно Николай мог бы во многом распорядиться лучше. Но если, по сочувствию к этим хорошим людям, он пытался начинать разговор с братом, тот даже и приглашал высказываться, – то первые же возражения Николая, отягощённые многими-многими государственными обстоятельствами, сразу лишали Мишу языка и доводов. Да никогда такого характера у него не было – настаивать со своими убеждениями.

И сейчас: жил он спокойно-тихо в Гатчине с Наташей, её детьми, и своим уже трёхлетним сыном, день дома, а через день приезжая на Галерную в канцелярию генерал-инспектора кавалерии, которым его недавно назначили, – так вот начались городские беспорядки. И как же несчастно, что брат как раз перед ними уехал в Ставку. Был бы он здесь – никто бы Михаила и не теребил.

И сегодня, когда Михаил ехать в город не собирался, Родзянко настойчивейше просил приехать. Да не преувеличены ли страхи? Вчера, в воскресенье, днём Михаил и ездил в город, и с Ксеньей вместе они были в Петропавловском соборе на панихиде у гробницы отца – было вполне тихо на улицах.

Но Наташа убедила, что надо ехать: видимо, грозный момент. «Ты должен быть у места!»

А в Мариинском дворце, выслушивая все доводы Родзянки, Голицына, Крыжановского и видя крайнее их волнение и обескураженность, Михаил однако с первой минуты ясно ощущал и то, что обращаются они к нему ошибочно. Это всё были уважаемые государственные люди – и тем грустнее их слушать: ну разве он мог такое на себя взять? да когда ж ему брат что-нибудь подобное поручал? Да он справедливо изумится: зачем вообще Михаил лезет не в свои дела? Такой разговор и в комнате нелёгок, а вести его по телеграфному аппарату, когда слова, неудачно выраженные и не исправленные интонацией, утекают, утекают неостановимо по ленте – и дружеский братний совет превращается в какой-то ультиматум?

Правда, ему написали, что телеграфировать, – но ведь это выглядело как самовольный

захват власти в столице? Боже мой, чего они от него хотели? Он не взялся им напрямую возразить – ему было неловко за них самих, – но как они могли до такого додуматься? Однако не имел он твёрдости им наотрез отказать. Что-то надо было сделать, уж он попался.

Ах, как ему не хватало сейчас Наташи рядом, для совета. Он привык понимать вместе с ней.

Но и перед чугунным куполом родзянковской головы Михаил уже знал, что конечно не будет просить министерства, ответственного перед Думой: ему известно было, как нетерпимо Николай относится к этому. А кто тут истинно прав – Михаил никогда не мог понять до конца.

И конечно же – он не посмеет предложить себя диктатором столицы.

Дом военного министра был на Мойке близ Кирпичного переулка. Беляев, за 40 лет не женат, жил один, – странный бумажный человек.

У аппарата был дежурный телеграфист. Наладили передачу, а сам Беляев пошёл к телефону выполнить ещё одно поручение Родзянки: позвонить в Царское Село и передать, чтобы государыня с детьми уезжала бы поскорей да подальше, сегодня же в ночь. Вот как размахивались события!

Впрочем, говорить предстояло Михаилу не с братом, но, конечно, с генералом Алексеевым. Да не говорить, а передавать через телеграфиста уже подготовленные ему соображения.

И – надо было назвать предположительную кандидатуру будущего премьер-министра. А ему – не сказали. Но уже не раз Михаил слышал это имя и повторил: князь Львов.

Вот на что Михаил самое большее решался: не поручит ли Его Императорское Величество своему брату тотчас же и объявить в столице, какие будут решения Государя?

И ещё, когда Алексеев уже принял телеграмму, смекнул Михаил и посоветовал по-братски: что намечавшийся возврат Государя в Царское Село надо было бы на несколько дней отложить.

Медленно протягиваемая лента и печатание по букве – это не разговор. Не помещается сказать: как тревожно здесь, как неуместно было бы сейчас Николаю тут появиться, просто нельзя быть уверенным за его голову. За ничью голову.

Алексеев там понёс ленту на доклад. А Михаил тут, не отойдя от аппарата, сидел в расслабленной позе. Вот – и ещё раз он вмешался. Последний раз при поощрении Наташи он вмешался в ноябре, письмом: со всех сторон очень настойчиво его уговаривали. Его и поразила эта перемена в настроении самых благонамеренных людей: недовольство и осуждение высказывали люди, настолько до сих пор верноподданные, уравновешенные, чья преданность выше сомнений, что страшно становилось за трон, за государственный строй – кто ж оставался поддерживать его? страшно за царскую семью и за всю династию. И Михаил тогда написал брату письмо. Что всеобщая ненависть к людям, будто бы близким к трону (он имел в виду Распутина, Протопопова, но не назвал), уже объединила самых левых с самыми правыми. И такое впечатление, что мы стоим на вулкане и малейшая ошибка может вызвать катастрофу. Но может быть, если этих лиц удалить и заменить чистыми – общество оценит такую уступку и расчистится путь для военной победы? Боится Михаил, что эти настроения общества, а значит и всей страны, не так сильно ощущаются в ближайшем окружении Государя и он может недооценивать их опасность. А кто делает доклады по службе – тот боится высказать резкую правду. А Михаил решается высказать по любви.

Как и сегодня.

Ответил тогда Николай: *они* всех будут ненавидеть, кого ни поставь. Они Протопопова ещё два месяца назад сами превозносили, и с ними европейские союзники. Они на самом деле добиваются: лишь бы не так, как ведётся в России. И запомни, что *общество* – это не страна Россия.

Задвигалась лента. Так и есть, Николай опять всё отклонял. И о правительстве и обо всём он распорядится сам, когда приедет в Царское, а выезжает завтра же днём. Завтра же отправляется на Петроград генерал-адъютант Иванов в качестве главнокомандующего

Петроградским округом, и завтра же начинают отправлять с фронта надёжные четыре пехотных и четыре кавалерийских полка.

От этого ответа веяло твёрдостью.

Но вот что! – лента ещё текла. Теперь сам Алексеев, уже от себя, просил великого князя: при личной встрече снова повторить Его Величеству просьбу о замене министров и способе выбора их. Ходатайства Его Императорского Высочества есть бесценная помощь Государю в решительные минуты, от которых зависит ход войны и жизнь государства.

Ого! Какие сильные слова! – и уже как бы в тишке от Государя. И Алексеев – тоже думал так, как и все тут убеждали Михаила.

И только один Государь?...

Нет, что-то здесь не постижимое уму. Не Михаилу разрешить. Он сейчас вернётся в Гатчину к Наташе и будет опять простым человеком.

А Беляев – очень приободрился от вести, что восемь верных полков идут на Петроград. И что Хабалова ему не надо ни подменять, ни заниматься им больше. Совсем уже погасшее его пенсне опять поблестело. Прав он был, что отказал в этом безумном проекте – царскосельскому авиационному отряду бомбить Таврический дворец. Как можно брать на себя такую ответственность! А теперь придут полки, и всё будет в порядке.

Шёл двенадцатый час ночи, пора была великому князю ехать на вокзал. Но тут неожиданно на Мойке, рядом, поднялась сильная стрельба.

Странная стрельба: не носила характера огневого боя, совсем беспорядочная для тренированного слуха – а всё не утихала. Иногда звенели стёкла, кому-то в окна попадали.

Но задача прорваться через стрельбу уже была самая лёгкая из сегодняшних минувших. Беляев умолял обождать, не рисковать, но великий князь отклонил: глупо сидеть. Тем более, что если ворвутся во двор, то могут забрать и автомобиль, вообще не уедешь.

Выехали со двора сразу большим ходом – и погнали по пустынной Мойке к Красному мосту.

А Беляев, оставшись, решил прежде всего звонить в Мариинский дворец и поделиться новостями с министрами, и что им велено оставаться в должностях. Секретарь соединился, вызывал одного министра, другого, – подошёл будто бы Кригер-Войновский, но Беляев сразу узнал, что голос не тот. А пока трубку держали – услышал странную фразу на сторону о просмотре каких-то бумаг.

Кошмар! В Мариинском уже хозяйничали мятежники!? Правительство было разгромлено?!

Тогда и сюда, в дом военного министра, конечно могут явиться в любую минуту! (Ещё надо было звонить и Родзянке, но уже некогда!)

Одно спасение было Беляеву – переехать в штаб Хабалова, пока не перерезан путь.

Но поднялась опять стрельба и совсем рядом! – да не ломились ли уже и в ворота?

Было поздно заводить, выводить автомобиль. Да автомобиль и уязвим, и остановят!

Генерал Беляев накинул фуражку, шинель – и кинулся через чёрный ход. Если довмина уже не спасти – то спасти самого себя.

150

Назначили генерала Иванова, приняли решение о посылке войск – теперь всё будет хорошо, и петроградский вопрос решался, по крайней мере на сегодня. Сегодня – мог бы уже длиться и вечер – отдохнуть, поиграть с Граббе и с Ниловым в домино, почитать в постели историческую книжку, да и спать. Тихим поздним вечером все сберегательные силы организма так ощетиываются: чтоб ничто не ворвалось и не нарушило!

Но – опять притащился хмурый Алексеев – и принёс телеграмму Рузского. Всё-таки, вот, Рузский – неискренний: сутки переждав, оглядываясь, как неблагоприятно развиваются события в Петрограде (он получил копию панической телеграммы Беляева), – тоже присоединился к Родзянке, тоже передавал его взбалмошную телеграмму – и, тоже заклиная

победой, продовольственными и транспортными трудностями, дерзал всеподданнейше доложить о срочной необходимости успокоить население, но что меры репрессий скорее бы обострили положение, чем умиротворили его.

Не писал он прямо о поддержке ответственного министерства, но получалось, что поддерживал его.

Да и сам Алексеев, в золотых очках, с хмуро-недовольным видом, будто Государь нанёс ему личную обиду, тоже был того же направления.

Да подозревал Государь, что и свита вся уже мыслит так.

Но – невозможно было им всем объяснять или отвечать.

Однако – денёк! Прошёл час – и Алексеев снова появился в царском доме, ещё согнутой, кислей и озабоченной. Оказывается, у него только что был прямой аппаратный разговор с великим князем Михаилом из Петрограда, тот и сейчас остаётся у провода. Он просит доложить Государю, что волнения приняли крупные размеры и единственный путь успокоения – по его глубокому убеждению – уволить весь состав совета министров. Он считает, что выход только: избрать лицо, уважаемое в широких слоях... – но ответственное единственно перед Его Императорским Величеством. И даже советовал, кого: князя Львова.

Ах, Миша-Миша, скрутили голову и тебе, думаешь ты – головой Родзянки. «Глубокое убеждение»!...

Как сговорились, все в одном кольце осады против Государя. Да, и вот ещё: Миша имел суждение не советовать Государю ехать в Царское в эти дни!...

Очень опечалился Николай этим вмешательством брата. Именно близость советчика зацепляла за душу. Но не давая увидеть Алексееву этого семейного – Николай ответил сразу, поспешил ответить – с неудовольствием, для передачи брату. Что благодарит его императорское высочество за совет. Но ввиду чрезвычайных обстоятельств не только не отложит своего отъезда в Царское Село, но выедет завтра же. Приехав, он на месте всё и решит касательно состава правительства.

Ну, пожалуй, и сообщить ему о посылаемых войсках и об Иванове. От великого князя это не секрет.

Алексеев ушёл – а Николай, освобождённый от необходимости держаться невозмутимо, – стал расхаживать по кабинету, поскрипывая сапогами и разглаживая усы. Это известие от Миши задело его. Зачем, зачем он вмешивался не в своё? Зачем он дал себя закружить? Какая сила речей у этих говорунов, они затмят кого угодно. До чего же дошло – Миша, всю жизнь занятый своей любовью и кавалерией, беспритязательный Миша даёт ему государственные советы, да какие – сдать позиции! Да разве у него есть государственный смысл? Он сам-то прощён и возвращён в армию и в Россию – ещё нет трёх лет.

А ведь именно он когда-то и был наследником престола – как же бы он повёл?

Николай перед собой и перед Богом знал свои недостатки. Он не только считал себя царём неудачливым, но – и недостойным. И не было у него ни грана тщеславия. И никогда не гнался за популярностью. Однако с годами всё больше, а от войны и полностью он отдавал себя всего этому званию, этому бремени – и уж теперь-то знал его вес и давление.

И тут – брат Георгий выдвинулся ему из голубой абастуманской дали, где умер он, и никогда не посещена его могила, – безвременно умер, бессмысленно, от запущенной простуды.

Да не бессмысленней, чем гигант-здоровяк Отец. Как-то внезапно ухватывало и уносило из жизни их ветвь.

Выдвинулся Георгий – не весёлым юным спутником дальневосточного путешествия, но уже с предпоследними своими печальными чахоточными глазами, – и так вдруг больно потянуло Николая к несостоявшемуся брату. Кто бы был он сейчас, и какой, может быть, сподвижник? И какая, может быть, опора в династическом раздоре?

Подходила полночь, кончался день. Удивительно, что за весь такой тревожный день не было ни единой весточки от Аликс.

Это могло только значить, что волнения не столь опасны, и она не хотела тревожить

мужа зря. Но тогда отчего не успокоила?

За 22 года привык, прижился, прирос Николай к ежедневным беседам с нею о делах или к её ежедневным многостраничным письмам, наполненным государственными тревогами и разъяснениями о людях, кандидатурах, ситуациях. Как к ежедневному делу он привык и приуётился медленно читать и перечитывать, и обдумывать эти письма, и делать выводы. Он привык думать и решать только вместе с Аликс. За всю жизнь не было у него друга и советчика более честного, более преданного, более умного, энергичного и проницательного, чем жена.

Кончался день, но не кончались, а только раскручивались тревоги. Опять, тяжело стуча сапогами, уже даже по-солдатски, а не по-офицерски, бедняга Алексеев, ещё больше озабоченный, пригорбленный и горящий температурой, принёс теперь телеграмму Голицына, составленную вполне растерянно.

Сперва: совет министров дерзает представить Его Величеству о безотложной необходимости объявить столицу на осадном положении – впрочем, тут же и оговариваясь, что это уже выполнено властью военного министра.

Но Государь уже несколько часов как знал об этом! Он глянул теперь на пометки времени и изумился: принесенная телеграмма Голицына находилась в пути – пять часов! Что делалось с телеграфом, чьи злодейские руки могли так задержать телеграмму председателя совета министров – своему императору?

Но уже и доискиваться был недосуг. А – читать дальше.

Совет министров всеподданнейше ходатайствует о поставлении во главе оставшихся верных войск – одного из военачальников Действующей армии с популярным для населения именем.

К счастью, именно это и сделано. Хорошо придумали с Ивановым.

И наконец: совет министров предлагает себя распустить, а председателем назначить лицо, пользующееся общим доверием, – и было бы составлено ответственное министерство!

Редко-прередко Николай выходил из себя – но, кажется, начинал выходить. Это изумительно! – государевы министры, государевы слуги, поставленные самодержавной Верховной Властью, они не только потеряли голову и всякую волю, но брались ходатайствовать за уничтожение собственного существования, чего до сих пор добивались только их враги! В минуту опасности – хотели дезертировать всей своей кучкой.

И голос энергичного, всегда бодрого, уверенного Протопопова – не выделился среди них. Ничего отдельного не шло от него весь день.

Неумелый, слабый старый князь Голицын! – неужели именно сейчас было время для перестановок?... Который уже раз, с какой стороны слышал Государь – но ещё ни разу от самого совета министров – это нудно однообразное и головокружительно безумное по смыслу требование ответственного министерства!

И не в Алексееве тут было найти сочувствие, даже напротив. Привыкнув к простоте отношений, Алексеев сейчас, не ожидая спроса, глухо-бурчливым голосом присоединился уговаривать: уж если правительство само о том просит? Решить раз навсегда этот проклятый тыловой вопрос – и вести войну к победе.

Со стариком Алексеевым, кроме того несчастного случая с гучковским письмом, Николай всегда говорил уважительно: как было не полюбить его за неусыпное кропотливое пристальное бдение в штабе! Но сейчас – даже говорить не захотелось.

Холодно отклонил, что на телеграмму ответит сам.

И ушёл больной старик, хмурый, пригорбясь.

Николай курил – и ходил. Он ощущал себя в глухой круговой осаде. Со всех сторон все добивались одного и того же, не понимая, о чём просят. Это была бы совсем не малая проходная уступка: это – почти упразднение Государя. Республика.

Над Николаем сейчас парило особенно воспоминание октября 1905 года. Тогда тоже казалось – так неизбежно уступить, все вокруг за уступку, никто не поддержал! – и Николай соскользнул. И сколько горя от того! И как же потом жалел! Но соскользнутого – потом

назад не возьмёшь.

Так сегодня он не допускал себя испугаться, не допускал повторить той уступчивости: опять у всех обман чувств.

Какое же отвратительное состояние: быть так далеко от событий и получать сведения столь опоздавшие, столь отрывочные и столь грозные.

А непереносимей всего – без Аликс. Получать все эти ужасные телеграммы – и без неё. Ощущение сироты. Боже, как дожить до завтрашнего дня, чтобы ехать к ней?

Вдруг мелькнула мысль: а что бы – не дожидаться завтрашнего дня? Взять – да поехать раньше, скорей. Что тут держало в Ставке? – один утренний доклад Алексеева да этикет завтрака?

Кто был вокруг него? (Вот, они сидели ещё за одним, последним вечерним чаем). Свита. Как будто необходимые, при своих обязанностях, и милые, – а совсем не действенные люди, не советчики, не помощники. Министр двора Фредерикс – уже совсем в рамолитете, порой слабоумен, содержимый по жалости, из традиции. Маленький адмирал Нилов – хорошее сердце, горяч, да всегда нетрезв. Сонливый Нарышкин, услужливый Мордвинов. Один Воейков энергичен и голова работает практически, но больше всего практически – на собственное устройство. А досмотревшаяся до него Аликс предупреждала не раз, что при всей его внешней уверенности, самонадеянности и властолюбии – он внутренне трус и всегда может изменить.

Никем не подкрепляемый, Государь собственною рукой написал ответную телеграмму Голицыну: и новый воинский начальник, и войска придут в Петроград немедленно. Но перемены в личном составе гражданского управления (чтоб не назвать открыто для телеграфистов «правительство») при данных обстоятельствах считаю недопустимыми.

И – сам понёс телеграмму в штаб, чтобы своим появлением ещё раз внушить Алексееву, что никаких уступок по «ответственному министерству» не будет.

Оказалось, Алексей настолько худо себя чувствует, что прилёт. Государь не велел его поднимать. Но передать ему, что **решение неизменно** .

Однако не успел Николай вернуться к себе, готовясь уже и почивать, – как снова, тяжёлой походкой, уже даже не военной, к нему прибрёл Алексей. И – стал отговаривать от посылки такой телеграммы.

Какая-то часть мозга у всех у них была поражена! – и они не понимали, о чём просили.

Трудно было Алексееву подняться из постели и прийти.

Ещё труднее – Государю устоять на своём.

Но, собрав всю волю, устоял перед умолениями.

Он сам не узнавал своей твёрдости! Аликс гордилась бы им!

Но вся эта последняя твёрдость, которую он в себе съёжил и додерживал, всё через сильное состояние этого дня – могли вот-вот и рассыпаться. Тянуло прикоснуться скорей к спасительной силе жены и почерпнуть новой твёрдости.

Правда: что если б не откладывать на середину дня, а поехать в Царское раньше. Например, утром?...

Уже уходил спать в свою с наследником маленькую спальню, уходил в нерешительности, уже как бы не веря, что день может так просто кончиться, – и тут доложил через камердинера и вошёл крупным решительным шагом Воейков. (По виду не бывало более уверенного и решительного человека, чем он).

Вот с чем: только что из Царского Села поступил по перебивчатому телефону запрос обергофмейстера графа Бенкендорфа: **не желает ли Его Величество, чтобы Его Величество с детьми выехали ему навстречу ?**

Загадка!...

Николай изумился: при тяжёлой кори детей, по морозу – выехать навстречу? Как это понять? Только что, в последнем письме, отговорилась от поездки в Ливадию – весной и по выздоровлении детей, – а теперь готова в мороз ехать с больными?

Но поговорить прямо – невозможно, прямая линия с Царским всегда работала

перерывисто, неразборчиво.

О, Боже! Как всё понятно: императрица – в отчаянном положении, она боится за детей, боится этого бунта больше, чем кори? Так каково положение там?

Практик Воейков быстро соображал: именно так и надо делать, немедленно выхватить семью из Царского, хотя бы на автомобилях, на аэропланах! А потом – в поезд, и в Крым. Именно так, Ваше Величество.

Но Государь представить такого не мог: дети, наследник пригвождены к постелям – и как же можно рисковать везти их по холоду? Не такой же бунт, преувеличение. Сама же императрица ни одной грозной телеграммы не дала за день. Ни Протопопов.

Но Боже! Как ей одиноко, и смутно, и тяжело. Как же он мог ещё раздумывать, ускорять ли свой отъезд?

Ответить, если удастся, или телеграфом: ни под каким видом не ехать! Государь немедленно выезжает в Царское сам.

Решил – и как сразу облегчилось сердце! Вся тяжесть этого дня, этих дней – как будто уже и спала, пережита! Скоро – вместе! Скорей – соединиться! Всё изболелось! Как она одна там, бедняжка, как?!

И – послал Воейкова распорядиться подать царские поезда немедленно! Уже не ложимся спать в Ставке, а – сразу же едем!

Да мятежники может и правда угрожают Царскому? Но там – силища своих войск! И ещё едет георгиевский батальон. И начнут подъезжать полки с фронта!

Привычно, быстро уже собирал мелкие путевые вещи.

Но Воейков воротился с досадной задержкой: поезда технически не готовы к движению, можно приготовить только к концу ночи. А садиться в вагоны – можно около часа ночи.

Через час? Ну, хотя бы так. Собираемся.

Но – опять Алексеев! Прослышал о царском распоряжении – и снова поднялся и, пошатываясь, со сдвинутыми очками, пришёл уговаривать Государя снова, на этот раз: не ехать ни за что!

Так просил и Миша: только не ехать в Царское.

Так просил теперь и Алексеев: опасная минута, в Петрограде неопределённость, правильное место Государя – в Ставке. Вся Россия в покое, кроме Петрограда нигде беспорядков нет, вся Действующая армия – в порядке, строго подчинена державному вождю, – как же может Государь всё это покинуть и ехать сам на опасность?

Но – уже было радостно решено! И Государь просто не понимал бесцеремонного вмешательства начальника штаба в его личные дела. Какой зов над человеком властнее, чем зов семьи?

А Ставка? – оставалась в руках Алексеева. Государь уезжал спокойно.

151

Выйдя с рокового заседания кабинета, на котором он отказался от поста, Протопопов побрёл по залам и лестницам Мариинского дворца, не видя ковров и ступенек. В таком отчаянии и таком бессознательном одиночестве был он, как ещё никогда не бывал: куда идти, куда ехать? – его дом разгромлен – и это уже не его дом – он сам отказался от своего сияющего поста – и кто же он теперь был? Легко сказать застрелиться – но как нажать гашетку? – да и пистолета нет, как решиться расстаться со всем, что есть жизнь, краски и движение?

К счастью, он набрёл на кабинет Крыжановского, и тот был у себя, и имел терпение и время беседовать, выслушать страстную исповедь и жалобы на министров, на Думу, на всех, – и поддержать, и успокоить. Да всё бы кончилось благополучно, если бы три дня назад арестовали несколько ведущих думцев. И обсудил с Александром Дмитриевичем, кончать или не кончать с собой, и уверил, что не надо.

Сам Крыжановский был весьма государственный человек и с большими познаниями: это он когда-то уверенно оппонировал Витте: что земство отлично совместимо с самодержавием и должно развиваться. Сегодня утром, не дозвонясь до Александ Дмитрича, он телефонировал Курлову, в последней надежде на его полицейский талант. (Но тот – не захотел вмешиваться, или болен). Крыжановский тоже едва не стал министром внутренних дел, уже побывав помощником. И этой осенью митрополит Питирим манил Крыжановского в премьеры, но не исполнил. И так – ему ни разу не пришлось занять подлинно крупного поста – что сегодня выглядело и безопаснее. (Но тревожился он за свои неосторожные дневники, где остался след многих государственных лиц и событий, – успеет ли дожидаться ночи, чтобы сжечь их? И уже пора ли сжигать?)

И чем больше Александр Дмитрич выговаривался, изнемогая, в потерянности судьбы, тем всё же становилось ему легче. А Крыжановский тем временем обдумывал его положение и указал, что Мариинский дворец может подвергнуться разгрому и с тем большей опасностью, если Протопопов будет находиться здесь, это навлечёт толпу на дворец. Тем более это крайне опасно самому Протопопову. И он же, выручатель, догадался, куда Протопопову скрыться: в здание Государственного Контроля, совсем рядом, Мойка 72. Позвонил и получил разрешение переночевать в служебном кабинете. Ах, какой подарок судьбы и в какую минуту! И не надо пробираться пешком через разбереженный роящийся город, но – ускользнуть из Мариинского дворца чёрным ходом и шмыгнуть двести шагов позади него.

И вот – впустили. И вот за тобой заперта массивная дверь – благожелательный швейцар – пустой вестибюль – пустая лестница – о, надо испытать эти все опасности, уйти из-под молота судьбы, чтоб ощутить пустое вечернее учреждение как уголок спасительного рая! Во всём Петрограде нельзя было, наверно, сейчас придумать более безопасного места. За эту ночь могут разгромить все дворцы, все министерства, все частные квартиры министров – о, ни один из них, исключавших его, не посмеет сегодня спать спокойно! – а вот Александр Дмитрич пребудет совершенно бестрепетен. Одну ночь, но блаженно, как ангел: ни в какую же голову не придёт громить государственный контроль! Отвели его в кабинет помощника главного контролёра.

О, какое сразу освобождение нервов! Сразу утихла эта мучительная внутренняя дрожь, не отпускавшая весь день от утреннего звонка градоначальника. От этого резкого контраста, от этого спасения в десять минут – тёплые волны благодарного покоя заполняют душу, и как будто вносят, как будто вносят, и ты плаваешь, ногами бесчувственен к коврам. Так переволновался, так исстрадался, – но свалилась ответственность, но отпала опасность – и по контрасту теперь не хочется думать ни о чём дурном, но отдыхать, но может быть грезить, – а все заботы и огорчения пусть отодвинутся на утро!

А утром, может быть, всё и переменится?... К утру, может быть, придут извне спасительные войска?

Целых двенадцать часов безопасности простирались перед ним! Надёжные каменные стены отгородили его от бунтующего моря.

Он долго с удовольствием ходил по кабинету.

А на столе стоял телефон.

Искушение телефона.

Его – не могли найти. Но мог найти – он...

Кого? Во всём Петрограде не хотелось ему никому позвонить. Жену – увели к смотрителю. Брату? Вот только брату. Бадмаеву? Да, ещё Бадмаеву, целителю тела и души. (Вот куда бы ему сейчас унести по воздуху – на Поклонную гору к Бадмаеву. Но нет, там-то и нашли бы). Во всей столице, во всём корпусе, составлявшем государственный мир России, – ни к одному человеку не тянулась такая сердечная нить, чтобы позвонить по телефону. Протопопов стал ото всех отринут.

Но он мог позвонить в Царское Село?

Теснились милые образы. Даже и будучи в отпуску по болезни, он продолжал посещать

царскосельский дворец с неформальными докладами государыне, и сколько говорили с ней обо всём, обо всём! Царское Село – это райский привлекательный остров, отдых души! Боже, государыне ли он не угождал? Доклады у неё не были реже, чем у Государя, и всякий раз от Государя он переходил к ней и всё повторял, даже ещё подробнее. Как неизменно ласкова была с ним всегда императрица, как верила в него! – особенно после ареста рабочей группы, когда он предотвратил революцию. Нет, особенно после того, как он провёл энергичный розыск по убийству Распутина, самое предприимчивое его действие за всё министерство, добыл след от Головиной, любившей и убийцу и убитого, – он сам себя тогда не узнавал, как умно и удачно действовал.

И сейчас – государыня наверно ждёт от него известия. Но слишком многое случилось. О, гордая царственная страдальца с непримиримой душой! каково ей будет узнать обо всём? Может быть даже лучше ей – не сразу знать.

Да ведь он теперь уже и не министр.

Нет, никому он не смел звонить отсюда: он бы сразу выдал себя, открыл бы своё место. Перед искушением телефона он устоял.

Но теперь, когда отступила стопастевая опасность – тем горше поднималась жёлчь: сбросили. Столкнули. Предали. И кто? Не думцы-враги, но свои же министры. Кол-леги. Ещё надо было, оказывается, лавировать среди министров. И Штюрмер и Трепов называли его перед царём – сумасшедшим. (Государь сам открыл ему). Штюрмер ему много неприятностей сделал. А Трепов прямо просил у Государя увольнения Протопопова и самому говорил: «Уйдите! вы мне мешаете!» Жалкие недалёкие люди, – естественно, что и Алексан Дмитрич не питал к ним добрых чувств. За пять месяцев переживши трёх премьеров, естественно, что и он обходил их, в чём мог, не сообщал внутрнедельских сведений, а старался доложить это в Царском Селе сам, показывая себя наиболее осведомлённым из всех министров. Порекомендовал заменить Шуваева на Беляева, с которым надеялся ладить, – и вот сегодня первый Беляев, безглазый предатель, толкал Александра Дмитрича в отставку! И Протопопов же предлагал в Царском чудный выход: Штюрмеру «заболеть», чтобы смягчить думский конфликт, – а вот сегодня заставили «заболеть» его самого.

А кого у нас не ненавидят? За что так люто, так уничтожающе ненавидели Распутина? За разврат? А многие ли удерживались от разврата, когда открывалось раздолье? А обличающие были сами намного святей? Разве дворяне не кутили? испокон? Как было простому мужику не сойти с ума, что высшие дамы кланяются ему до полу? Да не столько этого всего и было, раздули. Надо напротив удивиться, как Распутин сохранил свой природный ум и сколько трезвых советов давал, до которых и Дума не доросла. А когда Протопопов уговаривал его побережь царское имя – он прислушивался. В ноябре не взял от Трепова взятку 200 тысяч за то, чтоб отставить Протопопова, сказал: «Не надо мне ваших денег». Что он бесчисленно просил для кого-нибудь льготы? – но опутывали его дельцы, самому ему это не было нужно, они поживлялись больше, чем он сам.

За близкими крышами выдвигался корпус Мариинского дворца, хорошо видный из неосвещённого кабинета. Весь верхний этаж был залит электричеством – себе же на беду, привлекая толпу громил.

Александр Дмитрич успокаивался.

Не хотели вы Протопопова? Не хорош вам был Протопопов? – ну, как изволите.

Что они там заседают? что решают? что могут решить? Задумали спасти свои шкуры ценой Протопопова?...

Неужели всё его министерство оказывалось лишь короткой иллюзией?... Нет, душа отринывала принять такое жестокое падение! Нет, ещё не вдребезги всё разбито! Это – только короткое испытание! Завтра, послезавтра войдут в столицу победоносные государевы войска – и чернь разбежится в порочном ужасе, и думские вожди кинутся на колени, и трусливая свора министров будет просить извинения за этот вечер. Только бы простили ему государыня и Государь! – простили бы эту невольную уступку ничтожествам, эту отставку

вынужденную, горькую, по соображениям тактическим, никак не измену государевой воле!

А Государь всегда так охотно всех милует, он всем находит извинение, – неужели же не помилует своего любимца? А какие с ним чудесные откровенные беседы вели (их взгляды совпадают по всем вопросам)! Как нужно всегда знать этот тон (и Протопопов знал) – никогда не быть чересчур настойчивым, никогда не передавать ничего неприятного, чем постоянно обременён министр внутренних дел (как ругают Государя в гвардейских кругах, что пишут в письмах, – Государь не терпит перлюстрации).

Мариинский дворец между тем погас, весь погас, не светилось больше ни одного окна, отчего и тут в кабинете стало темней. Теперь на небе справа, от Невского, отчётливо выступило зарево.

Что-то где-то горит! Может быть и дом на Фонтанке...

Ну что ж, здесь хорошо. Правда, валик диванный не так удобен под голову, – а то и мягко, и просторно, и тихо, успокоительно цокают пристенные часы. Придётся не раздеваться, а укрыться собственной шубой. Ах, это всё пустяки, это всё можно перенести.

Самое главное, что прошли благополучно роковые дни, предсказанные Перреном, – 14, 15, 16 и 24-е. А теперь уже – он уцелеет.

И опять вернётся на вершину министерства внутренних дел. (А может ещё и премьером?..)

И снова они будут собираться в интимной царскосельской обстановке – и так мило беседовать обо всём. О, эта благосклонность ещё вернётся к нему!

152

Ни дяде Антону, ни кому из прежних жертвенных революционеров не досталась, и примечаться не могла такая доля: ночным перебудораженным и уже безвластным Петербургом нестись по улицам в каком-то сказочном аппарате, по мостовым со скоростью птицы, с двух сторон на крыльях – стрелки, нацеленные винтовками вперёд, за спиной ещё десяток солдат, – нестись на взятие правительственной твердыни – в трёхстах саженях от Сенатской площади! Саша уже до такой степени был заранее полон счастьем, до такой высшей вершины вот уже взметнулась его жизнь – что была как бы и увенчана, лучшего уже случиться не могло никогда, и теперь он без сожаления мог с нею хоть и расстаться.

Вот – наступила своя война! Прежде он берёт голову – только для своего часа.

Впереди ехал опытный Сосновский на броневике, он выбирал и маршрут. Пронеслись мимо Летнего сада – и Сашино сердце застучало ещё от этой символики: здесь Антон Ленартович стрелял в Дубасова, здесь был схвачен, да тут же прозвучали и первые выстрелы русской революции – каракозовские, – и вот отсюда нёсся Александр Ленартович на решающий последний штурм царизма!

Даже слёзную щемоту почувствовал в глазах. Как это бессмертно! Хотя бы он погиб сейчас – но этот подвиг впишется и будет вспоминаться: как Александр Ленартович брал оплот последнего царского правительства!

Так и повёл Сосновский по изогнутой набережной Мойки, так перескочили и Невский и Гороховую, не задерживаясь, – и вдруг, что-то заметив впереди, броневик круто остановил, а сашин шофёр не сразу мог затормозить – и едва не налетел и не расшибся об зад его.

Высунулась рука Сосновского, показывающая круговыми движениями назад. Набережная Мойки, суженная снежными кучами, не давала простора двум автомобилям разъехаться, и сашин шофёр, матерно ругаясь, стал давать задний ход – до Гороховой и на саму Гороховую. Следом за ними вплотную своим грозным задом наступал и броневик.

Саша думал вылезти и узнать у Сосновского, что именно случилось, но мешали солдаты на крыльях, – да броневик, не задерживаясь и не объясняясь, повернул и рванул по Гороховой, а потом по Морской налево.

На середине квартала Морской сашин автомобиль догнал броневик. Теперь тот двигался осторожно, с выключенными передними фонарями. Сашин тоже выключил.

Впрочем, на Морской было довольно уличных фонарей, они оба оставались достаточно видны дворцу, как и им был виден дворец, весь сияющий многими окнами двух этажей, редкое не светило. Там сидели сейчас все министры? Всех министров можно захватить сразу?

Далеко за дворцом, в стороне Мариинского театра, пламенело в небе сильное пожарное зарево.

А перед дворцом – стояли две пушки. Вот тебе раз!... Правда – стволами пока на Исаакиевский.

А против них и броневик ничто?

Тут раздалась пулемётная очередь. Сперва Саша так понял, что начал стрелять броневик, но нет, при повторе очереди стало ясно, что бьют сюда, и пули где-то близко тут щёлкают. (Нисколько не боялся Саша! Он вдруг обнаружил в себе то военное хладнокровие, которым восхищался, бывало, у настоящих офицеров: во время боя только соображения боя!)

Саша ждал решения Сосновского. Оно было совсем неожиданным: броневик зажёт передние фонари, открыл пулемётный огонь – и так со светом и со стрельбой, совершил крутой поворот краем площади направо назад, мимо «Астории», к улице Гоголя.

И исчез.

Саша удержал шофёра от движения. Он ничего не понимал. Он не понял, в кого Сосновский стрелял. И не понял, куда тот поехал – совсем уже прочь от дворца. Они ни о чём не догадались сговориться заранее. Саша ждал теперь конца манёвра, он предполагал, что Сосновский обогнёт памятник Николаю I, уйдёт с линии пушек и выедет с той стороны против дворца, брать его в клещи.

Но Сосновский не ехал. Не ехал. Не появлялся.

Совершенно непонятно.

Как и непонятно, кто же открывал огонь по ним вначале. Больше не стреляли. Саша высунулся, обернулся, спросил своих в кузове, не ранен ли кто. Нет, никто.

А дворец светился, не гасил огней от стрельбы. Перед парадным входом, да, хорошо были видны две пушки – но без прислуги, вот что, сообразил Саша. Совсем без прислуги! Так они ни стрелять, ни повернуться не могут. У главных дверей стояло двое часовых и ещё с ними кто-то там рядом. И всё!

А площадь, сколько видел её Саша, от дворца до памятника и дальше в сквер за памятник и у той стороны Морской, – площадь была и не пуста и не полна: по ней не было обычного движения пешеходов, да мудрено бы к полночи, но какие-то кучки людей, не под фонарями, а подальше от них, собрались там и сям, в устьях улиц, у стен, у подворотен, у парадных, и как будто наблюдали, присматривались, ждали чего-то, несмотря на мороз. И все вместе – это много было.

Готовились ли они к атаке? На дворец? Чего ждали?

И Саша определил несомненный план: надо его грузовику ехать прямо на дворец! прямо на главный вход! Это – не больше минуты. Под прямой обстрел? Если поедет внезапно – не сразу откроют огонь и не успеют выбежать к пушкам. Можно ещё и на ходу открыть ружейный бесприцельный огонь. А тут повалят на поддержку все эти кучки из устьев. Да уж ничего нет опаснее, как он сейчас стоит. Конечно, без броневика меньше шансов на успех, но... Туда, ко входу, через полтора саженей, может быть доедут они не все и сам он не доедет – но это единственно правильное. А подъезжать якобы с мирными намерениями – опаснее, подъехать вплотную не дадут, изрешетят.

Но не успел Саша снова высунуться назад и объяснить своим солдатам задачу – как во всём дворце одновременно погас внезапно свет! Весь сразу! Весь сразу дворец из оживлённого светового превратился в тёмный и затаившийся!

Для чего? Перед собственным нападением, прыжком? – но дворец не мог прыгнуть, а гарнизону довольно бессмысленно было бы наступать. Тогда для обороны? Чтоб лучше видеть и лучше стрелять? Так тем скорей на него кинуться! А может быть просто от

перепуга, не выдержали у кого-то нервы? Или хотят разбежаться изо всех задних дверей в темноте? – ах, нет сил оцепить задние все выходы!

Небо было морозное, звёздное.

Саша высунулся назад, но что ж тут объяснять! И воодушевлять не требуется, все добровольцы. Он просто крикнул:

– Стреляй на ходу по окнам, кто куда! – И шофёру, за руку на руле: – Поехали! Без фонарей.

Автомобиль не был заглушён, и сразу поехали, по прямой пересекая площадь. Свету сильно убавилось, но всё-таки при площадных фонарях шофёр различил и объехал снеговой гребень, в котором бы застряли.

Над головами их оглушительно били свои винтовки и вспыхивали выстрелы.

Они быстро катили прямо к главному входу. Сейчас решалось: успеют там выскочить к пушкам?

Боковым зрением Саша успел заметить, что несколько кучек бежали тоже ко дворцу, наперерез и на соединение с ним. Так! И в одной из кучек появился над головами факел. (Успел подумать: как красиво!)

Саша всем телом сорвался бы с сидения и полетел бы вперёд, обгоняя автомобиль, чтобы не быть изрешеченным!

Но автомобиль гнал хорошо, на фоне зарева тёмный дворец надвигался на них быстро! Стреляли по ним, не стреляли? – этого нельзя было понять из-за своих, – но вот уже оставались шаги до пушечных жерл – а из них не вспыхивая губительный огонь!

И уже проезжая мимо них, прямо к ступенькам и аркам парадного входа, Саша скомандовал:

– Включай фонари!

И осветили в углублениях арок заматавшуюся охрану, несколько человек, никто из них и не пытался отстреливаться, уже поднимали руки вверх вместе с винтовками.

Надеясь, что свои верхние держат тех на прицеле, но не выстрелят же в своих, – Саша столкнул стрелка с воскрылья, соскочил и с пистолетом в руке взбежал по ступенькам.

Теперь только и было света, что освещали фонари остановившегося их автомобиля. Охрана по-прежнему держала оружие и руки к сдаче, офицера среди них не было.

– Двери раскрыть! – закричал им Саша надорванно-громким голосом, боясь ли, что не послушаются.

И один унтер потянул – растворил – и держал открытой перед ними широкую высокую тяжёлую входную дверь. А там дальше – темнота, ловушка, только на первые шаги давали свет автомобильные фонари.

Сашины солдаты соскакивали из кузова. Уже без его команды они обезоружили этих нескольких. Но дальше, внутрь, опасались.

Саша без колебания решил идти первый, придумывал команду, как оставить свою тут охрану снаружи. Но начали подбегать те кучки штатских людей, всё мужчины, и молодые, то ли рабочие, не рабочие, рассматривать было некогда. И первого же с факелом Саша взял с собой и повёл внутрь.

И остальные повалили за ними, вперемешку солдаты и не солдаты.

В вестибюле с красно мраморными колоннами он остановился. Со смоляным факелом! Налево поднималась и потом раздваивалась парадная мраморная лестница. Наверно, все главные кабинеты и правительство помещались там наверху. Но был проход и по первому этажу, помимо лестницы.

И всякое незнакомое большое здание, если вот так в него ворваться, разрывает и затягивает – глаза разбегаются по лестницам, переходам, коридорам, в каждом направлении чудится самое-то главное помещение! Куда бежать сперва? Где искать? Кого захватывать? Где министры? Они ещё наверно не ушли, они где-то спрячутся! Как успеть захватить? Или важнее брать бумаги на их столах? Да, бумаги захватывать – это важней! А где их столы?

– Где швейцар? – услышал Саша свой громкий злой голос.

И сразу перед ним вышел в свет факела толстый испуганный пожилой швейцар в ливрее, а сзади в большом зеркале его спина.

– Где комендант дворца? – кричал Саша. – Где управляющий? Кто выключил свет? Расстреляю! Немедленно включить!

И не слушая оправданий, объяснений:

– А ну-ка вы двое, со штыками – сопровождайте его и арестуйте коменданта, пока не появится свет. Скажите, что иначе я его расстреляю!

И двое повели швейцара куда-то в темноту.

Нет, и сам Саша оставался в темноте, при свете автомобиля, а главный свет факела уже без него избрал путь вверх по красному ковру – и с ним оживлённая кучка сбродных добровольцев.

– Пошли! – скомандовал Саша и тоже пошёл вверх, за факелом, – а кто-то пошёл за ним, а кто-то не пошёл. И тут он сообразил, что своих солдат, с которыми приехал, он не знал ни по батальонам, ни по фамилиям, ни по лицам, что он набрал их в тёмном сквере перед Таврическим – и так же в темноте вот сейчас потерял. И теперь о каждом идущем мог равно думать, что это из его команды или из охраны дворца, или вообще откуда-то со стороны.

Но рядом оказался невысокий симпатичный чёрненький студент с припухлыми губами – и Саша сообразил, что вот это сейчас – самый нужный ему человек.

– Пойдёмте смотреть и захватывать главные бумаги! – скомандовал ему Саша – и тот выразил полный восторг. – Стой, факел! – окликал он переднего.

Но внизу лестницы возник второй факел и тоже качался сюда.

Саша сообразил, что ничего не скомандовал шофёру, и тот вполне может уехать, оставив их тут.

Но это было уже и безразлично. Без всякого понукания какие-то тёмные добровольцы взбегали и взбегали по лестнице и радостно вопили. Если б они подчинялись, можно было бы сейчас оцепить дворец и захватить всех министров. Но они не подчинялись, и внимания не обращали на Сашу и его команды, а ещё опережали его и разбегались куда-то. Куда? кто такие? – непонятно, лестница дальше раздваивалась.

И тут – зажёгся яркий свет, сразу опять во всём здании, освещая белые лестницы, а выше – розовый зал.

И Саша увидел, что его площадные добровольцы уже возвращаются с какими-то старинными стульями, со скатертями под мышкой. А кто-то стал на подоконник высокого окна и с силою рвёт книгу дорогой занавес.

Трепала материя, сорвался и повис тяжёлый гардинный шток, едва не убив грабителя.

Гудели голоса по дворцу.

Но ещё с этим бороться – не было у Саши никого. Он оглянулся – никого, кроме этого студента.

Два каких-то солдата шли.

– Вы – мои? – спросил Саша. – Тогда станьте вот здесь часовыми. И если появится противник – стреляйте и предупреждайте меня. А мы будем дальше.

А дальше он видел круглый зал с бело-золотыми колоннами в два яруса. Ринулись туда.

153

* * *

1-й запасной полк на Малой Охте весь день удерживался: толпа прорывалась в казармы взять винтовки из пирамид – солдаты сами, без офицеров, выводили их из помещения, оружия не отдавали.

В одном из манежей эскадрон садится на коней, куда-то ехать. В манеж врывается с

криками толпа, хватаят коней за уздцы, всадников за ноги, те слезают, братаются.

Офицерам остаётся спастись от самосуда.

* * *

В лейб-гвардии Финляндском батальоне на Васильевском острове привели роту в большую учебную залу, и командир роты выступил с речью: в городе началась смута, тёмные силы стараются посеять вражду среди русского народа. Ваш долг выполнить присягу. А кто этого не сделает – совершит тяжкий грех перед Богом и Государем и будет беспощадно наказан. Начальство принимает решительные меры по улучшению вашего питания, теперь будете получать и белого хлеба по полфунта в день.

Солдаты поразвязней бормочут между собой: «Белый хлеб нам подходит, а продаваться за него не будем».

* * *

19-летний студент Семён, арестовавший Щегловитова, рассказывает: пришли, а его дома нет. Стали швейцаршу допрашивать: где он? Выдала: «Да у зятя своего, Харитоненко». – «А где Харитоненко?» Рассказала. Кинулись туда. Так обозлились – не дали ему ни шубы, ни шапки надеть, повели. «А куда вы меня повезёте?» – «В Государственную Думу». Согласился. Посадили в извозчичью пролётку.

К концу дня и вечером небольшие вооружённые кучки, во главе всегда студент, бросились на обыски по квартирам всех членов совета министров, кроме либеральных Покровского, Кригер-Войновского. Но никого не оказывалось дома. Не застали и князя Голицына. Взяли с его стола портфель и отнесли в Государственную Думу.

* * *

Лейб-гренадеры на Петербургской стороне вернулись с дневных нарядов в казармы пообедать, уже к темноте, – вдруг крик по казармам: «Выходи на волю!» Выбежали во двор, а там, уже не первый раз, штатские с красным флагом, теперь человек сто: «Довольно вам подчиняться кровопийцам! Соединяйтесь с нами!»

Часть гренадеров пошла с ними, выломали дверь цейхауза, толпа вооружалась. А другие гренадеры не решились и никуда не пошли. В офицерском собрании уже не осталось ни одного офицера.

* * *

Семёновцы просидели весь день запертыми в своих казармах за Загородным, пока вечером не подошла восставшая толпа. Тогда – хлынули к ней. Ругань, крики, песни. Взяли оркестр и пошли к полицейскому участку. Разбили его, убили пристава. Подожгли.

Из толпы – увязали труп пристава в пачки бумаг и бросили в огонь.

* * *

К концу дня по всему городу уже закрылись все учреждения, магазины, рестораны, лавки, рынки, всякое предпринимательство. Никаких кинематографов и театров. Все – или

по домам затаились, или валят на улицы, в толпы. Весёлые, дикие крики, стрельба в воздух повсюду. И – автомобили, и – автомобили всех видов.

Так много оружия стало у штатских и у молодёжи, что на Знаменской площади солдаты стали у них назад отбирать.

А с некоторых грузовиков, наоборот, раздают в толпу лишнее оружие.

Автомобили и толпы вытеснили с улиц всяких лошадей, телеги, сани, их почти не стало. Зато пугают всех легковые автомобили, где на воскрылях лежат сумрачные солдаты и целятся вперёд из винтовок. Иногда и из грузовиков целятся в разные стороны, на тротуары. Страшно становилось, и нельзя понять: за кого они? Распоряжение ли им такое?...

Привести в изумление и в ужас – всех, не покорившихся революции!

* * *

Солдаты останавливают любой автомобиль, где нет вооружённых, высаживают седоков, сами садятся и едут.

А ещё где добыть автомобиль? Да обыскивать дворы, взламывать гаражи, где-нибудь стоят. А нашли – теперь шофёра найти и пусть везёт!

Стали шарить по дворам.

* * *

У завода Сан-Галли на Лиговке была ожесточённая перестрелка. У пулемёта нашли убитого юнкера Николаевского училища.

В том училище разгромила толпа цейхауз, некоторые переоделись в юнкеров, разбирайся теперь.

* * *

К вечеру сильно ожесточились к офицерам, с некоторых срывали погоны. На Невском офицер без ноги, с костылём, отказался снять – и его закололи штыком.

* * *

А кого больше всего искали бить и убивать – городских. При беспорядочной и неумелой стрельбе, когда пули шально отскакивают от стен, – в один голос решали, что это городские засели на чердаках и отстреливаются. Но нигде не находили их. И тем больше на них ярились.

Вот на Пушкинской улице толпа людей что-то мутузит в своём центре. Потом перестала. Наклонились посмотреть – разбежались. На снегу остался убитый полицейский.

* * *

И куда-то всё спешат – студенты с винтовками, матросы с винтовками, женщины с винтовками. На улицах всё стрельба, стрельба, неизвестно кто в кого. Пешеходы при стрельбе жмутся к домам.

Вечером толпы редуют. Многие сидят дома и даже свет потушили или зашторились, зажгли самые маленькие лампочки, лампадки.

А по улицам, освобождённым от толп, ещё быстрее и бешеней несутся автомобили, автомобили, гудки непрерывные, выстрелы, крики. Кажется – вся армия переезжает.

* * *

Наступило такое, что каждый житель столицы, из двух с половиной миллионов, оказался предоставлен сам себе: никем не руководим и никем не защищён. Выпущенные уголовники и городская чернь делают что хотят.

Уголовники помнят камеры мировых судей, где их судили, – и громят их. На 2-й Рождественской сжигали все дела мирового судьи, ворохи бумаг, а заодно грелись.

С особым озлоблением и ничего не щадя, громят квартиры приставов, всем соседям известные. Из одной такой с третьего этажа швыряли на мостовую имущество, мебель, выкинули и пианино. И всё затем сжигали на костре.

* * *

А какой-то человек (позже узналось: освобождённый из тюрьмы неприятельский агент Карл Гибсон) звал толпу громить «охранку» – и увлёк её громить контрразведку Петроградского военного округа на Знаменской улице. Служащих контрразведки отвели в Таврический и посадили как «охранников».

* * *

Но дошло и до Охранного отделения на Мытнинской набережной – разгромили, пылало, на мостовой горели папки «дел». Прохожие носками сапог подталкивали их в огонь. Другие выхватывали, просматривали. Третьи кипами уносили. Прохожий офицер сказал им: «И вам не противно брать в руки такую гадость? Бросайте, чтоб следа не осталось!»

* * *

И весь вечер и ночь Петроград ловил и убивал свою полицию. По ночному времени, далеко не отводя, убивал на улицах, топил в прорубях Обводного канала. Снаряжались автомобильные экспедиции за городскими.

* * *

А мысль массы, освобождённой от полиции, быстро зреет: почему не погромить частные дома? В квартирах, хоть и не найди офицера, ой-ой-ой сколько добра можно прихватить. И начали ходить по квартирам: «У вас офицеров нет? Разрешите проверить». Все ворота и подъезды велют держать открытыми – для поисков и обысков.

На Знаменской улице дворник не сразу отпер ворота прохожей банде – его убили за это.

* * *

За день были подожжены кроме Окружного суда: губернское Жандармское управление,

Главное Тюремное управление, Литовский замок, Охранное отделение, Александро-Невская полицейская часть и много, почти все полицейские участки. Сожгли и здание полицейского архива у Львиного мостика.

Большой пожар был на Старо-Невском. Уже в темноте, при огне, из окон как будто прыгали с высокого этажа люди. Большая толпа стояла и глазела. Оказалось: это чучела одетые выбрасывают, горел полицейский музей.

Говорили: пристава Александро-Невской части подхватили на штыки и бросили в огонь.

* * *

А Финляндский батальон продержался и весь день, и эту ночь. Вечером от него были выставлены заставы между Горным институтом и Балтийским заводом, где несколько тропинок через Неву – и, после разгрома толпой Морского корпуса, остановили движение, не пропускали никого ни туда, ни сюда. Из-за Невы – пятна пожаров, глухой шум с выстрелами. Приблизился рёв ликующей толпы, рёв моторов – но через Николаевский мост финляндцы не пропустили их.

* * *

В Инженерном замке к ночи юнкера, не дождавшись атаки, так и ложились одетыми, винтовки у кроватей. А начальник училища решил не сопротивляться. И чтобы не волновать горячие головы, офицеры ночью собирали винтовки у спящих, не будя.

* * *

Поздно вечером на Почтамтской в казармах Кексгольмского полка – ворота нараспашку, большой тёмный двор, а все окна светятся. И – море криков. И шальная стрельба.

Напуганные редкие прохожие – перебегают, прижимаются к домам, ложатся на обледенелый тротуар.

* * *

Поздно вечером революционная толпа дохлестнула и до Измайловских казарм. Эта волна лилась с восточной стороны – а в те же последние минуты на север, через Фонтанку в центр, вышло около двух рот измайловцев на подкрепление правительственным войскам. И успели уйти. Разделил тех и других – массивный широкий тёмный в ночи Троицко-Измайловский собор.

Уцелевшие очевидцы уверяли потом, что в окружной темноте крест на куполе необъяснимо светился. И кто замечал – снимали шапки и крестились.

* * *

Всегда бывало: у ворот поздно дворники стоят, сидят в тулупах, шаги запоздавшего прохожего гулки по пустой улице – и безопасны.

Сегодня – вымело дворников, темны все окна, идти страшно.

Вот двое засели в подворотне и добрый час стреляют вкось улицы по чердаку трёхэтажного дома – мол, там полицейский пулемёт. (Хоть не ответил ни разу). Кому-то и в окно вlepили, звон стёкол.

* * *

Ночью, после разграба Мариинского дворца, многие охотники ещё тянулись к соседней офицерской гостинице «Астория»: окна светятся, шесть этажей, и одни офицеры – во, где добыча!

Но – и отбиваться будут. Штурм никак не стягивался.

* * *

Вести о петроградском солдатском мятеже к вечеру достигли и Ораниенбаума. Там стояли два запасных пулемётных полка, единственная пулемётная подготовка на всю русскую армию. В них были мобилизованы и питерские рабочие с революционным духом. Теперь солдаты заволновались, собирались у казарм, разбирали пулемёты, винтовки, патронные ленты и патроны. В гуле, гомоне стихийно решили: идти на помощь петроградским полкам! Офицеры пытались остановить – тщетно, у них отбирали оружие.

Пулемётчики захватили железнодорожную станцию, приказали готовить себе поезда – но не решились ехать, боясь умышленного крушения. Уже после полуночи пошли большой колонной по шоссе на Петроград. По пути ещё присоединяли мелкие воинские части, ещё разбивали склады, брали вооружение и провиант. Шли через Старый и Новый Петергоф, Стрельну. Колонна растянулась на много вёрст, вели её унтеры.

ТЕРПИТ КВАШНЯ ДОЛГО, А ЧЕРЕЗ КРАЙ ПОЙДЁТ – НЕ УЙМЁШЬ

154

Колоссальное четырёхквартальное здание Адмиралтейства, с четырьмя фасадами, семью подъездами и семью воротами, могло вместить десять и двадцать таких отрядов, несколько полков, – но, беззвучно темнея в самой ещё спокойной части города, никем не угрожало и для защиты своей не нуждалось даже и в пришедшем отряде. И эта неясность задачи, беспреимущество такого решения перед каким-то другим, не найденным, костенила не только штаб генерала Хабалова, но невольно сообщалась и рядовым. После целого дня бездействия и потерянного резерва Дворцовой площади – просто чувствовалось каждой душой, что делается что-то не то.

Хотя по городу всюду стреляло буйство, но без единой организованной воинской части, без единого строя и цепи. А улицы посвободнели ввечеру – и на самом деле отряду Хабалова были открыты все направления, он мог наступать на Таврический дворец или без помех вовсе уйти из столицы, мог пойти и взять любое намеченное здание, освободить любых схваченных, – нет, Хабалов уже прочно отвёл такую мысль, или не мог её понять. Он без труда и без надобности самовогнал себя в торжественный грандиозный саркофаг Адмиралтейства.

Тут неприязненно встретил их помощник начальника морского Генерального штаба, уже снесшийся с морским министром Григоровичем (он жил в этом же здании, но якобы болен был сейчас): морской штаб не может быть обращён в военный лагерь, это повлечёт приостановку текущих дел.

Генерал Хабалов потупился и обмяк: теперь уже и вовсе он не знал, куда ж идти.

Но вмешался генерал Занкевич и дипломатично уладил: отряду дали главный вестибюль и бесконечные коридоры первого и второго этажа вдоль Александровского сквера и Дворцовой площади. Пехоту и пешую полицию ввели в коридоры, кавалерию, конных городских и артиллерию – в обширные дворы.

Сам штаб Хабалова и группа градоначальника разместились в вестибюле, тут было довольно мебели и кресел, и телефон.

Учебная команда Измайловского батальона продолжала удерживать телефонную станцию, и телефоны работали бесперебойно. Только никто не знал, что штаб ушёл из градоначальства – и долго не звонили на новое место.

Из первых новостей узналось, что разграблено и сожжено Охранное отделение.

Затем из совета министров приказали прислать сильную охрану Мариинскому дворцу.

Но кого послать? Нельзя разбрасываться. Занкевич ответил, что войска мало и нечем растянуться до Мариинской площади. А не желают ли господа министры сами пожаловать в Адмиралтейство?

Тем временем подходили подкрепления – ещё около двух рот измайловцев, хорошо. И вот – эскадроны гвардейской конницы из-под Новгорода, вызванные в субботу. И – куда их теперь? Тут поместиться им негде, а главное – негде конницу поить и нечем кормить. Отправили их в манеж Конной гвардии.

Тут и полицейский вахмистр доложил, что кони с голоду дрожат, надо кормить.

А запасы фуража остались в градоначальстве! Вот те на.

Послали туда на фуражировку добровольцев-жандармов – тихо, через Александровский сквер. В градоначальстве оказалось спокойно и никого. Принесли оттуда овса и хлеба, а себе прихватили ещё и колбасы из незакрывшейся мелочной лавки на Гороховой.

Сотню ратников, зачисленных в полицию, решили распустить: толку с них! Пусть снимают жгуты да расходятся.

Наружную охрану – всё-таки мороз был градусов 10, и солдаты одеты легко, – заменили наблюдением из окон второго этажа. Решётки ворот заложили досками и дровами, а позади каждых ворот поставили по орудию.

В коридорах и на ступенях спали солдаты с винтовками, там и сям прикорнув. Офицеры – на стульях.

Во дворе на морозе ёжились кони и люди при них. И постовые.

Штабу Хабалова нашлась наконец отдельная комната с дверью, а в буфете – немного еды.

Хабалов, кажется, исчерпал все свои командные силы. Имел он всё-таки какой-то план или мнение? Да. Он так понимал, что надо продержаться ещё сутки – и с фронта подойдёт большая помощь. А сейчас в городе – может быть 40 тысяч восставших? может быть 60 тысяч? – и справиться с такой силой ему невозможно.

Ото всего города слышно было постреливание, иногда пулемётное. Но неблизкое.

Так и надмирали они в огромном пустынном Адмиралтействе, в опустевшем центре города. Надо было вот ночь так пересидеть, потом и день.

Ещё и к полуночи докладывал по телефону околоточный из градоначальства, что и там всё в порядке.

Можно было и оттуда не уходить.

И зачем они здесь, в пустоте морских коридоров? Какой-то сон.

Около 11 часов вдруг промелькнул по Адмиралтейству великий князь Кирилл. Никаких указаний не давал, ни за что не бранил, но обходил помещения – и посматривал,

посматривал. Сказал, что ищет две свои роты экипажа, будто бы пропавшие с тех пор, как послал их днём на Дворцовую площадь.

Вполне может быть, что и ушли к мятежникам...

Уехал великий князь – появился пешком, без шинели по морозу и запиханный военный министр Беляев. Щуплый, маленький, прошёл по плитчатому полу вестибюля торопливой щёлкающей походкой. Выслушал рапорт. Ничего не сказал о военных действиях – не похвалил, не укорил. Объяснил, что его квартира в довмине, у Мойки, стала совсем не безопасна, отступил оттуда под выстрелами. А Мариинский дворец уже захвачен мятежниками, и в бумагах правительства там хозяйничают.

Уединился позвонить по телефону.

После того распорядился: пока не идут военные действия, надо срочно обратиться к населению. Пользуясь тем преимуществом, что в Адмиралтействе помещается постоянно действующая типография и дежурные типографы налицо, – немедленно отпечатать и развешать по городу новое объявление командующего Округом. Во-первых: по высочайшему повелению город Петроград с сего 27 февраля объявляется на осадном положении. Во-вторых: что впредь жителям воспрещается выходить на улицу после 9 часов вечера. И в-третьих: что, вследствие болезни министра внутренних дел действительного статского советника Протопопова, в его должность вступает товарищ министра по принадлежности. (Беляев забыл, кого там решили назначить).

У хмурых генералов, защитников Адмиралтейства, о Протопопове только то мнение могло проступить, что – ловко заболел мерзавец, ускользнул в последнюю минуту.

На «высочайшее повеление» Беляев, очевидно, имел распоряжение. Осадное положение можно было объявить, но не добавляло оно ясного смысла к тому, что творилось. Хорошо, тут же Беляев уже писал черновик, и типография оказалась готова, и распорядился Хабалов печатать тысячу экземпляров. Но вот насчёт невыхода после 9 часов возникал такой постыдный курьёз, что и Хабалов отказался. Где находясь, что видя глазами и что имея в голове – можно было такое сочинить? Нельзя уж так давать над собою смеяться.

Довольно скоро принесли и отпечатанные объявления. И тут хватились: а что же с ними делать дальше? Во-первых, не было того города, где бы их расклеивать. Градоначальник возразил, что расклейщиков пришлось бы охранять воинскими нарядами. Да ещё, простое: ведь нужны клей и кисти! А их тут нет. И где их среди ночи взять?

Без клея никак не расклеить, да.

Что ж, распорядился Хабалов: пусть полицейские нацепят несколько объявлений вот тут, на ограду Александровского сквера. А остальные – просто разбросают по Дворцовой площади и в начале Невского. Да можно нацепить и на решётку ограды Зимнего.

Так и сделали.

155

В преображенском офицерском собрании, в комнате за бильярдной (старинные портреты и гравюры, кресла красного дерева, покрытые серым штофом банкетки) сидело и после ужина два десятка обескураженных огорчённых офицеров, пытавшихся разобраться в несчастной путанице минувшего дня. Были и те, кому опасно вернуться во взбунтовавшиеся казармы на Кирочной. Из бильярдной доносилось неизменное постукивание шаров – тех упорных киев, кому бесчувственно-неведомы все сотрясения внешней жизни.

Как знаменательно и обещательно начинался этот день! – и каким ничтожным пшиком кончался, нельзя примириться! Как это могло произойти, где сделана ошибка? Они разбирали.

Не надо ли было тогда же всё объявить и объяснить солдатам? – спрашивал теперь Розеншильд-Паулин. Может быть, наша ошибка в этом? Мы опоздали объявить?

Но два капитана, сидя рядом на диване, уверенно возражали, что это внесло бы раскол и сумятицу, преждевременное объявление могло бы всё испортить.

Да кое-кто, по соседству со строем, и намекал унтерам, разговоры были – но они не дали явного отзыва.

Да и – что объявить? Главная трудность – что объявить? Сама задача была расплывчата, непонятна офицерам – и днём, как и сейчас.

А потом этот ликующий восторг, когда шёл с музыкой Павловский батальон, и, казалось, силы удесятерятся – и вдруг павловцы оказались **против** народа? Как это вместить и понять?

Так ведь – и гвардейский экипаж приходил, чернел, как будто был против Государственной Думы? И егеря?... И кексгольмцы?

Прапорщик Гольтгоер, пользуясь известным правом младших начинать суждения, заявлял теперь резко, что не надо было ждать никаких подкреплений, а сразу идти и арестовать всю хабаловскую головку. Если капитан Скрипицын смог пройти туда безо всякой задержки, то очевидно, что атаковать их не составляло труда даже кучке, не то что двум ротам. И преображенцы оказали бы этим неоценимую услугу Освободительному движению: сейчас, в данную минуту, уже не с кем было бы в Петрограде воевать!

Прямо действовать против правительственных войск? Нет, они так не думали. Соображение, может быть, и интересное, но никто не помнил, чтобы Гольтгоер высказал его на площади.

Нет, это должно было совершиться гораздо тоньше, – но как? Днём утеряна была и свежесть настроения и величественность задачи. Так ничего не совершив, только озябнув и духом упав, все стали расходиться, и преображенцы тоже захотели обедать и ужинать, вернулись в казармы, – а теперь куда уже на мороз и ночью? и зачем? И солдат не подымешь легко, и офицеры не видели смысла.

Но как этот Смысл за несколько часов – просеялся? продробился? провалился? Какая обида! Какое даже унижительное состояние неудачи!

Офицеры поужинали, но все оставались в Собрании, не расходились: ясно, что в такой день надо быть при казармах.

Но – идти в сами казармы? но – разговаривать теперь с солдатами? Нет, это тоже казалось нескладно, упущено.

Убедительные доводы были такие: солдаты – и сами из народа, и так по природе своей не могут быть против народа. И на тот момент, когда конфликт зияюще обнажится, – их поведение однозначно определено. Но наши теперешние солдаты слабо подготовлены в военном отношении, а в интеллектуальном тем более слабы, и такой психической нагрузки, данной заранее, могут не выдержать. Освещать им задачу преждевременно, сейчас – не надо, а только в самый момент действия.

Приложить силы батальона не поздно будет и завтра, конфликт продолжится, – хотя! силы правительства будут подкреплены извне – и сойдётся ли ещё такой драматический, такой декабристский, такой неповторимый удобный момент?

И вдруг – в комнату вошёл – в гвардейском морском мундире, с аксельбантами генерал-адъютанта, с золотыми царскими вензелями на погонах, с тремя крестами, нашейным и грудными, бледный – великий князь Кирилл Владимирович!

Как кстати! Офицеры все поднялись и стянулись к нему. Вот от кого узнать и с кем посоветоваться! Контр-адмирал, командир гвардейского экипажа, видная фигура династии, старший сын второго колена, в случае сотрясений возможный кандидат на престол! И – многое знает. И – что он думает?

Но Кирилл не спешил ни приободрять, ни обескураживать преображенцев. Он стоял вытянутый, смотрел со своим значительным надменным видом (а если взглядеться и понять – так и неуверенным) – и слушал от них, как от подчинённых, соображения. Всё лицо его было чисто брито, только густые короткие усы.

Капитан Приклонский, переглянувшись с другими, решился сказать:

– Ваше Императорское Высочество! Мы считали бы нечестным разговаривать с вами, не заявив, что мы – на стороне Государственной Думы.

Кирилл – не вздрогнул. Поднял брови, но не с гневом. Поискал слов. И вдруг протянул капитану руку:

– Господа. Я благодарю вас за откровенность. Сердцем – я понимаю ваши сердечные чувства. – Глаза его были холодные, а слова предназначены выразить сильные эмоции: – Мы просили, мы молили, но это ни к чему не привело.

Все стояли, замерев от ужаса: дальше! дальше! Вот сейчас великий князь объявит себя их вождём – и поведёт!!

А он стоял всё такой же холодно-прямой, даже при самых крайних последних словах:

– До чего они довели Россию!

Приложил руку к козырьку, чётко повернулся – и к выходу. Два-три офицера поспешили проводить его к гардеробу.

Не обещал прямо союза и помощи, не сказал определённо – но как подбодрил преображенцев! Если так рассуждает великий князь – то до чего же дошло?

И отчего же преображенцам не открыться и дальше – ещё, прямо! Да отчего же сама Государственная Дума так и не узнала об их сегодняшнем высоком революционном настроении?!

Тут порывисто вмешался подпоручик Нелидов:

– Господа! Вот **это** как раз не поздно исправить! Все члены Думы сейчас на месте. Телефоны работают. Мой дядя Шидловский – председатель бюро Прогрессивного блока. Если только, господа, вы меня уполномочиваете – я сейчас же ему звоню и официально от имени батальона объявляю Преображенскую поддержку Государственной Думе! – Он волновался, все возможности упущенного утра как будто вставали вновь. – Если только дядя сейчас там – он узнает мой голос и поверит.

Шумно вскричали, как за столом после удачного тоста. Очень понравилось всем!

Это и было единодушное одобрение. Гурьбой пошли к телефону. Упёртых биллиардистов нечего было, конечно, и спрашивать. Столовая была уже пуста. Полковника Аргутина-Долгорукова не было все часы. Но капитаны Приклонский, Скрипицын, но батальонный адъютант Макшеев – все тут, и согласны.

Довольно быстро барышня соединила: удивительно, что телефон служил, несмотря на все уличные события.

На том конце взял трубку один, передал другому, а третий был уже и сам Шидловский.

– Дядя Серёжа! Дядя! – радостно и даже чрезмерно кричал в трубку Нелидов, но оттого, что и слышно было плоховато. – Ты узнаёшь мой голос? Слушай! – И торжественно: – Я звоню из Преображенского офицерского собрания! Мне поручено объявить, что офицеры и солдаты Преображенского полка постановили предоставить себя в распоряжение Государственной Думы!!

Это само так вымолвилось – не батальон, а полк. И – сам язык ввернул сюда и солдат, без этого бы не звучало.

Да как они уже убедили друг друга – с солдатами-то вопрос решённый.

156

Что же было делать?

Что же делать?

Что делать!

Как скалами стиснут был Родзянко, после того как Беляев сообщил, что Михаил получил от Государя полный отказ.

А окружающие – наседали, советовали, толкали: брать реальную власть в столице.

Милюков для этого уселся вплотную, со своей неотвязчивостью он бывал как клещ, пока своего не докажет, Родзянко всегда побаивался слишком долгих с ним бесед, боялся уступить чрезмерно.

Но и простодушный Шидловский склонялся к тому же. И мямля Коновалов. И

наскочливый остренький Шульгин. Тем более Караулов, бешеный казак, когда имел минуту забежать. Да вот и Некрасов, проделавший с Председателем всю сегодняшнюю петлю, немногословно переклонялся туда же. (Он любил долго молчать, поздно высказываться – и всегда оказаться правым). После того, что переговоры Михаила с царём провалились (даже и лучше, события пойдут своим размахом, и чего можно было ждать от царя?), – нам остаётся продолжить поручение Государственной Думы, взять на себя охрану порядка.

Да вот почти и весь Комитет. А что думали Чхеидзе и Керенский – это вовсе было неизвестно, они сюда что-то и не заходили, они с кем-то другим совещались в другом крыле дворца.

И доводы были все – как будто верные. Правительство впало в паралич, да, если не разбежалось полностью. Никаких распоряжений не приходило и от Государя. Императорская власть в стране была – и как будто не была: куда она затмилась? Императорская власть над столицей не осуществлялась ни в чём – кроме единственного вялого генерала Хабалова, который тоже себя нигде, ни в чём не проявлял.

А между тем по городу разливалась анархия. Что днём казалось силой доведенного до отчаяния народа – то теперь превращалось в опасный сброд. Полицию – уже разгромили повсюду, никакой силы охраны порядка не осталось. Приходили сведения, что задерживают на улицах офицеров, оскорбляют – а то и убивают. Разгул черни в любую минуту может обрушиться и просто на мирное население. Два с половиной миллиона жителей не могут жить без власти над собой, должны же кого-то слушаться. Для спасения жителей, и особенно офицеров – уже стоит взять на себя охрану порядка. А кто будет охранять банки, казначейство, винные склады? Караулы отовсюду сбежали.

Всё – так. Но давайте подумаем. Но нельзя решиться так сразу и быстро.

Да нельзя ждать! – чернь обрушится и на саму Думу, перебьёт и её! Для спасения Думы и для спасения Отечества – нет иного выхода, как обуздать анархию.

Наконец: пока мы будем думать да собираться – власть возьмёт кто-нибудь другой. Вон, уже затевают совет рабочих депутатов – да он и подхватит? Недаром Чхеидзе сюда не заявляется – он уже там у них председатель.

Всё так. Родзянко пересматривал лица. Мирного Дмитриюкова. Одышливого пожилого Ржевского. Гололобого, узлолобого мрачного Владимира Львова. (От Милюкова старался отворачиваться). Всё так. Но все его советчики, все члены Комитета не на столькое решались и не так отвечали, как Родзянко. Это **он** был Председатель их – и его решение единолично, и ответственность единолична.

Но это была дерзость выше его разумения и прав.

Но – никакого ответа он не получил из Ставки.

Но – ничего определённого не ответил Михаил.

Но – анархия бушевала по Петрограду.

И на что не решался Михаил – теперь предлагали ему самому?

Все до единого вокруг убеждали – брать власть.

Как скалами стиснут был Председатель.

Не говорил Милюков, этот твёрдый кот в очках с оттопыренными жёсткими усами, что надо создать правительство, вместо одного правительства – другое, вместо императорского – ответственное перед Думой. На совет министров Родзянко согласился бы легче. Но нет, его толкали самовольно взять власть больше, чем правительственную, объявить небывалую власть Комитета – по сути Верховную?

То есть – власть, как бы равносильную власти Государя!

То есть – совершить государственный переворот? Переступить присягу и клятву? Выступить – первым мятежником – и против помазанника Божьего?

Но Родзянко не был мятежник!!

Но – Отечество погибало, а Родзянко за него отвечал!!!

Да может от этих назойливых голосов, обступивших лиц он и решить не мог? Ему надо было сосредоточиться, так хорошо подумать, как никогда в жизни не думал. Собственный

его кабинет, всем думцам открытый, перестал быть таким местом.

– Вот что, господа. Если так – то оставьте меня в уединении. На четверть часа, на полчаса. Я должен подумать наедине со своей совестью.

Согласились, некоторые неохотно, особенно Милюков, не хотел отрываться. Стали выходить гуськом в соседний кабинет Коновалова.

Увы, как бы и не отгородился. Там, за этой одинарной дверью, он их всё так же видел и чувствовал: как они собрались, ждут, понуждают. Для них – решение уже было как бы и принято.

А ему без подставленных советов – тоже оказалось не на что опереться.

Помолиться? Это он вставлял на потом.

Что ему ещё мешало всё время, обидно? А вот что: **кто** же будет власть? Каким молчаливым заговором, терпеливыми интригами Милюкова они вытеснили Председателя Думы с кандидатов в премьеры? Почему – Львов? С какой стати – Львов? Какой у него государственный опыт? Да его и в Петрограде нет, а тут каждая минута...

Но сам Родзянко – не мог же им сказать, об этом. А никто другой не догадывался? Все его так уважали, а никто не предлагал.

Нет, что же было делать?? Что делать?

Он представил себе хорошо знакомое лицо Государя – и мягкое, и такое иногда светлое, а – плохо проницаемое. И последние их крутые тяжёлые разговоры на аудиенциях – в январе и в феврале. Родзянко никогда не умел сдерживать своего раскатистого гнева, а Государь всегда умел. Но в последний раз был так его лоб тёмен, что вот-вот промелькнёт и зигзагом молния.

И что ж он скажет, когда узнает, что Родзянко сам объявил себя властью?

А – почему не мог он ответить ни слова ни на вчерашнюю телеграмму, ни на сегодняшнюю? – как будто Родзянко жаловался ему на своё здоровье, а не доносил, что Россия гибнет.

Уже устав держать руками голову, он теперь руки держал над собой, сплетённым замком.

Ах, как невозможно было решиться! как – не на что было опереться! И истекали четверть часа. Большие настенные часы показывали полночь.

Вдруг (он еле успел опустить руки с головы) приоткрылась дверь из кабинета Коновалова – и всунулось обросшее лицо Шидловского. И заговорил не нудновато, как всегда он тянул, но необычно для него, крайне взволнованно:

– Михаил Владимирович! Простите, что к беспокою вас и в эту минуту. Но чрезвычайно важное сообщение.

– Да? – не досадливо, но с надеждой спросил Родзянко. Какого-то экстраординарного известия ему именно и не хватало для решения. Может быть, вот оно и есть? Какого-то малого довеска не хватало на весах, в ту или другую сторону.

Шидловский вступил весь:

– Сейчас звонили из Преображенского полка. По поручению офицеров полка – мой племянник Нелидов, он служит там. Он просил меня передать вам и всем здесь: что офицеры и солдаты Преображенского полка предоставляют себя в распоряжение Государственной Думы!

С неожиданностью Родзянко выслушал, сидя за столом, но тотчас и встал, старый кавалергард. Это звучало как клик десятка фанфар: любимое Петрово детище, Преображенский полк, первый полк русской армии! – предлагал ему поддержку! склонился под знамя Государственной Думы!

(Таковыми фанфарами прозвучало – не хватывала мысль поправить: Преображенский полк – весь на фронте, а здесь – тыловой запасной батальон).

Родзянко ощутил могучие волны подъёма в своей могучей груди. Он сам стоял как на параде преображенцев, он слышал их марш!

И – голосом для плаца, не для одного Шидловского в кабинете, объявил:

– Благодарю за весть, Сергей Илиодорович! Я – принимаю власть!

Поправился:

– Государственная Дума – принимает власть!

157

Проникнув в Таврический, Пешехонов стал на каждом шагу встречать знакомых, как будто нарочно все его знакомые сговорились в этот вечер устроить всеобщее свидание под сводами Государственной Думы.

И не забывая о жгучей заботе, он каждого спрашивал: предусмотрен ли захват охраны, послан ли автомобиль? Большинство не знали, а кто говорил, что послан. Не было такого распорядителя, к кому бы обратиться. Народу было очень много, а – ни головы, ни смысла.

В Екатерининском зале в разных местах солдаты располагались, как в третьем классе вокзала, лёжа на полу, а ружья в козлах.

Солдат-то было разрозненных сотни – а офицеров не видно. И странно, и тревожно. Странно, потому что в столице много офицеров передовых, правильно думающих – и как же в такой день и при таких событиях они все куда-то скрылись? На улице не было ни одного офицера, а здесь какие-то прижатые. И какая же судьба ждала восставшие солдатские массы без офицеров? как же они поведут бой?

В больших залах Пешехонов по близорукости не всё видел в глубину, и ему долго пришлось толкаться, осматривая странное состояние Таврического и публику в нём. Во всяком случае, было сейчас тут людей в тридцать раз больше, чем в перерыв самого людного думского дня. А если толкаться по густоте коридоров и открывать подряд двери – то и в каждой комнате тоже сидели или заседали или беседовали по десять-по двадцать человек.

В одну из таких комнат заглянул Пешехонов, ещё никого не разглядел, а услышал голос Громана:

– А-а, Алексей Васильич! Очень кстати, заходите, заходите, сейчас мы вас кооптируем.

Оказалось, это заседала только что созданная Продовольственная комиссия Совета рабочих депутатов, ушедшая с общего заседания Совета для того, чтобы ускорить работу.

Можно было остаться и включиться, но Пешехонов заинтересовался самим заседанием Совета и вообще больше увидеть и ориентироваться. А в коридоре ему не пришлось расспрашивать, где же дверь Совета, – появился один из партийных товарищей, народный социалист, и подхватил его под локоть:

– Алексей Васильич, скорей! В Совете нет нашего представителя, сформируют всё без нас!

Пешехонов дал себя подогнать, подвести – и вступил в заседание Совета.

Там оказалось человек шестьдесят, почти все – знакомые, как скоро оказалось, лишь немного тихих солдат. Но ещё раньше чем Пешехонов в этом разобрался, едва только он переступил порог – его фамилию тотчас громко выкрикнули. Он решил, что здесь такой порядок – каждого новоприбывшего объявляют, а оказался забавный *qui pro quo*: это – предлагали кандидатов в литературную комиссию Совета, и его предложили без его присутствия. А уж тут явился – так тем более.

Литературная комиссия – не самое было лучшее, к чему б он сейчас хотел приложить силы, и таким образом, кажется, он не захватывал для своей партии места в Совете. Но он не нашёлся возразить при баллотировке – и вот уже был избран.

И тотчас же, торопясь к делу, вся литературная комиссия вышла из общего заседания, и так Пешехонов тоже вышел, не успев полюбоваться на Совет и повлиять на ход его.

В комиссию кроме Пешехонова попали – Соколов, Нахамкис, Гиммер и Шехтер. Соколов, тут уже всё знающий, бодро вёл их занимать помещение. Всё правое крыло стало нашим, всё забито и полно. Тогда Соколов повёл их на левую половину, думскую, и там они самовольно захватили кабинет Коновалова.

Вокруг его письменного стола с телефоном расселись, но непоседливый юркий Гиммер

отпросился на пять минут, пообещав им собрать новости из штаба обороны, который тут близко. Действительно, неплохо было бы им, прежде чем составлять воззвание к населению, хоть узнать, что делается в боях.

Гиммер вернулся с ворохом новостей, хотя признался, что собрал не от членов штаба, а у дверей. Новости были скорей грозные, чем радостные. С одной стороны: Кронштадт перешёл на сторону народа! (Но в Кронштадте никто и не сомневался, зная его традиции). С другой: царские министры собрались в Адмиралтействе, и там их охраняют с артиллерией, много войск. Так что враждебный центр был налицо – сохранился и готовил удар. И ещё какие-то новости о Петропавловке, но никто точно не знает: не то она сдаётся Таврическому, не то прислала ультиматум, чтоб сдался Таврический, иначе откроет огонь.

Последнее было гораздо более вероятно. Вообще, кто годами испытывал на себе неумолимое давление царского режима, знал его когти, – тот скорей мог поверить, что реакция собирает силы отпора – и удар будет сокрушительный.

Да вот и самое страшное: правительственные войска уже прибывают в Петроград! На Николаевском вокзале уже высадился нето 177-й, нето 171-й пехотный полк – и на Знаменской площади ведёт бой против революционного отряда.

Шехтер хватал себя за голову при каждой новости и только повторял:

– Погибнем мы! Погибнем!...

Лучше б Гиммер за этими новостями не ходил – только перебил всё настроение. Какой там «революционный отряд» может удержаться на Знаменской площади! – могут быть депутаты от полков, могут быть бродячие солдаты, – но боеспособного революционного отряда быть не может.

Под этими впечатлениями овладела литературной комиссией вялость, и вместо того чтобы спорить оживлённо – а о чём поспорить, было, при большом политическом диапазоне между участниками и необычной сложности задачи, – высказывались нехотя, умолкали. Думали, только не об этом воззвании. Даже Гиммер в своём витье понеподвижнел, Соколов лишился неистребимого оживления. И Нахамкис при своей видной мужественной фигуре – рухло осел.

Может быть, им всем не миновать близкой расправы.

– Но, товарищи, – бодрился и стыдил их пятидесятилетний Пешехонов, старше их всех, – но мы так и до утра ничего не составим. Давайте же думать!

Никак бы им не сговориться, если б они стали давать политическую оценку момента: что именно произошло и что ожидалось бы завтра, – даже среди меньшевиков было четыре линии, а тут ещё Пешехонов. И даже *почему* произошло – тоже им было трудно согласовать: одни предлагали сослаться на военные неудачи, другие не соглашались, потому что армия и оборона не должны были быть поставлены под сомнение. Тогда о нехватке продовольствия в столице? И тут находились голоса против, Нахамкис считал, что это принизило бы значение революционного момента.

А тогда – почему же? Почему, правда, всё началось? Они сами не могли себе этого объяснить: *почему*? Почему именно в эти дни, когда никто не ждал? И почему сразу в один день, так быстро?

Но если сама литературная комиссия этого не понимала, то что же поймут народные массы?...

Наконец, написали: «Старая власть довела страну до полного развала, а народ до голодания. Терпеть дальше стало невозможно». А там как по накатанному: массы вышли на улицу – им вместо хлеба дали свинец. «Но солдаты не захотели идти против народа – и восстали».

Тут случилась новая помеха: открылась соседняя дверь и оттуда стали выходить думцы, члены Временного Комитета: сам хозяин этого кабинета Коновалов, Милюков, Некрасов, другие.

Их новость была, что Родзянко уединился, попросив время на размышление.

Но стол-то Коновалову пришлось освободить. На гостей косились, однако гнать не

смели, как представителей революционной демократии.

Литературная комиссия сдвинулась в сторону и при громком разговоре думцев пыталась продолжать обсуждение, Гиммер набрасывал на колени.

Борьба ещё не доведена до победы. Старая власть должна быть низвергнута окончательно – и только в этом спасение России.

«Низвергнута окончательно» – но не знали они, доредактируют это воззвание, или поднапрёт 177-й полк от Знаменской площади – и побежит во все стороны Таврический дворец, а те, что в сквере греются у костров или разлеглись в Екатерининском зале, – не защитники. Это просто удивительно! – хотя бы одна единственная рота была на защите революции – ведь ни одной.

...Для успешного завершения борьбы в интересах демократии... в столице образовался Совет Рабочих Депутатов из выборных представителей заводов и фабрик...

В это время зазвонил телефон – и требовали Шидловского, непременно его, а он вышел. Кто-то его позвал. А аппарат был такой, что надо было под рычагом держать палец или карандаш, а то разговор исчезал. Научили Шидловского держать карандаш.

Он очень оживился. Можно было понять, что говорят из Преображенского полка.

Так и есть! Шидловский закончил сияющий. Объявил всем в комнате, что Преображенский полк в полном составе поддерживает Государственную Думу!

Фу-у-у, намного стало легче.

Посоветовался с Милюковым и пошёл стучать к Родзянке.

Литературная комиссия, оживлённо пообсуждав Преображенский полк, опять уткнулась в своё воззвание, бодрей. Надо было сформулировать основную задачу Совета Рабочих Депутатов и основную цель его.

Скоро Шидловский вернулся и взволнованно объявил, что Родзянко согласился взять власть!

Присутствующие думцы захлопали.

Итак – революционная власть создалась! Литературная комиссия не удержалась и тоже захлопала.

(А 177-й полк может уже наседали?)

Но как же быть с Советом Депутатов? Он же – тоже революционная власть, и даже более демократическая. А какая его цель?

... Организация народных сил? Упрочение политической свободы? Установление в России народного правления? Или как его назвать?...

Ещё много тут было вопросов.

И надо ли говорить об Учредительном Собрании?

Нет, тут оставаться невозможно, думцы шумно разговаривали. Хотя интересно посмотреть-послушать, но и наш Совет ещё идёт, тоже интересно. А без возвания вернуться нельзя.

Потянулись искать другую комнату. Тем временем в Екатерининском всё больше ложились спать, а в Купольный всё больше натаскивали каких-то грузов: пулёмтные ленты, пироксилин, мешки с чем-то.

Нашли комнатку вроде складской, со старыми изданиями, и там, застревая на каждом слове, еле дотянули воззвание до конца.

Пешехонов отправился на заседание Совета, но не дошёл до него: его перехватили и втащили в заседание финансовой комиссии, куда он тоже был кооптирован.

Там обсуждали, откуда Совету рабочих депутатов брать деньги на свою работу. Пешехонов сразу вошёл в проблему, что думать не об этом надо, а как сохранить казначейство и банки, чтоб их не разграбили.

хабаловского пёстро́го отряда. А у начальства – нет, по-прежнему не было покоя.

Ненасытно подвижный генерал Занкевич, обходя посты, составил впечатление, что настроение солдат ненадёжно, и не только не готовы они к наступлению, но даже – оборонять это непонятное Адмиралтейство.

И снова горячо вернулся к своей идее и докладывал Беляеву: что разумней и достойней было бы перейти в Зимний дворец – и уж его защищать как эмблему царской власти.

И Беляеву, и Хабалову, и Тяжельникову очень трудно было думать ещё над новыми решениями. И так уж они, как будто, упокоились тут – а снова куда-то идти?

Но вот чем убедил Занкевич: сегодня люди голодные, и завтра с утра кормить их нечем. А в Зимнем дворце – много запасов в погребах, и будут варить горячую пищу, там можно выдержать любую осаду. А тут – и встретили недружелюбно. Григорович не вышел, ни привета не прислал, ни помощи. Да он и всегда играл в пользу Думы.

А правда, в этом есть благородство и честь – умереть, защищая царский дворец!

Согласились. И Хабалов отдал распоряжение – переходить.

Уже после полуночи – будили, поднимали, топали, собирались по огромным гулким коридорам. Люди среди ночи, среди тяжкого сна – не удивлялись, не волновались, выполняли механически. С усталости хотелось спать, а больше того, перебуженным, – есть.

И шире пошло по отряду впечатление, что начальство – силы не имеет и само не знает, что делает.

Морское начальство очень любезно провожало, радуясь, что отделалось.

Переходили – в темноте и в молчании, без громких офицерских команд. Тихо погромыхивала артиллерия. Фыркали кони.

Переступали, переезжали колёсами собственные разбросанные хабаловские объявления.

Стояла великолепная морозная ночь, в полную яркость мерцали звёзды – над тою самую площадью, где так ещё недавно в июльский день толпа на коленях пела гимн перед царём. И только вот этот последний обоз дотащился ото всего того.

В темноте и не догадались проверять – кто-то свернул и ушёл, по казармам, по домам. И крупные полицейские офицеры из свиты градоначальника исчезали, не попрощавшись. Да и весь вечер кто-то исчезал.

Освещённый собранными звёздными отблесками в темноте неба различался петропавловский шпиль.

И взглядом на небо видны были изощрённые фигуры по периметру зимнедворцовой крыши.

За площадью, за Александровским столпом, темнели обнимающие крылья Главного Штаба.

И ни единого прохожего.

Из города слышна была одиночная стрельба, да кой-где догорали зарева.

Пехота стала втягиваться через подъезд Александра II. Артиллерия с кавалерией – в ворота.

159

Глыбистый Родзянко вышел в кабинет Коновалова торжественно как именинник – ровный, готовый к приёму поздравлений, только со щёк на голые темена красный от перенесенного напряжения.

Вошёл – и раздались аплодисменты. Но так немного, не совсем уверенные хлопки: процедура не выглядела в простой комнате, число людей было малое, да и слишком всё качалось во тьме, не до ликования.

А Родзянко, вступив шага на три, стоял перед своим Комитетом, как перед думским залом, и басово рокотал:

– Я – соглашаюсь, господа! Извольте, я соглашаюсь. Но на условии, разумеется,

полного мне подчинения всех членов Комитета! Как и вообще всех членов Думы.

Милюков смотрел на эту тушу безнадежно. Поморщились и некоторые другие: вот уж чего Родзянко никогда не понимал – ни коллегиальности, ни республиканского духа, Я – и всех дави.

– И особенно, – заметил Родзянко тут Керенского, – особенно я жду подчинения от вас, Александр Фёдорович. – И выразительно-красно на него смотрел.

Это он явно напоминал ему давешнее столкновение о Щегловитове. (Да наверно готовил и освобождение его? Но пока не вслух).

Керенский, в своих летаниях по дворцу заскочивший сюда и тут заинтересованно дожидавшийся решения, – однако не ответил как-нибудь дерзко, а только выразительно качнул подвижной головой и проиграл бровями. Значение принятого решения осенило и его и задерживало тут.

Да и Милюков был доволен, несмотря на авторитарную форму объявления: он добился своего, сделан был важный шаг, которого не мог он сделать сам, а только через Родзянку. Теперь надо было закрепить публично, отрезать пути отступления, чтоб это не было кабинетным обещанием, которое можно взять и назад легко.

Неполная дюжина Комитета перешла в кабинет Председателя, там расселись. Родзянко за своим массивным председательским столом, а Милюков – у начала поперечного, но по сути повёл заседание.

Момент был переходящий: Комитет становился уже не «для сношений с учреждениями и лицами», а что-то новое. И надо было как-то известить население? Выразить публично свои намерения?

Да у Милюкова уже был подготовлен и текст, вот он, за этим у Милюкова никогда дело не стояло.

При тяжёлых условиях внутренней разрухи, вызванной, как это всем ясно, банкротством старого правительства, Временный Комитет Государственной Думы вынужден – просто вынужден – взять в свои руки – не власть, нет, это звучало бы неблагоприлично, а – взять в свои руки восстановление государственного и общественного порядка. И при этом выражает уверенность, что население и армия помогут ему в трудной задаче.

(Какой именно задаче? Тут-то и было самое важное, мысль Милюкова забежала вперёд, он готовил уже следующий мостик, для следующего шага).

В трудной задаче создания нового правительства, которое бы соответствовало желаниям населения (то бишь – не императора) и пользовалось бы его доверием.

(Временный Комитет потому и Временный, что является только мостиком для создания **правительства** – которое уже не будет этот Комитет, но будет иметь реальную власть, – и к той-то власти ступал Милюков. Для того, чтобы возникло правительство, Комитет должен будет отмереть – это пока один Милюков прозрел).

Комитет слушал – возразить нечего. Даже всё очень разумно и умеренно. Правительство доверия? – так об этом Дума только и говорила всегда. Вот – «банкротством»? Может быть мягче сказать – «мерами старого правительства»? Хорошо, мерами, Милюков был мастер уступать в формулировках, сохраняя суть. (Кто-то подал: да хоть и «маразмом» назови, не ошибёшься).

А всё согласовано – так Милюков просил извинения и вышел на минуту в зал. (Опередил и Керенского!) Там уже его ждали журналисты – и подхватили коммюнике для издаваемой газетки. И бродячие из Совета депутатов тоже услышали, и в общем все приободрились.

А Родзянко, всё ещё переполненный звонком преображенцев, тем временем просил Шидловского поехать после заседания в их офицерское собрание и поблагодарить от его имени.

Было полночь, но члены Комитета не только не расходились, но приступили к разговору: что же именно делать? Отовсюду продолжали приходить вести, что разгулявшееся население разбойничает, офицеров бьют или убивают, бессмысленно портят

имущество, и обыскивают частные квартиры. Удержать, защитить – не было никакой военной силы. Значит, надо было выпускать ещё одно воззвание?

В этот раз у Милюкова проекта не было. Стали составлять. Керенский уже улетучился, лихого Караулова не было, поэтому и резкостей не произносили, а – предложения умеренных разумных людей. Некрасов сидел волковато, непроницаемо, своих фраз не добавлял.

К жителям Петрограда. К солдатам. Во имя общих интересов щадить учреждения и приспособления, такие как: телеграф, водокачки, электрические станции. (Можно себе представить, если всё сейчас погрузится во тьму, а уборные перестанут сливать!) И трамваи же! (Досталось уже им).

Комитет стал очень един, да и население должно на этом объединиться. Вставить такое разъяснение: порча и уничтожение имущества, никому не принося пользы, причиняют огромный вред всему населению, ибо всем одинаково нужны вода, свет и прочее.

А заводы и фабрики? Комитет поручает их охране самих граждан.

Об офицерах? Прямо сказать нельзя: будет зафиксировано, что офицеров травят, да и будет выглядеть, будто Комитет защищает реакционный строй. Но можно выразиться уклончивей, как-нибудь в самом общем виде: что недопустимы вообще никакие посягательства на жизнь и здоровье частных лиц. Да и на частное имущество? Вот так написать: пролитие крови и разгром имущества лягут пятном на совесть людей, совершивших подобные деяния.

Шульгин потряс головой и съехидничал:

– Не много же у нас прав для начала, если только и можем мы призывать к совести населения.

– Да чего ж больше, батенька! – с облегчением выдохнул Ржевский. – Да что ж вам больше совести!

Всё же dokonчили, выслали второе воззвание журналистам...

Но в груди Родзянки поднималась гордость. Нет, не робкого он десятка! Да, он сделал такой шаг, и сделал его для спасения России. И теперь надо привести столицу в порядок, а значит прежде всего собрать распавшиеся войска.

Но для этого – Временному Комитету нужен свой полководец.

Высказал. Обсуждали.

Однако все полководцы на фронте. А в Петрограде – негожие канцелярские генералы, вроде вот этого Беляева. Да и те, если не у Хабалова – так где их искать?

Стали думать, сразу в восемь голов. И в одной голове просветилось: да Энгельгардта!

Энгельгардт – полностью свой, член Государственной Думы. В прошлом – улан-гвардеец, любитель скаковых лошадей, – и окончил Академию Генерального штаба, хотя никак это не направило его последующей жизни. И ещё не стар.

Так великолепно! Он кто по званию? Нето подполковник, нето полковник. Отлично! А где он сейчас? Да где-то здесь, был на частном совещании, и ещё потом оставался.

Искать его!

И нашли.

Пришёл – в сюртуке, в белой манишке с бантиком, ничто не напоминало в нём военного. Но свой же человек, думский, октябрист!

Никогда он не возвышался до общества лидеров Думы, а тут – все лидеры ласково приветили его. И во мгновение кооптировали в состав Временного Комитета (получился – тринадцатым, а так подгонял Родзянку, чтобы было двенадцать!). И назначили – как он будет называться? – поскольку командующий войсками пока Хабалов, – пусть будет «комендант Петрограда»!

И теперь он должен будет возглавить все воинские части, перешедшие на сторону народа. Собрать их, вновь организовать. А если придётся – то, да, и вести военные действия против войск реакции.

Но, господа, но так сразу?...

Вот сразу, двумя руками депутата, даже не надев мундира. (А мундир дома есть? – Есть).

С опозданием ворвался длинноусый терец Караулов – с газырями на черкеске, – чем не главнокомандующий? вот он я!

Но не хватало терцу образовательного ценза.

– И как же безо всякого штаба? – спрашивал Энгельгардт.

Да позвольте, господа, тут какой-то штаб у нас уже есть по соседству, да вот в кабинете Некрасова.

В кабинете Некрасова? – изумился Родзянко. Вот тут, за стенкой штаб – и никто не доложил?

И воззрился на своего молодого, слишком ловкого заместителя.

Но Некрасову не добавилось румянца, и так же непроницаемо смотрели его синие глаза. А голос умел быть таким искренним, простодушным: а что такого? товарищи из Совета депутатов попросили помещения...

Родзянко возмущённо поднялся. Нет! Так он не может руководить, ничего не ведая в собственном доме! Он не стал обходить кругом по коридору, а властно толкнул заклеенную небольшую скрытую дверь – и прямо вступил в кабинет Некрасова.

И за ним – Некрасов, Энгельгардт, ещё некоторые. (Милюков как сугубо гражданский человек не пошёл).

А там тоже не ожидали, эта дверь, думали, не открывается. И вдруг – сам Родзянко!

Какой-то сидел угрюмый исподлобный, в мятом пиджаке и с мятым лицом. Какой-то лейтенант-морячок с косым начёсом. Один прапорщик. Несколько ожидающих. И груда винтовок в углу, на полу, вот и весь штаб.

Родзянко с неудовольствием быковато осмотрел весь этот беспорядок. И очень бы сейчас ругал Некрасова. Но может быть это как раз и было то, что нужно?

Кивнул им.

– Господа офицеры, – процедил, не находя подходящей формы обратиться.

Перед его величественной фигурой все давно вскочили и подтянулись.

– Временный Комитет Государственной Думы принял на себя восстановление порядка в городе. Для этой цели комендантом Петрограда назначается генерального штаба полковник Энгельгардт, вот, прошу любить, – которому вам всем и надлежит подчиниться.

Тут – никто не возразил. Но последние слова Родзянко слышали и несколько других, вошедших из противоположной комнаты (да они уже тут все комнаты захватили!). И во главе их какой-то лысый малорослый припрыгивающий штатский с расстёгнутым сюртуком, со смоляной прямоугольной бородой вырвался:

– Не надо нам вас, толстопузых, цензовых! Это – штаб обороны Совета рабочих депутатов, и он никому не подчиняется!

То есть как? Родзянко остолбенел как от удара палкой в лоб. Ведь он только что, принимая власть, предупредил: при условии всеобщего полного ему подчинения!

И вдруг – такие оскорбления? такой невозможный язык?

И это – рядом с его кабинетом?!

Но как раз оттуда, из кабинета, стал слышен настойчивый звон и звон телефона. А Родзянко приказал секретарям только самые важные звонки на него переключать. Значит важный.

Без сожаления ушёл от этой несуразной сцены, из этого анекдотического штаба, за ним пошли и другие думцы.

Крупной лапой взял трубку, зовко отозвался – и впился слушать, уже только односложно отвечая.

И все тут замолчали, перейдя во внимание, стараясь уловить, о чём разговор. Кто говорит – не сразу поняли, но, видимо, кто-то связанный с правительством и с Государем.

И вдруг Родзянко посерел, и голос его пал. Переспросил:

– Восемь полков?!

И сразу всем понятно стало: откуда полков и куда.

Восемь боевых полков? А в Петрограде был десяток стадо-овечьих батальонов!

Проняла Председателя испарина – даже на шее и на груди. Ах, поторопился! Теперь если кто бунтовщик – так он первый.

Ну, что бы стоило Беляеву позвонить на час раньше! – и ещё можно было... ещё можно было... Что стоило ещё немного подождать? И зачем Милюков бегал к корреспондентам? И зачем разослали воззвание?

Поднялось в нём раскаяние: ликвидировать бы сейчас этот комитет, пока не поздно!

Но смотрел на своих коллег – не посмел вымолвить.

И всех проняло молчание. И Родзянко мутно осматривал этих беспомощных, из которых ни один же не был настоящим военным, не то что кавалергардом, и ни один не мог постоять с ним плечо к плечу, – ни развалина Ржевский, ни простяга Шидловский, ни тихоня Дмитрюков, ни попрыгун Шульгин, – а уж Милюков предаст पहले всех.

Много лет Дума атаковала, избличала, насмехалась – а правительство сжималось трусливо, а Верховная власть не подавала признаков: слышит она? не слышит? И создался в Думе особый климат: говорить о *верхах* развязно, вести себя так свободно, как если бы верхов не было. И привыкли, что их – как бы нет.

А они – вот они. Восемь боевых полков.

Вдвинулась императорская рука – и прихлопывала их тут, вместе с их успехами, их Комитетом и воззваниями...

160

Уж лучше Сергея Масловского кто и представлял, как надо совершать революцию? В Девятьсот Пятом он написал (анонимно) листовку-инструкцию по тактике уличного боя с баррикадами. Правда, сам не проверял её на практике.

А то, что началось сегодня, – началось совсем не правильно, с каких-то вздорных эпизодов: по плацу Академии Генерального штаба стали летать пули, неизвестно кем и куда выпущенные, так что нельзя было по библиотечной службе даже пройти от главного корпуса ко флигелю. Потом вдруг побежали, пригибаясь за рядами дровяных штабелей, какие-то солдаты – но то не были ни инсургенты, ни правительственные войска, а, без фуражек, кто и без шинелей, – солдаты, еле выскочившие из своих казарм и удиравшие от своих товарищей, чтоб их не втянули в бунт. Это были частью преображенцы, частью гусары, – и некоторые из них ткнулись просить пристанища в подъезде Академии. Но при таком смутном уличном состоянии и швейцар, и дежурный офицер побоялись держать их в подъезде, а спрятали в подвале, в типографской кладовой, между большими рулонами бумаги, – и туда любопытствующие офицеры Академии ходили на них смотреть и расспрашивать.

Если б это было серьёзное революционное движение, то уже то неправильно, что оно началось не в рабочих кварталах, не около заводов, даже не на проходном для всех Невском, – но в центре военных кварталов Литейной части, уж самой надёжной правительственной цитадели. (Потому и переполох был изрядный в академической профессорской).

Да, одиннадцать лет назад, а под свои тридцать и после многих личных неудач, Масловский вступил в партию эсеров и, можно сказать, был участником той революции. Но всё было жестоко разгромлено, и он сам едва не угодил в Петропавловскую крепость, – и на последующие годы устроился в тихой должности библиотекаря Академии (по знакомству, отец его раньше был профессором тут) – и задыхался здесь, как заложник революции в стане оголтелой реакции, мракобесной преданности трону, и среди большинства должен был передвигаться невыразительно замкнуто, деревянным голосом говорить, чего не думал, и лишь некоторым мог едко открывать свои вольные мысли. О его революционном прошлом и революционной сути знала, конечно, петербургская революционная демократия, но встречался он с ними редко, а не делал ничего, потому что вся жизнь замешалась в безнадежном быте. С начала войны библиотекарство стало ещё и хорошим прикрытием от

фронта, и Масловский вовсе закрылся. И так надо было эту войну пересидеть в покое – а вот, началось что-то...

Сегодня занятия в Академии рано прекратили – и профессора и военные слушатели, прежде чем расходиться по домам и услышав, что на улицах офицеров обезоруживают, – сдавали свои шашки на хранение в академический музей. И Масловский внутренне жёлчно хохотал над их беспомощностью: вот и герои, вот и рыцари трона! – ничего не могут, и ничего не пытаются. Сам он тоже, стало быть, ушёл с работы, но у него шашки не было, не офицер. А жил он в соседнем доме.

Решили с женой, что в такой день никуда идти не надо, можно влипнуть, – и только посматривали в окна на Суворовский. На проспекте не утихало, а всё новые и новые разворачивались революционно-народные сцены. Закружились рои подростков, пошла бесцельная стрельба, крики «ура», шапки в воздух, как будто уже одержана победа, – а ещё ни одного и боя на Суворовском не произошло.

Так Масловский, растревоженно взволнованный, и просидел дома до темноты, наблюдая и рассчитывая, что завтра обстановка станет ясней. Но допустили такую ошибку: жена вышла в город посмотреть и разузнать лучше – а тут зазвонил телефон. И не удержался Масловский от соблазна взять трубку: может быть что-нибудь сенсационное, и без труда узнать? И – попался: это звонил из Таврического Капелинский – и кипел от радости, и звал его, именно его, первого из всех – немедленно в Таврический, на помощь в организации.

Ах, досада какая! Но уже местопребывание открыто, не скажешь, что дома нет, – отступления нет. Свою революционную репутацию тоже нельзя было опорочить. Подвела старая слава.

Некуда деться. Масловский сбросил военную форму, надел неновый пиджак, неновое пальто, ботинки в галоши – и пошёл, сутулясь, к Таврическому. Это близко.

А там партийные товарищи, считая Масловского образованным военным специалистом, – посадили его руководить штабом восстания! Вот так дело, затрясёшься: из мирного обывателя – и сразу штабом всего городского восстания! И показать нельзя, до чего это тебе некстати, все друг другу: «дождались!», «дождались!», «наконец настало!».

Правда, к его распоряжению были – настоящий морской лейтенант Филипповский, очень серьёзный и подвижный, и несколько зелёных прапорщиков. Но всё это – разве штаб? Никакой организации, и ни малой подчинённой воинской части, а какие-то суетливые автомобилисты и солдаты без команды в сквере перед дворцом. И по приносимым клочным сведениям – неоправданно лёгкий успех революционного дня проступал к вечеру полным кризисом, разрухой.

И Масловский двигался и что-то говорил товарищам – автоматически, не пытаясь овладеть событиями. Его раздирала тревога неопределённости. Он примерял к себе смертную казнь или каторжные работы, и в отчаянии был, что так глупо влип. Может быть ночью, к утру будет удобная минута – ускользнуть отсюда незаметно?

А тут ещё раздирали душу благожелательные посетители штабной комнаты, ведь она была нараспашку для всех желающих, как и любая комната дворца в эти часы. С того часа, как двери Таврического заперли для толпы и пропускали по выбору, – дворец наполнился людьми «общественного Петербурга», кругами приреволюционной демократии и просто сочувствующими. И они (вперемешку с журналистами) лезли непременно в штаб восстания и давали какие-нибудь советы: «А почему вы не захватите воздухоплавательного парка? у вас будут аэропланы!» – «А почему вы не прикажете перекопать улицы, чтобы не могли проехать броневики? Ведь у Хабалова сто броневиков, это абсолютно точно!» – «А почему вы до сих пор не взорвали несколько столбов военно-полицейского телеграфа, чтобы нарушить их связь?» – «А почему вы не штурмуете Петропавловскую крепость?»

И каждый же запоминал и будет свидетелем на суде, что именно Масловский руководил штабом восстания!...

А тут – даже нечем было оборонять Таврический. Правда, кто-то откуда-то привозил оружие – винтовки, револьверы, патроны, и несколько студентов приспособились в

вестибюле снаряжать пулемётные ленты. Но не было самих пулемётов. Стояли на крыше два противоаэропланых, да были два в запасе – но стрелять они все не могли. Послали одного студента в аптеку хоть за вазелином для них – он вернулся с пустыми руками: уже поздно, всё заперто. *Революционер* – постеснялся дверь сломать!...

К полуночи из коридоров приносили слухи, что Хабалов вот-вот начнёт генеральное наступление. Да и естественно: ведь он за весь день себя ничем не проявил, очевидно был в том какой-то расчёт.

Вся революция висела в воздухе, не опираясь о землю ни одной реальной точкой.

Следовало ждать прихода возмездия. Но теперь и вырваться нельзя, не навлекая презрения революционных кругов.

Вдруг, уже около часа ночи, внезапно раскрылась глухая заклеенная дверь в стене кабинета – и появился сам Родзянко, распаренный до красноты, а за ним небольшая свита думских. Вид Родзянки был даже разгневан. Он посмотрел с изумлением, что здесь кто-то заседает, хотя он не приказал. И глыбою своей, кажется, мог их сейчас стереть. Но – только объявил с задышкой, что: назначает комендантом полковника Энгельгардта – и чтоб все ему подчинялись.

Комендантом *чего* – здания? города? Масловский не ухватил, но уже испытал облегчение. Однако ни он, ни штаб его не успели пошевелинуться – как из открытой двери противоположной смежной комнаты вырвался Соколов – и звонким адвокатским голосом стал оскорблять Родзянку. За несколько часов в Совете рабочих депутатов Соколов стал больше чувствовать себя хозяином этого здания, чем Родзянко.

Распаренный Родзянко, с потом на лысине, выслушал с недоумением. И – не взорвался дальше. Но, крупный, даже отступил от наскока маленького лысого.

А Соколов бушевал и размахивал быстрыми маленькими руками:

– Штаб уже сложился! Штаб действует! При чём тут Энгельгардт? Чтобы разбить Хабалова и Протопопова нужны не ваши назначенцы, а настоящие революционеры! Они и есть! И вашим тут делать нечего.

С Родзянкой – наверное, никто так не смел разговаривать. Он опешил, омрачился – и забурчал скорей по-домашнему:

– Нет уж, господа. Раз я согласился взять власть – то уж теперь потрудитесь мне подчиняться.

Ах вот что, он решился брать власть!? Масловский тут же сообразил, что это даёт всем хороший шанс. Председатель Думы! – законность!

А неуёмного Соколова узда не брала, он упивался своим достигнутым криком. Он кричал и брызгал, что Совет революционных рабочих и восставших солдат один будет руководить обороной, а думский комитет может прислать наблюдателей, но не начальников. И опять оскорбительно выразился о Родзянке, так что уже не выдержали прапорщики, бывшие тут, стали теснить Соколова и возражать. Принялся возражать и Масловский.

Он-то лучше всех знал, что никакой штаб тут не сложился и не действует, – и это замечательно, что Думский Комитет и Энгельгардт в самую страшную минуту возьмут всю ответственность на себя.

А Энгельгардт, мало кому известный думец, тоже, оказывается, присутствовал здесь, – тоже в штатском сюртуке, и стеснён, и неловко краснел. После того как права его утвердились и Родзянко с думцами ушли, он остался тут.

Поспорили – умерили Соколова. То, что здесь находилось, называлось уже от Совета – Военной комиссией. Вот – пусть она и будет такова, но – общий орган и Совета, и Думского Комитета. И во главе Энгельгардт. Поладили. Масловский очень был доволен.

Присели, поговорили, что надо бы такой приказ издать: всем воинским частям и всем одиночным нижним чинам немедленно возвратиться в свои казармы; всем офицерам – прибыть к своим частям и принять меры к водворению порядка; начальникам отдельных частей – явиться завтра в Государственную Думу для получения распоряжений. И так – мы возьмём в свои руки армию? А чем же иначе воевать? Вмиг создать революционную армию

невозможно.

И Филипповский, с косым падающим начёсом на голове и подувая в тёмные усы, сел писать приказ. А потом отослать его в одну из захваченных типографий.

Но – призрачным представлялось, чтоб офицеры после убийств – вернулись бы к своим частям и обращали бы их к порядку.

Тут у Энгельгардта возникла мысль: обратиться к помощи Преображенского батальона, чьё счастливое вмешательство повлияло в полночь на Родзянку, и где офицеры, очевидно, остаются на своих местах и сейчас. Так Энгельгардт – поедет туда! Сперва поблагодарить их, потом и опереться. Только они одни и могут атаковать Хабалова.

Разумная мысль! Согласились.

Но тем самым – Энгельгардт исчез, а Масловский опять остался поджариваться во главе заклятого штаба.

И прапорщиков поредело. Неизвестно, с кем он и оставался – а уйти не мог. И все гости, общественные деятели из Таврического разошлись. А думцы больше не приходили.

Посылать ещё куда-нибудь команды добровольцев – уже трудно было и найти командиров, и добудиться солдат. О многих посланных командах так и не было слуха, они растеклись и исчезли.

Зато позвонил молодчина Ленартович: он-таки взял Мариинский дворец! – но без единого министра, и теперь там занят проверкой и захватом бумаг.

Однако это не меняло густой тайны вокруг намерений Хабалова. По случайным донесениям Масловскому стало казаться, что всю Таврическую часть города в тиши окружают кольцом пулемётов.

А телефоны действовали безотказно по всему городу. Но телефонная станция была у Хабалова. Из Михайловского манежа взятый броневик посылали к телефонной станции на Мойку – он попал под пулемётный обстрел, пробили ему шины. Пришлось броневик бросить, вернулись и конники.

С Выборгской звонили, что самокатный батальон отстреливается и не сдаётся народу.

С Николаевского вокзала требовали подкреплений. Но сколько ни посылали туда – никто не дошёл, куда подевались? (Вот это и доказывало, что где-то проходит невидимое сжимающее кольцо).

Даже с Финляндского звонили, требовали подкреплений, хотя там-то не было никакой угрозы. Ночь – и все нервничают.

Таврический дворец по комнатам и залам – разлёгся спать. Но Военная комиссия – да Масловский с Филипповским вдвоём, потом добавился Добраницкий, не могли ни уйти, ни глаз смежить.

А сделать – ничего не возможно. Кто получает приказы – тот их не выполняет. Кто действует – тот без приказа. И на улице перед дворцом обезлюдело, не кишели добровольцы.

А тут известие, что толпа собирается громить казённый винный склад на Таврической улице, рядом. Значит, надо собирать и посылать охрану, а то пьяные и нас разнесут.

А хабаловское наступление всё не разражалось – хотя уже и ночь в глубине, и улицы все пусты, никто ему не загораживал.

161

На всякого мудреца довольно простоты. Теперь, час за часом сидя запертый в так знакомом ему министерском павильоне, куда столько раз он приходил на заседание Думы, Щегловитов уже хорошо понял, что надо было ему сегодня с утра – скрыться полностью, уехать прочь из города, – и даже может быть жене любимой – не говорить? Хотя и скрывать же невыносимо!

А вот...

И ведь столько он уже переполучал за эти годы – посылок с гробиками и писем с виселицами, из России и из Соединённых Штатов, что можно было предвидеть: первый удар

и должен прийти по нему. Рука мщения и должна была проявиться в революции самой быстрой.

Но этого явления – «революция» – мы же не знаем в обычной жизни, она не входит в наш накопленный жизненный опыт – и ошибаешься на первом же шагу. Особенно если всю жизнь провёл между натянутыми юридическими струнами. Трудно было осознать сегодня с утра, по первым забунтовкам в запасных батальонах, что отныне понятие закон прекращает существовать, и даже он, глава верхней законодательной палаты Империи, не защищён более никаким регламентом. Щегловитов был из самых сильных юристов России, всю жизнь его держал юридизм, – и юридизм же подвёл. Щегловитов был настойчив, суров и находчив – пока находился на стезе закона. А чуть не на ней – вот и потерялся. Сидел у зятя, постучались нормальным стуком в квартиру – а за дверью вооружённые саблями и револьверами два студента-еврея, с ними два солдата. И маленький студент сразу закричал: «Щегловитов? Вы арестованы!» Прирождённый юрист не мог не возразить: «Кем? По какому ордеру?» – «Волей революционного народа!» – заносчиво вскричал тот и положил руку на саблю.

Глава законодательной палаты, никак не менее рядового члена палаты, до снятия своей неприкосновенности не может быть арестован ничьей волей, это ясно. Но тут был перевес четырёх молодых вооружённых над 55-летним штатским, и оставалось – подчиниться? Но ещё так бешено почему-то торопили они, тащили за локти и толкали в спину, что не дали надеть ни шубы, ни шапки: «Через пять минут будем в Таврическом, а там тепло!»

Таврический? Ну, это неплохо. Это такая же вторая законодательная палата, и там сейчас всё разъяснится.

Но Родзянко?! – трусливо отступил, отказался освободить. А ничтожный адвокатишка Керенский, который и юристом-то никаким не был, но собрал себе дешёвую славу демагогическими речами на политических процессах, – пронзительно кричал и показал распалённому конвою вести арестованного за собой.

Но с какой же совестью отступил Родзянко?

Впрочем, и он не успел сообразить? – так всё было разительно-неожиданно. Ведь ещё больше не сообразил сам Щегловитов: почему не скрылся? почему поддался аресту не только послушно, но даже без шапки и шубы? Эти короткие минуты, когда решается судьба твоей жизни и тела, – почему вдруг соображение может так покинуть нас? – и ты оказываешься телесным мешком, вот запёртым простым дверным замком, а ключ – в кармане у твоего врага.

И припомнилась ему одна странная его ночь тридцать лет назад – весной 1887 года. Как самого младшего в петербургском окружном суде его назначили присутствовать при казни группы Ульянова в Шлиссельбурге. И он поехал туда накануне, ночевал в крепости, и – как будто его самого должны были казнить – всю ночь не сомкнул глаз: ждал и жаждал телеграммы о высочайшем помиловании. И ещё утром своею властью оттягивал, оттягивал казнь, всё ожидая телеграммы. Не пришла.

Да. Что-то похожее.

Щегловитов был ровесник alexандровских реформ, полюбил их идею, в их либеральном воздухе прошёл училище Правоведения и долгие годы не отличался от общего потока тех либералов. Он стал профессором правоведения и печатал статьи в защиту закона от нажима. (Хотя и тогда уже видел радикальный распад alexандровской судебной реформы – оправдание засуличей и десятков таких, и тогда уже порицал адвокатские извращения в публичных процессах, высмеянные Достоевским). И восторженно принял Манифест 17 октября как открытие эры правовых норм – и в те же месяцы его вынесло к высшему законодательству, а от самого рождения нового государственного строя он стал, и девять лет пробыл, министром юстиции. Смена нашей служебной позиции не должна бы менять наших убеждений, но и не может остаться без влияния на наши взгляды: становится зримо то, что скрыто от сторонней критики. Хотя ещё и через год, после 2-й. Думы, Щегловитов спорил против столыпинского третьиюньского изменения избирательного

закона, но тем более считал теперь нужным железно защищать и созданный конституционный строй и правительственную политику – в годы разгула террора, когда либералы не только рукоплескали убийствам, но и теоретически оправдывали террор тем, что общество не удовлетворено государственным устройством. И так Щегловитов потерял всякую либеральную репутацию, да уже и не пытался её удерживать. Но его законы об исключительном положении всегда бывали законы: с указанием точной процедуры, точных сроков и ответственных лиц, никого не могли арестовать **просто так**, как вот сегодня его самого. Да в революционные годы он несколько раз уже назначался мишенью террористов, в 1908 сидел дома в двухмесячной осаде, а один раз не был убит лишь потому, что случайно задержался в подъезде, не вышел к карете, а к ней уже кинулись трое.

С годами Щегловитов видел переполнение судейских рядов расслабленными болтунами, делавшее суд плохой защитой не только государственного строя, но самой жизни граждан. Однако – не давал себе произвола насильно формировать суд, нарушать закон несменяемости судей. А лишь прибегал к таким хитростям, как соблазнять негодных подачей в отставку с получением пенсии, что облегчалось, если судья проявлял пороки личного поведения и мог попасть под дисциплинарное разбирательство. Это была медленная работа: воспитывать в судах сознание государственной устойчивости. Верных тридцать пять лет бешеные волны размывали, разрушали её. А остальное общество, и дворянство, и высшие государственные слои всё это как будто видели – и не видели. Никто не хотел поверить, что устои могут рухнуть. Всё правящее держалось в раскачке вяло и спокойно, в малодушии и бесхарактерности старались как бы не замечать угрозы. У своих чиновных коллег видел Щегловитов лишь переползание из шкуры в шкуру, да с должности на должность, при равнодушии к сути дела. Так, много лет отдав укреплению русского государственного строя, Щегловитов привык, что в России не с кем соединяться, не с кем действовать вместе, а только что сделаешь сам. И как было не заразиться этим всеобщим покоем? Щегловитов тоже отдал ему дань. В таком ли настроении не остановил он недолжно начатого киевскими судебными властями дела Бейлиса. А когда оно стало принимать мировой размах, отступить показалось поздно, и при раскале страстей сам Щегловитов тоже не остался бесстрастен, финансировал приезд экспертов обвинения, – однако процесс прошёл в строгих рамках закона, весь стенографировался, был открыт репортёрам, было допущено столько свидетельств и адвокатов, сколько требовало дело, и, по логике закона, подсудимый был начисто оправдан.

Но этим процессом Щегловитов был пригвождён обществом навсегда. И в те же самые годы он потерял поддержку трона: императрица не прощала, что он был непримирим к Распутину – не только не льстил ему, но не льготил ни в чём, даже не принимал его самого вне очереди посетителей, а уж прошения, идущие через него, разрывал. (Но всё равно в обществе утвердилась клевета, что Щегловитов – подручный Распутина). И в Пятнадцатом году, перед думскими тучами, Государь уступил его в отставку.

В царских касаниях, которых немало было за девять лет его министерства, суждено было Щегловитову испить всю горечь государственного человека, чьи знания, умственные силы, труд, воля и служба оказываются прахом для неуверенного ветерка: бывало, он горячо убеждал Государя в каком-то решении или уже проводил его месяцы – и вдруг Государь всё отменял под влиянием случайно слышанного мнения. Государь всегда чуждаясь сильных характеров.

И редкие консерваторы в России имели мужество открыто заявлять о своём веровании. Со всей страны нельзя было натянуть съезда правых иначе, как взяв половину с улицы – какие-то бедные, грубые, непросвещённые силы. Такой съезд собирали в ноябре 1915 – на нём не появились сановники, крупные чины, – стыдились. И сам Щегловитов, не будь уволен из министров весной того года, – почти наверное бы не пошёл. Правые предпочитали встречаться малыми скрытыми кружками – Римского-Корсакова, Ширинского-Шихматова, и шушукаться. Потеряв равновесие на отставке, Щегловитов пошёл возглавить этот съезд и, с перебором ожесточения, заклиная будущее словом, – обозвал ту конституцию, которой сам

девять лет служил, – «пропавшей грамотой».

Это – он сорвался, оттого что никто не шёл к правым. Он не только не думал так – но ещё летом 1914 это он помешал Государю изменить конституцию в пользу самодержавия, сдвинуть палаты от законодательности к совещательности: «Я считал бы себя изменником своему Государю, если бы сказал: Ваше Величество, осуществите эту меру!»

Теперь весь одинокий запертый вечер, и уже в ночь, Иван Григорьевич бродил по комнатам министерского павильона. Удлиненный, но не слишком большой зал заседаний, стол под сукном в окружении кресел и несколько диванчиков. Два кабинета. Людская. Уборная. Сколько раз тут бывал – а мог ли предположить, что окажется в таких обстоятельствах?

Предположить – не мог. А предвидеть – должен был.

Полтора года Щегловитов наблюдал развал – со стороны, бессильно. А с этого Нового года Государь вернул его к деятельности, поставил председателем Государственного Совета – Щегловитов взялся со стесненным чувством, но решительно. И первое же февральское заседание не дал профессору Гримму развалить демагогическим «внеочередным заявлением», и вся левая группа – уже гнездилась она и в Государственном Совете! – ушла с заседания. Это было – только-только вот в феврале, только вот обещало начаться.

И вот, в необитаемых комнатах призрачного недавнего правительства – отведено было Ивану Григорьевичу, без еды, без питья и без общества, – ходить беспомощно взаперти, уже и за полночь – и думать вволю.

Щегловитов вообще держался независимо от Двора и подальше от великих князей. Своей любимой дочери Анне он запретил стать фрейлиной, как ей предлагали, считая, что это – почти горничная. И когда у него осведомились, как отнесётся он к получению титула графа (Витте был без ума, получивши), – Иван Григорьевич ответил, что иностранный титул будет смешон при его исконно-русской фамилии. (Щегловитовы – старинный род Шакловитовых – указом Петра должны были слегка изменить буквы, чтоб отмениться от казнённого Шакловитова, фаворита Софьи).

Дочь Анечка – была сердце его. Он дважды вдовел, вторая жена умерла, рожая Аню. Иван Григорьевич близко участвовал в её воспитании. На Пасху в имении заставлял её христосоваться с каждой мужицкой семьёй. Стала старше – возил её в итальянскую оперу, даже выбирал ей платья. И с нею же ездил, приглашённый в царскую Ореанду в Крым.

А третья жена – красивая, умная, пианистка, из общества, и с властным характером, – владела им, направляла, он сознавал и не мог изменить. И с Анечкой она – разошлась и рассорилась. И – разрывало сердце.

И что будет с Анечкой, когда она узнает об аресте отца?...

Последний человек, с кем Иван Григорьевич разговаривал, – был Керенский, с тяжёлым ключом в руке, комично высокомерно предложивший Щегловитову протелефонировать в Царское Село о бесполезности сопротивления и посоветовать сдать на милость народа.

Этот выскочка уже командовал Трону – сдаваться?

Щегловитов и полного взгляда ему не отпустил.

Юридический ум всё же успокаивал, что арест – из ничего быть не может, всё разъяснится благополучно.

По два десятка лет наблюдая размыв и разрушение при апатии всех, – мог ожидать он всего плохого. По пути сюда на извозчике Щегловитов повидал взбудораженные улицы и тут роящийся дворец – и объём происходящего выступил перед ним.

Что это – не эпизод с растерянной петроградской администрацией, но – крушение, которого и следовало ждать в непрерывно раскачиваемой, подрываемой стране.

И он не внушал себе, что завтра утром будет освобождён.

От полутора лет тесного общения с Государем не осталось у Алексеева почтительно-дистанционного отношения к монарху, никакого облака тайны или мистического порога превосходства. А был для него Государь – самый простой человек, любящий Россию и армию, но стратег – никакой, впрочем весьма покладистый сослуживец, приёмистый к решениям Алексеева. Сам про себя Алексеев отлично знал, что он – совсем не блестящего десятка среди военачальников, только незаслуженно возвышен Государем, – но это не мешало ему понимать про Государя, что тот и менее способен и слабей его. И это превосходство Алексеев по смежности начинал ощущать и в других областях, вот – как относиться к общественным возбуждениям.

Поэтому-то, передавая по телеграфу ответ царя своему брату, Алексеев от себя добавил великому князю просьбу: когда Государь вернётся в Царское Село и они увидятся – не остыть и снова ходатайствовать о замене нынешнего совета министров, а главное – **как** их выбирать. (Он не решился вымолвить – пусть будет ответственное, но думал именно это).

Впрочем, виделось теперь Алексееву, дорог каждый час и не опоздать бы с уступками в то драгоценное время, пока Государь ещё будет ехать до Царского Села.

А тут же в подтверждение и от безудачливого князя Голицына пришла умоляющая телеграмма – уволить их всех и передать власть ответственному министерству. С разных сторон решительно все в один голос просили одного и того же, такого простого, – и почему ж было не уступить? Удивительно умел и упираться этот человек!

Ещё и генерал-квартирмейстер Лукомский (при Гурко заменивший Пустовойтенку) побуждал Алексеева не сдаваться и уговаривать. Как люди, всё же касающиеся образованных слоев, они понимали друг друга, им доступен был стон и ожидание общества, чего венценосец никак не воспринимал.

Но уговоры Алексеева прошли зря, и, не дотягивая вечера, он лёг.

Тут вдруг – сам Государь пришёл в помещение генерал-квартирмейстерской части, принёс телеграфный бланк для Голицына и ещё специально передал Алексееву через Лукомского, что решение окончательно и докладывать ещё что-либо по этому вопросу – бесполезно.

И именно от такой передачи Лукомский стал уговаривать Алексеева – снова подняться и идти обламывать: в этой оговорке Государя не было ли уже начала сдачи?

И в своём дурном состоянии Алексеев снова побрёл убеждать царя: упущенное время бывает вознаграждено и от таких минут может зависеть жизнь государства. Правильно было посылать войска, но и правильно уступить с правительством. Гораздо лучше бы – обойтись без всякого кровопролития и насилия, а скорей обернуть все силы страны к делам войны.

Всё снова зря. Хотя довод избежать кровопролития всегда отзвучен был у Государя – а сейчас он не слышал о министерстве, как заколодел. И стал у него голос глухой, без тембра, без окраски, и щёки впалые. Да таким ссунутым он и вернулся из Царского Села.

Ладно, в конце концов не больше же всех Алексееву нужно было решать государственные вопросы за всю их династию.

Пошёл лёг.

Но тем временем Государь принял внезапное, а в нынешних условиях ошеломительное решение: немедленно, сегодня же ночью, выезжать в Царское!

Ведь вот же и брат разумно просил его не ехать! – зачем же ехать при таком опасном положении? Алексеев надеялся ещё завтра отговорить Государя – а он ехал уже сегодня? Это не вмещалось ни в какую нормальную голову! Как же мог в такую смутную минуту глава государства и Верховный Главнокомандующий покинуть центр командования и центральный узел всех воинских телеграфов, покинуть верный ему 7-миллионный фронт от Балтийского до Чёрного моря, и с этой превосходной устойчивой позиции, откуда направлялись действия армий, – поехать без реальной охраны по незащищённым путям в самую близость бушующей взбунтованной столицы?

А ещё и того опасался Алексеев, что когда Государь соединится с супругой – его уж не

уговоришь ни к малой уступке, только здесь и пробовать.

Свинцовыми сапогами опять потащился начальник штаба.

И опять бесполезно.

Такой у Государя твёрдости, такой ослеплённости и оглушённости не помнил Алексеев за полтора года.

Ладно, закусил удила – пусть и едет.

Только непонятно было, как же они будут связаны с утра, когда поезд будет в движении?

Ещё послал двум фронтам распоряжение охранять примыкающие к маршруту железные дороги от беспорядков.

Тут Северный фронт доложил, что полки в Петроград назначены и через сутки будут там.

Ну, как будто всё предусмотрено и всё налаживалось. Теперь-то, в час ночи, мог, наконец, Алексеев дотянуться до постели?

Дежурный подполковник доложил ему о таком разговоре с Главным штабом из Петрограда: что по всему городу стрельба, доставка телеграмм невозможна, все телеграммы с двух часов дня лежат на телеграфе, и там опасаются, что вот-вот прервётся телефон.

Но тут принесли ещё более странную телеграмму, не от кого-нибудь, а от самих петроградских телефонных чиновников: что они окружены со всех сторон мятежниками, стреляют пулемёты. Не могли переслать даже высочайшей депеши председателю совета министров, ни единой вообще, и есть опасность не успеть уничтожить все прежние, не попали бы в руки мятежников. Просят больше никаких депеш в Петроград не посылать!

А царь уже уехал на вокзал, в свой поезд.

Ну, упёрся, так пусть едет.

Что ж поделывать: распорядился Алексеев никаких телеграмм в Петроград не передавать, лишь поддерживать техническую исправность линий.

Ещё подали запоздавшую телеграмму Хабалова, пять часов в пути вместо часа: что большинство частей изменили своему долгу, что к вечеру мятежники овладели большей частью столицы, верными присяге остаются лишь небольшие осколки разных полков, стянутые у Зимнего.

Эту телеграмму Алексеев ещё послал царю вослед, в поезд. Пусть почитает.

163

Зимний дворец был нежилой – и жилой (часть залов под лазаретом и прислуги же сколько). После холодноватого темноватого Адмиралтейства эти тёплые, ярко освещаемые вестибюли с зеркалами и цветами, мраморные лестницы под коврами, первые же комнаты с мягкой красивой мебелью, дорогими занавесями, – одно преддверие нескончаемых богатых анфилад было воистину царским местом. И жаль было эту красоту и лепость разрушать обороной.

Но и старшие, знавшие о богатстве дворцовых кладовых, и рядовые, могущие догадаться, что такая роскошь не живёт без изобилия припасов, – все предчувствовали, что сейчас по крайней мере наедятся за день.

Конечно, не диваны были здесь для людей, но сами тёплые наблещенные паркетные полы уже манили сесть и лечь. Люди размещались. Поставив во дворах коней и орудия, через внутренние двери втягивались кавалеристы и артиллеристы. Офицеры сами, или посоветовавшись со старыми доброжелательными дворцовыми лакеями, искали и указывали своим, где лечь. Ставили наряды у многочисленных дверей, а с пулемётами поднимались на второй этаж, проходили сказочные пустынные залы – с пустующим тронном, изукрашенные гербами, в колоннаде белого мрамора и с Георгием Победоносцем, малахитовый, широченные коридоры, изувешанные портретами сотен генералов наполеоновской войны, – и занимали позиции у окон по нескончаемо-длинным стенам на площадь и на набережную.

Ночь должна была пройти как-нибудь и так благополучно, без стрельбы, а утром просить смотрителя распечатать окна, глухо закрытые на зиму, чтобы стёкол лишних не бить.

Странно переместилось: постоянный житель этого дворца, чьё величие должна была хранить и возвышать эта роскошь, – давно пренебрег этим местом, покинул втуне, не жил здесь, но когда подошла решающая минута, то последние верные пришли именно сюда.

Всем, кто переступил порог этого дворца, хотя бы дверей задних и боковых, – сообщалась особенность места.

Штаб генерала Хабалова разместился на первом этаже в больших комнатах с коврами, картинами, мягкими диванами и креслами. Даже ещё не расположились, ещё не имели времени обдумать новый план действий и обороны – как с опозданием спустился к ним поднятый ото сна управляющий дворцом генерал-лейтенант Комаров и решительно протестовал против их самовольного военного вторжения по праву силы и категорически заявил, что он не может допустить пребывания их здесь без разрешения министра Двора, графа Фредерикса, находящегося, как известно, в Могилёве.

Если из командующих генералов кто и был поражён, то только не Хабалов (да и не Тяжелников). Весь минувший день Хабалов не командовал, а стыл, в ожидании того, что произойдёт само. А происходить могло только всё худшее и к худшему, он уже понял и теперь ничему не удивлялся – и покорно принял, что в Адмиралтействе они нежеланные гости, и вот – нежеланные гости в Зимнем. Он уже много часов ощущал отряд как тяжесть на себе, и не радовался никаким подкреплениям, потому что тяжесть только увеличивалась, – впрочем, не увеличивалась, а со всеми подкреплениями всё такая же и оставалась, полторы-две тысячи человек, остальные незаметно подтаивали. И всё такой же малый запас патронов. И никакого фуража. И никакой еды. И с этой полудюжиной рот он готов был брести куда-нибудь и дальше.

И Беляев как-то не чувствовал себя министром, особенно против дворцовых царских порядков. Да он – потерян был, он сам еле ушёл из-под стрельбы, и ему тоже некуда возвращаться: в домин уже наверное нагрянули с арестом. (А собственно: что он плохого успел сделать за своё короткое министерское правление? Почему Государственная Дума так несправедливо плохо относится к нему?)

Но энергичный Занкевич, который и придумал весь этот символический переход и понимавший, что уже и выбора никакого не остаётся, – стал настойчиво спорить с управляющим дворца. Нужно получить разрешение? – будем его получать, а пока остаёмся здесь.

А связь была – особым (и ещё не повреждённым) проводом с Царским Селом. Не Могилёв, так можно получить все разрешения из Царского Села.

Стали телефонировать туда.

Оттуда подошёл царскосельский помощник дворцового коменданта генерал Гротен, затем обер-гофмейстер граф Бенкендорф. Нет, связи с Могилёвом у них сейчас нет, и испросить мнение графа Фредерикса они бессильны. Тревожить докладом Ея Величество – до утра невозможно. Сами они тем более не могут решить такого вопроса.

Генерал Занкевич быстро смыслил, что – и не надо, сами тут останемся. А вот – дайте разрешение накормить отряд из дворцовых запасов.

Но к удивлению – и это малое Бенкендорф тоже был не в праве разрешить. Он уверял, что продуктов во дворце вообще мало, и надо кормить лазарет на 350 человек, и врачебный персонал лазарета, и именно в такие дни их запас должен быть длителен. И ещё же дворцовая прислуга. И звал к телефону генерала Комарова – и тот говорил ему то же самое. Но что-то, что-то может быть попробуют всё же выделить?...

Самому-то штабу лакеи по собственному почину уже принесли горячего чаю с хлебом.

У телефона менялись. Генерал Гротен, несмотря на глубокую ночь, разговаривал бодро и начальственно:

– Что там, у вас в Петрограде, происходит?

Градоначальник Балк ответил:

– Уже всё произошло. Теперь генерал Хабалов с войсками не может найти места, где расположиться.

– Меня интересует, – настаивал Гротен, – наступил ли уже порядок в городе?

Стали ему объяснять подробно. Тон его переменялся.

– Тогда я прошу вас утром своевременно мне сообщить, если мятежные силы направятся в Царское Село.

А вот что, пусть перечислят, какие силы у генерала Хабалова сейчас. Какая конница? Великолепно, так конных жандармов отправьте немедленно в Царское Село для несения разведывательной службы.

Начались ещё эти новые переговоры. Командир жандармского дивизиона генерал Казаков доказывал, что их казармы заняты бунтовщиками из первых, ещё утром, и люди и лошади не кормлены уже скоро сутки. Что лошади не подкованы на острые шипы – и если пройдут 25 вёрст, то не смогут нести разведывательной службы.

А генералу Хабалову было всё равно – так ли, этак, он ни на чём не настаивал.

А военный министр, как будто старший из генералов тут, не участвовал во всех этих спорах. Он спросил, где есть ещё телефон, перешёл туда и в укромности позвонил в Государственную Думу Родзянке: предупредить его, что на Петроград посланы с фронта войска.

В прошлый звонок из Адмиралтейства он не поспешил сообщить эту новость мятежникам, чтоб не увеличить их сопротивление. Но это – неверно. Недопустимо рассматривать Государственную Думу как врага правительства. И Беляев говорил сейчас с Родзянкой очень любезно, если не даже предупредительно. Охотно сообщил, что звонит из Зимнего дворца, где находятся сейчас последние войска Хабалова. А новость о полках он никак не мог передать раньше, ибо был обстрел дома военного министра и пришлось оттуда отступать. Эту новость он передавал теперь со стыдливостью за армию, как если б сам не был военным министром: да, вот так: четыре пехотных полка и четыре кавалерийских, под общим командованием генерал-лейтенанта Иванова.

А к Хабалову явился обескураженный командир гвардейского кавалерийского полка, чьи эскадроны разместились в манеже Конной гвардии: к нему пришли какие-то выборные от эскадронов, что они не хотят оставаться без пищи и фуража и сейчас уходят в свои казармы под Новгородом, а офицеры пусть как хотят.

И эти офицеры тоже теперь притянулись кучкой сюда, увеличивая собою штаб Хабалова при всё уменьшающемся отряде.

А Хабалову было всё равно: чему наступить – тому наступить, и ничего не может исправить воля никакого генерала.

От старшего до младших весь отряд закинул, дремал, ждал решения, – да ждал же и еды. Никто о том не объявляет – но сама опускается вниз эта тягучая неопределённость.

И вдруг! – сверкнуло по всему дворцу, по всем его помещениям, коридорам и дворам – известие, что приехал родной брат царя – великий князь Михаил Александрович! Никто о том не объявляет – но стремительно доходит такая весть до всех.

И оживила всех! и придала новых сил! Целодневное их мучительное, бессельное перетаптывание, пережаживание измучили людей пуще голода. Таких же не было глупых солдат, кто бы не понимал, что дело проигрывается час от часу, что городом завладевают восставшие – а положение их, всё ещё зачем-то чему-то верных, становится всё безнадежней и безнадобней.

Но вот, в этот царский дворец, в тяжкую минуту последних верных войск – среди ночи примчался сам брат царя! – чтобы возглавить их на смертный бой! а если нужно – с ними вместе умереть за это священное царское место.

И – все взбодрились! И откуда прилили к ним вновь – и терпение, и смысл, и отвага! Они оказались именно в том главном месте, для чего была вся присяга их и вся служба!

Брат царя – почти всё равно, что сам царь!

Ждали, что он – постройт, выйдет, скажет! Да и накормит.

164

С квартиры Беляева, после неудачного телеграфного разговора со Ставкой, великий князь Михаил Александрович в сопровождении секретаря Джонсона поехал на автомобиле к Варшавскому вокзалу, ещё рассчитывая застать последний ночной гатчинский поезд.

Но от Троицко-Измайловского собора и дальше к вокзалу всё колыхалось в мятежной неразберихе: бродили какие-то толпы, ездили шумные грузовики, стреляли, кого-то тащили на расправу, били, – докатился мятеж и до Измайловских кварталов, ещё перед вечером тихих. Тогда удалось тут проехать на автомобиле спокойно – сейчас нечего и думать, до вокзала не допустят.

После нескольких попыток выжидания, объезда, потом попыток вырваться прямо на Гатчинское шоссе – хотя 50 вёрст по ночной снежной дороге в мороз тоже были риском, приходилось великому князю с досадой признать, что захлопнуло его в Петрограде и где-то придётся переночевать. Проклинал Михаил Александрович этого неумного Родзянку. (Да ведь Наташа сказала – поезжай!) Проклинал весь свой бесполезный приезд, только обидел, очевидно, брата и вступил в размолвку с ним.

Так хотелось сейчас к Наташе! Но не избежать ночевать где-то в Петрограде. К Джонсону? Как раз тот район бурлит. В своё управление на Галерную? Тоже там неизвестно что делается в тёмных улочках. Да и по любой улице Петрограда сейчас опасно ехать, даже и ночью, даже и с большой скоростью, – могут остановить. Не обидно погибнуть с достоинством на фронте – но обидно попасть в грязные руки мятежников. Да не всякого и хорошо знакомого потревожишь во втором часу ночи с ночлегом! А вот что! – более спокоен остаётся район Дворцовой площади. Мелькнула мысль поехать просто в Зимний дворец, хотя никогда не было обычая останавливаться там.

Но каково было его удивление: застать не дремлющий тёмный дворец, с одною прислугой, – но светящийся и наполненный войсками! Ну и сюрпризная ж выдавалась ночь.

Лёгким невесомым шагом Михаил Александрович поднялся на второй этаж, в один из кабинетов, – и тут же нагнал его управляющий дворцом Комаров с жалобой на захватное самоуправство войск, которые выставить следует сейчас же, иначе утром начнётся бой и пострадают бессмертные ценности Зимнего. Комаров отчаялся связаться с Могилёвым, из Царского Села не взялись ему отчётливо приказать, собственной власти ему тем более не хватало – и он безмерно был рад приезду великого князя (на которого во всяком случае и перекладывалось теперь всякое решение). А лучше бы – выставить.

Как перед всяким ответственным решением, отяготился Михаил Александрович. Но предполагаемое выглядело весьма справедливо. Взять на себя разрушение Зимнего, этой жемчужины Романовской династии, Михаил Александрович не мог, тем более теперь ожидая упрёков от брата, разгневанного его сегодняшним вмешательством в государственные дела. И что, в самом деле, за нелепая мысль была – ввести войска в Зимний? Будто на одном здании сошлась им вся столица, мало было места, где биться без него? Эпизод с восстанием окончится через несколько дней – а вечный Зимний будет разрушен? Нет!

Да и какие потом будут разговоры, что в народ стреляли из семейного дома Романовых! Зимний дворец – и против народа? Как ясно он увидел решение на лице умницы Наташи. Наташа всегда внушала ему, что красиво и благородно сочувствовать общественному движению. Она и принимала многих из них. Сейчас – категорически бы заявила: и разговору быть не может!

Увидел наташино решение – и как сразу стало легче. Боже, как она нужна ему всякую минуту! Как он любит её, как полюбил её с первого момента, едва она появилась, жена его полкового офицера, и сразу их потянуло друг ко другу, и она стала любовницей задолго до того, что женой. Какой жар. Какой дар. Какая умница!

Велел призвать к себе Беляева и Хабалова.

Пришли – маленький насупленный большеухий Беляев, съёженный и почерневший за эти два часа, что они не виделись. И свинцово тяжёлый, невыразительный Хабалов, медлительная развалина.

По своей большой природной мягкости Михаил Александрович не стал ругать их за промах. Но указал, что они совершили ошибку и надо её исправить немедленно: войска – вывести из дворца.

Хотя два часа назад великий князь был запросто гостем Беляева, пил чай в его кабинете – но генерал Беляев от того не сохранил никакого права обсуждать или оспаривать мнение государева брата. Да не он, а Занкевич придумал этот Зимний дворец, Беляев и не считал это здание пригодней какого-либо другого, он и не имел довода возразить.

А Хабалов, кажется, не имел силы и вообще языком шевельнуть и выразить хоть какое-нибудь мнение.

И они ушли распоряжаться. А великий князь стал готовиться ко сну, лакей уже постелил ему в одном из покоев.

Итак – уходить, но куда же было уходить?

Кто-то предложил перейти в Петропавловскую крепость.

Правда, Петропавловская и весь день была их. Там стояло гарнизоном несколько кексгольмских рот, и никакого боя не вели.

Позвонили туда. (Телефоны действовали безотказно, измайловцы всё удерживали телефонную станцию). К телефону подошёл помощник коменданта крепости барон Сталь. Спросили его: есть ли возможность пройти к ним без боя, и что в крепости? Сталь ответил, что крепость свободна, но на Троицкой площади видны вооружённые мятежные толпы, и у них есть бронев автомобили, а на Троицком мосту, кажется, баррикады.

Не обрадовал.

Набережную до Троицкого моста да и сам Троицкий мост, даже и площадь за ним – в полчаса можно было исследовать собственной разведкой. Но раз говорил офицер из крепости – что ж тут было проверять?

Пробиваться? Было у них при пушках 60 снарядов да полторы тысячи человек. Но если не нашлось духа на атаку минувшим днём, когда ещё не были изморены голодом и бессонницей, – то сейчас и вовсе не теплилось порыва ни у кого.

Стояла первоклассная крепость, вот она, через Неву, подать рукой, – а дотащиться до неё порыва не было.

Все генералы – устали, и все впали в уныние.

Куда ж? Опять в Адмиралтейство...

Будили. Велели строиться. Так и не покормленным.

Поднимали, строили людей, не дождавшихся выхода сияющего государева брата.

И командовали им выходить на мороз, и тем же путём назад опять.

Сияли звёзды, крепчал мороз. Город – смолк, уже никакой и стрельбы. Заснул наконец.

И ворчали солдаты: куда нас опять? что мы дались? что за безголовые у нас командиры?

Тихо переступала конница. Хрустели по снегу колёса пушек.

В холодном неуютном Адмиралтействе садились как попало. Головы сваливались на сон.

Скоро уже и утро.

Ни куса, ни крова холопу, Одна заклёна.

Гиммер в этот вечер ставил своєю задачей всюду успеть, всё видеть и всё знать. Хоть один человек в этой грандиозной неразберихе должен же был знать всё, – так пусть этот человек будет Гиммер!

Попасть в литературную комиссию ему сперва казалось по принадлежности, и он туда охотно пошёл. Но никак не думал, что влипнет с этим больше, чем на два часа. И не такое уж, кажется, расхождение между пятью социалистами (впрочем, Пешехонов – с раздражающим буржуазным уклоном), а то ли игра самолюбий, или отупели все к глубине ночи после такого дня, или грозность боевой обстановки, – но на этот документ в полстранички они потратили сил, времени и споров, будто сочиняли проект новой конституции России. Сам Гиммер это воззвание написал бы в 15 минут – и оно было бы блестящим. Он и так всё время пытался писать собственной рукой, фразу за фразой и поскорей, – но от него требовали отчёта, что он написал, критиковали в прах – и надо было начинать всё с начала. Когда очень уж упирались друг между другом медлительный respectable Пешехонов и упрямый подавительный Нахамкис – Гиммер клал листок, говорил: «я сию минуту», – и убегал.

Ему надо было успеть знать: а) что делается в штабе обороны; б) что делается в думском Комитете; в) что делается в центре царских войск.

Последнего он ни от кого, никак узнать не мог – но и никто в Таврическом этого не знал, тоже. Перед Военной комиссией толпился всё время народ и стояли несколько церберов, не пропускавшие внутрь, и скамейки поставлены, как баррикады, – но всё равно и в главной комнате, куда Гиммер пробирался, было полно бездействующей и посторонней публики. Масловский всё крутил глубокомысленно карту Петрограда и выслушивал всякие внеочередные заявления и неотложные вопросы. Не подтвердился слух с переходом Кронштадта, не подтвердился слух с капитуляцией Петропавловки, но и не подтвердилось, что сто семьдесят какой-то полк движется с боями от Николаевского вокзала сюда: то ли он вообще не прибывал и не высаживался, то ли был распропагандирован уже на Знаменской площади, этого выяснить так и не удалось.

Зато новость из думского Комитета сама ввалилась к ним на заседание литературной комиссии – и Гиммер искренно аплодировал ей: это и был как раз его замысел, о котором он толковал последние дни, – заставить буржуазию взять власть! И вот – она взяла!! Без этого – был бы военный бунт, городской мятеж, никакого авторитета в обществе и легко бы подавлялся. Но теперь цензовая общественность легально закрепляла произошедший переворот, брала всю ответственность за него – на себя! Это и требовалось! Теперь намного ослаблялось положение царской власти и намного укреплялось положение революции!

Правда, возникала другая опасность: опасность создания буржуазной диктатуры. Но именно её-то и могла не допустить демократия, Совет рабочих депутатов, выгодно находясь за спиной думского Комитета и даже в его собственном помещении.

Перед лицом царизма надо было заставить буржуазию взять власть. А за спиной буржуазии – позаботиться, чтоб эта власть не стала реальной.

Наконец, вырвался Гиммер из несчастливой литературной комиссии, оставили Шехтера перепечатывать воззвание на машинке – и с Соколовым и с Нахамкисом ринулись в заседание Совета, который всё ещё продолжался, хотя заходило уже за два часа ночи.

Работа Совета была в полном разгаре! – но уже и с признаками разложения. Уже не сидели на всех стульях, ни на всех скамьях, но некоторые стояли, переговаривались и проявляли нетерпение. В комнату насочилось посторонних, и они тоже не держались у стен, но надвинулись на собрание и смешивались с депутатами. Все уже плохо друг друга понимали и плохо держались на ногах.

Последний час, оказывается, вёлся спор: входить или не входить членам Совета во Временный Комитет Государственной Думы? Была точка зрения Керенского и точка зрения Чхеидзе (хотя Керенский больше в Совете не появлялся, а Чхеидзе присутствовал лишь

временами). По Керенскому было: входить без сомнения (там он и кипел уже). Чхеидзе считал, что нельзя украшать своим присутствием и освящать авторитетом социал-демократии орган Прогрессивного блока; сам он вошёл в этот Комитет только до вечера, до апелляции к Совету.

Наконец, после утомительных прений, склонились к тому, что надо входить. Входить – и следить, чтоб ни одно важное действие не предпринималось без Совета Рабочих Депутатов, чтоб за спиной восставшего народа они не протаскивали остатков царизма.

Теперь Совет мог расходиться или считаться разошедшимся, – но доставалось бурлить Исполнительному Комитету. Во-первых, заявил Гиммер (наперебой с Соколовым), что сейчас принесут воззвание, и надо его обсуждать. Во-вторых, поднимался вопрос, где ж его печатать. В-третьих, ещё более общий вопрос, что не может Совет Депутатов существовать и действовать, не имея собственной газеты. Питер уже три дня без печатного слова и нуждается получить первые сведения из рук демократии.

Но тогда возникал ещё более широкий вопрос: а как с другими газетами? Возникли прения уже по этому вопросу, некоторые садились снова. Соколов отстаивал принцип свободы печати, и чем быстрее восстановятся нормальные условия жизни, тем крепче будет стоять революция. Но Нахамкис грузно выступил, что неразборчиво и опасно было бы дать свободу всей прессе, это может привести к печатной черносотенной и контрреволюционной агитации.

И Исполнительный Комитет принял его предложение: разрешать выпуск газет лишь в зависимости от их индивидуальности.

Гиммер был на стороне Соколова, но всё равно его восхитило это голосование! Восхитительно здесь было то, что ни у кого из голосовавших ни на одну минуту не возникло сомнение: а Совет ли Рабочих Депутатов должен решать свободу газет? Никому в голову не пришло, никто и полслова не прохрипнул, что этот вопрос надо бы уступить власти Думского Комитета!

Это был – акт защиты революции, и нельзя было его предоставлять правительству из думского крыла! Даже не было нужды доводить до его сведения.

Да кому ж подчинятся типографские рабочие, если не Совету? Надо назначить комиссара по типографиям – и брать их в свои руки. Сразу выдвинулся и был признан комиссар по типографиям – пузатый Бонч-Бруевич, перепоясавшийся ремнём: и чтоб военный вид себе придать и чтоб живот подобрать. Он объявил, что типография газеты «Копейка» уже и без того захвачена, сейчас он отправится туда – и будет печатать воззвание. (Воззвание прослушали один раз через зевоту – и приняли без прений и без голосования).

Сунулся Пешехонов с обывательским возражением, что недопустимо захватывать частные типографии, – подняли его на смех, слушать не стали.

Гиммер стал собирать своих сотрудников по «Летописи» – как захватить редакцию подготовляемой газеты Совета, создать там своё большинство.

Шёл уже четвёртый час ночи или утра – но всё не кончалось заседание Исполнительного Комитета или ещё полного Совета, а расплзлось в многоголосую беспорядочную беседу кого попало с кем попало, и, кажется, никаким нормальным образом оно уже не могло кончиться, как только если снаряд разорвётся в куполе Таврического дворца. Так разболтались, как будто вся судьба революции уже была обеспечена, и только оставалось решать будущее направление республики.

Гиммер снова сбегал в Военную комиссию за новостями, опять пробрался через часовых и через баррикады скамеек – но застал всё тех же Масловского и лейтенанта Филипповского, ещё появился известный инженер Ободовский, нервный от бестолковщины, – всю ту же картину полного незнания обстановки, бесплановости, безаппаратности, незащитности, беспомощности, ни одной воинской части – и только слухи: из Ораниенбаума и из Царского Села движутся полки на Петроград – неизвестно какие, неизвестно с какой целью, но скорей же всего – для подавления. А о Петропавловке снова шёл слух, что оттуда звонили и нащупывали, как бы сдать Государственной Думе.

Вот и помогало звание Государственной Думы, помогал Родзянко! Отлично!

Впрочем, переставал уже бояться Гиммер и Петропавловки, и этих полков. Хотя эту ночь Таврический, кажется, держался ни на чём, в сквере – несколько костров, несколько пыхтящих военных автомобилей, пара никем не обслуживаемых пушек, ничто бы не устояло против единственной организованной роты, – но ночь проходила – а Хабалов такой роты не присылал.

В Военную комиссию кто-то принёс кастрюлю с котлетами, без вилок, и белого хлеба. Гиммер тоже пристроился.

166

Близ кабинета Родзянки была полукруглая комната с мягкой мебелью, которую называли «кабинет Волконского» по прежнему товарищу председателю, последнее ж время она кабинетом не была, служила для частных бесед, малых совещаний.

Для бесед была очень удобна, а вот для ночёвки никак: не было в ней ни одного большого дивана. На маленьком поместился, скорчась, Коновалов, на единственном тут столе, сняв ботинки, улёгся Милюков на своей меховой шубе (из гардеробной все думцы разобрали своё верхнее платье, при таком нахлыне народа опасно было оставлять) – и уже спали! Что спал Коновалов – нечего и удивляться: здоровый, телесный нестарый мужчина, кроме того всегда с налётом сонности, даже когда усердно работал. Но поразительно было, что так быстро и крепко заснул Милюков: казалось бы, вождю Прогрессивного блока в такую ночь не уснуть, должны были разрывать его мысли, планы или сожаления, или он должен был раздавать поручения своим сторонникам, – а вот, показывая, насколько он ещё не истрочен нервами, спал в неудобном положении, даже не ворочаясь, и равномерно уверенно прихрапывая.

Горел в комнате верхний свет.

Сколько лет работали вместе ведущие думцы, делили заседания, беседы, завтраки и обеды, но в простом бытовом виде никогда друг друга не видели: с распущенным галстуком или вот ботинки сняв, в одних носках, или узнать, кто храпит, кто нет.

А Шульгин с Шингарёвым, обсудив, что слишком далеко им идти на пол-ночи в глубь Петербургской стороны, на Монетную, да ещё под обстрелом, однако прозевали захватить где-нибудь диванчик или кривоспинную козетку, как Керенский в одной из комнат. Шингарёв где-то лёг на полу, подстелив ненужные бумаги, нравы опростились за один день. А Шульгин нигде не пристроился и пришёл доночёвывать сидя, в мягком кресле за овальным столиком.

А в другом кресле тут же сидел самый приятный сосед – Василий Алексеевич Маклаков. Ему не так было далеко домой, но он тоже почему-то остался в Таврическом.

Да что-то было в этом моменте – парадоксальность, неуяснимость, тревожное ожидание, – отчего даже и не хотелось в кровать домой, но – быть здесь, наблюдать, думать, лучше почувствовать. Ещё так колыхалось в них возбуждение этого дня, что они и без большого усилия сидели, хотя два часа пополуночи.

Да уже то было хорошо, что как будто сюда, в эту комнату, к ним не могли ворваться. Всего несколько часов наплыва этих масс, или рож, или черни, или народа испытала Дума, – и вот уже в собственных думских залах они стали с радостью видеть знакомое думское лицо как соотечественника на чужбине.

Кто бы не понял, что миновал самый необыкновенный день их жизни! Ещё он не обмысливался и не укладывался. Впрочем Шульгин, не без злорадного удовольствия и к самому себе, предупредил:

– Попомните, Василий Алексеевич, это – первая наша неудобная ночь, но далеко не последняя.

Маклаков с подкупающей своей улыбкой:

– Какая задача может быть благороднее, чем наблюдать нравы?

И тут – не только шутка была, Шульгин тоже это чувствовал: да! чёрт с ним с сидячим положением, а хотелось именно – наблюдать. И думать высоко. Как бы смотреть на всё происходящее с высокой-высокой-высокой вершины. Да ведь это и был тот радостный толчок, прыжок, которого почему-то вопреки всем соображениям безопасности всегда жаждет наше сердце.

И он напомнил:

– Да это и был ведь ваш тезис: если у нас власть не умеет быть мыслью – пусть мысль станет властью!

Да у Маклакова было много тезисов. Был и такой, напечатанный в «Русских ведомостях»: когда же наступит то вожделенное время, когда мы с *Ним* рассчитаемся! Последние месяцы Маклаков не очень скрывал, что заранее знал и о замысле убить Распутина и даже сам дал Юсупову свинцовый кистень из своей адвокатской коллекции. Как-то это не считалось выходом за законность.

Маклаков глубоко внимательным взглядом встретил фразу, как будто с удивлением: его ль она?

Ответил тихо-явственно – они одни разговаривали в комнате – и тем отчётливей было всякий раз заметно его смягчённое «р»:

– Да, но мне противен меч. Я не хочу меча. Мы ведь всегда хотели избежать революции. Мы для того и добивались свалить правительство, чтоб избежать революции. И вот...

А Шульгина подымала какая-то романтическая лёгкость:

– Во-первых, это ещё не революция, ещё посмотрим. А произошла – так пусть! Непреднамеренный путь, неожиданный поворот – но в этом история! Мы же любим читать о великих событиях прошлых веков – почему не любим переживать сами? А рассуждайте от обратного. После отступления Пятнадцатого года мы все говорили: **этого** простить правительству нельзя! Отчего мы все и пошли в Блок. Правительство, которое сумело отступить до Ковно и до Барановичей, и дало возникнуть панике даже в Риге и в Киеве, – какое имеет право оставаться у власти? Вот его и устранили, одним ударом. И мы даже обязаны радоваться. Даже если оно восстанет без *облечённых доверием народа* – то уже не в прежнем позоре, нет! У нас никогда не хватало сил разорвать этот обруч, который нас душил, – и вдруг в один день они все разбежались?!

– Как ска-зать... – потягивал Маклаков. Никаким спором его никогда нельзя было увлечь на одну сторону: он всегда сохранял холодок равновесия и внимание к противоположным доводам. – Ещё надо донять, в каком направлении мы идём, и продолжаем ли мы дело России. Ведь лозунг Блока был: «всё для войны»? Ведь это же не отменено? А сегодня всё, что произошло, – это для войны? Или для немцев? Вот начнут сейчас бить свои фабрики и заводы – кончилась наша оборона и война.

Бурные события этого дня как бы оставили Маклакова в стороне: он не выступал на частном совещании, он не вошёл и в думский Комитет. Происходящая постепенно передача власти всё ещё не затянула его в свою воронку – хотя он был несомненный первый кандидат стать министром юстиции. Но пока отстранение и свободно он мог размышлять:

– Русский народ – великолепный материал. В умелых руках. Но предоставленный сам себе он может проявиться дикарём. Как научиться нам исправлять недостатки, не нарушая самого государственного здания?

– Да помилуйте! – воскликнул Шульгин. – Да кто же трогает всё государственное здание? Да оно незыблемо во веки веков! Это – всего лишь петроградский эпизод, он за два дня войдёт в колею. Идут же войска какие-то с фронта.

– А Дума – во главе мятежа, – указал Маклаков.

– Ну-у, не во главе! Мы – во главе народного доверия. Хотя, – засмеялся и сам себя исправил, – в буфете пока разокрали все серебряные ложки. Да, русский народ должен состоять в хороших руках. Но монархия и есть такие руки.

– Монархия – лучше управляет страной, да. Но настроению общества больше

соответствует парламентарный строй. Самодержавие приспособлено для бурь. А в мирные эпохи оно вырождается. Очевидно, неизбежно.

– Да-а, времени терять нельзя, – согласился по-своему Шульгин. – Надо укреплять центральную волю, иначе может и разлететься. Кто-то должен молниеносно сообразить и действовать. Заставить себе повиноваться. Но где этот кто-то? – Вздохнул.

Не знали они такого. Милюков? – даже смешно сказать, поглядев на него на спящего, без очков.

Маклаков смотрел в ковёр под ногами, выискивая в узорах:

– В смутные эпохи выдвигаются люди по тщеславию, по зависти, по злобе. По неумению быть справедливыми. Настоящие великие люди, то есть кто видят Россию дальше других, – они мало участвуют в таких событиях. Да всякая партийная борьба отучает быть справедливым.

Да что ж это, к трём часам ночи – и негде было спать, да и не засыпалось. От бессонницы не на что себя употребить.

И ещё Маклаков, полувзвучно:

– Все мы чувствовали, что идём к какому-то рубикону. И вот дошли. А если уж раскачается Россия – никакая сила её не остановит...

Насколько же кресла хуже стульев, никогда этого не понимали: стулья можно сдвинуть три-четыре, вот и постель. А из лучших кресел никак не составишь постели, подлокотники мешают.

Но ждём же мы иногда железнодорожных пересадок и спим сидя? Надо научиться спать и в кресле. Вряд ли завтрашний день будет покойней сегодняшнего.

Маклаков взвешивал довольно мрачно:

– Самое опасное, что мы с первых же шагов – не ведём событий. И куда же они зайдут? А если солдаты не вернуться в казармы – что мы с ними можем поделать?

И ладя голову к спинке кресла:

– Мы привлекли Ахеронт к борьбе – мы сами изменимся в этом.

167

Но – не дали поспать старику-генералу! Часа в два ночи в вагоне адъютант разбудил Николая Иудовича: что Государь внезапно уезжает из Могилёва, сейчас уже в своём поезде и вызывает его к себе.

Что ещё приключилось? Не худо ли дело? Трясущимися руками одевался, перепоясывался.

Как всегда начальство: вызывает потому, что самому удобнее. Как и Иванов же поднимал подчинённых в пять утра. Государь был в поезде, а поезд не шёл, вот и вызвал.

Императорский поезд стоял изнутри тёмн, без единого огня, с наглухо зашторенными своими широкими окнами. На перроне никого не было близ. Только стояли конвойцы-часовые, при кинжалах и в чёрных мохнатых папах.

Нет, было у Государя и прямое дело к посылаемому генерал-адъютанту: только что пришла новая телеграмма от Хабалова: большинство петроградских частей отказались сражаться против мятежников и даже некоторые братались с ними, обращая своё оружие против войск, верных Его Величеству. И вот уже едва ли не вся столица в мятежных руках, стянулось защищать последний Зимний.

(Ох-хо-го, ох-хо-го, куда закатилось!... Куда ж и зачем теперь Иванову ехать?... Каким же Округом там командовать?)

Всякий раз, когда через силу встаёшь, натура противится тому, что хотят тебе навязать. Но постепенно бодрь перебарывает ночную лень, и начинаешь соображать, что нужно делать.

Надо было: каким-то обиняком получить согласие Государя на не слишком уж решительные действия. И смекнул Иудович представить дело так: воинские части будут

прибывать из разных мест. В эшелонах они уязвимы и к бою не готовы. Для того чтобы их правильно развернуть и друг с другом согласовать – потребуется время, поддержать их на дальнем кольце, не вводя сразу в столицу. Такой образ действий имеет преимущество, что можно избежать лишнего кровопролития, не начинать усабицы прежде времени.

Государь и всегда был за миролюбие, на чём они с Ивановым и сходились. А тут – повеселел с вечера, оттого что был уже в вагоне и ехал в Царское. И не оспаривая, отчасти и рассеянно ответил: «Да, конечно».

А Иудовичу – большего и не нужно было! Это «да, конечно» он мог развернуть теперь на вёрсты и на дни миролюбивых действий. Это «да, конечно» он имел право теперь принять себе за основное указание. К тому ж, кроме Петрограда, была и другая цель его экспедиции: защитить от угрозы мятежных войск Царское Село, императрицу и августейших детей.

Государев поезд ещё не скоро отходил, Государь разговаривал охотно, и генерал долго просидел у него. Говорили, как это всё постепенно уладится. (Нелегко было вообразить Иудовичу – как, если вся столица у мятежников, но они не говорили – именно **как**). Николай Иудович выставлял разные трудности с возможной ненадёжностью войск, забастовками, с продовольствием в столице. Очевидно, ему понадобится, чтобы министры незамедлительно выполняли его просьбы.

Государь оживился и даже схватился за это: они оба с генералом Алексеевым именно и хотели иметь диктатора, единую твёрдую власть по тылу. Так вот что:

– Передайте генералу Алексееву утром, чтоб он телеграфировал председателю совета министров, чтобы ваши все требования исполнялись советом министров немедленно и беспрекословно!

Перемахнул Государь, Иудович так не продумал и не хотел. Даже дух захватило у старика: он становился не только главнокомандующим Петроградским округом – но верховным диктатором всей России?! Нет, Николай Иудович не добивался такой чести в смутных обстоятельствах. Напугался ещё больше.

– Да как же мне генерал Алексеев поверит?

– Поверит!

– Ваше Императорское Величество, вы знаете: моя честная чуждая искательства офицерская служба 47 с половиной лет...

Но – уже свершилось! Назначено бесповоротно.

На прощание предложил Государь, что завтра утром они снова увидятся с генералом в Царском Селе? (Где генерал будет уже сегодня?)

Иудович не возразил, что может ещё и не так скоро...

168

Но и в четыре часа утра, это удивительно, Исполнительный Комитет не стал хозяином в комнатах Совета: уже давно не было общего заседания, а всё стояли, гудели, не расходились – и кучка солдат, и какие-то рабочие, не рабочие, но представители районов, или просто кто ночевать тут собрался, – невозможно было Исполнительному Комитету позаседать и поговорить откровенно. И отяжелённые бессонницей, усталостью, уже отгрызшим неутолённым аппетитом, с головами тёмными, побрели, да не все, а остатки И-Ка – где б ещё им устроиться позаседать?

И брели неловкой вереницей. А Чхеидзе вовсе шаркал, не по силам ему достался этот день, был он не из орлов кавказских, а уже и за пятьдесят. И подкрепил же его этот день как восторжествовавшего патриарха, вот собрались во множестве его пасомые, но что именно они делали, решали, постановляли – он, счастливый и измученный, успевал только кивать головой или качать, согласен или не знаю. Вообще – он был согласен со всем, что делали в Совете, и не согласен ни с чем, что делали в думском Комитете. И праздником для него было председательствовать на Совете, и вот его под руку вели всё для того же.

В Купольном зале стучала машинка, заряжала пулемётные ленты. Патроны лежали

грудами.

Комнаты думского крыла были заперты одна за другой, и ключи вставлены изнутри.

Екатерининский зал выглядел весь как огромная спальня. На скамьях с шёлковой обивкой и на полу лежали сотни солдат, положив под головы винтовки, подсумки, папахи, руки. Натаяло под их сапогами. Или это была – как большая поляна, где воины, застигнутые ночью на переходе, свалились, даже не выставили часовых.

Но кликни сейчас тревогу – эти воины ни на что построиться не могли.

В двух противоположных концах удлинённого зала стояли полукруглые столы с креслами вокруг, для бесед. Один такой стол члены ИК сейчас попробовали освободить себе под заседание – ничего не вышло: спящих не растолкать, не разогнать.

Тогда, измученные, потянулись по лестничке вверх, устроиться на хорах зала заседаний. Но, оказалось: там, в прилегающих комнатах, содержат арестованных полицейских, жандармов, – и караул не пропустил даже членов Исполнительного Комитета.

Так пошли просто в большой зал заседаний?

Пошли. Тут препятствий не было.

В этом Белом зале, столько слышавшем сотрясательных речей, откуда и раскатывалось волнение общественной России, где столько гремливало аплодисментов, и проганивалось корреспондентских карандашей, – теперь почти не было света, разумно выключенного приставами, лишь одиночные слабые лампочки над дверьми. Зал перекатил своё бурление дальше на столицу, а сам отдыхал. И отдыхали одинокие фигуры, темнеющие в разных местах, в креслах амфитеатра. А кто-то лёг на полу в покатых проходах. А кто-то, оказывается, лежал и на дне лож. И тоже не сгонишь.

Но одна ложа, именно корреспондентская, осталась свободна. Исполнительный Комитет вошёл в неё, переставили удобнее стулья, и начали заседать.

Кроме живчика Гиммера, дородного Нахамкиса да двужилыного Шляпникова, не оставалось, кажется, члена, который мог бы выдержать ещё это новое заседание. Чхеидзе доспотыкался, сел – и ссунулся носом.

И всё-таки заседание возобновилось.

Но теперь над ними издевательски возвышался на стене за кафедрой Председателя, в дорогой массивной раме с венком – репинский портрет царя, роста в два человеческих! Вот именно сейчас в эту сонную ночную минуту, когда весь революционный народ исполён от усталости – над его последним недремлющим Исполнительным Комитетом так же недреманно стоял раздражающе царь и как бы наблюдал, – правда в фигуре почтительно идиотской, с расставленными носками, с фуражкой в опущенной руке, косою ленте по мундиру через плечо, как будто он не проверять пришёл, а доложить.

Но всё равно раздражал ужасно. Тот самый царский портрет, про который Чхеидзе когда-то восклицал думцам: «вот он, смотрит на вас своими безумными глазами!» Но – и не безумными были глаза царя, и не угрожающими, и даже не величественными, а – воззрительными. Но всё равно надо его убрать поскорей, это непереносимо!

Тем временем Гиммер успевал соображать, что их воззвание приняли, понесли печатать, так и не усмотрев, не потребовав, чтоб яснее сказать о взятии власти. И – хорошо. Это сейчас лучше всего оставить недомолвкой.

А Шляпников настаивал не откладывать и вот сейчас же вводить в Исполнительный Комитет поимённо представителей от партий. От большевиков вот он уже сейчас диктует: Молотов, Шутко...

Другие завозражали: дайте же подумать! Ещё же будут назначать меньшевики, эсеры, Бунд...

Нет, не довели обсуждения, нет сил, бросили на завтра.

А вот что срочно, надо было вот что: назначить районных комиссаров, чтоб они с утра... Стали называть кандидатуры комиссаров. На Выборгскую сторону сам вызвался Шляпников, на Петербургскую придумали – назначить, он там живёт, Пешехонова, хотя он задевался куда-то. Но на все районы тоже не хватило памяти, фантазии, сил, языков.

Запнулись. А что ж, принимать царское деление полицейских участков? Ну и не менять же впопыхах.

А Шляпников гнул: немедленное вооружение рабочих Петрограда.

Заспорили: рабочая милиция при заводах? порайонные сборы вооружённых рабочих?

Всё же Шляпников добился: вооружить – десятую часть рабочих. И поручили – ему.

Ещё решили: Соколова и ещё кого-нибудь командировать в Военную комиссию для наблюдения за её действиями, поскольку она подчинялась теперь родзянковскому комитету.

Пока обсуждали, спорили, – а со всех концов зала к их ложе стали собираться фигуры – растяпистые, сонные солдатские образины: о чём тут гуторят?

При них и не поговоришь. Ну, всё равно кончать.

Так в этом знаменитом зале свет люстр перешёл в тёмную погружённость, прения – в журналистскую ложу, хоры публики – в арестантские камеры, самоуверенные дневные думцы – в ночных солдатских призраков.

Кто уходил. А Гиммер кинул свою тяжёлую ватную шубу на пол ложи Государственного Совета – и лёг там.

Председатель же того Государственного Совета сидел, арестованный, через коридор – в министерском павильоне.

Темно и тихо стало в думском зале с пяти часов утра.

Но вот-вот должен был забелеть стеклянный его потолок.

Обвалившийся ровно десять лет назад.

169

Тупоносая шестиэтажная с закруглённой крышей «Астория», часть окон светится, как она видна мимо памятника Николаю I вдоль Вознесенского проспекта, близко упёртого в башню Адмиралтейства.

Ночь, редкие фонари.

В полутьме на площади почти никого. Только кучки совещаются.

Ближе.

Кучки солдат толкуют между собою, с оглядкой, с пооглядкой на «Асторию».

Видно, что сброд, не из одной части. У кого винтовки, у кого палки.

И матросов с пяток.

Закинулись на гостиницу. Где окна светятся в рядах, где темны. Нижние витринные – все темны.

Ещё оглядка.

= Пустая полутёмная площадь. Только настороженные кучки солдат против обоих фасадов «Астории».

А вот, ты нам и нужна!

И – сигнал! махнули!

резкий свист двупалый!

и – кинулись с обеих сторон угла!

кто откуда, все с винтовками, с палками, с ломками!

А широкие, более двух ростов человеческих, сверху полукруглые окна-не окна, двери-не двери, – а стёкла цельные, а за ими видно плохо, без света: что там?

А ну, как ты колешься? – тычком приклада!

Брень!

И разбилось и не разбилось, тёмная рваная дыра – а всё стекло сразу не подалось. Не как стекло бьётся, скорей как фанера.

Так по другому месту!

Брень! Брянь!

Так по третьему! – в несколько рук.
Так и рвёт дырами, ни прохода, ни проёма, гляди обрежешься.
Сгрудились у такого окна, бьют чем попадя.
А коли винтовку безо штыка обернуть, за дуло перехватить – то далеко вверх достаёт приклад, и там садит. Такая ж дыра!
А кто-то и пульнул вверх!

Выстрел.

Да дырка мала, Выстрел для забавы больше.
А там – тьма.
Кто пролез – тащат изо тьмы чего-то, тащат сюда наружу – тяжёлое.
Здоровая кадка с деревком диковинным!
Сломали ему ствол о зазубры стекла, – да и кинули кадку на мостовую, боле насмех.
Делов! Неча тут и шарить.
Кто поумней – налево, налево побежали, мимо ещё одного окна разбитого, мимо ещё разбитого, перепрыгивая ещё через кадки с цветами тоже, но помене, выброшенные, не добычливо, а помни нас, побывали! – дале, дале!
Спешит солдатня навывередки, тут може на всех хватит, а може не на всех, переднему сподручней захватывать!
Дверь!! вот она, не спутаешь, тут главные ходють!
Заперта.
Сгрудились, самим же доступа нет.
Бей её! прикладами! палками! матросики!

Дзень! тресь!

Шибки малы, не пролезешь.
А прикладами сюда, рассаживай! Пошла, пошла!
Тресь! крах!
Уж видит око ихнее благоденствие, там свет, да рука неймёт – ещё одна дверь, запертая!
= Но внутрих бежит генерал, руками машет!
У генерала по чёрному околышу фуражки – золотыми буквами: «Астория»!
Сейчас мол, сейчас открою, только не бейте, ради Бога!
– *А чего запираешься?*
– *А чего тут позапирались, падаль такая?!*
Дверь – на одну половинку открыл. В проходе чуть не подавились, друг друга отталкивая, кто раньше:
– *А кто тут живёт такой?*
– *Кто тут живёт? Ахвицера?*
Светло тут!
Генерал – руки распялил перед лестницей, задыхается:
– *Господа офицеры проживают. И вообще господа всякие. Одумайтесь, господа солдаты! – введь спят оне. Приходите утром.*

– *Ха-га-га-а!... Ха-га-га-а!... Утром?!*
– *А мы из постелек повытаскиваем! Поищунаем нежно тельце!*

– *Там и барышни, надоть, с ими?*

Да кинулись – а навстречу такая ж лава! другие солдаты!
и тоже-ть с матросами! и тоже-ть с оружием! и лихо на нас!
Ну, сейчас сполосуемся! Вся лава и стала.

И та, встречная, стала.

Один наш винтовку замахнул – и там замахнул, сходный.
Догадались!!

– *Эт зеркало во всю стену, не робь!*

Зароготали.

– Ну, живут!

= А матросики, самые быстрые, прежде всех догадались, и уже по лестнице вверх, взмётом!

вверх! вверх туда, где уметнулся кабыть в офицерской форме.

– *Бе-е-ей! Бе-ей, погоны золотые!!*

И солдаты наверх гурьбой. Туда! Шесть этажей, есть где разгульнуться!

= А самые-то сметливые – тут, внизу, приступили к этому слуге:

– *А вино – где у вас? Вино, вино показывай!*

ОТВЯЖИСЬ, ХУДАЯ ЖИСЬ! ПРИВЯЖИСЬ, ХОРО-О-ШАЯ!

170

– Ваше Императорское Высочество! Ваше Императорское Высочество, проснитесь!

Голос был такой ласковый, такой прислужно-домашний, – он почти не будил, а сам входил как часть сна. Но тёплой хрипловатостью он повторялся, повторялся – и наконец заставил проснуться.

Это старый седой зимнедворецкий камер-лакей, с пышными струистыми бакенбардами, давно уже не избалованный, чтобы кто-то из царской семьи тут ночевал, вместо радости покоить сон высокого гостя решил войти в комнату и наклониться над постелью:

– Ваше Императорское Высочество! Во дворце становится опасно. После того как ушли войска, уже несколько раз в разные двери ломались какие-то банды. Держат только замки. Какие ж у нас есть силы отбиться?

Холодное и мерзкое пробуждение вошло в Михаила. Вот этого он не ожидал! – чтоб на дворец посягнули какие-то банды? Какие же банды могли быть в столице?

– Откуда банды?

– Бог их знает, откуда, – сокрушался камер-лакей. – Соберутся по несколько и дикуют. Есть и солдаты. И всякая чернь. Небось, знают, сколько сокровищ у нас тут. Какие погреба.

Вполне уже проснувшись, вытянутый на спине, Михаил лежал среди атласа, в алькове. Между раздвинутыми занавесями смутно была видна крупная голова камер-лакея – там, позади него, какой-то мальй свет на столе, свеча, он не посмел зажечь лампы.

Но почему ж Михаил, едва ото сна, должен был сообразить, что им делать с дверьми и

как защищаться? Такая охрана должна быть кем-то предусмотрена, а что ж генерал Комаров?

– О Боже, Ваше Императорское Высочество! – всё тем же тёплым, глухо-домашним голосом няни квохтал камер-лакей, которого Михаил помнил с детства, он и в гатчинском дворце бывал одно время, и в Аничковом, вот только забыл, как звать. – Не извольте подумать, что я обременяю вас этой заботой. Я взял на себя дерзость прервать ваш сон лишь в тревоге о вашей безопасности. Ведь у нас нет вооружённой охраны, мы все старики. Этой ночью ворвались в Мариинский дворец – кто ж помешает им ворваться к нам? Они может уже и ворвались бы, да думают – здесь засели войска.

Михаил живо повернулся:

– В Мариинский? Когда же?

– Да вот после полуночи. Нам звонили.

– Так а... – Он же сам там совещался только что! – А совет министров?

– Не могу знать, Ваше Императорское Высочество. Вероятно тем и сохранился, что разошёлся.

И всё ж ещё Михаил не понимал до конца! И старик дояснил:

– Нельзя вам теперь пребывать во дворце, Ваше Императорское Высочество. Ворвутся, найдут. Здесь вам – опасней, чем где бы то ни было. Надо вам... Пока не рассвело... Перейти... Переехать... А при свете узнают.

И только вот когда вся горечь влилась в пробуждённую грудь, в очнувшуюся голову: из-под родного крова он должен был ночью, сейчас, тайком, поспешно – бежать?!

Михаилу постелили на третьем этаже, рядом с неприкосновенной спальней отца, где тот жил ещё цесаревичем – но ни дня не провёл с того громового, когда деда – уже без ноги и обливая кровью мрамор лестниц, паркет полов – едва донесли до первого одра, на последние минуты жизни.

С тех пор отец – должен был скрыться в Гатчину от новых покушений. Бежал.

И – брат за 23 года царствия почти не жил в этом дворце, – бежал в Царское, бежал в Петергоф.

И вот Михаилу, пришедшему всего лишь на ночь, – предлагали так же: бежать.

Как легко подниматься в ночи по боевой тревоге – и сейчас же куда-то скакать в темноту, в строгом строе полка. Но что за мука и боль, когда при дрожащей свече тебя поднимают изгнаться из твоего родного!

Лежал Михаил на спине, как придавленный, не в силах подняться, ни даже голову, но всё ясней соображал.

И теперь ему так было видно: да, наивно же он отправился спать в Зимний дворец. Сам себя и подставил под разбой.

Спать во дворцах как бы не миновало время?

Сидел бы сейчас с Наташей в Гатчине – и горя мало. Ах, Родзянко, Родзянко, большеголовый! – заманил в западню! И мало того, что вызвал в этот хаос, – ещё и покинул без своей защиты: ведь его автомобиль пропускают везде, мог довести до вокзала. А теперь вот здесь...?

Опасность от распушенной пьяной банды была унижительна, в ней нельзя биться как с равными и в окружении боевых друзей. Что бы ни делать, как ни поступить, – всё равно позор, оскорбленье, ущерб. Михаил не боялся скачущего немецкого гренадера – но русский пеший озлобленный солдат представился ему страшен, он почувствовал.

А что же делать? Он приподтянулся. Ехать на автомобиле через город сейчас? – вряд ли безопаснее, чем оставаться во дворце, – автомобиль и вовсе бы не имел защиты от такой банды.

Куда же? В свой штаб, на Галерную? Тоже слишком известное место.

К адъютанту, графу Воронцову? Не близко.

Так он ничего и не мог? Выхода не было вообще?

Нежноликий, в ночной сорочке, великий князь с растерянным изумлением смотрел на старого камер-лакея.

А тот уже обо всём подумал, ах, старче. Ни ехать, ни пешком идти по городу нельзя, всё равно опасно. Но может быть Его Императорское Высочество может припомнить какую-нибудь вполне надёжную семью совсем близко от дворца? А лучше бы всего – на Миллионной, потому что туда выход хороший.

Если б он не сказал «на Миллионной» – быть может Михаил и не сообразил бы, долго блуждал бы мыслью. А по Миллионной только стал перебирать по домам – и вспомнил: да его же кавалергард, полковник князь Путятин, шталмейстер двора! Двенадцатый дом.

Старик обрадовался, взялся пойти телефонировать и будить секретаря Джонсона, а великого князя просил одеться, и если можно – то при свече: по внешним комнатам не следует сейчас зажигать большого света, привлекать внимание, пусть дворец как бы спит.

Свеча в чашечном подсвечнике осталась на стене, и в этом отвычном освещении большой дворцовой комнаты Михаил одевался, чуть вздрагивая.

При свече всё выглядело иначе – лепка потолка, гардины, старинная мебель – как в начале прошлого века, как при прадеде. И дышало – веком тем и веком ещё предпрошлым. Михаил и не думал, что так глубоко чувствует эту связь с династическим гнездом, – однако же вот сегодня сразу отказал войскам расположиться здесь – потому что не место это для боя. Этот дворец – сокровище воспоминаний.

Впрочем, если б войска оставались – то не пришлось бы, пожалуй, и бежать?

А, бедные, куда они поплелись ещё? Может быть, надо было их оставить?...

Возвратился камер-лакей, ободренный: телефоном он разбудил княгиню Путятину. Самого князя нет, он на фронте – но княгиня гордится оказать приём Его Императорскому Высочеству и будет бодрствовать в ожидании его прихода.

А секретарь уже встал, сейчас присоединится. Ещё кого-нибудь разбудить?

– Ваше Императорское Высочество, – дрожал голос камер-лакея. – Если вы доверите мне ваш вывод, то не надо более никого и посвящать. Ещё будет знать один сторож Эрмитажа и привратник Эрмитажного театра. Вы выйдете на Миллионную всего в нескольких домах от 12-го номера. Распорядитесь, как пройти по второму этажу, – я могу отпирать вам все пустые залы парадной стороны, но это дольше. А можно пройти через лазарет.

– Хорошо, родной, ведите через лазарет. И дальше как знаете.

Камер-лакей припал с благодарностью к руке великого князя. Он едва не рыдал – и от этого ещё удвоилась горечь в сердце Михаила: ещё раз передалось ему, что он не просто меняет место ночлега, перебегает на несколько часов в укрытие, – но делает что-то важное, бесповоротное, чего и не охватывал ум.

Старик принёс с собой другую свечу, заправленную в фонарь. А эту – погасил при уходе.

Он пошёл впереди и держал фонарь повыше, так чтоб сфера дрожащего света раздавалась шире.

Михаил шёл сбоку него и сзади шага на два.

А ещё сзади – Джонсон.

По адмиралтейской стороне третьего этажа они дошли до угловой лестницы, тут горели слабые лампочки. Спустились на второй. И пошли всей анфиладой, отданной под лазарет, окнами на площадь.

Этот лазарет открыла Александра Фёдоровна с самых первых дней войны, и с тех пор он был тут. Многие сотни раненых уже прошли через него, и сейчас полны были все койки.

Камер-лакей опустил свой фонарь и нёс у колена. Горели ночники кое-где на стенах и у столиков дежурных сестёр. Больные спали, не метался никто – не было свежих тяжёлых, давно не было крупных боёв, долечивались больные долгие. Один-два встававших, там, здесь, увидели проход молодого генерала – может быть, удивились, но не узнали. Сестры, кажется, узнали.

От прохода лазаретными залами – отпустило томительное разлучное сжатие сердца. Вот, все мы здесь вместе, русские, скованные единой войной, единой цепью забинтованных

ран. Мы все – на одной стороне. А те банды – то не мы.

Залы так высоки, что при свете ночников снизу не разглядеть потолков. Много уже лет не бывало тут балов, но Михаил ещё застал молодым, помнил. Стены тогда украшались ветками тропических деревьев и цветами из царских оранжерей. Вдоль лестничных подъёмов и зеркальных стен выставлялись ряды пальм, всё это залито было сверком люстр и канделябров – и блистали многоцветные мундиры, шитые золотым и серебряным, а на женщинах диадемы и ожерелья неисчислимой стоимости. Всё открывалось всегда полонезом. И только тут, кроме Польши в единственном месте, танцевали быструю мазурку.

Всё исчезло давно, – всё круженье, многолюдье, и погасли все света, – а вот и ночники остались за спинами. Из последней лазаретной комнаты старик отпер дверь, переходили закрытым мостиком в Эрмитаж. И он снова поднял фонарь, освещая.

Освещая петербургские виды – галерею, увешанную видами старого Петербурга, в золотых рамах. Старого Петербурга.

Промелькнули окна всячего сада, беззащитные зимние жасмин и сирень, занесенные снегом.

И ещё такой же переход-мостик, ещё порог расставания, перешли в Новый Эрмитаж.

И – опять перевилось и сжалось сердце роковым предчувствием. Почему бы, кажется, не вернуться через неделю при полном свете дня, и звеня шпорами, пройти уверенно?

А чувство было – прощания. И даже в полной тишине позвякивали шпоры чуть-чуть.

Теперь шли залами картин. Ни одну нельзя было на ходу и при фонаре увидеть как следует, а тем менее – вспомнить, Михаил и залы эти путал, а только виделись на стенах огромные натюрморты, то животные, то – лавки с дичью, рыбой, фруктами, овощами, – непомерное монументальное кричащее изобилие, от которого совсем не радостно сжатой душе.

А посреди залов стояли то порфиновые вазы, то порфиновые торшеры.

Двумя свободными ладонями Михаил закрыл лицо, сделал умывающий жест.

С каждой новой комнатой, с каждым рядом картин, этой навешанной набитой мёртвой дичью, мёртвой рыбой, бесчувственными фруктами, – заслонялась та милая домашняя покинутая часть дворца, где жила его незабвенный отец и куда теперь не возвращалась матушка.

И так показалось: а зачем это всё собирали? А зачем не жили проще?

В зале на завороте – монеты, медали, монеты, медали...

И пошли галереей, которую спутать нельзя уже ни с чем, – лоджиями Рафаэля.

И плыл впереди поднятый фонарь – не затекала рука старика – как будто нарочито показывая по стенам библейские сцены.

Михаил обернулся проверить Джонсона – и увидел грозную тень свою, плывущую по лоджиям, – как видение ещё одного предка ещё одному потомку.

Но неуклонно надо было идти дальше. Нести эту тень, в назиданье кому неизвестно.

И ещё раз они свернули – в фойе Эрмитажного театра, через длинный остеклённый переход над Зимнею заснеженной канавкой, французские окна до полу.

В окна через небо отблескивало дальним пожаром.

Верный старик остановился, обернулся:

– Ваше Императорское Высочество! Если сейчас по чёрной лестнице выйти – то будем во дворе, но с него только на набережную, и вам придётся огибать, далеко. А вот этим коридором – через казармы преображенцев, и тогда сразу выйдете на Миллионную, а там ещё дома четыре и перейти только Мошков переулок. Как велите?

Какое ж сомнение? Да он не хотел ли тем спросить, не боится ли великий князь гвардейцев-преображенцев?

– Велите мне вас сопровождать по казармам?

– Нет-нет, – тихо ответил Михаил.

Преображенцы – свои.

И одной рукой вдруг приобнял старика.

А тот зарыдал и ловил кисть поцеловать.
И это рыдание камер-лакея как прорвало последнюю плёнку сознания: что произошло?
Он – разумно перекрывался? Или – бежал? Или – ушёл из-под крова семи поколений Романовых – последним из них?
Правнук жившего здесь императора, внук убитого здесь императора – он бежал как за всех за них, унося с собою и их?
И не заметил, на каком же это пороге произошло. На каком переступе?
Беря военный шаг, пошёл последним коридором.

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК

171

Всё же в Исполнительном Комитете Шляпников продвинулся неплохо: доверена ему была вся Выборгская сторона и сколачивать рабочую милицию. Сколько он мог сообразить своей бессонной, уже помрачённой головой, это была реальная и важная победа: вооружённая Выборгская сторона будет весить больше, чем любое голосование в Совете депутатов, и уж конечно больше, чем вся эта Государственная Дума. Как любит выражаться Ленин – *главное звено*. И вот показалось теперь Шляпникову, что он это главное звено ухватил.

А может – не его? А может – не главное? Если пойдут дела и дальше как сегодня – то сразу хлынут эмигранты. И быстро приедет Ленин – и станет за каждую ошибку бранчиво, обидно выговаривать, по своей въедливой манере. Шляпников заранее сжимался, представляя эту грызуху.

Но так вдруг просторно раздвинулись события и возможности – поди догадайся, какую седлать.

Кончилось бестолковое заседание ИК уже под утро, Шляпников на что силён, а пошатывался. И Залуцкий совсем обмяк. Коснеющими языками ещё переговаривались с ним. Теперь, очевидно, неизбежно быть разным выборам и назначениям – общегородским и в районах, – и надо зорко сторожить и проталкивать везде своих – побольше перед меньшевиками, межрайонщиками, бундовцами. (А эсеров и самих нигде нет, размётаны). Как за всем уследить? Нет людей, нет глаз и ушей. Надо устроить своё постоянное дежурство здесь, в Таврическом, чтоб о каждой новости сразу же узнавать. Но даже на это нет человека, не придумаешь, подходящего кого. Разве что Стасову пристроить? (Она из ссылки приехала осенью в Петербург, для свидания с престарелыми родителями, и зацепилась тут). Хотя б на дневное время: пусть ходит как на службу и здесь высматривает. И назовём – секретариат ЦК? Она ещё какую девчёнку приспособит.

Впрочем, и ПК весь освободился днём из-под ареста – быстро отделались, за сутки. У них тоже будет центр.

Ну, ехать поспать. Теперь уже не пешка мерить, теперь Шляпников мог взять и автомобиль.

Но тут подбежал студент от телефона: сейчас звонили, что на квартиру Горького нападение банды!

Вот те на! Так и кольнуло! И правда, не могло быть всё так хорошо, слишком уж хорошо. Так и должно было случиться: заметная революционная фигура! Алексей Максимыча – никак в обиду дать нельзя, он – как лучший партийный наш, он больше наш, чем меньшевицкий. Он – и деньги даёт, он в Девятьсот Пятом на своей московской квартире в дни восстания содержал тринадцать грузин-дружинников, и бомбы у него делали.

Большевицкий закон: своих – надо выручать!

Застёгивая пальто и нахлобучивая шапку (он их и не снимал все часы заседания в тёплом дворце, куда деть), – вышел наружу.

В сквере перед дворцом горело три костра, около них грелись. И там-сям солдаты.

– Я – комиссар Выборгской стороны! – закричал Шляпников не так громко, уже голоса не было, но с новым для себя тоном, новым правом распоряжаться громко вслух. – Есть автомобиль?

И сразу тон его услышали и поняли (никто б из думских так бы крикнуть не посмел), подбежало несколько солдат-доброхотов, всё им лучше, чем мёрзнуть:

– Есть автомобили! Куда ехать?

Уже вели его к одному.

– А чей автомобиль? – просто так, для интереса спросил Шляпников.

– Военного министра Беляева! Со двора увели.

Вот и шофёра в полушубке расталкивали за рулём.

– Я член Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов! Заводи машину! – Отступил и крикнул: – Эй, ребята! Кто поедет на Петербургскую сторону, задание есть!

И сразу побежала от костра дюжина охотников.

Но второго, грузового, автомобиля Шляпников брать не стал, хватит. Трёх с винтовками впустил на заднее сидение, сам сел спереди, дверцу захлопнул, двое сейчас же легли на подножки, винтовками через крылья вперёд.

Па-й-йехали!

Улицы были малолюдны, но жили. Где-то изредка постреливали. То погуливали с винтовками, гурьбой. То навстречу, то стороной проносились грузовики и гудели, в кузовах торчало по несколько людей со штыками. Пешком пробирались и напуганные обыватели, или кто прячется, может полицейские переодетые убегали на новые места перехорона. А если на мостовую выпирал и даже автомобиль останавливал, – значит наш, или что впереди знает?

– Какие новости, скажите, товарищи?

– Образован Совет Рабочих Депутатов! Создаётся рабочая милиция! – быстро громко отвечал в окошко Шляпников, сонливость прошла.

– А говорят – царские войска идут на город? – Уже слышали, как быстро слух идёт!

– Звонки бубны за горами! – уверенно отвечал Шляпников. И – гнал шофёра.

И гнили дальше: что там с Горьким? Что за негодяи? успеем ли отбить Максимыча?

Ну мог ли Шляпников вчера, перепрыгиваясь у Павловых, представить, что в следующую ночь будет ехать в автомобиле военного министра?!

Около пожарища Окружного суда – ещё сильно калилось, и пар от уличного снега – их остановили расспрашивать и кричали «ура», – а потом они дёрнули без остановки по Французской набережной и взлетели на пустынный Троицкий мост.

Если б не зарева за спиной, а впереди темно, нет, один есть пожарчик сильно налево, это наверно Охранное, да если б не встречный шальной грузовик на мосту со штыками, – ночь была как ночь: снежная в черноте Нева, тёмная Петропавловка, редкие цепочки фонарей там и здесь, редкие уже светлы в домах, – обыкновенная петербургская ночь, как будто не произошло великого. Вот только зарева.

Оглянулся налево за спину Шляпников: вся полоса дворцов была совсем темна, и Зимний – тоже.

А небо – чистое, звёздное, морозное.

Большим крюком объехали Петропавловку, сбросив огни, чтоб не привлечь на себя стрельбы. Нырнули в тёмный Кронверкский.

Вот и дом Горького, в темноте его Шляпников узнаёт.

Внешне – погрома не видно. Все окна тёмные. Парадное заперто.

Но нельзя так оставить. Стал громко стучать.

Швейцар не сразу вышел. Потом открывать не хотел. Но увидя штыки, сразу открыл.

– Что там у вас? Какая банда? Был налёт?

– Ника-кого.

Шляпников не поверил. Метнулись по лестнице.

И перед дверью Горького – ненатоптаный пол, чистота, тишина, никакого разгрома.

Шутники какие-то обманули?

Но и не уезжать теперь так! Всё же нажал кнопку звонка.

Ещё раз позвонил. Там испуг, переполох: «кто?».

– Это – Шляпников. Мне Алексей Максимыча, простите.

Хоть заверить его в безопасности. Хоть научить, если что – так пусть...

Наконец, отворили дверь. За несколькими женщинами – Алексей Максимович в мохнатом халате, сутулясь, недовольный, подморщивая свой раскляпанный утиный нос, жёлтые усы обвисли аж на подбородок, а голос обиженный:

– Ну что-о такое, Алексан Гаврилыч? За-чем? За-чем же вы?

Не пригласил войти, отпустил – и даже не спросил о новостях.

172

Николай не мог жить без Аликс настолько, насколько человек не может жить с выеденной грудью или отсеченной половиной головы. Сам с большими военными пристрастиями, попадая в атмосферу Ставки, он как будто должен был бы расцветать мужскою военною жизнью, – нет! Уже в первый день он испытывал рассеянность, недостаток, тоску, – и пуст и печален был тот редкий день, когда не приходило от неё письмо. (Зато уж на завтра – всегда два). А приходило – Николай распечатывал его всякий раз с усиленным биением сердца, и окунался, вдыхал аромат надушенных листков (а иногда были вложены и цветки), – эти запахи возбуждали такие чудные воспоминания и так тянуло к жене тотчас, сейчас! А затем он впивал, перелагал в себе, так и этак перечувствовал каждое слово письма и прижимался губами к бумаге, которой касались её обожаемые руки (и особенно целовал те обведенные места, которые поцеловала она). Читал не торопясь и даже с уютом, как бы ни длинно письмо (а почти всегда длинные), – и ещё перечитывал потом непременно. Как всегда повторяла она, так убедился и он: разлука делает любовь ещё сильнее. И сам он не писал ей письма только в тот день, когда уж было слишком много бумаг или приёмов, – но и над бумагами и во время приёмов он помнил её постоянно, как тем более в часы досуга или прогулок. Только когда он проходил смотром перед выстроенными полками – он забывал её на короткие минуты. Даже новая иностранная книга, прочтённая им про себя, отдельно, – как бы не являлась ему полностью, пока он её не перечитывал ещё раз вслух, с женой. Даже присутствие наследника с отцом в Ставке лишь немного развеивало и смягчало эту вечную нехватку разумницы-жены в существовании. Но наследник по здоровью часто не мог ехать с отцом – и тогда тоскливое одиночество обступало стеною, и даже одна неделя в Ставке казалась годом, а три недели – вечностью, да три недели он почти никогда и не выживал тут, либо уж сама государыня приезжала в Могилёв.

И ещё насколько мучительней были четыре дня, в этот раз проведенные в Ставке: из-за болезни детей и тревожных сведений из Петрограда. Всё хмурей, напряжённей становилось с каждым часом, за последний день Государь перетратился нервами и упорством воли – отказывать в уступках нарастающему сводному хору. Он – перетратился, и он нуждался скорее соединиться с женой, с которой за 22 года был сращён как два дерева, разветвлённых из одного ствола.

От момента за поздним чаем, когда Воейков и Фредерикс представили ему тревоги из Царского Села и Николай решил ехать, – ему сразу стало легче. Когда вошёл в свой вагон близ двух часов ночи – ещё легче. (Но будет ещё подготавливаться до пяти или шести утра).

Оставалось время. Успокоился. А спать ещё не хотелось. И что Государь почувствовал себя обязанным сделать – это поговорить с Николаем Иудовичем о деталях его экспедиции и намерений. Вагоны стояли недалеко, и он вызвал генерала.

Разговором остался очень доволен, ещё облегчилась душа. Какая была в этом старике

народная основательность, мудрость и какая преданность своему Государю! На этого человека можно было положиться, смелый боевой генерал. (Теперь пожалел, что в Пятнадцатом году не согласился с женой и не назначил его военным министром, считая слишком упрямым, – может быть, и не было бы нынешних беспорядков).

Да всё настроение было совсем не тревожное, когда и сам уже ехал туда.

Тут дослали в поезд вечернюю телеграмму Хабалова, что-то очень паническую: что не может восстановить в столице порядка, уже большинство частей изменили своему долгу, братаются с мятежниками и даже обратили оружие против верных войск. И вот – большая часть столицы уже в руках мятежников.

Да может ли такое быть?? Да это вздор немислимый.

И Николай Иудович тоже так думал, нисколько не обескуражился:

– Выгоню всех и вычищу! Ваше Императорское Величество, вы можете быть во мне уверены, как в самом себе. Сделаю всё возможное и невозможное!

И борода его лопатная, народная, верная, как бы подтверждала.

Из деликатности Государь однако постеснялся спросить у генерала точный час его выезда из Могилёва с георгиевским батальоном, – но, очевидно, что уже не в эти ночные часы (хорошо бы!), а рано поутру.

Но если Иванов начнёт движение своего отряда только утром и из первых целей имеет оборонить Царское Село – то не терялся ли смысл экстренного выезда императорских поездов? Нет, потому что последнее время они ходили другим, более кружным, но и более удобным путём, через Николаевскую дорогу. Пока они совершат этот обход – а Иванов уже и будет в Царском. Да уже было обещано Аликс, что выедет этой ночью. И перед свитой неудобно менять: команда дана, погрузились.

В виде шутки намекнул старику, что может быть ещё успеет в Царское раньше него.

Прощаясь, перекрестил его. И трижды поцеловались.

А самое главное: движение поезда уже есть облегчение. Николай нуждался теперь восполниться покоем, душевным отдохновением. И оторваться от этих непрерывных телеграмм и донесений, которые в Ставку просто лились. Меньше известий – меньше решений. Около суток провести без этих волнений – насколько легче! А там – достичь Царского, убедиться, что свои – целы, не захвачены, – и уже в твёрдом состоянии и слитно с Аликс всё решать. Николай не знал, что именно решит и сделает, но во всяком случае там он за несколько часов осмотрится.

После пяти утра в начавшемся движении поезда мерная укачка вагона давала это чудесное совмещение: иллюзии действия и одновременно покоя.

173

Уж надежды поспать не было сегодня никакой – и клониться к тому не надо. Если б не мотались к Горькому – может, на часок бы и растянулся у Павловых, зряшная эта поездка как раз перебила последний сонный час.

Да хотелось и своим рассказать, и на них глянуть. Да и был же он теперь комиссар Выборгской стороны – значит, надо разорваться, и там успеть, и в Таврический назад успеть ко всем заседаниям. Так что и получалось, что эти раннеутренние часы – как раз ему хороши для поездки на Выборгскую.

Сели. Холодное сидение подмораживает через пальто. Опять двое солдат легли на подножки. И – погнались, ещё малолюдным, пробуждающимся освобождённым городом, – освобождённым, вот так замечательно! Уж кого не видно, так это городовых. И все солдаты сразу стали не вражья сила, а своя!

А на Выборгской – появлялись, наоборот, вооружённые посты рабочих на перекрестках, это уже кто-то из наших ставил. И много просто вооружённых ходило – это уже всё наша армия, только не организованная. Первая задача – иметь реальную военную силу. Скорей создавать на Выборгской стороне свою отдельную вооружённую силу, и ни с

кем не смешиваться, всю в руках большевиков. Пока там другие районы соберутся, каких-нибудь студентиков, а у нас будет сила!

Такой пост перед Эриксоном остановил и его самого: ехать дальше нельзя, самокатчики, стервы, сидят в казармах с пулемётами и сопротивляются, вся дальняя часть Сампсоньевского вымерла, никто не ходит, не ездит.

Соскочил Шляпников с ними поговорить: а что ж думаете делать? Собирают, собирают силы: пулемёты, даже бомбомёты, но хотят и артиллерию притянуть, чтоб из пушек начисто казармы самокатчиков снести. А уговаривать не берёт?

Никак не берёт.

Прямо бить по батальону?

Ещё вчера не знали, спорили: как взять в свои руки оружие? А вот уже оно всё наше!

А московские казармы? Целиком все наши. Офицеров – вчера обезвредили. А межрайонцы тут собрали рабочую дружину: ловить и убивать офицеров поодиночке.

Ну, это их дело, они всюду вперёд.

Так-то так, но не привык Шляпников у себя на Выборгской стороне даже под слезкой стесняться – а теперь, в освобождённом городе, да неужели ж он на Сердобольскую не доберётся?

Он знает здесь не только улицы, но все тропинки на огородах – те наискось сокращения, которые протаптывают и ногами поддерживают даже зимой, потому что людям всегда надо короче. И в этих безликих снежных тропинках нипочём не собьётся.

Оставил автомобиль с солдатами ждать его тут два часа – а сам погнал по тропинкам.

И действительно, люди промётывались по ним с поспешностью. А раза два так близко и низко просвистели пули, что Шляпников хлопнулся оба раза на утоптаный снег и перелёживал, смотрел на его бугорки и узоры, отпечатанные ногами.

Лежал на снежном поле одиноко и думал: вот тебе и освобождённый город, член Исполнительного Комитета, комиссар Выборгской стороны. И что за позор: в центре везде обошлось, а у нас на Выборгской...? Нет, надо это кончать, действительно, хоть и пушками.

Добрался, конечно, до Павловых. Конспиративную квартиру их – узнать нельзя: собралась сразу дюжина товарищей, не скрываясь. Галдят открыто, ещё при входе прислонены красные знамёна, готовят дровки для новых, в комнатах с избытком навалены добытые винтовки, шашки, патроны.

Марья Георгиевна, руки золотые, свои швейные дела кинула, чем-то их кормит.

И Шляпникову – миску горячих щец.

Та-ак. Что у вас тут? Депутатов в Совет выбираете? Рабочую милицию – собираете?...

А у нас в Таврическом... Трудное дело, братья: надо не прозевать, в эти часы из-под меньшевиков всю почву вырвать.

Из-под кадетов – тем более.

Из-под царя – уж и не спрашивай.

174

Двое братьев Некрасовых, маленький Грече и пожилой прапорщик из запаса Рыбаков ночевали на квартире штабс-капитана Степанова. На рассвете их разбудил солдат-швейцар офицерского флигеля, перепуганный:

– Ваши высокоблагородия! Надо вам уходить скорей. Уже несколько господ офицеров в цейхаузе собрания – переоделись в солдатское, ушли. Пришли *вольные*, ищут офицеров, убивать. Я сказал: тут никого нет. Погрозились и меня убить, если наврал. Они – у самого подъезда стоят! Уходите через чёрный!

Военная побудка, привычное дело. Спали одетые, теперь накинули шинели, ещё прежде первого продрога, – сбежали по лестнице. Думали – через плац и во 2-ю роту, где вчера взяли у них шашки и обещали защиту (а револьверы-то свои так и не взяли из собрания!). Но на плацу в брезжущем свете уже ходили рабочие, с винтовками и без

винтовок.

Опоздано! – и вырваться некуда.

Вдруг подошёл из швейцарской унтер-офицер, смутно-знакомое лицо, и назвался, что он причетник полковой церкви: не пожалуют ли господа офицеры к нему, там никого искать не будут? А из чёрного хода туда – несколько раз шагнуть, совсем рядом. Ну что ж, пожалуй.

Уж своего ли полкового двора не знали братья Некрасовы, а этого места никогда не замечали. Тут, совсем рядом, стоял полковой склад, длинный, слепой, – а в нём, оказывается, в торце была комната причетника, через глухую кирпичную стену от склада.

Проскользнули туда, пока не рассвело.

Привычный военный глаз осматривал комнату не как комнату, а всё в счётке военной. Узкая и длинная, поперёк всего склада. В одной длинной стене дверь, в одной узкой – окно на церковь, остальное глухо. Через окно почти вся хорошо простреливается, через дверь – только в средней части.

С ними пришёл денщик Всеволода, да внутри уже был какой-то солдат. Итак, всемером.

И стали сидеть. Как в тюрьме. Ждали – час, полтора – чего? Сморчиво. В окно – разбрезжило. И вполне осветлело. Никто не шёл к ним. Но и они ничего не знали.

Решили послать денщика – вообще на разведку, и во 2-ю роту – чтобы фельдфебель прислал за ними своих и вызволил.

Долго ходил, но много и принёс: во 2-ю роту идти нельзя, там набилось рабочих с красными повязками, фельдфебель пикнуть не может.

Отдали шашки...

А собрание, рассказывал, за ночь совсем разгромили. Картины, портреты посрывали, поразрезали. Люстры перебили. Мебель – переломали, твёрдую, а мягкую – шашками порубили.

А Сергей вчера боялся стрелять из собрания, чтоб его не тронули.

А что ж в своей квартире? Послал узнать. А там стерёг денщик Сергея, оказывается еле отоврался, чтоб не избили его бунтовщики. По клавишам рояля играли прикладами. Растащили сапоги, одежду, бельё. Разделили колодку орденов и куражились, развешивая каждый себе.

Теперь послали поглядеть по казармам: есть ли где офицеры?

Вернулся денщик: нигде ни одного.

Что же делать? Уходить с полкового двора? Переодеваться?

Сходили нижние чины и осторожно принесли всем четверым солдатские шинели. Прапорщик Рыбаков сразу переделся – неинтеллигентное лицо, от солдата не отличить. Ушёл.

Но братья Некрасовы замялись. Унизительно. Остались в своём. И маленький Грече тоже.

И просидели ещё час, мало разговаривая. То состояние, когда каждый разговор только дерёт по душе, лучше своё внутреннее, хоть и оно морозит. Бунт, и во всём Петрограде, в несколько часов, и удавшийся, – это же революция! Как она грянула? Кто там вершит? Что теперь будет? Да в Действующей армии революции нет – придут же и справятся, с кем тут справляться? – тут никто не умеет винтовки держать. Но полк опозорен. И собственная честь. И значит жизнь.

Ниоткуда не доносилось никакой стрельбы. Не верилось, что в полку разорение, что бродят чужие и ищут крови.

А есть хотелось – всё больше. Со вчерашнего дня ничего не ели. Хоть бы хлеба достать. Причетник сказал, что достанет. Ушёл.

Вернулся – позвал обоих солдат. Вскоре опять пришли, да как – с кипящим самоваром, подносы с едой, большая коробка папирос. Это прислала матушка, жена полкового священника.

Это и погубило! Не хватило осмотрительности – шли трое в затылок по плацу, самовар,

поднос, – кто-то и заметил.

Не успели чаю заварить, хлеба куснуть – женский голос близко закричал пронзительно:
– Вот тут офицера сидят!

И – ни на что не успели решиться, обдумать – другие крики, топот сбегающей толпы, и даже без «выходи!», так быстро, пока причетник стал закрывать на крючок – выстрел в дверь! – и ранило его. Сбил с ног, сел на пол, пополз в сторону, трогая плечо и вслух молясь.

А в дверь – ещё и ещё стреляли, и крик нарастал гуще, толпа сбегалась, кричали:

– Бей кровопийц!

– Попили нашей крови!

и матерно, и матерно, дикий рёв – откуда же столько ненависти? где она была? как жили, её не зная?

И – выстрелы, все в дверь, и даже не по низу, не опытно, – а на высоте плеч. Но на простреле двери никто и не остался: Грече от самовара успел присесть на корточки и отполз. Причетник дополз до постели, Всеволод дал ему подушку, приткнуться к ране, сам прилёг на пол под подоконником. Сергей успел вжаться в угол за постелью. Солдаты оба – на полу.

А снаружи всё орут и стреляют. И опять же неопытность: довольно было им оббежать к окну – и оттуда простреливалось почти всё в комнате.

Но не оббежали. А всё тот же громкий злой гомон голосов, мужских и бабьих, мат о кровопийцах и беспорядочная стрельба в дверь.

Потом вырвался голос:

– Товарищи! Да может там никого и нет? Не стреляй! погоди, не стреляй!

Стихло. Тут, в комнате, замерли: мышеловка, уйти некуда. И оружия нет.

Да – и нужно ли оно? Кого тут убивать? И спасти не спасёт, не прорвёшься.

Толкнули дверь – она не закрыта была? сбило крючок пулею? И заглянул один солдат, московец. Молодое сообразительное лицо, как бывает у хороших служаек, незнакомый. Показал рукой: сидите, не выходите. На всеволодова денщика:

– Так ты что ж не выходишь, дурак, ведь убьют! -

и за шиворот вытянул его, вытолкнул наружу:

– Вот он, захухряй! Никого там больше нет. Расходись!

И крики утихли. И не стреляли. Поговорили, поговорили возбуждённо, будто расходились.

Теперь офицеры уже не чинились, не сомневались, быстро надевали солдатские шинели, при первой возможности выскользнуть. Надо было утром переодеться сразу, гордость, уже бы ушли, и причетник был бы не ранен.

Нечем ему и помочь, прижимает подушку к плечу.

Но не успели застегнуть шинелей – новый рёв и опять застреляли в дверь, теперь уже уверенней. Видно, денщик сказал. Ужались по своим углам. Братья пожали друг другу руки.

Били, били, потом голос:

– Да может сами выйдут? А ну, перестань стрелять!

Но сами входить опасались: ведь первых нескольких снесут. Потому всё время и не врывались.

– А ну, выходи, кто там!

Ничего не оставалось. И теперь – куда ж в шинелях? Стидно, зачем и надевали? Сбросили солдатские, своих не успели натянуть, вышли в одних кителях, трое. Капитан, штабс-капитан и прапорщик. Всеволод палку забыл, без неё.

Отступя от двери шагов на пятнадцать, плотным чёрным полукругом стояли рабочие, на руках пальто у всех – красные повязки. Винтовки выставлены у всех «на изготовку», уж там какую. Подрагивают. На ком через плечо – пулемётные ленты, награбили в складе.

Сразу все лица – в один глаз, ни одно не рассмотрено, все запомнены навсегда, на оставшиеся минуты жизни: больше – молодые, и все обзлённые.

А за ними – большая толпа, и женщины, грозят кулаками через плечи передних, кричат:

- Бей кровопийц! – и матерно.
- Сдавай оружие!
- У нас оружия нет, мы сдали вчера.

Не верят. Настороженно выходит вперёд один из эриксоновцев, эта фабрика – тут рядом, и все они сколько же раз ходили тут мимо, в трамваях ездили и встречались. И никогда офицеры не замечали столько к себе зла.

Подошедший обхлопывает офицеров по поясам, по карманам. Удивлён, но оружия нет. Всё это видят – и громче из толпы:

- Что с ними возиться? Стреляй кровопийц!
- Отходи, не мешай!
- Довольно нами покомандовали! Теперь мы покомандуем!

И обыскивавший вожак отступает от обречённых.

И с новым напряжением – уже не опасного поиска, но торжества, раздвигаются, давая место и другим желающим, кто на изготовку, кто уже и целится. Но никто не стреляет, видно ждут команды вожака.

Как сложна жизнь, но как просты все смертные решения: вот – здесь, вот – сейчас. А больше всего изумление: мы умирали за эту страну – за что она нас ненавидит?

Маленький Греве, мальчик перед взрослой толпой, замер. Всеволод Некрасов цедил: «Идиоты проклятые...» А Сергей вытянулся, развернулась грудь с георгиевским крестом, вздохнул последний раз – не здесь он думал умирать, не так. Успел пожалеть стариков родителей, что в одну минуту потеряют обоих сыновей – и обоих от русских рук. Но сказать убийцам вслух – в оправдание, в задержку – ничего бы не мог найти.

Но опережая команду – прорезался новый крик – сбоку, с паперти полковой церкви:

- Стой! Стой, не стреляй!

И со ступенек паперти, откуда хорошо видели, с десяток москвичей сбежали сюда – и расталкивая, расталкивая толпу, пробирались энергично – пробрались – ворвались в полукруг между расстрельщиками и обречёнными:

- Стой! Не трогай их! Это – офицеры хорошие!
- Мы их знаем, не трожь!

А их самих офицеры не успели и распознать.

Нет, уже не остановить:

– Отойди! – кричат озлобленные красные повязки. – Не ваше дело! Отойди, и вас зацепим!

Но солдаты мешали собой. А один крикнул:

- Калеку бьёте, герои тыловые!

И вот это – дрогнуло по кругу:

- Где калека?

– А вот! – показали на Всеволода Некрасова. – Вот! – и на ногу его.

Отдав винтовку, один из рабочих подошёл и стал щупать ногу Всеволода через брюки, ниже, ниже. Крикнул как о манекене:

- Верно! Нога деревянная!

И – застывший чёрный резкий! полукруг как размылся, зашевелился, распался:

- Кале-ека...

– Ногу-то отдал...

– Чуть-чуть ошибка не вышла, ишь ты...

Да ещё ж оставалось, кого расстреливать, – стоял высокий открытый штабс-капитан и молоденький маленький прапорщик, – нет, теперь и они были помилованы за ту ногу. Рассыпался полукруг – и подошли как виноватые, подошли как бы уже друзья:

- Да шинелки-то есть у вас? Вы ж обмёрзнете.

– Поди, им шинелки принеси.

– Там – раненый у нас унтер, – сказал Сергей.

– Сейчас мы его в лазарет! – это солдаты-выручители. Но совсем незнакомые лица, не

узнавали их братья.

– Да вы покурите, – сожаловала теперь толпа.

– Да садитесь поешьте, самовар ваш стынет.

Но старший из рабочих, чугунонрубленный, отречённый:

– Есть – некогда, расслаживай. Всех арестованных приказано представлять в Государственную Думу. Собирайсь.

175

Ни скрыться домой, ни даже здесь поспать Масловскому так уже и не удалось. Но он очень морально подкрепился тем, что Военная комиссия поступила под ответственность Государственной Думы. Отвечать – так вместе с Родзянкой, ничего.

Он ещё сходил поговорил, пока не спали, с Керенским и Некрасовым – и те тоже его одобрили.

Да что в самом деле! Потомственный аристократ и сколько военных в роду – разве он с юности не мог стать блестящим офицером! Но он уже тогда рассмотрел увядание аристократической жизни, на ней – уже не стяжаешь успеха. Для аристократов пролегла трудная эпоха. Однако природная любознательность, наблюдательность и разнообразные способности повели Сергея Масловского то в антропологию, в среднеазиатские экспедиции, научные попытки, не очень удачные, – а потом всё общество двинулось в революцию, и Масловский туда. И чуть не сжёг себе крыльев. Последние годы он втихомолку начал литературные опыты, вот писателем бы ему стать.

И правильно он увидел, ещё двадцать лет назад: каково бы в эти сутки оказаться офицером? – как волк среди людей, все охотятся.

Изнемогала в тревоге, незнании и беспомощности военка (как уже с вечера стали звать советские) – но во второй половине ночи подкрепилась приятным событием, из простых человеческих радостей: кто-то принёс к ним в комнату большую кастрюлю тёплых, с луком жаренных, коричневых сочных котлет – и каравай белого хлеба. Там революция или нет – а желудок требовал своё! Вилки не было, каравай рвали пальцами, потом резали перочинным ножом, пальцами же хватили и котлеты, и так всё дочиста съели, не узнав, кто это и где жарил.

В остальном же военная обстановка была смутна и опаснее, чем днём: по ночной беззащитности, по полному отсутствию у Таврического дворца организованной военной силы. В каждую минуту, разогнавши одной очередью сброд из сквера, Хабалов мог взять Таврический дворец голыми руками.

И даже у дверей военки уже не толпились любопытные или защитники, все разошлись спать.

К счастью, оказалась вымышленной высадка 177-го полка на Николаевском вокзале. Но пришло другое грозное сведение: о высадке какого-то полка на Балтийском вокзале, что было не намного легче. А комендант Кронштадта сообщил – вероятно, он метил доложить Хабалову, но по проводам попало почему-то в Государственную Думу: что началось большое движение неорганизованной военной толпы из Ораниенбаума на Петроград, может собраться и 15 тысяч. Правда, к этому времени уже считался перешедшим на сторону движения Семёновский полк, и Егерский тоже, – и послали им распоряжение: против этого неопределённого ночного перемещения выдвинуть заставой 500 семёновцев и 300 егерей, непременно с офицерами и пулемётами. (С офицерами! – и есть ли они там и каково им? Но укрепить их: распоряжение Государственной Думы). А по сколько-то семёновцев и егерей отправить на Николаевский вокзал.

Но, как и вечер, тем более ночь состояла в том, что ни одно посланное приказание не подтверждалось, ни один высланный пикет или патруль никогда не возвращался: всё это растекалось, кануло и будто никогда не было послано вовсе.

По всем четырём железным дорогам – Николаевской, Виндавской, Варшавской и

Балтийской, был Петроград угрожаем, но не мог предупредить нападение или выставить оборону. Да сам в себе он заключал затаившуюся правительственную силу, о намерениях которой ничего не было известно, а действия могли быть обнаружены слишком поздно. Где было правительство – тоже не известно: в Мариинском дворце его уже не застали, очевидно перешло в Адмиралтейство? И непрерывно заседает там и безусловно имеет прямой провод со Ставкой, и оттуда льются указания, и они готовят круговое удушение мятежа. И генерал Иванов уже ведёт кошмарную силу.

А Энгельгардт, поехавший в Преображенский батальон, – по общему закону исчезания больше не появился до утра.

И – догадка: может быть, под этим удобным предлогом он просто скрылся из опасного места? А Масловский отчаянно и неразумно сгорал тут!

Да если б не Филипповский – он бы и ускользнул. Но двужильный Филипповский, как будто и не ночь была, сидел и писал, писал случайные распоряжения, – однако на бланках Товарища Председателя Государственной Думы – вид! Да принимал известия, когда они всё-таки приходили.

Наибольшей опасностью представлялась Масловскому Петропавловская крепость, может быть по особому чувству к ней всякого революционера. Она – так и не сдалась, нет! Идеально было бы – закупорить её, обложить все выходы снаружи. Но – где же собрать желающих идти туда на ночь и на мороз торчать – а из бойниц застрелят?

Два ретивых унтера да несколько солдат выручали военку на посылках и поручениях.

Ночь казалась бесконечной – и грозной до конца. Революционный долг приковал гвоздём. (Всё же, когда нападут, с главного входа, – Масловский успевал бы уйти через боковую дверь на Таврическую улицу, а там – три шага домой, и штатского не задержат).

Сколько пережито за эту бессонную ночь – как за целую жизнь!

В пять утра пришло известие, что на сторону народа перешла запасная автомобильная рота – это хорошо! колёса будут! Но – пока забаррикадировалась (очевидно – просто досыпала ночь), а утром явится в Государственную Думу.

Потом в подкрепление прибыл один броневой автомобиль с пушкой Гочкиса.

К шести телефон сообщил, что на сторону народа окончательно перешли батальоны Петроградский и Измайловский. (В Измайловском несогласные офицеры осаждены, а некоторые убиты, то ли 8, то ли 18).

Ни событий, ни боёв больше нигде не происходило. Уже с наступлением света стали звонить и требовать охрану: на Пороховой завод, на охтенский завод взрывчатых веществ, на морской и артиллерийский полигоны: отовсюду военные караулы сами ушли. На взрывоопасные заводы, конечно, охрана была нужна в первую очередь, один злодей с коробкой спичек... Но и посылать было решительно некого и неоткуда.

Но и то сказать, во что нельзя было поверить вчера вечером: вот, наступил следующий день – а революционная власть стояла? и именно к ней все обращались?

И за дверьми опять толклись все желающие, можно было посылать.

Уже в полное утро, после двух светлых часов, появился Энгельгардт, видимо поспавший и уже в мундире и с аксельбантами генштабиста, а с ним ещё – профессор Военно-медицинской Академии Юревич, которого Энгельгардт тут же, совсем некстати, объявил комендантом Таврического дворца – и этот тоже стал отдавать приказания, путаясь с остальными.

И рассердился Масловский на Энгельгардта за его ночное отсутствие, но и успокоился его пышным приходом теперь: так всё выглядело вполне rispetтабельно! Прилично и самому пойти натянуть военное. Чёрт возьми, мы ещё повоюем с этим царизмом!

Однако с горечью сообщил Энгельгардт, что преображенцы, несмотря на его горячую ночную речь, никуда не двинулись и ничего не атаковали. Оказалось, там не только нет единства между офицерами и солдатами, но и среди офицеров тоже. Вообще, этот ночной телефон к Шидловскому был почти случайностью – а так многое решил!

Всё же послал теперь Энгельгардт преображенцам приказ: занять Государственный

банк, телефонную станцию, выставить посты к Эрмитажу и музею Александра III. Хотя бы на эти-то не опасные задания должно было хватить их ночного обещания. И по меньшей мере – чтобы Преображенский батальон расставил бы караулы вокруг Таврического, и охранял бы порядок тут.

Через Энгельгардта теперь можно было узнать такое, чего не узнали всеми ночными разведками, – странное положение, когда между как будто воюющими сторонами, с Главным штабом идут любезные телефонные разговоры: что правительства в Адмиралтействе нет, и нигде его вообще нет, оно не существует. Что Хабалов на ночь переходил в Зимний дворец, но туда приехал великий князь Михаил и вытеснил его назад в Адмиралтейство. Что у Хабалова 5 эскадронов, 4 роты, 2 батареи.

Такая откровенность была изумительна и подозрительна. Может быть по этим телефонам и Энгельгардт встречно был так же откровенен? Так и признавался, что у Таврического нет никакой охраны? Масловский всё жёлчней следил за Энгельгардтом, за Юревичем, за Ободовским – ещё этот инженер зачем, откуда, кто его звал? – уже несколько часов сидел тут. И шептал Масловский Филипповскому, что этой буржуазной публике верить никому нельзя, что зря они, советские, дали вырвать у себя руководство военными делами.

Впрочем, телефоны прекратились, с телефонной станцией случилась беда: барышни утром все разбежались. Об этом пришла и записка от Родзянки: для восстановления действия телефонной станции необходимо послать туда 1-2 автомобиля, чтобы собрать по домам барышень. Кроме того, надо убрать труп, лежащий в помещении станции.

Занять телефон и телеграф – это верно, не повторять ошибок Пятого года.

Так ли понимать, что Хабалов телефонную станцию уже не защищает? Ободовский посоветовал иначе: послать туда наряд электротехнического батальона, который и занял бы станцию и обслуживал бы её. Но увы, по случаю революции этот батальон тоже разбежался, и не легче было собрать его, чем снова барышень.

Теперь, днём, набирались ещё и ещё начальники, тут и думец Ржевский, и какой-то что ли князь Чиколини, и какой-то Иванов, – и все распоряжались, друг с другом не согласуя, и подписывались на распоряжениях, на случайных думских бланках, как придётся – то «председатель Военной комиссии», то «за председателя», то «комендант Таврического дворца», то «за коменданта», а Энгельгардт писал ещё: «начальник Петроградского гарнизона».

Послали распоряжение 2-му флотскому экипажу занять Зимний дворец и арестовать министров, если там найдут, и всяких агентов правительства.

А Масловский с Филипповским отдельно – придумали и послали несколько маленьких групп арестовывать министров по квартирам, не забыв и Штюмера. Надо было спешить с делами истинно революционными! Мы ещё с этим царизмом повоюем.

А где-то – целые батальоны болтались без командования, – тот же и героический первый революционный Волынский: там же все офицеры сбежали ещё в самом начале, и никого не осталось. В 8.30 назначили из Таврического сразу двух прапорщиков, на равных правах, – вступить во временное командование Волынским батальоном. Но часу не прошло – появился из волынцев же штабс-капитан с претензией. И переназначили – его.

Главное было сейчас – уговаривать офицеров возвращаться в батальоны, без них не взять гарнизона в руки.

А в Измайловском батальоне после убийства офицеров творилось что-то бесконтрольное. И послали к ним большой наряд с приказанием: всё оружие выдать Военной комиссии. (Хорошо, если выдадут, – а если нет?)

Какие-то роты измайловцев были ещё и у Хабалова. Кому доверять?

* * *

Солдаты! Народ, вся Россия благодарит вас, восставших за правое дело свободы.

Солдаты! Некоторые из вас ещё колеблются присоединиться. Помните все ваше тяжелое житье в деревне, на фабриках, где всегда душило и давило вас правительство!

Солдаты! На крышах домов и в отдельных квартирах засели остатки полиции, черносотенцев и других негодяев. Старайтесь везде их немедленно снимать мертвой пулей, правильной атакой.

Солдаты! Не давайте разбивать магазины или грабить квартиры. Это не надо!

Службы и чести вашей никогда не забудет Россия.

Совет Рабочих Депутатов

* * *

176

Вчера вечером, уже выбежав благополучно из Зимнего, павловцы не бежали дальше, стали разбираться, особенно учебная команда. С нею и прапорщик Андрусов.

Шли себе в казармы. Но по дороге к павловцам выскакивали из толпы женщины, барышни, хватали солдат за руки, совали им и даже прикалывали куски красной материи.

И офицеры не смели кричать: отойдите! или – не берите!

Да зачем бы и кричать? Совершалось какое-то огромное перемещение людских настроений, и Андрусову даже радостно было. Он участвовал в чём-то неповторимом.

Но ещё необыкновенней вчерашний день закончился: у казарм учебной команды на Царицынской улице стояли рабочие и студенты с винтовками – и не пускали солдат в их собственные казармы, а велели им больше ходить по улицам.

И так изменились все порядки, что обескураженные солдаты не смели пробиваться, хотя им хотелось ужинать и лечь. А офицер тем более не смел подать им команды на то, молоденький офицер особенно чувствовал этот новый трепещущий воздух.

Да офицерам, кажется, вообще уже нечего было делать тут, при солдатах. И даже безопаснее – отделиться.

Такое нарастало ощущение неведомой опасности – даже лучше было бы им куда-нибудь скрыться, провалиться.

Тут же, на Царицынской, помещался офицерский лазарет – и кое-кто из офицеров-павловцев сумел переодеться в больничные халаты и лечь. И Андрусов даже позавидовал: какие же ловкачи.

Но вскоре кто-то из солдат бесприютной учебной команды пошёл в тот лазарет – и обнаружили своих здоровых офицеров. И был им позор.

В слоняньи Андрусов столкнулся с Костей Гриммом. И придумали они попроситься на ночь в квартиру своего интенданта – тут же, через два дома. (Идти через весь город офицерам было опасно от неизвестных чужих солдат).

А тем временем узнали они, что солдаты ищут убить капитана Чистякова. У интенданта же узнали, что Чистяков прячется недалеко, у другого интенданта. И Гримм позвонил своим домашним – и предложил переправить Чистякова в штатском на Васильевский остров к своему отцу – известному либеральному члену Государственного Совета, там не тронут.

Но как ни переодевай капитана Чистякова – нельзя спрятать его приметной перевязанной руки, да и глаз его непримиримых не спрятать. Отказались.

Вадим Андрусов тоже звонил домой. Отец его, кадет, и мама были в восторге от происходящего: началось долгожданное освобождение народа! Осуществление вековой мечты получаем как подарок. Вот теперь-то и начнётся жизнь! теперь-то и начнётся порядок. Ни от какой перемены не может стать хуже, уже дальше терпеть было невозможно.

Вадим пожаловался им, что вблизи это всё не так удобно, не так приятно выглядит.

Но в нём самом возобновилось: и правда, в духе своей семьи и воспитания, почему ему

не примкнуть к общей радости?

Ночью обсуждали с Костей – что же делать? Необычным образом входило в жизнь необычное – и почему же им не примкнуть к победе народа, которая так мечталась и ожидалась?

В молодом возрасте легки эти переходы. Есть в них продолжение спектакля, начавшегося вчера.

А на улице, под окнами, ещё поздно вечером бродили солдаты, всё не пускали их в казармы те вооружённые.

Утром проснулись, проверили своё настроение – да! И поднялись революционерами!

И прикололи к своим шинелям на грудь красные бутоньерки.

В ногах, в груди, в голове образовалась необычайная лёгкость, как будто к земле не притяжены. И разбирало созоровать. И чувствовалось так, что вот сейчас они могут что-то свободно-великое совершить и даже прославиться.

Но идти в таком виде к собственным солдатам в учебную команду было стеснительно, не могли. Тогда – пошли в походную роту, позавчера бунтовавшую раньше всех.

Там ещё спали.

Два прапорщика стали ходить по помещениям и кричать:

– Что спите? Подымайсь! Революция!

Но и этого показалось мало, и просыпались вяло. И тогда Андрусов с Гриммом стали кричать – почему? как в голову пришло:

– Подымайсь! Царя больше нет!

А услышав такое – павловцы вскакивали с большим переполохом.

А потом смекнули, что значит теперь никого за бунт не накажут, и девятнадцать их арестованных судить не будут.

И – качали обоих прапорщиков. И становилось обоим всё веселей и несвязанней.

Пошли в собрание позавтракать. У некоторых молодых офицеров тоже уже были красные приколки – а старшие офицеры смотрели осудительно, да их почти не было.

И капитана Чистякова не было.

Тут явился бывший командир Гвардейского корпуса грузный генерал Безобразов – и в биллиардной стал поучать офицеров, что в случае вызова батальона на улицу надо не подпускать к себе толпу, а останавливать её сначала приказанием, а потом дать залп.

Всё это – дико звучало, из какого-то невозвратного времени. Не стала с ним офицерская молодёжь спорить, а – вставали и демонстративно выходили.

Потом Вадим и Костя пошли пешком в Таврический. Теперь они свободно могли двигаться среди незнакомой солдатской массы: на них видели красные бутоньерки, и их не обезоруживали, и приветствовали.

В Таврическом потолкались, нашли Военную комиссию. Там очень им обрадовались и сразу выписали распоряжения: Гримму – командовать своим же взводом павловцев, состоя при Государственной Думе. А Андрусову: вступить в командование нарядом павловцев, поставленным в Михайловском манеже.

Так они оба стали при деле, молодыми офицерами революции.

ДОКУМЕНТЫ – 2

ИЗ ДОНЕСЕНИЙ В ВОЕННУЮ КОМИССИЮ

(утро 28 февраля)

– Немедленно вышлите подкрепление 350 чел. на Лиговку, угол Чубарова переулка. Большая засада, действуют 6 (шесть) пулеметов.

/Карандашом помечено: не оправдалось/

– Санитары лазарета Зимнего дворца просят прислать отряд войск, чтоб

арестовать скрывающихся там лиц... Дворец сейчас ни в чьей власти. Часовые сняты, но внутри еще сторонники старого правительства.

По поручению санитаров студент Р. Изе

– По близости Сената видны толпы пьяных, разграбивших гостиницу «Астория».

– Уг. Инженерной и Садовой плохо. наших патрулей нет в этом районе.

– В городе все спокойно. Солдаты жалуются на холод и решили отправиться в казармы. Захвачены 18 бронированных автомобилей. На окраинах происходят разгромы магазинов.

– Освобожденные из Петроградской пересыльной тюрьмы просят указать место, куда бы они могли прийти и получить как постель, так квартиру, пищу и оружие, а также пропуск.

Освобожденный политический Ульяновский

– У Семеновских казарм много солдат. Не зная, что делать, просят руководителя. Все вооружены.

– Доношу, что у Зимнего дворца обстреливают из пулеметов. По сведениям, в Зимнем укрыт жандармский дивизион.

Прап. Шаблинский

– По поступившим сведениям, два подозрительных субъекта раздают воинским чинам спиртные напитки и распространяют заведомо ложные и тревожные слухи.

Член продовольств. комиссии (подпись)

– Поручено организовать охрану Арсенала, где будто бы идет разгром.

– Царскосельский вокзал изнутри заперт. Семеновцы с оркестром против Обуховской больницы стоят.

– Просят уг. Садовой и Инженерной немедленной помощи для усмирения пьяных солдат.

– Склад оружейных припасов разгружают и отправляют. Необходимо прекращение увоза снарядов. Могут через Лесное на лошадях увозить. Ждут войска из Финляндии.

1 запасного полка Кузьма

– По улицам разезжают грузовые автомобили. Многие из них нагружены боевыми припасами. Необходимо командировать с особыми полномочиями для выяснения, куда и зачем ездят, и для приводки гуляющих автомобилей к Таврическому дворцу.

– ПРИКАЗАНИЕ. Вольноопределяющемуся Таирову Дмитрию и рядовому Маяковскому Владимиру произвести выборы представителей в военно-автомобильной школе, организовать ремонт машин.

Б. Энгельгардт, 11 ч. 30 м.

В кресле пересидевши ночь, не выспался Шульгин, и утром горяченького нечего было глотнуть, бездействовал разграбленный думский буфет. Но что-то заливало душу настроение Французской революции.

К этому сравнению легко было прийти, оно у многих на уме было уже вчера вечером, но сегодня захлёстывало с новой силой. Из отдалённого хладнокровного читателя Шульгин был объят в соучастника – а может быть и в жертву? – тех, оказывается страшных, дней.

Что вчера! Вчерашняя вечерняя думская толкотня сегодня вспоминалась, пожалуй, как блаженная прореженность. Вчера только прорывались, а сегодня, уже не зная задержки, пёрла и пёрла через входную дверь чёрно-серо-бурая бессмысленная масса, вязкое человеческое повидло, – и бессмысленно радостно заливала всё пространство дворца, для своего здесь бессмысленного пребывания. Вчера потерянные солдаты по крайней мере искали тут ночного крова, боялись возвращаться в казармы – но что сегодня? Все помещения, залы до последнего угла и даже комнаты захватывала, забирала, в движении и перемесе, – толпа, да тупая, просто сброд, задавливающий всякую разумную тут деятельность, Россия осталась без правительства, все области жизни требовали направления и вмешательства, – но членам думского Комитета не только не оставлялось возможности работать, а даже находить друг друга и просто передвигаться по зданию.

И обнаружил Шульгин, что у этой массы было как бы единое лицо, и довольно-таки животное.

И он живо узнавал, что всё это уже видел, читал об этом, но не участвовал сердцем: ведь это и было во Франции 128 лет назад! И когда в Екатерининском зале молодёжь в группках пыталась петь марсельезу, на русские слова и перевирая мотив, -

Отречёмся от старого мира,
Отряхнём его прах с наших ног, -

Шульгин слышал ту, первую, истинную марсельезу и её ужасные слова:

Берите оружие, граждане!
Вперёд! И пусть нечистая кровь
Заливает наши следы!

И **чья** ж предполагалась та нечистая кровь? Уже тогда показано было, что королевским окружением не кончится.

А вот и у нас изорван в клочья императорский портрет.
Отвращение.

Десять лет позади думской трибуны висел огромный портрет Государя в полный рост, терпеливый свидетель всех речей и обструкций, но всё же символ устойчивости государства. И вдруг сегодня утром увидели: солдатскими штыками портрет разодрали – и клочья его свисали через золочёную раму.

И эти несколько наглых штыковых замахов вдруг поменяли всё восприятие: петроградский эпизод не только не возвращался в колено, а может быть и правда был великой революцией?

И ни весь думский Комитет, ни сам Родзянко не могли охранить портрета и ничего остановить.

И толкнуло Шульгина: как было в Киеве, всегда помнил он, 11 лет назад. Ворвалась в городскую думу толпа, там преимущественно евреи, тогда солдаты не бунтовали, – и так же рвали все портреты императоров, выкалывали им глаза. Какой-то рыжий студент-еврей пробил головой портрет Государя, носил на себе пробитое полотно и иступлённо кричал: «Теперь я – царь!» А укреплённую на балконе царскую корону изломали, сорвали и бросили на мостовую, перед десятитысячной толпой.

В большом роскошном кабинете Родзянки ещё отсиживались от этого людского затопа, тут были все свои, тут можно было что-то и обсуждать.

Хотя ни к какому решению прийти невозможно. Понятно, что надо действовать, не дать анархии развиваться, но непонятно, что и как. Вторые сутки не переваривалось мозгами всё это огромное, что свалилось на их головы, – гораздо большее свалилось, чем они призывали, ждали, хотели.

Да – против кого действовать? И кому действовать? Как и правильно предупреждал их Шульгин – ломали, ломали копья во славу людей, облечённых доверием народа, достойных, честных, талантливых, – а где они есть? Во Временном Комитете – как будто верхушка Думы, а посмотреть – одна серятина, просто стыдно. Хорошо, это ещё Комитет, не правительство, но кого же такого талантливого и облечённого возьмут в правительство?

А на что годилась слоновья туша Родзянки? Такой, бывало, упрямый против самого Государя – вот не мог высадить из бюджетной комиссии каких-то самозванцев, проходимцев, совет невыбранных каких-то депутатов, захватывали здание самой Думы.

И в отличие от них всех, ощущая свою ещё молодость, тонкость, подвижность, себя – ещё киевским прапорщиком 11 лет назад, – Шульгин испытывал жажду отличиться от здешней невразумятицы, действовать.

И тут он услышал разговор, что звонили на рассвете из Петропавловской крепости, комендант выразил желание говорить с членами Государственной Думы – и вот всё ещё не послали никого. Услышал! – и в его романтической душе вся картина вдруг повернулась и переосветилась иначе: ведь если похоже на Французскую революцию, то ведь и в этом похоже! Петропавловская крепость – это же Бастилия! И у этой отвратительной толпы вот-вот зародится мысль – брать Петропавловскую крепость штурмом! освобождать может быть несуществующих или немногих там узников и казнить комендантскую службу. Так надо успеть деятельно предотвратить этот ужас!

Вот и пригодилось, что он тут ночевал, не зря мучился в кресле. И стал предлагать Родзянке и всем в Комитете, чтобы послали – его. Спешил убедить, боялся, что пошлют не его. Но все были так заморочены, что даже не оценивали важности шага, – кивнули охотно, хорошо, что доброволец есть.

Выскочил на бодрый морозец, не достигнувшись.

Прежде вот так поехать по городу – ему бы никак не достать автомобиля. А сейчас – в одну минуту подавали. Кажется – четверть автомобилей Петрограда стояла перед Таврическим, дожидая чести везти кого-нибудь. (А остальные три четверти гоняли по городу со стрельбой и криками).

Но подавали – с красным флажком и с торчащими штыками: ни крохотное местечко, где только можно было уцепиться, не оставалось без солдата со штыком. И вот уже открывал Шульгину дверцу какой-то расторопный офицер со снятыми погонами, приставленный от Военной комиссии.

И знаменитый монархист Шульгин сам не заметил, как поехал под красным флагом брать Петропавловскую крепость.

Не поехал бы, если бы не величие задачи и не аналогии. Но вся Французская революция раскатилась из-за штурма Бастилии. Успеть предотвратить такое несчастное развитие. Политических – выпустить на глазах толпы и показать ей пустые камеры.

Шульгин не узнавал улиц – такие необычные фигуры, со множеством красных пятен от бантов и повязок, необычное движение. По Шпалерной не шли, но валили к Думе. Просто множество вооружённых людей, военных и невоенных, безо всякого строя пешком, и на грузовиках.

Окружной суд ещё всё пышел – раскалённые развалины, пепел, дымки от залитого.

Погода была ясная, морозно-солнечная, и с Французской набережной открылась сверкающая снегом Нева, кое-где переходимая чёрными фигурками.

А с Троицкого моста – долгая многоскладная серая крепостная стена Петропавловки с куполами собора и вознесенным бессмертным золотым шпилем колокольни. И

императорский штандарт на одной башне, чёрный орёл на жёлтом поле: династия – спит здесь.

Великий миг. Билось сердце.

За мостом уже виделся неподалёку, голубел купол мечети. На открытом месте, по пути к крепости, густился митинг, и студент с грузовика выкрикивал о свободе, свободе, свободе, – и все слушали как долгожданное.

Но по мостику, ведущему через канал к крепости, не шли. По ту сторону – парные часовые.

А возле них – ожидающийся офицер. И не успел спутник Шульгина помахать носовым платком – как офицер уже спешил навстречу:

– Как хорошо, что вы приехали! мы вас так ждём! Пожалуйста, комендант вас ждёт!

Тут их догнал от толпы – опять в офицерской шинели, а без погон... Не было места, но и он пристроился на подножке меж революционными солдатами.

Часовые глазели.

Въехали в наружные ворота. Проехали под сводом Петровских.

У собора развернулись – и подъехали к обер-комендантскому дому.

Внутри – темно, узко, старинная постройка.

Наконец и комендант, генерал-адъютант, изувешан орденами, но не слишком боевого вида, скорей рыхл. И с ним несколько офицеров. Все беспокойны.

Шульгин, узкий, стройный, представился приятным тоном, что он – член Государственной Думы и – от Комитета Государственной Думы.

И старый генерал в волнении, совсем теряя осанистое достоинство службы и чина, убеждал молодого депутата с острым взглядом и острыми усиками:

– Господин депутат... Пожалуйста, не подумайте, что мы против Государственной Думы. Наоборот, мы очень рады, что в такое опасное время есть хоть какая-то власть... Мы отклонили пригласить сюда отряд генерала Хабалова... Но как смотрит Государственная Дума? Разве то, что находится в Петропавловской крепости, не должно быть охранено? У нас – драгоценный собор. У нас – усыпальница всей династии. Монетный двор. Наконец, арсенал. Невозможно же, чтобы толпа сюда ворвалась! – и что же могут наделать? Какое бы правительство ни было – но оно будет это охранять. И наш долг присяги – охранять, мы не можем впустить...

Простые ясные соображения. А в Комитете не об этом думали, а только: присоединить Петропавловку к народу!

Но Шульгин имел довольно смелости и не довольно над собою контроля, чтоб ответить уверенно:

– Ваше превосходительство! Не извольте трудиться доказывать то, что ясно каждому здравомыслящему человеку. Поскольку вы признали власть Государственной Думы, а это главное, – то я от имени Государственной Думы подтверждаю вам и даже лично настаиваю: что крепость со всем тем, что в ней есть, должна быть охранена во что бы то ни стало!

Генерал просветлел, приободрился, благодарил:

– Спасибо, господин депутат. Теперь мы спокойны и знаем, чего держаться. Но не могли бы вы оставить нам это в виде письменного приказа? Быть может нам придётся предъявлять, доказывать...

Смелость Шульгина не имела границ, он тут же сел к столу и написал такой приказ коменданту крепости: охранять её всеми имеющимися силами и не допускать никакого вторжения посторонних.

Однако тут и высказал свою нетерпеливую мысль, с которой едва удержался не начать при входе: отчего погибла Бастилия. Надо публично выпустить политических – и показать пустые камеры представителям внешней толпы.

Генерал с офицером удивились: какие политические?! Тут вообще никаких узников нет совсем.

Облегчённо удивился Шульгин: совсем нет узников?! Но – так считается всеми, что

есть, так все полагают. Вся эта грозная крепость среди города со страшной её памятью – не заключала ни единого узника??

Кроме тех девятнадцати мятежных солдат-павловцев, приведенных позапрошлой ночью. И комендант сам рад их выпустить, не знает, что с ними делать.

– Так неужели же ни одного политического?!

Ни одного! Ещё был – генерал Сухомлинов, военный министр. Но и он освобождён поздней осенью.

– Неужели так-таки все камеры и пусты?

– Все. Вы можете убедиться.

Девятнадцать павловцев генерал готов был выпустить сию же минуту. Но вот показывать камеры делегатам из толпы он считал унижительным и невозможным, даже для самого младшего своего офицера.

И у Шульгина не хватило настойчивости убедить.

Тем временем старший офицер просил его сказать речь гарнизону крепости: что Государственная Дума требует исполнения дисциплины.

Что ж, можно.

На обширном дворе близ колокольни, там, где расчищен снег, было выстроено несколько сот солдат, в полукарре. Что-то много.

И только тут догадался Шульгин: офицеры боялись не внешнего приступа, но именно этих, собственных солдат. Правда, неуютно быть в запертой крепости с непонятными солдатами, в такое время.

Щурились при ярком свете на Шульгина солдаты. И он на них щурился. И сейчас не показались они ему такими тупыми и безнадежными, как те в Таврическом. И оказалось совсем не трудно говорить речь перед безответным строем, без других перебивающих ораторов. Звучал только его одинокий высокий не сильный голос.

Он напоминал, что идёт война. Что немец только и подстерегает, чтобы на нас кинуться. И если чуть ослабеем – он сметёт наши заслоны, и вместо свободы, о которой мы все мечтаем, получим немца на шею. Армия же держится дисциплиной, и надо повиноваться своим начальникам. Ваши офицеры в полном согласии с Государственной Думой, и я отдал им приказ: защищать крепость во что бы то ни стало!

(Хорошо прозвучало: «я отдал приказ!». Ах, что делает революция!)

Кто-то крикнул:

– Ура *товарищу* Шульгину!

Уже и сюда проникло.

Но громкого единого «ура» не разразилось.

Попрощался с офицерами – и в автомобиль. Крепость спасена!

(Ах, упустил подхватить ещё одно яркое впечатление: посмотреть Трубецкой бастион! Уж так торопился в Таврический, казалось надо присутствовать там).

На подножку опять вскочил тот делегат толпы, офицерская шинель без погонов.

За мостком он с подножки автомобиля держал речь к толпе – что Петропавловская крепость тоже за свободу.

И толпа кричала «ура!».

Тут же подъехали грузовики со многими штыками и щёлкая затворами: почему Петропавловская крепость не поднимает красного флага? Грозил открыть военные действия.

Сопровождающий перепрыгнул туда, на их мотор, и кричал, что вот член Государственной Думы, и уже обратил крепость за свободу и народ. Да сейчас поднимут и красный флаг, просто не успели!

А Шульгин укатывал – снова через Троицкий мост, и по набережной. И по той же взбаламученной, вооружённой Шпалерной.

Перед дворцом толпа стала ещё больше и гуще. Мешались воинские строи. Что творилось, что творилось!

Кое-как пробивался, пробивался через вестибюль, через внутреннюю толчею – в кабинет Родзянки. После всей этой дичи счастье оказаться среди своих: прежде – чужие депутаты, как сослуживцы, теперь – друзья, которые жили когда-то вместе со мною на одной хорошо устроенной планете.

Тут слушали его рассказ со вниманием и одобрением.

А непроницаемый Некрасов с неподвижным взглядом, из-под неподвижных, как наложенных, усов вдруг выразил:

– Вот хорошо. Теперь из Петропавловки да запалить бы Адмиралтейство. Кинуть туда снарядов дюжину.

Шульгин обернулся резко, как укушенный. Здесь – он такого не ждал.

– Как? Мы, Дума, слава Богу, ведь не делаем революции?

И поворачивался дальше, дальше, по Шидловскому, Коновалову, Ржевскому, самому Родзянке.

Но никто не мог его поддержать, потому что никто уже и сам не понимал.

А Некрасов, вчера на частном совещании требовавший военной диктатуры против беспорядков, теперь возразил невозмутимо, не вспыхнули синие глаза, не вспрыгнул голос:

– А – что же мы делаем? Мы и захватили власть.

– Позвольте, господа, я ничего не понимаю! – звонко надорванно вскричал Шульгин. – Мы были против министров – но когда же мы стали против русских военных властей!

* * *

Отступление невозможно. Или свобода или смерть. Враг беспощаден. Только путем революционной борьбы, а не погромами и пьянством будет достигнута желанная цель народа.

Что нужно делать теперь солдату? Захватить в свои руки все телеграфы, телефонную сеть, вокзалы, электрические станции, Государственный банк и министерства. Не расходитесь по казармам, ждите листов! Да здравствует вторая революция!

Петербургский Межрайонный Комитет РСДРП
Петербургский Комитет Социалистов-Революционеров

* * *

178

Хотя и проспавши часа два, генерал Хабалов с утра соображал ещё меньше, чем вчера, совсем отупела его голова.

За все революционные сутки, если не считать пропавшего отряда Кутепова, подчинённые ему войска не совершили ни одного нападения, ни одного боевого передвижения, даже пожалуй ни одного выстрела, не испытали, не отбили ни одной атаки, оттого не имели ни одного раненого, ни одного убитого, – но тем не менее они потеряли всю силу, весь дух, да и заметно уменьшились в числе. Сутки назад это была единственная военная сила в столице и считалась её хозяином. Сегодня она стянулась в обречённый островок, адмиралтейский прямоугольник, из которого чуть не каждый и чуть ли не сам командующий только и думали теперь, как бы им сбежать.

Тяжелыников, с тех пор как отклонили его совет пробиваться из города, тоже ничего не мог понять и предложить.

С утра их забота стала – как бы раздобыть еды и фуража да накормить их боевой состав и лошадей. И патронов по-прежнему мало. Хабалов звонил в разные районы города, прося

командиров воинских частей и учреждений прислать ему подкреплений, продовольствия, патронов, – но отовсюду получал отказ, и круче чем вчера. Он уже для всех стал заклятым клиентом.

Потом вдруг исчезла городская телефонная связь. Это значило, что телефонная станция перешла в руки мятежников. А это – отсюда два квартала.

Случайно достали немного хлеба, раздали части нижних чинов.

Лошади были не только без сена, но и без воды: из кранов поить неудобно, вёдер нет и носить далеко. Понуренные, они стояли во дворах.

Отпустили казачью сотню на водопой в казармы Конного полка. Туда прошли благополучно, но назад по ним стреляли и убили двух лошадей.

Залетали и шальные пули, с верхних этажей зданий по Адмиралтейскому проспекту, убили ещё двух лошадей. Адмиралтейство на выстрелы не отвечало.

А атаки – не было ниоткуда, да и наступающего противника. Может быть увидеть его – было бы даже и легче. Пулемёты занимали для обстрела углы второго этажа, орудия стояли против ворот на Дворцовую площадь – однако делать им было нечего.

Но хотя город замолк, онемел, с ним не осталось связи – сохранился телефон дворцовой линии и телеграфная линия со Ставкой: главный аппарат был в Главном Штабе, наискосок, но в Адмиралтействе отвод. И пользуясь этой линией, Хабалов утром телеграфировал Алексееву в Ставку, что положение трудно до чрезвычайности, верных долгу осталось пехоты человек 600, всадников 500, при 15 пулемётах, всего 12 орудий и только 80 снарядов.

Тем же телеграфом пришёл очень приободривший запрос генерала Иванова из многих пунктов. Там подтверждался предполагаемый приезд Иванова со многими войсками. Хабалов с радостью готовил ответ на все вопросы, уж он не знал, как дожждаться этого блаженного часа, чтобы передать ответственность, а потом, может, и само командование над опустылевшим ему, не принявшим его, враждебным неохватимым Петроградом. (Как бы он мечтал снова уехать в своё Уральское казачье войско!)

Всего-то дожждаться надо было одни сутки.

Но как их дожждаться, если за минувшие сутки потеряна целая столица?...

Ещё в этом же громадном здании где-то пребывал в своей казённой квартире больной морской министр Григорович. Но нельзя было прибегнуть к помощи его или совету: он со вчерашнего дня ни разу не потрудился прийти, не сделал ни одного доброго жеста к войскам Хабалова, только через служащих стеснял их в помещениях, и ещё спасибо, что пускал к прямому проводу.

Вокруг Хабалова было очень много старших офицеров – неизмеримо больше, чем требовалось по этим войскам. И так ему ни разу не пришлось самому пройти к войскам, посмотреть или обратиться. И офицеры не докладывали ему, но своим унылым видом, малословием, бездействием передавали, какая потерянность овладела последней горсточкой верных.

Они, младшие офицеры и солдаты, были верны, верны, но не могли же не видеть, что их командование совсем не знает, что делать, и только слоняется из здания в здание, отовсюду гонимое. А о самом правительстве было известно, что оно разбежалось. Дух бессмыслицы и бездействия растлевал хуже голода и беспатронности. За эти сутки весь город перекинулся в победный мятеж – и каждый час оттяжки, который они тут перебивали, никому не принося защиты и пользы, грозил каждому здесь расправой или карой от мятежа.

Дошло до немислимого: хорошие офицеры-измайловцы приходили к своему полковнику и отпрашивались уйти вовсе.

А другие гвардейские офицеры спрашивали у генерала Занкевича, не найдёт ли он возможным войти в контакт с думским Комитетом, как это, по слухам, уже сделали офицеры Преображенского полка.

В этом была особая странность и бесцельность военных действий: непонятен был противник, где он, кто? Кроме хабаловского отряда, ещё в столице оставалась только

Государственная Дума, но не она же могла быть противником? Отчего не сговориться с Думою? Офицерам-то более всего было непонятно: разве это противоречит присяге?

Занкевич не нашёлся ответить. (Он сам про себя и для себя обдумывал то же самое).

Только артиллерийский полковник Потехин, тот на костылях командир батареи, начал на лестнице говорить малой кучке солдат – а тут их собралось больше, больше, все хотели послушать, ведь никто ничего не объяснял! – и, с костылей, он приободрил громко и внятно на всю сумрачную лестницу:

– Не падайте духом, солдаты! Не смотрите, что город захвачен мятежными бандами, и не ослабляйтесь! Это – временное помрачение мозгов тыловых людей, – и погибла бы Россия, если б оно потекло дальше. Но Россия не с ними, а с нами! Она вся на фронте и противостоит врагу. Этот мятеж – лучшая помощь немцам. Не падайте духом, перенесите лишения, на фронте бывает и тяжелей, – мы стоим до своего!

Слова его, кажется, успешно ложились. Никто не возражал. Однако никто из офицеров не добавил больше. Постояли – и стали расходиться. Ещё неся сказанное. Или уже роняя.

Но каково во всех этих обстоятельствах было военному министру Беляеву, попавшему в такую гибельную ловушку? Как жалел он, что вчера вечером при стрельбе на Мойке покинул свой домин, – с тех пор он звонил туда и соединялся по военному проводу несколько раз, и убедился, что дом не разграблен и никто не приходил, вполне безопасно мог бы и остаться. А теперь его положение было – между молотом и наковальней. Победят мятежники – они не простят ему присутствия здесь, среди хабаловских остатков. (Кто-то из преобразенцев телефонирует, что ночью они получили приказ наступать на отряд Хабалова. А из окон уже было видно, что там, сям собираются группы вооружённых штатских и солдат). Придут войска Государя – ему не будет прощён побег отсюда. А спрашивается – почему он вообще должен вступать в эту историю? Ведь вот же Григорович, правда, придумав болезнь, устроился: сидит как бы в своём министерстве, занимается как бы морским делом? Так и Беляев с Занкевичем (они обменялись мыслями) – вот тут, наискосок, в ста саженьях, сидели бы у себя в Главном Штабе, руководили бы военным делом, и их совершенно не касается, кто тут с кем в Петрограде воюет. Разве революция – против военных людей?

И Беляев, когда появлялся телефон, звонил снова Родзянке, очень рассчитывая, что эти отношения помогут ему с одной стороны. Но тот не обрадовал: он не ручается, что сделает разгневанная толпа с отрядом Хабалова. Очень советует прекратить сопротивление и распустить войска.

Однако, это было не в распоряжении Беляева.

Однако, уж попав сюда, надо было во всяком случае хорошо отметить перед начальством: начальство продолжало существовать, вон слало экспедиционный корпус. И он решил, пока работает провод, слать туда донесения.

Но – что было в донесении выразить? Невозможно же передать весь этот ужас и эту обречённость. И можно прослыть паникёром. Осторожней выразиться так:

...Положение по-прежнему тревожное. Мятежники овладели важнейшими учреждениями, так что сколько-нибудь нормальное течение жизни государственных установлений прекратилось...

А затем уже прямо:...Войска бросают оружие, переходят на сторону мятежников или становятся нейтральными. Скорейшее прибытие войск крайне желательно, до прибытия их мятеж и беспорядки будут только увеличиваться...

Да уж скорей присылали бы, что они тянут!

На квартире Павловых рано утром совали Шляпникову в руки проект большевицкого Манифеста. Шляпникову это понравилось, втайне ото всех партий – да выскочить первыми с Манифестом «Ко всем гражданам России», – и выкусьте! Вооружимся отдельно!

Межрайонцы с эсерами уже успели тиснуть листовку – а мы целый Манифест! Должен бы Ленин похвалить.

Эх, перебежал Матвейка Рысс к межрайонцам, – вот было перо! Как-то умел он грозно писать, аж пожар по строкам, – и для врагов уничтожительно, и для нас ободряюще.

Ну ладно, мы и без тебя.

На этом манифесте уже и писали, и вычёркивали, кто только чего не городил со вчерашнего вечера. И заново переписывали. А до сих пор – не чист и не готов.

Ох, самая невытягательная работа – писать публичный документ, да когда времени не остаётся. Уж тут не до красоты слога, но какой-нибудь важный лозунг не исказить. А ошибиться очень просто, на самом ровном месте, политические формулировки – они как туман переползают, края не найдёшь. Как будто, вот, в руках держал – а опять ускользнуло.

Тут надо такой лозунг вжарить, чтобы всех аж по пяткам ожгло!

Спорили: вставлять ли в Манифест – Совет рабочих депутатов? Шляпников поднатужился, подумал: а что этот Совет депутатов? – он уже и так есть, вчерашний день, и там у нас не большинство, и не будет. А огорошить надо: во главе республиканского строя – значит, царя по шапке! – да создать революционное правительство! (А с нашим оружием мы в нём и погуще засядем).

Ребятам понравилось. Молотов поправил: всё же – временное правительство. Ну, пусть «временное революционное».

Тут надо такие слова двинуть в сознание масс, чтоб никому их назад не вырвать, чтобы повернуть нелегко. А слюняй этот Молотов, хоть ему на неделю дай мусолить, – никогда не кончит.

Да и ребята там у мотора замёрзли. Если ещё шофёр военного министра не сбежал.

Ладно, поехали! – там, в Таврическом, перед заседанием доработаем.

Обошли самокатчиков крюком. Ничего, народ ходит, стрельбы нет. А не сдаются самокатчики, во упрямые! И что им в этом царском режиме? Во, как мозги людям забивают.

До Литейного моста только красное видели на людях. А пересекли мост – какие-то ещё белые повязки на руках. Это – кто такие? Мол, городская милиция. Не-ет, это не наша сила.

Шпалерная сильно запружена: и туда и сюда валят солдаты без строя и вооружённые рабочие. Гудят автомобили, рычат грузовики.

А план у Шляпникова вот какой: создалась у Совета своя газета, и типографию захватил наш человек – Бонч-Бруевич. Из Таврического теперь сразу Шляпников ему позвонил по телефону – и тот обещал катнуть большевицкий манифест сегодня же днём, отдельным выпуском газеты. И никому ни гугу.

Вот так, Вячеслав, дела делаются! Всех обскачем!

Только с текстом торопит. Пошли в какую-нибудь комнату.

Комнат много, а пустых нет. Да никто не знает в лицо членов большевицкого ЦК, вниманья не обращает. В многолюдьи затесались на диванчике в стороне, на коленях читали, и карандашом правили и доспаривали.

Благоденствие царской шайки... построенное на костях народа... – это хорошо, пусть так. Революционный пролетариат должен спасти страну от окончательной гибели, которую приготовило ей царское правительство... – тоже правильно. Но уже и неправильно. Надо чувствовать, как перетекает момент. Со вчерашнего дня солдаты с нами, и надо их не обижать, а привлекать в единые ряды. Значит, надо написать: не только пролетариат, но и революционная армия. Та-ак... Стряхнул с себя вековое рабство... – это не помешает... Временное Революционное Правительство во главе республиканского строя... – ай, хорошо, по всем зайцам сразу! И скажу Бончу, чтоб он на эту фразу не пожалел типографской краски. Верно, мы не указываем, как то правительство создавать. А это – долго думать, да и – кто раньше захватит. Наше дело: все права и вольности, конфискация всех земель, 8-часовой день, Учредительное собрание, – ничего не пропустили? Вот так программы и пишутся, Вячеслав: смело, с плеча, имей в виду.

А ещё: все продовольственные запасы **конфисковать**, очень просто! Когда всё конфискуем – тогда и распределять, а иначе – что же распределять?

Гидра реакции... – это хорошо...Победить противонародные контрреволюционные замыслия... – это правильно.

А вот по военному вопросу – надо за горло брать. Не-ет, это слабо написано, это мямленье: пролетариат не одобряет войны, не хочет захватов. Не-ет!

Но и прямо «долой войну» – рабочие многие отшатнутся.

А вот как: революционному правительству войти в сношения с пролетариатом воюющих стран, понимаешь? Не с правительствами, а через их головы – с пролетариатом! Каким путём правительство будет делать – нас не касается, наше дело дать программу – чтоб дух захватывало!...

И что ещё непременно вставить: что революционное правительство надо немедленно же и выбирать. От фабрик, от заводов, от восставших войск. Лозунг!

И добавить, что: **по всей России!** По всей России поднимается красное знамя восстания. Неважно, что сегодня нет, – завтра будет. Для того и пишем, чтобы было. По всей России берите в свои руки дело свободы! свергайте царских холопов! зовите солдат на борьбу с царской властью! Да прямо даже так: по всем городам и сёлам создавайте правительства революционного народа!

Сильно получилось. Во громыхнёт! Так ожечь, чтоб никому возврату не было! – вот это по-нашему.

Подпись конечно: Центральный Комитет Российской Социал-Демократической партии. Кто там ещё разберётся, что и комитетов несколько, и социал-демократических партий несколько, – а вот мы первые, как единственные!

Разберёт Бонч? Очки наденет – разберёт.

180

Как привыкает фронтовой человек спать даже под разрывами снарядов, так и Кутепов эту ночь крепко спал в угрожаемом доме, куда могли ворваться всякую минуту и требовать крови его. И только проснувшись довольно поздно, вспомнил он опасность, и все старания минувшего дня, и всю бесцельность их.

Стало горько.

О самом себе он всегда почему-то предчувствовал, что кончит роково, не просто его убьют на войне, но каким-то роковым образом – вот, очевидно, как могли вчера, как могут сегодня. Но он ума не мог приложить, что случилось за один день со всею петроградской властью, как она рухнула.

Что запасные батальоны были дрянь, а не гвардия, это ясно. Да по принципу экономии, чтоб далеко не перевозить, набрали здешних рабочих (а к ним листовки носят), да чухны из окрестностей, да лавочников, домовладельцев, белобилетников – маменькиных сынков, кто до сих пор уклонялся. Они развешивают уши к леченым раненым, об ураганном огне, о газах, и одного бы им только – не попасть на фронт. А офицеры все – проходные, они и солдат не успевают запомнить, не то чтобы знать, чем их головы забиты.

Но чтоб у власти не оказалось вообще ни единой опоры и она могла в один день разбежаться, не имея противу себя никаких сплочённых сил? – этого он не мог постичь.

Александр Павлович подошёл к окну своей небольшой комнаты и осторожно высматривал. Видел кусок Литейного проспекта, сад Собрания Армии и Флота и угол Кирочной улицы. Движение было необычное, много вооружённых возбуждённых людей, все с красными признаками. Одна группа неподвижно стояла прямо против дома Мусина-Пушкина, глаз не спуская с его окон и дверей. Вероятно, такая же была и против чёрных ворот.

И всё-таки он не жалел, что вчера отказался переодеваться в солдатское. Сама смерть всегда должна быть достойной, в этом офицерское предназначение.

За чаем ему рассказали несомненные сведения: что правительство разбежалось, Протопопов спрятался в Царском Селе; что полицейских всюду убивают или ведут арестованными в Думу; что старой власти не осталось совсем никакой, даже и военной, и никто не знает ни одного случая сопротивления революции, кроме вчерашних действий его отряда.

Это не вмещалось.

Утром хозяева лазарета хотели продолжить телефонный сбор сведений, но телефон замолчал. Пожалел Кутепов, что не успел позвонить сёстрам, но вчера дал им знать, где он есть.

Наблюдали в окна. Пикеты были напряжены и сторожили все выходы. Хозяева дома очень волновались – из-за присутствия Кутепова, хотя старались этого не показать.

Вдруг, они видели, из-за угла Кирочной вывернули два броневика и два грузовика. Все они были наполнены вооружёнными рабочими. Машины остановились на проезжей части Литейного, рабочие соскакивали, кричали и друг другу показывали на окна. К ним притягивались и рабочие, гуляющие по Литейному.

С броневиков они подняли стволы пулемётов на окна дома – и гурьбой повалили к главному подъезду.

Хозяева заметались. Не открыть было невозможно. Старшая сестра милосердия вбежала и стала уговаривать Кутепова надеть халат санитаря, иначе его убьют.

Но и сейчас этот спасительный маскарад был Кутепову противен.

Он просил хозяев отпирать, о нём же говорить, что ничего не знают. И оставить его совсем одного. (Потом сообразил: это странно и невозможно, чтоб они не знали о присутствии раненого полковника в форме. Он очень неловко поставил их).

Тут была небольшая угловая гостиная с дверьми в соседних стенах, одна дверь выводила к анфиладе по Литейному, другая к поперечной, и против каждой двери большое зеркало, так что идущий издали видел себя. Эта комната привлекла Кутепова, и он решил дожидаться новой власти здесь. В глухом углу между дверьми был стул, и он сел на него, оставив обе двери нараспашку.

И отсюда увидел в каждое из зеркал, как по каждой из анфилад бежал, приближался рабочий с револьвером в руке. Они настолько были похожи, сходностью роста, типа, и чернотой одежды, и красной розеткой на левой стороне груди, что сперва ему померещилось, что один есть отражение другого, потом сообразил, так быть не может.

Ещё потом сообразил, что если он их видит из угла, то и они каждый уже видят его в углу. Но не приподнялся им навстречу.

А случилось иначе: они не видели. Верней, они были, наверное, заморожены своим собственным страшным видом, вряд ли они имели привычку к большим зеркалам. И ещё было яркое солнце в окна. А ещё случилось так, что они стали в дверях ни на секунду раньше один другого, а только одновременно – и чуть головы повернув, увидели друг друга с выставленным револьвером, и что каждый исчерпал свой бег, дойдя до этой пустой комнаты. Если б один появился немного раньше – он имел бы время осмотреть комнату.

Не теряя времени, они так же одновременно повернули и поспешили своей прежней дорогой, показывая теперь в зеркала свои такие же схожие спины, уже без красного.

Они удалились – Кутепов перекрестился. Это было то, что называется простое Божье чудо. Бог просто отвёл им глаза. Значит, Кутепов ещё на что-то предназначался.

Обыск в доме продолжался, проверяли санитаров и раненых, но сюда к нему никто уже более не пришёл – кроме, через полчаса, самих облегчённых хозяев. Они были не только облегчены, но уже и гордились, что сумели сохранить полковника.

На чердаке обыскивающие нашли сложенное вчера отрядом оружие, долго носили его к себе в грузовики – но раненых не тронули. И уехали опять по Кирочной – вероятно, хвастаться в Государственную Думу.

И – сняли все патрули против дома.

Опоминались после пережитого, все оживлённо рассказывали, кто чему был свидетель

и как подумал. Изумлялись спасению полковника.

Кутепов просил у хозяев извинения за всё, но пока хотел бы ещё остаться здесь немного.

Тем временем с Литейного раздалась военная музыка. Кутепов осторожно подошёл к окну и изумился, увидев не какое-нибудь чужое, но своё преображенское знамя, и преображенскую форму на солдатах.

И они с Литейного поворачивали тоже на Кирочную, тоже, стало быть, к Думе.

Ещё это наказание, укор, унижение родного полка должен был он испытать!

Тяжело было смотреть.

Но он знал, что настоящий Преображенский полк, и настоящая армия, и настоящие люди – все на фронте, и скоро, скоро, с часу на час они всю эту нечисть разгонят.

Но самое примечательное и удивительное было – что запасной батальон шёл без единого офицера. Батальон вели четыре унтера, подпрапорщики, и одного из них, Умрилова, Кутепов легко узнал. Офицеров, которые как раз так были настроены за Думу, как раз и не было ни одного. Что ж это значило?

А впрочем, заметил он, что идёт батальон вовсе неплохо. Неплохо.

181

Жил Родзянко от Думы совсем близко, переезд короткий. Хоть и неполная, но получилась ночь, поспал крепко, проснулся часов около девяти вполне свежий. И представились ему сразу цельной картиной все события предшествующего дня и собственное богатырское поведение. И ещё раз, посвежу, удивился он тому и другому.

Раскаивался ли он, что принял власть? Нет, его вершинное положение не давало выбора. В революционной обстановке ещё более, чем в мирной, он естественно становился высшим арбитром.

И совесть верноподданного тоже была в нём чиста: его вынудили обстоятельства и упорство известных лиц, не желавших уступить вовремя и подобру. Это они и создали все гибельные обстоятельства, а Родзянко только спасал Россию.

Правда, очень необычно было это новое состояние – власти, принятой без ведома Государя. Но – он ведь телеграфировал Государю! Зачем же Государь не отозвался?!

Эти две телеграммы в воскресенье вечером и в понедельник утром – его оправдание.

А теперь, когда власть уже взята, – теперь что ж остаётся? Теперь остаётся только решительно идти вперёд – к укреплению этой власти. К отстоянию её и перед Государем, и перед революционной анархией.

А это – равновесие трудное. Тут – бушует толпа. А оттуда шлют восемь полков на Петроград. А надо – сбалансировать.

Против идущих полков Председатель ещё может предпринять телеграфные, телефонные попытки, чтоб их остановить.

Да Родзянко – отнюдь не бунтовщик против трона! Он не только не хотел сотрясать саму монархию – он спасал её!

А получилось, что своим полуночным решением невольно вступил как бы в противостояние Верховной власти, да...

Надо вот что, сообразил он за утренним завтраком: надо продолжать поддерживать прочную связь с Главнокомандующими. Как благоприятны, были ответы Брусилова и Рузского, как вовремя пришлись, надо эту связь продолжать! Надо поспешить послать циркулярную телеграмму всем Главнокомандующим фронтами и флотами: что Временный Комитет Государственной Думы был просто вынужден принять правительственную власть из-за того, что весь состав бывшего совета министров сам устранился от управления. Вполне естественный шаг, а кто бы придумал лучше? Генералы заботятся, как бы не сорвались военные усилия, и их надо заверить, что Думский Комитет – их вернейший в том союзник.

И таким образом для них самих станет бессмысленно посылать войска на Петроград.

Да, верный путь!

Конечно, посылка прямых телеграмм Главнокомандующим, обходя Верховного, была игнорированием военной субординации. Но Родзянко сейчас не состоял на военной службе.

С такими мыслями, ясными, но и тревожными, но и в отличном телесном самочувствии, Родзянко на автомобиле подъехал к Таврическому и хотел, чтоб его подвезли к самому подъезду. Но нельзя сказать, чтобы здешнее столпотворение узнало в нём хозяина дома или ждало его. Толпа и автомобили стояли густо и поперёк, жили своим возбуждением и перемещениями, и крик шофёра, что это – мотор Председателя Государственной Думы, не произвёл слишком большого впечатления. Ещё проехали несколько – пришлось слезть и просто проталкиваться.

Может быть для Щегловитова это и выход – что он заперт, и тем защищён. Иначе б его разорвали, а так он надёжно спрятан. Ничего, пересидит несколько дней – выпустим.

А внутренность своего дворца Председатель тем менее узнавал. У стен вестибюля и Купольного зала соштабелёваны мешки, бочки и ящики – в том неприятном чувстве, как если бы дворец был уже осаждаем. Очень много сновало солдат безо всякого строя и лада, и всяких оживлённых подозрительных штатских лиц, особенно шустрой молодёжи. Всё это двигалось, чем-то было занято – и тоже никто из них не прерывался, не останавливался, не отодвигался, чтобы почтительно пропустить Председателя Думы. Такое было нашествие чужих лиц, что саму Думу трудно узнать. Уж Родзянко не углублялся дальше в Екатерининский зал и, конечно, не пошёл в правое крыло, со вчерашнего дня всё более оккупированное этим Советом их депутатов, – но в левое, где думцы ещё обитали, хоть и в скученности, но отстаивая несколько главных комнат. И среди них – кабинет самого Председателя, оазис размышления.

Достиг Родзянко своего председательского стола – и содвинулось сразу со всех сторон, что и под утро не замирали события и тревоги, и пожелания лиц.

Самое неприятное было, остро ударило Председателя: в Белом зале заседаний неизвестные изорвали штыками большой портрет Государя!

Как будто самого Родзянко кольнули под вздох! Большой портрет Государя, паривший над залом, за спиной Родзянко! Очень не по себе.

И даже пойти посмотреть своими глазами он не решился: увидят все, что пришёл Председатель, и что же? и почему не грянет гром?... А что он мог сделать против этой бешеной толпы?

И тут же известие: под утро Государь выехал из Ставки и движется в сторону Петрограда!

Как будто узнал о портрете – и ехал карать.

Стать во главе своих восьми полков?

Грозные тучи.

Или может быть (надежда!) – он едет всего лишь в Царское Село? Но как он на это решился бы в такой опасный момент?

Тут и, по дворцовой линии, позвонил из Царского граф Бенкендорф: что здоровье наследника в очень серьёзном положении и императрица просит безопасности в районе дворца в такой смутной обстановке.

Сколько лет эта всевластная царица надменничала над Председателем Думы, выказывала ему пренебрежение, отвращала Государя от разумных уступок, – но вот оборвались куцые женские силы, и, раздавливая свою гордость, она просила о помощи?

Да Родзянко и сам беспокоился, чтобы с царской семьёй, чтобы с наследником не случилось худое. Он и вчера вечером сказал Беляеву передать во дворец. И теперь ответил Бенкендорфу:

– Граф! Когда горит дом – прежде всего выносят больных.

Так это ясно. Неужели не догадывается уехать вовремя, чтобы меньше было проблем и забот?

Тут и Беляев, лёгок на помине, единственный из министров, такой услужливый, звонил

из Адмиралтейства, от Хабалова, нащупывая возможность благополучной капитуляции.

Это хорошо, уж войны-то в столице надо избежать.

Но в Таврическом укреплялся свой штаб: допущенная Председателем ночью «военная комиссия». Теперь пришёл Гучков, радостно возбуждённый, и предложил, что он эту «комиссию» возглавит. Отличное решение! Родзянко обрадовался: наш, октябрист, и сильный человек. Важное пополнение.

А другое важное укрепление вот какое пришло в голову Председателю: надо связаться с союзниками. С английским и французским послами. И обеспечить их поддержку Временному Комитету. Это может очень утвердить Комитет.

Прекрасная мысль! Не по телефону звонить, конечно, – да тут как раз и прекратились все городские телефоны. И – невозможно ехать собственной величественной фигурой, не укроется. Но совершенно конфиденциально послать некое солидное лицо, которому будет доверие, – и просить послов тотчас выразить их мнение о происходящем. (Да нет сомнения, что они в восторге.) И их пожелания.

Даже... даже, дальновидно опережая события... каков желателен им дальнейший ход... в смысле конституционных изменений...?

Поддержка союзников стоит тех восьми полков.

Пока выбирал сановного посланца и инструктировал его. Пока подписывал циркулярную телеграмму Главнокомандующим, что Комитет взял на себя трудную задачу создания нового правительства. Тут и члены Комитета, иные ночевавшие в Думе, подступали теперь со своими сомненьями и предложениями.

И вдруг принеслось: что к Государственной Думе подходит целый батальон! – первый за эти дни вполне собранный батальон!

Ответственный момент, он многое решит в дальнейших событиях! Заволновались и забегали: что за полк?

Кто-то издали рассмотрел и понял: преображенцы!

К такой радостной неожиданности Временный Комитет не был готов, не была подготовлена программа, кому говорить и что.

Да! А Шидловский ночью ездил в преображенское собрание? Благодарил офицеров?... Да, и вот обещали привести батальон в Думу.

Бледный, взвинченный, самоуверенный Керенский рвался выступить. Но нет, уступить ему Преображенский полк Родзянко не мог – этих он должен был встретить сам! (К тому ж он начал понимать, что Керенский кричит толпе совсем не то, что нужно.)

И властным жестом, какого думцы привыкли слушаться, Родзянко показал, что будет говорить сам.

Однако пока они тут суетились и решали – батальон с музыкою не только вошёл в сквер и к крыльцу, но, оказывается, повалил внутрь – и никто не смел его задержать. Момент был невыгодный для выхода Родзянко, он пождал. Преображенцы теряли строй, смешивались в вестибюле и в Купольном зале – а потом в Екатерининском вытягивались и разбирались.

Этот зал действительно годен оказался и для военных парадов, и даже раздутый запасной батальон в четыре шеренги далеко не занял полного карре.

Михаилу Владимировичу исключительно приятно было выйти к тому именно батальону, который поддержал его ночью в решающую минуту. И собираясь идти выступать, он задумал, что после речи попросит господ офицеров зайти к нему в кабинет – и отдельно поговорит с ними сердечно.

Но ещё не успел Родзянко дойти до строя – к нему подскочили и предупредили: батальон пришёл – без офицеров! привели – унтеры.

Что это?? Как это возможно?? Как это понять? Почему же без офицеров?

Это всё переворачивало. Ведь именно офицеры телефонировали, что поддерживают, присоединяют полк, – и именно офицеров нет?

Но уже и размышлять было некогда: он входил в Екатерининский. Раздалась звонкая

унтерская команда: «смир-рна!»).

Чем больше зал и чем многолюдней аудитория, тем всегда только больше разрабатывался могучий родзянковский голос. Речь была не подготовлена и обдумать некогда, но сердце подсказывало, как правильно:

– Прежде всего, православные воины, – густо закатил он, однако и напоминая, – позвольте мне как старому военному поздороваться с вами. – И с новой энергией, новой силой и чёткостью: – Здорово, молодцы!

– Здравия! желаем! ваш! псходительство! – неплохо ответили высокоростные преображенцы.

Первое сближение было сразу найдено, хорошо. Родзянко заговорил отечески:

– Позвольте мне сказать вам спасибо за то, что вы пришли сюда. Пришли, чтобы помочь членам Государственной Думы водворить порядок!

Оглядывал ряды. Возражающих не было.

– И обеспечить славу! И честь нашей родины! Ваши братья сражаются там, в далёких окопах, за величие России, и я горд, что мой сын с самого начала войны находится в славных Преображенских рядах. – Ещё одна связь между ними. А теперь и поворачивать и зануздывать: – Но чтобы вы могли помочь делу водворения порядка, за что взялась Государственная Дума, вы не должны быть толпой! Вы не хуже меня знаете, что без офицеров солдаты не могут существовать. И теперь я прошу вас: подчиниться и верить вашим офицерам, как мы верим им. Возвращайтесь же спокойно в ваши казармы, – уже ощутил он, что пребывание этой поддержки в Таврическом может стать весьма тягостным, – чтобы по первому требованию явиться туда, где вы будете нужны.

Ловкач, удобно всё повернул! – из мятежников обратил их в патриотов. Но определённой, что делать, – ничего сказать не мог. И не закончил никаким командным словом. Оттого раздался разброд солдатских голосов: одни кричали, что много довольны, другие – что согласны, третьи просили указать.

А что же указать? Родзянко с трудностью дояснял:

– Старая власть не может вывести Россию на нужный путь. Первая наша задача – устроить новую власть, которой бы все доверяли и которая сумела бы возвеличить нашу матушку-Русь.

С этим тоже были охотно согласны.

А ведь он под «старой властью» имел только правительство, отнюдь не Государя, – а могли понять про Государя? И он не помешал.

– Так не будем же тратить время на долгие разговоры. Сейчас надо вам найти своих офицеров. Собрать разбредшихся по городу ваших товарищей. Сплотиться. Выполнять строго требования воинской дисциплины. И ждать приказаний Временного Комитета Государственной Думы. Это – единственный способ победить.

И горячей:

– Если мы не сделаем этого сегодня, то завтра, может быть, будет поздно. Только полное единение армии, народа и Государственной Думы обеспечит нашу мощь!

И покрыл всё гулкой чугунной крышей:

– Ура-а-а-а!!!

И глоток тысячи две отгаркнули «ура» действительно громовым, не уместным даже в этом зале, как его колонны не покачнулись!

Всё сошло отлично.

Однако загадка: что же случилось с офицерами?

После ночного ухода из Ораниенбаума главных сил пулемётных полков – там начался погром винных погребов, магазинов, лавок и беспорядочная стрельба, – на двое суток.

А пулемётные полки всю ночь пешком двигались на Петроград, прихватывая ещё и попутные гарнизоны.

* * *

В конце ночи и ещё рано утром всё громили гостиницу «Асторию», осталось там и выпить, и вещами поживиться.

В одном номере жила княгиня Нарышкина с сыном, недавно из Италии, при них – учитель сына Марк Слоним, студент и эсер. Ворвался к нему в номер матрос, схватил со стола часы. Кинулся Марк: «Это мои часы!» Матрос: «Да ну?» В грудь толкнул студента, а часы брякнул об пол и ногой раздавил. Другие матросы загоготали, а Марк вскричал в отчаянии: «Да ведь – революция! Что же ты делаешь?!» Тут вбежал ещё один матрос – и оказался из его подпольного кружка, Марк им этой зимой разъяснял революцию. Примирил. Марк им: «Что же вы делаете? Здесь иностранцы живут! Нельзя, скандал!»

Итальянцы, чтоб уйти из громимой гостиницы к себе в посольство, через площадь, собрались кучкой и на палке несли большой итальянский флаг.

В отпуску в Петрограде, жил в «Астории» и генерал-лейтенант Маннергейм, начальник 12 кавалерийской дивизии. Переоделся в штатское пальто, меховую шапку, снял шпоры с сапог – и беспрепятственно вышел из гостиницы. Перешёл к промышленнику Нобелю, который его и спрятал.

В гостинице многие стёкла выбили, а отопление прекратилось.

* * *

Ещё до света у пекарен опять стали жаться хлебные хвосты.

* * *

Перед рассветом группа солдат-москвичей возвращалась из центра к себе в казармы на Выборгскую. Навстречу увидели и узнали молоденького прапорщика их батальона Кутукова, переодетого в солдатскую шинель, – спасался из казарм от расправы.

Не тронули.

* * *

Ночную телеграмму царя, что отставка правительства не принята, так и некому было вручить: министры не дождались, разбежались. Только утром позвонили с телеграфа Покровскому домой и ему передали.

* * *

Всю ночь и утром ещё горел Окружной суд. Проваливались потолки, с треском взбивались столбы искр. В свете зарева ярко были освещены склады Главного Артиллерийского Управления. Любители поживиться не дремали, таскали оттуда ящики, разбивали топорами. Вот ящик солдатских перчаток. Хватают их. Не лезут на руку –

выбрасывают на панель.

* * *

Баррикада в начале Сергиевской у Литейного – не настоящая, а так, наташили орудийных передков, деревянных ящиков, нет высоты и заборности. Рядом поставили две пушки. Около них стоят несколько солдат, позируют фотографу. Торчит из баррикады один обвисший красный флаг.

Никому не понадобилась.

* * *

За ночь выпалились и с утра опять вываливали на улицы, собирались вооружёнными отрядами на поиски врагов революции. И освобождённые вчера уголовные – кто уже переделся солдатом, кто обзавёлся винтовкой, – и с каждым часом всё смелей.

И снова, на чём кончили вчера вечер: арестовывать, грабить, поджигать, пить, мстить и убивать, – на всём раскиде города не было им никакой преграды. Все власти сметены, все связи порваны, все законы потеряли силу. И во всём городе каждый может охранить только сам себя и ожидать нападения от каждого.

Охотников грабить – и в населении оказалось много. Но после вчерашних погромов двери и окна многих магазинов наглухо забиты досками. А в зеркальных стёклах витрин, там и здесь, – пулевые лучистые дырочки.

* * *

На Неве у Франко-Русского общества чинился крейсер «Аврора». Утром рабочие ворвались в него – и крейсер *присоединился*. Захватывали ружья, револьверы, пулемёты. Командир крейсера капитан 1 ранга Никольский и два старших офицера были выволочены на берег и убиты. Старшего лейтенанта Аграновича ранили штыком в шею.

* * *

После того что вчера разоружили кадетёнышей Морского корпуса, на Васильевском острове остался непокорённым лишь Финляндский батальон. Утром прорвалась толпа и в его двор. Убили полковника и капитана, мешавших сдаче. На просторном дворе – движение во все стороны, на всех этажах открыты окна, полные солдат. Крики, шум. Из окна второго этажа студент в смятой фуражке на лохматой голове кричит, почти никому:

– Товарищи солдаты! Царское правительство помещиков и капиталистов свергнуто! Вас больше не пошлют убивать ваших братьев рабочих, как в Девятьсот Пятом. Но вместе с ними – к светлому будущему!

Надоумились, что надо снимать полицейских с крыш и чердаков, – и толпа вооружённых солдат ринулась через ворота. Пробежали мимо офицерского собрания – показалось, что оттуда стреляют (пуля, ударяясь о стенку, сильно хлопает и подымает дымок, похожий на выстрел). Стали палить в верхние этажи. Из чёрного хода выскочила перекошенная прислуга: со вчерашнего дня ни одного офицера в здании нет!

Тем временем набралось в батальоне желающих идти с музыкой по Большому проспекту. Выступили с оркестром – но на проспекте утеряли строй, смешались с толпами, а куда дальше и что делать – никто не знал.

* * *

С утра возобновились поиски городских. Врывались в дома, в квартиры, искали по доносам и без них. Убегающие по улицам ломались в запертые ворота. Ведут арестованных городских, околоточных, переодевшихся в штатское, – кто в извозничьем армяке, кто в каракулевом жилете, кто и вовсе не переодевался, а в чёрной шинели своей, с оранжевым жгутом. Кого привыкли видеть важными, строгими – идут растерянные, испуганные, с кровоподтёками, в царапинах, побитые.

Вот – старый, широкошей, шинели надеть не дали. Баба кричит: «Насрать ему в глаза!»

Ведут с избытком радостного конвоя, человек по пять на одного, винтовку кто на ремне, кто на плечо, кто на изготовку, а ещё кто-нибудь самый ярый – впереди с обнажённой шашкой, и отводит прохожих. И мальчишки с палками.

Из толпы – враждебные крики.

* * *

Волокли за ноги по снегу связанного городского. Кто-то подскочил и выстрелом кончил его.

* * *

На Васильевском острове везли городского на санях, ничком привязанного, а разможжённая нога его бескостно болталась и кровянила. С двух сторон сидело по солдату, и один из них прикладом долбил городского по шее. Озверелые бабы догнали и стали у привязанного уши отрывать. *(Из Ремизова)*

* * *

А пристав 1-го Адмиралтейского участка Эгерт сумел по утреннему безлюдью довести до Думы группу городских строем, спастись под арест.

* * *

Какие полицейские участки ещё не были сожжены вчера – те горели теперь. В костре перед участком горят стулья, горят бумаги, пламя подхватывает их вверх. Через разбитые окна выбрасывают ещё новые бумаги, а кто-то длинной палкой размешивает их в огне. Из толпы кто глазеет, кто греется, приплясывают мальчишки, хлопая на себе пустыми рукавами материнских куртеек, весёлая возня.

Из домов, соседних с пожарами, невольные беженцы с пожитками кочуют в другие дома. Только у таких и беда.

* * *

Ещё кое-где костры – около квартир полицейских приставов сжигают выброшенную

утварь, мебель.

На Моховой из окна приставы грохнули на мостовую рояль, а тут доколачивали прикладами.

Оратор, стоя на ящике, просит товарищей военных не бросать в костёр патроны, они ещё понадобятся в борьбе с контрреволюцией. Но уж как начали забаву – оторваться нельзя, и все бросают. Патроны взрываются с треском и заглушают оратора.

* * *

Что пошло в красное: и большие полотнища, и разорванные полоски. И комические носовые красные платки с белыми каёмками. Цепляют красное на шапки (тогда кокарда), на грудь, на рукав, на штык, на саблю, на палку (тогда флаг), вяжут на шею, на плечо. Банты, бутоньерки, репейники, ленты.

Штатский – ещё может пробираться без красного, и то стыдят, но военный, похожий на офицера, – никак. Офицеру вообще опасно появляться на улице.

* * *

У офицера, воспитателя пажеского корпуса, отобрали на улице шашку и, по его требованию, выдали ему *расписку*. Всё равно опозорен.

А чаще безо всякой расписки: отберут шашку – а заодно бинокль и портсигар.

* * *

Везде – весёлое гулянье. Какие только есть в Петрограде солдаты, 160 тысяч, – кажется, все здесь. И обыватель весь! Солдаты целуются с народом – публика плачет. И никто не молчит – но все говорят, но кричат, но беснуются радостно! Наступило несравненное вселенское торжество! Оно взмывает души, оно не позволяет человеку оставаться вне толпы. (Ещё потому, что в одиночку – нет уверенности: а вдруг всё назад повернётся?) Оно несёт людские толпы по улицам.

А восполняя медленность человеческих тел – во все стороны бешено носятся грузовики и легковые автомобили. Грузовики переполнены вооружёнными: рабочие, солдаты, матросы, студент в экстазе, а то и барышня, а то и офицер с крупным красным. Человек по тридцать впритыску и ото всех торчат штыки – через борта и вверх, и ещё на подножках стоят с винтовками. И ещё торчат из кузовов кровавые флаги, по три и по четыре. А на некоторых – пулемёты. А то, опершись на кабину, какой-то дурак целится вперёд из револьвера.

А вот ломовики и извозчики – совсем исчезли с улиц. Нету.

* * *

Но вот провозят и в санях – арестованного полковника. Вокруг – солдаты на конях.

* * *

Николаевский вокзал немного громили, и он немного загорелся. Вели двух жандармских офицеров, будто бы пойманных при поджоге, – и конвой солдат охранял их от растерзания. Над Знаменской площадью свистят пули, неизвестно откуда и куда. Кассы

закрыты, а поезда отходят, можно ехать.

* * *

Да везде много, бесцельно стреляют, везде ходить опасно. Стреляют из озорства. И чтобы дать выход нервному возбуждению. Довольно одному солдату нечаянно нажать курок, как перепалка охватывает целый квартал. Есть раненые шальными пулями в хлебных хвостах. Стреляют в воздух в виде салютов. И – «довольно, повоевали!» И – в землю из револьвера, под ноги проходим. Стрельба до помешательства. Только слышно, как пули везде летают, многие рикошетом от стен, с непривычки ничего не понять, прячутся от пуль за тумбами объявлений. От непонятных близких выстрелов все взвинчены. Толпа в любую минуту мечется от восторга к страху и ненависти.

Все уверяют и уверены, что это городовые: попрятались по чердакам и перебираются с крыши на крышу неуловимо, оттого всякий раз стрельба с нового места. Все тревожно поглядывают вверх на чердачные окна каждого большого дома. Стоит кому-нибудь указать вверх пальцем – и уже все требуют обстрела и обыска этого дома.

* * *

Шёл офицер в полной форме и без красного. Чернь загнала его с улицы на лестницу дома – и там застрелила, забрызгав стены кровью и мозгами.

* * *

И эта же толпа этих же офицеров в июле Четырнадцатого несла на руках по улицам!... А ведь та самая война и продолжается.

В толпе человек перестаёт быть самим собой, и каждый перестаёт думать трезво. Чувства, крики, жесты – перенимаются, повторяются как огонь. Кажется: толпа никому не подчиняется? – а легко идёт за вожаком. Но и сам вожак вне себя и может не сознавать себя вожаком, а держится – на одном порыве, две минуты, и растворяется вослед, уже никто. Лишь уголовник, лишь природный убийца, лишь заряженный мстью – ведёт устойчиво, это – его стихия!

* * *

Стали выходить на улицу и военные оркестры. Больше всего пристрастны теперь – к наспех разучиваемой марсельезе. А за ними вослед – солдаты, где строим, а где и толпами. Встретятся два шествия – салютуют друг другу выстрелами.

* * *

А на Невском! Знал Невский трамваи, извозчиков, богатые автомобили, богатых пешеходов, знавал при волнениях пешие и конные массы – но никогда не видывал такого: носятся и носятся гигантские ежи из штыков, фыркающая и визжащая, обгоняющая друг друга и разминающаяся при встречах, и нагуживая тревогу, и заворачивая, и заворачивая со скрежетом – вакханалия больших ежей! Невиданные моторные силы вырвались из подземного рабства – и резвятся, и неистовствуют, обещая ещё многое, многое показать.

Вожаков – как будто нигде никаких, всё совершается само.

А на тротуарах – масса вооружённых штатских – с берданками, винтовками, саблями, пулемётными лентами наискось через плечо. Все расцвечены красным, разговаривают с незнакомыми, рассказывают новости из разных концов города, умиляются. Передают, какие полки присоединились к Думе. Гадают, где теперь царь и что будет дальше. Интересно!

* * *

К офицеру петроградской автомобильной части приехал с фронта в отпуск его брат, тоже офицер. А тот имел в распоряжении легковой автомобиль, решил прокатить гостя по городу. Помчали. Радостно и жутко, мелькают штыки с красными флажками. Но из-за встречного в лоб автомобиля пришлось остановиться, а оттуда навели на них винтовки: «стой!». Юноша лет 16, весь красный, глаза бешеные, соскочил оттуда, и сюда, и револьвером ко лбу. А серьёзный студент из того автомобиля: «Господа офицеры, предъявите удостоверение, для кого вы работаете?» Перед дулом безумного офицер-хозяин: «Едем получить такое удостоверение, не знаем, где выдаются». Студент с красным флагом пересел к ним и понесли в Михайловский манеж. Там бродят солдаты всех частей. Штатский в пенсне из-за стола властно: «Вы приехали предложить свои услуги народу?» И повезли их в Таврический – но остановились на углу Литейного и Бассейной: громят винный погреб Баскова. Там толпа, из решётчатых дверей одни поднимаются по ступенькам сильно выпивши, другие теснятся в очереди с горящими глазами, третьи уговаривают их «не идти на гибель». Поручили братьям-офицерам: утихомирить тут.

* * *

С 10 часов утра по всему городу развозят в грузовиках кипами, раздают и сверху разбрасывают 1-й номер «Известий Совета Рабочих Депутатов» за вчерашнее число – напечатали его, наверно, сотни тысяч. Остановится грузовик, трепещет корпусом, – и к нему тянутся руки, и сверху бросают пуки и отдельные листы, и гонятся за ними, рвут из рук, подхватывают со снега. И потом по улицам все читают единственную эту газету. А там всего-то – воззвание СРД, вымученное литературной комиссией.

Несравненно меньше пошёл машинописный, со стеклографа, текст первого возвания Временного Комитета Государственной Думы: что создаётся такой и взял ответственность, – читали его студенты вслух, тоже с автомобилями.

* * *

По Садовой едет автомобиль и объявляет, что следом за ним идут три новых *присоединившихся* батальона. Дикий энтузиазм, крики! По краям панели становятся ждать.

Но батальоны что-то не идут.

* * *

Во многих казармах расстроилось питание. Солдаты бродят по улицам уже и с тоской – ищут, чего бы где поесть.

Так вот ходят целый день, многие и без оружия, с пустыми руками. То готовы – ещё чего-нибудь отчубучить, а то робеют: чего наделали? Ещё и в казармы ли пустят назад, а ну

опять будут вольные выгонять.

* * *

Вышел Ваня Редченков за казарменные ворота, осмелился. И сразу видит: стоит пустой грузовик, а подле него вертится совсем пьяный матрос. На шнурке через плечо у него шашка без ножен, в руках револьвер. Увидел Ваню, обрадовался, закричал, зазвал:

– Товарищ! Р-р-р-р-р! – рукой показывает, как мотор заводят. – Р-р-р-р-р?

– Я не шофер, – обмялся Ваня. – Я вообще тут человек новый, не знаю.

Матрос и слушать не хочет, своё показывает, дёргается, уже гневен:

– Р-р-р-р-р!...

Но тут шнурок у него оборвался, и сабля зазвякала по льду мостовой. Кинулся он за саблей – а Ваня в ворота убежал.

* * *

*Выходи, простой народ!
Раскидали всех господ!
Со свободы стали пьяны,
Заиграли в фортепьяны!*

183

Допустим, морские декабристы, может быть, и опоздали к событиям, но сами события стали делать работу за них, сами события развивались прелестно, великолепно, потрясающе: вялые, нерешительные думцы сумели-таки составить из себя временное правительство! – решились! И не побоялись сообщить об этом факте в Ставку: пусть Полковник узнает о событиях, как они пошли, наконец, без его участия!

Ставка пока молчит, растеряна. А морской Генеральный штаб из Питера сообщил сюда, в штаб Балтийского, что вся столица в руках восставших. И по тону можно понять, что и морской министр сочувствует им. (Григорович – дипломат: им всегда довольны и в Царском и в Таврическом.)

Острые сообщения приходили среди ночи – и вице-адмирал Непенин позвал к себе князя Черкасского ночью же. Уже подготовленное единомыслие направляло адмирала – не выжидать дальнейшего развития событий, не выигрывать на оттяжках, не таить своих взглядов и своей позиции, – но смело открыто занять её. Открытость соответствовала прямооте непенинского характера, а ещё при таких событиях – долгожданных, но и внезапных – стать с ними вровень! Он более всего ценил свои прямодушные отношения с флотом, за что должны были любить его все команды. Он любил сделать крупный жест – и не брать его обратно.

И он приказал объявить командам о волнениях в Петрограде, о подозрении некоторых прежних лиц в измене – и о создании нового правительства.

Впрочем, не успели ещё приказ разослать на корабли для объявления, как из Петрограда пришли какие-то исправочные сведения, что созданное думцами не есть новое правительство, а лишь некий неопределённый комитет. Пришлось изменять и текст объявления командам.

Зато Непенин пожелал сам объехать бригаду дредноутов и бригаду линкоров и сам же прочесть свой приказ. Он дорожил вот этим единством с матросами, какое возникает от присутствия, от вида, от голоса, – дороже и влиятельней, чем отвлечённые строчки приказа усилить боевую готовность, чтоб неприятель, получивший преувеличенные сведения о

наших беспорядках, не попытался бы использовать их. Адмирал Непенин умел выступать перед матросами с манерой грубоватой простоты, которая покоряла их.

После этого знаменательного объезда кораблей, когда он сам возвестил своим матросам наступление новой эпохи, Непенин собрал на штабном «Кречете» флагманов (и князь Черкасский, и Ренгартен по своим штабным должностям присутствовали) и энергично заявил им, что так как ни из Ставки, ни от морского министра не имеет никаких указаний, то будет поступать, как сам найдёт нужным. А точка зрения его – невмешательство в революцию. (Говорилось «невмешательство», а это и значило – помочь ей в критический момент.)

Флагманам понравилось. Некоторые и были празднично настроены от революции, совершаемой во спасение родины. Другие во всяком случае не возразили. И те, кто были круто против, – не решились тоже. Тут сидели и старше Непенина возрастом. Но – знаниями, способностями, блистательной решимостью он ярко опережал их, и это признавалось.

Флагманы соглашались.

Но трое декабристов на устроенном и сегодня закрытом собеседовании всё же сомневались: так ли всё ясно? И достаточно ли верно шагает Адриан?

Черкасский спросил:

– А если *начнётся на судах* ? – что будешь, Федя, делать?

Но почему могло начаться на судах, если руководство флотом открыто сочувствовало революции?

Нет, ну всё же. Гипотетически.

Федя Довконт простодушно ответил:

– Буду поддерживать новый режим.

Черкасский оттенил:

– То есть пойдёшь и примкнёшь к бунтовщикам? Это неправильно, Федя. Пойти в толпу – легко, но было бы довольно непроизводительно погибнуть там от пули какого-нибудь типа, «соблюдающего присягу». Нельзя быть уверенным, что матросская масса так сразу вся и полно поймёт революционные задачи и сразу освободится от черносотенных типов. Нет, надо иметь более продуманный план.

Это верно, среди народной толпы всегда толкуются черносотенные типы – и затемняют всю обстановку, не знаешь какого поворота ждать.

Нет, надо вести себя так, чтобы приносить наибольшую пользу всему делу. Более продуманный план – это верное влияние на верхах. Стали его формулировать.

Надо быть готовыми к тому, что Ставка и царь прикажут флоту поддерживать старый порядок. Тогда Адриан станет перед дилеммой – и задача нашего кружка не дать совершиться этому реакционному наклону. Наша задача – сделать всё, чтобы решение адмирала шло к спасению России, хотя бы и наперекор приказаниям сверху!

Или другой случай: приказание сверху на подавление не поступит, но начнётся, всё-таки, само по себе волнение на кораблях или в Гельсингфорсе, или в Ревеле, возникнут манифестации сочувствия к революции – и адмиралу опять достанется единолично решать: помешать волнениям? или даже военной силой не дать им помешать? Мы должны склонять его ко второму.

В обоих случаях главная задача кружка – влиять на Непенина в правильном направлении: не подчиняться приказам царя! И не мешать революционным манифестациям! Более того: чтоб о таком решении адмирала было открыто сообщено командам кораблей и открыто донесено в Ставку. Впрочем, прямой характер Непенина – порукой тому.

И решили: сейчас же идти к командующему по одному, от младшего к старшему, и решительно высказывать ему все эти взгляды. Даже каждый пусть лично добавит, что вразрез нашим собственным убеждениям – мы не выполним и *его* приказа! И чем бы ни кончился первый разговор – на смену идёт второй, и затем третий.

Кроме того Ренгартен взял на себя обработку каперанга Щастного, а Черкасский – каперанга Кедрова, их позиция влиятельна, и надо их привлечь.

ДОКУМЕНТЫ – 3

**Всем Главнокомандующим фронтами
Балтийским и Черноморским флотами**

28 февраля 1917

Временный Комитет Государственной Думы, взявший в свои руки создание нормальных условий жизни и управления в столице, приглашает Действующую Армию и Флот сохранить полное спокойствие и питает полную уверенность, что общее дело борьбы против внешнего врага ни на минуту не будет прервано или ослаблено...

Временный Комитет при содействии столичных войск и частей и при сочувствии населения в ближайшее время водворит спокойствие в тылу и восстановит правильную деятельность...

**Председатель Временного Комитета
Родзянко**

184

Мозг императрицы и всегда работал по ночам, она и в ровные дни часто ждала сна до трёх, а то и четырёх часов ночи, – так когда уж там она заснула сегодня? А поднялась рано, предписанья врачей лежать с утра перестали быть законом, события звали к необычным действиям и решениям.

Но всегда прежде, при отлучке Ники в Ставку, у неё были проверенные приёмы действий: узнать у Друга правильное решение, затем встречаться с министрами, внушать им эти действия и длинными письмами Государю повторять ту же работу.

А вот наступили события, превосходящие по грозности всё предыдущее, – но не жил уже Друг, и ни одного министра нельзя было вызвать, потеряны все связи, – и письма Государю писать было некуда, и ещё неизвестно, что мог принести его приезд сюда будущей ночью: через кого же он будет повелевать событиями?

Государыня была полна самой мужской решимости и готова к самым мужественным действиям – и тут-то ощутила, что не может без мужской руки и поддержки, – а не было такого человека рядом во всей её свите, и все старшие генералы и полковники были лишь подчинённые её, а поддерживающей руки – не было.

Нет, была! – флигель-адъютант Саблин, не просто флигель-адъютант, но «совсем наш» (как установили когда-то вместе с Другом), «один из двух честных друзей» (первая – Аня), часть всех нас, почти член императорской семьи и одинаково на всё смотрящий, тёплое сердце, добрый взгляд, делил все радости и горести, спутник по лучшим дням яхтенных поездок, спутник Государя в Ставке, правда молод, но государыня руководила им все годы. Сам он не женат, без близких и друзей, и всегда говорил, что никто ему не ближе царской семьи.

Но вот, в Петрограде рядом, где же он был вчера весь день? отчего не примчался, когда увидел разворот событий? Государыня ждала его до позднего вечера, а он вовсе не появился. Это вызывало изумление: что такое непреборимое могло ему помешать?

Сегодня рано утром она вошла в красную гостиную, где ночевала Лили Ден, ещё не вставшая, – и просила её тотчас звонить Саблину, узнать, отчего не едет.

И Лили дозвонилась быстро, и Саблин оказался дома, и Лили передала ему, как государыня нуждается в его поддержке и ждёт, – но Саблин отвечал, что весь дом окружён пожарами, и улицы бдительно охраняются восставшими матросами – и нет возможности ему приехать.

Во флигель-адъютантской форме? Но он мог бы пройти в штатском? Отказ был ошеломляющий. У государыни усилилась нездоровая краснота лица, она приложила руку к своему расширенному сердцу и держала так. Кто угодно мог так отвильнуть! – но не родной Саблин!

Тем временем, пользуясь непрерывавшейся службою телефона, Лили успела позвонить и к себе домой, поговорила с няней, узнала про сына, и ещё позвонила нескольким знакомым – и собирала сведения, что они знают о событиях, видят вокруг себя. Все сведения были ужасны: город – погиб, никаких старых властей нет, никто не знает и о верных войсках, – но уже знают, что Родзянко в Думе объявил создание Временного Комитета, управляющего событиями.

Это последнее как раз понравилось государыне: значит, в последнюю минуту Дума оценила опасность, вызванную ею же самой, и очнулась. Ведь уже есть и какой-то комитет социалистов-революционеров, не признающий Думы. Так в грозные часы мятежа и хаоса даже эти думские типы были более своими, с ними всё же можно разговаривать каким-то человеческим языком. Линевич, посланный к Родзянке, ещё не возвратился. И – как его встретит Родзянко?

С Виндавского вокзала дозвонился граф Апраксин: он ночевал в городе, сейчас до вокзала мог добраться только пешком, весь город в руках революционеров.

От больных детей всё скрывали, они не знали, что творится. Дети и досейчас не знали, что с вечера всё качается на острие: уезжать им или не уезжать. Несколько раз за бессонную ночь государыня склонялась то в ту, то в другую сторону.

Покусывая губы, она ходила теперь по комнатам, то к больным, то от них.

Она любила ответственность и всегда любила свои определительные суждения, свои безошибочные решения, – но сегодня этой ответственности оказалось слишком много с неё! Если больны были бы только дочери и Аня, не сын, – она может быть решилась бы ехать. Но как рисковать наследником, обмётанным сыпью, в жаре, с кашлем, с больными глазами, – как можно рисковать этой сгущённой надеждой династии и России?

Может быть, и эта болезнь детей на благо, кто знает Божью волю? Может быть, их болезнь – спасение: что нельзя покушаться на них?

Никогда так тяжело не ощущала она, что можно и **не знать**, погоняемой минутами, какое решение правильное и неправильное, вот утекало между пальцами! Вот сейчас – она спросила бы Государя и мужа и без спора бы поступила, как он велит, но именно сейчас он в пути, и связь прервалась.

И куда срываться ехать, если он следующей ночью приедет сам?

Странно другое: что с позавчерашнего позднего вечера и вчера целый день она бомбардировала его отчаянными телеграммами – а он, так отзывчивый на каждое её слово, – не отозвался, что слышит её тревогу.

Но впрочем, конница из Новгорода (идёт? уже подходит?) – это и был его лучший ответ.

Не предполагая, как рано государыня бодрствовала, лишь в 10 часов утра попросили у неё приёма Бенкендорф с генералом Гротеном.

Их городские сведения были: ночной звонок генерала Хабалова из Зимнего дворца и тяжёлое положение верных войск. А доклад их был: что по указаниям Воейкова они ещё с вечера, не докладывая государыне, вели подготовку её собственного поезда – и сейчас всё готово к погрузке и к отъезду, если она прикажет!

О-о! Снова и мучительно требовали от неё этого решения!

Нет! Окончательно – нет! Это губительно для детей. (И сколько б ещё хлопот эвакуировать капризную Аню со всей её докторской свитой.) Они будут ждать здесь приезда Государя. Всего осталось уже меньше суток.

Но – преодолела брезгливость. И поручила Бенкендорфу телефонировать Родзянке, напомнить ему о болезни наследника и просить о защите императорской семьи.

В Царском Селе было уже беспокойно. Целыми отрядами и одиночками появлялись

офицеры и солдаты, бежавшие из революционного Петрограда, – рота волынцев, смешанная группа из Петроградского полка, – но и в здешних полках они не находили приюта и маршировали дальше, в Гатчину. Запасные батальоны императорских стрелков – каково! – уже тоже волновались, от их казарм слышались выстрелы, а то музыка и песни. Говорили, что есть стычки между разными, желающими и не желающими бунтовать. Говорили, что появились из Петрограда революционные автомобили. (Правда, передал во дворец в успокоение комендант Царского Села, что царскосельская артиллерия не имеет снарядов. Каково?? И это – успокоение? Да – *чего* же мы боимся?)

Вернулся Бенкендорф от телефона. Родзянко ничего не обещал, а передал всего лишь: «Когда в доме пожар – то больных выносят в первую очередь».

О Боже, как безжалостно! какие страшные слова! Призрак того же решения – срывать больных – наступал опять.

Комендант Гротен, видя мучительные колебания императрицы, предложил: в усиление конвоя и Сводного полка ввести во дворец также и гвардейский экипаж.

Императрица просияла и тотчас согласилась. Изо всех гвардейских, любимых и подшефных частей императорской семьи – гвардейский экипаж был самым любимым, в сердце близким всей семье.

Младшие здоровые дочери, услышав, что вводят экипаж, ликовали: «Это будет совсем как на яхте! Уютно!»

Тут доложил императрице граф Апраксин. Он пробрался из Петрограда в штатском, без придворных регалий.

После гнева государыни три дня назад Апраксин держался настороженно. (Он не был уверен, не ждёт ли его увольнение.) Но картины безумной столицы стояли перед его глазами, и тем поразительней было ему, что здесь, во дворце, как будто ничего не изменилось. И с новым напором он взялся убедить государыню в растущей опасности, которая может нахлынуть в любую минуту сюда. Он несомненно считал: срочно уезжать, и вот куда: в Новгород!

По усталому красноватому лицу императрицы, от многих болезней и всегда старше своих лет, а за эти дни ещё порезчавшему, – при слове «Новгород» прошла светка. На это и рассчитывал Апраксин:

– Именно в Новгород, который так предан династии, Ваше Величество! Где-то должно открыться такое чистое место, куда соберутся верные люди, откуда начнётся сопротивление. И уж во всяком случае там будут в безопасности августейшие дети. Это стоит того, чтобы рискнуть перевозить и больных!

Просветилась улыбка славного воспоминания на удлинённом твёрдом лице императрицы, твёрдая, как все её улыбки. Но уже в улыбке было и отрицание. Она уверенно покачала головой.

Граф не представляет, как опасно перевозить больных в таком состоянии. Но в этом нет уже и необходимости: сам древний Новгород идёт к нам сюда, на выручку.

Но – как дожить до этой выручки? и до приезда императора?

Государыня ходила по комнате, растравленная сомнениями. Ей нужна была мужская поддержка, не подчинённые лица, – сейчас, сию минуту! Она не выдерживала больше бремени решений – не только ведь за семью и за свой дворец, но и за Петроград, оставленный на неё!

И – почему же не шёл, ничем не проявился, не дал о себе знать, не запросил приказаний тут же в Царском Селе сидящий Павел? Старший из великих князей! Старший из генерал-адъютантов! Так ли уязвлён долголетней семейной обидой? Так ли отвержен царским запретом после убийства Друга?

Уже несколько дней шло молчаливое соревнование самолюбий – императрицы и Павла – кто первый уступит?...

Но ведь он же – инспектор гвардии! но ведь он – даже обязан! Если гвардия не подчиняется ему – пусть едет на фронт и оттуда привозит верных.

Поделилась с Лили – и та подала золотую мысль: а может быть великий князь Павел Александрович не смеет нарушить этикет? просто не смеет первый обратиться?

Ах, вот как? Так это открывало возможность императрице обратиться первой, это слагало запрет:

– Лили, милочка, позвоните великому князю от моего имени и скажите, что я прошу его немедленно прибыть сюда, во дворец.

Но не успело полегчать от этого решения, ещё не было ответа от Павла – была половина двенадцатого, – снова пришёл комендант Гротен и доложил: с железной дороги передали, что через два часа все пути будут отрезаны и прекратится всякое движение.

Два часа! – так если даже и решиться ехать, то уже и не успеть собраться!

Петля стягивалась!

Как – решиться? Как верно?

185

В самокатном батальоне ночь прошла – посланные в штаб Округа разведчики не вернулись. И никого другого с приказаньями не прислал штаб Округа от себя. А телефон со вчерашнего вечера не работал.

Так ничего и не узнал полковник Балкашин: что же происходит в городе? И что правильное он должен делать? Всё рухнуло как внезапный обвал: вчера утром он поднимался начинать обычный учебный день батальона – и вот ввергся в осаду неожиданным неизвестным противником, неподготовленный, неснабжённый и без единого приказа, как и на войне бывает редко.

Ночью была у него мысль: пока толпы разошлись – выйти боевым строем и идти в центр города. Помех бы не было никаких, все мятежники спали. Но не имел он права оставить большое боевое хозяйство батальона, всё техническое снаряжение, – разокрадут, уже начали с Сердобольской.

Не доносилось признаков, чтобы в городе шли бои, сопротивление лояльных войск. Но ещё трудней было представить: как же полторастотысячный гарнизон мог сразу впасть в обморок и в бессилие?

Так и оставил Балкашин своих самокатчиков на месте.

Рано утром была слышна сильная стрельба от их трамвайного дома с Сердобольской. Но не послал подкрепления: всё же там оборонялись в каменном здании, а здесь – деревянные бараки, деревянный забор, вообще никакая защита.

Распорядился рыть по малому периметру окопы в мёрзлой земле. Но не хватало ломов и кирок.

А тем временем на Сампсоньевском проспекте снова начали собираться толпы вооружённых рабочих и солдат – и очень злые.

Потом к ним подъехали два броневедомола – страшное оружие в уличном бою! – и навели пулемёты на бараки самокатчиков. И стояли так.

Бросаться на них штурмом – будут потери.

Да не начинать же самим.

А тут подошёл и третий броневедомол.

Эх, не ушли ночью!

Кричали – сдаваться.

Самокатчики молчали.

И тогда – стали бить из пулемётов.

И – нечем было закрыться! – беззащитные мишени, в любой точке ожидающие пуль. В каждом бараке появлялись раненые и убитые.

Зато и свои шесть пулемётов отвечали в окна и в щели, тоже не прикрытые, привлекая на себя огонь. Начальник пулемётной команды капитан Карамышев и сам стрелял, и кого-то посек.

И перевязывать раненых нечем было, ни к какому бою здесь никогда не готовились, и эвакуировать некуда. Так лежали – и домучивались.

И всё же простоял батальон на такой перестрелке. Мятежники замолчали. Стихло.

Один из ротных командиров склонял полковника Балкашина сдаться. Балкашин пристыдил его.

Толпа подступила – и начала валить забор. И часть свалила. И сваленный забор в двух местах подожгли.

Солдаты одной из боевых рот, предназначенной к близкой отправке на фронт, пытались в проломе выйти с белым флагом – но капитан Карамышев пригрозил им пулемётным огнём – и воротил.

Сердце сжималось за бедных самокатчиков. Но противно всяким воинским правилам было бы – сдаться дикой толпе. Балкашин обходил бараки и уговаривал роты держаться.

Тем временем подожгли и крайние бараки. Пришлось покинуть их и собраться в средние.

И тут, это уже было после полудня, к осаждающим подкатили два трёхдюймовых орудия. Приняли боевое положение – и стали прямой наводкой разносить бараки, пробивая бреши, зажигая стены! – хуже, чем фронт, там сидят в земле. Рушились потолки, нары, сундучки с солдатским имуществом, – казармы перестали быть укрытием, и уцелевшие выскакивали во двор, кидались за снежные кучи, иные бросали винтовки.

И тогда полковник Балкашин прибег к последней попытке: стал строить учебную команду, перед ней оркестр – чтобы удивить, пройти головой, а за ней остальные.

Но их секли картечью и пулями, не давали приготовиться к броску, самокатчики разбегались.

Да и куда пробиваться? – ведь Сампсоньевский надолго-надолго весь запружен толпою.

Тогда Балкашин поднятою рукой показал своим во дворе, что сейчас всё уладит. И ни с кем из офицеров больше не обмениваясь, один вышел за ворота.

Его неожиданное появление вызвало остановку стрельбы. Несколько раз прежде раненный георгиевский кавалер и тут поднял руку, призывая ко вниманию, и густым командным голосом объявил:

– Слушайте все! Солдаты-самокатчики не виноваты, не стреляйте в них! Приказ обороняться отдал им я, исполняя долг присяги. А теперь отдаю...

Спохватились. Раздался нестройный залп, кто раньше, позже, – полковник упал мёртвый.

И ещё кинулись его дотыкать штыками, ножами.

А толпа ринулась мимо – в ворота, особенно убивать офицеров, кого увидят. И избивая солдат.

Некоторые успели бежать через заснеженные огороды.

Горело во многих местах, клубился дым.

Самокатчики выходили сдаваться с поднятыми руками.

Их били.

186

Вот чудо – произошла!! И до того мгновенно, что не могло вместиться ни в какую голову: гнетущая трёхсотлетняя власть отпала с такой лёгкостью, будто её и вовсе не было! Ещё вчера вечером нельзя было понять всего значения. А сегодня утром проснулись и узнали, что революция уже везде победила – сама собой, неслышно, как может выпасть ночной снег, всё царственно украшая. В столице – уже по сути всё и совершилось. Если нужна была оборона, то где-то уже за пределами города. Конечно, вся остальная Россия ещё лежала во тьме и неясности – но вот уже адмирал Непенин телеграфировал из Гельсингфорса, что весь Балтийский флот присоединяется к революции.

Такая бескровность победы! – невероятный праздник! Что-что, но сопротивление царского режима всегда ожидалось долгими смертными боями. От неожиданности победы Андрей Иванович ощущал в душе и радостное свечение, но и тревожное разрежение. Настолько хорошо, что уже и тревожно, что уже и быть не может так.

Да неужели только позавчера они стояли со Струве на Троицком мосте – и поминали революцию как фантастическую и даже нежеланную невозможность?

А сегодня утром у того же Винавера собрался на завтрак кадетский ЦК и обсуждали: как бы революцию примедлить. (А – стремиться ли к сохранению монархии? Пока не голосовали, но Милюков настаивал: сохранить, Винавер уже сильно колебался.)

И многие члены Думы пребывали в этой душевной взлохмаченности. Слонялись по Таврическому – нет, пробивались локтями по своим привычным помещениям – в робости, растерянности, непонятном состоянии, когда не знаешь, как себя вести.

Сколько раз в костюмной тройке, крахмале и галстукe пересекал Шингарёв этот обычно пустынный Екатерининский зал, иногда с подбавкою разряженной публики с хор, проходил, всегда привязанный сердцем к нуждам огромного, прямо не видимого, обобщённого народа, о котором были и все мысли, и все речи, – а никогда не грезилось, что этот народ и сам явится в Таврический дворец – несколькими тысячами, десятком тысяч. Бесконечно трогательно было видеть вчера вечером поздно, как разрозненные солдаты постепенно составляли винтовки по нескольку в пирамидки, постепенно опускались на пол, прислоняясь к белым колоннам, потом и ложась на паркетный пол. Бесконечно умиляло это доверие, с которым солдаты, отбившиеся от частей, приходили именно в Государственную Думу, наслышанные о ней, веря в неё, храм свободного слова, под кров её и защиту. Ведь для многих из них, не петроградских, этот город был темнее дремучего леса, а вот нашли ж они себе здесь верный огонёк и убежище. У какого другого народа могла бы проявиться такая непритязательная простота?

А сколько наивности прекрасной было вот в этом приходе в Думу с оркестром, чтобы здесь послушать подбодряющие речи! После вчерашнего бунта солдатам было радостно мириться с офицерами и возвращаться в законность, – им легко становилось на душе. Лейб-гренадеры вошли прямо сюда, в Екатерининский зал, и тут перестроились. Шингарёв с любопытством и удовольствием смотрел на это зрелище от стены. Родзянко встал на кресло, ещё тяжелей и крепче себя, и гаркнул над головами приветствие.

И ему отрявкнули «здравия желаем» лейб-гренадеры с силой, какая в этом зале не раздавалась от сводного потёмкинского оркестра после взятия Измаила.

– Спасибо вам, – гремел Родзянко, – что вы пришли помочь нам восстановить порядок, нарушенный нераспорядительностью старых властей! Поддержите же традиции доблестного российского полка, которые сам я, как старый солдат, привык любить и уважать.

Наивный простоватый Родзянко, он уверен был, что его личная причастность к армии в молодости тут всех воодушевит и расположит.

– Государственная Дума образовала Комитет, чтобы вывести нашу славную родину на стезю победы и обеспечить ей славное будущее... Православные воины! Послушайте моего совета. Я старый человек и обманывать вас не стану. Слушайтесь ваших офицеров, они вас дурному не научат. Господа офицеры, приведшие вас сюда, во всём согласны с членами Государственной Думы.

Откуда он это взял? Это ещё очень было вилами по воде. Конечно, многие офицеры, развитые и молодые, находились под влиянием Думы, – но многие были и преданы трону, а третьи знали только присягу и устав. Очень может быть, что часть офицеров сейчас пришла сюда не добровольно. У некоторых и был вид, что пришли на казнь, – опущенная голова, невидящие глаза.

– Итак, я прошу вас подчиняться и верить вашим офицерам, как мы им верим. Прошу вас спокойно разойтись по казармам. Ещё раз – спасибо вам за то, что вы явились сюда! Да здравствует Святая Русь! За матушку-Русь – ура-а!

Охотно подхватили и раскатили «ура». И Родзянко осторожно слез с кресла.

А вслед на то же кресло не без труда забрался Милюков, тоже не слишком привыкший к таким упражнением.

– С вами говорит член Временного Комитета Государственной Думы Милюков! – объявил он, даже и без обращения, не найдя ли его.

Куда, голос его был не тот, да ещё для такой толпы. В несколько голосов ответили:

– Знаем.

Не солдаты, конечно. Никого они здесь не знали. Как странно, наверно, им было выслушивать солидных образованных людей, свои первые речи в жизни.

Но и Павел Николаевич никогда в жизни не выступал перед простым народом, а только перед аудиториями академическими и парламентарными. Однако он топорщил усы решительно и поглядывал довольно смело на солдатский строй. И голосом прихрипшим настаивал:

– После того как власть выпала из рук наших врагов, её нужно взять в наши собственные руки. И это надо сделать немедленно, сегодня. Ибо мы не знаем, что будет завтра.

Крикнули одобрительно в нескольких местах, но, кажется, не в строю – может, те именно, которые кричали «знаем!».

– Что же нужно сделать сегодня для того, чтобы взять власть в свои руки? – докторально спрашивал Милюков. – Для этого мы должны быть прежде всего организованными, едиными и подчинёнными единой власти.

Неразборчивым проплыванием его слова миновали строй. Ах, не умели они говорить в такой момент! Знал Шингарёв, как звучит его собственный голос, несравнимо убеждая всех ещё прежде слов. Кажется, дай говорить, он сейчас собрал бы сердечным касанием сочувствие всех солдат Петрограда и убедил бы их во всём, что нужно! Но он не был член думского Комитета, да и в кадетской партии существовало довольно строгое чиноподчинение и разделение обязанностей. Павел Николаевич был установленный несомненный лидер и самый умный в партии человек, и говорить было теперь ему.

– Такой властью является Временный Комитет Государственной Думы. Нужно подчиняться ему, а никакой другой власти! – очень настаивал перед солдатами строгий барин в крахмальном воротничке и очках. – Ибо двоевластие опасно и грозит нам распылением и раздроблением сил.

Это – в Думе так можно было бы сказать. А здесь – просто не поняли, и вся тирада легла зря.

Но задумался и Шингарёв: почему он говорил «двоевластие»? Если имел в виду трон – так двоевластие была пока единственная возможность для Комитета. А если имел в виду разбродных революционеров, митинговавших тут же, в Таврическом, – так они не набирались на власть.

Павел Николаевич совсем избегал слова «революция» и не напоминал об идущей войне с Германией (чтоб не потерять аудиторию на первом же шаге?). Его скучная полоса доводов тянулась скучным голосом, и не пробивалась короткая ясность:

– Помните, единственное условие нашей силы – организованность! Неорганизованная толпа не представляет силы. Если бы вся армия превратилась в неорганизованную толпу, то достаточно небольшой кучки организованных врагов, чтоб её разбить. Надо сегодня же организовать. У кого нет – сами найдите и станьте под команду своих офицеров, которые состоят под командой Государственной Думы. Это вопрос сегодня очередной. Помните, что враг не дремлет.

И только под конец через месиво повторений пробилось:

– И готовится стереть нас с вами с лица земли.

А эта угроза – была, может быть, сразу и слишком сильно высказана? Но и – чего же другого теперь ожидать от царя? Можно себе представить гнев в Ставке!

А Милюков в ободрение солдат или в ободрение самого себя спросил:

– Так этого – не будет?

– Не будет, – розно и неуверенно закричали ему.

Да, и солдаты ощущали странность этой радости, этой победы: она была как будто безгранична, а совсем не было в ней полноты.

Гренадеры шумно поворачивались и шаркали, начиная освобождать место какому-то другому пришедшему батальону.

Шингарёв подошёл к Милюкову. Павел Николаевич моргал, кажется, недовольный собою, выражение кислое. Он был в сбитом состоянии от этих выступлений при необычной аудитории, сегодня рано утром ездил выступать перед солдатами и на Охту. Он не высказывал, но очевидно понимал, что выступления его выходят без эффекта. Но у него хватало нервной энергии перерабатывать в себе трудности и неприятности.

Принято было между ними, что Шингарёв, второй человек в думской фракции кадетов, всегда советуется с Милюковым, чем ему заняться.

Он – вполне готов был произносить речь перед следующим батальоном, но и отлично понимал, что раз прогнали слепую безумную власть – то надо же кому-то и садиться работать вместо неё. И вполне оказался готов, когда Милюков сказал озабоченно:

– Андрей Иваныч, там эти поворотливые из совета рабочих депутатов уже учредили свою продовольственную комиссию. Так они и всё продовольствие могут сейчас захватить – а это питающая жила. Надо отстоять там наши позиции. Знаете, пока что, пока прояснится ситуация – а идите вы от нас к ним туда заседать, да попробуйте стать и председателем, ведь вы же толковей их всех.

Шингарёв задумался.

– Ведь вы же из кадетов! – наиболее в курсе. Кому ж, как не вам? Пока. Пока всё прояснится.

И Шингарёв – согласился. Это верно. Речи произносить – не самое первое дело. И не толкаться бессмысленно в комнатах думского Комитета, узнавать новости, ахать и рассуждать, как пойдёт развитие событий. И не комиссии военно-морского бюджета заседать сейчас в этом темпе революции. А продовольствие, конечно, нужно всего срочней, и Шингарёв незаметно для себя за последние месяцы, действительно, втянулся в дискуссию о хлебе (как попадал он и всегда во все острые дискуссии). И – он же составлял, да, в декабре, продовольственный план Прогрессивного блока (не слишком увязанный и не слишком ясный самим, но с сильным плановым элементом в заготовках, перевозках и распределении, неповышаемостью твёрдых цен, отстранением от дела всей государственной администрации, с общественностью на замену).

Получалось – да, ему в эту комиссию и идти. Всего полезнее сейчас и есть: считать пуды муки и их пути в хлебные фунты. Пока утвердится кадетская власть – и Шингарёв сможет достойно заняться своей другой парламентской специальностью, на которой годы руку набивал, – финансами.

Как всегда у них предполагалось, Шингарёв будет министром финансов.

187

Ожидаемый спаситель родины и трона генерал Николай Иудович Иванов мало поспал в эту ночь, – уж как начнутся заботы, не поспишь. Проснулся же по обыкновению рано. А утром-то – лучшие и мысли! Как мог он начинать ехать к Петрограду и вести доверенные ему войска, не разобравшись толком в этой путаной петроградской обстановке? Ясно, что надо было прежде получить самые полные разъяснения. И лучше всего это было сделать, вызвавши Хабалова к прямому телеграфному проводу и предложить ответить на главные вопросы. Которых, стал Иудович набирать, сидя в вагоне на своём любимом мягком диване за столиком, набралось десять.

С этими вопросами он к восьми утра уже был в генерал-квартирмейстерской части (между тем обдумывая и свою докладную Алексееву насчёт возложенного диктаторства, как от него уклониться, и поручение адъютанту закупить сейчас же в Могилёве провизию,

которой тут много, для петербургских знакомых генерала).

Запросили Петроград. Из помещения Главного Штаба ответили, что генерал Хабалов находится в Адмиралтействе, выход его оттуда может вызвать арест на улице революционерами. Но пока есть отвод прямого провода на Адмиралтейство, соединим.

(Вот так положение в столице! И – куда же ехать?..)

Ну хорошо, пусть ответит хотя бы через доверенное лицо. Передали им 10 вопросов.

Поднялся уже и Алексеев. (Вот ему бы – и ехать.) И представил ему Николай Иудович на своём генерал-адъютантском бланке, что в минувшую ночь, около трёх часов пополуночи, Его Императорскому Величеству благоугодно было повелеть доложить начальнику штаба Верховного для поставления в известность председателя совета министров о том, что все министры должны беспрекословно исполнять все требования генерал-адъютанта Иванова.

Если достоверность этих полномочий требует проверки через сношение с царским поездом – генерал Иванов готов был ждать. (Всякий оттянутый час приносил облегчение задачи, а оттягивать всегда может найти законные поводы тот, кто долго служил в армии.)

Такой проверки быть сейчас не могло. Но и столь важного распоряжения не мог Алексеев подтвердить по словесной передаче. Он так и обещал передать в Петроград Беляеву, что есть такая словесная передача. А генерал-адъютанту Иванову предусмотрительно выписал лишь документ, по каким статьям Полевого управления войск ему предоставляется право предавать военно-полевому суду отдельных гражданских лиц и целые категории их.

Затем уведомил его Алексеев, что распорядился придать ему по пути ещё артиллерию, даже и тяжёлую.

А Иванов напомнил, что войск у него мало, и надо бы добавить с Юго-Западного фронта гвардию.

За пределами того Алексеев никак уже Иванова с выездом не торопил, больше не вмешивался.

А задача Николая Иудовича была двойственная: чтоб если придётся обороняться – то было бы войск побольше; а если сражаться не придётся (как уже сдавалось по петроградской обстановке), то было бы их поменьше и подошли б они как можно несвоевременней: тогда меньше придётся перед новым правительством отвечать за всю эту поездку.

И он не настаивал перед начальником военных перевозок и не в принудительной форме телеграфировал Рузскому на Северный фронт и Эверту на Западный насчёт точных сроков доставки всех этих пехотных и кавалерийских полков, а только назначал, что будет не сегодня, а завтра с утра ждать на станции Царское Село. Какие-то из этих полков ещё и с места не трогались, какие-то уже были в эшелонах, третьи готовились к погрузке на отправных станциях, – ох, с такую массой войск его миссия не могла кончиться благополучно! Во всяком случае прямо в Петроград ни одной части он не назначал, а только не доезжая.

Ещё дал телеграммы коменданту Царского Села готовить завтра помещения для расквартирования.

А между тем георгиевский батальон, светлокоричневые погоны с ленточкой посередине, у многих по 3 и 4 георгиевских креста, – во главе с генералом Пожарским был уже вполне готов к движению, хотя тоже, кажется, без большого пыла. Пожарский был совсем не тот доблестный князь на Красной площади, и не поджарый, но толстый и сильно недовольный поездкой, как видно. Повелел генерал Иванов выдать всем солдатам по 120 патронов, а пулемётная команда вооружена, – и отправляться в 11 часов. И об их эшелоне уговорился с начальником перевозок, что он по выгрузке не воротится в Могилёв, но пребудет в Царском Селе в распоряжении генерал-адъютанта для возможной обратной поездки.

Сам же генерал-адъютант со своим вагоном пока не ехал с ними, но оставался ещё осмотреться, подумать, да и дожидаться ответов Хабалова.

В двенадцатом часу дня пришёл и ответ Хабалова на 10 вопросов.

Итак: какие части в порядке и какие безобразят? Названы немногие в распоряжении Хабалова, прочие перешли на сторону революционеров или по соглашению с ними нейтральны. Какие вокзалы охраняются? Все во власти революционеров.

Ничего себе, хорошее начало...

В каких частях города поддерживается порядок? Весь город во власти революционеров, телефон не действует, связи с частями города нет.

Так тогда – с какой же стороны в город можно вступить?...

Все ли министерства правильно функционируют? Хабалов предполагает, что уже – ни одно. Какое количество продовольствия в городе? 25 февраля было 5 с половиной миллионов пудов муки.

Поразительная цифра! – это не только до нового урожая, но Петроград может и другие города снабжать. Откуда ж волнения?...

Много ли оружия в руках бунтовщиков? Все артиллерийские заведения у них. Какие военные власти в вашем распоряжении? Один начальник штаба.

Ну-у-у... При таких ответах правильное решение генерал-адъютанта Иванова было бы – вообще не ехать.

Но у генерала бывает порой столько же свободы, сколько у солдата.

И оставалось – тянуть свой вагон вослед георгиевскому батальону.

Тут принесли исправление цифры: не 5 с половиной миллионов пудов муки, а 550 тысяч. Вкрался лишний ноль.

188

Отряд поручика Вержбицкого вчера в темноте достиг своего трёхэтажного здания на Сердобольской улице – прежде трамвайного управления с гаражами, теперь разграбленных гаражей самокатного батальона. Какие-то фигуры ещё шевелились там, но от одного залпа в воздух исчезли.

В доме не действовало ни электричество, ни телефон, ни отопление. Зажгли свечи – стали снаружи пулями стёкла бить. Пришлось потушить. Так и заночевали, выставив наружные посты.

А противник – за домами поразжёт костры.

Все самокатчики были ребята молодые, развитые, дельные, только не обстрелянные на фронте. Да и трое офицеров тоже молодые, поручику двадцать семь.

Со стороны города всё время доносилась ружейная и пулемётная дальняя стрельба, в трёх местах поднимались пожарные зарева. Во всём огромном городе развернулось восстание, но связи не было, приказаний не поступало, и во всём нужно было действовать по своей догадке.

Переночевали в холоде, однако спокойно. Перед рассветом забрали внутрь свои посты, забаррикадировали мебелью и хламом входные двери, расставились при окнах.

Но и ещё несколько часов никто не нападал, и улица рядом оставалась пустынной, хотя на других улицах видно было из верхних окон движение, вооружённые люди и грузовики с красными флагами.

Стали ждать. Одно плохо – со вчерашнего полудня ничего не ели.

Но вот захлопали по их зданию выстрелы, зазвенели разбиваемые стёкла, полетела штукатурка, бело дымя.

Самокатчики пока не отвечали, офицеры присматривались.

Окружающие – штатские, матросы и солдаты, стали накапливаться – за домами, за постройками станции Ланской, за железными переплётами и каменными устоями моста Финляндской железной дороги через Сердобольскую улицу. И со всех сторон много стреляли, не жалея патронов.

Стали из окон отстреливаться и самокатчики. Странное чувство – вести огонь по своим. Никакого озлобления, и стрелять не хотелось. Да те, стрелявшие снизу вверх, только и били

по потолкам.

Но потом, видно, появился у них понимающий командир: он разместил по крышам и вторым этажам хороших стрелков – и у самокатчиков появились раненые и убитые, а перевязочного материала не было.

Стали свирепеть, «свои» – перестали быть своими. Стали бить серьёзно, и кто высовывался из-за трубы или карниза соседних домов – скатывался с крыши.

Подкатил бронированный автомобиль, выпустил пулемётную ленту по окнам – но что-то у него заело, и он ушёл.

Тогда какие-то собрались в непросматриваемом пространстве, на тротуаре у самого дома, прикатили бочку, и стали насосом подавать в окна огненную струю.

Загорелись шинели раненых, лежащих на полу.

Нечем было ответить, не было ручных гранат, но догадались разбивать печку – и сбрасывать на головы огнеметчиков тяжёлые изразцы. Прогнали.

Однако убитых и раненых становилось всё больше. Особенно метко били несколько, кто залёг за насыпью железной дороги, за переплётами моста. Сами они были хорошо укрыты – и не подпускали к окнам. Самокатчиками овладевали неуверенность и смятение.

Тут сверхсрочный пулемётный унтер-офицер Орлов подбежал к подпоручику Левитскому и поманил, что из другого конца здания этих замостовых хорошо видно во фланг. Действительно, не догадались раньше, отсюда противник был виден, как на учении: запасные гвардейцы с красными погонами и петлицами, матросы в бескозырках, штатские и два-три студента.

И сразу исчезло волнение, мысли стали отчётливыми, движения быстрыми. Осторожно выбили маленькие кусочки стекла в нижних углах окон, чтоб только незаметно выставить дула винтовок.

– Пиши завещание! – пророкотал Орлов, нажимая на спуск.

И сразу перепрокинулись один матрос и один штатский с багровым лицом в меховой шапке, даже видна была струйка крови из простреленной шеи.

Стреляли с выбором, не торопясь. Промануться было невозможно, а выстрелы тонули в общей трескотне, никто сюда и не оглянулся, те всё прикрывались с фронта.

Из-под моста ушли немногие. Двух студентов Левитский по симпатии пощадил, дал уйти.

Положение улучшилось, огонь по зданию заметно ослабел.

Но стала слышна оживлённая стрельба со стороны главных казарм самокатного на Сампсоньевском. Потом – и пушечные выстрелы, там поднялись столбы чёрного дыма.

Это значит: из пушек беспощадно расстреливали их семь самокатных рот в деревянных бараках.

Скоро там всё смолкло, и только поднимались дымы пожара.

Потом за снежным пустырём с мёрзлыми кочерыжками снятой капусты, за деревянными заборами Флюгова переулка взметнулось пушечное пламя – и трамвайное здание дрогнуло от двух одновременно попавших снарядов.

Каменное здание с толстыми стенами могло долго выдерживать обстрел, но грохот и эхо, известковая пыль как туман потрясли молодых необстрелянных, а один снаряд разорвался и в комнате, ранило нескольких, загорелось, задымил, кто-то крикнул «газ», – и самокатчики сами бросились вниз, разбирать баррикады и сдаваться толпе.

Левитский тоже был ранен, бок шинели уже заливало коричневым. Стал медленно спускаться по лестнице вместе с подпоручиком Янковским (наганы бросили).

Появились перед толпой на высоком крыльце, как на эшафоте. Раздался яростный рёв двора и улицы. Там дальше кого-то из самокатчиков били прикладами. Самообразовался конвой из солдат, матросов и студентов, повели обоих офицеров – но толпа кричала: «расстрелять! расстрелять!», разметала конвой и прижала к стене. И самые первые, кто хотели расстрелять, не могли этого сделать в таком сжатии. Матрос перед их носом тряс огромной гранатой. А два студента кричали:

– Товарищи! Не нужно больше крови! не омрачайте светлого лика революции!
Товарищи!

Опять повели, и опять толпа оттеснила конвой, опять прижала к стене и опять расстрельщики не могли отодвинуться на вытянутую винтовку, чтобы стрелять.

– Осадите, товарищи! Дайте совершиться революционному правосудию! Товарищи! – кричали они толпе и упирались ногами в стену, чтоб отжать напиравших сзади.

Офицеры приготовились к смерти. Левитский почему-то запрокинул голову и увидел сосульки под крышей.

Матрос с надписью «Бесстрашный» распоряжался:

– Без команды не стрелять! Слушай мою команду! Приготовьтесь, товарищи!

Но перебил их новый мощный голос, и вперёд протиснулся амурский казак, прапорщик, с огромным красным бантом на груди.

– Приказываю отвезти в Таврический дворец! – закричал этот единственный среди них офицер, который и руководил штурмом и так умело расставлял стрелков. (Он был в отпуску в Петрограде, в пьяном состоянии ударил часового и в ожидании военного суда сидел в тюрьме. Революция освободила его, и, как пострадавший тоже за свободу, он присоединился.)

После препираний посадили офицеров-самокатчиков на грузовик с матросами. И повезли.

189

Военный министр Беляев всю эту ночь совсем не был в тягость Хабалову: не вмешался ни одним приказанием, не подал ни одного совета. Всё действовал провод в Ставку и сохранялась линия дворцового телефона – и он сидел там, около них, принимал сообщения и отправлял сообщения, и наводил справки.

А кто совсем не имел служебного касательства – отставной корпусной гвардейский командир Безобразов, – явился в комнату, где за столом томились все чины хабаловского штаба и градоначальства (при его входе все поздоровались вставанием), – и с апломбом, как всех их начальник, заявил:

– Я пришёл узнать, какие меры приняты для ограждения живущих в городе. Вчера ко мне ворвалась шайка солдат, которую еле удалось выпроводить. Завтра может появиться другая.

Хабалов сидел как чучело, даже не имея сил руки развести пошире:

– Мои приказания не исполняют, я ничего не могу.

Безобразов возмутился, вскинулся и резко:

– Виноват, я видел вчера несколько частей на площади Зимнего в полном порядке. Вы должны знать, где находится очаг беспокойств, и обязаны потушить его.

Кто-то из полицейских чинов отозвался от стены, то ли с вызовом, то ли с горечью:

– В Государственной Думе.

И Безобразов подтвердил, это была его мысль:

– Да, в Государственной Думе!

И ещё раз внушительно на Хабалова:

– Вашему превосходительству должно быть известно, как действовать в таких случаях.

И, с общим поклоном, величественно вышел.

Тут пожали плечами: общие слова все могут говорить.

Не много прошло минут, как близ полудня появился адъютант морского министра и от имени своего шефа потребовал немедленно очистить Адмиралтейство, так как в противном случае восставшие обещали через 20 минут открыть огонь с Петропавловской крепости, и над ней действительно появился красный флаг.

Вот так... И с этим известием тоже Григорович пришёл не сам. Да давно он хотел их изгнать, но не решался от своего имени, а тут рад был поводу.

И вот пришёлся тот толчок, без которого они не могли выйти из мертвительного окостенения. А ультиматум и короткий срок – толкали командование что-то решать.

А что ж было решать? Переходить ещё раз – было некуда, разве опять в градоначальство? Но вряд ли зачем. Совещание старших, как и были тут, в комнате (про Беляева забыли), да и то спешное: ведь дано всего 20 минут.

Все оказались единого мнения: что продолжать оборону невозможно. Но и уходить с оружием – тоже нельзя: если выйдем с оружием – толпа нападёт, наши станут отвечать, и так произойдёт ненужное безнадёжное кровопролитие. Значит, надо сложить оружие здесь, в Адмиралтействе, сдать его тут на хранение, выйти безоружными, – и на такие войска толпа не будет нападать.

Прямо сдать? Некому, таких войск нет. А просто – разойтись безоружными, по казармам, по квартирам.

И по гулким длинным строгим залам Адмиралтейства и по дворам – понеслись команды. Артиллерия стаскивала в кучу орудийные замки. Пулемёты и винтовки сбрасывались в большую комнату, указанную смотрителем здания.

И все – испытывали облегчение: как-то кончилось, и кончилось без единого выстрела, хорошо.

Кроме полковника Потехина на костылях, он гневался, да может ещё двух-трёх.

Все спешили расходиться, разъезжаться. (Прошло и несколько раз по 20 минут, Петропавловка не стреляла.)

Через ворота на Дворцовую площадь выезжала батарея, к себе в Павловск. За воротами сразу налепилось к ним девиц и молодых людей, вязали красные лоскутки к орудиям, к зарядным ящикам, к упряжи лошадей.

В разных кучках на улицах раздавалось «ура» и пальба в воздух.

Измайловцы вышли налегке и пели:

Взвейтесь, соколы, орлами!

Одни стрелки не захотели сдать оружие и вышли с винтовками. Их тем более не трогал никто.

А последнюю полицию градоначальник Балк распустил ещё раньше утром, сейчас бы ей не выйти невредимой.

В суматохе не заметили, куда ж исчезли генералы Беляев и Занкевич.

А от оставшихся генералов и высших чинов смотритель здания потребовал освободить все занимаемые комнаты и перейти на 3-й этаж в чайную.

Там, с окнами на Сенатскую площадь, был большой обзор.

И обзор для размышлений, если бы кто оказался склонен к ним.

Высшие чины расселись и глушили голод папиросами.

Затем опасность случайных пуль (какие-то щёлкали то о стены, то близко о крышу) заставила их перейти в комнату с окнами во внутренний двор.

Хабалов, освобождённый от своей непомерной тяжести, теперь расхаживал и обдумывал.

Он думал так: в лицо его никто из петроградских деятелей не знает, фотография никогда не печаталась. И вот если б его задержали отдельно от штаба – можно было бы заявить себя казачьим генералом в отпуску.

С неотклонимостью военной привычки, раз поняв и приняв приказ, генерал Алексеев дальше честно развивал его, сколько он требовал по своей логике. Отдавши с вечера первые распоряжения об отправке войск на Петроград, Алексеев не успокоился и ночью. Проводив Государя, он лёг с досадою спать, но спать почти не мог. Мысленно соединял в голове все

посылаемые войска – и увидел, что в них недостаёт артиллерии.

В два часа ночи он поднялся, оделся. Его помощники все спали, хорошо, он так и любил, сам пошёл в аппаратную. И продиктовал телеграмму на Северный фронт и на Западный о посылке каждым фронтом ещё по одной конной и по одной пешей батарее, не забыв добавить и о порядке присылки снарядов.

А начиналась каждая телеграмма: «Государь император повелел...» Момент был серьёзный, и мало ли какое противодействие возникнет там при исполнении, а против Государя императора не поспоришь. Для того он и нужен был здесь, в Ставке, и обидно было, что уехал, и пока не хотелось в том признаваться даже главнокомандующим.

Тут подали Алексееву в тех же минутах пришедшую телеграмму от военного министра к дворцовому коменданту. Такая форма была, когда хотели подать прямо вниманию Государя. Такие телеграммы обычно шли мимо Алексеева, но сейчас Воейков был уже на вокзале и нельзя было телеграммы не прочесть. Она была короткая, но поразительная: мятежники заняли уже и Мариинский дворец, а министры одни успели спастись, о других сведений нет.

Так правительства уже и не было вовсе! Пока шли переговоры, подавать ли ему в отставку или нет, а его уже не было вовсе...

Ну и ну.

А может и к лучшему. Может так установится общественное министерство, и никаких военных действий вовсе не придётся. Лучше бы.

Отправил и эту вдогонку Воейкову на вокзал. Может быть, Государь ещё одумается и вернётся.

И долго-долго больной Алексеев ещё лежал, вздрёмывал, а не спал – и что-то стало его разбирать беспокойство за Москву: трудно представить все последствия, если это перекинется ещё и на Москву. И он снова поднялся, снова оделся, снова пошёл в аппаратную – когда уже что-то задумано, то кажется и на час страшно отложить. И перед четырьмя часами утра отправил телеграмму командующему Московским округом генералу Мрозовскому, запрашивая о настроениях в Москве и предоставляя, именем Государя, полномочие объявить Москву на осадном положении в любую минуту. Особенно он обращал внимание на московский железнодорожный узел, от которого зависело движение хлеба на фронты и во многие губернии.

Это уж было последнее в ночь. Устал и заснул на несколько часов.

А на пробуждение после восьми утра пришло ему: заверение от Эверта, что назначенные полки начинают в полдень погрузку; и мрачная краткая от Хабалова, что верных почти не осталось и положение до чрезвычайности...

Тут пришёл к нему адмирал из морского штаба и показал ему две телеграммы из Адмиралтейства, одна лежала с ночи, но все спали, а вторая пришла утром. Сообщалось, какие значительные районы города взяты мятежниками ещё вечером, офицеров обезоруживают, хулиганы грабят, отобрали и автомобиль ставочного адмирала, Григорович болен, а Беляев вряд ли справится. Утром же сообщалось, что мятежники заняли уже весь город, Хабалов засел в Адмиралтействе как в последнем редуте, и это послужит только бесполезному истреблению драгоценных документов и приборов.

Совсем плохо. Стал Алексеев давать ещё новые телеграммы о подкреплении Иванова. С Северного фронта – ещё батальон Выборгской крепостной артиллерии.

Если посылаемым войскам придётся вести бой против целого большого города, то не обойтись им без крепкой артиллерии.

Набрано было много. Но Иванов-то, Иванов не годился.

Однако Государь повелел так.

А сам уехал.

Иванов же – не торопился ехать, а сроки были – уже его дело. Запрашивал Хабалова – и получил от него те же ужасающие ответы: что столица вся потеряна.

Но где-то же там сидел ещё и военный министр! И Алексеев обязан был

телеграфировать ему новое устное высочайшее повеление: изыскать все способы передать всем министрам (где б они ни находились и составляют ли они правительство), что они обязаны будут беспрекословно выполнять все требования главнокомандующего Петроградским округом генерал-адъютанта Иванова.

И морской же министр там! И он тоже должен быть предварён содействовать и даже подчиниться Иванову. И, думая за Григоровича, дал ему Алексеев телеграмму: по требованию Иванова, выделить ему два прочных батальона Кронштадтской крепостной артиллерии.

Так и посылал телеграммы, придумывая, чуть не каждые пять минут, пока действовал провод с Адмиралтейством.

Григорович – ничего не ответил. А Беляев – был цел и не дремал, не покидал поста! Нельзя было такого предвидеть, когда его назначали военным министром за одно знание иностранных языков. И теперь успевал отстукивать свои телеграммы. Вразмин пришла теперь от него такая: войска бросают оружие, переходят на сторону мятежников, нормальная жизнь министерств прекратилась, Покровский и Кригер-Войновский едва выбрались ночью из Мариинского дворца. Желательно прибытие надёжной вооружённой силы, иначе мятеж будет увеличиваться...

Да-а-а... Только увеличивался сумрачный груз и сознание неполноты сделанного. Хмурый, пригорбленный, походил Алексеев между столами – и, уже после отъезда Иванова, решил на крупное добавление: как тот просил, послать на Петроград войска также и с Юго-Западного фронта. Да не какие-нибудь полки, а три гвардейских, и среди них – сам Преображенский. А быть может ещё придётся готовить и гвардейскую кавалерийскую дивизию.

Дал такую телеграмму Брусилову.

Ну, кажется теперь будет даже слишком достаточно.

Худо поступил Государь, покинув Ставку и уехав в такие часы. Но отчасти генералу Алексееву стало и свободнее: не надо бегать суетливо с каждой телеграммой, докладывать, уговаривать, можно сидеть за рабочим столом и принимать решения.

А с другой стороны, как ни мало распорядился здесь Государь в качестве Верховного Главнокомандующего, но, по напряжению таких событий, было бы легче ощущать его сень. Как ложу винтовки нужно плотно прилегающее плечо, чтоб не так отдавать.

Да что это? Уже 9 часов как литерные поезда в пути – и не пришло ни одно подтверждение с дороги. (Их присылал только Воейков, а начальники станций не имели права сообщать.) Государь не просто уехал – но уехал без связи! Вот пришла ему важная телеграмма от членов Государственного Совета – и куда ему пересылать? Только можно приблизительным расчётом выбрать станцию. А приди ещё срочней – как снестишь?

К счастью, сегодня Алексеев чувствовал себя гораздо лучше.

Между тем, частными путями притекали из Петрограда и худшие сведения: что офицеров и чинов полиции убивают, многие здания в пожарах, арестован Председатель Государственного Совета!

Но в противоречие с этим прислал телеграмму Председатель Думы, что власть перешла к временному комитету Государственной Думы. Так это совсем не плохо, и теперь можно надеяться на восстановление порядка.

Даже Ставка не успевала осваивать новости – что ж могли знать главнокомандующие фронтами? Алексеев поручил составить для них подробную сводку всех петроградских событий этих дней и после полудня отослал, сопроводив таким заключением:

«На всех нас лёг священный долг перед Государем и родиной сохранить верность присяге в войсках действующих армий.»

Лишь бы не дрогнула армия и сохранились пути подвоза, петроградский мятеж не труд осилить.

Пути подвоза... Алексеев запросил телеграммой этого отчаянного Беляева, кажется единственного теперь деятеля в Петрограде: где же всё-таки находится министр путей

сообщения Кригер-Войновский, которому удалось скрыться из Мариинского дворца? – может ли его министерство управлять сетью железных дорог?

И Беляев не замедлил узнать и меньше чем через час исправно ответил, что министр путей сообщения скрывается на чужой частной квартире и выполнять своих функций не может.

Но для такого случая могла пригодиться созданная Гурко при Ставке должность помощника министра путей сообщения на театре военных действий: власть надо всей железнодорожной сетью теперь может безотлагательно перейти к нему.

Таковым состоял при Ставке генерал Кисляков. До сих пор его пост был как-то мало замечен, Алексеев с ним и дела не имел. Но теперь он становился самой центральной фигурой. И Алексеев написал ему распоряжение, что немедленно принимает через него на себя управление всеми железными дорогами страны.

Тем более настоятельно, что в снабжении Юго-Западного из-за мятежей последнее время значительные перебои.

Это было в половине первого дня. Кажется, к середине дня генерал Алексеев принял все возможные меры для остановки мятежа, – не мог придумать, чего он ещё не сделал.

Ещё, пожалуй, телеграмму всем командующим округами: чрезвычайно оградить железнодорожных служащих узловых станций, мастерских и депо от посягновений внести к ним смуту извне. И чтобы все они были обеспечены продовольствием.

Но тут немедленно явился с докладом генерал Кисляков, прежде видимый только в офицерской штабной столовой, – грузный, жирный, с широким бледным лицом, а молодой. Длинно и волнуясь, он стал излагать разные железнодорожные подробности, в большом объёме, а с тем смыслом, что до сих пор он руководил прифронтовыми железными дорогами лишь в техническом отношении, а никак не в хозяйственно-административном, каковое управление, будучи внезапно перенесено в Ставку, может вызвать большие затруднения в планомерной работе всей сети дорог. Сейчас, пока ещё не выявились достаточные признаки, что нарушено центральное управление железными дорогами, такой административный перенос был бы крайне неосмотрителен и вреден. Это – в том, что касается прифронтовых железных дорог. В отношении же **всей** сети Империи генерал Кисляков даже затрудняется подвергнуть такую проблему предварительному обсуждению – настолько она для него недоступна.

Он семенил, рыжий, длинными складными фразами, а взгляд его при этом был косо спущен по перекивленному лицу.

Ведь вот бывают фамилии до того оправданные, как прилепленные: Кисляков. Кисло-затхлым безнадежным запахом так и пахло на Алексеева от этого рыхлого человека. И столько месяцев сидел на посту – не видели,

А без него – Алексеев тем более не мог бы враз осуществлять совсем незнакомое ему управление.

Что же делать? Придётся эту меру задержать.

Посмотреть, как железные дороги будут функционировать сами, без министерства.

А ещё вспомнилось: большая доля снабжения в руках Земгора.

Так что Ставка совсем не так неуязвима.

Сословие инженеров путей сообщения в России грозило талантами, знаниями, умением. Оно вбирало в себя цвет мужской молодёжи – привлекательностью своей работы и высокими приёмными конкурсами. Бездельники и революционеры туда не шли. Пять лет обучения были упорный труд, отличная научная подготовка и деятельная летняя практика. Сам характер железнодорожной службы при раскинутых русских просторах вырабатывал дельных и смелых работников, умеющих выходить из самых сложных положений, хорошо знающих жизнь, людей, цену всякого труда, и имеющих возможность каждую работу

подчинённого достойно оплатить. В такой системе не знали, что значит устройство по протекции, а лишь по таланту и опыту. И каждый, не гнясь о хлебе насущном, мог всё время и силы отдавать этой разнообразной работе, всё в гранях новых задач. Командировки на изыскания, постройки, железнодорожные совещания и собственный бесплатный проезд давали им широкий обзор своей страны, а также и Европы. И обычно железнодорожным подлинным инженерам никогда не оставалось времени не то что на общественные дела, но даже на семейные.

Александр же Александрович Бубликов никогда не помещался в жизненном амплуа инженера путей сообщения. Никакая работа на действующей дороге или на постройке новой никак его не насыщала. Уж он и переливался в общую экономику, был вызываем работать в разных комиссиях при министерстве, формировать общие вопросы, – нет, не то, недостаточно! Наконец он догадался баллотироваться в Государственную Думу и в 1912 был избран в неё от Пермской губернии, где занимался железнодорожными изысканиями. И уж так вознадеялся! – но и тут осталось томиться втуне его страсти к действию: в Думе состояло десятка два главных говорунов, от кадетской партии более, чем от других, и они занимали четыре пятых всего думского времени, – да и это разве было действие? А остальным полагалось молчать, голосовать, можно работать в комиссиях. Но думские комиссии давали куда меньше разрядки к делу, чем комиссии при министерстве. Сознал в себе Бубликов какой-то особенно мятежный талант, если не гений, а применить его не мог. А вот уже – 42 года.

Да и фамилия у него была юмористическая, мешала серьёзному политическому амплуа.

Бубликов принадлежал, конечно, к русской интеллигенции, из своего происхождения не вырвешься, но по сути глубоко отличался от её основного типа. Основной тип русского интеллигента утонул в морали, в рассуждениях, что хорошо, что плохо, способен рыдать и жертвовать, – но уже экономики дичится, а управлять государством и совсем неспособен. А Бубликов – именно силу управления в себе отчётливо чувствовал, но железные дороги были для него слишком узки, а вся Россия в целом не давалась.

Но от вчерашнего грома сразу сердце застучало, что пришёл его миг! И он кинулся воодушевлять депутатов открыть громовое же заседание Думы! Но трусливая депутатская толпа не посмела. А слушать их вялую болтовню в Полуциркульном – можно было заболеть, – когда уже тысячные массы двигались по городу и где-то зрела туча реакции! Бубликов метался туда и сюда по взбудораженному ро йному Таврическому, остро приглядываясь и нервно потирая руки. События катились необычайно – и необычайно же, энергично и коротковременно должно найдись деловое решение. Но самые простые решения трудней всего приходят в голову. Вот нужное ключевое не приходило, и события катились, как им вздумается.

И так Бубликов ночевал в Таврическом, как и все, и всё явней видел, что над революцией не встанет руководящая личность, и она беззащитна против подавления. Так и есть! – с утра пришёл слух об экспедиции генерала Иванова на Петроград.

Катилось! И – задавят? Что делать? что делать? А думские вожди болтали, болтались, ничего серьёзного не предпринимая. А силы подавления – вся Действующая армия, они несравненны с петроградским гарнизоном.

А вся Россия, со всем её порохом либеральной интеллигенции и взрывоготовной учащейся молодёжи, – дремала, заметенная снегами, и ничего не знала о событиях в Петрограде.

И тут Бубликову открылась искомая гениально-простая идея! – именно только железнодорожнику она и могла открыться. Пассивная крестьянско-мещанская Россия и не имеет никакого значения, активная же Россия вся стянута к нервам железных дорог, это государство в государстве. Все железные дороги – до Владивостока, до Туркестана, имеют единую телеграфную связь, самую живую, а центр её – в министерстве путей сообщения. Эта связь, как хорошо знал Бубликов, совершенно не зависит от сети министерства внутренних дел, нигде с ней не сливается и повсюду обслуживается вольномыслящими телеграфистами.

Так вот: захватить этот узел связи – и открыть себе голос на всю Россию!

И он бросился искать – не Керенского, не Чхеидзе – а сразу главного, Родзянку. Нашёл его тушу, бродящую в окружении разных искателей, пытался привлечь его внимание, отвести конфиденциально, даже начинал говорить, – но тот не внял и рассеянно закружился дальше.

Тогда Бубликов подстерг его на возврате с речи перед полком, дышащего кузнечной грудью. И тут вклинил ему в голову мысль о захвате министерства – но великан даже испугался, зазяб огромными плечами, – да он совсем не понимал, что вообще **надо брать власть!** – а не ждать пассивно, как придут на нас царские войска. Родзянку всё ещё дышал законопослушностью. Бубликов стоял перед ним, вид среднего буржуа с холёной наружностью, только ртутной подвижностью и отличавшийся, – но этой подвижности не мог ему передать. И – плавно утёк Родзянку.

Но чёрт возьми! – но от кого ж другого получить разрешение действовать? Рискнуть – совсем без разрешения? Это было бы в духе Бубликова. Но – в нужный момент может не хватить опоры.

А между тем, слоняясь по Таврическому меж густящегося множества незанятых людей, Бубликов присматривался, понимая, что тут-то и сошлись все нужные ему исполнители и помощники, только требуется их разглядеть, позвать и стянуть вокруг себя. И он – разговаривая с одним, другим. Из первых таких пригляделся ему симпатичный и услужливый гусарский ротмистр с пышными светлыми усами. Был он один, без своих гусаров, явно свободен, явно искал встреч и разговоров и охотно всем улыбался.

– А не хотели бы вы поучаствовать в революционной операции? – спросил его Бубликов в одну из встреч в толчее.

– К вашим услугам, ротмистр Сосновский! – с весёлой готовностью отозвался тот.

Затем нашёлся свободный молодой солдат с интеллигентным, но решительным лицом – Рулевский, бывший польский социалист, а теперь социал-демократ-циммервальдист, счетовод службы сборов Северо-Западных железных дорог. Отлично! Он – тоже готов. Ещё нашёлся лохмато-кучерявый Эдуард Шмускес, то ли студент, то ли бывший, тоже искал себе горячего революционного занятия.

Силы революции складывались сами! Они томились, рвались – надо было уметь их направить!

Всё более решаясь, Бубликов раздобыл лист бумаги, перо и, примостясь в какой-то комнате, отчётливым почерком написал себе полномочия от Комитета Государственной Думы на занятие министерства путей сообщения. С этим листом пошёл искать Родзянку, нашёл, всё так же в движении, проталкивании через толпу с кем-то и куда-то, и так же в движении продолжал его уговаривать, что нельзя ничего не предпринять для защиты свободы. Родзянку рассеянно удивился: «Ну, если это так необходимо, то пойдите и займите». Оттого ли, что это была уже третья попытка, или Родзянку за минувшие часы стал мыслить смелей, – но он взял полномочия Бубликова, припластал к колонне Екатерининского зала и расписался на них. Расписался без большого интереса, скорее чтоб отмахнуться от настойчивого депутата.

Но Бубликов тут же подал ему и энергичное воззвание, тоже уже написанное им и которое он собирался распускать по телеграфу. Начиналось с того, что «я сего числа занял министерство путей сообщения и объявляю следующий приказ Председателя Государственной Думы». Итак, Родзянку читал свой собственный, ему самому ещё не известный приказ. «Старая власть, создавшая разруху всех отраслей государственного управления, – пала!»

Тут Родзянку удивился:

– Так нельзя выражаться. Старая власть ещё...

Как? Он не понимал, что власть уже пала? **Он** не понимал? Кто же тогда? Поди с ними делай революцию!

А если и не пала – так надо ж её подтолкнуть.

– Но именно так надо написать! – живо настаивал Бубликов, всей своей революционной жилой чувствуя: пала! Сразу впечатление. И – падёт!

– Нет-нет, – бурчал Родзянко. – Как-нибудь осторожней.

– Хорошо: старая власть оказалась бессильной?

Согласился.

И ещё получил у Родзянки разрешение взять на экспедицию два грузовика – автомобили и солдаты скоплялись перед Думой в её распоряжение.

Сосновский и Шмускес бросились собирать команду, охотников набралось больше полусотни, примкнули и два прапорщика. А сам Бубликов с бумагами в кармане и без оружия вышел счастливым революционным шагом. Необычайная минута жизни! К двум грузовикам охотно увязался ещё и третий, тут же Бубликов прибрал себе бездействующий пассажирский мотор, ничьего разрешения и не требовалось. У всех солдат винтовки наискось за спинами, штыками вверх, так что влезая в кузов едва не кололи друг друга. Кажется, были и пьяные.

Покатили на Фонтанку и к Вознесенскому проспекту.

Оставляемый позади роящийся Таврический был только видимость. А действие вот оно: никому не известный Александр Бубликов идёт брать в собственные дерзкие руки нервный узел империи!

А что за разгульный вид был у взбудораженных улиц! Местами пусто и стрельба, местами толпы, то кучка солдат или рабочих, спешат куда-то с винтовками уже наперевес, то едет санитарный автомобиль с ранеными и сёстрами, то громят лавку, то ведут арестованных офицеров, то такие же грузовики, как и в бубликовской колонне, и при встрече салютуют выстрелами.

Доехали до министерства – солдаты высыпались из кузовов, Шмускес и прапорщики расставляли парных часовых у ворот, у главного входа, у запасных, а Сосновский и Рулевский по правую и левую руку стремительного Бубликова, отчаянного при своей благообразной внешности, и во главе ещё двух дюжин солдат, – ринулись внутрь. Бубликов не раз тут бывал, расположение знал и указывал, где надо ставить посты – на пересечении коридоров, к узлу телеграфа, к кабинетам министра, товарищей министра, – а в кабинет начальника управления железных дорог собирать всех старших чинов ведомства.

Да они уже видели, да уже там и сям испуганно убежали в двери или выглядывали, уже всюду пронёсся слух о приходе власти! Да прекрасно Бубликов чувствовал их: они конечно истомлены страхом, что с ними будет, и счастливы попасть под твёрдую власть, в определённую положение. Сейчас-сейчас, Бубликов сам объявит им грозно, что они могут продолжать работу, и они будут счастливы. А пышноусый ротмистр Сосновский тем временем становится комендантом здания, начальником охраны министерства. А гололицый солдат Рулевский – начальником телеграфной связи, – и через полчаса по паутинке проводков вдоль всех железных дорог империи телеграфисты мирных станций, далёких и заснеженных, начнут принимать, и дальше выстукивать и разносить по своей местности – слова пламенеющие, возможные только в революцию:

«Комитет Государственной Думы, взяв в свои руки создание новой власти, обращается к вам от имени отечества. Страна ждёт от вас больше, чем исполнения долга, – она ждёт подвига!»

Всё так, но кто будет направлять министерство? Одно политического задора мало, надо знать и все подробности руководства. Нужно склонить или самого министра или двух его товарищей.

Донесли Бубликову, что Кригер-Войновский на казённую квартиру при министерстве не переезжал, там – только прислуга прежнего министра Трепова. А Кригер с утра не был, вот только пришёл – и у себя в кабинете.

Но не пытается вырваться, командовать? Значит, уже сдаётся.

Уже Бубликову было море по колено, он развязно пошёл к министру. Власть была – несомненно у него, полсотни штыков тут, и весь Петроград. А вот – пройдя тяжёлую дверь и

пересекая долготу кабинета – к столу, за которым как ни в чём не бывало сидел невысокий, совсем лысый в пятьдесят лет Кригер-Войновский в железнодорожном сюртуке с богато размеченными петлицами, – Бубликов с каждым шагом терял свою нахвтанность, а вправлялся в инженерный ранг, где, между серьёзными людьми наедине, его комиссарство выглядело как шарлатанство, а опытом, а знаниями Кригер был несомненно выше него. Бубликов выглядел как изменник вот этим самым железнодорожным петлицам, инженерному знаку.

И не получилось у него ничто громогласное комиссарское, а вежливо:

– Эдуард Брониславович. Вот я тут... назначен от Родзянки. Да может быть вы бы признали Комитет Государственной Думы, да вот и всё? И руководите.

И если бы Кригер-Войновский сейчас поднялся бы с грозной властью, что никто не смеет касаться святого железнодорожного дела, – пожалуй, к Бубликову бы и вернулось инженерное сознание, отчасти бы и струсил. И во всяком случае, много бы уступил, просто по разуму дела.

Но Кригер – Кригер сам смотрел от стола придавленно, озадаченно, на маленьком лице его отвисали нижние веки и нижняя губа. И не властно, но извинительно:

– Алексан Саныч... Вы понимаете, я – присягал Государю императору, и пока он на престоле...

И – от бубликовской головы, тщательно отделанной парикмахером, отпарялся инженерный туман, а ноги наливались горячим свинцом комиссарства.

– Тогда простите, – сказал он, – я должен подвергнуть вас аресту. – Но великодушно: – Где вы предпочитаете? Здесь? Или у себя на квартире? Или в Государственной Думе?

– Я бы, Алексан Саныч, предпочитал здесь, – без колебания выбрал Кригер. – Особенно если вы мне оставите телефон.

– Отчего же, конечно, конечно! Тогда, простите, за дверью будут часовые. А прислуга Трепова будет носить вам еду.

Бубликов спешил. Кригер был министр недавний и либеральный, и то вот. А товарищ его Устругов – старомоднейший монархист, а понадобится в работе. И ещё был один товарищ министра, Борисов, этого Бубликов надеялся склонить легче. Чтобы железные дороги были руководимы, как ни в чём не бывало. А тем временем – рассылать свою огненную телеграмму!

После подписи Родзянки ещё добавить от себя:

«Член вашей семьи, я твёрдо верю, что вы сумеете оправдать надежды нашей родины. Комиссар Государственной Думы Бубликов».

Он кидал на Россию Зверя Революции, которая ещё не произошла, – но чтобы произошла!

А Кригер остался очень доволен. Бубликов застал его за отбором собственных бумаг, писем и книг, которые он хотел спасти, ожидая для себя худшего. Со вчерашнего вечера чего он только не испытал. Из Мариинского дворца после заседания правительства долго нельзя было выйти – опасно, стреляют, да и слух был, что по квартирам министров уже ходят с обысками. Но и остаться нельзя: во дворец ворвались революционеры. Кригер с Покровским поспешили через двор и калитку в Демидов переулок, но оказалась заперта, а снаружи сообщили, что и тут опасно. Западня! Вернулись, а уже по дворцу толпа что-то била, валила, разыскивала. Тогда оба министра, хотя оба либеральные и могли бы рассчитывать, что их пощадят, по чёрной лестнице спустились в коридор жилых помещений курьеров, швейцаров и сторожей и пересидели там всю ночь в тёмном углу на дровах и бочонках, хотя и туда врывались, осматривали, спрашивали. А под утро, когда во дворце несколько успокоилось, сынишка курьера вывел их ещё через один двор и ворота. На площади толпа громила, била «Асторию», а на других улицах была пустота, но при полном освещении, оттого жутко, и нигде ни одного дворника. Перебью несколько часов у знакомого, Кригер считал себя обязанным идти в министерство: никто его не освобождал от долга. А тут – налетел Бубликов с солдатами.

Да что ж, Кригер пробыл министром всего три месяца. Из каждого заседания совета министров он выносил ощущение безнадежности, не чувствовал и твердой государственной поддержки. В первые годы войны, как ему пришлось видеть, Государь имел бодрый вид, проявлял ко всему интерес, очень разумно высказывался. Но этой осенью на всеподданнейших докладах он производил уже впечатление уставшего, всё менее чувствительного к неудачам и невзгодам. А в этом январе он был уже вовсе подломлен, ко всему равнодушен, не верил более ни в какие удачи, и всё предоставлял воле Бога. И откуда же министрам взять силу?

Зачем было так враждовать с Государственной Думой? Зачем было ставить в министры людей, не знающих России? Зачем было расставлять губернаторами и градоначальниками случайных неосвоенных людей, а города на время войны оставить без крепких частей? Ещё раньше: зачем вообще было вступать в эту войну, так без меры распинаться то за болгар, то за сербов, пренебрегая своей внутренней неустроенностью?

Если всё так текло по безволю государевому и само – почему теперь случайный Кригер должен был в министерстве путей сообщения давать бой?

192

Так сидели, пять-семь генералов и полковников, пили голый кофе – и ждали, что за ними придут. Глупый конец служебных усилий.

Удивлялись, куда делись Беляев и Занкевич.

Хотя нигде не осталось никакой охраны, никаких караулов – ещё почти час в Адмиралтейство не врывались, очевидно опасаясь засады или обороны.

Наконец, и сюда, в закрытую комнату, донёсся шум толпы, топот многих по отлогим лестницам и крики:

– Дальше!... Выше!... Ишь, попрыгались, мать их, мать, мать...

Вот когда стало страшно – страшно вообразить этот лик разъярённой толпы, как она ворвётся. Что может сделать революционная толпа? – да разорвать на части.

И миг наступил! – дверь с шумом толкнули, и сразу вступил не один, но втискивались, торопились несколько, много. И в минуту комната была заполнена.

Военные и полицейские генералы невольно встали все, хотя этого никто не потребовал.

Из передних был – прапорщик, в форме стрелков, в новеньком походном снаряжении, пьяный, сизый, в прыщах, в руке большой маузер, который он и наводил поочерёдно каждому в лицо.

Другой – совсем юный солдатик в расстёгнутой шинели, с красными кантами погонов, с нежным цветом лица, тоже пьян. В руке у него была обнажённая офицерская шашка с анненским темляком – и он страшно размахивал ею перед головами генералов. Казалось: рука его молодая не выдержит, и сейчас шашка на кого-то опустится. Он тонко и непрерывно кричал и ругался больше всех, кажется ощущая себя здесь главным.

А между ними стояла – баба, даже смиренная, молчала, из-под платка её выбивалась проседь, а поверх длинного пальто она была перепоясана офицерской шашкой на широком кожаном ремне.

Были и ещё, ещё фигуры, но они сразу не охватывались, глаза притягивал этот маузер и провороты шашки. Солдат кричал:

– А где тут промеж вас Хабалов?

Маузер целился:

– Кто Хабалов?

Но Хабалов что-то не отзывался. Генералы стали коситься друг на друга, коситься – и не увидели его. Он куда-то исчез.

И тогда маузер наметил:

– А ты кто?

– Я, – собирая остатки хладнокровия, – градоначальник Петрограда Балк. Арестуйте

меня и ведите в Думу.

Арестуйте! – чтоб не вздумали выстрелить. Государственная Дума оказалась таким прибежищем, спасением, сенью интеллигентности и взаимопонятности. Страшны были – только эти, из народа. Как бы в Думу попасть!

– Ну, иди! – сказали Балку.

И он пошёл из комнаты первый. Сперва ему дали дорогу, а потом – страшный настигающий радостный крик раздался позади, так что он уже спиной ожидал вонзания, передёрнул плечами – но ничего не произошло. Оглянулся – шли за ним и сослуживцы, полицейская головка. И больной израненный Тяжельников. Да кажется и Хабалов, уже и он шёл в их группе, откуда-то присоединился.

Безоружная часть толпы растекалась по зданию, ища брошенное оружие. Вооружённые вели пленных.

Вышли через главный выход в сторону Адмиралтейского сквера, мимо атлантов, держащих земные шары. Тут стояли два грузовика с красными флагами у моторов. Балк со своим заместителем сели рядом с шофёром первого, кто-то – сзади в кузов, Хабалов с Тяжельниковым – во второй автомобиль.

Толпа кричала, ругала, поносила, гоготала – и всё покрывалось «ура!».

Шофёр первого дал с места резкий ход – и сразу же налетел на чугунную тумбу, выворотил её – и сам дальше не пошёл. Сколько ни пробовал – мотор не шёл.

Второй грузовик со скрежетом обогнал их, развернулся направо и ушёл по Невскому.

А первый шофёр всё пробовал тронуться – и ругался.

Сперва у Балка проскочило облегчение, но тут же понял, что только утяжелился их путь.

Вдруг из Гороховой от градоначальства выскочил пассажирский автомобиль и открыл стрельбу из пулемёта.

В панике все вокруг грузовика стали бросаться на снег, и шофёр соскочил, убежал, – а пленные сидели и стояли в кузове.

Рядом какой-то старик в валенках стал для ответной стрельбы по правилам на одно колено и пытался дослать патрон – но, видно, система была незнакомая, и ничего не получалось.

Кто-то и отвечал.

И так шла стрельба больше минуты, никого не рая и не убивая. Вдруг тот неизвестный автомобиль перестал стрелять, рванул в сторону Дворцовой площади – и исчез за ней.

Шофёр вернулся – но поделаться с грузовиком всё так же ничего не мог.

Балк уже понял, что самое опасное – это дорога, а в Думе – спасение.

– Если не идёт автомобиль – так ведите в Думу пешим порядком, – стал требовать он.

Из главных остался тот прапорщик с маузером, и он замысловато и заплетаясь скомандовал – всем слезть и идти пешком.

В окружении добровольного густого разнохарактерного конвоя они пошли, а грузовик бросили.

Но посреди Дворцовой площади поперёк ехал какой-то частный открытый автомобиль без красного флага. Прапорщик выстрелил два раза в воздух, остановил тот мотор, высадил всех пассажиров, усадил главных пленников на продавленные сиденья, снаружи на подножках и крыльях прицепились ещё вооружённые, – и так они медленно поехали, сильно перегруженные.

Выехали на Дворцовую набережную. Слепило солнце.

Один, на подножке, всё подымал и тряс винтовкой, всё подымал и тряс, и кричал до разрыва горла «ура!». Ему в ответ с тротуаров тоже махали винтовками и револьверами, тоже кричали «ура», а некоторые стреляли в воздух.

Солдат с другой подножки кричал им:

– Да товарищы! Да нэ стреляйтэ же! Да беречь патроны, оны ще пригодятся!

Тут Балка узнавал бы каждый дворник, но не видно было их, скрылись. У Зимнего

дворца шли навстречу два английских офицера, один знакомый Балку, его необычно длинную фигуру знал каждый, кто бывал в «Астории». Тот теперь остановился, повернулся к едущим и, держа обе руки в карманах, качаясь туловищем вперёд и назад, несильно смеялся, смеялся, хохотал над видом их автомобиля, арестованных генералов, и ещё поворачивался, поворачивался, чтоб не упустить комичное зрелище. И вытянул руку из кармана, показывая на них вослед.

Перегруженный автомобиль скрипел, лязгал рессорами на снежных взгорках, два раза останавливался – и Балк обмирал, что опять испортился, и, не довезя, расстреляют.

Улицы не были многолюдны, пока не стали приближаться к Думе. Тут – всё гуще, автомобиль гудел, разгоняя. В одном месте стояла без прислуги и без снарядов – отдельная пушка, жерлом навстречу им.

То – на конях показалось несколько артиллерийских офицеров, без шинелей, все с большими красными бантами на груди, публика кричала им приветствия, ура, – и они с удовольствием раскланивались.

Начиная от думских ворот густилась уже плотная масса людей, да автомобиль дальше и не пошёл, как раз отказав тут.

Толпа обступила их с ругательствами, насмешками и угрозами.

Какой-то пьяный, по виду дворник, громко мычал и при ссадке наземь всё норовил достать Балку до глаз своими пальцами, расставленными как рогатина.

Окружающие потешались и подзадоривали. В этой толчее, на последних шагах, ещё всё могло случиться – и по голове ударить и убить.

Но навстречу протиснулось несколько студентов Военно-медицинской Академии – и окружили арестованных защитным кольцом.

Вошли в Думу.

Там за столом сидела и кругом толпилась победительная молодёжь, преимущественно еврейская. Некоторые юноши с револьверами ужасающих и устаревших систем. Балка сразу узнала, стали кричать:

– Градоначальник! Это вы отдали приказание вашей полиции расстреливать народ из пулемётов?

Балк и не понял – из каких пулемётов? У полиции никогда их не было вовсе.

Один студент насмешливо возражал:

– Товарищи, товарищи! Теперь – полная свобода слов и действий, не оказывайте давления на градоначальника!

Балка вели дальше, наискось через Екатерининский заполненный зал, где другие юноши с упоением отбивали шаг вместе с солдатами – зачем-то и солдаты большим строем маршировали тут, в зале, во всём боевом снаряжении.

Всё это походило на сон или сумасшедший дом.

Кто-то крикнул:

– В министерский павильон!

Их повели светлым коридором. У входа в павильон перед часовыми сидел в кресле в белом облачении изнеможённый митрополит Питирим – и говорил, что он не может встать и не может идти.

В комнате павильона за большим столом уже сидело несколько безмолвных арестованных министров: им запрещали разговаривать.

А Хабалова – тут не было.

От начала войны все трое старших сыновей Кривошеиных рвались, как бы боясь опоздать умереть за Россию. Да и отец говорил: какое учение, когда надо врага бить.

Двое старших по началу войны бросили университет и ушли вольноопределяющимися в артиллерию. С тех пор оба уже получили по солдатскому георгиевскому кресту, были

подпоручики.

Третий сын, Игорь, едва окончив год назад гимназию, уже ни о каком университете и не думал, но тут же поступил на последний ускоренный курс Пажеского корпуса, с минувшей осени был уже прапорщик лейб-гвардии конной артиллерии, проходил стажировку в запасной батарее в Павловске – и вот скоро счастливо успевал к главным событиям войны.

Но в короткие недели гордого отпуска перед фронтом, судьбой и сердцем уже там, – вот не привелось Игорю погулять в столице! – началась суматоха. Когда вчера благожелательный унтер предупредил его на Воскресенском, что на Кирочной убивают офицеров, Игорь испытал растерянность, стеснение, оскорбление – новые чувства и в новом положении, в котором он никогда не бывал. Год назад он был беспечный гимназист, ни для какой толпы не завидный, но минувший год в нём воспитывали офицерское достоинство – и вдруг оно же поставило его против своей русской толпы?

И тут же, воротясь домой, он услышал от Риттиха, как волнуется следующий ряд его однокашников-пажей, рвётся ещё в новый бой, уже внутренний.

Что нужно делать? Смятение, неготовность. А его батарея спокойно стояла в Павловске, и не звала. И ничего важнее фронта всё равно не оставалось.

И так весь оставшийся день вчера и уже полдня сегодня Игорь унизительно сидел дома, лишь посматривая на Сергиевскую с четвёртого этажа – кто там проходит по улице, какая странная публика и в каком сочетании. Вчера там катилась и обезумевшая толпа первых восставших волынцев, а потом много миновало всяких групп и одиночек, и автомобилей, со стрельбою и без стрельбы, с красными флагами и красными знаками, давая определённое представление, что же делается на улицах главных.

Унизительно было затаиваться и скрываться. Да Игорь не испытывал страха, он непременно пошёл бы по улицам, может где во что вмешаться, он не отчётливо чувствовал новизну положения. Но отец сурово осадил: сделать бы он ничего не мог, а только бы выставил себя на оплевание. (А уж о матери что и говорить!) Пойти в штатском? Но не для того он выслуживал офицерский мундир, чтобы теперь избегать его и прятаться.

Да отвращением наполнялась душа от этой гнусности, разыгравшейся в Петрограде, когда все лучшие, вся армия – на святой войне.

Из парадных комнат Игорь уходил в свою, по дворовой стороне, откуда не виделось раздражающее уличное мелькание, и можно было бы вообразить, что ничего в Петрограде не происходит, если бы всё ещё не потягивало гарью от Окружного суда.

Вдруг он услышал, что как-то дверьми хлопают не по-семейному и переступают тяжёлыми ногами, и совсем чужие голоса, а в ответ им – оскорблённый и всё возвышающийся голос матери. И тогда Игорь выскочил как был, в кителе, с пистолетом на поясе, поспешил туда – и прежде чем разглядел всю сцену, нескольких вооружённых солдат, у кого шинель полурасстёгнута, и мать за спинкою стула против них, – его заметили и закричали:

– Да вот он!

Кровь ударила Игорю в лицо: пришли за ним? его искали?

Отец что-то не выходил. Тётя шепнула, что ушёл провожать Риттиха.

А мать выговаривала:

– У меня – два сына на фронте! И этот – едет! Как вам не стыдно? Война идёт! А вы бунтуете! Как это называется?

И тётя строго.

Но им – совсем не было стыдно, да они и не вступали в спор, они пришли по праву силы, что-то тут сделать. Игорь обежал их лица – и вдруг не почувствовал своего всегдашнего любования русским солдатом: вместо смелости, подхватистой службы, терпения или юмора – что-то тупо-развязное, животное, отвратительное было в этих лицах. Один твердил:

– С этого дома стреляли. У вас офицер, нам сказали. Вот он и есть.

(И это же действительно кто-то в доме указал! – из тех, кто улыбаются каждый день при проходе.)

– Сдайте, ваше благородие, пистолетик!

Оружие – честь офицера. Ещё ни разу не использованное в бою! Отдать свою честь!

А иначе – надо было отстреливаться. Тут. Они стояли угрожающе, уже штыки поворачивали.

Высокий тонкий худой Игорь закинул голову, бледный.

– Отдай, Игорь, – попросила мать.

Его душило отчаяние, горе, он сам не помнил, как это сделал, во тьме.

А они – ходили грязными сапогами по коврам, один попёрся в будуар к матери, в кабинет отца, тётя за ним. Другой, штатский, ходил тут, по гостиной, между креслами, по два-по три окружавшими столики с безделушками, посмотрел на барельеф «Вознесение Господне» и сказал насмешливо:

– А квартира у вас – что дворец!

А третий схватил графин с водой, ототкнул и понюхал, проверяя, не водка ли.

Хотя Игорь отдал пистолет, но не стало лучше: заговорили, что они его увезут с собой.

– Нет! – закричала мать и загородила проход руками. – Вы его убьёте.

Тот штатский сказал с кривой улыбкой:

– Не беспокойтесь, мадам, не убьём.

Штатский был из полуобразованных, ядовитая порода. Уверял, что отведут только на проверку. Игорь надел шинель, без шашки, и, успокаивая мать, пошёл за ними на лестницу.

А на солнечной улице весь наряд сразу его и покинул. Штатский велел одному солдату, простоватому парню, вести арестованного в Думу и сдать коменданту. А сам с остальной компанией отправился дальше по Сергиевской. Весь этот заход в дом, отнятие пистолета, арест – были для них, очевидно, попутным эпизодом.

Отвести и сдать коменданту! – это и значило арест, никакая не проверка.

Как же мгновенно изменилась судьба Игоря! – из гордого офицера, едущего на фронт, он превратился в арестанта, униженно идущего по мостовой в двух шагах перед штыком своего конвоира, под любопытные взгляды публики.

Он старался выправкой своей, закинутой головой и гордым лицом показать всем, что он – нисколько не преступник и презирает этот арест.

Как, наверно, дико должно казаться: арестованный офицер, ведомый по мостовой!

И все прохожие останавливались, смотрели. С удивлением, страхом, – но никто не проклинал. Даже скорей с сочувствием:

– Наверно, с чердака стрелял.

– Наверно, у него фамилия немецкая.

Вот положение! – даже от этих сочувственных догадок Игорь не мог оборониться, оправдаться, рассказать этим людям по-человечески, как всё случайно и несчастно произошло. Невидимая перегородка ареста уже оторвала его от простого человеческого рассказа.

А как мама там страдает? А что скажет отец, вернувшись? Но он скажет что-нибудь спокойное.

Хорошо, что Ритгих ушёл, не схватили бы его.

Перед Думой и особенно в сквере была ужасная толчея, почти пробивались, обходили грузовики, мотоциклы. Тут арестованному офицеру совсем не удивлялись, но сам он не мог рассмотреть толпы.

И – разве первую толпу в жизни он видел? но никогда не замечал подобного: проступающей жестокости на многих лицах, и не в особый момент их возбуждения, а в этом будничном полувесёлом стоянии в солнечный день подле Таврического. Как будто с известного антропологического, психологического, национального, сословного типа – сдёрнули верхнюю кожицу, и у всех сразу проступила жестокость.

И – жутко становилось, будто ты попал не в свой народ и на другую планету, и здесь

можно ждать всего.

В самом дворце была неразбериха ещё горше, и солдат-конвоир совсем растерялся: где тут, какого коменданта искать. Уж арестованный сам расспрашивал и направлял.

Наконец, пробились – не к коменданту, но в переполненную комнату, где люди разного вида стояли и сидели, ожидали, тоже, очевидно, приведенные, ещё со своими конвоирами или уже без них, – а за столом, стеснённая или обстоенная, сидела как бы комиссия, несколько штатских думских, опрашивали и записывали – на каких-то клочках бумаги, которые тут же в беспорядке валялись и падали со стола.

У этих у всех лица были человеческие, со вниманием, с улыбкой, только усталые.

Один такой симпатичный спросил Игоря:

– За что вас арестовали?

Но теперь сам Игорь не размягчился, так набрался обиды за всю арестную дорогу, и вся обида выдавилась в горло. Сухим тонким голосом он ответил:

– Наверно за то, что фамилия немецкая. И что стрелял с чердака.

– А какая именно фамилия?

– Кривошеин.

– Позвольте, какая ж это немецкая? – улыбался тот.

– Такая ж, как стрельба с чердака.

– Вы не родственник Александра Васильевича?

– Сын.

– Бож-же мой!

Тут же, на клочке, написано было ему, что он прошёл проверку в Государственной Думе и не может быть арестован.

И уже без конвоира (тот с порога и потерялся) Игорь снова пробивался через людской хаос – наружу.

Но короткий арест как будто дал ему новое зрение: на множестве лиц он видел эту новорожденную обнажённую жестокость – и не мог перестать видеть её.

Что-то явилось новое в наш мир.

194

Кто из членов Исполнительного Комитета и уходил ночевать из дворца, а тем более кто перебыл тут, – не имел ощущения, что и ночь сегодня была: одна непрерывная лихорадка, захватившая их вчера к склону дня, продолжалась и в темноте и с позднего рассвета. А уж к 11 часам утра она всех их стянула снова в комнату № 13 (и хорошо, что была у них эта комната, отдельная от своего же сбродного Совета, – и удерживать её собственными телами, и никого сюда не пускать). А как только собрались тут, так ещё властней затрясли их: изумление ото всего происшедшего – и страх идущей расплаты – и разрывное переполнение политическими задачами, которые нельзя было откладывать. Ещё позавчера, в воскресенье, они жили каждый своею малой обывательской жизнью, ни к чему быстрому не готовясь, при поблекшей и забытой революционной перспективе, а вот сотряслось, изверглось, вынесло их на вершину, – и шагали, и катили 8, нето 16 полков генерала Иванова – а членам И-Ка надо было именно в этих часах всё и решать: за рабочих, за солдат, за обывателей, за Петроград, за Армию, за всю Россию, решать сразу сто вопросов, и каждый из них главный и первоочередный, а все вместе их можно было назвать – Судьба Революции!

Даже только разобрать, разделить эти вопросы, установить для них порядок – уже не могло вместиться в один день, не то чтоб их решить. И может всего-то одни сутки и оставались у них до наката грозной карательной силы Иванова, эта нависающая угроза ужасно мешала деловому обсуждению. Но у членов ИК оставался – всего один единственный может быть час до открытия в соседней комнате № 12 общего собрания Совета рабочих депутатов, куда должно было явиться сегодня гораздо больше людей, чем

вчера: вчера приходили случайные, никем не избранные, а сегодня могли по заводам навывбирать и несколько сот человек – а в ту комнату помещается битком двести. И что ж теперь: через час прерывать заседание ИК – и всем толпиться на собрание того Совета, которого они и были ИК? Но это абсолютно бессмысленно! Совет сделал своё дело вчера, утвердив Исполнительный Комитет, а больше ничего путёвого он сделать не мог.

– А как, товарищи, быть с солдатами? Солдат – что же, тоже включаем в Совет рабочих депутатов?

– Ни в коем случае, товарищи! В пролетарский орган не должны войти мелкобуржуазные элементы!

– А иначе, товарищи, мы рискуем изолироваться от масс.

Ясно, что солдатских депутатов тоже выбирают по ротам, и ясно, что они уже прут в Таврический и будут переть и дальше. О, чёрт!

На собрание Совета послать кого-то нескольких, и тем отмазаться. Да ясно кого: Чхеидзе. Он подходил для этого и как председатель Совета, а ещё и тем, что осоловел от происходящего, как будто крепко выпил, растеплился, расплылся, – и здесь, в ИК, совсем был не полезен для делового обсуждения.

Но ещё же кого-то? Взгляды обращались друг на друга, кого бы послать, только не меня, мало приятная задача. Да собственно, члены ИК, только теперь впервые рассевшись вокруг стола председателя бюджетной думской комиссии, – только теперь впервые и осмотрелись, и то не до конца. Они хотели бы увидеть тут, помимо лично себя, более прославленных и несомненных лиц, – но вот во всём Петрограде более прославленных не наскреблось. Кого-то из них вчера, кажется, избрали голосованием в соседней комнате, кто-то был кооптирован как «авторитетные лица левого направления», кто-то, кажется, сел и сам, – во всяком случае они все теперь должны были считаться надёжными членами Исполнительного Комитета. (А «Исполнительный Комитет» для публики должен звучать страшно, как тот таинственный Исполнительный Комитет, который, убив Александра II, писал ультиматум Александру III. И вот он снова выплыл и командовал!) Но хотя каждый присутствующий занимал точно один стул, и стулья можно было пересчитать, – а членов ИК всё равно пересчитать было невозможно: одни сидели, другие выскакивали по срочному вызову или без него, третьи помнилось, что уже введены в ИК, но почему-то не присутствовали, а четвёртые, как Канторович и Заславский, выдающиеся перья, очень хотели бы состоять и присутствовать, но не находилось возможности их кооптировать – так что предстояло им перейти в соседнюю комнату и направлять Совет рабочих депутатов. (Канторович пошёл туда и, найдя отсутствие кворума, задержал то собрание). Итак, даже твёрдо сосчитаться не могли члены ИК: то ли их было ещё 15, то ли уже 25, то ли уже произведена, то ли ещё только началась кооптация видных лиц партийных направлений, – во всяком случае Шляпников уже привёл никем не избранных большевиков – Молотова, какого-то Шутко с дурацкой мордой, и от трудовиков уже уверенно засел Брамсон, а от межрайонцев – юркий Кротовский-Юренин, вчера опоздавший к дележу мест.

То-то и оно, что они тут были многие юркие, умные, но все щупло-непредставительные, а кого же посылать на Совет? И многие с надеждой взирали на рослого крупноплечего Нахамкиса – вот он и пойдёт проголосовать на Совете уже принятые постановления ИК?...

Чхеидзе пошёл открывать Совет.

Комната 13 имела два выхода: через 12-ю и непосредственно в коридор. И ещё тут была портьера, делящая саму 13-ю пополам. За портьерой, вокруг стола, теперь и уселся ИК. А перед портьерой собрались как бы привратники, недопускатели, даже один рослый лейб-гренадер, – останавливать напор из коридора. И появились первые секретарши – из своих, членов ИК, семей.

Но и в осаждённости, но и в неясном составе, но и в постоянном перемещении – а призван был сейчас ИК решить оборону революции! И в это входило – всё сразу, нераспутанным клубком. И призвать население не тратить патроны даром. И призвать

сдавать оружие в районные комиссариаты (вместо бывших полицейских участков). И создавать вместо прежней полиции новую милицию, – значит, напротив, и раздавать оружие. (Самим не упуская, что может быть этой милиции придётся воевать против вооружённых сил думского Комитета.) И – создавать автомобильные отряды революции (пусть районные комиссары нареквизируют побольше частных автомобилей). А что делать со всей Армией? Как и кто защитит от карательных войск Иванова, идущих неумолимо? И что делать солдатам относительно офицеров? А не поискать ли офицеров-социалистов – такие могут быть! обратиться к ним? А железнодорожное сообщение с Москвой? – надо восстанавливать, это уязвимое место столицы. А трамвайное движение в Петрограде? – напротив не восстанавливать, чтобы не вызвать недовольство забастовщиков. А почта и телеграф? – за ними надо же наблюдать, да взять их в руки! (С кем сносятся царь? царица? Ставка? да и сам думский Комитет? тоже не вредно нам знать.)

– Товарищи! Товарищи! Но всякая деятельность требует денег! Кто будет нас финансировать?

Со вчерашнего дня они почти не ели, не амортизировали своей одежды, помещения брали бесплатно, и себе не требовали заработной платы, так что не нуждались ни в каком финансировании. Но вот – им принесли и расставили по столу кружки со сладким крепким чаем и бутерброды с маслом и сыром. Стало рассуждаться легче.

Финансирование? Пусть думский Комитет и финансирует деятельность Совета!

Великолепная идея! Воспитанные на экономике мозги сразу разворачивают её: все государственные финансовые средства должны быть немедленно изъяты из распоряжения старой власти! Для этого немедленно революционными караулами должны быть заняты в целях охраны: Государственный банк! казначейство! монетный двор! экспедиция государственных бумаг! Арестовать все денежные средства! (Гигантская идея Парвуса в Пятом году, Финансовый манифест.)

– Нет, товарищи, мы пока сами не в силах. А давайте: пусть Совет поручит думскому Комитету это всё произвести!

– Нет, товарищи, надо помягче, – возразил забредший Пешехонов. – Пусть кредитные и денежные операции текут нормально, а Совет с думским Комитетом изберут наблюдающий финансовый комитет...

– Мало! мало! Не таким языком разговаривать с думцами! Они, вон, издают воззвания, а нас не спрашивают.

– Поручить Чхеидзе и Керенскому потребовать, чтобы тексты воззваний согласовывали с нами!

И вообще: выяснить формальные отношения с думским Комитетом!

И – ограничить их!

Да, но солдаты, солдаты! Если будут выбирать по одному от роты, то они тут захлестнут рабочих. А если создать отдельный солдатский Совет – то это будет конкуренция! Да и вовлекать армию в политическую борьбу?

А есть ли у нас ещё выбор? Они уже, наверно, поизбирали?

Сходил Нахамкис на Совет, сказал: и рабочих и солдат пока ещё мало, лучшие силы – отсутствуют: ходят, стреляют, обыскивают. А присутствующие – сейчас согласно проголосовали за все решения ИК.

Да не это имело значение, а сам морально-политический факт, что Совет – заседал.

Но самому-то ИК было работать всё невозможнее! За столом вопросы и так раскалывались между соседями. А каждые 5-10 минут кто-нибудь прорывался сквозь дверь, сквозь задержки, иногда и за занавески: курьеры и просители, делегаты учреждений, общественных групп или просто чёрт знает кто. И каждый врывается – со внеочередным заявлением! экстренным сообщением!! делом исключительной важности!! не терпящим отлагательства!! связанным с Судьбой Революции!!!

И каждый раз опасно было бы не выслушать, раз именно от этого сообщения зависела Судьба Революции! И каждый раз оказывался вздор или мелкий эпизод. (Тут были и

сообщения о грабежах, пожарах, погромах – и Исполнительный Комитет отдавал распоряжения, не рассчитывая, что они будут исполнены, посылал охранительные отряды, без уверенности, что они сформируются.)

А когда Чхеидзе возвращался сюда отдохнуть – то врывались и вслед за ним, с Совета и из коридора, требуя его к народу, к войскам, с речью, – а иначе толпа сама ворвётся сюда.

И отдельно требовали за дверь одного-другого-третьего члена ИК – и какие-то представители каких-то организаций или общественных групп, – адвокатов, врачей, фармацевтов, торговых служащих, земско-городских, учителей, почтово-телеграфных чиновников, эстрадных артистов, – требовали мандатов в Совет Рабочих Депутатов. И была только одна возможность – уступить и давать.

За всей этой кутерьмой, дёрганьем, выбеганьем – какая была работа? Но кто понимал – самая важная незримая работа пробивалась выше всего: партийная группировка в ИК. Она – и была ключ ко всей будущей политике: кто захватит тут большинство – правые? или левые? От каждого кооптирования, или входа, или ухода – большинство чутко менялось. И несколько глаз больше всего и следили за этим балансом.

Собственно, когда все оглянулись и рассмотрелись, то безнадежно правым тут оказался единственный только Гвоздев, хотя до вчера сидел в тюрьме за левость, а большинство левых – не сидело. Ещё, пожалуй, Богданов был слишком оборонец, и Эрлих, хотя непоследовательно. А все остальные меньшевики хоть чем-нибудь да левые – или интернационалисты, или инициативники, или всё вместе. А уж Александрович – кто из эсеров его левей?

Но, как считал Шляпников, достойно-левыми являются одни только большевики. А таких хотя он уже и насчитывал тут пяток, включая уклончивого Красикова-Павловича, а шестым присчитать межрайонца Кротовского, – но это не перевешивало сплотки меньшевиков. И теперь, пощипывая себя, чтоб не размаривал сон, он старался зорко следить за возникающими комбинациями. В этом и был смысл всех обсуждений: при каждом вопросе: какое решение за нас и какое за них. Солдат? – допустить в один Совет с рабочими (они будут за нас, и перевесят благоразумных меньшевиков)! В конце концов dospорились: включить солдат в общий Совет, но отдельной секцией. (И это успех.)

Гвоздев – тосковал на заседании, чувствуя себя одиноким, не находя прямой работы и не надеясь ничего управить. А Гиммер, хотя и чаще всех выбегал, но просто изводился – от своей счастливо-несчастной особенности засматривать всегда на сто ходов вперёд. Ах, не то было важно, о чём они тут все толковали! Если не говорить об угрозе генерала Иванова, то сейчас не было более важного вопроса, чем составить общую политическую формулу: **как построить власть**, чтоб она соответствовала интересам демократии? и содействовала бы правильному развитию революции? и успеху международного социалистического движения? И вместе с тем – не обжечься и не свалиться с достигнутой высоты. Вчера – он послабил товарищам, не требовал от них такой формулировки, – а они не догадывались. Но прежде чем власть сама построится – надо этот процесс опередить активно! А значит: активно строить отношения с думским Комитетом, одновременно и заставляя его продвигаться против царизма, одновременно и ограничивая его во всём. И тут ключевой вопрос – о захвате армии. Думский Комитет конечно захочет перенять армию в свои цепкие плутократические лапы – а значит отнять реальную силу от народа. И вот, надо так сманеврировать, чтобы солдаты не попали в прежние офицерские ежовые рукавицы – но создать внутри армии совершенно новые революционные отношения. Нельзя ни минуты верить Милюкову и Родзянке, это та же протопоповская компания. Надо решительно вырвать армию из их рук – но как это сделать??

Ах, он сам был несчастный, что такой умный! Он сам был несчастный, что всегда соображал раньше всех, точнее всех – но его не слушали. И здесь, на ИК, его не слушали, хотя в общем у них собиралось довольно хорошее циммервальдское ядро: Капелинский, Соколовский, Ерманский, Шехтер, Панков – это были всё мартовцы, интернационалисты. И трое их, внефракционных, – сам Гиммер с Нахамкисом и Соколовым, это уже основа левого

большинства, если б увлечь за собой и болото. И если бы Шляпников не дурил, не вталкивал в ИК своих тупых, неразумных... – можно было бы какие политические комбинации проводить!

А сегодня – ни о чём нельзя было договориться, даже составить редакцию «Известий Совета Рабочих Депутатов». Большевики потребовали: 100% большевиков! Тогда и меньшевики: 100% меньшевиков! Вот и пытайся с ними работать, независимый умница-социалист!

Тут – опять Гиммера вызвали, и как раз по делу «Известий». Вызывал его Бонч-Бруевич, из-за занавески.

195

Пешехонов не поленился и не побоялся сходить пешком на Петербургскую сторону и назад, зато выспался. И теперь, часам к 12, свежим пришагал к Таврическому назад.

От вчерашнего вечера здесь осталось у него ощущение большой неразберихи и не-то-делания, чего стоила одна их вымученная многочасовая литературная комиссия. Ни за что б он не хотел вчерашних промахов повторять и тревожно чувствовал необходимость что-то исправить в общем ходе. Так неуправляемо и слепо не могли дальше идти дела, при большой внешней угрозе.

Но уже войти во дворец было не так просто: приходил в полном составе, чтоб заявить о своём переходе на сторону революции, лейб-гренадерский батальон – тот самый, с Петербургской стороны, через который Пешехонов вчера прорывался смело в одиночку, а потом освобождал у них арестованного. И неужели это было только вчера вечером? Как всё изменилось! Вот уже они пришли присягать революции! А теперь лейб-гренадеры выходили из дворца и залили собой весь сквер перед Таврическим. Они б не уходили и ещё б охотно слушали тут, недалеко они шли, и им в новинку было послушать речи – да солнце, лёгкий морозец, праздник! Но слышались звуки нового оркестра, подходящего по Шпалерной, – не одни гренадеры догадались сюда идти.

Пока гренадеры нехотя вытекали из сквера, Пешехонов мог продвинуться к дверям, и вошёл бы внутрь, если б не объяснили ему, что вот подходит Михайловское артиллерийское училище! А там – учился его сын! И хотя, по близорукости, Алексей Васильич не надеялся увидеть сына в строю, но хотя бы послушать церемонию, чтобы потом обменяться с сыном. И он остался на крыльце.

Теперь, рядом с ним, выступал громкий тучный Родзянко, кажется, однако, потерявший долю самоуверенности. И Керенский, взбудораженный, в своей новой роли.

Между их речами был заметный угол. Родзянко говорил о верности России, о военной дисциплине, о победе над врагами, Керенский – ничего о том, будто войны нет, а – о торжестве революционного народа и о наступившей долгожданной свободе, – но противоречий этих никто не замечал, или представлялось, что они друг другу не противоречат, – и с равным восторгом юнкера кричали «ура» тому и другому.

А всё остальное свободное место внутри двора было забито любопытствующей публикой. А ещё через неё должны были протискиваться конвои, ведущие арестованных. Долго белел в толпе, медленно двигался клубок митрополита, которого тоже арестовали и вели – уж эта крайность зачем? возмутительно.

А уж внутри дворца народу было несравненно со вчерашним, вчера только гости, сегодня наводнение. Но не было в Купольном и в коридорах этого наружного радостного солнечного света, оттого темно и неудобно.

Пошёл направо, в ту комнату, где вчера заседал Совет. Сегодня, да уже сейчас, должно было снова открыться его заседание; но сегодня пытались проверять мандаты – бумажки с корявыми записями, работа шла медленно.

Втиснулся в 13-ю комнату на заседание ИК. Тут к Пешехонову подскочил меньшевик Соколовский и объявил ему, что на ночном заседании Исполнительного Комитета он

назначен комиссаром Петербургской стороны, то есть полным её властителем и губернатором, – и ему надлежит отправляться туда и вершить власть.

Пешехонов заколебался. Должность, по сути, прежнего полицейского пристава? Постановление ИК никак не было для него обязательным – хотя если все будут уклоняться от постановлений, то что же тогда получится? И он понимал так, что должен представлять здесь, в Таврическом, интересы и точку зрения своей народно-социалистической партии. А с другой стороны, не произойдёт добра, если каждая партия будет ставить свои партийные интересы выше интересов общих, – теперь-то и наступила та мечтаемая пора, когда все должны проявлять дружность и самоотверженность.

И он решил: еду! Живое дело! В гуще народа! (К этому и всегда стремился).

Но для этого нужен был какой-то же с собой штат сотрудников. Во-первых, несколько рабочих с Петербургской стороны – таких он легко нашёл близ мандатной комиссии: все заводы присылали больше, чем им полагалось, одного человека от тысячи, – и теперь избыточные, уже разохоченные к политическому действию, не хотели уходить. Вот их Пешехонов и подхватил.

Потом нужно было несколько интеллигентов – но эти нашлись совсем легко.

Затем как-то надо было законно разграничиться или соотноситься с районными властями, поставляемыми Комитетом Государственной Думы, – и Пешехонов отправился на думскую половину. Тут, в кабинете рядом с родзянковским, он увидел Милюкова, рассказывавшего Некрасову, Шульгину и ещё кому-то о своей поездке в пехотный полк на Охту, необычное для него выступление. Твёрдо поблескивали за очками его глаза, которые Пешехонов всегда находил страшноватыми, другие этого не видели.

Вопрос Пешехонова о власти на местах тот встретил с тяжёлым подъёмом бровей, как какой-то нековременный вздор.

– Ну что ж, – сказал почти с презрением, – если вы находите это для себя подходящим – отправляйтесь.

И понял Пешехонов, что думский Комитет даже и задуматься не успел, что нужна ему своя власть на местах, – а значит, парил он в воздухе и ещё не держался ни на чём. Нельзя было не заметить, насколько Совет опережает. Ведь вот вчера в полночь, когда думский Комитет только обсуждал, принимать или не принимать власть, Совет уже распорядился и уже имел комиссии. За ночь он успел снести с фабриками и заводами, вызвать делегатов. Прокламации Совета уже с вечера разбрасывались и читались на улицах. Население начинает понимать Таврический как место выборного Совета – а о думском Комитете ещё все ли знают? Эта деловитость Совета Пешехонову нравилась, она была к несомненной пользе революции.

Пешехонов нацепил на себя огромный красный бант, чтобы все видели издали.

Тут кто-то его надоумил, что надо же ему иметь свою военную силу для начала. Солдат сколько угодно он мог себе набрать перед дворцом на Шпалерной – но где взять хорошего офицера, который бы согласился пойти и которого бы солдаты слушались? Пешехонов направился в комнату Военной комиссии.

Не так просто его туда допустили, охрана была многолюдна, и все с большим удовольствием проверяли. Пришлось назваться комиссаром Петербургской стороны. Внутри было несколько полковников, и создавалась обстановка штаба. Пешехонов не мог, конечно, разделять солдатского недоверия к офицерам – а что-то и его царапнуло, недоверием и опасением, что вот царские офицеры больших чинов берут на себя охрану революции от царя же. Но тут он заметил эсера Масловского в военном мундире и без погонов, и сказал ему о своей нужде. Тот сразу с ним вышел, провёл ещё в соседнюю комнату, где сидело несколько офицеров, и тут представил обаятельного молодого прапорщика, неприкрытый смелый взор, Ленартовича.

Кажется, тот ждал другого назначения, пробежала тень по лбу, но тряхнул головой и согласился. И самый этот трях головы был очень симпатичный, устанавливал с прапорщиком сразу простоту.

Ещё оставалось взять два автомобиля – эти в готовности нашлись. И мгновенно прапорщик скликал десяток солдат – то ли известных ему, то ли совсем новых.

Поехали.

Однако, по набережной не доезжая Троицкого моста, их остановили какие-то самозванные распорядители, не отличенные и повязками на руках, а только красные розетки, как у всех. Оказалось: выезжать на мост нельзя, его откуда-то обстреливают. С той стороны? Нет, кажется, из Инженерного замка.

Ленартович, выпрыгнувший из второго автомобиля, был тут как тут, рядом с Пешехоновым – и, даже не советуясь, с избытком военной решимости, тотчас скомандовал своим солдатам соскочить, вывел из-за укрытия последнего дома, рассыпал в цепь, скомандовал ружья на изготовку – и повёл в наступление через всё Марсово поле на Инженерный замок! Сам он, на фланге, выхватил шашку и, стройный, затянутый, картинно нёс её над головой. Пешехонов залюбовался им – и растерялся, ничего не возразил.

И они пошли, пошли.

Однако неблизок же был путь, атаковать, через всё Марсово поле и через Мойку! И что же можно было сделать с десятком солдат против целого замка? Да ещё – откуда ли стреляли? Не может быть, чтоб Инженерный замок был до сих пор против революции, его б уже атаквали. А комиссару Петербургской стороны? Стоять с автомобилями у моста? Или ехать на место, растеряв свою вооружённую силу?

Сообразя это всё, Пешехонов сам выскочил из автомобиля и штатски заковылял вослед своим вооружённым силам. А они уже порядочно продвинулись – и солдаты не выражали колебаний или заминки. Впрочем, и никаких пуль не было слышно.

И на левом фланге так же картинно, красиво, с шашкою над головой, легко ступал прапорщик Ленартович.

Пешехонов окликал его – тот не оборачивался. Тогда нагнал его вплотную – тот обернулся, вздрогнув.

Сказал ему, что не надо наступать, а надо ехать на место.

Но Ленартович весь пламенел подвигом, и не мог спуститься к мелочным соображениям.

– Да поймите же, что глупо получается, – убеждал Пешехонов. – Это что ж мне тут, полчаса или час стоять у моста?...

Не внимал – шагал дальше, чтоб не отстать от своих солдат.

И Пешехонов за ним:

– Голубчик, но вы же согласились быть при мне, а я – комиссар Петербургской стороны, Инженерный замок к нам не входит, тут кто-нибудь другой...

Ленартович, не полностью остановясь, обернул лицо изумлённое:

– Как вы можете так рассуждать! – с упреком воскликнул он. – Разве Революцию можно разделить, где своё, где чужое! Теперь – всё наше.

И – уходил дальше.

И Пешехонов, рассердясь, прикрикнул на него:

– Молодой человек! Извольте повиноваться! Я – комиссар!

Раненый стон, как а-а-ах, вырвался из груди Ленартовича. Он замедлил шаг – и медленно, медленно стал опускать шашку к ножнам. И раненым голосом крикнул солдатам горько, разочарованно:

– Сто-о-о-о-ой... Отставить атаку...

В Государственную Думу попали братья Некрасовы с маленьким Греше ещё совсем не просто. Красноповязочники с Эриксона повели их троих по Сампсоньевскому в их офицерских шинелях – и с тротуаров, и даже из оконных форточек кричали рабочие женщины: «бей кровопийц!».

Знавшие, в чём дело, вели их только человек семь – а вокруг стягивалась и сопровождала новая толпа, и все были возбуждены ненавистно.

– Чего с ними возиться? – кричали. – Кончай их к такой матери здесь!

Толпа замкнулась, и эриксоновцы дальше идти не могли. Они спорили с толпой, но их не слушали. От самых казарм привязался какой-то бородатый пьяный солдат, и всё совал штык, пытаясь кого-нибудь из офицеров пырнуть. Он ли, или ещё другой штык – но Сергея и подкололо сзади. А то мелькал замахнутый приклад, не дошедший до головы. Оттого что конвоирующие рабочие не отдавали пленных и что-то объясняли – ярость толпы только увеличивалась, – крики, ругань, размахивание руками, – да какая же ненависть? да почему к офицерам?

В любую минуту могли дотянуться и забить. И опять всё потемнело, и опять эта обида – от своего же народа! Всё снова казалось конченным! – второй раз за короткий час. Конвой рабочих не мог ни продвигаться, ни защитить их.

И вдруг, вдогонку, опять врезалось несколько москвичей – тех самых, что уже раз их спасли! Ах, ребята! Они резко отталкивали прикладах, кулаки, отводили штыки и враз громко кричали, что это – их верные офицеры, с ними вместе воевали, и один из них – калека войны.

Не так это тронуло толпу или дослышалось здесь, как у двери причетника, – но всё ж наседающие остывали.

Тут подъехал крытый брезентом грузовик. Москвичи и эриксоновцы стали проталкивать офицеров через толпу – к грузовику. Встолкнули их туда – и рабочих пятеро взлезли как конвой.

Так и не успели поблагодарить москвичей или хоть узнать, из какой они роты.

Если б не автомобиль – нипочём бы не прорваться до Думы, десять раз бы ещё остановили и растерзали. Даже и автомобиль не раз останавливался в толпе, так переполнены были улицы ярмарочно-возбуждённым народом. Иногда конвой кричал через задний борт или из кабинки шофёра:

– Арестованных офицеров везём! -

и поднимался радостный рёв и крики «ура» с поднятыми руками.

А под брезентом конвойные рабочие мирно и с любопытством беседовали с офицерами:

– Как же так, господа офицеры, вот солдаты ваши говорят, что вы хорошие, – а почему же вы с народом не идёте?

Всё в один час: жить или умереть – и тут же находится спорить. Объясняли офицеры:

– Устраивать революцию во время войны – преступление и гибель России. Вы просто не ведаете, что делаете.

Съехали с Литейного моста – стояла трёхдюймовая пушка, дулом по набережной, и вокруг вертелись несколько солдат с красными бантами – но непохоже, чтоб умели они из неё выстрелить.

Ближе к Таврическому толпа была такая же густая, но меньше простонародья, а больше интеллигентов. С чего-то подставленного, с парапетов и со ступенек – в разных местах горячо говорили ораторы своему ближайшему кругу. И очень много было солдат – свободных от строя, самых разных частей, как вольная публика. Улица и сквер перед дворцом были уже так плотно забиты, что грузовик совсем не мог ехать. Арестованных ссадили и, протискиваясь, повели. Тут легко было достать их и прикладом, и штыком, но уже не было той чёрной ненависти, как на Выборгской стороне, не требовали их убить и не матюгали. Даже полудружелюбно окликали:

– Господа офицеры! Зачем же вы против народа?

Вот не предполагали побывать в Государственной Думе. Но при входе во дворец и в его залах оказалось не просторней, а ещё тесней, арестованные и сопровождавшие были сжаты в малую кучку, а уж внимания на них и вовсе никто не обращал. Конвоиры допытывались, куда и кому сдать арестованных. Вместе пробивались коридором крыла.

В большой комнате изгибался в несколько линий хвост, хуже хлебного, – арестованных, ожидающих обыска. Это всё была полиция – приставы, околоточные, жандармы. Впереди, у столиков, несколько студентов, гимназистов и рабочих с повязками опрашивали, записывали, и потом в углу, отгороженном скамейками, раздевали до подштанников. Несколько солдат и рабочих, учась тюремному ремеслу, прощупывали, переминали снятые мундиры, брюки, обувь. Туда, к скамейкам, набралось много и зрителей, и все с интересом ждали, что найдут. И эриксоновцы, теперь покинув свои конвойные заботы, тоже пошли смотреть.

Офицеры стали в хвост, ожидая своей очереди позора. Конечно, и полиции эта процедура была нестерпимо унижительна, но их офицерская строевая гордость ломилась с болью: ах, зачем же они не сопротивлялись до конца? Ещё вчера бы сразу и умереть.

Тут появился какой-то быстрый молодой худощавый штатский господин, причёска ёжиком, в сюртуке, крахмальном воротнике со сбившимся галстуком, – а за ним пожилая сестра милосердия с подносом. Они пробирались к регистрирующим, сестра стала выдавать им, – только им, не арестованным, – хлеб и мясо, а господин что-то говорил, жестикулируя. И вдруг прекратили обыск, и уже раздетые ожидающие стали снова одеваться.

Офицеры вздохнули облегчённо. Возвращалась сестра – спросили её, кто это такой. Ответила:

– Член Думы Керенский.

Тут возвращался и он сам. Лицо его было утомлённое – но и повышено живое, быстрый взгляд и даже мальчишество. Всеволод Некрасов, наступая на палку, продвинулся к нему, задержал за рукав:

– Господин депутат! Мы вот здесь трое – офицеры лейб-гвардии Московского полка. Среди арестованных, как видим, мы только трое – строевые офицеры. Мы хотели бы знать: что, нас тоже будут раздевать? Что вообще нас ожидает?

С быстрым вниманием молодой депутат осмотрел их, увидел палку Всеволода:

– Вы раненый?

– Да. Ампутирована нога.

– А вы – георгиевский кавалер? – это к Сергею, заметив крестик под расстёгнутой шинелью.

Хотя депутат не был выше окружающих, но используя небольшой расступ вокруг себя – уверенно обратился с речью ко всей гудящей комнате, да так, будто эту речь готовил всё время. И жужжание смолкло, все слушали.

– Товарищи! Что за стыд?! – взносчивым лёгким голосом кинул он. – Революционный народ – и арестовывает офицеров-инвалидов, и георгиевских кавалеров? Офицеры – необходимы армии! Идёт война. Никаких эксцессов к офицерам быть не может!

Он чуть выждал возражений – те не раздались. Приведшие конвоиры не высунулись из толпы, как пропали. В колеблющемся море мятежа один уверенный звонкий голос сразу заменил весь закон.

– Идёмте! – уже не сомневаясь, властно сказал Керенский офицерам и повёл всех троих.

А выведши, в коридоре, – с оттенком даже царственного дарения:

– Вы – совершенно свободны, господа! Пойдите, получите охранные удостоверения. Но не советую вам сегодня выходить из дворца.

И пока ещё рядом проходил с ними через толкотню, смешенье одежд и лиц, объясняя нужную комнату:

– Господа! Ведь вы любите нашу родину! Присоединяйтесь к народному движению.

Велик был соблазн поддакнуть спасителю от камеры и позора. Но Сергей ответил:

– Вот именно потому, что любим родину, господин депутат, мы и не можем делать революцию во время войны.

Что же случилось? Ай-ай-ай! Обрушилось именно то ужасное, что он измышлял избежать государственным переворотом, – то самое страшное, стихийное, то есть бунт черни.

Гучковский заговор – не успел. А теперь, когда революция всё равно уже взорвалась и всё сметалось прочь великанскою рукой, – теперь Гучкову второй день казалось, что трудности заговора были совсем незначительны, и в марте вероятно бы успели, надо было успеть.

Вчера началось – и Гучков заметался: что делать? Началось – при нём, он – тут, в Петрограде, – и что же делать? Надо было одновременно – и как-то остановить народное движение, и мгновенно вырвать уступки у царя. Гучков (ощущая себя военным человеком) кинулся в Главный штаб и добивался от Занкевича, ни по какому праву, – подавления! (Странная двойственность внутри: и ясно, что надо давить, и хочется успеха движенью.) Потом кинулся в свой дремлющий и перепуганный Государственный Совет. Кое-какие члены слонялись по Мариинскому, ни на что не способные, – Гучков стал сплачивать их и звонить по телефонам, и так послали телеграмму царю. Тут Гучков со злорадством наблюдал последние беспомощные метания министров.

И вот – всё, что он успел вчера.

А сегодня с утра отправился в Думу. (Если бы и хотел дома посидеть, то не мог бы: Марья Ильинична изошрилась и сегодня утром устроить ему сцену – удивительная способность женщин никак не чувствовать общей обстановки, ничего не видеть за гребнями своих чувств, – выжгла из дому и сегодня. С тем большим порывом поспешил в Думу.)

Из утреннего телефона он уже знал – и что образован Комитет Государственной Думы, и что там же в Таврическом загнезвился, закурил Совет рабочих депутатов, собезьянничанный с Пятого года (а в Пятом придуманный революционными полуинтеллигентами же). Надо было спешить к событиям и активно вмешаться! (Ещё не понимая, как именно.)

Ему идти было тут от Воскресенского всего два квартала – и даже при необычном оживлении и хаосе нетрудно пройти.

Хотя уже четыре года Гучков не принадлежал к Думе – но место его сейчас было несомненно там. Сохранялось за ним негласное, неофициальное право состоять в одном ряду с думскими лидерами. Он спешил туда не по притяжению любопытства, но по этому негласному праву. Он был – из самых заслуженных в процессе обновления, и главный враг императорской четы, и теперь, когда всё зазыбилось, – естественно ему стать на рулевое место, без лицемерия и ужимок. Не метил он себя премьер-министром (хотя отлично справился бы), к этому месту уже тянулась черед, из Родзянки, Милюкова, Львова, но вторым-третьим лицом в государстве во всяком случае. По постоянной близости к военному делу, он назначал себя – военным министром.

Но что за тупая толпа! – тут надо ещё отстоять своё право на каждый следующий шаг. Привык считать Гучков, что его знает вся Россия, вся Россия слала телеграммы при его болезни, – однако вот здесь, перед решёткой Таврического и в сквере, его не узнал в лицо решительно никто, разве один-два студента. Его пропускали, но просто по солидному меховому воротнику, нахохленному виду и золотому пенсне догадываясь, что у этого барина важное дело в Думе. Однако сами-то они зачем здесь толпились в таком избыточном, глупом количестве? Кто б это предвидел: что от революции все кинутся к Думе и будут толпиться тут как бараны, даже в изрядный мороз.

Но это что по сравнению с тем, что внутри: в дверях стискивали, в Купольном зале от входа сразу заворачивался круговорот, так что надо было с силой выбиваться локтями. Бюст Александра II, поставленный депутатами-крестьянами к 50-летию отмены крепостного права, – и к тому пристроили красный бант. Красные бантики, ленты, приколки торчали почти на всех прохожих. По всему Екатерининскому густо толпились, и в нескольких местах мельтешили митинги, другим неслышно.

Всё же Гучков быстро нашёл и главных думских, и дознался о Военной комиссии, и понял свою задачу: взять её в твёрдые руки, сделать регулярным штабом и полностью перехватить к думскому Комитету. Для этого надо было быстро насажать сюда если не генералов, то расторопных полковников. При знакомствах и военном авторитете Гучкова это было недолго.

Тут он застал подозрительных социалистов – жёлчного библиотекаря Академии, нервного лейтенанта – и, обдавая их презрением, потеснил. Потеснил собою и Энгельгардта, совсем неухватистого. Там же вдруг нашёл незаменимого Ободовского, обрадовался и поставил его фактическим старшим до прихода своих полковников. Тут же сел и без труда написал приказ командирам всех частей петроградского гарнизона ежедневно доносить ему о наличном составе. Представить списки офицеров, вернувшихся к исполнению своих обязанностей. (Кто ж у нас есть?) Ни в коем случае не допускать отбирания у офицеров оружия, нужного им для несения службы. С четверга 2 марта восстановить правильные занятия во всех военных учреждениях и заведениях. (С завтра было бы нереально.)

А когда потом Гучков пошёл и пробивался к Родзянке, то увидел над толпой его возвышенную полукуполом голову без шапки, как она передвигалась к выходу. Пробивался к нему наискось, вдогонку. За Родзянкой двигался безумноватый черноглазый Владимир Львов.

Снова через водоворот и скопление Купольного зала – выбрались на крыльцо.

И увидели перед собой настоящее чудо: строгий строй юнкеров Михайловского училища в четыре шеренги, протянувшийся в сквере, лицом ко дворцу, а остальные оттеснились.

На чистых юнкерских лицах сверкала готовность, преданность, не то распушенно-боязливо-блудливое выражение, как на солдатских. Вот кто и будет опорой в ближайшие дни!

И не только все офицеры были на местах (радостно видеть настоящий строй), но и генерал, начальник училища, и вот скомандовал гулко перед Председателем Думы:

– Смир-р-рна! На краул! Господа офицеры!

И лихим движением нескольких сот рук винтовки были перекинута от «к ноге» «на плечо» – и глухие перехваты рук об ложа слились в единый выразительный звук.

И Родзянко, вспоминая молодость, выпрямился сам, с обнажённой головой, выслушал рапорт, отдал нужное «вольно», винтовки опустились снова к ноге, – и голосом, созданным для смотров, вынес навстречу юнкерской верности:

– Я вас приветствую, господа офицеры и господа юнкера! Я приветствую вас, пришедших сюда и тем доказавших ваше желание помочь усилиям Государственной Думы водворить порядок в том разбушевавшемся море беспорядка, к которому нас привело несовершенство управления.

Да слова научился выбирать дипломатически – и шагнуто сколько надо и недошагнуто. Всё-таки, много он образовался с тех пор, как заменил Гучкова на председательской кафедре.

– Я приветствую вас ещё и потому, что вы, молодёжь, – основа и будущее счастье великой России. Я твёрдо верю, что если вам угодно таким образом поддержать усилия Государственной Думы, то мы достигнем той цели, которая даст счастье нашей родине.

Он говорил как ни в чём не бывало, уж во всяком случае не как мятежник, да как будто революции никакой не произошло, он не слышал. Такую речь он мог произнести и в присутствии Государя императора, да он вполне непридуманно и говорил, от сердца:

– Я твёрдо верю, что в ваших сердцах горит горячая любовь к родине и что в вашей дальнейшей деятельности вы поведёте на ратные подвиги наши славные войска! И победа наша будет обеспечена. Да здравствует Михайловское артиллерийское училище!

Всё – несомненно, и последний лозунг тем более. Шумное «ура»!

Вдруг кто-то крикнул пронзительно, напоминая, но не из юнкерского строя:

– Будь другом народа, Родзянко!

Но не унился Председатель до такого подтверждения, а всё ломил своё:

– Помните родину и её счастье! За неё надо постоять! Не будем тратить время на долгие разговоры. Ждите приказов Временного Комитета Государственной Думы! Это единственный способ победить!

Раздались молодые обещающие возгласы.

Так-то всё так, но и на ступню не продвинулся Родзянко по революционному полю, уж совсем не помянул ничто происшедшее, это тоже ложный путь.

Нетерпеливо топтался и вперёд выдвигался очень возбуждённый, с блистающими глазами Владимир Львов – и полез держать следующую речь. Да одни пустые слова:

– Да здравствует среди нас единство, братство, равенство, свобода!

А приличнее было бы Гучкову, да и сказал бы он умное и соответствующее моменту. Он уже примерно сообразил, что скажет, и чуть заволновался, как бывает перед необычным выступлением.

Но не пришлось ему отстраняться от глупого Львова и не пришлось делать шага вперёд: по другую сторону Львова вдруг вышагнул вперёд Керенский – вытянутый, с лёгкой вскинутой рукой, как артисты приветствуют публику, но не с войсками разговаривают:

– Товарищи рабочие, солдаты, офицеры и граждане! – взрывчато воскликнул он, юнкеров и вовсе пропустив, да и обращаясь, кажется, больше к толпе, чем к строю. – То, что вы пришли сюда в этот великий знаменательный день, даёт мне веру, что старый варварский строй погиб безвозвратно.

И так – сразу шагнул через всё постепенное, промежуточное, спорное, – уже и весь государственный строй погиб, для него несомненно. Камня на камне!

Прошёл гул одобрения – опять-таки не по строю юнкеров, да и не громче, чем кричали «ура» Родзянке. Кажется, толпе всё равно было к одобрению, лишь бы что-нибудь произносили. А Керенский, между тем, влёт дальше:

– Я думаю, что то, что мы делаем здесь, есть дело не только петроградское, – это дело всей великой страны, дело, за которое уже погиб в бесплодной борьбе ряд поколений!

Какой опасный человек! что он нёс! – и это же не останется без последствий, уши людей привыкают слышать такое.

И уже нельзя было его перед всеми оборвать и заткнуть.

– Товарищи! В жизни каждого государства, как и в жизни отдельного человека, бывают моменты, когда вопрос идёт уже не о том, как лучше жить, а о том, будет ли оно вообще жить. Мы переживаем такой момент, когда должны спросить себя, будет ли Россия жить, если старый порядок будет существовать? Чувствуете ли вы это? – вскрикнул он, сам сильно вздрагивая.

Что-то передалось, и откуда-то крикнули:

– Чувствуем!

И получив этот отклик, он понёс дальше:

– Мы собрались сюда дать клятвенное заверение, что Россия будет свободна!

Откуда этот вертун всё брал? Из своей плоско-стиснутой головы. Разве для этого собрались? На самом же деле задача была: те солдаты, которые, выйдя из казарм, совершили революцию, – как бы теперь вернулись в них обратно и сдали бы оружие.

– Поклянёмся же! – разговаривал Керенский, как с детьми.

И кто-то готовно поднимал руки, да кажется и среди юнкеров:

– Клянёмся!

– Товарищи! – не насытился левый адвокат. – Первейшей нашей задачей сейчас является организация. Мы должны в три дня создать полное спокойствие в городе, полный порядок в наших рядах. Надо достигнуть полного единения между солдатами и офицерами! – Наконец-то очнулся. – Офицеры должны быть старшими товарищами солдат! – (И тут выворот.) – Весь народ сейчас заключил один прочный союз против самого страшного нашего врага, более страшного, чем враг внешний! – против старого режима!

Что наделал! что наделал! Безумец перерубивал все сдерживающие канаты – и Гучков потерял желание выступать: он не знал, как это исправлять. В нём самом внутри как

обваливалось.

А Керенский нёс:

– И этот союз должен сохраниться до тех пор, пока мы не достигнем своей цели! Да здравствует свободный гражданин свободной России! Ура-а! – тонким голосом.

Но покрыто было дружным и долгим «ура-а-а!».

Гучков возвращался с Родзянкой с этого митинга – в чувствах его всё перекошилось. События не только прыжком обогнали всё представимое, но они продолжали опасно расплзаться – и он не видел, как их скрепить.

198

Что за рок? Принципиально не военный человек и даже ненавидящий армию, Ободовский стал всё время попадать на военные должности, то по снабжению, а вот уже и прямо – чуть ли не организовывать военную власть.

Да придя в Таврический – не заниматься же болтовнёй политики. А кроме политики было одно практическое дело – вот тут в Военной комиссии. В несколько вечерних часов вчера самолично отстояв Главное Артиллерийское Управление (кричал на солдат-грабителей и разгонял их), Ободовский ночью пришёл сюда, чтобы добыть караул для ГАУ, и послал такой, а тут спросили, чем обеспечить броневики, выходят из строя, что надо затребовать из Михайловского манежа, он сел писать – магнето, инструменты, – а дальше следующее, следующее, достать смазочный материал и пакли, то пушечные горфорды, то осмотреть прибывшую пушку, так и остался. А потом уже и дерзкие воинские распоряжения, какие начинал делать всякий, находящийся в этой комнате, подписываясь: «за председателя Военной Комиссии».

Да и где ж ему было быть в эти часы внезапно наступившей революции? Какое дело было главней и умней? А никакое переживание не имеет цены, если оно не превращается в дело. Сильно втягивало. Тут и провёл ночь.

Сегодня в раннеутренние часы главный вопрос был: переговоры с комендантом Петропавловки, проявившим большую готовность к сдаче, – а это был ключ ко взятию всей столицы. Штурмовать Адмиралтейство не было сил, и решено брать его измором и разложением. После того как восстановили работу телефонной станции, следующая забота Ободовского была – постепенно занять и охранить все электрические станции города: от перерыва света страдала бы революция и выиграли бы внешние враждебные войска. Затем, применив большую настойчивость и долго проспорив, Ободовский настоял послать солидную охрану к зданию Химического комитета и к химической лаборатории военного ведомства, иначе могли быть несчастные случаи от газов, а кроме того – потеря секретных сведений, если проникнут немецкие шпионы.

А пока он со всем этим хлопотал – пропустил, что тут же, на одном из соседних столов, выписали распоряжение какому-то наезднику, чуть не цирковому, взять 50 человек – и пойти: арестовать контрразведочное отделение штаба Округа, не разберясь, что оно не с революционерами борется, а со шпионами. Это было, кажется, состроено из неразборчивой ненависти исподлобным Масловским, который тут расхаживал крадучись, истекая злобой.

И как во множестве мест – на рудниках, в геологических комитетах, перед высокими бюрократами, – Ободовскому и тут пришлось нервно кричать, надирать голос и сердце, требовать отмены распоряжения. И уж теперь, предварительно, настоять послать охрану к секретному отделению штаба Округа.

Ещё надо было занять телеграф и охранить на нём порядок. Ещё надо было собрать автомобили из автомобильной колонны, а в военно-автомобильной школе организовать ремонт машин.

Если из какой-нибудь части являлся добровольно офицер или грамотный человек, он тотчас же к себе в часть получал какое-нибудь поручение. Важно было – возвращать офицеров с удостоверением от Думы, чтоб их там признали, – и так снова насыщать части

офицерами, без них же это был сброд.

Но, конечно, такими случайностями было не перебиться, массового возврата офицеров не вызвать, и Ободовский набрасывал, какое бы издать публичное обращение к офицерам – куда-то назначить им приходиться для получения удостоверений, дающих им всюду пропуск и доверие солдат. Военная комиссия не могла приказать офицерам так сделать, но для их же пользы надо было их убедить, воззвать к офицерскому престижу и к военной опасности.

А тем временем надо было какими-то несобираемыми силами прекратить в городе грабежи, погромы и стрельбу с чердаков. Жалобы на эту стрельбу были такие общие, единодушные, что сперва Ободовский и все тут поверили в неё, и посылали рекогносцировочные группы – обнаружить эти стреляющие пулемёты, уже точно указанные, и снять их с крыш. Но шли часы – и ни одна группа не обнаружила ни одного пулемёта ни на указанной крыше, ни на какой-либо другой.

Так как много было болтающихся штатских и студентов – придумали ещё такую меру: надевать им на рукав белые повязки, давать винтовки, и рассылать патрулями и постовыми в назначенные пункты. А автомобили под белым флагом объезжали бы их. Может быть так останутся грабежи, пьянство и стрельба.

Достигло думских стен предположительное объяснение, что полки из Ораниенбаума и Стрельны движутся сюда не против революции, а одобрительно, на поддержку.

И будто бы царскосельский гарнизон тоже переходит на сторону революции!

А издали на Петроград грозно катили войска Иванова.

Стрелка революции трепетно качалась, как и полагается ей вздрагивать и метаться.

То казалось: сил обороны нет совсем, ничего не стянуть, не собрать.

То казалось: у противника ещё меньше того, совсем нет, всё разлагается.

Вдруг в 11 часов дня поступило донесение, что на Николаевском вокзале уже высаживаются войска Иванова!

Быстро же!! Вот уже!! послать заслон абсолютно не из кого.

Осталось положиться на первый революционный батальон – Волынский, тем более что казармы его были как раз по пути. Послали приказ Волынскому: двум ротам с пулемётами выступить навстречу.

Опять возобновилась ночная нервность, все дёргались по комнате, а кто курит – курили.

Тут в несчастную для себя минуту явился стройный, отчётливый морской офицер от одного из флотских экипажей – с кортиком, револьвером, ничего по пути никому не отдав, в блеске формы и весь в крестах и орденах. Он делегирован своим офицерским собранием выяснить цели и намерения переворота прежде, чем выполнять распоряжения Таврического дворца. Политические цели переворота остаются неясными, и господа офицеры экипажа хотели бы иметь формальные гарантии, что события не направлены против монарха.

И стоял в стойке «смирно».

В самую нервную минуту! – когда ждали боя между Николаевским вокзалом и волынскими казармами, и может быть через полчаса нужно будет самим отсюда улизывать!

Под негодующими взглядами советских Масловского и Филипповского, Энгельгардт залился краской по всему лицу и шее – как бы его не заподозрили в измене! – и распорядился арестовать этого морского офицера: «задержать до выяснения полномочий».

И сразу вскочил дежурный унтер и несколько развязных солдат, теперь отобрали у офицера оружие и повели его на хоры дворца, где арестные камеры.

А Ободовский, по своей непоследовательности, залюбовался этим моряком, как когда-то иркутским комендантом Ласточкиным: всегда восхищает верность долгу, хотя бы и противоположному! Уж во всяком случае больше вызывал этот моряк уважения, чем болтавшиеся тут капитаны царской службы Иванов и Чиколини.

Цели же переворота – Ободовскому-то были ясны, а тому же и Энгельгардту совсем не ясны, оттого они краснели. И сам Родзянко ещё не понимал: что же будет с царём? Эти мысли не так легко вступают в голову, к ним надо привыкать десятилетиями. Что же требовать от

морских офицеров?

Но что ж под Николаевским вокзалом? Хоть разорвись, ничего об этом нельзя было узнать, прямых донесений не поступало. А в половине первого пополудни точно узналось, что волынцы даже и не подумали выступить на защиту революции, даже и не пошевелились. В Военной комиссии раздались проклятья: за полтора часа, если б тот высадившийся полк не робел, он бы уже мог походным порядком дойти до Таврического или соединиться с Хабаловым и выручить его.

Но и в этом была особенность революции, что полки реакции должны были робеть и разлагаться!

Повторно приказали волынцам: выступить немедленно!

Но они и в этот раз не пошли.

И тогда, уже во втором часу дня, решили послать приказ на охрану Николаевского вокзала – 1-му запасному пехотному полку с Охты. Он хотя стоял очень далеко, идти ему долго, но именно из-за этого ещё сохранил офицеров и ещё пока производил впечатление единственной неразложившейся части, – это было впечатление Милюкова, ездившего туда утром.

Да может, никто на Николаевском и не высаживался? Похоже, что так.

Тем временем выслали квартирьеров для войск, подходивших из Ораниенбаума, – установить с ними, таким образом, обеспечивающий контакт.

Тем временем надо было формировать отряды для охраны нескольких крупных интендантских складов: тамошних караулов было совершенно недостаточно, и вот-вот толпа могла до них добраться.

И что-то ж надо было думать об охране военных заводов?

Тем временем: что же делать с военными училищами? Вчера они были нейтральны, – но училища не могли состоять в неопределённости, они должны были вести учебные занятия для войны, хотя бы и в дни революции. И кто ж должен был приказать им продолжать занятия? Очевидно, Военная же комиссия, просто некому другому. (А впрочем – что в Главном Штабе? Ещё огромный Главный Штаб с сотнями офицеров, раскинув крылья свои на обширную Дворцовую площадь, – молчал нейтрально.)

Написали такие распоряжения начальнику Михайловского училища, начальнику Владимирского. А с Павловским было похуже: там произошли какие-то внутренние столкновения, обнаружили какие-то контрреволюционные настроения? – никто точно не знал. Но если училища станут против революции – это страшная сила: они все с офицерами, вооружены, сплочены, – это единственная сила в городе. Их надо нейтрализовать!

Опыт с офицером из экипажа возбуждал вопрос и о Гвардейском экипаже в его казармах на Крюковом канале. Ведь им командует великий князь Кирилл – и до чего доброго докомандует?

Революция питается и укрепляется только дерзостью, так было испоконь. И старший лейтенант Филипповский, тряхнув боковым начёсом, подписал и выдал бумагу поручику Грекову: по приказанию Временного правительства (которого не существовало) – стать во главе Гвардейского экипажа, а заодно и 2-го Балтийского – то есть сразу в две генеральские должности. (Но потом генерал-майор из 2-го Балтийского запротестовал – и должность ему вернули. Тем лучше, будет свой генерал. А как воспринял оскорбление великий князь Кирилл?..)

Затем появился Гучков, Ободовский очень ему обрадовался, и тот Ободовскому: после работ в Военно-промышленном комитете они были уже как бы в постоянном сотрудничестве.

Гучков обладал неизменной представительной выдержкой – постоянно помнил, что он известен всей России, все его видят, и вид имеет значение. Но сейчас и через это пробивалось, что он в растерянности; что таких взлохмаченных обстоятельств он не предполагал.

Никем сюда не введенный, Гучков однако уже своим появлением предполагал стать тут

центром. Энгельгардт невольно перед ним тянулся, и после короткого между ними разговора, а потом сходили к Родзянке, объявлено было на всю комнату, что теперь Энгельгардт будет заместителем, а председателем Военной комиссии – Александр Иваныч.

Советская часть комиссии зашипела, но почти немо – уж они привыкали, что их тут ссаживают и ссаживают дальше. Библиотекаря Масловского, как тот ни пытался вставиться с замечаниями, Гучков игнорировал принципиально.

Он сел, и в общем разговоре ему представили распоряжения последних часов. Чему посмеялся, чему поразился. Впрочем, смеху было мало.

При Гучкове прошло ещё несколько донесений и принято распоряжений: занять Аничков дворец; занять Собрание Армии и Флота – вот ещё что могла разнести солдатня; назначить коменданта в разграбленную гостиницу «Астория» – не нашли никого подходящей, чем профессор Военно-медицинской Академии, сидевший тут. Ещё кого-то надо было назначить командовать 9-м запасным кавалерийским полком. Назначили и отправили ротмистра – но ровно через 15 минут явился возмущённый сам командир полка, и пришлось тут же выдать другое приказание – чтобы тот ротмистр поступил в распоряжение командира полка. (Тем лучше, будет и полковник.)

Принесли приказание от Родзянки, и теперь только письменно надо было подтвердить, что некоему Эдуарду Шмускесу, который и офицером-то не был, а кажется студент, – принять команду в 50 человек и занять министерство путей сообщения.

Гучков сидел не грудью за столом, а с торца его боком, облокотясь, и только успевал следить, как в суетне Военной комиссии каждые пять минут рождались, выписывались и выскакивали эти приказания.

Тут принесли такое потрясающее донесение:

«Караул, стоящий на углу Кирочной и Шпалерной, сообщил, что по сведениям, доставляемым частными лицами, в Академии Генерального штаба собралось около трёхсот офицеров, вооружённых пулемётами, с целью нападения на Гаврический дворец».

Масловский сразу же всунулся, что это вполне вероятно, что офицеры Академии настроены очень реакционно, только преподаватели слишком дряхлы, чтобы браться за пулемёты, а вот некоторые слушатели – вполне, хотя их числом не триста и даже не двести... И кое-кого из них надо бы арестовать.

Но Ободовский захохотал нервно и почти закричал, что никакого *угла* Кирочной и Шпалерной не существует, они параллельны и даже не смежны, так что и квартала общего между ними нет. Да ещё «доставляемые частными лицами»...

После этого донесения Гучков уже кажется всё для себя решил, он отсел в угол с Ободовским и сказал ему тихо:

– Пётр Акимович! Я – счастлив, что вы здесь, и на ближайшие часы только на вас и надеюсь. Это здесь..., – он употребил неприличное слово, – а не военный штаб. Тут один военный человек – это вы. Энгельгардт не виноват, что на него такое свалилось, но он... Эту советскую шайку мы вообще вытесним. Продержитесь тут, прошу вас, только несколько часов до вечера. К вечеру я соберу сюда самых настоящих офицеров генерального штаба, устроим и военную канцелярию, – уже вечером тут будет штаб.

Ободовский принял всё как должное. Но и поспешил предъявить Гучкову набросок обращения к офицерам.

– Александр Иваныч, один штаб ничего не спасёт. И общего вашего приказа мало. Ничего мы не сделаем, если не вернём офицерского положения и доверия к ним.

Глаза Гучкова были желты, нездоровы. Он прочёл, кое-где поправляя, – и понёс показывать Родзянке.

Командир Дагестанского полка барон Раден, возвращаясь из отпуска из Эстляндии в Действующую армию, утром 28 февраля прибыл на Балтийский вокзал. О беспорядках в

Петрограде он уже был предварён слухами. А на перроне, едва выйдя из вагона, был окружён толпой, смешанной солдатско-штатской и вооружённой револьверами, шашками, ружьями, – такие кучки по всему перрону ожидали подхода поезда и бросились ко всем дверям.

Полковник Раден побледнел, выпрямился и ответил, что едет на фронт и оружия не отдаст. (Он не представлял, как мог бы тут сопротивляться, но думал рубиться.)

Толпа заразноголосила. Одни стали кричать: «На фронт? Оставить шашку, ему нужно!» Другие требовали – отдать. Стали спрашивать: когда едет, как? Полковник ответил, что переезжает на Виндавский вокзал и лишнего часа пробыть в Петрограде не намерен. Тем временем передвигались в здание вокзала, и там окружавшие согласились: сдать оружие на хранение вместе с вещами, иначе они не ручаются за его жизнь.

Но кому было сдавать на хранение? Обычные вокзальные службы отсутствовали, и весь вокзал был – проходное возбуждённое разношерстное многолюдье. Согласились так: глубоко под стол поставил полковник свой чемодан, а на чемодан положил шашку и револьвер. Эта толпа разошлась.

Оставив вещи, полковник пошёл по вокзалу. Встретились ему несколько офицеров – и у всех было насильно отобрано оружие. На площади перед вокзалом стреляли из пулемётов и ружей, лежал убитый городской. Не видно было, каким способом отправляться на Виндавский.

Тут на Балтийский вокзал прибыла новая большая толпа вооружённых распущенных и частью пьяных солдат – и во главе прапорщик якобы Выборгского полка, но похоже, что переодетый. От полковника Радена эти тоже потребовали оружие, один же из вокзальных лакеев указал им, что лежит под столом на чемодане. Тогда схватили это оружие и схватили самого полковника, выворачивая руки, приставляли револьверы к его голове и кричали, что он против народа.

Когда сразу несколько дул приставлено к твоей голове, трудно разговаривать с живыми как ещё живой. Но ещё громким голосом ответил им барон, что едет на фронт. И опять распались мнения толпы, опять одна часть заступилась – а другая требовала убить его. В конце концов, помятого, полковника Радена отпустили.

Но за это время утащены были и шашка его и револьвер. Однако чемодан остался.

И что ж было делать? Надежды на извозчика не было. Но как ни смяты были все жизненные отношения в городе, а всё же не мог полковник нарушать устав и сам понести свой большой чемодан – он должен был кого-то для этого найти, тут обрывалась независимость всякого офицера. Какой-то человек назвал себя посыльным, взялся нести.

Пошли пешком, через Измайловские роты. По дороге солдаты отдавали честь, но не все, а чернь угрожала, поносила бранью и, стараясь напугать полковника, стреляла мимо его головы в воздух. Около казарм Измайловского полка вся улица была полна солдатами-измайловцами, но без оружия и в большом возбуждении, что-то у них происходило непонятное.

И такое же потом – около казарм Семёновского полка.

Всюду шла стрельба, уже как обычное уличное явление. Разъезжали автомобили с красными флагами, пулемётами, вооружёнными то солдатами, то матросами из флотских экипажей. Разъезжали и конные солдаты, с красными лентами, вплетенными в гриву. Штурмовали подъезды – будто засела полиция.

На Виндавском вокзале так же не было никакой охраны, железнодорожных жандармов. Так же всё связанный невозможностью переносить свои вещи, полковник Раден был оттёрт от них новой нахлынувшей толпой. А когда толпа поредела – оказалось, что исчезло его имущество, и остались на нём только шинель да папах.

Так и он стал, наконец, независимым и свободным.

По такой анархии искать украденные вещи было бы бесполезно.

Какие-то несколько обезоруженных офицеров подошли к полковнику и предложили ему вместе отправиться в Государственную Думу, где заседает новое правительство.

Полковник ответил, что это могут быть только узурпаторы, он не желает иметь с ними дело и не советует, это низость.

Пока он ждал поезда на Могилёв, он видел, что офицеры отправляются в Думу многие.

Одного из них полковник горячо убеждал не ехать – это слышали солдаты и чуть не убили его опять.

200

Поездные переезды имели свою поэзию: особый убаюкивающий отдых, недоступность для докладов, министров и генералов, сменные виды за окном, чтение какой-нибудь книги. Чтобы не было резких толчков, предельная скорость императорских поездов была установлена лишь 40 вёрст в час. Спокоен был тогда сон.

Поездки делились на грустные (от Аликс) и радостные (в сторону Аликс). Сейчас была бы такая, если б не тревога за милых, и не болезни их.

Спал долго. Проснулся около полудня. И какое же яркое весёлое солнце светило! – это ли не доброе предзнаменование? С удовольствием смотрел в окно. Под сугробами, под застругами нанесенного снега – цельная, никак не мятежная Россия. Родные пейзажи – холмы, перелески, под глубокими покровами ждущие весны. На станциях полнейшее спокойствие и порядок. Перед станционными зданиями – рослые дежурные жандармы.

И в этом ослепительно-снежном безмятежьи все городские беспорядки казались если не придуманными, то мелкими и преодолимыми. Что беспорядки на нескольких улицах против великой державы?

И вереница непотревоженных мыслей, а частью воспоминаний, неторопливо проходила в голове.

На сколько бы дней Николай ни отъезжал от семьи – каждый раз он возвращался к ней с такой обновлённой полной радостью, как будто разлука была годовая. Прежде всего – к Аликс. Только прижав её к сердцу, всё рассказав и всё узнав за дни разлуки, он становился самим собою вполне. Но не намного меньше – и сын, в котором ощущал Николай загадочное физическое повторение самого себя, только перешибленное страшной болезнью, когда отец завидно здоров, – но оттого ещё настойчивей отцовский долг и связь с сыном. И четыре, четыре дочери! – из них уже три невесты с туманной судьбой, уже две взрослых, переросших своё детство, – как бы в темнице из-за царского состояния отца. Вот кончится война – выйдут замуж. Но при том не меньше же любил он и 16-летнюю *Швыбзик* Анастасию. Ко всем к ним рвался Николай, и не знал бы большего счастья как жить с ними постоянно вместе и видеть каждый день.

Но было и ещё одно женское существо, органически включённое в них во всех, – Аня Танеева. Для Аликс Аня была единственной доверенной подругой за много лет. Но постоянно здесь, постоянно рядом, постоянно третья при них, – она неизбежно срослась нежной связью со всеми, и с Николаем тоже. Отношения её с Николаем были неназываемые, им не было места в людских классификациях. Не восторженной подданной к своему Государю (хотя именно так писалось в письмах), не старшей дочери к отцу, конечно (хотя шестнадцать лет было между ними), – и не возлюбленной, потому что не могла бы в сердце Николая вместиться вторая любовь при пылкости его к Аликс. И вместе с тем это было нечто нежное, неотъемлемое, только им двоим принадлежащее, в полноте выразимое лишь во встречах наедине.

Был опасный момент, когда это могло перейти и всякие границы, – весной Четырнадцатого года в Крыму. Как всегда, Аликс была прикована многими болезнями то к постели, то к креслу, все заботы – о наследнике, а Николай, как всегда, много нуждался в движении, в теннисной игре, и в его дальних прогулках – автомобильных, конных и пеших, его неизбежно сопровождала эта небесноглазая красавица. Они – теряли голову, – но вовремя твёрдо вмешалась Аликс. В тот момент (и после бурных сцен между женщинами) это кончилось изгнанием Ани из Ливадии и из семьи. Но и Аликс почувствовала, что так –

жестоко и непереносимо для неё самой, Аня была возвращена в семейную и дружественную близость, однако за режимом её отношений с Николаем теперь следила Аликс сама.

И – все трое приняли этот порядок отношений. Маленький домик Ани был увешан увеличенными фотографиями Государя. Она приносила свои объёмистые письма Аликс и предлагала сжечь, если государыне покажется, что письмо рассердит Государя. Аликс передавала, разумеется, все, а уж он, прочтя, по обещанию жене, уничтожал их. А если телеграмма от Ани прямая – сообщал Аликс. И освобождал Аликс от необходимости исполнять все анины капризы. И если Аликс высказывала, что привезёт Аню с собою в Ставку, – возражал, что было бы спокойнее им быть вдвоём, но, конечно, можно и привезти.

И в этих определившихся рамках, а во всяких других было бы и недостойно, – продолжало что-то нежно существовать и нежно отзываться между ними. Писал Николай: «целую вас», – это значило с детьми, или «целую вас всех», – это значило и Аню. Или отдельно дописывал: «и её также». (В письмах чаще не называли её по имени). Дописывал – и ныло приятно: передай Ане мой привет и скажи, что я часто о ней думаю. Тут ещё навалилась вся ужасная история железнодорожной катастрофы, Аня месяцами лежала больная и особенно нуждалась в ласке, и Николай навещал её, потом она стала ходить, но с костылём (но даже и костыль не мог обезобразить её бело-голубого обаяния). Иногда встречались коротко и наедине. (И она хотела – чаще!) И всё это было окружено каким-то беззвучным звуком, неумолкающим тоном, доходящим до сердца, незримый цветок, постоянно цветущий. И всё это делало ещё нежней и дороже возвраты в Царское. И сегодня тоже этот мотив примешивался к остальным, бежал, бежал, как телеграфные провода вдоль поезда, – непрерываемый и недогонный.

Провода тянулись, тянулись, свисая в серединах и подкидываясь к столбам, переливало солнце и полутени по сугробам, – какая же Божья красота, и как хорошо можно было бы жить нашей стране и всему человечеству, если б не было стольких злых помыслов и нетерпений.

И провода эти – хорошо – ничего сегодня не приносили, никаких новостей.

Да может, в столице всё уже и успокоилось? Дал бы Бог.

А нет, оказалось, что Воейков просто заспался, а все телеграммы всегда идут через него. Теперь он пришёл – и разрушил такое успокаивающее, ласковое отъединение.

Во-первых, оказывается, ещё ночью, когда стояли в Могилёве, переслал Алексеев в поезд телеграмму Беляева из нескольких фраз. Но фраз – ужасных: мятежники заняли Мариинский дворец, министры частью разбежались, а частью, может быть, арестованы.

О-го-го. Это серьёзно.

С мягким укором – голубым, почти и не укором, посмотрел Государь на дворцового коменданта: всё же как было не передать это ночью, до отъезда?

Но тот и не покраснел. Его каменотёсное лицо и вообще не краснело.

Что-нибудь ещё?

Да, вот ещё – нагнала пересланная из Ставки телеграмма Государю от 15 членов Государственного Совета.

Государь читал её и недоумевал. Эти люди затверженно повторяли, что народные массы доведены до отчаяния. Что глубоко в народную душу (они её знали и видели!) запала ненависть к правительству и подозрения против власти. Что пребывание нынешнего правительства грозит не меньше как неизбежным поражением в войне и даже гибелью династии.

Николай читал это всё как бред сумасшедших. Он не встречал тут ни единого соответствия действительности, ни одного трезвого слова. Просто понять было нельзя, как серьёзные образованные люди могут писать и подписывать такой вздор. Впрочем, кто там и подписал – всё тот же ненавистник Гучков, да Grimm, да Крым, да Шмурло, да Вайнштейн, – всё тот же почти Прогрессивный блок, к ним качнулся и Меллер-Закомельский, кто бы мог подумать.

Как-то незаметно дали подменить себе и Государственный Совет: от общества

выбирали туда ненавистников правительства, от Государя назначали туда всякую почтенную беспомощную рухлядь – разных, кого надо было утешить при отставке. И левые легко главенствовали там над правыми.

И прямо требовали эти пятнадцать: чтобы Его Императорское Величество решительно изменил направление внутренней политики, нынешнее правительство отставил бы и поручил формирование нового... которое управляло бы в согласии с народными представителями... То есть, с Думой.

Да кого же и мог иметь в виду упорный честолюбивый Гучков, если не себя самого? С настороженной ненавистью он не пропускал из своего угла ни одного движения императора. А когда-то казался таким милым. А разгласил в Думе задушевный разговор с Государем. Это было предательство.

В отчаяние приводило Николая, что в одной и той же стране на одном и том же языке – такая невозможность объясниться.

А в народной душе – никак, нигде не видел Николай ни этой ненависти, ни этих подозрений.

И – снова шла непрерываемая езда между солнцем и снегами. Только теперь глодала тревога: Мариинский дворец? Что же там делается? Выйдя к завтраку со свитой, ощутил Государь, что они затемнены и тревожны. И правда, ведь он ничего не объявил им вчера за вечерним чаем о решении ехать в ту же ночь, и вообще не принято было объяснять свите мотивировки действий. Вот и сейчас за завтраком Государь не мог рассеять недоумений на их лбах, это было бы шокирующе необычно, неприлично. Разговаривали о погоде, поездке, разных мелких событиях.

А на станциях всё по-прежнему не было ни растерянности, никакого беспорядка, всё тот же аккуратный железнодорожный персонал и поставленные власти. В Смоленске вышел встречать губернатор. Все по линии знали о проходе императорских поездов и были подготовлены к бесперебойному пропуску.

На какой-то малой станции стоял встречный эшелон пехоты, и тоже знали: часть уже выстроена была на платформе, впереди оркестр, остальные выскакивали из теплушек и пристраивались, – и все страстно заглядывали в окна, сопровождая поезд глазами, никто не знал, в каком из двух синих поездов, и в каком из десяти вагонов и у какого окна может находиться император, – но оркестр непрерывно играл «Боже, царя храни», и кричали непрерывно «ура». А тут Николай сжалился над ними, подошёл к окну – его увидели – и «ура» взмыло невероятной силы! Все лица солдат были одушевлены, восторженны – вид царя придавал им высший размах радости и самопожертвования.

И – что могли значить петроградские беспорядки, безумство Думы и безумство членов Государственного Совета?

Неподвижно и глядя светло Николай простоял у широкого окна до конца платформы, пока скрылся из виду ликующий полк.

Из Вязьмы дал в Царское ласковую телеграмму:

«Мысленно постоянно с тобою. Дивная погода. Надеюсь, вы себя хорошо чувствуете и спокойны. Много войск послано с фронта. Сердечнейший привет. Ники».

201

Собственно, было крайне обидно и никаких оправданий тому быть не могло, почему Владимира Бонч-Бруевича не зачислили в Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов? Если он не был представителем никаких рабочих, так и кто там заседал – тоже не были представителями никаких рабочих. А «видным деятелем левого направления» он был может быть меньше Суханова или Стеклова, но никак не меньше Капелинского или Панкова. Или чем издатель хуже журналиста для революционного управления? Тут сильно виноват и Шляпников, он-то мог бы выдвинуть видного большевика. Но последнее время отношения Бонча с Центральным Комитетом большевиков были неважные, оттого и произошло.

Обидно было ему, ещё пятнадцати лет отроду определившему себя как марксиста (а брат пошёл лакействовать на царскую службу), и с тех пор столько революционных заслуг, и научная операция с Распутиным, как он прикрыл его сектантство, и даже в последние дни заслуга: убедил казачьих сектантов не стрелять, и чтоб те передавали другим казакам, – а теперь, в день торжества, оказаться не у дела?

Вчера Бонч перепоясался армейским ремнём, нацепил огромный револьвер, ходил тут среди них, толкался – но избраться в Исполнительный Комитет так и не удалось. Хорошо, он стал комиссаром по типографиям. Пошёл захватил типографию «Копейки» на Лиговке – это оказалось очень просто, никто ему не сопротивлялся – и ночью выпустил первый номер «Известий» Совета.

Начало было простое, но потом создался ряд осложнений и воздвигся ряд опасностей, из-за которых Бонч уже посылал в Таврический ряд самых решительных записки, наконец явился вот и сам и вызвал Гиммера с заседания ИК.

Гиммер действительно уже получил одну записку Бонча, но такое напряжённое было заседание, что не дошли мозги и руки что-нибудь сделать. Понадеялся он, что как-нибудь обойдётся, и Бонч больше требовать не будет. Однако Бонч вот явился сам, с выпяченным животом.

Собственно, Гиммеру не была поручена опека над «Известиями», и он мог бы этим вопросом не заниматься. Но как самый дальновидный член ИК он не мог от себя этой обязанности отклонить. Когда Бонч стал грубо нападать, что всё их заседание тут и все разговоры ничего не стоят без выпуска «Известий», что только то реально существует, что напечатано в газете, – Гиммер не мог не признать в этом большую правду.

Бонч бурчал как из бочки, и Гиммер увёл его за дверь в коридор, где была ещё бо́льшая толкотня и штурм добивающихся на ИК, но там Бонч стал разговаривать тише.

Он жаловался на такие обнаруженные трудности: хозяева не сопротивлялись захвату, но типографские рабочие несмотря на революцию хотят получать за свой труд оплату, и значит, нужны деньги. Потом: ввиду непрерывности работы, он не может отпускать рабочих из типографии – а значит, нужно их чем-то кормить. Потом: раз весь город знает теперь, где печатаются «Известия», – возникает большая опасность нападения чёрной сотни. А поэтому – ему нужна охрана, не меньше сорока человек, и с пулемётами, расставить их по всему кварталу. Одновременно это будет и железная диктатура против типографов. Но охрану тоже надо постоянно содержать и значит кормить. И вот это всё Бонч просит Совет Депутатов ему обеспечить – всего на 100 человек.

У Гиммера мелькнула эпиграмма, ходившая про Бонча:

С своей бончихою голодной

Выходит на дорогу Бонч.

Ещё проверить надо – шестьдесят ли у него рабочих. Но так или иначе – проблему неизбежно решать.

А уже почувствовал себя Гиммер представителем революционной власти. И как имеющий власть отвечал решительно:

– Хорошо, Владимир Дмитрич. Денег – у Совета тоже пока нет, но и платить их не сию минуту. Поэтому можете обещать рабочим любые условия, лишь бы печатали. А продукты – будем доставать, сейчас я этим займусь. И охрану – тоже будем добиваться.

Но над маленьким юрким Гиммером Бонч-Бруевич возвышался пузатой бочкой:

– Не добиваться – а охрану надо прислать немедленно! Уже скоро стемнеет, а на тёмное время мы остаться так не можем! Нас чёрная сотня разгромит.

Хорошо. Пообещал Бончу. Расстались.

Действительно, что-то надо было делать. Но что? Трудность действовать, когда тебя никто не знает, ни по имени, ни в лицо. Гвоздева – многие знают, а тебя – никто.

Где-то в дальнем углу Таврического дворца создаётся продовольственный склад революции. Но просто выписать наряд и послать – не могло помочь: там и читать его не станут, там и подписей членов ИК не знают. И на каком бланке? И кому именно писать?

Значит, надо было идти на склад самому.

А идти – это значило теперь в Таврическом: пробиваться локтями. И что за безумная бессмысленная толпа? Что они все сюда согнались? чего они хотят? на что они тут рассчитывают? Нельзя было не озлобиться, когда пробиваешься по делу – а эти тупые спины и рожи всё тебе перегородили. Через сквозняки, по скользкой жиже, набравшейся на полах, – искать эту дверь, искать эту комнату.

Так у Гиммера много ушло времени – добиться до склада. И там какой-то неизвестный распределял продукты по своему усмотрению, а все его дёргали. Ещё надо было внимание его привлечь к себе, ещё надо было увещать. Наконец выписал ордер. Но забирать продукты не на чем. Теперь искать, автомобиль, и кто будет сопровождать. И охрану к автомобилю, чтобы не разграбили по дороге. И подгонять его к складу.

А само собой надо же было хлопотать главную охрану. Это уже надо добиваться до Военной комиссии. И Гиммер отправился туда.

Который раз за эти дни он пробивался в Военную комиссию, но никто его не запоминал, всё были новые часовые, новые недопускатели – и надо было снова и снова всех уговаривать да при таком невоенном щуплом виде. Но и проникнув – внутри нельзя было обрадоваться: не было у комиссии головы, порядка, единства. Каждый член комиссии (он же и заместитель председателя) действовал, как мог, как успевал, окружённый каждый десятком претендентов и жалобщиков, получал донесения, отправлял распоряжения, велел создавать команды и ни в чём не мог быть уверен.

Гиммер добился внимания Филипповского, эсера, самого тут близкого к Совету человека. Но и энергичный Филипповский уже измотался и отошал. Он согласился, что «Известия» надо охранять, но не только не было у него сорока человек с пулемётами, а даже начальника такой команды он не мог назначить. Какие-то офицеры толпились тут, как будто спрашивая назначения, но когда Филипповский стал им предлагать начальствование над типографской командой – никто не повиновался, ссылаясь на другие более важные миссии или отсутствие людей.

Гиммер отчаялся и пошёл сам толкаться меж праздных офицеров, ища добровольца. Какой-то хорунжий зрелых лет согласился, но только чтоб команду ему представили, у него никого не было. Назначение хорунжему подписал инженер Ободовский – но отряда так и не было.

Что ж, Гиммеру самому надо было найти и отряд? выйти сейчас к солдатам и агитировать? Вот к этому он не был готов. Выйти и говорить перед толпой он никак не мог, он заранее знал, что будет неуспех, предчувствовал, что несолидность фигуры и совсем уж не военная манера сразу подорвут его речь.

Но был же человек, как раз для этого и созданный, – Керенский! Вот и решение задачи: во многотысячьи Таврического дворца разыскать теперь Керенского – и его убедить собрать отряд. Никого другого, пожалуй, найти было в этой массе невозможно – но Керенского можно, потому что он был самый броский, самый популярный, и к нему вели следы.

Он нашёлся в глубине думского крыла. В той комнате по крайней мере двадцать человек одновременно требовали, осаждали и достигали его, и Керенский, быстро поворачиваясь, перебегая и обрывая собственные фразы, старался не только понять и удовлетворить этих двадцать, но – понять и обнять, насытить и обслужить всю необъятную Великую Революцию, которая разрывала ему грудь! Он – один был на это способен! Он – чувствовал так. Он был – в струне и на месте! Зложелатель со стороны мог бы придумать, что его худое вдохновенное горящее лицо несколько загнанно, – на самом же деле он переживал неисчерпаемый подъём и имел силы совершить ещё тысячекратно.

Гиммер оценил и пожалел, что в таком состоянии Керенский вряд ли может охватить все основные пружины стратегической и политической ситуации, – но свой конкретный вопрос он ринулся протолкнуть через него и для этого цепко схватил его за пуговицу сюртука и уже не отпускал.

Не только риск несвоевременно потерять видную пуговицу, но и отзывчивость

Керенского услышать каждого из двадцати и ухватить проблему – помогли Гиммеру. Да он и воспользовался самыми грозными словами о Судьбе Революции – и острое сознание прорезало воспалённые глаза Керенского.

Едва вслушавшись – он немедленно согласился и сорвался с места, и вырвался ото всех остальных девятнадцати – и помчался вон, так что и Гиммер едва за ним успевал. Странно, Керенскому не приходилось расталкивать толпы, как всем остальным. Подобно метеору, он прожигал себе трассу – и Гиммер пристроился в его огненном хвосте и по пути прихватил своего заарендованного хорунжего.

Керенский влетел в переполненный Екатерининский зал, взлетел, не подверженный силе тяжести, на какой-то стол или подмоет – и над морем голов, повёрнутых в разные стороны, без всякой подготовки понеслась его пламенная речь, что вся судьба революции на лезвии и зависит от сорока добровольцев, согласных на караульную службу, которых он должен сформировать здесь, сейчас, сию минуту!

Такова ли была сила его красноречия или сравнительная безопасность караульной службы – но ещё прежде, чем в дальних концах зала сумели его услышать и повернуться сюда, – уже с разных сторон проталпливались добровольцы, и пожилой хорунжий начал их строить.

202

– А что, проголодал?

– Нет, ты, рябой, погоди, ты сюда послушай! Сколько мы серую шинелку носим, да и ране, – когда нам такой почёт бывал, чтоб собраться, вот, во палаты – и тут бы мы...? Второй день так живём, не нахвалимся, на учење – не надо... Только бы нам питанию наладить, питания нет. Пусть эти тут, чем речи держать, учредят кормёжку всех солдат!

– Ишь ты умный какой, кормёжку! Откуда тебе рабочие питанию возьмут?

– Так забрать, где есть!

– На складах и есть. У богатеев. Где-то есть провизия, куды ей деться? От нас прячуть.

– Вот и говорю: забрать! Выбрать таку Комиссию: шла бы, забирала подчистую.

– Чего Комиссию? А мы сами – безрукие, чо ль? Чем на этом Совете топтаться зазря – разойтись по улицам. И штыками прочёсывать. И забирать!

Уже который час нагнетался и нагнетался народ сюда, в большую комнату, где объявили *Совет*. И даже мало с мороза пришли, а сухонькие, тёпленькие, видать здесь и ночевали. В казармы идти боязно, а тут попоили барышни чаем и хлеба прикладали с колбасой, – а теперь чего будет, поглядеть. У дверей задерживали, требовали какой-ни-то бумаги иль хоть на словах бы доказал – от какой части, от какого завода. Одни и доказывали, а другие напирали и проходили гуртом, солдаты многие, кто и с винтовками, как из казармы ушёл вчера, а куда её денешь?

А в серёдке поначалу было вольготно, и даже зады рассаживали по стульям, по скамьям, а головка образованных из соседнего чуланчика, кому и грамота в руки, – та сидела за столом. Но и – пёрли, но и – пёрли новые и новые всё сюда, – и уже столько набралось народу стоячего, что сидеть стало не вмоготу: ничего не видать, половины не слышать, всё застали, да спинами в рожу давят, – так стали из сидки приподыматься. И – ещё стало тесней, так что все колена об те стулья пообдавливали, да переломать их к чертям или повыкидывать! Или вот что, кто поумней: на стул же тот и громоздись – во хорошо-то! во видать отсюда, хоть вперёд, хоть назад, хоть речь изрыгай, а хоть просто вылупайся, диковинное сборище!

И на головку напирали, напирали – уже их в стену втиснули, ничего им не видать, и полезли они тоже на свой стол стоймя. И теперь уж их ни с какого стула не перевысить.

А внизу, в сжатьи, и папаху не везде сымешь, да и держать её несручно, так уж пусть голову парит. Зато – разбеседование, вот что! Где тесно, там солдату и место. За вчера, за сегодня тут на переходах перезнакомились из разных батальонов. И тут, кто по соседству

оказался, – тоже беседа. С соседом поговорить – душе тепло.

– Такие девки хожалые, строганные ляжки, там уж и шерхебелем и рубанком пройдено...

– Да питерские девки на нас, грязнопятых, рази смотрят?

А со стола, руками размахивая, какой-то в кожаной куртке, из автомобильной команды:

– Товарищи солдаты! Вы заслоняете светлый горизонт революции такими несерьёзными рассуждениями! Сколько мы боролись с кровавым царизмом – об этом надо говорить! В девятьсот пятом году и в девятьсот шестом. И сегодня ещё идёт грозной тучей палач генерал Иванов, душить нашу свободу. И нам надо мобилизоваться и организовать. А мы что делаем? А мы только в воздух пуляем.

– То не мы, то ребяташки.

– А кто их приносит, патроны? А кто их в костры?

– Да хва-атит тебе патронов! У нас этих патронов цейхауз полный. Это раньше их по счёту выдавали, а теперь – бери, своя рука.

А то на стол взлезал рыжебородый, здоровый как мясник. И читал по бумажке иль на память говорил, за что надо голосовать. Голосовать – значит пустую руку подымать, поднял, опустил, не тягота, это мы можем. Тоже как своя присяга тут. Отменить полицию – хорошо. Захватить все места, где деньги делают или хоронят, – лады. Трамваев не пускать – не надо, мы и так пешком ходим. Поголосовали, поголосовали – скончили.

А так-то подумать: что, эти учёные, умней нас, что ли? Просто – грамота, наторели. А наша доля – для их сторонняя. И слова у них какие-то-сь, нашему уху не милые.

– Вот только бы, братцы, брюхо набить – а то ведь ноне на свободе и заживём же мы, а?

Фуражки, папахи мохнатые, чёрные бескозырки с жёлтыми кругами выпушек, и безо всего открытые стриженные головы, у кого выглад разомлевший, у кого пристигнутый, а тут и вольные в чёрной одежке, они-то нас попривычнее, вот так сбираться да судачить, они нас и переговаривают:

– Товарищи солдаты! Вам ли пояснять, что победа народа должна охраняться! Враги революции готовят нам ужасное кровопролитие, а мы не видим ваших стройных революционных рядов.

Лево-руционных... И чтой эт'они все на левую руку больше налегают?

– Надо сокрушить гидру реакции – а что мы для этого делаем?

Но уже языки расплелись, ему и отзыв сразу:

– погоди, я тебе расскажу. Значит, в нашей казарме...

Но у кого чего в нашей казарме – на это охотников со всех сторон, заслушаться. Как во всех батальонах побываешь, зараз. В пять голосов сразу.

А кто – и просто расповедать хочет, до чего теперь все стали радые да лёгкие. Уйтить отсюда не под силу, только брюхо подвело.

Тому, вольному:

– Эй, слышь! Животами слободу отстоять – мы могём. Да гуще бы подкармливали.

Тут – услышали все, и кричавшие и молчавшие: очередь пулемётная! Да близко! рядом!

И ещё – очередь!

Вот тут же рядом где-то со дворцом!

И – как ударило по народу! пулемёт!! – он не шутит!! Он – знает, чего говорит!

А их тут, в тесноте, хоть всех перебей, с одного пулемёту.

Затискались, заорали. То ль по нам стреляют, то ль от нас, но всё равно – бой!!

А винтовки-то наши иные – и без патронов. А кто-то и в коридоре посоставлял.

И – задёргались к выходу, тиснулись –

– Да тише-то штыком, чёрт, не коли! –

как через дверь распахнутую кто-то крикни:

– Казаки!

Ай, сердечко моё разнесчастное, попался под резак, сейчас нам тут всем головы и порубят!

И уж чего дальше творилось, никто не разбирал, а только куда глаза его ещё глядели: у одних в дверь, у других в стену, у третьих в пол, да и притиснувшись, а сверху топчут, а у тех – в окна: окна-то в сад, казаки-то с улицы в сад небось не заскачут?

И зазвенели стёкла! Уже и сюда бьют, мамочки!?

Ин это наши, прикладом стекло дробанули – а режет, не выскочишь – так ещё прикладом? – да и выскакивать на снег, а там дальше бегом?

Первые-то минуты тяжелее всего было, потом порозредилось. Но кто в залу выскочил – там тоже во все стороны давятся, куды выскакивать?

И наверно, все кричали, но ничьих голосов не слышали. Может кто и уговаривал, что пустое, – но после тех *Казаков* !

И пулемётных очередей ещё несколько было.

А наши, в ответ, вроде никто не стрелял.

Так оно, мал-помалу, и утихло.

Утихло, осмотрелись: казаки не скачут, из пулемётов не секут.

Стали ворочаться – кто снаружи внутрь, через окна дроблёные, кто и опять на Совет: где ж и поговорить?

Головка тоже разбежались. Собиралась теперь.

203

После прихода Гучкова понял Масловский, что его время в Военной комиссии подходит к концу, а этот лицемерный Ободовский, забыв своё революционное прошлое, готов обслуживать цензовым кругам. Большое упущение было для Совета терять свои позиции в штабе революции, важнейшем плацдарме управления и власти. И прав был прошлой ночью Соколов, когда не пускал сюда Энгельгардта, – но не хватило у Совета своих военных кадров, и слишком заняты были собственной организацией.

Теперь, может быть последние бесконтрольные часы здесь, надо было успеть сделать как можно больше важных распоряжений. И Филипповский, так и не сваясь за сутки, подписывал на бланке Товарища Председателя Государственной Думы (надо бы такой блокнотик и утянуть) распоряжение за распоряжением, почти каждые пять минут.

Оказалось, что винтовки, свезенные в Государственную Думу, – кончились, и надо было привезти ещё откуда-то хоть полтысячи, так быстро они расходовались. И при снаряжении команд многие добровольцы вызывались идти без винтовок. И надо было в здание Думы привезти побольше револьверных патронов. (И как-то надо бы отделять особые запасы Совета.) Затем надо было овладеть запасным броневым дивизионом, откуда все офицеры разбежались, – к счастью, нашёлся такой капитан Халиль-Беков, который брался водворить там порядок. Один из братьев Шиманских, студентов, уже успешно арестовал Штюмера утром, теперь другого брата Шиманского послали наводить порядок в Гвардейское экономическое общество, где грабили солдатские банды.

Теперь надо было вскрыть контрреволюционный нарыв в Павловском училище. И лейтенант Филипповский, выписывая потщательнее буквы, особенно заглавные, которые тут были почти кряду и в том весь смысл, написал всё на том же важном думском бланке распоряжение генералу Вальбергу:

«Начальнику Павловского училища. Именем Временного Комитета Государственной Думы сдать вверенное Вам училище в распоряжение Военной Комиссии Временного Комитета Государственной Думы и ожидать дальнейших распоряжений Военной Комиссии, для чего явиться в означенную Комиссию».

Распоряжение послали в двух экземплярах (на одном расписаться и вернуть) с бойким прапорщиком и лихими солдатами на двух мотоциклетах. Филипповский не рассчитывал, что генерал явится, лишь бы без боя сдал училище.

И продолжал собирать над бланками лоб, где ещё что взять или охранить, или подавить. В комнате Военной комиссии, несмотря на охрану в коридоре, была обычная

толчея, всё время неруководимые, неизвестно с чем и зачем пришедшие люди, – и появился Керенский, тоже кого-то куда-то потребовать, взять, послать.

И в этот момент совсем близко ко дворцу, но с другой стороны здания, раздалась отчётливая гулкая пулемётная очередь! И ещё одна! И ещё!

Пулемётный звук не требует разъяснения, особенно военным людям! Кто-то прорвался, и бой идёт у самых стен Думы!

Все заметались! Все вдруг оказались не в твердыне штаба, но без оружия и в ловушке, откуда не так просто выскочить.

Окна Военной комиссии выходили в сквер – и там, в неразберихе автомобилей, мотоциклов, пушек, лошадей, людей, – возникла сумятица, всё завертелось водоворотом, куда-то хотело выпятить или выехать, автомобили заводились, не заводились, расталкивали и отпихивали друг друга, кричали – и только явной стрельбы не было, и видно было по скверу, что сами они противника не видят.

Даже из сквера нельзя было выбраться, а отсюда пробиваться ещё до сквера через коридор, через вестибюль – невозможно! Через каких-нибудь пять минут сюда могла ворваться расплата, ружья на изготовку – и застигнуты, арестованы, потом и петля!

Безумно затосковал и заметался Масловский – ведь уже 40 лет, и совсем не военный... Всё ясно! – протопоповские пулемётчики сошли с крыш и пошли в атаку. Теперь тут верная гибель! – или захватят в плен – и на каторгу. Ах, как ему не хотелось вчера сюда! и жена отговаривала, а Капелинский застиг! И как его тянуло под утро исчезнуть на свою квартиру – но удержало ложное чувство революционного стыда.

Из этих неназванных офицеров, которые тут толпились, – кто стал выталкиваться из комнаты.

А пулемётная очередь – снова! и снова ещё одна! – невероятно близко, просто вот тут же, под самыми стенами дворца!

И не известно, чем бы кончилось всё тут, в Военной комиссии, если бы среди них не было Керенского.

Но он был – тут! И все те же опасения, и все те же мысли, но только с ещё большей быстротой, решительностью и ответственностью за всю судьбу революции, а не только за себя, пронесли и в его голове – и он тут же принял решение, а верней – исполнил его, потому что у него исполнение всегда было быстрее самого решения: Керенский взлетел от пола, как на невидимых крыльях, и вот уже стоял на подоконнике, одной рукой держась за ручку шпингалета, другою распахнув форточку, впившись в обрез её рамки, а узкую прямоугольную голову свою – втискивая туда, туда, в саму форточку, она вполне входила.

И глядя на водовертное безумие сквера – он кричал туда в форточку своим голосом, таким прославленно звонким, резким на трибуне – а сейчас несколько осипшим:

– Все – по местам! Все – по боевым постам!... Защищайте Государственную Думу!... Это говорит вам – Керенский! Государственную Думу – расстреливают!!!

Этот ужасный исторический рок, трагический конец новой революции кошмарно предстал перед побледневшей Военной комиссией. Таврический дворец уже тонул в крови!

– Государственную Думу – расстреливают!!!... Это говорю вам я, Керенский!... Защищайте вашу молодую свободу! Защищайте революцию! Все по местам! Оружие к бою!...

Но – неизвестны были каждому свои места, и оружие не у каждого, и не каждый знал, как с ним обращаться. Да в той суматошной панике, криках, мате, фырчаньи и рёве вообще никто не слышал и не заметил, что какой-то человек кричал из какой-то форточки.

Но здесь в комнате все слышали – и на военных смелость Керенского произвела неадекватное впечатление. Кто-то нетактично заметил, что эта команда через форточку могла произвести эффект, обратный мобилизации. Керенский, уже спорхнувший с подоконника на середину комнаты, убравши крылья в лопатки, взглянул на дерзкого осиятельно гневно, ещё не вполне вернувшись от своего взлёта к простому ногохождению, и закричал с пронзительными нотками:

– Я прошу – не делать мне замечаний!... Я прошу каждого выполнять свои обязанности – и не вмешиваться в мои распоряжения!

Если бы то был реальный налёт на Таврический – пулемётной команды, пехотной полуроты или четверти казачьей сотни – не известно, как пошли бы мировые события и многие ли спаслись бы из-под революционных руин. Но больше не раздалось пулемётных выстрелов, и никаких других, и ни казачьего гиканья – и постепенно стало успокаиваться в сквере, и в Екатерининском зале, и в коридорах, и в самой комнате Военной комиссии – а Александр Фёдорович получил беспрепятственную возможность унести дальше по своим делам.

А причина стрельбы скоро выяснилась: какая-то революционная команда в Таврическом саду проверяла, насколько хорошо бьют доставшиеся ей пулемёты. А казаков – и вовсе никаких не было.

Хотя скоро уже почти сутки Военная комиссия непрерывно совершала только самые необходимые дела и распоряжения – теперь тут должны были признать, что все принятые меры совершенно неудовлетворительны и вот Таврический дворец никак не готов к обороне.

Не была готова и вся столица: все эти полки, притекающие из окрестностей приветствовать Петроград во славу революции, – куда-то сразу же после приветствий растекались, терялись, им всем нужно было только где-то питаться и спать, а на защиту революции этот поток не добавлял ни одного взвода.

Филипповский схватился и написал приказ:

«Командиру 9 запасного кавалерийского полка.

Немедленно привести возможно большее число эскадронов в полном боевом вооружении и пулемётную команду – для охраны Таврического дворца, при надлежащем количестве офицеров.

Председатель Военной комиссии».

Сам просился командовать – пусть теперь отработывает.

Даже если он весь кавалерийский полк приведёт – это никак не будет много для защиты Таврического.

Советская и буржуазная части Военной комиссии дружно искали ещё резервов.

«Подпоручику Постригалову, – писал Энгельгардт, – организовать охрану Государственной Думы, выслать патрули».

А Ржевский хлопотал: куда же подевался преданный Думе Преображенский батальон? вот недавно утром приходил приветствовать – а батальона нет, и ни одной операции совершить он не может. И писалось срочное приказание:

«Прапорщику Синани с двумя автомобилями – ехать на Миллионную № 33 в казарму Преображенского полка, и привести с собой всех офицеров этого полка», -

с их полковником Аргутинским, хоть и насильно. Полезли обещать, так пусть же служат. И разобраться: почему они не приходили с солдатами? И что там у них в полку делается?

Впрочем, вся эта паника в Таврическом показала и другое: насколько же у царского правительства не осталось никаких сил.

На главном шпиле Петропавловской крепости поднялся красный флаг. Все смотрят, радуются, передают, кто не видел. Воодушевление! Главная твердыня царизма!

Раскидистый каменный крепостной многогранник над Невой пытал умы: сколько же обречённых политических узников томится там? Толпа возбуждалась перед воротами, требовала выдать арестованных. Наконец впустили депутатов-понятых осматривать камеры.

И те убедились, что все бастионы-равелины пусты. Вышли к толпе, покричали «ура», стали расходиться.

* * *

После ухода правительственных войск из Адмиралтейства его постепенно затоплял сброд. Стали грабить морской Генеральный штаб и мастерские. Новая забота для морского министра Григоровича: стал просить у Родзянки караул для охраны.

* * *

На воротах и решётках Зимнего дворца орлы и вензеля кое-где завешивают кусками красной материи.

А по городу взяли новую манеру: рвут трёхцветные флаги.

* * *

Громили дом графа Фредерикса на Почтамтской, толпа бушевала внутри, со второго и третьего этажа выбрасывали в окна и с балкона мебель, убранство. Большой рояль с тяжёлым звоном разбился о мостовую. Потом подожгли, и большая толпа не давала пожарным тушить, а только отбивать соседние дома, чтоб не загорелись. (Рядом был и почтамт, с новой телеграфной аппаратурой.)

Графиня Фредерикс впала в паралич, хотели поместить её в английский госпиталь, но было отказано. Очевидно, английский посол Бьюкенен не хотел делать демонстративного шага в пользу старого режима.

* * *

Мимо Летнего сада брёл, одетый в штатское, один из эфиопов, бывало охранявший в золотом наряде и в тюрбане вход в кабинет императора. Вид у него был жалкий.

* * *

Одного прохожего арестовали за то, что у него толстая рожа (городовой?). Другого – что слишком быстро шёл по улице (хочет скрыться?).

* * *

По Театральной площади две образины тянули маленькие санки, и к ним привязанный труп городского на спине. Из встречных останавливались и со смехом спрашивали, как «фараон» был убит. А двое мальчишек лет по 14 бежали сзади и старались всадить убитому папиросу в рот.

Трупы убитых городских сбрасывали и в помойные ямы.

* * *

На Николаевском вокзале напирала, напирала солдатня на буфет, требуя закусок. Потом вломились, разогнали поваров, что можно – съели, перебили все тарелки до последней, а столовое серебро и бельё унесли. Говорили: в Думу.

Приходят поезда – на перроне солдаты не дают носильщикам работать, вместо них таскают вещи пассажирам, зарабатывают. И какие-то типы тоже таскают, иногда исчезая вместе с багажом.

* * *

Ораниенбаумские пулемётные полки входили в город через Нарвскую заставу несколько часов, полдня, так растянулись. Чтобы пулемёты не замёрзли – несли их обмотанными войлоком. Ленты с патронами – крест-накрест, крест-накрест поверх шинелей. И воротники шинелей, усы и бороды обелились от путевого дыхания.

А вошли – как же пулемёты в дело не пустить? – да вот, говорят, городовые с крыши стреляют. Постреляли у Нарвских ворот.

У Путиловского завода – встреча с рабочими. Объяснили пулемётчикам, что надо в Думу идти. Но туда ещё путь долгий, и устали, и надо же всех своих дожидаться.

* * *

Образованные петербуржане – как в возбуждённом бреду, в сомнениях, страхах, радостной решимости. Целый день кто-нибудь сидит у телефона и собирает телефонные слухи. (Вот, говорят, Михаил Александрович в Петрограде. Вот, говорят, и Николай Николаевич приехал).

А домашней прислуге, если не стара, больше всего беготни: побежит по улицам, что-нибудь высмотрит, узнает, прибежит господам расскажет и опять убежит. Да почти у всех ворот кучки-клубы.

Постоянно поддерживается самовар в окружении снеди – для проходящих знакомых и полужнакомых. Разговоры сладкие: переворот – самый респектабельный, Государственная Дума дала своё имя. Теперь у нас, очевидно, будет монархия английского типа. Уж раз Дума взяла власть, то всё пойдёт гладко, и война скоро кончится.

Впрочем – где он, царь? И войска его ведь идут на Петроград?

Против Думы? – не посмеют.

А если сменится царь – деньги в банках не пропадут?

* * *

Уже после «Известий Совета Рабочих Депутатов» и малочисленной их появилась и как бы настоящая газетка – просто «Известия» комитета петроградских журналистов. Тут – новости: перерыв Думы, письма Родзянки царю, взятие Арсенала, «Крестов», разгром охранки, арест Щегловитова, создание думского комитета – да всё уже и так известное.

А вот про царские войска, идущие на Петроград, нигде не напечатано – а только слухи, слухи.

* * *

А на улицах во многих местах – марсельеза! И оркестры играют, и хором поют – и всё

это изуродованно, неумело, – но снова, снова, всё шире и без конца.
И в этой марсельезе – ощущение стихийного, бесповоротного сдвига.
Стали вывешивать красное и на воротах домов.

* * *

Резкий долгий рожок, чтобы все разбежались. Длинный синий роскошный автомобиль с золотыми императорскими орлами на дверцах, с красным флагом у руля, весь наполнен вооружёнными матросами. Кричат, машут.

* * *

С середины дня уже не осталось никакого «противника», никаких военных действий. Не осталось и «неприсоединившихся» частей – все до мелких теперь присоединились: шли к Таврическому дворцу или слали депутации.

Но и возрстал громёж магазинов и складов.

* * *

Стройно идущая с барабанным боем часть – вдруг рассыпается от случайного выстрела сзади.

Солдаты без офицеров!... (Офицеры – по квартирам.)

* * *

Революционные солдаты – многие без поясных ремней, в расстёгнутых шинелях. Лица радостные, но и растерянные. Как украшение на многих – пулемётные ленты: вкось через плечо, и по поясу, и просто в руках носят, безо всяких пулемётов.

Вот солдат с ружьём на ремне, а к дулу привязаны две искусственных белых розы (вынес из чайной). Вот студент ведёт за собой сквозь густоту тротуара десяток солдат – какая-то ясная у них цель, дружно идут. Вот солдат трясёт револьвером над головой и выкрикивает угрозы. Вот юноша лет 17 несёт над головой, гордо трясёт, всем показывает – обнажённую офицерскую шашку с георгиевским темляком (отняли у георгиевского кавалера).

У одного из волынцев на штыке болтается трофей – разодранный жандармский мундир. Кричит во весь голос:

– Конец фараонам! Довольно нацарствовали!

* * *

По Лиговке к Знаменской площади валит толпа – много солдат, чёрных штатских, мальчишек – сопровождают захваченного высокого жандарма в форме. И ещё, и ещё со всех сторон к толпе лезут, останавливают. Крики.

Позади жандарма подымается винтовка прикладом вверх и медленно тяжело опускается ему на голову. Шапка с жандарма слетает. И второй раз отмахивается та же винтовка – и опускается второй раз, по голой голове. В кровь. Жандарм оглядывается, что-то говорит и крестится. Его бьют ещё в несколько рук, он падает.

* * *

В правление Путиловского завода ворвалась куча вооружённых: «Выдайте кассу!» Отказ. Схватили военного директора завода генерал-майора Дубницкого: «Едем в Думу!» Его помощник генерал Борделиус: «Я вас не оставлю, вместе служили...» От Нарвской заставы генералов высадили: «Нечего кровопийц возить!» Погнали штыками до Балтийского вокзала, избивая, – и утопили под лёд Обводного канала.

* * *

У Николаевского вокзала – два бронированных автомобиля с пулемётами и несколько пеших воинских отрядов. Вдруг из одной гостиницы револьверный выстрел – и вмиг опустела едва не вся площадь: и толпа разбежалась, и солдаты, или полегли. Второго выстрела нет – и солдаты в беспорядке, покинув свою позицию, бросились обыскивать гостиницу.

Затем винтовочный выстрел с другого конца площади – и вся солдатская масса бросается туда, наудачу обстреливая заподозренный дом.

* * *

На многих улицах предупреждают: «Дальше не идите, там стрельба!»

На углу Невского и Морской вдруг вся публика шарахается и разбегается. Говорят: «Там спрятались!»

* * *

Это называется - *снимать фараонов* . По заподозренному дому бьют из пистолетов, из винтовок, из пулемётов, лупят и в стены, и выбивая стёкла. С охотой и весельем бьют сразу из ста ружей. (И с охотой позируют потом для фотографа: солдаты в папах, солдаты в фуражках, автомобилист с очками, поднятыми на козырёк, и штатский в мягкой шляпе.)

А с кем там перестрелка? Лезут по лестницам на обыск, по пути проверяя и все квартиры: не прячутся офицеры? а может где оружие? (Или часы, или портсигар). Взбираются на крыши, ещё оттуда руками машут, по карнизам ходят – и только *фараона* никто нигде ни разу не снял и не нашёл. До того неуловимые.

Говорили: в каком доме найдут пулемёт – будут тот дом сжигать.

* * *

Выводят из подъезда арестованного генерала – присутствующие солдаты по привычке отдают ему честь.

Автомобиль, везущий его арестованным, по улицам встречают радостными криками.

А при входе в Таврический уже и в спину толкает генерала кто-то.

* * *

Министра Барка арестовал собственный лакей и глумился над ним.

Член Государственного Совета Кауфман-Туркестанский был задержан молодёжью на улице и приведен в Думу как «фараон».

* * *

В здании Думы группа гимназистов под начальством студента-политехника М. присваивала себе личные вещи и деньги приводимых чинов полиции (как потом жаловались арестованные).

* * *

Уличный сбор на питательный пункт для солдат. Стол покрыт белой скатертью, ящик для монет, и две курсистки зябнут, руки в муфтах.

* * *

По Невскому летит автомобиль, в нём – офицер с серебряными погонами и большой красной перевязью на рукаве. Значит: присоединился.

Проскакала верхом женщина без шляпы, с обезумело радостным лицом. Отвевались её волосы.

* * *

Один автомобиль застрял посреди улицы, другой, с корреспондентом, на него налетел. Поездка окончена, репортаж тоже.

* * *

Военные мотоциклисты! Они кажутся людьми будущего, людьми нового формирования. Их одежда особенная, длинные кожаные перчатки на руках и кожаный ремешок фуражки под подбородок. Они самоуверенны, могучи!

И разве угадаешь, что скрывается за их вихрем? Один лётчик всё носится на мотоциклете: на Жуковской у него дом отца, а в «Астории» снимает номер для любовницы.

* * *

Толпа замечательна и тем, кого в ней нет . И вчера, и сегодня на улицах совсем не видно священников. В храме отслужат службу – и по домам.

Только на крыльце Таврического среди дня показался отец Попов 1-й, член Думы. Он вышел благословлять вооружённые войска: «Да будет памятен этот день во веки веков!» Но революционные войска не очень нуждались в его благословении. Предложенного креста не тянулись целовать.

* * *

Жуткий момент у Таврического: пулемётная стрельба! переполох! Автомобили, выезжавшие из сквера, попятились назад. И со Шпалерной толпа хлынула прятаться в сквер. Иные солдаты залегли в цепи и отстреливались в разные стороны. Разведчики побежали через пруд Таврического парка и проваливались в нём.

Потом – разные были объяснения, а пуще всего: городовые с водонапорной башни, но – скрылись, и пулемёт унесли.

* * *

Выпить и опохмелиться! – только б найти где. Пьяных – всё больше в толпе.

Пьяные матросы флотского экипажа в Коломне врываются в квартиры домов, грабят. Военных арестовывают, увозят на грузовиках.

* * *

Шайки подростков с револьверами и винтовками, солдатскими шапками. Много стреляют.

У 18-19-й линии на набережной маленький щуплый парень в чёрной лохматой папахе полчаса терроризировал всех прохожих. В одной руке у него была шашка наголо, в другой револьвер. Перед всеми проходившими солдатами он брал «на караул», всем обывателям преграждал дорогу и приказывал сворачивать на Большой проспект, «присоединяться». Убеждали прохожие, что на Большом и без них народу полно, юнец кричал:

– Без рассуждений! Стрелять буду!

И всех поворачивал. И в воздух стрелял иногда.

Потом два дюжих солдата-финляндца подошли к нему, попросили револьвер «посмотреть», и забрали.

* * *

Дворник в жёлтой дублёнке с чистым фартуком подбирал деревянной лопатой комья кровавого снега. От снега шёл лёгкий пар.

205

Нелидовского хозяина звали Агафангел Диомидович, и это имя тоже почему-то внушало безопасность.

Он пришёл звать к завтраку – после уличной проходки, свежий от морозца, крепкий, а уже с большой залысью, и тёмных годами и металлической пылью. Никакой радости он не выражал, как те вчерашние, с красными тряпками. Щёки его были сильно впалые, подбородок и взгляд твёрдые. Сказал из-под чёрных длинных усов:

– Не-ет, ваше благородие, и думать вам нечего идти: сегодня кипёт пуще вчерашнего. А вы не стесняйтесь. Только что теснота, не бессудьте. Отдыхайте.

Позавтракали – варёная картошка с подсолнечным маслом, капуста да солёные огурцы, пост. Кружка чая без сахара.

И опять хозяин ушёл, но не на завод – работы-то везде остановились.

И капитан Нелидов остался в своей крохотной комнатке с одним окном. Когда хозяин утром отнял ставню – открылся закуток неширокий перед чужой кирпичной стеной, замётанный грязным снегом, с фабричной сажей. И всё. В городе могли кипеть,

перемещаться и кричать толпяные волны – здесь свисали с застрехи две сосульки, тоже уже грязные, не капало таяньем, не шевелился ветер, не залетал воробей, – ничто.

А Нелидов проснулся сегодня рано, ещё в темноте, – и сразу потерял сон, в отдохнувшей голове зароилось, зароилось: что происходит? И почему он сам не действует? И что за положенье у него – пленного? интернированного? раненого? дезертира? Ни одна категория не подходила, ни на что не было похоже.

Снова и снова его прожигало вчерашнее. Не опасность погибнуть – но от русских солдат! И после такой сцены – как оставаться офицером? И в чём смысл погонов? И всей армии? Армия разваливается, даже если не исполнено одно приказание, – а если солдаты убивают офицера?

Если б он был здоров – он конечно бы тут не улежал, он помчался бы в батальон глухой ночью, когда толп нет, где-то бы прорвался или отстреливался. Но он – пригвождён был своей онемевшей ногой, он и четверть воина не был.

День кажется был солнечный, но в этом закутке за окном не проявлялся. И теснота убогой чужой квартиры, как будто не в двух верстах от казармы, а где-то в другом городе, и говорить не с кем, никого своего, и бездействие, – такая тоска обняла Нелидова, не представить, как этот день протянуть.

Кроме кровати, комода, грубо обделанного мягкого кресла и простого стула, тут и мебели не было, не помещалась. На подоконнике малого окна, разделённого переплётком ещё вчетверо и без форточки, стоял горшочек с геранью. В углу висела небольшая тёмная икона Божьей Матери, под простым дешёвым окладом. А на комодке поверх белой кружевной дорожки стоял перекидной календарь на двух плитах, календарь-то насажен Семнадцатого года, а всё устройство – к трёхсотлетию дома Романовых: на левой плите изображён был Михаил Фёдорович, а на правой – нынешний Государь.

Вот и всё в комнатке, и книги ни одной. Да и не читалось бы.

Никогда Нелидов в тюрьме не сидел, но за этот день испытал тюремное: почти повернуться негде и смотреть не на что. И лежать тошно, и сидеть тошно. И в душе жжёт. Может быть, тогда тюрьма особенно и тяжела, когда сам себя держишь?

И даже не от тишины могильной была тоска, нет, – а от того, что за тонкой стеной всё время напевала квартирантка хозяев, молоденькая швейка. Когда работала машиной, то замолкала, и только слышалось постукиванье. Но как работа у неё была без машины – так тут же и напевала. Иногда песни простые, это ничего. Но то и дело запевала что-то революционное – Нелидов и песен таких не знал, но нельзя не догадаться.

Пыльной дорогой телега несётся,
В ней по бокам два жандарма сидят.
Сбейте оковы,
Дайте мне волю,
Я научу вас свободу любить!

И как привяжется к такому мотиву. А бодро напевала, с настроением. При малом оконце в кирпичный закуток – этот денёк, видно, светлый праздник был у неё, и упорхнула б она на улицу, если б не срочная работа, так добирала пеньем.

Этот весёлый голос и слова бунтовские через стенку – добавляли тоски.

Но и тем она не удовольлилась – а стала оббегать и в комнатёнку к капитану.

– Ну как, капитан, – называла она его развязно. – Кончились старые времена?

И льняной локонок спадал на незамысловатое глуповатое личико.

Сперва Нелидов понял так, что она издевается, и что она может сейчас побежать и привести сюда толпу на расправу. (Не боялся, как-то стало всё равно.) Но нет, она ему зла не желала, и не издевалась вовсе – это она хотела общей радостью поделиться, и удивлялась его бесчувствию. Растарашивала глазёнки и рассматривала как диво, да странно и выглядели его золотые погоны в этой убогой квартирке.

– А это что у вас? – дотрагивалась до синего косога креста на груди, Андреевского гвардейского. – А что это за буквочки тут, не наши?

На концах креста стояли: SAPR – то есть Sanctus Andreas Patronus Russiae, – а кто это знал латынь? для кого писали, правда?

– Святой Андрей, покровитель России.

– А кто это тут на коне?

– Георгий Победоносец.

– А почему?

– А это герб Москвы.

– А почему Москвы?

– А потому что наш полк стал Московским за Бородинскую битву. Перед самой наполеоновской войной император Александр Павлович построил наш полк из Преображенского батальона, но сперва он назывался Литовский.

Швея взвизгнула радостно, как что-то поняла, убежала – и тут же вернулась с большим фасонным бантом из ярко-красной бязи:

– А вот вам, дайте я приколю.

Он в кресле сидел, недвижимый, а она совалась приколоть бант рядом с Андреевским крестом, и хихикала.

Нелидов отводил, отводил её руку и всячески: объяснял, что нельзя, что не может.

Красный бант был ему как жаба.

Швея обижалась, убегала за стенку – и снова весело пела:

А что силой отнято -

Силой выручим мы то!

И снова, как ни в чём не бывало, впаривала и пыталась прикалывать капитану бант, глупенькая что ли.

И кто ей это всё в голову вложил?

Надрывала тоску, по нервам пилила. Старался не слушать её пения.

Потом кончила шить – и ушла прочь, облегчила.

Когда становился у комода – смотрел на календарь. Рассматривал темноватое озабоченное лицо Государя.

У Михаила Фёдоровича были, конечно, свои заботы, но всё это отодвигалось в картинку историческим боярским костюмом. А Николай Александрович совсем как живой выступал из календаря.

И подумал Нелидов: он, всего лишь капитан, и то опустился в эту комнату чудом, странно сияли его погоны здесь. А Государь – был естественно, запросто вхож в каждый убогий дом. Вот был он свой и этому старому рабочему.

Почему-то же дал он прибежище офицеру. Рабочий и в рабочем районе перехоронял его!

А что ж? Рабочие – они серьёзные люди. Нелидов вспомнил, как в начале войны перед погрузкой с Варшавского вокзала отпускал своих мобилизованных питерских рабочих ещё раз попрощаться с семьями – и все до одного вернулись в срок. «Нешто не понимаем? – братьев сербов идём защищать от германца». Они и воевали отлично. Они – верные люди, но вот дали их растравить.

Часы тянулись, часы тянулись, такая тоска, будто и себя потерял, и всю жизнь потерял, и никогда уже ничто не вернётся. Уже хотелось любого худшего, только прорвать бездействие и плен. Не мог капитан Нелидов так закипеть! В батальоне он хоть объяснениями помог бы порядку.

К концу дня вернулся Агафангел Диомидович – и сразу пришёл к гостю. Ещё вчера в привратничкой он явился такой чужой, из другого мира, – а сейчас, вот сел на кровать, в тёмной суконной косоворотке, простоватая стрижка его, грубые волосы, большие залысины и укоренелая твёрдость, не поддающаяся возрасту и годам труда, – смотрел Нелидов на него с уважением и уже делил с ним общую часть. Как разгорожены и разделены сыновья одного и того же народа. Отчего?

Агафангел Диомидович исходил весь город, и Литейный, и Невский, и дальше, всё

смотрел. Бушуют. Властей никаких не осталось во всём Питере. Хоть грабь кого хочешь. Пожары, расправы, беспорядочная глупая стрельба, шальными тоже убивают.

И никакая радость от виденного не освещала его.

– Ох, неладно будет. – И подумав. – Ох, настрадается народ. – И подумав. – Чего делают, никто не разумеет.

А как, с чего это началось? – хотел понять Нелидов.

– Поди не забастуй, – говорил хозяин. – Так выбьют гайкой глаз, мы сами их боимся. Их – кучка, а всем верховодят. Кто дерзок, тот и верх берёт, это завсегда. Ишь, чего удумали – всякую власть прогнали. Будто без властей жить можно.

Как же Нелидову выбраться?

Сказал хозяин: и думать нечего, разорвут в клочки. Сегодня ещё ярей народ, чем вчера, крови отпробовал. И казармы Московского уже всё равно сдались. А вот другие казармы, при конце Сампсоньевского, те отстреливаются. (Самокатный, сообразил Нелидов.)

Но не может же их батальон перестать существовать, и значит – не может там не быть офицеров. И – нужно Нелидову туда.

Ладно, вечером после обеда послал хозяин соседского мальчишку – поискать в Московском батальоне старшего и шепнуть.

Поздно мальчишка вернулся: капитан Яковлев велел капитану Нелидову с утра прибыть в казармы.

– Ладно, – смекал Агафангел Диомидович. – Есть у меня тут ломовик знакомый. Запряжёт да отвезёт вас с утра потемну. А я вас в свою шубу укутаю до казарм.

206

Ещё по пути на Петербургскую, пока ехали, Пешехонов раздумывал, в каком же помещении устроить ему комиссариат. Это должно быть просторное помещение, с лёгким входом и выходом (он уже предвидел скопление как в Таврическом), – и в самом центре Петербургской стороны. И выбрал он кинематограф «Элит» – рядом с квартирой своей, на той самой площади, где с Каменноостровским пересекаются Большой проспект и Архиерейская улица, – там, где вчера вечером в новизне возбуждения он в толпе встречал первые революционные автомобили.

Но сегодня этих автомобилей уже столько и по столько раз пронеслось по стольким улицам столицы, что вслед за восторгами стали они вызывать у жителей недоумение и даже раздражение. И когда автомобили нового комиссара подъехали к «Элиту» (он оказался заперт, ещё дворника искать и слать за владельцем), – увидели они, что Каменноостровский дальше вперёд к островам запружен такими автомобилями, утыкались один в другой и так стояли со всей своей празднично-революционной публикой. Прохожие сказали Пешехонову, что там впереди кто-то не пускает и проверяет.

Это понравилось Алексею Васильичу – и вот было сразу первое применение его военному отряду, пока всё равно делать нечего. Он позвал прапорщика Ленартовича и сказал ему:

– Голубчик, пойдите со своим отрядом вперёд туда и помогите этому славному делу. Ведь со вчерашнего дня любая компания приходит к любому владельцу, требует ключ от гаража и шофёра, якобы для революционных надобностей, – и отправляется кататься по городу. Ещё и барышень с собой прихватывают, очень приятное занятие. Ну, куда, в самом деле, они сгрудились, все на острова – что там делать? Так вот – помогите силой. Надо проверять у каждого удостоверение, и у кого нет настоящего права – тут же ссаживать и автомобиль отбирать. Именем комиссара Петербургской стороны. Кстати, и у нас появятся лишние автомобили.

Хотя это задание не шло вровень со вчерашней задачей взять Мариинский дворец и с сегодняшней возможностью атаковать Инженерный замок, но тоже в нём был большой революционный смысл, который Саше понравился. И он тут же звонко позвал свой десяток

солдат, выстроил его в две колонны в затылок, винтовки на ремень, – и повёл за собой, иногда громко командуя своим, иногда командуя впереди разойтись. За все годы своего пренебрежения военными командами и строем он брал насладительный реванш именно сейчас – когда все вокруг стали строем пренебрегать, ходить врассыпную, даже растёгнутыми, и таскать винтовки как лишние палки.

И с изумлением Саша заметил, какую силу имеет военная дисциплина против распушенности: тут были сотни солдат, на Каменноостровском, в этом заторе и на тротуарах, а Ленартович вёл всего десяток, – но им давали дорогу и смотрели с уважением. А когда они дошли до переда, то их появление сразу изменило всё положение: там был какой-то настойчивый штатский с красной повязкой на рукаве (потом оказался с удостоверением Военной комиссии останавливать и отбирать бездельные машины), и был подпор публики, раздражённых автомобилями, среди них и отдельные солдаты, может быть из зависти, – но у автомобилистов численность была больше, глотки сильнее, и было что терять, они и матюгались сильнее и размахивали кулаками и штыками и, наверно бы, вот-вот-вот прорвали, если б не отряд Ленартовича. Он же, быстро оценив обстановку, ввёл свой отряд в самую гущу, в линию перед первым задержанным автомобилем, звонко скомандовал своей второй колонне выйти в продолжение первой (команды он точно не помнил, но солдаты поняли его), повернуться, взять ружья на изготовку – и так образовать цепь от сугроба до сугроба.

И хотя их было всего одиннадцать, но решительность офицера и безусловная подчинённость невзбунтованных солдат сразу оказали действие: кулаки убрались, штыки отвелись, забияки снизили голоса, стали пятиться, сперва сами, потом и с автомобилями, ругаться уже друг на друга, но не так легко было разманевриваться и разъехаться этой шумной и трусливой ватаге. А Ленартович с тем штатским спешили проверять документы, ссаживать гуляющих, а шофёрам вручать клочки бумаги – «в распоряжение Военной комиссии», «в распоряжение комиссара Петербургской стороны».

Тем временем Пешехонов дождался хозяина кинематографа. Это был бельгийский еврей. Достаточно второй день видя петроградскую обстановку, он уже хорошо понял, что много не поспоришь, а тут действовали именем Совета рабочих депутатов, – и бельгиец без уговоров согласился бесплатно предоставить комиссару свой кинематограф, на произвольное число дней, добавляя, что он как гражданин свободной и дружественной страны рад послужить, чем может, делу русской свободы.

Итак, группа комиссара вошла в пустое помещение и за первым же столом устроила совещание, как ей действовать. По сути – всё в распадае и брожении, и они тут – единственная власть, ближе Таврического нет другой власти. В кинематографе есть телефон – это хорошо.

Очевидно, надо было разделить направления работы и каждому стать начальником отдела. Эпизод на Каменноостровском подсказывал создать автомобильный отдел, недостатки продовольствия – продовольственный отдел. Кто-то будет делать объявления населению – значит, отдел публикаций. (Его захватил социал-демократ, смекнув, что можно будет вести агитацию.) Итак, все начальники отделов будут называться товарищами комиссара и носить на шапках кокарду из красной материи.

Достать письменных принадлежностей? Все лавки закрыты. Однако, увидав автомобили возле кинематографа, уже заходили любопытствующие – и скоро были доставлены чернильницы, перья, карандаши, бумага. Какие-то дамы соорудили из красных лент кокарды, накололи и Пешехонову на каракулеву шапку. Одна дама сбегала домой, притащила простыню, и, палочкой обмакивая в чернила, стали крупными буквами выводить:
Комиссариат .

А Пешехонов сел писать объявление, что он, комиссар Петербургской стороны, имеет задачу водворить здесь свободу и народную власть, и аресты и обыски могут производиться только по его письменному распоряжению.

Тут откуда ни возьмись подъехал броневик – попросить у автомобилистов бензина.

Объявили броневик мобилизованным для революции и назначили посылать его против грабежей.

207

Великий князь Павел Александрович, младший сын Александра II, с двумя детьми от греческой принцессы, рано овдовел – а через 10 лет после того пожелал жениться на замужней Ольге Пистолькорс, вследствие чего тогда же был устранён Государем от командования гвардейским корпусом, даже лишён личного имущества (так строго – чтоб удержать от недостойного брака его племянника Кирилла), – и вынужден был выехать за границу, детей же его, Дмитрия и Марию, взялась опекать царственная чета. Разрешено ему было вернуться в Россию лишь с войною, рвался в гвардию, но Государь медлил с назначением, а когда Павел вновь получил гвардейский корпус, то стал болеть – и был переведен в положение генерал-инспектора гвардии, уже не связанного с её дислокацией на фронте, жил в Царском Селе, где вместе со своею супругой, теперь продвинутой в «княгиню Палей», устроил и свой дворец, с богатыми коллекциями искусства.

Императрица Александра Фёдоровна, перезнакомясь, перебравши и постепенно отвергнув всю многолюдную династическую семью, кроме государева брата Миши, которому благоприятствовала (не без надежды восстановить отношения со свекровью), и бесхарактерного воспитанника Дмитрия, теперь запутавшегося в убийстве Божьего Человека, – в сердце всегда делала исключение ещё для Павла, выделяла его из династии. После смерти своих братьев он был старшим в роде. Его нейтральность в семейных конфликтах вызывала уважение всей династической семьи, отчего, правда, фамильный совет и поручал ему выступать перед Государем с ходатайством об изменении политики, уступках думской банде, увольнении Штюмерера и Протопопова. Но сам Павел при этом никогда не интриговал, был искренен, не помнил зла, не обижался за своё семейное неравенство, был лоялен Государю, ничего не искал для себя, а честно хотел только служить России. И если отчасти иногда вмешивался то в пользу двуличного Рузского, то прямо против влияния Друга императорской четы, – то это уравнивалось его постоянным противостоянием Николаше, всегда за Государя, да и к Другу он не выказывал прямого недоброжелательства, а его льстивая супруга, надоедавшая своими выражениями преданности в надушенных письмах, выпрашивала прощение у императора также отчасти и через Друга. Среди великих князей даже было обвинение Павла в принадлежности к партии Григория. Когда Павел год назад сильно болел, испытал разлитие желчи, потерю веса, ему грозила смертельная операция, – государыня жалела его и для посещения больного даже переступала не вполне достойный порог дома княгини Палей.

После вспышки первого гнева, теперь-то стало ясно, что Павел никак не ответственен за действия своего сына Дмитрия – даже не больше, чем сама царская чета отвечала за него как за своего воспитанника. И несправедливо было приписать Павлу ответственность также и за другую соучастницу – падчерицу Марианну, ненавистницу Друга. (А ещё Марианна распространяла по Петрограду слух, что Государыня спаивает Государя. Не было меры всем клеветам, изрекаемым в двух столицах.)

Перед сегодняшними обстоятельствами отступали второстепенные обиды.

Шестидесятилетний Павел, с прирождённым достоинством вида, вошёл в гостиную. Он был строен, высок, импозантен, даже обворожителен, – молодой красивый старик под седыми волосами, в стильных высоких английских сапогах, ещё строящихся его длинные тонкие ноги.

За прошлое – царица запретила себе держать зло. Но за сегодняшнее – не могла встретить его иначе как сурово. Генерал-инспектор гвардии, военный человек – что же смотрел он, когда его гвардейские батальоны бунтовали в Петрограде и даже были в смятении уже здешние, в Царском Селе? Который уже день мятеж – и что ж он предпринял? Выезжал ли он к войскам?

Сели за круглым столиком в её бледно-лиловом кабинете. В вазочке держались совсем засохшие цветы.

В лице Павла выражалась и общая романовская породистость и личная порядочность, и даже мужественная готовность, и он волновался перед императрицей, хотя пытался это скрыть. Но ничего разумного не мог ответить.

Что к сожалению генерал Чебыкин, командующий петроградской гвардией, оказался в Кисловодске. Что это вообще не гвардия – то, что сейчас в Петрограде.

Это ясно было, что не гвардия. В начале февраля Государь приказывал перевести в Петроград из Особой армии две кавалерийских дивизии – но командующий Округом отказался найти им место в Петрограде или даже в окрестностях. Да и Государь не настаивал, чувствительный к тому, чтобы армия не обижалась на гвардию. Тогда и перевели Гвардейский экипаж в Царское Село.

Но и явно было, что Павел плохо понимал, что и где происходит в городе. Государыня спрашивала его о подробностях, а он ответить не мог – он все эти дни просидел со своей женой в своём дворце! (А княгиня Палей сумела и двух своих сыновей выпросить с фронта в тыл...)

Ах, сколько раз сама царица смотрела гвардейские парады! Каким несокрушимым оплотом виделись эти все герои! – и куда ж они все подевались в грозную минуту?

– Так почему же нет у вас настоящих полков?! – воскликнула она в отчаянии.

– Не распорядился Государь...

Необъяснимо: по какой случайности, недоговорённости, среди пятисот важных государственных обстоятельств – упустили, не довели до решения это пятьсот первое? И сама она упустила настоять.

– Так почему не вызвать гвардию сейчас?!

– Ваше Величество, это не в моих правах. Как генерал-инспектор я заведую только хозяйственной частью гвардии.

Да, вот, он носил великолепный гвардейский мундир, и состоял на службе, и был отроду военный человек, – а которые сутки спокойно оставался в Царском Селе?

– Так езжайте на фронт! Так передайте им и привезите сюда преданные полки! – властно восклицала государыня. Она ждала мужской поддержки – но Павел сидел благородно-опечаленный, и мужская сторона опять оставалась за нею.

Павел ответил, что было бы непростительным своеволием ему ехать на фронт за войсками, для этого есть Ставка.

Но на лице его выражался стыд – и бессилия, и непонимания событий, да может быть и слабости возраста.

И государыня, позвавшая его с импульсом прощения, сейчас опять испытала укол обиды. И сказала величаво:

– Если бы императорская фамилия поддерживала Государя, вместо того чтобы давать ему дурные советы, – то **этого** бы не произошло!

Павел выпрямился, сидя, и отчётливей проступила породистость его благородного лица:

– Ни Государь, ни вы не имеете оснований сомневаться в моей преданности и честности. Но время ли вспоминать старые размолвки? Сейчас надо добиться скорейшего возвращения Государя.

– Государь – возвратится завтра утром, – холодно ответила Александра Фёдоровна.

– Так я встречу его на вокзале! – с пылкой готовностью воскликнул Павел.

Это правда, он обожал Государя. Это правда, он был лоялен.

И только.

Ещё и суетливость была за ним.

Его можно было и не вызывать.

Отпустила.

Но – на кого же ей опереться?

Ведь все покинули, и никто даже не телефонирует.

Настроение во дворце падало. Волновалась свита, волновалась прислуга.

Как дожидаться завтрашнего утра!

Пришёл доктор Деревенко из лазарета, рассказал, что по Царскому бродят без строя растрёпанные солдаты, фуражки на затылок, руки в карманы, – и хохочут. (Да несколько казаков могли бы их разогнать!) Но офицеры жмутся или прячутся. А все железные дороги захвачены революционерами.

И непонятно, как приедет Государь.

Но тут доставили от него телеграмму.

Из Вязьмы.

«...Надеюсь, вы спокойны. Много войск послано с фронта...»

Ну, слава Богу, выручка идёт! Переждать несколько часов.

Дворец был сильно защищён постами и патрулями.

А погода над Царским была изумительная: лучезарное солнце, голубое небо, безмятежный снег.

В такую погоду не может совершиться злодеяние, Бог не допустит.

208

Межрайонцы – оказалась самая боевая, деловая, напористая партия из всех социалистических. Она возникла шесть лет назад как протест, что честолюбивые вожди в несколько раз раскололи, развалили нелегальную социал-демократическую партию. Возникла – как «3-я фракция», «объединенка», объединить партию снизу, принимать в себя желающих и большевиков и меньшевиков, кто признаёт нелегальные формы работы, отметить только ликвидаторов. Признать все решения партии до 1910 года – и отсюда повести к будущему съезду. Конечно, межрайонцев сейчас же и упрекали, что они только углубляют партийный раскол. Конечно, им пришлось яростно бороться за районы города с другими фракциями, особенно с большевиками, перехватывать у них, при их арестах, рабочие массы. Межрайонцы не гнались за звучным названием, ни за многотысячностью рядов (было их всего человек 150, хотя в плане имели стать всероссийской организацией), не имели даже своего ЦК, но зато – великие задачи. Для того чтобы делать большие дела – и не нужна многолюдная партия, а – энергичная. Всё заводили свои журналы, с ними обрывалось, хотели перекупить «Современник» у Суханова, деньги были, но он не отдал, хотя симпатизировал. Очень укрепились, когда в партию вошёл Карахан, с его помощью искали связей с эмигрантскими вождями, с особенной симпатией отнёсся к ним Троцкий, и он, и Мануильский, и Дридзо-Лозовский, и Антонов-Овсеев присылали для их журнала корреспонденции, да лопнул журнал. И в Копенгагене их поддерживали, уже в войну.

Вся организация межрайонцев была надёжно пропитана революционно-интернационалистическим духом, и от начала войны их лозунг сразу был – борьба с оборончеством, «долой войну» – без «долой войну» задушат в империализме, – а затем и «превратим империалистическую в гражданскую». Так что получалось даже, что в лозунгах у них с большевиками и противоречий особых нет – но не хотели поддаться их расслабленному Петербургскому комитету и призрачному швейцарскому ЦК. Вместе с большевиками боролись и против главных врагов – гвоздѐвцев, предателей рабочего класса, и в этой борьбе блокировались и с Инициативкой на интернациональной почве, последние месяцы и с эсерами-интернационалистами, – но со всеми ими неслиянно.

Так что когда Матвей Рысс этой осенью перешёл от большевиков к межрайонцам – он не испытал никакой измены лозунгам, а только была эта организация побоевой (хоть и про большевиков не скажешь, что растяпы). Правда, во главе её Кротовский-Юренин никак не был светило, даже совсем слабая голова, и суетлив, но хорош был общий энтузиазм и деловитость межрайонцев, хорошо поставлено типографское дело, много листовок, умели забастовки устраивать и деньги для них находить. Да как раз в те дни и большая группа

студентов-психоневрологов повалила к межрайонцам, друзья Матвея: «вдохнём неврологический дух!». Все они обожали рабочий класс.

Девиз межрайонцев был: качай, качай – когда-нибудь и раскачается. Одной из главных задач они считали – вести пропаганду в армии, и проникали в разные части, расквартированные в Петрограде, а с Кронштадтом имели постоянную хорошую связь.

В институте на лекциях Матвей не густо бывал, как и его приятели, – да институт был частный, руководство либеральное и зажмуривалось, чем там студенты на самом деле заняты. От месяца к месяцу этой зимы всё больше овладевало Матвеем нетерпение действовать. Эта внутренняя страсть-нетерпячка изжигала его изнутри, и была бы в Петрограде партия ещё боевей – он перескочил бы туда. Этой зимой Матвей вошёл в такое состояние, что ненавидел всякую обычную жизнь, всякий кусок обычной жизни воспринимал как примиренчество с треклятым режимом. Он дошёл до такой неистовой грани, что если не возникнет народного движения, то он должен сделать что-то сам или с ближайшими друзьями – хотя индивидуальный террор считал занятием бесперспективным, не это он имел в виду, он сам не знал что. Но такие тяжёлые общие тучи разочарования и озлобления нависали над столицей, и такая например всеобщая радость от убийства Распутина, – всё это не могло пройти бесследно, он надеялся на что-то крупное!

А пока писал, писал листовки, вкладывая в них всю страсть: «Пируют во время чумы народного бедствия!» – «Ваша смерть нужна буржуазии для увеличения её прибылей!» – «Стройным хором отвечают нам лакеи буржуазии...» И единственные, кто выпустили листовку к «женскому Первому Мая» – к 23 февраля, – были межрайонцы, и именно Матвей накатав её: «Сама царица торгует народной кровью и распродаёт Россию по кусочкам», «долой преступное правительство и всю шайку грабителей и убийц!».

Большевики притрушивали и советовали женщинам 23-го февраля с работы не уходить, меньшевиков тех и вовсе не слышно никогда, а межрайонцы – звали женщин на забастовку, – и неплохая получилась (удачно прицепили хлебный вопрос) – и Ньюта Иткина в тот день с успехом выступала на женском митинге в Народном доме Паниной. Да с того-то дня всё и покатилося! – и работа агитационной группы при межрайонном комитете стала уже вовсе лихорадочной. 26-го выпустили ещё две листовки – одну к рабочим, одну к солдатам, правда не к восстанию.

Все дни февральских волнений Матвей Рысс носился – и не столько по поручениям Кротовского, который изрядно сдрейфил и не верил в успех движения, и предлагал умерить пыл рабочих, – сколько по собственной инициативе: то снимал рабочих на забастовку, то сколачивал демонстрацию, то из толпы на тротуаре, как бы из городской публики, кричал оскорбления полицейским, бросал в них камни, а один раз и сам выстрелил из маленького карманного револьвера. Попеременно с другими молодыми межрайонцами выступал и с речами (он говорил почти так же легко, как писал) с постамента Александра III на Знаменской, и с парапета у Казанского собора, а когда разгоняли – бежал в толпе, и было весело. Он выкрикивал всё те же лозунги: дайте хлеба! дайте мира! долой войну! долой правительственную шайку! долой царя! – и всё же до воскресенья вечера никак не думал, что дело разовьётся, а только понимал как раскачку для будущего. А когда узнал о волнении павловцев – кинулся проникнуть в их казарму, но уже она была оцеплена войсками.

И к волынцам тоже посылали листовки в казармы, и какие-то волынские унтеры пару раз приходили на пропагандные занятия, но никакого особенного внимания им, кажется, никто не уделял, – и то, что они выступили и повлекли за собою других – это был просто подарок судьбы.

26-го вечером Матвей допоздна ещё писал и отправлял в типографию новую листовку – ко всеобщей стачке протеста, «царь накормил свинцом поднявшихся на борьбу голодных людей». И так выдохся за все эти дни, что утром 27-го как раз и заспался на отцовской квартире, на Старо-Невском. Никто его не разбудил, он почти полдня и проспал, пока уже начали очень сильно стрелять, и поблизости. Очнулся, умылся и, едва позавтракав, побежал в события. А события-то раскатились ого-го! И он из первых разгадал буржуазных

подсылных, зовущих революционную толпу повернуть с приветствиями к Государственной Думе. Ещё чего! Безо всякой связи в этот час со своей партией отлично понял Мотя Рысс всё коварство этого приёма: не-е-ет! уж сметать будем одним ударом вместе – и царское самодержавие и Государственную Думу!

И он кричал до надрыву, спорил – и две больших группы отговорил, повернул от Думы прочь.

А тут сгустилась перестрелка с правительственным отрядом на Литейном, и Матвей поспешил туда, как раз при неудачной автомобильной атаке революционеров. Правительственный отряд крепко держался много часов под командой высокого полковника с чёрной бородкой, много раз в него стреляли, да всё промахивались. По ту сторону командовал полковник, а по эту – никто отдельно, и всё зависело – кто на каком участке что сообразит. Матвей так понимал, что военный перевес всё равно у отряда, поскольку у них единое командование. А у нас перевес в агитации, и агитацией мы их сломим, каждого, кто с винтовкой против нас стоит, – надо кричать-агитировать. И своего горла он не жалел, и других призывал, были и другие студенты, – и каждый довод и каждая насмешка ослабляли солдатские сердца в строю. (А межрайонцы кое-кто собрались днём на квартире Глезарова, и посыпали его и Крошинского в Волынский полк, и написали новую листовку, присоединились и эсеры: ко всеобщему восстанию и созданию рабочего правительства! Но и смелей сделали: пошли и без сопротивления захватили типографию «Нового времени».)

Через несколько часов, к темноте, пересилили тот отряд на Литейном, он сломался и спрятался в здании Красного Креста. Теперь надо было довести победу до конца и выгнать их оттуда, а главное – схватить и перед всеми на улице расстрелять этого зубра-полковника. Повстанцами – никто не командовал, командовал всякий, кто хотел, а слушался тоже только кто хотел, потому и разброд получался. Но всё же, после выхода оттуда солдат, обложили этот дом с нескольких сторон на всю ночь, установили посты и дежурства – и новым подходящим Матвей объяснял, какой тут зверь сидит, которого надо выловить. Сам он на несколько часов уходил поспать, и опять пришёл к утру. Кто ночью дежурил – уверяли, что никак ускользнуть не мог. Но когда утром собрали силы и вошли в дом с обыском – оружия много нашли, а полковника не оказалось. Значит, ускользнул, переоделся. Жаль.

Так почти за одной этой осадой на Литейном и провёл Матвей едва не всю революцию, ехали мимо автомобили, автомобили с рёвом и флагами, – он их как не замечал. Полезнее стоять на посту и делать своё дело.

А вот досада, что упустили!

После этого отправился он сегодня на явочную квартиру в Свечной переулок – уже теперь расконспирированную – спросить Кротовского, что ему надо делать. Он слышал, что студенты создают городскую милицию, но и сам понимал, что это вздор, в буржуазных руках. Кротовский, хотя и шёл в Таврический на заседание совета депутатов, но жался: не рано ли создали Совет? только поставим себя под удар. А Рыссу сказал:

– Товарищ Рысс! Поведение ваше было правильным. Главная задача вырисовывается: борьба с офицерством и особенно с активным. Мы можем углубить и продолжить революцию, только если подорвём офицерство. А иначе у нас не останется солдатской массы, она опять подчинится им. Поэтому надо срочно дать – сильную листовку против офицерства, так чтоб им выбивали зубы и кололи штыками. Такая листовка – сейчас всего важнее. Займитесь, вы лучше всех пишете.

Это было и лестно, и правда. И хотя жалко было даже на несколько часов оторваться от живого вихря революции, но чтоб он вертелся ещё огненной – надо было посидеть над листовкой.

Квартира на Свечном была тесная, да приходили-уходили для связи – Матвей пошёл домой, на Старо-Невский. Отец его был присяжный поверенный, квартира была из многих комнат, и родители давно привыкли к самостоятельной жизни сына, не вторгались, не мешали.

Уже по пути он чувствовал, что – сочиняет, что в нём поднимается то яркое чувство,

которое нужно для листовки.

Особенно – для её вступительной части. В каждой листовке должна быть вступительная часть, которая сдирает кожу с нервов у читателей – и после этого они уже более восприимчивы к лозунгу. И главный талант – написать вот эту вступительную часть, вот это умеет – редко кто, а самый-то лозунг поставит любой партийный комитет.

Начать так: Товарищи Солдаты! (и Солдаты – с большой буквы). Свершилось!!! Восстали вы, подъяремные... Даже сам вздрогнул от этого замечательного слова – подъяремные, закабалённые, крестьяне и рабочие восстали! – и с треском и с позором рухнуло самодержавное правительство!

Хорошо, прямо как разрыв снаряда! Остановился и в записную книжку записал, а то забудешь, пока дойдёшь. Поправил кашне, забрался к шее мороз, пошёл дальше.

Ну, конечно, шайка слуг царского самодержавия – это тоже не упустить. Но поскольку солдаты – большей частью крестьяне, надо развивать крестьянскую тематику. А крестьянская мечта известна: чтобы было где пасти корову и курицу. Итак: в то время, как казна и монастыри (антиклерикальная струя всегда должна присутствовать) захватывали землю, в то время, как паны-дворяне с жиру бесились, высасывая народную кровь, – многомиллионное крестьянство пухло от голода: курицы некуда выгнать обезземеленному мужику!

Эта курица, от Толстого, очень тут пришлась: так пронзительно, жалостно звучит.

Записал. Длинная фраза, пальцы тоже мёрзли.

В увлечении он шёл, не замечая уличного. В нём совершалось важней.

«Паны-дворяне» надо ещё раз повторить, это будет наилучший подход к офицерской теме: Солдаты! Будьте настороже, чтобы паны-дворяне не обманули народ! Лисий хвост нам страшнее волчьего зуба...

Ах, хорошо станут и хвост, и зуб!

И надо будет уже ударить по цензовым: но до сих пор вы не слышали ни от Родзянки, ни от Милюкова ни одного слова о том, будет ли отнята земля у помещиков и передана народу. Надежда плохая!... Вот эта «надежда плохая» – очень простонародно звучит и берёт за сердце.

Горничная сказала Матвею в прихожей, что восстановился телефон и с тех пор два раза звонила ему Вероника.

– Ладно, – ответил он. Велел подать обед ему в комнату и пошёл работать.

209

Молодые офицеры-самокатчики находились в состоянии паралича соображения: им крикнуто было, что их расстреляют, и это не вызывало у них сомнения: при обстоятельствах, как взяли их, при всей слышанной ярости толпы. И первые минуты они ехали в грузовике, мало оглядываясь и не соображая, что делается вокруг: это уже не касалось их жизни, революция или не революция, это уже был другой, остающийся мир.

Тот их спаситель, амурский казак, с ними не поехал, а везли их матросы и студенты. И матросы спорили, что нечего того прапорщика слушать, нечего везти их в Государственную Думу, а хлопнуть тут, на пустырях Выборгской стороны. А студенты возражали, что должен быть справедливый революционный суд.

И действительно, везли их совсем не в центр, а улицами окраинными, меж пустырей. Значит, брало мнение расстрелять.

А привезли – в Политехнический институт, здесь завели в комнату с наружным часовым. Пришли курсистки-медички и подпоручику Левитскому перевязали раненый бок. Всё-таки перед расстрелом это не делается. Ещё через час курсистки же принесли поесть. Над едой очнулись: ведь не ели 36 часов. Приободрились. Стали думать, что и никуда больше не повезут.

Но ещё через час пришли несколько студентов с винтовками – а матросов уже не было.

Студенты держались сумрачно, на вопросы не отвечали, посадили их в грузовик – и опять повезли.

Конечно, это была нестоящая охрана, но мысль о побеге как-то не поднялась, устали, ещё гудело в ушах от утренней стрельбы.

Шофёр гнал совсем по-сумасшедшему, иногда резко тормозя. Стали появляться костры, заставы, многие люди – с флагами, штыками, пенъем, кричали «ура» – и преобразившиеся студенты отвечали им криками.

У самого Таврического было полное столпотворение: стояли орудия, автомобили, горели костры, играли оркестры, толпились солдаты, произносились речи.

Как не радовала эта чужая радость. Даже как особенно горько умирать при всеобщем ликовании.

В самый дворец долго не могли их ввести: разгружались два грузовика – один с мясными тушами, другой – с несгораемыми кассами, и всё это таскали внутрь дворца штатские и солдаты.

А тут из толпы, видя арестованных офицеров, угрожающе кричали, и легко могли смять неопытный студенческий конвой. Уж хотелось, чтоб ввели скорей внутрь.

Ввели. Пробивались через толпу, мимо наваленных штабелей ящиков, по видимости оружейных, мимо столов, за которыми сидели барышни при брошюрах,

А дальше – под сильной охраной рабочих-красноповязочников стояла группа офицеров-самокатчиков, из Сампсоньевских казарм. Одни были сильно избиты, другие – в солдатских шинелях, видимо переодевались, чтобы скрыться.

Пока толклись, стесняемые людскими течениями, перебросились с ними несколькими фразами. Угнали, что Балкашин убит, и ещё 8 офицеров и много самокатчиков. Те тоже сказали, что есть приказ Родзянки – их расстрелять.

Упали сердца, угроза не пустая. Боже, как тоскливо!

Теснились дальше. Вошли в огромный зал со многими колоннами, студенты растерялись, куда их дальше вести.

И вдруг увидели и узнали сразу – и конвоируемые, и конвоиры – по газетным портретам: Милоков! Шёл, тоже пробивался, мимо.

Его твёрдо-круглому лицу, усам и очкам обрадовались как родному. И в один голос воскликнули два подпоручика:

– Павел Николаич!

Остановился.

– Правда, что нас расстреляют??!

Смотрел умно через очки:

– За что? Кто вы такие?

– Офицеры самокатного батальона...

Покачал, покачал головою с седоватым зачёсом набок:

– Господа, господа! Как же так? Почему же вы так упорно сопротивлялись новой власти? Пролили столько крови! Все части гарнизона сразу признали новую власть, а вы...

– Да Павел Николаевич! – с надеждой и радостью возражали самокатчики, просто уже полюбили его за эту минуту. – Мы же не знали, что тут делается – в центре, в Думе. Откуда мы знали? Сообщение всякое было прервано. А мы – военные люди, мы на службе... Как же мы можем сдаваться неизвестным лицам?

– Так ведь мы же к вам посылали депутатов Думы объяснить обстановку.

– Никаких депутатов мы не видели!

– Не может быть. Я выясню, может не дошли? Во всяком случае, расстреливать вас никто не собирается, кто это вам сказал?

– Тут наши товарищи стоят под конвоем, говорят: приказ Родзянки.

– Да ну, что за чушь. Где стоят?

– Вон! Что ж нам теперь делать, Павел Николаевич?

– Если вы даёте слово, что не выступите с оружием против новой власти, то вы,

господа, свободны.

– Ну конечно, не выступим! Ну конечно, даём!... Спасибо, Павел Николаевич!... Так отпустите и наших товарищей.

– Хорошо, сейчас посмотрю. А вы получите охранные пропуска у коменданта дворца.

Вместе с подружневшими студентами пошли искать коменданта. Долго искали. Это оказался в терской казачьей форме, с лихим заносчивым видом депутат Думы Караулов. Он подписал им пропуска.

Однако куда же деваться? Казармы все разбиты. Появляться там нельзя – всё равно расстреляют.

Но теперь студенты пригласили их в Политехнический институт:

– Будете обучать нас военной службе.

210

Прошлую ночь Андозерская плохо спала, всё вламывалось в сон кошмарами, выпирающими углами. А утром рано к ней прибежала Ниночка Кауль – и с блистающими глазами, в возбуждённом, лихорадочном состоянии жаловалась, что мама не пускает её поехать в Ставку, к Государю!

– Да зачем же, Ниночка?

– Его никто не защищает! Ему надо помочь!!

– Да у него же там конвой, все войска, да что ты!

– Нет! Ему надо помочь! Я так чувствую!

– Да чем ты ему поможешь?

– Не знаю, там увижу! Я чувствую, что он в ужасном состоянии! И – никто не защищает его! Пусть сядет на белую лошадь и въедет, как его прадед!

– Да откуда ты взяла? Да он – в центре своих военных сил! Он – и въедет!

– Ах, нет! – металась Нина, и из причёски её под узел беспомощно по-девичьи выбивались всегда плохо держащиеся пряди, завернулся манжет рукава. – Нет, я уверена, что он ничего не знает!

– Да как же он может не знать? На это теперь есть телеграф.

– Ах нет, наверно не знает! Здешнего ужаса! А почему ж ничего не...? Ему, наверно, плохо докладывают!

Её стремил, чуть не по воздуху: она там нужна! вот она поедет! – и прорвётся к царю! И – убедит! Но – для этого прежде надо убедить маму! А это может сделать только Ольда Орестовна одна!

Девятнадцатилетняя Нина окончила Смольнинский Александровский институт для детей средних офицеров, совсем не зная, и была теперь медичкой-курсисткой. Ольда Орестовна хорошо знала всю семью. Отец Нины, подполковник, был убит в прошлом году на войне, брат уже на фронте, Нина осталась вдвоём с матерью.

Как будто что вселилось в неё, дающее силу неежедневную. Она уже сейчас тут, наперёд, высказывала, как выскажет Государю, что бунтует только чернь, и надо скорей применить крутую власть! И прямо сейчас утром Нина бы выехала, к вечеру была бы в Могилёве. Курсы прекратились, все зовут помогать революции – вот бы и она! Но мама...

Ольда Орестовна была отзывно и укорно тронута. А – что же? а – да?... А разве не так проповедывала и она: слаб по рождению? – усилим его нашей верностью?... Но она брала Нину за руки и удерживала её, усаживала за стол, вливала чаю. Девушка была в таком взлёте, что не могло бы опустить её просто «нет» – надо было постепенно представить ей все трудности и невозможности.

Она же – видела этих распущенных солдат? Они же, наверное, и на вокзалах, они и в поездах, – как же можно ехать одинокой барышне, обидят! И – разные патрули будут её задерживать. И – в самом Могилёве. Но даже если доедет благополучно – кто же пустит её в Ставку? А к самому Государю – и никак не пустят! Почему можно надеяться, что он её

выслушает? Так не бывает.

У Нины было к Государю почти личное. Когда-то отец её, кончая петергофскую стрелковую школу, представлялся царю. Там их была сотня офицеров, а за годы тысячи таких представлялись. Но вот в войну брат Нины, ещё тогда кадетик, разгружал раненых на псковском вокзале, подошёл царский поезд, Государь спросил фамилию и сразу: «А твой отец кончал петергофскую школу в таком-то году? Будь как твой отец». И мальчик заплакал. А сестра верила теперь, что и её узнает.

Ольда Орестовна сдвигала, сдвигала горы препятствий вокруг девушки – та гасла, никла. И заплакала, уронила голову на стол.

Убрела разбитая, мёртвая.

Жалко было Нину – но и презренно жалко саму себя. Что сама она, имея больше сил и ума, тоже не может ничего сделать. Что эти три дня? Только разговаривала со знакомыми по телефону да сокрушалась. Увлечь курсисток по пути и чувствам Нины? – не только было невозможно, а, позорно сказать: Ольга Орестовна боялась своих курсисток, собранных вместе, в массе, почти как этих развязных уличных солдат. На своём-то университетском месте она меньше всего могла и сделать. Да Бестужевские курсы и рассыпались вчера.

Стала сегодня звонить Маклакову. В самом центре вихря и с его пронизательным взглядом, он должен вернее всех понимать ситуацию. С четвёртого раза нашла – не дома, не в Думе, а в министерстве юстиции. Устал, торопится, неловко и задерживать.

– Василий Алексеевич, но есть ли надежда, что вы удержите движение в руках?

– Стараемся. Надеемся. Поручиться, однако, нельзя.

Если и **они** не удерживают...

Да что ж за заклятое такое положение, когда никто – ни понимающий, ни сильный – никак не может отворотить роковой ход? Вот это она, стихия, самое неизученное в истории.

Силы порядка вне Петрограда – огромны, несравнимы со взбунтованным городом. Но уважая загадку стихии, но уже помня мгновенные параличи Девятьсот Пятого года – можно реально опасаться, что и силы порядка ничего не сумеют? Шестой день волнений, второй день настоящей революции – а что же Государь?

И это – при войне! При – войне!!

На Петербургской стороне вчера ничего не случилось, лишь вечером прорвало сюда. Сегодня же – разлилось. И Андозерская выходила по Каменноостровскому, сворачивала и на Большой.

Великие события, больно не вмещааясь в отдельное человеческое сознание, чаще всего, вероятно, и кажутся отвратительны.

Поражала даже не мгновенная распушенность солдат, но, при тысячах красных клочков, всеобщий слитно-радостный вид. В этой внезапно достигнутой всеобщности чудилась бесповоротность.

Хотя – как могла бы свершиться бесповоротность? Куда же в два дня могла бы деться вся сила вековой державы?

Стояла на краю тротуара, глядя на беснование разнузданных машин, – рядом высокая сухая дама с беличьей муфтой сказала тихо, как бы для себя, но и для соседки:

– Умирает Россия...

Отдалась в глаза и слёзная горечь её.

Андозерская поддержала её твёрдо за локоть:

– Dum spiro, spero. Пока дышу – надеюсь.

Но – сражена была её словом. Уходя прочь с этих улиц, где осуждающий вид, и без красного банта, были особенно заметны, горячо перекатывала в голове: крайне выражено. И неверно! Но и – очень верно.

Действовать надо всегда до последнего. Но и: действовать терпеливо и неуклонно надо было гораздо-гораздо раньше, в эпохи мирные.

Дано было нам – триста лет.

И дано было нам – последних двенадцать лет.

И, значит, мы упустили их.

И наши сановники. И наши писатели. И наши епископы.

А уж сегодня – и вовсе их нет никого.

И что в этом безумии могла сделать Ольда Орестовна? Унизительно сидеть дома и узнавать по телефону о новостях.

К вечеру, однако, революция сама пришла в квартиру к Андозерской. Раздался одновременно резкий дверной звонок и резкий стук, значит в несколько рук. И едва горничная открыла, как, не спрашивая, а скорее толкая дверь, вошли несколько: два солдата, вооружённый рабочий – но и прапорщик, совсем с не зверским, открытым лицом, и даже весьма хорош собой.

Вошли – и дальше шли – и Ольда Орестовна вынуждена была поспешить, чтобы преградить им дорогу в комнаты. Все, конечно, были с красными бантами, и прапорщик тоже. И не снимали шапок.

– Чем я обязана? – спросила Андозерская ледяно, она и одета была не по-домашнему, а строго. – Почему вы входите без разрешения?

Все они были выше неё ростом – да кто не выше! – и настолько грубо сильней и уже в движении, даже странно, что она могла их задержать. Прапорщик с чуть закинутой головой спросил:

– Это не из вашей квартиры стреляли? Мы должны обыскать.

– Вы не имеете права, – с холодным возмущением совсем тихо сказала Андозерская.

– Революция не спрашивает права! – звонко ответил прапорщик, упоённый собой, своими обязанностями и звуком голоса. – Она его берёт. Из этого дома очевидно стреляли, и мы должны найти виновника. У вас прячется кто-нибудь?

Её холод и гнев не производили впечатления, оттенков её выражений как и не слышали. Уже обтекали её или отгесняли, пошли в гостиную, в столовую. Уже были сумерки, сами поворачивали выключатели, кто умел.

Андозерская не воскликнула пустого – «как вы смеете?», она уже видела, что сила их, а захотелось ей как-нибудь ударить этого заносчивого прапорщика, он единственный ещё стоял перед ней, и она спросила его снизу вверх, с презрением:

– Как же вы, офицер, и перешли на сторону бунтовщиков?

Нисколько это не ударило его, он даже с победной весёлостью ответил:

– Не бунтовщиков, а народа, мадам! Моё офицерское положение как раз и обязывает меня – помочь народу, а не быть с его давителями.

Но лицо у него было умное, и стоило ещё сказать ему:

– Давители, гасители – в истории этим слишком много бросались. Не будьте чрезмерно уверены, не пришлось бы вам когда-нибудь пожалеть об этих днях.

Стоило сказать, но его молодые уши ничего этого не слышали.

Прошли с ним кабинет. Прапорщик среди выставленных игрушек, безделушек, картин кажется серьёзно искал чего-то крупного – спрятанного человека или винтовки. И когда она заступила ему дверь в спальню, он сказал непреклонно:

– Разрешите. Я должен.

С отвращением впустила его.

И тут он тоже искал человека или винтовки, но не открывал шкафа и не заглядывал под кровать. А увидел на стене фотографический портрет Георгия в форме, который Ольда этой зимой увеличила с карточки.

– О! Этого полковника я знаю! – сказал.

– Не можете вы знать! – осадил Андозерская.

– Нет знаю! – веселовато настаивал прапорщик. Он очень легко держался, будто не вломился в дом, а был приглашён как гость. – Его фамилия – Воротынцев?

Андозерская обомлела. И почувствовала, что краснеет. Она презирала этого прапорщика, а он как будто застал её тут с Георгием – и странно, что ей стало как-то приятно.

– Это ваш муж? Вот встреча!

Дерзкий враг, но причастностью к Георгию стал как будто знакомый. И такое счастливое чувство, что назвал его мужем, не ожидала сама.

– Откуда вы его...? – новым тоном спросила. – У него служили?

– Он – вывел нас, группу, из окружения в Восточной Пруссии. А где он сейчас?

– Вы много хотите знать, – подтвердела она.

– Да нет, я что ж... – легко взмахнул он рукой. – Я только: если он будет противостоять революции и нам опять придётся с ним встретиться...

Вернулись в гостиную, где столпились обыскивающие.

– Ничего?

– Ничего.

– Пошли в следующую. До свиданья, мадам, извините.

Ушли.

Горничная кинулась ещё проверять. Как она с них глаз ни спускала, в столовой хотели серебро смахнуть в карман. Стала смотреть и Ольга Орестовна и обнаружила: в кабинете на столике пустой наклонный деревянный футлярчик – а часики с брелоком исчезли из него.

Наверно и ещё что-нибудь.

Нюра бросилась догонять их в соседнюю квартиру.

«А где он сейчас?...»

Так поспешно, обрывисто уехал. Так плохо кончилось в этот приезд.

211

С утра неизбежно было Протопопову освобождать место спасения, уходить из канцелярии Государственного Контроля. Швейцар принёс ему чаю с чёрным хлебом и гудел, что как бы его тут не нашли. Собирались служащие, потом пришёл и сам Феодосьев, спаситель, с напряжённым умным лицом. Он рассказал, что в городе полный хаос, война-не война, ничего понять нельзя, но и власти нет. Поздно вечером мятежники ворвались в Мариинский дворец и беспрепятственно громили его. А вчера к концу дня арестован Щегловитов, Александр Дмитрич не знает? и так и не отпущен, а посажен в Таврическом под замок.

Боже мой, лучше бы не рассказывал! И так уж отмерло всё, не было сил двигаться и думать, даже для своего спасения, готов был Алексан Дмитрич тут же распростереться и умереть, всё легче, – но ещё эта разящая новость: они арестовывают! И – кого же? Самых ненавистных обществу и было их два, Щегловитов и Протопопов, и вот уже один взят. А *его* ищут, конечно, по всему городу – и через этот город он вынужден будет идти сейчас!

А остаться... ещё на сутки тут – никак не возможно?...

Боже, как всё мировое строение способно рушиться в какие-нибудь часы! Вчера он начинал утро всемогущим министром внутренних дел – а сегодня ловимым преступником, который ёжится в шубе, подняв воротник. (А не так и холодно, заметят, почему поднял).

Куда идти – одно он мог придумать: к брату. И там у него перекрыться или дальше ещё куда-нибудь. Но брат живёт – на Калашниковской набережной, надо пройти боком центр – а не избежать пересечь Невский.

Но переходить Невский абсолютно невысказано – его не могут не узнать! Там-то его и схватят. А схватят – вряд ли оставят в живых.

Только сейчас он понял, что сделал ошибку вчера, в слабости: именно вчера в темноте и надо было пробираться к брату. Уже теперь он был бы надёжно спрятан или вместе думали бы, как вырваться из города вовсе. А сейчас при полном свете он шёл одинокий и на верное растерзание.

Каждый нерв был напряжён. Каждую минуту он ждал – даже не что крикнуть "Протопопов!", а что сразу схватят, просто вцепятся, как собака в бок. В тепле шубы он трясся мелкой непрерывной дрожью. И потел.

Всё-таки, с угасающим сознанием, он имел способность обдумать: Невского не пересекать ни в коем случае! Взять далеко дальше за Московский вокзал и как-нибудь где-нибудь пройти просто по железнодорожным путям и так переспотыкаться в Александро-Невскую часть. Может быть, там заборы, искать калитку, обратит внимание – но простых людей, они его не узнают, и уж там-то нет революционной толпы.

Вот истинный страх, вот самое страшное в мире – разъярённая толпа, которая тебя хватает!

Он будет выбирать только тихие маленькие улицы – но всё равно не избежать пересекать большие, и это самое опасное, где тысячи взглядов.

Первую надо было пересекать Гороховую. Чуть подальше от градоначальства, он пересек её у канала, сразу и канал.

Тут, на набережной канала, он увидел навстречу другого странного господина в шубе, невысокого, с воротником, поднятым чрезмерно. И покаясь глазами, узнал министра торговли и промышленности Шаховского.

Прямо глазами они не встретились, узнал ли тот Протопопова, может быть заметил ещё раньше? – но разминулись, не обратив друг на друга внимания.

Ай-ай, царские министры пешком по улицам шмыгают друг мимо друга, не замечая, – это что? Революция?

Но не было и желания разговаривать с кем-нибудь из совета министров: предатели, и не хотел он их знать. Он будет просить Государя и государыню о других коллегах впредь.

Мелькнуло: так если б он принял в своё время торговлю-промышленность, как предполагал, – всё равно бы сейчас прятался!

Он избрал самую простолюдскую дорогу, куда не то что министр, но и чиновник порядочного ранга не забредёт, – мимо Мучного рынка, так перейти Садовую, а потом мимо Апраксина. Конечно, шуба его здесь выделяется очень.

По Садовой проехал грозный бронированный автомобиль.

Когда умоляешь небо, чтобы тебя не узнали, то как-то стараешься и сам не смотреть, будто всё дело во встрече глаз. И поэтому Протопопов мало что видел, он не оглядывался и не всматривался. Но на рынках кажется и торговали, везли и несли продукты так же, как и обычно, и очереди за хлебом стояли, кажется, а была и какая-то странная оживлённая возня, то ли растаскивали лавку, очень разнородное несли и поспешно, и возбуждённо толковали.

Но, ах! До того ли было Алексан Дмитричу, чтобы вникать! Он только спешил пронести нерастерзанным своё уязвимое тело. Там и сям, на каких-то улицах, но не рядом, время от времени стреляли. Но даже от выстрелов не так вздрагивал Протопопов: если пуля попадёт – так и пусть, это не страшно, страшно, чтобы не схватили. Пока шло всё благополучно, никто его не задевал, но нужно было не ошибиться дальше. Думал взять левой, но сообразил, что это получится Чернышёв переулок, Чернышёв мост – прямо-таки мимо собственного министерства! Вот бы угодил! Вот уж где растерзали бы!

Перешёл Фонтанку на Лештуков переулок, опять благополучно. Слава Богу. До сих пор не встречалось революционных шаек – но навстречу от Загородного проспекта неслось что-то бурное, многошумное, – а надо было его переходить! По спокойному Лештукову шаг замедлил, глаза поднял, смотрел вполную, остановясь перед углом.

Проспект был переполнен. На тротуарах, да и на мостовой, всё запружая, стояли и смотрели, как на праздничную процессию, – а пробирались в сторону центра несколько открытых грузовых автомобилей, на каждом торчали красные флаги, держали их и в руках, помахивая толпе. В каждом кузове было избыточно полно солдат и штатских, и солдаты трясли винтовками и кланялись толпе – а толпа непрерывно кричала "ура", и многие снимали шапки.

Не то что воротники у всех были отложены и руки разбросаны – но они ещё снимали шапки. Уж как наверно виден был нахохленный задвинутый господин! – очень опасный момент. Спасало то, что стоял он в переулке, позади всех. А как автомобили прошли, и весь проспект залился весёлым праздничным народом, – так Протопопов отложил воротник и

решительно двинулся в толпу, тоже стараясь весело улыбаться.

Это его и спасло, наверно, – улыбка, а она у него исполнена шарма, кого не покоряла, – его видели, ему тоже улыбались, и кто-то поощрительно что-то крикнул, и тогда Протопопов приложил руку приветственно к шапке, как бы передавая радость, едва не сняв шапку и сам. Напряжённый струной, а сам улыбаясь, он прошёл это жуткое море веселья, а когда, уже на той стороне, двинулся в тихую улицу – почувствовал, как вспотел и бесконечно ослаб. Он уже вступал в привокзальный район, уже много было пройдено, но ещё больше оставалось, и неизвестно, сколько опасностей, – а силы отказали. Нет, он должен был где-то отдохнуть, прийти в себя от напряжения.

И тут счастливо вспомнил, не отказала же голова: рядом, на Ямской улице, жил портной, у которого он когда-то, ещё просто думцем, шил несколько раз. Отчего не зайти к портному? Портной не знает, что он заклятый министр внутренних дел, но знает, что богатый исправный заказчик.

Да! отдохнуть! Он не помнил номера, но зрительно помнил и дом, и подъезд, и как дальше. И по мрачной петербургской лестнице поднимаясь, вспомнил даже имя: Иван Фёдорович.

Звонок был – дёрнуть толстую проволоку, а там отзывался колокольчик. Сам Иван Фёдорович и открыл, неизменный: в домашней куртке, сантиметр через шею, за ухом мелок, и повреждены губы, от чего улыбка неровная.

Сразу узнал, память, и даже по отчеству – Алексан Дмитрич, и кинулся помогать шубу снимать. Подумал, значит, – с заказом. Мелькнуло у Протопопова – сделать заказ? Но не было душевных сил на игру, он почти рухался. И честно сказал портному с надеждой, как хватаясь за плечи его:

– Дорогой Иван Фёдорович! Мне худо. Мне надо посидеть, отдохнуть, приютите меня на часок.

Промелькнуло по несимметричному лицу, но ничего не переменил Иван Фёдорович, а так же готовно вёл и усаживал и, догадываясь, бранил бездельников, бунтарей – стреляют, лавки грабят и всю жизнь остановили.

Надо было отвечать, и даже отвечал, хороший человек, ни тени робости от посетителя, великая душа в теле простолюдина! Насколько он ближе к Богу и правде, чем мы. И жена его подошла толстая: попить? покушать? О, бескорыстное радушие, о, простонародная теплота, но хотя ничего Протопопов не ел сегодня – ничего и не мог, всё отбило, а больше всего хотелось не говорить и чтоб не смотрели, а голову обронить в руки, повиснуть на своих костях и как-нибудь отдохнуть, сил набраться.

А они считали, что надо его разговором развлекать и всё говорили невпопад, теперь про полицию что-то невозможное: будто полицейские имеют пулемёты и стреляют с крыш; будто они переодеты в солдат; будто городовые осажены в «Астории»... Они не догадывались, как верно ему говорить: ведь образованные все против полиции. Он ещё слышал бессвязно, тоска брала от этого вздора, но не шевельнулся возражать.

Не мог он сказать – не разговаривайте со мной, но, видно, очень плохо выглядел, и жена догадалась: не хочет ли он в спальне прилечь? да не вызвать ли доктора? На доктора и руками замахал, а прилечь – если разрешите. А если...?

И решил им открыться. Вот, дал им адрес брата. Нельзя ли послать кого узнать: как там, у брата? Безопасно ли?

Повели его в спальню. Две никелированные кровати под белыми покрывалами, всё окно заставлено цветами, две иконы в углу, лесная картина. Большой серый кот тут спал, его потревожили. И, сняв только ботинки, в изнеможении страдательном уже ложился Алексан Дмитрич поверх покрывала, головой на взбитый столбик подушек.

Так всё горело в нём, что отняло слух: кажется, иногда доносились выстрелы, и что-то говорили между собой хозяева, – но Алексан Дмитрич не внимал, всего этого как не было. Не один слух, отнимались у него и руки, и ноги, он не отдыхал, и не во вчерашней вечерней радости от безопасности, а почти умирал.

Заснул сперва, очень крепко, парализованный. Потом не выплыл из забытья, но – как вышвырнуло его наружу, сразу осветилось сознание – и безнадежностью. Представилось ему собственное крушение, и министров, и арест Щегловитова, и взбунтованный Петроград, солдаты, броневики, – ещё всё, конечно, исправят здоровые части с фронта, но сколько дней до того и как дотянуть? Ведь он и сейчас должен вставать и идти, не мог же он теперь остаться у портного ночевать, жить до общего вызволения? (А хорошо бы...) Спасение было бы – вовсе вырваться из Петрограда, но разве можно появиться на каком-нибудь вокзале, да что там, наверно, сейчас творится, ад революционный.

Вшаркал портной, ввёл племянника. Бегал он к брату Александра Дмитрича, ответ: к нему нельзя, ждут сами обыска.

И ещё изнеможённой, бессильной откинулся Протопопов па подушках.

Да, он полностью в *их* руках. Думской головки. Своих бывших приятелей. Сам ли он – не думская головка? Что он наделал, как мог он покинуть их? Ради чего? Мишура министерской дугой должности, вот дунули – и в сутки её нет. А Дума – стоит, победительница! А он – не оттуда? А он – чей же был 10 лет член? Он там был 10 лет – а здесь всего 5 месяцев, разве это перевешивает? Он был такой почётный видный думец, лицо общественности, что его допускали на тайные заседания кривошеинского кружка на Аптекарском острове. Он знал все интриги! В Прогрессивном блоке – не он ли был из лидеров? Да что там, да на сколько раньше – да Освободительного Движения не он ли был участник? Да как же он мог пренебречь этим славным прошлым – и ради какой жалкой иллюзии? Да кем бы он был сейчас в Таврическом дворце! – это к нему бы и приводили арестованных, кого-нибудь там. О, какая жестокая, неисправимая ошибка! А теперь – он в их руках, и с ним разделяются безжалостней, чем с кем бы то ни было!

Его всё больше лихорадило, он заворачивал на себя покрывало, чтоб угреться, одной подушкой пригрел между лопатками, ах, шубу сейчас сюда бы, но повешена в прихожей и неудобно выйти взять. Да десять шуб навалить, такой внутренний холод, – о, как он попался, о, можно ли жесточе, – и какая чрезмерная будет расплата! Если б он всю жизнь был в правительственных кругах – другое дело, совсем и не обидно, – но так непоправимо оступиться!

И что его несло, зачем он так дерзко, ещё нарочито задирает Думу? – чтоб их раззлить, сам распространяя слухи, что всё сделает без Думы, и землю раздаст крестьянам без Думы, и еврейское равноправие без Думы, и сам же хвастался, что это именно он арестовал рабочую группу, хвастался, что подавит любую революцию безжалостно, – а зачем хвастался? А потому что – его самого раззлили, это они довели его до крайности, зачем они так травили его? Разве нельзя было его назначение принять по-хорошему? ведь в первые минуты даже поздравляли!

Я хвастался, да, но ведь я никогда не наносил вам решительного удара, признайте.

Да, я делал ошибку за ошибкой! Но и вы, мои товарищи, делали ошибки по отношению ко мне! И моё незлобивое сердце не надо было так сразу добивать – оттого в нём и родились дурные чувства! А что я оберёг Александра Иваныча при аресте рабочей группы, не дал арестовать и его – этого вы мне в заслугу не ставите? А что портрет Александра Иваныча с его трогательной надписью висел в моём кабинете до самого дня назначения в министры – этого вы мне уже не зачитываете? Конечно, теперь об этом уже никто не вспомнит. Конечно, теперь все будут правы, а только я один виноват больше всех. Я чувствовал это с первого дня! Но господа, но друзья, но товарищи! – я просто заблудился в этом лабиринте! Я, конечно, вёл не ту политику, которую нужно было вести! Я совершил громадный промах и – поверьте, поверьте, Павел Николаич, это заставляет меня глубоко страдать! Я взял курс, который не подходил к настроению страны, – о, как я в этом каюсь сейчас, если бы вы знали! Да, я вёл себя исключительно вредно, я всё время эволюционировал не в ту сторону, куда нужно, – но вы же не считаете меня врагом Государственной Думы принципиально, вообще, как таковой? Ведь я же **ваш**! я же ваш – плоть от плоти! Ведь вот, Михаил Владимирович на Новый год публично не подал мне руки – а чем я ответил? шуткой и забвением! Ах нет, я

вижу, вы не вполне доверчиво ко мне относитесь, это меня сокрушает! Да, да, вы верно заметили – я хочу увильнуть? Я и сам это почувствовал, а вы каждый раз не давайте мне увильнуть. Что я пошёл в министерство – это была более чем ошибка, – это было несчастье! Несчастье всей моей жизни, теперь я вижу! Но в тот момент во мне играло честолюбие, оно бегало и прыгало – и я всё поступал непродуманно, несознательно! А роковая моя ошибка была – поверить, что надо сохранять тот режим до конца войны. Ведь я – не твёрдого характера, вы знаете, я сильно поддаюсь обстановке. Я попал в такую среду – и это моё несчастье. Меня окружали нездоровые люди. Неосторожность – моя отличительная черта, мне казалось – я подойду и не замараюсь. Я попал к Бадмаеву благодаря моей болезни. И там этот кружок. Я встречался с этими людьми – и всё ближе, ближе, первоначальные мои опасения притуплялись, притуплялась нравственная брезгливость. Сперва Распутин был мне неприятен, а потом я к нему привык. Ну, виделся раз пятнадцать, но дружен с ним я быть не мог. Да, трудно отрицать, во время министерства я поддерживал правых – но, поверьте, всегда без восторга, это была для меня сделка с совестью! Мне совершенно несвойственно быть крайне правым, это противоречит моему существу. Да, я в сердце своём всегда оставался радикалом, неужели вы этого не чувствовали?... Да, я льстил и Маркову-Второму, о, какая низость, как мне это больно вспомнить! Да, я заискивал и перед князем Андрониковым, но я должен был обезоружить всякое вредное влияние... Распустить Думу? Не буду скрывать, в душе колебался, но никогда не пришёл к такому окончательному убеждению. Скажем так: моя вина, что я не голосовал против перерыва её работ. Да я никогда не считал, что можно править без Думы! Провокации? Клянусь, никогда ни за что не допустил бы! Просто всё переменялось от момента, как я стал министром, – меня стали так поносить, меня стали так уничтожать, но ведь я тоже человек! Эта слепая ненависть, которая ко мне повсюду родилась, особенно благодаря газетам, сплетни, клевета, устная и печатная, скопом и в одиночку... Я был раздавлен! Да неужели же ничего, кроме зла, я за всю жизнь не делал? Грех немалый и за Михаилом Владимировичем: почему, за что он оттолкнул меня, обидел, отогнал от фракции октябристов, от своих? Или вам передавали, что я в разных компаниях обещал, что спасу Русь православную и разделаюсь с революцией? если нужно – даже спровоцирую её выступление? Но это я для красного словца. Уверяю вас! Хвастался? Ну, если хотите – хвастался. Но этому не надо придавать значения. Ах, Фёдор Измайлович, но вы всегда меня загоните в угол, да разве я брался когда-нибудь против вас спорить? Вы знаете, я неспособен к связному изложению, я впадаю в область предположений, меняющих смысл всего происходящего. Я не знаю, верны ли мои предположения, но и не считаю себя вправе от вас скрывать. Я допускаю, что Штюрмер, Хвостов, Белецкий были немецкие шпионы. Тогда я этого не понимал, но теперь начинаю так понимать. Белецкого? Да, посещал, ах, вы меня поймали, после отставки, – мне было его жаль. Ну и – да, думал конечно, что он почти наверняка опять пойдёт вверх... Господа, я усердно прошу указывать мне, что я должен говорить, я опасаясь промедлением возбудить ваше неудовольствие... Да, я чувствую страшную тяжесть того дела, которое я на себя принял. Но против режима, которому я взялся служить, я не совершил ничего. Денежных шашней? Никаких. Да неужели я грешнее всех? В чём мой грех? Против закона я не грешен, а против всей своей жизни грешен, ибо сам не понял себя, и меня не поняли. А в Думе было моё спасение! И был бы сохранён работник для родины и счастливый человек. А теперь-то я болен, измучен. Я сделался каким-то чудовищем. Но поверьте – я не имел злой воли, я могу присягнуть... Я не понимаю, откуда возникла эта ужасная атмосфера между нами... В жандармском мундире пришёл на бюджетную комиссию? – и это мне поставили в жестокий упрёк. Но, господа, я оттуда сразу ехал в Царское на представление, и у меня просто не оставалось времени переодеться. Ах, вот тогда на встрече с вами, на квартире Михал Вла... О, вы всё, вы всё припоминаете мне... Павел Николаич, какой вы нехороший, Анна Сергеевна добрее вас, она бы так не стала... Да, каюсь, каюсь, в те первые дни мне казалось это лестно, надеть мундир... Я сравнивал себя со Столыпиным? Ну что ж, не помню, но вполне допускаю. Ах, друзья мои, я сам за себя боюсь, но со мной иногда бывает, что я *соскакиваю* ... У меня

бывают странные фразы, вы замечали это немного во время нашей парламентской поездки... Но тогда вы относились ко мне дружелюбно. А вы – поверьте, что я предан нашим общим прежним идеалам! Да, истинные задачи Думы – отвоевать права у монархии, и это расширительное толкование я не смел попирать. В этом я – виноват, виноват. Но поверьте, мой замысел был: к концу войны добиться ответственного министерства... Правительство доверия была моя мечта – но что я мог сделать один в правительстве!... Да, я вот на ваших глазах просто изумляюсь, до какой степени я всего не понимал, изо всех министров был настолько недалёковиден... О, я всей душой чувствую ваше благожелательное ко мне отношение... О, разрешите мне идти в окопы рядовым! О, пошлите меня в заразные бараки санитаром, а если я уцелею – то после войны судите!...

Что ожидает меня? Неужели – вечное заточение?...

Боже Всесильный, спаси меня!

Бумаги? Все бумаги я отдал такому жандарму Павлу Савельеву, вы его легко найдёте... Потому что это был мой самый доверенный человек... Ключи от несгораемого шкафа? Они – в столе, а вот, извольте, ключ от стола... Да, я всё сказанное могу подписать. Да, охотно, если вы так желаете... А почему 13-е число? Сегодня – разве 13-е? Сегодня у нас – двадцать какое? Ах, по новому стилю?...

Проколело его и подняло. Сидел на кровати очумело. По новому стилю! – как же он не догадался? Астролог, конечно, говорил по новому стилю. И самые опасные дни его – 14-е, 15-е и 16-е – начинались завтра!...

Значит, бесполезна борьба, выхода нет. Надо идти – и сдаться на их милость. Сдать тело – но разгрузить измученную душу.

Щегловитова арестовали – теперь пойдёт и он. Сам...

Но просить портного, и жену его, и племянника – сопровождать. Чтоб не растерзали по пути.

212

Не первый сам князь Львов назвал себя главою будущего русского правительства: его назвала, выдвинула, короновала общественность, более всего московская, но и всеземская, изумлённая волшебной деятельностью Земского союза в эту войну. Гнёт всероссийской популярности был возложен на его плечи единодушным общественным восхищением, и, хотел князь Георгий Евгеньевич или не хотел, – он стал надеждой русского народа. Как и сам русский народ был путеводной надеждой князя.

Разгромна была японская война – а князь Львов воротился оттуда с приобретенной славой общеземского организатора. Возникал в иных губерниях голод – он только ещё прославлял организацию князя Львова. В годы реакции теснили его из земства или обвиняли, что многими годами он не представляет отчётов о расходовании казённых и частных сумм (поди собери их ото всех случаев! действительно, смешивались те и другие, отчёты запаздывали и были не вполне сбалансированы), – но ветер общественного одобрения поддерживал князя, и всё равно признавали все, что никто не умеет привлечь к благотворительности столько средств и так плодотворно их использовать. Его высший дар был – доставать деньги у государства, добывать их через визиты в *сферы*, его умение – тихие частные беседы, когда он обвораживал любого собеседника и получал от него пожертвования и уступки. Ещё его дар был – распределение добытых средств, организация предприятий. И князь хотел бы оставаться в этой практической сфере, но невольно попутно влек его и политический жребий, хотя скромный: был ли князь в реакционной роли земского начальника или в прогрессивной роли депутата бурных земских съездов 1904-05 годов, или даже депутата 1-й Государственной Думы, – он ни на одном заседании не произнёс ни единой публичной речи, или даже предвыборной (произносили за него другие). Когда намечалась в 1905 земская делегация к Государю – главой её предполагался всё тот же непреременный князь Львов. А когда волей событий его затянуло в скандальный Выборг, то

ото всей обстановки случилось с князем нервное потрясение, и рука его просто физически не поднялась подписать Воззвание, и его больным ввели в вагон. (И даже предполагался кадетский партийный суд над ним.) В московскую городскую думу князь был избран по фиктивному цензу (никогда не быв москвичом) и не знал городского хозяйства, – но простившие ему кадеты избрали его городским головой, и хотя правительство не утвердило избрания – уже чествовали князя на банкете в "Праге", – и он, наконец, произносил речь. Одновременно нельзя сказать, чтобы князь Львов был в опале у Государя: и в начале японской войны, и в начале этой он получал аудиенцию, и в этот раз был поцелован. (И ещё: тайно уклонился от царского ордена, чтоб не испортить себе общественного лица.) С 1914 у него в Земсоюзе бурно и широко полились дела, у него работали десятки тысяч людей, – а князь Львов только ездил в петербургские канцелярии добывать необходимый миллиард – и отдавал его на траты. И в эти последние годы от общественного разгона князь чувствовал себя легко и удачливо. Он – спасал Действующую армию: он снабжал её, лечил, мыл в банях, стриг в парикмахерских, поил в чайных, там же и просвещал. И так ощущал князь, что как бы весь трудолюбивый русский народ работает под его началом – и сам он возвысился в несомненного народного вождя. (И даже так предложил через лиц, влиятельных на Западе: чтобы союзники, если будут поставлять военные материалы, то ультимативно: только для использования Земгором.)

И возникло в обществе жадное желание окончательно затянуть князя Львова в политическую сферу. Вот уже больше года как во всех гостиных составлениях будущего русского ответственного правительства князя дружно вписывали на первое место премьера, вместо Родзянки. И эта почётная обречённость – стать во главе России, уже переделывала и самого князя из незаменимого дельца и деляги, как он себя считал, – в гиганта политической оппозиции. (Тут была и мало кому известная справедливость: что Георгий Евгеньевич происходил в 31-м колене от Рюрика.)

А с осени прошлого года это давление общественного избрания вынуждало его совершать наконец и резкие политические шаги. Да ведь и негодное поведение царского правительства – кого не могло вывести из себя! Князь Львов в ноябре уже прямо требовал от Прогрессивного блока принять меры к решительной переконструкции правительственной власти. В таком состоянии нетерпеливой накалённости окружающих он согласился дать поручение тифлисскому городскому голове произвести рекогносцировку у великого князя Николая Николаевича: как он смотрит на возможность государственного переворота? И с таким же вопросом посещал этой зимою в Крыму генерала Алексеева. Как мог на это князь согласиться? Но и как он мог не согласиться, если все видели в нём спасителя отечества? Как патриот может стерпеть открытую наглую подготовку сепаратного мира? Да тут же и тайны особенной не было, о государственном перевороте судачила вся Москва и весь Петроград. И все уверены были, что переворот близок, и все называли князя Львова будущим премьер-министром. Председатели губернских земских управ открыто выкликали князя Львова. И князь – не мог не признать и не поддаться народному решению. Он вынужден был нарушить свою всегдашнюю скромность. И – созвал неразрешённый съезд Земсоюза 9 декабря. И – подготовил первую в своей жизни публичную речь – да какую! – ничего подобного по гневу и резкости не произносили в Думе, тот же и Миллюков. (Соперничество с Думой и разжигало Земсоюз.) От безгласия – и сразу напряжённую высшую ноту принимал князь Георгий Евгеньевич! Это было излияние – негодования, презрения и ненависти! Отечество – в опасности! смертельный час его бытия! Власть уже отделилась от жизни страны, от жизни народа и вся поглощена борьбой против народа, лишь бы сохранить своё личное благополучие. Злейшие враги России, для того они и готовят мир с Германией. Когда власть становится совершенно чуждой интересам народа – пришла пора принять ответственность за судьбы России на самих себя! Страна стоит перед государственным переворотом!

Все эти слова были подготовлены письменно, и может быть князь писал их даже в трансе: так властно он был понуждён обществом сделать этот шаг, что даже не успевал

осознать размеров своей дерзости, не успевал изумиться собственной смелости. Его так торжественно влекло в общественном разгоне, что он потерял присущее каждому человеку ощущение телесной связанности, сопротивления предметам, – он шествовал к героической речи! Она должна была пройти через его мягкое горло, не привыкшее к выкрикам, – и он был готов!

Народ должен взять своё будущее в собственные руки – и неизбежная линия пролегла через князя.

Правда, съезд не удалось собрать, вместо речи князь занялся составлением протокола с полицейским приставом, а собрание уткнуло в другое место, и там другие произнесли свои речи, – но однако же князь несомненно был готов эту речь произнести публично. И она пошла по рукам читаться, как если бы была произнесена.

И только сегодня князь Львов впервые сам себе по-настоящему удивился. Вчера он был вызван – нет, **призван** – к своему священному посту телефоном из Петрограда в Москву. И из покойной ещё Москвы ему в самом лёгком состоянии удалось быстро сесть на поезд и нормально доехать до Петрограда, ещё весь поезд продолжая дивоваться и радоваться, как откликнулся великий народ на великий призыв, выявляя величавый образ своей душевной цельности. А на вокзале в Петрограде прежде всего не оказалось никаких носильщиков, ни извозчиков, но какие-то волны разнузданных солдат, иногда стрельба, перебежали какие-то шайки, лежал чей-то труп, оскорбляли офицеров, – и выручили князя только встречающие с автомобилем. Только так и удалось князю пронырнуть через взбуровленные бешеные улицы, переполненные несдержанным народом, неуправляемыми солдатскими толпами без офицеров, есть пьяные, оружие само стреляет, и несколько раз останавливали автомобиль, могла произойти смертельная расправа. Но – миновали, добрались и укрылись на покойной квартире барона Меллера-Закомельского, на Мойке, близ Мариинского дворца.

Здесь, в квартире, шла обычная, привычная для нас всех жизнь, со спальней для гостя, с ритуалом завтрака, обеда, но даже и этот покой был обманчив, могли и сюда ворваться с обыском вооружённые люди, хотя конечно их можно было умягчить человеческим объяснением.

Таких не было на земле людей, кого бы кроткий князь не мог бы умиротворить и расположить к себе в частном разговоре с глазу на глаз. Но – как бы он мог теперь вступить во взроенный обезумелый многотысячный Таврический дворец, о котором рассказывали ужасы? Или как бы он мог произносить речи перед этим нерегулярным собранием – гудящим, перевозбуждённым, машущим винтовками?

Это так было непохоже на святой трудолюбивый народ, получивший святую свободу!

Уже того, что повидал князь из автомобиля по пути на квартиру барона (а его хотели везти и прямо в Таврический, но он имел успех благоразумно уклонить их), – даже этих виденных уличных впечатлений было преизбыточно, чтобы теперь их перерабатывать. Вся уличная разнузданность хлестнула в лицо – и князь чувствовал себя как обожжённый, и должен был с душевными силами собраться.

А тут – приехал из Таврического за князем автомобиль! – уже сообщили туда о его приезде.

Нет, князь был слишком потрясён, чтобы ехать. Он просил передать своим думским доброжелателям, что сегодня очень устал, никак не может, но приедет непременно завтра.

Нет! – настойчив был посыльной, – там все ждут! нельзя откладывать, но – ехать сейчас же.

Нет! – взмолился князь. Ну, хотя бы по крайней мере до вечера. Вечером.

Князь таким разбитым себя чувствовал, что даже с бароном и его семьёй ему трудно было говорить, поддерживать бодрое выражение лица и бодрый голос. Он охотно ушёл в отведенную комнату, сел в покойное кресло – и обвис, и выпустил дух.

Как осадило князя Львова. Внутри себя, перед собою, искренно, он почувствовал, что управлять этим кипящим множеством – далеко выше его способностей. Так блистательна была вся гражданская карьера князя – но теперь он увидел, что его влекло выше душевных

сил, что не было в нём мощи для такого восхождения.

Но и признаться в том никому нельзя, поздно. Победоносный жизненный путь обязывал так же непоправимо – и никому из вызвавших его, избравших, назвавших, не мог он сознаться, что ощутил слабость, что тяжести этой ему не поднять.

Он обессиленно лежал в кресле, потеряв весь полёт последних лет. И возвращалось к нему – тоже когда-то привычное, теперь забытое, невыносимое сопротивление жизни, в котором Жоржинька жил всё детство, всю юность и молодые годы. Разорённое имение, на княжеском столе – чёрный хлеб да квашеная капуста. В ненавидимой гимназии звали его "цыцка", учился он – как воз на себе волок, туго, с раздражением, оставался на второй год, и не раз. Избрал юридический факультет за то, что он легче всех. И вытаскивали с братом хозяйство на клеверных семенах да на яблоках, и Москва в те годы знала ещё не самого Львова, – но "яблочную пастилу князя Львова" (из падали).

Десятилетиями жил он – и привык, что жить трудно, еле тянешь. И наведывался к оптинским старцам – не уйти ли ему в монахи: его благонравная скромная натура была к тому склонна.

А когда уже и начал государственную службу, совмещая её с левыми симпатиями (за что назван был "красным князем"), то узнал, каким ударом может прийти общественное презрение: в 1892 году как непрременный член губернского присутствия он вынужден был сопровождать губернатора в поездку с воинским отрядом: крестьяне не признавали решения судов и не давали в своей местности рубить леса. И на станции под Тулой губернские власти повстречали Льва Толстого – и великий писатель потом сотню гневных страниц написал о пособниках зла, имея в виду князя Георгия Евгеньевича, но, слава Богу, не назвав его по имени. А если бы назвал?... Пропала бы вся карьера навеки.

Но сейчас – князь Львов уже был назван, признан, и скрыться и деться ему было некуда. Неизбежно идти в Таврический и принимать власть над Россией.

213

Во второй половине дня телефон в доме Мусина-Пушкина снова задействовал – и просили подойти полковника Кутепова.

Вот удивительно – кто и откуда узнал? Не проверяют ли враги? Но подошёл.

А оказалось: это узнал от сестёр всё тот же неуёмный поручик Макшеев, который вчера утром и впугал полковника во всю эту операцию. Теперь он звонил оттуда же, из собрания на Миллионной, что у них – необычайные события и глубокие нравственные переживания, и они хотели бы повидаться и посоветоваться с полковником.

– Повидаться не так просто. Скажите по телефону.

Замаялся. Неопределёнными фразами выговорил, что речь идёт о признании новой власти.

И сомнения быть не могло. Кутепов ответил в трубку как продиктовал:

– Не позорьте имени Преображенского полка! Вы не имеете и права оперировать им, а каждый ваш шаг относят за счёт Преображенского. Довольно того позора, какой я видел сегодня в окно, когда ваш запасной батальон, а получается преобразенцы, шёл в Думу. Но слава Богу, я не видел там офицеров.

– О, это требует особого рассказа...

Макшеев что-то мычал, куда делась его резвость. Что-то мычал – да кажется о том, что Государственная Дума – это парламент.

Кутепов отрубил:

– Такие же безответственные бунтовщики оказались, ещё даже хуже простых рабочих.

– Александр Палыч! Да приезжайте к нам в собрание прямо сейчас, поговорим! Мы все вас очень ждём.

Поехать в собрание? Ему захотелось. Не куда-нибудь прятаться, а просто в своё собрание. Верно. И что ж в самом деле дальше сидеть в этом доме, если враждебные посты

как будто сняты, а фронтовой черты в городе же нет.

Обсудили с хозяевами. А что если попытаться выехать в санитарном автомобиле? – но не переодеваясь и не ложась на койку раненого!

Надо было дожидаться темноты, ещё часа два. Попасмурнело, пошёл крупный снег – и она приблизилась.

От Управления Красного Креста Северного фронта составили с печатью удостоверение, что полковник – начальник санитарной колонны. С темнотою подали санитарный автомобиль во двор, Кутепов сел между шофёром и врачом. Быстро выехали, погнались по Литейному проспекту.

Не так-то просто, останавливали почти на каждом квартале, и именно на Литейном эти остановки были опасны для опознавания. Но доктор всякий раз бойко говорил:

– Товарищи! Мы вызваны подобрать раненых в Павловское училище, там только что был бой! Не задерживайте нас, прошу!

И – пропускали. (Боя не было там – но слух.)

Свернули на Французскую набережную, ещё раза два остановили их перед Троицким мостом, всё добровольные бездельные патрули с грозным видом, – и вот уже нырнули в Миллионную, и подъехали к кирпичным казармам. И Кутепов входил в собрание.

Почти все офицеры были там, только без князя Аргутинского-Долгорукого, который уже окончательно заболел. И все были крайне расстроены, подавленный вид, и хотели начать разговор, но даже и не хотелось им рассказывать. Кутепов выслушивал как старший над ними, и принят был так, да и был же им – как помощник командира Преображенского полка. (На самом-то деле Кутепов был коренной армеец. Но на японской войне он столь отличился в 85-м Выборгском полку, что был переведен Государем в гвардию, случай редкий. И здесь ещё в Четырнадцатом был лишь командир роты, штабс-капитан, а за войну возвысился в полковника. Конечно, подпоручик Рауш-фон-Траубенберг, с кадетского возраста определённый в гвардию, и другие баловни происхождения могли презирать Кутепова как гвардейца не коренного.) Ещё три и два дня назад, тут же, в вольных разговорах за завтраком, этих молодых офицеров коробило отсутствие свободолюбивых мыслей у Кутепова, его скованность долгом, какое б там правительство ни было. Но сегодня они пережили крушение своих надежд, и даже стыдно и трудно было им это рассказать, это вытягивалось понемногу из одного, другого. Как заснули они, окрылённые своей поддержкой Государственной Думы, так и проснулись, готовые к новым шагам. Но произошло нечто немыслимое: солдаты заперли их всех, как бы арестовали в собрании, а сами без них пошли в Государственную Думу!

Хотя сердца офицеров рвались именно туда! хотя вчера только цепь неудач помешала им утвердить именно власть Думы!

Не то чтоб это арест был настоящий: сохранилось оружие, и можно было выламывать двери или выскакать в окна – но разве такое освобождение нужно было им? Слишком была глубока рана, унижение, нанесенное им солдатами. И так несколько часов они провели тут, сами между собой, в нелепом состоянии, и только один телефон оставался им в утешение, но и он как раз в те часы прекращал работу. (А когда возобновился, то уже созрела мысль искать Кутепова, чтоб он их выручил.)

Однако, входя сюда, Кутепов не заметил никаких признаков ареста.

Да, уже после того как Макшеев нашёл полковника в санитарном управлении – внезапно прибыло два автомобиля из Думы, во главе их прапорщик с письменным предписанием – всем офицерам Преображенского батальона в этих автомобилях явиться в Думу. И только по этому предписанию снят был солдатский арест – и так они поехали туда.

А там никакой особенной встречи не было, депутаты уже сбились от встреч, никто из главных не вышел, а второстепенный объяснил им, что весь вызов подстроили для их освобождения, – и спрашивал, как же они оказались в таком отчуждении от солдат? Вот это и было для них самое мучительное и неясное: как это произошло при их передовых взглядах, при том, что они всей душой и всё время были за народ? Они хотели быть с солдатами! – но

солдаты не хотели быть с ними.

Теперь вполне открылось Кутепову, что это несчастье было, что его послали с отрядом на Литейный. А был бы он вчера с главными силами преображенцев и павловцев – он вчера же бы всю эту петроградскую заваруху и кончил, и во всяком случае не топтался бы на Дворцовой площади три-четыре часа без смысла. Да просто пошёл бы маршем и забрал Таврический.

(Ещё они не рассказали ему, как вечером звонили в Думу, объявляя о своей поддержке. И как потом ночью к нерасходившимся офицерам приехали из Думы депутаты Шидловский и Энгельгардт, и благодарили преображенцев, зачисляли их в силы Думы, и приказали с утра атаковать Адмиралтейство, – но, выслав разведку, они сочли Адмиралтейство слишком сильно укреплённым. И после этой восхитительной ночи проснулись арестованными...)

Но, вот, офицеры не скрывали: что они в смятении, что они запутались – и опасаются идти в собственные казармы к солдатам. И в незапертом собрании они оставались как в добровольном плену и просили теперь Кутепова помочь им наладить жизнь в батальоне. Как же им теперь жить с солдатами? Какое-то неудобное невероятное положение. А в других полках вчера и убивали.

А чтоб что-нибудь понять – для того и надо было идти прямо в казармы. Кутепов звал их с собой – капитан Приклонский! капитан Холодовский! капитан Скрипицын!

Да, они очень просят его пройтись по казармам, побеседовать с солдатами, внушить им порядок, исполнение долга. Но сами они... сами они предпочли бы... просто, так неудобно получилось, такое вывернутое состояние...

С удивлением смотрел Кутепов, какая пошла образованная рефлектирующая порода гвардейцев: к собственным солдатам в казармы им было идти боязно?

Он же сам – вчера был в бою, только что был гонимой добычей, но вот пронёсся через черту огня и уже по *эту* сторону естественно чувствовал себя в казармах своего полка. Мгновенная смена положений, такая типовая для фронтовой обстановки: то *они* крылом заходят, то мы.

Так никто не шёл? Хорошо, Кутепов пошёл сам, свободно и охотно, не испытывая никакого замешательства.

В первую же роту вступил – перед ним появился дежурный и отчётливо к месту докладывал и отвечал на все вопросы полковника, а все смиренно стояли, застигнутые командой.

И во втором помещении – то же самое. И в третьем. Всё-таки держалась дисциплина, ничего.

В нескольких местах громко о чём-то спорили, но при появлении полковника прекращали и становились смиренно, как все.

Только двух солдат государевой роты обнаружил он выпившими. Но не попытался наказать, как бы не заметил.

И нигде никто не пытался Кутепова оскорбить.

Он просто не ожидал такого хорошего состояния батальона, когда уже во всём Петрограде... Хотя, конечно, чувствовалось напряжённое настроение. Но ничем ему не выдали.

Нет, надо было удивляться, как ещё держится батальон.

Воротясь в собрание, Кутепов передал облепившим его офицерам свои впечатления, подбодрил их (безнадёжно скользнув по уклончивому лицу Скрипицына). Посоветовал: завтра с утра идти в казармы как ни в чём не бывало, – и до обеда побольше занять солдат, увеличить число дневальных, а после обеда отпускать желающих в отпуск в город, но с соблюдением всех правил.

Тем временем был для Кутепова приготовлен автомобиль и пропуск, на котором стояла размашистая подпись председателя мятежной Государственной Думы (преображенцам дали в запас).

Два кадровых унтера, хорошо знающие полковника, сопровождали его в автомобиле на

Васильевский – опять через всё это красное беснование, уже и на Васильевском острове озверенное.

Спросили:

– Что ж это будет, ваше высокоблагородие?

Что будет? – Кутепов охватить не мог, не знал.

Ответил:

– До конца оставаться преображенцами!

Меньше двух суток отсутствовал он из дома сестёр – а сколько произошло.

214

У члена Государственного Совета Карпова, жившего на Дворцовой набережной, ужинал адмирал в отставке Типольт. Хотя второй день бушевала в Петрограде революция, но квартиры Карпова ещё ничто, слава Богу, не тронуло, и ужин был как ужин, отягощённый только известиями, отчасти мрачными, отчасти поразительными, так что ум не охватывал их. И даже из Государственного Совета был арестован Председатель, впрочем это понятно, он известный реакционер, и даже из членов один – Ширинский-Шихматов, тоже понятно, он известен своими правыми убеждениями. Присутствующим здесь такой ужас не грозил, но не могли же они быть равнодушны к судьбе отечества, и обсуждали разные слухи и сведения относительно событий в Петрограде и возможность прихода с фронта правительственных войск.

И обсуждали, что если вот прервётся электричество, и водопровод, и забьются клозеты – так никто и не поможет.

Вдруг раздался очень резкий дверной звонок, как порядочные люди не звонят. Переглянулись, не без испуга. Однако что ж поделывать иное, как не открыть. Все остались сидеть за столом, а горничная пошла открыть.

За дверь она увидела с револьвером маленького невзрачного электротехника, вчера проверявшего у них этот самый звонок. Он без спросу вступил в прихожую, а за ним вваливалась целая толпа распущенных солдат, женщин и каких-то совсем уличных подозрительных типов. Горничная растерялась и вымолвить ничего не могла.

Тем временем маленький электротехник прошёл в столовую, так же с револьвером перед грудью, и объявил хозяйину:

– Ваше превосходительство, вы арестованы!

Онемели и тут, жена и дочь не сразу спохватились. Страшные догадки проносились в голове Карпова, почему именно его берут. Адмирал же сообразил, что о его присутствии здесь не знали, арестовывать его не могли, – и он поднялся от стола и позади солдатских спин стал пробираться к двери. Однако электротехник заметил этот манёвр и направил револьвер на адмирала:

– И вы арестованы тоже.

Тогда адмирал со всей важностью и вальяжностью запротестовал. Электротехник и слушать не стал, а скомандовал резко обоим:

– Сдать ордена и патроны!

Адмирал был без револьвера. Но стал отвинчивать ордена. У Карпова же, напротив, имелся револьвер с патронами и, боясь сокрытия, он велел жене принести и отдать.

Тем временем один из солдат с обнажённой шашкой приблизился к столу, лезвием её от большого окорока отрезал толстый розовый ломоть, другой рукою взял и стал есть.

На застольную публику этот приём произвёл ошеломительное впечатление. Да как он шашкой на столе ничего не зацепил!

Другие, обступая стол, тоже стали тянуться и брать пальцами, кому что понравилось.

Электротехник же ничего не брал, но, всё так же поводя револьвером, велел арестованным побыстрее собираться и выходить.

Женщины захлопотали, просили подождать. Принесли Карпову шубу на меху и

высокие галоши, адмиралу – его шинель. Тут же, в столовой, они и одевались, приходя вся забита.

Пошли по лестнице.

Спросил адмирал:

– Куда же вы нас ведёте?

Электрик бойко ответил:

– В Думу, ваше превосходительство!

– Пешком? – ужаснулся адмирал. Никогда он так далеко пешком не ходил, тут было три версты.

– А как иначе?

Сбега вшая с ними дочь Карпова подумала, что и отец не пройдёт столько, и сообразила:

– Подождите! Сегодня тут рядом с нами арестовали министра Штюрмера, а в гараже у него остался прекрасный автомобиль, возьмите до Думы?

Революционерам понравилось:

– А ну, где, ведите!

Она повела их к Штюрмерам. Так же громко позвонили, потребовали выдать автомобиль с шофёром немедленно – и те не смели возражать.

Через короткое время усаживались в прекрасный этот автомобиль: арестованные сзади, а электротехник спереди, но обернувшись на них револьвером.

Дочь крикнула, может ли она сопровождать.

– Если прицепитесь.

Но было поздно: весь автомобиль уже обцепили охотники, стояли со штыками и на подножках и на задке.

Поехали. Револьвер всё был уставлен в груди арестованных, и опасаясь, что он выстрелит сам от тряски, адмирал попросил:

– Послушайте, голубчик, мы же никуда не бежим, уберите вы револьвер, выстрелит.

– Не беспокойтесь, ваше превосходительство! – весело и бойко заверил электротехник.

– Он не заряжен, это так, для поизира!

Тем временем из квартиры жена Карпова спешила звонить Родзянке. Карпов был ему сосед по уезду, приятель и даже писал ему некоторые речи.

Родзянко встретил их в вестибюле, очень благодарил электротехника и весь конвой – и отпустил, когда довели арестованных до его кабинета.

Там уже человек двадцать таких спасённых сидело, и сенаторы, – ждали, когда их мучители схлынут и можно будет по домам.

ДОКУМЕНТЫ – 4

ИЗ БУМАГ ВОЕННОЙ КОМИССИИ (28 февраля)

– Пришлите удостоверение, что я охраняю и управляю складом огнестрельных припасов по приказанию Временного правительства, а то публика недоверчиво относится.

Поручик: 1 пех. зап. полка Ставин

– В 8 ч. вечера дана охрана погребов, вызывались егеря, 17 члв., посты заняты в Удельном ведомстве, Моховая 40, полный порядок. Были посторонние во дворе с командой 62 члв., выводывали. Оказалось прошли через квартиры сторожей. При удалении их вышло столкновение, отняли винтовку. Предвидится еще столкновение с 5 солдатами. Необходима смена.

– Прапорщику Тафарову вменяется в обязанность останавливать всякий грабёж магазинов на Кронверкском просп. и ближайших местностях.

Пред. Воен. ком. Вр. Комит. Б. Энгельгардт

– Угол Семеновской и Литейного, погреб Шитта разгромлен. Воскресенский, угол Кирочной, магазин Баскова громят и пьют.

Вольноопределяющийся Сергиев.

– Коломенская 27. Толпа громит помещение.

– Сейчас были на Варшавском вокзале и узнали из достоверным источников: с фронта двинуты 35 эшелонов солдат в Царское Село и будут там в 4-5 утра. Настроение их неизвестно. Потом в 6 утра прибывают два литерных поезда, один со свитой, второй царский. Нужно обратить внимание.

А. Коноваленко, член студенч. кружка

– На Кирочной 12 громят частную квартиру. Послана разведка.

Г. А. С.

ЗАПИЛИ ТРЯПИЧКИ, ЗАГУЛЯЛИ ЛОСКУТКИ!

215

Текли напряжённые дневные часы, важнейшие часы той скрытной подготовки, когда войска ещё не проступают вьявь, но невидимо и неслышно стягиваются и перемещаются: одни – снимаются с боевых позиций, другие движутся к станциям, третьи грузятся, четвёртые уже едут. И если только протекут беспрепятственно эти часы и полководец предусмотрит в них всякую мелочь – то наградой ему все войска в назначенный час окажутся на месте, слитны и готовы для удара.

От исполнительного Беляева не преминуло прийти донесение, что, щадя Адмиралтейство, последние отряды вывели из него, а по своей неполной надёжности они распущены по казармам. В самом Петрограде сопротивление, стало быть, прекратилось, но это было ясно и раньше.

Из Москвы от Мрозовского не поступило никакого ответа, и осадное положение не было им объявлено, – но, может быть, это и не нужно. Среди дня телеграфно проверили состояние Московского железнодорожного узла – никаких эксцессов, никакого перебоя поездов. Благоприятно.

Какая-то ещё неполнота беспокоила Алексеева. А вот: при нынешней обстановке нельзя полагаться на телеграфы и телефоны, Иванов должен иметь при себе радиостанцию. Приказали – послать ему такую с Западного фронта, чтоб она нагнала его в дороге. И даже вот как: ещё одну промежуточную направить в Невель, чтоб она могла трёхсторонне связывать – действующие войска Иванова, Псков и Ставку.

Чудесная сохранность военного министра в Петрограде (которая доказывала причудливость обстановки и что не всё в столице потеряно) обязывала Алексеева доложить ему о принятых мерах и о посланных войсках, раз он не мог такого доклада послать Государю императору. (Поезда царя как исчезли, станции не сообщали об их проходе.) И

Алексеев к концу дня послал Беляеву в Главный штаб в Петроград подробную телеграмму с перечнем всех посылаемых частей, их командиров и сроков прибытия в столицу (передовой Тарутинский полк должен начать прибывать туда завтра с рассвета), даже о снятии гвардии с Юго-Западного, даже предположения свои о дальнейших добавках войск.

Сведения из Петрограда были настолько скудны, обрывчатые, что приходилось использовать даже доклады итальянского и французского столичных агентов своим старшим представителям при Ставке. От них почерпнули снова, что тюрьмы распахнуты, гражданские лица вооружены, офицеров, напротив, разоружают и арестовывают, «Астория» сожжена, Протопопов бежал. Впрочем, француз уверял, что собственность уважается, а убивают только в виде репрессий или по ошибке.

А с другой стороны, не подтвердилось существование какого-то якобинского правительства в Мариинском дворце, по телефону подслушанного Беляевым, – но в Таврическом образовался Временный Комитет Государственной Думы, который заявил о себе вот уже второй телеграммой: что имеет цель взять в свои руки анархические события и временно осуществлять, по сути, правительственные функции.

Но это же были – разумные люди, она не могли освящать хаос. Умеренные люди, и вполне владеют положением, ничего страшного не случилось, только ушли никудышные министры. Не гидра революции пожирала Петроград, но брала его в руки группа либеральных просвещённых людей. В условиях, когда исчезла и старая власть и командование Хабалова, появление думского комитета был факт положительный. Это всё были члены Думы и большей частью не социалисты, не кровавые какие-то разбойники, а во главе их – монархист Родзянко.

Правда, со своей несносной бестактностью Родзянко посылал телеграммы не только в Ставку, но и всем главнокомандующим. Обращение к главнокомандующим за последние дни начало становиться у него системой. Но какой бы он ни был суетун и как бы ни зарывался по тщеславию, – однако же он был заведомо не революционер.

Алексеев стал задумываться и так: если мятеж успокаивается – против кого же собираются и посылаются им войска? Не против же Родзянки и Милюкова, что за нелепость? Если Петроград и сам по себе успокоится – против кого же войска?

Но насколько этот думский комитет владеет столицей? Очевидно, нет. И насколько миновала опасность, что зараза мятежа перебросится по железным дорогам?

Впрочем, хорошо, что послушался Кислякова и не стал брать хлопотной власти над железными дорогами. По путевским линиям разосланные телеграммы комиссара Государственной Думы Бубликова, очевидно за министра путей сообщения, были никак не дезорганизующие, но призывали железнодорожников производить движение поездов с удвоенной беззаветной энергией, сознавая важность транспорта для войны и благоустройства тыла.

Да вся эта операция усмирения и с самого начала была Алексееву не по душе: войска нужны на фронте, и место им там, а не идти на свою столицу.

Всё это хорошо бы сейчас доложить Государю и, может быть, Государь отменил бы войска. Но через несколько часов он сам будет в Царском Селе и там всё увидит. Алексеев же не имел права отменять государева приказа.

И в появившихся сомнениях он не только не остановил, не изменил ни одного распоряжения, но ещё довершал их в аккуратных мелочах. И даже телеграфировал на Северный и Западный фронты предупреждение, что, возможно, ещё придётся добавить кавалерийских полков и конных батарей.

Во всём этом скоротечном петроградском мятеже самое загадочное было – причина возникновения его.

И после 8 вечера Алексеев поделился с главнокомандующими таким соображением: что в подготовке этого мятежа противник, возможно, принял довольно деятельное участие, а теперь ему, конечно, известно, что революционеры стали временными хозяевами Петрограда, – и он постарается использовать это своею активной деятельностью на фронте.

Так надо подготовиться к частным атакам.

216

А Воротынцев – выздоравливал. Просто выздоравливал – целый полный день сегодня. Вчера он весь день передвигался в сплошном непонимании и мучении. Он был так разбит, так истрочен, – он себя не помнил таким опустошённым никогда.

И только изумиться: откуда ж открылось это несчастье? Как он не замечал его?

Заснули только к утру, а проснулись уже совсем среди дня. День, видно, был солнечный, но на окне тёмная штора, да и солнце, может, не с этой стороны – так полусвет в комнате. И не вставали.

Не-ет, никакое, никакое другое женское тело, не такое покойное, не такое обширное материнское лоно – и не утишило бы сейчас его тревоги, всей его внутренней изболелости – вчерашней, позавчерашней. Или даже очень дальней? Это тело естественно распростиралось, оно естественно сливалось со всем тем, что держит и носит нас. Оно само и было – родная спасительная земля, но только мягче, теплей, приёмистой обычной земли. Только к ней, к этой, прижавшись, влившись, он и мог избыть свою изболелость и вернуть здоровье себе – из неё.

Но для этого – долго надо было лежать, очень долго, и почти не шевелясь, – и даже долго совсем ничего не говоря. Тогда ощутимо, во многих клеточках, через всю кожу тела, к нему возвращалось здоровье.

Как когда-то в Грюнфлиссском лесу он лежал на земле, и не было сил подняться, оторваться. Да вся спасительность была: не отрываться.

Он только длительностью, непрерывностью, неподвижностью успокаивался и выздоравливал. Тайна этого успокоения была в длительности: не час, не два, не три.

И теперь-то – теперь он мог бы и рассказывать: и что же именно произошло, и с какой болью он пришёл вчера. Но сумел ли бы? Только что: нехорошо они жили с женой – и сам он того не знал. Да теперь – незачем было всё это взмучивать. Она – и так уже вылечивала его.

И с благодарностью, с нежностью он целовал её благоплотные руки в предплечьях.

Днём стала рассказывать с открытой душой о себе. Как ведь выдали её сперва не по её выбору, а по воле родителей. А потом она привыкла к мужу. А потом и полюбила.

И – случаи разные. Разные сказанные с покойником слова. Георгий никогда к такому не прислушивался. А сейчас – то вникал, то отдавался этому журчанию, как лежащая колода в облегающем ручье, обновляясь в этих струях.

Никогда не прислушивался, а как неожиданно она уводила в сторону, где, казалось ему, и нет ничего. А вот – лился вокруг него целый мир, обструивал потоками. И это же вокруг каждой женщины свой отдельный мир?

И куда делось вчерашнее разрывание, что просто жить не хочешь?

Захотелось есть – она не дала ему подняться, а всё сама принесла и тут разложила на низком столике. Разве больного в детстве так кормили его, – но не казалось ему стыдно-барски.

Когда-то схватился: а какое же сегодня число. Двадцать восьмое. Так надо же ехать в армию!

Но в окне уже несомненно умаялось света – наполовину проспанный день уже и кончался, а Георгий так и не одевался за весь день. Он было сделал такое движение, но она была права: куда ж теперь? ведь к вечеру. Уж лучше с утра как угодно рано. Раньше встанешь – дальше шагнешь.

Так и проплыл этот день – без единого внешнего стука в дверь, без единого выхода, – и счастливо, что не было в квартире телефона.

И электричества вечером почти не зажигали – так полно, так плотно в темноте.

217

Адвокат Демосфен спасал Элладу. Адвокат Цицерон спасал Рим. Но особенно – адвокаты были всегда сословием революции. А из кого ещё состоял Конвент?!

Артист произносит чужие слова, адвокат – те, что сам выносил в сердце и сложил. В этом – его превосходство. Но в России только по уголовным и тем более политическим делам имеет адвокат простор развернуть своё красноречие, потрясти чувства судей и вырвать у них нужное решение. В гражданских же судах, которыми и занимался Корзнер помимо юрисконсульства в банке, такой завал дел и такая сухая обстановка, что ораторские эффекты и фразы общего характера считаются даже неприличными, достоинство же адвокатской речи – в сжатости и в богатстве юридической аргументации.

А новая революционная обстановка вдруг открыла неограниченный простор красноречию. И вчера вечером Корзнер горячо выступал в думском зале, и не его ли была решающей напорная речь, после которой отважились создать Московский Временный Революционный Комитет?

А затем сразу и покатилося: значит – и написать воззвание! (Корзнер вошёл в число составителей.) Значит – и распространять по городу!

И серый купчишка Челноков смекнул размах событий – и не сопротивлялся. А товарищ городского головы Брянский вызвался дать городскую типографию для воззвания.

Но тогда и устроить в городской думе дежурство членов Комитета!

Сегодня утром Корзнер отложил все свои приёмы, отменил деловые встречи, назначенные на сегодня, – да кому теперь до них? – и в первой половине дня отправился снова в Думу.

Общая обстановка в Москве была самая бодрящая. Газеты не вышли, забастовка типографов. Кто-то выпустил на стеклографе «Бюллетень революции» – сведения и слухи из Петрограда, как сообщали телефоны, так ли, не так, и листочки передавали из рук в руки. Трамваи за день перестали ходить. Передавали о фабричных забастовках. В некоторых частях города отказал водопровод, но не в центре. На улицах в разных местах присутствовали усиленные наряды конных жандармов и казаков, и особенно на перекрестках вокруг думы, и на Красной площади за Иверской, – но не было ни одного случая разгона толп или препятствия их движению. Видимо и власть замерла, нейтрально ожидая, к чему идёт. А к думе проникали сперва даже не толпы, но, по робости, группы, кучки, – однако и к ним выходили ораторы из здания думы с короткими речами. А когда уже толпа стала погуще – то выставили с балкона думы красный флаг и повторяли в речах главные лозунги воззвания: что в Петрограде революционный народ совместно с войсками нанёс решительный удар царскому правительству. Но борьба ещё только началась! Московский народ должен тоже призвать революционных солдат – присоединиться! и захватывать арсенал и склады оружия!

После этих речей некоторые группы отправились по казармам, обращать солдат. А к думе подходили всё новые, новые, уже и с революционными песнями, – и сливались в толпу, она густела. После полудня она уже затопляла всю Воскресенскую площадь, выдаваясь и на Театральную, в ней поднимались красные флаги, ораторы, – и вся она превратилась в непрерывный сплошной митинг, который полиция теперь уже тем более не смела тронуть.

А в самой думе собирались по одному – революционеры. Да! Никто их в Москве уже давно не видел, не слышал, не знал, и сами они прятались за невинными обывательскими личинами, – а теперь приходили на готовое, и громче заявляли себя хозяевами и требовали, чтобы Революционный Комитет передал власть, ещё им не взятую, в руки Совета рабочих депутатов, ещё и не созданного! И выбирали свой Исполнительный Комитет! Довольно нахально!

Но там были и порядочные люди, меньшевики, которых всё-таки знали, – Гальперин, Никитин, Хинчук, Исув. И с ними договаривались о разграничении функций и чтобы существовать в думе всем.

А в городе события разворачивались. Рассказывали об обезоружении отдельных

полицейских, вполне мирно, без убийств. Посты городских стали исчезать сами собой. Крупные же наряды мялись. Затем к думе привалила толпа студентов университета, человек четыреста. Очень смеялись, рассказывали, как на Большой Никитской удалили университетских служащих с контроля, сняли большие железные ворота и отнесли их внутрь двора. А другие факультеты продолжали заниматься.

Потом пришёл слух, что рабочие и солдаты захватили Арсенал. А разве войска присоединились к народу? – ещё никто их не видел. Но вот на Воскресенской площади стали появляться и группы солдат, больше безоружных. Передавали, что одна революционная толпа ворвалась было в Спасские казармы, но была оттуда вытеснена. Судьбу движения должны решить войска – но они всё не приходили на помощь революции.

С прошлой ночи прервалась телеграфная связь с Петроградом, оборвались подбодряющие сведения на несколько часов. Ловили приезжающих с поездов, узнать.

Но и власти московские вели себя неопределённо. Даже – никак.

А между тем в саму думу набивалось масса народу, и много деятелей, с именами или малоизвестных, – от Земгора, от купеческого общества, от биржевых комитетов, от военно-промышленных комитетов, от кооперативов, – и созданный вчера таким героическим рывком Революционный Комитет как будто пополнялся всеми этими представителями? – а на самом деле разводнялся, расплывался, превращался чёрт знает во что: уже не называли его ни Революционным, ни Общественного Спасения, а больше – Временным, а вот уже стали называть – Комитетом общественных организаций.

Корзнер негодовал: с этими безнадёжными обывательскими растяпами потеряли знамя, потеряли звук, потеряли порыв! – да что вообще с ними можно пронести?

А тянулась проклятая неопределённость, и неприсоединение войск, и не-известия из Петрограда.

В негодовании Корзнер ходил домой поесть.

Когда же через полтора часа снова пришёл в думу, то застал Комитет ещё более расплывчатый, но непрерывно заседающий. И среди них же раздались голоса, что их никто не выбирал, и разумнее передать первое слово самой городской думе, которая вот уже собиралась перед вечером, очевидно без своего правого крыла.

А в каких-то комнатах того же здания очевидно уже заседал этот Совет рабочих депутатов – и от него тоже ходили говорить к толпе.

А Корзнер тогда как и не гласный думы – становился что ж, пассивным наблюдателем? Досада! Как грозно вчера вечером засверкало – а вот расплывалось в какую-то всеобщую толкучку. Зато за эти сутки Корзнер узнал сам себя: до чего ж нужна разрядка для его энергии, сколько её накопилось под футляром адвоката и юрисконсульта!

А Воскресенская площадь не расходилась, гудела! И вдруг раскатился особый шум восторга, «ура», шапки в воздух. С балкона думы было видно уже в темноте, при фонарях, как от Неглинного проезда появился строй в несколько сот солдат с ружьями на плечах! И, кажется, – при младших офицерах!

Прошли через раздвиг толпы, стали – и прапорщик звонко объявил, что рота пришла на службу революции, отдаёт себя в распоряжение народа!

Ура-а-а-а-а!...

У городской думы появилась первая охрана!

Это подействовало на думу. Заседание её пошло смелей, и поздно вечером в обращении к московскому населению она уже слала горячий привет Государственной Думе и выражала уверенность, что будут устранены от власти те, кто творит постыдное дело измены, старый пагубный строй, и да не будет ничем омрачена заря, занимающаяся над страной.

Но Корзнер находил, что в этих цветках декламации терялся тот явственный *кулак*, который надо было подсунуть старому режиму под нос. За минувшие сутки революция в Москве не раскачалась заметно.

Следующие часы пошло веселей. Военно-автомобильные мастерские захватили радио. Толпа от думы полилась к Сухаревой башне и к Спасским казармам, и всё-таки взломала их!

В здание думы энтузиасты стаскивали, что может пригодиться для отражения контрреволюции.

И вдруг, уже к полуночи, с Красной площади внезапно раздалось громкое солдатское пение – слова непонятны, или что-то о вещем Олеге, а припев повторялся отрубистый, угрожающий, в несколько сот голосов:

Так за царя, за родину, за веру
Мы грянем громкое ура!

А свои-то солдаты, своя охрана – куда-то подевалась за это время. А толпа – не защита, сейчас и разбегутся. А они – вот уже, мимо Иверской, заворачивают к думе, печатают шаг молодой, штыки в воздух один в один!

В думе поднялся переполох. Иные уже убегали. Но и то поздно. Послали им навстречу подполковника запаса Грузинова, перед тем гордо тут объявившегося. Он в волнении вышел на ступеньки:

– Господа? Что вам угодно?

Оказалось – рота из 4-й школы прапорщиков. Пришли «посмотреть, что тут делается».

– Может быть, вы голодны, господа? – уговаривал их Грузинов.

Нет, они хотят посмотреть, что делается. И стали ходить по думе.

А потом – возвращаться в казармы поздно, потребовали себе ночлега!

Челноков придумал поместить их в «Метрополе» – отдать им гостиные и биллиардную.

218

Увы, где-то должна была оборваться утишающая покачка этого переезда. К шести часам вечера во Ржеве неугомонный Алексеев всё же настиг своего патрона тяжёлым известием, зашифрованно переслал послеполуденную телеграмму Беляева, что последние верные войска выведены из Адмиралтейства, чтобы не подвергать разгрому здание, – и распущены.

То есть генерал Хабалов сдался, и в Петрограде больше не осталось верных войск и власти?

Петроград отпал от России...

Но оставалось – Царское Село! Но о Царском Селе не поступало тревожных известий, и генерал Иванов, по расчёту, уже должен был его занять и концентрировать там войска. Там – была семья! Там была – вся жизнь! Туда надо было спешить.

Свита вместо этих получала другие известия. Тут, на вокзале, объявился жандармский генерал, вчера из Петрограда, и рассказывал свите ужасные, даже неправдоподобные вещи: что уже вчера весь петроградский гарнизон был на стороне Государственной Думы и ожидалось объявление нового правительства. Разгромлено Охранное отделение, все полицейские участки, Гостиный Двор, магазины на Сенной, жандармов убивают, офицеров обезоруживают, иных тоже убивают, ротный Павловского батальона покончил самоубийством, повсюду толпы, революционные крики и непочтительное об императрице.

Свита была перебудоражена: что ж это делается? Что-то надо предпринимать! Не пора ли вступить в переговоры с мятежниками? Наконец, крайний час создать ответственное министерство! Да ведь там есть Родзянко, он становится реальным возглавителем, с ним и надо связаться!

Мятеж был настолько всеобщ, что свитским вступил страх за свои семьи и самих себя. Нельзя было терять ни минуты, надо действовать! Но – кто бы это смел подсказать беспечному Государю? Все опасались вызвать у него раздражение или нетерпеливую складку выслушивания.

А вопросов – Государь не задавал никому. Он оставался внешне всё так же совершенно спокоен. (Всегда: чем более встревожен – тем меньше подавал вид и говорил).

Лишь один человек по должности мог и обязан был доложить – министр Двора Фредерикс. Но его давно возил при себе Государь как устаревшее чучело, которое жаль

выбросить, чтоб не обидеть. От чрезмерной старости Фредерикс не только ослабел, но проявлял старческое слабоумие: мог принять русского императора за Вильгельма и опозориться перед строем войск.

Ещё приближённым был зять его, дворцовый комендант Воейков, очень практического ума, но ни с кем не близок из свиты, упрямый. Он мог доложить Государю только что сам бы счёл нужным.

Так и стемнело. И обед прошёл в натянутом, деланном разговоре, ни слова о петроградском бунте.

Впрочем, верили в успех генерала Иванова.

И ехали дальше. Царский поезд шёл даже без Собственного конвоя: ото всего конвоя – два ординарца. Да десяток чинов железнодорожного батальона. Мерно покачивался, убаюкивался, тёмно-синий, с царскими вензелями. И ехал в безохранную, безглядную, неведомую темноту.

Подбирался к восставшему Петрограду странным далёким обходным крюком.

В девятом часу вечера в Лихославле Государя нагнала сильно запоздавшая телеграмма из Ставки. Это была копия телеграммы опять от Беляева Алексею, но известия двигались попятно. В ней сообщалось, что верные войска под влиянием утомления и пропаганды бросают оружие, а частью переходят на сторону мятежников. Офицеров разоружают. Действие министерств прекратилось. И ещё странная фраза: министры иностранных дел и путей сообщения вчера выбрались из Мариинского дворца и находятся «у себя». (Дома?) Какой-то ребус, тут не хватало: а где же остальные министры, само главное правительство? Ещё и о брате Мише сообщал Беляев, что он не смог выехать в Гатчину и находится в Зимнем дворце. И просил Беляев – скорейшего прибытия войск.

Что ж, они подходят. Их и собирает вокруг Царского Села старик Иванов.

В том же Лихославле узналось уже от местных, что в Петрограде образовано новое правительство во главе с Родзянкой. И что по всем железнодорожным телеграфам распоряжается никому не известный член Думы какой-то Бубликов, причём называет власть Государя «старой» и «бывшей».

Кроме этого самого последнего, Воейков доложил Государю.

Просто удивительное самозванство и наглость: какой ещё Бубликов? почему Бубликов? и фамилия шутовская... Всё это походило на балаган.

Быть может, следовало повернуть? Изменить план?

Каково решение Государя и полководца?

Воейков настаивал, что в Петрограде никакого серьёзного движения, а просто местный бунт.

Тут, к счастью, подали и телеграмму от Аликс, благополучную. Слава Богу, какое облегчение! А вчера целый день от неё не было, какая тревога!

И тут же телеграфировал ответ: «Рад, что у вас благополучно. Завтра утром надеюсь быть дома. Обнимаю тебя и детей. Храни Господь. Ники».

Теперь-то – тем более, тем увереннее, тем необходимее – в Царское!

Да Лихославль уже находился на двухколейной гладкой Николаевской дороге. И решение могло быть только одно: скорее вперёд!

Для неисчезнувших членов Думы находились дела, и самые необычные. Одни входили в сам Комитет и час за часом, вперемежку с отлучками, участвовали в непрерывном его заседании-обсуждении. Другим пришлось принять на себя (из невольного соревнования с Советом рабочих депутатов) грозное звание *комиссаров*. Дело в том, что с саморазбежкой правительства почти все министерства остались без возглавителей, – и вот Комитет решил посылать в каждое по два-по три члена Думы, которые могли бы там наблюдать, влиять, разъяснять, помочь руководить. Правда, эти посылаемые и сами плохо представляли, что

надо и что срочно (один Маклаков в министерстве юстиции точно знал). И даже ёжились в своём новом и неопределённом звании комиссаров. Да ещё и не во все те министерства легко было добраться по улицам.

Тут ещё вдруг прервались все городские телефоны, так выручавшие вчера: все барышни в испуге сбежали с телефонной станции. Пока их разыскивали, да возвращали к делу, включали телефоны только для нужд Таврического дворца.

Третьим доставалось выступать перед проходящими войсками – то с крыльца, а то уже и в зале. Четвёртым – ехать в незнакомые им казармы, и произносить речи в обстановке и перед аудиторией, к которой они никак не готовились никогда. Никакие тонкости тут были не нужны, а только с надрывной силой уговаривать: не спешить праздновать, не выпивать, не кидаться в анархию, а подчиняться своим офицерам.

Родичев, только что вернувшийся из Москвы (потрясающее историческое событие застало его в досадной отлучке: именно вчера была назначена ему явка к московскому нотариусу, он продавал лесную дачу), – воротившийся Родичев, несмотря на свой седьмой десяток, с молодой охотой ездил выступать: у него ведь дар был зажигать даже холодные сердца и натягивать нервы слушателей. И вдруг – открывшаяся возможность выступать прямо перед народом, – да можно ли устать, господа? Блистало, сверкало его пенсне на долгом шнурке, и острым треугольником выкалывалась маленькая бородка. Весь народ открыто валит за Государственной Думой! – чего ж ещё ждать? Это даёт возможность овладеть положением, стать во главе движения!

Но и когда выступленья казались успешными, когда и тоскливо безуспешными, – депутаты с облегчением спешили вернуться в свою Думу. Правда, уже не в свою, а сильно подпорченную. Уже перед дворцовым сквером автомобилями или напором народа свалили часть чугунной решётки и один гранитный столбик. В Купольном – штабели мешков. А дальше внутри – солдатский табор с бессмысленной толкотнёй, где течение сшибалось с течением не в политическом, а в самом примитивном физическом смысле – кто кого пересилит и пройдёт раньше. Сквозняки. За одни сутки уже подшарпаны колонны, попорчена мебель, сальные пятна. А уж в уборные заходить стало противно, так загажены солдатнёй, да ещё и очередь. И перестал существовать гардероб, а в бывшей комнате личных ящиков депутатов навалены пулемётные ленты и даже взрывчатые вещества.

Так вот – пробраться надо через всю эту толчею, где радикальные барышни ещё разносили засидевшимся солдатам бутерброды и чай, – и даже с боязнью прислушиваясь к разговорам толпы, пробиться в те немногие последние комнаты левого крыла, в сторону Таврической улицы, где ещё сохранялся дух Думы и были в основном свои, и подышать привычной обстановкой: рассказать о своей поездке в полк, послушать рассказы других. И если удастся, как забытое счастье, – присоединиться к обсуждению каких-нибудь вопросов общего характера.

Тут стекались и не члены Думы, а просто петербургские их друзья, кадетская публика.

Что слышно о движении войск Иванова? Неужели достигнут и будут карать? Да ведь мы и не революционеры, господа! Почему мы и уговариваем солдат вернуться в казармы, почему мы и рады нашедшимся офицерам, – мы именно прекращаем революционную ситуацию и восстанавливаем тот порядок, который нужен для ведения войны.

(Не говорилось совсем вслух, а очень думалось: может быть царь признает их Комитет – и насколько всё сразу легализуется!)

Ко всему этому кризису привели не мы, – привёл безвольный монарх, прогневивший режим.

Боже, как мы при этом режиме жили!

И мы так уже стерпелись со страданиями, которые он нам причинял, что могли жить как будто и счастливо. По видимости.

Но вот настал для них час расплаты.

Ничего, солдаты быстро успокоятся, – зато в армии произойдёт теперь патриотический взрыв, и война закончится победоносно и быстро!

Угнетал и перебивал поток всё приводимых новых арестованных – часто совсем случайных людей, – и всем добровольным конвоирам надо было выражать благодарность и отпускать их, задержанных же перехоранивать по несколько часов, пока минует им опасность, – и всё опять же в этих нескольких оставшихся комнатах.

Наконец появилось публичное заявление за подписью Родзянки: что Думский Комитет до сего времени никаких распоряжений ни о каких арестах не производил (это была правда, вся эпидемия арестов текла мимо него, он только спасал несчастных) – и впредь аресты могут производиться не иначе, как по особому распоряжению Комитета.

Но даже это заявление напечатать – неизвестно где искать типографию, не придётся ли просить Совет рабочих депутатов.

И тем более не имел Комитет мужества призвать население не подчиняться той второй, парализующей власти.

Ужасно обидное положение! – все эти массы притекали в Таврический из симпатий к Государственной Думе – но утилизировать эти симпатии было никак не возможно: массы растеклись по помещениям и только мешали, а вот чужая сила внедрилась и захватывала их. И без этой второй силы кажется уже и не восстановить порядка, не собрать солдат в казармы.

Надо как-то ладить. Как-то взаимно дружелюбно.

Тут – вернулся Родичев, с какой-то по счёту своей поездки, уже вечерней. За один день узнать было нельзя, как он потерял утреннюю бодрость, и охрип, и постарел, и пенсне спрятал.

Сейчас он был в Семёновском полку. И вернулся сильно расстроенный и изумлённый. По вечернему времени солдаты собрались на его речь в большую казарму в одном белье и валенках. Слушали, хмурились – а «ура» совсем не кричали.

Так и разошлись в белье, как и не слушали его. Первый раз в его жизни речь настолько не произвела никакого действия, где уж там восторга.

А оказалось, ходит у них прокламация: революцию Пятого года украли офицеры, украдут и нынешнюю, если солдаты не дадут им урока.

Кто-то ж где-то эти прокламации печатает, для них типографии не закрыты.

220

Весь сегодняшний день прошёл у Председателя как на пышущем болоте, где он пытался нащупать хоть какие-то твёрдые точки и установить поддерживающие связи.

Лился поток арестованных, от городских до министров, – и всё в Таврический, как будто это Родзянко руководил арестами, а многие сановники и генералы – прямо к нему в кабинет. И все взбунтовавшиеся войска валили куда? – в Таврический, и кто их приветствовал? – опять же Родзянко. И даже простые солдаты рвались зачем-то в кабинет Председателя. Кто-то занял Петроградское телеграфное агентство – и вот посылали во все провинциальные газеты телеграммы о падении старого правительства, и всё – от именно Временного Комитета. То есть опять Родзянко? И теперь если начнётся следствие – то он допустил кое-что незаконное?

А между тем Родзянко оставался предельно лоялен и патриотичен – и только так выступал пред войсками. О Государе, правда, он ни слова не говорил, тут создалась какая-то неясность, но он просто трубил во славу родины! (Делая усилия над собой – не замечать этого безобразия, строя, вида и позорного отсутствия офицеров. Призывал к возврату патриотической совести, сознавая, что с *такой* армией нельзя будет прожить ни дня военного времени).

Ведь власть **сама** выпала из рук законных носителей – а Временный Комитет только подобрал её и хранил. И готов был законно перелиться в новую законную власть. Да Комитет, по сути, уже и стал началом той конституционной власти, по которой изнывало общество и изнывали союзники. И так легко и счастливо эта власть создалась! Но чтоб распределять министерские портфели – не хватало санкции Государя.

Да и не хватало единства и подчинительства в самом Комитете. Повиновение дерзко разваливал Керенский, не отчитываясь, где он и что делает, совершенно возмутительно и в мятежном духе выступал перед юнкерами и перед батальонами – и на виду публики его невозможно было отстранить и обуздать. А в Комитете он анархически заявлял, что над ним тяготеет долг перед Советом депутатов. А Чхеидзе и вовсе там пропадал все сутки. Между тем обоих вводили в Комитет как дар левым, надеясь их этим осчастливить и привлечь, – но они не ценили этого дара. И так же ускользал из-под Родзянко свой думский заместитель Некрасов. А Милюков вёл себя так упорно-независимо и замкнуто – никакого подчинения Родзянко в нём не ощущал. Да всегда чуял в нём полную чуждость, даже до того, что сомневался: для Милюкова существует ли Россия как живое целое, хотя он так и заботился о расширении её границ и о выигрыше этой войны.

И с болью, с оскорблением узнал Родзянко, шепнули по секрету, что уже сегодня утром прибыл в Петроград князь Львов! Несомненно, что вызвал его интриган Милюков! – чтобы начать вытеснять Председателя! Но – молчал...

Вот так-так! Да Милюков не сносился ли тайно и с союзниками?

Но тут – Родзянко успел. Вернулся его тайный посланец, побывавший и у Бьюкенена, и у Палеолога. И верно угадал! – союзные послы, все эти годы сочувственные к борьбе русского общества против русского правительства, не могли не поддержать! Не на бумаге, пока ещё из осторожности устно, оба посла ответили Председателю, что они признают Временный Комитет единственным законным правительством России и выразителем народной воли! (Ай, спасибо!) И ещё выразили своё ненаписанное такое мнение: что самодержавный строй может быть успешно заменён конституционным, лишь бы поскорей установился порядок и русская армия могла бы выполнить свой долг перед союзниками. Достаточно, сколько революция прошла, а теперь надо её ограничить.

Так того же и Родзянко хотел. Очень хорошо, после этого ответа он стал чувствовать себя увереннее.

Да второй уже день Родзянко находился в настойчивом процессе – доразумения. Этот процесс почему-то не мог произойти сам собою и быстро. Но должны были течь часы, должны были приходить разные вести, должны были обращаться по делу и без дела разные люди, думцы и не думцы, – и всё это не оставалось без пользы в процессе доразумения. И так на протяжении дня сами собой и силою обстоятельств возникали мысли, освещались предметы и принимались решения, – убеждали Председателя люди или сам он додумывался.

И намёк союзников тоже посеялся плодотворным семенем. В самом деле – 11 лет строй называется конституционным, – а где же он?... Это не противоречит монархической лояльности.

Всё-таки перед Государем Председатель чувствовал себя стеснённо. Как ни дурны были их отношения последнее время, как ни дерзил Родзянко Государю – но никак не чувствовал себя мятежником и не допускал им стать. Он просто спас Россию от дрянного, гнилого прежнего правительства. А тут вот – изодранный государев портрет в думском зале... А тут ещё – эти арестованные министры, как будто Председатель Думы их посадил. Как ни дрянны эти министры – но не сажать было под замок... Но Председатель не имел власти их освободить... И потом эти его речи перед войсками: как ни патриотичны, а при Государе бы их вслух не повторить...

Но и Государь! – почему он молчал? Почему он так надменно не отвечал на телеграммы?

А теперь ехал сам, – на расправу?

Это его движение было смутно, тревожно, опасно. Зачем он ехал? Как будто: ворваться в Петроград, стукнуть здесь ногой, крикнуть на ослушников?... Непохоже на него, но потому и страшно, что непохоже.

Расторопный Бубликов докладывал о движении царских поездов – и спрашивал, что делать?

А что можно было придумать?

Государь приближался – и нарастала неизбежность встречи и отчёта.

Но настолько ли в виновном положении был перед ним Родзянко?!

В корзине из дому принесли Михаилу Владимировичу тёплый обед. У себя в кабинете он уже не мог спокойно пообедать, пошёл в укромную комнатку, прикрыл измученную грудь салфеткой, как будто стало поспокойней. Чего в голодном виде он не мог сообразить – теперь в насыщенном понимал лучше, еда прямо шла на питание головы.

Ведь он именно хотел правильной конституции, и ничего больше! Он был сейчас – самый миролюбивый человек в Петрограде, а может быть и во всей России. Зачем ещё какие-то военные действия? Зачем они послали на Петроград восемь полков? Против кого?

А услужливый Беляев сообщил по телефону и перечень полков: 67-й Тарутинский, 68-й Бородинский, 15-й уланский Татарский, 3-й Уральский казачий, 2-й лейб-гусарский Павлоградский, 2-й Донской казачий, 34-й Севский пехотный; 36-й Орловский пехотный. А ещё возможен Преображенский и два гвардейских стрелковых... Да уже и не восемь? И передовой полк уже может прибыть в Петроград на рассвете 1 марта.

Да что ж они? Что ж они делают?!

Только и надо было теперь Государю: признать кабинет Родзянки, и всем примириться – и дружно работать для победы над злейшей Германией. А Государь?...

И – надумал Родзянко! и понял, как ему действовать против этих полков.

И – не мог не действовать, ибо надо было устоять и против милюковского подкопа и приезда Львова.

Да всё та же мысль, а каждый раз приходит как свежая, самая надёжная поддержка для Председателя, никому другому не доступная, – это поддержка Главнокомандующих. Его особенное значение укреплялось такими, как вчера, ответами от Брусилова и Рузского. Сегодня он уже разослал всем Главнокомандующим телеграммы о создании Временного Комитета, который выведет столицу в нормальные условия, Армия же и Флот пусть продолжают защиту родины.

Но тот предмет, о котором Родзянко думал связаться теперь, – даже не подходил для телеграммы, а должен был носить более конфиденциальный характер. И связаться даже именно только с Алексеевым. И именно сейчас удобно, когда Государь уехал из Ставки.

Алексеев может стать и наилучшим посредником между Родзянко и Государем. От Алексеева и от самого зависит много: ведь это он посылает войска.

Вот что нужно сделать: сегодня поздно вечером, никому не объявляя, ни даже своему Комитету, устроить себе прямой телеграфный разговор с Алексеевым. Для этого, когда схлынут многие лишние глаза, поехать в здание Главного Штаба.

Конечно, Алексеев умственно ограничен, у него нет широты даже военного кругозора, а государственного и не спрашивай. Но должен же он понять, если объяснить ему самые необходимые вещи. Что тут, в столице, может подняться гидра революции и всё смести. И только Думский Комитет, и только сам Родзянко является истинным против неё оплотом – и должны быть поддержаны всячески. Что Думский Комитет – это и есть многожеланное общественное правительство, оно уже вот создано. Что Родзянко сейчас – единственная реальная сила в Петрограде, один он владеет ситуацией, и под его руководством налаживается полный порядок.

Что поэтому посылка каких-то войск на Петроград – не только начало злостной, ненужной, вредной междуусобицы, но подорвала бы целительные усилия Председателя задержать революционное движение и излечить Петроград. Такой приход войск был бы губителен для порядка, который уже налаживается.

Надо, напротив, оценить монархическую верность Председателя и поддержать его нынешнюю полную власть в столице.

Неблагодарный Совет рабочих депутатов делал, что хотел, – но на опасном направлении, против войск Иванова, предоставлял действовать Думскому Комитету. Неблагодарный собственный Думский Комитет плохо подчинялся. Неблагодарный Петроград ликовал, метался, стрелял, беспутничал. Но всех их, неразумных, прикрыть от

карательных войск Иванова мог только один Родзянко. И должен был бескорыстно и благородно сделать это.

Он ставил себя жертвой за всех.

Тут приступили к Председателю его комитетчики: а что же Москва? Надо же и Москву валить! Нельзя же ей, первопрестольной, прогрессивной, оставаться в лагере реакции?

Без Москвы – и мы не Россия.

Верно. Тоже верно. Надо и тут приложить свою весомую руку.

Что же опять? Телеграмму! Во-первых – городскому голове Челнокову, на поддержку. Во-вторых, командующему Мрозовскому в устрашение:

Старого правительства в Петрограде не существует. Правительственная власть принята Комитетом Думы под моим председательством. Предлагаю вашему высокопревосходительству немедленно подчиниться. За допущение кровопролития будете отвечать своей головой. Родзянко.

Тут прибежали весёлые голоса:

– Протопопова схватили!!!

– Да что вы?! – обрадовались думцы, а больше всех Родзянко, падению изменника-предателя.

И вставил в телеграммы:

Министр внутренних дел арестован.

221

* * *

К концу дня посланцы революционного Петрограда добрались и до Шлиссельбургской крепости, в 35 верстах от столицы. Против крепостных ворот образовалась кучка. От неё вооружённые потребовали немедленного освобождения каторжан. Комендант сперва отговаривался, что должен получить распоряжение. Затем согласился освободить нескольких, кого называли по фамилиям и за кем приехали друзья.

* * *

Получив телеграмму самозваного комиссара путей сообщения Бубликова, начальник Северо-Западных железных дорог Валуев понял, что был ему смысл уехать из Петрограда и управлять своею дорогой вне его, особенно когда царские поезда двигались к столице и могли не найти себе пути. Он поехал на свой Варшавский вокзал. Тот весь оказался наводнён взбунтованною толпой и почти не управлялся, как ему уже и докладывали. Валуев отдал распоряжение приготовить себе локомотив с вагоном.

Но и форма его генеральская железнодорожная и барский холёный вид, нежная борода сильно отличали его, и не было возможности уехать незаметно. Это зависело от двух-трёх случайных глоток, а потом уже и толпа пристрастилась: неизвестно почему, но не выпустить этого человека! Его дважды ссаживали из вагона, затем потянулись терзать. Уже несколько самосудных ударов досталось ему. Священник железнодорожного госпиталя вышел с крестом и уговорил рабочих отвести Валуева как арестованного в Государственную Думу. Посадили в автомобиль, облепили охраной, тронулись. Но на Измайловском мосту показалось конвою, что кто-то обстрелял автомобиль – как бы не с целью освободить арестованного?! Тут же, за мостом, остановились, высадили Валуева – и к стене. Составилась шеренга из желающих солдат. Валуев снял фуражку, перекрестился и сказал, что умирает за Государа императора.

Нестройным залпом всё было кончено. Убитого обшарили по карманам, взяли, что было.

* * *

Из 4-го гвардейского стрелкового Императорской Фамилии запасного батальона, квартирующего в Царском Селе, пришла своим ходом к Таврическому дворцу команда в знак того, что батальон присоединился к народу.

Гвардия царя! Ликование.

Присоединилась и Военно-медицинская Академия в полном составе.

* * *

На Сенной площади броневики разбивают магазины с продуктами. Городового привязали к двум автомобилям и разорвали.

* * *

В толпе толк, что кто-то выстрелил с колокольни Сергиевского собора. Вооружённый патруль пошёл проверять. Поднялся на колокольню – никаких и следов. Заподозрили двух церковных сторожей, не переодетые ли полицейские. Обыскали их – нет.

И ещё – поздно ночью второй раз пришли и бдительно осмотрели храм. И опять ничего не нашли.

* * *

По улице подскакивает легковой открытый мотор. В нём – агитатор: смоляная борода, фанатические глаза, фальцет на срыве. Кверху выкинута рука с кулаком, весь изогнулся. Что-то кричит о недобитой гидре, о змее.

Покричал – махнул шофёру, помчали дальше.

* * *

На Петербургской стороне мальчик застрелил проходившую женщину.

* * *

Порванные трамвайные провода. Сваленный фонарь. Валяются бумажки, окурки, бутылки. Чей-то потерянный красный бант.

* * *

Предлагают спирт, не денатурированный.

– А может, из анатомического музея? На чьих-нибудь внутренностях настоен?...

* * *

В разных местах города открываются питательные пункты – бесплатная кормёжка всех солдат, да и студентов. Счастливы кто набредёт, кормятся.

Целый день протаскались солдаты по городу – кто с винтовками, кто отдал или продал. А морозец – и некуда деться вечером, как опять в казармы.

* * *

От Литовского замка всё валит чёрный дым. Едкий дым пепелища.
И от дома Фредерикса.

* * *

Перед типографиями, где ожидается выпуск газеты, собираются очереди из студентов, обывателей, рабочих, военных.

К вечеру начинают раздавать дополнение к «Известиям Совета Рабочих Депутатов» – манифест большевиков.

* * *

К вечеру всё больше громят и частные квартиры. Стучат – и врывается, кажется, вся улица. С винтовками, пулемётные ленты через плечо: «Отсюда стреляли! Прячете офицеров?» Бросаются на обыск. (Не дай Бог у кого – офицерское обмундирование). Барышня-хозяйка стоит в нервной дрожи. Ничего не нашли – «ещё вернёмся!». С гвоздика исчезли часы Лонжин.

Пьяные матросы из гвардейского экипажа, что на Крюковом канале, врываются в квартиры близ Мариинского театра, грабят, забирают военных.

А которые солдаты вежливые и не воруют, те уходя просят у хозяев «на чай» за свой революционный труд.

* * *

По мостам, по Невскому – автомобили всё жужжат, всё гудят, всё гоняют. И крики «ура! ура!».

С двух сторон Невы автомобили скрециваются снопами света, вырывают чёрные толпы в тревожном движении.

* * *

Вечером в городской думе в большом Александровском зале – запись студентов, желающих вступить в состав городской милиции. Являются с матрикулами в подтверждение – а идёт и так. В кабинете городского головы дамы и барышни режут на полосы куски белого холста, сшивают в виде нарукавных повязок. Кисточкой, красной краской рисуют буквы «Г. М.» И прикладывается печать городской управы.

* * *

Вечером пошёл большими мягкими хлопьями всё убеливающий снег.

Улицы были плохо освещены: много фонарей побито или проводка попорчена. Окна домов все тщательно завешаны. Там и сям – ружейные выстрелы. Чокают пулемёты.

И опять ползёт грузовик с вооружёнными рабочими, с тусклыми жёлтыми фарами, сверху – красный флаг.

А то – прокатил броневик. «Ярославль».

* * *

Прошёл слух, что на Варшавском вокзале высаживаются фронтовые части! И – всё вокруг дружно побежало, вооружённые бросали винтовки, смежные кварталы опустели.

А на Балтийском вокзале, рядом – и действительно стали высаживаться: школа прапорщиков из Ораниенбаума и ещё доехавшие пулемётчики. Слух понёсся – и у Таврического передавали: у Балтийского вокзала кровопролитное сражение.

* * *

Когда ж удостоверились, что прибывают части, поддерживающие революцию, – думский Комитет послал туда депутатов, встретить войска речами. Автомобиль для этой поездки дал депутатам великий князь Кирилл Владимирович.

Перед войсками после приветствий извинялись о помещениях: Комитет Государственной Думы старался, сколько мог, но не взыщите, что временно придётся потесниться.

Потом депутаты поехали ко дворцу Кирилла. Он встретил их у подъезда и обратился к ним, сопровождающим солдатам и кучке ротозеев:

– Мы все – русские люди, мы все – заодно. Нам надо теперь позаботиться, чтобы не было лишнего беспорядка и кровопролития. Мы все желаем создания настоящего русского правительства.

* * *

А пулемётчики под густым снегом пошли пешком к местам расквартирования. Как с позиций (на которых ещё и не были): все в снегу и таща обледенелые пулемёты.

* * *

Лояльный обыватель или переодетый офицер думают: ну, ночь наконец! Набегаются, настреляются, накатаются на чужих автомобилях – на ночь разбредутся же по домам и по казармам спать. А ночью – придут же на Петроград военные части, и всё легко возьмут. Достаточно одного крепкого полка.

* * *

И правда, к ночи сквер перед Таврическим опять совсем обезлюдел. Стоит несколько

мёртвых автомобилей. Под снегом покинуты и охраняющие пушки, никого нет возле них.

* * *

Казарма Финляндского батальона наполовину пуста: бородачи-«старики» на местах, пьют чай, спят, не захвачены событиями. А молодёжь ещё не вернулась.

За полночь в ротную канцелярию пришли студенты, просят на помощь солдат: охранять пустые улицы от контрреволюционных сил и от грабителей. Пошли активисты будить бородачей. Те спят или притворяются спящими. Потом долго сидят на нарах, чешут грудь, поясницу. Очень нехотя идут.

А студенты снова приходят и новую партию просят. Так всю ночь.

* * *

У одной дамы в доме Лидваля за эту ночь было 10 обысков, каждый раз всё новая партия солдат, требовали вина и еды. Набрав, уходили – но скоро стучали следующие.

А направляла солдат – её бывшая прислуга: не поленилась всю ночь дежурить у дома снаружи. Она на днях была рассчитана и обещала барыне «припомнить».

* * *

Командующий Московским военным округом генерал Мрозовский к полудню 28 февраля приказал офицерам гарнизона находиться круглосуточно в казармах при солдатах. Но к вечеру этот приказ был отменён, многие офицеры ушли домой.

А именно к вечеру бунтующая толпа ворвалась в Спасские казармы. Тогда потребовали сотню конных из артиллерийских казарм на Ходынке, чтоб очиститься от толпы.

Но и в расположение артиллерийских казарм проникли поздно вечером городские агитаторы – и там тоже начался бунт. На плаце между жилыми бараками завывала «ура» толпа, среди которой много и пехотных новобранцев, ещё даже не одетых в шинели. Неизвестные забегали в бараки и кричали, чтобы все выходили вон. Уложенные спать солдаты слушали вой – и не снимали сапог. Толпа разгромила цейхауз артиллерийской бригады – и теперь, вооружённая, стреляя в воздух, круче выгоняла спящих из барakov. Старые солдаты удерживали молодых не выбегать, офицерам не удержать бы. Но угрозная стрельба частила – и из одного, другого, третьего барака артиллеристы стали выходить. А ночной мороз был 17°. Дежурный прапорщик Зяблов, спрятав свой револьвер, с одной шашкой пошёл уговаривать толпу. А свои: «Не знаем, зачем нас выгнали», «и рады бы спать, да выгоняют». Заводили и сами, видно, не знали, что делать дальше. Постепенно всех утишил трескучий мороз, и к двум часам ночи разошлись.

Но пришла новая группа, не такая многочисленная, а буйная, – теперь к каменным зданиям, где были канцелярии батарей, и стали выгонять писарей, ездовых, пугая их расстрелом. Офицеров не трогали, не выгоняли. Командир бригады и старшие офицеры были тут, но не знали, что делать, – беспомощно ждали утра. (На поддержку прибыли конные жандармы – но отправили их обратно, не было бы хуже).

Тут приехал из города автомобиль с двумя офицерами. Они привезли кипу прокламаций за подписью Совета рабочих депутатов. Раздавали. Толпа стала ломиться в караульные помещения, караул отстреливался в воздух. Вломились, стали выпускать арестованных. Двое не шли: «Нам два дня осталось сидеть, а уйдём – опять посадят!» Забивались под койки, освободители их выгоняли.

Командир бригады приказал офицерской группе вынуть из орудий замки.

Утихомирились часам к пяти утра.

222

Пошутил профессор Ломоносов жене, что эти петроградские беспорядки совсем не ко времени начались: во-первых, нарушили ему лечение зубов (к зубному врачу на Пушкинскую в назначенный час не стало возможно проехать); а во-вторых, хотя царский режим и давно пора кончать, это затянувшееся общее бедствие, но, пожалуй, во время войны не самый лучший момент.

А зубы у него оказались затушены потому, что в Петроград он только что вернулся с Румынского фронта, где несколько месяцев пытался восставить и наладить железные дороги. С осени главная переброска войск и поставки снаряжения потекли в Румынию, но именно в этом направлении у нас были самые хилые дороги, ни по какой доктрине не намечалось там воевать. И состояние путей было развалилось (а у румын ещё хуже), а хуже всего с паровозами, – и Ломоносов как один из ведущих паровозников, притом железнодорожный генерал, и был послан.

Молодым человеком, вскоре после окончания института, почти одновременно, он начал опыты с паровозами, принесшие ему две дюжины книг и славу. Но и везде, где служил, не отказывал он в содействии революционно подмоченным, что естественно для всякого честного образованного человека в России. Иногда и места служб ему приходилось выбирать не только из соображений паровозного дела и личных успехов, но и чтоб подальше от глаз Охранного отделения. Побывал он и начальником тяги самой далёкой и запущенной Ташкентской железной дороги, которую быстро поднял к доходу и расцвету. Но вскоре карьера его взмыла вверх, увлекла в Петербург, и до самых высоких должностей, а поселился он в Царском Селе.

Происшедшее теперь в Петрограде в общем можно было ожидать: думские бури последних месяцев приготавливали к крупным событиям. Но сегодня – у Ломоносова были лекции. Однако вряд ли соберутся студенты, а если и соберутся – стоит ли ехать в такой день? действительному статскому советнику можно попасть в затруднительное положение. И Ломоносов по телефону перенёс лекции на завтра, а сегодня и сам вовсе не поехал в город, даже и в контору, остался в покое Царского Села.

Вероятней всего безрассудны и безнадёжны были все эти уличные столкновения, – но колыхалось в груди радостное. И всё-таки часть солдат стала за народ!

Придумали они с женой совершить перед обедом маленькую прогулку: взяли извозчика и поехали вокруг Александровского дворца. Поехали – проверить подозрение: не сбежала ли царская семья? Об этом был слухок и очень правдоподобный, потому что волнения перекинулись и в Царское – и это становилось опасно дворцу.

Так оно, кажется, и было: очень мало стражи стояло, и совсем не было видно шпииков в гражданской одежде, обычно шныряющих вокруг дворца. Впечатление было такое, что во дворце вообще никого нет, как летом, когда царская семья в Петергофе. Да и удивительно было бы, если б они до сих пор не дали тяги.

Возвращаясь домой, встретили на улице каких-то волынцев – часть батальона и почти всех офицеров. Оказалось, часть батальона в городе перешла к восставшим, а эти, лояльные, пришли пешком из Петрограда сюда.

Ну и рабы!

Едва пообедали – жену вызвали в лазарет: по слухам, ночью будут взрывать управление дворцовой полиции, как раз против лазарета, – и всем врачам надо быть на месте, возможны раненые.

Странное время: как будто и многое происходит, каждый час что-нибудь где-нибудь, но всё это рассыпано по разным местам и не узнаётся. Не встретили бы волынцев – думали бы: весь батальон перешёл на сторону народа.

Но сколько бы их ни перешло, хотя бы весь петроградский гарнизон, это ничего не

решает. Пришлют с фронта две дивизии с артиллерией – и от всего восстания будет мокрое место. Восстание растёт себе на гибель, оно ничего не может принести, кроме жертв.

А вместе с тем – стыдно и обидно бессилие нашего образованного класса. Все презирают режим, а не могут его столкнуть. Очень тягостно сидеть дома и в бездействии. Решил Ломоносов позвонить по телефону в несколько бойких петроградских семей, где, конечно, близко касаются дела.

Но телефон в Петроград уже не действовал.

Так и просидел вечер дома, в глуши. Уже поздно, к девяти часам, вернулась жена. Рассказала много интересного. Этих волынцев не приняли в казармах стрелкового полка, куда они шли. И несколько офицеров явились в лазарет – сами себя бинтовать, чтобы скрыться тут. Жена категорически попросила их уйти. Потом явилась и попросила убежища жена начальника дворцовой полиции Герарди с детьми, опасаясь взрыва в их управлении, – и поносными словами ругала императрицу Александру Фёдоровну, что из-за неё должны теперь погибнуть столько хороших людей.

Как же далеко зашло! – если и эта ругается. Положение действительно серьёзное. Нервы напряжены, и каждую минуту чего-то ждёшь.

Сели пить чай – звонок во входную дверь. И кухарка, шлёпая босыми ногами по деревянному полу, поднесла служебную телеграмму из министерства:

«Военная. Инженеру Ломоносову. Прошу вас срочно прибыть Петроград министерство путей сообщения, где на подъезде прикажите доложить мне. По поручению Комитета Государственной Думы член Думы Бубликов».

И по голове Ломоносова, гладко выстриженной под машинку от затылка до лба, побежали мурашки. Это что ещё такое за новое? Бубликова он знал хорошо. Но неужели Государственная Дума осмелилась – и зачем? – захватить министерство путей сообщения?! Дума решила возглавить революцию?

Или это великая страница русской истории, или балаган.

Расписку о телеграмме Ломоносов подписал дрожащей рукой и передал телеграмму жене.

Что делать? Всё – авантюра, всё – до первых войск. Они придут с фронта дня через два и покончат.

Ехать? – просто на расстрел. Или в камеру Петропавловки. Уже поздний вечер. Уютно, спокойно в доме, дети. И покойно в снежном Царском Селе, ни выстрела. Ехать – безумие.

Но кто уже был революционером в одну несчастную революцию – тому не забыть, и поражение горит. И революционная верность зовёт. И есть понятие общественной совести. Все думают – заодно. А тебя потом упрекнут, что ты испугался. Десять лет ты был – в запасе, тебя не трогали и не звали.

А теперь – зовут!

Сорок лет, расцвет сил, кому ж и идти? Так ходуном расходилось всё в груди – и опасность, и радость, и вера.

Да хоть поехать только посмотреть, это не опасно.

Встал:

– Собери мне сумку на тюремное положение. Еду!

И вынул револьвер из письменного стола.

223

Сдержал слово Гучков – и вечером в Военной комиссии стали появляться офицеры генерального штаба: полковники Туманов, Якубович, Туган-Барановский. Никого их Ободовский не знал, но тут появился и знакомый ему полковник Пётр Половцов, начальник штаба кавказской «Дикой» дивизии, – прямо с фронта, в лохматой папахе, в черкеске с иголки, с кинжалом и револьвером, высокий, стройный, с подчёркнутой выправкой и живым сметливым лицом.

Половцова предавно знал Ободовский: когда-то, ещё в Горном институте, лет 16 назад, Половцов передавал ему своё казначейство в студенческой кассе, сам бросая институт и уходя в военное училище. Нельзя сказать, чтоб он к себе располагал, даже наоборот, была в нём холодная перебежчивость и расчёт, но считались знакомы, как-то виделись перед началом войны, собеседник он был интересный – и остроумен, и умён. С фронта? – нет, не совсем прямо, заезжал в Ставку хлопотать по делам дивизии. Такой парадокс: два дня назад был на приеме у царя, поехал через Петроград с Адамом Замойским, а тут... И вот...

Генштабисты внесли в Военную комиссию истинную военную струнку, тон, даже весёлый. Они заговорили между собой в особых интонациях, на особом жаргоне. Тут ещё выяснилось – да кого же Гучков и мог прислать? – что все они из *младотурок*, той группы офицеров, добивавшихся военных реформ до смены чуть ли не половины командного состава. Поэтому были у них общие клички, общие остроты, общие приёмы.

А уж Ободовский-то тем более всегда был за решительные реформы. И с приходом генштабистов ему очень полегчало, спало невыносимое напряжение, что если чего не сообразишь, то и всё может провалиться. Последнее, что он самостоятельно подписал в начале восьмого вечера, – это охрану Путиловского завода, а теперь мог положиться на штаб-офицеров.

За общее дело мог он только порадоваться, да. Но внутри возник и какой-то странный оттенок неодобрения к ним. Почему бы? Ободовский, придя сюда, ничего не нарушил в своём долге, его место – и было на этой стороне. А они все – что-то слишком легко переступили. Ну что это, два дня назад засматривать в царские глаза – и вот, как ни в чём не бывало – здесь? Тот морской офицер, арестованный тут днём, импонировал Петру Акимовичу больше.

А уж Масловский от их прихода вовсе скислился, и сжался в зависти и неприязни.

Но с какой лёгкостью генштабисты сразу вошли в дело как в известное: и какие отделы учредить, и как классифицировать бумаги, и кому чем заняться. Тем более что у них тут же появилась и батальонная преображенская канцелярия с поручиком Макшеевым, полковые писари с пишущими машинками, и преображенский музыкантский хор – для связи. И всё это, и самих себя, перевели на 2-й этаж, и там устроились попросторней, хоть и с низкими потолками.

А пожалуй самое ценное было: генштабисты обладали как будто невидимыми антеннами, выставленными над городом, и могли догадаться, услышать такое, чего остальным бы и не придумать. За один час загадочная враждебная громада Главного штаба стала как бы сотрудником Военной комиссии. Как-то стало сразу само собой понятно, что генерал Занкевич, хотя вчера и командовал войсками Хабалова, но, конечно, никакой не неприятель и вполне может остаться начальствовать Главным штабом. (Сегодня после полудня Занкевич не зря прислал какой-то неважный пакет на имя Председателя ВКГД – дал знак, что признаёт новую власть). Так же и с генмором – Главным морским штабом – зазвучали телефонные переговоры, будто и не прерывались никогда, и всегда была Военная комиссия Думы – лучший друг этих штабов.

Сразу таким образом получились и сведения, которых иначе не известно, откуда бы брать. Во-первых, что Москва присоединяется к движению: от Мрозовского нет и не ожидается серьёзных распоряжений и сопротивления, воинские патрули не враждебны к толпам с красными флагами, а полицейские посты и вовсе сняты.

Великолепно! Восхитительно! Петроград – не один!

Во-вторых, что к революции присоединяется и Кронштадт. (Да скорей можно было удивиться, почему он не присоединился раньше, вместе с Ораниенбаумом). Там воинские части ходят по улицам с музыкой – и комендант не имеет сил усмирить их.

Петроград – всё более не один!

Но ещё важнее: генштабисты одним усилием умов здесь, в голых комнатах, уже стали угадывать, как им спутать и грозную силу генерала Иванова. Тем же чувством армейского единства они смогли ощутить и эту силу как свой отдел. А память их хранила все армейские

сослужения и взаимные знакомства. И кто-то сразу сообразил: в Главном штабе есть такой подполковник Тилли, служивший у Иванова под рукой на Юго-Западном фронте. Так взять теперь этого подполковника – и послать навстречу Иванову связным: чтоб он объяснил положение в городе и что тут воевать совершенно не против кого! – и так обезвредить Иванова. Нет, ещё лучше, просто и гениально, это придумал едкий Половцов: к этому разъясняющему подполковнику да пусть Главный штаб добавит полковника – *в помощь* генералу Иванову для лучшей организации его штаба! (Или даже – начальником его штаба?)

Действительно гениально! – очень смеялись. Ведь Иванов не выпадает из общей системы российской армии – и вот Главный штаб сотрудничает с ним, а он должен сотрудничать с Главным штабом!

И стали телефонировать Занкевичу.

А об этом анекдоте – как слушатели Академии собирались сегодня атаковать Таврический, так очень просто было решено: завтра из этих слушателей сколько угодно наберём себе в Военную комиссию, не откажутся.

Но как ни гениально всё это придумывалось, однако может быть они по своей штабной замкнутости хуже понимали, чем Ободовский: все их связи, вся их стратегия и карты ничего не спасут, если не будет поправлен революционный дух в казармах так, что масса рядового офицерства сможет возвратиться на свои места – и солдатское доверие встретит их.

И он убеждал генштабистов думать об этом, непривычном для них: им кажется, что младшие офицеры обеспечены само собой, – но это не так.

Тут пришёл от Родзянки сияющий Энгельгардт (ему стоило усилия держать себя выше этих несомненных военных): проект Ободовского обращения к офицерству подписан Михаилом Владимировичем: собираем их в зале Армии и Флота, будем регистрировать и нашим именем выдавать поручения в части.

Хорошо! – радовался и Ободовский. Но с вечно неуспокоенным своим вниманием:

– Господа! А может быть начнём эту работу сейчас, в Таврическом? Ведь тут – немало офицеров, от разных полков, они места себе не находят. Давайте соберём их на совещание сейчас же, вот тут, у нас?

224

Братьям Некрасовым и маленькому Греве в какой-то комнате с толкотнёй и суетой напечатали машинкой на полулистах бумаги удостоверения: «Предъявитель сего такой-то, чин, фамилия, проверен Государственной Думой и должен беспрепятственно пропускаться всюду по городу. Член Думы Караулов». И лихой пожилой офицер в форме терского казачьего войска поставил свою крупную энергичную жирную подпись, поплывшую по бумаге, и напутственно пожал каждому руку.

Но уже отлично понимали наши москвичи, что и с этими бумажками нельзя им из Думы даже и высываться. Уже испытали они, **как** это бывает, когда никакое спасение не пробрезживает. Повидав, уже не могли они верить, что эти удостоверения выручат их, когда сомкнётся снова толпа расстрелять их и разорвать.

До чего же дошло в одни сутки: как подозреваемых воров, офицеров *проверили*, и вот разрешали свободно ходить по городу!

Безопаснее, чем в Таврическом, нигде не могло им быть сегодня. Возвращаться в свой батальон нечего было и думать.

Итак, оставались они полусвободными пленниками обширного, многолюдного, гудящего и доселе им не известного дворца, куда и в голову им никогда бы не пришло прийти самим прежде. И вот они ходили и ходили, верней переталкивались, отдаваясь течению, куда их несло. При свободном времени, как у них, тут много можно было посмотреть и услышать.

В большом круглом зале под несветящим куполом, изощрённо отделанном по всему верху, куда не доставал человек, – внизу до того было намокрено и наслежено грязными

ногами, что едва вызнавались крупные паркетные клетки пола. А об лакированный деревянный футляр больших стоячих часов почему-то гасили цыгарки – и весь он стал в заляпах пепла, а кое-где и окурки пристали. Как, впрочем, и на стенах, на уровне плеч.

Тут много было завалено вокруг стен беспорядочными горками, и ещё возили и выгружали и продукты, и военное, целые свинцовые штабеля патронных упаковок. А два офицера с унтерами тут же разбивали ящики и на корточках собирали пулемёты из частей.

В этой работе и Сергей и Всеволод могли бы им хорошо помочь, – но для кого это всё? против кого?

В другом большом зале, тоже со стеклянным куполом, белом зале заседаний, – набиты были все возвышающиеся полукруги скамей солдатами: сидели втесную на думских местах, и на ступеньках проходов, курили и бессмысленно глазели. Какой-то новый тип солдатского выражения был тут у некоторых, какого брата за всю службу не наблюдали: тупо-довольное, но не радостное даже, и совсем без налёта готовности, офицеров они и не отличали взглядом. И разительно было видеть столько солдат без строя, команды, организации – просто бродячих, свободных. Дикое впечатление.

А в высоченной дубовой раме за председательским местом свисал лохмотьями изорванный стоячий портрет Государя, аршин в пять высотой. А выше рамы резной венец с короной был не тронут – не достали. Жутко было смотреть, и чувствуешь себя соучастником кощунства.

А между тем и другим залом – в ещё одном великолепном длинном зале, долготою наверно шагов сто, с четырьмя рядами белых колонн и с огромными люстрами, – всё время кипели какие-то ораторствования, сразу в нескольких местах кто-нибудь глагольствовал, подмостясь или не подмостясь. Тут, в Думе, не было подозрения к офицерской форме, все здесь офицеры были как бы примкнувшие к революции, и могли без помех притискиваться к этим сборищам, хоть и сами выступать.

Говорили до потери голоса. Где проклинали кандалы царизма, где вспоминали 905-й год. Совсем непривычные неведомые речи, никогда такое звучащее не слышали. И не видели таких восторженных курсисток, упоённо внимающих оратору, – совсем неизвестный мир, и неужели это всё существовало в России и раньше?

А один оратор, молодой городской штатский, кричал, что вот царь, забывая о внешнем враге, стягивает силы для похода против народа.

– Мерзавцы, – ворчал одноногий Всеволод, – а сами они не забыли о внешнем враге, когда бунтовали?

Но и ворчать надо было потише, опасно. Царило в массе такое нетерпимое единодушие мнений, которого даже в армии не бывает: достаточно было раздаться полугласу против, чтоб этого дерзкого сразу осаживали с бранью.

Безопасность – безопасностью, но мерзко. И откуда так быстро создалось такое внушительное единство? От первых убитых. Вероятно же и здесь не все так думали, но все боялись возражать.

Иногда протискивал через толпу конвой несчастных арестованных полицейских – в мундирах или переодетых в штатское, иногда – в сопровождении жён и детей, не понять – захватили их вместе, или они сами пришли вослед.

Уже достаточно здесь потолкались наши москвичи, чтобы заметить, что арестованных уводили на хоры дворца, там были комнаты, приспособленные под камеры, – и там бы сидеть и им троим, если б не встреча с Керенским.

А каких-то видных вели не туда, но первым этажом, коридором в обход зала заседаний. Проводили тут высокого представительного господина в партикулярном платье с почтенной седой бородой. И он оправдывался перед здешним прапорщиком:

– Я ни в чём не виноват! Я только выполнял свой долг, но, поверьте, нисколько не сочувствовал этим приказам. И совершенно напрасно меня привели сюда.

И противно было от высокого чина слышать такие оправдания, как не мог он думать вчера.

А в голове, повторяя круженье Таврического, кружилось и своё одурение – оттого что мало спали, и от двух расстрелов, и не евши со вчера, – и так досадно было, что сегодня в комнате причетника не позавтракали уже принесенным.

Кого-то в каких-то местах дворца кормили – курсистки и студенты, – в основном солдат, это множество одиночек из распавшихся частей и живущее тут новой единой жизнью. То проносили еду в бочках куда-то. Но офицерам было невозможно идти просить поесть. Да невозможно было и накормить всё это человеческое море. То кричали: «Хлеб привезли!», – и все бросались, душились к выходу.

Всё же какие-то расторопные бойскауты выручили их, предложили с подносов по большому бутерброду с колбасой и по кружке чая.

И всё же – безопасность была выше. И оставалось кружиться здесь и день, и вечер, и даже ночь – а перед рассветом, в самое глухое время, когда революционное ликование уложится спать, – уйти по квартирам родственников. И даже разумнее было бы переодеться в солдатское или штатское, – но где же и во что тут!

А пока – всё ходили, смотрели, толкались и всё более осваивались в обширном здании Думы. Уже обнаружили они, побывали в левом крыле, где сохранялся ещё относительный порядок, простор в коридорах, думские служители в ливреях, охраняемые от посторонних комнаты, – здесь-то можно было посидеть, отдохнуть, а то хоть бы и прилечь на пол, московцы так опустились, что готовы были, – но именно тут это было и неприлично. Можно было представить прежнюю жизнь Думы отчасти по этому коридору, отчасти – поднимая глаза ко взнесенным потолкам, карнизам, фигурным верхам колонн, орнаментам, лепке двухглавых орлов, многосвечникам, люстрам, всему ещё не испачканному шарканьем снеговых сапог, – прежняя думская жизнь как опрокинулась вверх дном замершей картинкой. Но и в ту красоту тянул и поднимался табачный дым, густой человеческий пар, запахи сапог, сукна и пота.

Около четырёх часов дня раздалась гулко близко пулемётная стрельба – и началась паника во дворце. Действительно, эту толпу как баранов можно было косить тут шутя. Наши московцы обрадовались: свои? надо к ним как-то пробиться навстречу через задние окна в сад. Но тоже пробиться не могли. А потом всё стихло и объяснилось ошибкой.

Шёл вечер, спать хотелось – валились готовы, но нельзя представить, где ж в этой круговерти можно офицеру прилечь поспать. Дворец не обещал на ночь обезлюдеть: всё так же горели сотни электрических ламп, и тысячи людей толклись, толклись.

А оказывается, уже стали примечать их характерную тройку как непременную принадлежность здешнего кишения. А кто тут и зачем – знать никому было не возможно. И вдруг какой-то поручик остановил их:

– Ну что ж вы, господа московцы, почему не идёте на заседание?

– Какое заседание?

Оказалось, вот-вот открывается в 41-й комнате на втором этаже собираемое Военной комиссией Думы совещание представителей частей петроградского гарнизона для ознакомления с положением в частях, – и о них трёх так поняли, что они и есть прибывшие представители.

Переглянулись: почему ж и не пойти? Они вполне понимали себя как представители полка, и не худшие.

Повели их ходом, который они раньше и не заметили: там была узкая лесенка наверх, и обычные низкие потолки и комнаты скромные.

В 41-й комнате уже собралось две дюжины офицеров – сняв шинели на вешалку, сидели на скамьях и стульях как ни в чём не бывало, будто в городе нигде офицеров не растерзывали. Только не ото всех батальонов прибыли.

Наши трое тоже разделись. Зарегистрировались.

Лицом к собравшимся сидело три полковника генерального штаба, чистенькие, неоципаные, как полагается самоуверенные. И ещё один, пожилой, видно, что не строевой, полковник Энгельгардт повёл председательствование. Предложил представителям

батальонов докладывать, что у кого делается.

Преображенцы и егеря уверяли, что всё гладко. В Измайловском были убийства офицеров. В Семёновском аресты. Штабс-капитан Сергей Некрасов без труда рассказал, что в Московском: разгром караулов, разгром офицерского собрания, наводнение казарм рабочими. (Только о расстреле своей тройки было бы нескромно рассказывать).

Полковники кивали, что им это известно: Московский батальон более других захвачен рабочими, и в нём полная анархия.

Но, горячо говорил Энгельгардт, нельзя представить себе такой обстановки, чтоб офицеры не могли вернуться к своим солдатам. Тогда кончена армия и кончено всё! Напротив, революционный энтузиазм даст новую основу отношениям офицера и солдата, которых раньше быть не могло, – отношений, основанных на полном доверии и гражданском единстве. Напротив, следует ожидать невиданного боевого подъёма у солдат, который принесёт нам скорую и лёгкую победу над немцами. Особенно в этих условиях внешней борьбы со злейшим врагом России Временный Комитет Государственной Думы намерен высоко поставить офицерское звание. Военная комиссия с распростёртыми объятиями принимает всех офицеров – и тотчас снабжает их полномочиями на их прежние или новые посты.

Сергей покосился на брата.

Ещё слишком помнили они вчерашнее своё размягчение, как они отдали оружие солдатам, – и сегодняшних два утренних расстрела. А что они знали об офицерах, оставшихся в батальоне, особенно старших – капитанах Яковлеве, Нелидове, Якубовиче, Фергене? Ещё – живы ли они?

О-о-о, произошло нечто хуже, хуже, невместимое в улыбки Энгельгардта и в бодрые призывы Временного комитета.

Штабс-капитан Некрасов поднялся и сказал в тишине:

– Господин полковник! Господа! Вы же слышали: в батальонах офицеров убивают. Я вам рассказал: вчера днём мы в этих солдат стреляли и не могли не стрелять, по долгу. Какая ж мы к ним депутация завтра? Вообще, все мы – разве можем вернуться к тому, что было до мятежа?

225

Сегодня Гиммеру удалось не пропустить хороший обед – всё-таки товарищи думали о таких простейших потребностях, заботились и друг о друге тоже. Революция – феерия, это замечательно, но покушать с закуской, первым, вторым и третьим – это материальная основа для дальнейшей революционной инициативы. Главное, что удобно – совсем близко от Таврического, в начале Фурштатской, пошли целой гурьбой. Там жил известный доктор Манухин, когда-то вылечивший Горького на Капри от туберкулёза, – и сам Горький, совершивший маленькую экскурсию по городу, тоже был на этом обеде.

Правда, он же и испортил его. Ото всего виденного великий писатель стался не в духе. Он брюзжал на всеобщий хаос, эксцессы, проявления несознательности, даже на барышень, разъезжающих по городу с солдатами на автомобилях, – и во всём этом видел признаки нашей ненавидимой азиатско-русской дикости, будут вколачивать гвозди в черепа евреев, и это приведёт к провалу замечательно удавшейся революции, а вот европейцы давно бы всё организовали. Гиммеру были просто смешны такие политически-близорукие выводы, и он осмелился спорить (независимый ото всех фракций, он и от Горького старался держаться независимо): что дела, напротив, идут блестяще, два неполных дня, а нет уже ни царского правительства, ни охранки, ни Петропавловки, это просто чудо. А все эксцессы, жестокости, глупость – без этого ни одна революция никогда обойтись не могла, такое теоретически немыслимо. (По сути, Горький – обыватель и судит с обывательской точки зрения, вот и показал себя). Но другие собеседники поддакивали Горькому, что героев в России всегда было маловато, – и Гиммеру пришлось смолкнуть.

А в общем обед занял много времени. Сговорясь, кто будет ночевать у доктора Манухина, а кто у других знакомых поблизости, разошлись, – и Гиммер ещё часа на два пошёл в Таврический. Он вернулся в отличное состояние и не хотел пропустить ещё доли наблюдения или доли участия в событиях.

Был десятый час вечера. Дворец уже значительно опустел по сравнению с дневным временем, впрочем в Екатерининском сидели на полу, располагались ко сну и уже лежали сотни солдат. Освещение дворца может быть было нормальным в обычное время, но при таком обилии людей теперь казалось недостаточным.

Совет депутатов наконец разошёлся, прозаседав с полудня, но в его просторной комнате всё ещё сидело группками сколько-то солдат, сколько-то штатских, всё не могли выговориться о свободе и успокоиться.

В комнате № 13 тоже ещё оставалось несколько необедавших членов ИК – Гвоздев, Красиков, Капелинский, – и Гиммер энергично вошёл с ними в обсуждение всплывавших вопросов.

Оказывается, за эти часы в Совет, почувствовав, что это новая власть, потянулись владельцы газет и владельцы типографий с жалобами на разорение: почему им не разрешают выпуск? Они демагогически апеллировали к принципам свободы печати, что её не может быть при революции меньше, чем до революции.

Как сказать. Чисто теоретическое рассуждение может далеко завести. Гиммер активно вмешался, пошёл разьяснять недовольным, что уже состоялось постановление Исполнительного Комитета. Что здесь нужна осмотрительность, нельзя оступить в контрреволюционное болото.

А типографский вопрос был острый, и все партии уже нацелили типографии, которые хотели бы себе конфисковать, и требовалось только решение ИК, ещё сегодня не состоявшееся.

Последние члены ИК расходились, а Гиммер обещал теперь подежурить до полуночи.

Без дежурного никак было нельзя, потому что всё время кто-нибудь врывался. Например, какие-то самочинные группы, наметившие арестовать кого-нибудь из зловерных слуг старого режима, но одни решались совершить это до конца сами (и не встречали сопротивления), а другие приходили всё же за устным или письменным разрешением в Совет.

Новое чувство это было для Гиммера, он изумлялся: ещё позавчера по сути нелегальный, без разрешения жить на собственной квартире, – вот он сидел в удобном кресле за массивным столом и решал вопрос свободы или тюрьмы для какого-нибудь вице-адмирала – или сенатора Крашенинникова, председателя Петербургской судебной палаты, – а тем более, помнится, который присуждал к трём месяцам думцев-выборжан, – так революция это и есть – возмездие! Прежде всего – возмездие!

Чувство всемогущества наполняло революционной гордостью: как же всё перевернулось! И каков уже авторитет Совета рабочих депутатов, если подпись одного неизвестного члена ИК – вот, высшая сила в Петрограде!

Но если не обманываться, у Гиммера не было уж такой полноты власти: наличествовал разгон революционной стихии, и что Гиммер легко мог – это **разрешить** арест почему-либо назначенной жертвы, а что было почти бесполезно, это – **отказать** : всё равно учинят сами или возьмут разрешение у кого-нибудь другого.

Да и какие были у него основания отказать в аресте? Такой арест старательного слуги царского режима был а priori справедлив, – и тем более справедлив, чем этот человек был умней и талантливей, а значит – возможный двигатель царистской реакции или вдохновитель монархического заговора.

В министерском павильоне Думы уже сидело под строгой охраной несколько десятков этих высших сановников, и ещё были места для следующих голубчиков. А для тех, кто помельче, – отведены были комнаты вдоль хор зала заседаний Думы, и там уже было заперто, наверно, несколько сот.

Отлично шли дела!

Гиммер подписывал, группы убегали, приходили другие.

И вдруг с большим драматизмом, с криками, ворвалась группа солдат человек 8-10, одни со штыками, другие без. Гиммер думал – тоже с арестом какого-нибудь генерала. Нет. Они просто клокотали от узнанного ими приказа Родзянки: возвращаться всем по казармам, оружие сдать назад в цейхаузы, принять офицеров, а самим исполнять службу. Уже раскусив, где можно найти управу и защиту, солдаты ворвались в Совет, в надежде получить приказ противоположный.

Со своей исключительной интеллектуальной силой Гиммер во мгновение оценил, нет **узнал**, момент, который должен был прийти! Ах, как же просчиталась буржуазия! Им не терпится вернуть армию в руки офицеров – и они поторопились, они просчитались, они получают обратный эффект! Роковой момент, ожидающий такого же громоносного решения Совета, а сейчас – его лично, Гиммера!

Маленький, он – вскочил навстречу крупным солдатам, пожимал им всем руки, даже некоторым по два раза, благодарил, что они пришли, благодарил за пролетарское доверие, приглашал их всех сесть, – и только когда все уселись, опустился в кресло.

А сам тем временем – соображал как вихрь, в густоте политического сплетения. Он как будто начал беседу с солдатами и всё время что-то подбодряющее говорил им, на самом деле при всей ясности вопроса он не имел права сейчас высказать вслух решение, но просверливал его, чтобы представить товарищам по ИК.

Ещё бы не понятно было это солдатское состояние! – боязнь утратить мелькнувший призрак свободы и новой жизни. Конечно, оно обращалось недоверием и распалённым негодованием против офицерства. И это состояние надо было уметь использовать для хода революции! А – как? А – как?... Вот не хватало практической политической хватки.

Пока что Гиммер мог обещать солдатам только: всё тщательно расследовать и поставить об этом вопрос на заседании Исполнительного Комитета.

А вскоре после их ухода ворвался – он всегда не входил, а врвался – Соколов. Он слишком задержался на обеде, но тем более был шумен и весел.

Он выдумал совсем несообразное: привёл какую-то польскую делегацию, вернее трёх поляков, неизвестно кого и какие круги представляющих, и требовал выйти к ним от имени ИК: дать возможность этим полякам поприветствовать русскую революцию.

Хотя в голове крутился солдатский вопрос – но польский вопрос тоже осевой в революции. Ладно, Гиммер уступил. Вышли с важным видом в комнату № 12, откуда служители выносили последние стулья, чтобы завтра Совету было просторнее стоять, – и тут декоративно-торжественно приняли поляков, выслушали их и свою произнесли им речь, желая и Польше не долго задержаться в фазе буржуазной революции, но иметь в виду широкие демократические перспективы.

Зато после приёма Гиммер теперь схватил Соколова за пуговицу, потащил в комнату ИК и там стал обсуждать с ним, выяснять теорию: общую постановку армейского вопроса, как он вставал теперь перед Советом. Не то чтобы Гиммер надеялся получить решение от бестолочи Соколова, но в беседе с ним думал отточить собственное. Вот есть такое распадение солдат: не возвращаться в повиновение офицерам! Такое настроение должно быть правильно канализовано. Это же неповторимый момент! Маркс и Энгельс говорили: дезорганизовать армию – это и условие победоносной революции и её результат. И установка Циммервальда – вырвать армии из-под буржуазного господства. Слышал ты про такой приказ Родзянки?...

Раз в воздухе носится – конечно Соколов слышал, что может его миновать! Правда, самого приказа никто в глаза не видел.

Хорошо, пусть такого приказа даже нет. Может быть, его и нет. Но достаточно было сегодня днём послушать возмутительные выступления Родзянки и Милюкова перед приходящими войсками – там всё это и содержалось: «возвращайтесь в казармы, повинуйтесь своим офицерам!». Но это есть лукавая атака на все достижения солдатской

свободы. Цензовые круги открыто и бесстыдно призывают к порядку, к подчинению, послушанию, – пытаются опять загнать революционных солдат в офицерские ежовые рукавицы.

«Восстановить порядок!» – так для этого самого и движется генерал Иванов!

И вот какую тактику предлагал Гиммер. Конечно не выбрасывать открыто антивоенных лозунгов. Мы их пока молчаливо припрятали, и это совершенно верно: пока царизм ещё не побеждён окончательно, пока революционная власть ещё не освоилась и не укрепилась – нельзя нам допускать раскола с цензовыми кругами. Напротив, мы по-прежнему должны подталкивать буржуазию углублять и закреплять революцию.

Но вместе с тем не можем мы допустить, чтобы массы революционных солдат снова попали в плен к офицерству. Совершившийся выход их на свободу неповторим – и нельзя допустить простого возврата в казармы. Нужно нам, Совету, немедленно, завтра же, предпринять какой-то революционный шаг, который обновил бы все взаимоотношения *внутри* армии, создал бы в армии – атмосферу политической свободы и гражданского равноправия!

Соколову – очень понравилось, он – со всем согласился. Он – и сам отчасти уже думал схожее, и сегодня со Стекловым был у него сходный обмен мнениями. Он брался завтра идти с этим на Совет.

Что-то надо сделать, иначе какие ж мы циммервальдисты?

226

Ездил сегодня утром Милюков на Охту в 1-й пехотный полк – и зарёкся, больше по полкам не ездить, это не его работа. На большом плацу пришлось лезть на высокую вышку и оттуда на морозном воздухе кричать, надрывая себе горло – втолковывая неведомой солдатской толпе самые элементарные вещи: что общественную победу надо закрепить, для этого сохранить единение с офицерством, а иначе их полк рассыпется в пыль. Офицеров же призывал (они уже были готовы и рады тому) идти рука об руку с Государственной Думой и помочь организовывать власть, выпавшую из рук старого правительства, захлебнувшегося в своих преступлениях.

И не только было ему физически трудно, неприятно произносить эту речь, и не только не ощутил он реального эффекта от неё, но было до безобразия бессмысленно ему этим заниматься. Найдутся лужёные глотки. Стихия Павла Николаевича была публика университетская или даже западная. С армией что он имел общего? Только то, что сын его неразумный после гимназии кинулся добровольцем и погиб в Галиции.

Милюкову ли сейчас ездить на эти речи низкого уровня, когда именно в его голове столько мыслей, сложностей, планов, и всей силой своего интеллекта и предвидения он должен беспощадно пронизывать быстропеременчивую ситуацию.

Что видели все, что было доступно каждому? Что грозит анархия из-за подрыва офицерства. Что силы реакции ещё не разбиты, и движется извне карательная экспедиция генерала Иванова. И за этими внешними событиями упускали созидательную структуру: к а к же именно надо теперь организовать власть? Никто ещё, кажется, не понимал, какие напряжённые опасные двусмысленности возникали даже в тех немногих нескольких комнатах, где затаилось последнее, что осталось от Думы.

Первая двусмысленность и была – сама эта Дума. Хотя именно в её громких заседаниях, на крылах её авторитета и вознеслись над Россией все они здесь, хотя ещё вчера клялись Думою и ещё сегодня войска приходили приветствовать именно Думу, и Комитет был думский, и сам Милюков именем Думы приветствовал 1-й пехотный полк, и все раздували именно ореол Думы (как видно теперь – непомерно), да и сегодня среди думцев ещё никто не сообразил и не мог бы высказать сомнительного суждения о Думе, – лидер думского большинства и лидер кадетской партии отчётливо и холодно понял: Дума – умирает. Даже – умерла, где-то между вчерашним и сегодняшним днём. Думы – больше нет,

это фикция, от которой пора отречься, истинный политик должен отмечать подобные факты без сентиментального сожаления.

Парадокс, какими богата история: более всего добивалась Дума падения царского правительства. А едва добившись – сама стала ненужной. Дума – отыграла всё полезное, что она могла дать, а в нынешние часы вся суть перетекала к новой правительственной власти, которую ещё надо было организовать и взять в руки. Дума была избрана недемократически, по столыпинскому закону, и не может быть авторитетна в такой шаткий момент.

К тому же авторитет Думы, в своё время заслуженно возвысив её лучших лидеров и ораторов, внёс и вредное наследство тем, что непропорционально вознёс также и авторитет её председателя в глазах общества, но ещё непоправимей – в собственных глазах Родзянки. И теперь он не способен, да и не старается понять истинного соотношения сил и своей ложной роли: из его раздутости ему кажется, что это по его санкции создан Временный Комитет и по его санкции будет создаваться новое правительство, и сам же он его возглавит. И, рассчитывая как-то перехитрить Милюкова и других, он отклоняет разговоры о правительстве, а раздувает свой Комитет. И надо бы поскорей всё вскрыть и назвать, но не удаётся: вчера ночью Родзянку же ещё заставляли взять власть для Комитета, без этого не было пути. (Вот так текут революции: ситуации меняются по часам, спазматически). А когда Родзянко преодолел свою трусость и решился, – он тут же с первобытной простотой потребовал ото всех членов полного себе подчинения – какого-то неслыханного феодализма, которого не было даже в царских правительствах. Все думцы и Милюков просто остолбенели. Для таких случаев была у них о Родзянке известная фраза:

Вскипел Бульон, потёк во храм.

Остолбенели: каковы же aspirations, ничего себе! Но в ту минуту возражать было ещё рано. А вслед за тем грянула новость о карательных войсках, и тем более Родзянко стал нужен, чтоб остановить войска. Так и держался весь сегодняшний день невзорванный нарыв, и приходилось его толерировать.

А тем временем по вызову Милюкова сегодня из Москвы приехал уже и князь Георгий Львов. И надо было принять Львова в Таврическом и не сталкивать их носом к носу с Родзянкой, тоже дипломатия. А Львов так жаловался по телефону на усталость и очень просил, нельзя ли отложить встречу на завтра. Это неприятно поразило Милюкова: как можно настолько не чувствовать темпа событий!

Приехал. Сели беседовать с ним в одной из комнат. Милюков пытливо – так близко и так пристально, как ему ещё не приходилось, смотрел на этого очень аккуратно причёсанного, волосок к волоску, очень чистенького, очень вежливого, очень мягкого князя, – может быть потому так отличного от них тут всех, таврических, что он не провёл бессонной ночи во дворце, а хорошо спал в поезде и ещё после поезда на частной квартире привёл себя в порядок. А может быть потому, что он московский? А может быть потому, что он земский и никогда политическими делами, если раздуматься, не занимался, кроме последних месяцев всеобщего ажиотажа? Да, вот парадоксально! Во все твёрдые глаза смотрел Милюков на князя и удивлялся: как будто он *не наш*, из другого теста, не из общего потока общественности, не возбуждается, не тревожится тем, что всех их возбуждает и тревожит. Он как будто не ощущает обжигающих событий вокруг или, во всяком случае, опасается вмешаться в них.

Львов высказывался осторожно, благостно-расплывчато, а когда можно было вообще не произносить, а слушать, – то предпочитал слушать.

И засосала в груди Павла Николаевича самая тоскливая тоска, какая только может быть: тоска сделанной собственной ошибки. Как будто – не с той женщиной обручился, а свадьба вот уже подкатывает, – не вырваться, не исправить. Эту кандидатуру вместо прущего давящего Родзянки Милюков сам же и предложил, и продвигал, доверяясь земской славе князя, времени не имев проверить самому. А теперь – все поверили и приняли, и Львов

приехал, и поздно переигрывать.

Да собственно, он – неизбежен, Львов. Только на такую нейтрально-общественную фигуру и согласятся левые. А без левых в правительстве нельзя, надо восстановить с ними утерянный фронт.

Да даже угадывал Павел Николаевич и раньше некую слабость князя Львова, но думал, что это-то и облегчит потом отстранение его. Не рассчитал, что власть придётся передавать в такие бурные дни, как сейчас: никто не мог предвидеть такой мгновенной и решительной катастрофы.

А засосало, что на таком кандидате можно всё проиграть, даже и временно не продержаться.

Подсели ещё несколько депутатов, разговаривали. Выглядело как пустой салонный разговор, а не приход вождя. И на тихий вопрос своего соседа:

– Ну, как? – ответил Павел Николаевич тихо:

– Шляпа!

И это было то самое основное *лицо доверия*, на котором должна была теперь успокоиться вся Россия!

Посидел-посидел князь Львов как в гостях, и даже в голову не пришло ему остаться бы в Таврическом на ночь, обсуждать состав своего же правительства, быть наготове к возникающим обстоятельствам, – посидел, откланялся и ушёл почивать на квартиру.

Да Милюков его даже не уговаривал: подумал, что самому вести торговлю о правительстве будет и проще. Он сегодня и на кадетском ЦК, за завтраком у Винавера, также обошёл обсуждение состава новых министров, это было не нужно.

Милюкову и вообще по-настоящему никто не был нужен или близок. Даже с самыми смежными товарищами по партии он избегал отношений личных: утомительно было распространять симпатию на частные стороны жизни и не менее утомительно встречать такую симпатию к себе. То ограниченное количество нежности, которое отпускается нам от рождения, естественнее и приятнее потратить на дам или единожды в жизни решиться даже на смену жены.

Но сейчас попадал Милюков в изоляцию большую, чем даже привык и хотел бы. Шингарёв был – тень его, работник, но не вождь. С болваном Родзянкой он еле себя сдерживал. С Маклаковым всегда была отдалённость и неприязнь. С Винавером соперничество, да он сейчас не в игре. С Некрасовым – стычки. С Гучковым – глухая давняя вражда. Из тех, кто сейчас тут вокруг вращался, Милюков едва ли даже не предпочёл бы Керенского. Но!

Но! *Punctum saliens* ! Давно Милюков подозревал и замечал, его предупреждали, а в эти критические часы он даже и убедился, что между этими столь разными людьми, как кадеты Некрасов и Коновалов и квази-эсер Керенский, даже немислимых, кажется, в соединении, существовала и вот явно проявлялась какая-то сокрытая связь, неожиданное согласие в самых парадоксальных вопросах. Как будто они специально по каждому вопросу успевали сговориться втайне от Милюкова.

Бесспорно, эта тайная связь не могла быть ничем иным, кроме так известного, но и так тайно и успешно скрываемого масонства. Масонство – оскорбляло Милюкова. Ему предлагали вступать, даже не раз, он всегда отказывался. Не только его рациональной натуре была чужда, коробила всякая мистика, – но даже это казалось какой-то незрелой игрой. А ещё и нечестной, ибо масонство отменяло всякие личные таланты и заслуги, заменяя сговором членства. Это было бы подавлением индивидуальности.

Но как в переплывающее тесто – нельзя было в масонство твёрдо ударить, указать, критиковать. Мнимая пустота и мнимое недоумение.

Так и сейчас при подборе кандидатов в министры – чем иным можно объяснить такое противоестественное единство их мнений: ввести в правительство – Терещенку, бездельного молодого миллионера, ничего не умеющего, ни к чему не приспособленного и никому не известного. Просто скандал, как это можно будет представить публике? Что за него были

Гучков, Коновалов – ещё можно было понять, они дружили и вместе в военно-промышленном комитете. Но почему – туда же и Некрасов, столько мотавший кадетскую фракцию своєю левой оппозицией? Почему и Керенский, вопреки всем своим партийным позициям – тоже за Терещенку? Только – сговор.

Милюков изо всех сил старался их расколоть, играя именно на Керенском, но ничего не выходило.

Керенский, в эти дни всеобщий кокетливый герой, вёл себя исключительно непринуждённо. Он всё время вбегал и убегал, заботясь сыграть свою роль в обоих крылах дворца, а больше всего – посередине, в массе, то где-то принимал арестованных, то приносил кем-то бестолково притащенные в Таврический документы, – и во всём рисовал себя спасителем. То разваливался рядом на диване, готовый теперь уже до утра обсуждать состав правительства. То через пять минут вскакивал и опять убегал.

Ещё не был принципиально решён вопрос, войдут ли в правительство социалисты, – а они могли потребовать много мест. Переговоры с ними ещё формально не велись, а приглашались пока персонально Керенский и Чхеидзе, они же оба не хотели соглашаться без Совета депутатов. Но счастливо упоённые глаза Керенского выдавали его: здесь, на диване, обсуждение состава правительства конечно были счастливейшие его минуты. Да иначе быть не могло, всегда Милюков был уверен в его политическом реализме. Никакая социалистическая игра не могла же сравняться с увесистым министерским портфелем. Каким именно? Для третьестепенного адвоката трудно было придумать что-либо, кроме министерства юстиции.

Но тогда окончательно оттеснялся кадетский кандидат Маклаков. Но это было и неплохо: Маклаков всегда был кадет какой-то не настоящий.

А куда совать Терещенку? Совершенный ребус.

Тут вбежали с сенсационным известием: в Думу явился Протопопов!

Сам?? Потрясающе! Побеждающе! Какое возмездие! Уже ничто не могло остаться на местах! – Керенский взбросился на половине фразы и унёсся вершить власть. Многие любопытные поспешили за ним. Зрелище было, конечно, пикантнейшее.

Однако Милюков не пошёл. Во-первых, его положение было слишком солидно, чтобы выйти досужим зрителем. Во-вторых, политический противник имеет значение лишь пока он занимает позиции. А *лично* , – лично Павел Николаевич так же никого не ненавидел, как никого и не любил.

А происходило вот что. Протопопов, в дорогой шубе, пришёл в Таврический и вошёл внутрь, никем не узнанный. И может быть мог так и дальше идти, хоть и в думский Комитет, но растерялся в новой обстановке дворца, нервы его не выдержали. Он сам выбрал и обратился:

– Скажите, вы студент?

– Студент.

– Пожалуйста, проводите меня к членам Государственной Думы. Я – бывший министр внутренних дел Протопопов.

Первый раз он назвался *бывшим* . И тут же, неврастенически играя выразительными глазами, добавил, что желает общего блага и потому явился добровольно.

И настолько это получилось частным образом, и настолько его не узнавали, – да кто его знал? солдаты его не знали, и фамилии не слышали, – что студент спокойно потолкался с ним вместе до какой-то комнаты, где сидели-беседовали члены Думы.

Те – изумились (даже больше, чем возмутились). А Протопопов – мял меховую шапку в руке и с неврастеническим извинением улыбался, и пытался говорить приятные фразы.

Тут, среди думцев, не нашлось железного человека, который бы распорядился, но, разумеется, никто не пригласил его и сесть. Так он стоял и мялся у дверей.

Но кто-то мгновенно бросился с известием – и вот уже в распахе двери показался струнно-гневно-неумолимый Керенский. Он был вытянут, сколько допускали кости, строг,

бледен и даже прекрасен.

И обернувшийся Протопопов, со всем раскаянием, заискиванием и надеждой, произнёс почти невозможное, никто ещё так не выражался:

– Ваше превосходительство! Отдаю себя в ваше распоряжение.

Да отроду не слышали! да не готовы были услышать такое его уши! Но и это же – умягчило его сердце. Хотя он так драматически звонко объявил, что слышали за дверью и все в густом коридоре:

– Бывший! министр! внутренних! дел! От имени! Исполнительного! Комитета! – (непонятно было, думского или советского) – объявляю! вас! арестованным!

На крик стали толпиться за дверью и даже внутрь. Никто этого облезлого барина не приметил, а он оказался самый главный враг, чо ль?

Арестованным? Протопопов, счастливо облегчаясь, будто этого только и ждал, и желал! – имел однако бестактность подшагнуть к Керенскому и пытался сказать ему что-то конфиденциально.

Но беспорочно недоступный Керенский отклонил недостойного властным движением узкой руки – и ею же взмахнул само собой появившемуся конвою, указывая вести.

И двинувшись вперёд, той же рукой трагически помавая, восклицал к толпе:

– Не прикасаться к этому человеку!

Коли б он не кричал – никто б того барина и не подумал трогать, а тут уже и руки сами вытягивались, время такое – укажи, кого рвать. Вот-вот на темя ему могла опуститься рука или приклад.

Протопопов бросал отчаянные взгляды, вымаливая себе откуда-нибудь спасение.

Может и пожалели.

Как прокажённого, как ведомого на казнь или ещё что худшее, с ружьями наперевес, повели этого, в шубе съёженного, – и толпа расступилась, отдавая его на расправу несомненную.

Так и шли, через Екатерининский наискось, а потом коридором до министерского павильона, и сквозь пару преображенских часовых.

И только за последней дверью Керенский, уже не так вопленно, голосом уменьшенным, но всё ещё неподкупно строго, объявил прапорщику Знаменскому:

– Господин караульный офицер! Бывший министр внутренних дел желает сделать мне какое-то секретное сообщение. Потрудитесь провести его в отдельную комнату.

И сам снисходительно прошёл туда же.

Протопопов, пережив спасение от толпы, с горячечно благодарными глазами за самую малую тень покровительства, повторял так пришедшееся:

– Вот, ваше превосходительство... вот...

И совал Керенскому какой-то ключ.

Он так был нервически потрясён, слова не выговаривались чётко, – Керенский не сразу понял, что этот ключ – от ящика письменного стола в министерском доме на Фонтанке. А в том ящике найдётся другой ключ, уже от несгораемого шкафа. А в том шкафу в газету завёрнуты 50 тысяч рублей, принадлежащие графу Татищеву.

– Зачем же там его деньги?

Протопопов даже извивался плечами, так ему было стыдно. Речь вернулась к нему, он говорил быстро и сбивчиво.

Собственно, это уже деньги не графа, а министерства внутренних дел. Они принесены в вознаграждение за некоторую поблажку. Но Протопопов, разумеется, не взял себе ни копейки. А так и было решено, что деньги эти пойдут на помощь семье убитого Распутина.

А теперь Протопопов жертвует их новой власти.

по Таврическому, быстро сообразил, что ни один из постов его, часто сминаемых толпою, не имеет такого значения, как этот – у входа во временную тюрьму бывших министров.

Никогда Круглов не служил тюремщиком, вряд ли сидел и сам, но по склонности быстро усвоил может быть слышанное урывком, и сегодня с утра, когда стало подбывать высокопоставленных арестантов, он толково применял тюремные правила: должны были все арестованные быть обысканы и всё из карманов отнято; должны были все арестованные целосуточно сидеть на стульях и в креслах, а не лежать на диванах (которых и не могло на всех хватить). И никто из них не мог встать пройтись, расправить ноги, пока не будет дана, в день раз или два, общая для того команда. И не подходить к окнам, иначе из сада будет стрелять часовой. Чтоб сообщить о своих потребностях, должен был арестант поднять руку и молча её держать.

Несколько раз приходил сюда Керенский как главный шеф арестного дома. Он же объявил и порядок всеобщего гробового молчания: не должны были арестованные разговаривать между собой, даже обмениваться самым незначущим, а только отвечать на вопросы караула и должностных лиц.

Для уследки за всем тем по комнатам у стен расставлены были вооружённые солдаты. (На эти посты, по ротозейности их, добровольцы всё время находились). Сам же унтер Круглов, отрываясь от других постов, всё чаще и чаще приходил сюда и прохаживался тут, вокруг сидящих, удивляясь судьбе, вознесшей его надо всеми вельможами.

И Керенский так был им доволен, что властно положил свою лёгкую руку ему на погон:

– Пришейте себе четвёртую нашивку, я вам добавляю!

И хотя во всей русской армии ничего подобного не было – четвёртой унтер-офицерской лычки, Круглов сообразил, что это сильно его возвышает, – и к вечеру она была вырезана и пришита, удивляя сидящих тут генералов.

У Круглова были углубистые глаза, и лаистый голос, он обрывал попытки говорить или: просить. И когда кто-то из obsługi обратился к сидящим «господа», он окрикнул: «Не господа, а арестанты!».

Чем сильнее было давать перевес, тем крепче будет новая власть.

И вот в этом одноэтажном павильоне, сбоку пристроенном ко дворцу, так и предназначенном для министров в перерывах думских заседаний, теперь собирались – частью министры последних правительств, частью разные сановники или видные деятели (иногда по случайному капризу обстоятельств или мстительности своих врагов). Большой частью они пришли сюда одетые тщательно, в крахмале и отутюженности, они вообще не одевались иначе. Многие из них, самые важные, попали за овальный стол в зале министерских заседаний – как будто для важного заседания.

И они – всё имели в голове, без бумаг, для такого обсуждения. Тут было три премьер-министра, и много долголетних министров, и все они не раз писали весьма рассудительные докладные своему Государю и делали всеподданнейшие доклады – со значительным пониманием государственных проблем, гораздо более высоким, чем их обвиняли в Государственной Думе. И все они держали в памяти череду государственных дел, осуществлённые и упущенные возможности за много лет, – и так лучше многих членов Думы могли оценить всё происходящее, утешая или растравляя друг друга. Все вместе они держали в голове ещё цельный образ и смысл государственной России, – но обречены были никому его не передать, и самый обмен мнениями был им запрещён.

За соединительным коридором гудело многотысячное солдатское море, невообразимо перемешивались лица, – тут люди одного слоя и тона были посажены каждый как бы в невидимую одиночную клетку – травить самого себя собственным бедственным жребием. В этой неподвижной затёклости и молчанке вокруг общего большого стола государственные соображения в их головах были затмены и утеснены собственной бедой. И всего-то они могли ждать только – как бы им поесть, да разрешили бы ночью не сидеть, а прилечь, хоть и в этой одежде, хоть и мучение не менять одежды на ночь.

Сперва через окна вливался ярко-солнечный день, потом он перешёл в пасмурный, даже со снегом. Однажды сильно стреляли близ дворца, так что металась надежда на освобождение. Но кончилось ничем. И вот потянулся изнурительный долгий вечер при лампах.

Самого последнего ненавидимого правительства, которое только что было свергнуто, как раз почти и не было: ни Беляева; ни Протопопова, которого, роя землю, искала вся столица, а числили уже в Царском; ни Риттиха, ни Раева; ни Покровского, ни Кригер-Войновского, ни Григоровича, – к трём последним благоволило общественное мнение, а главные разыскиватели на арест были студенты. Сидел тут только князь Голицын, столь же недоуменно-неуместный здесь, как и недавно во главе правительства; да стареющий эпикуреец Добровольский, наиболее комфортабельно попавший под арест: сам позвонил о сдаче из итальянского посольства, и Родзянко прислал за ним автомобиль; да более всех виновный Рейн, несостоявшийся министр здравоохранения, запрещённого Думой; да позже привели Шаховского, Барка и Кульчицкого.

Зато были два предыдущих премьера – 77-летний хладнокровный Горемыкин с опущенно-разведенными бакенбардами, не упустивший прихватить с собой и коробку сигар, сокращавших ему тут время. (А привели его, навесив для глумления поверх шубы цепь Андрея Первозванного). И 70-летний Штюрмер с помятой вялой бородой и дрожащей челюстью. Зато было несколько заместителей министров – иногда случайных, иногда известных твёрдыми убеждениями. Зато памятливые общественное мнение выхватило сюда, вдобавок к Щегловитову, – врача Дубровина, председателя Союза Русского Народа, и нескольких видных правых из Государственного Совета – Ширинского-Шихматова, Стишинского. (А митрополита Питирима, как он расслабился и заболел у самых дверей, так и не довели, отпустили). Обман Хабалова не помог, арестовали и его. Несколько чинов градоначальства, во главе с Балком. Злополучный хлебный уполномоченный Вейс. Попался и Курлов, никак не ожидавший себе ареста и застигнутый дома утром, – сидел вот, низкорослый, с прищуренным одним глазом и сигарой в углу рта. Несколько генералов, начальник Военно-медицинской Академии, начальник военно-учебных заведений да начальник военно-морского корпуса вице-адмирал Карцев, да адмирал Гирс, да начальник управления железных дорог. А остальные – мельче, незначительней, и не все уже принимались в этот павильон, отводили их на второй этаж.

Так, кроме нескольких сильных лиц уверенных убеждений, состав собранных арестантов поражал своей незаконченностью: неумело ли были проведены аресты? или некого было в императорской России брать?

Новые узники сидели в своих прозрачных одиночках по нескольким смежным комнатам, иногда открывался вид из двери в дверь, можно было досмотреть туда и так догадаться, кто уже попал и кто ещё не попал. Сановные пленники ревниво оглядывали друг друга, с удовлетворением находя знакомых («не я один») и с завистью не находя известных одиозных лиц, как Николай Маклаков или Протопопов. С обидой видели, что главный виновник всех последних месяцев – словчил и ускользнул! Но вся свобода узников была – вертеть молчаливой головой да жаловаться про себя.

Вся их оставшаяся свобода была – под столом подбирать ноги или отпустить их. Выход в уборную разрешался по одному, с выводным, не часто и не сразу, как старикам бывает и трудно. Вот только когда узнали они нецененную степень своей бывшей свободы, даже в обиженной отставке: передвигаться, разминать ноги или давать хребту отдыхать в постели.

Иногда несколько курсисток приносили им поесть: бутербродов и чая, так и ставили на столы перед ними. То и было всё разнообразие в их суточном сиденьи.

Да с важностью входил Керенский, обходил комнаты напряжённо-торжественной фигурой:

– А, Стишинский! Однако вы могли бы встать, когда с вами разговаривает член Комитета Государственной Думы.

Керенский привёл и прапорщика Знаменского, никому не известного своего приятеля,

объявив его начальником караула павильона, над Кругловым. Курсисткам Знаменский назвал, что – педагог, но прирождённая хватка у него оказалась тоже тюремная и сильный голос для окриков, хотя он обращался мягче Круглова. Однако весь установленный жестокий режим при нём не ослабел. Так же с зычностью поднимали призрачный мир сановников:

– На прогу-у-улку! Внимание, часовые! В случае неповиновения – применять оружие! Всем, всем подниматься!

Но не приходилось им надевать пальто, шуб (да деть их было некуда, сановники так и сидели просто в них или держа их под собою в креслах), – а вставали, как были, иные пошатываясь, и, повинувшись педагогической длани Знаменского, – шли гуськом в затылок вокруг своего стола, по-за стульями, по-за креслами своих коллег, раз в круг добредая минут и собственный свой стул.

И так брели они этой странной вытянутой вереницею, только пожилые и старики, чередуясь гражданские в белом крахмале и военные с тяжёлыми витыми эполетами, все дородные, все вальяжные, многие ходившие в придворных церемониях, а вот теперь здесь, – отсиделими ногами, а кто с кружащейся головой, без права поворачивать ею, лишь глазами коситься, – замкнутой овальной чередой, как не ходят нормальные люди, и уже некоторые не зная вскоре, не лучше ли рухнуть в своё кресло, – пока не звучала тем же густым голосом команда:

– Са-дись по местам.

Было ещё у стен полдюжины коротких бархатных диванов, и прапорщик Знаменский определял на глазок, кому разрешить на ночь лечь.

Молчали гробово. Только растравленный адмирал Карцев несколько раз за вечер вдруг вскрикивал сильно:

– Дайте воздуха!... Душно, дайте воздуха!...

228

События кипели где-то, но к царскосельскому Александровскому дворцу докатывались только слухами и более всего не через должностных: чиновных лиц, а через прислугу. Слух был, что в Петрограде убит камергер Валуев. Слух был, что пробрался в Царское начальник петроградского Охранного отделения генерал Глобачёв, его отделение разгромлено со всеми тайными бумагами, – но это он рассказывал начальнику дворцовой полиции, а сам не сделал попытки доложить императрице. Пришёл ужасный слух, что подожжён дом графа Фредерикса, а графиня отвезена в больницу. Похоже было, что в Петрограде и всё разгромлено, что могло стоять, что было властью, а новый думский комитет Родзянки не владел положением. И даже, рикошетом от столицы, достиг слух, что и сам Протопопов – в Царском, и даже прячется здесь, во дворце, или у Вырубовой, – и из-за этого будут громить дворец. (А что Вырубова приносит несчастье – это вся прислуга почему-то считала так).

Ах, Александр Дмитриевич, надежда царской семьи! – отчего же он не спас ничего?...

И в самом Царском усилилось брожение. Говорили, что броневики подошли к Софийским казармам стрелков и поднимали их куда-то. Что в царскосельской ратуше собирались солдаты и офицеры. Изредка издали доносились выстрелы – как будто громко кололи дрова. К вечеру сгустилось ощущение подступающей опасности.

Но ничего реально дурного не происходило близко, никакие мятежники на виду не появлялись – и свободен оставался проезд к Фёдоровскому собору, где в 7 часов был назначен молебен о здравии цесаревича. Государыня поехала с единственной здоровой Марией, а также немало офицеров Конвоя и Сводного полка.

Чудный был молебен, но душа не стала легка. Возвратились во дворец так же беспрепятственно, однако здесь – то от баронессы Буксгевден, то от четы Бенкендорфов, от мадам Шнайдер и от Лили Ден, государыня узнавала жуткие новости, которыми уже был угнетён дворец: в Царском солдаты разбили несколько винных лавок и погребов (заходили распивать в соседние дома, а если их не впускали, то разносили двери), – и это были

императорские стрелки?? Да и при закрытых окнах стала слышна беспорядочная стрельба, а при открытых форточках – и игра военных оркестров, то как будто гудел морской прибой или как изображают шум толпы в операх. Передавали, что освобождены арестанты из тюрьмы. Но самый страшный слух был, неизвестно как пришедший, но уже уверенный во всём окружи: что из Колпина к Царскому валит огромная толпа, называли тридцать и триста тысяч, тамошних рабочих и всякой восставшей черни, – идут сюда, громить дворцы!

Но, правда, немалая же сила стояла и на охране дворца. Прямо во дворце, в его обширных подвалах и примыкающих казармах, были собраны: две роты Конвоя – терская и кубанская, одна рота железнодорожного полка, два батальона Сводного гвардейского – и уже пришли из Александровки две роты родимого гвардейского экипажа, и ещё была батарея воздушной охраны во дворе, пушки которой теперь наклонили и направили к воротам. И несколько дворцовых генералов было во главе, а генерал Гротен – и воевавший, с фронтовым опытом. Вдоль дворцовой ограды вкруговую была расставлена цепь. Вне ограды разъезжали верхом казаки Конвоя.

Сила была немалая, и все преданные, все верные, готовые к защите – и против них разрозненные расстроенные солдатские толпы не должны бы иметь силы, да они не пытались и приблизиться.

Но вдруг сами воинские начальники обнаружили, что их части, так долго содержимые для лейб-защиты Их Императорских Величеств, – как же могли быть применены? Если принимать бой и защищать дворец – то при перестрелке могут получить повреждение члены августейшей семьи, да и сам дворец?

Обратились за разъяснением к Ея Величеству.

Александра Фёдоровна сохраняла всё мужество и наружное спокойствие, она словно совсем перестала испытывать в эти дни свои непрерывные измучивающие болезни. Она была здесь сейчас как бы старший из генералов, первый комендант своей дворцовой крепости, несомненный начальник этого пёстрого гарнизона. И власть была ей дана – пожалуй, впервые в жизни, не опосредствованно, не через влияние на царственного супруга, не через приказы послушным министрам, не влиять-уговаривать, – но прямая власть применять силу и открывать огонь.

И, всю 45-летнюю жизнь томившаяся от невольной женской своей ограниченности, оттого, что не открыта ей прямая власть над событиями, – в этот великий день событий и при собранной всей своей решимости, смелей и властней всех этих придворных мужчин и генералов, – императрица почувствовала, что уверенность решений изменяет ей. Все предметы вдруг задвоились, затроились – и она перестала единственно верно видеть: как же следует поступать?

Давать бой?...

Единовластие оказывалось совсем не прямолинейно, каким Александра Фёдоровна видела его всю жизнь.

Угроза разгрома дворца, шальных пуль, залетающих в окна, может быть и к детям (может быть и к наследнику!), и возможные раны и смерти любимых чудесных конвойцев, которых знала она в лица и по фамилиям, и семьи их, и гвардейских матросов (столько спутников яхтенных прогулок!), да и гвардейцев Сводного полка, – да даже не только их, но и тех, наступающих, не известных поимённо, но тоже наших, императорских гвардейских полков, – обессиливали её приказать бой.

А те колпинские рабочие, которые только и рвутся для грабежа и мести и может быть подкатят сюда через час? К ним – у неё не могло быть жалости?

Сколько травили её и кляли, что она – немка, что она – чужая, не считает народных смертей, а жалеет только немецких военнопленных, – от одного этого висящего обвинения, если не просто как христианка, воротившаяся с церковной службы, – она не могла приказать стрелять!

А стрелять в эту колпинскую толпу – это был бы ужасный повтор ужасного 9 января, этот распад ума, когда, имея всё оружие, ты беспомощен что-либо сделать.

Сколько раз в колебаниях и растерянности мужа императрица дрожала от порыва к действию! И вот – прямо к ней обращались генералы за приказом, а она ничего не могла повелеть, кроме слабости.

Расслабились брови над её глазами и разжались губы.

Порог решения.

А ещё то, почему-то, добавило страшности, что вдруг погас электрический свет по всему Царскому Селу, кроме дворца, – и ночной мятёж в этой мгле показался особенно затаённым и угрожающим.

Тут баронесса Буксгевден позвала её к окну. Там, на площадке перед дворцом, освещённый фонарями и окнами дворца, генерал Ресин выводил и расставлял две роты Сводного полка – очевидно, готовился к близкому бою.

И действительно, ружейные выстрелы, казалось, приближаются. И кто-то сказал, что в пятистах шагах отсюда убит полицейский на посту. Вот-вот начнётся стрельба и здесь, и прольётся кровь на глазах! А ещё же – сколько беззащитных постов расставлено вокруг решётки парка! Нет!! Этого нельзя допустить!! Кровь – не должна пролиться, и тем более – на глазах!!

– Ради Бога! ради Бога! чтобы ради нас не было крови!!

Но – как же?

Государыня распорядилась: все войска ввести внутрь дворцовой черты. И – снять посты за парковой решёткой.

Но если не воевать – тогда неизбежны переговоры?

Да, очевидно так. Да. Как-нибудь уладить, договориться. Послать парламентёров.

Кого же? куда? к кому?

Придумали: начальника дворцового управления князя Путятин послать – куда же? – в ратушу, где мятежники собираются, и предложить нейтралитет: дворцовые войска не станут стрелять, если не будет внешнего нападения.

Ловилась размытая черта между мраком города и ярким светом дворца. Ожидание. Иногда оттуда надвигались, с криками или песнями. Отходили.

Но нарушился строгий недопуск. Проникали какие-то неизвестные личности и в полутьме шептались с дворцовыми. Во дворец просочился и распространился расслабляющий слух: что если только вздумают защищаться, то артиллерия откроет по дворцу разрушительный огонь. И хотя комендант Царского ещё днём предупредил, что царскосельская артиллерия не имеет снарядов, – сейчас нелегко было убедить рядовых защитников, что это – действительно так.

Возбуждение поднялось и на верхи. Во дворец собрались многие придворные чины, жившие вне, как Бенкендорфы или Апраксин, – а теперь им следовало оставаться здесь и помещаться едва ли не в комнатах прислуги.

Усвоив и развивая принятое миролюбие, граф Апраксин испросил повеления государыни перевезти больную Вырубову со всеми её четырьмя сиделками и тремя докторами – куда-нибудь вовне дворца, чтоб ослабить напряжённость и опасность для остальных.

Императрица изумилась: она сказала – миролюбие, но разве это значит предавать друзей?

О! сколько было пережито, изжито и подавлено в её отношениях с Аней за 14 лет! Не было у государыни женской души доверительней и капризней, и надоедней, и даже такого предмета растравной ревности, – но в голову бы ей не пришло пожертвовать Аней для благополучия остальных. Перевозить её в кори, когда детей она не решилась перевозить.

Скорей, она видела теперь, ей придётся расстаться с этим графом.

Возвратился князь Путятин из ратуши. Перемирие принято, – но пусть на дворцовых патрулях будут белые нарукавные повязки – в знак миролюбия.

Хорошо. (Разорваны две скатерти на повязки).

И дворцовый гарнизон пусть пришлёт своих представителей в революционную

комендатуру.

Хорошо.

И пусть пошлёт парламентёров в Государственную Думу в знак признания её.

Ничего больше не оставалось. Хорошо. (Незаметно и без боя дворцовый гарнизон включался в бунтующий).

Но торжество было в том, что избегнуто кровопролитие.

Тут – передали из почтовой конторы по телефону, несказанно обрадовали государыню новой телеграммой от Государя, уже из Лихославля. Он подтверждал, что завтра утром надеется быть дома.

Ну слава Богу! Ну слава Богу! Завтра будет сам, и кончится эта неизвестность. (Едва ли не впервые в жизни она воспринимала своего мужа как твёрдого повелителя).

Всего оставалось пронести бремя императорской власти – до утра.

Но тут стали докладывать, что дворцовые части в смущении, на них подействовали вести и угрозы извне. Были даже глухие намёки – уйти из дворца.

Офицеры обходили свои роты и подбадривали, что наступил момент доказать на деле свою преданность Государю.

О нет, не так! Тут – знала государыня приём. Сколько раз какое воодушевление, восторг испытывали все полки, которые объезжал смотрами Государь, да ещё с наследником. Надо понимать эту немудрёную народную душу: они – обожают царственную семью и на царских глазах готовы на всё.

И Мария Антуанетта сейчас пошла бы обойти строй своих швейцарцев.

И решила императрица: сама обойти фронт своих войск в дворцовом дворе. Её предупредили, что очень холодает. Но она как будто забыла свои бесчисленные болезни, никогда она не двигалась так уверенно, как эти дни.

Вот сейчас они взглянут на неё, верные души, – и воспрянут, и выпрямятся, и будут готовы на любой смертный подвиг!

Большой дворцовый двор был освещён сильным электрическим светом – и в нём выстроили в карре несколько рот. Мороз набрался – 23 градуса по Цельсию, и крупно вывездило небо сквозь всё электрическое осиянье. Слышались постреливания и песни в тёмном Царском Селе. Выстроенных предупредили не отвечать на приветствия громко.

На высоком крыльце распахнулись широкие двери. Вышли и стали по сторонам два нарядных лакея, над собою подняв серебряные канделябры с зажжёнными свечами, хотя и не добавлявшими света во дворе.

В шубе и белом пуховом платке вышла высокая, ровная, жёстко-величая императрица, на закинутой голове как бы неся невидимую корону.

Рядом с нею в меховой шубке шла полноватая миленькая 18-летняя Мария, совсем без величия.

Войскам негромко отчётливо скомандовали.

Снег скрипел под ногами.

Царица и царевна обходили ряды, кивали, улыбались – ведь они не могли ни взять к козырьку, ни скомандовать сами.

А сказать солдатам что-нибудь отчётливо и громко – царица не нашлась, да и опасалась своего акцента.

Можно было что-то говорить негромко офицерам, даже непременно надо было говорить. А – совершенно нечего, неудобно, не придумать и столько фраз.

Разве:

– Как холодно! Какой мороз.

От мороза или чего, но лица многих солдат были хмуры, никак не сиял всеобщий восторг, не прорвался в полугромких ответах рот, – и сама государыня уязвлённо заметила это.

Смотр – тоже оказался трудным императорским делом.

Августейшие особы – обошли, ушли. Надо было бы ещё спуститься и к тем частям, кто

оставался в подвалах, но уже отказывали ноги императрицы. Она уже падала.
Со двора водили солдат – группами в коридор 1-го этажа и там поили чаем.
Часовые при орудиях прыгали, чтобы согреться.
В тёмном с заревами отдалении слышались пьяные голоса и редкие выстрелы.

229

Поезд со свитою, литер «Б», шёл на полчаса раньше императорского поезда, литер «А». Перед десятью часами вечера в Вышнем Волочке от жандармского подполковника узнали: в Петрограде Николаевский вокзал горит, новый комендант вокзала всего лишь поручик Греков приказывает всем начальникам станций сообщать ему обо всех без изъятия воинских поездах, их составе, количестве людей, роде оружия – если они имеют назначением Петроград. И поездов этих не выпускать со станции без разрешения временного комитета Государственной Думы.

Это, очевидно, касалось экспедиции генерала Иванова – о ней уже прослышали в Петрограде. Впрочем, опоздали: генерал Иванов уже вероятно в Царском, и верные полки стягиваются к нему.

Но если так следили за воинскими поездами, то тем паче за императорскими? Каждый переход их от станции к станции отмечался в мятежном Петрограде – и там что-то готовили против них?

Но если так – надо же было что-то предпринимать, нельзя же было ехать так безоглядно!

Что думал Государь?

Однако не было указаний свитскому поезду останавливаться и ожидать. Единственно они могли – оставить на станции связного для Воейкова с изложением обстоятельств.

Через полчаса после литер «Б» подкатил к Вышнему Волочку императорский литер «А». Воейкову были доложены все опасения свитских.

Воейков сумел поставить себя так гордо и независимо, будто ему одному принадлежало не только решение о пропуске или непропуске каких-то известий к Государю, но и само решение по этим известиям.

Ничего не ответив свитскому и ничего не выразив надменным лицом, он перешёл по платформе и поднялся в вагон к Государю.

Через несколько минут императорскому поезду было дано отправление дальше.

Светло-успокоенное настроение сегодняшнего солнечного дня, особенно после ликующих солдатских приветствий, – с сумерками, с темнотою и с тревожными известиями угасло в Государе. Он курил по полпапирсы, вдавливал их в пепельницу.

Унизительно, но на просторах и железных дорогах его страны распорядился даже не Родзянко, не Гучков, – а какой-то Бубликов, какой-то Греков... От этого одного заполнялась душа скучливым омерзением.

Он – не понимал, как это могло происходить – да ещё во время войны?

Лишь спокойно-упорядоченный, подчинённый вид проезжаемых станций успокаивал, что всё остальное был налёт какого-то бреда.

Если принять всё это всерьёз – что возникло противодействие Государю на просторах его государства, – то, может быть, надо было применить ещё более решительные меры? Привести в действие главные силы?

(Да не вернуться ли в Ставку?...)

Ни с кем, ни с единым человеком, однако, не мог он посоветоваться! – ни меньше всего с Воейковым, о котором правду всегда говорила Аликс, что он плохой советчик, что его надо осаживать, и даже – не настоящий друг, но держит нос по ветру.

Как бы это вдруг: повернуть в Ставку? А Аликс и больных детей покинуть на произвол судьбы?

Что должна она испытывать, бедняжка ненаглядная, в самой близости разбойного

мятежа? И он обещал ей завтра утром быть.

Да и как такой поворот выглядел бы перед тем же Воейковым? перед всеми придворными? Потом и перед Алексеевым?

Монарх бывает скован в движениях больше, чем любой подданный.

Окончательное решение он мог принять только достигнув Аликс.

Катили дальше. Гладко шёл поезд по отлаженной Николаевской линии.

Государь не находил, чем заняться до вечернего позднего чая. Не читалось. Много курил.

Вспомнил свою беспричинную грудную боль позавчера на литургии, так и не разгаданную, – боль при наиздоровейшем сердце и всём теле. Не было ли это каким-то знаком или предчувствием, угаданием на расстоянии?

В Бологом ожидался встречный фельдъегерь из Царского Села и новости от Аликс. Но когда пришли в Бологое близ одиннадцати вечера – не оказалось фельдъегеря. Вместо этого свитские раздобыли ходивший на станции листок за подписью Родзянки: о создании временного комитета Государственной Думы, который перенял всю власть от устранённого совета министров в целях восстановления порядка.

При бушевании черни это могло быть и хорошо – но слишком давне было недоверие к Думе, всегда интригующей против Государя. И редко кого Государь так упорно не любил, как Родзянку. В перенятии же власти от совета министров было и дерзкое самозванство.

А само Бологое – совершенно спокойно. И до Тосно, поскольку были сведения, повсюду охрана и никаких беспорядков.

И уже так близко оставалось до Аликс – к утру уже можно быть с нею! Как же не ехать дальше?

Вперёд!

Как любил про себя повторять Николай: сердце царёво в руках Божьих.

230

Положение конвойцев Его Величества было особенное, высокое, в родных станицах аж глаза закатывали: охраняет самого Царя! И верно: раз уж зачисленный в Конвой (по виду, по лицу, по покровительству), казак становился если не членом императорской фамилии, то как бы спутником её. Он много раз в простой обстановке и разных чувствах видел и царя и царицу, сопровождал их в поездках, конно охранял парки, где они гуляли, стаивал вблизи комнат, где они разговаривали, нередко и по-русски, был знаем ими по фамилии, привыкал к их небожественности, а к своей напротив довечной обеспеченной поднятости над положением простого казака. Не приходилось ему томиться по смене обмундирования, по увеличению содержания, по праздничным подаркам, – всё это приходило неизменной чередой, как и рождественская ёлка конвойцев с непременно посещением царя, царицы и дочерей. А обязанности были: лихо выглядеть в своём страшном убранстве, чернолохматой папахе над красной или синей черкеской при белом бешмете, сапогах без каблуков, внушительно стоять на постах, весело отчётливо отвечать на приветствия, а при свободе от дежурств и кончив утреннюю уборку коней – хоть прыгать в упругую чехарду с такими же застоявшимися товарищами.

Собственный Его Величества Конвой со славою состоял при особах императоров уже 106 лет (ни разу не вступивши за них в бой), и в этом была гордая устоенность его.

Пять сотен его в начале 1917 года распределялись так: по одной кубанской и терской сотне в Могилёве, при Ставке, по одной – в Царском Селе, при дворце, пятая сотня – частью в Киеве, при вдовствующей императрице, а частью – 87 человек, 2 офицера, денежный ящик, имущество конвоя и запасные лошади – в Петрограде, в подворьи между Шпалерной улицей, куда выходили ворота, и Воскресенской набережной, куда выходило несколько офицерских квартир.

Гой, беда! ворота выходили на Шпалерную! И так эта полусотня попала в самый

вихревой захват революции – хуже нельзя. Находишься она где-нибудь на улицах дальних, она ещё долго могла бы пересидеть за запертыми воротами: провиант и фураж у неё были.

В первый день, в понедельник, отсиделись благополучно – всё это чертобесие сновало по Шпалерной мимо, не озираясь по бокам. Даже когда солдаты вроде гуляли, руки в карманы, цыгарки в зубах, зрелище невиданное, – и то как будто всё гнали куда-то с поспехом. Но уже вчера с вечера стали в ворота сильно и пьяно стучаться. А нонче с утра и вовсе жизни не стало: стучащая прикладами и стреляющая толпа по Шпалерной ломилась во все запертые ворота подряд, добиваясь, что за ними. Не то чтоб осибно к конвою, который не имел же вывески, а ко всем кряду: что там прячут?

Вывески конвой не имел, но черкески, но вызывающие папахи – тут, посреди Петрограда, в такой день, не могли не привлечь зарывшейся толпы: что-то особое, не как у всех.

А ворота открывать – не избежать.

Так приbedнились, и офицеры тоже. Были у конвойцев такие «казачьи шубы», вроде лёгких полушубков нагольных, не имеющие на себе никаких воинских отличий и надеваемые обычно под черкеску, когда холодно, – остались теперь все в этих шубах. И ворота – открыли.

И стали весь день засовываться прохожие, пробеглые. Видят – какие-то казаки при конях, никого не трогают. И сперва сходило.

Но потом стали добиваться: а где ваши офицеры? вы ж не без офицеров? Перебейте своих, как мы своих перебили!

Казаки отшучивались. Так начали их угадывать:

– Ну, погодите, опричники! До ночи!

И уже скоро вся Шпалерная знала, что тут засели – *царские опричники* .

Плохо. Положение конвойцев становилось нестерпно: ведь так и нагрянут ночью! и разнесут! Или подожгут.

И придумали, и с дозволения офицеров стали казаки к этим шастающим солдатам оборачиваться как тоже бунтари, отзываться разными вольными и скверными словами. Двое-трое пошли в шествиях толкаться и даже речи говорили. Но и на такой манере если было дотянуть, то только день до ночи, а что завтра?

А поддержка из Царского Села – к ним не шла. Не вызволяли их из этого ада, не забирали туда, во дворец, со всем нестроевым имуществом и денежным ящиком, который тоже надо было от разграба охранить. И телефон с Царским занеработал.

И тогда есаул Макухо, казначей, приодевшись понезаметнее, пошёл вечером в Государственную Думу: ведь недалёко, ноги не отвалятся, а сходить **узнать** .

Узнал. Люди там как люди, не злые, не убивают, но дюже занятые, теснятся, толкаются. Также жить хотят, запасы большие делают. И офицеры там бродят, немало. А всем заворачивает там нашенький же человек, есаул Терского войска Михаил Алексаныч Караулов, да он по прежней службе некоторых и наших офицеров, надоть, знает. Издаля его видел – но к нему не протиснулся, да без формы он за своего и не признает, как и подойдёшь, о чём разговор?

И рассудили казачки: а нам бы послать к нему своих выборных, да в полной казачьей форме. По Шпалерной сейчас, по ночи, як-небудь проберутся кучкой – а там у Караулова всё испросят, как быть, как и новой обстановке обращаться.

Поладили. Семеро конвойцев во главе с урядником оделись в полную конвойскую форму. Ещё прикинули: а ведь без красных бантов теперь тоже идти нельзя? Прицепили на грудь по большому красному банту. И – пошли по Шпалерной размеренным шагом, сами над собой посмеиваясь: вот дожили-то! с бантами и в Думу. Нужда погнетёт – пойдёшь и к чёрту. А мы – и не в Думу, мы к своему хорошему земляку.

К ночи враждебной солдатни на Шпалерной сильно поменело, никто их не задел. И перед Таврическим не так густились, вступить – вступили.

И усередине, по забитому залёжанному людьми дворцу найти Караулова не так было

сутужно: носился он в газырях быстро-лихо, да и был он не кто иной, а *комендант* Таврического.

Подступили – увидел. Обшупал конвойцев весёлыми глазами:

– Ну что, старики? – хоть молодых больше. – Что скажете?

Постояли, где встретились, потом в сторонку отошли. Караулов всё посмеивался, а конвойцы переминались. Поведали ему, в какое стеснение попали, просто безвыходье, и как офицеров уберечь? А из Царского Села никакой подмоги нет.

– И не будет! – сказал Караулов. – Надо самим думать.

Так вот, мол, придумать и не можем, головы наши к тому не приспособлены.

Прищурился Караулов и посоветовал:

– А вы вот что, земляки. Вы – арестуйте-ка своих офицеров. Верней, они сами пусть арестуются по доброй воле, им же и безвредней. И их под арестом никто не тронет, и на вас укору нет: мол, сделали, что могли, мы – за новый строй.

Совет понравился конвойцам. Чего ж? – меж своими, по-хорошему.

Только вот нельзя ли какую бумажку охранную – ото всякого напору, кто налезет?

Ещё посмеялся Караулов, повёл их на второй этаж, в такие комнаты, где офицеры были, полковники, и штатские, и какой-то Александр Иванович, – и все на них пялились, улыбались, дивились.

И дали целых две бумажки.

Одну – от Караулова, что числится полурота Конвоя за ним.

Вторую – Александр Иванович велел: что от Государственной Думы предписывается их начальству продолжать оберегать лиц и имущество, находящиеся ныне под их охраной.

Так понять, что: продолжать охранять Их Величества? Правильная бумажка.

231

А дачные поезда и под полночь ходили строго по расписанию, хотя почти никто не ехал – в вагоне 1-го класса Ломоносов оказался один. И как ни в чём не бывало шёл контролёр. И рассказал Ломоносову, что на сторону Думы перешёл уже и весь петроградский гарнизон, в Петрограде боёв больше нет.

Поразительно! Интересно до захвата!

На площади у Виндавского вокзала, на Семёновском плацу ещё было два-три фонаря и люди, но близко сразу всё кончалось: надо было шагать вдоль Обуховской канавы в полной тьме, безлюдья – а неподалеку слышались выстрелы, то ружейные, а то и пулемётные.

Сжимал в кармане револьвер. А на случай властей – что ж, вполне ответственная служебная телеграмма.

А на Фонтанке оказалось светло. И близко наискось, у министерства путей сообщения, видны были солдаты на часах.

Вышел прапорщик, Ломоносов показал ему бубликовскую телеграмму. В вестибюле несколько солдат спало на лавках, кто и на полу. Озабоченный швейцар поспешил к знакомому железнодорожному генералу и, снимая с него пальто с зелёной генеральской подкладкой, пожаловался:

– Вот, ваше превосходительство, до чего мы дожили.

– А где Бубликов?

– В кабинете начальника управления. Только к нему без пропуска нельзя.

Солдат повёл Ломоносова знакомыми лестницами и коридорами. Из приёмной вышел гусарский ротмистр с роскошными пышными светлыми усами, и с какой-то игривой строгостью допрашивал, ушёл, заставил ждать в коридоре стоя – а солдат тоже не отпускал. Наконец, проходил знакомый экзекутор – он и доложил Бубликову. Впустили.

Кабинет был ярко освещён. А чтобы не светил на улицу – сторожа прибывали к окнам занавеси из солдатского сукна. Бубликов сидел за столом начальника управления, ещё было двое штатских и знакомый путеец. Бубликов радостно вскинул руки, вышел из-за стола.

Глаза его бегали быстрее и острее обычного, и движенья рук больше нормы, как если бы в подвыпитьи, что странно было при тщательности его причёски, усов, воротничка.

– А-а, Юрий Владимирович, как я рад вас видеть! Очень вас жду! Ну, так вы к нам присоединяетесь?...

Неосторожно, нетактично, никак не хотел бы Ломоносов такое объяснение вести вслух, при посторонних. Ведь он приехал пока только – посмотреть. А Бубликов, ничего этого не понимая, взвинченно-радостно объявлял:

– Все бывшие министры – арестованы! Вся власть – у Думского Комитета! Угодно ли вам предоставить себя в распоряжение нового правительства?

Очень был вскипячён. Смотрел азартно. Среднего роста, при средней наружности старательного чиновника – кажется, откуда такой революционный размах?

Ломоносов – почти того же роста, но – плотней, и животик округлён, и голая голова как круглый котёл, но с вьющейся бородкой, а глаза тоже – быстрые, острые, колкие.

На Бубликова. На этих. Пожимал руки – а на всякий случай ничего определённого не отвечал.

Бубликов порывисто снова сел на место начальника, Ломоносову указал невдали и так же азартно:

– А я – возглавил министерство, и беру в руки все железные дороги страны! Разослал телеграмму по всей России! А вот, распорядился: на 250 вёрст вокруг Петрограда воспрещаю движение всяких воинских поездов!! И всё! И никакие подавительные войска не продвинулись! А? Яйцо Колумба! Железные дороги в России – это всё!

И правда. Оглушительно простое решение. Ломоносову понравилось. Так и правда перевешивает новая власть? Так быстро и определённо? И Бубликов – по сути новый министр?

И этот новый министр объяснял, что посылает нескольких верных на разные дороги, чтоб утвердить новую власть и ускорить перевозки, в том числе и Ломоносова на Московско-Киевско-Воронежскую.

Э, нет, так Ломоносов не согласен. А за кого Москва? А что в Киеве? Делить шкуру медведя, когда он ещё гуляет в лесу. Э, нет. А где царь, что делает?

Бубликов успел увидеть отказ на метуче-сметливом лице Ломоносова, но не успел ничего ответить – из соседнего кабинета вошёл солдат глистового вида, с полубразованным лицом, и доложил:

– Императорский поезд прошёл Бологое и следует к Вишере.

– Вот и первый ответ вам! – И переменял план: – Давайте-ка, последите за императорским поездом.

Ещё острее, прямо на нож сажали. Но Ломоносов понимал и даже любил такие перемёты, он в жизни делал их не раз: учился в кадетском корпусе – потом надумал в духовную академию – а поступил: в институт путей. Играл с революцией – а сам выдвигался в учёного и в генерала. Он любил приключения, ах, любил! Сейчас – всё на перевесе, но кажется на хорошем. А упустишь момент, несколько часов – и тоже всё упустишь.

– А что вы предполагаете с царским поездом делать?

– Ещё не решено! – быстро ушагивал Бубликов в соседний кабинет. – Сейчас об этом буду с Родзянкой по телефону.

У оставшихся Ломоносов спросил:

– А почему это солдат? Кто это?

– Член Государственной Думы Рулевский, – ответили ему. – Помощник Алексан Саныча.

Побиться об заклад готов был Ломоносов, что такого члена Думы не существует. Сообразил, что тут в шкафу может быть справочник. Пошёл в тот угол, поискал, подтвердилось: такого члена Думы не бывало, ни Первой, ни Второй, ни до сегодня.

Вернулся Бубликов, подошёл сюда в угол, Ломоносов тихо спросил:

– Алексан Саныч, откуда такой член Думы?

– Да пусть, для солидности, ему распоряжаться надо.

– Вы его хорошо знаете?

– Только что в Таврическом прицепился.

– Да как же так можно?

– А что? Помогает и ладно! – всё тот же азарт нёс Бубликова. – Всех телеграфистов к рукам прибрал, хорошо! В русском народе ещё какой запас государственной энергии, батенька! Кто б ни пристал – надо пользоваться, переживаем исключительную минуту!

Да чёрт его знает, может быть. Этот вихрь закручивал и Ломоносова! Уж он не спрашивал: а что за солдаты-семёновцы охраняют министерство, кто их набрал? а переменятся в настроении, поднимутся сюда, и всех нас переарестуют? Пистолет-то хоть и принёс в кармане, а никогда по-настоящему не стрелял.

Ещё удивительней было, что далёкие, даже сибирские линии, узлы и станции уже подчинялись ещё сегодня утром не слыханному Бубликову? И за 250 вёрст останавливались воинские эшелоны?

Попробовать? приложиться?

Царь, видимо, ехал в Царское Село? Ну, не в Петроград же.

Но тем временем самозванный комендант Николаевского вокзала уже сам скомандовал: забирать его в Петроград!

В плен!

Царя!

А мы?...

Звонил Бубликов Родзянке уже не раз, оттуда отвечали только:

– Сейчас обсуждаем... Ещё не решено... Следите пока за поездом.

Разве с думцами сварить настоящую раскатистую революцию?!...

232

Генерал-от-инфантерии и генерал-адъютант Алексей Ермолаевич Эверт обладал фигурой высокой, крупноглыбной, большими руками, большой головой и крупными чертами, прямым железным взглядом из-под резких бровей, – и даже кто б не знал, что этот генерал командует Западным фронтом, по всему его облику и поведению должен был предположить такое. Каждым шагом своим несуетливым утверждал: я – Главнокомандующий!

И почерк его на резолюциях был такой – не обычный человеческий почерк, буквенная вязь, но – громадные буквы, и почти одни палки, ужирняющиеся как дубины. В себе он более всего ценил здравый ум – и через этот здравый ум пропускал воинские уставы и перелагал обширными приказами к войскам, уча и какая должна быть хорошая пехота, и какая должна быть конница хорошая – та, что, не боясь противника, не знает ни фланга, ни тыла. Но и вместе с тем, хотя швед по давнему происхождению, он был генерал православный и не забывал, что стратегия лишь тогда имеет успех, когда благословлена Богом. Но и вместе с тем он был генерал послушный – и любил получать приказания от старших самые категорические. А когда не получал их, то сносился со Ставкой по проводу и всячески спрашивал советов. Сверху вниз – всегда должна быть ясность.

И поэтому особенно обескуражен был генерал Эверт в понедельник утром, получивши, вне всяких диспозиционных расписаний, телеграмму от председателя Государственной Думы, которая ни по какому распорядку не могла быть послана Главнокомандующему фронтом. И почему именно Эверту? (Можно было догадываться, что и другим Главнокомандующим, но неудобно и не у кого спросить). А сама телеграмма была тона недопустимого, дерзко отзывалась о правительстве и толкала давать Государю неприличествующие советы. За такой тон и такие советы этого мерзавца Родзянку можно

было вполне посадить в тюрьму.

Но часы текли, и Ставка же знала, что Эверт получил телеграмму, – и не давала никаких указаний. Часы текли – и Эверт начал думать, что может так это и надо, по новому какому-то распорядку и при смутных петроградских событиях. Или иначе: Ставка упустила, что Эверт получил такую, но сам он не должен был её утаивать. А значит – надо было по долгу верноподданного донести о ней в Ставку же, то есть повторить туда её полное содержание. А уж раз передавать, то, не вмешиваясь в дерзкий смысл телеграммы, можно было и от себя подтвердить то, что в телеграмме было справедливо. И Эверт добавил от себя прямыми словами: я – солдат, в политику не мешался и не мешаюсь. Не могу судить, насколько справедливо изложенное в телеграмме. Но не могу не видеть крайнего расстройства транспорта и значительного недовоза продуктов продовольствия, что может поставить армию в безвыходное положение. А значит, надо принять военные меры против возможных забастовок.

Так Эверт хорошо вышел из положения: и не смолчал, и, как хороший хозяин, защитил интересы своего фронта. И предложил твёрдые меры.

И ещё прошло несколько часов. И он получил из Ставки приказ о высылке четырёх полков против мятежного Петрограда. И так, он угадал, всё правильно: принять твёрдые меры! Так он и думал.

С быстротой Эверт стал выполнять это разумное распоряжение. Он рассчитывал, что через сутки, в ночь на 1 марта, уже сумеет доложить о полном исполнении.

Но не мог он и послать эти полки просто так, без отеческого напутствия. Но и сам не успевал к местам погрузки, чтобы предстать солдатам своим могучим видом и словом. И решил воодушевить их пространнным письменным напутствием через начальников дивизий, идущих с ними в Царское Село. Что они, доблестные севцы, орловцы, павлоградцы и донцы, отмеченные выбором Главнокомандующего, идут на государево дело, в трудную для государства минуту восстановить внутри России порядок, без которого невозможна победа над нашим жестоким упорным врагом, захватившим часть нашей родной земли и томящим в неволе наших братьев. Без этого сейчас успокоения нарушится снабжение наших храбрых войск, и каждый такой день идёт противнику на пользу. Без этого сейчас успокоения невозможен будет славный мир и свободное широкое процветание нашей родины. А залог успеха полков, идущих на эту задачу, – строжайший порядок, дисциплина и служить живым примером верных слуг своего царя и родины.

И ещё тут же вослед послал трём своим командующим армиями телеграммы, что не может быть допущено никакое брожение среди войск Западного фронта, стоящих перед злейшим врагом России.

И ещё, перерабатывая железнодорожные предупреждения Ставки, Эверт обеспечил чёткую охрану всех своих фронтовых путей: приготовил подвижные резервы с пулемётами и под начальством твёрдых командиров.

И так – всё было совершено, в чём мог он проявить свой твёрдый характер по отношению к мятежу. Его фронт, как и вся Действующая армия, становился крепостью против мятежного Петрограда. И оставалось только ждать новых известий, которые носил ему его начальник штаба генерал Квещинский.

Генерала Квещинского Эверт держал за аккуратность и непротиворечивость. А вид у него был не военный – лысый, обрюзглый, обвислый, с чем-то восточным в наружности, казался как переодет в генеральское и с трудом выравнивается в мундире.

И вот, не успел Эверт хорошо ощутить всё своё железное стояние под волей державного Верховного вождя, как принёс Квещинский длиннейшую осведомительную телеграмму из Ставки. Сообщалось там подробно обо всех телеграммах, пришедших из Петрограда за двое суток, и какие известия, безрадостные и неверные, они приносили, кое о чём в Минске знали и сами, – и вдруг посреди того малозначащей фразой сообщалось: «Государь император в ночь с 27 на 28 февраля изволил отбыть в Царское Село».

Как?? Что такое?? Верховный вождь не стоял во главе своей несокрушимой армии? И

даже прямо поехал в пасть мятежа??

Эвэрт перекрестился. Как будто перестала поддерживать спину главная опора.

Как же Государь мог рискнуть поехать?

Не наше, конечно, делу судить.

Но теперь во главе Ставки остался всего лишь Алексеев, – и Эвэрт уже не мог быть таким уверенным и покойным.

Опять потекли час за часом, по железнодорожным проводам из Петрограда катились ужасные известия, распоряжался какой-то неизвестный наглец Бубликов, – а Ставка молчала. Но теперь само молчание её было не доверительно-надёжно, а – тревожно.

Только короткая пришла телеграмма с убедительным предположением, что весь петроградский мятеж возможно подготовлен противником – и теперь он может начать активные действия так же.

Верно! Этого следовало ждать. Требовалось всем фронтом насторожиться. Но тем более беспокоило бездействие Ставки.

Терпел Эвэрт, терпел – и наконец, уже после часа ночи на 1 марта, поручил Квещинскому поговорить со Ставкой, разведать: что же там предпринимается?

Разговаривал по проводу Квещинский, а Эвэрт сидел рядом, но не объявлялся: не хотел своего ранга терять.

С той стороны подошёл Лукомский.

Квещинский пожаловался, что по всем станциям железных дорог поступают дерзкие телеграммы некоего Бубликова, потом и поручика Грекова (они задержаны в пределах фронта): что никакой воинский поезд, имеющий назначением Петроград, не может двигаться без разрешения революционных властей! Такое распоряжение, буде оно выполнится, остановит движение всех посланных на Петроград полков, о которых Западный фронт сообщает военному министру в Петроград, – и, кстати, правильно ли это? где там военный министр, во власти ли он? Главнокомандующий Западным фронтом интересуется знать, не признает ли Ставка необходимым изолировать боевые армии от проникновения таких бунтарских телеграмм? – это невозможно осуществить в пределах одного Западного фронта. Благоволите сообщить взгляд наштаверха. И штазап не имеет своевременных сведений – что может Ставка сообщить о нынешнем положении в Петрограде?

Лукомский стал успокаивать, что телеграмма Бубликова нисколько не революционна, ибо призывает к порядку и даже удвоенной работе. Телеграммы же Грекова Ставка не знает, но такой надо было ожидать. Вообще же прекратить телеграфное и почтовое сообщение с Петроградом невозможно, ибо это вызвало бы панику и общее замешательство. Необходимо лишь преподать указания, что по долгу присяги мы должны повиноваться только законным властям. Конечно, военные эшелоны должны следовать безостановочно.

Странное понимание присяги: пусть революционеры рассылают, что хотят...

Да вот, вероятно, завтра, успокаивал Лукомский, все железные дороги на театре военных действий будут подчинены Ставке через Кислякова. А в Петрограде? – теперь спокойно: в управление вступило временное правительство из состава Думы. А бывший военный министр сидит у себя на квартире и, да, по-видимому, ориентирован не во всём.

Прочтя ленту до конца, Эвэрт только плюнул и выругался.

233

Недалеко до полуночи, когда разогнанный маховик военной экспедиции совершал свои махи по двум фронтам и по нескольким железным дорогам, а завтра уже должны были проступить и результаты, – генерала Алексеева вызвал к прямому проводу неутомимый Родзянко.

Уже простых телеграмм ему было мало. Он желал лично разговаривать с военными властями, неизвестно по какой субординации. Как когда-то аэропланы заказывал у союзников, никого не спросясь. И тогда Алексеев передавал ему государев выговор. И

отношения стали между ними натянуты. А вот – вызывал.

По телеграфному аппарату не доносился могучий голос Родзянки, но во всём разлитии фраз проявлялось исключительное успокоение. Родзянко объяснял, что при руководимом им Временном Правительстве всё в Петрограде послушно становится в свои берега.

(Вот как, уже не комитет, а правительство? Ну да, и Бубликов же распорядился как министр).

Но в каком состоянии гарнизон? Войска дезорганизованы, не подчиняются, бунтуют?

Напротив, все войска непрерывной чередой восторженно приветствуют Временное Правительство. Гарнизон в полном составе примкнул ко Временному Правительству.

Но офицеры арестованы, разоружены, преследуются?

Ничего подобного, какие-то исключительные случаи. Офицеры – при своих частях, руководят ими и ждут указаний от Временного Правительства. Да вся жизнь в столице быстро нормализуется. Вот например, банки и частные кредитные учреждения ввиду наступившего спокойствия населения решили завтра возобновить свои операции.

(Но это был характернейший знак – банки! Да вообще вся картина оказывалась диаметрально не той. В конце концов откуда у Ставки были все сведения? От подавленного растерянного Хабалова, от взвинченного Беляева, от случайных частных лиц, от напуганных иностранных офицеров в Петрограде. Как ни относиться к Родзянке, к его постоянному всезнайству и апломбу, но всё-таки же он фигура, Председатель Думы, и камергер, и паж, – он же взвешивает, что он говорит).

Но всё это, Михаил Владимирович, слишком разнится от остальных сведений, которыми мы располагаем.

Михаил Васильевич, но на меня вы можете положиться больше, чем на кого-нибудь другого. И моё положение позволяет мне видеть и знать больше других. Все сведения стекаются именно ко мне. А если бы вы могли слышать мой голос, вы различили бы, что даже я – охрип. Это оттого, что полдня я приветствовал полки, приходившие стройными рядами в Государственную Думу. И вот почему я спешу пояснить вам, что войска, которые вы, как слышно, шлёте на Петроград, – исключительно вредны и могут снова опрокинуть нормализующееся положение в анархию, я уже не говорю – вызвать столкновение, страшное взаимное кровопролитие, которого все, решительно все хотят избежать.

(В самом деле, это страшно выглядело: всё успокаивается, всё устанавливается – Алексеев же шлёт войска на кровопролитие...)

Временное Правительство только и ждёт приезда Его Величества, чтобы представить ему пожелания народа. В этих условиях присылка войск и открытие военных действий...

(Опять-таки благоразумно. Сведения Родзянки меняли всю картину, очень ободряли, а доводы его – просто душу поворачивали).

Официальное подтверждение, что правительство сменилось? Родзянко и посылал его сегодня, уже дважды, а разве Ставка не получала?

Но пришлите ещё раз.

Хорошо, пожалуйста.

После разговора Алексеев ушёл к себе и обдумывал тяжело.

Восстание-не восстание, что бы там ни было – но оно прошло, – и в каком же свете перед обществом представала Ставка, посылая карательные войска? И, действительно, зачем же теперь возбуждать анархию заново?

А за отсутствием Государя – войска посылал лично Алексеев? Очень некрасиво. Взглядом общества, вся ответственность ложилась на него.

Он хотел предотвратить избиение офицеров и администрации? Так ничего подобного в Петрограде, оказывается, не происходит.

По сути вот образовалось то знаменитое правительство доверия или ответственное министерство, которому никогда не хотел дать пути Государь, – а теперь оно приплыло на революционной волне. И какое же моральное право имела теперь Ставка посылать на Петроград войска?

Если бы Государь сейчас был в Ставке! – Алексеев пошёл бы к нему с докладом и ждал приказаний.

Но Государя не было, и связи с ним не было, и вся лёгкость рук и вся тяжесть рук принадлежали Алексееву одному.

Борисова – уже нет в Ставке, не посоветуешься.

Вместо того – насажал здесь Гурко – Лукомского, Клембовского. Впрочем, Лукомский тоже за правительство народного доверия. А Клембовский с мнением не выступает.

Всё ясней виделась невозможность воевать против русского общества и его законных желаний! Да ещё во время внешней войны.

А разве для армии это будет такая лёгкая прогулка? К чему может привести столкновение с собственным тылом? Расстроятся железные дороги – и армия перестанет получать продовольствие. А она живёт только подвозом, ничего не имея в базисных магазинах.

Армия не сможет спокойно сражаться, когда в тылу идёт революция.

Да всё это стягивание войск на подавление было глубоко внутренне против убеждений Михаила Васильевича.

Но не мог же он и ослушаться государева приказа.

Ах, как несчастно, что Государь уехал! В такую минуту. Был бы сейчас на месте – куда убедительней выразить голосом, рядом, чем знаками азбуки Морзе слать теперь вдогонку – и куда?...

Ну, уехал, так уехал. Знал, что делал. Так тому и быть.

Через несколько часов Государь должен быть в Царском. Послать туда?

Давно так не мучился генерал Алексеев в трудности выбора.

Никогда бы он не взялся служить незаконному государственному перевороту! Он из-за того сторонился Гучкова и князя Львова. Но если – всё равно свершилось и новое правительство само собою благополучно установилось, – то надо ли ему мешать?

Наконец решился Алексеев на такую полумеру: войск ни в чём не останавливать и, значит, приказ будет строго выполнен. Но послать остановительную предупредительную телеграмму Иванову как самому переднему – чтоб остановить самое остриё движения, чтоб он не успел ввязаться в бой. Переложить главные впечатления от разговора с Родзянкой, но из тактичности не называя Родзянки.

Осторожно составили телеграмму вместе с Лукомским. Никакого приказа на остановку не давать, вообще ничего не приказывать, но *советовать*. Но – просить доложить это всё Государю по его прибытии (а значит – пропустить через свою грудь и внять).

Это – хорошо было придумано. Это – очень хорошо придумали.

В начале второго ночи эта телеграмма № 1833 потекла к Иванову по особой линии царскосельского дворца. И едва пошла – как удачно успела! – линия прервалась. (Петроград прервал?)

Наконец мог Алексеев вздохнуть после этой труднейшей телеграммы и отправиться спать.

Но засыпал он всегда не сразу, пока всё перерабатывалось и улегалось, – и не успел заснуть, как ему в постель принесли неожиданную странную телеграмму от Брусилова.

Докладывал тот, что может начать посадку частей на поезда с утра 2 марта (не очень-то быстро) и даже 3 марта (очевидно, от снежных заносов, на юго-западе бушевали мятели). Однако:

«благоволите уведомить, подлежат ли эти части отправке теперь же или по получении особого уведомления?»

Поразила Алексеева и неуместность такого вопроса: какое ещё подтверждение и уведомление, если послан приказ?

Но ещё более поразила *своевременность* этого вопроса: как мог Брусилов так почувствовать без всякого намёка?

Или Родзянко и ему тоже дал как-то знать?...

Вопрос не давал Алексееву покоя. И он поднялся, койка была за перегородкой, недалеко от рабочего стола, в одном белье пошёл, засветил лампочку и нашёл свою дневную телеграмму Брусилову. Вот как? Там стояло:

«как только представится возможность по условиям железнодорожных перевозок... Не откажите уведомить, когда обстоятельства позволят отправить эти войска».

Ни о каком повторном уведомлении от Алексеева здесь речи не было. Но... значит это так звучало? Что тут почувствовал Брусилов?

Вот странно. Ничего подобного Алексей не задумывал, не включал в приказы главнокомандующим – но вот как будто *это* было написано – несомненно его почерком – и четырнадцать часов назад?

Это – само написалось, между мыслями.

Так с Юго-Западного фронта войска и не двинулись.

ДОКУМЕНТЫ – 5

Телеграмма, № 1833

Царское Село, генералу Иванову

Ставка, 1 марта, 1 ч. 15 м.

Частные сведения говорят, что 28 февраля в Петрограде наступило полное спокойствие. Войска, примкнув к Временному Правительству в полном составе, приводятся в порядок. Временное Правительство, под председательством Родзянки, заседаая в Государственной Думе, пригласило командиров воинских частей для получения приказаний по поддержанию порядка. Воззвание к населению, выпущенное Временным Правительством, говорит о незыблемости монархического начала России, о необходимости новых оснований для выбора и назначения правительства. Ждут с нетерпением приезда Его Величества, чтобы представить ему все изложенное и просьбу принять это пожелание народа. Если эти сведения верны, то изменяются способы ваших действий, переговоры приведут к умиротворению, дабы избежать позорной междуусобицы, столь желанной нашему врагу, дабы сохранить учреждения, заводы и пустить в ход работы. Воззвание нового министра путей Бубликова к железнодорожникам, мною полученное кружным путем, зовет к усиленной работе всех, дабы наладить расстроенный транспорт. Доложите Его Величеству все это и убеждение, что дело можно привести мирно к хорошему концу, который укрепит Россию. Алексей.

234

Премного был напуган Родзянко своим ночным разговором! Удачная была мысль поговорить со Ставкой!

По недлиным и сперва неохотным ответам Алексеева он стал угадывать безусловный успех. Алексей явно не имел никаких своих твёрдых сведений о Петрограде, потому – и твёрдых возражений, ему нечего было выдвинуть своего. И ещё текла лента – а Родзянко уже чувствовал, как его слова внедряются в Алексеева. В конце концов, хоть немудрящий генерал, но был он честный человек. Этим ночным разговором, Родзянко чувствовал, он сильно поколебал посылку войск на Петроград. (А заодно прощупал, что они ещё и не на подступах, никакой полк, видимо, ещё не подъезжает). Если подавить в этом направлении ещё, то можно войска и вовсе остановить.

И так совершались все деяния героев, от Геракла! – в одиночку и даже не на глазах толпы. В глуши ночи, единолично, при телеграфном аппарате – Родзянко своей широкой

грудью прикрыл Петроград и спас, а Петроград спал и даже не знал этого! И только коллеги по Думскому Комитету смогут оценить, но и то – доброжелательные. Не Милюков. Не Некрасов. Не Керенский.

Геройская ночь!

И как тактично и как даже легко Родзянко этого достиг! Просто – силой своего желания. Не пожелал, чтобы войска шли – и они не пойдут. И, кажется, ни в чём не покривил душой. Ну, может быть чуть прибавил насчёт стройных войсковых рядов, глазу старого офицера это не так, – но и искупается же небывалым порывом этих войск идти в Государственную Думу! И в этом, можно сказать, проявлена их верность, так что и тут не преувеличил. И эти войска действительно ожидают приказаний от Думы – а разве можно сказать, что они не подчиняются? Такого не было. Ну, может быть несколько сильно выразился, что офицеров не преследуют, – так это и успокоится уже сегодня. Родзянко выразился – от своего большого горячего сердца, во что бы то ни стало желая остановить войска, предупредить междуусобицу, которая подорвала бы воюющую Россию.

А ещё чего достиг Родзянко этим ночным разговором: он называл свой Комитет Временным Правительством, а самого себя – главой нового правительства, и Алексеев это усвоил, и попросил уяснить добавочной телеграммой. И потому из Главного Штаба Родзянко поехал не домой, а опять-таки в Таврический. Хотелось ему и передать свою удачу коллегам.

Но они все спали деревянно. И он распорядился послать телеграмму в Ставку, что правительственная власть перешла... всё-таки к Временному Комитету Государственной Думы.

После этой ночи Родзянко в своих глазах тем более стал главой правительства. Перед Ставкой и Главнокомандующими он уже и был премьер-министром. И в глазах населения, подписывая воззвания, – кто же он был другой? И перед своими коллегами фактически был им и чувствовал теперь в себе сопротивление этой подстроенной кандидатуре Львова. И только – только перед Государем он ещё никак не был назначен.

Что и надо было сейчас – получить от Государя утверждение Думского Комитета как правительства. И притом – как правительства *ответственного*, парламентского. И этим будет достигнуто последнее его превращение. И вся революция – благополучно окончилась. И всё станет на незыблемые места.

Но пока Государь в движении – аппаратный разговор с ним невозможен. Да даже если б и аппарат был, то разговор такой невозможен: Государь – не генерал Алексеев, ему не напечатать требование. Просить утвердить себя главой правительства можно только на личной аудиенции.

Не просто «лицо, пользующееся доверием всей страны», но именно – Родзянко! А глухой упрямый Государь не хочет услышать!

Конечно, тут и заминка, мешающее чувство. Председатель уже несколько раз откровенно обошёл Государя – в телеграммах Главнокомандующим, вот в разговоре с Алексеевым. И свою прямую телеграмму Государю тоже не держал в тайне, но вслух читал с крыльца, и дал корреспондентам, и не мог отказаться от дивной фразы, вычеркнутой зря: «Молю Бога, чтоб в этот час ответственность не пала на венценосца». И во всех речах к войскам как ни патриотичен был Родзянко – а всё время переходил строго законную меру. И чувствовал это – и не мог не переходить, и даже самому нравился этот бунтарский размах, который, оказывается, всегда был в его натуре – и вот проявлялся теперь.

За последние двое суток Родзянко уже привык к свободе – и не очень хотелось сгибать себя к прежней послушности.

А в общем – надо им, надо им, двум первым людям государства, встретиться.

Уже так было поздно, ближе к утру. Поехал Родзянко скорей домой, лёг спать.

Сон у него был богатырский.

В два часа ночи на станции Малая Вишера стояла бестревожная глубокая тишина. Сон, морозная ночь, станция пустынна, но ярко освещена. Нигде ничего опасного не совершалось.

И по указаниям Его Величества, данным перед започиваньем, следовало неуклонно ехать дальше – на Чудово, на Любань, на Тосно.

Но к подошедшему свитскому поезду Литер Б по пустому перрону подбежал поручик Собственного Его Величества железнодорожного батальона: он только что сам пригнал сюда на дрезине, едва уехал от мятежников! Их в Любани уже две роты, и они очевидно движутся сюда. Поручик Греков дал по линии телеграмму: комендантам литерных поездов направляться на Николаевский вокзал Петрограда!

Свита заволновалась, кто не спал. Как обманчива эта пустота и тишина. Могло показаться, они движутся в тёмной ночи, невидимые и неизвестные. Но начальники станций докладывали новому начальству – и мятежники Петрограда, и пробуждённая Москва, и телеграфисты мелких станций, – все видели через ночь и через даль, как два тёмно-синих поезда несутся в приготовленную разъявленную пасть.

А военной силы при императоре нет никакой. Даже, можно сказать, и простой охраны нет.

Через четверть часа после Литера Б тихо мягко подошёл и царский Литер А. Стали рядом. Не решаясь подвергать опасности поезда на свою ответственность, комендант Литера Б решился разбудить в Литере А дворцового коменданта Воейкова. Воейков крепко спал, сердито проснулся, со включенными волосами. Однако очнясь, обстановку сообразил быстро и решился идти будить Его Величество, испросить указаний. Постепенно и вся свита пробуждалась в тревоге.

Только в сон и уйти от этих нелепостей, несоставностей, беспорядков, – но и оттуда, из нежного погруженья, вытягивает, вытягивает почтительный зов. Даже в излюбленном поездном покое не стало укрытия.

Сперва, как всякому спящему, – императору досадно, неоправданно, зачем? Потом серьёзней, встал с ложа, надел халат. Очевидно, очень серьёзно. Смотрели с Воейковым карту. Кратчайшим путём через Тосно в Царское можно не попасть. Успеть проскочить до Чудова, а потом свернуть на Новгород? Ах, удлинится путь, отодвигается встреча с семьёй. Но Воейков доказывал, что и до Чудова двигаться опасно, что надо от этого места поворачивать назад.

Сов-сем назад?...

...Назад! О, конечно! Заколдованный сон, отлети с моих вежд! В последний момент решенья мужского и царского – вскочить! и ноги в сапоги, уже потом доодевая китель: да, возвращаться! В Ставку, конечно! Сколько часов нам гнать туда? Сколько мы потеряли? 22 часа сюда из Могилёва, 18 часов назад – сорок часов? Так ещё можно успеть! Остановки – только брать уголь и воду. Алексееву скомандовать: обеспечить безопасность линии. Даже не слать войска на Петроград – только выставить заградительные отряды по подкове, на всех линиях. Командующему Московским округом: не допустить заразы в Москву! Разобрать пути между Москвой и Петроградом! Хоть ни единого хлебного эшелона не пропустить в Петроград! Генералу Иванову – держать оборону Царского Села. Составить ультиматум и объявить им из Могилёва: всему Временному Комитету и всем зачинщикам явиться с повинной в Ставку Верховного! все бунтующие бездельные части: – в маршевые роты! Попляшет, кто у них там сейчас верховодит!...

...Назад? Через Бологое и Дно, лишь тогда на Царское? А ведь царскосельский гарнизон малочислен, как бы мятежники не захватили императрицу?...

Воейков: никогда они этого не посмеют!

Да впрочем, там и Иванов.

Ну что ж, назад. Обогнём через Дно. Снова в тёплую пододеяльную нежность, в спасительный сон. Завтра в Царском станет ясно, там решим. А пока – спать...

Пока на поворотном круге разворачивали паровозы – прошло ещё полчаса, и слух пришёл, верный ли, неверный, что мятежники уже в двух верстах от Малой Вишеры.

Возбуждённая свита открыто гудела, ощущая плечами и горлами страшную хватку мятежников: надо сговариваться с Государственной Думой! уступать! давать ответственное министерство! Что же думает, наконец, что ж упорствует Государь? Мы так все погибнем.

Но никто не посмел пойти высказать такое Государю.

Да ведь он и почивал.

А на перроне было морозно-преморозно, все расходились.

В половине четвёртого ночи первым отправили на юг царский поезд. Литерный Б – на двадцать минут позже.

И снова скользили синие поезда через тьму и снова просматривались всеми телеграфистами и стоокой революцией.

236

Они отказались идти в батальон, – но как же они представляли себе дальнейшее? Ну, сегодня ночью они рассчитывали пойти на Петербургскую сторону, там при 2-м кадетском корпусе жил отец их хорошего друга-однополчанина, можно было следующий день провести у него. Ну, ещё второй день. А дальше? Всё равно им некуда было идти, как в свой Московский батальон.

Вот что сделала с ними однодневная революция: выкинула их из армии, из полезных офицеров превратила в ничто, в никчемных, опасных, преследуемых людей.

Да неужели так теперь и установится этот обезумелый круг? Не может и неделю так существовать петроградский гарнизон, и вся армия, и вся Россия!

Ах, как пожалели они после ложной паники, что это не правда подошла боевая часть разогнать сброд по местам! Вот что б им одно сейчас – это помочь разогнать мятежную банду. Да где был тот генерал, который в них нуждался? Не звали их.

После совещания в Военной комиссии братья Некрасовы и маленький Грече стали что ж? – искать себе ночёвку в Думе. Даже подосадовали, что пошли на это совещание: успели бы себе лучше место захватить, уже в залах лежали солдаты вповалку. Впрочем, офицерам и надо ложиться из последних, когда уже спят, иначе стыдно.

Почему-то всем хотелось ночевать в Государственной Думе – не только тем, кто спасался, но и кто революцию делал.

Пришлось нашим офицерам проверять комнаты – так и заглядывать во все комнаты подряд, как и другие делали. Решились идти и в приличное думское левое крыло. Так же и здесь во всех комнатах люди укладывались на столах, на диванах, на составленных стульях и на полу. И солдаты тоже.

Наконец нашли не столь набитую комнату – «Секретарь Председателя Государственной Думы». Места были только на полу, рядом с солдатами. Ничего не поделать. У них же и научились: взяли от печки каждый по три полена и положили их под головы. Легли все трое рядом, не снимая шинелей, лишь расстегнув, тепло было. Братья по бокам, Грече между ними.

Одна лампочка оставалась светить на комнату.

Днём так хотелось спать порой, а тут не сразу и заснёшь: и внутри ещё всё ходит ходуном, и голод грызёт, и рёбра поленьев режут голову, и новое непривычное униженное положение.

Полушёпотом ещё поговорили. Всё не укладывалось.

Всеволод лёг на бок, деревянную ногу книзу, лицом к друзьям, – и тихо рассказал обоим:

– А вот, живёт в Угличе такой старик Евсей Макарыч. Много он читал Священного Писания и прошлой осенью предсказывал так: скоро наступят для всей России горькие времена-бремена. Люди будут тем спасаться, что надевать лохмотья и уходить туда, где их никто не знает. И будет голод много лет. И людей будут опустошать и уничтожать многими тысячами. Сначала будет плохо одним, потом плохо другим, потом плохо всем. И только

седьмое поколение будет снова жить хорошо.

Да...

Теперь надо было заснуть, но не слишком надолго, не пропустить предрассветья, вовремя тихо уйти, иначе опять на сутки застрянут.

Но в чутком сне ещё раньше проснулись от сильного вздрoga Грече.

Он – сидел, глаза его блуждали, отдышивался тяжело.

– Что с вами, Павлик?

Держался за бок, на лице страдание:

– Приснилось: всадили штык. Вот сюда.

237

Из своих злонесчастных тяжких позиций всё близ того же Стохода, где прошлым летом и прошлой осенью столько гвардейских сил было положено и уложено на приречных болотах, сегодня утром Преображенский полк получил приказ смениться: выйти из окопов в резерв своей 1-й гвардейской дивизии.

Повеселели солдаты, повеселели офицеры – надеялись недельки три теперь поотдыхать, походить не гнясь, и по земле, а не ходами сообщения, не зная разведок, не зная сторожевого охранения, спать ложиться – как люди, и многие даже в домах.

Но ещё не растянулись они поспать первую ночь, ещё и не стемнело – как командиру полка, флигель-адъютанту свиты Его Величества генерал-майору Дрентельну передали из штаба дивизии, что Преображенский полк в любую минуту может быть вызван куда-то.

Полк довольно располагался в резерве, не зная об этой тревоге.

Уже стемнело, когда Дрентельн получил секретную телеграмму из штаба фронта, перелагавшую секретную телеграмму генерала Алексеева из Ставки: Государю благоугодно вызвать в Петроград Преображенский, 3-й и 4-й гвардейские стрелковые полки для подавления беспорядков.

Та-ак! Дрентельн забывал свой окопный ревматизм. В Петербург! Там беспорядки, ерунда, но в Петербург! Повидать столько друзей и знакомых; хотя он только что приехал оттуда из отпуска – но с охотой снова.

Команда грузиться была на ближайшую крупную станцию – Луцк. В темноте полк был разбужен, поднят – и выступили походным порядком на Луцк в непроглядную темень и снежную грязь.

И месили её – 30 вёрст.

Всё же какие ни молодцы-удальцы, но к утру выбились – и пришлось трём батальонам дать привал, поспать часа три, в деревне Полонная Горка в 8 верстах от Луцка. Сам же Дрентельн поехал вперёд, на станцию, куда 1-й батальон уже достиг и готовился к погрузке.

На вокзале Дрентельн обнаружил растерянность у комендантских и железнодорожных чинов, – а в зале близ кассы висел приклеенный на стене, от руки написанный листок – принятая телеграмма какого-то комиссара путей сообщения неведомого Бубликова, который передавал приказ Родзянки: старая власть оказалась бессильной, Государственная Дума взяла в свои руки создание новой власти.

Что за бред? Как это понять? Кто повесил?

Принятая телеграмма из Петрограда.

Тут Дрентельна разыскал офицер связи из штаба армии и подал ему распоряжение командующего Особой армией Гурко: посадку полка временно отложить.

Дрентельна зазнобило. Сочетание этих двух распоряжений было уже нечто очень тревожное. Если что-то делалось в Петрограде с властью – то как раз и нужна была там гвардия! **Кем** отставлен переезд? Самим ли Государем? Нет ли здесь недоразумения?

Или даже измены?...

Особость момента и особость положения Преображенского полка дали Дрентельну смелость не выяснять через дивизию и корпус, а отправиться прямо к генералу Гурко: штаб

армии был тут же, неподалёку под Луцком, в католическом монастыре.

Проехал в автомобиле по пустым ночным плохо освещённым улицам, видя в фонарях только разбрызгиваемую снежную грязь. Потом по загородной дороге.

Проверены в воротах – въехали во двор.

Дрентельн просил дежурного офицера доложить командующему, несмотря на то что было уже 4 часа утра. Но не удивился дежурный, – и генерал Гурко принял генерала Дрентельна за письменным столом в полной форме, то ли ещё не ложившись, то ли уже поднявшись. Всегда серьёзный, решительный, острый, он выглядел сейчас ещё впивчивей, сжатый рот, усы настороже, стянутые глаза настороже, сосредоточен, и маленькая голова поворачивается быстро.

Никакого замечания не сделал за обращение не по команде.

Приказ? Приказ, генерал, передан Брусиловым от самого Алексеева. Какое основание мы имеем сомневаться? Воля Государя и всегда передавалась через генерала Алексеева. Никому из командующих армий, ни даже фронтов не дано сноситься с Государем непосредственно. Мы – обязаны выполнять. Мы не имеем права переспрашивать.

Но это – не в упрёк Дрентельну. Живые потемнелые глаза генерала Гурко смотрели очень тревожно, и глазами он, кажется, выражал то же самое сомнение.

Но отправить сам преображенцев в Петроград – не смел.

Дрентельн ощущал себя, как паралитик, у которого голова работает, а пошевелинуться не может.

Итак, в ожидании дальнейшего, полк останется в Полонной Горке, 1-й батальон устроить в бараках при вокзале.

На том же вокзале, опять проходя мимо и косясь на мерзкую телеграмму Бубликова, сел пока ожидать и Дрентельн.

Не просто он был командир полка, уже больше года, и не простого полка: в этом полку служил сам Государь, и Дрентельн был его сослуживцем тогда, и обласкан, и близок. И – годы в государевой свите, помощник начальника походной канцелярии, пока его не отлучила императрица из-за его вражды к Распутину. (И даже преображенцев хотела у него отнять). Не имея никакого служебного права – Дрентельн однако должен был и мог обратиться непосредственно к Государю.

Из 1-го батальона он вызвал доверенного офицера поручика Травина и велел ему готовиться ехать с тайным письмом к Государю.

Пошёл к начальнику станции, достал хороший лист, чернил, сел, стал писать за столом под яркой лампой.

«Ваше Императорское Величество, наш дорогой Государь!

По первому Вашему знаку преображенцы будут подведены к подножию Вашего престола, какие бы препятствия их ни ждали...»

Одно облегчительно помнил: ведь есть же преображенцы и в самом Петрограде, пусть и запасной: батальон. Они-то! не стерпят и не останутся безучастны!

ЧТО И СВАРИЛИ – В ПЕЧИ ЗАСТУДИЛИ
